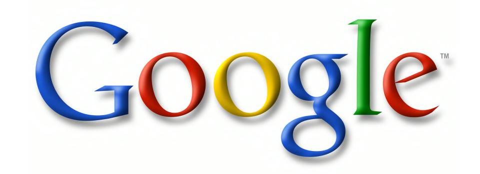


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

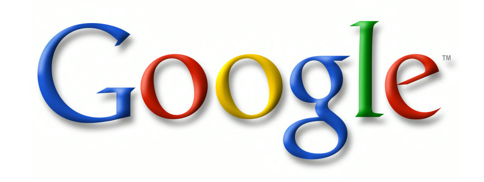
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использоваиия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

P Slav 176.25

Bd. July, 1891.

Harvard College Library

FROM THE BEQUEST OF

MRS. ANNE E. P. SEVER,

OF BOSTON,

WIDOW OF COL. JAMES WARREN SEVER,

(Class of 1817),

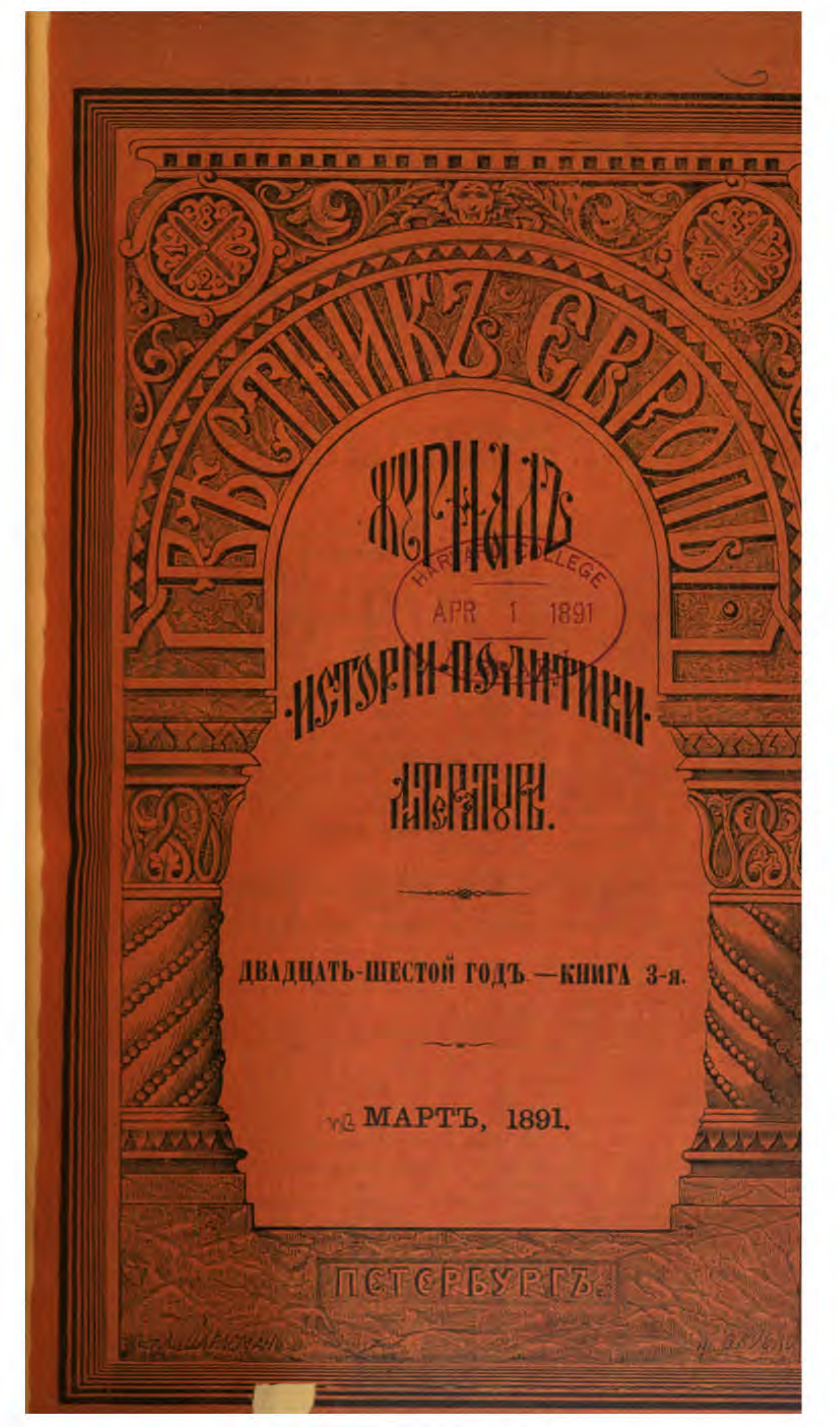
1-29 Apr., 1891.

HARVARD COLLEGE
APR 1 1891

ДВАДЦАТЬ-ШЕСТОЙ ГОДЪ.—КНИГА 3-я.

МАРТЪ, 1891.

ПЕТЕРБУРГЪ.



HARVARD COLLEGE
APR 1 1891

ИСТОРІЯ, БІОГРАФІЯ, МЕМУАРЫ, ПЕРЕПИСКА, ПУТЕШЕСТВІЯ, ПОЛИТИКА, ФИЛОСОФІЯ, ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВА.

КНИГА 3-я. — МАРТЪ, 1891.

Стр.

Подписка на годъ, полугодіе и четверть года въ 1891 г.
(См. подробное объявленіе о подпискѣ на послѣдней страницѣ обертки)

ВѢСТНИКЪ

ЕВРОПЫ

ДВАДЦАТЬ-ШЕСТОЙ ГОДЪ. — ТОМЪ II.

ГОДЪ LV. — ТОМЪ CCCXXII. — 2/14 МАРТА, 1891.

ВѢСТНИКЪ
ЕВРОПЫ

ЖУРНАЛЪ

ИСТОРІИ – ПОЛИТИКИ – ЛИТЕРАТУРЫ

СТО-СОРОКЪ-ВОСЬМОЙ ТОМЪ

ДВАДЦАТЬ-ШЕСТОЙ ГОДЪ

ТОМЪ II

РЕДАКЦІЯ „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ“: ГАЛЕРНАЯ, 20.

Главная Контора журнала:
на Васильевскомъ Острову, 5-я линія,
№ 28.

Экспедиція журнала:
на Вас. Остр., Академич. переулокъ,
№ 7.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

1891

P Slav 176.25

~~131.84~~
~~Slav 30.2~~

1891, Apr. 1 - 29.
Sever fund.

(1791)

HARVARD COLLEGE
APR 1 1891
LIBRARY.

СРЕДНЕВѢКОВОЕ МІРОВОЗЗРѢНІЕ

ЕГО

ВОЗНИКНОВЕНІЕ и ИДЕАЛЪ

III *).

Люди среднихъ вѣковъ не знали вѣры безъ церкви—и не могли себѣ представить церкви безъ видимаго строгаго единства въ ней. „На свѣтѣ,—говорилъ Бернардъ на диспутѣ съ Петромъ Пизанскимъ, защитникомъ антипапы Анаклета, — одна только вѣра, одинъ Господь, одно крещеніе; мы не знаемъ двухъ господъ, двухъ вѣръ, двухъ крещеній. Если обратиться къ самой древности, то былъ одинъ только ковчегъ во время потопа. Въ немъ спаслось восемъ душъ—всѣ остальныя погибли. Никто не станетъ отрицать, что этотъ ковчегъ—прообразъ церкви. Въ наше время вздумали построить другой ковчегъ, и такъ какъ ихъ теперь два, то одинъ изъ нихъ долженъ быть ненастоящій и долженъ погибнуть въ пучинѣ водъ".

Эта потребность единства составляла силу папства. Безъ папства церковь не устояла бы передъ феодальнымъ и національнымъ раздробленіемъ. Поэтому въ папствѣ и церковь черпала свою силу.

Но этотъ якорь спасенія церкви—единство власти—постоянно подвергался опасности. Несмотря на великую реформу XI вѣка, изъявшую избраніе папы изъ рукъ римскихъ феодальныхъ партій и свѣтской власти, правильность выборовъ не была вполнѣ обез-

*) См. выше: февр., 752 стр.

печена—въ самой коллегіи кардиналовъ могли найти себѣ мѣсто раздоры и интриги партій. Такъ случилось въ 1130 году, по смерти Гонорія II. Чтобы не допустить до престола богатаго интригана Петра Леонисъ (сынъ Льва), враждебная ему часть кардиналовъ поспѣшно собралась и избрала Иннокентія II, опиравшагося на партію Франжипани. Партія Петра признала этотъ выборъ неправильнымъ и провозгласила папою Петра (Анаклета II). Петръ Леонисъ одолѣлъ противника въ Римѣ, и Иннокентій бѣжалъ моремъ во Францію, ища признанія и помощи. Наступила критическая минута для католическаго міра. „Въ большей части монастырей,—говоритъ лѣтописецъ,—явилось по два аббата, а въ епархіяхъ по два епископа, споршихъ о власти, изъ которыхъ одинъ приставалъ къ Анаклету, другой радѣлъ Иннокентію". При такихъ-то обстоятельствахъ чрезвычайно наглядно проявилось могущество и вліяніе новыхъ централизованныхъ монашескихъ конгрегацій. Аббатъ Клюнійскаго ордена принялъ подъ свою защиту причалившаго къ берегу Франціи бездомнаго папу; онъ выслалъ на встрѣчу Иннокентію обозъ въ 60 лошадей и муловъ, нагруженныхъ всѣмъ, что было нужно римскому первосвященнику для достойнаго его сану благолѣпія. А на соборѣ въ Этампѣ, созванномъ королемъ Людовикомъ VI, рѣшающее слово было сказано представителемъ ордена св. Бернардомъ. Бернардъ получилъ особенное приглашеніе отъ короля и епископовъ. Наступилъ и для него критическій моментъ жизни. Смиренный монахъ, укрывшійся отъ міра, долженъ былъ явиться на собраніе, гдѣ высшія церковныя и свѣтскія власти совѣщались о важнѣйшихъ интересахъ міра. Бернардъ, по его собственному признанію, отправился въ страхѣ и смущеніи. Но на пути у него было видѣніе. Его глазамъ предстала обширная церковь, въ которой весь народъ согласно пѣлъ хвалу Богу. Это видѣніе успокоило и ободрило Бернарда. По обычаю, соборъ готовился къ своей дѣятельности въ постѣ и молитвѣ и единогласно рѣшилъ, что дѣло Божіе должно быть предоставлено человѣку Божьему, т.-е. Бернарду; это постановленіе всѣми было принято, какъ выраженіе воли Господней, и Бернарду оставалось только исполнить рѣшеніе собора. Онъ тщательно разсмотрѣлъ дѣла, ходъ выборовъ, юридическія права конкуррентовъ и личныя ихъ достоинства, т.-е. простой монахъ сталъ судьею надъ высшимъ учрежденіемъ церковнымъ—надъ коллегіей кардиналовъ и цензоромъ жизни обоихъ намѣстниковъ апостола. Соборъ ждалъ приговора Бернарда, какъ слова, исходящаго отъ св. Духа. Когда онъ призналъ Иннокентія законно избраннымъ папою, соборъ принялъ это рѣшеніе

безъ голосованія, общимъ ликованіемъ и присягнулъ новому папѣ. Сцена въ Этампѣ имѣетъ не только важное фактическое, но и символическое значеніе. Она знаменуетъ собою торжество монашества—его передовую роль въ церковныхъ и политическихъ дѣлахъ. Въ лицѣ Бернарда принципъ отреченія отъ міра вступилъ въ управленіе міромъ.

Но дѣло Иннокентія, которое стало дѣломъ католическаго міра, еще не было окончено. Въ Этампѣ была представлена церковь Франціи, но, не говоря о другихъ странахъ, оставалась Германія, оставался императоръ, котораго сама же церковь поставила главою христіанскаго міра и защитникомъ церкви. Какъ ни ослабѣла власть императора послѣ побѣдъ надъ нею Григорія VII, онъ одинъ въ то время изъ всѣхъ государей имѣлъ возможность положить свѣтскій мечъ на вѣсы въ пользу того или другого изъ папъ, водворить того или другого въ Римѣ. Поэтому папа Иннокентій съ многочисленной свитой, въ которой находился и Бернардъ, отправился въ Люттихъ на свиданіе съ императоромъ Лотаромъ. На свиданіи между папою и императоромъ вопросъ шелъ не только о томъ, чтобы склонить Лотара въ пользу Иннокентія;—помимо того тамъ возникло другое дѣло, представлявшее собою еще болѣе важный интересъ для церкви. Императоръ Лотаръ былъ возведенъ на престолъ папскою или клерикальною партіей въ Германіи, чтобы оттѣснить Гогенштауфеновъ, наслѣдниковъ той франконской династіи, которая такъ мощно боролась съ притязаніями церкви. Но какъ ни былъ обязанъ Лотаръ клерикальной партіи, на престолѣ онъ почувствовалъ себя императоромъ и не хотѣлъ пропустить удобнаго случая вынудить у папы, нуждавшагося въ его помощи, нѣкоторыя уступки по вопросу объ инвеститурѣ епископовъ, разрѣшенному вормскимъ конкордатомъ, такъ невыгодно для имперіи. Въ Люттихѣ въ лицѣ Иннокентія и Лотара снова столкнулись противоположные полюсы средневѣковой жизни. Бернардъ говоритъ даже „о занесенномъ на папу кинжалѣ разгнѣваннаго императора". Это одинъ изъ тѣхъ патетическихъ оборотовъ рѣчи, которыми изобилуетъ пламенная рѣчь Бернарда. Но несомнѣнно, что Бернардъ и тутъ былъ *щитомъ*, отъ котораго безсильно отпрянуло оружіе противниковъ или завистниковъ папства; императоръ отказался отъ своихъ притязаній. Роль Бернарда, какъ защитника папы, этимъ не кончилась.

Недостаточно было обезпечить за Иннокентіемъ признаніе Франціи и Германіи—надо было склонить къ тому же и Италію, гдѣ Анаклетъ нашелъ себѣ могущественныхъ союзниковъ въ Ми-

ланѣ и въ норманскомъ владѣтелѣ Сициліи и Неаполя—Рожерѣ. Бернардъ не успокоился, пока не водворилъ Иннокентія въ Римѣ: можно сказать, что онъ посвятилъ этому дѣлу семь лѣтъ своей жизни, проводя ихъ большею частью вдали отъ своего любимаго монастыря. Онъ неутомимо писалъ въ интересахъ Иннокентія, т.-е. единства церкви, то къ королю англійскому, то къ народу въ Миланѣ и Пизѣ, то умоляя, то грозя; при своемъ разслабленномъ здоровьѣ онъ три раза предпринималъ утомительное путешествіе въ Италію, какъ „легатъ папы для всего міра", появлялся вездѣ, гдѣ его личное вліяніе было нужно для дѣла. И его личное вліяніе вездѣ было неотразимо, проявляясь то въ примиряющей кротости, то въ внушительномъ гнѣвѣ. На диспутѣ съ краснорѣчивымъ риторомъ Петромъ Пизанскимъ, когда присутствовавшее собраніе поддалось силѣ и искренности убѣжденій Бернарда, онъ протянулъ руку своему противнику и пригласилъ его вмѣстѣ съ нимъ „взойти въ спасительный ковчегъ". Въ Пуатье, гдѣ могущественнымъ графомъ Аквитаніи былъ изгнанъ епископъ, какъ приверженецъ Иннокентія,—Бернардъ явился олицетвореніемъ Страшнаго Суда. Совершивъ обѣдню, онъ вынесъ тѣло Господне на паперть церковную, гдѣ стоялъ отлученный отъ церкви графъ и сказалъ ему: „Такъ какъ ты отвергъ всѣ увѣщанія и просьбы, то предъ тобою теперь твой судья, предъ именемъ котораго преклоняются всѣ колѣна, какъ на небѣ, такъ на землѣ и въ аду. Предъ тобою твой судья, въ рукахъ котораго будетъ твоя душа. Чтожъ? и его ты станешь презирать? и имъ ты дерзнешь пренебрегать, какъ его служителями?" Наступила рѣшительная минута, какую переживали люди только въ средніе вѣка. Могущественный графъ Аквитаніи, какъ пораженный молніей, палъ на землю. Его подняли, онъ былъ будто безъ сознанія и съ пѣною у рта снова палъ на землю. Къ нему подошелъ монахъ и, толкнувъ ногой лежавшаго безъ движенія графа, приказалъ ему встать и облобызать въ знакъ примиренія изгнаннаго имъ епископа. И воля монаха была исполнена. Среди этой дѣятельности все болѣе и болѣе возростали популярность и авторитетъ Бернарда. Когда онъ приближался къ Милану, который согласился по его настоянію перейти на сторону Иннокентія, народъ, дворяне и горожане, верхомъ и пѣшкомъ, вышли на встрѣчу къ нему за семь верстъ, цѣловали его ноги и старались получить хотя одинъ волосокъ изъ его монашеской рясы.

Единство церкви было возстановлено. Радостно спѣшилъ Бернардъ домой, т.-е. въ дорогой ему монастырь, къ своему люби-

мому дѣлу, и тамъ возобновилъ прервавшійся рядъ своихъ проповѣдей:

„Вотъ, наконецъ, братья, на меня, въ третій разъ возвратившагося изъ Рима, благосклоннѣе взираетъ небо и привѣтливѣе мнѣ сверху улыбается. Улеглась ярость львиная (папы Льва Анаклета); конецъ наступилъ злобѣ; церковь достигла мира. Но развѣ напрасно я вамъ возвращенъ послѣ столькихъ опасеній? Вашимъ желаніямъ я обязанъ возвращеніемъ; ваше преуспѣяніе мнѣ служитъ украшеніемъ; вашими заслугами я живу, я и хочу жить для вашего наставленія и спасенія. Вы требуете, чтобы я довелъ до конца начатыя давно проповѣди на Пѣснь Пѣсней; я охотно на это соглашаюсь и считаю болѣе сообразнымъ возстановить прерванную нить, чѣмъ начать что-либо новое. Но я боюсь, что достоинство предмета окажется не по силамъ отвыкшему отъ этого духа, столь долго развлекавшемуся такими различными и малодостойными заботами“ [1]).

Прошло не болѣе двухъ лѣтъ со времени устраненія раскола въ церкви, какъ ей стала грозить новая опасность, со стороны ея ученія, ея основныхъ догматовъ, и люди, усмотрѣвшіе угрожающую ей опасность, снова обратились къ уединенному монаху въ Клерво, какъ къ стражу церкви. Весною 1139 года Бернардъ, весь погруженный въ помышленія о великомъ постѣ, получилъ письмо отъ аббата монастыря св. Теодориха съ указаніемъ еретическихъ положеній, извлеченныхъ имъ изъ сочиненія знаменитаго Абелара. „Нельзя хранить молчанія,—писалъ аббатъ, —когда искажается вѣра, ради которой мы отреклись отъ самого себя“.

Бернардъ отложилъ дѣло до окончанія поста, потомъ занялся имъ съ обычною своей энергіей и въ слѣдующемъ году два знаменитыхъ современника стояли другъ противъ друга на соборѣ въ Санѣ (Sens). Этотъ соборъ представляетъ собою одинъ изъ тѣхъ торжественныхъ моментовъ, когда особенно ясно слышенъ пульсъ исторіи и обнаруживаются на ея поверхности сокровенныя силы или идеи, ея движущія. Здѣсь столкнулись не только двѣ замѣчательнѣйшія личности XII вѣка, но два враждебныя направленія въ духовной жизни среднихъ вѣковъ.

На этомъ турнирѣ двухъ великихъ противниковъ—симпатіи современныхъ зрителей легко могутъ склониться въ сторону Абелара, какъ въ силу интереса, который внушаетъ его личность, такъ и по сочувствію къ защищаемому имъ дѣлу. Кому не из-

[1]) Sermo in Cant., № 24.

вѣстна трогательная исторія любви Абелара къ Элоизѣ и трагическая судьба, ихъ постигшая?.. А если кто читалъ написанныя сквозь слезы письма Элоизы къ Абелару послѣ ихъ безповоротной разлуки, тотъ будетъ склоненъ судить о достоинствѣ героя по искренности и глубинѣ обращеннаго къ нему чувства. Что же касается до Абелара, то онъ является въ извѣстномъ смыслѣ поборникомъ воспрянувшаго среди общаго невѣжества человѣческаго разума, провозвѣстникомъ въ свое время того культурнаго принципа, которому принадлежало будущее. Наконецъ, въ его пользу располагаетъ и самый исходъ его борьбы съ Бернардомъ. Онъ вышелъ побѣжденнымъ изъ поединка. Съ торжествующимъ видомъ вошелъ онъ на соборъ, увѣренный въ силѣ своей непобѣдимой діалектики, и, однако, замолчалъ, послѣ рѣчи Бернарда, къ удивленію всѣхъ,—отказался отъ диспута и апеллировалъ въ Римъ. Конечно, не одни страстныя, убѣжденныя слова Бернарда заставили его смолкнуть. Даже если преувеличено описаніе той обстановки, среди которой происходилъ диспутъ на Санскомъ соборѣ, составленное однимъ изъ приверженцевъ Абелара, мы все-таки должны допустить, что положеніе Абелара на соборѣ было безвыходное: онъ увидѣлъ себя среди собранія, неспособнаго его понимать и оцѣнить его аргументы: въ этомъ собраніи, находившемся подъ авторитетомъ Бернарда, *его* истина была напередъ осуждена и подавлена враждебнымъ къ нему и пристрастнымъ большинствомъ; и онъ рѣшился на апелляцію, чтобы избѣгнуть немедленнаго приговора. Апелляція въ Римѣ ему, однако, также не помогла: приговоръ собора надъ нимъ состоялся, и онъ былъ принужденъ искать убѣжища въ монастырѣ Клюньи, подъ защитою друга Бернарда, кроткаго и святого аббата Петра Почтеннаго, гдѣ онъ черезъ два года и умеръ.

Но именно въ виду всего этого біографъ Бернарда обязанъ правильно поставить и урегулировать вѣсы въ этомъ спорѣ, и вопреки участію, которое внушаетъ судьба Абелара, нельзя не сказать, что въ состязаніи съ Бернардомъ онъ имѣлъ противъ себя противника, стоявшаго нравственно неизмѣримо выше его, и дѣло его представляется не въ выгодномъ для него свѣтѣ.

Оставивъ въ сторонѣ свойства характера, обнаруженныя Абеларомъ въ отношеніяхъ къ Элоизѣ — эгоизмъ и самолюбіе, мы не можемъ не отмѣтить во всей его дѣятельности большого тщеславія и равнодушія къ послѣдствіямъ провозглашаемыхъ имъ принциповъ, тогда какъ Бернардомъ постоянно руководитъ горячая искренность убѣжденій и готовность служить святости защищаемаго имъ дѣла, въ ущербъ своему самолюбію и склонностямъ.

И дѣйствительно, дѣло, за которое онъ стоялъ, касалось самого жизненнаго интереса эпохи. Было бы анахронизмомъ утверждать, что Абеларъ и Бернардъ олицетворяли собою противоположные принципы разума и вѣры.

Въ XII вѣкѣ вопросъ былъ не такъ поставленъ: эта эпоха, можно сказать, почти совсѣмъ не знала той области, въ которой долженъ господствовать разумъ; она знала только религію, и вопросъ шелъ о томъ, чтò въ этой области должно имѣть перевѣсъ—разумъ или вѣра.

Но и съ этою оговоркою мы не можемъ признать Абелара безусловнымъ представителемъ разума. Вообще отождествлять людей съ извѣстными принципами, ими представляемыми, можно только съ необходимыми ограниченіями. Принципъ, олицетворяясь въ человѣкѣ, принимаетъ конкретный, индивидуальный характеръ, получаетъ оттѣнокъ, который придаетъ ему личность; проявляясь въ извѣстную эпоху, онъ также индивидуализируется, принимаетъ отъ своего времени извѣстную окраску, является въ зависимости отъ его потребностей; поэтому историческая оцѣнка его должна обусловливаться не только его общимъ значеніемъ, но и ролью его и результатами его въ данный моментъ.

Если разсматривать съ послѣдней точки зрѣнія дѣло Абелара, то нужно признать, что разумъ въ его лицѣ не всегда игралъ достойную этого принципа роль. Между положеніями Абелара, противъ которыхъ возставалъ Бернардъ, мы находимъ и такія, для которыхъ нельзя было найти основаніе *въ разумѣ*; во имя ихъ Абеларъ не имѣлъ права такъ самоувѣренно апеллировать къ разуму, напр.: „Отецъ—полное могущество, Сынъ—нѣкоторое могущество, у Духа святого—никакого могущества"; или „Духъ святой—міровая душа". Другія положенія, разумныя сами по себѣ и заключавшія въ себѣ зародышъ истины, впослѣдствіи общепризнанной, должны были, однако, въ томъ примѣненіи, которое имъ давалъ Абеларъ, казаться нелѣпыми и возмутительными его современникамъ: „То, чтò совершается по невѣдѣнію,—говоритъ Абеларъ,—не должно быть поставлено въ вину"; но это справедливое положеніе у него не что иное, какъ иллюстрація другого положенія: „Не согрѣшили тѣ, кто по невѣдѣнію распяли Христа".

Но не изъ-за однихъ только заблужденій (errores) ополчился Бернардъ противъ Абелара; въ самомъ направленіи его онъ усматривалъ опасность для вѣры; опасною представлялась Бернарду эта амальгама христіанскихъ догматовъ съ Платоновскими понятіями, напр. въ положеніи, что Св. Духъ—міровая душа; остроумно

замѣчаетъ по этому поводу Бернардъ, что, выбиваясь изъ силъ (трудясь въ потѣ лица), чтобы сдѣлать Платона христіаниномъ, Абеларъ самъ становится язычникомъ. Всего опаснѣе же было въ глазахъ Бернарда стремленіе Абелара построить вѣру на разумѣ, обусловить ея содержаніе данными разума.

„Не удивительно,—говоритъ Бернардъ,—если человѣкъ, не заботящійся о томъ, что̀ онъ говоритъ, и вторгающійся въ таинства вѣры, такъ непочтительно хватаетъ и раскидываетъ сокровенныя сокровища благочестія,—если и о самой святости вѣры онъ думаетъ не благочестиво и не вѣрно. Въ самомъ началѣ своего богословія или вѣрнѣе глупословія (stultilogiae) онъ опредѣляетъ вѣру *признаніемъ* (aestimatio). Какъ будто относительно вѣры дозволено думать и говорить что̀ угодно; и таинства нашей вѣры, находясь подъ сомнѣніемъ, зависятъ отъ смутныхъ и различныхъ мнѣній людскихъ, а не покоятся, наоборотъ, на достовѣрной истинѣ. Если шатка вѣра, развѣ не напрасна и надежда наша? Не глупы ли были мученики наши, перенесшіе такія жестокія страданія ради невѣрныхъ *мнѣній*!..“ Въ горячей рѣчи продолжаетъ Бернардъ свою аргументацію и заключаетъ ее словами: „Нѣтъ! вѣра—не мнѣніе, а увѣренность“ [1]).

Бернардъ, очевидно, имѣлъ въ виду поставить содержаніе религіозной вѣры выше случайныхъ человѣческихъ мнѣній, выгородить ее отъ опредѣленій философскихъ школъ, отъ пріемовъ „академиковъ, которымъ свойственно во всемъ сомнѣваться и ничего не знать“. Отстаивая самостоятельность вѣры, Бернардъ, однако, съ другой стороны, не отрицалъ правъ разума, но старался показать, что и въ этой области не все достовѣрно, и что нерѣдко разумъ выдаетъ за истину лишь случайныя людскія мнѣнія.

Въ одномъ изъ своихъ разсужденій [2]) Бернардъ различаетъ три способа познавать божественное: мнѣніе, вѣру и разумъ. Послѣднія два заключаютъ въ себѣ достовѣрную истину: вѣра—истину, скрытую подъ покровомъ, а разумъ—явную и открытую; *мнѣніе* же ничего достовѣрнаго въ себѣ не имѣетъ и, стремясь къ истинѣ, правдоподобное принимаетъ за истину; „необходимо,—говоритъ Бернардъ,—избѣгать смѣшенія этихъ различныхъ источниковъ истины и надо имѣть въ виду, что мнѣніе, если станетъ *утверждать* что-либо, будетъ опрометчиво; вѣра, если станетъ колебаться, утратитъ силу; разумъ же, если покусится вторг-

---

[1]) Tract. de err. Ab. c. 4. Migne, 182, col. 1062.

[2]) De consideratione, l. V, c. 3.

нуться въ несомнѣнныя истины вѣры, долженъ быть признанъ нарушителемъ, а не изслѣдователемъ божественнаго величія. Многіе свое мнѣніе принимали за разумъ и заблуждались".

Изъ этого ясно, около чего собственно вращался споръ между Бернардомъ и Абеларомъ. Это не столько антагонизмъ двухъ противоположныхъ принциповъ разума и вѣры, сколько—двухъ различныхъ направленій въ одной и той же области вѣры—двухъ путей, которые должны были вести къ одной и той же общей цѣли—усвоенію религіозныхъ догматовъ, какъ божественныхъ истинъ. Однимъ словомъ, это—состязаніе между двумя основными проявленіями средневѣкового сознанія — схоластикой и мистикой, изъ которыхъ первая стремилась овладѣть божественной истиной посредствомъ діалектическаго анализа, другая—путемъ непосредственной *интуиціи*, посредствомъ погруженія души въ Божество. Для пылкой религіозной натуры Бернарда все преимущество было на сторонѣ мистическаго порыва души къ истинѣ; какъ жалокъ и бѣденъ представлялся ему „тотъ духъ, который ничего не можетъ видѣть въ отраженіи и въ загадочной оболочкѣ (per speculum et in aenigmate), но лицомъ къ лицу на все взираетъ, грядя (ambulans) въ области возвышеннаго и чудеснаго выше его разумѣнія". „Лучше бы онъ сдѣлалъ,—восклицаетъ Бернардъ о своемъ противникѣ,—если бы, согласно съ заглавіемъ своей книги [1]), самъ себя позналъ, не поднимался бы выше мѣры силъ своихъ и не увлекался до опьяненія". Какимъ безуміемъ представлялась Бернарду надменность Абелара, который, „считая сомнительнымъ самого Бога (Deum habens suspectum), не хочетъ вѣрить чему бы то ни было, пока не подвергнетъ разбирательству своего разсудка" [2]).

Бернардъ для себя не нуждался въ такомъ невѣрномъ и окольномъ пути. Онъ нуждался для себя не въ расчлененіи истины, а въ усвоеніи ея цѣликомъ въ восторгѣ молитвы или въ религіозномъ экстазѣ. Для него блаженство заключалось въ любви къ Божеству, а не въ познаваніи его.

Отношеніе Бернарда къ знанію и наукѣ заслуживаетъ особеннаго вниманія. Его нерѣдко выставляютъ ненавистникомъ знанія, и это не трудно сдѣлать, если приводить отрывочныя выраженія его безъ связи съ его общей мыслью. Такъ напр., Лоранъ говоритъ о немъ, что онъ „расточалъ презрѣніе къ ученымъ и

---

[1]) Scito te ipsum. Письмо Берн. объ Аб. къ магистру Гвидону, ученику Абелара, бывшему впослѣдствіи папою Целестиномъ II. № 192, Migne, 182, с. 358.

[2]) Письмо къ кард. Аймерику, № 338. Т. 182, с. 542.

наукѣ" [1]). Такой отзывъ слишкомъ узокъ и пренебрежителенъ по отношенію къ противнику или лицу другого направленія, т.-е. даетъ поводъ именно къ тому самому упреку, который Лоранъ дѣлаетъ Бернарду.

Взглядъ Бернарда на науку и знаніе обусловливается какъ аскетическимъ міровоззрѣніемъ, котораго онъ держится, такъ и его этическимъ идеаломъ и мистическимъ направленіемъ. Гражданинъ Божескаго царства, живущій мыслью и заботою о немъ, конечно, равнодушенъ къ земному міру и его жизни, надъ которыми онъ хочетъ подняться. Изученіе этого преходящаго, суетнаго и порочнаго міра не можетъ представлять для него интереса. Въ одной изъ своихъ проповѣдей Бернардъ различаетъ съ точки зрѣнія интереса, который люди преслѣдуютъ, слѣдующіе разряды людей: во-первыхъ, людей, живущихъ одними чувственными впечатлѣніями и отдающихся всецѣло эмпирической дѣйствительности (totos se dederunt his quae facta sunt), не спрашивая о томъ, какимъ образомъ и для чего она произошла. Выше ихъ Бернардъ ставитъ другой классъ людей, главное занятіе и единственную заботу которыхъ составляетъ изслѣдованіе причинъ и порядка явленій безъ отношенія къ ихъ значенію (utilitas). „Они называютъ себя,—говоритъ Бернардъ,—любознательными (философами)—мы же правильнѣе назовемъ ихъ любопытными и суетными". Этимъ людямъ Бернардъ противополагаетъ тѣхъ, кто, не останавливаясь на упомянутыхъ вопросахъ, сосредоточиваетъ все свое вниманіе на томъ, для чего и ради какой цѣли все существуетъ. Это высшее начало дѣйствительности, конечно,—Богъ [2]).

Бернардъ самъ считалъ необходимымъ отстранить отъ себя упрекъ въ нерасположеніи къ знанію. „Можетъ быть,—говорилъ онъ своимъ монахамъ,—кому-либо покажется, что я слишкомъ нападаю на знаніе и какъ будто порицаю ученыхъ и запрещаю занятія наукою (studia literarum). Не дай Богъ! я слишкомъ хорошо знаю, какую пользу оказали и оказываютъ церкви ея ученые (literati). Но не всякое невѣдѣніе одинаково предосудительно и опасно для спасенія человѣка; поэтому необходимо быть очень разборчивымъ относительно знанія; нужно знать, въ какомъ порядкѣ, съ какою любовью (quo studio) и, наконецъ, ради какой цѣли слѣдуетъ стремиться къ знанію. Нужно чрезвычайно внимательно относиться къ тому, съ чего слѣдуетъ начать изученіе и чтò усерднѣе изучать. Всякое знаніе хорошо,

---

[1]) Laurent. Etudes s. l'H. de l'Hum., VIII, p. 145.

[2]) Sermo 3 in. f. Pentecost. Migne, 183, col. 331.

если основано на истинѣ. Но время, данное человѣку, кратко, и потому онъ долженъ больше заботиться о томъ знаніи, которое ближе къ спасенію. Что касается до любви къ знанію, то нужно сильнѣе пылать къ тому знанію, которое усиливаетъ любовь. А что касается до цѣли, то ею должно быть не тщеславіе и не простое любопытство, а назиданіе ближняго. Много такихъ, которые хотятъ знать лишь для того, чтобы знать—это недостойное любопытство. Но есть и такіе, которые хотятъ знать для того, чтобы о нихъ знали—это недостойное тщеславіе. Бернардъ вспоминаетъ и примѣняетъ къ нимъ извѣстный стихъ языческаго поэта [1]).

Наконецъ, есть такіе, которые хотятъ знать, чтобы продавать свое знаніе за деньги или за почести, а это—недостойное стяжаніе. Но есть и такіе, которые хотятъ знать, чтобы назидать другихъ—это любовь, и такіе, которые хотятъ знать для собственнаго назиданія, а это—мудрость. Только послѣдніе два разряда людей не злоупотребляютъ знаніемъ.

Вообще Бернардъ постоянно имѣетъ въ виду нравственный ущербъ, который можетъ быть сопряженъ со стремленіемъ къ знанію и пріобрѣтеніемъ его. Въ особенности легко знаніе можетъ стать источникомъ кичливости и высокомѣрія. Для аскетическаго же міровоззрѣнія одна изъ существенныхъ добродѣтелей человѣка—смиреніе, сознаніе своего ничтожества. Чѣмъ болѣе человѣкъ сознаетъ свое земное ничтожество, тѣмъ легче и сильнѣе зарождается въ немъ вожделѣніе того идеальнаго міра, ради котораго онъ отрекается отъ всѣхъ земныхъ интересовъ и благъ; напротивъ, чѣмъ болѣе онъ придаетъ себѣ значенія, тѣмъ большее значеніе получаетъ въ его глазахъ и земной міръ, въ которомъ онъ призванъ играть видную роль. Ничто же такъ неспособно пробудить въ человѣкѣ сознаніе собственнаго достоинства и значенія, какъ знаніе или власть, ибо знаніе есть также власть. Поэтому Бернардъ говоритъ: „И дьяволъ, и человѣкъ, оба замыслили подняться на высоту превратнымъ способомъ: одинъ—къ знанію, другой—къ власти, оба—къ гордынѣ“ [2]). Бернардъ вмѣсто этого указываетъ другой путь для возвышенія (ascendere). На этомъ пути первая ступень возвышенія - благое дѣяніе; вторая ступень—чистота сердечная, третья—„плодъ назиданія“ - религіозный подъемъ души. Ту же мысль о послѣдствіяхъ знанія Бернардъ проводитъ въ другомъ мѣстѣ, гдѣ онъ прямо противополагаетъ знанію благодать, наполняющую душу молящагося. Исходя

---

[1]) Pers. Sat. 1 v. 27: Scire tuum nihil est, nisi hoc scire te sciat alter, т.-е.: Твое знаніе ничто, если того, что ты это знаешь, не знаетъ другой.

[2]) Sermo de Div. 60. Migne, 183, col. 684.

изъ метафоры о молокѣ и винѣ, подсказанной ему текстомъ, Бернардъ превозноситъ питающую душу молитву и отдаетъ ей предпочтеніе передъ виномъ свѣтской науки, которая опьяняетъ, и любопытствомъ, а не любовью наполняетъ, но не питаетъ; воздымаетъ, но не назидаетъ; поглощаетъ, но не укрѣпляетъ [1].

Здѣсь Бернардъ говоритъ о *свѣтской* наукѣ, но предостереженія его относились, очевидно, въ такой же степени и къ наукѣ богословской, ко всякому *книжному* знанію божественнаго. Мы приводили его письмо къ одному ученому магистру, которому онъ совѣтовалъ предпочитать книгамъ таинственное поученіе природы. Недовѣріе къ книжному знанію въ XII вѣкѣ вполнѣ оправдывается состояніемъ и направленіемъ этого знанія, и хотя самъ Бернардъ въ книжномъ знаніи писанія превосходилъ современниковъ, —оно его не удовлетворяло, и онъ охотнѣе руководился наитіемъ своего религіозно-поэтическаго генія.

Лучше всего можно усвоить себѣ взглядъ Бернарда на знаніе и науку изъ одного мѣста, гдѣ онъ въ образномъ употребленіи излагаетъ свою мысль. Въ этомъ мѣстѣ, которое имѣетъ рѣшающее значеніе для даннаго вопроса, Бернардъ далекъ отъ какого-либо пренебреженія къ знанію. Аллегорически объясняя слова пророка Исаіи о крыльяхъ серафима, Бернардъ отождествляетъ эти крылья съ познаваніемъ и вѣрою (cognitio et devotio). „Можно подниматься, правда, и на крылѣ знанія, но оно недостаточно. Слишкомъ быстро стремится впередъ тотъ, кто задумалъ летѣть однимъ этимъ крыломъ; и чѣмъ выше онъ поднимается, тѣмъ хуже его паденіе. Испытали это на себѣ философы языческіе, которые хотя и познали Бога, но не воздали ему чести, какъ Богу. Но и рвеніе безъ знанія, чѣмъ насильственнѣе стремится впередъ, тѣмъ скорѣе оказывается безсильнымъ. Когда же любовь сопровождаетъ разумъ, а вѣра познаваніе, тогда пусть безъ опасенія взлетитъ тотъ, кто этимъ обладаетъ; пусть летитъ безпредѣльно, ибо онъ летитъ на встрѣчу вѣчности“ [2].

Всѣ возраженія, которыя Бернардъ дѣлалъ противъ односторонняго знанія и противъ злоупотребленія знаніемъ, сосредоточивались для него въ знаніи Абеляра. Здѣсь онъ находилъ и то безплодное знаніе, которое въ его глазахъ было хуже невѣденія; здѣсь онъ видѣлъ на яву, какъ знаніе порождаетъ тщеславіе и кичливость; здѣсь онъ встрѣчалъ знаніе, непримиримое съ его теософіей. Но кромѣ всего этого былъ еще одинъ поводъ,

---

1) Serm. in Cant. 9. Migne, 183, col. 818.

2) Sermo V pro domin. I Nov. Migne, 183, col. 552.

который, можетъ быть, болѣе всего побуждалъ Бернарда выступить въ борьбу съ Абеларомъ. Вопросы, поднятые Абеларомъ, опредѣленія и толкованія, которыя онъ давалъ догматамъ, выходили далеко за предѣлы теоретическаго обсужденія и индивидуальнаго интереса. „По всей почти Франціи, по городамъ, селамъ и замкамъ, не только схоларами (будущими клерикалами) въ ихъ школахъ, но и на улицахъ, и не только людьми образованными и взрослыми, но даже мальчиками, людьми безграмотными и совсѣмъ глупыми, ведутся споры о св. Троицѣ и о Богѣ“ [1]), писалъ Бернардъ отъ имени французскихъ епископовъ къ папѣ. Ученый споръ сталъ общественнымъ дѣломъ, и внутреннія волненія, грозившія церкви, были не менѣе опасны, чѣмъ расколъ, вызванный двойнымъ избраніемъ папы.

Даже побѣда, одержанная Бернардомъ надъ Абеларомъ, не могла искоренить направленія, котораго онъ былъ вождемъ, и самому Бернарду пришлось еще разъ взять на себя борьбу съ однимъ изъ самыхъ видныхъ послѣдователей Абелара и ближнихъ къ нему людей, съ Гильбертомъ де-ла-Порре, епископомъ Пуатье. На еретичность его ученія была подана жалоба въ Римъ и въ то же время Бернарду; папа Евгеній представилъ разслѣдованіе дѣла о Гильбертѣ собору въ Реймсѣ, на которомъ онъ самъ хотѣлъ присутствовать, и поручилъ между тѣмъ аббату Годескальку разобрать книгу Гильберта. Но ученый аббатъ былъ не въ состояніи вести публичный диспутъ, и опять пришлось обратиться къ помощи Бернарда. И на Реймскомъ соборѣ Бернардъ явился страстно краснорѣчивымъ защитникомъ церковнаго ученія противъ схоластическаго раціонализма. О содержаніи спора можно судить по первому положенію его: Гильбертъ проводилъ различіе между божественностью (divinitas) или божественною природою и Богомъ, подобное тому, какое онъ признавалъ между человѣкомъ и человѣчностью (humanitas), т.-е. формой, въ силу которой существуетъ человѣкъ [2]).

Реймскій соборъ интересенъ еще по обнаружившемуся на немъ антагонизму между Бернардомъ и итальянскими кардиналами, вызванному ихъ завистью къ все возростающему его авторитету. Подъ этимъ побужденіемъ кардиналы приняли сторону побѣжденнаго на диспутѣ Гильберта и старались затянуть дѣло, предоставляя себѣ право постановить впослѣдствіи о немъ приговоръ. Опасаясь интриги, присутствовавшее на соборѣ француз-

---

¹) Gieseler, II, 2, p. 396.
²) Текстъ у Gieseler, II, p. 399.

свое духовенство собралось около Бернарда, какъ своего вождя, и подъ его руководствомъ составило декларацію, въ которой оно противопоставило еретическимъ положеніямъ Гильберта обстоятельное разъясненіе своего „символа вѣры“ по даннымъ вопросамъ. Этотъ документъ былъ врученъ папѣ аббатомъ Сугеріемъ съ двумя епископами. Кардиналы были чрезвычайно взволнованы этимъ самостоятельнымъ и твердымъ образомъ дѣйствія французскаго духовенства. Они увидѣли въ этомъ оскорбительное для себя притязаніе со стороны французскаго духовенства рѣшать религіозные вопросы самостоятельно, независимо отъ авторитета Рима. Кардиналы напомнили папѣ, что они его избрали и поставили на вершину церковной власти, и что онъ поэтому не столько принадлежитъ себѣ, сколько имъ. Папа послалъ за Бернардомъ и сталъ совѣтоваться съ нимъ, какъ поступить. Бернардъ объяснилъ, что они вовсе не имѣли въ виду сдѣлать какое-либо постановленіе отъ имени церкви, но такъ какъ Гильбертъ потребовалъ на диспутѣ, чтобы Бернардъ письменно формулировалъ свое ученіе, а онъ считалъ нежелательнымъ выступать въ одиночествѣ въ вопросахъ вѣры,—то онъ и заручился согласіемъ и поддержкой епископовъ. Этимъ способомъ удалось добиться отъ папы осужденія ученія Гильберта, который подчинился авторитету церкви, и въ то же время устранить столкновеніе между французскимъ духовенствомъ и римской куріей.

Такъ охранялъ Бернардъ церковь противъ раздоровъ и внутреннихъ враговъ; могъ ли онъ быть безучастенъ въ ея борьбѣ съ внѣшними врагами? Могъ ли онъ оставаться равнодушнымъ къ великому состязанію христіанства съ исламомъ, въ которомъ монашество играло такую руководящую роль? Въ эпоху Бернарда этой борьбѣ была поставлена новая, опредѣленная цѣль: освобожденіе св. мѣстъ отъ невѣрныхъ, и вражда къ магометанству запылала поэтому съ небывалою силой. Жизнь Бернарда сложилась подъ впечатлѣніемъ того великаго одушевленія, которое было вызвано первымъ крестовымъ походомъ и завоеваніемъ Іерусалима. Взятіе Іерусалима имѣло для людей XII вѣка совершенно особенное, знаменательное значеніе. Мистическій идеализмъ, выступающій такою яркою чертою въ физіономіи этого вѣка и побуждавшій тысячи людей покидать міръ для монастыря, сопровождался въ то же время конкретностью психическихъ впечатлѣній, потребностью чувственнаго образа для мысли, какъ это бываетъ у всѣхъ молодыхъ народовъ. Въ крестовыхъ походахъ

эти господствующія черты вѣка находили себѣ полное удовлетвореніе. Небесный Сіонъ, къ которому поднимались въ своемъ религіозномъ созерцаніи мистики, ради котораго страдали и терзали себя аскеты, воплощался въ земномъ Сіонѣ, къ которому можно было направиться наяву, за который можно было страдать и ратовать съ оружіемъ въ рукахъ. Съ другой стороны, опасный походъ на далекій и невѣдомый востокъ до крайности возбуждалъ богатырскіе, рыцарскіе инстинкты только-что сложившагося феодальнаго воинства. Въ крестовомъ походѣ поэтому слились вожделѣнія и интересы двухъ господствующихъ классовъ средневѣковаго быта духовенства, представляемаго монашествомъ, и рыцарства, и это соединеніе вызвало въ исторіи новый *типъ* „духовнаго рыцаря"—братства воинствующихъ монаховъ или монашествующихъ рыцарей. Четыре года спустя послѣ того, какъ Бернардъ основалъ Клервò, въ Іерусалимѣ девять рыцарей составили, подъ руководствомъ Гуго де Паганисъ, монашеское братство подъ названіемъ „братья воинства и храма", а подъ вліяніемъ ихъ примѣра монашествующее братство при госпиталѣ св. Іоанна въ Іерусалимѣ преобразовалось въ рыцарскій орденъ.

Какъ отнесся къ этому новому воинственному монашеству Бернардъ де-Клерво, этотъ монахъ изъ рыцарской семьи, сынъ Тесселина и Алеты? Несомнѣнно, что новый орденъ пользовался съ самаго начала и сочувствіемъ, и содѣйствіемъ Бернарда. Уже въ 1125 г. онъ привѣтствуетъ сына графа Шампаньи, Гуго (№ 31) за его вступленіе въ рыцарскій орденъ, а въ 1128 году онъ принимаетъ дѣятельное участіе въ соборѣ въ Труа, который далъ новому ордену церковное благословеніе. Былъ ли на этомъ соборѣ составленъ самимъ Бернардомъ первоначальный уставъ храмовниковъ (дошедшій до насъ, такъ сказать, оффиціальный уставъ этого ордена относится къ болѣе позднему времени)—это вопросъ спорный [1]); но онъ утрачиваетъ свое значеніе въ виду того, что нѣсколько лѣтъ спустя Бернардъ написалъ по просьбѣ перваго магистра храмовниковъ, Гуго, трактатъ „во славу новаго воинства".

Этотъ небольшой трактатъ—одно изъ самыхъ характерныхъ произведеній XII-го вѣка. Мало можно найти въ исторіи памятниковъ, такъ сильно проникнутыхъ духомъ эпохи, такъ живо переносящихъ насъ въ ея настроеніе. Съ первыхъ его строкъ мы сами переживаемъ всеобщее одушевленіе крестоносцевъ, намъ

[1]) См. данныя, приведенныя Мабильономъ въ его изданіи сочиненій Бернарда. Migne, 183, Chronol. col. 61 и Admon., col. 910. Осмотрительный Гизелеръ высказывается въ утвердительномъ смыслѣ: II, 2, p. 371.

памятно ликованіе, съ которымъ они шли на смерть, и никакая лѣтопись не можетъ дать такъ много для объясненія крестовыхъ походовъ, какъ этотъ непосредственный взрывъ чувства, породившаго событіе:

„Новый родъ воинства, какъ слышно, недавно возникъ на землѣ и въ той странѣ, которую нѣкогда посѣтилъ Исходящій съ выси (Oriens ex alto),—новый, говорю я, родъ воинства и невѣдомый вѣкамъ; оно неустанно ратуетъ въ двойной борьбѣ, какъ противъ плоти и крови, такъ и противъ духовной неправды. Когда кто храбро сопротивляется однѣми силами тѣла противъ тѣлеснаго врага, я это не признаю достойнымъ удивленія, какъ и не считаю рѣдкимъ. А также, когда кто либо въ доблести своего духа объявляетъ войну порокамъ и бѣсамъ, то я—хотя и считаю это похвальнымъ, но не назову удивительнымъ, такъ какъ монаховъ полонъ міръ. Но когда человѣкъ плоти и человѣкъ духа въ одномъ лицѣ мощно опоясывается, каждый своимъ мечомъ, то кто не сочтетъ достойнымъ всякаго удивленія того, что̀, какъ всѣмъ вѣдомо, до такой степени необычно! По истинѣ неустрашимый воинъ и во всѣхъ отношеніяхъ себя обезопасившій—тотъ, кто тѣло облекаетъ броней желѣза, а душу—бронею вѣры. Снабженный двойнымъ оружіемъ, онъ не боится ни бѣса, ни человѣка. И не страшится, конечно, смерти тотъ, кому смерть желанна. Чего же и опасаться въ жизни или въ смерти тому, чья жизнь въ Христѣ, и для кого смерть есть прибыль? Вѣрно и добровольно онъ стоитъ *за* Христа, и болѣе того—онъ желаетъ умереть, чтобы быть *при* Христѣ.

„Радуйся же, храбрый ратоборецъ (fortis athleta), если ты живешь и побѣждаешь въ Господѣ, но еще болѣе ликуй и похваляйся, когда будешь умирать и соединишься съ Господомъ! Жизнь твоя плодоносна и побѣда полна славы, но по справедливости—той и другой предпочтительна святая смерть. Ибо если блаженны тѣ, кто умираетъ въ Господѣ, то много блаженнѣе тотъ, кто умираетъ за Господа“.

За этимъ началомъ слѣдуетъ художественно написанная параллель между свѣтскимъ воинствомъ, рыцарствомъ, и духовнымъ воинствомъ. Изображеніе перваго полно мѣткой сатиры. Бернардъ описываетъ, съ какимъ сумасбродствомъ рыцари на своихъ покрытыхъ шолковыми попонами коняхъ, съ своимъ расписаннымъ и золоченымъ оружіемъ, въ праздничномъ и драгоцѣнномъ убранствѣ, съ безсмысленнымъ пыломъ летѣли на встрѣчу смерти,—cum tanta pompa pudendo furore et impudenti stupore ad mortem properatis. А самый нарядъ ихъ—какъ онъ нецѣле-

сообразенъ для ратнаго дѣла: длинные, отпущенные по женскому обычаю, волосы падаютъ рыцарямъ въ глаза; въ длинныхъ широкихъ плащахъ запутываются ихъ ноги, широкіе рукава обволакиваютъ ихъ руки. И какой же цѣли служатъ эти большія затраты и тяжелые труды?—рыцарь, убивая противника, совершаетъ смертный грѣхъ или, убитый, на вѣки погибаетъ.

Совершенно другую картину представляетъ *новое воинство*. Изображеніе быта духовныхъ рыцарей у Бернарда—идиллія, которой далеко не соотвѣтствовала историческая дѣйствительность; но это и не вымыселъ, это—изображеніе того идеала, къ которому ордена тампліеровъ и іоаннитовъ стремились приблизиться въ началѣ своего существованія, и который осуществлялся, конечно, немногими. Прославляемый Бернардомъ, идеалъ этихъ духовныхъ воиновъ слагался изъ двухъ элементовъ—монашескаго и рыцарскаго; пока Бернардъ описываетъ мирную жизнь новыхъ воиновъ, ихъ аскетическій подвигъ, его изображеніе не подаетъ повода къ недоразумѣнію и въ наше время, когда такіе подвиги рѣдки; но вотъ Бернардъ мысленно снаряжаетъ и сопровождаетъ своихъ духовныхъ подвижниковъ въ походъ. „Подобно израильтянамъ, они миролюбцами идутъ въ сраженіе; но когда бой открылся, отбросивъ прежнюю кротость, они становятся лютѣе львовъ и кидаются на враговъ, какъ на стадо овецъ". Прославляя новое воинство, Бернарду приходится восхвалять или оправдывать и воинскій подвигъ тампліеровъ.

Этой страницей Бернарда легко воспользоваться для полемики противъ средневѣковаго католичества или аскетизма. Такъ поступилъ, между прочимъ, и Лоранъ въ своемъ почтенномъ при всей своей тенденціозности трудѣ, но выбравъ и сопоставивъ изъ трактата Бернарда всѣ рѣзкія мѣста (ces énormités), въ которыхъ прославляется избіеніе враговъ Христа ради. Но въ этихъ отрывочныхъ выпискахъ мысль Бернарда подвергается искаженію. Бернардъ исходитъ изъ мысли, что свѣтскій воинъ всегда пребываетъ подъ опасеніемъ грѣха: какъ побѣдитель, онъ совершаетъ убійство, побѣжденный—онъ умираетъ безъ покаянія. Не то воины Христовы: они ради Христа наносятъ смерть или переносятъ ее; въ первомъ нѣтъ преступленія, второе—заслуга; въ одномъ случаѣ они сами пріобрѣтаютъ Христа, въ другомъ—совершаютъ пріобрѣтеніе для Христа: „ибо онъ охотно принимаетъ смерть врага мести ради, но еще охотнѣе предоставляетъ свою собственную жизнь искупленія ради. Воинъ Христовъ безъ

[1]) Laurent. Etudes s. l'Histoire de l'Humanité. 2 éd., t. VII, p. 253.

опасенія убиваетъ, съ еще мѐньшимъ опасеніемъ самъ погибаетъ; въ своемъ собственномъ интересѣ онъ умираетъ, въ интересѣ Христа наноситъ смерть. Ибо не даромъ опоясанъ онъ мечомъ: за обиды Христа онъ мститъ и христіанъ защищаетъ. Смертью язычника христіанинъ можетъ хвалиться, такъ какъ этимъ слава Христа возвеличивается; въ смерти христіанина милость Царя Небеснаго проявляется, такъ какъ его воинъ призывается къ наградѣ".

Такимъ образомъ, мысль Бернарда не въ томъ, что, какъ передаетъ ее Лоранъ, Сыну Божію пріятна кровь его враговъ, а въ томъ, что какъ смерть духовнаго рыцаря, такъ и смертельный ударъ, который онъ наноситъ врагу, имѣютъ иное, болѣе высокое, значеніе, чѣмъ обыкновенная воинская сила. Трактатъ Бернарда—не воззваніе къ кровопролитію и рѣзнѣ, а къ подвигу на защиту христіанства, и если избіеніе враговъ обезпечиваетъ торжество царства Христова, то еще угоднѣе Христу жертва собственной жизни, которую ему приноситъ его воинъ.

Съ другой стороны, мы не можемъ, однако, согласиться и съ способомъ оправданія, къ которому прибѣгаетъ расположенный къ Бернарду біографъ, признавая трактатъ „о новомъ воинствѣ" однимъ изъ самыхъ слабыхъ его произведеній, написаннымъ въ раннюю пору его литературной дѣятельности, и полагая, что Бернардъ отнесся бы иначе къ своему предмету въ болѣе зрѣлые годы, когда онъ былъ пресыщенъ горемъ и разочарованіемъ и міръ представлялся ему не романтическимъ сномъ, а горькой реальностью [1]).

Трактатъ этотъ, составленный между 1132 и 1136 годами, совпадаетъ съ эпохой самой горячей и вліятельной дѣятельности Бернарда въ мірѣ и съ первыми его проповѣдями на Пѣсню Пѣсней, самымъ зрѣлымъ изъ его произведеній, а лежащая въ основаніи этого трактата мысль возникала не изъ преходящаго риторическаго или романтическаго увлеченія, а находилась въ коренной связи съ общимъ его міровоззрѣніемъ. Все это міровоззрѣніе вращается около идеи Божескаго царства—царства идеальнаго, мистически созерцаемаго, достигаемаго путемъ аскетизма и въ то же время воплощаемаго на землѣ въ христіанской общинѣ. Это Божеское царство на землѣ нуждается въ защитѣ земными средствами. Самъ Бернардъ посвятилъ себя служенію небесному царству; но почему же тѣмъ, которые *не избрали лучшей доли* [2]), не посвятить себя интересамъ земного

[1]) Morrison, p. 115.

[2]) Aliud sane quidquid melius professi. Lib. ad. mil. T. cap. 3 noigne 182 col. 924.

царства и защитѣ его святыни? Пусть же они „громятъ народы, алчущіе войны, и отражаютъ тѣхъ, кто смущаетъ насъ; пусть изгоняютъ изъ царства Господняго всѣхъ замышляющихъ захватить находящіяся въ Іерусалимѣ неоцѣненныя сокровища христіанскаго народа, осквернить святыни и наслѣдственно завладѣть храмомъ Божіимъ“.

Опровергая положеніе, что христіанинъ не въ правѣ взяться за мечъ для защиты своей святыни, Бернардъ не впадалъ въ противорѣчіе съ тѣмъ, что онъ же осуждалъ преслѣдованіе евреевъ и еретиковъ. Война—не убійство, и Бернардъ отстаивалъ для крестоносцевъ не только право убивать врага, а право умирать съ оружіемъ въ рукахъ. Конечно, оправданіе войны—путь скользкій, и когда Бернардъ заявлялъ, что тамплієръ не „homicida, а, такъ сказать, malicida“ (убиваетъ не человѣка, а зло), то въ этомъ оборотѣ мысли заключался зародышъ позднѣйшаго злоупотребленія, когда папы стали подъ этимъ знаменемъ направлять толпы крестоносцевъ противъ еретиковъ. Но нельзя же возводить на Бернарда обвиненіе за такое искаженіе его мысли, которое противорѣчило его убѣжденіямъ. Его оправданіе, не исключая возможности впасть при этомъ въ софизмъ, коренится въ томъ отождествленіи идеальнаго съ конкретнымъ, которое составляетъ величіе и нравственную силу крестовыхъ походовъ. Такою силою дышетъ воззваніе Бернарда,—и что̀ лучше слѣдующихъ словъ его можетъ увѣковѣчить энтузіазмъ, объявшій по всей Европѣ крестоносцевъ: „Вотъ что̀ творится въ Іерусалимѣ, и смотрите—міръ земной пробуждается. Прислушиваются острова, внимаютъ отдаленные народы и вскипаютъ (ebulliunt) съ востока и запада, подобно потоку, пѣнящемуся славою людскою, подобно напору рѣки, оплодотворяющей царство Божеское“.

Что „прославленіе новаго воинства“ не было юношескимъ увлеченіемъ Бернарда—видно и изъ того дѣятельнаго участія, которое онъ принялъ, лѣтъ десять спустя, въ организаціи второго крестоваго похода.

Посланіе къ рыцарямъ храма хотя и дышетъ воинскимъ пыломъ, но оно составлено въ тиши монашеской кельи; дѣятельность же проповѣдника и организатора крестоваго похода требовала продолжительнаго общенія съ міромъ [1]). Мы поэтому здѣсь снова встрѣчаемся съ основною проблемой жизни Бернарда,—проблемой

[1]) О роли Бернарда въ проповѣди второго крестоваго похода и его отношеніи къ этому дѣлу см. Vacandard, St. Bernard et la Seconde Croisade (въ Revue des questions historiques, 1885, 398); онъ слѣдуетъ выводамъ Неймана: D. h. Bernhard u. die Anfänge des 2 Kreuzzuges. 1882.

всего монашества: бѣгства изъ міра и возвращенія къ нему для воздѣйствія на него. Послѣ продолжительныхъ волненій и странствованій, вызванныхъ папскимъ вопросомъ и борьбою съ ересью, Бернардъ твердо рѣшился заключиться въ монастырь, „не покидать Клерво", исключая ежегоднаго обязательнаго съѣзда аббатовъ въ главномъ монастырѣ ордена Ситò.

Сообщая объ этомъ Петру Клюнійскому, Бернардъ пишетъ: „силы мои надломлены, и у меня законное оправданіе къ тому, чтобы не рыскать (discurrere) по міру, какъ я это дѣлалъ. Я буду сидѣть и молчать"... А папѣ Евгенію онъ пишетъ вскорѣ послѣ этого [1]): „Если бы кто-либо внушилъ вамъ наложить на меня еще лишнюю обузу, знайте, что силъ моихъ не хватаетъ для бремени, которое я уже несу. Я полагаю, что вамъ не безъизвѣстно мое намѣреніе не выходить изъ монастыря". Но ни папа, ни міръ не могли обойтись безъ совѣта и помощи Бернарда. Пятьдесятъ почти лѣтъ крестоносцы обладали Святою Землею. Какъ островокъ среди бушующаго моря, выдѣлялось на дальнемъ востокѣ іерусалимское царство среди магометанскаго міра. Но волны грознаго моря все ближе и ближе подступали къ этому острову, и въ декабрѣ 1144 года Эдесса, оплотъ христіанскихъ владѣній на восточной границѣ, была взята сельджуками при страшномъ кровопролитіи. Путь къ Іерусалиму,—гдѣ въ то время правила женщина, вдова короля Мелизенда,—былъ открытъ. Опасность, грозившая сирійскимъ христіанамъ, и ихъ просьбы о помощи вызвали всего болѣе участія въ той странѣ, изъ которой вышли первыя дружины крестоносцевъ. Молодой Людовикъ VII, мучимый воспоминаніями о церкви, сожженной его солдатами при взятіи городка Витри, со всѣми людьми, искавшими въ ней убѣжища, рѣшился возложить на себя крестъ. Въ Рождество 1145 г. въ Буржѣ на коронаціонномъ съѣздѣ король объявилъ объ этомъ двору. Присутствовавшій епископъ лангрскій, бывшій нѣкогда монахомъ въ Клерво и только-что вернувшійся изъ Палестины, горячо умолялъ короля помочь христіанамъ; осторожный аббатъ Сугерій, главный совѣтникъ короля, высказался рѣшительно противъ похода. Въ своемъ недоумѣніи король и собраніе обратились къ Бернарду и пригласили его въ Буржъ.

„Князья рѣшили,—говоритъ объ этомъ лѣтописецъ Оттонъ, епископъ фрейзингенскій,—вопросить Бернарда, на подобіе божественнаго оракула, какъ слѣдуетъ поступить въ этомъ дѣлѣ". Прибывъ въ Буржъ, Бернардъ „призналъ легкомысленнымъ дать

[1]) Ep. 245, c. 413.

отвѣтъ о такомъ важномъ дѣлѣ по собственному усмотрѣнію“ [1]) и счелъ за лучшее передать его на рѣшеніе Рима, гдѣ на папскомъ престолѣ возсѣдалъ въ то время другой изъ его учениковъ и монаховъ, Евгеній III. Такой образъ дѣйствій Бернарда совершенно согласенъ и съ смиреніемъ, къ которому онъ себя считалъ обязаннымъ, и съ почтеніемъ къ папскому авторитету, наконецъ и съ политическимъ благоразуміемъ; нельзя было успѣшно начинать такое трудное и обще-христіанское предпріятіе, не заручившись одобреніемъ и совѣтомъ главы церкви.

Изъ приведеннаго нами свидѣтельства никакъ, однако, не слѣдуетъ выводить заключенія, чтобы Бернардъ относился съ сомнѣніемъ къ цѣлесообразности и необходимости крестоваго похода. Не вытекаетъ это также изъ словъ біографа Бернарда, бывшаго его секретаря, Гауфрида, заявляющаго, „что крестовый походъ не отъ него получилъ свое начало“ [2]). Ибо „когда сердца многихъ уже были встревожены услышаннымъ ими несчастіемъ, и послѣ того какъ къ Бернарду не разъ, а нѣсколько разъ, по этому поводу, обращался король Франціи, а папа увѣщевалъ его письмами,—онъ, тѣмъ не менѣе, не соглашался ни говорить объ этомъ дѣлѣ, ни давать какой-либо совѣтъ“, пока не былъ побужденъ къ этому общимъ посланіемъ и приказаніемъ папы.

Гауфридъ, какъ явствуетъ изъ предшествовавшихъ этому мѣсту словъ, имѣлъ въ виду оправдать дорогого ему Бернарда противъ нареканій, жертвою которыхъ онъ сдѣлался послѣ неудавшагося похода, и которыя его очень огорчали; онъ поэтому совершенно справедливо и согласно съ другими свидѣтельствами утверждаетъ, что починъ въ этомъ дѣлѣ исходилъ не отъ него.

Нужно въ этомъ случаѣ отличать оффиціальную роль, которую Бернардъ отклонялъ отъ себя въ этомъ дѣлѣ, отъ его сочувствія къ нему. Какъ первое, такъ и второе были вполнѣ согласны съ его воззрѣніями на монашество и на торжество церкви, съ которыми мы уже познакомились. И у насъ есть краснорѣчивое доказательство тому, какъ горячо онъ желалъ побѣды церкви надъ невѣрными, и что въ этомъ отношеніи онъ не нуждался въ увѣщаніяхъ со стороны папъ,—а именно, письмо Бернарда къ Евгенію [3]). Кромѣ своего содержанія, это письмо интересно еще

---

[1]) Gesta Friderici. L. I, c. 34. Извѣстіе Оттона можетъ быть неточно, и Бернардъ не присутствовалъ въ Буржѣ, но обращеніе короля и сеньёровъ къ нему несомнѣнно.

[2]) S. Bern. Vites Prima, l. III, c. 4.

[3]) Письмо это (№ 256) относится къ слѣдующему году, но характеризуетъ общій взглядъ Бернарда на дѣло.

потому, что показываетъ, какъ часто историческія свидѣтельства, вслѣдствіе своей субъективной окраски, нуждаются въ освѣщеніи ихъ подлинными документами.

„Не легковѣсное раздалось среди насъ слово,—пишетъ Бернардъ по поводу палестинскихъ дѣлъ, — очень оно печально и тяжело. Для кого оно печально? Лучше спрошу, для кого оно не печально? Одни сыны злобы не чувствуютъ злобы, не огорчаются общею печалью, но радуются и ликуютъ, что дѣла отчаянныя. Помимо нихъ, скорбь всеобщая, ибо и дѣло общее. Вы хорошо сдѣлали, что похвалили рвеніе нашей французской церкви и подкрѣпили его авторитетомъ вашихъ посланій. Нельзя, говорю я вамъ, въ такомъ общемъ и тяжеломъ дѣлѣ поступать безъ горячности, не слѣдуетъ даже поступать робко". Сославшись на слова Сенеки: „у сильнаго человѣка крѣпнетъ духъ съ затруднительностью дѣлъ", Бернардъ прибавляетъ христіанскій совѣтъ, что вѣрующему человѣку среди невзгодъ слѣдуетъ все болѣе и болѣе довѣрять Богу.

А затѣмъ, указавъ, какъ велика опасность, „что самый зрачокъ ока Христова пораженъ", Бернардъ обращается къ папѣ съ внушительными словами: „Итакъ, слѣдуетъ извлечь изъ ноженъ оба меча, потому что снова Христосъ подвергается страданію. А кому, какъ не вамъ, извлечь ихъ? Оба принадлежатъ Петру: одинъ долженъ быть извлекаемъ его рукою, другой—по его велѣнію, всякій разъ какъ это нужно"...

„Нахожу я, что наступили время и необходимость извлечь оба меча на защиту восточной церкви. Чье мѣсто вы занимаете, къ рвенію того вы не должны относиться съ пренебреженіемъ. Что̀ же это будетъ такое—принимать княженіе и отклонять служеніе? Раздался голосъ: „Иду въ Іерусалимъ, чтобы во второй разъ меня распяли на крестѣ". Если къ этому голосу одни глухи, другіе холодны, то преемнику Петра это не подобаетъ!"

„Итакъ, ты, другъ жениха, покажи себя другомъ въ нуждѣ... Чрезвычайная опасность требуетъ чрезвычайной помощи. Пошатнулось основаніе и угрожаемому разрушенію нужно воспротивиться всѣми усиліями" [1]).

Дѣло, къ осуществленію котораго Бернардъ такъ горячо взывалъ, приняло для него неожиданный оборотъ. „Папа желалъ,— говоритъ лѣтописецъ [2]),—по такому святому дѣлу самъ приложить руку и лично руководить имъ, но мятежъ въ Римѣ его за-

---

[1]) Hegesip. De excidio, III, 2.

[2]) Odo de Diogilo.

держалъ, и онъ возложилъ на Бернарда проповѣдь и, такъ сказать, организацію крестоваго похода".

„Здоровье Бернарда,—говоритъ тотъ же лѣтописецъ,—было слабо, и жизни въ немъ почти уже не было (corpus praemortuum), но монахъ повиновался".

Годъ спустя, въ французскомъ городкѣ Везелé собралась громадная толпа людей всѣхъ сословій. Она расположилась по склону сосѣдняго холма. На вершинѣ холма былъ поставленъ деревянный помостъ, и туда взошелъ Бернардъ въ сопровожденіи короля. Монахъ и сеньёръ, двѣ эмблематическія фигуры среднихъ вѣковъ, высоко парятъ надъ толпой, которая съ благоговѣніемъ взираетъ вверхъ и прислушивается къ слову человѣка, при жизни считавшагося чудотворцемъ и святымъ... По мѣткому выраженію очевидца, блѣдный и исхудалый отъ поста Бернардъ, доведенный какъ бы до призрачности небеснаго духа, уже своимъ видомъ убѣждалъ зрителей прежде, чѣмъ они могли услышать его рѣчь. И вотъ долетѣло до нихъ его слово, твердое, убѣжденное, горячее, увлекательное; толпа дрогнула; единодушный взрывъ религіознаго и воинственнаго энтузіазма огласилъ воздухъ въ общемъ кликѣ: „крестовъ, крестовъ!" Разбросавъ сверху весь приготовленный запасъ крестовъ, Бернардъ долженъ былъ отдать свою рясу, чтобы изъ нея нарѣзать кресты. Новымъ крестоносцамъ былъ данъ годъ для приготовленія къ походу. Собравшись въ Шартрѣ, они потребовали, чтобы Бернардъ сталъ во главѣ воинственныхъ дружинъ. Какъ нѣкогда Петръ Пустынникъ шелъ впереди первыхъ крестоносцевъ, такъ Бернардъ долженъ былъ ихъ вести въ Іерусалимъ. Бернардъ былъ принужденъ умолять папу этому воспротивиться.

„Пусть вамъ будетъ извѣстно,—писалъ онъ ему (№ 256),—что это случилось ни по совѣту, ни по желанію моему, и что даже никакой возможности у меня нѣтъ, по моимъ силамъ, дойти до Палестины. Кто я такой, чтобы мнѣ располагать ратью, чтобы мнѣ выходить передъ ряды вооруженныхъ? что̀ болѣе несовмѣстно съ моимъ призваніемъ, хотя бы и хватило силъ, хотя бы и не было недостатка въ умѣніи?" Умоляя папу пощадить его, онъ, однако, проситъ, чтобы Евгеній руководился не человѣческими, а божественными соображеніями; „какая будетъ воля на небѣ,—заключаетъ Бернардъ,—пусть такъ и случится".

Папа не рѣшился поставить величайшаго изъ монаховъ во главѣ западно-европейскаго рыцарства. Исторія можетъ объ этомъ пожалѣть: она, можетъ быть, лишилась величественной страницы. Конечно, и подъ руководствомъ Бернарда второй крестовый по-

ходъ могъ потерпѣть неудачу, и величественная страница могла имѣть жалкій конецъ. Но Бернардъ былъ не Петръ Пустынникъ; предъ его нравственнымъ авторитетомъ охотно преклонялись самый надменный сеньёръ и самая необузданная толпа, и его непреклонная воля, можетъ быть, отвратила бы много бѣдствій отъ крестоносцевъ.

Какъ бы то ни было, роль Бернарда во второмъ крестовомъ походѣ этимъ не ограничилась: дѣломъ французскаго монаха было привлеченіе къ участію въ немъ Германіи, куда еще не успѣлъ проникнуть пылъ крестоносцевъ. Если первый кличъ къ оружію во Франціи исходилъ не отъ него, то призывъ Германіи осѣниться крестомъ былъ его личнымъ подвигомъ, и не мало понесъ онъ для этой цѣли трудовъ. Начавъ съ Бельгіи, онъ посѣтилъ всѣ важные города по Рейну до глубины Швейцаріи. Король Конрадъ Гогенштауфенъ не хотѣлъ слышать о крестовомъ походѣ: совсѣмъ другія заботы поглощали его вниманіе. Бернардъ былъ принужденъ оставить Конрада, не достигнувъ своей цѣли; но, вернувшись изъ Швейцаріи, онъ еще разъ приступилъ къ нему въ Шпейерѣ. Еще разъ проявилось въ жизни Бернарда безпримѣрное вліяніе его личности на другихъ людей въ величественной сценѣ въ Шпейерѣ, когда онъ, во время обѣдни, сталъ призывать короля дать отчетъ Богу за благодѣянія, которыми Онъ его осыпалъ, и Конрадъ, какъ будто стоя предъ страшнымъ судьею, въ слезахъ призналъ себя виновнымъ и принялъ на себя крестъ.

Но еще величественнѣе, можетъ быть, проявилось вліяніе Бернарда на толпу, которая не знала его языка. Бернардъ засталъ жителей прирейнскихъ городовъ въ большомъ волненіи: другой монахъ того же ордена поднималъ толпу противъ враговъ Христа, но указывалъ ихъ вблизи, въ лицѣ евреевъ, война съ которыми была легче и обѣщала больше добычи. И началось ихъ избіеніе; но явился Бернардъ и на дѣлѣ провелъ великое слово свое о терпимости къ евреямъ. Толпа роптала, онъ отнималъ у нея добычу, но смирилась передъ нимъ, и монахъ-фанатикъ Радульфъ скрылся въ своей кельѣ.

Эту толпу Бернардъ исполнилъ энтузіазма, внушая ей желаніе *умирать* за Христа, и она всюду тѣснилась около него; она видѣла въ немъ не только вдохновеннаго проповѣдника, но чудотворца.

Ни съ какой порой его дѣятельности не связано такъ много разсказовъ о чудесныхъ исцѣленіяхъ, имъ произведенныхъ, какъ съ его путешествіемъ вдоль Рейна. Мы не послѣдуемъ за нимъ

на этомъ пути. Остановимся только на одномъ эпизодѣ, который заключаетъ въ себѣ историческую картину и символическую сцену. Во Франкфуртѣ-на-Майнѣ напоръ толпы, желавшей видѣть Бернарда и дотронуться до него, былъ такъ великъ, что жизнь Бернарда подвергалась опасности. Напрасны были всѣ усилія самого короля Конрада, тутъ же находившагося, оберечь Бернарда. Тогда мощный Гогенштауфенъ, сбросивъ съ плечъ свой королевскій плащъ, схватилъ въ свои объятія монаха и, высоко поднявъ надъ толпой, вынесъ его изъ собора на своихъ рукахъ.

В. Герье.

МИМОЧКА НА ВОДАХЪ

ОЧЕРКЪ.

Окончаніе *).

Въ концѣ іюля, въ послѣднихъ числахъ этого мѣсяца, когда у насъ на сѣверѣ уже краснѣетъ и наливается рябина, а въ Желѣзноводскѣ на лоткахъ смуглыхъ торговцевъ фруктами появляются горы абрикосовъ и персиковъ, въ одно прекрасное утро къ Мимочкѣ явились двѣ незнакомыя дамы и попросили ее, отъ имени прочихъ домовладѣлицъ города Желѣзноводска, принять участіе въ благотворительномъ праздникѣ въ пользу дѣтскаго пріюта. Мимочка изъявила согласіе. Она продавала на многихъ благотворительныхъ базарахъ въ Петербургѣ, и это было даже однимъ изъ ея любимыхъ развлеченій.

И въ назначенный день Мимочка, въ нѣжнѣйшемъ платьѣ цвѣта pêche, стояла за столомъ, убраннымъ зелеными гирляндами и флагами, и продавала чай. Рядомъ съ нею продавали печенье, фрукты и конфекты баронесса Бенкенштейнъ въ голубомъ, Черешнева въ красномъ, и еще двѣ дамы изъ желѣзноводскихъ „сливокъ", одна въ бѣломъ, другая въ платьѣ цвѣта раздавленной земляники.

На другомъ концѣ площадки стояли столы съ аллегри, гдѣ продавали актрисы, съ толстой Борисовой во главѣ. Ленскія были наряднѣе обыкновеннаго и даже подмазались для вящшаго эффекта.

Maman и офицеръ изъ дивизіи Спиридона Ивановича помогали Мимочкѣ наливать и подавать чай; докторъ Варяжскій по-

*) См. выше: февр., 526 стр.

могалъ Черешневой; l'homme au chien былъ помощникомъ баронессы. Мимочка видѣла, что теперь неизбѣжно состоится знакомство съ нимъ, но на этотъ разъ это не пугало ее. Баронесса уже и раньше заговаривала съ ней въ ваннахъ, такъ что при встрѣчахъ онѣ уже раскланивались... Баронесса нравилась Мимочкѣ. Она была немножко эксцентрична, но очень мила. Къ тому же elle était bien née et bien apparentée, чтò очень цѣнила maman. Баронесса пріѣхала сюда съ барономъ, который пробылъ въ Желѣзноводскѣ пять дней и поѣхалъ дальше, оставляя жену лечиться. И она лечилась, подобравъ себѣ веселое и молодое общество, въ которомъ l'homme au chien игралъ не последнюю роль. На праздникѣ и maman познакомилась съ баронессой, и такъ какъ maman была гораздо разговорчивѣе и общительнѣе, чѣмъ Мимочка, то послѣдовали взаимныя приглашенія. Тѣмъ временемъ Мимочкѣ представили *его*, l'homme au chien.

Какъ Мими была граціозна и мила въ этотъ вечеръ, какъ она улыбалась, пересчитывая деньги и отдавая сдачу! Какъ-то само собою случилось, что *онъ* сталъ ея помощникомъ, а офицеръ ея дивизіи перешелъ къ баронессѣ. Съ нимъ было такъ легко, такъ просто говорить—не то, что съ Варяжскимъ, который все какъ будто подсмѣивался. Для вступленія Мимочка спросила его:—Вы въ первый разъ на Кавказѣ?—Она всѣмъ говорила это. О, нѣтъ, онъ уже четвертое лѣто ѣздилъ сюда, какъ на дачу. Четыре года тому назадъ онъ пріѣхалъ сюда больной, грустный, усталый, съ тяжелымъ бременемъ на душѣ, и здѣсь онъ нашелъ успокоеніе и исцѣленіе.... Съ той поры... И разговоръ пошелъ у нихъ легко и свободно. Мимочка была молчалива и ненаходчива, но онъ могъ говорить за двоихъ, и спрашивать, и отвѣчать. А она только слушала, улыбалась, кивала головой и, слѣдя за рѣчью, поднимала на него свои глаза мадонны, которые говорили что-то, отъ чего онъ дѣлался еще веселѣе и краснорѣчивѣе. А maman, глядя на него сбоку въ лорнетъ, наводила о немъ справки. Знала ли баронесса его раньше? Еще бы! Она давно его знаетъ, онъ—другъ ея мужа. Онъ—адвокатъ изъ Кіева, богатый человѣкъ, то-есть женатъ на богатой, на дочери кіевскаго заводчика и землевладѣльца. Жена его—прелестная женщина, только немножко дика и серьезна. Она мало выѣзжаетъ, потому что занята дѣтьми, но они приняты въ лучшемъ обществѣ. Теперь жена его съ дѣтьми у себя въ имѣніи, а онъ ѣздитъ сюда каждое лѣто пить воды. Онъ вполнѣ порядочный человѣкъ... И maman, выслушавъ все это и покивавъ головой, пригласила къ себѣ и Валеріана Николаевича.

Базаръ кончился. Выручка была чудесная, и дамы бомонда выручили на пятнадцать рублей больше, чѣмъ дамы демимонда. Черешнева особенно этимъ гордилась. Баронесса устала и говорила, что она умираетъ. Мимочка же чувствовала себя молодцомъ. Какъ она поправилась, какъ она поправилась!

Она пошла еще съ maman и съ Валеріаномъ Николаевичемъ на танцовальный вечеръ. Она, конечно, не танцовала, но сидѣла и смотрѣла, какъ танцуютъ. Валеріанъ Николаевичъ сидѣлъ подлѣ нея и острилъ насчетъ танцующихъ. По желанію князя Джумарджидзе, княжна Ардживанидзе и князь Какушадзе протанцовали лезгинку. На балконѣ поручикъ Никеладзе перепилъ кахетинскаго и, обнаживъ кинжалъ, грозилъ заколоть содержателя гостинницы Чихвадзе за то, что ему подали черствую курицу. Во всѣхъ комнатахъ Чихвадзе стоялъ запахъ жаренаго сала и кухоннаго чада. Докторъ Бабанинъ въ черкескѣ и съ нагайкой въ рукѣ похаживалъ между своими паціентами и паціентками, подбирая компанію для ночной поѣздки на Бештау. Музыканты въ папахахъ и красивыхъ бѣлыхъ костюмахъ дудили во всю мочь лезгинку, подъ задирающіе звуки которой княжна Ардживанидзе порхала въ волнахъ кухоннаго чада.

Maman такъ воодушевилась, что рѣшила покутить. Съ ея разрѣшенія, Валеріанъ Николаевичъ велѣлъ подать дамамъ кахетинскаго и шампанскаго и заказалъ шашлыкъ и чихиртму. Сѣли ужинать. „Кавказъ предо мною...“ —декламировалъ Валеріанъ Николаевичъ, наливая Мимочкѣ кахетинскаго, а она ловила вилкой пережженые кусочки баранины и говорила, улыбаясь: „Mais c'est excellent, le chachlyk!“

Валеріанъ Николаевичъ проводилъ ихъ домой. Былъ чудный вечеръ. Полная луна плыла по небу, заливая нѣжнымъ свѣтомъ бѣлые домики и дремлющіе сады... Прощаясь, maman еще разъ пригласила его заходить.

Мимочка долго еще улыбалась, придя домой. Maman непріязненно вспоминала скушанный шашлыкъ и искала баночку съ nux vomica. А Мимочка стала завивать свои кудри на лбу и, завиваясь, думала о *немъ*, вспоминала его лицо, его взгляды. Какъ онъ долженъ нравиться женщинамъ и своей женѣ! Какая у него жена?.. Отчего она не съ нимъ? Можетъ быть, она гадкая, некрасивая... А можетъ быть—красавица... Чтò онъ говорилъ ей? Какъ онъ хорошо говоритъ, и умно, и свободно!.. Она никого не знаетъ, кто бы такъ хорошо говорилъ. И какъ просто и хорошо она себя съ нимъ чувствуетъ! Какой онъ хорошій человѣкъ! И какъ все вышло удачно. Они познакомились такъ при-

лично. Она не искала его знакомства, не уронила своего женскаго достоинства... Все случилось само собой. Жаль, что тогда въ дорогѣ они переглядывались. Было бы еще лучше, еслибы и этого не было. Но это пустяки, и онъ очевидно позабылъ объ этомъ... О, онъ такой порядочный человѣкъ! Онъ никогда себѣ ничего не позволитъ; положимъ, и она не допуститъ...

Какъ хорошо, что они познакомились! Между ними можетъ установиться хорошая, чистая дружба. Онъ именно можетъ быть такимъ другомъ, какого она желала!.. Онъ ей нравится... И онъ такъ уменъ. Онъ можетъ дать ей именно то, чего ей не достанетъ... У нея нѣтъ друга, товарища, подходящаго ей по возрасту, умнаго, интереснаго въ разговорѣ и притомъ вполнѣ честнаго и порядочнаго... А онъ ли не честный и не порядочный?! Еще нѣсколько такихъ людей, и у нея составится свой симпатичный ей кружокъ, въ которомъ ей будетъ весело и пріятно и въ которомъ она будетъ отдыхать душой отъ гнета и горечи, которой не можетъ не оставлять ей въ душѣ ея неравный (ну, да, конечно, неравный) бракъ. И, конечно, кружокъ этотъ будетъ состоять только изъ вполнѣ порядочныхъ и приличныхъ людей. Ей не надо дикаго веселья. Она не хочетъ быть такой легкомысленной, какъ Нетти, и такой tapageuse! Боже сохрани! Она никогда не вступитъ на опасную дорогу. Ей не нужно ничего дурного. Она хочетъ только пріобрѣсти друзей, честныхъ, порядочныхъ людей, съ которыми она могла бы встрѣчаться и говорить о томъ, чтò ее интересуетъ. Одного такого друга она уже нашла. Онъ женатъ, она замужемъ, оба несвободны, слѣдовательно ничто не можетъ мѣшать ихъ дружескимъ отношеніямъ. Какъ хорошо, что они познакомились!

„Что-то онъ теперь дѣлаетъ?“ думала Мимочка, закручивая передъ зеркаломъ двѣнадцатую и послѣднюю папильотку. „Думаетъ ли обо мнѣ? Чтò онъ думаетъ?..“

И раздѣвшись и задувъ свѣчу, Мимочка опустила на подушку свою хорошенькую головку, увѣнчанную рядомъ крѣпкихъ папильотокъ... Но и мысли, и папильотки, цѣпляясь одна за другую, мѣшали ей заснуть... Что-то онъ думаетъ, чтò онъ дѣлаетъ?..

А Валеріанъ Николаевичъ, воротясь въ гостинницу, подсѣлъ къ князю Какушадзе, съ которымъ онъ наканунѣ познакомился, и, наливая себѣ кахетинскаго, сказалъ:—Ну, познакомился я съ моей генеральшей. Умомъ не блещетъ, но въ глазахъ у нея—море. И ручка, ножка!..—И Валеріанъ Николаевичъ послалъ воздушный поцѣлуй по адресу Мимочки.

На другой день они поѣхали верхомъ въ Карасъ. Кавалькада состояла изъ девяти человѣкъ, но Мимочка ѣхала съ нимъ въ парѣ, и были минуты, когда они оставались совсѣмъ одни. Онъ говорилъ еще больше, чѣмъ наканунѣ. Откуда только у него бралось! И съ какой легкостью переходилъ онъ отъ одного предмета къ другому. Мимочка спросила его, давно ли у него его собака? Прямо съ отвѣта на этотъ вопросъ онъ перешелъ къ любви. И полилось, и полилось...

Онъ говорилъ, что жизнь безъ любви скучна, какъ безводная пустыня, что женщина живетъ одной любовью, что внѣ ея она бьется какъ рыбка на пескѣ, что женщины извращены, искажены нелѣпымъ воспитаніемъ, что онѣ добровольно налагаютъ на себя цѣпи и оковы, подъ тяжестью которыхъ потомъ изнемогаютъ. И еслибы сейчасъ сказать женщинамъ, что завтра конецъ міра, конецъ жизни, что рушится зданіе предразсудковъ и условныхъ понятій, онѣ сбросили бы маску, обнажили бы свои чувства, желанія, заговорили бы живымъ, настоящимъ языкомъ... Плотина бы прорвалась... И стишокъ изъ Гейне, и стишокъ изъ Байрона... тутъ латинская цитата, тамъ куплетъ изъ оперетки...

Любовь двигаетъ міромъ. Любовь—цвѣтъ жизни, это ея ароматъ, ея благоуханіе. Она—вѣнецъ, она—куполъ въ зданіи человѣческаго счастья... Какъ хорошо сказалъ Мюссé... А Шиллеръ, говоря... А Боделэръ, а Сѣченовъ, а Фетъ, а царь Соломонъ, а Дранморъ, а Кузьма Прутковъ!..—Извольте разобраться въ этомъ поэтическомъ хаосѣ!

Лошадь Мимочки хлопала ушами, а сама Мимочка поправляла пряди волосъ, выбившіеся изъ-подъ шляпки, и была хороша, какъ кавказское солнце.

Они ѣхали рядомъ по лѣсной тропинкѣ. Зеленыя вѣтки били ихъ по головамъ, и онъ отклонялъ ихъ рукою, а она низко наклоняла головку. Впереди слышенъ былъ топотъ лошадей, смѣхъ и возгласы баронессы и ея спутниковъ.

Неожиданная гроза застигла ихъ въ лѣсу. Мимочка вообще боялась грозы, но съ нимъ ей не было страшно, только жутко и весело. Хлынулъ дождь, и вся кавалькада понеслась бѣшенымъ карьеромъ. У него была съ собой бурка, которую онъ накинулъ на плечи Мимочкѣ. Прискакавъ въ Карасъ, всѣ забились въ какой-то сарай, чтобы укрыться отъ дождя. Гроза продолжалась. Молнія сверкала между горъ, и громъ гремѣлъ надъ головами вымокшей компаніи. Всѣ были веселы и возбуждены быстрой ѣздой; особенно баронесса была въ восторгѣ и находила свой пикникъ необыкновенно удачнымъ. Прислуга разставляла въ

сараѣ столы и скамейки, ставили самоваръ, выкладывалась провизія, вино... Стали пить чай. Въ сарай прискакала еще компанія доктора Бабанина, тоже измокшая. Баронесса пригласила ихъ къ чаю. Общество соединилось, и стало еще веселѣе. И Мимочка, сбросивъ бурку, пила коньякъ, который подливалъ ей Валеріанъ Николаевичъ. Онъ же подавалъ ей чай, и служилъ ей, и занималъ ее, и ей было такъ весело, что она даже перестала печалиться о томъ, что у нея развились локоны.

Когда гроза стихла и на небѣ выплыла луна, компанія размѣстилась въ трехъ лодкахъ и каталась по озеру. Кто-то пѣлъ, баронесса гребла. Докторъ Бабанинъ, въ черкескѣ и съ нагайкой въ рукѣ, переплылъ верхомъ озеро. И домой вернулись поздно, поздно. Мимочка устала, но не жалѣла о томъ, что поѣхала. И какой былъ воздухъ послѣ грозы! Какая ночь! Какая луна!

Начался рядъ свѣтлыхъ, беззаботныхъ дней. Вставая, Мимочка уже знала, что сейчасъ она увидитъ его. И дѣйствительно, они встрѣчались на утренней музыкѣ. А разъ они были вмѣстѣ— это было уже хорошо, это было главное, все остальное было второстепенно. У нихъ установились хорошія дружескія отношенія, въ которыхъ не было ничего, ничего предосудительнаго. Они встрѣчались, гуляли, говорили, смѣялись надъ баронессой и ея знакомыми. Онъ разсказывалъ ей эпизоды изъ прошлаго баронессы, потомъ разсказывалъ ей, что̀ онъ дѣлалъ безъ нея, съ кѣмъ видѣлся, о чемъ думалъ, и затѣмъ они сговаривались, какъ провести вечеръ: ѣхать ли верхомъ, идти ли въ концертъ. Если не о чемъ было говорить,—онъ говорилъ о любви, декламировалъ Фета, Мюссé или Байрона, но никогда не позволялъ себѣ ничего лишняго, и конечно, и она не допускала.

Мимочка знала, какая прическа, какія изъ ея платьевъ нравятся ему, и старалась угодить ему. Она ласкала Рекса, а Валеріанъ Николаевичъ, со своей стороны, пріобрѣлъ благосклонность и расположеніе Мосеньки. Онъ давалъ Мимочкѣ драгоцѣнныя указанія насчетъ туалета. У него былъ тонкій и изящный вкусъ; онъ зналъ толкъ и въ кружевахъ, и въ сочетаніи красокъ. Вообще онъ многому, многому могъ научить Мимочку.

Оба они любили музыку и не пропускали ни одного концерта. И когда Мимочка, сидя съ нимъ рядомъ, слушала романсы, ей казалось, что это совсѣмъ не та музыка, которую она слышала зимой, сидя въ залѣ Дворянскаго Собранія, рядомъ съ Спиридономъ Ивановичемъ. Или Козелковъ пѣлъ лучше Фигнера, или

она теперь такъ поправилась, что все казалось ей въ другомъ цвѣтѣ, только это была совсѣмъ, совсѣмъ другая музыка. Maman рѣдко являлась въ концерты: и расходъ останавливалъ (для себя maman была скуповата), да и надо же было кому-нибудь оставаться съ Вавой, которая любила рано ложиться спать и терпѣть не могла курзала. И Мимочка ходила въ концерты съ Валеріаномъ Николаевичемъ. Просидѣвъ вечеръ въ залѣ, они возвращались домой. Онъ велъ ее подъ руку и тихо напѣвалъ только-что слышанныя мелодіи. А она поднимала къ звѣздамъ свои глаза мадонны, и затѣмъ переводила ихъ не него, и глаза ихъ встрѣчались и говорили другъ другу что-то нѣжное и дружелюбное, чего не смѣли выговорить уста, потому что онъ ничего-ничего себѣ не позволялъ и она не допускала.

Имъ было хорошо. И все, что̀ окружало Мимочку, все, что̀ она видѣла и слышала, эти темныя горы, и зеленый лѣсъ, и мерцанье звѣздъ, и сіянье мѣсяца, конскій топотъ, шелестъ вѣтокъ, говоръ толпы, романсы пѣвцовъ и пѣвицъ, свистъ кузнечиковъ—все это было декораціей и оркестромъ въ той новой и сладкой аріи, которую пѣлъ ей голосъ природы.

Разбираться въ своей душѣ ей было некогда, да она и не умѣла. Тревожиться не было повода. Ничего не случилось. Ей просто доставляло удовольствіе знакомство и общеніе съ такимъ умнымъ, съ такимъ милымъ человѣкомъ. Вотъ съ кѣмъ не скучно, такъ не скучно! И Мимочка говорила Вавѣ:—Я еще не встрѣчала такого умнаго и образованнаго человѣка. Какъ онъ говоритъ по-французски, по-нѣмецки, по-англійски! Какой умъ, какая память! Съ нимъ можно говорить цѣлый день и не замѣтишь, какъ пройдетъ время.—Вавѣ онъ не нравился, но что̀ она понимала, глупая дѣвчонка! За то maman полюбила и ласкала Валеріана Николаевича и говорила Мимочкѣ:—А Валеріанъ Николаевичъ не зайдетъ къ намъ сегодня? Попроси его на чашку чая.—И Валеріанъ Николаевичъ приходилъ, и пилъ чай, и терпѣливо слушалъ разсказы maman, и былъ такъ рыцарски почтителенъ съ Мимочкой, что maman едва удерживалась отъ желанія обнять его. Maman находила его красавцемъ; она находила, что онъ даже лучше гусара Анютина, стяжавшаго такую громкую славу на минеральныхъ водахъ.

И Катя-горничная, застегивая ботинки на крошечныхъ ножкахъ Мимочки, говорила, ловко дѣйствуя крючкомъ:—Какой хорошій баринъ, какъ они мнѣ нравятся! Даша номерная съ ихъ человѣкомъ знакома, такъ, говоритъ, очень хорошій баринъ. У нихъ свой домъ въ Кіевѣ. И такой добрый баринъ, говоритъ...

„О, да, думала Мимочка, и главное—такой умный!“

Вечеромъ, ложась спать, она старалась припомнить, чтò онъ ей говорилъ. Это было трудно, потому что онъ говорилъ такъ много. Но чтò она помнила хорошо—это его взгляды. Какъ онъ посмотрѣлъ на нее, когда они повернули на Грязнушку, а потомъ—когда онъ напѣвалъ „Азру“ и она спросила у него слова. О, какіе у него глаза, какіе глаза! Хорошо, что онъ такъ уважаетъ ее, потому что, не уважай онъ ея, кажется, она боялась бы за себя. Теперь, конечно, она спокойна. Она уже достаточно узнала его для того, чтобы быть увѣренной въ томъ, что онъ никогда ничего себѣ не позволитъ. Она—порядочная женщина, она не такая, какъ Нетти. Она его любитъ, какъ друга... Будь она свободна—можетъ быть, она полюбила бы его иначе. Конечно, зная его, она не выбрала бы другого... Но она не свободна, и любитъ его только какъ друга. Это такъ хорошо, такая дружба!..

И въ темнотѣ Мимочка открывала глаза и представляла себѣ свой романъ въ будущемъ. Она ему нравится. Понемногу онъ увлечется ею, полюбитъ ее, полюбитъ настолько, что поѣдетъ за ней въ Петербургъ. И онъ будетъ страдать отъ ея жестокости, бѣдный! милый!—все будетъ страдать и, наконецъ, объяснится. И она сама будетъ страдать, но скажетъ ему: „И я васъ люблю, давно люблю, но долгъ и мои обязанности... Мы должны разстаться“. И они разстанутся, бѣдные!.. Какъ они будутъ страдать. Но что-жъ, когда нельзя иначе... И Мимочка вздыхала и переворачивала подушку и поправляла сбившуюся простыню. Въ комнатѣ, съ открытой на балконъ дверью, было душно и жарко. А рядомъ неугомонная вдова пѣла:

„И ночь, и любовь, и луна“...

А офицеръ съ иниціативой кашлялъ и громко зѣвалъ.

— Они тебѣ заснуть не даютъ, несносные! Я сейчасъ закрою дверь,—говорила maman, вставая, и, понижая голосъ до шопота, чтобы не разбудить уснувшую Ваву, она прибавила: — Представь, чтò я сегодня видѣла: они при мнѣ поцѣловались. Такъ, pour tout de bon... Я выхожу на балконъ юбку встряхнуть, а они какъ сидѣли, такъ и поцѣловались... Шопенгауеръ на столѣ, а они цѣлуются. Какая гадость!

День шелъ за днемъ, не принося съ собой большихъ перемѣнъ. Леченье Мимочки близилось къ концу, и maman отмѣчала уже въ своемъ календарѣ день переѣзда въ Кисловодскъ.

Вава лечилась, гуляла, читала и бесѣдовала и спорила до хрипоты со своими новыми друзьями о безсмертіи души, о женскомъ вопросѣ, о мысляхъ и взглядахъ Льва Толстого.

Мимочка беззаботно и весело флиртовала съ Валеріаномъ Николаевичемъ. Катя-горничная не менѣе весело флиртовала съ Давыдомъ Георгіевичемъ, а maman играла въ пикетъ съ желчнымъ сановникомъ или сворачивала себѣ шею, слѣдя за чужими романами. И Вава, и Мимочка поправлялись и хорошѣли съ каждымъ днемъ, и maman, съ радостью отмѣчая это, говорила своему партнеру:

— Вотъ вѣдь какъ у насъ любятъ хвалить все иностранное и унижать свое родное. Чего-чего намъ не говорили о Кавказѣ! А какъ мои здѣсь поправились! Еслибы вы видѣли мою дочь весною... Это былъ призракъ! Мы боялись чахотки. Вы знаете, наши воды выше заграничныхъ.

Старичокъ-партнеръ даже не улыбался и, сдавая карты костлявыми пальцами, возражалъ maman. Онъ не брался судить о дамскихъ болѣзняхъ,—это было внѣ сферы его компетентности. Можетъ быть, дамы здѣсь и поправляются, можетъ быть... Но что касается нашего брата-мужчины, то онъ смѣло можетъ сказать, что здѣсь поправляются только здоровые. Поправляются здѣсь доктора; эти разбойники славно поправляютъ здѣсь свои обстоятельства... Олухи, которые не умѣютъ отличить геморроя отъ катарра кишечника (старичокъ перемѣнилъ уже четырехъ докторовъ и признавался maman, что не перевариваетъ и пятаго). Они здѣсь волочатся, флиртуютъ, скачутъ верхомъ, какъ ошалѣлые, а больные терпятъ всякія невзгоды. И чего смотритъ правительство? У коммиссара подъ носомъ берутъ взятки. Грабежъ, расхищеніе, безпорядокъ... Дайте срокъ!.. Если пятый докторъ не уморитъ сановника, онъ еще напишетъ о нихъ статью подъ заглавіемъ: „Наши воды и наши врачи". И они себя узнаютъ, они себя узнаютъ... Дайте срокъ!..

Maman кротко и снисходительно улыбалась, разбирая свои карты. Стоило ли спорить съ человѣкомъ, замученнымъ собственнымъ желудкомъ и печенью! Гдѣ ему было переварить своего доктора, когда онъ не могъ переварить и своего обѣда!.. И съ добрѣйшей улыбкой, голосомъ, который maman умѣла сдѣлать мягче миндальнаго масла, она говорила ему:—А знаете, чтò я посовѣтовала бы вамъ попробовать. Простое, но испытанное средство. Зять мой много лѣтъ страдалъ упорнѣйшимъ катарромъ. И лечился, и ѣздилъ на воды. А знаете чтò ему помогло. Я васъ научу. Щепоточку, такъ чуть-чуть на кончикѣ ножа...—и т. д.

Былъ жаркій, жаркій день. Мимочка, выйдя изъ ванны, поднялась въ гору и сѣла на скамейку, на которой она обыкновенно отдыхала послѣ ванны. Она была въ легкомъ батистовомъ платьѣ и, несмотря на это, едва дышала. Жара непріятно дѣйствовала ей на нервы; къ тому же и на душѣ у нея было неладно. Наканунѣ они поссорились, и теперь ей было стыдно и досадно на себя. Онъ разсердился на нее вчера и сказалъ, что въ Кисловодскъ не поѣдетъ, а поѣдетъ прямо изъ Желѣзноводска въ деревню къ баронессѣ, которая его приглашала. Разсердился онъ за то, что Мимочка не захотѣла вчера ѣхать съ нимъ вдвоемъ верхомъ и сказала ему, что это „неловко"! О, какая она дура, какая дура! Теперь она рада была бы отдать полжизни, чтобы вернуть это слово. Какъ это было грубо и глупо! Она показала, что она боится. И чего ей бояться? Развѣ она не ѣздила вдвоемъ съ Варяжскимъ, развѣ она не ѣздила съ офицеромъ своей дивизіи, развѣ баронесса не ѣздила вдвоемъ съ нимъ, съ Валеріаномъ Николаевичемъ? И что-жъ? Шокировало это кого-нибудь?—нисколько. Неловко, неловко!.. О, какая она дура! И что̀ онъ теперь о ней думаетъ? Боже мой, что̀ же ей теперь дѣлать, какъ поправить это? Теперь они разстанутся холодно и враждебно, и если онъ о ней и вспомнитъ когда-нибудь, то только какъ о дурѣ и идіоткѣ. Но нѣтъ, это невозможно; неужели они такъ и разстанутся?

Вотъ и онъ. Онъ подошелъ къ ней съ серьезнымъ и торжественнымъ выраженіемъ лица и холодно поклонился ей. Потомъ заговорилъ о погодѣ и, попросивъ позволенія сѣсть съ ней рядомъ, сѣлъ на противоположный конецъ скамейки. О, какимъ холодомъ вѣяло теперь отъ его элегантной фигуры! Вершина Эльборуса не могла быть холоднѣе. И отъ сосѣдства этого Эльборуса у Мимочки холодѣли ручки и ножки, и ей хотѣлось плакать.

А солнце было жаркое и воздухъ горячій и удушливый. Природа томилась зноемъ. Потрескавшаяся, сухая земля молила небо о дождѣ; пышно разросшіяся деревья стояли угрюмо и лѣниво; ни одинъ листокъ не шевелился и по всей скалѣ снизу до верху звонко свистали кузнечики.

Разговоръ не клеился. Мимочки было стыдно до-нельзя. Она чувствовала, что теперь она уронила свое генеральское достоинство, и мучилась, придумывая, что̀ бы ей сказать.

Валеріанъ Николаевичъ молча наслаждался ея волненіемъ, ея смущеніемъ. Мимочка нравилась ему не только своей наружностью, но и своей молчаливостью и ненаходчивостью. Какъ она умѣла слушать! Въ глазахъ Валеріана Николаевича это было

драгоцѣнное качество, потому что онъ любилъ говорить одинъ. Какъ надоѣли ему эти болтливыя женщины съ претензіями на умъ и остроуміе, которыя что-то читаютъ, о чемъ-то болтаютъ, перебиваютъ, не дослушавъ, придираются къ смыслу сказаннаго, запоминаютъ слова... То ли дѣло Мимочка! Въ ней бездна женственности. Въ ней есть то, чтò поэтъ называетъ: das ewig Weibliche... Она не умна, да; но въ ней это такъ мило. И на чтò ей умъ? Чтò прибавилъ бы онъ къ этому чистому, ясному взгляду? У нея есть тактъ и грація. Хоть она и не умна, но она очень мило держитъ себя: ни лишней развязности, ни лишней застѣнчивости. Очень, очень она мила, и давно уже никто ему такъ не нравился. Развязку онъ предполагалъ въ Кисловодскѣ, а вчерашнимъ вечеромъ, по программѣ его, должна была послѣдовать предварительная поѣздка en tête-à-tête для того, чтобы приручить Мимочку и успокоить ея тревогу, такъ какъ онъ видѣлъ, что она все-таки на-сторожѣ... И вдругъ она не поѣхала. Скажите! Такъ вотъ мы какъ!.. Хорошо! Теперь надо наказать ее за это и заставить ее попросить его пріѣхать въ Кисловодскъ.

И онъ сидѣлъ подлѣ нея, грустно и холодно глядя передъ собой и сбивая палкой верхушки травы. Разговоръ не клеился.

Мимо прошла сестра актрисы Ленской. Старичокъ, тающій, какъ свѣча, отъ близости красавицы подъ лучами кавказскаго солнца, велъ ее подъ руку.

Мимочка заговорила о ней. Ленскія очень интересовали ее, потому что она долго ревновала къ нимъ Валеріана Николаевича, и она часто разспрашивала его о нихъ. Онъ, смотря по настроенію, или превозносилъ ихъ до небесъ, или смѣшивалъ съ грязью. На этотъ разъ Ленская подвернулась въ удачную для нея минуту. Валеріанъ Николаевичъ принялся возвеличивать ее. Это была женщина. Она достойна была носить высокое, святое имя женщины... Она жила и давала жить другимъ. Она, какъ солнце, освѣщала, согрѣвала всѣхъ, кто дышалъ въ ея близости... Когда она состарится и будетъ умирать, совѣсть ни въ чемъ не упрекнетъ ее. Она земное совершила. Она любила и жила... Это не манекенъ для примѣриванья парижскихъ туалетовъ, это живое существо съ теплой кровью; въ ней играютъ нервы, въ ней кипитъ жизнь... Это не кукла, которую дергаетъ за шнурокъ общественное мнѣніе... И полились грозныя филиппики противъ свѣтскихъ женщинъ, этихъ эгоистокъ, этихъ черствыхъ, пустыхъ кокетокъ... Хорошо ихъ воспитываютъ! Маменьки пропитываютъ ихъ нелѣпой моралью, съ такимъ же усердіемъ, съ какимъ онѣ перекладываютъ свои ковры и шали камфорой и т. п., чтобы

сохранить ихъ отъ моли. И онѣ достигаютъ цѣли. Моль не тронетъ ихъ шалей, и страсть не коснется ихъ благовоспитанныхъ дочекъ. Но и дышать въ ихъ присутствіи тяжело. Человѣкъ задыхается... Съ ними скучно, да, да!.. невыносимо скучно! И удивительно ли, что отъ нихъ бѣгутъ къ такимъ женщинамъ, какъ Ленская!

Мимочка чуть не плакала. Ему скучно съ ней... ему всегда было скучно съ ней... Она—манекенъ для примѣриванья туалетовъ... Онъ уйдетъ отъ нея къ Ленской. Какъ ему не стыдно, какъ не стыдно!.. А онъ продолжалъ громить свѣтскихъ женщинъ, пересыпая свою рѣчь стихами и цитатами. Любовь двигаетъ міромъ. Есть женщины, недостойныя счастія любви, недостойныя высокихъ, святыхъ минутъ... Женщина, которая не умѣла любить—это дѣва безъ елея... И Христосъ скажетъ ей: отойди, я не знаю тебя... Бодрствуйте... Да... И придетъ старость, грозная, безпощадная старость, съ сѣдыми волосами, съ морщинами, и возьмется холодной рукой за сердце, и сердце ужаснется и возжаждетъ жизни, и будетъ поздно, поздно!.. И стишокъ изъ Мюссé, и стишокъ изъ Фета...

Валеріанъ Николаевичъ все пуще и пуще увлекался своимъ краснорѣчіемъ. Голосъ его то понижался до шопота, то возвышался... Онъ не оглядывался на Мимочку, онъ обращался не къ ней; онъ глядѣлъ прямо передъ собой, какъ бы обращаясь къ господамъ присяжнымъ. И Мимочкѣ казалось, что и кузнечики, и черные стволы деревьевъ, которые играли роль присяжныхъ, говорили въ одинъ голосъ: „Виновна, виновна и не заслуживаетъ снисхожденія“.

Мимочка знала, что она виновна, но она рѣшительно не знала, какъ поправить дѣло, какъ сдѣлать, чтобы онъ пересталъ сердиться и пріѣхалъ бы въ Кисловодскъ. Она взглядывала на него. Какъ онъ былъ хорошъ! Онъ снялъ шляпу, и она видѣла его бѣлый лобъ, его волнистые волосы, его блестящіе глаза... И чувствовала свое влеченіе къ нему... И боялась хуже разсердить его... Ну, что̀ ей сказать, что̀ ей сказать? Господи!..

И она ниже и ниже опускала голову и чертила зонтикомъ по песку, пока онъ говорилъ свои страшныя вещи.

Мимо проходили неуклюжія армянки въ своихъ кисейныхъ покрывалахъ и тупо таращили на бѣдную Мимочку свои круглые черные глаза. Проходящіе мужчины лукаво улыбались и оглядывались на Мимочку, посвистывая...

А Валеріанъ Николаевичъ продолжалъ гремѣть тономъ вдохновеннаго пророка.

Женщины не хотятъ и не умѣютъ быть умными. Когда солнце для нихъ сіяетъ, когда небо имъ улыбается, онѣ опускаютъ шторы въ окнахъ... Все для нихъ игра, забава, шутка... Ни одна изъ нихъ не умѣетъ возвыситься до серьезнаго чувства... Кокетки, не стоющія того, чтобы человѣкъ съ душой тратилъ на нихъ время, тратилъ на нихъ сердце... Хорошо сказалъ Гейне... И какую горькую правду сказалъ Байронъ... А Монтескьё, великій законовѣдецъ... Мимочка окончательно перестала понимать. Собственныя имена всегда отуманивали ее. У нея уже дрожали губы отъ желанія заплакать. И зачѣмъ онъ кричитъ на нее здѣсь, гдѣ всѣ проходятъ мимо и гдѣ она не можетъ ничего сказать изъ страха, что заплачетъ?

Воспользовавшись минутой его молчанія, Мимочка встала и сказала:—Кажется, мнѣ пора домой.—Онъ вѣжливо и холодно поклонился ей. — А вы не проводите меня? — Если прикажете. И они пошли въ гору. Онъ игралъ тросточкой; Мимочка смотрѣла въ землю, а Рексъ лѣниво шелъ за ними, помахивая хвостомъ и удивляясь, какъ имъ не надоѣли ихъ глупые переговоры. —Когда же вы ѣдете въ Кисловодскъ?—спросилъ Валеріанъ Николаевичъ.—Завтра. А вы?—и Мимочка взглянула на него самымъ нѣжнымъ, самымъ просящимъ взглядомъ.—Я не ѣду туда совсѣмъ.

Они помолчали.

— Васъ такъ тянетъ домой?—начала опять Мимочка.

— Я поѣду не домой. Я вамъ говорилъ, кажется, что баронесса приглашала меня къ себѣ въ имѣніе... Баронъ—мой товарищъ по училищу, и я радъ буду повидаться съ нимъ! Да и она такая милая женщина...

И опять они шли молча. Мимочка боролась, не зная, попросить его пріѣхать въ Кисловодскъ, или нѣтъ. Если она попроситъ, зачѣмъ она его объ этомъ попроситъ, и какъ онъ приметъ это? А если не попроситъ,—онъ такъ и не пріѣдетъ. Нѣтъ, она попроситъ, она попроситъ. И все еще она не рѣшалась и говорила:—Скажите мнѣ какіе-нибудь стихи.—Сказать вамъ стихи? Извольте.—Онъ сорвалъ по дорогѣ цвѣтокъ и сталъ декламировать:

Elle était belle, si la nuit
Qui dort dans la sombre chapelle, и т. д.

Когда онъ эффектно произнесъ послѣдній куплетъ, они уже стояли у двери дома, гдѣ maman ждала Мимочку къ обѣду, а она такъ и не попросила его пріѣхать. Она замѣтила, что, кажется, еще рано, что, вѣроятно, Вава еще не вернулась, такъ

что они могутъ еще пройтись. Валеріанъ Николаевичъ предложилъ ей руку, и они пошли дальше, потомъ они вернулись и прошли мимо дома въ другую сторону. Понемножку Мимочка разговорилась, и когда въ третій разъ они остановились у двери комнаты, въ которой maman вторично разогрѣвала супъ на керосиновой кухнѣ, все нужное было сказано. Онъ обѣщалъ ей, что пріѣдетъ въ Кисловодскъ на мѣсяцъ (т.-е. на все время, пока онѣ тамъ будутъ), а она обѣщала ему въ первый же вечеръ поѣхать съ нимъ верхомъ. Зачѣмъ ему это? Ну, да все равно. Благо помирились.

И Вава, и Мимочка такъ пріятно проводили время въ Желѣзноводскѣ, такъ полюбили его, что по переѣздѣ въ Кисловодскъ не хотѣли ничѣмъ восхищаться и стояли на томъ, что Желѣзноводскъ гораздо лучше. Вава говорила, что Желѣзноводскъ теплый и темно-зеленый, а Кисловодскъ холодный и блѣдно-голубой; а Мимочка говорила, что у нея здѣсь кривое зеркало и кровать гораздо хуже желѣзноводской. Къ тому же здѣсь было много петербургскихъ знакомыхъ: княгиня X., съ дочерью и племянницей, генералъ Бараевъ, другъ Спиридона Ивановича, и еще кое-кто... Будутъ теперь надоѣдать имъ и сплетничать, и прости желѣзноводское приволье!

Скоро, впрочемъ, и Вава, и Мимочка вполнѣ успокоились на этотъ счетъ. Оказалось, что княгиня не встаетъ изъ-за карточнаго стола, что княжна ловитъ маленькаго адъютанта съ цѣлью привести его къ алтарю, что кузина ея романически и безнадежно влюблена въ одного очень блѣднаго и очень интереснаго господина, у котораго сбѣжала жена и который лечится здѣсь отъ tabes dorsalis, что генералъ Бараевъ неотступно ходитъ за красивой вдовой, съ которой намѣревается проѣхать по военно-грузинской дорогѣ. Словомъ, оказалось, что всякій здѣсь занятъ собой и своими развлеченіями. Княжна и кузина ея встрѣтились съ Мимочкой и Вавой любезно и восторженно-дружелюбно, но ясно было, что онѣ не имѣютъ ни малѣйшаго желанія пользоваться ихъ обществомъ и думаютъ только о томъ, какъ бы имъ не мѣшали въ ихъ прогулкахъ и поѣздкахъ. И Мимочка, и Вава вздохнули свободно. Весь кружокъ послѣдней былъ уже въ сборѣ, за исключеніемъ студента, уѣхавшаго съ Морозовымъ въ Крымъ. Ваву радостно привѣтствовали, и въ первый же день ихъ переѣзда компанія предприняла восхожденіе на Крестовую гору, видъ съ которой настолько ей понравился, что дня черезъ два она стала находить, что Кисловодскъ еще лучше Желѣзноводска. Положи-

тельно тутъ было лучше. Тутъ были бѣлыя березы, журчащія горныя рѣчки; а чего стоилъ одинъ этотъ чудный чистый воздухъ, пьянящій и возбуждающій. И потомъ здѣсь было болѣе пестроты, больше Востока, больше Кавказа.

Maman съ удовольствіемъ приняла предложеніе княгини занять мѣсто четвертаго партнера, только-что уѣхавшаго въ Крымъ. Винтъ былъ одной изъ страстишекъ maman, и ужъ куда же это было интереснѣе, чѣмъ пикетъ съ желчнымъ и озлобленнымъ сановникомъ.

На четвертый день по пріѣздѣ Мимочка надѣла бѣлое платье и красную шляпку и вышла съ Вавой въ паркъ. Обѣ пили еще кумысъ и направились къ кумысной. Проходя галереей Нарзана, онѣ встрѣтили Валеріана Николаевича,—и какого Валеріана Николаевича! Въ бешметѣ, въ черкескѣ, въ папахѣ, въ кинжалахъ. И что это былъ за джигитъ! Высокій, стройный, чернобровый! Это былъ сюрпризъ Мимочкѣ. Рексъ величаво шелъ за своимъ господиномъ.

— Не смѣшно это?—спросилъ Валеріанъ Николаевичъ дамъ, здороваясь съ ними. — Я всегда вожу съ собой этотъ костюмъ, но въ началѣ сезона, въ Желѣзноводскѣ у меня не хватаетъ мужества надѣвать его. А здѣсь я уже смѣло облекаюсь въ туземное платье, тѣмъ болѣе, что здѣсь я почти не схожу съ лошади. Окрестности такъ хороши! Вы еще никуда не ѣздили?

— Никуда. Съ кѣмъ же бы я поѣхала!

— Какъ я радъ! Окрестности такъ хороши! И мнѣ такъ хотѣлось самому показать вамъ всѣ мои любимыя мѣста. Такъ сегодня мы ѣдемъ?

— Ѣдемъ. Вы сказали о лошадяхъ?

— Какъ же. Наши лошади здѣсь, такъ что не придется и искать новыхъ. Османъ вчера переѣхалъ.

Выпивъ кумысъ, Мимочка и Вава повели Валеріана Николаевича поздороваться съ maman, которая играла въ карты на воздухѣ. Maman обрадовалась ему и представила его княгинѣ, которая оглядѣла его въ лорнетъ, когда онъ отошелъ отъ ихъ стола, и тоже нашла, что онъ красивѣе Анютина.

А Валеріанъ Николаевичъ и Мимочка пошли дальше въ конецъ главной аллеи, потерявъ по дорогѣ Ваву, которая встрѣтила кого-то изъ своихъ. Мимочка сіяла. Ссоры между ними какъ не бывало; опять они въ хорошихъ дружескихъ отношеніяхъ. Мимочка и сама не ожидала, что такъ сильно обрадуется ему. Да, онъ ей нужнѣе всѣхъ. Съ нимъ жизнь совсѣмъ не то, что съ другими. И онъ такъ веселъ, такъ доволенъ, такъ радъ. Чему

онъ радъ? Тому, что онъ съ ней, конечно. А она развѣ не рада тому же? Такъ рада, такъ рада. Ахъ, какъ хорошо!

Послѣ обѣда Мимочка прилегла отдохнуть. Но спать она не могла, а лежала и радовалась его пріѣзду. Можно ли было теперь спать? Она отдыхала уже, только думая о немъ. Можетъ же присутствіе, близость другого человѣка вносить такую радость, такой свѣтъ въ жизнь. Ну, вотъ онъ и здѣсь. И опять они вмѣстѣ среди чуждой пестрой толпы. Это все, что ей нужно. Быть вмѣстѣ и быть молодой и красивой для него и черезъ него. Потому что если, напримѣръ, сегодня она такъ хороша—вѣдь это отъ его пріѣзда. Радость краситъ ее. О, какъ она его любитъ! Такого съ ней еще никогда, никогда не бывало. И главное, тутъ нѣтъ ничего дурного. Развѣ это можетъ быть дурно, разъ что это будитъ въ ней лучшія стороны души?.. Она ничего, ничего не боится... Неужели она его любитъ любовью?.. Ну что-жъ, если и любовью? Сердца не удержишь, не остановишь; вонъ какъ оно бьется... Конечно, онъ никогда объ этомъ не узнаетъ. Она ничего не допуститъ, да и онъ никогда себѣ не позволитъ... Что-жъ, что она его любитъ? Самая чистая, самая честная женщина можетъ увлечься... Въ томъ-то и сила, чтобы, несмотря ни на что, остаться честной... Поѣдутъ, поѣдутъ верхомъ и опять цѣлый вечеръ вмѣстѣ, вдвоемъ! Какъ хорошо, какъ хорошо!..

Потомъ она стала одѣваться. Никогда въ жизни туалетъ ея такъ не удавался ей. Волосы сами собой укладывались на головѣ, застегнутый лифъ сидѣлъ какъ перчатка, и когда Мимочка, надушивъ платокъ и принявъ изъ рукъ Кати хлыстъ, бросила на себя послѣдній взглядъ въ зеркало, на нее выглянуло оттуда такое ангельское, поэтическое личико съ сіяющими глазами и счастливой улыбкой, что она чуть не послала сама себѣ воздушнаго поцѣлуя. А лошади были уже поданы. Онъ сидѣлъ верхомъ и черезъ окно разговаривалъ съ maman.

— Пожалуйста, Валеріанъ Николаевичъ, смотрите, чтобы она не ѣздила слишкомъ быстро и слишкомъ много. Ей такъ вредно всякое утомленіе, а она теперь все храбрится и такъ неосторожна... Давно ли мы поправились... Смотрите же, я вамъ поручаю ее...

— Будьте покойны, Анна Аркадьевна!

Мимочка, сойдя съ крыльца, легко вскочила въ сѣдло и, улыбнувшись maman, поѣхала съ Валеріаномъ Николаевичемъ и немножко отставшимъ отъ нихъ Османомъ. А maman поглядѣла имъ вслѣдъ и подумала: „Вотъ такъ парочка! Живи мы въ Аркадіи, а не въ Петербургѣ, вотъ бы намъ какого мужа надобно.

Ну, да все дѣлается къ лучшему. Такой бы и не женился, искалъ бы денегъ, а потомъ бѣгалъ бы, измѣнялъ... Les beaux maris ne sont pas les meilleurs... И кавалеровъ всегда можно найти сколько угодно, а такого мужа, какъ Спиридонъ Ивановичъ, не каждый день найдешь"...

И maman въ раздумьѣ принялась за свою прическу, собираясь къ княгинѣ. А гдѣ же Вава? Гдѣ барышня?

— Онѣ сейчасъ тутъ были.

— Сейчасъ тутъ были! Я тебя спрашиваю, гдѣ онѣ теперь? О чемъ ты думаешь, скажи, пожалуйста? За что ты жалованье отъ Юліи Аркадьевны получаешь? Тебѣ сказано—ни на минуту не оставлять барышню одну. Сейчасъ иди ихъ искать!

Катя покорно выслушала maman, затѣмъ, подобравъ разбросанныя юбки и шпильки Мимочки, причесалась, надушилась Мимочкиной туалетной водой и, надѣвъ сѣренькую кофточку и шляпку съ крыломъ, поспѣшила въ паркъ, гдѣ въ концѣ тѣнистой аллеи ждалъ ее Давыдъ Георгіевичъ, уже подарившій ей кавказскую брошку и два колечка съ бирюзой.

Выѣхавъ изъ Кисловодска, Валеріанъ Николаевичъ и Мимочка поскакали по проселочной дорогѣ. Ѣхали они то галопомъ, то шагомъ. (Валеріанъ Николаевичъ ѣздилъ только такимъ аллюромъ, какой нравился Мимочкѣ—не то, что Варяжскій!). При первой паузѣ онъ заговорилъ о лошадяхъ, разсказалъ Мимочкѣ, какія у него лошади въ Кіевѣ, какія въ деревнѣ. Потомъ, переѣзжая бродки, они вспомнили Печорина и княжну Мери, и онъ заговорилъ о Лермонтовѣ, о литературѣ... Мимочкѣ было все равно о чемъ молчать, только бы слушать его. Потомъ онъ заговорилъ о природѣ, а она, любитъ ли она природу? О, да! Мимочка забыла, что она прежде любила природу только гдѣ-нибудь на музыкѣ. Ей казалось, что она любитъ и всегда любила природу. Развѣ ей не нравилось скакать по этой зеленой степи, которая колыхалась какъ море? Развѣ не нравились ей эти нѣжныя очертанія горныхъ цѣпей, окаймлявшихъ горизонтъ? О, да, она любитъ природу. Прежде она ее совсѣмъ не знала. Въ Петербургѣ, въ Парижѣ природу видишь только на картинахъ, на выставкахъ...

Среди этой мирной бесѣды они встрѣтили коляску, въ которой сидѣлъ генералъ Бараевъ со своей вдовой. Генералъ любезно раскланялся съ Мимочкой, которая кивнула ему головкой. Валеріанъ Николаевичъ началъ подшучивать надъ генераломъ.

— Это Бараевъ, другъ моего мужа,—сказала Мимочка.

При упоминаніи о ея мужѣ по лицу Валеріана Николаевича всегда пробѣгала тѣнь. Мимочка уже знала это и теперь пожалѣла о томъ, что такъ некстати вспомнила о своемъ мужѣ. Оба замолчали и погнали лошадей, какъ будто упоминаніе о бѣдномъ Спиридонѣ Ивановичѣ заставляло ихъ торопиться къ цѣли поѣздки.

— Куда же мы ѣдемъ сегодня?—спросила Мимочка, когда лошади устали и снова пошли шагомъ.

— Мы ѣдемъ въ „Замокъ Коварства и Любви".

— Замокъ? Тамъ, правда, замокъ?

— Нѣтъ, замка никакого нѣтъ; а есть скалы, живописно расположенныя скалы... Красивый уголокъ... И со скалами этими связано преданіе. Вамъ не наскучитъ слушать, если я вамъ его разскажу?

— Напротивъ. Я очень рада.

— Ну-съ, такъ слушайте. У одного купца была дочь,—разумѣется, молодая и прекрасная.

— Отчего: разумѣется?..

— Оттого, что иначе не стоило бы о ней говорить. Ну-съ, и эта дочь полюбила юношу, тоже молодого и прекраснаго. Молодые люди полюбили другъ друга такъ, какъ только можно любить подъ такимъ солнцемъ и среди такой природы. (Это, кажется, ничего не поясняетъ вамъ, mais passons.) Молодые люди любили другъ друга, но, какъ это почти всегда бываетъ, судьба и обстоятельства были противъ нихъ. Отецъ дѣвушки отвергъ исканія влюбленнаго юноши, который былъ бѣденъ, и нашелъ дочери другого жениха, тоже богатаго купца. Молодые люди попробовали бороться; но отецъ былъ непреклоненъ. Тогда молодые люди рѣшили умереть. Въ одно прекрасное утро они пришли на эти скалы,—сейчасъ вы ихъ увидите,—стали на край пропасти, чтобы броситься внизъ и разбиться о камни, простились другъ съ другомъ, простились съ жизнью, со свѣтомъ, съ природой. „Бросайся!"—сказала дѣвушка:—„и я за тобою". Онъ улыбнулся ей, бросился въ бездну и умеръ. А она...

— А она?

— Она вернулась домой и вышла за богатаго купца!

— О, какая!..

— Коварная, не правда ли? Она вышла за купца, а скалы навсегда сохранили воспоминаніе о его любви и о ея коварствѣ. Смотрите,—онѣ уже видны, видите? Лѣвѣе... Мы, впрочемъ, спустимся туда внизъ...

— Такъ вы бывали уже здѣсь?..

— О, не разъ! Но ни разу не былъ въ такомъ миломъ обществѣ...

— Чтò это? Un compliment?

— Нѣтъ, не шутя. Знаете, я люблю эти скалы, этотъ дикій живописный уголокъ, гдѣ каждая тропинка, каждый камень будитъ во мнѣ столько чувствъ и мыслей, не имѣющихъ ничего общаго съ моей скучной, сѣренькой будничной жизнью... И когда я бывалъ здѣсь, я всегда думалъ о томъ, какъ бы хорошо привезти сюда съ собой милое, поэтическое существо, словомъ, пріѣхать, какъ я пріѣхалъ сюда сегодня. И когда я вернусь домой, я скажу: „Нынѣ отпущаеши!"...

Въ головѣ Мимочки промелькнуло: „Не позволяетъ ли онъ себѣ?"... Но нѣтъ; онъ уже опять говорилъ о лошадяхъ. Потомъ оба замолчали. Надо было спускаться внизъ по крутой, узенькой тропинкѣ. Османъ ѣхалъ впереди, указывая дорогу.

Темнѣло. Луна не показывалась.

— Какой же это лунный вечеръ? Вы говорили, что будетъ луна.

— Погодите, погодите. Будетъ и луна.

— Но мы тутъ ничего не увидимъ.—Мимочку начинала смущать эта темнота.

— Какъ не увидимъ? Развѣ вы не видите скалъ? Какъ хорошо это ущелье! А луна сейчасъ взойдетъ.

— Да, но пока мы будемъ ждать луну, будетъ поздно, и когда мы возвратимся?

— Поздно? Отчего поздно? При лунѣ ѣхать будетъ свѣтло какъ днемъ. И куда поздно? Развѣ вы собираетесь на вечеръ?

— Нѣтъ, я никуда не собираюсь. Но maman будетъ безпокоиться.

— Не будетъ она безпокоиться, потому что вы со мною. И къ чему думать о возвращеніи, когда здѣсь такъ хорошо! Впрочемъ, женщины не умѣютъ отдаваться настоящей минутѣ. Мнѣ жаль ихъ!.. Развѣ вамъ здѣсь не нравится? Я думалъ, что вы болѣе чутки къ красотамъ природы... Взгляните на эти скалы, на это небо, на эти звѣзды... Помните это, изъ Мюссé:

J'aime, voilà le mot que la nature entière
Crie au vent qui l'emporte, à l'oiseau qui le suit!
Sombre et dernier soupir que poussera la terre
Quand elle tombera dans l'éternelle nuit!
Oh, vous le murmurez dans vos sphères sacrées,
Etoiles du matin, ce mot triste et charmant!
La plus faible de vous, quand Dieu vous a créées,
A voulu traverser les plaines éthérées,

Pour chercher le soleil, son immortel amant.
Elle s'est élancée au sein des nuits profondes.
Mais une autre l'aimait elle-même; et les mondes
Se sont mis en voyage autour du firmament.

— Какъ это хорошо, не правда ли! Мнѣ жаль, что я не вижу вашего лица. Я хотѣлъ бы знать, такъ ли вы смотрите, какъ всегда.

— А какъ я смотрю всегда?

— Холодно, строго... Генеральшей.

— Генеральшей? Стало быть, я смотрю тѣмъ, что̀ я есть.

— Не клевещите на себя. Вы женщина. Вы и должны смотрѣть женщиной, вотъ такой женщиной, какая стояла тамъ на вершинѣ скалы, колеблясь между жертвой и измѣной.

— Но я вовсе не хочу походить на нее.

— Отчего?

— Оттого, что она поступила очень гадко.

— Вѣроломно, да, но она поступила какъ женщина, какъ слабая, фальшивая женщина. И это мнѣ нравится. Я люблю слабость въ женщинѣ. И не люблю женщинъ сильныхъ, героинь. Пусть прославляетъ ихъ кто хочетъ,—я никогда не буду ихъ поклонникомъ. Душевная сила такъ же мало пристала женщинѣ, какъ и сила физическая. Женщина должна быть вся слабость, вся любовь, вся нѣжность. Пусть слабость дѣлаетъ ее фальшивой. Что-жъ, если это мило!.. А вы, какъ бы вы поступили на ея мѣстѣ? Представьте себѣ, что вы полюбили бы кого-нибудь, ну, хоть меня. Надѣюсь, что такое предположеніе, въ шутку, не оскорбитъ васъ. Представьте же себѣ, что вы полюбили меня, вотъ сейчасъ, теперь, такая, какъ вы есть, въ вашемъ положеніи.

— Въ моемъ настоящемъ положеніи?.. Я думаю, что еслибъ я васъ полюбила, я постаралась бы, чтобы вы объ этомъ ничего не узнали.

— Это почему?

— Потому что я замужемъ, не свободна.

— La belle raison!..

— Comment, ce n'est pas une raison?.. Что же бы вы сказали, еслибы ваша жена...

При упоминаніи о Спиридонѣ Ивановичѣ, Валеріанъ Николаевичъ хмурился; при упоминаніи о его женѣ, на лицѣ его разливалось выраженіе скуки и утомленія. Выраженіе это Мимочка хорошо знала, и оно всегда радовало ее. Хотя она слыхала отъ баронессы, что жена его прелестная женщина, но ей пріятнѣе было думать и представлять себѣ, что она такая же

скучная, ненужная и неподходящая, какъ и Спиридонъ Ивановичъ. Еслибы онъ былъ съ ней счастливъ, онъ не уѣзжалъ бы отъ нея, и у него не было бы такого блѣднаго, утомленнаго лица и впалыхъ щекъ, не такъ ли?.. Нѣтъ, онъ вѣрно несчастливъ, страдаетъ и только не жалуется, потому что онъ гордъ. Бѣдный, милый!..

Между тѣмъ они спустились въ ущелье, и Валеріанъ Николаевичъ предложилъ Мимочкѣ спѣшиться и пройти пѣшкомъ въ одинъ уголокъ, откуда, по его мнѣнію, видъ на скалы былъ всего красивѣе. Османъ увелъ лошадей, а Валеріанъ Николаевичъ и Мимочка стали пробираться по камнямъ, вдоль журчащей горной рѣчки. Высокая, отвѣсная скала стояла за ними грозной стѣной. Мимочкѣ казалось, что она спустилась въ нѣдра земли или что она на днѣ глубокаго колодца. Такъ высоко надъ головой ея была степь, по которой они скакали, такъ далеко казалось небо, на которомъ появилась, наконецъ, желанная луна, освѣтившая скалы, живописно украшенныя зеленью.

— Ну что? Какъ вамъ нравится?..

— C'est féerique, — шептала Мимочка,—c'est féerique!— А какая тишина, какая тишина! Нѣтъ, положительно она гдѣ-то не на землѣ. И въ послѣдній разъ, на секунду, въ головѣ Мимочки мелькнула тревожная мысль. Хорошо ли она сдѣлала, что сюда пріѣхала? Можетъ быть, хоть онъ и звалъ ее сюда, но былъ бы о ней лучшаго мнѣнія, еслибы она не поѣхала. Но нѣтъ, какой вздоръ! Чтò же тутъ дурного? Всѣ ѣздятъ любоваться природой, и она пріѣхала любоваться природой. Нельзя быть на Кавказѣ и не посмотрѣть окрестностей. Потомъ она будетъ смотрѣть фотографіи, и окажется, что она ничего не видѣла. Отчего Вава не ѣздитъ верхомъ? Они взяли бы ее съ собою. И что-жъ такое, что она пріѣхала сюда съ нимъ вдвоемъ? Еслибы она поѣхала съ нимъ куда-нибудь въ ресторанъ, это было бы ужасно. (Но она никогда и не поѣхала бы.) А сюда они пріѣхали любоваться природой. Да и, наконецъ, съ ними татаринъ. Вонъ, гдѣ-то вдали слышно конское ржаніе: это ихъ лошади и Османъ.

И успокоивъ свою совѣсть такими разсужденіями, Мимочка повторила:—C'est féerique!..—И Мимочка искренно любовалась живописными скалами, а Валеріанъ Николаевичъ искренно любовался ею.

— Вы не устали?—спросилъ онъ, разстилая свою бурку на землѣ.—Сядьте. Мнѣ жаль, что я уже разсказалъ вамъ легенду о бѣдномъ юношѣ, погибшемъ здѣсь. Надо было разсказать вамъ

ее теперь, здѣсь, въ виду этихъ скалъ... Ну, я разскажу вамъ что-нибудь другое.

Положительно, Мимочка была не на землѣ. Не можетъ быть, чтобы это была та самая луна, которая свѣтила Спиридону Ивановичу и бэби. Та осталась гдѣ-то далеко, а это была совсѣмъ другая луна, кроткая, покровительствующая имъ. И какой томный волшебный свѣтъ лила она на этотъ уголокъ, гдѣ они были одни, одни и такъ далеко отъ людей, отъ шума, отъ свѣта...

Какъ тихо, какъ тихо!.. Какія полныя, хорошія, ничѣмъ не отравленныя, минуты!.. Здѣсь бы заснуть, умереть и не просыпаться, не возвращаться къ жизни. И онъ былъ съ ней, подлѣ нея и глядѣлъ на нее какъ покорный рабъ, какъ преданный другъ.

И въ первый разъ въ жизни Мимочка не думала о томъ, къ лицу ей или не къ лицу то, что̀ на ней надѣто, и что̀ сказали бы тетушки о томъ, какъ она себя держитъ. Она чувствовала что-то странное: не то она заснула, не то пробудилась. Никогда съ ней не было ничего подобнаго. И у нея тѣснило дыханіе. Минутами она боялась, что ей сдѣлается дурно.

Камень упалъ, и они оба вздрогнули. И онъ еще ближе подвинулся къ ней.—Вы испугались? Онъ ли это? Да, это его глаза блестятъ. Какое блѣдное лицо! Какая блѣдная луна! Что же это, сонъ или явь? И Мимочка, желая нарушить это страшное, подавляющее безмолвіе и очнуться отъ овладѣвающаго ею оцѣпенѣнія, еще разъ повторила: — C'est féerique, c'est féerique!

И точно въ этомъ вечерѣ было что̀-то волшебное, что̀-то необыкновенное. И необыкновеннѣе всего было то, что Валеріанъ Николаевичъ обнималъ и цѣловалъ Мимочку и цѣловалъ ея глаза, губы, волосы. Какъ это случилось,—онъ ли себѣ позволилъ, она ли допустила?.. О, „Замокъ Коварства и Любви"! Потомъ онъ говорилъ ей ласковымъ шопотомъ, что это должно было случиться. Ну, конечно, разъ что̀ случилось,—вѣроятно, и должно было случиться. Но все-таки надо было ѣхать домой и скорѣй, скорѣй!.. И когда онъ подсаживалъ ее въ сѣдло, онъ говорилъ ей: „Милая! Чудная!.." А она растерянно поправляла прическу и говорила: „Il fait tard, il fait tard!"—но сіяла такой красотой, какой никогда не видалъ Спиридонъ Ивановичъ, даромъ, что онъ командовалъ дивизіей, и цѣлая дивизія смотрѣла ему въ глаза.

Надо было скорѣй, скорѣй ѣхать, а Мимочка на горе потеряла хлыстикъ. Османъ и Валеріанъ Николаевичъ побѣжали

искать его. Хлыстъ нашелся, и всѣ трое понеслись вихремъ по степи, залитой луннымъ свѣтомъ.

Кисловодскъ сіялъ огнями, когда они въѣхали въ тополевую аллею. Изъ центральной гостинницы доносились звуки вальса. Maman ждала дочь, сидя у открытаго окна, и безпокоилась.

— Наконецъ-то вы!—сказала она.—Я ужъ боялась, что съ вами что-нибудь случилось, какое-нибудь нападеніе... Ну что? Ты устала?..

— Да, мы такъ спѣшили домой. Зайдите, Валеріанъ Николаевичъ, напейтесь чаю!

Валеріанъ Николаевичъ поблагодарилъ и отказался. Онъ обѣщалъ одной дамѣ быть на вечерѣ. И снявъ Мимочку съ сѣдла, онъ проводилъ ее до крыльца и шепнулъ ей:—A demain!—а взглядомъ и пожатіемъ руки поблагодарилъ ее за поѣздку.

Войдя къ себѣ, Мимочка отказалась отъ чаю и закуски и начала торопливо раздѣваться. Ей не хотѣлось никого видѣть. И, погасивъ свѣчу, она опустила на подушку свое сіяющее лицо. Какъ это случилось? Чтò же это случилось? Она не чувствовала ни раскаянія, ни стыда. Она чувствовала себя только счастливой и спокойной. Это—паденіе, это—страшный шагъ, пятно, которое не смывается, это—грѣхъ, думала она, а какъ легко ей было совершить его! Maintenant, c'est fini, elle est une femme perdue! А мужъ?!.. Но не надо, не надо объ этомъ думать, лучше думать о немъ: Валь! Валь!.. И Мимочка заснула крѣпко и безмятежно, какъ спятъ счастливые люди съ чистой и спокойной совѣстью.

Утромъ они встрѣтились въ галереѣ. Оставался только мѣсяцъ до возвращенія въ Петербургъ, а сколько еще надо было имъ переговорить, сколько сказать другъ другу. Надо было разсказать, какъ они полюбили другъ друга съ первой встрѣчи, съ перваго взгляда, еще тогда, въ Ростовѣ... Un coup de foudre!.. Какъ потомъ они вспоминали, искали, какъ ревновали другъ друга, пока снова не встрѣтились, не познакомились... И какъ должно было случиться то, чтò случилось. Надо было сказать другъ другу, что они всегда ждали, что они предвидѣли другъ друга и что теперь, когда, наконецъ, они встрѣтились, они связаны на вѣки. Oui, c'est pour la vie, c'est pour la vie!.. А главное, надо было уговориться о томъ, когда и гдѣ видѣться.

Онъ жилъ одинъ, и, соблюдая извѣстныя предосторожности, Мимочка могла приходить къ нему. Это было всего удобнѣе. Онъ не предложилъ бы ей этого, еслибы тутъ былъ какой-нибудь рискъ, потому что честь Мимочки и ея доброе имя были ему

дороже всего. И Мимочка, оглядѣвшись и убѣдившись въ томъ, что maman ne se doute de rien, что и она, и княгиня X., и вся ихъ компанія всецѣло поглощены наблюденіями надъ гусаромъ Анютинымъ и его невѣстой, успокоилась и стала осторожно ходить къ нему.

Какъ ей нравилось у него! Все, что его окружало, все, что ему служило, носило на себѣ отпечатокъ его изящнаго вкуса. Мимочка перебирала его бювары, его альбомы, смотрѣла карточки дѣтей, жены... Жена была слишкомъ красива и возбуждала въ ней ревность, но Валеріанъ Николаевичъ успокоивалъ ее: „Хороша?.. Да, она хороша. Но этого мало. Une femme doit plaire. Il faut savoir plaire. Это главное“. Его жена не для него. Холодная, безжизненная красота. И сухая душа, синій чулокъ, une lady Byron... Она—мать, только мать, а не любовница. Она живетъ для дѣтей и отъ него требуетъ, чтобы онъ жилъ для дѣтей. Это нелѣпость. Дѣти сами будутъ жить. И онъ хочетъ жить. Другой жизни ему не дадутъ. Надо жить, жить...

И онъ цѣловалъ Мимочку, цѣловалъ ея глазки, говоря:—Дай мнѣ выпить это море!

Мимочка и не знала раньше, что въ глазахъ у нея море.

Успокоивъ свою ревность. Мимочка прятала карточку жены Валеріана Николаевича подальше, такъ чтобы она не попадалась ей на глаза, и продолжала рыться въ его вещахъ.

У Валеріана Николаевича было сорокъ галстуховъ и сорокъ паръ носковъ. И къ каждому галстуху соотвѣтствующіе носки. А сколько брелоковъ, булавокъ, колецъ, которые онъ мѣнялъ, тоже подбирая ихъ къ характеру галстуха. Вообще онъ былъ немножко щеголь, но это нравилось Мимочкѣ. Она перебирала и укладывала эти сорокъ галстуховъ въ шкатулкѣ розоваго дерева, отдѣляя галстухъ отъ галстуха его любимымъ sachet: „Cherry blossom“. И она говорила ему, какіе галстухи она любитъ и какихъ не любитъ, и какой надѣть ему завтра. А одинъ галстухъ она прозвала „галстухомъ Коварства и Любви“. Это былъ ея любимый. Изрѣдка, преимущественно въ тѣ дни, когда получались письма отъ Спиридона Ивановича, на Мимочку находили „синіе дьяволы“, какъ она говорила, и она упрекала себѣ свою вину относительно мужа. — Je suis une femme perdue,— говорила она.—Все-таки я его обидѣла, оскорбила... И онъ ничѣмъ не заслужилъ этого. А что будетъ, если онъ узнаетъ, если всѣ узнаютъ! Онъ меня убьетъ, выгонитъ... Enfin, je suis une femme perdue, и ты самъ долженъ презирать меня. Да, ты презираешь меня, Валь. Я вижу...

— Дитя!—И онъ старался убѣдить ее въ томъ, что презирать ее не за что.—On vit comme on peut. А Марья Петровна, а Марья Львовна?..

Мимочка задумывалась и припоминала. Дѣйствительно, и Марья Петровна, и Марья Львовна... А Нетти-то, Нетти!.. Но зато, съ другой стороны, Анна Васильевна, и тетя Жюли, и maman... Нѣтъ, есть же все такія честныя, хорошія женщины, не такія, какъ она. Иначе зачѣмъ же эти суровые, безпощадные приговоры, зачѣмъ столько лицемѣрія?.. Валеріанъ Николаевичъ объяснялъ ей все это.

— Видишь ли, бѣдные люди слишкомъ много страдаютъ и терпятъ для того, чтобы не ловить минуты счастья, которыя выпадаютъ имъ на долю.

— О, да! люди страдаютъ.

И она разсказывала ему о Спиридонѣ Ивановичѣ и о томъ, какъ ей скучно съ нимъ жить. Она немножко боялась, что Валь будетъ презирать ее за то, что у нея старый мужъ,—онъ такъ громилъ продажную любовь! Но нѣтъ, это нисколько не возмущало его. Вообще съ поѣздки въ „Замокъ Коварства и Любви“, отношеніе его къ Спиридону Ивановичу совершенно измѣнилось. Онъ уже не хмурился, когда Мимочка произносила это имя, а напротивъ, старался внушить ей, что съ такимъ мужемъ можно прожить хорошую и полную жизнь. Надо только быть умницей. И онъ давалъ ей совѣты.

Зимой онъ пріѣдетъ въ Петербургъ. Жена останется въ Кіевѣ съ дѣтьми, и они проведутъ чудную зиму. Только никакихъ неосторожностей. Онъ хвалилъ Мимочку за то, какъ она себя здѣсь держала такъ ровно, спокойно, естественно. Ни нѣжно-любящая maman, ни чуткая Вава ничего, ничего не замѣчали. Такъ и надо, такъ и надо. Они любятъ другъ друга, и они должны воздвигнуть стѣну между собой и свѣтомъ. Тайна и есть та стѣна, за которой они могутъ смѣло и полно любить другъ друга. Надо прятать свое счастье какъ кладъ, какъ сокровище.

L'amourette que l'on ébruite
Est un rosier déraciné.

Пусть догадываются, пусть подозрѣваютъ, но пусть никто не знаетъ.

Мимочка разсказывала ему, какъ она вышла замужъ, какъ всѣ ее уговаривали, какъ сама она никогда не рѣшилась бы на это. Валеріанъ Николаевичъ не понималъ, почему. Это было благоразумно, и она прекрасно поступила. Деньги—не послѣдняя

вещь въ жизни; если онѣ не счастье, то ключъ къ счастью. Она только не умѣла жить эти четыре года. Она сама создала себѣ скучную жизнь. Все хорошее зависитъ отъ насъ.

Но ей до сихъ поръ никто и не нравился. Она еще не любила, и еслибы не встрѣтила здѣсь его, Валя, то такъ бы и не узнала счастья любви. Но теперь c'est pour la vie, n'est-ce pas?

— Oui, c'est pour la vie!

Онъ вѣдь тоже былъ глубоко несчастливъ въ семейной жизни. Жена его была сухая, черствая педантка, не умѣвшая отзываться на порывы его пылкой души. Это была самка, une femelle, да!.. Почему онъ на ней женился?.. Это длинная исторія. Когда-нибудь онъ разскажетъ ее Мимочкѣ, послѣ, послѣ, а пока... „Дай мнѣ выпить это море!"... И онъ цѣловалъ ея глазки.

Первыя двѣ недѣли онъ говорилъ Мимочкѣ, что непремѣнно пріѣдетъ въ Петербургъ, и они мечтали о томъ, какіе дивные вечера будутъ они проводить въ театрахъ, въ концертахъ. Каждый день они будутъ встрѣчаться. Но по мѣрѣ того, какъ приближалось время разлуки, планы эти нѣсколько измѣнялись.

Онъ получилъ изъ Кіева дѣловое письмо. Оказывалось, что врядъ ли удастся ему вырваться въ Петербургъ. Предстояло дѣло, большой, сложный процессъ, съ подробностями котораго онъ знакомилъ Мимочку. Онъ будетъ защищать одного знаменитаго вора, порядочнаго мерзавца. — Какъ же защищать мерзавца? -- спрашивала Мимочка:—вѣдь ты считаешь его виновнымъ?

— Убѣжденъ въ его виновности!

— И будешь защищать его quand même?

— Всякій человѣкъ имѣетъ право на защиту. Легко оправдать невиннаго. Его невинность сама за себя говоритъ. Но чтобы простить виновнаго, чтобы отнестись къ нему снисходительно, милостиво, какъ и долженъ относиться христіанинъ къ своему ближнему, кто бы онъ ни былъ, для этого нужно много ума и знанія человѣческаго сердца. Христосъ не судилъ, Христосъ оправдывалъ всѣхъ, и вотъ для того-то, чтобы пробудить въ сердцахъ присяжныхъ эту божественную искру,—а она есть въ каждомъ изъ насъ...

— И неужели его оправдаютъ?

— Можетъ быть.

— Негодяй!! Я бы послала его на каторгу. Изъ-за него мы не увидимся. Какъ я его ненавижу! А ты еще будешь защищать его...—И Мимочка плакала.

— Дитя!—говорилъ Валеріанъ Николаевичъ и цѣловалъ ея глазки.

— Такъ мы такъ и не увидимся?

— Чтò дѣлать!.. Судьба ревнива...

И когда, за три дня до отъѣзда, Мимочка горько плакала у него на плечѣ, онъ гладилъ ее по головкѣ и разсѣянно говорилъ:

— Чтò дѣлать! Надо покориться. Мы были счастливы... Судьба ревнива... Voyons, du courage... Надо умѣть смотрѣть въ глаза неизбѣжному... Благословимъ Провидѣніе за свѣтлыя минуты... Вы еще такъ молоды...

„Ты новыя чувства узнаешь
И новыхъ друзей изберешь"...

— Jamais, jamais... И ты можешь такъ говорить! Тебѣ все равно, чтобы я полюбила другого?! Tu ne m'a jamais aimée!.. О, Валь, Валь!..

— Enfant! voyons, ne pleurez donc pas... Что жъ! Мнѣ были весенніе цвѣточки, другимъ будутъ плоды... Не ужасайтесь такъ!.. Je connais la vie, voilà tout!.. Ты не сердишься?.. Нѣтъ!.. Дай мнѣ поцѣловать твои глазки! Какъ я люблю цѣловать ихъ!.. Рокъ не судилъ... Мы сорвали цвѣточки...—И стишокъ изъ Гейне, и стишокъ изъ Фета...

— Я не забуду, никогда не забуду, и ты помни,

„Rappelles-toi, lorsque l'aurore craintive"...

А Мимочка только тихо, беззвучно плакала, качая головкой, и цѣловала его руки, и обильныя слезы ея градомъ капали на галстухъ „Коварства и Любви".

Потомъ они обмѣнялись кольцами съ бирюзой. Мимочка снялась для него въ амазонкѣ, на той самой лошади, на которой она ѣздила въ „Замокъ Коварства", а онъ снялся для нея въ черкескѣ. Они хотѣли непремѣнно съѣздить еще разъ въ „Замокъ", но было некогда, чтò-то помѣшало...

А maman уже укладывалась и ворчала на Катю, которая точно рехнулась: забывала приказанія, роняла все изъ рукъ, клала тяжелое сверхъ легкаго.

Вава связывала веревочкой тетрадки со своими путевыми впечатлѣніями и съ проектами своего дома для брошенныхъ дѣтей и записывала адресы своихъ кавказскихъ друзей.

А Катя, стоя на колѣняхъ передъ раскрытымъ сундукомъ, перекладывала папиросной бумагой плюшевую кофточку Мимочки, и отъ времени до времени крупныя слезы капали на кофточку и на уложенное подъ нею бѣлье. О, кавказская бирюза!..

Рано поутру дорожная коляска стояла у подъѣзда комнатъ Барановской. Вава крѣпко пожимала руки своимъ друзьямъ, пришедшимъ проститься съ ней. Она очень поправилась за лѣто, загорѣла, пополнѣла, окрѣпла. Хорошее лѣто провела она здѣсь, и какъ жаль зато разставаться съ этими голубыми горами, съ этими дорожками и тропинками и съ хорошими друзьями. Ахъ, какъ жаль, какъ жаль! И Вава, забывая о строгости матери, о домашнихъ порядкахъ и о прежнихъ неудачныхъ попыткахъ заводить свои знакомства, приглашала къ себѣ всѣхъ, всѣхъ своихъ друзей,—пожалуйста, непремѣнно, какъ только кто-нибудь изъ нихъ будетъ въ Петербургѣ! Она будетъ такъ счастлива!.. „Не забудьте же: Мильонная, домъ 6, квартира 2... Пожалуйста, непремѣнно!“

Мимочка вышла въ дорожной шляпкѣ, въ ватерпруфѣ, съ дорожной сумочкой черезъ плечо, закутанная густымъ газовымъ вуалемъ. Она была спокойна и равнодушна. Наканунѣ она выплакала у него всѣ свои слезы.

Валеріанъ Николаевичъ былъ такъ любезенъ, что вызвался проводить ихъ верхомъ до Эссентуковъ. Онъ стоялъ въ черкескѣ, картинно опершись на сѣдло, и тихонько напѣвалъ романсъ Капри: „Я помню блаженныя встрѣчи“...

Катя прибѣжала съ картонками въ рукахъ, заплаканная и запыхавшаяся... Maman съ изумленіемъ поглядѣла на нее. Все вынесли, все на мѣстѣ. Дамы садятся, и коляска выѣзжаетъ изъ Кисловодска.

Въ Эссентукахъ простились. Валеріанъ Николаевичъ поцѣловалъ ручку maman, которая изъявила надежду увидѣть его у нихъ въ Петербургѣ. Вава пригласила его и къ себѣ. Ей такъ жаль было, что все кавказское отъ нея уходитъ. Мимочка молчала, но грустно взглянула на него.

И коляска покатилась дальше, по направленію къ станціи Минеральныхъ Водъ.

Было сѣрое, пасмурное утро, и мелкій, частый дождь билъ о стекла, когда дамы проснулись, подъѣзжая къ Петербургу.

Дождь, дождь, дождь... Унылое, сѣрое небо... Потянулись петербургскія дачи съ ихъ сосновыми рощами; замелькали грязныя, вязкія дороги, окаймленныя канавками съ густо разросшимися кустами папоротника... Мохъ, брусника, болото, туманъ...

Вотъ и знакомые огороды съ капустой, и казармы, и платформа Петербургской станціи.

Дождь пересталъ, и мокрая платформа освѣщается солнцемъ.

Вотъ и деньщикъ Спиридона Ивановича, вотъ и лакей тети Жюли...

А вотъ и самъ Спиридонъ Ивановичъ стоитъ, сіяя, какъ мухоморъ, своей красной подкладкой... Maman радостно стучитъ ему въ окно.—Увидѣлъ, увидѣлъ, узналъ!

У Мимочки падаетъ сердце. Какой онъ старый и какой чужой, чужой!.. Ей хочется, чтобы поѣздъ не останавливался, чтобы онъ шелъ все дальше и дальше и промчалъ ее мимо... Но поѣздъ замедляетъ ходъ, поѣздъ останавливается. Надо выходить.

Вотъ и m-me Lambert съ Зиной, и, о Боже мой, и бэбичка съ няней! Онъ пріѣхалъ встрѣтить свою мамашу! Какъ онъ выросъ, какъ онъ похорошѣлъ и загорѣлъ, милый крошечка! И посмотрите, какъ онъ не дичится, онъ улыбается, онъ здоровается со всѣми, протягиваетъ губки для поцѣлуя матери, бабушкѣ, Вавѣ... И онъ дѣлаетъ честь, да, онъ научился дѣлать честь, прикладывать ручку къ головѣ и говорить: „Здравія желаю!“ О, какой душка!..

И бабушка душитъ бэби поцѣлуями, и слезы гордости и нѣжности выступаютъ ей на глаза, когда бэби, вытянувшись передъ ней, говоритъ и ей:—Здлявія зеляю, васе плевосходительство!—А Спиридонъ Ивановичъ заключаетъ Мимочку въ свои генеральскія объятія.

Черезъ недѣлю по пріѣздѣ всѣ собрались у тети Жюли. У нея была радость. Вова нашелъ невѣсту, вполнѣ подходящую. И богатство, и связи... Объ этомъ еще не говорили и не объявляли, но дѣло было улажено. Невѣста была нехороша и уже не очень молода, но по уши влюблена въ Вову. Тетѣ Жюли она очень нравилась, и она говорила сестрамъ о дѣвушкѣ:—Elle n'est pas futile.

Тетя Жюли съ чувствомъ благодарила maman за Ваву. Не говоря о томъ, что Вава очень поправилась физически, она и нравственно измѣнилась къ лучшему,—стала сдержаннѣе, кротче, послушнѣе. За это ей дали отдѣльную комнату, гдѣ она спитъ, пишетъ и учится безъ m-me Lambert.

— Ну, вообще, вы хорошо съѣздили?—говоритъ тетя Жюли въ заключеніе.

— Прекрасно, прекрасно. Я такъ довольна, что мы послушались тогда Варяжскаго.

— Но до чего Мимочка похорошѣла! ее просто узнать нельзя.

— Поразительно!—говоритъ тетя Мари.—На будущее лѣто ѣду въ Кисловодскъ, чтобы помолодѣть и похорошѣть.

Мимочка скромно и равнодушно улыбается.

— Нетти-то! — говоритъ тетя Софи. — Вы не слыхали о скандалѣ?

— Нѣтъ, что такое? Зина писала что-то вскользь, но мы ничего не поняли.

— Разошлась съ мужемъ и теперь пропадаетъ въ Парижѣ, мѣняя любовниковъ какъ перчатки. Страсть что такое! Она всегда поступала какъ дурочка. Передъ самымъ отъѣздомъ мужа въ плаваніе, ее вдругъ начинаетъ разбирать совѣсть. Ужъ молчала бы хоть до его возвращенія! Нѣтъ, она идетъ исповѣдоваться и разсказываетъ священнику все: такъ и такъ, говоритъ, виновата передъ мужемъ. Тотъ сейчасъ говоритъ: „А мужъ знаетъ?"—„Нѣтъ", говоритъ.—„Ну, такъ и не говорите ему". И началъ ей разъяснять, почему она должна молчать, что она согрѣшила, пусть она и мучится, а его мучить не за что...

— Это они всегда такъ говорятъ,—необдуманно вставляетъ тетя Мари и, встрѣтивъ вопросительный взглядъ тети Жюли, прибавляетъ:—Я слыхала много такихъ случаевъ, когда священники это говорили.

— Ну, она приходитъ съ исповѣди домой и говоритъ мужу: „Я была у священника и сказала ему о моемъ грѣхѣ".—„Какой грѣхъ?" А вотъ какой. Какъ?!.. Сцены, объясненія. Онъ хочетъ застрѣлиться, она хочетъ застрѣлиться. Онъ хочетъ убить ее, убить того, убить себя... Въ концѣ концовъ, онъ уѣзжаетъ въ плаваніе, а она, подбросивъ всѣхъ дѣтей старикамъ Полтавцевымъ, переселяется къ возлюбленному и начинаетъ хлопотать о разводѣ. Черезъ два мѣсяца тотъ уже не въ силахъ выносить ее и бѣжитъ отъ нея. Она отравляется, доктора спасаютъ, и она уѣзжаетъ въ Парижъ. Вотъ уже три недѣли, что она тамъ, и о ней очень дурные, очень дурные слухи...

— Ахъ, какъ мнѣ жаль стариковъ Полтавцевыхъ!—говоритъ maman:—каково имъ это!

— Я говорила давно, что она на опасной дорогѣ,—говоритъ тетя Жюли.

Мимочка утвердительно качаетъ головой.

— Ну, а кстати о романахъ,—говоритъ тетя Софи:—правда, что на Кавказѣ, на водахъ, такъ флёртятъ?

— Ахъ, и не говорите! — улыбаясь, отвѣчаетъ maman. — Чего-чего мы не насмотрѣлись, чего не наслушались! И Варяжскій, представьте...

— А за Мими ухаживали?.. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un pour te faire la cour?.. Et personne ne t'a donné dans l'œil?..

— Quelle idée, ma tante!.. Да тамъ никого и не было. То-есть, было много симпатичныхъ и пріятныхъ людей, но такихъ, чтобы понравиться...

И Мимочка, улыбаясь своей прежней петербургской улыбкой, отрицательно качаетъ головой.

— Ну, а природа дѣйствительно хороша?—спрашиваетъ тетя Жюли.—Вава восхищается горами.

— Да онѣ ничего не видѣли, — съ сожалѣніемъ говоритъ Спиридонъ Ивановичъ:—ну, какъ же было, въ самомъ дѣлѣ, не съѣздить на Бермамутъ? Вѣдь я писалъ вамъ, чтобы вы съѣздили. Быть въ Кисловодскѣ и не съѣздить на Бермамутъ! Эхъ, вы!.. Вѣдь вы горъ настоящихъ, стало быть, и не видѣли.

— Да не съ кѣмъ было,—оправдываясь, говоритъ Мимочка.— X. съѣздили до нашего пріѣзда, а втроемъ мы какъ-то не собрались. Я ужъ и такъ старалась все объѣздить и осмотрѣть.

— Да, должно быть, тамъ хорошо, — говоритъ тетя Мари, пересматривая въ стереоскопъ виды Кавказа, привезенные Вавой.—Какъ это красиво! Чтò это такое?

— Это? — говоритъ Мимочка, наклоняясь къ тетѣ Мари, чтобы посмотрѣть въ стереоскопъ. — Это Замокъ Коварства и Любви. Это скалы, которыя похожи на замокъ, и такъ называются.

— И дѣйствительно такъ красиво? Ты была тамъ?

— Да, я ѣздила туда верхомъ... Очень красиво. Особенно при лунѣ... c'est féerique.

В. М.

МЕРТВЫЯ ДУШИ

Глава изъ этюда о Гоголѣ.

„Темно и скромно происхожденіе нашего героя“,—такими словами начинаетъ Гоголь извѣстную біографическую вставку о Чичиковѣ въ концѣ перваго тома „Мертвыхъ Душъ“. Этотъ отзывъ можно всецѣло примѣнить и къ самому произведенію. Въ бѣглыхъ, непритязательныхъ набросках, схватившихъ изъ жизни лишь рядъ смѣшныхъ случайностей, никто не узнаетъ будущей поэмы съ ея двойнымъ предназначеніемъ служить широкой бытовой картиной и философски объяснить смыслъ жизни. Такъ, придя къ источнику многоводной, на весь свѣтъ извѣстной рѣки, не сразу повѣришь, что скромная струйка, которая минутами совсѣмъ пропадаетъ и затѣмъ снова выбивается на волю, можетъ разлиться въ царственный потокъ, обставленный безконечной панорамой лѣсовъ и горъ, громадныхъ городовъ, деревень, покрытый сотнями всевозможныхъ судовъ.

Авторское самолюбіе могло бы внушить Гоголю желаніе указать въ самомъ зародышѣ его поэмы присутствіе тѣхъ элементовъ, изъ которыхъ впослѣдствіи сложилось ея художественное и соціальное значеніе. Но съ рѣдкою искренностью онъ самъ настаиваетъ на незатѣйливости и поверхностномъ характерѣ своихъ первоначальныхъ работъ, находя видимое удовольствіе въ частыхъ указаніяхъ на то, что развитіе „Мертвыхъ Душъ“ совершалось постепенно, отражая на себѣ всѣ переходы въ его собственномъ творчествѣ и нравственномъ настроеніи.

Если принять (приблизительно) за точку отправленія въ его

работахъ надъ поэмой 1834—35 г. [1]) и вспомнить, что до самой смерти онъ озабоченъ былъ ея пересмотромъ и исправленіемъ, станетъ ясною та первостепенная роль, которую это произведеніе играло въ жизни автора. Изъ двадцати-трехъ лѣтъ его писательской дѣятельности восемнадцать ушло на обдумываніе и создаваніе поэмы, прерываемое томительными періодами недовѣрія къ себѣ и сомнѣній, на страстные приливы творчества, мистическіе восторги и пароксизмы безсилія. Всѣ прочіе замыслы отходятъ на второй планъ; параллельно веденныя работы останавливаются, и то, что̀ начато было въ свѣтлую минуту и казалось „комическимъ анекдотомъ", который прежде всего долженъ доставить развлеченіе самому разсказчику, стало для него источникомъ великихъ радостей и страданій, наполнило его жизнь, сдѣлалось его призваніемъ. Исторія „Мертвыхъ Душъ", по выраженію самого Гоголя [2]), является „исторіею его собственной души".

Когда онъ приступалъ къ работѣ, сила непосредственнаго, неудержимаго смѣха, не руководимаго вовсе соображеніями пользы, въ немъ била ключомъ. „Молодость, во время которой не приходятъ на умъ никакіе вопросы, подталкивала". Стоило захотѣть, и самые затѣйливые, потѣшные лица, образы, сцены сходились, выстраивались, комически перепутывались въ фантазіи. Видѣнное, слышанное смѣшивалось съ „выдуманнымъ". Намѣтивъ извѣстное смѣшное лицо, легко было представить его себѣ въ различныхъ забавныхъ положеніяхъ, столкнуть его съ другими, столь же мало реальными лицами и, отойдя въ сторону, оставить ихъ выбираться, какъ знаютъ, изъ происшедшей путаницы. Гоголь такъ и дѣлалъ; даже въ позднѣйшіе годы онъ любилъ развлекаться такою игрою воображенія и, на сонъ грядущій, устроивалъ, напр., съ Языковымъ настоящія состязанія въ изобрѣтательности, причемъ оба весело хохотали, и характеризующія ту пору его творчества страницы „Авторской исповѣди" бросаютъ яркій свѣтъ на его первоначальные художественные пріемы.

Свойственная чуть ли не всѣмъ истиннымъ весельчакамъ (будетъ ли то замѣчательный комическій актеръ, сатирикъ, юмористъ) смѣна смѣха тоскою, уныніемъ — естественная реакція слишкомъ возбужденной нервной системы — была и тогда уже

[1]) Эту дату впервые установилъ Н. С. Тихонравовъ, основываясь на внесенныхъ въ записную тетрадь Гоголя, еще неизданную, черновыхъ набросковъ первой редакціи „Ревизора" и „Мертвыхъ Душъ".

[2]) „Четыре письма къ разнымъ лицамъ по поводу М. Душъ" (Выбр. мѣста изъ переп.). Соч. Гог., изд. 10, IV, 86.

замѣтна у Гоголя. Но и изъ слезъ зарождался опять смѣхъ, не меланхолическій, а, напротивъ, пуще прежняго бойкій и безотчетный. То было оригинальное средство бороться съ „болѣзненной, необъяснимой" тоской; чѣмъ сильнѣе подступала она, тѣмъ смѣлѣе пытался одолѣть ее еще молодой и бодрый организмъ. И затуманившееся-было настроеніе, оставившее свой слѣдъ въ неожиданно грустныхъ страницахъ украинскихъ разсказовъ или петербургскихъ повѣстей, снова прояснялось; въ воображеніи роились десятки, сотни смѣшныхъ тѣней; воплощенныя, онѣ становились въ повѣстяхъ и комедіяхъ фланёрами Невскаго проспекта, департаментскими уродами, купчихами изъ Шестилавочной, уѣздными модницами. Взаимное отношеніе смѣха и слезъ, вѣчно споривших за преобладаніе въ жизни и творчествѣ Гоголя, въ ту пору рѣшительно склонялось къ перевѣсу комизма. Подобно Рабле́, будущій авторъ „Мертвыхъ Душъ" находилъ тогда, что „mieux est de rire que de larmes escrire, pour ce que rire est le propre de l'homme".

Обиліе матеріаловъ просто подавляетъ его. Нѣтъ еще умѣнья придать имъ стройную форму. Необдѣланные, въ сыромъ видѣ, они тѣснятся отовсюду, и изъ жизни, и изъ фантазіи, на страницы каждаго новаго произведенія. Показалось ужъ очень смѣшнымъ появленіе въ гостиной зрѣлой купеческой дочки нѣсколькихъ жениховъ заразъ, съ ихъ различными ужимками и странностями—пишется комедія „Женихи", прямо вводящая зрителя въ домашнюю обстановку Агаѳьи Тихоновны и еще не вѣдающая вовсе внутренняго міра Подколесина, изобразить который было гораздо труднѣе. Гдѣ-то подслушанъ или, быть можетъ, въ смѣшливую минуту придуманъ анекдотъ о поручикѣ, принесенномъ въ домъ нравившейся ему дѣвушки въ кулѣ съ перепелками,—и онъ вставленъ въ первоначальный текстъ „Ревизора"; туда же (нѣсколько позднѣе) безъ разбору и какъ будто не замѣчая происходящихъ отъ этого длиннотъ, вносятся и хвастовство Хлестакова романическимъ приключеніемъ въ большомъ свѣтѣ, и грубый разсказъ его о кулачной расправѣ на балу. То, что̀ казалось смѣшнымъ, пока не выходило изъ области помысловъ, заносится на бумагу, и неестественность, натянутость нѣкоторыхъ чертъ не бросаются въ глаза. Просто не вѣрится, чтобы Гоголю могло казаться правдоподобнымъ признаніе невѣсты женихамъ, что она долго не выходила къ нимъ, потому что дралась съ кухаркой, или поведеніе мнимаго ревизора, желающаго ослѣпить провинціаловъ свѣтскостью и кладущаго для начала одну ногу на столъ или же выслушивающаго отъ Марьи Антоновны объ-

ясненіе слова *комедія*, которое онъ смѣшивалъ съ артиллеріею [1])...

Таковъ, однако, былъ уровень еще нестройнаго гоголевскаго творчества, не освободившагося ни отъ чувствительной реторики прежнихъ лѣтъ, ни отъ непомѣрно разлившагося, примитивнаго комизма, въ ту пору, когда рядомъ съ набросками „Ревизора" мы должны предположить зарожденіе „Мертвыхъ Душъ" въ видѣ коллекціи портретовъ провинціальныхъ чудаковъ, оригиналовъ и мелкихъ плутовъ.

Самородная художественная сила таилась и тогда подъ густымъ пластомъ, мѣшавшимъ ей вполнѣ развиться. Ничьи совѣты, хотя бы ихъ далъ самъ Пушкинъ, не въ состояніи были бы совершить коренного перелома въ гоголевскомъ творчествѣ, еслибы не было этой основы. Но гдѣ-то очень глубоко скрыта была она, и въ то время, какъ поразительная наблюдательность могла бы рано навести нашего писателя на изображеніе жизни, какъ она есть, онъ безпечно смѣшивалъ правду съ вымысломъ, въ изображеніи смѣшныхъ сторонъ не могъ удержаться отъ каррикатурныхъ преувеличеній, украинскій бытъ рисовалъ по чужимъ разсказамъ и письмамъ, вводя въ него чудесное не изъ народной сказки, а изъ романтическихъ повѣстей Тика [2]).

Этой силы не сознавалъ тогда въ себѣ молодой авторъ. *Вполнѣ* онъ ее никогда и не созналъ, но она вдохновляла и поддерживала его, исправляла его житейскія ошибки и колебанія и снова выводила на истинный путь. Подъ конецъ его неудачнаго студенчества она получила въ его глазахъ значеніе идеалистическаго и очень неопредѣленнаго порыва оставить по себѣ прочный слѣдъ, сдѣлать добро людямъ; потомъ она слыла у него подъ неудачнымъ именемъ лиризма и, односторонне понятая, едва не подверглась искаженію; она пережила и крайнее развитіе мистическаго направленія у Гоголя, и внушила ему мучительную мысль о несовершенствѣ продолженія дорогой ему поэмы.

Эта богатая, но никогда не развившаяся во всей своей полнотѣ сила сказывалась уже для внимательнаго наблюдателя-знатока и въ тотъ ранній періодъ, о которомъ идетъ у насъ рѣчь. Онъ могъ отгадать ее и въ тонкомъ психологическомъ *чутьѣ*, и въ гуманномъ чувствѣ ко всѣмъ обездоленнымъ, и въ пробужденіи гражданской скорби, невольно охватывающей сатирика при видѣ

[1]) „Ревизоръ". Первоначальн. сценич. текстъ, извлеч. изъ рукописей Н. Тихонр., 1886.

[2]) На вліяніе Тиковой повѣсти „Liebeszauber" на „Вечеръ наканунѣ Ивана Купала" указывалъ еще Надеждинъ въ „Телескопѣ" 1831 года.

непроглянаго невѣжества, варварства и безправія, съ грѣхомъ пополамъ прикрытаго мишурнымъ столичнымъ блескомъ. Эти свойства, въ связи съ неисчерпаемымъ родникомъ смѣха, должны были казаться стороннему наблюдателю настоящимъ кладомъ. Но недавнему новичку-литератору нужно было сначала объяснить, что онъ — владѣлецъ такого клада.

Въ этомъ—великая заслуга Пушкина. Быть можетъ, не сразу понялъ онъ значеніе своего младшаго друга, и, ласково встрѣтивъ его „Вечера на хуторѣ“, оцѣнилъ прежде всего рѣдкое дарованіе „юмориста“, затѣмъ личныя свойства оригинальнаго и остроумнаго собесѣдника. Но съ каждымъ серьезнымъ шагомъ впередъ онъ не могъ не измѣнять своихъ ожиданій, и требованія его возростали. По свидѣтельству самого Гоголя, въ „Авторѣ Исповѣди“ Пушкинъ *давно* склонялъ его приняться за большое сочиненіе, и, очевидно, встрѣчалъ съ его стороны непониманіе или отсутствіе доброй воли, пока однажды, пораженный мастерствомъ, выказаннымъ въ „одномъ небольшомъ изображеніи небольшой сцены“ (какъ туманно выражается Гоголь), которое, однакожъ, поразило его больше всего имъ прежде читаннаго, онъ не возвратился къ любимой темѣ своихъ совѣтовъ съ особенною настойчивостью и многозначительностью, которая до того поразила Гоголя, что подробности этой рѣшающей бесѣды запечатлѣлись навсегда въ его памяти.

Въ изданныхъ недавно замѣчательныхъ посмертныхъ воспоминаніяхъ С. Аксакова о Гоголѣ, безпристрастный авторъ высказалъ мысль о томъ, что не только Жуковскій, но и Пушкинъ не вполнѣ цѣнили талантъ Гоголя, не придавали ему серьезнаго значенія, восхищаясь только его юморомъ, комизмомъ, способностью изображать пошлость человѣческую, живою образностью создаваемыхъ имъ характеровъ [1]). Мнѣніе такого свѣдущаго человѣка, казалось бы, должно бы умалить значеніе того рѣшающаго вліянія, которое Пушкинъ оказалъ на сатирическую дѣятельность Гоголя. Но это мнѣніе разбивается о показаніе главнаго заинтересованнаго лица,—самого автора „Мертвыхъ Душъ“, наглядно передающаго другую бесѣду свою съ поэтомъ, быть можетъ, одну изъ послѣднихъ передъ ихъ разлукой. Дѣло было уже послѣ окончанія первыхъ главъ поэмы „въ томъ видѣ, какъ онѣ были прежде“. Авторъ читалъ ихъ вслухъ, и Пушкинъ, „всегда смѣявшійся при гоголевскомъ чтеніи, началъ становиться все сумрачнѣе, сумрачнѣе, а наконецъ сдѣлался совершенно мра-

¹) „Исторія моего знакомства съ Гоголемъ“. М. 1890, стр. 27—28.

ченъ. Когда же чтеніе кончилось, онъ произнесъ голосомъ тоски: Боже, какъ грустна наша Россія!" [1]) Если Гоголя дѣйствительно тогда же „изумилъ" этотъ грустный возгласъ поэта, „который такъ хорошо зналъ русскую жизнь, и все-таки не замѣтилъ, что все это была каррикатура и выдумка", и если эта часть воспоминанія о ихъ бесѣдѣ не внушена позднѣйшимъ, не въ мѣру строгимъ, отношеніемъ автора къ своимъ произведеніямъ, роли обоихъ собесѣдниковъ существенно мѣняются. Гоголю еще кажется, что онъ по прежнему отдался лишь комической импровизаціи, *похожей на жизнь*, а Пушкинъ уже отгадалъ въ несовершенныхъ еще набросkахъ поэмы проявленіе новой стороны дарованія своего друга, правдивое изображеніе жизни его поражаетъ, удручая безотрадностью. Онъ поникъ головой, а неопытный сатирикъ ждалъ смѣха... Кто же изъ двухъ въ ту пору вѣрнѣе „оцѣнилъ талантъ Гоголя" [2])?

Но вліяніе Пушкина слѣдуетъ точнѣе опредѣлить съ тѣмъ, чтобы степень самостоятельнаго прогресса гоголевскаго творчества ясно обозначилась. Неумѣренные поклонники автора „Онѣгина" склонны видѣть въ „Ревизорѣ", а стало быть и въ первыхъ главахъ „Мертвыхъ Душъ", слѣды активнаго вмѣшательства Пушкина; они какъ будто готовы оставить Гоголю все непосредственное, веселость, изобрѣтательность, юморъ, а соціальный фонъ картины и тонкое пониманіе душевныхъ движеній отвести въ удѣлъ старшему и безконечно болѣе опытному руководителю. Изъ того факта, что Пушкину дважды пришлось указать Гоголю на пригодность извѣстнаго житейскаго факта для литературной обработки, чуть не возникла (по крайней мѣрѣ, относительно комедіи) догадка о какомъ-то странномъ авторствѣ на паяхъ.

Гораздо важнѣе этого мнимаго сотрудничества, такъ неправдоподобнаго со стороны поэта, въ чьемъ творчествѣ комизмъ занималъ всегда лишь второстепенное мѣсто, было воспитывающее вліяніе его на мало образованнаго, увлеченнаго внезапной быстротой своихъ писательскихъ успѣховъ и самонадѣяннаго юношу.

[1]) Четыре письма и т. д. (письмо 3-е), Соч., IV, 88.

[2]) Послѣдній печатный отзывъ Пушкина о гоголевскихъ произведеніяхъ (статья въ „Современникѣ 1836 года о второмъ изданіи „Вечеровъ на хуторѣ") замѣчателенъ по прямодушному тону, не стѣсненному соображеніями дружбы или щепетильности. Въ украинскихъ разсказахъ онъ выдѣляетъ прелесть и искренность смѣха, но вмѣстѣ съ тѣмъ отмѣчаетъ „неровность и неправильность слога, безсвязность и неправдоподобіе нѣкоторыхъ разсказовъ". Слѣдя за прогрессомъ его творчества, онъ называетъ *Невскій проспектъ* „самымъ полнымъ изъ его произведеній", а *Старосвѣтскихъ помѣщиковъ* шутливою, трогательною идилліею, которая заставляетъ васъ *смѣяться сквозь слезы грусти и умиленія*".

Указывая ему на высокое значеніе сатиры, заботясь о его художественномъ воспитаніи, ставя ему въ образецъ Мольера и Сервантеса и привѣтствуя каждый шагъ его въ новомъ направленіи, Пушкинъ этимъ самымъ уже отвлекалъ его отъ слишкомъ поверхностнаго отношенія къ жизни, литературѣ и своему призванію. Въ то время, какъ Гоголь могъ беззаботно тратить свое дарованіе на такія бездѣлки, какъ „Носъ“ или „Коляска“, Пушкинъ, радушно встрѣчая ихъ, не переставалъ напоминать ему о необходимости посвятить свои силы большому сочиненію, охватывающему всю русскую жизнь; онъ за него мечталъ о будущности выдающагося романиста, и послѣдовательно велъ его къ ней. Когда онъ счелъ его готовымъ для этого дѣла, онъ уступилъ ему сюжетъ, случайно подмѣченный имъ самимъ среди житейской суеты, пересудовъ и анекдотовъ.

Это былъ сюжетъ „Мертвыхъ Душъ“.

Разсказъ о плутоватомъ аферистѣ, воспользовавшемся недосмотромъ въ положеніи о залогѣ помѣщичьихъ имѣній въ опекунскій совѣтъ и скупившемъ сотни крестьянскихъ душъ, давно исчезнувшихъ со свѣта, вѣроятно, былъ переданъ, какъ образецъ ловкости, какимъ-нибудь дѣльцомъ Пушкину во время его хлопотъ по залогу и перезалогу отцовскихъ и своихъ деревень въ 1834 году (см. переписку его). Выхваченный прямо изъ жизни, этотъ разсказъ сразу приглянулся поэту, какъ основа для романическаго, нравоописательнаго сюжета. Несмотря на то, что „Капитанская дочка“ съ ея воспроизведеніемъ уже отжившаго быта заслонила, казалось, собою попытки Пушкина изображать въ повѣсти современную ему уѣздную Русь, онъ постоянно возвращался къ мысли о большомъ романѣ, въ которомъ послѣ характеристики екатерининскаго вѣка и александровской поры выступила бы во всѣхъ своихъ существенныхъ чертахъ окружавшая его дѣйствительность. Для послѣдней части, конечно, могла дать вполнѣ удобную рамку исторія странствій по всевозможнымъ захолустьямъ ловкаго и неунывающаго афериста, сталкивающагося со множествомъ лицъ, и, присоединивъ къ прежнему знанію провинціи, которое дало краски для деревенскихъ картинъ „Онѣгина“, много новыхъ данныхъ, добытыхъ въ частыхъ поѣздкахъ по глуши, возобновившихся послѣ его женитьбы, Пушкинъ могъ надѣяться совладать съ трудной задачей, и, „презрѣвъ Фебовы угрозы, унизиться до смиренной прозы“ (Онѣгинъ, III, 13). *Его* „Мертвыя Души“, конечно, оказались бы существенно различными отъ гоголевской поэмы, уже въ силу несходства дарованій обоихъ романистовъ, но несомнѣнно носили бы на

себѣ слѣды внимательнаго изученія народной жизни и изощренной наблюдательности.

Относительно тѣхъ обстоятельствъ, при которыхъ намѣченный для себя Пушкинымъ сюжетъ былъ переданъ имъ Гоголю, есть два противорѣчивыхъ показанія. По словамъ самого Гоголя, поэтъ „*отдалъ* ему свой собственный сюжетъ, изъ котораго онъ самъ хотѣлъ сдѣлать *что-то въ родѣ поэмы*, и котораго, по словамъ его, онъ бы не отдалъ другому никому". Напротивъ того, Анненковъ [1]) опредѣленно заявляетъ, что „Пушкинъ не совсѣмъ охотно уступилъ свое достояніе", и приводитъ вслѣдъ затѣмъ отзывъ поэта о Гоголѣ, сдѣланный съ добродушнымъ смѣхомъ въ кругу домашнихъ и прямо сводящійся къ протесту противъ захвата чужого добра. Очевидно, во время своихъ частыхъ указаній на необходимость расширить размѣры сатирической картины, Пушкинъ неосторожно, не рѣшивъ еще про себя, воспользуется ли онъ самъ данною фабулой, привелъ ее въ примѣръ Гоголю, быть можетъ, даже показавъ, какія разнообразные узоры можно расположить по такой канвѣ. Тщетно стремившись уже нѣсколько времени убѣдить своего друга, онъ могъ думать, что и это указаніе останется лишь доброжелательною проповѣдью; Гоголь, втихомолку набросавшій начальныя главы *своей* поэмы, долженъ былъ изумить поэта, и (по крайней мѣрѣ въ первую минуту) возбудить смутное чувство досады и сожалѣнія, показавъ начатое уже выполненіе плана, еще не выполненнаго въ фантазіи его настоящаго творца. Только въ этомъ смыслѣ можно объяснить „неохотно сдѣланную Пушкинымъ уступку". Во всякомъ случаѣ, если недовольство и возбуждено было, то не надолго, и во все то время, пока „Мертвыя Души" возникали на глазахъ у Пушкина, авторъ встрѣчалъ съ его стороны лишь глубокое сочувствіе, какъ мы видѣли, далеко опережавшее его собственное пониманіе своихъ силъ.

Мимоходомъ обронено Гоголемъ любопытное указаніе на то, что самъ Пушкинъ замышлялъ обработать данный сюжетъ въ формѣ поэмы. Стало быть, поразившее многихъ впослѣдствіи названіе гоголевскаго романа *поэмою* было также предуказано Пушкинымъ. Но, разумѣется, не въ духѣ всегда свѣтлыхъ и ясныхъ художественныхъ плановъ поэта было присвоивать будущему произведенію ту полную таинственнаго символизма основную мысль, которая потомъ въ глазахъ Гоголя оправдывала столь непривыч-

[1]) Воспоминанія и критич. очерки П. В. Анненкова, 1877, I, „Н. В. Гоголь въ Римѣ лѣтомъ 1841 г.", стр. 184.

ное въ сатирической литературѣ названіе, да и этотъ символизмъ лишь съ годами проникъ въ „Мертвыя Души". Если къ какому-нибудь изъ мелкихъ видоизмѣненій родовой формы поэмы (а ихъ еще въ началѣ нынѣшняго вѣка насчитывался цѣлый десятокъ) Пушкинъ могъ шутя отнести задумываемый имъ романъ, то развѣ къ такъ-называемой „комической поэмѣ", разумѣется, не въ родѣ какихъ-нибудь „Расхищенныхъ шубъ", а въ освѣженной тонкимъ юморомъ байроновскаго „Донъ-Жуана" формѣ бытовыхъ очерковъ, введенныхъ въ „Онѣгина". Но въ словахъ Гоголя есть еще одна цѣнная подробность. У него живо сохранилась въ памяти изъ извѣстной намъ бесѣды съ Пушкинымъ пространная ссылка на примѣръ Сервантеса, „который хотя и написалъ нѣсколько очень замѣчательныхъ и хорошихъ повѣстей, но еслибы не принялся за *Донкишота*, никогда бы не занялъ того мѣста, которое занимаетъ теперь между писателями"; послѣ этой-то ссылки, очевидно, былъ тотчасъ же разсказанъ въ видѣ образца будущій сюжетъ „Мертвыхъ Душъ" („и, *въ заключеніе всего*, онъ отдалъ мнѣ", и т. д.). Эта близкая параллель между Гоголемъ и Сервантесомъ, „Донъ-Кихотомъ" и будущею тонко-шутливою поэмой изъ русской жизни, бросаетъ особый свѣтъ на замыселъ поэта, усвоенный въ извѣстной степени и его подражателемъ.

Донъ-Кихотъ покидаетъ свое мирное дѣдовское гнѣздо ради осуществленія рыцарскаго идеала, всѣми забытаго и попраннаго, для защиты угнетенныхъ и слабыхъ. Нашему времени уже непонятна эта фантастическая погоня за радужными химерами, и Донъ-Кихоту нашихъ дней приличнѣе другой нарядъ и другія цѣли. Что, еслибы изобразить въ видѣ полной противоположности ламанчскому герою рыцаря наживы, стремящагося не освобождать гонимыхъ, а самому угнетать и разорять, и еслибы такъ же заставить его вѣчно переѣзжать съ мѣста на мѣсто, ища не столько приключеній, сколько возможности совершать „крупныя, среднія и малыя злодѣйства"?... Мысль о подобномъ переложеніи фабулы Сервантеса на русскіе нравы николаевскихъ временъ легко могла придти на умъ Пушкину и прежде всего должна была рѣшить вопросъ о самой формѣ романа, мѣсто дѣйствія котораго будетъ столько же на большой дорогѣ и проселочныхъ путяхъ, сколько въ четырехъ стѣнахъ помѣщичьяго жилья. Но, продолжая сравненіе, можно подмѣтить и дальнѣйшіе слѣды вліянія, которое могъ оказать испанскій романъ на зарождавшееся произведеніе,—разумѣется, вызывая прямо противоположныя черты. Донъ-Кихотъ разгорячилъ свое воображеніе неумѣреннымъ чте-

ніемъ рыцарскихъ романовъ; ими полна его библіотека, и въ его отсутствіе домашніе безжалостно жгутъ и выбрасываютъ за окно эти зловредныя книги. Чичиковъ ничего никогда не читаетъ, „Герцогиню Лавальеръ“ никакъ не можетъ одолѣть, совсѣмъ случайно узналъ „посланіе Вертера къ Шарлоттѣ“, которое неожиданно декламируетъ Собакевичу, и превосходно обходится безъ книжнаго балласта. Сервантесъ далъ своему герою въ спутники Санчо, въ которомъ сквозь неотесанность деревенскаго парня сквозитъ народный здравый смыслъ и трезвость сужденій. Крѣпостная среда вытравила и умъ, и смётку въ Селифанѣ и Петрушкѣ, этихъ совсѣмъ пришибленныхъ оруженосцахъ Чичикова. Въ теченіе десятилѣтняго промежутка, который отдѣляетъ вторую и послѣднюю часть „Донъ-Кихота“ отъ первой, Сервантесъ, точно пожалѣвъ своего несчастнаго и всѣми осмѣяннаго героя, просвѣтляетъ его образъ, выдвигаетъ въ немъ мирныя христіанскія добродѣтели, надѣляетъ его всепрощеніемъ и кротостью и возвращаетъ въ лоно обыкновенныхъ людей. Если не въ Пушкинѣ, то во всякомъ случаѣ въ Гоголѣ, должно было возбудить сочувствіе это зрѣлище искупленія былыхъ излишествъ и заблужденій, и въ число причинъ, опредѣлившихъ искупительное значеніе второго и третьяго томовъ „Мертвыхъ Душъ“ во внутренней исторіи Чичикова, думается намъ, слѣдуетъ включить и вліяніе „Донъ-Кихота“.

Такъ, подъ впечатлѣніемъ дружескихъ настояній Пушкина, его указаній на великихъ мастеровъ сатиры и обмѣна мыслей относительно возможности правдиво изобразить всю русскую жизнь, начаты были первыя работы надъ поэмой. Гоголь признается, что, приступая къ труду, онъ „не опредѣлилъ себѣ обстоятельнаго плана, не далъ себѣ отчета, что̀ такое именно долженъ быть самъ герой“. Первая часть этого признанія нуждается въ оговоркѣ: конечно, еще не выработанъ былъ не въ мѣру широкій планъ трехтомнаго романа, становящійся сколько-нибудь яснымъ лишь съ извѣстной перспективы, гдѣ дѣйствующія лица, житейскіе факты отходятъ вдаль, а, заслоняя ихъ, выдвигаются впередъ, связанные развитіемъ одной и той же мысли, главные отдѣлы поэмы. Но основной пріемъ былъ тогда же намѣченъ и удержанъ навсегда. Стоило хоть немного вдуматься въ предстоявшую сложную задачу, чтобы убѣдиться, что только тогда авторъ въ силахъ будетъ справиться съ нею, если предоставитъ повѣствованію течь широкой рѣкой, послѣдовательно изображая жизнь. Вводить въ него опредѣленную фабулу съ завязкой и развязкой должно было казаться излишнимъ стѣсненіемъ. Чисто механиче-

ская связь отдѣльныхъ похожденій Чичикова поражаетъ и въ окончательной редакціи поэмы, когда *планъ* считается уже выработаннымъ. Случайности скопляются въ подавляющемъ количествѣ, какъ будто шаловливо перебрасывая героя изъ одной обстановки въ другую, отъ Бетрищева къ Пѣтуху, отъ него къ Костанжогло, Кошкареву и т. д. Если *отдѣланнаго до мелочей* плана и теперь нѣтъ, такъ оно было, разумѣется, и съ самаго приступа къ дѣлу. Каждая глава имѣла значеніе законченнаго эпизода, и могла быть написана отдѣльно, раньше или позже своихъ сосѣдокъ. Романъ не являлся стройнымъ, легкимъ зданіемъ, чудомъ эпической архитектуры; онъ долженъ былъ представить длинный свитокъ, на которомъ развертывалась безконечная интимная лѣтопись русскихъ деревень и городовъ, испещренная портретами, набросками съ натуры и лишь изрѣдка массовыми картинами быта. Этотъ пріемъ выдержанъ съ большою послѣдовательностью (за исключеніемъ позднѣйшихъ „лирическихъ мѣстъ") до самаго конца перваго тома; его слѣдуетъ, повидимому, признать одною изъ самыхъ раннихъ примѣтъ гоголевской поэмы; онъ внушенъ былъ давно забытою, но въ свое время распространенною формой „романа-путешествія" (Reiseroman).

Столько же нуждается въ поясненіяхъ и вторая часть гоголевскаго признанія. Онъ не далъ себѣ отчета, что̀ такое именно долженъ быть самъ герой... Что въ сравнительно свѣтлый періодъ жизни Гоголя ему ни въ Чичиковѣ, ни въ Хлестаковѣ еще не грезилось аллегорическаго, всеобъемлющаго смысла, и примиряющій исходъ судьбы плутоватаго Павла Ивановича не входилъ въ соображенія романиста, разумѣется, неудивительно, — и съ этой точки зрѣнія нужно согласиться съ тѣмъ, что авторъ не зналъ, чѣмъ *можетъ сдѣлаться* его герой. Но относительно его нравственныхъ свойствъ и особенностей характера онъ, конечно, не имѣлъ и въ первыя минуты работы никакихъ сомнѣній. Онъ могъ сначала легче, поверхностнѣе обрисовывать его плутни, отдавая въ послѣдній разъ дань юношескому избытку смѣха, выказывая недостаточную еще художественную зрѣлость, но въ томъ, что ему предстоитъ описывать похожденія торжествующаго негодяя, искусно раскидывающаго сѣти и предпочитающаго грубой, хищнической наживѣ обворожительную изворотливость и вкрадчивость, онъ не могъ сомнѣваться. На это ему указалъ бы коренной источникъ поэмы, завѣщанный ему Пушкинымъ,—анекдотъ о чиновникѣ-скупщикѣ мертвыхъ душъ, совершавшемъ свои покупки, разумѣется, не съ развязностью биржевика, объявляющаго цѣну на товаръ, ходячій на рынкѣ... Намѣреніе избрать

центральною личностью въ романѣ человѣка пронырливаго, въ свою очередь, сближало зарождавшіяся „Мертвыя Души“ съ развившимся еще съ XVII-го вѣка на Западѣ „плутовскимъ романомъ“ (Schelmenroman).

Но и на Руси онъ не былъ безъизвѣстенъ. Если съ романомъ въ формѣ описанія путешествія мы познакомились лишь въ концѣ прошлаго столѣтія, у Гоголя, желавшаго какъ будто впервые „пристегнуть плутоватаго человѣка“, былъ довольно ранній предшественникъ, недостаточно оцѣненный бытовой разсказчикъ временъ Алексѣя Михайловича, анонимный авторъ „Исторіи о Фролѣ Скобѣевѣ и о стольничьей Ордина-Нащокина дочери Аннушкѣ“ [1]. Съ рѣдкимъ для своей поры реализмомъ, ни на минуту не впадая въ назиданіе, бойко рисуя московскій и провинціальный бытъ XVII столѣтія, онъ сжатыми чертами, быстро толкая дѣйствіе впередъ, передаетъ рядъ смѣлыхъ и удачныхъ плутней своего героя (въ своемъ родѣ даже собрата Чичикова по профессіи, сутяги, ходящаго по дѣламъ), который во что бы то ни стало хочетъ выбраться изъ низкой доли въ люди,—и достигаетъ своего. Началъ онъ жизнь чѣмъ-то въ родѣ однодворца въ новгородской глуши, а подъ конецъ является богатымъ зятемъ стольника, быть можетъ, станетъ самъ стольникомъ и будетъ играть вліятельную роль при дворѣ. Онъ никогда не унываетъ, мастеръ притворяться, плутуетъ съ лукавой усмѣшкой, побѣждающей его жертвъ. Въ результатѣ получается идущее въ разрѣзъ и съ цѣломудренными требованіями современной автору набожности, и съ позднѣйшими эстетическими правилами, торжество порока и довольно скромный удѣлъ, отведенный добродѣтели. И все это безъ лиризма, безъ вмѣшательства автора, который какъ будто иронически подсмѣивается, передавая то, что̀ дѣйствительно *бываетъ*, что у всѣхъ передъ глазами.

Но если повѣсть о Скобѣевѣ осталась неизвѣстною Гоголю и возбуждаетъ интересъ, какъ ранняя предшественница его поэмы, въ обоихъ видахъ романа, съ которыми сближаются „Мертвыя Души“, у него могли быть болѣе близкія и вполнѣ доступныя ему соотношенія. На одно изъ нихъ (вліяніе „Донъ-Кихота“) пришлось уже указать. Замѣчательное умѣнье воспользоваться формой путевыхъ впечатлѣній для группировки массы лицъ и бытовыхъ сценъ было выказано Стерномъ въ „Сантиментальномъ путешествіи“, полномъ вѣчной игры свѣта и тѣней, капризныхъ вспышекъ юмора, обращеній автора прямо къ читателю, быстрыхъ

[1]) Впервые напечатана въ „Москвитянинѣ“ 1853 года.

переходовъ отъ слезъ и раздумья къ смѣху. Этотъ типическій складъ разсказа, представляющій просторъ и личнымъ изліяніямъ, и наблюденіямъ надъ жизнью и людьми, выработался, конечно, подъ вліяніемъ племенныхъ британскихъ свойствъ, остался почти неподражаемымъ, встрѣтилъ на Западѣ однородное явленіе лишь въ юморѣ гейневскихъ „Reisebilder", но дѣйствовалъ возбуждающимъ образомъ на многихъ даровитѣйшихъ беллетристовъ. Врядъ ли Гоголь избѣжалъ этого вліянія. Вмѣшательство автора въ разсказъ, особенно часто повторяющееся въ первоначальной редакціи перваго тома „М. Душъ" [1]) и вообще непривычное въ тогдашнихъ литературныхъ нравахъ, могло опираться и на примѣръ Пушкина, сдѣлавшаго въ этомъ отношеніи починъ въ „Онѣгинѣ", и на еще болѣе подходившій по складу таланта юморъ Стерна. Для рѣзкихъ переходовъ изъ одного душевнаго настроенія въ другое, замѣтныхъ и въ раннихъ произведеніяхъ Гоголя, но особенно учащенныхъ въ поэмѣ, точно также англійскій юмористъ могъ служить ободряющимъ образцомъ.

Но нашему автору было еще доступнѣе примѣненіе стерновскаго направленія къ русской средѣ—„Путешествіе изъ Петербурга въ Москву". Кто былъ такъ близокъ къ Пушкину, какъ Гоголь, тотъ не могъ не воспринять у него интереса къ Радищеву и къ его несчастной книгѣ. Если Пушкинъ до такой степени руководилъ чтеніемъ Гоголя, что, по словамъ Анненкова, заставилъ его прочесть Мольера, то, предлагая облечь будущій романъ въ форму описанія путешествія, онъ не могъ не указать на наиболѣе замѣчательный, хотя и вызывавшій въ немъ нѣкоторыми сторонами недовольство и возраженія, примѣръ такого русскаго произведенія. Для столь чуткаго, болѣзненно отзывчиваго и благороднаго мечтателя, какъ тотъ странникъ, за которымъ скрывается самъ Радищевъ, конечно, не было мѣста въ гоголевской поэмѣ; вѣдь это былъ такой же Донъ-Кихотъ, гнавшійся за идеалами, уже упраздненными екатерининской реакціей.

---

[1]) „Мертвыя души" въ подлинной рукописи автора, сообщ. Е. С. Некрасовой. „Русск. Старина", 1885, дек. Приведемъ примѣры этихъ устраненныхъ впослѣдствіи личныхъ обращеній: „Будь лучше *ты*, нежели вы, веселый и прямодушный читатель мой, я съ тобой совершенно безъ чиновъ, и вмѣсто того, чтобы разсказывать, какъ герой нашъ одѣвался, беру тебя за руку и веду прямо на балъ". „Было время, когда и я, несмотря на неповоротливость, глядѣлъ въ глаза, старался угадывать желанія тѣхъ, съ которыми мы привыкли быть до приторности учтивыми. А теперь, какъ унесло меня море изъ нашей пространной имперіи, все благоговѣніе, которое питалось въ душѣ къ разнымъ правителямъ канцелярій и многимъ другимъ разнымъ достойнымъ людямъ, испарилось совершенно. Теперь и кланяться не умѣю. Я состарѣлся, нѣтъ гибкости въ костяхъ".

И его, и испанскаго его собрата замѣнилъ „хозяинъ-пріобрѣтатель“ Чичиковъ, но въ распорядкѣ сюжета, дорожныхъ думахъ про себя, встрѣчахъ, знакомствахъ, эпизодическихъ разсказахъ, обрисовкѣ немногихъ положительныхъ характеровъ, выступающихъ изъ массы порочныхъ личностей, въ такихъ смѣлыхъ скачкахъ отъ бойкаго комическаго наброска къ мрачной картинѣ торжествующаго зла и лжи, какъ сопоставленіе (въ главѣ: „Спасская Полисть“) анекдота о выпискѣ устрицъ по казенной надобности съ фантастическимъ появленіемъ истины при самоуправномъ дворѣ, —во всѣхъ этихъ чертахъ „Путешествія“ многое могло руководить Гоголемъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ серьезнѣе сталъ задумываться надъ тѣмъ, какъ справиться съ необъятнымъ содержаніемъ поэмы. Ему и тогда, да и впослѣдствіи чужда была та дѣятельная, практическая, общеполезная сторона, которая у Радищева составляетъ основу книги, скрашенную беллетристической оболочкой [1]). Взамѣнъ того онъ испытывалъ искреннее негодованіе противъ зла и несправедливости, не вѣдавшее средствъ окончательно побороть ихъ, но все же не дававшее успокоиться, примириться, задремать. На этой почвѣ онъ могъ сойтись съ своимъ стариннымъ предшественникомъ.

Другое русское произведеніе, также внушенное иностраннымъ образцомъ, именно „Gil Blas'омъ“ Лесажа, — „Россійскій Жилблазъ“ [2]) Нарѣжнаго, неоконченный, подвергшійся гоненію, мѣстами растянутый и вялый, мѣстами замѣчательно смѣлый и остроумный,— было, разумѣется, хорошо извѣстно Гоголю, воспринявшему вообще не мало полезныхъ возбужденій у этого земляка своего (въ *Віѣ* и *Бульбѣ*—изъ *Бурсака*, въ *Повѣсти объ Иванѣ Ив.*—изъ *Двухъ Ивановъ или Страсти къ тяжбамъ*). Въ виды Нарѣжнаго входило постепенно обозрѣть всѣ закоулки русской жизни, но онъ не успѣлъ выполнить своей задачи; отдѣльные эпизоды у него слишкомъ разростаются, какъ наприм. сатирическая выходка противъ метафизиковъ, риторовъ и семинарскихъ словесниковъ; онъ принужденъ прибѣгать къ аллегорическому переодѣванью, лишь бы коснуться запретныхъ вопросовъ (выводя лицемѣрящихъ и жадныхъ монаховъ подъ видомъ факировъ). Но тамъ, гдѣ ему удается прямо подойти къ русскимъ житейскимъ фактамъ, онъ видимо пролагаетъ дорогу Гоголю, вводя читателя въ помѣщичьи

---

[1]) Плетневъ очень мѣтко ставилъ Гоголю на видъ, что „въ его поэмѣ нѣтъ того, чего мы еще не встрѣчаемъ въ нашей жизни,—серьезнаго общественнаго интереса, что онъ возвратилъ обществу, что̀ оно дало ему“.

[2]) Россійскій Жилблазъ или похожденія князя Гаврилы Семеновича Чистякова. Соч. Вас. Нарѣжнаго. Спб., 1814; въ настоящее время—это большая рѣдкость.

усадьбы, на деревенскую улицу, въ захолустный городъ, старый судъ [1]). Можно было бы найти даже нѣсколько мелкихъ чертъ совпаденія между обоими романами.

Знакомство съ только-что названными произведеніями, которыя въ различной степени могли помочь Гоголю въ періодъ приступа къ работѣ, почти обнимаетъ собой то, что̀ можно бы назвать литературными источниками „Мертвыхъ Душъ". Прибавимъ къ этому, чтобы исчерпать вопросъ, нѣсколько примѣровъ позднѣйшихъ частныхъ заимствованій, у русскихъ и иноземныхъ писателей,—заимствованій, скажемъ кстати, гораздо чаще встрѣчающихся у Гоголя, чѣмъ это обыкновенно думаютъ. Въ началѣ извѣстнаго лирическаго мѣста седьмой главы перваго тома („Счастливъ писатель" и т. д.), можно найти отголосокъ XI строфы первой главы „Евгенія Онѣгина" („Свой слогъ на важный ладъ настроя" и т. д.). Чичиковъ, объясняя Лѣницыну необходимость, „чтобы это было въ тайнѣ, ибо не столько самое преступленіе, сколько соблазнъ вредоносенъ", выражается словами Тартюфа: „le mal n'est jamais que dans l'éclat qu'on fait; le scandale du monde est ce qui fait l'offense". Это неожиданное сходство можно сопоставить съ незамѣченнымъ еще, кажется, присвоеніемъ словъ Горація (сатира первая, стихи 69—70): „Quid rides? mutato nomine, de te fabula narratur", городничему въ „Ревизорѣ": „что смѣетесь? Надъ собой смѣетесь!"

Но въ такомъ непосредственно связанномъ съ жизнью произведеніи, какъ „Мертвыя Души", литературные источники естественно должны занимать второстепенное мѣсто, и Гоголь съ первыхъ же шаговъ, конечно, увидалъ, что главною его опорою будутъ подлинные факты, добытые его наблюденіями надъ людьми и нравами. Онъ постепенно убѣждался въ томъ, что у него „только то̀ и выходило хорошо, что̀ было взято изъ дѣйствительности, изъ данныхъ, извѣстныхъ ему".

---

[1]) Вотъ, напр., бойкая характеристика двухъ сосѣднихъ домовъ: одинъ изъ нихъ „каменный, большой, на верху котораго прибитъ былъ деревянный раскрашенный двоеглавый орелъ. Въ домъ сей входило и выходило множество людей. Входящіе имѣли на лицѣ начертаніе ожиданія, держали въ карманахъ руки и ими помахивали; выходящіе оттуда были печальны, имѣли руки на свободѣ и, одною утирая ротъ, другою чешась въ затылкахъ, отходили прочь. Рядомъ стоялъ маленькій, ветхій домикъ съ разбитыми окошками, а надъ дверьми его прибитый кругъ, на коемъ также нарисованъ двоеглавый орелъ, и куда также входило множество народа. Входящіе туда также держали руки въ карманахъ; но разница въ томъ, что на лицахъ выходящихъ, вмѣсто печали, видна была радость, а иные даже припрыгивали отъ удовольствія и весело вскрикивали". Эта характеристика какъ будто заставляетъ предчувствовать близость гоголевской сатиры.

Лучше всего ему извѣстенъ и понятенъ былъ его же собственный характеръ, который онъ привыкъ анализировать до мелочей еще въ то время, когда въ этотъ анализъ не закрадывалось монашескаго самобичеванія и когда это былъ лишь здравый и строгій судъ надъ самимъ собою, естественное слѣдствіе раздвоенія его натуры на дѣйствующую, страстную, порою слишкомъ подпадающую людскимъ слабостямъ сторону и на элементъ разсудочный, критическій. Онъ самъ признается, что „бо́льшую часть своихъ пороковъ и слабостей онъ передавалъ своимъ героямъ, осмѣивая ихъ въ своихъ повѣстяхъ, и такимъ образомъ избавлялся отъ нихъ *навсегда*“ (?),—и въ любопытныхъ воспоминаніяхъ своихъ Арнольди, братъ Смирновой, вполнѣ подтверждаетъ это, ссылаясь „на всѣхъ, кто зналъ Гоголя коротко“ [1]). Послѣ этого вполнѣ естественно искать въ числѣ матеріаловъ для романа и чертъ автобіографическаго характера. Кудрявая витіеватость рѣчей Чичикова въ сильной степени напоминаетъ застарѣлый у самого Гоголя недостатокъ, отъ котораго онъ постоянно стремился избавиться,—склонность къ отборнымъ, красивымъ фразамъ, полнымъ многословія и реторическихъ побрякушекъ. Въ юности его почти всѣ письма, кромѣ непринужденныхъ, дружескихъ, написаны этимъ слогомъ; въ quasi-ученыхъ статьяхъ *Арабесокъ* онъ то-и-дѣло туманитъ изложеніе; сочетаніе его съ безподобно правдивымъ языкомъ петербургскихъ повѣстей или „Тараса Бульбы“ поражаетъ иногда диссонансомъ; первый томъ „М. Душъ“ производитъ рѣшительный переломъ въ пользу естественности, но прежняя реторика, скрашенная новымъ освѣщеніемъ во вкусѣ благочестія, опять всплываетъ въ „Выбранныхъ мѣстахъ“. Но отроческія письма Гоголя полны также приторныхъ маниловскихъ оборотовъ. Конечно, самъ Маниловъ не отказался бы написать слѣдующее письмо: „Позвольте, дражайшая маменька, поздравить васъ съ днемъ ангела вашего, съ симъ блаженнѣйшимъ днемъ для каждаго нѣжнаго и благороднаго сына. Ваша родительская любовь и нѣжность, ваши благодѣянія, ваши о мнѣ попеченія, все сіе побуждаетъ меня приняться за перо, чтобы изъявить вамъ свою благодарность. Но, къ несчастію, оно не столь твердо, силы мои такъ слабы, а о благодарности я и думать не могу: она не что иное есть, какъ слабая тѣнь, въ сравненіи со всѣмъ тѣмъ, что̀ я вамъ долженъ“ [2]), и т. д. Гоголю стоило вспомнить слогъ своихъ писемъ этого пошиба, чтобы

---

[1]) „Русск. Вѣстникъ“, 1862 г., № 1.

[2]) Сочиненія Гоголя, изд. Кулиша, томъ V, стр. 15; также стр. 50, 67 и т. д.

схватить вѣрный тонъ для рѣчей Манилова (отъ первыхъ строкъ приведенной поздравительной записки такъ и вѣетъ „майскимъ днемъ" и „именинами сердца"). Но тотъ же строгій къ себѣ судья зналъ въ своемъ характерѣ и слабость, заклейменную имъ въ Хлестаковѣ: „есть во мнѣ что-то хлестаковское", пишетъ онъ Жуковскому; въ интимныхъ бесѣдахъ съ друзьями онъ не таилъ ея, несмотря на присущую ему склонность лишь до извѣстной степени раскрывать имъ свой внутренній міръ; эту черту признаетъ за нимъ сильно любившій его С. Аксаковъ, а изученіе писемъ Гоголя (сообщенныхъ сыномъ Шевырева) привело Ореста Ѳед. Миллера къ весьма характеристическому вопросу: „какъ помирить хлестаковщину съ геніальностью" [1])?.. И вотъ, въ „М. Душахъ" разбросаны остроумныя выходки противъ суетнаго желанія рисоваться, хвастать, казаться, а не быть, противъ привычки щеголять показными, часто вымышленными, достоинствами. Наконецъ, необходимое для него и, какъ мы видѣли, поддержанное примѣромъ образцовыхъ писателей, развитіе активной роли разсказчика позволило ввести въ романъ многое лично пережитое и передуманное, и самокритику, и самооправданіе. Со временемъ, когда перевѣсъ лиризма въ подобныхъ вставкахъ сталъ придавать личному элементу слишкомъ большое значеніе, Гоголь самъ уже страшился этой склонности и искалъ противовѣса въ усиленныхъ наблюденіяхъ надъ внѣшней жизнью; прося всѣхъ доставлять ему какъ можно больше этихъ наблюденій, онъ поясняетъ, что иначе „на мѣсто людей высунется его собственный носъ".

Отъ изученія своего характера легокъ переходъ къ настойчивому обдумыванію и переработкѣ того, что уже было не только подмѣчено, но и облечено самимъ же авторомъ въ литературную форму и стало его достояніемъ. Это—второй видъ *личныхъ* источниковъ „Мертвыхъ Душъ", раскрывающій любопытную черту въ творчествѣ Гоголя, постоянное воспроизведеніе группы характеровъ, почему либо рано обратившихъ на себя вниманіе сатирика и затѣмъ не разстающихся съ нимъ,—повторяемость ихъ, обусловленную ихъ видоизмѣненіемъ и болѣе тонкимъ анализомъ [2]). Такъ какъ первые наброски поэмы и „Ревизора" совпадаютъ по времени,—неудивительно, что между обоими произведеніями всего болѣе замѣтна эта связь. Въ языкѣ, пріемахъ, привычкахъ дѣйствующихъ лицъ „М. Душъ" часто слышатся отголоски чего-то знакомаго. Городничій (который, кстати, въ ранней редакціи на-

---

[1]) „Русская Старина", 1875, № 9.

[2]) Нѣсколько примѣровъ ея, взятыхъ изъ украинскихъ повѣстей, приведено г. Шенрокомъ въ „Вѣстн. Европы" 1890, августъ, стр. 502—503.

званъ полиціймейстеромъ, а на рисункѣ, сдѣланномъ самимъ Гоголемъ, изображенъ даже въ военномъ мундирѣ съ эполетами) [1]) снова оживаетъ въ лицѣ полиціймейстера города N, „всеобщаго благодѣтеля“, у котораго вкусно позавтракалъ Чичиковъ. Онъ беретъ взятки и досаждаетъ горожанамъ не хуже Сквозника, но помнитъ, что живетъ не въ захолустьѣ, и уже не кормитъ арестованныхъ селедкой и не хватаетъ за бороду, но предлагаетъ купцу сыграть съ нимъ или покататься на его иноходцѣ, и тотъ, очень польщенный, кланяется, катается и проигрываетъ сколько слѣдуетъ. Тяпкину-Ляпкину соотвѣтствуетъ почтмейстеръ Иванъ Андреичъ, тоже дошедшій до всего собственнымъ умомъ (характеръ глубокомысленнаго судьи, скажемъ мимоходомъ, уже намѣченъ былъ въ „Жилблазѣ“ Нарѣжнаго), словоохотливый, любящій читать мудреныя книги и ссылающійся на „Ключъ Натуры“ Эккартсгаузена, какъ Тяпкинъ-Ляпкинъ на „Дѣянія Іоанна Масона“, выдвигающій въ затруднительныя минуты вычурные совѣты и объясненія. Анна Андреевна по манерамъ и складу рѣчи — прототипъ „просто пріятной дамы“, тогда какъ въ ея разсказѣ о нетерпѣніи, съ которымъ она летѣла сообщить важную новость пріятельницѣ, звучатъ тѣ же ноты, почти тѣ же слова, какъ и въ задыхающейся отъ волненія и столь же фальшивой болтовнѣ жены Луки Лукича Хлопова. Бобчинскій, Добчинскій, Люлюковъ и прочіе мелкотравчатые провинціалы умножились числомъ, взапуски толкуютъ о будущности крестьянъ Чичикова, готовы отыскивать ему управляющаго, жену и т. д.

Хлестаковъ ссудилъ нѣсколько чертъ, и въ особенности свое лганье, Ноздреву; теперь онъ сталъ грубѣе, но это потому, что онъ уже не столичная штучка, а размѣнявшійся на мелочи враль, герой губернскихъ ярмарокъ и дворянскихъ съѣздовъ. Мало того, онъ уже не просто любитель картъ, а шулеръ, и этою стороною своей повторяетъ черты, собранныя въ „Игрокахъ“. Очевидно, типъ лжеца былъ предметомъ одного изъ самыхъ раннихъ наблюденій сатирика; обрывки рѣчей, которыми онъ мысленно надѣлялъ такого человѣка, слышатся иногда даже тамъ, гдѣ бойкая находчивость еще не перешла въ привычку лгать. Такъ можно указать на близкое созвучіе между болтовней Хлестакова, Собачкина, Кочкарева и, наконецъ, Ноздрева.

Замѣтно соотвѣтствіе даже между отдѣльными ситуаціями въ романѣ и въ комедіи. Совѣщаніе городскихъ сановниковъ по

---

[1]) Этотъ рисунокъ воспроизведенъ fac simile въ приложеніи къ статьѣ Н. С. Тихонравова: „М. С. Щепкинъ и Н. В. Гоголь“, журналъ „Артистъ“, 1890, кн. 5.

случаю ожиданія ревизора, открывающее собою пьесу, повторено въ началѣ десятой главы перваго тома „М. Душъ" въ видѣ тревожнаго съѣзда властей города N, ожидающихъ появленія генералъ-губернатора, причемъ опять каждый предлагаетъ свои мѣры и щеголяетъ догадливостью. Найденный впослѣдствіи набросокъ окончанія IX главы еще опредѣленнѣе усиливаетъ сходство, такъ какъ тутъ у чиновниковъ внезапно проносится мысль, не есть ли самъ Чичиковъ ревизоръ, и мертвыя души не указываютъ ли на всѣхъ, ложно зачисленныхъ за послѣднее время умершими.

Переходя отъ обзора тѣхъ матеріаловъ для будущей поэмы, которые доставляли изученіе собственнаго характера или переживаніе преждесозданныхъ образовъ, къ тѣмъ бытовымъ даннымъ, которыя приходилось прямо черпать изъ моря житейскаго, намъ представятся, конечно, сначала тѣ, что имѣютъ отношеніе къ опредѣленнымъ личностямъ, извѣстнымъ автору, а затѣмъ несравненно болѣе многочисленныя, такъ сказать, безъименныя, подобранныя имъ по пути или же просто доставленныя ему другими лицами.

Вопросъ о матеріалахъ, составляющихъ первую изъ этихъ группъ, равносиленъ съ опредѣленіемъ *портретности* изображенныхъ Гоголемъ лицъ. По его же словамъ, онъ никогда не *писалъ* портрета въ смыслѣ простой копіи; онъ *создавалъ* портретъ, но создавалъ его вслѣдствіе соображенія, а не воображенья. Чѣмъ болѣе вещей принималъ онъ въ соображеніе, тѣмъ вѣрнѣе выходило созданье [1]). Несмотря на то, что онъ прямо указываетъ на собирательный, типическій складъ своихъ характеровъ, изрѣдка встрѣчались указанія на опредѣленныя лица, будто бы служившія прототипами его героевъ, причемъ (какъ это сдѣлано было недавно) [2]) выставлялись въ свидѣтели лица довольно авторитетныя. Такъ, для Манилова, въ которомъ даже друзья Гоголя,—напр., Плетневъ [3]),—склонны были видѣть только каррикатуру, нашелся оригиналъ, Василій Ивановичъ Юрьевъ, женатый на двоюродной сестрѣ А. Данилевскаго, для Пѣтуха—отставной полковникъ двѣнадцатаго года Ѳедоръ Акимовичъ Данилевскій. Относительно второго тома вообще нѣсколько больше такихъ указаній: въ свѣтской эманципированной женщинѣ, въ которую влюбился Платоновъ, авторъ предполагалъ, говорятъ, изобразить Смирнову, въ генералъ-губернаторѣ—графа А. П. Толстого или же мужа Смирновой, калужскаго губерна-

[1]) Соч. Гог., 10-е изд., IV, 256.
[2]) Н. В. Гоголь и А. С. Данилевскій, ст. г. Шенрока. „В. Европы", 1890, II, 613.
[3]) Сочин. и перев. Плетнева, 1885, I, 487.

тора, энергически боровшагося съ шайкой взяточниковъ [1]), и т. д. Наконецъ, въ недоучившемся студентѣ, начитавшемся всякихъ брошюръ, пріятелѣ Тентетникова, нѣкоторые видятъ Бѣлинскаго, выведеннаго въ этомъ видѣ въ отместку за страстное порицаніе „Выбранныхъ мѣстъ". Но всѣ эти ссылки имѣютъ значеніе лишь потому, что могутъ опредѣлить ближайшій поводъ къ созданію характера, который затѣмъ свободно осложнялся и видоизмѣнялся. Данилевскій, принявшись перечислять оригиналы гоголевскихъ героевъ, говоря о Чичиковѣ, просто назвалъ его „ихъ общимъ знакомцемъ". Расширивъ смыслъ этого заявленія, его можно повторить и о другихъ лицахъ одинаковой съ нимъ художественной силы. И Собакевичъ, и Коробочка—„всеобщіе знакомцы", и потому-то стали типами кулака и вѣчно плачущейся скопидомки.

Если число сколько-нибудь опредѣленныхъ оригиналовъ дѣйствующихъ лицъ поэмы очень ограничено, и Гоголя нельзя назвать „портретистомъ", то тѣмъ обширнѣе и сложнѣе должны были быть тѣ общіе матеріалы, изъ которыхъ слагалась его картина русской жизни. Искреннее влеченіе къ реализму и правдѣ стало отличительной чертой его творчества съ той поры, когда „романтическій его періодъ" (очень удачно названный такъ Н. С. Тихонравовымъ) уступилъ мѣсто серьезному изученію дѣйствительности. Его томитъ неудовлетворенность; его бѣсятъ и возмущаютъ фальшиво задуманныя и столь же ложно изображаемыя современнымъ романомъ и комедіею тѣни, выдаваемыя за живыя лица, и онъ страстно призываетъ писателей и актеровъ-художниковъ приступить, наконецъ, къ вѣрному изображенію настоящихъ русскихъ людей. „Русскаго мы просимъ! Своего давайте намъ! что намъ французы и весь заморскій людъ! Развѣ мало у насъ *нашихъ* плутовъ, которые тихомолкомъ употребляютъ во зло благо, изливаемое на насъ правительствомъ нашимъ, которые превратно толкуютъ наши законы, которые, подъ личиною кротости, подъ рукою дѣлаютъ дѣлишки не совсѣмъ кроткія. Изобразите намъ *нашего* честнаго, прямого человѣка, который среди несправедливостей, ему наносимыхъ, остается неколебимъ въ своихъ положеніяхъ",—такъ вписалъ онъ въ 1835 году въ свою записную книгу [2]) бѣглыя замѣтки, внушенныя состояніемъ тогдашней сцены, но отражавшія все его собственное настроеніе. Если именно въ эту пору начинали умножаться набросанные, по его обыкновенію, на отдѣльныхъ лоскуткахъ отрывки будущихъ „М.

---

[1]) См. любопытную переписку Смирновой съ Гоголемъ въ „Русс. Стар." 1890.
[2]) Отрывки изъ нея въ „Артистѣ", 1890, кн. 5, стр. 85—86.

Душъ", то, конечно, и онъ самъ долженъ былъ желать на дѣлѣ показать, *какъ* слѣдуетъ выполнить его совѣты и дать русскому читателю русскихъ же людей. Въ этихъ словахъ выставлена какъ будто программа всего дальнѣйшаго труда; даже то раздвоеніе задачи нравоописателя, которое большею частью относятъ къ позднѣйшему времени, уже установлено здѣсь. Нужно одинаково изображать и *нашихъ плутовъ*, и *нашего честнаго, прямого человѣка.* Скажемъ больше,—предрѣшена не только законность введенія одиночныхъ положительныхъ характеровъ среди скопища негодяевъ, но—совершенно въ духѣ обоихъ послѣднихъ томовъ поэмы—допущена возможность изображать ихъ цѣлыми группами. „Бросьте долгій взглядъ во всю длину и ширину нашей раздольной Россіи: *сколько есть у насъ добрыхъ людей*, но сколько есть и плевелъ, отъ которыхъ житья нѣтъ добрымъ", читаемъ далѣе въ записной книгѣ.

Но во всякомъ случаѣ и честныхъ, и порочныхъ людей этихъ нужно было изучить въ ихъ подлинной житейской обстановкѣ. Насколько же зналъ жизнь Гоголь въ ту пору, когда принимался за свой трудъ, и были ли въ его распоряженіи необходимыя данныя для будущей картины *всего* русскаго быта? Способностью сердцевѣденія былъ онъ одаренъ въ рѣдкой степени и могъ многое отгадывать, досказывать въ воображеніи, но для новаго труда это было недостаточно, и знаніе многосложныхъ отношеній, изъ которыхъ складывается народная жизнь, способное придать *вообще* вѣрно схваченному характеру взяточника, крючкотвора или честнаго труженика отпечатокъ его національности, общества и времени, это знаніе было безусловно необходимо. Но Гоголь въ 1834—36 годахъ всего ближе зналъ жизнь Украйны, а изъ великорусской дѣйствительности—лишь Петербургъ, тонко изученный имъ. Москва была отчасти извѣстна ему, благодаря краткимъ остановкамъ въ ней по пути, а русская глушь была знакома, благодаря довольно однообразнымъ маршрутамъ, которые помогали ему, истомленному душевнымъ одиночествомъ на дальнемъ сѣверѣ, переноситься опять на родину. Эти маршруты почти всегда проводили его къ себѣ прямою линіею отъ Москвы черезъ Тулу, Орелъ, Курскъ, и затѣмъ обратно. Первый пріѣздъ въ Петербургъ состоялся по бѣлорусской дорогѣ, черезъ Черниговъ, Могилевъ, Витебскъ [1]). Поѣздка къ крымскимъ грязямъ, если она дѣйствительно состоялась [2]), опять должна была направить

[1]) Н. В. Гоголь и А. С. Данилевскій, ст. г. Шенрока, „Вѣстн. Европы". 1890, I, 84.
[2]) На нее есть указаніе въ оффиціальныхъ бумагахъ, по которымъ составлена

его шаги по излюбленному направленію. Между тѣмъ онъ все глубже проникается мыслью, такъ мѣтко выраженной въ одномъ изъ его писемъ къ Погодину: „вѣдь въ столицѣ нашей чухонство, въ вашей—купечество, а Русь только среди Руси“ [1]).

Естественно, что бытовыя данныя, имъ собранныя въ ту пору, были взяты прежде всего изъ малорусскаго быта, а затѣмъ уже изъ мастерски подмѣченныхъ мимоходомъ чертъ остальной русской жизни. Онъ самъ сознавалъ минутами неполноту пониманія ея. Даже въ 1836 г., послѣ представленія „Ревизора“, онъ говорилъ въ письмѣ къ Щепкину, что авторскія терзанія были бы для него еще мучительнѣе, „еслибы онъ взялъ что-нибудь изъ петербургсвой жизни, которая ему больше и лучше теперь знакома, нежели провинціальная“. Если въ названной комедіи многіе въ то время склонны были видѣть изображеніе украинскаго захолустья или, вѣрнѣе, одного изъ тѣхъ городковъ со смѣшаннымъ населеніемъ, что встрѣчаются на порубежной линіи между великорусскимъ міромъ и Малороссіей, то даже на родинѣ сатирика господствовало убѣжденіе, что въ своей поэмѣ онъ главнымъ образомъ имѣлъ въ виду изобразить южно-русскую жизнь. „Малороссы вообще, особенно въ Миргородѣ, терпѣть не могутъ Гоголя за то, что онъ вывелъ ихъ въ смѣшномъ видѣ, и говорятъ, что „Мертвыя Души“ написаны на нихъ же“,—писала своей пріятельницѣ В. С. Аксакова, разумѣется, основываясь на свѣденіяхъ, сообщенныхъ Гоголемъ.

Зная, что „Русь только среди Руси“, Гоголь не пропускалъ случая извѣдать подлинную жизнь ея. Путешествія доставляли ему любопытныя впечатлѣнія очевидца, но сами эти странствія не имѣли цѣлью изученія быта, это не были продолжительныя „хожденія въ народъ“, и оттого огромная полоса русской жизни—нравы, характеры и складъ деревенскаго люда—осталась невѣдомою нашему писателю, не успѣвшему и въ позднѣйшіе годы сколько-нибудь пополнить этотъ существенный пробѣлъ. Въ поѣздкахъ имѣли наибольшее значеніе конечныя точки,—та, которую покидалъ путникъ, стремившійся въ самомъ уже передвиженіи найти снова душевную бодрость и освѣженіе, и та, что манила его своей нѣгой, ароматнымъ воздухомъ и добродушно-патріархальной средой. По дорогѣ могли встрѣтиться всевозможныя случайности, даже онѣ были чрезвычайно желательны. Если неожиданно лопалась ось, и приходилось по-неволѣ застрять въ

статья Н. А. Бѣлозерской: „Н. В. Гоголь, служба его въ Патріотич. институтѣ“, Русск. Стар., 1887, XII.

[1]) Соч. Г., изд. Кулиша, V, 195.

какомъ-нибудь городишкѣ по милости „ямщиковъ, кузнецовъ и другихъ дорожныхъ подлецовъ", эта остановка была для Гоголя настоящимъ событіемъ. Онъ пускался бродить по мѣстечку, ко всему присматривался, все стараясь разузнать. Онъ надѣлилъ Чичикова своею страстью къ разспросамъ. Онъ самъ, только что пріѣхавъ куда-нибудь, спѣшилъ завести и съ трактирщикомъ, и съ половымъ, и съ базарнымъ торговцемъ длинные разговоры о томъ, кто живетъ въ городѣ и по сосѣдству, какіе новости, слухи и толки занимаютъ мѣстный людъ, какъ идетъ торговля и т. д. Арнольди наглядно изображаетъ подобную сцену въ одну изъ послѣднихъ поѣздокъ Гоголя въ Калугу, а самъ писатель въ „Авторской исповѣди" включаетъ такой способъ собиранія свѣденій въ число основныхъ своихъ пріемовъ. Если же судьба посылала ему, кромѣ того, интересную встрѣчу на постояломъ дворѣ, или въ дорогѣ, съ еще большей поживой заканчивалъ онъ свою поѣздку.

Разумѣется, во всемъ этомъ было слишкомъ много случайнаго. Не такъ поступалъ бы зрѣло обдумавшій свой планъ дѣйствій нравоописатель. Прослышавъ объ ужасающемъ положеніи народныхъ школъ въ Іоркширѣ, Диккенсъ переряживается, принимаетъ чужое имя, вмѣстѣ съ однимъ пріятелемъ отправляется на самое мѣсто свирѣпства іоркширскихъ Кутейкиныхъ, все высматриваетъ и потомъ ярко воспроизводитъ въ своемъ „Николаѣ Никльби"; для „Оливера Твиста" онъ близко изучаетъ всѣ плутни приходской благотворительности въ Нью-Іоркѣ, „ходитъ по тюрьмамъ, мастерскимъ, госпиталямъ, полицейскимъ домамъ, выходя въ полночь, пробирается въ каждое воровское гнѣздо, разбойничій притонъ, на матросскія пляски, во всѣ скопища мерзости чернокожей и бѣлой" [1]). Въ способности Гоголя довольствоваться гораздо болѣе общими наблюденіями сказывалась сначала та же излишняя увѣренность въ себѣ, которая вплоть до постановки „Ревизора" дѣлала для него мыслимымъ выполненіе самыхъ сложныхъ и трудныхъ работъ, къ которымъ онъ не былъ подготовленъ,—профессуры, составленія исторіи Малороссіи или историческаго обзора русской критики [2]). Изумительная даровитость натуры помогала изъ незначительныхъ матеріаловъ извлекать живые и яркіе образы. Съ другой стороны, отвлекало отъ слишкомъ близкаго изученія дѣйствительности сомнѣніе въ практиче-

[1]) The letters of Charles Dickens, L. 1880, I, 72—73, письмо изъ Бальтиморы.

[2]) Предпринять его посовѣтовалъ Гоголю Пушкинъ, но въ черновыхъ бумагахъ не найдено ни малѣйшаго слѣда подобной работы. Вѣроятно, она не удовлетворила его, и онъ, по обыкновенію, сжегъ ее.

ской пригодности его. Онъ мѣтко высказалъ его въ „Исповѣди", вспоминая неудачи своихъ развѣдокъ. „Я очень долго думалъ,— говоритъ онъ,—о томъ, какимъ бы образомъ узнать многое, дѣлающееся въ Россіи, живя въ Россіи. Разъѣздами по государству немного возьмешь: останутся въ головѣ только станціи да трактиры. Знакомства въ городахъ и деревняхъ тоже довольно трудны для разъѣзжающаго не по казенной надобности: могутъ принять за какого-нибудь шпіона, и пріобрѣтешь развѣ только сюжетъ для комедіи, которой имя *бестолковщина*". Когда писались эти строки, воспоминаніе о прежнихъ неудачахъ приведено было для того, чтобы оправдать долгое житье автора за границей, гдѣ отъ русскихъ людей, свободнѣе высказывавшихся, чѣмъ дома, онъ, по его мнѣнію, получалъ гораздо больше свѣденій о родинѣ. Но если къ матеріаламъ для поэмы нужно причислить и этотъ, совершенно особый, врядъ ли кому-нибудь кромѣ русскаго человѣка понятный, видъ изученія собственнаго отечества за его предѣлами, Гоголь, не умалчивая объ усилившемся съ годами мучительномъ сознаніи недостаточности собранныхъ имъ данныхъ, не высказывается за необходимость, во что бы то ни стало, непосредственнаго изученія жизни и особыхъ развѣдочныхъ странствій по Руси. Къ этому выводу, однако, рано или поздно онъ долженъ былъ неизбѣжно придти.

Наконецъ, придется отвести не послѣднее мѣсто добыванію бытовыхъ фактовъ при помощи корреспондентовъ, сотрудниковъ, обязанныхъ документально сообщать романисту все, что̀ они знаютъ, предоставляя ему сдѣлать изъ этого любое употребленіе. Не для „Мертвыхъ Душъ" придумалъ Гоголь столь оригинальное собираніе источниковъ; оно давно уже было ему свойственно. При такихъ же условіяхъ писались „Вечера на хуторѣ"; задуманной „Исторіи о малороссійскихъ казакахъ" было предпослано печатное обращеніе ко всѣмъ, имѣющимъ въ своихъ рукахъ цѣнные матеріалы, съ просьбой доставлять ихъ автору; совершенно въ томъ же духѣ предисловіе ко второму изданію перваго тома „Мертвыхъ Душъ" пригласило даже „читателей невысокаго образованія и простого званія" присылать свои замѣчанія и дополненія. Но то, что̀ въ послѣднемъ случаѣ сдѣлано было гласно лишь послѣ появленія перваго тома, уже частнымъ образомъ практиковалось гораздо раньше. Друзья и знакомые получали порученія разузнать и доставить подробности, необходимыя для той или другой главы, почему-нибудь страдавшей неполнотою. Особенно волновало Гоголя плохое знаніе судебныхъ нравовъ и бумажной процедуры. Въ 1835 году онъ озабоченъ тѣмъ, чтобы

ему нашли „хорошаго ябедника“, а въ 1840, уже написавъ тѣ страницы, для которыхъ знакомство съ такимъ спеціалистомъ по кляузамъ могло быть пригодно, онъ постоянно молилъ С. Т. Аксакова достать „какихъ-нибудь докладныхъ записокъ и дѣлъ“, необходимыхъ для него, чтобы „повѣрить написанныя имъ въ „Мертвыхъ Душахъ“ разныя судебныя сдѣлки Чичикова“, которыя, какъ замѣчаетъ Аксаковъ, „такъ и остались невѣрными съ дѣйствительностью“ [1]). Устно переданные друзьями разсказы тѣмъ болѣе находили доступъ въ поэму, что иногда они были художественно изложены. Такъ извѣстно, что и анекдотъ о городничемъ, нашедшемъ себѣ мѣсто въ биткомъ-набитой церкви, и разсказъ „полюби насъ черненькими“ были включены со словъ М. С. Щепкина.

Съ такими данными, первоначально еще болѣе скудными, приступалъ Гоголь въ 1834—35 г. къ своей многолѣтней работѣ. Отъ отдѣльныхъ набросковъ, схватывавшихъ комическія стороны жизни и нанизывавшихъ слышанное, видѣнное или вычитанное въ пестрой смѣси, онъ переходилъ къ болѣе серьезному тону разсказа, скрѣплялъ мелкія его частности общею мыслью, вдумывался глубже въ центральную личность и (подобно тому, какъ онъ превратилъ ничтожнѣйшаго и почти безграмотнаго Скакунова въ типическое лицо Хлестакова) сдѣлалъ Чичикова изъ исполнителя „смѣшного проекта“ настойчивымъ хищникомъ-лицемѣромъ. Вмѣстѣ съ „Ревизоромъ“ росла и крѣпла облагороженная идея „Мертвыхъ Душъ“; потрясенія, вынесенныя при постановкѣ комедіи на сцену и впервые раскрывшія передъ Гоголемъ удѣлъ сатирика, рѣшившагося сказать обществу всю правду, взволновали и, вмѣстѣ съ тѣмъ, наполнили его благоговѣніемъ передъ велѣніями судьбы, обрекшей его на подобное служеніе людямъ, и въ то же время рѣшили участь поэмы. Отнынѣ уже нѣтъ возврата къ прежнимъ шаловливымъ набросками; если, слушая *чтеніе* первыхъ главъ, Пушкинъ уже разгадалъ въ нихъ „незримыя и невидимыя“ тогда не только міру, но и самому автору слезы, то съ этой поры юморъ Гоголя входитъ во всѣ свои права [2]).

---

[1]) „Исторія моего знакомства съ Гоголемъ“, стр. 39.

[2]) Мысль о томъ, что основою смѣха часто можетъ быть скорбь, о „смѣхѣ сквозь слезы“, была высказана въ нашей литературѣ еще Кантемиромъ. Въ сатирѣ IV (Объ опасности сатирич. сочиненій) онъ говоритъ, что „стихи, что чтецамъ *смѣхъ* на губы сажаютъ, часто *слезъ* издателю причиною бываютъ. Знаю, что правду пишу, и имень не значу, смѣюсь въ стихахъ, а въ сердцѣ о злонравныхъ“ плачу. Это — развитіе мысли, высказанной Буало: et le mot, pour avoir réjoui le lecteur, a couté bien souvent de larmes à l'auteur.

Исторія *текста* „Мертвыхъ Душъ" еще не написана, хотя много матеріаловъ для нея уже на-лицо. Постепенное превращеніе наброска въ художественную и законченную сцену или описаніе могло бы еще нагляднѣе показать внутреннюю, хоть съ виду и черную, работу автора надъ дорогимъ ему произведеніемъ. Но и рамки статьи для этого тѣсны, да и кромѣ того (надѣемся, въ недалекомъ будущемъ) можно ожидать появленія спеціальной работы по этому вопросу лучшаго знатока гоголевскихъ рукописей, редактора послѣдняго образцоваго изданія Гоголя [1]). Есть другія стороны въ исторіи поэмы, которыя по сюжету оставались невыясненными. Перейдемъ къ нимъ.

Со времени выѣзда Гоголя за границу пріостановившееся-было продолженіе „Мертвыхъ Душъ" возобновилось. Первые три мѣсяца (іюнь—сентябрь) ушли на быструю смѣну впечатлѣній морского пути, плаванія по Рейну, швейцарской природы, но въ Женевѣ онъ уже испытываетъ желаніе вернуться къ поэмѣ („принимаюсь перечитывать вновь всего Вальтеръ-Скотта, *а тамъ, можетъ быть, за перо*"), а въ Веве уже „сдѣлался болѣе русскимъ, чѣмъ французомъ", и это все оттого, *„что началъ здѣсь писать и продолжать моихъ Мертвыхъ Душъ*, которыхъ было оставилъ" [2]). Послѣ этого работа двигается впередъ почти непрерывно, никакія помѣхи не могутъ остановить ее, онѣ даже какъ будто придаютъ автору еще болѣе энергіи и творческой силы. Онъ пишетъ и въ Веве, передъ чудной панорамой голубого озера и савойскихъ Альпъ, и въ итальянской остеріи, подъ шумъ и говоръ извозчиковъ и погонщиковъ муловъ, за столомъ, вокругъ котораго они суетятся, бранятся и поютъ. Вѣдь самъ же онъ говоритъ въ письмѣ Шевыреву (августъ 1839 г.), что „всѣ сюжеты почти обдѣлывалъ въ дорогѣ"... Пока здоровье его это позволяетъ, дружно исписываются его тетрадки, изъ которыхъ слагается первая редакція поэмы, почти чуждая лирическихъ мѣстъ, скупая и на описанія природы, не знающая ни скорбнаго возгласа надъ погибшимъ Плюшкинымъ, ни блестящей картины заросшаго плюшкинскаго сада, полная свѣта и жизни. Нѣсколько тяжкихъ ударовъ обрушивается на него: смерть Пушкина, медленное угасаніе молодого Віельгорскаго въ Римѣ на рукахъ Гоголя, собственная хворость усиливается. Какъ будто трудъ долженъ надолго остановиться. Но кратковременный пріѣздъ въ Россію въ 1839 г. снова сближаетъ Гоголя съ род-

---

[1]) Она должна войти въ шестой, дополнительный томъ этого изданія.

[2]) Сочин. Гоголя, изд. Кулиша, т. V, с. 282, письмо изъ Лозанны.

ною дѣйствительностью, въ Москвѣ онъ продолжаетъ романъ и уже читаетъ друзьямъ первыя шесть главъ. Начатая-было рядомъ съ „Мертвыми Душами" другая работа, драма изъ малороссійской исторіи [1]), не выдерживаетъ соперничества, отходитъ на второй планъ и, наконецъ, совсѣмъ обрывается. Съ „какою-то бодростью юноши" онъ принялся въ 1840 г. въ Вѣнѣ за „сюжетъ, который въ послѣднее время лѣниво держалъ въ головѣ, не осмѣливаясь даже приниматься за него", и онъ „развернулся передъ нимъ въ величіи такомъ, что все въ немъ почувствовало сладкій трепетъ и онъ, позабывши все, переселился вдругъ въ тотъ міръ, въ которомъ давно не бывалъ, и въ ту же минуту засѣлъ за работу". Тяжкая болѣзнь, отъ которой онъ точно чудомъ избавился (ходившій за нимъ Н. Боткинъ никакъ не надѣялся видѣть его здоровымъ), быть можетъ, вызванная непосильнымъ напряженіемъ, изнурила его въ конецъ, но проходитъ два мѣсяца, и онъ въ Римѣ снова занятъ „совершенной очисткой перваго тома, т.-е. второю его редакціею, тогда какъ продолженіе его „выясняется въ головѣ чище, величественнѣе", и, „можетъ быть, со временемъ выйдетъ кое-что колоссальное".

Вотъ въ главныхъ чертахъ внѣшняя исторія поэмы до той важной поры, когда, перебѣливъ при помощи П. В. Анненкова, писавшаго подъ его диктовку первый томъ, Гоголь сталъ готовиться къ его печатанію, не предвидя мучительныхъ цензурныхъ затрудненій. Несмотря на перерывы и остановку, это — рядъ настойчивыхъ усилій выполнить задуманное. Не можетъ быть, чтобы такая неутомимая дѣятельность страдала и въ эту пору прежнимъ отсутствіемъ плана, хотя бы и пришлось допустить, что сначала планъ этотъ былъ проще, а со временемъ сталъ принимать „величественные, колоссальные" размѣры. Если такъ, въ чемъ же сущность этого плана?

Попробуемъ отвѣтить на это, опираясь прежде всего на данныя, заключающіяся въ самой поэмѣ; придется воспользоваться и тѣми, которыя представляетъ второй томъ, но въ этомъ не будетъ натяжки. Въ настоящее время можно прямо утверждать, что главнѣйшія лица этого тома были намѣчены тогда же, когда создавались герои предшествовавшей части, что Костанжогло имѣетъ одинаковое старшинство съ Ноздревымъ и Собакевичемъ; приведенный выше отрывокъ изъ записной книги показалъ, что

---

[1]) Въ новѣйшемъ изданіи соч. Гоголя напечатаны (впервые явившіеся въ „Основѣ" 1861 г. и теперь дополненные) наброски и замѣтки, относящіеся къ этой пьесѣ,— единственное, что уцѣлѣло отъ нея.

и вообще добродѣтельныя лица заранѣе были предназначены явиться среди порочныхъ.

Вспомнимъ, какъ обрисованъ Чичиковъ во второмъ томѣ. Онъ сильно помятъ судьбою и ищетъ успокоенія. „Подкопы враговъ“ утомили его; капиталецъ припасенъ. Онъ купитъ имѣніе, станетъ образцовымъ гражданиномъ, воспитаетъ своихъ дѣтей въ правилахъ добродѣтели. Еще только одна, слишкомъ выгодная, плутня, и онъ закается. Обманное завѣщаніе тетки Хлобуева подписано едва грамотной бабой, подставленной Чичиковымъ. Плутня раскрыта; гибель неизбѣжна. Чичиковъ валяется въ ногахъ у генералъ-губернатора, у себя въ каморкѣ вырываетъ клочьями волосы, рветъ на себѣ фракъ; всѣ мечты покидаютъ его. Сострадательный взглядъ издали слѣдитъ за нимъ. Еслибы съ такою энергіею да пошелъ онъ по доброму пути!—вздыхаетъ о кающемся грѣшникѣ Муразовъ и беретъ на себя вымолить ему если не прощеніе, то возможность скрыться и гдѣ-нибудь въ тиши приняться за свое нравственное перевоспитаніе. Мы не вѣримъ своимъ глазамъ. На убитомъ горемъ лицѣ Чичикова уже мелькнулъ свѣтлый лучъ; онъ будетъ спасенъ! Но психологическое чутье уберегло Гоголя отъ ошибки; Чичиковъ не могъ такъ скоро превратиться въ безкорыстнаго и гуманнаго человѣка, въ сердобольнаго странника. Старое зло еще всплыветъ. И точно, когда является Самосвитовъ съ своимъ сообщеніемъ о возможности уладить дѣло, давъ *на всѣхъ* тридцать тысячъ, Чичиковъ ободряется; хорошій обѣдъ, видъ возвращенной ему шкатулки, вызываютъ пріятное расположеніе духа. Муразовъ застаетъ его прежнимъ грѣшникомъ, снова вырываетъ его изъ когтей дьявольскихъ—надолго ли? Быть можетъ, еще пройдутъ годы, прежде чѣмъ грѣшникъ искупитъ искреннимъ раскаяніемъ свое печальное прошлое. Тогда только можетъ раскрыться таинственный смыслъ словъ, которыми авторъ еще въ первомъ томѣ постарался оправдать выборъ такого человѣка въ герои поэмы: „можетъ быть, въ семъ же самомъ Чичиковѣ страсть, его влекущая, уже не отъ него, и въ холодномъ его существованіи заключается то, чтò потомъ повергнетъ въ прахъ и на колѣни человѣка передъ мудростью небесъ. *И еще тайна*, почему сей образъ предсталъ въ нынѣ являющейся на свѣтъ поэмѣ“.

Эта тайна—вся въ идеѣ нравственнаго возрожденія, возможнаго для самаго презрѣннаго изъ людей. Идея эта также переживаетъ съ Гоголемъ всѣ важнѣйшіе переходы его душевнаго состоянія и, возникнувъ изъ чистаго чувства человѣчности, которое внушило ее сверстнику его, Диккенсу, она съ теченіемъ времени

окутывается мистической дымкой, проникается монашескимъ воззрѣніемъ на міръ. Но какъ бы ни было трудно, почти безнадежно ея выполненіе тѣми средствами, которыя даетъ романъ, какъ бы ни противорѣчило ея позднѣйшее примѣненіе трезвому взгляду на жизнь,—для непредубѣжденнаго читателя ея основа не утрачиваетъ привлекательности, смягчая многія неровности въ характерѣ Гоголя и посвящая насъ въ его заповѣдный внутренній міръ. Говорятъ, что тотъ, „кто хочетъ понять поэта, тотъ долженъ пойти въ его родную страну". Для Гоголя этой страной была не только многострадальная Русь николаевскихъ временъ, но и міръ его грёзъ. Намъ нужно послѣдовать туда за нимъ и съ его точки зрѣнія охватить широко раскидывавшійся передъ его очами планъ „М. Душъ".

Было же въ немъ что-нибудь особенно привлекательное, если выполненіе его могло съ годами представиться Гоголю главнѣйшимъ подвигомъ, важной нравственной заслугой передъ людьми! По временамъ онъ отваживался заглянуть вдаль и, когда ему вспоминалось, сколько еще осталось сдѣлать, у него захватывало духъ. Если близко знавшій его авторскія намѣренія Плетневъ могъ съ 1842 г. заявить, что „то еще впереди, что въ поэмѣ называется дѣйствіемъ, что передъ нами только поднята завѣса для объясненія первыхъ странныхъ шаговъ Чичикова", что на первый томъ „нельзя иначе смотрѣть, какъ только на вступленіе къ великой идеѣ о жизни человѣка, влекомаго страстями" [1]), становится еще понятнѣе сказывающееся во множествѣ писемъ Гоголя безпокойство, съ которымъ онъ смотрѣлъ на безплодно уходящіе годы, сознавая, что силы его слабѣютъ, что онъ принужденъ нѣсколько разъ возвращаться на тѣ же самые слѣды, вѣчно недовольный, и что не доживетъ онъ до блаженной минуты, когда все зданіе его поэмы предстанетъ въ его таинственной красѣ. Безпечно бросился онъ когда-то въ волны необъятно разлившагося потока. Наконецъ, берегъ показался на горизонтѣ. Боже, только бы доплыть! Но усталыя руки нѣмѣютъ, дыханіе спирается, безпредѣльность усилій наводитъ ужасъ, а та же узкая полоска берега по прежнему неопредѣленно сѣрѣетъ вдали.

Особой таинственностью проникнуты частыя указанія автора на необходимость дѣленія его поэмы на три части, съ особымъ назначеніемъ для каждой и съ неизреченными откровеніями въ заключительной части. Эти намеки какъ будто переносятъ насъ въ средніе вѣка, такъ долго плѣнявшіе своею художественной

---

[1]) Сочиненія и переписка П. А. Плетнева, 1885, I, 477.

стороною Гоголя, въ ту пору, когда поэтическая фантазія углублялась въ скрытый смыслъ завѣтныхъ цифръ—трехъ, семи, двѣнадцати. Для автора, думается намъ, тройственное дѣленіе вытекло изъ той же основной идеи возрожденія нравственно погибшихъ людей.

Снова аналогію можетъ дать средневѣковое творчество; мы найдемъ ее въ совершеннѣйшемъ его созданіи, въ Божественной Комедіи. Еще отягченный земными помыслами, вступаетъ Дантъ въ многотрудное странствіе по загробнымъ мірамъ. Кромѣшный адъ своимъ гуломъ, стонами, проклятіями, безстыдной исповѣдью негодяевъ какъ будто еще продолжаетъ иллюзію грѣшной земли, только-что покинутой поэтомъ, а легіоны собранныхъ въ преддверіи равнодушныхъ, безстрастныхъ попустителей зла, не стяжавшихъ жизнью ни позора, ни хвалы, придаютъ еще болѣе реальности сходству. Но скопленіе ужасовъ и злобы поднимаетъ со дна души скорбь о несчастныхъ. Вся природа человѣка взываетъ къ милосердію, и, отдавшись теченію подземнаго потока, странники снова выходятъ къ свѣту, простору и привѣтливо мерцающимъ звѣздамъ. Но пройдена лишь часть пути. Впереди трудное восхожденіе по уступамъ горы Чистилища до самой ея вершины. Опять идутъ они мимо множества тѣней, слышатъ отголоски земныхъ страстей и несчастій, но уже примиреніемъ и кротостью вѣетъ отъ страдальческихъ образовъ. Прежніе гордецы самоотверженно служатъ ближнимъ; тѣ, кто заставлялъ плакать другихъ, сами льютъ слезы, властители сознаются въ своемъ безсиліи, скупцы готовы раздать все свое достояніе, яростные враги обнимаются. Нѣтъ болѣе дикихъ воплей; незримые хоры поютъ: „блаженны нищіе духомъ“, а надъ всѣмъ этимъ разсвѣтомъ вьются легкіе, воздушные женскіе образы—Лючія, Матильда, Беатриче. Одна за другою возносятся къ райскимъ жилищамъ покаявшіяся и искупленныя души; съ чела самого поэта исчезаютъ таинственныя письмена, символы его грѣховъ; волны рѣки забвенія уносятъ даже воспоминаніе о прежнемъ грѣховномъ его существованіи, и, жизнерадостный, вступаетъ онъ въ царство свѣта, счастія и мудрости, окруженный лучезарными видѣніями, создать которыя могъ только средневѣковой поэтическій мистицизмъ.

Изъ легендарной обстановки скорбнаго „хожденія по мукамъ“ перенесемся въ прозаическое странствіе Чичикова по столбовымъ русскимъ дорогамъ 30—40 годовъ, мирно совершаемое въ „рессорной небольшой бричкѣ, въ какой ѣздятъ холостяки“. Мелькаютъ деревенскіе и губернскіе типы и сцены, несущаяся тройка

окутываетъ облаками пыли окрестность. Повѣствованіе выдержано въ удивительно безпристрастномъ тонѣ; юморъ почти добродушенъ; никто не страшенъ, не позорно смѣшонъ, всюду тишь и гладь. Но, невидимая сначала, печальная тѣнь поэта какъ будто сопутствуетъ кругленькому, довольному собою герою. Порою слышится грустный вздохъ, лирическій возгласъ; вдругъ обнажится такое горе, которое способно разогнать все веселое настроеніе, но за думами о нравственномъ паденіи Плюшкина быстро слѣдуютъ совсѣмъ противоположныя сцены. Колеса брички загромыхали по городской мостовой, и трезвая, ни надъ чѣмъ не задумывающаяся, дѣйствительность опять надъ всѣмъ господствуетъ.

Пріемъ новый, полный художественнаго такта и объективности. Но читателю ясно, что для романиста изображаемый имъ міръ чудаковъ и уродовъ давно сталъ синонимомъ тьмы кромѣшной, гдѣ не осталось мѣста ни одному честному влеченію. Однажды самъ авторъ наводитъ на сравненіе съ дантовымъ Адомъ, называя путеводителя, провожавшаго Чичикова съ его друзьями по гражданской палатѣ до залы „присутствія", новымъ Виргиліемъ, „прислужившимся имъ, какъ нѣкогда Виргилій прислужился Данту". Но палата, да и весь старый судъ были только однимъ изъ подраздѣленій или адскихъ рвовъ (malebolge) огромнаго темнаго царства; описывая его, Гоголь не разъ долженъ былъ вспоминать о великомъ флорентинцѣ [1]).

Но вотъ та же испытанная тройка вынесла Чичикова мимо похоронъ прокурора на волю, и въ дорожной пыли исчезла изъ глазъ бричка.

Когда она снова показывается передъ крыльцомъ тентетниковскаго дома, не только обладатель ея измѣнился и лишь изрѣдка вполнѣ напоминаетъ прежняго Чичикова,—измѣнились и наши прежніе знакомцы, правда, получившіе теперь новыя имена, перенесенныя въ иную мѣстность. Если въ Чичиковѣ шевельнулось хоть и не раскаяніе, но все же стремленіе покончить съ прежнею жизнью, то на всей линіи (за исключеніемъ сумасшедшаго Кошкарева, обжоры Пѣтуха) чувствуется поворотъ къ чему-то неопредѣленно хорошему, какое-то томленіе и тревога. Уже замѣченная нами повторяемость характеровъ, изображаемыхъ Гоголемъ, побудившая перенести въ поэму многое изъ „Ревизора", получила теперь оправданіе и нравственное примѣненіе.

Непригодный для практической жизни Маниловъ, запустившій

---

[1]) За попытку познакомить русскихъ съ поэзіею Данта Гоголь „призывалъ на Шевырева тысячи благословеній". Соч., изд. Кулиша, V, 386.

и свои, и крестьянскія дѣла, сладко мечтая и прозябая въ безпечности, снова оживаетъ въ лицѣ Тентетникова, но уже въ него вложено облагораживающее начало. И въ прошломъ онъ испыталъ честныя, молодыя стремленія къ общему благу, невѣдомыя его предшественнику, который вообще какими-то неисповѣдимыми судьбами вынесъ приторный идеализмъ изъ старой армейской службы, да и въ данную минуту его еще томятъ смутные порывы, пробивающіеся сквозь кору обломовщины. Если Улинька станетъ его женой,—конечно, поддержка энергической и правдолюбивой подруги подниметъ его изъ жалкой спячки. Но вѣдь и Хлобуевъ—изъ той же семьи неудачниковъ. Онъ пошелъ еще дальше, все и всѣхъ пустилъ по міру, изломалъ воспитаніе своихъ дѣтей похуже Ѳемистоклюса и Алкида и въ безпорядочной смѣси слилъ обрывки религіозности и слабые отголоски университетской науки съ остроумной болтовней, привычками навязчиваго хлѣбосола. Съ той строгой точки зрѣнія на „обязанности помѣщика", которая проводится и въ первомъ томѣ, а затѣмъ параллельно въ „Выбранныхъ Мѣстахъ" и во 2-й части поэмы, такая порочная небрежность заслуживала примѣрнаго наказанія. Но и для этого несчастнаго открывается возможность очистительной жертвы. Когда подъ вліяніемъ увѣщаній Муразова Хлобуевъ, поборовъ въ себѣ барскія преданія, надѣваетъ сибирку, уходитъ надолго въ народъ сбирать на церковь, тайно раздавать подаянія и смягчать ропотъ въ крестьянствѣ, его образъ перерождается чуть не въ „дядю Власа". „Въ голосѣ было замѣтно ободреніе, спина распрямилась и голова приподнялась, какъ у человѣка, которому свѣтитъ надежда".

Измѣнился и Собакевичъ, превратившись въ Костанжогло (сначала Гоброжогло или Скудронжогло). Онъ такъ же грубъ и падокъ на рѣзкіе приговоры, такъ же ненавидитъ заморскія новшества и стоитъ за русскую смётку и предпріимчивость, проявляетъ такіе же инстинкты кулака, но, по волѣ автора, эти черты смягчаются трезвою философіею труда, близостью къ народу, ролью благодѣтеля края, ненавистника несправедливости. Замыселъ, конечно, безнадежный; Костанжогло, какъ и Штольца, для которыхъ народныя трудовыя силы являются лишь аксессуаромъ, подспорьемъ, и которые одинаково отдаются поэзіи личнаго обогащенія, нельзя выставить друзьями человѣчества. Но замыселъ Гоголя все же на-лицо, открывая новые горизонты и для двигателей капитализма.

Но для нихъ уготовано еще большее просвѣтленіе. Допотопное купечество, родные Агаѳьи Тихоновны, „купчишка Абду-

лицъ", гостиный дворъ города N, съ его мошенничествами, подношеніями, кутежами и рысаками,—весь этотъ міръ, еще ожидавшій Островскаго для своего полнаго воспроизведенія, озаренъ тѣми же лучами всепрощенія. Бывшій милліонщикъ Иванъ Потапычъ, ѣзшій не иначе, какъ на серебрѣ, выдавшій дочерей за чиновниковъ, жилъ прежде только для себя и, вѣроятно, ни въ чемъ не отставалъ отъ своей братіи. Несчастное банкротство потрясло и образумило его. Его смиреніе еще краснорѣчивѣе, чѣмъ филантропія Муразова, который, по словамъ Костанжогло, пріобрѣлъ состояніе „самымъ безукоризненнымъ путемъ" и, стало быть, вслѣдствіе душевной доброты или чьего-нибудь гуманнаго вліянія никогда не вступалъ на путь порока. Онъ несмѣтно богатъ, но „живетъ какъ мужикъ". Когда онъ усаживается въ рогожную кибитку вмѣстѣ съ Иваномъ Потапычемъ, спѣша на помощь голодающимъ крестьянамъ, это соединеніе умудреннаго опытомъ богача съ капиталистомъ-филантропомъ дополняетъ гоголевское чистилище, такъ сказать, коллективнымъ характеромъ, представляющимъ міръ купеческой наживы.

Лучъ свѣта проникъ и въ русскую школу, ту самую, гдѣ грамматикѣ обучалъ Никифоръ Тимоѳеевичъ Дѣепричастіе, исправлявшій учениковъ ударами линейки, гдѣ хозяйничалъ учитель Чичикова, врагъ развитія и независимости, любитель тишины и хорошаго поведенія [1]). Ихъ смѣнилъ „несравненный, чудесный воспитатель" Александръ Петровичъ, прямая противоположность чичиковскаго ментора, живое исправленіе всѣхъ его странностей и насилій, поклонникъ „ума" („я *требую* ума", говорилъ онъ), носитель какой-то неопредѣленной, но спасительной „науки жизни". Но добро и зло еще спорятъ о преобладаніи въ школѣ. Улучшеніе, вызванное гуманнымъ педагогомъ, лишь временное. Александра Петровича смѣняетъ формалистъ, на мѣсто развивающихъ знаній становится „мертвая наука". Очевидно, то блеснулъ одиночный лучъ, и школа еще долго не выйдетъ изъ чистилища.

Должны послышаться новыя рѣчи въ многогрѣшномъ чиновничествѣ. Старое начало въ послѣдній разъ выступитъ въ мастерски обрисованномъ характерѣ юрисконсульта, но рядомъ съ нимъ, окруженные тою же тьмой крючкотворства, выступаютъ

[1]) Въ напечатанной впервые Н. С. Тихонравовымъ новой редакціи начальной исторіи Чичикова очень подробно разработана характеристика несчастнаго педагога, согрѣтая гуманнымъ соболѣзнованіемъ, разсказано въ лицахъ посѣщеніе выгнаннаго учителя его бывшими учениками, которые нашли „въ конурѣ изможденный, высохшій скелетъ, валяющійся на соломѣ, и содрогнувшійся при видѣ ихъ".

невидные, но честные и трудолюбивые молодые люди въ родѣ того блѣднаго и удрученнаго заботами губернаторскаго чиновника, который прерываетъ бесѣду своего начальника съ Муразовымъ. Эти одиноко стоящіе честные люди мало могутъ сдѣлать; ихъ усилія только напоминаютъ, что въ стоячемъ болотѣ пробуждается жизнь. Старое чиновничество, выставившее Ивана Антоновича Кувшинное Рыло, какъ будто также вступаетъ, однако, въ періодъ исправленія, и во главѣ его шествуетъ само начальство. Губернаторъ города N, мирно вышивавшій по тюлю въ то время, какъ вокругъ шелъ повальный грабежъ, остался далеко позади генералъ-губернатора (изъ 2-го тома), который не только умѣетъ грозить, укоромъ растрогивать закоснѣлыя сердца и призывать къ благородству, но готовъ въ смиреніи своемъ, напоминающемъ Муразова (по чьему совѣту онъ собираетъ чиновниковъ), дойти до мольбы, чуть не до колѣнопреклоненія („тотъ самый, у котораго въ рукахъ участь многихъ и котораго никакія просьбы не въ силахъ были умолить, тотъ самый бросается теперь къ ногамъ вашимъ, васъ всѣхъ проситъ",—читаемъ въ одной изъ первоначальныхъ редакцій 2-го тома. Соч., 10-е изд., III, 410).

Даже старика Бетрищева, замыкающаго собою небогатый, но полный реализма рядъ военныхъ типовъ у Гоголя (поручикъ Пироговъ, Чертокуцкій, Анучкинъ), авторъ надѣлилъ примиряющими чертами. Это не только любовь его къ дочери, но и патріотическая гордость великимъ дѣломъ освобожденія Россіи, въ которомъ ему пришлось участвовать. Его внушительные аллюры, потрясаніе плечъ съ воображаемыми эполетами, важность тона вызываютъ въ читателѣ улыбку,—но не того впечатлѣнія добивался Гоголь въ недошедшей до насъ главѣ, изображавшей примиреніе Тентетникова съ генераломъ. Зашла рѣчь о мнимой исторіи отечественной войны. Желая вывернуться изъ неловкаго положенія, Тентетниковъ переходитъ къ восхваленію единодушной народной обороны, безчисленныхъ, незамѣтныхъ жертвъ, увлекается вызываемыми имъ ѻбразами, „проникся чувствомъ любви къ Россіи. Бетрищевъ слушалъ его съ восторгомъ, и въ первый разъ такое живое, теплое слово коснулось его слуха. Слеза, какъ бриллiантъ чистѣйшей воды, повисла на сѣдыхъ усахъ. Генералъ былъ прекрасенъ"...

Настало возрожденіе и для русской женщины. Все разнообразіе отрицательныхъ женскихъ ѻбразовъ, прошедшихъ передъ читателемъ въ первомъ томѣ, всѣ эти Коробочки, Маниловы, Ѳеодуліи Ивановны, дамы пріятныя во всѣхъ отношеніяхъ, оттѣня-

лись только легкимъ силуэтомъ губернаторской дочки, но она слишкомъ эѳирна, можетъ плѣнять только потому, что совсѣмъ еще молода, любуется жизнью, а всего черезъ какой-нибудь годъ, по трезвому сужденію Чичикова, и „изъ нея выйдетъ дрянь". Но и для суетной женской натуры, способной погрязнуть въ житейской тинѣ, поэтъ подготовилъ возможность исправленія. Губернаторская дочка и Улинька—натуры, конечно, сродныя, но уже безучастная роль свидѣтельницы несправедливостей и беззаконія немыслима для послѣдней. Она не дастъ поработить себя. Она затруднялась бы выбрать планъ дѣйствій, но умѣетъ возмущаться, протестовать, спорить съ отцомъ, и въ Тентетниковѣ отгадываетъ такое же влеченіе къ добру. При всемъ этомъ авторъ надѣляетъ ее женственностью и изяществомъ, и, какъ доказалъ Н. С. Тихонравовъ, переноситъ на нее черты наиболѣе удавшагося ему женскаго образа, польской панны изъ „Тараса Бульбы". До значенія положительной личности она еще не доразвилась. Трудно вѣрить, чтобы именно ей предстояло олицетворить „чудную русскую дѣвицу, какой не сыскать нигдѣ въ мірѣ, со всей дивной красотой женской души", что именно она „вся изъ великодушнаго стремленія и самоотверженія". Или Улинька отмѣчаетъ собой переходный фазисъ въ развитіи русской женщины отъ будничной мелкоты до апостольскаго подвига и должна была въ этомъ уступить мѣсто болѣе идеальному лицу, или ей самой предстояло постепенно, на глазахъ читателя, подняться до сильной и активной роли. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ ей пристало при первомъ ея появленіи значеніе тѣхъ еще неясныхъ женскихъ образовъ, которые ласково руководятъ путниками въ дантовомъ Purgatorio.

Итакъ, второй отдѣлъ новой Божественной Комедіи долженъ оставить въ читателѣ убѣжденіе, что для всѣхъ, въ комъ еще не зачерствѣло сердце, возможно спасеніе. Очищающимъ началомъ должна явиться *любовь*, въ томъ возвышенномъ, нѣсколько мистическомъ, смыслѣ, какой она съ годами получала для Гоголя, —не только культъ женщины, но и стремленіе всего себя отдать на служеніе людямъ-братьямъ. Возможность счастья съ любимой дѣвушкой наполняетъ Тентетникова лирическимъ порывомъ къ добру. Бетрищевъ растрогался, вспомнивъ, что и онъ внесъ лепту въ спасеніе родины. Улинькѣ хотѣлось бы протянуть руку всѣмъ обездоленнымъ. Хлобуевъ и Чичиковъ одинаково идутъ къ нимъ на встрѣчу. Гуманный педагогъ старается отстоять хоть небольшую кучку молодежи отъ всеобщаго паденія. Костанжогло хочетъ примирить свое обогащеніе съ довольствомъ мужика, и, какъ

умѣетъ, тоже мечтаетъ о пользѣ края. Даже двумъ эгоистамъ, вѣчно скучающему Платонову и душевно утомленной петербургской „эманципированной“ красавицѣ Чаграповой, съ которой онъ долженъ былъ встрѣтиться (въ утраченныхъ главахъ 2-го тома), чувство любви, внезапно ихъ сблизившее, кажется началомъ новой, полной жизни, правда, не надолго.

Сила любви являлась въ послѣдній періодъ жизни Гоголя предметомъ благоговѣйныхъ его помысловъ. О ней вздыхаетъ онъ (повидимому, не испытавшій ни одной сильной привязанности къ женщинѣ) и къ ней стремится въ одиночествѣ, о ней переписывается и горячо бесѣдуетъ съ Смирновой. Онъ хотѣлъ бы достойно прославить эту силу, чье торжество должно положить конецъ царству порочности, и тяготится своею неподготовленностью къ такому подвигу. Странствіе въ Іерусалимъ, молитвы, думы, полныя строгаго самоанализа, должны были, по его мнѣнію, облегчить ему трудъ; для того, кто будетъ говорить людямъ о тайнахъ чистилища, необходимо самому покаяться и очиститься. Но ничто не помогало; вѣчно недовольный собою, онъ уничтожалъ все написанное.

Ему не суждено было дожить до созданія третьей, заключительной части поэмы. Врата *Рая* остались закрытыми для привычныхъ спутниковъ его, героевъ „М. Душъ“. Но замыселъ поэта можно отгадать, группируя и обобщая намеки и указанія изъ его переписки и воспоминаній его друзей.

Послѣднія, дошедшія до насъ, страницы второго тома несомнѣнно составляютъ отрывокъ его заключительной главы, а не начало 3-го тома, какъ объ этомъ догадывался Трушковскій. Смиренный отъѣздъ Чичикова слишкомъ ясно замыкаетъ второй періодъ его жизни. Затѣмъ онъ можетъ снова явиться, лишь вполнѣ преобразившись. Энергія, избытку которой въ немъ удивлялся Муразовъ, должна всецѣло направляться на служеніе ближнему; только въ такомъ случаѣ будетъ понятно, что „недаромъ такой человѣкъ избранъ героемъ“. Рядомъ съ Чичиковымъ, повидимому, предстояло снова появиться Плюшкину, подъ своимъ ли именемъ или передавъ свое страшное прошлое другому лицу, которое должно изгладить былое зло благодѣяніями. По крайней мѣрѣ, на это есть любопытнѣйшее указаніе въ словахъ самого Гоголя: „о, еслибы ты могъ сказать ему то, что̀ долженъ сказать мой Плюшкинъ, *если доберусь до третьяго тома* М. Душъ!“ —говоритъ онъ Языкову въ статьѣ „Предметы для лирическаго поэта въ нынѣшнее время“ [1]). Изъ предшествующихъ этимъ

---

[1]) Выбр. мѣста изъ переписки съ друзьями. Соч., 10 изд., IV, 73.

словъ видно, какое назначенiе ожидало скупца, казалось, въ конецъ погибшаго. Ему предстояло пробудить въ читателѣ горячее стремленiе „спасти свою бѣдную душу“ и отстать отъ мiрскихъ соблазновъ. Если лирикъ долженъ „завопить воплемъ и выставить человѣку вѣдьму-старость, къ нему идущую, передъ которою желѣзо есть милосердiе, которая ни крохи чувства не отдаетъ назадъ“, то въ этихъ словахъ, снова воспроизводящихъ думы поэта послѣ появленiя Плюшкина въ первомъ томѣ, слышится отзвукъ покаянныхъ рѣчей, которыя *самъ Плюшкинъ* долженъ былъ впослѣдствiи произносить. И въ соотвѣтствiе съ этими рѣчами, думается намъ, человѣку, безплодно накоплявшему богатства, съ увлеченiемъ безсребренника предстояло раздавать ихъ неимущимъ, чтобы хоть на краю гроба примириться съ людьми. Если авторъ нашелъ возможнымъ надѣлить Костанжогло поэтическими минутами, когда „какъ царь, въ день торжественнаго вѣнчанiя своего, сiялъ онъ весь“, и видѣлъ „подражанiе Богу въ творенiи благоденствiя вокругъ себя“, то еще привлекательнѣе была мысль придать высшую человѣчность Плюшкину, который уже былъ сначала показанъ счастливымъ семьяниномъ, трудолюбивымъ хозяиномъ, умнымъ, знающимъ жизнь.

Еще выше этихъ окончательно раскаявшихся грѣшниковъ должны были стать положительныя, идеальныя личности, обѣщанныя еще съ перваго тома. „Мужъ, одаренный божескими доблестями“, „чудная русская дѣвица“, полная самоотверженiя, несомнѣнно пошли бы во главѣ этого сонма чистыхъ и честныхъ личностей. Во второмъ томѣ Гоголю хотѣлось изобразить людей „добрыхъ, вѣрующихъ, живущихъ въ законѣ Божiемъ“,—но, кромѣ Муразова, подъ это опредѣленiе не можетъ вполнѣ подойти ни одинъ изъ героевъ. Царство добрыхъ людей, очевидно, должно было наступить лишь тамъ, гдѣ заключительныя слова примиренiя и кротости завершатъ собой долгую повѣсть о людской злобѣ и душевной чернотѣ. Условiя русской жизни въ концѣ сороковыхъ годовъ, и еще болѣе зрѣлище политическихъ тревогъ, волновавшихъ Европу и непонятныхъ Гоголю, порождали въ его усталой, больной душѣ представленiе о нравственномъ паденiи современнаго человѣчества. Тотъ, чье настоящее призванiе, по глубокому замѣчанiю Жуковскаго, было монашество, въ комъ вѣчно спорили отреченiе отъ мiра и удивительная сила обличающаго смѣха, глубоко скорбѣлъ, какъ будто всюду рушилось все свѣтлое и великое, и это, казалось ему, вдвойнѣ налагало на него обязанность выставить для ободренiя современниковъ твердыя основы благородства и христiанской любви. Уже не тономъ

моралиста хотѣлось ему заговорить; даже въ письмѣ къ духовнику своему, отцу Матвѣю (которому, какъ можно предполагать, предстояло *тоже появиться въ третьемъ томѣ*) [1]) онъ даетъ себѣ слово избѣгать отнынѣ отвлеченныхъ, дѣланныхъ характеровъ и, отгадывая въ народной массѣ истинно добрыхъ людей (вспомнимъ слова его въ записной книгѣ 1835 г.), выводить ихъ живыми и правдивыми въ поэмѣ; „онъ представитъ читателю замѣчательнѣйшіе предметы русскіе въ такомъ видѣ, чтобы онъ самъ увидалъ и рѣшилъ, что̀ нужно взять ему, и, такъ сказать, самъ поучилъ бы самого себя“ [2]). Но, съ дѣтскихъ лѣтъ склонный къ лирическимъ восторгамъ, онъ врядъ ли могъ бы воздержаться отъ нихъ. Вѣдь давно уже представлялъ онъ себѣ эту блаженную минуту. То, что̀ предстояло тогда повѣдать людямъ, казалось ему когда-то достойнымъ воспѣванія лишь въ вдохновенномъ гимнѣ. Въ первоначальномъ текстѣ извѣстнаго мѣста о призваніи обличителя онъ даже не считалъ себя въ силахъ выполнить этого. „Почему знать,—говоритъ онъ,—можетъ быть, будущій поэтъ *(о, какая чудная награда!)*, смятенный, остановится передъ ними; грозная вьюга вдохновенія обовьетъ главу его, потекутъ одѣтыя въ блистанье пѣсни, и еще разъ освѣжатъ міръ“ (Соч. Г., 10-е изд., III, 440). Впослѣдствіи этотъ призывъ къ поэзіи будущаго замѣняется таинственнымъ обѣщаніемъ, что изъ устъ *самого сатирика* раздастся со временемъ величавый громъ *другихъ* рѣчей.

Къ концу жизни Гоголя отпадаетъ это намѣреніе священнымъ ужасомъ и грознымъ величіемъ поразить ослѣпленныхъ людей, и за нѣсколько дней до смерти онъ проситъ тоже едва живого Жуковскаго помолиться о немъ, „чтобы работа его была истинно добросовѣстна, и чтобы онъ хоть сколько-нибудь былъ удостоенъ пропѣть гимнъ красотѣ небесной“ (Письмо отъ 2-го февраля, 1852; изд. Кулиша, VI, 553). Точно отголосокъ славословій, раздающихся въ Дантовомъ Раю, послышался въ этомъ заявленіи поэта... Какъ многотрудное странствіе великаго тосканца приводитъ его къ созерцанію божественныхъ силъ, образующихъ Небесную Розу, и вѣчно женственное начало, das ewig Weibliche,

[1]) Когда Гоголь читалъ Смирновой свой второй томъ и она спросила у него: неужели будутъ въ поэмѣ еще поразительнѣйшія явленія, онъ отвѣчалъ: „погодите, будутъ у меня еще лучшія вещи, *будетъ у меня священникъ*, будетъ откупщикъ, будетъ генералъ-губернаторъ“. Записки о жизни Гоголя, 1856, II, 227. Ни у кого изъ знакомыхъ со вторымъ томомъ друзей автора нѣтъ указаній, чтобы въ немъ выведено было духовное лицо.

[2]) Соч. Гоголя, изд. Кулиша, VI, 443.

воплощенное въ Беатриче, исторгаетъ изъ его устъ пѣсни благоговѣнія и радости, такъ странствіе болѣющаго о людяхъ обличителя по русской землѣ, безчисленныя картины пороковъ и низостей, смѣняющіяся затѣмъ борьбой добра со зломъ, должны были разрѣшиться торжествомъ свѣта, правды и красоты.

Таковъ былъ замыселъ Гоголя. Въ немъ много мистическаго вдохновенія, идеальной вѣры въ самосовершенствованіе; выполнить его могъ бы только средневѣковой поэтъ дантовской силы, еслибы мыслимо было соединеніе въ немъ религіозныхъ восторговъ и гражданской скорби съ геніальнымъ комизмомъ (изо всей поэмы Данта только одна небольшая сцена между бѣсами—Inferno, XXI—XXII—способна вызвать улыбку). Гоголь печально заблуждался, думая, что можетъ сладить съ такою задачей. Несмотря на его иноческіе вкусы, порою грозившіе взять верхъ надъ бодрымъ, дѣятельнымъ служеніемъ своему народу смѣлымъ словомъ, несмотря на постоянное общеніе съ духовными лицами и чтеніе душеспасительныхъ книгъ, въ немъ не было того пламеннаго религіознаго чувства, которое итальянцу XIII-XIV вѣка внушило бы могучіе гимны и свѣтлыя видѣнія. Такія крайнія мѣры, какъ поѣздка въ Палестину, не помогали, и онъ съ ужасомъ признавался, что и тамъ остался холоденъ. Между тѣмъ все было выношено и продумано внутренно, — только эти мечты безсильны были воплотиться въ словахъ и образахъ. Еслибы судьба послала Гоголю болѣе долгую жизнь, и третій томъ „Мертвыхъ Душъ" былъ написанъ, хоть вчернѣ, врядъ ли онъ сколько-нибудь увеличилъ бы его художественную славу.

Рѣдко можно встрѣтить столь глубокое недоразумѣніе, какъ то, которое роковымъ образомъ проходитъ черезъ всю литературную дѣятельность Гоголя. Человѣкъ всю жизнь думаетъ, что главная сила его въ прочувствованной нравоучительной проповѣди, безъ устали поучаетъ и современное общество, и друзей своихъ („все мораль, да мораль, это хоть какому святому надоѣстъ", жаловался Данилевскій), тогда какъ природа вложила въ него громадный сатирическій талантъ; не выработавъ ни общественныхъ, ни политическихъ взглядовъ, онъ тщетно борется съ духомъ времени, онъ изливаетъ весь свой лиризмъ въ пророческой книгѣ, и терпитъ тяжкій уронъ; его, какъ обличителя, горячо привѣтствуютъ за общественный подвигъ, а онъ, безсознательно совершивъ великое, въ ужасѣ озирается на совершонное и готовъ отъ него отречься. Но не вымиравшая жизненная сила въ немъ поддерживала его въ самыя трудныя времена. Оторванный отъ отечества долгими странствіями, переставшій сообщаться съ новымъ

умственнымъ движеніемъ и уходившій, казалось, все дальше и безповоротно въ религіозную экзальтацію, онъ минутами какъ будто совсѣмъ потерянъ для литературы. На него вредно вліяетъ группа лицъ, осуждающихъ его прежнюю дѣятельность и настойчиво направляющихъ его къ отшельничеству. Смирнова, еще въ 1840 г. корившая его тѣми „мерзостями, которыя онъ написалъ" (изд. Кулиша, V, 426), и впослѣдствіи не разъ становившаяся его духовникомъ; Ѳ. Чижовъ, объяснявшій ему, что „Мертвыя Души его *оскорбили*, не только потому, что камнемъ попали въ мужика, котораго всѣ бьютъ, но, напримѣръ, въ Ноздрева" [1]); А. П. Толстой съ своимъ піэтизмомъ [2]), разныя московскія старушки, строгій отецъ Матвѣй, — всѣ вліяютъ на него въ духѣ, противоположномъ его общественному служенію, свобода котораго и безъ того стѣснена разнообразными отношеніями сатирика къ благоволящимъ ему оффиціальнымъ сферамъ. А между тѣмъ, едва его здоровье окрѣпнетъ, или сильное потрясеніе отъ неудачи „Выбранныхъ Мѣстъ" заставитъ его очнуться и вглядѣться въ себя—снова беретъ верхъ талантъ сатирика, второй томъ поэмы возрождается изъ пепла, и яркія бытовыя сцены сыплются изъподъ пера [3]).

Тогда начинаетъ пуще прежняго глодать мысль, что Россіи онъ не знаетъ, и настаетъ лихорадочное, хотя и запоздалое, собираніе свѣденій о ея жизни. „Дальнѣйшее путешествіе отложилъ до другого года,—пишетъ онъ въ 1849 г. граф. А. М. Вьельгорской [4]),—потому что на всякомъ шагу останавливаемъ собственнымъ невѣжествомъ. Нужно сильно запастись предуготовительными свѣденіями затѣмъ, чтобы узнать, на какіе предметы преимущественно слѣдуетъ обратить вниманіе"; онъ „перечитываетъ всѣ книги, сколько-нибудь знакомящія съ нашей землею", сознаетъ, „какую бездну нужно прочесть для того только, чтобы узнать, какъ мало знаешь ее, и чтобы быть въ состояніи путешествовать по Россіи, *какъ слѣдуетъ, смиренно, съ желаніемъ знать ее*". Внутреннее чувство все настойчивѣе подсказывало въ такія минуты, что самодѣльныя положительныя лица слабы и безжизненны.

[1]) Письма Чижова къ Гоголю напечат. въ „Русск. Старинѣ", 1889, августъ.

[2]) Новые матеріалы для оцѣнки отношеній Гоголя къ Толстому сообщены въ сборникѣ „Въ память С. А. Юрьева", М., 1891, Е. С. Некрасовой.

[3]) Толстой передавалъ кн. Д. Оболенскому („Русск. Ст." 1873, XII, 944), что не разъ слышалъ, какъ Гоголь писалъ „Мертвыя Души", проходя мимо дверей его рабочей комнаты. Казалось, что онъ съ кѣмъ-то разговариваетъ, иногда самымъ неестественнымъ образомъ. Каждый разговоръ онъ передѣлывалъ нѣсколько разъ, чтобы придать ему вѣрность жизни.

[4]) „Вѣстн. Европы", 1889, XI, 148.

что добрыхъ людей нужно также отыскивать и изучать, а не творить. Вопреки аскетическимъ вожделѣніямъ, на время затихшимъ у больного писателя, эти добрые люди возвеличиваются уже не за келейное затворничество, а за пользу ближнимъ, за честную жизнь на міру и съ людьми.

Несмотря на то, что „Мертвыя Души" навсегда остались торсомъ, та великая самородная сила сохранила за художникомъ, который былъ въ состояніи изваять его, неувядающую славу. Новѣйшія поколѣнія свободно заглядываютъ во внутренній міръ Гоголя, скоро до мелочей узнаютъ его личные дѣла и пріемы, и далеко не всегда это знакомство на пользу писателю; — но когда человѣкъ, готовый уже осуждать его, увидитъ передъ собой мѣткую, жгучую страницу „Мертвыхъ Душъ" или „Ревизора", укоризненное слово замираетъ на его устахъ, уступивъ мѣсто смѣху или невольному сочувствію. На границѣ двадцатаго столѣтія, когда міръ, изображенный въ „Мертвыхъ Душахъ", долженъ казаться давно погребеннымъ, онъ продолжаетъ жить въ сатирическихъ картинахъ или яркихъ портретахъ „всеобщихъ знакомцевъ".

Значеніе такой силы не могъ не сознавать въ себѣ Гоголь, несмотря на всѣ оговорки, смиренныя, уклончивыя или негодующія возраженія и отрицанія „Выбранныхъ мѣстъ", „Исповѣди" и писемъ. „Я самъ писатель, не лишенный творчества; я владѣю также нѣкоторыми изъ даровъ, которые способны увлекать", говоритъ онъ въ концѣ жизни. Даже въ предсмертные годы онъ въ состояніи былъ испытать приливъ радости, когда замѣчалъ, что творческая способность въ немъ еще не угасла. Передъ отъѣздомъ изъ Москвы въ 1850 г., когда онъ читалъ знакомымъ, уже слышавшимъ двѣ первыя главы 2-го тома, дальнѣйшія главы, „оказалось, что послѣдующія сильнѣе первыхъ, и *жизнь* раскрывается чѣмъ дале—глубже. Стало быть,—пишетъ онъ гр. А. П. Толстому,—несмотря на то, что старѣю и хирѣю, тѣ же силы умственныя, слава Богу, еще свѣжи. А при всемъ никакъ не могу быть увѣренъ за работой. Если не поможетъ Богъ, ничего не выйдетъ. Никогда еще не чувствовалъ такъ ясно, какъ теперь, что за всякой строкой слѣдуетъ взывать: Господи, помилуй и помоги!" [1]) Но при такомъ способѣ писанія работа медленно подвигалась впередъ; иногда ее пріостанавливалъ безотчетный, нервный страхъ передъ людскою молвой; къ друзьямъ летѣли записочки, заклинавшія „ради Бога, никому не сказывать о про-

---

[1]) Сборникъ „Въ память С. А. Юрьева", стр. 267.

читанномъ, не называть мелкихъ сценъ и лицъ героевъ", потому что „случились исторіи" (VI, 551).

Тутъ подошла смерть. Строгому, „взыскательному" художнику, испытавшему на писательскомъ поприщѣ гораздо болѣе мукъ, чѣмъ радостей, предстояло сойти съ этого поприща съ недоговоренной рѣчью, непонятыми мыслями. Въ порывѣ крайняго недовольства собою онъ захотѣлъ истребить все написанное для второго тома.

Въ самомъ фактѣ сожженія дорогой для него рукописи не было ничего необычайнаго и ненормальнаго. То была его старая привычка. Не такъ ли сжегъ онъ еще въ 1829 г. своего „Ганца Кюхельгартена", три раза сжигалъ статью о существѣ русской поэзіи (Соч. Г., 10-е изд., IV, 543), и нѣсколько разъ уже уничтожалъ тѣ же „Мертвыя Души"? Тяжелое нравственное состояніе его послѣднихъ дней, подтверждаемое показаніями врачей [1]), внѣ сомнѣнія, но именно въ сожженіи рукописи нельзя видѣть акта безумія и повторять праздную легенду, которая не разъ порождала въ нашемъ искусствѣ неудачныя изображенія его въ видѣ маніака, дико вперившаго взоръ въ догорающіе лоскутки его произведенія. Къ счастію, въ послѣднее время беретъ верхъ другой, правдивый взглядъ на эту тяжелую сцену, и новѣйшій издатель Гоголя могъ уже назвать ее „сознательнымъ дѣломъ художника, убѣдившагося въ несовершенствѣ всего, что̀ было выработано его многолѣтнимъ мучительнымъ трудомъ".

Потомству нужно во что бы то ни стало найти здѣсь трагедію; оно и не обманется въ своихъ ожиданіяхъ и догадкахъ. Но что̀ трагичнѣе: зрѣлище ли больного, помутившагося разумомъ отъ изнуренія и безсознательно налагающаго руку на то, что̀ для него святѣе всего,—или отчаяніе умирающаго писателя въ виду неизбѣжной гибели, которая застанетъ прежняго властителя думъ въ безсиліи творчества, и къ дальнему потомству донесетъ лишь смутное воспоминаніе о невыполненной его мечтѣ?..

Алексѣй Веселовскій.

[1]) „Послѣдніе дни жизни Н. В. Гоголя", брошюра доктора А. Тарасенкова. Спб. 1857. Въ новѣйшее время вопросъ о болѣзненности нашего писателя начинаетъ снова интересовать спеціалистовъ. Докт. Викторовъ въ книгѣ „Ученіе о личности, какъ нервно-психическомъ организмѣ", М., 1887, полемизируя съ Ломброзо, отрицаетъ у Гоголя психозъ и находитъ у него „болѣзнь настроенія".

ПЕРВЫЕ ШАГИ

ПОВѢСТЬ.

Глава XV *).

Цѣлыхъ три дня Стрепетовъ стойко боролся съ неодолимымъ желаніемъ видѣть Римму Михайловну. Въ теченіе этихъ дней всѣ мысли его были полны ею, и напрасно по вечерамъ онъ присаживался за книгу, стараясь освободиться отъ думъ о Риммѣ. Послѣ одной, двухъ страницъ, прочитанныхъ со вниманіемъ, среди строкъ, какъ-то нечаянно, выглядывало милое лицо, съ черными бархатными глазами, и мечты о дѣвушкѣ властно овладѣвали молодымъ человѣкомъ,—мечты, начинавшіяся обыкновенно идилліей о дружбѣ, объ обмѣнѣ мыслей,—мечты, полныя желаній принести какую-нибудь жертву во имя этой дружбы, и совершенно неожиданно кончавшіяся такими дерзкими, захватывающими духъ, картинами счастья, что юноша внезапно краснѣлъ отъ стыда, негодованія и восторга, самъ удивляясь безумной дерзости подкрадывавшихся мечтаній, и считая себя въ эти минуты „великимъ негодяемъ", недостойнымъ знакомства съ такой дѣвушкой.

Что, еслибы она могла узнать, какія подлыя мысли приходятъ къ нему въ голову?

И, задавая такой вопросъ, Стрепетовъ приходилъ въ большой ужасъ и рѣшилъ въ наказаніе наложить на себя эпитимію: цѣлую недѣлю не искать встрѣчи съ Риммой Михайловной.

Но на четвертый день онъ не выдержалъ. Вечеромъ, не

---

*) См. выше: февр., 588 стр.

смотря на отвратительную погоду, онъ пошелъ на Кирочную и съ замираніемъ сердца, испытывая въ то же время ощущеніе какой-то безумной отваги, позвонилъ у дверей завѣтной квартиры. „Будь, молъ, что̀ будетъ, а я не могу!“

Его встрѣтила Коврова и обрадовалась удобному случаю изучить „новый типъ“, произвести экзаменъ по части его общественныхъ и литературныхъ вкусовъ.

— Очень рада васъ видѣть!.. Отчего раньше не приходили? Что̀ дѣлали? Что̀ видѣли? Что̀ читали? Разсказывайте.

Она закидывала его вопросами, усадивъ у стола, и приказала давать самоваръ.

— Вѣры нѣтъ дома, она дежуритъ въ больницѣ, а Римма у себя... долбитъ, по обыкновенію,—сказала съ улыбкою Надежда Васильевна.

Когда подали чай, Римма Михайловна вышла на минутку, молча поздоровалась съ Стрепетовымъ и ушла, унося съ собой стаканъ.

Но и это кратковременное появленіе осчастливило влюбленнаго юношу. Онъ видѣлъ ее, слышалъ ея голосъ, онъ чувствовалъ присутствіе ея въ сосѣдней комнатѣ и во время горячихъ монологовъ Ковровой о литературѣ искоса взглядывалъ на припертыя двери, лаская себя надеждой, что Римма Михайловна покажется еще разъ хотя бы на минутку, на одну минутку.

И когда онъ уже потерялъ надежду видѣть ее еще разъ, а она въ концѣ вечера совершенно неожиданно вошла и присѣла къ столу, нашъ молодой человѣкъ долженъ былъ употребить усиліе, чтобы не обнаружить радостнаго волненія, охватившаго его при видѣ Риммы Михайловны.

А Римма Михайловна, нѣсколько утомленная, съ поблѣднѣвшими щеками и соннымъ взглядомъ, казалось, не замѣтила ничего и молча сидѣла, лѣниво слушая оживленную бесѣду по поводу послѣдняго разсказа любимаго писателя. Оба восхищались, оба припоминали тѣ или другія мѣста.

Такъ просидѣла она съ четверть часа и поднялась съ мѣста.

— Неужели снова заниматься?—спросила Коврова.

— Нѣтъ, спать. Устала.

И она пожала руку Стрепетову и поцѣловала Коврову.

— И заболѣть не долго, Римма!—упрекнула Надежда Васильевна, придерживая ея руку.—Цѣлые дни вотъ такъ она сидитъ за книгами... можете себѣ представить, Павелъ Сергѣевичъ!.. А здоровье у насъ не очень-то крѣпкое... Того и гляди, опять захвораемъ...

— Какъ же вамъ не стыдно, Римма Михайловна, не беречь себя!—воскликнулъ Стрепетовъ.

Въ этомъ восклицаніи, въ этомъ устремленномъ на Римму трепещущемъ взглядѣ было столько тревоги и волненія, что Римма Михайловна невольно смутилась и поспѣшила сказать, указывая на Коврову:

— Вы ей не вѣрьте. Она мнительна и особенно за другихъ... Я здоровѣе, чѣмъ кажусь...

— Хорошо здоровье... Опять стала кашлять... Того и гляди, серьезно заболѣешь... Можно бы, кажется, и не работать съ утра до ночи...

— Еще бы!—горячо подхватилъ Стрепетовъ.

Онъ взглянулъ на Римму Михайловну, и у него вдругъ сжалось сердце при мысли, что она можетъ серьезно заболѣть и умереть. Въ самомъ дѣлѣ, она сегодня казалась такой болѣзненной, утомленной, хрупкой!.. Глаза ввалились, все лицо осунулось, синія жилки просвѣчивались на вискахъ.

Она улыбнулась въ отвѣтъ своей серьезной, вдумчивой улыбкой и проронила:

— Послѣ экзамена отдохну.

— А если теперь вдругъ заболѣете?—снова спросилъ Стрепетовъ.

Римма Михайловна только пожала плечами.

— Вотъ она всегда такъ отвѣчаетъ на добрые совѣты... Будетъ терпѣть, пока не свалится съ ногъ... А еще сама будущій докторъ! Ей Богу, Римма, завтра же позову Черника, чтобы онъ тебѣ приказалъ меньше заниматься.

— Ну, ну, не ворчи... Завтра, пожалуй, отдохну, если буду утомлена, а пока прощайте, господа!

Стрепетовъ тоже сталъ собираться.

— А вы куда такъ рано?—остановила его Коврова.

— Какъ бы мы не помѣшали Риммѣ Михайловнѣ нашимъ разговоромъ...

— У меня ничего не слышно... Можете спорить сколько вамъ будетъ угодно!—замѣтила Римма Михайловна въ дверяхъ.

Нѣсколько времени Коврова молчала и, наконецъ, проговорила, въ раздумьѣ покачивая головой:

— Удивительная эта Римма!

Стрепетовъ насторожилъ уши, готовый слушать безъ конца.

— Вы думаете, она завтра будетъ отдыхать? Ни за что!

— Но развѣ вы не можете уговорить Римму Михайловну?

— Уговорить Римму?—усмѣхнулась Коврова. — О, вы не

знаете ее! Она всѣхъ выслушаетъ и поступитъ по своему. Въ этой маленькой, слабенькой на видъ женщинѣ необыкновенно много характера. Она будетъ молча страдать, но не отступитъ отъ намѣченной цѣли. Знаете ли, какъ она держала экзаменъ при поступленіи на курсы?

— Какъ?

— Еле живая, въ лихорадочномъ состояніи, такъ что экзаменаторы, глядя на нее, думали, что она съ экзаменовъ отправится прямо въ могилу... Но она все-таки держала, выдержала отлично и, по настоянію докторовъ, тотчасъ же уѣхала за границу... У нея былъ сильнѣйшій плевритъ, грозившій чахоткой. И, какъ видите, она добилась-таки цѣли... черезъ нѣсколько мѣсяцевъ будетъ докторомъ... и работаетъ она такъ не ради куска хлѣба въ будущемъ—родители ея имѣютъ средства и обожаютъ ее,—а ради болѣе возвышенной цѣли — быть полезной ближнимъ. Да, эта маленькая—Римма прелестное существо... Она представляетъ собой рѣдкій примѣръ кротости и самоотверженія, необыкновенной скромности и упорства... Только слишкомъ ужъ она скромна и слишкомъ сдержанна... Это вредитъ ей... Не всѣ понимаютъ глубину и богатство этой изящной натуры... Такія женщины цѣнятся немногими...

— Слѣпые развѣ могутъ не замѣтить Риммы Михайловны!— восторженно проговорилъ Стрепетовъ.

Коврова сочувственной улыбкой одобрила Стрепетова и продолжала:

— Не слѣпые, а полузрячіе люди, не умѣющіе заглянуть въ чужое сердце и легко относящіеся къ жизни, однимъ словомъ, большинство вашего же брата, мужчинъ, которое прежде всего ищетъ въ женщинѣ блеска, кокетства, тщеславія, всего, что раздражаетъ низменные инстинкты... Ну, а Римма не умѣетъ блистать, и многіе проходятъ мимо, не догадываясь, мимо какого сокровища они, глупые, проходятъ...

И со свойственнымъ ей увлеченіемъ Коврова продолжала набрасывать характеристику своей любимицы, не жалѣя, по обыкновенію, яркихъ красокъ, когда дѣло касалось ея друзей или враговъ.

Нечего и говорить, что Стрепетовъ внималъ съ восторгомъ этимъ разсказамъ и воспоминаніямъ лица, давно и близко знающаго Римму Михайловну. Тѣмъ не менѣе, даже и эти описанія увлекающейся Надежды Васильевны, свидѣтельствовавшія и о необыкновенной красотѣ Риммы въ 16 лѣтъ, и о многихъ случаяхъ ея доброты, самоотверженія и энергіи, казались Стрепе-

тову еще не вполнѣ соотвѣтствующими тому идеальному представленію, какое онъ себѣ составилъ, точно такъ, какъ отрывки изъ ея біографіи—недостаточно яркими. У такого „святого созданія" и біографія должна быть особенная, чудесная. А между тѣмъ въ ней ничего „чудеснаго" не было, по крайней мѣрѣ, въ передачѣ Ковровой.

Онъ узналъ, что раннюю молодость Римма Михайловна провела на югѣ, гдѣ отецъ ея до сихъ поръ занимаетъ видное мѣсто въ одномъ изъ банковъ. И отецъ, и мать никогда не стѣсняли дѣтей въ ихъ стремленіяхъ. Вообще вся эта семья образцовая по той нѣжной любви, которая существуетъ между всѣми ея членами. Мать—безподобная, отзывчивая на все хорошее женщина съ артистической жилкой, отецъ—добрый, умный человѣкъ, не мѣшающій другимъ жить! Благодаря имъ и „вѣяніямъ" семидесятыхъ годовъ, двѣ дочери ихъ не сдѣлались обыкновенными барышнями, а обѣ вышли славными, честными, трудолюбивыми дѣвушками.—Римма вотъ кончаетъ курсъ, а младшая сестра Нюта, или, какъ мы ее зовемъ, „Нюта-дикарка", учительница въ деревнѣ на югѣ и тамъ до сихъ поръ дѣлаетъ свое маленькое дѣло... Римма очень много хворала въ дѣтствѣ и ранней молодости и вслѣдствіе этого сдѣлалась любимицей въ семьѣ, но баловство ее не испортило и не сдѣлало эгоисткой... Когда здоровье ея поправилось, она стала усердно заниматься, чтобы осуществить свою мечту—сдѣлаться докторомъ.

На вопросъ Стрепетова, что̀ заставило Римму Михайловну выбрать именно эту профессію, требующую крѣпкаго здоровья, Надежда Васильевна ограничилась замѣчаніемъ, что дѣятельность врача, въ томъ идеальномъ значеніи, въ какомъ понимаетъ его Римма, больше всего по душѣ такой любящей, ищущей подвига натурѣ, умолчавъ, однако, про фактъ, хорошо ей извѣстный, что въ выборѣ этой профессіи не послѣднюю роль игралъ и тотъ самый „блондинъ", котораго видѣлъ Стрепетовъ, въ день пріѣзда, на вокзалѣ.

Затѣмъ, въ Петербургѣ, по словамъ Надежды Васильевны, Римма вела жизнь самую уединенную. Она работала до изнуренія, избѣгая знакомствъ; нѣсколько прежнихъ ея знакомыхъ составляли ея кружокъ. Такого аскетизма Коврова не одобряла. Можно и учиться, и людей видѣть. Нельзя зарываться въ книжкахъ и сторониться отъ жизни.

— Пройдетъ молодость, и что̀ тогда! Съ одной дѣятельностью не весело жить!—грустно прибавила Надежда Васильевна, оканчивая свой разсказъ.

— Но развѣ Римма Михайловна не собирается выйти замужъ, когда кончитъ экзамены? — неожиданно спросилъ Стрепетовъ, вспомнивъ о „блондинѣ", котораго онъ почему-то считалъ ея суженымъ.

— То-есть, какъ—собирается?—переспросила съ удивленіемъ Коврова.

— Я думалъ... Видите ли, я случайно былъ свидѣтелемъ встрѣчи на вокзалѣ въ день пріѣзда Риммы Михайловны, и мнѣ показалось, что этотъ красивый, изящный блондинъ, который ее встрѣтилъ...—Стрепетовъ вдругъ остановился, смущенный, что позволилъ себѣ нескромность.

— Женихъ Риммы? такъ вѣдь?—докончила за него со смѣхомъ Надежда Васильевна.

— Именно...

— Но почему вы составили такое заключеніе?—спросила, смѣясь, Коврова.

— Почему?—переспросилъ Стрепетовъ, оттягивая отвѣтъ и чувствуя, что снова краснѣетъ. — Какъ вамъ сказать, почему иногда составляешь заключенія!.. Такъ, показалось...

— Ну, такъ вы ошиблись, Павелъ Сергѣевичъ!

— Ошибся?—воскликнулъ Стрепетовъ.

Въ голосѣ его, помимо желанія, прозвучала такая радостная нотка, что Коврова не могла не улыбнуться, и, шутя, прибавила:

— И вы, кажется, довольны, что ошиблись?

Не ожидавшій такого вопроса, молодой человѣкъ окончательно смутился и, въ отвагѣ отчаянія, храбро солгалъ:

— Съ чего мнѣ быть довольнымъ или недовольнымъ!.. Мнѣ не понравился этотъ господинъ—вотъ и все...

„Ахъ, милый, милый юноша! Ты и скрывать своихъ чувствъ еще не умѣешь!" —подумала Коврова съ доброй, ласковой улыбкой, глядя на зардѣвшееся лицо Стрепетова, и сказала:

— Вы видѣли не жениха, а стариннаго знакомаго Риммы, друга ея дѣтства, доктора Орловскаго.

И, помолчавъ, снова спросила:

— Такъ онъ вамъ не понравился?

— Нѣтъ...

— Можно полюбопытствовать, почему?

— Мнѣ показалось, что онъ... Я, впрочемъ, не ручаюсь за свое первое впечатлѣніе...

— Да вы не оговаривайтесь... Говорите, что̀ вамъ показалось?

— Что онъ... какъ бы сказать... ну, что онъ слишкомъ доволенъ собой, этотъ докторъ...

— Браво, браво, Павелъ Сергѣевичъ! у васъ есть наблюдательность... Орловскій дѣйствительно влюбленъ въ себя, и мнѣ онъ тоже не нравится...

„А Риммѣ Михайловнѣ?“ чуть, было, не слетѣлъ съ губъ вопросъ, но Стрепетовъ вѽ-время опомнился и промолчалъ.

Коврова, повидимому, прочла этотъ вопросъ на лицѣ влюбленнаго юноши и прибавила:

— Едва ли и Риммѣ онъ теперь очень нравится...

Желая скрыть радостное волненіе, невольно овладѣвшее имъ при этихъ словахъ, онъ взглянулъ на часы и торопливо сталъ собираться.

— Такъ завтра идемъ вмѣстѣ на выставку?—спрашивала, прощаясь, Коврова.

— Идемъ...

Стрепетовъ ушелъ въ восхищеніи отъ Ковровой. Въ этотъ вечеръ она ему еще болѣе понравилась.

Проводивъ молодого человѣка, Надежда Васильевна на цыпочкахъ вошла въ комнату Риммы Михайловны и стала осторожно раздѣваться, стараясь не шумѣть, чтобы не разбудить Римму, когда та проговорила:

— Что-жъ ты свѣчи не зажигаешь?

— Такъ ты не спишь, Римма?

Коврова зажгла свѣчку и, приблизившись къ Риммѣ Михайловнѣ, пристально взглянула на нее и спросила:

— Отчего ты не спишь?

— Вѣрно, очень устала.

— А не больна?

— Да нѣтъ же...

Коврова присѣла на кровать и, смѣясь, замѣтила:

— А знаешь, Римма, вѣдь этотъ милый юноша въ тебя влюбленъ...

— Ты въ родѣ мамы... По ея мнѣнію, въ меня всѣ бывали влюблены...

— Нѣтъ, безъ шутокъ... Право, влюбленъ...

— Утѣшься, милая... Онъ не настолько слѣпъ, чтобы влюбиться въ старую дѣву!—смѣясь, проговорила Римма Михайловна.

— Слѣпъ не онъ, а ты, если этого не замѣчаешь...

— Я съ нимъ цѣлую недѣлю провела въ дорогѣ, и ничего не замѣтила, кромѣ обыкновеннаго расположенія.

— Ты вѣдь всегда не видишь того, чтѽ у тебя подъ носомъ...

— А ты видишь тѽ, чего нѣтъ...

— Онъ славный, этотъ Стрепетовъ... Такой непосредственный, неиспорченный...

— „Интересная натура“?—поддразнила Римма Михайловна.

— Конечно, интереснѣе всѣхъ здѣшнихъ вашихъ знакомыхъ. Нравится онъ тебѣ?

— Вотъ пристала!.. Ты точно собираешься сватать меня...

— А еслибы...

— Нечего сказать, хороша была бы пара...

— Чѣмъ же не хороша?.. Ему двадцать-два года, тебѣ двадцать-семь... всего пять лѣтъ разницы.

— Двадцать-восемь...

— Ну, двадцать-восемь... Экая важность... Да ты отвѣть: нравится тебѣ Стрепетовъ?

Римма Михайловна посмотрѣла на Коврову и разсмѣялась.

— Ты, въ самомъ дѣлѣ, смѣшная... Допрашиваешь, будто сваха...

— А ты отвѣчай.

Римма Михайловна подумала и сказала:

— Кажется, онъ порядочный человѣкъ... Кипятится только очень...

— Это-то и хорошо...

— Вѣчно кипятиться? Нѣтъ, я такихъ не люблю...

— Я знаю, какихъ ты любишь!..—раздражительно проговорила Надежда Васильевна.

— Никакихъ не люблю!..—проговорила Римма.

Коврова пристально взглянула на свою любимицу.

— Ой, такъ ли, Риммочка?

— Такъ, моя милая.

И обѣ примолкли.

— А вѣдь онъ красивъ... Не правда ли, Римма?—снова заговорила Коврова.

— Недуренъ!

— И, знаешь ли, Римма, человѣкъ неглупый и съ сердцемъ.

— Ты успѣла уже изучить его?

— Успѣла.

— А я еще не приглядѣлась къ нему. Мнѣ долго надо приглядываться...

— Что-жъ, приглядись, а потомъ...

Надежда Васильевна многозначительно улыбнулась.

— А потомъ и сама не замѣтишь, какъ влюбишься!—неожиданно прибавила Коврова.

— Я!? Въ этого юношу?—воскликнула Римма Михайловна,

и щеки ея вдругъ вспыхнули яркимъ румянцемъ.—Нѣтъ, ты положительно съ ума сошла!

— Ну, ну, не сердись, Риммочка!—нѣжно проговорила Коврова.—Прощай и засыпай скорѣе.

Съ этими словами она поцѣловала свою любимицу и улеглась на диванѣ.

Глава XVI.

Риммѣ Михайловнѣ не спалось.

Этотъ разговоръ незамѣтно вызвалъ въ дѣвушкѣ грустныя думы объ ея неудавшейся личной жизни, о печальной повѣсти ея разбитаго сердца, жаждавшаго и не знавшаго ни счастія взаимной любви, ни радости материнства.

Невеселыя воспоминанія, открывавшія еще не вполнѣ зажившую сердечную рану! Чувство обиды и ѣдкой горечи, оскорбленной женской гордости и разочарованія, вновь охватили щемящей тоской ея душу, и мрачныя мысли о сиротливомъ одиночествѣ старой дѣвы невольно приходили въ голову, когда она опять раздумывала объ этомъ странномъ, безконечно долгомъ, несчастномъ своемъ романѣ, испортившемъ ей жизнь.

Въ самомъ дѣлѣ, это былъ странный романъ. Лучшая пора ея жизни, вся молодость, такъ и прошла въ напрасномъ ожиданіи его развязки, въ ожиданіи рѣшенія вопроса: любитъ ли избранникъ ея сердца свою героиню надлежащимъ образомъ, или ему только кажется, что любитъ?

И пока „герой“ рѣшалъ этотъ вопросъ въ продолженіе многихъ лѣтъ, съ добросовѣстнымъ упорствомъ холоднаго эгоиста, боящагося связывать себя рѣшительнымъ словомъ, не говоря ни „да“, ни „нѣтъ“, но въ то же время продолжая поддерживать съ влюбленной дѣвушкой самыя близкія, дружескія отношенія, Римма Михайловна любила его, любила со всею силою сдержанно-цѣломудренной, страстной натуры, съ гордымъ терпѣніемъ ожидая развязки.

Этотъ невозможный романъ, начавшійся давно, съ тѣхъ поръ, какъ только-что расцвѣвшая дѣвушка влюбилась въ своего учителя, господина Орловскаго, „идеальнаго блондина въ шиллеровскомъ родѣ“, красиваго, румянаго херувимчика студента-медика, оканчивавшаго курсъ и нашептывавшаго нѣжныя рѣчи о чувствѣ, и серьезныя — о наукѣ, — этотъ романъ тянулся съ томительнымъ однообразіемъ много, много лѣтъ. Всѣ считали молодыхъ людей женихомъ и невѣстой, хотя Орловскій ни-

когда и не заикался о бракѣ. Сама Римма Михайловна, съ упорствомъ охватившей ее страсти, долго лелѣяла надежду, что вотъ, вотъ, наконецъ, этотъ „идеальный блондинъ“ рѣшитъ свой вопросъ, пока, наконецъ, послѣ многихъ колебаній и сомнѣній, не пришла недавно къ горькому сознанію, что развязки не будетъ, что въ сердцѣ этого человѣка, благосклонно позволявшаго себя любить и поощрявшаго своимъ видимымъ дружелюбіемъ эту любовь, нѣтъ любви и никогда ея не было, и что онъ любитъ безпредѣльно лишь самого себя.

И хоть бы, по крайней мѣрѣ, было чѣмъ вспомнить этотъ томительно-длинный романъ, отнявшій у нея молодость, а то вѣдь рѣшительно нечѣмъ! Ни сорваннымъ украдкою поцѣлуемъ, ни проблескомъ страсти, ни вспышкой ревности, ни рѣшительнымъ признаніемъ!

Все было необыкновенно чинно и разсудительно въ этихъ отношеніяхъ молодого человѣка, разсудительно до отвращенія, какъ въ благонравныхъ англійскихъ романахъ, въ которыхъ влюбленные съ терпѣніемъ „ждутъ“ по десяткамъ лѣтъ, пока не наживутъ достаточныхъ средствъ для приличной жизни. „Герой“ пользовался правами не то друга, не то жениха, съ безукоризненной выдержкой холоднаго Нарцисса, принимавшаго, какъ заслуженную дань, беззавѣтную любовь вѣрившей въ него дѣвушки, съ безупречной осторожностью честнаго эгоиста, боящагося зайти далеко и тѣмъ нарушить свой внутренній покой сознаніемъ виновности, и желавшаго окончательно убѣдиться въ силѣ своего чувства и кстати устроить себѣ приличное положеніе, прежде чѣмъ связать себя узами брака.

И онъ довольствовался тѣмъ, что, въ качествѣ друга, съ безжалостной откровенностью анализировалъ свои чувства при дѣвушкѣ, трепетавшей отъ любви, и ораторствовалъ о правдивости въ чувствѣ, о строгомъ его анализѣ, во избѣжаніе несчастій, просиживая долгіе часы въ этихъ возвышенныхъ бесѣдахъ и нерѣдко доводя до истерикъ бѣдную влюбленную дѣвушку, жаждавшую не однихъ разсужденій, а чувства. Самодовольный, гордящійся своимъ безукоризненно честнымъ отношеніемъ къ дѣвушкѣ, онъ „умно“ резонировалъ, пока Римма Михайловна „глупо“ любила, безъ разсужденій, слушая съ благоговѣйнымъ вниманіемъ его рѣчи, пораженная его благородствомъ и добросовѣстностью. А онъ любилъ, чтобы его слушали, и любилъ поклоненіе—этотъ красивый молодой человѣкъ, осторожный и благоразумный не по лѣтамъ, не поддававшійся и во времена студенчества „увлеченіямъ“ и сторонившійся отъ всякихъ крайнихъ

кружковъ и компрометтирующихъ исторій. Онъ проповѣдовалъ тогда науку и любилъ одну науку, считая недостойнымъ серьезнаго человѣка увлекаться „мечтательными“ теоріями, и развивалъ свою восторженную поклонницу исключительно въ научномъ направленіи.

Прошло три года. Молодые люди на время разстались. Орловскій поступилъ на службу на югъ Россіи, разсчитывая со временемъ перейти въ Петербургъ, а молодая дѣвушка, горѣвшая желаніемъ приносить пользу и сдѣлаться достойной своего учителя, отправилась въ Петербургъ учиться. Подготовленная занятіями съ Орловскимъ, она блистательно выдержала экзаменъ, но вслѣдъ затѣмъ, совсѣмъ больная, была послана за границу, и только черезъ полтора года могла вернуться въ Петербургъ, чтобы продолжать занятія. Молодые люди не видались болѣе двухъ лѣтъ. За время этой разлуки привязанность дѣвушки не поколебалась, сердце ея безраздѣльно принадлежало Орловскому. Онъ не прерывалъ отношеній, поддерживая ихъ перепиской. Въ этихъ письмахъ, получавшихся аккуратно каждую недѣлю, полныхъ дружескаго участія и благоразумныхъ совѣтовъ насчетъ занятій и здоровья, Орловскій, по прежнему, ни разу не обмолвился неосторожнымъ словомъ любви, но необыкновенно мягкій и ласковый тонъ и интимность ихъ какъ будто намекали на что-то, питая иллюзіи влюбленной дѣвушки. И она терпѣливо ждала, по прежнему любящая, что „герой“ ея, наконецъ, скажетъ рѣшительное слово.

Но этого „слова“ она не услышала и тогда, когда Орловскій пріѣхалъ въ Петербургъ и основался здѣсь. Онъ былъ по прежнему ласковъ и предупредителенъ, по прежнему называлъ себя „лучшимъ другомъ“ и часто навѣщалъ Римму. Онъ все еще продолжалъ „раздумывать“ о силѣ своего чувства, хотя и перестать уже вслухъ анализировать его. Такъ прошелъ годъ, другой. Орловскій сталъ бывать рѣже. Отношенія стали натянутѣе, холоднѣе, и этотъ странный романъ оканчивался безъ какихъ бы то ни было объясненій. Орловскій, чувствовавшій себя совершенно правымъ передъ дѣвушкой, которой онъ не давалъ никакихъ обязательствъ,—объясненій не начиналъ. Римма Михайловна, разумѣется, не вызывала ихъ.

Римма Михайловна, затаившая свое нераздѣленное чувство и потерявшая надежду на взаимность, долго еще смотрѣла ослѣпленными глазами на „героя“ своего романа. Еще недавно, при встрѣчѣ съ Орловскимъ на вокзалѣ, послѣ трехмѣсячнаго отсутствія изъ Петербурга, сердце Риммы Михайловны тревожно за-

билось. Охваченная радостнымъ волненіемъ, она вся просвѣтлѣла, и шальная надежда снова пронеслась въ ея душѣ при видѣ этого ласковаго взгляда, при звукахъ этого мягкаго, нѣжнаго голоса.

Но это былъ послѣдній проблескъ надежды, послѣдняя вспышка потухающей страсти. Она, наконецъ, прозрѣла и окончательно поставила крестъ и надъ своей любовью, и надъ своимъ героемъ. Она теперь видѣла то, чего прежде не замѣчала, что „идеальный блондинъ въ шиллеровскомъ родѣ“ начиналъ заплывать жиркомъ, что мечтавшій о наукѣ студентъ сдѣлался посредственнымъ врачомъ-практикомъ и, добившись солиднаго положенія и „обстановочки“, забылъ о наукѣ. Она поняла, наконецъ, сколько безсердечнаго эгоизма было въ отношеніяхъ къ ней со стороны Орловскаго, и удивлялась своей прежней слѣпотѣ.

А вся молодость ушла. Впереди—доля старой дѣвы, для которой жизнь сердца кончена. Съ этой мыслью Римма Михайловна покорно примирилась и даже въ мечтахъ не предполагала возможности личнаго счастья, новой привязанности.

„И кому можетъ понравиться она, старая, поблекшая дѣва!?“

И грустная, недовѣрчивая улыбка появляется на ея лицѣ, когда, покончивъ съ воспоминаніями о своей разбитой жизни, она задумывается надъ словами Ковровой: „Въ нее влюблены!?“

Это предположеніе, показавшееся сперва невѣроятнымъ, однако пріятно волнуетъ дѣвушку, и она незамѣтно для самой себя отдается этимъ думамъ.

Женскій инстинктъ подсказываетъ ей, что Коврова, пожалуй, права. Она припоминаетъ волненіе Стрепетова при встрѣчахъ, его благоговѣйно-восторженные взгляды, припоминаетъ всѣ эти мелочныя подробности, которыя, казалось, подтверждаютъ слова пріятельницы, и ее занимаетъ вопросъ: „такъ ли это, или только кажется?“

Удивленная, она ловитъ себя на этомъ вопросѣ, и ей смѣшно и досадно, что подобная мысль можетъ занимать ее.

„Не все ли ей равно—нравится она или нѣтъ этому юношѣ!? Развѣ она сама можетъ увлечься имъ!.. Вѣдь подобная нелѣпость могла придти лишь въ голову такой фантазеркѣ, какъ Коврова!“

Такъ говоритъ она себѣ, и все-таки продолжаетъ думать о подобной „нелѣпости“. И образъ этого румянаго, красиваго юноши съ черными кудрями, помимо ея желанія, занимаетъ ея мысли, стоитъ передъ нею во мракѣ комнаты. Она гонитъ прочь этотъ образъ, стараясь направить мысли на другіе предметы, и все-таки думаетъ о немъ и чувствуетъ, какъ усиленно бьется ея сердце, полное любви.

„Глупости... глупости!“—беззвучно шепчутъ уста дѣвушки, и она закрываетъ глаза, стараясь заснуть.

Но сонъ не идетъ. Напрасно она переворачивается съ боку на бокъ. Въ ея утомленномъ мозгу все тѣ же неопредѣленно-сладкія мечтанія. Передъ ней все тотъ же кудрявый, красивый юноша, точно прекрасный демонъ надъ изголовьемъ Тамары, и дѣвушка, смущенная, отдается во власть грёзъ и чувствуетъ, какъ изъ глазъ ея тихо льется слеза за слезой, смачивая щеки.

„Нервы!“—рѣшаетъ она, тихо поднимается съ постели, зажигаетъ свѣчу и отыскиваетъ стклянку съ бромомъ. Она принимаетъ двѣ ложки, тихо ложится въ постель и, наконецъ, засыпаетъ, побѣдивъ смущающаго демона по всѣмъ правиламъ медицины.

Глава XVII.

I.

На слѣдующее утро Римма Михайловна вспомнила о вчерашнихъ грёзахъ съ чувствомъ горячаго стыда и съ той брезгливостью цѣломудрія, которая присуща глубоко-страстнымъ, сдержаннымъ женскимъ натурамъ.

Какъ допустила она овладѣть собой хотя бы на короткое время подобнымъ унизительнымъ мечтаніямъ? Гдѣ были разумъ и воля? Ужели „вѣнецъ творенія“, въ самомъ дѣлѣ, такое животное, что даже не всегда можетъ справляться со своими инстинктами?

Эта мысль всегда глубоко возмущала ея существо. Ея нравственное чувство отказывалось признать долю правды въ подобномъ мнѣніи, особенно оскорбительномъ для женскаго цѣломудрія, хотя, съ другой стороны, она, какъ будущій врачъ, и понимала, что даже въ самомъ идеальномъ „вѣнцѣ творенія“ надо считаться съ „животнымъ“.

Но считаться не значитъ признавать его побѣдителемъ! Нѣтъ, нѣтъ! Вчерашняя глупость—одна распущенность и болѣе ничего, и вина всецѣло лежитъ на ней. Зачѣмъ она позволила себѣ думать о Стрепетовѣ? Ничего подобнаго съ ней болѣе не случится, и этотъ „мальчишка“ не заставитъ ее переживать подобныя минуты стыда и презрѣнія къ себѣ самой.

Такъ размышляла Римма Михайловна, торопливо, по обыкновенію, заканчивая свой туалетъ. Только роскошныя ея косы брали много времени. Она давно, было, думала ихъ подрѣзать, но... не рѣшалась. Ужъ слишкомъ хороши были волосы, и врожденное

женское кокетство не допускало ее наложить на нихъ руки. Она сидѣла передъ туалетнымъ зеркаломъ, маленькая, худая, въ бѣлоснѣжной кофтѣ, съ лѣсомъ распущенныхъ волосъ, падавшихъ на колѣни, и заплетала косы быстрымъ движеніемъ своихъ маленькихъ рукъ. Лицо ея было сурово, блѣдно, истомлено и казалось сегодня старообразнымъ. Ея большіе черные глаза глядѣли сосредоточенно и строго. Она напоминала своимъ видомъ кающуюся инокиню, чистота помысловъ которой неожиданно была смущена дьявольскимъ навожденіемъ. Въ эти минуты она питала къ невольному виновнику ея вчерашней, непростительной, по ея приговору, слабости—досадливое, почти непріязненное чувство.

„Если онъ станетъ часто ходить, надо его отвадить!"—рѣшила про себя дѣвушка, но вслѣдъ затѣмъ явился вопросъ: „какъ это сдѣлать? И за что, собственно говоря, прогонять этого юношу, одинокаго, скромнаго, деликатнаго? За его восторженно-благоговѣйное отношеніе къ ней, не имѣющее и тѣни какой-нибудь притязательности?"

И Римма Михайловна тотчасъ же смягчилась, почувствовавъ невольное сожалѣніе къ Стрепетову. Оскорблять бѣднаго юношу, во всякомъ случаѣ, не слѣдуетъ... Туалетъ оконченъ. Римма Михайловна смотрится въ зеркало, и тихая, грустная улыбка отражается въ немъ. Ея лицо кажется дѣвушкѣ такимъ некрасивымъ, отцвѣвшимъ, старымъ.

„И что нашелъ онъ хорошаго въ такой старухѣ, если, въ самомъ дѣлѣ, я ему нравлюсь?"—подумала она.

И тутъ же прошептала, отводя лицо:

— Глупый юноша!

Однако, на мгновеніе ее охватило какое-то неопредѣленно-пріятное чувство. Она еще болѣе пожалѣла „бѣднаго юношу" и вышла въ гостиную.

Тамъ сидѣла за самоваромъ, поджидая свою любимицу, Надежда Васильевна. Подруги молча поцѣловались. Коврова, по обыкновенію, оглядѣла свою Римму пристальнымъ, любовнымъ взоромъ и, подавая ей чашку, спросила:

— Надѣюсь, ты будешь отдыхать сегодня, Римма? Лицо у насъ не особенно хорошее.

— Я здорова!—коротко отрѣзала Римма.

— Знаемъ мы твое здоровье. Поглядись въ зеркало—сама увидишь, на кого ты похожа. Пойдемъ-ка лучше, Римма, смотрѣть картину Рѣпина.

Римма категорически отказалась. Ей надо заниматься, скоро первый экзаменъ. Картину она пойдетъ смотрѣть въ воскресенье.

— Отдохни хоть утро. Пойдемъ. Съ нами и Стрепетовъ пойдетъ. Я его звала.

— А мнѣ-то что?

— Неужели, Римма, онъ тебя нисколько не интересуетъ? Такъ-таки ни капельки? А онъ-то, бѣдняга, тебя просто боготворитъ!

— Полно тебѣ носиться съ этимъ вздоромъ!--строго проговорила дѣвушка. И при этомъ блѣдныя ея щеки вспыхнули и губа чуть-чуть вздрогнула.—Я, слава Богу, еще не такая дура, чтобы мнѣ могъ понравиться первый встрѣчный мальчишка!

— Да ты чего сердишься, Риммочка? И, наконецъ, что за нелѣпый ригоризмъ? Точно, въ самомъ дѣлѣ, это ужъ такъ невозможно?

— Разумѣется, невозможно.

— Почему?

— Потому, что это было бы глупо и смѣшно!—съ необычною живостью отвѣчала Римма.

— Точно сердце спрашиваетъ: что̀ умно, что̀ глупо. Влюбилась, и все тутъ.

— Такъ поступаютъ въ семнадцать лѣтъ, а не въ двадцать-восемь.

— Боже ты мой! Какое, посмотришь, у васъ, у всѣхъ, здѣсь благоразуміе! —воскликнула Коврова, начиная, по обыкновенію, волноваться.—Вы и влюбляться хотите по программѣ?.. Подходятъ года или не подходятъ? Такъ, что-ли? Дудки, милая! Въ двадцать-восемь лѣтъ еще скорѣе дѣлаютъ глупости въ любви. Или вы, докторши, отъ этого застрахованы?—съ насмѣшливой улыбкой прибавила Коврова.

— Надѣюсь, что я, по крайней мѣрѣ, не влюблюсь въ мальчишку.

— Это по принципу, что-ли?

— Просто потому, что меня не можетъ увлечь слишкомъ молодой человѣкъ.

— А если?

— А еслибы на меня и нашла подобная блажь—хоть мнѣ это и трудно себѣ представить,—я постаралась бы отъ нея избавиться, чтобы не губить чужой жизни и не портить своей. Бракъ, въ которомъ жена значительно старше мужа, неестественъ и счастливымъ быть не можетъ.

— Будто нѣтъ примѣровъ?

— Исключенія—не доказательства. Да и о чемъ мы споримъ? Я равнодушна къ твоему Стрепетову.

— Ой! любовь заразительна, Римма, особенно—упорная. Женщина и сама не замѣчаетъ, какъ поддается обаянію чужой страсти.

— Будь покойна, я не боюсь заразы.

— Ну, и глупо, очень глупо, что не боишься!—волновалась Коврова при видѣ спокойствія Риммы.—Каменная ты, что-ли, въ самомъ дѣлѣ? Привязанности не хочешь?.. Да будь я мужчиной, я расшевелила бы тебя. Я бы добилась взаимности, несмотря на твою суровость. Я бы...

— Ты бы навѣрное не влюбилась въ такую перезрѣлую дѣву, какъ я!—съ улыбкой перебила Римма.

— Не кокетничай, пожалуйста, своей воображаемой старостью! Сама, небойсь, хотѣла бы выйти замужъ?

— Хотѣла бы!—просто отвѣчала дѣвушка.—Только вотъ суженаго нѣтъ!

— И не найдешь. Зачѣмъ людей бѣгаете? Зачѣмъ держишь себя такъ? Ты даже и слегка пококетничать не умѣешь! Вѣра—та хоть потѣшается надъ мужчинами, когда въ духѣ. Да и разборчивыя какія! Одинъ—слишкомъ молодъ, другой — слишкомъ старъ, третій...

— То-то ни перваго, ни второго, ни третьяго нѣтъ!—перебила, улыбаясь, Римма.—Всѣ эти кандидаты въ мужья—созданья твоей пылкой фантазіи, моя милая!

II.

— А каковъ будетъ по вашему бракъ, если мужъ старше жены лѣтъ на семнадцать? Велика разница или нѣтъ?—неожиданно раздался веселый голосъ Вѣнецкой, и докторша, миловидная, возбужденная и свѣжая, въ своемъ черномъ „визитномъ“ платьѣ, съ значкомъ на груди, появилась на порогѣ, оправляя свои пепельные волосы.

— Давно ты съ дежурства? Мы и не слыхали, какъ ты вернулась.

— Еще бы слыхать—вы такъ горячо спорили! Ужъ я успѣла переодѣться, чтобы ѣхать на практику, и успѣла послушать часть вашего разговора.

Она перецѣловалась съ пріятельницами, присѣла къ столу и продолжала, кивнувъ головой на Римму:

— Такъ она неумолима? А я бы не задумалась женить на себѣ Стрепетова, несмотря на разницу лѣтъ, еслибы онъ дога-

дался влюбиться въ меня! Безъ шутокъ, женила бы! Онъ такой красивый, непосредственный, симпатичный—этотъ кудрявый, наивный юноша. И, кажется, мягкаго, тихаго характера. Въ моихъ рукахъ онъ былъ бы покорнымъ, образцовымъ мужемъ. Только въ меня, къ сожалѣнію, такіе простодушные, мягкотѣлые юноши не влюбляются! — прибавила, смѣясь, Вѣнецкая.—Я не такая... идеальная, какъ Римма, и имѣю несчастіе болѣе нравиться пожилымъ людямъ.

— И тѣшиться иногда надъ ними?—вставила Коврова.

— Это подъ-часъ развлекаетъ. Отчего-жъ и не потѣшиться, если какой-нибудь пятидесятилѣтній господинъ, въ родѣ нашего старшаго доктора, вздумаетъ разводить сантименты съ масляными глазами. Такихъ дураковъ и наблюдать интересно, и учить не мѣшаетъ. Однако, отвѣчайте на мой вопросъ, госпожи судьи! Какого ты мнѣнія, Римма, о будущемъ счастьѣ супруговъ, если между ними лѣтъ семнадцать разницы?

— Надо знать, какіе люди.

— Да ты къ чему спрашиваешь? Ужъ не влюбилась ли въ какого-нибудь человѣка „второй молодости"? Это нынче, говорятъ, у васъ въ модѣ?—спросила Коврова.

— Я влю-би-ться? — протянула Вѣнецкая.—И при этихъ словахъ она надменно вздернула вверхъ голову и презрительно сощурила глаза. Этотъ жестъ шелъ къ докторшѣ, придавая ея нервному, подвижному лицу вызывающій, задорный видъ.—Отъ этого меня Богъ избавилъ! Я не изъ кисло-сладкихъ натуръ и влюбленной атмосферы не выношу.

— Ишь вѣдь самолюбіе въ тебѣ какое! Сейчасъ голову кверху! А въ Москвѣ, помнишь? Втюрилась какъ сумасшедшая.

— То было раннею весною моей жизни. Съ тѣхъ поръ я, надѣюсь, поумнѣла и не имѣю ни малѣйшаго желанія повторять глупости шестнадцатилѣтняго возраста. „Втюриваться", какъ ты выражаешься, чтобы, въ концѣ концовъ, остаться въ дурахъ,—благодарю покорно! У меня, слава Богу, не такой темпераментъ!

— Да не лги на себя, Вѣра!..—вспылила Коврова.—Скажите пожалуйста, чѣмъ хвалится! Влюбиться не можетъ!? Ты, значитъ, не женщина, а какой-то уродъ!

— То-то не могу, милая; иначе, вѣроятно, давно бы влюбилась. Можетъ быть, впрочемъ, еще не встрѣтила *того*, кто заставилъ бы меня поглупѣть отъ любви, а можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ я уродъ.

— Просто въ тебѣ какой-то бѣсъ сидитъ! Тебѣ хочется

необыкновеннаго человѣка, который припалъ бы къ твоимъ ногамъ?.. Самолюбіе вѣдь у насъ сатанинское!..

— Да ты не бранись и не перебивай, если хочешь знать, какое интересное объясненіе у меня было вчера. И, вдобавокъ, объясненіе въ твоемъ вкусѣ... романическое!—прибавила съ самодовольной улыбкой докторша, лукаво щуря глаза.

— Ну, ну, разсказывай.

Но прежде, чѣмъ начать, Вѣра Александровна сдѣлала нѣсколько глотковъ чая и оглядѣла почему-то свои красивыя руки съ тонкими, длинными пальцами и безукоризненными ногтями, словно желая показать, что тȯ, чтȯ она станетъ разсказывать, не особенно волнуетъ ее, хотя возбужденное лицо и особенный блескъ ея глазъ говорили противное.

— Такъ слушайте,—начала она слегка вибрирующимъ голосомъ: — сижу я вчера на дежурствѣ послѣ обѣда и читаю „Disciple", Поля Бурже́,—какъ: „стукъ, стукъ!" и входитъ... кто бы, вы думали? Ни за что не отгадаете!.. Входитъ... Черникъ! Не правда ли, Римма, было чему удивиться? Медицинское свѣтило, вѣчно занятый Андрей Ивановичъ, у котораго всѣ часы распредѣлены, и вдругъ днемъ... собственной особой у меня въ дежурной комнатѣ!

— Мнѣ давно казалось, что ты ему нравишься, Вѣра!—промолвила Римма Михайловна.—Иначе чѣмъ объяснить, что въ послѣднее время Черникъ, нигдѣ не бывающій, такъ аккуратно посѣщалъ твои журъ-фиксы?

— И мнѣ, по временамъ, казалось, что я ему нравлюсь, но вѣдь этого Черника не разберешь: когда онъ говоритъ серьезно, когда шутитъ... Онъ самъ какъ-то однажды объяснялъ свои посѣщенія тѣмъ, что я—„любопытный для него субъектъ". И прибавилъ съ своей лукавой улыбкой: „пока".

— Да вѣдь когда нравишься, это чувствуется, Вѣра!—вставила Коврова.

— О, онъ лукавый хохолъ и слишкомъ уменъ, чтобы изображать изъ себя влюбленнаго. Я, кажется, ужъ не совсѣмъ... слѣпая, — продолжала съ усмѣшкой докторша,—и видѣла, какъ ухаживаютъ господа мужчины; но Черникъ постоянно сбивалъ меня съ толку своей манерой держать себя старикомъ, своимъ исключительно товарищескимъ отношеніемъ, въ которомъ не было и тѣни ухаживанія. До вчерашняго дня я была почти увѣрена, что этотъ насмѣшливый скептикъ неспособенъ серьезно кѣмъ-нибудь увлечься, и что онъ любитъ лишь свою науку, свой кабинетъ, свои книги да, время отъ времени, кутежи. Я думала:

ѣздитъ онъ сюда разъ въ недѣлю, „пока“ я ему кажусь „любопытнымъ субъектомъ“—не даромъ онъ пишетъ изслѣдованіе о „нервно-патологическихъ явленіяхъ у интеллигентныхъ женщинъ“, —а какъ только любопытство его удовлетворится, онъ и носа не покажетъ. И это меня, признаюсь, иногда злило. Я разъ даже его спросила объ этомъ.

— Что-жъ онъ? — воскликнула Коврова, вся поглощенная разсказомъ.

— Что!? Точно ты его не знаешь?.. Улыбнулся, по обыкновенію, глазами, затеребилъ пальцами бороду и отвѣтилъ съ подкупающей искренностью: „Вы, правы, коллега. И, надѣюсь, вы за это не разсердились бы на меня. Вы, кажется, тоже ищете „интересныхъ субъектовъ“?.. Это—ужъ такой у насъ съ вами темпераментъ—ничего не подѣлаешь!.. Да и къ чему бы я сталъ себя стѣснять и посѣщать людей, нисколько для меня не интересныхъ? Для этого у меня нѣтъ ни охоты, ни лицемѣрія, ни времени... Я слишкомъ занятъ, и лучше проведу вечеръ за книгой, чѣмъ въ обществѣ не занимающихъ меня людей“... Я, впрочемъ, давно слышала объ этой странной манерѣ Черника обрывать знакомства, и иногда терялась въ догадкахъ, что этотъ вѣчно занятый человѣкъ продолжаетъ еще посѣщать наши журфиксы для того, чтобы, большею частью, молчать или ограничиваться шуточками. Приходило даже подчасъ въ голову: не для Риммы ли ѣздитъ Черникъ?

— Съ больной головы да на здоровую!—усмѣхнулась Римма.

— Не финти, Вѣра!.. Любишь ты хвостомъ слѣды заметать. Навѣрное догадывалась, что этотъ „искатель любопытныхъ субъектовъ“ ѣздитъ сюда ради твоихъ прекрасныхъ и лукавыхъ глазъ?.: Вѣдь ты, слава Богу, кокетка перваго сорта!—замѣтила Коврова.

— Ну вотъ—не вѣрите! Честное слово, что совсѣмъ не была въ этомъ увѣрена... Да меня этотъ вопросъ и не особенно интересовалъ!—съ напускной небрежностью прибавила докторша.— Иногда приходило на мысль, что я ему немножко нравлюсь, иногда—что ни капельки... Очень ужъ умѣлъ Черникъ скрывать свои чувства... И когда вчера онъ появился въ дежурной комнатѣ, я даже смутилась и слегка покраснѣла... такъ это было неожиданно... А онъ, какъ всегда, привѣтливый и веселый, поздоровался и спрашиваетъ: „Поразилъ я васъ, кажется, коллега, своимъ посѣщеніемъ?“ — „Не ждала“,—говорю. Улыбается и пресерьезно объясняетъ, что былъ тутъ по близости на консультаціи у одного нервно-больного (очень, говоритъ, интересная форма!), вспомнилъ,

что я сегодня дежурная, и рѣшилъ завезти новую интересную брошюру Шаркò. „Прочтите, говоритъ, коллега, стòитъ... У этого геніальнаго француза есть чему поучиться, а пока позвольте у васъ посидѣть минутъ пять и выкурить папиросочку, если не стѣсню?"... Я отвѣтила, что очень рада. Тутъ онъ поинтересовался узнать, чтò я читаю, похвалилъ романъ и удивилъ меня своимъ знаніемъ литературы... Оказывалось, что онъ много читаетъ не по одной своей спеціальности—а это рѣдкость между господами врачами. Затѣмъ повелъ рѣчь о брошюрѣ, вспомнилъ о Шаркò, у котораго учился, разсказалъ объ интересномъ больномъ, взглянулъ на часы и говоритъ: „Вмѣсто пяти минутъ, я ужъ сижу полчаса. Не надоѣлъ еще?" и совершенно неожиданно прибавилъ: „А вы, коллега, въ самомъ дѣлѣ, повѣрили, что и больной былъ по близости, и что я заѣхалъ, чтобы брошюру завезти?" Сказалъ онъ эти слова, смотритъ на меня и посмѣивается. Этотъ неожиданный вопросъ меня нѣсколько смутилъ въ первую минуту. Но я тотчасъ же отвѣтила ему съ самымъ невиннымъ и удивленнымъ видомъ: „Отчего жъ не повѣрить? И какая цѣль вамъ лгать?"—хотя въ то же мгновеніе почувствовала, что Черникъ дѣйствительно солгалъ, и что брошюра Шаркò была лишь предлогомъ... „Но зачѣмъ онъ объ этомъ самъ говоритъ? Обыкновенно мужчины это скрываютъ, и неглупыя женщины дѣлаютъ видъ, что вѣрятъ!"—пронеслось у меня въ головѣ. Но зато любопытство мое было возбуждено въ высшей степени—и ужъ покаюсь вамъ, мои добродѣтельныя подруги—женское мое самолюбіе тоже. Я догадывалась, что сейчасъ будетъ объясненіе, и меня очень интересовало: *какъ* будетъ объясняться Черникъ... И я была вознаграждена такимъ объясненіемъ, какого никакъ не ожидала. Это было нѣчто совсѣмъ курьезное!

И Вѣра Александровна залилась звонкимъ, веселымъ смѣхомъ, причемъ глаза ея сощурились, и все ея лицо приняло дѣтски-довольное выраженіе.

— Да ты не тяни душу... Разсказывай!—торопила Коврова.

— Нѣтъ... ей-Богу... только Черникъ, кажется, способенъ дѣлать признаніе въ любви въ такомъ родѣ... Удивительно лукавый этотъ хохолъ! Въ отвѣтъ на мое замѣчаніе, онъ усмѣхнулся, какъ бы подчеркивая, что не вѣритъ его искренности, и насмѣшливо промолвилъ: „А я полагалъ, что вы, коллега, проницательнѣе, и догадались, что я безсовѣстно лгалъ!" И, съ обычной своей откровенной шутливостью, признался, что солгалъ лишь потому, что у него не хватило мужества сознаться, что онъ, занятой, солидный, нашъ „уважаемый" Андрей Иванычъ Черникъ, пріѣхалъ

сюда, „къ чорту на кулички“, когда его ждутъ паціенты, лишь для того, чтобы увидать меня, „коллегу“, и разсказать объ одномъ своемъ недугѣ, въ существованіи котораго „онъ имѣлъ несчастіе“ убѣдиться. „Очень непріятная и глупая болѣзнь, коллега!“—съ комическимъ видомъ замѣтилъ Черникъ и попросилъ разрѣшенія сдѣлать по этому поводу маленькое сообщеніе. „Исторія столь рѣдкой въ мои почтенные годы болѣзни вѣдь ровно ни къ чему васъ не обяжетъ (вы, говоритъ, какъ умная дѣвушка, надѣюсь, избѣжите тѣхъ пустыхъ словъ, какими обыкновенно утѣшаютъ врачи безнадежно больныхъ), но, во всякомъ случаѣ, доставитъ вамъ, быть можетъ, маленькое развлеченіе. А при нынѣшней всеобщей скукѣ никакими развлеченіями пренебрегать не слѣдуетъ!—смѣясь, прибавилъ Черникъ.—Такъ ужъ позвольте отнять у васъ еще минутъ десять? Можно?“—„Хоть двадцать! Время у меня свободное, а исторія вашего недуга, разумѣется, интересна для меня, какъ для неопытнаго еще врача!“—отвѣчала я въ томъ же шутливомъ тонѣ и прибавила: „А потомъ, значитъ, составимъ консиліумъ?“—„Едва ли вы захотите принять въ немъ участіе!“—замѣтилъ, посмѣиваясь, Черникъ, и—показалось мнѣ—невеселая улыбка на мгновеніе омрачила его насмѣшливое, умное лицо. Я промолчала... (Тутъ докторша почему-то отступила отъ истины или запамятовала, что она не промолчала, а отвѣчала, понизивъ голосъ и не безъ кокетства прищуривъ глаза: „Почему же? Быть можетъ, и приму, если болѣзнь ваша не воображаемая, какъ я предполагаю, судя по вашему виду!“) Тогда Черникъ, точно врачъ, ставящій діагнозъ надъ постороннимъ больнымъ, съ комической педантичностью сталъ перечислять признаки: „Угнетенное состояніе духа... разъ... Сосредоточеніе мысли постоянно на одномъ и томъ же женскомъ лицѣ... два... Непреодолимое желаніе видѣть это лицо, представляющееся, вопреки очевидности, самымъ красивымъ лицомъ въ мірѣ... три... Ускореніе пульса и нѣкоторое оглупѣніе при нечаянныхъ встрѣчахъ... четыре... Потеря прежней усидчивости въ занятіяхъ... пять! Разсѣянность, мечтательное настроеніе, галлюцинаціи и безсонница... шесть!“ Онъ перечислялъ всѣ эти „симптомы“ самымъ, повидимому, серьезнымъ тономъ, но лицо его въ это самое время было такое улыбающееся, и его маленькіе, бѣгающіе, лукавые глаза такъ смѣялись—именно смѣялись—что и я невольно улыбалась, слушая его, и въ то же время думала: „шутитъ онъ или говоритъ серьезно?“... Какъ-то не вѣрилось, глядя на него, въ серьезность его „болѣзни“... Но голосъ его, мягкій и вкрадчивый, звучалъ такъ задушевно и искренно, что невольно за-

ставлялъ вѣрить... Да и къ чему ему было бы разыгрывать комедію?..—„И давно съ вами эта непріятная болѣзнь?"—смѣясь, спросила я.—„Годъ ровно... Съ 28-го сентября прошлаго года замѣчены были первые легкіе признаки, на которые я тогда не обратилъ никакого вниманія... Такъ вѣдь многія болѣзни начинаются. Теперь же дѣло дошло до того, коллега, что я, сорока-пятилѣтній болванъ, сталъ... какъ вамъ это понравится?.. сталъ писать даже стихи!"—прибавилъ Черникъ съ самымъ искреннимъ смѣхомъ, точно этотъ „сорока-пятилѣтній болванъ" былъ не самъ онъ, а постороннее лицо, надъ которымъ Черникъ издѣвался.—„Вы... стихи!?"—невольно воскликнула я,—до того это показалось мнѣ невѣроятнымъ. — „То-то я... стихи!"—повторилъ онъ, весело смѣясь.—„Двадцать-пять лѣтъ не повторялъ я грѣховъ ранней молодости, когда пописывалъ стишки во время „легкихъ воспаленій", а теперь вотъ... подите!" И Черникъ прекомично развелъ руками.—„Любопытно, говорю я, было бы прочесть?"—„Любопытно?—спрашиваетъ.—Такъ сдѣлайте одолженіе, хоть сейчасъ. У меня, кажется, есть съ собой послѣдній плодъ безсонницы!" И Черникъ досталъ изъ кармана листокъ почтовой бумаги и воскликнулъ:—„Не чудеса ли? Профессоръ Черникъ, сорока-пяти лѣтъ отъ роду, съ сѣдой бородой и солиднѣйшей репутаціей, въ роли трубадура, со стихами въ рукахъ?.. Вѣдь интересно, коллега? Ну, такъ слушайте и... смѣйтесь, сколько вашей душѣ угодно. Не обидите, ибо я и самъ надъ собой смѣюсь!"—прибавилъ съ своей подкупающей искренностью Черникъ. И онъ прочелъ очень недурное, по моему, стихотвореніе, послѣ чего самъ предложилъ взять его какъ „образчикъ остраго помѣшательства".

Тутъ авторъ долженъ замѣтить, что—обыкновенно правдивая—молодая докторша, при передачѣ эпизода съ стихотвореніемъ, снова погрѣшила противъ истины, опустивъ слѣдующую маленькую подробность: когда почтенный профессоръ прочелъ свои стихи, Вѣра Александровна, значительно возбужденная, съ зарумянившимися щеками и горделиво блестѣвшими глазами, выразила Чернику большое удовольствіе, доставленное ей стихами, и сама попросила дать ей „это милое стихотвореніе" на память, „хотя оно и предназначено другой", прибавила докторша съ самымъ восхитительнымъ видомъ наивной недогадливости. И Черникъ, весело усмѣхнувшись послѣднимъ словамъ, съ видимымъ удовольствіемъ исполнилъ просьбу своего коллеги.

— Покажи, Вѣра, стихи Черника! Это интересно... Вотъ никакъ бы не подумала, что Андрей Иванычъ можетъ писать стихи!—воскликнула Коврова.

— Я покажу, но только вы, милыя, не проговоритесь какъ-нибудь объ этомъ챠Чернику... А впрочемъ, ему все равно, судя потому, что онъ самъ же потомъ рекомендовалъ „посовѣтоваться„ съ вами обѣими по поводу его „деклацій" и при этомъ замѣтилъ, что ему рѣшительно все равно, если о его „болѣзни" узнаютъ не только мои друзья, но даже и вся академія.—„Да и къ тому же я человѣкъ милосердый. Къ чему лишать васъ понятнаго удовольствія подѣлиться такимъ „интереснымъ" извѣстіемъ съ друзьями „по секрету"? Вы вѣдь женщина!"—прибавилъ онъ съ иронической усмѣшкой.

— Однако, не лестнаго онъ мнѣнія о женщинахъ!—проронила Римма.

— Ну, давай, давай, Вѣра! Я прочту!—торопила Коврова.

И, взявъ отъ Вѣнецкой тонкій листокъ, который та достала изъ портмоне́, Коврова прочла:

Придетъ урочный ранній часъ,
И я, въ тревогѣ пробужденный,
Ужъ не смыкаю больше глазъ.
Нѣтъ сна. Полнъ думами о васъ,
Съ нимъ споритъ мозгъ мой возбужденный,
И исчезаетъ, побѣжденный,
Сонъ каждый разъ!
Я рюмку брома пью до дна,
Я чиселъ рядъ твержу до скуки,—
Увы! Какъ грозная волна,
Смываетъ все мечта одна.
И, впечатлительный до муки,
Рѣчей я вашихъ слышу звуки,
Не зная сна!

— Каково!—воскликнула Коврова.—Вѣдь, право, не дурно для доктора невро-патолога! Видно, совсѣмъ „втюрился" въ тебя, лукавая Вѣра!.. Это ты вдохновила ученаго профессора! Ай да молодецъ профессоръ! Хвалю его... Несмотря на весь свой противный скептицизмъ, онъ, по крайней мѣрѣ, не потерялъ способности увлекаться и даже въ сорокъ-пять лѣтъ писать стихи... Нравятся они тебѣ, Римма?..

— Да, кажется, достаточно прочувствованы...

— Вотъ вѣдь и въ сорокъ-пять лѣтъ можно увлекаться... Ну, продолжай же, Вѣра... Ишь какой она глядитъ скромной овечкой, а сама, я думаю, въ душѣ, торжествуетъ свою побѣду... То-то ты сегодня такая оживленная! Ну, ну, не притворяйся, пожалуйста, равнодушной—мы не мужчины, и нась не надуешь. Женщинѣ всегда пріятно, когда ее любятъ, еслибы даже она

сама не любила... И всѣмъ этимъ его насмѣшкамъ, шуточкамъ и улыбкамъ не очень-то вѣрь... И его исканію „любопытныхъ субъектовъ“ тоже! Это просто оригинальное кокетство самолюбиваго и неглупаго мужчины, боязнь показаться смѣшнымъ въ глазахъ женщины, что „втюрился“ въ сорокъ-пять лѣтъ. Онъ поэтому первый и смѣется надъ собой... Оно, во всякомъ случаѣ, удобно въ случаѣ неудачи. „Я, молъ, изучалъ!“ Лукавые эти господа мужчины! Изу-чалъ! Вотъ онъ изучалъ тебя, какъ „любопытнаго субъекта“, да во время изученія и влюбился, какъ мальчишка, этотъ самый сѣдобородый скептикъ и любитель одной своей науки да своего холостого кабинета... ха-ха-ха! Теперь, небойсь, и кабинетъ опротивѣлъ, и наука не въ науку... Я всегда проповѣдовала вамъ, друзья: любовь не шутитъ ни съ малымъ, ни со старымъ... Пришла... и самъ вашъ Черникъ, до сей поры „мудрствовавшій лукаво“, вдругъ заговорилъ стихами!— съ торжествующимъ видомъ произнесла Коврова, порывисто и съ увлеченіемъ выбрасывая фразу за фразой.—Не бойсь, теперь: „И, впечатлительный до муки,—рѣчей я вашихъ слышу звуки,—не зная сна!“ И бромъ не помогаетъ! То-то и есть!—продолжала Надежда Васильевна съ чувствомъ нѣкотораго злорадства къ профессору. – А раньше что̀ думалъ? Изу-чалъ!.. Боялся, видите ли, стѣснить свою свободу и удовлетворялся, какъ многіе, мимолетными связями!?.. Ну, разсказывай же, Вѣра, что̀ онъ тебѣ еще говорилъ? Какъ вилялъ хвостомъ лукавый хохолъ? Какъ предложилъ тебѣ руку и сердце? И тебя, конечно, можно поздравить? Говори же, говори!

— Да ты не даешь ей говорить!—вставила Римма Михайловна.

— Ну, молчу, молчу. Мы слушаемъ васъ, будущая Frau Professorin!

— А ты ужъ и свадьбу предвидишь? А, быть можетъ, этого финала и не будетъ. Я еще не рѣшила!—лукаво замѣтила докторша.

И Вѣра Александровна продолжала разсказъ о томъ, что̀ было вслѣдъ за чтеніемъ стиховъ, какъ Черникъ сообщилъ ей, что, послѣ долгихъ размышленій, рѣшился, наконецъ, объяснить этой „дѣвушкѣ, нарушившей покой его жизни“, подробности своей „хронической болѣзни“ и предложить ей рискнуть выйти замужъ за такого неказистаго старика, „какъ вашъ покорнѣйшій слуга“.—„Правда, шансовъ на ея согласіе мало—этакъ пять на сто,—прибавилъ онъ, смѣясь,—и все-таки надо попытаться, чтобы покончить съ этимъ дѣломъ разъ навсегда, не питать на-

прасныхъ иллюзій и не хлопотать о новой квартирѣ въ академіи.— „Какъ вы полагаете, коллега? Слѣдуетъ попытаться?“ — „Отчего жъ, говорю, не попробовать. Вѣдь вы, надѣюсь, въ случаѣ отказа, въ отчаяніе не придете и не застрѣлитесь?—прибавила я съ улыбкой.—Съ васъ, я думаю, какъ съ гуся вода? Помните, вы говорили, что изъ-за любви только дураки съ ума сходятъ, а занятые люди скоро утѣшаются? Отыщите, значитъ, для наблюденій какой-нибудь другой „любопытный субъектъ“, и черезъ недѣлю, много двѣ, совсѣмъ излечитесь отъ „непріятной болѣзни“.

— Ишь вѣдь какая ты, Вѣра! Не можешь не пококетничать и не дразнить человѣка!—вставила Коврова.

— Что дѣлать! Не могла удержаться, чтобы не подразнить. И, наконецъ, меня злило, что Черникъ все точно шутя говоритъ.

— А тебѣ хотѣлось признанія въ пылкомъ родѣ? А кто хвалился, что не выноситъ „любовной атмосферы“?—замѣтила Коврова. — Ну, ну, разсказывай дальше, лукавая докторша, до чего вы дошутились?

— Въ отвѣтъ на мои слова Черникъ разсмѣялся. „Вы правы, говоритъ, коллега; разумѣется, не застрѣлюсь, не утоплюсь и даже въ отчаяніе не приду, но тѣмъ не менѣе мнѣ будетъ чего-то недоставать. До сихъ поръ я не испытывалъ подобнаго хроническаго пораженія и стиховъ не писалъ. Случалось, говоритъ, бывали „легкія воспаленія“, но быстро проходили, и я не думалъ нарушать одиночества своего кабинета. А вотъ теперь... это одиночество мнѣ противно. И мнѣ кажется, что никакой другой субъектъ, какъ бы ни былъ любопытенъ, не замѣнитъ моего интереснаго субъекта“.— „А развѣ ужъ онъ такъ интересенъ?“— „Очень“, говоритъ.—„И молодъ?“—„Вашихъ лѣтъ, коллега!“— „Ну, значитъ, старая дѣва. Мнѣ вѣдь двадцать-семь съ половиною“. —„А мнѣ зато сорокъ-пять. И то семнадцать лѣтъ разницы. Не много ли, какъ вы полагаете?“—„Тутъ все зависитъ отъ характера дамы вашего сердца. Вы, конечно, изучили его. Каковъ онъ?“—„Характеръ, говоритъ, у нея не изъ особенно покойныхъ: нервный, капризный, властолюбивый, деспотическій. Самолюбіе большое. Кокетка порядочная, хотя, разумѣется, и отрицаетъ это“. — „И вамъ могла понравиться такая несовершенная дѣвушка?“—воскликнула я, смѣясь, хотя нѣсколько раздраженная безцеремонностью его характеристики.—„Вотъ подите же, коллега. *Такая* несовершенная, а понравилась. Вѣроятно, и понравилась, что такая, а не другая. Такъ какъ я и самъ далекъ отъ совершенства, то и не особенный охотникъ до совершенствъ. Поклоняться имъ можно, но съ ними удивительно

скучно, до тошноты скучно! Повѣсь въ рамку, да и молись! Благодарю покорно!" —„Но развѣ вамъ дастъ счастье жена, портретъ которой вы нарисовали? Предположимъ, что она даже повѣритъ серьезности вашей „болѣзни" и рискнетъ, какъ вы говорите, выйти за васъ замужъ—хорошаго будетъ мало. Вѣдь такая жена нарушитъ вашъ покой. Она замучитъ васъ, особенно если вы ревнивы и подозрительны. Характеръ вашъ, кажется, тоже не изъ покорныхъ, да къ тому же вы и изучать „любопытные субъекты" любите. Что жъ выйдетъ? Черезъ мѣсяца три, четыре такіе супруги разбѣгутся въ разныя стороны. Стоитъ ли, говорю, изъ-за этого огородъ городить!"—„Это вы, коллега, напрасно. Я буду супругъ перваго сорта: терпѣливый, довѣрчивый и не ревнивый. Опытъ, говоритъ, житейскій пріобрѣтенъ не даромъ. Я, говоритъ, понимаю, какъ вести себя пожилому супругу, чтобы не сдѣлаться похожимъ на гумозный пластырь и не быть смѣшнымъ. Пусть жена кокетничаетъ, если это ей нравится; я, говоритъ, ни трагическихъ, ни комическихъ сценъ не сдѣлаю... честное слово, коллега. А если случится грѣхъ, немножко поволнуюсь,—то про себя, при закрытыхъ, такъ сказать, дверяхъ. Замѣтьте еще одно преимущество и важное для семейной жизни: я съ утра не бываю дома и, слѣдовательно, не буду женѣ мозолить глазъ, и, такимъ образомъ, поводовъ для семейныхъ сценъ будетъ гораздо меньше. А если, говоритъ, надоѣмъ ей и сдѣлаюсь вовсе „неинтереснымъ" или если она влюбится въ когонибудь—случаются такія болѣзни!—вставилъ Черникъ,—то я, говоритъ, ей и разводъ устрою, „честно и благородно", принявъ всѣ вины на себя. Ей, ей, не лгу. И, вдобавокъ, не застрѣлюсь, не отравлюсь и не утоплюсь и лекцій даже не прекращу, ибо эти случаи весьма обыкновенны"... Затѣмъ Черникъ полушутя сказалъ, что супруга его будетъ глава, а онъ—ея покорный слуга, какъ и подобаетъ пожилому супругу. Нѣтъ опасности и со стороны изученія „любопытныхъ субъектовъ".—„Во-первыхъ, некогда, да и не захочется, если „любопытнѣйшій на свѣтѣ субъектъ" будетъ возлѣ. Наконецъ, и годы, коллега, не такіе, чтобы искать „авантюръ", какъ вы намекаете".—Онъ помолчалъ и прибавилъ: „для полноты характеристики", что онъ человѣкъ не злой и на своемъ вѣку не сдѣлалъ никакой серьезной пакости, за которую могла бы покраснѣть его жена.—„Въ этомъ не можетъ быть и сомнѣнія!"—воскликнула я. Черникъ примолкъ и теребилъ бороду, покуривая папироску, какъ ни въ чемъ не бывало. Молчала и я, взглядывая украдкой на него. Онъ мнѣ казался теперь интереснѣе, чѣмъ прежде, и я ощущала самолюбивое удовольствіе

быть любимой этимъ человѣкомъ, хотя сама и не питала къ нему влюбленныхъ чувствъ. Сердце мое билось спокойно, но Черникъ мнѣ нравился. „Выходить или не выходить замужъ?" спрашивала я себя, и рѣшенія не было. Такъ прошла минута, другая—неловкаго молчанія. „Такъ какъ же, коллега, благословляете дѣлать предложеніе?" спросилъ Черникъ и прибавилъ: „Надѣюсь, вы догадались, о комъ я говорилъ и для кого ѣздилъ на ваши журъ-фиксы?"—„Для кого?" спросила я, и сама покраснѣла. Онъ усмѣхнулся, покачалъ головой и промолвилъ съ шутливымъ упрекомъ: „Экая какая вы недогадливая! Вамъ нужны точки на „i". Извольте, говоритъ, поставлю. Для васъ, коллега, единственно для васъ, милостивая государыня; я вамъ предлагаю рискнуть быть моей женой. Чтò вы на это скажете? Разумѣется, *нѣтъ*?"—порывисто прибавилъ онъ, глядя мнѣ прямо въ глаза.—„А можетъ быть и *да*!" сорвалось у меня какъ-то нечаянно. Черникъ былъ изумленъ. Повидимому, онъ не ждалъ такого отвѣта и спросилъ: не шучу ли я? Я добросовѣстно сказала, что хоть я и расположена къ нему, но не влюблена въ него, поблагодарила за честь и попросила его дать мнѣ время подумать.

— Что-жъ онъ?—нетерпѣливо спросила Коврова.

— Онъ усмѣхнулся, и самымъ серьезнымъ образомъ замѣтилъ, что „влюбиться въ него, конечно, было бы совсѣмъ нелѣпо", и прибавилъ: „Подумайте, подумайте, коллега, посовѣтуйтесь съ друзьями. Право, я буду не страшный мужъ, хоть одна барышня какъ-то и увѣряла, что лучше повѣситься на осинѣ, чѣмъ выйти за меня замужъ. Но такъ какъ я предложенія и не думалъ ей дѣлать, то она и не повѣсилась. Вѣрьте, коллега, что сценами васъ не удивлю... Быть можетъ, надумаетесь,—отлично заживемъ. Поѣдемъ лѣтомъ за границу, вы Шаркò послушаете... свѣтъ повидаете. Не захотите со мной путешествовать—одна отправитесь—ваша княжая воля!" Онъ взялся за шляпу и, крѣпко пожимая руку, благодарилъ, что не сразу отказала. И насмѣшливое лицо его весело улыбалось, и самъ онъ точно помолодѣлъ. „Теперь пора и къ паціентамъ. И то опоздалъ съ исторіей своей болѣзни!" промолвилъ Черникъ и ушелъ, оставивъ меня въ какомъ-то туманѣ.

Вѣра Александровна обвела взглядомъ пріятельницъ и спросила:

— Ну, чтò вы на это скажете?

— Онъ умный—этотъ Черникъ. Хитро сдѣлалъ тебѣ предложеніе!—сказала Коврова.

— Я бы не задумалась ни минуты, еслибы онъ мнѣ нра-

вился. Черникъ порядочный человѣкъ!—промолвила Римма Михайловна.

— А я задумываюсь. Вѣдь я не влюблена!

— Да и не въ кого тебѣ влюбиться, матушка!—воскликнула Коврова. — Очень ужъ у тебя мозгъ работаетъ и большая ты затѣйница. Черникъ по тебѣ мужъ—два сапога пара! И навѣрное ты будешь съ нимъ счастлива. Онъ заставитъ себя полюбить. Вѣдь онъ тебѣ нравится, не правда ли?

— Нравится, но это не любовь.

— Придетъ и она, моя милая. Ты его уважаешь, онъ тебя любитъ—о чемъ же мудрить? Будешь заниматься своей наукой, не заботясь о завтрашнемъ днѣ, какъ теперь. Сдѣлаешься матерью, явится новый смыслъ жизни. Или хочешь въ старыхъ дѣвахъ остаться? Ахъ, Вѣра, не сладка эта одинокая жизнь! Бери что жизнь даетъ. Время-то уходитъ.

— А если Черникъ мнѣ надоѣстъ?

— Если... если?? Мало ли что можетъ быть впереди! Ну, надоѣстъ, тогда и думай объ этомъ!—съ досадой проговорила Коврова.

Всѣ примолкли. Докторша задумалась. Неопредѣленная улыбка бродила по ея лицу.

— А вѣдь, кажется, быть по вашему!—проговорила она, наконецъ.—Во всякомъ случаѣ, Черникъ уменъ, интересенъ и въ немъ нѣтъ ничего „мѣщанскаго“. Супружескихъ сценъ съ нимъ не будетъ. А я постараюсь быть для него интересною!—лукаво прибавила Вѣра Александровна.

— Значитъ, ты дашь ему положительный отвѣтъ?

— Да, но попрошу повременить свадьбой.

— Это зачѣмъ?

— Надо прежде его испытать: не очень ли онъ ревнивъ. Я вѣдь ужасно боюсь ревнивыхъ. Имѣла горькій опытъ!—заключила докторша, вставая, чтобы ѣхать на практику.

— А вѣдь Вѣрѣ счастье!—проговорила Коврова. —И повѣрь, Римма, она будетъ примѣрной женой. Черникъ незамѣтно приберетъ ее къ рукамъ, хоть она и будетъ думать, что онъ у нея подъ башмакомъ.

Напрасно только она хочетъ испытывать Черника.

— А что?

— Вѣра умѣетъ дразнить людей.

— Ты думаешь, онъ испугается?

— Нѣтъ... Если любитъ, не испугается, но жаль человѣка. Вѣра иногда безжалостна. Она будетъ нарочно кокетничать хоть съ Петровымъ, чтобы испытать, какъ она говоритъ, Черника.

— Онъ пойметъ ея фокусы, будь покойна.

— Все-таки этого дѣлать не слѣдуетъ. Съ чувствомъ надо обращаться бережно, а Вѣра не всегда помнитъ, что людямъ можетъ быть больно отъ ея опытовъ, и что послѣ ей же самой придется раскаиваться! Я, впрочемъ, рада за нее. По крайней мѣрѣ, будетъ у пристани!—прибавила послѣ минуты молчанія Римма Михайловна и направилась къ себѣ въ комнату.

Коврова грустно глядѣла ей вслѣдъ и прошептала:

— А этой вотъ не свить гнѣзда. И нѣтъ ей счастья. Совсѣмъ другая натура!

Глава XVIII.

Четвертый мѣсяцъ приходилъ къ концу съ тѣхъ поръ, какъ Стрепетовъ явился въ Петербургъ съ кандидатскимъ дипломомъ и пятью рекомендательными письмами въ карманѣ, полный бодрости и надежды, что скоро достанетъ мѣсто, но до сихъ поръ ничего опредѣленнаго, никакихъ постоянныхъ занятій! Случайная, приходившая къ концу, работа у Чиркова да урокъ у адвоката, устроенный Галанинымъ—вотъ и все! А главное, впереди рѣшительно ничего въ виду, кромѣ „кандидатуры“ въ земельномъ банкѣ, и искренняго, хотя и безплоднаго, желанія Чиркова помочь Стрепетову устроиться сколько-нибудь сносно. Оказывалось, что его превосходительство говорилъ правду, что его вліяніе въ другихъ вѣдомствахъ очень слабо, а въ послѣднее время служебный кредитъ скептика-генерала, повидимому, падалъ и въ томъ вѣдомствѣ, гдѣ онъ столько лѣтъ служилъ, умѣя примѣняться ко всякимъ „вѣяніямъ“. По крайней мѣрѣ, объ этомъ ходили въ городѣ слухи, и извѣстнаго сорта газеты стали сильнѣе нападать на нѣкоторыхъ „либеральствующихъ на казенный счетъ чиновниковъ“, причемъ дѣлались прозрачные намеки на какую-то „преступную слабость“ Чиркова. Въ послѣдній мѣсяцъ Стрепетовъ все чаще и чаще заставалъ по утрамъ его превосходительство не въ духѣ. Онъ, видимо, былъ чѣмъ-то озабоченъ и раздраженъ, этотъ чиновный скептикъ. Однажды, разсматривая археологическіе рисунки молодого человѣка, Чирковъ съ усмѣшкой сказалъ, что, „вѣроятно, скоро ему самому придется спеціально заниматься

одной археологіей... времени будетъ довольно!“ И, замѣтивъ недоумѣвающій взглядъ Стрепетова, продолжалъ:

— Новыя пѣсни, новые люди! Вѣроятно, по нынѣшнимъ временамъ, найдутъ, что даже и я „pas trop prononcé“ и... на подножный кормъ безъ курульнаго кресла и семи тысячъ.

И, словно забывъ о присутствіи Стрепетова, его превосходительство нѣсколько разъ, какъ бы въ раздумьѣ повторилъ: „Pas trop prononcé! Pas trop prononcé!“

И на безбородомъ желтомъ лицѣ Чиркова стояла презрительная, грустная и въ то же время пугливая улыбка чиновника-эпикурейца, предчувствующаго возможность остаться безъ хорошаго вознагражденія за всю свою мудрую философію, то-есть безъ „курульнаго кресла“ и семи тысячъ.

— Ддда... Не весьма обезпечена и наша карьера, молодой человѣкъ!—неожиданно проговорилъ его превосходительство послѣ минутной паузы.—Мотайте это себѣ на усъ, милѣйшій мой Павелъ Сергѣевичъ, и не особенно рвитесь въ омутъ!—прибавилъ онъ съ горькой усмѣшкой.

„Кандидатура“ въ земельномъ банкѣ, на которую Стрепетовъ сперва возлагалъ большія надежды, оставалась въ туманной перспективѣ. Молодой провинціалъ научился понимать, что̀ значитъ быть „кандидатомъ“. Три раза навѣдывался онъ въ банкъ справляться насчетъ вакансіи, и „вакансіи“ все не было. Первый разъ молодому человѣку посчастливилось встрѣтить въ пріемной самого господина Гринбека. Управляющій, рисовавшій молодому человѣку іерархическое дерево и столь подробно изъяснявшій правила учрежденія, въ первую минуту совсѣмъ не узналъ Стрепетова, и только когда нѣсколько смутившійся молодой человѣкъ напомнилъ, что онъ, по его приказанію, записанъ однимъ изъ первыхъ кандидатовъ, управляющій банкомъ замѣтилъ, что „вакансіи еще нѣтъ — надо подождать“.

— Васъ, кажется, рекомендовалъ баронъ Эмилій Антоновичъ Краусъ?—припоминалъ г. Гринбекъ, всматриваясь въ Стрепетова и очевидно смѣшивая его съ кѣмъ-то другимъ.

— У меня было письмо отъ самарскаго предводителя дворянства Полуэктова.

— Да, да... Я смѣшалъ... Помню, помню... Отличная рекомендація... Ваша фамилія?

— Стрепетовъ, кандидатъ университета.

— Такъ, такъ.

И, окончательно припомнивъ просителя, управляющій спросилъ:

— Адресъ вашъ, господинъ Стрепетовъ, конечно, у насъ записанъ?

— Записанъ.

— Ну, и отлично... Недѣли черезъ двѣ понавѣдайтесь!— прибавилъ управляющій и, любезно пожавъ Стрепетову руку, ушелъ въ свой кабинетъ.

— Развѣ предвидится вакансія?—спросилъ обрадованный Стрепетовъ молодого человѣка для справокъ.

— Кажется!—съ нѣкоторою таинственностью и совсѣмъ понижая голосъ, отвѣчалъ безукоризненно одѣтый господинъ Цыгановъ, замѣтившій, что управляющій подалъ Стрепетову руку, и потому считавшій необходимымъ быть сообщительнымъ и щеголять изысканной любезностью.—Есть, видите-ли-съ, предположеніе уволить одного служащаго съ перваго числа... Онъ повздорилъ съ начальникомъ отдѣленія... Нигилистъ какой-то!—замѣтилъ съ брезгливой улыбкой этотъ восторженный поклонникъ звучныхъ фамилій и изысканныхъ манеръ.—Но только я вамъ это по секрету!—конфиденціально прибавилъ Цыгановъ.—Вопросъ объ увольненіи, кажется, еще не вполнѣ созрѣлъ, но, надо полагать, что Эрнстъ Богдановичъ имѣетъ васъ въ виду на случай, если это мѣсто освободится.

Стрепетовъ ушелъ обнадеженный, но когда, черезъ двѣ недѣли, онъ пришелъ справиться, чиновникъ для справокъ любезно огорошилъ его извѣстіемъ, что вакансія замѣщена. Мѣсто занялъ одинъ молодой человѣкъ, не записанный кандидатомъ.

— Но какъ же это? Къ чему тогда кандидаты?—воскликнулъ Стрепетовъ.

— Особенный случай. Самъ предсѣдатель правленія, его сіятельство, графъ Алексѣй Алексѣевичъ Дурасовъ просилъ опредѣлить этого молодого человѣка!—объяснилъ господинъ Цыгановъ, произнося титулъ, имя, отчество и фамилію господина предсѣдателя правленія съ особеннымъ чувствомъ и съ какимъ-то сладостнымъ замираніемъ въ голосѣ, при чемъ и прилизанное, бѣлобрысое лицо его сіяло почтительнымъ умиленіемъ.—Ну, разумѣется, его и приняли. Развѣ можно было не принять, если самъ графъ рекомендовалъ, посудите сами! Этотъ молодой человѣкъ хорошей фамиліи и такой, знаете ли, comme il faut. Былъ, говорятъ, очень богатъ, служилъ въ гвардіи, но прокутился, вышелъ въ отставку и принужденъ былъ поступить къ намъ на пятьдесятъ рублей. Каково это? Впрочемъ, вѣроятно, ему скоро дадутъ хорошее мѣсто въ провинціи. Онъ, кажется, родственникъ графу.

Стрепетовъ ушелъ, понуривъ голову. Черезъ мѣсяцъ онъ, однако, все-таки зашелъ въ банкъ справиться. Оказалось, что новой вакансіи скоро не предвидѣлось, никого увольнять не собирались. „Напрасно онъ безпокоится. Его тотчасъ же извѣстятъ, если будетъ вакансія. Пусть только онъ соблаговолитъ извѣстить въ случаѣ перемѣны адреса!“—любезно прибавилъ господинъ Цыгановъ.

За эти четыре мѣсяца Стрепетовъ, возвращаясь съ занятій у Чиркова, часто-таки надѣвалъ фракъ и посѣтилъ не мало разныхъ пріемныхъ казенныхъ и частныхъ учрежденій въ поискахъ за работой, предлагая свои услуги съ застѣнчивымъ простодушіемъ еще не совсѣмъ извѣрившагося просителя. Хотя и безъ рекомендательныхъ писемъ, но онъ храбро произносилъ обычную фразу:

— Кандидатъ университета Стрепетовъ. Желалъ бы имѣть занятія.

Но подъ конецъ эта стереотипная фраза начинала его злить; онъ впередъ уже зналъ, что услышитъ въ отвѣтъ такую же стереотипную фразу, произнесенную болѣе или менѣе раздраженнымъ тономъ:

— Мѣста нѣтъ!

Гдѣ только не перебывалъ Стрепетовъ, поставившій себѣ задачу добросовѣстно испытать всѣ мытарства искателя мѣста! Былъ онъ въ двухъ министерствахъ, въ государственномъ банкѣ, въ контролѣ, въ желѣзнодорожныхъ и пароходныхъ правленіяхъ, въ страховыхъ обществахъ, въ частныхъ банкахъ, въ конторахъ нотаріусовъ, и отовсюду уходилъ съ одной и той же фразой, стоявшей въ его ушахъ:

— Мѣста нѣтъ!

Всѣ учрежденія оказывались переполненными. Вездѣ исписывали ворохи бумаги, щелкали на счетахъ, курили, болтали и суетились. Вездѣ, кромѣ штатныхъ, были еще и сверхштатные чиновники и неисчислимое количество записанныхъ и незаписанныхъ въ книги своихъ кандидатовъ, съ болѣе или менѣе блестящими рекомендаціями, ожидающихъ мѣста съ голоднымъ нетерпѣніемъ интеллигентныхъ людей, не приготовленныхъ ни къ какому труду, кромѣ чиновничьяго. Всѣ хотѣли и могли только *служить*, то-есть составлять бумаги или слагать цифры и получать жалованье, чтобы не умереть съ голоду, несмотря на дипломы, полученные послѣ долгихъ лѣтъ ученія.

И Стрепетовъ по временамъ падалъ духомъ и приходилъ въ отчаяніе.

„Вотъ и онъ, кажется, кончилъ университетскій курсъ, знаетъ два языка, молодъ и честенъ, готовъ приложить куда-нибудь свои знанія и силы, но никому они не нужны, и онъ не только не можетъ помочь семьѣ, но лишь благодаря счастливой случайности нашелъ самъ кое-какія временныя занятія“. И молодой человѣкъ, раздумывая о своемъ положеніи, не разъ горько жалѣлъ, что не получилъ болѣе прикладного образованія. По крайней мѣрѣ, кусокъ хлѣба былъ бы обезпеченъ, думалось ему. А теперь? На что, въ самомъ дѣлѣ, онъ годенъ, кромѣ службы?

А мать въ это время надрываетъ свои слабыя силы, бѣгая, на старости лѣтъ, по этимъ проклятымъ урокамъ, и, конечно, не обмолвится о своей тяжелой жизни ни однимъ словомъ, ни однимъ намекомъ. Напротивъ! Въ своихъ безконечно нѣжныхъ, добрыхъ и ободряющихъ письмахъ она неизмѣнно проситъ, убѣждаетъ, требуетъ не думать пока о ней, а терпѣливо, не отчаяваясь отъ первыхъ неудачъ, ждать мѣста,—такого, разумѣется, мѣста, на которомъ бы Павликъ не насиловалъ совѣсти, испытывая мученія душевнаго разлада, и не рисковалъ бы когда-нибудь сдѣлаться такимъ же „несчастнымъ скептикомъ и іезуитомъ“, какъ Чирковъ. „Я не приняла бы такой ужасной жертвы, еслибы ты, ради заботъ обо мнѣ, рѣшился на что-нибудь подобное. Ужаснѣе душевнаго разлада ничего нѣтъ. Отецъ не зналъ его и до конца дней своихъ остался вѣрующимъ въ добро человѣкомъ. Будь же и ты такимъ, мой мальчикъ!“ Мѣсто, разумѣется, будетъ, утѣшала любящая мать. Развѣ возможно, въ самомъ дѣлѣ, чтобы такому „трудолюбивому, честному молодому человѣку“ не нашлось работы? Не даромъ же всѣ жалуются, что людей нѣтъ. Гдѣ же и искать „людей“, какъ не среди свѣжихъ молодыхъ силъ? „Развѣ на всякомъ дѣлѣ не нужны честные и образованные люди?“ писала, между прочимъ, старая идеалистка шестидесятыхъ годовъ, убѣжденная, что безъ такихъ людей обойтись нельзя.

„Нужны ли?“ вырывался безотрадный вопросъ въ минуты унынія.

И Стрепетовъ, успѣвшій за эти четыре мѣсяца петербургской жизни потерять не одну иллюзію довѣрчивой молодости, уже не съ прежними розовыми надеждами взиралъ на будущее. Жизнь не такъ легка, какъ казалось. Неприготовленный къ борьбѣ съ жизнью, оберегаемый матерью отъ раннихъ заботъ, безъ терпѣнія и выдержки, онъ принималъ слишкомъ близко къ сердцу остроту первыхъ разочарованій. То, что онъ увидалъ на первыхъ порахъ практической жизни, невольно усиливало горечь

сомнѣнія и заставляло серьезно задумываться этого наивнаго степняка, выброшеннаго въ водоворотъ жизни съ одними свѣтлыми идеалами добра и горячей вѣрой въ нихъ, но безъ суровой умственной и нравственной закалки. Разладъ между тѣмъ, чему учили его, о чемъ читалъ онъ въ твореніяхъ великихъ людей, и тѣмъ, чему учила его жизнь, производилъ на него ошеломляющее впечатлѣніе. Книги говорили ему о долгѣ, любви къ ближнимъ, самоотверженіи, чести, какъ о лучшихъ качествахъ человѣка, а жизнь, какъ будто, говорила, что этого-то именно и не надо. И онъ невольно вспоминалъ свои первыя встрѣчи, вспоминалъ совѣты житейской морали чиновнаго скептика и всѣ тѣ печальные факты дѣйствительности, которые пришлось теперь видѣть, и о которыхъ такъ часто приходилось слышать, какъ о вещахъ самыхъ обыкновенныхъ и часто даже никого не возмущающихъ. Все это дѣйствовало на впечатлительный темпераментъ Стрепетова; ядъ скептицизма хотя едва замѣтно, но начиналъ свою работу, и напрасно умъ старался разрѣшить тѣ проклятые вопросы этики, всегда волнующіе молодость, которые ставила сама жизнь, полная неразрѣшимыхъ противорѣчій.

Свѣтлая идиллія наивной юношеской вѣры была осквернена.

Глава XIX.

Только-что вернувшійся въ скверный декабрьскій вечеръ съ дальняго урока, прозябшій и усталый, сидѣлъ Стрепетовъ передъ столомъ въ своей крошечной комнаткѣ, теплой, освѣщенной мягкимъ свѣтомъ лампы, прочитывая во второй разъ полученное сейчасъ письмо, полное нѣжныхъ упрековъ глубоко тронутой матери за присылку сорока рублей, которые Стрепетовъ успѣлъ скопить за все это время и, посылая, писалъ, что деньги эти „совершенно лишнія“.

„Не возвращаю назадъ денегъ, чтобы не обидѣть тебя, моего ненагляднаго, добраго голубчика, но если вздумаешь опять послать, пока не устроишься прочно, разсержусь и возвращу... Не отнимай же отъ своихъ крохъ, родной мой, коли любишь свою мамуню... Мы не терпимъ нужды... Уроковъ, слава Богу, довольно, и я чувствую себя отлично“.

Но Стрепетовъ, хорошо знавшій самоотверженную натуру матери, не очень-то довѣрялъ этимъ успокоительнымъ строкамъ, точно такъ, какъ и чуткое сердце матери угадывало въ письмахъ сына,—письмахъ, полныхъ доброй увѣренности въ буду-

щее,—скрываемую нотку уныния. И мать, и сынъ, деликатно скрывали другъ отъ друга все то, что могло огорчить каждаго, предпочитая втайнѣ мучиться одинъ за другого.

„Уроковъ довольно!"—подумалъ Стрепетовъ.—Но это еще хуже, если мать не успокаиваетъ его. Каково съ ея слабымъ здоровьемъ бѣгать по урокамъ въ эти холодные дни!.. И онъ не можетъ ничѣмъ помочь!

— Когда жъ это все кончится?—воскликнулъ нашъ молодой человѣкъ, полный злости и отчаянія.

Онъ задумался надъ своимъ положеніемъ. Положеніе было, въ самомъ дѣлѣ, не изъ блестящихъ, особенно въ виду заботы о матери. На дняхъ, какъ разъ къ пятнадцатому числу, онъ окончитъ работу у Чиркова. Археологическія описанія переписаны, рисунки сняты, оставалось закончить каталогъ библіотеки. Больше дѣлать рѣшительно нечего. Хотя Чирковъ нѣсколько разъ и удивлялся, что Стрепетовъ торопится съ работой, „словно на пожаръ", и на дняхъ еще выразилъ почему-то желаніе имѣть нѣсколько хорошо переписанныхъ экземпляровъ каталога, но, очевидно, Чирковъ хочетъ протянуть работу, чтобы только чѣмъ-нибудь его занять и платить ему деньги. Онъ на это не согласится. Не станетъ же онъ, въ самомъ дѣлѣ, эксплуатировать деликатность этого несимпатичнаго генерала. И безъ того онъ временами подозрѣвалъ, что вся эта археологическая переписка была выдумана спеціально для него. Такое участіе со стороны Чиркова и трогало, и въ то же время оскорбляло самолюбіе. Рѣшительно онъ откажется отъ переписки каталоговъ. Будетъ съ Чиркова и одного экземпляра!

Съ пятнадцатаго числа, значитъ, останется лишь одинъ урокъ у адвоката, то-есть тридцать рублей въ мѣсяцъ. Изъ этого ничего не отложишь! Едва проживешь самъ, и то сокративъ коекакія статьи мѣсячнаго бюджета, доходящаго теперь до сорока рублей.

И, составивъ точную роспись ежемѣсячныхъ расходовъ, нашъ молодой человѣкъ тотчасъ же занялся сокращеніемъ своего бюджета, съ такимъ же озабоченнымъ и серьезнымъ видомъ, съ какимъ бы сталъ это дѣлать самъ господинъ министръ финансовъ, желающій достичь равновѣсія между приходомъ и расходомъ. Статьи: „покупка книгъ... 3 р." и „театръ и симфоническіе концерты... 3 р." были храбро вычеркнуты, въ ожиданіи лучшихъ временъ; другія статьи сокращены. Такъ, въ рубрикѣ: „чай и сахаръ"—цифра 3 передѣлана на 2, а въ рубрикѣ „мелочные расходы"—расходъ въ два рубля сокращенъ до одного. Остава-

лось сдѣлать сокращеній еще до двухъ рублей; выборъ предстоялъ между „табакомъ“ и „библіотекой“—другихъ статей рѣшительно нельзя было тронуть,—и Стрепетовъ рѣшилъ сократить первую статью, оставивъ въ неприкосновенности расходъ въ $1^1/_2$ рубля на духовную пищу. Такимъ образомъ, въ нѣсколько минутъ желаемое равновѣсіе было достигнуто, при чемъ ежедневный обѣдъ у нѣмцевъ, обѣдъ изъ двухъ блюдъ, былъ сохраненъ, равно какъ и довольно значительный расходъ на хлѣбъ, какъ на пищевое дополненіе, весьма не лишнее для молодого желудка, для котораго одинъ лишь обѣдъ не представлялъ достаточной гарантіи противъ ощущеній голода по утрамъ и вечерамъ.

Покончивъ съ бюджетомъ („непремѣнно пошлю его домой, чтобы мама убѣдилась, что я не питаюсь одной колбасой; пусть не отказывается отъ денегъ“), молодой человѣкъ, видимо довольный легкостью, съ какою онъ справился съ сокращеніемъ бюджета, поднялся съ мѣста и заходилъ по своей маленькой комнаткѣ.

Голова была полна одной и той же мыслью:

„Занятія необходимы. Гдѣ бы ихъ найти, въ ожиданіи мѣста? Куда еще отправиться на поиски?“

Онъ вспомнилъ, что давно не справлялся: вернулась ли изъ-за границы „эта баба“, какъ неделикатно племянникъ мысленно окрестилъ свою двоюродную тетушку. Вѣрно, она, наконецъ, пріѣхала!

Онъ рѣшилъ, что надо исполнить совѣтъ матери и сходить къ Варницкой. По крайней мѣрѣ, совѣсть будетъ спокойна, и онъ увидитъ эту „знаменитость“, о которой столько говорилъ Чирковъ. Но, разумѣется, онъ не послѣдуетъ „гнуснымъ“ совѣтамъ Чиркова (и, вспомнивъ эти циническіе совѣты, цѣломудренный молодой человѣкъ даже покраснѣлъ отъ негодованія и плюнулъ) и не станетъ ее ни о чемъ просить... Развѣ сама предложитъ похлопотать за него... И то... Впрочемъ, на это нечего разсчитывать... Вѣдь не станетъ же онъ лицемѣрить, какъ предлагалъ Чирковъ.

— И чортъ съ ней!—не безъ энергіи воскликнулъ Стрепетовъ, проникаясь почему-то къ незнакомой тетушкѣ непріязнью еще бóльшей, чѣмъ прежде, послѣ характеристики Чиркова, и чувствуя въ то же время, несмотря на непріязнь, сильное желаніе увидать эту „хорошенькую ретроградку“.

Послѣ четверти часа порывистаго шаганія, напоминавшаго короткіе круги звѣря въ клѣткѣ, и отчаяннаго взбиванія своихъ

кудрей, озабоченное лицо Стрепетова вдругъ просвѣтлѣло, какъ у человѣка, голову котораго осѣнили счастливыя идеи.

Какъ это, въ самомъ дѣлѣ, онъ раньше не догадался? Завтра же онъ во что бы то ни стало отыщетъ Поручнева и попроситъ его достать переводовъ. Онъ знаетъ хорошо два языка и пишетъ, кажется, довольно литературно. Конечно, Поручневъ, узнавши объ его положеніи, не откажется ему помочь, если проба окажется удовлетворительной! Вотъ и заработокъ!

Такъ размышлялъ Стрепетовъ, присаживаясь къ столу, чтобы немедленно осуществить и другую, такую же „счастливую", по его мнѣнію, идею.

И онъ красиво написалъ на четвертушкѣ бумаги крупнѣйшимъ почеркомъ:

КАНДИДАТЪ УНИВЕРСИТЕТА

—и затѣмъ продолжалъ мелкимъ:

Ищетъ уроковъ (знаетъ англ. и фр. языки) и вообще какихъ-нибудь занятій. Вас. Ос., 10 л., 72, кв. 35. П. С.

— Завтра же снесу въ газету; кто-нибудь и клюнетъ!—воскликнулъ Стрепетовъ, любуясь своимъ произведеніемъ и довольный „счастливыми" идеями.

По счастію, безнадежное настроеніе при самыхъ отчаянныхъ обстоятельствахъ не бываетъ хроническимъ даже у самыхъ мрачныхъ людей, а въ двадцать-два года и менѣе „счастливыя" идеи вселяютъ надежды. Неудивительно, что и Стрепетовъ воспрянулъ духомъ. Радужныя мечтанія окрылили его. Снова бодрый и полный надеждъ, думалъ онъ теперь объ урокахъ, о переводахъ, о мѣстѣ. Работы будетъ много, много, но онъ ея не испугается. Зато заработокъ будетъ отличный,—мать, наконецъ, отдохнетъ. И онъ фантазировалъ на эту тэму. „Есть же у другихъ занятія,—отчего жъ и ему ихъ не найти?"—нашептывала ему теперь надежда, свѣжая и юная, какъ и онъ самъ.

Но о чемъ бы въ послѣднее время ни думалъ молодой человѣкъ, мысли его какъ-то невольно переходили въ мечты о Риммѣ Михайловнѣ. Эти мечты, которымъ такъ любятъ отдаваться влюбленные, — овладѣвали всѣмъ его существомъ, волнуя его, какъ волшебныя сказки ребенка. Безнадежность любви только усиливала прелесть и разнообразіе грёзъ и томительную жгучесть неизвѣданныхъ желаній! Кто могъ запретить ему въ мечтахъ дѣлиться съ Риммой Михайловной впечатлѣніями, свершать вдвоемъ, рука объ руку, прогулки, читать вмѣстѣ и, наконецъ, излить передъ ней свое переполненное сердце? Форма этого изліянія представлялась влюбленному фантазеру въ различныхъ варіантахъ,

но, во всякомъ случаѣ, онъ, въ концѣ концовъ, *припадетъ* къ ногамъ своей „мадонны“ и признается, какъ свято онъ ее боготворитъ, и будетъ молить о прощеніи за то, что онъ, недостойный, осмѣлился полюбить подобное неземное созданіе. И она, тронутая его чистой любовью, протянетъ ему, въ знакъ прощенія, свою маленькую, покрытую родинками, ручку, которую онъ покроетъ поцѣлуями и слезами, весь трепещущій отъ такого недосягаемаго блаженства, и снова поклянется въ вѣчной любви, моля лишь о позволеніи быть ея рабомъ и видѣть ее чаще... Она позволитъ ему быть не рабомъ, а ея другомъ...

На этомъ, однакоже, грёзы не останавливались, и молодой человѣкъ нерѣдко ловилъ себя на святотатственныхъ мечтахъ, въ которыхъ онъ покрывалъ поцѣлуями не однѣ только руки своей „мадонны“. Но кто могъ запретить ему всѣ эти безконечныя, полныя чарующей сладости, грёзы, подъ поэтическимъ ореоломъ которыхъ онъ самъ, конечно, не подозрѣвалъ требованій давно пробудившейся страсти молодой натуры,—страсти, не нашедшей исхода.

И когда эти, волнующія кровь, мечты разсѣевались передъ дѣйствительностью, какъ чудные сны въ моментъ пробужденія, молодой человѣкъ испытывалъ своеобразную прелесть гордой тоски безнадежно влюбленнаго, не смѣющаго мечтать—не то что о счастіи взаимности, но даже о дружескомъ расположеніи любимаго существа. И тогда онъ не грезилъ, но думалъ о Риммѣ Михайловнѣ. Онъ вспоминалъ послѣднія встрѣчи, ея слова, интонацію голоса, выраженіе лица, взглядъ, улыбку, жестъ, тщетно стараясь уловить въ нихъ хоть малѣйшіе признаки расположенія, и, какъ всякій впервые влюбленный, — находилъ, разумѣется, лишь полное равнодушіе и даже непріязнь и пренебреженіе.

И эта сдержанность съ нимъ, увеличившаяся, казалось ему, въ послѣднее время, сдержанность, полная серьезной холодности, не допускавшей никакой короткости, и эти рѣдкія, ничего не значащія, фразы, и эти короткіе, почти сухіе отвѣты на вопросы объ ея здоровьѣ, которые онъ предлагалъ, стараясь скрыть невольную дрожь голоса при видѣ истомленнаго, блѣднаго лица своей „мадонны“, и эти минутные выходы изъ своей комнаты въ гостиную, когда Стрепетовъ забѣгалъ, подъ какимъ-нибудь предлогомъ, не въ день журъ-фиксовъ, ободренный приглашеніемъ Вѣры Александровны заходить къ нимъ когда вздумается,—всѣ эти признаки подтверждали, казалось, справедливость его заключеній о томъ, что Римма Михайловна никогда не снизойдетъ даже до обыкновеннаго расположенія къ нему. Она, правда, всегда встрѣ-

чала его любезно, спрашивала иногда, какъ идутъ его дѣла въ Петербургѣ, и не разъ освѣдомлялась о здоровьѣ матери и сестеръ, —но развѣ все это что-нибудь доказываетъ, кромѣ простого участія такого безконечно добраго созданія, какъ Римма Михайловна, къ одинокому бѣднягѣ? „Одно сожалѣніе, вотъ и все!“ —уныло повторялъ Стрепетовъ. Ему бы слѣдовало перестать ходить туда, но, Господи!—развѣ онъ въ силахъ рѣшиться на такой подвигъ? И то онъ ходитъ всего два раза въ недѣлю, хотя его неудержимо тянетъ туда каждый день. Тамъ, чувствуя присутствіе боготворимой дѣвушки, онъ забывалъ и свои невзгоды, ему было какъ-то внутренно-тепло. И развѣ она догадывается объ его любви, которая могла бы возбудить ея негодованіе? Онъ, кажется, достаточно скрываетъ свои чувства!—наивно утѣшалъ себя Стрепетовъ, не догадывавшійся, что и его смущенно-радостный видъ при встрѣчахъ съ дѣвушкой, и восторженные взгляды, которые бросалъ онъ украдкой, и какая-то застѣнчивая робость, не позволявшая ему свободно, какъ раньше, разговаривать съ дѣвушкой, и вѣчные предлоги, которыми наивно объяснялъ онъ свои посѣщенія не въ „журъ-фиксы“,—все это выдавало влюбленнаго, какъ страуса, спрятавшаго голову въ кустъ.

И, наконецъ, вѣдь онъ ходитъ по приглашенію Вѣнецкой!—успокаивалъ себя молодой человѣкъ. Съ ней онъ гораздо чаще бесѣдуетъ, чѣмъ съ суровой дѣвушкой, и вообще чувствуетъ себя съ докторшей куда свободнѣе! Съ ней онъ не стѣсняется болтать, шутить, спорить, тогда какъ съ Риммой Михайловной онъ, къ удивленію, не находитъ словъ и иногда молчитъ, какъ какой-нибудь глупецъ!.. Но зато и Вѣнецкая съ нимъ такая ласковая, милая, привѣтливая, хоть иногда и подсмѣивается, называя его „юношей изъ Аркадіи“. Послѣднее воскресенье она была, эта насмѣшливая докторша, особенно любезна: почти цѣлый вечеръ она проболтала съ нимъ, не обращая вниманія на другихъ обычныхъ гостей: Черника и Петрова, шутила, острила, допрашивала, не влюбился ли онъ въ кого-нибудь въ Петербургѣ, предлагала, смѣясь, быть его „повѣренной по сердечнымъ дѣламъ“ и совсѣмъ сконфузила его, прибавивъ не безъ лукавства, что иногда въ повѣренныхъ влюбляются. А при прощаніи просила непремѣнно зайти къ ней на недѣлѣ и прочитать ей „Моцартъ и Сальери“, и такъ ласково прищурила свои глаза, пожимая руку!

Онъ, конечно, пойдетъ, но не для докторши—она хоть и нравится ему, эта симпатичная докторша, но развѣ можно ее даже сравнивать съ Риммой Михайловной! — а чтобы хоть на

минутку увидѣть Римму. Быть можетъ, она вдругъ выйдетъ послушать чтеніе!

— Пойду завтра же вечеромъ! Завтра... завтра!—восторженно повторялъ онъ, счастливый при мысли, что, быть можетъ, увидитъ Римму Михайловну.

А то вѣдь эти, почти ежедневныя, тайныя встрѣчи—совсѣмъ не то! Онъ видитъ лишь украдкой, подстерегая, какъ воръ, Римму Михайловну въ обычный часъ ея ежедневной прогулки.

Теперь ужъ онъ зналъ, точно зналъ, въ какое время она гуляетъ, и послѣ окончанія занятій у Чиркова, никогда не оставаясь у него завтракать, спѣшилъ съ Васильевскаго Острова въ Кирочную, ухитряясь проходить это разстояніе чуть не въ двадцать минутъ, и сторожилъ на противоположной сторонѣ улицы Римму Михайловну. Онъ весь замиралъ отъ восторга при появленіи маленькой знакомой фигурки въ черномъ и тотчасъ же исчезалъ, чтобы Римма Михайловна его не замѣтила. Подойти къ ней и объяснить какъ-нибудь случайность встрѣчи у него, конечно, не хватало смѣлости, хоть онъ не разъ и покушался на это.

Разумѣется, онъ былъ увѣренъ, что „мадонна" ни разу его не замѣтила, а между тѣмъ „мадонна" видѣла эти внезапныя появленія молодого человѣка и... и сперва пожимала плечами, испытывая смѣшанное чувство досады и пріятнаго недоумѣнія, а потомъ такъ привыкла, выходя изъ воротъ дома, знать, что Стрепетовъ сторожитъ ее, что невольно удивлялась, когда, незамѣтно бросая взглядъ на противоположную сторону, не видала торопливо удалявшейся статной фигуры молодого человѣка. Конечно, она ни разу не обмолвилась, что знаетъ эти ребяческія продѣлки, увѣренная, что „сумасшедшая блажь" скоро кончится.

„Пора, однако, заниматься!"

И, вооружившись карандашомъ и тетрадкой для выписокъ и замѣтокъ, Стрепетовъ съ рѣшительнымъ видомъ раскрылъ „Соціологію" Спенсера, которую онъ уже давно что-то штудировалъ. Но чтеніе не подвигалось; мысль отказывалась сосредоточиваться на холодно-спокойныхъ параграфахъ о формахъ брака у первобытныхъ людей и, то-и-дѣло свершая экскурсіи въ Кирочную, переходила въ чудныя грёзы о Риммѣ. „Навѣрное, въ древнія времена, ее бы причислили къ богинямъ!"—рѣшилъ категорически Стрепетовъ, снова принимаясь за чтеніе. Однако, послѣ четырехъ, пяти прочитанныхъ, но едва-ли хорошо понятыхъ страницъ, книга была отодвинута. Мысль о „богинѣ", которая вселяетъ

любовь во всѣхъ смертныхъ, но сама, разочарованная несчастной любовью, никого не любитъ, возбудила въ молодомъ человѣкѣ приливъ того вдохновенія, нисходящаго, какъ извѣстно, на влюбленныхъ, внезапно чувствующихъ себя поэтами, которое такъ часто смущаетъ несчастныхъ господъ редакторовъ, обязанныхъ прочитывать цѣлые вороха лирическихъ изліяній подобныхъ случайныхъ поэтовъ, обыкновенно сопровождающихъ плоды своего вдохновенія, переполненные чувствомъ, но часто грѣшащіе размѣромъ, почтительно-робкими письмами съ неизмѣнными просьбами о скорѣйшемъ напечатаніи, „по возможности, въ ближайшемъ нумерѣ".

Впрочемъ, къ чести Стрепетова надо замѣтить, что онъ грѣшилъ стихами втайнѣ, не рискуя посвящать редакторовъ въ свои любовныя дѣла, хотя за послѣдніе два мѣсяца, съ тѣхъ поръ, какъ ощутилъ потребность изливаться въ стихотворной формѣ, и написалъ не мало „Раздумій", „Сомнѣній", „Грёзъ", „Бурь" и посланій: „Къ ней", „Одной изъ немногихъ", „Мадоннѣ"; все это, говоря по совѣсти, было далеко не хуже многихъ печатающихся стихотворныхъ опытовъ. Но онъ не желалъ профанировать своего чувства и, какъ видно, понималъ несовершенство своей поэзіи, бережно сохраняя свои поэтическія восхваленія красоты и нравственныхъ качествъ Риммы Михайловны подъ замкомъ въ ящикѣ письменнаго стола.

Нашъ поэтъ, разумѣется, немедленно воспользовался и теперь поэтической мыслью. Выведя на листѣ бумаги крупными буквами: „Богиня", онъ весь отдался ей. Стихъ лился за стихомъ горячо и стремительно; лишь по. временамъ бывали паузы, когда какая-нибудь риѳма упрямо не ложилась подъ перо.

Уже въ пятидесяти стихахъ „богиня" была разрисована такой необыкновенной чарующей красавицей, какою даже богиня можетъ быть лишь въ черезъ-чуръ пылкой фантазіи двадцати-двухлѣтняго влюбленнаго поэта, — вдобавокъ, одѣтая, какъ небожительница, въ какія-то прозрачныя „эѳирныя" ткани, совсѣмъ неизвѣстныя на землѣ,—какъ въ двери раздался стукъ именно въ тотъ моментъ, когда возбужденный поэтъ, покончивъ съ описаніемъ наружной красоты богини, приступилъ-было къ восхваленію ея нравственныхъ совершенствъ.

„И что̀ нужно этой нѣмкѣ!"—съ неудовольствіемъ подумалъ поэтъ, вполнѣ увѣренный, что стучится хозяйка.

— Войдите!—проговорилъ онъ.

Но, къ изумленію молодого человѣка, вмѣсто добродушнаго

лица Амаліи Карловны, съ сѣдыми букельками, онъ увидалъ совершенно неожиданнаго гостя—доктора Черника.

— Простите, надѣюсь, мой непрошенный визитъ, дорогой Павелъ Сергѣевичъ?—привѣтливо заговорилъ Черникъ, пожимая руку Стрепетова́.—А вы, какъ схимникъ, за работой сидите въ своей уютной келійкѣ?—прибавилъ онъ, кидая быстрый взглядъ на столъ, на которомъ лежалъ исписанный листъ стиховъ съ крупнымъ, бросающимся въ глаза, заголовкомъ: „Богиня", и на лежавшее тутъ же, рядомъ съ раскрытой „Соціологіей", объявленіе, въ которомъ слово „Кандидатъ" издали поражало своей величиной и каллиграфическимъ изяществомъ.

— Да... такъ... писалъ замѣтки во время чтенія!—смущенно, точно пойманный на мѣстѣ преступленія, проговорилъ молодой человѣкъ, торопливо переворачивая свою „Богиню" и еще болѣе смущаясь.—Вотъ сюда на кресло, Андрей Ивановичъ. Вамъ будетъ удобнѣе,—радушно предлагалъ хозяинъ.

„Эге! И ты, братъ, въ остромъ стихотворномъ періодѣ! Приливъ крови къ большому мозгу!"—усмѣхнулся про себя Черникъ и, какъ будто не замѣчая смущенія Стрепетова, проговорилъ, присаживаясь на дальній стулъ:

— Мнѣ и на стулѣ удобно. Отлично, право. Пожалуйста, не безпокойтесь, Павелъ Сергѣевичъ. Это вы хорошо дѣлаете, что замѣточки составляете при чтеніи. Я тоже такъ читаю. Да-съ. Чтеніе какъ-то лучше усвоивается. А я вѣдь къ вамъ въ качествѣ вѣстника прибылъ! — весело прибавилъ докторъ, ласково посматривая своими маленькими глазками на Стрепетова.

— Отъ кого?—воскликнулъ изумленно молодой человѣкъ.

— Отъ Риммы Михайловны.

При этомъ имени Стрепетовъ вспыхнулъ.

— Отъ Риммы Михайловны? — переспросилъ онъ, стараясь подавить свое волненіе.—Вотъ удивили, Андрей Ивановичъ! Какое же это порученіе?—проговорилъ молодой человѣкъ съ напускнымъ равнодушіемъ и нарочно растягивая слова.

„И задерживающіе центры плохо работаютъ. Совсѣмъ влопался этотъ аркадскій пастушокъ. Экой счастливецъ! Такъ и пышетъ весь жизнью и молодостью!" — подумалъ докторъ, не безъ зависти взглядывая на свѣжія, румяныя щеки „аркадскаго пастушка", и сказалъ:

— Римма Михайловна поручила передать, что вамъ предлагаютъ урокъ. Она только-что узнала объ этомъ и хотѣла немедленно написать вамъ, а я былъ въ это время у нихъ и взялся лично извѣстить васъ. Мнѣ надо было сюда, на Островъ, къ боль-

ному; думаю: все же скорѣе сообщу пріятную вѣсть и кстати навѣщу васъ. Вотъ вамъ и адресъ. Наша аккуратнѣйшая Римма Михайловна все тутъ прописала.

Съ этими словами Черникъ передалъ Стрепетову листокъ бумаги съ адресомъ.

Молодой человѣкъ сталъ-было благодарить Черника, но тотъ добродушно остановилъ его:

— Меня-то за что? Вы барышню благодарите. Это вѣдь она хлопотала, и какъ еще хлопотала! Всѣхъ знакомыхъ своихъ на ноги поставила наша молчальница Римма Михайловна. И меня въ томъ числѣ, но, къ сожалѣнію, никому изъ моихъ паціентовъ учителя не требуется.

— Я ужъ и не знаю, какъ благодарить Римму Михайловну! —порывисто воскликнулъ взволнованный молодой человѣкъ.—Она такъ безконечно добра... такъ добра!

Профессоръ слушалъ Стрепетова, и добрая, веселая улыбка играла въ его маленькихъ насмѣшливыхъ глазахъ. Этотъ „аркадскій пастушокъ“ положительно ему нравился, несмотря на то, что Вѣра Александровна звала его читать „Моцартъ и Сальери“!

„Какъ еще трогаетъ его всякое одолженіе! Экая Аркадія!“

— Вы только, милый человѣкъ, послушайтесь моего совѣта: не очень-то благодарите Римму Михайловну!—замѣтилъ, усмѣхнувшись, Черникъ.

— Почему?

— Наша барышня этого не одобритъ, и вы ее совсѣмъ сконфузите. Развѣ вы не замѣтили, батюшка, что скромность—одна изъ многочисленныхъ ея добродѣтелей?.. Да вотъ еще что: не выдайте меня, Павелъ Сергѣевичъ, не проговоритесь, что слышали объ ея хлопотахъ, а то и мнѣ достанется!—шутя прибавилъ Черникъ.

— Это положительно какая-то святая дѣвушка!—съ горячностью разразился Стрепетовъ, чувствуя неодолимую потребность изліянія.

— Экой вы скорый какой, Павелъ Сергѣевичъ! Точно папа римскій, производите въ святые!—разсмѣялся докторъ.—Впрочемъ, спорить не стану, хотя и не признаю святыхъ въ сей грѣшной юдоли. А что она человѣкъ хорошій—это не подлежитъ спору. Къ тому же и собой недурна, не правда ли, милый человѣкъ? —неожиданно прибавилъ Черникъ, взглядывая на Стрепетова съ самымъ невиннымъ видомъ.

На этотъ разъ Стрепетовъ покраснѣлъ не столько отъ сму-

щенія, сколько отъ обиды за несправедливую, по его мнѣнію, оцѣнку красоты своей мадонны.

— Недурна?—повторилъ онъ вызывающимъ тономъ.—А по моему мнѣнію, Римма Михайловна красавица! Она представляетъ собою типъ высшей красоты. Въ лицѣ ея есть что-то особенное, одухотворенное. Ея глаза...

И вдругъ, спохватившись, какъ бы Черникъ не догадался объ его тайнѣ, молодой человѣкъ пустился на хитрости, прибавивъ уже безъ прежняго задора:

— А впрочемъ, о красотѣ вѣдь не спорятъ. У каждаго свои понятія на этотъ счетъ. Къ тому же я высказалъ свое мнѣніе совершенно объективно. Мнѣ собственно никакого нѣтъ дѣла до красоты Риммы Михайловны.

— Ну, разумѣется, объективно,—самымъ серьезнымъ тономъ замѣтилъ Черникъ, съ едва замѣтной лукавой усмѣшкой.—А Вѣра Александровна какъ по вашему, съ объективной точки зрѣнія, хороша собой или нѣтъ?

— Вѣра Александровна недурна, но мнѣ она не нравится. Въ ея лицѣ нѣтъ... нѣтъ...

— Чего нѣтъ?

— Той красивой строгости, того вдумчиваго выраженія, которое есть у Риммы Михайловны. И черты лица не такія изящныя, и глаза... не тѣ, ну, однимъ словомъ, какъ бы выразиться, это совсѣмъ другая красота... Болѣе... земная!

— А мнѣ она, напротивъ, болѣе нравится, съ объективной, конечно, точки зрѣнія. Видите ли, какой я вандалъ, Павелъ Сергѣевичъ!—расхохотался докторъ.

Онъ закурилъ сигару и спросилъ:

— Ну, а ваши дѣлишки какъ идутъ? Мѣсто все еще въ туманѣ? Петербургъ, чай, не оправдалъ вашихъ розовыхъ надеждъ?

О, ужъ онъ теперь не такой „пижонъ", какимъ пріѣхалъ. Онъ видитъ, какъ трудно добиться мѣста и занятій. И людей научился понимать. Но онъ все-таки не теряетъ надежды устроиться и жить себѣ потихоньку, не рискуя сдѣлаться такимъ, какъ, напримѣръ, Чирковъ, или подобные ему. А ихъ здѣсь много.

— И похуже не мало!—вставилъ докторъ.

— Теперь вотъ ужъ у меня съ новымъ урокомъ два будетъ, —весело продолжалъ молодой человѣкъ,—а завтра я еще схожу къ одному литератору, попрошу переводной работы да объявленіе снесу въ газету.

— Вотъ этого „кандидата"?—улыбнулся Черникъ, махнувъ головой на объявленіе.

— Да, а что?

— Ничего, ничего, несите. Я и самъ, во времена голоднаго студенчества, печатался: „за столъ и квартиру". Иногда и выгорало. Только знаете ли что?—не слишкомъ вѣрьте ни въ переводы, ни въ объявленія. Я, милый человѣкъ, все это прошелъ... А тогда, замѣтьте, не было столько голодныхъ интеллигентныхъ ртовъ, да и времена были другія... менѣе суровыя, чѣмъ теперь, и то, я вамъ скажу, трудно было пробиваться. Да вы къ чему это хотите набирать столько работы? Копить деньги, что-ли, собираетесь?—пошутилъ докторъ.

— Да я развѣ для себя?—воскликнулъ обиженно Стрепетовъ.—Мнѣ самому и тридцати рублей довольно. Вѣдь я не одинъ!

И молодой человѣкъ разсказалъ профессору, какая у него чудная мать и какъ ей трудно бѣгать по урокамъ... Надо, наконецъ, ей хоть на старости лѣтъ успокоиться.

— Кто же долженъ позаботиться о ней и о сестрахъ, какъ не я!—прибавилъ онъ въ заключеніе.—Да я бы забралъ работы хоть на четырнадцать часовъ въ сутки! Только бы дали работу!

Черникъ слушалъ эти наивно-восторженныя хвалы матери, эти сыновнія заботы, ради которыхъ молодой человѣкъ готовъ отказываться отъ радостей жизни, столь привлекательныхъ въ его годы, оглядѣлъ его скромную келійку и почувствовалъ еще большую симпатію къ этому „аркадскому пастушку", не потерявшему еще свѣжести сердца и способности жить для другихъ.

— Ну, однако, пора домой и мнѣ за работу, да и вамъ продолжать чтеніе и... замѣточки,—проговорилъ съ улыбкой Черникъ. — Очень радъ, что побывалъ въ вашей уютной келійкѣ, дорогой Павелъ Сергѣевичъ: отъ васъ, знаете ли, свѣжестью вѣетъ... право... Ныньче и юноши уже тронуты, а нашъ братъ, старики, и совсѣмъ порченые. Загляните когда-нибудь и ко мнѣ... послѣ десяти часовъ вечера почти всегда дома. Побесѣдуемъ.

Онъ крѣпко пожалъ ему руку и у самыхъ дверей сказалъ, нѣсколько смущенный:

— Да вотъ еще что. Не обидьтесь: я по-пріятельски... я самъ, батюшка, содержалъ свою старуху мать... Не нужно ли вамъ сейчасъ капиталовъ?.. У меня есть,—я вѣдь паціентовъ граблю; разбогатѣете—отдадите.

Стрепетовъ на-отрѣзъ отказался. Ему не нужно.—Ни мать, ни онъ, не любятъ дѣлать долговъ, не имѣя возможности заплатить ихъ!—гордо прибавилъ онъ.

— Ну, какъ знаете, но помните, что я всегда къ вашимъ услугамъ!

Стрепетовъ горячо благодарилъ.

„Видно, маменькинъ сынокъ, а все-таки недурной парень!"—промолвилъ Черникъ, спускаясь по лѣстницѣ.

„Только навѣрное онъ скоро испакостится въ этомъ омутѣ, въ погонѣ за рублемъ!"—скептически подумалъ докторъ уже въ саняхъ и совершенно неожиданно сказалъ про себя:

— И дура же будетъ „богиня", если не женитъ этого здороваго молодца на себѣ!

А Стрепетовъ, оставшись одинъ, благоговѣйно развернулъ листокъ, на которомъ, кромѣ адреса, сообщалось, въ какіе часы идти для переговоровъ, какіе предметы нужно преподавать, прочелъ и прильнулъ губами къ этимъ заботливымъ строкамъ, писаннымъ рукою Риммы Михайловны.

Взволнованный и счастливый, тронутый этой заботливостью о немъ, онъ присѣлъ къ столу и сталъ продолжать свою „Богиню", весь переполненный нахлынувшимъ чувствомъ благодарности.

Глава XX.

I.

Когда на слѣдующее утро Стрепетовъ пришелъ на занятія къ Чиркову, его превосходительства уже не было дома.

— Николай Петровичъ только-что уѣхалъ. Курьеръ пріѣзжалъ, начальникъ потребовалъ!—сообщила съ видомъ озабоченности на лицѣ щеголеватая и свѣжая, по обыкновенію, Аксюша, впуская Стрепетова.

— Такъ я уйду.

— Нѣтъ, нѣтъ, не уходите. Николай Петровичъ безпремѣнно просили, чтобы вы занимались въ кабинетѣ безъ нихъ.

Молодой человѣкъ прошелъ въ кабинетъ доканчивать составленіе каталога; оставалось переписать книги на верхнихъ полкахъ. Стоя на маленькой лѣсенкѣ, онъ тщательно списывалъ названія книгъ. Книги, большею частью, были иностранныя: по этнографіи, антропологіи, археологіи и исторіи искусствъ, съ замѣчательными рисунками, въ дорогихъ, роскошныхъ переплетахъ. Видно было, что хозяинъ не жалѣлъ денегъ на свою библіотеку.

— Павелъ Сергѣевичъ!—окликнула снизу вошедшая Аксюша.

— Что?—отозвался Стрепетовъ, не отрываясь отъ работы.

— А вѣдь похоже на то, что Николая Петровича не спроста потребовали.

— Почему вы думаете?—спросилъ Стрепетовъ, заинтересованный этимъ вступленіемъ.

— Да по всему замѣтно. Въ послѣднее время онъ все не въ расположеніи и сегодня уѣхалъ довольно-таки разстроенный, не допивши „кофію". Курьеръ, что за бариномъ пріѣзжалъ, „предвусмысленно" намекнулъ, будто слышно, что Николай Петровичъ съ своего мѣста уходитъ. „Начальникъ, говоритъ, недоволенъ, что вашъ генералъ очень даже слабы и снисходительны, а по нынѣшнимъ временамъ этого, говоритъ, никакъ допустить невозможно!.." Баринъ ничего объ этомъ вамъ не говорилъ? Будьте добреньки, скажите!—прибавила Аксюша, видимо мучимая любопытствомъ.

— Ничего положительнаго.

Аксюша постояла съ минуту и ушла.

„И она безпокоится. Тоже заинтересована!"—подумалъ Стрепетовъ.

Черезъ нѣсколько времени Аксюша пришла сметать пыль и снова заговорила:

— Придется тогда и мнѣ отсюда уходить.

— Зачѣмъ же вамъ уходить?

— Баринъ навѣрно уѣдетъ.

— Куда?

— А за границу. Всѣ генералы, которые поважнѣе, ежели оставляютъ по непріятностямъ мѣста, всегда, говорятъ, ѣдутъ за границу. Ужъ такая мода-съ!—не безъ апломба прибавила горничная.

— Что-жъ, вы тогда другое мѣсто найдете.

— Покорно благодарю-съ. Я больше на мѣсто не пойду!—съ достоинствомъ возразила Аксюша.—Довольно въ людяхъ путаться. Я либо бѣлошвейную заведу, либо меблированную квартиру сниму и буду пускать жильцовъ. По крайности, сама себѣ госпожа!

Стрепетовъ, молча, продолжалъ работу. Аксюша принялась сметать пыль пуховкой. Нѣсколько минутъ длилось молчаніе.

— А, признаться, я и рада буду уйти и развязаться съ Николаемъ Петровичемъ!—снова начала она.—Надоѣло! Другія изъ нашей сестры завидуютъ, говорятъ: „экономка",—катаешься, какъ сыръ въ маслѣ, работы немного, руки бѣлыя, чего лучше?—а того не знаютъ, что я точно заключенная въ темницѣ. Сиди дома, какъ кикимора какая.

— Да развѣ вы не ходите со двора?

— Пойдешь у него! Чтобы ни гостей, ни со двора! Онъ

вѣдь у насъ какъ паша турецкій!—засмѣялась Аксюша.—Въ баню, и то подъ конвоемъ будто... Съ кухаркой иди...

— Зачѣмъ же вы здѣсь живете?

— Зачѣмъ живу? А изъ интереса живу. Онъ хоть и не очень-то щедръ, а все-таки жалованье платитъ довольно даже хорошее, ну, и подарки даритъ, и пища отличная, и къ черной работѣ не допускаетъ. Убери комнаты да подай на столъ—вотъ и все...

И не безъ ядовитости прибавила:

— У Николая Петровича ужъ такое положенье: чтобы горничная была обязательно молодая и „бельфамистая“, всегда хорошо одѣта, и чтобы себя соблюдала въ полной чистотѣ! Онъ на этотъ счетъ строгъ! Такъ и при наймѣ выговариваетъ. Боже сохрани, если неопрятна, или руки не совсѣмъ чистыя, или ежели замѣтитъ гостей—сейчасъ прогонитъ!

— Прогонитъ?—удивился Стрепетовъ.

— Очень просто! Безъ всякаго разговора!.. Точно нашей сестры мало... Я вотъ еще третій годъ живу, а то до меня у него горничная тоже въ родѣ будто экономки всего годъ прожила, а была какая видная дѣвушка! Да развѣ онъ дорожитъ нашей сестрой? Ждите! Другой мужчина хоть привыкаетъ по крайности къ человѣку, а этому только бы подешевле, а что Марья или Дарья—ему все равно, точно псу, прости Господи! Лишь бы смазливая да чистая была. Не бойсь, не того бы ему стоила другая, настоящая!—неожиданно прибавила, съ закипавшею злостью, Аксюша.

Не безъ изумленія и брезгливости слушалъ Стрепетовъ эти неожиданныя признанія и невольно припомнилъ разсказы Галанина объ „экономическихъ“ авантюрахъ господина Чиркова, оканчивающихся нерѣдко воспитательнымъ домомъ.

Между тѣмъ Аксюша, въ порывѣ откровенности, повидимому, рада была воспользоваться отсутствіемъ своего „паши турецкаго“, чтобы излить передъ постороннимъ человѣкомъ свою давно сдерживаемую злобу фаворитки, считающей себя недостаточно вознагражденной за службу. Ей вѣдь не съ кѣмъ поговорить по душѣ! Съ кухаркой она, какъ водится, на ножахъ. Та не можетъ простить ей привилегированнаго ея положенія, а съ мужикомъ-кучеромъ развѣ она станетъ разговаривать!..

Раздавшійся глухой электрическій звонокъ помѣшалъ, къ удовольствію Стрепетова, ея дальнѣйшимъ игриво-откровеннымъ жалобамъ.

— Баринъ!—съ досадой воскликнула Аксюша.

И торопливо вышла, оправляя на ходу свой безукоризненно бѣлый чепчикъ, придававшій пикантность ея свѣжему, хорошенькому лицу, и повиливая турнюромъ ловко сидящаго на ней шерстяного платья, прикрытаго спереди яркимъ, подхваченнымъ съ краевъ, передникомъ.

Черезъ минуту, другую—въ сосѣдней комнатѣ послышались неспѣшные, мягкіе шаги, и въ кабинетъ вошелъ его превосходительство, внося съ собой тонкую ароматическую струйку духовъ.

Чирковъ глядѣлъ совсѣмъ молодцомъ въ своемъ новомъ мундирномъ фракѣ съ двумя звѣздами на груди и большимъ владимірскимъ крестомъ на шеѣ, подпиравшейся бѣлоснѣжными стоячими воротничками рубашки. Лицо его, тщательно выбритое, свѣжее и выхоленное, хотя и не носило слѣдовъ тревоги, но казалось нѣсколько возбужденнымъ; въ выраженіи его не было обычнаго безстрастнаго, увѣреннаго спокойствія; маленькіе каріе глаза блестѣли рѣзче, и саркастическая усмѣшка кривила тонкія безусыя губы его превосходительства.

Чуть-чуть переваливаясь своимъ плотнымъ корпусомъ съ небольшимъ брюшкомъ, онъ прошелъ до середины кабинета, пріостановился и, поднявъ кверху коротко остриженную, круглую черноволосую голову, окликнулъ Стрепетова и, привѣтствуя его любезно фамильярнымъ жестомъ руки, проговорилъ:

— По обыкновенію, неутомимы, Павелъ Сергѣевичъ?

И, не дожидаясь отвѣта, продолжалъ:

— И я вотъ, какъ видите, съ утра нарядился и ѣздилъ къ начальству. Пойду снимать свой хомутъ. Больше его ужъ не придется носить. Finita la comedia!—прибавилъ Чирковъ шутливымъ тономъ, проходя въ спальную..

Но голосъ его—показалось Стрепетову—чуть-чуть дрогнулъ.

Несмотря на неоднократныя пессимистическія предупрежденія самого же Чиркова о превратности служебнаго положенія, наивный провинціалъ былъ нѣсколько изумленъ. Изъ словъ Чиркова онъ заключилъ, что тотъ оставилъ службу, и его, главнымъ образомъ, изумила легкость, съ какою, казалось, была вдругъ прекращена блестящая карьера этого важнаго чиновника.

„Въ пятьдесятъ лѣтъ тайный совѣтникъ, видное мѣсто, двѣ звѣзды, долгая служба и... вдругъ...“

Стрепетовъ не могъ уяснить себѣ этого вполнѣ, хоть и вспомнилъ слова Чиркова, что его считаютъ „pas trop prononcé“, и пребывалъ въ нѣкоторомъ недоумѣніи, не разрѣшивши и другого логическаго вопроса: что̀ же тогда значитъ быть „trop prononcé“?

Черезъ четверть часа его превосходительство вернулся въ

кабинетъ, одѣтый въ свой кургузый вестонъ, и присѣлъ къ письменному столу.

Стрепетовъ по временамъ отрывался отъ работы, взглядывая на уволеннаго генерала съ любопытствомъ юнаго наблюдателя, впервые увидавшаго крайне интересное явленіе, и разсчитывая на лицѣ Чиркова прочесть—насколько его превосходительство огорченъ и взволнованъ. Но, къ удивленію своему, молодой человѣкъ не замѣтилъ ничего особеннаго. Повидимому, его превосходительство, подготовленный раньше, пережилъ первыя острыя минуты и теперь съ обычнымъ спокойствіемъ просматривалъ кипу газетъ, а потомъ принялся за бумаги. За ними онъ просидѣлъ болѣе часу и въ это утро не садился, противъ обыкновенія, за фортепьяно, чтобы сыграть двѣ, три сонаты Бетховена.

Стрепетовъ рѣшилъ, что Чирковъ, вѣрно, не уволенъ въ отставку, а получилъ „курульное" кресло и семь тысячъ. Отъ этого онъ такъ и спокоенъ.

На большихъ часахъ въ столовой пробило двѣнадцать. Нашъ молодой человѣкъ спустился съ лѣстницы и подошелъ къ Чиркову откланяться.

— Подождите-ка, Павелъ Сергѣевичъ!—любезно остановилъ его Чирковъ.—Или торопитесь?

— Нѣтъ, у меня сегодня время есть! — промолвилъ Стрепетовъ.

— Очень радъ. А то вы всегда убѣгаете и такъ торопитесь, точно боитесь опоздать на свиданіе!—пошутилъ Чирковъ.

— Я хожу на урокъ!—солгалъ Стрепетовъ и покраснѣлъ.

— А, мнѣ помнится, вы говорили, что у васъ урокъ по вечерамъ. Это, вѣрно, другой урокъ?

— Другой.

— Сегодня, значитъ, урока нѣтъ?

— Нѣтъ.

— И отлично. Присаживайтесь-ка да побесѣдуемъ, милый Павелъ Сергѣевичъ! Папиросы возлѣ васъ. Скоро вѣдь ужъ не придется мнѣ съ вами бесѣдовать!—прибавилъ Чирковъ, взглядывая на молодого человѣка съ какою-то особенной ласковостью. —Я уѣзжаю.

— За границу?—спросилъ Стрепетовъ, невольно вспомнивъ слова Аксюши.

— А то куда же? Милое отечество и безъ того надоѣло; радъ буду отдохнуть и отъ него, и отъ службы.

„Ишь какъ онъ отзывается о „миломъ отечествѣ!"—подумалъ Стрепетовъ.

А его превосходительство, между тѣмъ, продолжалъ:

— Сперва поѣду въ Италію, проведу въ Неаполѣ или въ Сорренто зиму, отдохну отъ трудовъ своихъ, не всегда праведныхъ,—вставилъ съ усмѣшкой Чирковъ,—а затѣмъ къ веснѣ въ Парижъ... устрою тамъ себѣ скромный pied-à-terre и... и погружусь въ свои археологическія работы. На четыре тысячи пенсіи, которыя мнѣ обѣщаютъ дать, не въ примѣръ прочимъ, за мое долголѣтнее умѣнье исполнять всякія глупости, облекая ихъ въ литературную форму, прожить въ Парижѣ можно. Конечно, съ двѣнадцати тысячъ перейти на четыре не очень-то пріятно,—вѣрнѣе: совсѣмъ непріятно,—но зато, по крайней мѣрѣ, я теперь не буду исполнять чужихъ фантазій, а только... свои собственныя! И то утѣшительно! — прибавилъ съ иронической улыбкой Чирковъ и сталъ закуривать сигару.

— Вы, значитъ, совсѣмъ оставляете службу, Николай Петровичъ?

— Правильнѣе: она меня оставляетъ. На дняхъ прочитаете въ газетахъ о моемъ увольненіи по болѣзни.

— Вы больны?

— О, святая наивность!—воскликнулъ Чирковъ и разсмѣялся. —Напротивъ, я чувствую себя какъ нельзя лучше, милѣйшій мой Павелъ Сергѣевичъ, но начальство съ такой настойчивостью спросило меня сегодня: не разстроилъ ли я свое здоровье усиленными трудами? что я, само собой разумѣется, долженъ былъ согласиться, и за то получу, не въ примѣръ прочимъ, четыре тысячи пенсіи. Вотъ что̀ называется на нашемъ „арго̀“ быть уволеннымъ по болѣзни. А еслибы я вздумалъ обидѣться и не согласился бы съ діагнозомъ такого опытнаго врача, какъ начальство, то вмѣсто четырехъ получилъ бы, на общихъ основаніяхъ, тысячи полторы и былъ бы все-таки уволенъ по домашнимъ обстоятельствамъ. Насъ вѣдь не увольняютъ безъ какихъ-нибудь „обстоятельствъ“! Апарансы должны же быть соблюдены.

Его превосходительство примолкъ и курилъ душистую сигару. Злая, презрительная улыбка стояла теперь въ его маленькихъ карихъ глазахъ и чуть-чуть подергивала углы рта.

Вѣроятно, Чирковъ вспоминалъ въ эту минуту свой непріятный утренній визитъ къ этому высокому, худому старику, сдержанному и молчаливому, извѣстному по своей репутаціи человѣка твердой воли и непреклоннаго характера. Съ первой же минуты, какъ только Чирковъ, почтительно склонивъ голову, вошелъ въ этотъ внушительный громадный кабинетъ, увидалъ это красивое, необыкновенно серьезное лицо и услыхалъ нѣсколько

нетерпѣливый вопросъ о движеніи одного неважнаго дѣла—онъ понялъ, что его позвали не изъ-за этой пустой справки. Онъ поспѣшилъ дать требуемую справку съ той нѣсколько аффектированной дѣловитостью и съ той ясностью, которыя не даромъ стяжали Чиркову репутацію необыкновенно способнаго и исполнительнаго чиновника, и въ то же время думалъ: сдѣлаютъ ли его сенаторомъ, или не сдѣлаютъ? Онъ зналъ, что старикъ, недавно занявшій свой постъ, любитъ „своихъ людей", и чувствовалъ, что ему не довѣряютъ. Но столь быстрой развязки онъ не ожидалъ.

„Сенаторъ—или отставка?"—проносилось у него въ головѣ, когда старикъ, выслушавъ молча докладъ, чуть-чуть наклонилъ сѣдую голову, какъ бы выражая этимъ свое удовлетвореніе справкой, и, любезно указавъ своей сухой, длинной и костлявой рукой на китайскій ящикъ съ папиросами, нѣсколько мгновеній молчалъ, повертывая въ рукахъ длинный карандашъ, и, казалось, пребывалъ въ нѣкоторой нерѣшительности человѣка, которому предстоитъ не особенно пріятное и щекотливое объясненіе.

— Я хотѣлъ вмѣстѣ съ тѣмъ сообщить вашему превосходительству,— началъ старикъ сухимъ тономъ, по прежнему глядя въ лежавшія передъ нимъ бумаги и медленно переворачивая карандашъ...

„Отставка!"—рѣшилъ въ ту же минуту Чирковъ, и лицо его приняло еще болѣе безстрастное, оффиціальное выраженіе, хотя въ глазахъ его на мгновеніе и сверкнулъ огонекъ, и душа его была полна презрительно-злобнаго чувства противъ этого властнаго старика.

А онъ, между тѣмъ, продолжалъ все тѣмъ же тихимъ, медлительнымъ и сухимъ голосомъ о своемъ намѣреніи значительно расширить функціи департамента, которымъ завѣдывалъ Чирковъ. И, намѣтивъ общія черты, старикъ, совершенно неожиданно для Чиркова, выразилъ предположеніе, что такое увеличеніе дѣлъ, вѣроятно, затруднитъ его, тѣмъ болѣе, что здоровье его превосходительства, какъ кажется, и безъ того разстроено многолѣтними усиленными трудами.

— Не правда ли? Вѣдь вамъ хотѣлось бы отдохнуть и на досугѣ предаться своимъ почтеннымъ научнымъ занятіямъ?—прибавилъ онъ вопросительнымъ, но недопускающимъ отрицанія тономъ, поднимая взглядъ на свѣжее, румяное лицо „больного".

Чирковъ поспѣшилъ сдѣлать „bonne mine au mauvais jeu". Онъ поблагодарилъ за участіе. „Дѣйствительно, здоровье его плохо, и онъ давно собирался отдохнуть, но... но его удерживалъ ма-

теріальный вопросъ... Съ тою пенсіей, какую обыкновенно назначаютъ"...

Значительно повеселѣвшій старикъ, точно съ его плечъ свалилась большая обуза, поспѣшилъ успокоить на этотъ счетъ „почтеннаго Николая Петровича". Его несомнѣнныя заслуги будутъ приняты во вниманіе, и пенсія будетъ назначена не въ примѣръ прочимъ... Онъ можетъ разсчитывать на четыре тысячи...

Послѣ нѣсколькихъ минутъ разговора, въ которомъ, между прочимъ, старикъ любезно освѣдомился о мнѣніи Николая Петровича по поводу одного дѣла, онъ поднялся съ кресла, пожалъ Чиркову руку, и визитъ былъ оконченъ. Чирковъ ушелъ, повидимому, не особенно разстроенный этой неожиданной отставкой, и только въ каретѣ далъ полную волю негодованію и злости и разразился ругательствами.

— Животное! животное!—повторялъ, обыкновенно сдержанный, его превосходительство, прибавляя и другія, еще болѣе энергичныя привѣтствія.

— Помните, мой юный пріятель, какъ въ первое наше свиданіе я васъ предостерегалъ?—заговорилъ его превосходительство послѣ молчанія.

— Помню.

— Помните, какой я вамъ предсказывалъ гороскопъ?

— Помню...

— Ну вотъ... Теперь на моемъ собственномъ примѣрѣ вы можете убѣдиться въ непрочности нашей карьеры и въ преобладающей роли фатума въ жизни нашего брата чиновника. Какъ вы полагаете, почему я вотъ лишился своихъ двѣнадцати тысячъ и оставляю службу по болѣзни, хотя и совершенно здоровъ?

Стрепетовъ именно этого и не понималъ, а потому и отвѣтилъ:

— Не знаю.

— Во-первыхъ, потому что... „земля кругла". Это одинъ изъ очень вѣскихъ аргументовъ на службѣ! — усмѣхнулся Чирковъ.—А во-вторыхъ, потому, что иногда отъ васъ требуютъ не одного только исполненія обязанностей, а, такъ сказать, вывернутой души... Мало, видите ли, добросовѣстно исполнять всякія— Чирковъ запнулся на секунду, словно пріискивая подходящее существительное—всякія фантастическія измышленія, но необходимо еще показывать, что вы ихъ считаете образцомъ мудрости, и что вы имъ сочувствуете...

Его превосходительство брезгливо пожалъ плечами и приумолкъ.

— Замѣтьте еще, мой юный пріятель,—снова началъ Чирковъ,—что подобныя отставки „по болѣзни“ не минуютъ даже и людей, которые... которые слишкомъ философски, скажемъ, смотрятъ на жизнь и приспособляются къ ней, не особенно считаясь съ совѣстью, въ пріятной надеждѣ на компенсацію... Какъ видите, даже и такая философская добродѣтель не всегда хорошо вознаграждается! Я, напримѣръ, разсчитывалъ на курульное кресло съ семью тысячами, а вмѣсто того выхожу въ отставку pour les beaux yeux упрямаго старика, для котораго даже и я... я, всегда добросовѣстно исполнявшій все, что̀ прикажутъ, оказался и недостаточно prononcé, и недостаточно убѣжденнымъ... Вотъ вамъ и награда за теорію приспособленія!—прибавилъ Чирковъ, и горькая усмѣшка появилась снова на его лицѣ.

— Не плѣняйтесь же карьерой, мой милый Павелъ Сергѣевичъ. Все это покупается дорогою цѣной... вѣрьте мнѣ!—продолжалъ Чирковъ съ искренней теплотой, ласково взглядывая на молодого человѣка.—Сохраните подольше свою свѣжесть и не сдѣлайтесь фарисеемъ... Вѣдь мы, русскіе люди, всѣ болѣе или менѣе фарисеи, и часто служимъ, не только не вѣря тому дѣлу, которому служимъ, но даже и презирая его... Покойный Сергѣй Александровичъ, отецъ вашъ, былъ не таковъ... Онъ не гнался за карьерой, не шелъ на компромиссы и служилъ, оберегая, по возможности, свою независимость... Онъ не растерялъ въ жизни идеаловъ и не сталъ бы сочинять проектовъ, которымъ не вѣрилъ... Да... Не сталъ бы! Я хорошо его зналъ... Мы съ нимъ когда-то были друзьями, вмѣстѣ читали Штрауса и Фейербаха, увлекались министерствомъ Луи Блана, ненавидѣли Наполеона III и вмѣстѣ работали, горячо работали, у одного изъ видныхъ дѣятелей по освобожденію крестьянъ... Это было хорошее время безвозвратной юности... И я тогда мечталъ и о людскомъ благѣ, и о службѣ родинѣ, и о самоусовершенствованіи, какъ вотъ вы теперь... Сколько, бывало, спорили съ Сергѣемъ Александровичемъ, рѣшая разные философскіе вопросы по Канту... Ради моей любви къ вашему отцу, я и говорю съ вами такъ откровенно, какъ говорилъ бы съ сыномъ.

Стрепетовъ былъ удивленъ задушевнымъ тономъ этой неожиданной исповѣди. Ему даже стало жаль этого „фарисея“ и „циника“. Онъ не понималъ, что въ этихъ искреннихъ признаніяхъ, въ этомъ сознаніи своего двойственнаго положенія, значительную роль играло настроеніе, вызванное неожиданной отставкой. Молодой человѣкъ, какъ видно, еще не зналъ, что отставленные адми-

нистраторы, какъ и кающіяся подъ старость многогрѣшныя „магдалины", склонны, подчасъ, къ меланхолическимъ изліяніямъ.

За завтракомъ его превосходительство хотя и ѣлъ съ обычнымъ аппетитомъ, но желчное расположеніе духа не оставляло его. Мнѣнія Николая Петровича о дѣлахъ и людяхъ были безотрадны и саркастичны. Личная нотка эпикурейца, лишеннаго привычныхъ благъ, слышалась въ его сужденіяхъ, придавая имъ болѣе мрачный колоритъ. Оставивъ службу, его превосходительство словно считалъ себя въ правѣ говорить безъ всякихъ умолчаній, къ которымъ обязывало его прежнее оффиціальное положеніе.

И вчерашній авгуръ теперь разрушалъ тотъ самый храмъ, гдѣ только-что священнодѣйствовалъ.

— Вы думаете,—говорилъ онъ,—что большинство изъ насъ, въ самомъ дѣлѣ, такіе отчаянные ретрограды, какими ихъ считаютъ? Это, мой милый, заблужденіе... Искреннихъ и убѣжденныхъ обскурантовъ въ родѣ моего старика или въ родѣ господина Неустроева, котораго вы имѣли удовольствіе видѣть, мало... Эти хоть искренно убѣждены, что покойный Аракчеевъ—въ своемъ родѣ идеалъ государственнаго мужа, а большинство нашихъ такъ-называемыхъ реакціонеровъ лишь эксплуатируютъ настроеніе изъ личныхъ видовъ и, конечно, усердствуютъ даже болѣе, чѣмъ требуетъ приличіе... Гораздо болѣе... Лишняя ложка масла каши не портитъ, не правда ли?

Его превосходительство усмѣхнулся и продолжалъ:

— Перемѣнись вѣтеръ, и девять-десятыхъ сейчасъ же запоютъ въ другомъ тонѣ... Нѣтъ повадливѣе нашего брата, особенно если ему хорошо платятъ... У англичанина—долгъ, у француза—интересы партіи, а у насъ, у благополучныхъ россіянъ—„двадцатое" число и славянское добродушіе... Изъ-за двадцатаго числа мы что угодно натворимъ и съ одинаковою готовностью пойдемъ и направо, и налѣво, какъ прикажутъ... Нужно—напишемъ проектъ объ упраздненіи суда и просвѣщенія. Нужно—сочинимъ такой либеральный проектъ, что сами потомъ испугаемся!.. Большинство таково... Насъ часто бранятъ, ну, разумѣется, бранятъ, такъ сказать, при закрытыхъ дверяхъ,—вставилъ съ саркастической улыбкой его превосходительство,—но вѣдь не съ неба же мы упали въ наши канцеляріи. Мы изъ того же самаго общества, которое насъ бранитъ, а каково оно само!?.. Стадо!—презрительно протянулъ его превосходительство.—Стадо, безъ выработанныхъ общественныхъ идеаловъ, какъ и подобаетъ стаду! Слѣдовательно, нечего жаловаться, что и мы не герои и любимъ

хорошо пожить... Пилатами у насъ хоть прудъ пруди... Ну, а Периклoвъ и Катоновъ совсѣмъ нѣтъ... Да и откуда имъ взяться? Кто ихъ воспитывалъ!?.. Кому они нужны!? Да-съ, мой милый Павелъ Сергѣевичъ, наше любезное отечество, къ сожалѣнію, довольно безтолковая страна!—зло прибавилъ Чирковъ и прихлебнулъ изъ маленькой чашки кофе.

— Прикажете закладывать карету? — освѣдомилась появившаяся Аксюша.

— Не надо!

Его превосходительство всталъ изъ-за стола. Стрепетовъ, подавленный всѣмъ слышаннымъ, сталъ прощаться.

— А я такъ-таки и не могъ ничего для васъ устроить, Павелъ Сергѣевичъ!—съ чувствомъ проговорилъ Чирковъ.—Не вините меня,—я, право, не виноватъ. Я просилъ за васъ и, какъ видите, безрезультатно... Теперь и подавно моя рекомендація ничего не стоитъ.

— Не безпокойтесь, Николай Петровичъ. Пока у меня есть уроки.

— А какъ дѣла въ земельномъ банкѣ?

— Ваканціи нѣтъ.

— У Варницкой были?

— Нѣтъ еще.

— Она вернулась, я слышалъ, изъ-за границы. Непремѣнно сходите.

— Сегодня собирался.

— Хлопочите черезъ нее. Она легко можетъ устроить васъ въ банкѣ, если вы произведете на нее благопріятное впечатлѣніе. У нея особенныя связи въ финансахъ!—подчеркнулъ Чирковъ, усмѣхаясь.

И послѣ минутнаго размышленія прибавилъ:

— Надѣюсь, вы не откажетесь продолжать и мою работу?

— Черезъ три дня я ее окончу, Николай Петровичъ.

— У меня есть новая работа, и большая... На цѣлый годъ хватитъ...

„Для меня опять выдумываетъ!“ —невольно подумалъ Стрепетовъ и спросилъ:

— Какая работа?

— Надо, видите ли, привести въ порядокъ всѣ мои старыя рукописи. Давно уже я собирался это сдѣлать... Ихъ вѣдь у меня не мало... Все по археологіи... Передъ отъѣздомъ я оставилъ бы ихъ на ваше попеченіе, съ покорнѣйшей просьбой удѣлять часа два, три, что-ли, въ день на переписку ихъ... Ра-

бота, конечно, копотливая и не особенно пріятная, но, надѣюсь, вы не откажете мнѣ въ этой услугѣ?.. Гонораръ, по сорока рублей въ мѣсяцъ, я оставлю вамъ за годъ, чтобы не пересылать маленькими суммами. Вы крайне обяжете, Павелъ Сергѣевичъ, если поможете мнѣ... Крайне обяжете!—прибавилъ Чирковъ.

Щеки молодого человѣка зардѣлись румянцемъ, и онъ отвѣчалъ взволнованнымъ голосомъ:

— Я очень, очень благодаренъ вамъ, Николай Петровичъ, но... позвольте отказаться отъ работы, которую вы такъ деликатно сочиняете для меня!

Чирковъ видимо смутился.

— Съ чего это вы взяли?—воскликнулъ онъ.—Мнѣ, право, нужна эта работа.

— Ваши рукописи такъ хороши, что переписывать ихъ...

— И не думайте отказываться!—перебилъ Чирковъ.—Никакой работы я не выдумываю... Экой вы подозрительный какой!.. Я покажу вамъ рукописи... Сами увидите, каковы!

— Но вѣдь онѣ всѣ напечатаны?

— Напечатаны!.. Ну, такъ что-жъ изъ этого, что напечатаны? — проговорилъ его превосходительство и снова нѣсколько смутился.—Мнѣ необходимо сдѣлать исправленія и дополненія... Понимаете ли, Ѳома невѣрный? Я собираюсь издать книгу... Это вѣдь въ модѣ... По примѣру Гладстона и покойнаго Биконсфильда, ныньче и мы, отставные генералы, пишемъ не только прожекты о преуспѣяніи любезнаго отечества при помощи рѣшительныхъ мѣръ, но и романы, и ученыя изслѣдованія!—прибавилъ съ усмѣшкой Чирковъ...

Но Стрепетовъ снова отказался.

— Ну, на дняхъ еще переговоримъ объ этомъ... Я не теряю надежды убѣдить васъ, маловѣрнаго, а пока до свиданія, мой милый Павелъ Сергѣевичъ!.. Экой вы какой несговорчивый!.. Ну гдѣ вамъ быть хорошимъ чиновникомъ! — съ ласковой шуткой проговорилъ Чирковъ, крѣпко пожимая руку молодого человѣка... Желаю вамъ успѣха у Варницкой... Смотрите, у нея не хорохорьтесь!

— Я и просить ее ни о чемъ самъ не начну!—не безъ задора промолвилъ Стрепетовъ.

— И напрасно. Кого вы хотите удивить своимъ донкихотствомъ? Ой, послушайтесь, Павелъ Сергѣевичъ, мудраго совѣта: воспользуйтесь этой родственницей и постарайтесь выдержать у нея экзаменъ...

— Она развѣ будетъ экзаменовать?

— Она любитъ исповѣдовать юношей... Особенно такихъ молодыхъ и свѣжихъ, какъ вы. Здѣсь вѣдь такихъ мало!— улыбнулся Чирковъ.—И такъ, bonne chance. До завтра!

II.

Его превосходительство, между тѣмъ, присѣлъ къ столу и написалъ черновую прошенія объ отставкѣ. Онъ запечаталъ ее въ пакетъ съ маленькой записочкой къ вице-директору, въ которой извѣщалъ, что сегодня не будетъ въ департаментѣ, и вмѣстѣ съ бумагами отправилъ съ прибывшимъ департаментскимъ курьеромъ.

Затѣмъ Чирковъ занялся соображеніями о скорѣйшей продажѣ лошадей, экипажей и всей обстановки. Онъ продастъ все, кромѣ библіотеки и коллекцій—все это онъ велитъ переслать въ Парижъ, какъ только оснуется тамъ. Тысячъ семь, восемь, вѣроятно, очистится отъ продажи.

Чувство сожалѣнія стараго холостяка-сибарита невольно охватило Чиркова при мысли о томъ, что придется разстаться и съ этой уютной, привычной обстановкой, и съ этимъ своеобразнымъ комфортомъ чиновника, ученаго дилеттанта и музыканта, словомъ, со всѣмъ режимомъ жизни, къ которому онъ такъ привыкъ за послѣднія десять лѣтъ.

„Но какова была эта самая жизнь?“—напрашивался вопросъ.

Чирковъ всталъ и заходилъ по кабинету, погруженный въ рѣшеніе этого вопроса.

„Счастливъ ли онъ былъ, по крайней мѣрѣ?“

Горькая улыбка омрачила лицо Чиркова.

Мысли его невольно обратились къ воспоминаніямъ. Вся прошлая жизнь проносилась передъ нимъ, и только немногіе годы молодости являлись свѣтлымъ пятномъ на фонѣ картины, рисующейся теперь въ его памяти.

„Какое счастье!?“

Онъ даже ни разу не испытывалъ захватывающей привязанности къ женщинѣ и боялся жениться, оберегая свое спокойствіе и независимость; онъ былъ слишкомъ скептикъ, чтобы вѣрить въ долгое супружеское счастье, и слишкомъ разсчетливый эгоистъ, чтобы жениться на дѣвушкѣ безъ большого состоянія. Вмѣсто привязанности—одни лишь чувственныя удовлетворенія, и то не всегда разборчивыя. И вотъ онъ въ пятьдесятъ лѣтъ бобыль-бобылемъ. Ни одного друга, никого близкихъ, хотя и множество знакомыхъ. Одни лишь научныя занятія, книги да музыка скрашивали его

нравственное одиночество, когда онъ возвращался со службы, несимпатичной для него, слишкомъ умнаго для того, чтобы понимать, какую играетъ онъ роль, и слишкомъ большого эпикурейца и жуира для того, чтобы добровольно отказаться отъ хорошаго жалованья, позволяющаго ему вести извѣстный train жизни. Не ради ли этого комфорта, всѣхъ этихъ тонкихъ обѣдовъ и завтраковъ, хорошихъ винъ и сигаръ, лошадей и хорошенькихъ горничныхъ-любовницъ, картинъ и книгъ, жизнь его была полна двойственности? Дома—дилеттантъ и скептическій философъ. На службѣ—слѣпой исполнитель, готовый смѣяться надъ тѣмъ, что̀ творитъ, и въ то же время способный, ради страха лишиться матеріальныхъ благъ, на всякіе компромиссы...

И еслибы онъ былъ еще честолюбивъ! А то—нисколько. Онъ понималъ эфемерность честолюбія на родной почвѣ и даже въ мечтахъ не грезилъ о первыхъ роляхъ, зная безсиліе и шаткость и первыхъ ролей. Къ тому же и темпераментъ его, и привычки сибарита-дилеттанта не поощряли честолюбивыхъ помысловъ, и онъ несравненно болѣе увлекался новой книгой Шлимана, Ленормана, Масперо или Бругша, Бетховенскимъ квартетомъ и Шумановскимъ концертомъ, чѣмъ служебными дѣлами, хотя и велъ ихъ безукоризненно. Недаромъ въ этомъ исполнительномъ, аккуратномъ чиновникѣ сидѣлъ ученый и музыкантъ.

Но какимъ образомъ онъ, мечтавшій когда-то объ ученой карьерѣ, сдѣлался чиновникомъ, умѣвшимъ съ какимъ-то скептически-насмѣшливымъ цинизмомъ уживаться со всякими теченіями и вѣяніями?

Чирковъ, кажется, первый разъ въ жизни поставилъ себѣ столь категорическій вопросъ—и нѣсколько смутился, не потому смутился, чтобы испытывалъ угрызенія совѣсти—о, нѣтъ!—а потому, что не могъ въ точности опредѣлить явленія, т.-е. припомнить: когда именно и какъ онъ изъ яраго молодого либерала обратился въ безупречнаго исполнителя мѣръ, которыя нерѣдко считалъ болѣе чѣмъ неудобными.

„Когда и какъ это случилось?"

Чирковъ припоминалъ и могъ лишь припомнить, что это сдѣлалось какъ-то незамѣтно, само собой, не безъ нѣкоторой, правда, брезгливости, но и безъ серьезной нравственной борьбы.

Онъ всегда жилъ болѣе головой, не поддаваясь чувствамъ. Разсужденія приводили его къ теоріи личнаго благополучія, а такъ какъ это благополучіе возможно было при не особенно большой разборчивости, то Чирковъ не разбиралъ и „приспособлялся",

поощряя наклонности тонкаго эпикурейца, который личныя наслажденія ставитъ выше всего.

Да, онъ рѣшительно не можетъ припомнить, когда все это произошло? Онъ помнитъ только, что онъ брался за дѣла, которымъ не сочувствовалъ, и произносилъ обвинительныя рѣчи, которымъ не вѣрилъ. „Не я, такъ другой сдѣлаетъ то же!“ Онъ помнитъ, что когда онъ перешелъ на другое мѣсто, бывшее ему совсѣмъ не по душѣ, онъ говорилъ съ цинизмомъ: „Зато двѣнадцать тысячъ въ годъ, а послѣ—спокойное курульное кресло“.

Или эта способность „приспособляться“—свойство его характера и культивированныхъ барскихъ привычекъ—была въ немъ давно, и онъ, въ молодые годы, не скрывалъ своихъ мнѣній только потому, что тогда было „такое время“?

И словно въ отвѣтъ на эти вопросы, Чирковъ какъ-то безпомощно и брезгливо пожалъ плечами.

Его превосходительство становился мрачнѣе. Брови его насупились; на лбу появились складки; выраженіе лица было сосредоточенное и злое. Сознаніе, что его вышвырнули какъ ненужную тряпку, и что, благодаря такой, по его мнѣнію, несправедливости, придется измѣнить образъ жизни, злило, раздражало и угнетало Чиркова, настраивая его на грустныя мысли.

Въ самомъ дѣлѣ, не весело. Впереди опять одиночество. Ни близкаго существа подлѣ, ни вѣры ни во что̀, ни идеаловъ... Вотъ итоги пятидесятилѣтней жизни. Одинъ безотрадный безпринципный скептицизмъ русскаго умнаго человѣка, сознающаго грѣхи прошлаго и готоваго въ то же время сейчасъ же ихъ повторить, если дадутъ хорошее жалованье, и даже презрительное равнодушіе къ „милому отечеству“...

Да, онъ оставитъ эту „примитивную страну“ безъ всякаго сожалѣнія. Кого и что̀ ему жалѣть?

„Никого и рѣшительно ничего!“

Съ сестрой и братомъ, единственными родными, онъ давно въ холодныхъ отношеніяхъ. Друзей у него нѣтъ. Не партнеровъ же клубныхъ ему жалѣть и не своихъ сослуживцевъ-подчиненныхъ—всю эту чиновничью братію, раболѣпствующую и представляющуюся усердною, дѣлающую съ показнымъ восторгомъ свою „черную“ работу,—эту братію, большей частью, искательную и интригующую, которую онъ слегка презиралъ и въ то же время хорошо награждалъ, за что и былъ „любимымъ начальникомъ“. Они, конечно, дадутъ прощальный обѣдъ своему „любимому начальнику“. „Вѣчный вице-директоръ“, отупѣвшій отъ

продолжительной службы, скажетъ трогательную рѣчь!..—подумалъ Чирковъ и брезгливо поморщился.

Да, никого не жаль!.. Рѣшительно никого въ этомъ самомъ Петербургѣ, въ которомъ Чирковъ живетъ уже двадцать лѣтъ!.. Развѣ, пожалуй, одного этого пропойцу, бѣднаго Галанина... Кстати, надо его провѣдать... что съ нимъ?—промелькнуло въ головѣ Чиркова вмѣстѣ съ нахлынувшимъ къ сердцу добрымъ чувствомъ къ старому, когда-то близкому, товарищу.

Чирковъ усѣлся въ кресло, и снова воспоминанія и думы охватили его.

Ему сдѣлалось безотрадно и жутко отъ этой душевной пустоты и одиночества, которыя представлялись ему теперь во всей своей безотрадности. И, несмотря на его умъ, на всю его скептическую философію, что-то внутри говорило ему, что вся его жизнь была безцѣльна и нелѣпа, и всѣ его компромиссы глубоко безнравственны и безплодны.

И лицо его все становилось мрачнѣе и мрачнѣе.

К. Станюковичъ.

РЕФОРМА
КЛАССИЧЕСКИХЪ ГИМНАЗІЙ
ВО ФРАНЦІИ.

Окончаніе.

VI *).

Первую попытку устроить во Франціи enseignement spécial, въ противоположность классическому образованію, сдѣлалъ Сальванди еще въ 1847 г., открывъ въ лицеяхъ трехгодичный курсъ наукъ,—такъ-называемый профессіональный или французскій. Попытка эта, однакоже, оказалась неудачною. Поэтому заслугу въ устройствѣ профессіональнаго образованія слѣдуетъ приписать Дюрюи, который въ законѣ 31-го мая 1865 г. и въ циркулярѣ 6-го февраля 1866 г. опредѣлилъ его устройство. Цѣлью при учрежденіи этого образованія было доставить возможность пріобрѣтенія свѣденій, приготовляющихъ къ практическимъ занятіямъ, торговлѣ, промышленности, сельскому хозяйству, и даже къ нѣкоторымъ государственнымъ должностямъ, тѣмъ учащимся, которые или не могли, или не хотѣли проходить столь продолжительнаго курса классическихъ наукъ въ коллегіяхъ. Это было образованіе, предназначенное для самаго значительнаго количества учениковъ, могущихъ обойтись безъ особенно глубокаго знанія классическихъ языковъ, но вмѣсто того нуждающихся въ общемъ образованіи, въ знаніи но-

*) См. выше: февр., стр. 489.

выхъ языковъ и математическо-естественныхъ наукъ. Образованіе это было названо, неизвѣстно почему, спеціальнымъ—spécial.

Первоначально спеціальное образованіе заключалось въ приготовительномъ классѣ и четырехъ другихъ. Сверхъ того циркуляръ 1866 г. дозволялъ открывать еще одинъ, добавочный классъ, для отличныхъ учениковъ, желающихъ приготовиться въ высшія спеціальныя училища. Декретъ 8-го августа 1886 г., изданный по иниціативѣ Гобле́, опредѣлилъ, что курсъ спеціальнаго образованія долженъ быть шестилѣтній, не считая приготовительнаго класса, который былъ закрытъ; министръ народнаго просвѣщенія долженъ установить программу и распредѣленіе наукъ спеціальнаго образованія. Во всякомъ случаѣ этотъ декретъ опредѣлялъ, что ученики, окончившіе четыре класса, могли, не продолжая дальше наукъ, получить соотвѣтственное свидѣтельство, certificat d'études; всѣ ученики обязаны были учиться двумъ новымъ языкамъ: одному такъ-называемому основному, въ продолженіе всего курса наукъ, другому—добавочному, complémentaire—въ продолженіе только послѣднихъ трехъ лѣтъ. Основнымъ языкомъ долженъ быть всегда англійскій или нѣмецкій; къ добавочнымъ же причислены были итальянскій, испанскій и арабскій. Министръ народнаго просвѣщенія долженъ былъ опредѣлить, какой языкъ въ извѣстномъ учебномъ заведеніи считался основнымъ, и какой—добавочнымъ. Во всякомъ случаѣ въ нѣкоторыхъ заведеніяхъ родителямъ былъ предоставленъ выборъ между англійскимъ и нѣмецкимъ языкомъ, какъ основнымъ.

На основаніи этого закона распоряженіе 10-го августа 1886 г. утвердило новое распредѣленіе наукъ спеціальнаго образованія и подробныя программы преподаванія. Здѣсь невозможно разсматривать подробно эти программы [1]), и потому мы будемъ довольствоваться только указаніемъ на слѣдующую таблицу распредѣленія наукъ:

	Франц. яз.	Новые яз.	Исторія.	Географія.	Математика.	Естественная исторія.	Физика.	Химія.	Счетоводство.	Нравоученіе.	Политич. экономія.	Законовѣдѣніе.	Законы торг. и промышл.	Философія.	Вообще.
1-й годъ.	7	5	2	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	20
2-й „	5	5	2	1	4	1	2	—	—	—	—	—	—	—	20
3-й „	4	4	2	1	4	—	2	2	1	—	—	—	—	—	20
4-й „	2	5	1	2	2[2])	2[2])	2	2	1	1	—	2	—	—	20
5-й „	4	5	1	1	6	2[2])	2	2	—	—	2[2])	—	—	—	23
6-й „	2	5	1	1	6	2[2])	2	2	—	—	—	—	2[2])	4	25

[1]) Statistique etc., стр. 366—412.

[2]) Только въ одномъ полугодіи.

Сверхъ того во всѣхъ классахъ должно быть по четыре часа въ недѣлю внѣклассныхъ уроковъ рисованія, и чистописанія по два часа въ первомъ году, и по одному часу во второмъ году. Законъ Божій, къ которому относится декретъ 24-го декабря 1881 г., долженъ преподаваться подлежащимъ духовнымъ лицомъ внѣ классныхъ занятій. Такимъ же образомъ къ гимнастическимъ упражненіямъ относятся общія правила, обязательныя въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Ученики могутъ начинать спеціальное образованіе въ возрастѣ отъ 10 до 11 лѣтъ, вслѣдствіе чего могутъ окончить курсъ въ возрастѣ отъ 16 до 17 лѣтъ. Прежде ученики, окончившіе полный курсъ наукъ, получали только свидѣтельство (brevet), не предоставляющее имъ, впрочемъ, никакихъ правъ. Декретъ 28-го іюля 1882 г., въ виду возвышенія этого образованія въ глазахъ общества, а также предоставленія ученикамъ, окончившимъ курсъ, извѣстныхъ правъ, установилъ baccalauréat de l'enseignement secondaire spécial. На этомъ основаніи ученики, окончившіе полный курсъ этого образованія, могутъ подвергнуться испытанію на степень баккалавра спеціальнаго образованія. Исполненіе этого декрета было осуществлено только декретомъ 28-го декабря 1887 г., указывающимъ подробно предметы, по которымъ испытаніе это должно производиться. Степень эта предоставляетъ право ученикамъ, получившимъ ее, поступать въ политехническую школу и въ военное училище Сенъ-Сиръ на равныхъ правахъ, какъ и ученики, имѣющіе степень баккалавра ès-sciences.

Для спеціальнаго образованія, однакоже, не были устроены особыя учебныя заведенія. Ученики, желающіе пользоваться имъ, поступаютъ, въ качествѣ интерновъ или экстерновъ, въ лицей или въ коллегію, въ которыхъ должны быть для нихъ учреждены курсы наукъ, по программамъ, предписаннымъ для этого образованія. Въ послѣднее время уже только въ пяти лицеяхъ недоставало такихъ курсовъ. Во всякомъ случаѣ, курсы эти были отдѣлены отъ классическаго обученія, такъ что даже отдѣльные профессора назначены были и для классическаго, и для спеціальнаго образованія. Профессора спеціальнаго образованія приготовлялись въ спеціально для нихъ устроенномъ училищѣ Cluny, между тѣмъ какъ профессора классическаго образованія приготовлялись въ Ecole normale supérieure.

Такимъ образомъ, съ самаго почти начала спеціальное образованіе было признано не за низшее, въ сравненіи съ классическимъ, но за параллельное съ нимъ. Несмотря на то, на него

смотрѣли съ извѣстнымъ пренебреженіемъ и даже презрѣніемъ, по поводу укоренившихся въ обществѣ и въ педагогическихъ сферахъ предразсудковъ. Какъ учителямъ, такъ и ученикамъ его давали насмѣшливое прозвище: épiciers. Вообще полагали, что образованіе это не будетъ въ состояніи долго удержаться. Но дѣйствительность обманула такія зловѣщія предсказанія. Спеціальное образованіе обладало такою жизненностью, что не только удержалось, но постоянно развивалось, дѣлаясь опаснымъ соперникомъ исключительно классическаго образованія. Самымъ лучшимъ образомъ можно въ этомъ убѣдиться изъ постояннаго приращенія количества учениковъ, обучающихся въ этомъ направленіи. Такъ, напримѣръ, въ декабрѣ 1865 г. было въ лицеяхъ 5.002 ученика, получающихъ спеціальное образованіе. Въ 1876 г. число ихъ увеличилось до 8.696, а въ 1887 г.—до 11.222, и такимъ образомъ составляло почти 1/4 часть всѣхъ учениковъ этого рода учебныхъ заведеній [1]). Въ 1876 г. среднимъ числомъ на каждый лицей приходилось по 107 учениковъ спеціальнаго образованія, а въ 1887 г.—по 112. Правда, что въ Collèges communaux количество учениковъ спеціальнаго образованія съ 1876 г. уменьшилось. Именно, ихъ было тогда 14.012 на 14.992 учениковъ, получающихъ классическое образованіе; между тѣмъ въ 1887 г.—только 11.665 первыхъ на 17.368 послѣднихъ. Уменьшеніе это, однакожъ, оффиціальные источники признаютъ болѣе мнимымъ, чѣмъ дѣйствительнымъ, plus apparente, que réelle. Оно происходило, во-первыхъ, отъ того, что многія коллегіи, съ сильно развитымъ спеціальнымъ образованіемъ, были въ это время преобразованы въ лицеи, а во-вторыхъ, отъ того, что въ то же время были открыты многія такъ-называемыя высшія элементарныя училища, écoles primaires superieurs. Вслѣдствіе того многіе ученики, которые обучались бы въ коллегіяхъ въ спеціальномъ направленіи, предпочитали поступить въ эти послѣднія училища.

Такимъ образомъ возникло во Франціи, въ среднемъ образованіи, новое направленіе, подрывающее медленно исключительное господство классическаго образованія,—направленіе, успѣвшее въ сравнительно непродолжительный промежутокъ времени собрать, въ самыхъ только казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ, внушающее

[1]) Въ этомъ году на общее количество 53.816 учениковъ въ лицеяхъ было 42.594, получающихъ классическое образованіе. Боассье полагаетъ, что отношеніе это со временемъ должно быть обратное: около 10.000 классическихъ учениковъ было бы достаточно для всѣхъ такъ-называемыхъ либеральныхъ профессій, si pauvres d'avenir; громадное же большинство должно получать спеціальное образованіе.

уваженіе количество учениковъ—22.887. Нельзя сказать, чтобы направленіе это отвѣчало вполнѣ такъ-называемому реальному образованію въ Германіи или въ другихъ странахъ. Реальное образованіе, какъ извѣстно, по общепринятымъ понятіямъ, основывается на новыхъ языкахъ и математическо-естественныхъ наукахъ; между тѣмъ французское „спеціальное образованіе", кромѣ вышеуказанныхъ наукъ, принимаетъ во вниманіе науки, необходимыя для общечеловѣческаго образованія, требуя отъ своихъ учениковъ знаній въ законовѣденіи, этикѣ, политической экономіи и даже философіи.

Но посмотримъ теперь, какъ сами французы оцѣниваютъ это такъ-называемое спеціальное образованіе, названное вполнѣ неправильно, такъ какъ, очевидно, болѣе подходящимъ для него названіемъ было бы—общее образованіе. Въ этомъ отношеніи Лависсъ говоритъ: „Для возрожденія классическихъ наукъ не довольно будетъ пріискать соотвѣтственный имъ методъ обученія—нужно будетъ отказаться отъ ихъ привилегіи исключительности, которою до настоящаго времени науки эти пользовались. Степень баккалавра классическихъ наукъ съ давнихъ временъ стояла на стражѣ у входа ко всѣмъ почти званіямъ. Такимъ образомъ, классическія науки были принудительно навязаны громадному количеству дѣтей, которыя отказались бы отъ нихъ, еслибы только выяснилось, что они не въ состояніи извлечь изъ нихъ никакой пользы. Въ настоящее время степень баккалавра „спеціальнаго образованія" была уравновѣшена въ правахъ со степенью баккалавра классическихъ наукъ, въ томъ отношеніи, что она открыла доступъ къ различнымъ высшимъ учебнымъ заведеніямъ и извѣстнымъ государственнымъ должностямъ. Несмотря на то, нѣкоторое недовѣріе тяготѣетъ еще надъ этою новою системою образованія. Поэтому нужно бороться съ этимъ недовѣріемъ открыто, чистосердечно. Защитники гуманистическихъ наукъ должны бы, болѣе чѣмъ кто-либо, признать, что народное образованіе, имѣющее въ виду приготовить къ различнымъ званіямъ, требуетъ бо̀льшаго разнообразія. Поэтому они должны рѣшиться признать совершенно законнымъ существованіе средняго образованія, безъ языковъ греческаго и латинскаго, —образованія, которое, задерживая менѣе учениковъ въ школѣ и приготовляя ихъ непосредственно къ различнымъ занятіямъ, тѣмъ не менѣе, доставило бы имъ гармоническое развитіе ума, посредствомъ отечественной и иностранныхъ литературъ. „Однимъ словомъ, не должно быть никакой монополіи, но—разнообразіе въ системахъ образованія. Таковы внѣшнія условія возвышенія и клас-

сическаго образованія. Условія эти слѣдуетъ присоединить къ внутреннимъ, которыя можно свести къ одному началу: нужно приготовить умъ учениковъ къ пониманію всего, характеръ же ихъ—къ благородной и полной человѣческаго достоинства дѣятельности". Изъ этого мы видимъ, что Лависсъ, бывшій вообще сторонникомъ классическаго образованія, необходимымъ условіемъ его возрожденія считалъ развитіе такъ-называемаго „спеціальнаго образованія". И это очень понятно, потому что вслѣдствіе этого классическому образованію посвятили бы себя только такіе ученики, которые чувствовали бы къ нему наклонность, или которые требовали бы его для дальнѣйшихъ своихъ занятій. Напротивъ, всѣ тѣ, которые въ настоящее время занимаются имъ по принужденію, образовались бы въ другомъ направленіи. Такого же мнѣнія придерживается и Боассье, не заподозрѣнный также въ своемъ пристрастіи къ классическому образованію

По мнѣнію другихъ писателей, какъ напр. Лероа, условія современной жизни вызвали необходимость новаго устройства учебныхъ заведеній. Образованіе, соотвѣтственное среднимъ вѣкамъ, не удовлетворяетъ больше потребностямъ новаго общества и не отвѣчаетъ промышленнымъ, торговымъ, сельско-хозяйственнымъ интересамъ, отъ которыхъ, однако, зависитъ существованіе и благосостояніе страны. Въ виду того и было учреждено „спеціальное образованіе", которое со временемъ сдѣлается нормальнымъ образованіемъ, дѣйствительно новымъ образованіемъ. Оно доставляетъ, въ противоположность классическому образованію, образованіе широкое и вмѣстѣ съ тѣмъ практическое, согласное съ потребностями новаго общества. Оно не учитъ ничему, въ чемъ ученикъ не нуждался бы впослѣдствіи. А такъ какъ оно, очевидно, стремится къ тому, чтобы сдѣлаться среднимъ образованіемъ громаднаго большинства французской молодежи, то вслѣдствіе того изъ образованія, доселѣ называемаго *спеціальнымъ*, слѣдуетъ сдѣлать образованіе *общее*, или по крайней мѣрѣ взять его въ основу всей системы средняго образованія.

Такимъ же образомъ смотритъ и Фернель на этотъ вопросъ. По его мнѣнію, спеціальное образованіе, какъ отвѣчающее потребностямъ общества, должно быть поставлено наравнѣ съ классическимъ образованіемъ. Оно удовлетворяетъ потребностямъ значительнаго большинства учениковъ, теряющихъ въ настоящее время напрасно время и трудъ на пріобрѣтеніе классическаго образованія, несмотря на то, что они впослѣдствіи должны обратиться къ практическимъ занятіямъ, промышленности, торговлѣ, сельскому хозяйству, и поэтому нуждаются не въ глубо-

комъ знаніи древнихъ языковъ, а въ солидномъ общемъ образованіи, основанномъ на новыхъ языкахъ и математическо-естественныхъ наукахъ. Поэтому онъ требовалъ полной равноправности этого образованія съ классическимъ образованіемъ, предоставленія ученикамъ, окончившимъ его, степени баккалавра, открывающаго доступъ къ высшимъ учебнымъ заведеніямъ и къ государственнымъ должностямъ. Такая реформа внесла бы вообще, по его мнѣнію, въ образованіе плодотворное сѣмя прогресса, уничтожая вмѣстѣ съ тѣмъ два предразсудка. Одинъ—состоящій въ томъ, что, по общепринятому мнѣнію, не можетъ быть истиннаго общечеловѣческаго образованія безъ древнихъ языковъ; второй же—утверждающій, будто бы обученіе этимъ языкамъ должно начинаться съ самаго юнаго возраста. Напротивъ, старшіе ученики, достигшіе уже извѣстной умственной зрѣлости, легче могутъ достигнуть извѣстнаго успѣха въ изученіи древнихъ языковъ. Однимъ изъ условій успѣха Фернель считалъ уравненіе учителей спеціальнаго образованія въ правахъ и выгодахъ съ профессорами классическаго образованія, такъ какъ до этого времени послѣдніе находились въ привилегированномъ положеніи. „До настоящаго времени,—говоритъ онъ,—классическое образованіе получаетъ львиную часть: и выборъ молодежи, и выборъ профессоровъ; но соціальныя и экономическія условія, развитіе демократіи, промышленности и торговли, примѣненіе научныхъ правъ ко всѣмъ проявленіямъ жизни, составляютъ противъ него заговоръ, имѣющій въ виду не полное его устраненіе, но ограниченіе его исключительнаго царствованія. Спеціальное образованіе не домогается въ свою пользу львиной части, но только ищетъ такого обезпеченія условій свободнаго развитія, чтобы оно было въ состояніи удовлетворять новымъ потребностямъ, которыя его вызвали, не заботясь о томъ, что оно причиняетъ конкурренцію классическому образованію. Оно должно быть только соотвѣтственнымъ образомъ устроено, такъ, какъ было устроено классическое образованіе. Два эти типа образованія должны быть снабжены одинаковыми шансами борьбы за существованіе. Будущность покажетъ, который изъ нихъ лучше приспособленъ къ своему предназначенію и окружающей средѣ“.

Реформы, которыхъ требовалъ Фернель, были отчасти осуществлены какъ установленіемъ степени баккалавра спеціальнаго образованія, такъ и реформою этого образованія посредствомъ введенія шестилѣтняго курса наукъ и, наконецъ, уравненіемъ профессоровъ его съ профессорами классическаго образованія относительно денежныхъ выгодъ, на основаніи декрета 16-го іюля

1887. Такимъ же образомъ и Маріонъ требовалъ полнаго уравненія съ классицизмомъ образованія спеціальнаго, которое, по его мнѣнію, должно бы называться *новымъ среднимъ образованіемъ*, enseignement secondaire moderne [1]). Международный конгрессъ средняго и высшаго образованія, собравшійся въ Парижѣ въ августѣ 1889 г., также занимался этимъ вопросомъ. Въ совѣщаніяхъ своихъ конгрессъ пришелъ къ заключенію, что въ настоящее время слѣдуетъ образовать три типа средняго образованія, именно: греко-латинскій, съ обоими древними языками, латинскій, съ однимъ только латинскимъ языкомъ, и новый, moderne, безъ этихъ языковъ, который, однакожъ, долженъ былъ доставлять гармоническое умственное развитіе. Предложеніе Басіариса (грека изъ Константинополя)—создать четвертый типъ средняго образованія, исключительно съ греческимъ языкомъ —не было принято конгрессомъ. Во всякомъ случаѣ конгрессъ полагалъ, что ученики заведеній, устроенныхъ по каждому изъ этихъ трехъ типовъ, должны имѣть право поступать въ высшія учебныя заведенія, соразмѣрно наукамъ, въ нихъ преподаваемымъ, къ которымъ они получили подготовку. Иначе, впрочемъ, и быть не можетъ, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, заведенія, устроенныя по типу, не предоставляющему такихъ правъ, были бы напередъ осуждены на недостатокъ учениковъ и неизбѣжное вслѣдствіе того паденіе.

Таковъ былъ путь, по которому слѣдовала въ послѣднее время реформа среднихъ учебныхъ заведеній во Франціи, и таковы результаты, вслѣдствіе нея достигнутые. Нельзя не признать важности измѣненій, осуществленныхъ ею въ промежутокъ времени, относительно, непродолжительный. Всѣ эти измѣненія можно свести къ двумъ положеніямъ. Во-первыхъ, классическое образованіе, господствовавшее безапелляціонно до 1865 г., потеряло свое исключительное преобладаніе. Съ того времени стало возникать, вслѣдствіе новыхъ потребностей современнаго общества, новое образованіе, съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе усиливающееся и развивающееся. Съ другой стороны, и само классическое образованіе подверглось значительному преобразованію и во многихъ отношеніяхъ—ограниченію. Стремленіе же къ реформѣ вовсе не пріостановилось,—напротивъ, оно даже усиливается, такъ что въ недалекомъ, можетъ быть, будущемъ, послѣдуетъ еще болѣе коренное преобразованіе среднихъ учебныхъ заведеній во Франціи.

---

[1]) Marion: Mouvement des idées pédagogique. 1889, стр. 287.

VII.

Изъ всего сказаннаго нами о развитіи гимназической реформы въ Германіи, Швеціи и Франціи можно теперь составить довольно ясное понятіе объ общемъ и повсемѣстномъ ея направленіи. Вездѣ встрѣчается одно и то же явленіе, а именно, все болѣе и болѣе усиливающееся убѣжденіе, что классическое образованіе потеряло значительную долю того значенія, которымъ оно обладало, не говоря уже ни о среднихъ вѣкахъ, ни за сто,—а даже за двадцать лѣтъ тому назадъ. Вездѣ встрѣчается стремленіе къ преобразованію средняго образованія болѣе соотвѣтственно съ потребностями современнаго общества, и къ ограниченію, вслѣдствіе того, классическаго образованія. Этого стремленія нельзя считать изолированнымъ явленіемъ въ тѣхъ странахъ, надъ которыми мы остановились болѣе подробно. То же самое можно видѣть почти вездѣ. Вездѣ новыя потребности, новыя стремленія общества вели въ большемъ или меньшемъ размѣрѣ къ такимъ же результатамъ. Въ доказательство тому можно привести устройство бельгійскихъ атенеевъ (гимназій), въ которыхъ, возлѣ humanités grecques-latines и humanités latines, заведены были, равноправныя съ ними, humanités modernes, безъ древнихъ языковъ. Первыя имѣли въ виду доставить среднее образованіе тѣмъ, которые для будущихъ своихъ занятій нуждались въ обоихъ древнихъ языкахъ. Вторыя ограничивались только однимъ латинскимъ языкомъ. Третьи, наконецъ, основывались исключительно на новыхъ языкахъ и наукахъ, потребность въ которыхъ только въ новѣйшее время сдѣлалась болѣе замѣтною. Такимъ же образомъ въ Италіи, возлѣ гимназій и лицеевъ съ классическимъ образованіемъ, учреждены были, преимущественно на основаніи декрета 5-го ноября 1876 г., техническія школы и институты, съ шестилѣтнимъ курсомъ наукъ, безъ древнихъ языковъ. Въ Испаніи въ школахъ, отвѣчающихъ нашимъ гимназіямъ, греческій языкъ вовсе не преподается. Въ Венгріи, недавно, сеймъ принялъ законъ, признающій греческій языкъ необязательнымъ въ гимназіяхъ. Еслибы сторонники классическаго образованія, въ защиту разрушающейся ея системы, хотѣли ссылаться на англійскія коллегіи, въ которыхъ, повидимому, сохранилась прежняя средневѣковая система обученія, то одно это обстоятельство не можетъ составлять довода противъ положенія, что стремленіе къ ограниченію классическаго образованія сдѣлалось въ настоящее время общимъ во всей Европѣ. Въ однихъ условіяхъ жизни находится

англійское общество, и въ другихъ—общество европейское, континентальное, вслѣдствіе чего заключеній, относящихся къ одному, нельзя примѣнять безусловно къ другому. Правда, студенты англійскихъ университетовъ занимаются не только составленіемъ латинскихъ стиховъ, но даже греческихъ; но изъ этого нельзя дѣлать никакого вывода въ пользу того и другого. Никоимъ образомъ нельзя сравнивать англійскихъ университетовъ, въ которыхъ англійская аристократическая молодежь, вмѣстѣ съ нѣсколькими щедро надѣленными стипендіатами, scholari, проводитъ время, предаваясь болѣе удовольствіямъ, чѣмъ наукѣ—съ французскими лицеями, въ которыхъ должны приготовляться къ практической жизни дѣти нашего средняго сословія. „Существуетъ въ Англіи,—говоритъ Ж. Симонъ,—классъ людей, обладающій обширною поземельной собственностью, живущій роскошно на свои доходы, не нуждающійся ни въ какомъ производительномъ занятіи и предназначающійся исключительно къ политической жизни. Этотъ классъ можетъ еще и въ настоящее время основывать свое обученіе на древнихъ языкахъ, хотя и онъ долженъ имѣть болѣе обширныя познанія, если хочетъ знать и чувствовать потребности общества и сохранить за собою роль класса, руководящаго въ народѣ". Но изъ этого нельзя дѣлать никакого заключенія относительно народовъ континентальныхъ, находящихся въ совершенно другихъ условіяхъ жизни. Впрочемъ, и въ Англіи совершается все болѣе и болѣе коренная реформа общества, которая, вводя въ образованіе новыя науки, требуемыя потребностями новаго общества, подрываетъ постоянно классическое образованіе.

Но чѣмъ можно выяснить явленіе, которое отрицать трудно,—что въ настоящее время вездѣ обнаруживается стремленіе къ реформѣ средняго образованія,—реформѣ, состоящей или въ полной отмѣнѣ, или, по крайней мѣрѣ, въ ограниченіи классическаго образованія и въ устройствѣ другого, основаннаго на иныхъ началахъ?

Сторонники классическаго образованія хотѣли бы видѣть въ этомъ явленіи затмѣніе въ обществѣ всякаго понятія о педагогическомъ значеніи древнихъ языковъ. Они опасаются, что ограниченіе преподаванія этихъ языковъ произведетъ пагубное вліяніе на образованіе молодого поколѣнія, на народное просвѣщеніе вообще, что оно будетъ имѣть послѣдствіемъ всеобщій упадокъ науки. Они опасаются, что молодое поколѣніе, не воспитанное подъ вліяніемъ классицизма, пропитается чрезмѣрно утилитарнымъ стремленіемъ, въ ущербъ нравственному характеру. Они приписываютъ требованіе реформы отчасти тому, что сторон-

ники ея не понимаютъ достаточно красоты древней словесности, а отчасти тому, что родители, балуя своихъ дѣтей, домогаются ограниченія древнихъ языковъ, несмотря на вредъ, который они имъ тѣмъ самымъ причиняютъ.

Не думаемъ, однако, чтобы съ такими воззрѣніями можно было согласиться. По нашему мнѣнію, стремленіе къ реформѣ имѣетъ другія, болѣе глубокія, причины; осуществленіе же ея, даже въ самыхъ широкихъ размѣрахъ, не оправдаетъ опасеній, выражаемыхъ въ настоящее время. Эта реформа должна, раньше или позже, осуществиться, и вовсе не по соображеніямъ педагогическимъ, въ собственномъ смыслѣ этого слова. Защищать исключительное классическое образованіе можно было бы еще тогда, еслибы вопросъ образованія вообще, а вслѣдствіе того и устройства учебныхъ заведеній, былъ вопросомъ только педагогическимъ. Въ сущности, это не такъ, потому что на образованіе и устройство училищъ производятъ вліяніе и другія соображенія, гораздо болѣе сильныя, чѣмъ педагогическія. Не подлежитъ сомнѣнію, что понятія объ образованіи и его цѣляхъ не неизмѣнны и весьма подвижны, и подвергаются они извѣстнымъ измѣненіямъ, соразмѣрно времени и развитію общественныхъ отношеній. Вслѣдствіе того и устройство учебныхъ заведеній должно слѣдовать за политическимъ и соціальнымъ развитіемъ общества. Обстоятельства, вытекающія изъ перемѣны общественныхъ отношеній, изъ эволюціи, совершающейся въ самомъ обществѣ, до такой степени могущественны, что реформа эта должна неизбѣжно завершиться. Ничего противъ нея не сдѣлаетъ ни сопротивленіе фанатическихъ поклонниковъ классической словесности, ни равнодушіе или недоброжелательство враговъ всякаго умственнаго успѣха. Даже законодательныя мѣры, которыми старались бы поддержать клонящуюся къ паденію систему, въ состояніи пріостановить только временно ея упадокъ, но не могутъ предупредить его окончательно. Стремленія новаго времени столь могущественны, что плыть противъ нихъ было бы, по нашему мнѣнію, совершенно безполезнымъ ослѣпленіемъ. А такъ какъ эти стремленія все болѣе и болѣе удаляютъ насъ отъ древняго міра, отъ его культуры, все болѣе подвигаютъ насъ къ новому, невѣдомому будущему, то поэтому можно придти къ заключенію, что реформа эта должна состояться въ вышеуказанномъ направленіи. „Историческое развитіе трехъ послѣднихъ столѣтій—говоритъ Паульсенъ--можно опредѣлить какъ медленное выдѣленіе изъ древней культуры самостоятельной и своеобразной новой культуры. Какъ зрѣлый плодъ отдѣляется отъ вѣтви, на которой выросъ, такъ и все умственное

образованіе западно-европейскихъ народовъ, выросшее на древнемъ образованіи, отдѣляется отъ него. Умственное развитіе всегда слѣдовало общему развитію культуры, хотя и на нѣкоторомъ разстояніи. Если эти историческія указанія не ошибочны, то на ихъ основаніи можно придти къ заключенію, что образованіе новыхъ народовъ постоянно приближается въ тому состоянію, въ которомъ они будутъ пользоваться только своими собственными средствами знанія и образованія (die eigenen Erkenktniss und Bildung). Университеты уже достигли этого состоянія; древніе авторы давно перестали быть въ нихъ учителями знанія и образованія, какими были въ XIV, XVI, а даже въ XVIII ст.; они сдѣлались только предметомъ ученаго изученія (Objekt der wissenschaftlichen Forschung). Среднія учебныя заведенія еще находятся на извѣстномъ разстояніи отъ этого состоянія; но всякому извѣстно, даже приверженцамъ древней культуры, что и они приближаются къ нему постоянно".

Какія же стремленія производятъ столь могущественное вліяніе на общество, что подъ ихъ вліяніемъ не устоитъ даже то классическое образованіе, которое въ продолженіе стольких вѣковъ мы привыкли считать единственнымъ, необходимымъ? Стремленія эти—можемъ впередъ сказать—будутъ двоякаго рода: одни соціальныя или политическія, другія—экономическія. Эти стремленія и уносятъ въ настоящее время на своихъ волнахъ современное общество, которое, иногда даже безсознательно, поддается имъ, стремясь въ предназначенномъ направленіи. Эти стремленія придаютъ всѣмъ общественнымъ явленіямъ такія формы, которыя имъ лучше всего отвѣчаютъ; и они-то требуютъ настоятельно реформы системы средняго образованія. Поэтому вопросъ реформы гимназій не составляетъ исключительно педагогическаго вопроса, но вмѣстѣ съ тѣмъ это вопросъ соціальный и экономическій. Если прежде можно было разсуждать, такъ сказать, съ академическимъ спокойствіемъ объ умственномъ образованіи, которое отвѣчаетъ самымъ лучшимъ образомъ извѣстному обществу, то въ настоящее время уже такъ разсуждать нельзя. Въ настоящее время къ педагогическому вопросу присоединились еще вопросы соціальные и экономическіе, отъ благополучнаго рѣшенія которыхъ зависитъ существованіе, будущность и благоденствіе или бѣдствія общества. Вслѣдствіе того въ рѣшеніи этого вопроса должны принимать участіе не только педагоги, но и соціологи, и экономисты.

Никто, кажется, не будетъ оспаривать того, что образованіе, а вслѣдствіе того и учебныя заведенія, долженствующія достав-

лять его,—зависятъ отъ состоянія, въ какомъ находится извѣстное общество, отъ условій его быта. Это именно и составляетъ причину того разнообразія формъ, въ какихъ образованіе проявлялось въ историческомъ развитіи человѣчества. Каждая эпоха иначе смотрѣла на образованіе и его цѣль. Каждая, вслѣдствіе того, создавала такія формы учебныхъ заведеній, которыя, по ея мнѣнію, самымъ лучшимъ образомъ вели къ достиженію этой цѣли. Но пережитыхъ формъ, уже не отвѣчающихъ болѣе потребностямъ общества, нельзя было ни сохранить долѣе, ни возстановить. Въ этой истинѣ исторія убѣждаетъ насъ на каждомъ шагу.

Мы восхищаемся издали, смотря чрезъ туманъ многихъ столѣтій, греческимъ образованіемъ, столь глубокимъ въ философскомъ отношеніи, столь красивымъ въ эстетическомъ отношеніи, столь гармоническимъ вслѣдствіе того, что оно обращало одинаковое вниманіе на умственную и физическую сторону человѣка. Мы любимъ вспоминать Платона, философствующаго со своими учениками въ садахъ Академіи, олимпійскія игры, эти турниры, на которыхъ соперничали всѣ народы Греціи, не только въ гимнастикѣ, но и въ поэзіи, изящныхъ искусствахъ,—и многія другія явленія греческой жизни. Но ни этого образованія, ни средствъ, употреблявшихся для его достиженія, уже воскресить нельзя. Это образованіе было произведеніемъ условій жизни тогдашняго греческаго общества, и отвѣчало, потому, тогдашнимъ его потребностямъ. Тѣ условія совершенно чужды нашему времени. Вѣдь извѣстно, что все политическое, соціальное, экономическое устройство Греціи основывалось, между прочимъ, на учрежденіи, котораго возстановить нельзя, именно на невольничествѣ. Аѳинскіе граждане, привилегированные въ политическомъ и экономическомъ отношеніи, могли образоваться тогда такъ, какъ они образовывались, на публичныхъ площадяхъ, въ разговорахъ съ философами, а между тѣмъ за нихъ работали невольники. Безъ невольничества Греція не достигла бы никогда той степени культуры, которою мы теперь восхищаемся. Это признано даже и ея философами. Но уже это одно обстоятельство не позволяетъ намъ и думать о такихъ средствахъ, которыя употребляли греки для достиженія образованія.

Перейдемъ къ среднимъ вѣкамъ, къ эпохѣ феодализма. Тогда общество было раздѣлено на сословія, строго отдѣленныя одно отъ другого. Два привилегированныя сословія пользовались всѣми правами и привилегіями; они управляли обществомъ. Сословіями этими были поземельная аристократія, дворянство и духовенство. Масса горожанъ занимала тогда очень подчиненное положеніе;

что же касается до крестьянъ, то они тогда и вовсе не принимались въ разсчетъ. И между самими привилегированными сословіями не было тогда равноправности. Преимущество всегда принадлежало духовенству. Причина того состояла въ томъ, что въ продолженіе всѣхъ среднихъ вѣковъ все общество оживлялось однимъ религіознымъ стремленіемъ, вслѣдствіе чего получили рѣшительный перевѣсъ религіозные интересы католическаго духовенства. Все общество тогда приняло форму религіознаго общества, въ которомъ всѣ свѣтскіе интересы должны были подчиняться интересамъ духовенства, т.-е. религіознымъ интересамъ. Свѣтская власть, какъ она ни была сильна, всегда была принуждена смиряться передъ церковною властью. Покушенія на неповиновеніе не всегда оканчивались для нея съ успѣхомъ. Анаѳема принуждала даже самыхъ непокорныхъ идти въ Каноссу. Свѣтская власть была, собственно говоря, только исполнителемъ постановленій власти духовной. Такимъ же образомъ и въ частной жизни преобладало религіозное настроеніе. Для того, чтобы въ этомъ убѣдиться, довольно вспомнить роль, какую играли тогда всѣ праздники, церковныя торжества, обряды. Всѣ, начиная съ королей и самыхъ сильныхъ феодальныхъ владѣльцевъ, и оканчивая послѣднимъ человѣкомъ, стоявшимъ на самой низкой ступени въ обществѣ, принимали въ нихъ самое живое участіе.

Понятно,—какое образованіе *должно* было преобладать въ такомъ обществѣ, и какія оно *должно* было преслѣдовать цѣли. Феодальная аристократія, дворянство, не нуждалась еще тогда въ книжномъ образованіи. Школою будущихъ феодальныхъ владѣльцевъ, всей тогдашней аристократіи, былъ или дворъ короля, или зàмокъ какого-нибудь сильнаго и знаменитаго рыцаря. Военныя упражненія, турниры, составляли практическую школу тогдашняго дворянства. Горожане, купцы и ремесленники довольствовались тѣми свѣдѣніями, которыя могли пріобрѣсти практически въ лавкѣ или въ мастерской. Въ самомъ лучшемъ случаѣ ихъ удовлетворяло низшее училище, въ которомъ они могли выучиться чтенію и письму. Крестьяне обходились безъ всякаго просвѣщенія. Такимъ образомъ, оставалось только одно сословіе, нуждавшееся въ книжномъ образованіи, именно духовенство. Понятно, что католическое духовенство заботилось только о такомъ образованіи, въ которомъ само нуждалось. Поэтому всѣ его усилія были устремлены къ изученію латинскаго языка, и всѣ устроенныя имъ училища имѣли преимущественно только это одно въ виду. Вслѣдствіе того латинскій языкъ добился исключительнаго господства въ публичной и частной жизни, въ наукѣ, въ учили-

щахъ, въ обыденномъ даже употребленіи всѣхъ людей, желавшихъ, чтобы ихъ считали образованными. Понятно, что тогдашнія училища, вслѣдствіе именно вышеописанныхъ общественныхъ отношеній, *должны* были быть устроиваемы такъ, чтобы доставлять образованіе только одному классу людей, нуждающемуся въ немъ, т.-е. духовенству, и что главная ихъ задача *должна* была состоять въ обученіи учениковъ латинскому языку.

Вслѣдствіе возрожденія наукъ и реформаціи произошла въ этомъ отношеніи большая перемѣна, состоящая въ томъ, что образованія, науки, стала искать и аристократія, дворянство. На эту перемѣну не осталось безъ вліянія и изобрѣтеніе огнестрѣльнаго оружія, такъ какъ вслѣдствіе того дворянство, не нуждаясь болѣе въ прежнихъ военныхъ упражненіяхъ, пріобрѣтало время на умственныя, научныя занятія. Перемѣна эта не могла остаться безъ вліянія на само образованіе и учебныя заведенія, долженствующія его давать. „Въ XVI столѣтіи,—говоритъ Фрари,—было устроено то классическое образованіе, которое мы сохранили до настоящаго времени, и латинскій языкъ сдѣлался основою гуманнаго образованія. Люди были какъ бы ослѣплены блескомъ античнаго міра, который имъ тогда открылся. Жажда знанія, науки, завладѣла каждымъ, кто только стремился къ занятію почетнаго мѣста въ обществѣ, дворянами и духовенствомъ, придворными и юристами“. Эту жажду знанія люди могли утолить только у одного источника, именно у греческихъ и латинскихъ авторовъ, такъ какъ другой науки тогда еще не было. Поэтому классическое образованіе и существуетъ только со времени возрожденія наукъ и реформаціи. Тогда только возникло это изящное, классическое образованіе, не преслѣдующее матеріальнаго интереса, такъ какъ оно не приготовляетъ ни къ какому практическому занятію, живетъ только въ мірѣ идеальномъ и кормится только отдаленнымъ прошедшимъ, воскресить которое оно не было, однако, въ состояніи. Прежде, въ средніе вѣка, не знали даже по-гречески; говорили только и писали на латинскомъ языкѣ, но извѣстно, какова была эта латынь. Только вслѣдствіе возникновенія классическаго образованія стали изучать греческихъ авторовъ въ подлинникѣ.

При первомъ возникновеніи классическаго образованія оно было привилегіею только незначительнаго меньшинства населенія, оно было, собственно говоря, образованіемъ *исключительнымъ*. Низшіе классы народа были вовсе отъ него устранены. Это можно считать характеристическою чертою, общею всей Европѣ. Въ подтвержденіе того можно привести многія до-

казательства. Такъ напр., Паульсенъ перечисляетъ распоряженія, изданныя въ Германіи, еще въ XVIII ст., запрещавшія дѣтямъ низшихъ классовъ общества поступать въ университеты и высшія учебныя заведенія, въ которыхъ давалось классическое образованіе. Подобныя распоряженія были изданы въ Пруссіи въ 1708 и 1718 г., въ Готѣ въ 1718 г., въ Гессенѣ въ 1721 г., въ Брауншвейгѣ въ 1722 г. и т. д. Гессенское распоряженіе запрещало горожанамъ и крестьянамъ отвлекать своихъ дѣтей отъ обыкновенныхъ занятій (von den gemeinen Hanthierungen) и рукодѣлій, посредствомъ доставленія имъ высшаго образованія, съ помощью котораго они могли бы возвыситься въ состояніе honoratiorum. Очень часто издаваемы были тогда распоряженія, имѣвшія въ виду, посредствомъ строгихъ экзаменовъ, пріостановить приливъ дѣтей незажиточныхъ родителей въ учебныя заведенія.

На такой же исключительный характеръ средняго образованія, съ строго классическимъ направленіемъ, указываютъ и французскіе писатели. Фернель говоритъ, „что образованіе было тогда доставляемо только привилегированному меньшинству народа, проводящему жизнь въ праздности или занимающемуся такъ-называемыми либеральными профессіями. Горожане тогда не достигли еще того значенія, котораго добились впослѣдствіи (что же говорить о крестьянахъ?). Впрочемъ, тогда не существовало еще такое, какъ теперь, разнообразіе занятій, промышленныхъ или торговыхъ, ни даже наукъ, которыя должны были къ нимъ приготовлять. Понятно, что образованіе исключительно классическое могло удовлетворять потребностямъ того общества, и менѣе или болѣе основательное знаніе греческаго и латинскаго языковъ казалось даже мѣщанамъ извѣстнаго рода почетомъ, отличающимъ ихъ отъ другихъ, низшихъ сословій. Поэтому и дѣти знатнѣйшихъ мѣщанъ, напр. такъ-называемые noblesse de robe, обучались такимъ же образомъ. „Кто поступалъ тогда въ коллегію—долженъ былъ въ будущемъ или носить шпагу, или хлопотать о церковной бенефиціи, или купить себѣ должность. Во французскомъ обществѣ—такъ, какъ оно было создано въ тѣ времена—не было мѣста для продуктивныхъ занятій. Кто не былъ дворяниномъ, священникомъ, судьею, адвокатомъ или чиновникомъ, тотъ не принимался въ разсчетъ“.

Можно даже сказать, что коллегіи, несмотря на всѣ перемѣны, сохранили и до настоящаго времени тотъ характеръ, который они пріобрѣли въ прежнее время. Такъ напр., Ганъ, обсуждая издержки средняго образованія во Франціи, увеличенныя въ значительномъ размѣрѣ вслѣдствіе необходимости

доставить ученикамъ домашнюю помощь въ видѣ репетиторовъ, приходитъ къ заключенію, что образованіе это составляетъ монополію только богатыхъ классовъ народонаселенія. „Въ странѣ,— говоритъ онъ,—хвастающейся своимъ равенствомъ гражданъ передъ лицомъ закона, это имѣетъ видъ аристократическій, ziemlich aristokratisch“.

Такимъ образомъ, можно придти къ заключенію, что съ XVI до конца XVIII ст. существовавшее тогда классическое образованіе находилось въ полномъ согласіи съ тогдашнимъ состояніемъ общества. Оно отвѣчало тогдашнимъ потребностямъ высшихъ его слоевъ, но вслѣдствіе того и само было исключительно.

Съ конца XVIII ст. стала появляться въ этомъ отношеніи глубокая перемѣна, такъ какъ первоначальная гармонія между состояніемъ общества и его образованіемъ стала все болѣе и болѣе исчезать. Общество пошло дальше въ своемъ неудержимомъ развитіи политическомъ и экономическомъ, а образованіе осталось то же самое, какъ и прежде. Разладъ, возникшій между тѣмъ и другимъ, не только не уменьшался, но, напротивъ, постоянно увеличивался. Пропасть между ними дѣлалась ежедневно болѣе глубокою, угрожая самыми пагубными послѣдствіями, если внутреннее противорѣчіе это не будетъ своевременно устранено.

Остановимся нѣсколько дольше надъ причинами этого противорѣчія, несогласія между настоящимъ состояніемъ общества и классическимъ образованіемъ.

Разбирая современныя отношенія во Франціи, Жюль Симонъ говоритъ: „И мы тоже до конца XVIII вѣка имѣли дворянство, считавшее унизительнымъ для себя какую-нибудь профессію; работать было для него униженіемъ. Дворяне, потомки древнихъ родовъ, держались при дворѣ, отъ котораго получали мѣста, болѣе вслѣдствіе милости, чѣмъ по личной заслугѣ; другіе поступали въ армію, въ которой покупали себѣ роту или эскадронъ, и только тогда начинали изучать свое ремесло, когда уже сами вполнѣ обезпечились. Иные обращались къ судебному вѣдомству, наравнѣ съ высшею буржуазіею, для того, чтобы попасть въ парламентъ, отчасти для почета, отчасти же потому, что это доставляло возможность вмѣшаться понемногу въ политику. Иные, наконецъ, въ очень ограниченномъ количествѣ, оставались въ своихъ владѣніяхъ, обработывали свои земли, собирали библіотеки, занимаясь наукою для науки. *Но это общество уже не существуетъ*. Крупныя поземельныя владѣнія во Франціи постоянно исчезаютъ. Въ настоящее время нельзя удержаться въ первыхъ рядахъ общества иначе, какъ только

посредствомъ *труда и способности*. Большинство тѣхъ, которые занимаются политикою, имѣютъ другое занятіе, обезпечивающее ихъ существованіе. Почти всѣ принуждены имѣть какую-нибудь работу или заниматься профессіею, не только для того, чтобы ихъ уважали, но и для того, чтобы удовлетворить своимъ потребностямъ и удержаться въ своемъ общественномъ положеніи".

Такое же теченіе оживляло и переработывало медленно общества и въ другихъ европейскихъ государствахъ. Даже Англія, классическая земля аристократіи, не была въ состояніи спастись отъ него. И она тоже постепенно демократизуется, заходя въ этомъ направленіи, въ нѣкоторомъ отношеніи, даже дальше, чѣмъ самыя демократическія страны Европы. Въ самомъ дѣлѣ, Англія до парламентской реформы 1832 г. была самою аристократическою страною въ Европѣ; съ того времени въ политическомъ устройствѣ англійскаго общества замѣчается также громадная перемѣна. Слѣдующія парламентскія реформы 1867 и 1884 г. пошли въ этомъ направленіи еще дальше, вводя почти всеобщее голосованіе. Такимъ же образомъ самоуправленіе графствъ и городовъ подверглось въ послѣднее время радикальной реформѣ. Дошло до того, что и женщины даже допускаются къ нѣкоторымъ, по крайней мѣрѣ, выборамъ; государство само доставляетъ денежныя средства ирландскимъ фермерамъ на покупку земель у англійскихъ лэндлордовъ, чтò лишаетъ собственности поземельную аристократію.

Сторонники классическаго образованія могли бы сказать на все это, что, несмотря на преобразованіе общества въ новомъ направленіи, образованіе и учебныя заведенія должны остаться тѣ же, что и прежде. Они могли бы сказать, что если эти учебныя заведенія были прежде хороши, то они будутъ такими же и въ будущемъ; если въ нихъ воспиталось столько поколѣній, изъ которыхъ каждое принесло свой вкладъ въ сокровищницу знанія, культуры, то они въ состояніи оказывать такія же услуги и будущимъ поколѣніямъ. Такое мнѣніе, однакоже, было бы ошибочно и могло бы повлечь за собою самыя вредныя послѣдствія. Каждый, кто глубже проникалъ въ сущность дѣла и подмѣтилъ въ ней жизненныя явленія, долженъ признать, что всякая педагогическая ошибка тяжело отражается на будущности народа, вслѣдствіе чего слѣдуетъ тщательно избѣгать подобнаго рода ошибокъ. Но чтò слѣдуетъ сказать о такой капитальной ошибкѣ, какъ примѣненіе системы образованія одной эпохи къ обществу другой эпохи,—обществу, находящемуся въ совершенно различныхъ условіяхъ жизни, чувствующему другія потребности

и старающемуся объ ихъ удовлетвореніи другимъ образомъ. Есть случаи, въ которыхъ „il faut marcher sous peine de mort avec son siècle“, а къ такимъ случаямъ принадлежитъ прежде всего образованіе. Оставленіе исключительной системы образованія въ новомъ обществѣ было бы ошибкою, могущею имѣть самыя роковыя послѣдствія именно для того класса народа, для котораго оно возникло, и потребности котораго оно столь долго удовлетворяло.

Въ новѣйшее время всѣ классы, безъ различія, должны одинаково заботиться о доставленіи себѣ *образованія*, *отвѣчающаго новымъ условіямъ существованія*. Прежде каждый могъ довольствоваться классическимъ образованіемъ, не приготовляющимъ его, собственно говоря, ни къ какому практическому занятію, такъ какъ онъ зналъ, что земли его будутъ обработаны даромъ другими лицами, что въ крайнемъ случаѣ онъ обратится къ государственной службѣ, въ которой не встрѣтитъ конкурренціи другихъ классовъ народонаселенія, и даже съ этимъ образованіемъ будетъ въ состояніи доставить себѣ средства содержанія. Но въ настоящее время, въ западной Европѣ, всѣ эти отношенія или радикально измѣнились, или измѣняются постепенно. Встрѣчая въ чиновнической карьерѣ конкурренцію другихъ классовъ, классъ этотъ принужденъ особенно стараться, чтобы быть болѣе къ ней приспособленнымъ. Даже само государство выставляетъ здѣсь различныя условія способности, которымъ кандидаты должны удовлетворять. Такимъ же образомъ этотъ классъ, желая увеличить доходъ изъ своей поземельной собственности, долженъ также заботиться о доставленіи себѣ соотвѣтственныхъ знаній. Но этой способности, этихъ знаній, классъ этотъ, очевидно, не можетъ пріобрѣсти посредствомъ классическаго образованія, котораго вся задача состоитъ въ изученіи того, что̀ когда-то было, но что̀ уже съ давнихъ временъ не существуетъ. Классъ этотъ долженъ, „подъ угрозою смерти“, sous peine de mort, заботиться о такомъ образованіи, которое ознакомляло бы его съ условіями современной жизни и дѣлало болѣе способнымъ къ конкурренціи съ другими классами народонаселенія, которое приготовляло бы его къ различнымъ практическимъ занятіямъ. Поколебленный въ прежнихъ источникахъ существованія, онъ долженъ пріискивать себѣ—другіе; но эти новые источники онъ въ состояніи доставить себѣ только посредствомъ образованія, отвѣчающаго новымъ условіямъ быта. Въ противномъ случаѣ, классъ этотъ не будетъ въ состояніи удержаться въ положеніи—не говорю уже—привилегированнаго класса, но класса, руководящаго народомъ въ нравственномъ отношеніи. Поступая иначе, онъ рискуетъ даже всѣмъ своимъ существованіемъ.

Къ такимъ послѣдствіямъ, по нашему мнѣнію, пришелъ бы всякій привилегированный классъ, въ случаѣ сохраненія прежней, средневѣковой, исключительной системы образованія, тогда какъ все общество, подъ вліяніемъ новыхъ стремленій, подверглось радикальному преобразованію. Обратимся въ настоящее время къ разсмотрѣнію вопроса, какое вліяніе произвело бы сохраненіе этого образованія на продуктивные классы. Но для этого намъ слѣдуетъ остановиться нѣсколько подробнѣе надъ условіями, въ которыхъ производительность вообще находилась прежде и находится въ настоящее время, и надъ экономическимъ стремленіемъ, оживляющимъ современное общество.

Извѣстно, что въ продолженіе всѣхъ среднихъ вѣковъ все экономическое производство находилось въ рукахъ корпорацій ремесленныхъ и торговыхъ. Тогда общимъ стремленіемъ всѣхъ было соединяться въ корпораціи. И продуктивные классы также не остались чужды этому стремленію, и они соединялись въ корпораціи, во-первыхъ, для того, чтобы обезпечить себѣ безопасность своей личности и имущества, а во-вторыхъ, для того, чтобы обезпечить въ свою пользу исключительную продажу своихъ произведеній въ извѣстномъ мѣстѣ, на извѣстномъ торговомъ рынкѣ. Такъ какъ вообще рынокъ этотъ былъ ограниченъ предѣлами извѣстнаго феодальнаго владѣнія (seigneurie), то изъ этого возникла необходимость ограничить количество самостоятельныхъ предпріятій, самостоятельныхъ мастеровъ, которые снабжали бы рынокъ и имѣли обезпеченную на немъ продажу своихъ произведеній. Вотъ почему нужно было ограничить продукцію каждаго, опредѣлить способы производства, качество произведеній и цѣну ихъ. Въ противномъ случаѣ, было бы нарушено равновѣсіе между спросомъ и предложеніемъ, или въ пользу производителей, успѣвшихъ понизить издержки производства, посредствомъ сохраняемыхъ въ тайнѣ, улучшенныхъ пріемовъ, или посредствомъ ухудшенія качества продуктовъ. Корпорація защищалась противъ этой опасности, или опредѣляя самый способъ приготовленія произведеній, или требуя, по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, чтобы приготовленіе происходило публично, на глазахъ всѣхъ. Каждый рынокъ былъ приспособленъ къ различнымъ корпораціямъ, доставлявшимъ на него свои произведенія, а такъ какъ въ то время, вслѣдствіе вообще незначительнаго приращенія народонаселенія, рынокъ этотъ подлежалъ незначительнымъ только измѣненіямъ, то корпораціи были въ состояніи установить извѣстное равновѣсіе между предложеніемъ и потребленіемъ, а также и между самими производителями. Такой порядокъ отвѣчалъ вообще

существующей тогда *мелкой промышленности* и мелкимъ рынкамъ, которые она снабжала нужными произведеніями. Такой порядокъ доставлялъ предпринимателямъ промышленности, мастерамъ, ремесленникамъ и купцамъ, безопасность и вѣрность сбыта. Каждый изъ членовъ корпораціи получалъ извѣстную долю на рынкѣ, принадлежащемъ корпораціи; соразмѣрно же тому могли приноровиться и личныя силы промышленности. Цѣна произведеній была опредѣляема обычаемъ. Гдѣ обычай оказался недостаточнымъ для того, чтобы обуздать преувеличенныя требованія промышленниковъ, тамъ мѣстная власть опредѣляла таксу, имѣющую въ виду обезпечить интересы покупателей, не причиняя вреда производителямъ. Не всегда власти удавалось соотвѣтственнымъ образомъ опредѣлить цѣну. Во всякомъ случаѣ, ея вмѣшательство замѣняло до извѣстной степени недостатокъ другого мѣрила, именно конкурренціи, въ опредѣленіи цѣнъ на первыя потребности жизни. Корпораціи были устроены іерархически. Къ нимъ принадлежали не только мастера, предприниматели работъ, но и работники, подмастерья. Ограниченіе рынковъ дозволяло также и работникамъ опредѣлить свое количество, соразмѣрно его потребностямъ. Поэтому корпораціи опредѣляли тщательно количество учениковъ, которыхъ мастера могли принимать на обученіе. Мастерства переходили или по правамъ наслѣдства отъ отца къ сыну, или посредствомъ обученія въ продолженіе опредѣленнаго времени. Во всякомъ случаѣ, количество ихъ было ограничено. Мастеръ не могъ принимать учениковъ, если у него не было лавки, открытой съ улицы; не могъ также принимать болѣе, чѣмъ одного или двухъ учениковъ, за исключеніемъ своихъ сыновей. Такъ какъ каждая корпорація считала своею собственностью рынокъ, на которомъ она имѣла обезпеченную продажу, вслѣдствіе того каждая наблюдала за тѣмъ, чтобы другія не мѣшали ей въ этомъ отношеніи. Это было причиною безконечныхъ споровъ между корпораціями, производящими сродные продукты. Такимъ же образомъ корпораціи защищались отъ конкурренціи заграничной, не допуская привозить иностранныя произведенія. Въ этомъ отношеніи онѣ не дѣлали даже различія между иностранными и туземными производителями, защищаясь и отъ этихъ послѣднихъ, если они не были мѣстными. Наконецъ, слѣдуетъ замѣтить, что корпораціи, устроивая такимъ образомъ свои отношенія, заботились не только объ обезпеченіи матеріальнаго благосостоянія своихъ членовъ, но и о нравственномъ ихъ состояніи. Поэтому онѣ не принимали членовъ, живущихъ въ незаконной связи, не исполняющихъ церковныхъ требъ, подлежащихъ извѣст-

нымъ порокамъ, напр. пьянству или азартной игрѣ, запрещали роскошь въ одеждѣ, въ кушаньяхъ и напиткахъ, однимъ словомъ, заботились о предупрежденіи всего, что̀ могло содѣйствовать къ экономическому или нравственному разстройству отдѣльныхъ членовъ.

Такое устройство промышленности вызвало жестокія нападенія экономистовъ XVIII столѣтія. Но еслибы мы обратились назадъ, къ среднимъ вѣкамъ, напр. къ XII столѣтію, когда оно было въ апогеѣ у народовъ самыхъ богатыхъ и самыхъ образованныхъ этого времени, то мы были бы принуждены признать, что оно было вполнѣ приспособлено къ тогдашнему состоянію промышленности и общества. Такъ, экономическое устройство общества, вытекающее изъ мелкой промышленности, обезпечивало обществамъ, среди которыхъ развилось, самую высшую степень благосостоянія, какую только позволяло тогдашнее состояніе промышленности вообще. Правда, что богатство было раздѣлено очень неравномѣрно между людьми, принадлежащими къ различнымъ классамъ общества. Вездѣ, однакожъ, находилось необходимое условіе благосостоянія —безопасность и прочность, la sécurité et la stabilité. Условіе это было осуществлено въ высшихъ классахъ (аристократіи) посредствомъ наслѣдственности; въ среднихъ, промышленныхъ классахъ—посредствомъ занятій корпорацій, наслѣдственности и предоставленія извѣстнымъ корпораціямъ опредѣленныхъ рынковъ; въ низшихъ классахъ, у крестьянъ—вслѣдствіе полнаго или частичнаго предоставленія ихъ въ собственность другимъ лицамъ. Въ классѣ промышленномъ корпораціи заботились о сохраненіи равновѣсія между численнымъ ихъ составомъ и средствами существованія. Такимъ же образомъ въ низшихъ классахъ феодальный владѣлецъ заботился о томъ, чтобы количество рабочихъ рукъ отвѣчало хозяйственнымъ потребностямъ, и чтобы его рабы или крѣпостные были здоровы и сильны. Поколѣнія слѣдовали за поколѣніями, предназначенныя на тѣ же самыя работы, безъ всякой надежды на улучшеніе своей участи, но, по крайней мѣрѣ, съ тою увѣренностью, что въ замѣнъ за трудъ, приспособленный къ ихъ силамъ, они получатъ отъ хозяина достаточное содержаніе. По этому устройству общество дѣлилось на два главные класса, неравные въ количественномъ и качественномъ отношеніяхъ. Одинъ —высшій, правящій и защищающій общество, исполняющій функціи, требующія равновѣсія умственныхъ и нравственныхъ силъ и потребностей. Второй—низшій, asservi, занимающійся работами, требующими преимущественно физической силы, которыя въ настоящее время, отчасти по крайней мѣрѣ, исполняютъ машины. Болѣе сильные и способные были наверху, менѣе силь-

ные и способные—внизу. Такъ какъ качества и способности передавались наслѣдственно, поэтому такое устройство было признано самымъ лучшимъ, въ которомъ каждый былъ принужденъ оставаться въ своей средѣ, безъ возможности перехода въ другую, и съ тѣмъ только условіемъ, чтобы имѣлъ обезпеченныя средства содержанія. Пока прогрессъ культуры не уменьшилъ громаднаго разстоянія между функціями высшихъ и низшихъ классовъ общества, посредствомъ замѣны физическаго труда механическимъ трудомъ, дотолѣ было невозможно, а даже и безполезно открывать всѣмъ доступъ ко всѣмъ занятіямъ. Стремленіе перейти въ высшій классъ тогда, когда въ каждомъ было очень ограниченное количество мѣстъ, ухудшило бы только положеніе массъ народа и было бы поводомъ къ различнаго рода опасностямъ.

Нельзя, конечно, сказать, чтобы такое устройство общества, въ которомъ всѣ были раздѣлены на классы, господствующіе и подчиненные, и гдѣ каждый былъ прикрѣпленъ наслѣдственно къ своему занятію или труду,—осуществляло золотой вѣкъ человѣчества. Несомнѣнно, всѣ классы страдали или вслѣдствіе своего внутренняго устройства, или вслѣдствіе внѣшнихъ обстоятельствъ. Такъ, напр., они часто подвергались ужасамъ голода, тѣмъ болѣе страшнаго, что рынки, на которыхъ можно было запастись средствами продовольствія, были очень ограничены, а средства сообщенія находились въ первобытномъ состояніи. Они страдали отъ пороковъ, развивающихся въ высшихъ классахъ отъ господства, въ низшихъ—отъ постоянной подчиненности. Во всякомъ однако случаѣ, какъ тò исторія и доказала, это устройство не только просуществовало цѣлыя тысячи лѣтъ, но могло бы существовать и дольше, еслибы не появилась новая экономическая эволюція, которая разрушила до тла эти отношенія и создала необходимость новаго устройства общества. Нѣтъ сомнѣнія, что и мы съ нѣкотораго времени переживаемъ новое преобразованіе общества, болѣе могущественное и болѣе общее, чѣмъ всѣ политическія событія, которыя мы видѣли. Съ нѣкотораго именно времени совершается экономическая эволюція, производящая неисчислимыя послѣдствія и вліяніе на всѣ отношенія не только отдѣльныхъ народовъ, но всего человѣчества.

Посмотримъ, какъ эволюція эта совершалась и совершается еще теперь, а равнымъ образомъ обратимъ вниманіе и на послѣдствія, къ которымъ она должна неизбѣжно повести.

Во время господства мелкой промышленности всѣ почти продукты сельско-хозяйственные и промышленные или потреблялись на мѣстѣ тѣми, которые ихъ произвели, или были обмѣниваемы

на другіе, или на наличныя деньги въ самыхъ близкихъ мѣстахъ продажи, на самыхъ близкихъ рынкахъ. Ремесленникъ приготовлялъ только такое количество произведеній, которое онъ надѣялся продать на мѣстѣ; купецъ же покупалъ только такое количество товаровъ, которое надѣялся продать или на мѣстѣ, или въ ближайшемъ сосѣдствѣ. Торговля на большомъ разстояніи производилась только относительно вещей малаго объема и большей цѣнности, которыя, при тогдашнихъ трудныхъ средствахъ сообщенія, могли оплачивать издержки транспорта. Произведенія такого рода были доступны тогда только зажиточнѣйшимъ классамъ народонаселенія, между тѣмъ какъ въ настоящее время самые бѣдные люди, вслѣдствіе громаднаго развитія торговли, потребляютъ предметы, привозимые изъ самыхъ отдаленныхъ странъ. Во время господства мелкой промышленности международная торговля на большихъ разстояніяхъ не имѣла большого значенія. Она постоянно извлекала произведенія изъ тѣхъ же мѣстностей и везла́ ихъ по тѣмъ же дорогамъ, подвергаясь въ этомъ отношеніи въ продолженіе цѣлыхъ столѣтій незначительнымъ только измѣненіямъ. Съ незапамятныхъ временъ драгоцѣнные восточные товары, какъ, напр., шолкъ, жемчугъ, духи, слѣдовали по сухому пути или по морскимъ прибрежьямъ изъ Китая, Восточныхъ Индій, въ ограниченномъ только количествѣ, въ нѣкоторые складочные пункты въ Европѣ, гдѣ обмѣнивались на мѣстныя произведенія. Этотъ порядокъ измѣнился только вслѣдствіе различныхъ открытій и изобрѣтеній. Изобрѣтеніе компаса дозволило сократить морскую дорогу. Потомъ вновь открытыя страны, какъ напр. Америка, стали присылать въ болѣе значительномъ количествѣ новыя произведенія, на которыя жадно бросились потребители, напр. кофе, чай, табакъ и др. Впослѣдствіе улучшенныя средства сообщенія, желѣзныя дороги и пароходы уменьшили разстояніе между отдаленными странами и понизили издержки на транспортъ. Напрасно народы старались присвоить себѣ въ исключительное пользованіе рынки во вновь открытыхъ странахъ, напрасно они отдавали эксплуатацію ихъ привилегированнымъ обществамъ, или запрещали привозить товары, могущіе конкуррировать съ мѣстными произведеніями. Несмотря на все это, проломъ въ старомъ устройствѣ промышленности и торговли обнаружился и съ каждымъ днемъ расширялся. Заморскія произведенія входили постоянно въ большое употребленіе, требуя, вмѣстѣ съ тѣмъ, увеличенія продукціи съ цѣлью вывоза, для удовлетворенія потребности вновь открытыхъ странъ или самихъ европейцевъ, отправляющихся туда. Это увеличеніе строго требовало увеличенія продукціи, къ ко-

торому тогдашнія промышленныя корпораціи, по легко понятнымъ, эгоистическимъ соображеніямъ, относились недружелюбно. Увеличеніе прибыли изъ торговли и промышленности повело къ тому, что на окраинахъ стали образовываться новыя промышленныя заведенія, независимыя отъ прежнихъ корпорацій. Заведенія эти освобождались отъ прежнихъ ограниченій и охотно вводили новые, усовершенствованные способы продукціи, въ надеждѣ, что съ ихъ помощью они увеличатъ свои выгоды посредствомъ уменьшенія издержекъ на производство. Изобрѣтеніе паровыхъ машинъ убило окончательно прежнюю систему такъ-называемой мелкой промышленности. Эта промышленность не была въ состояніи успѣшно бороться съ своимъ соперникомъ, безъ сохраненія ограничивающихъ ее порядковъ. Съ другой стороны, необходимость увеличить количество рабочихъ рукъ разрушала окончательно узы, прикрѣпляющія работниковъ или къ землѣ поземельныхъ владѣльцевъ, или къ мелкимъ ремесленнымъ мастерскимъ. Надежда на бо́льшій барышъ привлекала ихъ къ новой промышленности, тѣмъ болѣе, что вслѣдствіе того они пользовались такою свободою, которой не имѣли ни на землѣ помѣщичьей, ни въ ремесленныхъ цехахъ. Они сами могли, наконецъ, сдѣлаться самостоятельными промышленниками.

Всѣ эти вмѣстѣ взятыя обстоятельства привели, въ концѣ концовъ, къ уничтоженію промышленныхъ корпорацій, къ отмѣнѣ присвоенныхъ имъ рынковъ, на которыхъ было основано ихъ существованіе, и къ созданію свободы труда, промышленности и торговли. Такимъ образомъ разрушилось, отчасти по крайней мѣрѣ, старинное устройство общества, жившаго мелкой промышленностью, такъ какъ устройство это перестало отвѣчать его потребностямъ. Вслѣдствіе того всѣ отрасли промышленности стали въ громадныхъ размѣрахъ развиваться, народонаселеніе возростать со скоростью, неизвѣстною въ среднихъ вѣкахъ, богатство же увеличилось соотвѣтственно тому. Новое устройство крупной промышленности, дѣйствующей, главнымъ образомъ, посредствомъ машинъ, не достигло еще окончательной своей формы, но во всякомъ случаѣ уже и теперь видно, что оно основывается на свободѣ промышленности и на открытіи рынка для всемірной конкурренціи.

Вся эта экономическая эволюція, начавшаяся еще въ средніе вѣка, обнаружилась съ особенною силою въ XIX столѣтіи. Вначалѣ открытіе новыхъ рынковъ оказало вліяніе на ея развитіе; а XIX столѣтіе довершило тò, чтò было начато прежде,—именно покореніе міра людьми европейской культуры. Еще въ началѣ текущаго столѣтія Сѣверная Америка, доступная для европейской

культуры, кончалась недалеко отъ береговъ Атлантическаго океана; испанскія колоніи въ Америкѣ не имѣли значенія; Африка была неизвѣстнымъ и пустыннымъ континентомъ; Азія была только-что открыта въ Индіяхъ; Китай и Японія были недоступны; Австралія была также пустынною, незаселенною страною. Въ настоящее время почти нѣтъ въ мірѣ уголка, въ который не проникали бы вмѣстѣ съ европейскими товарами и европейскія понятія. Европейскіе народы, соперничая между собою, бросаются во всѣ страны міра, гдѣ только могутъ открыть новый рынокъ для своей промышленности, или укрѣпить свое преобладаніе или господство, имѣющее, въ сущности, ту же цѣль. Отовсюду торговля доставляетъ сырые продукты или произведенія иностранной промышленности, посылая въ замѣнъ свои всюду, гдѣ оказывается въ нихъ потребность.

Изобрѣтеніе машинъ, великія техническія открытія, характеризующія XIX столѣтіе, преобразовали существенно всю промышленность, замѣняя ручной трудъ, исключительно существовавшій въ эпоху мелкой промышленности, трудомъ машинъ. Вслѣдствіе того продукція сдѣлалась въ неимовѣрныхъ размѣрахъ быстрою и снискала возможность доставлять неслыханное прежде количество произведеній. Для того, чтобы оцѣнить переворотъ, совершонный такимъ образомъ въ промышленности, довольно вспомнить, что паровая машина, силою въ одну лошадь, работаетъ столько же, сколько десять работниковъ, въ продолженіе того же времени. Въ различныхъ отрасляхъ промышленности скорость продукціи принимаетъ еще болѣе разительные размѣры. Такъ, напр., въ молотьбѣ хлѣба различіе между прежнимъ трудомъ человѣка и настоящимъ трудомъ машинъ относится какъ 1: 150. Въ прядильняхъ находимъ еще высшія отношенія. Способная работница въ трикотажахъ могла сдѣлать 80 петель въ минуту; машина можетъ ихъ сдѣлать 480.000, или: трудъ работницы къ труду машины относится какъ 1: 6000. Способная работница для того, чтобы сшить мужскую рубашку нуждается въ 14 часахъ 26 минутахъ; между тѣмъ машина сдѣлаетъ это въ продолженіе 1 часа и 16 минутъ, ибо работница въ состояніи сдѣлать только 23 стежка въ минуту, машина же дѣлаетъ ихъ 640.

Не подлежитъ сомнѣнію, что улучшенныя средства сообщенія, желѣзныя дороги, пароходы, телеграфы и почты произвели также громадное вліяніе на этотъ переворотъ. Всѣ они уменьшили издержки транспорта, понизили цѣну товаровъ, повліяли на увеличеніе количества торговыхъ оборотовъ, распространили произведенія промышленности по всѣмъ частямъ міра. Со времени при-

мѣненія пара къ желѣзнымъ дорогамъ и пароходамъ, цѣна транспорта товаровъ стремится къ постоянному пониженію. Продукты самые тяжелые и объемистые, которыхъ перевозъ прежде вовсе не оплачивался, высылаются въ настоящее время въ самыя отдаленныя страны. Индія и Америка доставляютъ хлѣбъ, хлопчатую бумагу, нефть; Австралія—шерсть; изъ Англіи каменный уголь, машины, желѣзныя издѣлія, ткани—расходятся повсюду; Швеція доставляетъ желѣзо и т. п. Довольно построить новую желѣзную дорогу или каналъ, чтобы открыть новое направленіе промышленности, разрушить прежнія торговыя отношенія, понизить цѣну извѣстныхъ произведеній, уничтожить извѣстные промыслы. Съ другой стороны, химія и механика напрягаютъ свои силы и дѣлаютъ новыя изобрѣтенія, долженствующія понизить цѣну продукціи и сдѣлать возможнымъ для массъ народа пріобрѣтеніе такихъ предметовъ, которые прежде были доступны только богатѣйшимъ.

Вслѣдствіе всѣхъ этихъ обстоятельствъ, и промышленность, и торговля, достигли неслыханныхъ прежде размѣровъ. Мѣновая международная торговля, представляющая одинъ милліардъ франковъ въ началѣ XVII ст., возвысилась до 10 милліардовъ въ началѣ XIX ст., а въ настоящее время дошла уже до 80 милліардовъ. И можно надѣяться, что продукція и мѣновая торговля со временемъ еще болѣе усилятся, вслѣдствіе чего будетъ возможнымъ считать ихъ на сотни или даже на тысячи милліардовъ.

Такое могущественное развитіе экономическихъ отношеній придало экономическимъ вопросамъ первостепенную важность. Вслѣдствіе того, не только внутреннія отношенія отдѣльныхъ странъ, но и международныя отношенія всѣхъ народовъ подверглись глубокому преобразованію. Политическіе вопросы, придворныя интриги и соперничество лицъ, дипломатическія комбинаціи и всѣ тѣ вліянія, которыя въ продолженіе стольких вѣковъ играли первостепенную роль, потеряли теперь бóльшую часть своего прежняго значенія и стали менѣе производить давленія на судьбы міра. Экономическіе вопросы заняли ихъ мѣсто. Вслѣдствіе того справедливо можно сказать, что нынѣшній дипломатъ долженъ обладать въ настоящее время способностью заключить скорѣе торговый договоръ, нежели политическій трактатъ. Колоніальные вопросы, пріобрѣвшіе такое значеніе въ послѣднее время въ международныхъ отношеніяхъ, въ сущности, не что иное какъ только экономическіе вопросы. Европейскія государства лихорадочно стремятся въ настоящее время къ увеличенію своихъ колоній, посредствомъ, напримѣръ, раздѣла между собою Африки для

того, чтобы обезпечить въ свою пользу рынки для продажи своихъ произведеній и такимъ образомъ пріобрѣсти большія экономическія выгоды. Экономическіе вопросы сдѣлались въ послѣднее время столь важны, что народы могутъ вести между собою войну, не поднимая даже оружія. Извѣстно, что два народа, находящіеся въ таможенной войнѣ, могутъ причинить себѣ вредъ, превышающій даже убытки, причиняемые войною.

Душою всего этого экономическаго стремленія, оживляющаго и несущаго на волнахъ своихъ въ невѣдомое будущее новое общество, служитъ свобода промышленности и конкурренція. Въ этомъ-то и состоитъ нынѣ самое большое различіе между обществами, придерживающимися еще системы мелкой промышленности, и обществами, въ которыхъ уже началась эра крупной промышленности, или въ которыхъ эта послѣдняя промышленность достигла извѣстной степени развитія. Въ первыхъ господствуетъ монополія въ пользу замкнутыхъ промышленныхъ корпорацій, обладающихъ присвоенными имъ ограниченными рынками. Напротивъ, при господствѣ крупной промышленности конкурренція пріобрѣла преобладающее значеніе. Провозглашеніе свободы промышленности возбудило конкурренцію не только между промышленниками извѣстной, ограниченной мѣстности,—напримѣръ, города или извѣстной страны,—но и между промышленниками различныхъ странъ. Въ настоящее время существуетъ уже международная, всеміриая конкурренція. Такимъ образомъ, конкурренція сдѣлалась двигателемъ, душою всего экономическаго развитія. Она вызываетъ нужду новыхъ, улучшенныхъ способовъ производства, увеличиваетъ количество произведеній, регулируетъ продажу, рѣшаетъ о направленіи новыхъ торговыхъ теченій и т. д.

Понятно, что столь могущественное экономическое движеніе не могло пройти безслѣдно, не произведя вліянія на состояніе самого общества. Очевидно, что общество, въ которомъ началась уже эра крупной промышленности, должно непремѣнно преобразовываться согласно ея требованіямъ. Невозможно предвидѣть въ настоящее время форму, какую приметъ человѣческое общество вслѣдствіе этой экономической эволюціи, тѣмъ болѣе, что еще нигдѣ она не завершилась окончательно. Однако, и изъ того, чтò было, и изъ того, чтò есть въ настоящее время, можно дѣлать нѣкоторыя заключенія относительно того, чтò со временемъ будетъ. Молинари, разсматривая этотъ вопросъ обстоятельно, пришелъ къ заключенію, что сверхъ реформы, въ собственномъ смыслѣ экономической, эта эволюція повлечетъ за собою еще два послѣдствія, особенно важныя для будущаго устрой-

ства общества. Къ послѣдствіямъ этимъ принадлежитъ распространеніе солидарности между людьми на все человѣчество и обобщеніе борьбы за существованіе.

Если въ обществѣ,—говоритъ Молинари,—устроенномъ согласно потребностямъ мелкой промышленности, хорошая или дурная дѣятельность отдѣльныхъ лицъ производила благотворное или вредное вліяніе только въ предѣлахъ извѣстной мѣстности, города, государства,—то иначе должно быть въ обществѣ, основанномъ на крупной промышленности и стремящемся къ завладѣнію цѣлымъ міромъ и установленію между всѣми людьми извѣстной связи и общности интересовъ. При господствѣ крупной промышленности не можетъ быть обществъ обособленныхъ, живущихъ собственною только жизнью, которыхъ члены не имѣютъ ничего общаго съ членами другихъ обществъ, но будетъ всемірное общество, въ которомъ каждое лицо будетъ производить вліяніе на другихъ. Изъ этого возникаетъ право всѣхъ защищаться противъ вредныхъ дѣйствій отдѣльныхъ личностей и обязанность каждаго поступать такъ, чтобы дѣятельность его отвѣчала интересамъ всѣхъ. Изъ этого возникнетъ необходимость установить одинъ общій, всемірный кодексъ уголовнаго права и морали, возвышающійся надъ всѣми отдѣльными уложеніями, которыя со временемъ будутъ имъ замѣнены. Доказательствомъ тому могутъ служить заботы объ опредѣленіи, путемъ международнаго законодательства, одинаковымъ образомъ, различныхъ отношеній, опредѣляемыхъ до этого времени различно въ каждомъ государствѣ, мѣстнымъ законодательствомъ. Къ нимъ принадлежатъ, напримѣръ, почты, телеграфы, отношенія санитарныя, торговыя, рыболовство, судоходство и многія другія. Еще болѣе доказывается это тою общностью идей, понятій и убѣжденій, какая обнаруживается постоянно съ большею силою во всемъ цивилизованномъ мірѣ, и вслѣдствіе которой идея, принятая законодательствомъ уголовнымъ или другимъ какимъ извѣстной страны, тотчасъ принимается всѣми, если она только полезна и соотвѣтственна духу времени.

Борьба за существованіе,—продолжаетъ Молинари,— которая въ царствѣ мелкой промышленности обнаруживалась только въ видѣ войны, — при господствѣ крупной промышленности и универсальной конкурренціи распространится на всѣ отрасли человѣческой дѣятельности. Крупная промышленность совершенствуетъ способы производства, устроиваетъ другія условія жизни, открываетъ громадную, всемірную мастерскую, въ которой производятся богатства. Но каждое поколѣніе должно заботиться

о томъ, чтобы всѣ его члены нашли въ ней помѣщеніе. Понятно, что, подъ вліяніемъ всемірной конкурренціи, не можетъ быть никакихъ привилегій въ этой мастерской. „Всѣ мѣста, всѣ званія будутъ въ ней доступны для всѣхъ, безъ различія расъ и національностей, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы они обладали способностями физическими, умственными и нравственными, вмѣстѣ съ познаніями, необходимыми для ихъ занятія или исполненія". Въ такомъ обществѣ „никто не будетъ въ состояніи освободиться отъ борьбы за существованіе, скрыться за привилегію касты, національности или даже пола, никто не будетъ пользоваться синекурою, никто, однимъ словомъ, не будетъ жить на счетъ другого. Каждый будетъ обязанъ доставить другимъ эквивалентъ того, что̀ отъ нихъ получаетъ. Но доступъ къ аренѣ будетъ для всѣхъ открытъ, и всякому будетъ возможно получить свою долю, соразмѣрно его вкладу и цѣнности его услугъ".

Конечно, будущее общество, котораго картину такимъ образомъ рисуетъ Молинари, еще слишкомъ отъ насъ далеко. Съ другой, однакоже, стороны, не подлежитъ сомнѣнію, что оно стремится къ осуществленію ея, и постоянно, хотя медленно, приближается къ своей цѣли. Движеніе къ тому началось въ глубокой древности, когда человѣкъ изобрѣтеніемъ перваго, грубаго орудія возвысился надъ другими животными. Наступленіе эры крупной промышленности доставило ему новый, могущественный толчокъ. Когда оно будетъ окончено—неизвѣстно, но во всякомъ случаѣ вѣрно то, что крупная промышленность съ всемірною конкурренціею производитъ громадное вліяніе на общество и передѣлываетъ его отношенія соразмѣрно своимъ требованіямъ. Въ настоящее время общество находится въ переходномъ состояніи, но все указываетъ, что отношенія, выработавшіяся подъ вліяніемъ мелкой промышленности, сокрушатся, стремясь къ извѣстному, коренному преобразованію.

Посмотримъ теперь, какое вліяніе произведетъ, или уже производитъ, эта экономическая эволюція на образованіе вообще и на средства пріобрѣтенія его, т.-е. учебныя заведенія. Въ этомъ отношеніи слѣдуетъ прежде всего замѣтить, что всякій трудъ, при помощи котораго человѣкъ добывалъ себѣ средства существованія, первоначально былъ почти исключительно физическимъ; умъ человѣка принималъ въ немъ незначительное только участіе. Физическій трудъ, ловкость, опытъ, привычка, усиліе мышцъ преобладали въ продолженіе всей эпохи мелкой промышленности. И тогда также нужно было извѣстное умственное напряженіе, но,

тѣмъ не менѣе, физическій трудъ игралъ самую важную роль. Тогда также для подготовки будущихъ производителей достаточно было практическое занятіе ихъ въ мастерской. Со времени возникновенія крупной промышленности произошла въ этомъ отношеніи глубокая перемѣна. Вездѣ эта промышленность стремится къ замѣщенію физическаго труда трудомъ машинъ или техническихъ средствъ и къ оставленію за человѣкомъ только обязанности направлять ихъ дѣйствіе и наблюдать за ними. Изъ этого явствуетъ, что крупная промышленность требуетъ несравненно болѣе, чѣмъ мелкая, умственнаго развитія, образованія. И это можно сказать не только о руководителяхъ этой промышленности, предпринимателяхъ, директорахъ промышленныхъ заведеній и т. п., но и о простыхъ работникахъ. Чѣмъ болѣе сложныя машины мы употребляемъ въ продукціи, тѣмъ болѣе развитыхъ, образованныхъ работниковъ мы принуждены употреблять для присмотра за ними.

Очевидно, въ какомъ образованіи нуждаются и первые, и послѣдніе для будущихъ своихъ занятій. Классическое образованіе не удовлетворяетъ потребностямъ ни первыхъ, ни послѣднихъ. Хотя бы будущіе промышленники, руководители промышленности, достигли въ гимназіи такой степени искусства въ знаніи греческаго языка, что были бы въ состояніи продекламировать сносно на сценѣ Софоклову „Антигону“ или другую греческую трагедію, и несмотря на то классическое образованіе не только имъ ничего не поможетъ, но даже будетъ составлять препятствіе въ пріобрѣтеніи знаній, необходимыхъ имъ для обезпеченія существованія или дальнѣйшаго развитія промышленности. Тѣмъ болѣе этотъ классъ теперь нуждается въ другомъ образованіи, что, вслѣдствіе вышеуказанныхъ обстоятельствъ и громадной всемірной конкурренціи, онъ заблаговременно долженъ запастись соотвѣтственнымъ приготовленіемъ къ тому, чтобы устоять въ борьбѣ съ надеждою на побѣду.

Сверхъ того, слѣдуетъ обратить вниманіе и на то, что вслѣдствіе новыхъ стремленій, о которыхъ мы говорили выше, продуктивные классы, прежде подчиненные, возвысились въ общественной іерархіи и сравнялись съ классами, исключительно правящими обществомъ; руководители промышленности, въ свою очередь, сдѣлались классомъ, руководящимъ обществомъ, la classe dirigeante, die leitende Klasse. Это новое положеніе налагаетъ на этотъ классъ также и новыя обязанности. Руководящій классъ настолько можетъ существовать, насколько докажетъ, что обладаетъ достаточными способностями къ управленію собою и другими классами. Способности эти онъ можетъ пріоб-

рѣсти только *лучшимъ пониманіемъ потребностей и нуждъ современнаго общества и великихъ интересовъ человѣчества*. Какъ отдѣльное лицо нуждается въ образованіи, посредствомъ котораго оно могло бы соотвѣтственно приготовиться къ доставленію себѣ извѣстнаго положенія въ обществѣ, къ исполненію будущихъ обязанностей, въ качествѣ отца семейства, человѣка, имѣющаго спеціальное занятіе, члена общества, такъ и цѣлые народы должны обладать соотвѣтственнымъ образованіемъ, чтобы удержать свое мѣсто среди другихъ народовъ. Какъ отдѣльная личность, не обладая соотвѣтственнымъ образованіемъ, лишена прочныхъ основъ существованія, и вслѣдствіе того не въ состояніи достигнуть значительныхъ результатовъ въ жизни, не въ состояніи выдержать конкурренціи съ другими, лучше приготовленными и поэтому болѣе сильными,— такъ и цѣлые народы безъ соотвѣтственнаго приготовленія, образованія, не въ состояніи защищаться отъ вредныхъ послѣдствій своего безсилія, и не могутъ добиться выгоднаго положенія въ конкурренціи съ прочими. Какъ отдѣльной личности, такъ и цѣлымъ народамъ, угрожаетъ вслѣдствіе того обѣдненіе, среди всеобщаго обогащенія, а вслѣдъ за тѣмъ и упадокъ.

Въ доказательство того, что эти слова не только пустыя фразы, позволимъ себѣ привести одинъ, довольно краснорѣчивый, по нашему мнѣнію, примѣръ. Всѣмъ извѣстно, что въ настоящее время сельское хозяйство въ Европѣ переживаетъ чувствительный кризисъ, происходящій въ значительной степени отъ того, что европейскіе хлѣбные рынки засыпаны американскимъ хлѣбомъ. Этотъ фактъ, столь невыгодный для странъ, въ которыхъ сельское хозяйство составляетъ одну изъ главнѣйшихъ отраслей промышленности, а затѣмъ и главнѣйшій источникъ дохода, объясняется тѣмъ, что сѣверо-американскіе штаты успѣли съ 1857 по 1887 г. увеличить стоимость своей сельско-хозяйственной продукціи съ 8.375 милліоновъ до 19.355 милліоновъ франковъ. Напротивъ, европейскіе народы не успѣли увеличить своей продукціи въ такомъ же размѣрѣ и потому не были въ состояніи выдержать конкурренцію съ Америкою [1]). Не станемъ, разумѣется, утверж-

[1]) На основаніи статистическихъ данныхъ, относящихся къ Россіи, нельзя, насколько мнѣ кажется, дѣлать положительныхъ выводовъ относительно того, увеличилась ли въ ней продукція хлѣба въ послѣднее время. На основаніи отчетовъ о внѣшней торговлѣ можно бы полагать, что она увеличилась, даже въ значительныхъ размѣрахъ, такъ какъ вывозъ хлѣба и вообще средствъ продовольствія постоянно увеличивался. Такъ напр., въ 1866 г. вывозъ составлялъ 80 мил. руб.; въ 1867 г.—101 м.; въ 1868 г.—82 м.; въ 1869 г.—98 м.; въ 1870 г.—177 м.; въ 1871 г. —195 м.; въ 1872 г.—151 м.; въ 1873 г.—182 м. (Обзоръ внѣшней торговли Россіи за 1877 г., стр. V); въ 1874 г.—232 м.; въ 1875 г.—200 м.; въ 1876 г.—225 м,

дать, чтобы исключительною причиною этого явленія было лучшее техническое приготовленіе американцевъ, такъ какъ причины его были различны. Но не подлежитъ сомнѣнію, что и это обстоятельство не осталось безъ значенія и вліянія въ этомъ отношеніи, и легко понять, какими опасностями угрожаетъ повтореніе такого явленія въ другихъ отрасляхъ промышленности народамъ, занимающимся ими, изъ нихъ извлекающими свои средства содержанія.

Такими фактами нельзя пренебрегать, тѣмъ болѣе, что конкурренція, почти вовсе не существовавшая прежде, вслѣдствіе экономическаго развитія пріобрѣтаетъ все болѣе и болѣе значенія; она дѣлается не только международною, но и всемірною. Наступитъ время, когда весь земной шаръ будетъ однимъ громаднымъ рынкомъ, на которомъ всѣ будутъ вступать въ конкурренцію, подвергаясь всѣмъ ея условіямъ, а потому и пагубнымъ послѣдствіямъ, вытекающимъ изъ меньшей способности, изъ несоотвѣтственнаго приготовленія. И теперь уже эта конкуренція до такой степени распространилась, что не только народы конкуррируютъ съ народами, но расы съ расами. Народы стараются уравновѣсить свое недостаточное техническое приготовленіе посредствомъ высокихъ таможенныхъ пошлинъ, которыя, однакожъ, впослѣдствіи оказываются недостаточными; расы желаютъ обезпечить себя отъ конкурренціи другихъ расъ посредствомъ недопущенія въ нее вообще тѣхъ, которыхъ считаютъ опасными. Такъ напр., извѣстно, какіе строгіе законы были изданы въ сѣверо-американскихъ штатахъ и въ Канадѣ въ виду недопущенія китайскихъ рабочихъ, желтой расы. Законы же эти были вызваны опасеніемъ, что китайскій работникъ, по причинѣ своей дешевизны и способности, будетъ опаснымъ конкуррентомъ для мѣстныхъ рабочихъ. И въ

(Обзоръ за 1877 г., стр. IV); въ 1877 г.—302 м.; въ 1878 г.—388 м.; въ 1879 г.—385 м.; въ 1880 г.—247 м.; въ 1881 г.—261 м.; въ 1882 г.—350 м.; въ 1884 г.—347 м.; въ 1885 г.—334 м.; въ 1886 г.—274 м. (слѣдующіе Обзоры). Наконецъ, въ 1888 г. вывозъ дошелъ до 502 мил. (Обзоръ за 1889 г. Изданіе департамента таможенныхъ сборовъ). Между тѣмъ, сравнивая статистическія данныя, указанныя Вильсономъ (Хозяйственно-статистическій атласъ европейской Россіи, изданный департаментомъ земледѣлія и сельской промышленности мин. госуд. им., изд. 4. Спб. 1869, объясненія), съ данными, помѣщенными въ Матеріалахъ по статистикѣ хлѣбной производительности въ Евр. Россіи. Спб. 1880. (изданіе статистич. отдѣленія департ. земл. и сельск. промышленности), можно придти къ заключенію, что продукція не только не увеличилась съ 1860 по 1880 гг., но, напротивъ, уменьшилась. Изъ данныхъ, относящихся къ 25 внутреннимъ, остзейскимъ и сѣверо-западнымъ губерніямъ, видно, что продукція увеличилась только въ шести—на 1.443.000 четвертей, но уменьшилась въ 19—на 11.594.000 четв. По тѣмъ же даннымъ въ 16 губ. царства польскаго продукція съ 1870 по 1876 г. возросла съ 21.105.000 четвер. до 21.715.000 четв.

Австраліи также англійскія колоніи обезпечили себя такимъ же образомъ отъ столь опасной конкурренціи. Но обезпеченіе это можно считать только временнымъ, такъ какъ со временемъ и китайцы, которыхъ страну европейскіе народы открываютъ себѣ пушками, на основаніи права взаимности, будутъ требовать, чтобы и имъ былъ открытъ доступъ въ страны европейскія. Тогда только эта конкурренція представится во всей своей грозѣ. Уже и теперь опасность этой конкурренціи съ желтою расою ясно представляется болѣе дальновиднымъ экономистамъ. Такъ напр., Леруа-Больё утверждаетъ, что нужно было пригласить на берлинскую конференцію, опредѣлившую рабочій день въ 8 часовъ, Китай и Японію, по поводу возможнаго съ ними соперничества. Этотъ экономистъ опасается, чтобы народы эти, снабдивъ себя нашими техническими свѣдѣніями и нашими машинами, не показали чрезъ нѣсколько десятковъ лѣтъ Европѣ, къ чему способны люди, не потерявшіе еще привычки работать. Въ самомъ дѣлѣ, эти народы могутъ сдѣлаться въ высшей степени опасными для промышленности, а вслѣдствіе того и для всего экономическаго быта европейскихъ народовъ, потому что они имѣютъ дешеваго, способнаго и выносливаго работника. Заработная плата мужского работника въ сельскомъ хозяйствѣ въ Японіи, за 12—14 часовъ работы, не превышаетъ 90 сантимовъ ($22^1/_2$ коп. по номинальной цѣнѣ), а въ промышленности 45—60 сантимовъ ($11^1/_4$—15 коп.). Женщина заработываетъ только $32^1/_2$ сант. (8 коп.). И нужно прибавить, что количество народонаселенія этихъ странъ доходитъ до 440 милліоновъ и далеко превышаетъ народонаселеніе всей Европы.

На этомъ основаніи можно придти къ заключенію, что и отдѣльныя лица, и цѣлые народы, должны заботиться о доставленіи себѣ, посредствомъ образованія, соотвѣтственнаго приготовленія къ ожидающей ихъ взаимной экономической борьбѣ. Но такого приготовленія нельзя, очевидно, доставить себѣ посредствомъ классическаго образованія, и вотъ почему всѣ народы въ самой высшей степени заинтересованы теперь въ томъ, чтобы замѣнить это образованіе другимъ, лучше отвѣчающимъ ихъ настоящему состоянію и потребностямъ. Замѣна эта составляетъ для нихъ самый жизненный вопросъ, такъ какъ для всѣхъ она составляетъ вообще культурный вопросъ, отъ успѣшнаго рѣшенія котораго зависитъ ихъ благосостояніе и развитіе, а для иныхъ идетъ даже вопросъ о самомъ существованіи. Общество, которое раньше прочихъ успѣло бы до конца провести реформу, было бы сильнѣе въ сравненіи съ другими, было бы лучше обезпечено

отъ убытковъ и опасностей, угрожающихъ ему, вслѣдствіе недостаточнаго къ взаимной борьбѣ приготовленія.

Хотя по всѣмъ вышеуказаннымъ соображеніямъ реформа такого рода въ высшей степени желательна, но мы не думаемъ, чтобы она могла вскорѣ и вполнѣ осуществиться. Причины же этого различны.

Первую причину составляетъ, конечно, врожденный человѣку консерватизмъ, вслѣдствіе котораго новыя понятія, идеи, чрезвычайно медленно проникаютъ въ глубь общества, измѣняя постепенно его наклонности и убѣжденія. Этотъ врожденный консерватизмъ до такой степени силенъ, что громадное большинство людей не задаетъ себѣ даже труда подвергнуть критикѣ существующія учрежденія или условія быта, хотя бы они не отвѣчали его потребностямъ и хотя бы они причиняли ему вредъ или угрожали опасностью. Люди долго довольствуются тѣмъ, что существуетъ, хотя бы это было вредно, даже по ихъ мнѣнію, и не заботятся о достиженіи лучшаго. Къ такимъ людямъ можно бы примѣнить слова: credo, quia absurdum.

Дальнѣйшая причина состоитъ въ томъ, что и сама реформа представляетъ немалыя затрудненія къ осуществленію. Положимъ, напр., довольно одного распоряженія, чтобы сдѣлать греческій языкъ вовсе необязательнымъ или обязательнымъ только для тѣхъ, которые нуждаются въ немъ для своихъ будущихъ занятій, напр. филологовъ. Но другія реформы не представляютъ такой легкости въ осуществленіи. Такъ напр., еслибы было постановлено, что лингвистическое обученіе учениковъ должно начинаться однимъ изъ новыхъ языковъ, который долженъ составить основу ихъ лингвистическаго образованія, то тутъ нужно будетъ прежде всего позаботиться о достаточномъ количествѣ хорошо приготовленныхъ учителей. Въ этомъ отношеніи довольно вспомнить, что реформа гимназій въ Швеціи, основывающаяся на первенствѣ новыхъ языковъ, не приносила сначала соотвѣтственныхъ результатовъ именно по недостатку хорошо приготовленныхъ учителей.

Дальше слѣдуетъ обратить вниманіе на то, что каждая педагогическая реформа представляетъ затрудненія еще и потому, что хотя бы планъ ея былъ составленъ самымъ лучшимъ образомъ, тѣмъ не менѣе исполненіе его всегда должно быть ввѣрено прежнему учительскому составу. Этотъ составъ, пропитанный прежними понятіями, преданіемъ, рутиною, — будетъ или равнодушно, или даже недружелюбно относиться къ реформѣ. Очевидно, многіе учителя, въ особенности древнихъ языковъ, привыкшіе въ продолженіе всей своей жизни видѣть въ

классическомъ образованіи единственное, исключительное средство къ пріобрѣтенію образованія, будутъ самыми сильными противниками реформы, хотя бы по самолюбію, препятствующему имъ отказаться отъ прежнихъ идеаловъ. Это самолюбіе воспрепятствуетъ имъ также признать, что классическое образованіе — если не сдѣлалось вполнѣ безполезнымъ, то, по крайней мѣрѣ, потеряло большую часть прежняго своего значенія, и польза, доставляемая имъ, далеко не составляетъ достаточнаго вознагражденія за столько самыхъ прекрасныхъ лѣтъ молодости, посвященныхъ на его пріобрѣтеніе. Насколько такое сопротивленіе или глухая вражда могутъ быть сильны — доказываетъ то, что реформа Фортуля, во время Наполеона III, во Франціи, состоявшая въ такъ-называемой бифуркаціи, разбилась о тайную вражду учителей. Учителя же были ея противниками не столько по педагогическимъ соображеніямъ,—такъ какъ она не была столь плоха, какъ о ней обыкновенно говорили,—сколько по политическимъ соображеніямъ: они видѣли въ ней стремленіе императорскаго правленія унизить университетъ. Такимъ же образомъ и въ настоящее время реформа 1880 г. встрѣчаетъ тамъ же самое важное препятствіе въ учительскомъ сословіи, не могущемъ отказаться отъ прежнихъ, устарѣвшихъ методовъ и пріемовъ обученія.

Какъ мы видѣли выше, одну изъ составныхъ частей новаго образованія составляютъ новые языки, долженствующіе въ будущемъ занять мѣсто, занимаемое до настоящаго времени классическими языками въ среднемъ образованіи. Но въ этомъ отношеніи, преувеличеніе можетъ принести болѣе вреда, чѣмъ пользы. Нѣкоторые именно, оцѣнивая значеніе этихъ языковъ, желали бы учить имъ слишкомъ много, желали бы, чтобы ученики въ гимназіяхъ обучались нѣсколькимъ новымъ языкамъ. Преувеличеніе въ этомъ направленіи можно считать естественнымъ послѣдствіемъ того, что до настоящаго времени главное вниманіе обращено было на лингвистическую сторону образованія, вслѣдствіе чего въ училищахъ обучали преимущественно языкамъ. Только въ болѣе новыя времена обращено было болѣе вниманія на научную сторону образованія. Преувеличеніе, однакожъ, въ этомъ отношеніи можетъ повести къ тому, что ученики, обязанные учиться слишкомъ значительному количеству новыхъ языковъ, не будутъ въ состояніи ни одного изъ нихъ изучить основательно, и въ ихъ головѣ возникнетъ истинное вавилонское столпотвореніе [1]). Между тѣмъ понятно, что лучше знать хотя бы только

---

[1]) Въ доказательство этого стремленія къ преувеличенію можно бы привести

одинъ иностранный языкъ, но основательно, такъ чтобы съ его помощью можно было проникнуть въ культуру другого народа, чѣмъ знать поверхностно нѣсколько даже языковъ; такое знанie не можетъ принести большой выгоды.

Вопросъ этотъ важенъ по двумъ соображенiямъ. Во-первыхъ, потому, что обремененiе памяти учениковъ чрезмѣрнымъ количествомъ грамматическихъ формъ будетъ имъ препятствовать къ достиженiю высшаго умственнаго развитiя. Не каждый ученикъ обладаетъ лингвистическими способностями полиглотта Меццофанти, вслѣдствiе чего, не будучи въ состоянiи одолѣть лингвистическiя затрудненiя, онъ будетъ принужденъ пренебречь своимъ умственнымъ развитiемъ. Во-вторыхъ, вопросъ этотъ важенъ и потому, что отъ рѣшенiя его зависитъ въ значительной степени успѣшное развитiе высшихъ учебныхъ заведенiй, а даже и науки вообще. Въ этомъ отношенiи можно сказать положительно, что если высшiя учебныя заведенiя, университеты, не приносятъ такой пользы, какой имѣемъ право отъ нихъ требовать, если результаты университетскаго обученiя не вполнѣ удовлетворительны, то это отчасти слѣдуетъ приписать недостаточному знакомству студентовъ съ новыми языками. Гимназисты въ настоящее время поступаютъ въ университетъ съ незначительнымъ знанiемъ греческаго языка, который стараются какъ можно скорѣе забыть, съ немного болѣе обширнымъ знанiемъ латинскаго языка, изъ котораго они могутъ сдѣлать только ограниченное примѣненiе въ будущихъ своихъ научныхъ занятiяхъ,—но зато съ полнымъ почти незнанiемъ новыхъ языковъ. Между тѣмъ, гдѣ будущiй врачъ, естественникъ, математикъ и даже юристъ долженъ искать науки, за которою онъ пришелъ въ университетъ, если не въ сочиненiяхъ новыхъ авторовъ? Какимъ образомъ онъ можетъ изучить науку, если онъ лишенъ даже ключа къ ней — знанiя языка, если не въ состоянiи читать многихъ авторовъ и понимать ихъ? Поэтому необходимымъ условiемъ будущаго новаго образованiя слѣдуетъ считать знанiе, по крайней мѣрѣ, одного новаго языка, но такое, которое составляло бы дѣйствительное пособiе для будущихъ научныхъ занятiй молодымъ людямъ, посѣщающимъ университеты или другiя высшiя учебныя заведенiя. Въ среднiе вѣка, когда ученыя сочиненiя писали только на латинскомъ языкѣ, каждый, желающiй

одного изъ французскихъ писателей, желавшаго, чтобы ученики въ среднихъ заведенiяхъ обучались, сверхъ французскаго, латинскаго и греческаго языковъ, еще нѣмецкому, англiйскому, испанскому и итальянскому, забывая, что это можно причислить къ невозможностямъ.

достигнуть высшаго образованія, долженъ былъ усвоить себѣ основательно этотъ языкъ. Это было условіе, безъ котораго нельзя было обойтись. Въ новое время никто не пишетъ ученыхъ сочиненій на латинскомъ языкѣ; полное же образованіе можно доставить себѣ посредствомъ различныхъ языковъ. Но изъ этого вытекаетъ одно, а именно, что основательное знаніе, по крайней мѣрѣ, одного новаго языка сдѣлалось въ настоящее время необходимостью.

Среднія учебныя заведенія, существовавшія до этого времени имѣя въ виду преимущественно лингвистическое или ученое образованіе, пренебрегали почти вполнѣ нравственною стороною, развитіемъ нравственныхъ, этическихъ понятій и чувствъ человѣка. Если такое пренебреженіе можно было простить прежнимъ школамъ, то его нельзя простить новымъ. Новое образованіе, еще болѣе чѣмъ прежнее, нуждается въ развитіи нравственной стороны человѣка, въ образованіи этой—schönen, freien Menschlichkeit und edlen Geistesbildung, какъ выражался Гумбольдтъ. Экономическое развитіе, оживляющее современное общество, всеобщая конкурренція—его послѣдствіе—могли бы угрожать самыми важными опасностями, еслибы не были сдерживаемы и регулируемы нравственными соображеніями. Недостатокъ извѣстныхъ свѣденій легко пополнить, даже послѣ оставленія школы, но недостатка нравственныхъ чувствъ и понятій ничто уже впослѣдствіи не въ состояніи вознаградить. Вотъ почему новое образованіе должно обращать гораздо болѣе вниманія на нравственное, нежели на умственное образованіе будущихъ поколѣній; оно должно усиленно заботиться о томъ, чтобы школа давала намъ не столько хорошихъ филологовъ или реалистовъ, сколько честныхъ, благородныхъ и благовоспитанныхъ людей.

Ант. Окольскій.

СУМАСШЕДШІЙ.

Изъ сказки о глупомъ вѣсѣ *).

...„Я въ полномъ разумѣ. Но только разъ я въ сутки
Бываю въ свѣтломъ промежуткѣ.
И такъ какъ длится онъ всего минутъ лишь пять,—
Мнѣ время некогда терять.
Я въ книгѣ жизни—опечатка.
Въ природѣ есть такой хозяйственный разсчетъ:
Она ненужнаго для жизни не даетъ...
И въ силу этого порядка,
Къ средѣ приноровясь, устроился весь свѣтъ.
Вдругъ—исключенье! Мнѣ дается умъ. Ну, кстати ль?
Вѣдь познаваемаго нѣтъ,—
На кой же чортъ мнѣ—познаватель?
О чемъ посудишь? Чтò поймешь?
Чѣмъ истина яснѣй, тѣмъ больше вѣры въ ложь!
Источникъ мрака—свѣтъ! Добро—виновникъ бѣдствій!
Явленья—безъ причинъ! Причины—безъ послѣдствій!..
Вѣдь я—скажу безъ хвастовства—
Былъ умница. Безъ перерывовъ прежде
Работала вотъ эта голова.
Бывало: думаю, все думаю—въ надеждѣ,
Что нашъ родимый бытъ осмыслю и пойму...
Нѣтъ, не совѣтую здѣсь думать никому!

[1]) Сцена—изъ той же сказки—съ другими сумасшедшими была напечатана въ іюньской книгѣ „Вѣстника Европы“ 1882 г.

Гасите умъ, коль есть! У насъ быть умнымъ—глупо!
Какъ не воротишь къ жизни трупа,—
Хоть самъ будь жизни полнъ,—такъ изъ мозговъ идей
Не вызвать здѣсь, хоть сто умовъ имѣй!..
Ни думъ своихъ таить не могъ я, не страдая,
Ни уподобиться сознательно скоту...
И вотъ въ бездонную нырнулъ я пустоту,
Гдѣ думъ ужъ нѣтъ; гдѣ только—ночь глухая.
Лишь изрѣдка мнѣ тамъ мелькаютъ огоньки,
Какъ будто бы на мигъ заглянетъ солнце въ щёлку...
Ахъ, промежутки-то какъ эти коротки!..
Я кончилъ. Отъ меня не будетъ больше толку.
Ужъ началось... Пора предупреждать бѣду...
Гдѣ жъ сторожа?.. Не то—ха! ха!—задамъ я страху!..
Ай, плохо мнѣ... Скорѣй!.. Льду! льду! на темя льду!..
Вязать меня!.. Крутить!.. Надѣньте мнѣ рубаху!..“

Алексѣй Жемчужниковъ.

ИЗЪ ПСИХОЛОГІИ НАРОДОВЪ

Экономическое значеніе „времени“ и „пространства“.

— Sein und Werden in Raum und Zeit. Wirthschaftliche Studien von Emanuel Hermann. 1889.

Обсужденіе вопросовъ, относящихся къ значенію „времени“ и „пространства“, донынѣ находилось исключительно въ области философіи, или той ея вѣтви, которая со времени Канта получила названіе „трансцендентальной эстетики“, а теперь слыветъ иногда подъ именемъ „физіологической психологіи“ [1]). Эта тэма— весьма старая, слѣдовательно, въ философіи,—является, однако, новою въ народномъ хозяйствѣ. Человѣкъ не можетъ ничего сознавать внѣ „времени“ и „пространства“,—учитъ насъ философія; но точно также онъ не можетъ, конечно, совершать какихъ-либо хозяйственныхъ дѣйствій иначе, какъ при томъ же самомъ условіи. „Время“ и „пространство“ являются такими моментами, съ которыми связана и находитъ въ нихъ свое выраженіе вся экономическая жизнь человѣка. Различіе между ними въ томъ и другомъ направленіи, создаваемое степенью культуры и хозяйственнаго развитія, а иногда, можетъ быть, и этнографическими особенностями,—кладетъ рѣзкую грань между людьми, какъ между различными народностями, такъ и у одного и того же народа, но за разные періоды его существованія. Когда, напримѣръ, предки современнаго англичанина или француза, были звѣроловами и

[1]) См. по этому вопросу статью д-ра Kanner'a въ журналѣ „Das Handels-Museum, Wien, 31 October, 1889, № 44.

только лишь осѣли и пріучались къ земледѣлію, то, разумѣется, они совершенно иначе въ ихъ хозяйственныхъ требованіяхъ относились къ „времени“ и „пространству“, нежели ихъ настоящіе потомки. Въ то время, какъ для успѣха звѣроловнаго промысла требовались многія мили пустынныхъ тогда пространствъ земли, населенныхъ лишь дичью и звѣрями,—въ наши дни достаточно, говорятъ, одного акра, и даже меньше, огородной земли въ окрестностяхъ Лондона или Парижа, чтобы пропитать цѣлую семью работника, и, вѣроятно, лучше и вѣрнѣе, нежели многія мили той же земли доставляли продовольствія его отдаленному предку. Разница въ отношеніи ко „времени“ въ различные періоды исторіи еще понятнѣе и поразительнѣе и не требуетъ объясненія. Даже образованный человѣкъ какихъ-нибудь сто лѣтъ назадъ едва-ли могъ понять и повѣрить быстротѣ людскихъ сообщеній конца XIX вѣка, съ ихъ молніеносными поѣздами, электрическимъ телеграфомъ и переговорами на пространствѣ многихъ верстъ посредствомъ телефона.

Первобытный человѣкъ, какъ онъ уцѣлѣлъ лишь на нѣкоторыхъ островахъ Австраліи, во внутренней Африкѣ и немногихъ другихъ частяхъ земного шара, является въ отношеніи ко „времени“ въ истинномъ смыслѣ *„человѣкомъ минуты или момента“*. На самыхъ раннихъ ступеняхъ такого состоянія человѣкъ добываетъ себѣ пропитаніе только такими способами, которые не требуютъ предварительныхъ заботъ и труда, а доставляются немедленно передъ потребленіемъ, ловлей или собираніемъ; поэтому онъ питается преимущественно дикими плодами, рыбой, мелкой дичью, раковинами, червями и проч. Удалась такая охота—онъ пожираетъ огромное количество пищи, какъ бы про запасъ на будущую голодовку; нѣтъ—онъ голодаетъ или обращается къ канибализму, хотя послѣдній можетъ процвѣтать, впрочемъ, и при полномъ обиліи пищи; о запасахъ для будущаго „человѣкъ минуты“ обыкновенно не заботится; какъ правило, для него не существуетъ ни прошедшаго, ни будущаго, а лишь одно настоящее; поэтому, промышляя себѣ пищу, дикарь прежде всего и думаетъ только объ удовлетвореніи тотчасъ же своего аппетита. Новозеландскій рыбакъ часть своей лодки покрываетъ глиной, разводитъ огонь и немедленно поѣдаетъ полусырую рыбу, только-что имъ пойманную, ничего часто не привозя къ себѣ домой; сильный голодъ и сильное обжорство, такимъ образомъ, чередуются. „Ѣда, напримѣръ, для американцевъ-дикарей то же,—пишетъ одинъ миссіонеръ,—что напитки для пьяницъ Европы. Эти всегда жаждущія души умерли бы въ чашѣ мальвазіи, а дикари—

въ кострюлѣ съ мясомъ; тѣ только и говорятъ, что о питьѣ, эти—только о ѣдѣ“ [1]). Жадность до обжорства, когда у нихъ есть чѣмъ удовлетворить голодъ, и вынужденная умѣренность въ случаѣ отсутствія пищи, не показывая и вида желанія, составляютъ также общую черту многихъ дикарей. Въ своей чувственной сторонѣ примитивный человѣкъ одинаково не знаетъ никакого удержу и регулятора, а живетъ лишь влеченіемъ минуты, и потому, большею частью, безпорядочное половое сожитіе или, по крайней мѣрѣ, многоженство является естественнымъ и необходимымъ послѣдствіемъ. Этотъ дикарь не прочь съѣсть своего врага и похитить его женъ, но о продовольствіи ихъ рѣдко заботится,— онѣ сами должны промышлять себѣ пропитаніе. Вообще, забота о другихъ, какъ и предусмотрительность о будущемъ, ему чужды и для него совершенно не существуютъ, даже на болѣе сравнительно высокой степени развитія, на которой, напримѣръ, находятся краснокожіе индѣйцы въ Америкѣ; они часто поражаютъ наблюдателя своимъ равнодушіемъ къ собственной участи въ будущемъ. Послѣ удачной охоты, убивши огромную массу животныхъ (напримѣръ, бизоновъ), мяса которыхъ, можетъ быть, хватило бы для ихъ пропитанія цѣлый годъ, они вырѣзываютъ лишь лучшіе, болѣе лакомые куски убитыхъ животныхъ, часто бросая все остальное на добычу собакамъ и дикимъ животнымъ и страшно голодая впослѣдствіи отъ своей непредусмотрительности [2]).

„Человѣкъ минуты“ не знаетъ постояннаго жилища, построеннаго на всю жизнь или на продолжительное время, а лишь заботится объ удовлетвореніи насущной потребности на данное *короткое* время, на случай непогоды, бури или прінсканія ночлега: дупло, пещера, а чаще всего шалашъ, наскоро сдѣланный, удовлетворяютъ этой потребности. Поэтому у многихъ западно-экваторіальныхъ племенъ—приводитъ, напримѣръ, дю-Шайллю— самая деревня является только какъ бы мѣстомъ *краткаго* отдохновенія племени, и при первомъ смертномъ случаѣ въ деревнѣ

---

[1]) *Н. И. Зиберъ.* Очерки первобытной культуры. Москва, 1883, стр. 16.

[2]) „Въ 1831 году близь факторіи Іорка на сѣверѣ Америки,—описываетъ Симпсонъ,—произошло расточительное избіеніе оленей. Туземцы взяли нѣсколько мяса для немедленнаго потребленія, но тысячи тѣлъ были пущены по теченію, заражали гніеніемъ берега или плавали по Гудсонъ-Баю, гдѣ питали морскихъ птицъ и полярнаго медвѣдя. Точно въ видѣ отместки за эту варварскую бойню, въ которой принимали участіе даже женщины и дѣти, олени послѣ того ни разу больше не посѣтили этой страны въ подобномъ количествѣ. Такому собственному неблагоразумію туземцевъ,— заключаетъ онъ,—слѣдуетъ приписать послѣдовавшіе случаи смерти отъ голода и покиданіе престарѣлыхъ и немощныхъ“. T. Simpson: Narrative of the Discoveries of the North Coat of America. London. 1843.

она цѣликомъ переселяется на новое мѣсто [1]). Одѣяніе первобытнаго человѣка соотвѣтствуетъ жилищу, т.-е. употребляется лишь на *короткій* срокъ и заключается въ какихъ-нибудь листьяхъ и циновкахъ, которыми „человѣкъ минуты" прикрываетъ части своего тѣла, или даже во втираніи въ тѣло какого-нибудь масла или растительныхъ соковъ и раскрашиваніи минеральными красками. Подъ тропиками, гдѣ растенія часто цвѣтутъ и вмѣстѣ съ тѣмъ приносятъ плоды, а животныя не знаютъ зимняго сна, подобная жизнь человѣка можетъ продолжаться цѣлыя тысячелѣтія, какъ это бываетъ у нѣкоторыхъ племенъ.

„Человѣкъ минуты" не работаетъ; онъ или забавляется, стараясь переложить всѣ заботы—если въ немъ уже проснулось такое чувство—на своихъ женъ или рабовъ, если онъ ихъ имѣетъ, или иногда, впрочемъ, онъ принимаетъ на себя, по капризу, то или иное занятіе, но безъ плана и, бо́льшею частью, безъ строго опредѣленной цѣли. Общими чертами нравовъ всякихъ дикарей можно считать, по выраженію одного французскаго путешественника, „вражду къ труду, занятіе только настоящимъ, отсутствіе всякаго безпокойства о будущемъ, неспособность къ предусмотрительности и размышленію". Свидѣтельства тысячи путешественниковъ одинаково подтверждаютъ существованіе чрезвычайной лѣни (иногда, впрочемъ, чередуемой и сильнымъ напряженіемъ) и нерасположенія къ труду, какъ отличительной и характерной особенности всѣхъ почти дикарей всевозможныхъ расъ. Не подлежитъ сомнѣнію, что всѣ эти черты представляютъ самые существенные недостатки экономической организаціи первобытныхъ народовъ, которые, однако, непосредственно вытекаютъ изъ самыхъ условій, въ какія они поставлены. Основною причиной является невозможность регулировать производство и потребленіе сравнительно незначительнаго числа людей, добывающихъ свои средства существованія съ опредѣленнаго, хотя и обширнаго, пространства земли. Поэтому племя охотниковъ или звѣролововъ легче подвергнется вымиранію отъ голода въ случаѣ недостаточности пищи, чѣмъ перейдетъ въ высшее состояніе культуры. Одной изъ важныхъ причинъ этой медленности развитія могутъ считаться трудность и рѣдкость сношеній между людьми, вслѣдствіе, во-первыхъ, недостатка путей сообщенія и, во-вторыхъ, враждебности большинства дикарей другъ съ другомъ [2]).

---

[1]) Du-Chaillu: Explorations and adventures in equatorial Africa; London, 1861, стр. 445, а также Africanische Jurisprudenz, ethnologisch-juristische Beiträge zur Kenntniss der einheimischen Rechte Africas, von dr. Albert Hermann Post. Oldenburg und Leipzig, 1887, часть II, стр. 167.

[2]) См. у *Зибера* „Очерки первобытной культуры", Москва, 1883, стр. 165—167.

Все ихъ существованіе, благодаря описаннымъ причинамъ, вообще лишено прочности и является въ значительной степени игрою случая, почему у примитивныхъ людей человѣческая жизнь не цѣнится какъ драгоцѣнное благо, охраняемое закономъ и общимъ сознаніемъ ея святости и неприкосновенности. У дикихъ народовъ люди убиваются и увѣчатся по самымъ незначительнымъ, ничтожнымъ поводамъ. Старики, достигши преклонныхъ лѣтъ, какъ извѣстно, у многихъ племенъ, по обычаю, умерщвляются часто ихъ собственными дѣтьми, а новорожденныя дѣти иногда — ихъ собственными родителями. Главной заботой и мотивомъ является здѣсь, по большей части, удовлетвореніе лишь насущной потребности въ продовольствіи. Законы, въ смыслѣ правовыхъ нормъ, которые издавались бы властью или диктовались обычаемъ, у такихъ народовъ, разумѣется, встрѣчаются мало и рѣдко; между дикарями Африки, напримѣръ, по словамъ извѣстнаго ученаго Альберта Поста, такіе законы, большею частью, имѣютъ источникомъ или исламъ, или христіанско-европейскія вліянія. Уголовное правосудіе, гдѣ даже оно начинаетъ развиваться, при начаткахъ культуры, долго еще остается безсильнымъ проявить чѣмъ-нибудь свое дѣйствіе. Попытки издать въ этомъ отношеніи какія-либо правила, устанавливающія взаимныя отношенія между людьми, и наказанія или кары за ихъ нарушенія, по словамъ Поста, большею частью, въ этомъ случаѣ примѣняются лишь противъ болѣе слабыхъ членовъ общества, въ отношеніи же остальныхъ, т.-е. болѣе сильныхъ, остаются безъ примѣненія [1]). Само собою разумѣется, что на этой ступени развитія у примитивныхъ людей никакой собственности, въ нашемъ смыслѣ, не существуетъ, первоначально даже на движимое имущество; долѣе же всего она не примѣняется къ землѣ. Племена, которыя не занимаются земледѣліемъ, или скотоводствомъ, какъ правило,—говоритъ Постъ,—не знаютъ поземельной собственности въ частно-правовомъ смыслѣ; но даже и позднѣе довольно долго земля признается лишь территоріей, принадлежащей цѣлому племени, каждый членъ котораго имѣетъ право занимать обработываемую землю и пользоваться ея плодами лишь до тѣхъ поръ, пока ее обработываетъ [2]).

„Человѣкъ минуты“ еще не знаетъ „времени“ и, разумѣется, поэтому дорожить имъ не можетъ; его занятія—охота, рыболовство—краткотечны; онъ живетъ только моментомъ и для мо-

[1]) См. Dr. Albert Hermann Post: Afrikanische Jurisprudenz, etc. Oldenburg und Leipzig, 1887, стр. 2.

[2]) Idem. Zweiter Band, стр. 162—167.

мента [1]). Въ то же самое время онъ можетъ существовать лишь при отсутствіи густого населенія въ данной мѣстности; иначе его занятія окажутся не въ состояніи его прокормить. Въ сѣверной части Канады (округъ Athapaska Mackenzie), напримѣръ, населеніе, состоящее изъ эскимосовъ, индѣйцевъ, бѣлыхъ и метисовъ, такъ скудно, что приходится одинъ человѣкъ на 260 квадратныхъ миль, и тѣмъ не менѣе въ подобныхъ странахъ слышатся постоянныя жалобы на недостатокъ земли. Какъ ни обширно, повидимому, это пространство, оно представляется тѣснымъ и малымъ для жителей—рыболововъ и звѣролововъ. Но даже когда они занимаются земледѣліемъ, жители сѣвера—что̀ составляетъ характеристичную ихъ черту — вообще нуждаются для своего хозяйства въ просторѣ; образцами можетъ служить такъ-называемое подсѣчное и залежное хозяйство въ нашихъ сѣверныхъ губерніяхъ, для веденія котораго требуется большое пространство земли. Русскій путешественникъ по Амуру и Уссури, г. Алябьевъ, въ шестидесятыхъ годахъ, разсказываетъ, что крестьяне-переселенцы въ приморской области, до настоящаго времени почти безлюдной (1 человѣкъ приходится на 10 квадратныхъ верстъ), уже тогда жаловались ему на тѣсноту!

Такимъ образомъ, нѣкоторыя черты и особенности примитивнаго человѣка или „человѣка минуты“ держатся очень долго, переживая многія столѣтія, несмотря даже на перемѣны хозяйственныхъ формъ, хотя каждая такая перемѣна и приноситъ съ собой новое отношеніе человѣка и новую оцѣнку времени, если не пространства. Такъ, переходъ примитивнаго человѣка—постепенно съ ходомъ культурнаго развитія, съ увеличеніемъ населенія и, главное, сношеній между людьми—къ занятію скотоводствомъ даетъ толчокъ къ иному распредѣленію и отношенію времени. Пастушескій народъ проводитъ уже многіе дни на одномъ и томъ же пастбищѣ, разбивая свои шатры не менѣе какъ на одну *недѣлю* и уже сознавая важность запаса и бережливости для будущаго; пастушескій народъ квасить и запасаетъ молоко для будущаго, дѣлаетъ масло, сыръ, а все это вызываетъ необходимость сознавать и цѣнить уже время. Несомнѣнно, что именно этому кочевому, пастушескому періоду человѣческой жизни мы обязаны дѣленіемъ времени на „*недѣли*“ (отъ 7 до 10 дней) и первымъ установленіемъ дня недѣльнаго отдыха.

[1]) На языкѣ нѣкоторыхъ низшихъ племенъ Бразиліи не существуетъ названія числъ выше 3; всякое большее число они выражаютъ словомъ „много“; у австралійцевъ 4 является наивысшимъ числомъ, доступнымъ еще пониманію. См. Э. Тэйлоръ: „Первобытная культура“, т. I, стр. 223.

Съ переходомъ людей къ земледѣлію, отношеніе ихъ ко времени еще болѣе измѣняется. Уже въ пастушескомъ состояніи человѣкъ начинаетъ готовить себѣ одежду, домашнюю утварь и самое жилище, преимущественно изъ животныхъ кожъ, шкуръ и шерсти, уже на продолжительное время и даже про запасъ и для украшенія. У охотничьяго и рыболовнаго народа для послѣдней цѣли, по большей части, служили лишь зубы животныхъ и раковины, украшенія оружія или, можетъ быть, особая раскраска и татуировка въ теплыхъ странахъ; въ пастушескомъ состояніи человѣкъ начинаетъ щеголять уже самимъ платьемъ, а у земледѣльца платье является постоянной принадлежностью, и, сообразно занятіямъ, самое раздѣленіе времени начинаетъ производиться на сравнительно длинные періоды. Лишь у земледѣльцевъ является „мѣсяцъ", „трехмѣсячный срокъ" (время года) и, наконецъ, „годъ", къ которому приноравливается оборотъ всѣхъ земледѣльческихъ занятій и работъ. Обратно съ предшествовавшими культурными ступенями, дѣло земледѣльца построено всецѣло на надеждѣ и разсчетѣ на будущее, а потому связано съ извѣстнымъ рискомъ; онъ весной бросаетъ сѣмя въ землю, чтобы получить жатву лишь спустя три или четыре мѣсяца ожиданія. Еще съ большею заботливостью и предусмотрительностью онъ обработываетъ новь или, позднѣе, паровое поле, выкорчевываетъ, сжигаетъ или уничтожаетъ на первой поросли сорныя растенія, унавоживаетъ не только поля, но и луга, и привыкаетъ уже во всѣхъ своихъ матеріальныхъ и трудовыхъ жертвахъ разсчитывать на вознагражденіе лишь спустя продолжительное время,—полгода, три четверти года, а при нѣкоторыхъ существенныхъ улучшеніяхъ почвы и при культурѣ садоводства—даже много лѣтъ спустя. Первоначально земледѣлецъ ведетъ хозяйство, мѣняя поля или даже самое мѣсто посѣва; позднѣе же, съ увеличеніемъ населенія, съ созданіемъ и развитіемъ землевладѣнія, земледѣлецъ вынужденъ обращаться къ инымъ формамъ хозяйства, при тѣхъ же поляхъ, мѣняя самые посѣвы. Пространство, имъ обработываемое, все съуживается, и отъ залежнаго и подсѣчнаго способа хозяйства онъ переходитъ къ трехпольному, затѣмъ многопольному и вообще къ болѣе современнымъ и интенсивнымъ способамъ хозяйничанья на однихъ и тѣхъ же участкахъ. Но постоянное владѣніе землей принуждаетъ его завести и постоянное жилище, въ отличіе отъ предшествовавшихъ культурныхъ ступеней. Соотвѣтственно тому и всѣ прочія формы его хозяйственной и личной жизни принимаютъ болѣе *постоянный характеръ*; такъ установляется по-

стоянный образецъ и фасонъ или покрой костюма и украшеній къ нему, принимающій, сообразно окружающимъ условіямъ, извѣстный, такъ-называемый національный отпечатокъ. Пища и вообще продовольствіе заготовляется на *продолжительное* время, какъ съ помощью запасовъ, такъ и придуманныхъ способовъ консервированія или сохраненія. Наконецъ, во взаимныхъ отношеніяхъ устанавливаются и выработываются извѣстные правила, обычаи, законы, установляемые повсюду въ разсчетѣ на *продолжительное* существованіе.

Описанный экономическій строй земледѣльческаго быта, столь отличный отъ условій существованія „человѣка минуты" въ первобытныя времена и въ настоящее время лишь у немногихъ дикарей, можетъ быть названъ *періодомъ продолжительнаго времени*, а въ отличіе отъ дикаго звѣролова земледѣлецъ можетъ считаться *„человѣкомъ экстенсивной экономіи времени"*. Во всѣхъ существенныхъ чертахъ этотъ періодъ „экстенсивной экономіи" отличается отъ предшествовавшей эпохи первобытнаго человѣчества. Человѣкъ здѣсь уже хорошо понимаетъ, въ отличіе отъ дикаря, хозяйственное значеніе времени и цѣнитъ его, какъ мы видѣли, во всѣхъ отношеніяхъ. Всѣ свои хозяйственныя операціи онъ ведетъ въ разсчетѣ на продолжительное время, на длинный періодъ. Этотъ строй господствуетъ нынѣ, уже съ давнихъ временъ, у всѣхъ народовъ, которые только отличаются мелкимъ крестьянскимъ хозяйствомъ, какъ главной формой производства. На востокѣ къ этому типу относятся: Китай, Индія, Персія, Азіатская Россія, государства Балканскаго полуострова, Малая Азія и Сирія, часть Аравіи, Египетъ и Абиссинія; но и въ Европѣ почти *три четверти населенія* принадлежатъ къ этой же хозяйственной системѣ, т.-е., не говоря уже о крестьянствѣ, цѣликомъ принадлежащемъ къ „экстенсивной экономіи времени", сюда можно отнести также ремесленниковъ, кустарные или домашніе промыслы съ ихъ работниками и вообще часть мелкой буржуазіи.

Востокъ является, нѣтъ сомнѣнія, наиболѣе классическимъ типомъ этого періода, но и Европа съ своимъ, значительной частью, отсталымъ земледѣліемъ (особенно крестьянскимъ), сравнительно малымъ примѣненіемъ машинъ и раздѣленія труда въ немъ, представляетъ аналогію съ востокомъ во многихъ отношеніяхъ, особенно въ постройкѣ зданій, способахъ искусственнаго освѣщенія и, наконецъ, въ питаніи. Земледѣлецъ въ Европѣ, подобно индусу, живетъ преимущественно на растительной пищѣ; въ католическихъ странахъ постъ и постные дни представляютъ

собой обычное время воздержанія отъ мяса; еще строже посты соблюдаются тамъ, гдѣ господствуетъ восточно-каѳолическая церковь, напримѣръ въ Россіи, Румыніи и проч., гдѣ питаніе большинства народа еще болѣе напоминаетъ востокъ своимъ господствомъ вегетаріанства. Между тѣмъ питаніе мясомъ, по мнѣнію Германа, составляетъ главное основаніе рабочей силы и интенсивнаго труда [1]); понятно отсюда, почему европейскій крестьянинъ, не говоря уже о восточномъ земледѣльцѣ, не отличаясь по роду пищи существенно отъ того вола, съ помощью котораго обработываетъ землю, онъ и трудится съ полнѣйшей флегмой жвачнаго... Питаніе крестьянскаго населенія объясняетъ намъ характеръ его мышленія и самый медленный, нескорый темпъ его работы. Кто по „восточному" питается, тотъ не можетъ думать и работать по „западному"; кто набиваетъ свой желудокъ растительными бѣлками и крахмалистыми веществами, тотъ и не можетъ размышлять и соображать быстро, ясно и рѣшительно; само собой разумѣется, такой человѣкъ скорѣе способенъ слѣдовать лишь исконнымъ и наличнымъ шаблонамъ мышленія, старымъ формамъ понятій, общепринятымъ вѣрованіямъ и слѣпо подражать чужому примѣру; въ своихъ дѣйствіяхъ такой субъектъ способенъ лишь безусловно подчиняться авторитету другого лица и иначе поступать не можетъ. Такова психологическая характеристика этого второго періода развитія воззрѣній людей продолжительнаго времени или „людей экстенсивной экономіи времени".

Вслѣдъ за измѣненіемъ въ отношеніяхъ ко времени, люди мѣняются и въ своихъ отношеніяхъ и къ пространству, хотя эти періоды и не совпадаютъ и могутъ относиться къ разнымъ историческимъ эпохамъ. Самое большее пространство, какъ мы говорили уже, требуетъ для своего существованія человѣкъ въ качествѣ звѣролова и рыболова, меньшее—въ качествѣ пастуха, кочевника, еще меньшее—въ качествѣ бродячаго земледѣльца, и, наконецъ, самымъ малымъ пространствомъ довольствуется человѣкъ, когда онъ сдѣлается осѣдлымъ земледѣльцемъ, причемъ чѣмъ совершеннѣе способъ земледѣлія, тѣмъ большее населеніе

[1]) Для лучшей характеристики этого вопроса приведемъ по Мюльгалю данныя (уже нѣсколько устарѣлыя) о количествѣ потребленія мяса въ различныхъ странахъ на одного человѣка: *Россія* потребляетъ въ годъ 48 англ. фунт. на 1 чел., *Австрія* —64 ф., *Германія*—69 ф., *Франція*—74 ф., *Великобританія*—105 ф. Вся Европа въ среднемъ потребляетъ 57 ф. на человѣка въ годъ. Между тѣмъ Канада—93 ф, Соединенные Штаты—120 ф. Другими словами, англичане ѣдятъ слишкомъ вдвое больше мяса, нежели русскіе, а американцы — почти въ два съ половиною раза. См. Mulhall's Dictionary of Statistics. London, 1884, стр. 309.

страна или мѣстность можетъ пропитать. Наконецъ, крупная промышленность, сосредоточивающая массу людей на одномъ ограниченномъ мѣстѣ, съ сложными, дорого стоющими машинами, строго проведеннымъ раздѣленіемъ, а отчасти и соединеніемъ труда и всѣми тѣми усовершенствованіями, которыя составляютъ послѣднее слово новѣйшей техники, можетъ, разумѣется, въ кратчайшее время и занимая наименьшую поверхность, создать наибольшее количество продуктовъ. Возможная утилизація „времени" и возможная утилизація „пространства" составляютъ, слѣдовательно, цѣль высшаго развитія производства, и чѣмъ болѣе общій экономическій строй измѣняется въ этомъ направленіи, тѣмъ болѣе люди приближаются къ наивысшему типу въ своей хозяйственной дѣятельности — къ періоду *интенсивной экономіи времени.*

Первоначально человѣкъ нуждался для своей дѣятельности въ огромномъ пространствѣ, но, пользуясь имъ односторонне, въ немногихъ и несовершенныхъ промыслахъ или формахъ хозяйства, человѣкъ вѣчно нуждался именно въ томъ, чѣмъ пользовался такъ широко, т.-е. въ пространствѣ земли, нужномъ для его пропитанія. Весьма долго жилища человѣка, напримѣръ, какъ правило, были одноэтажныя или, какъ выражается Германъ, „занимали одинъ горизонтъ"; въ средніе вѣка, при развитіи „экстенсивной экономіи", нужда въ пространствѣ начала чувствоваться скорѣе, чѣмъ во времени, — послѣднее цѣнилось сравнительно мало. Всякій строй экстенсивнаго хозяйства, разбросаннаго на значительномъ пространствѣ земли, представляетъ разительный тому образецъ; но такъ какъ военное искусство того времени въ состояніи было защищать съ успѣхомъ лишь ограниченную мѣстность, обнесенную стѣнами и рвами, то городская жизнь измѣняетъ прежде всего систему построекъ: онѣ уже занимаютъ нѣсколько горизонтовъ, ростутъ въ высоту, уменьшаясь въ то же время въ ширину, строятся въ нѣсколько этажей, съ узкими, маленькими комнатами, еще болѣе того узкими корридорами и лѣстницами; узкія улицы и проходы, высокіе дома съ маленькими окнами и часто низкими потолками, какъ бы придавленные городскими стѣнами, составляютъ, какъ извѣстно, характеристику всѣхъ средневѣковыхъ и донынѣ восточныхъ городовъ. Обратно съ той системой хозяйства, которая ведется за стѣнами средневѣкового города, каждый аршинъ земли въ такомъ городѣ-крѣпости дорого цѣнится и утилизируется; поэтому пустыхъ мѣстъ, кромѣ небольшихъ площадей для рынка, какъ правило, тамъ не существуетъ. Недостатокъ свѣта, воздуха, чистой воды дѣлаетъ

подобныя поселенія центрами разныхъ заразныхъ болѣзней, но вопросы гигіены и здоровья были мало доступны пониманію средневѣковаго человѣка, да пользуются далеко не достаточнымъ вниманіемъ и донынѣ.

Успѣхи огнестрѣльнаго оружія, вмѣстѣ съ измѣненіемъ самихъ способовъ веденія войны, техническія изобрѣтенія и усовершенствованія XVIII вѣка, созданіе крупной промышленности и такъ-называемаго капиталистическаго производства, перевернувшаго вверхъ дномъ весь стародавній консервативный строй крестьянскаго, земледѣльческаго и городского ремесленнаго быта многихъ мѣстностей Европы,—все это вмѣстѣ, конечно, постепенно измѣнило и передѣлало систему постройки городовъ и вообще отношеніе людей къ пространству. Современные города Европы и особенно Сѣверной Америки, обратно съ средневѣковыми, строятся просторно, широко, но зато слѣдуютъ полнѣйшей утилизаціи пространства во всѣхъ направленіяхъ и многихъ горизонтахъ, и при томъ принимается во вниманіе интересъ не только настоящаго времени, но и будущаго: напримѣръ, продолжительность жизни населенія и созданіе для того благопріятныхъ гигіеническихъ условій можетъ положить предѣлъ даже росту домовъ кверху созданіемъ законодательныхъ для того ограниченій числа этажей, какъ это имѣетъ мѣсто въ Англіи, и, наконецъ, большія пространства земли въ городахъ могутъ оставаться свободными подъ парками и площадями для различнаго пользованія ими въ интересахъ народнаго здравія. Какъ извѣстно, въ послѣднемъ смыслѣ, напримѣръ, Лондонъ и многіе другіе города Англіи почти усѣяны парками или общественными садами въ нѣсколько десятковъ и даже сотенъ акровъ пространствомъ. Одинъ Hyde Park въ Лондонѣ, лежащій въ центрѣ города, тянется полторы мили въ длину и около трехъ четвертей мили въ ширину. Эти обширныя мѣстности служатъ, по выраженію одного современнаго писателя, не только „легкими“ для городовъ, доставляя запасъ свѣжаго воздуха для всего городского населенія, но и мѣстомъ прогулокъ и игръ для всего молодого поколѣнія, столь одобряемыхъ нынѣ педагогіей въ союзѣ съ гигіеной.

Еще сильнѣе стремленіе въ томъ же направленіи въ Соединенныхъ Штатахъ Сѣверной Америки, гдѣ законъ установилъ въ нѣкоторыхъ штатахъ такъ-называемое Park Tax — „налогъ для парковъ“, т.-е. сборъ, спеціально предназначенный для пріобрѣтенія городскимъ управленіемъ пространствъ въ городѣ, свободныхъ отъ домовъ или для снесенія прочь послѣднихъ для устройства парковъ; не ограничиваясь такимъ источникомъ дохода для

данной цѣли, въ Нью-Іоркѣ только-что прошелъ законодательный актъ, дающій право мѣстному управленію, ради веденія, расширенія и установленія новыхъ парковъ, экспропріировать дома, для чего предназначена огромная спеціальная сумма въ два милліона долларовъ. Благодаря этому, городъ Нью-Іоркъ въ самое короткое время, въ добавленіе ко многимъ прежде существовавшимъ паркамъ, увеличилъ ихъ пространство вновь на 4 тысячи акровъ въ различныхъ частяхъ города (т.-е. около 1.300 дес.). Другой американскій городъ Чикаго имѣетъ, кромѣ 260 акровъ бульваровъ, *болѣе трехъ тысячъ акровъ* общественныхъ садовъ и парковъ [1]).

Но самый классическій, впрочемъ, примѣръ жертвованія пространствомъ ради стремленія къ выигрышу времени, въ смыслѣ увеличенія продолжительности жизни, составляетъ городъ Филадельфія въ Соединенныхъ Штатахъ. Онъ является по пространству сравнительно однимъ изъ самыхъ большихъ городовъ въ свѣтѣ, такъ какъ при 900.000 жителей занимаетъ поверхность въ 330 километровъ. Почти каждая семья въ Филадельфіи имѣетъ свой собственный домъ, почему число зданій тамъ (160.000) почти вдвое больше, нежели въ Парижѣ, хотя въ послѣднемъ считаютъ болѣе двухъ милліоновъ жителей [2]). Филадельфія владѣетъ величайшимъ паркомъ въ мірѣ, который равняется 1.100 гектарамъ пространствомъ и обошелся городу около десяти милліоновъ русскихъ рублей. Благодаря разбросанности своихъ построекъ, главная улица Филадельфіи, Бродъ Стритъ (Broad Street), которая пересѣкаетъ городъ съ сѣвера на югъ, тянется на 35 километровъ (километръ немного болѣе версты). Всевозможныя приспособленія для сокращенія пространства, начиная съ желѣзныхъ дорогъ, омнибусовъ, до телеграфа и телефона включительно, стремятся наверстать на скорости сообщенія то, что̀ утрачивается, благодаря этой системѣ постройки города, признаваемой во многихъ отношеніяхъ идеальной.

Но періодъ *интенсивной экономіи времени* характеризуется, разумѣется, больше всего сбереженіемъ времени и труда, во-пер-

---

[1]) См. въ журналѣ The New Review, 1890 года, статью: „Lungs for our Great Cities", by the Earl of Meath, стр. 432.

[2]) Въ Москвѣ, согласно даннымъ послѣдней переписи, находится около 15 000 застроенныхъ владѣній при 753 тыс. жителей, т. е. на одинъ домъ приходится круглымъ числомъ 50 человѣкъ жильцовъ. Въ С.-Петербургѣ по переписи 1881 г. въ среднемъ на каждый приходилось еще больше—91 человѣкъ, въ Парижѣ—35 чел., Берлинѣ—61 чел. Между тѣмъ *въ Лондонѣ всего лишь 8 человѣкъ и въ приводимой Филадельфіи менѣе шести* (6) *человѣкъ*... См. А. И. *Чупрова:* „Характеристика Москвы по переписи 1882 года". Москва. 1884, стр. 8.

выхъ, на производствѣ, а во-вторыхъ на передвиженіи. Что касается до перваго, то, за исключеніемъ уже указаннаго случая постройки городовъ, гдѣ, ради увеличенія продолжительности жизни настоящихъ и будущихъ поколѣній, жертвуютъ пространствомъ, *господствующей нынѣ тенденціей* въ экономіи народнаго труда является стремленіе *одинаково сберегать* то и другое, т.-е. *время и пространство.* Достаточно для того указать на характеръ многочисленныхъ техническихъ изобрѣтеній за послѣднія сто лѣтъ. Бѣленіе тканей, напримѣръ, на воздухѣ, на травѣ, какъ оно нынѣ еще производится крестьянками относительно самодѣльныхъ полотенъ, послѣ изобрѣтенія въ Англіи прядильныхъ машинъ механическаго ткацкаго станка, сразу удесятерившаго производство, требовало еще въ началѣ нынѣшняго вѣка огромныхъ пространствъ земли, которыми и должна была владѣть каждая такая фабрика. Изобрѣтеніе химическаго бѣленія сразу избавило фабрики отъ послѣдней обязанности, т.-е. сберегло пространство и во много разъ увеличило быстроту бѣленія. Однородный процессъ, сберегающій время и мѣсто, примѣненъ къ обработкѣ льна и къ быстрой выдѣлкѣ кожъ. Крашеніе и апретура производятся нынѣ съ такими приспособленіями, которыя дозволяютъ опять-таки огромное количество матеріала значительной длины высушивать искусственно весьма быстро и съ наименьшей затратой пространства. Сушильные валы подобнаго же рода и на томъ же принципѣ функціонируютъ и при фабрикаціи „безконечной бумаги“, которая безъ помощи этого аппарата едва ли могла бы выдѣлываться. Нѣкоторыя усовершенствованія въ печатныхъ машинахъ, не исключая ихъ самихъ, а также въ фотографіи одинаково достигаютъ обѣихъ важныхъ цѣлей экономіи. Французскій экономистъ Жидъ (Gide) приводитъ въ своей „Политической экономіи“ (1-е изд., стр. 138) слѣдующій краснорѣчивый разсчетъ и сопоставленіе скоропечатнаго дѣла сравнительно съ старой перепиской. Одинъ нумеръ газеты „Figaro“, изданный въ форматѣ книги in 8^0, даетъ 240 страницъ текста; печатая же эти газеты въ количествѣ 100 тысячъ экземпляровъ, слѣдовательно въ теченіе каждой ночи (6-часовой періодъ) ея типографіи приходится напечатать 24 милліона страницъ, или отъ 40 до 50 тысячъ томовъ, по 600 страницъ каждый. Если бы пришлось,—разсуждаетъ онъ,—переписать такую массу книгъ въ тотъ же срокъ, то понадобилось бы редакціи ежедневно *полмилліона переписчиковъ* (500.000), которые, разумѣется, потребовали бы помѣщенія, равнаго размѣрами цѣлому большому городу. Между тѣмъ вся эта сложная работа выполняется нынѣ скоро-

печатными машинами, при которыхъ состоитъ всего лишь сто (100) человѣкъ рабочихъ. Итакъ, отношеніе затраты труда настоящаго времени къ средневѣковой эпохѣ переписчиковъ—какъ 1:5000, т.-е. достигнута экономизація въ цѣлыхъ *пять тысячъ разъ!..*

Множество другихъ изобрѣтеній менѣе ясно, но въ одинаковой степени удовлетворяютъ требованію того же принципа двоякой экономіи, какъ, напримѣръ, огниво, зажигательныя спички, огнестрѣльныя оружія; нѣтъ сомнѣнія,—если сравнить ихъ съ предшествовавшими имъ орудіями для тѣхъ же цѣлей, то, конечно, они отвѣчаютъ обоимъ условіямъ. Насколько крупной прибылью для человѣчества является каждое изъ этихъ приведенныхъ изобрѣтеній экономически—можно судить хотя бы по одному образцу и при томъ касательно наименѣе важнаго открытія. Извѣстный д-ръ Лайонъ Плейферъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, на конгрессѣ „Британской ассоціаціи для споспѣшествованія соціальнымъ наукамъ", въ своей рѣчи, тамъ сказанной, привелъ слѣдующій разсчетъ выигрыша, полученнаго одной лишь Англіей отъ изобрѣтенія зажигательныхъ спичекъ. До 1833 года зажигательныя спички не были извѣстны, и для добыванія огня примѣнялись кремень и огниво. Если взять,—говоритъ онъ,—теперешнее потребленіе по 8 спичекъ въ день на человѣка, то это при прежнихъ орудіяхъ добыванія огня потребовало бы четверть часа, нынѣ же, при употребленіи спичекъ, расходуется времени лишь по 15 секундъ на одинъ разъ, или двѣ минуты въ день на все зажиганіе. Такимъ образомъ, до 1833 года человѣкъ тратилъ 90 часовъ въ годъ на добываніе огня, нынѣ же—лишь 12 часовъ, т.-е. имѣетъ экономію 78 часовъ, или почти 10 обыкновенныхъ въ Англіи рабочихъ дней; считая этотъ же трудъ по одному шиллингу шести пенсовъ въ день, получится лишь для населенія одной Великобританіи и за одинъ годъ сбереженія 26 милліоновъ фунтовъ стерлинговъ. Если таковъ результатъ сбереженія въ столь ничтожномъ производствѣ, то отсюда можно заключить, какъ велики благодѣянія экономіи времени, доставляемыя всему человѣчеству такими крупными факторами этой экономіи, какъ паровой двигатель, электричество и проч. Несомнѣнно,—заключаетъ Плейферъ,—ихъ благо, какъ и стоимость, выше всякаго исчисленія!..

Какъ велика разница между нашей современностью, напримѣръ, и античнымъ міромъ въ способахъ и скорости передвиженія—достаточно привести нѣсколько примѣровъ. Самое быстрое путешествіе, которое древняя исторія, какъ особое событіе, упоминаетъ, — это былъ походъ Юлія Цезаря изъ Рима на берега

Роны, совершонный въ срокъ около восьми дней, и затѣмъ курьерская поѣздка Ицелюса (Icelus) изъ Рима въ Клюнію (Clunia) въ Испаніи, въ 68 году по Р. Х., чтобы извѣстить Гальбу о смерти Нерона, совершонная почти въ 7 дней. Въ настоящее время такой конецъ можно свободно сдѣлать съ молніеноснымъ поѣздомъ въ 29 часовъ и даже скорѣе. Хотя, можетъ быть, менѣе, но также страшно усилилась быстрота сообщеній и на морскихъ путяхъ. Діодоръ Сицилійскій разсчитывалъ поперечную длину съ сѣвера на югъ тогдашней римской имперіи, отъ Меотійскаго или Азовскаго моря до Эѳіопіи, равною 24 днямъ пути, именно: отъ Меотійскаго моря при благопріятномъ вѣтрѣ въ 10 дней до Родоса, откуда 4 дня въ Александрію, „и отсюда, —говоритъ онъ,—вверхъ по Нилу многіе въ 10 дней достигаютъ Эѳіопіи". Въ настоящее время на обыкновенномъ пассажирскомъ пароходѣ отъ Керчи въ Константинополь можно проѣхать въ два дня, оттуда въ Смирну — въ 27 часовъ, изъ Смирны въ Александрію—2 дня пути; итого, слѣдовательно, изъ обозначенныхъ Діодоромъ 14 дней до Александріи, разстояніе понижается на 5 дней и 3 часа. Плаваніе вверхъ по Нилу сокращаетъ время сравнительно меньше, но все-таки совершается нынѣ вдвое скорѣе.

Гораздо поразительнѣе окажется успѣхъ человѣка въ этой борьбѣ съ пространствомъ, если привести еще нѣсколько примѣровъ исключительной быстроты сообщенія въ наше время. Весьма хорошей ѣздой на лошадяхъ при *продолжительномъ* путешествіи, съ необходимымъ для здоровья отдыхомъ и, разумѣется, съ перемѣнными лошадьми, считается не болѣе 90 километровъ въ сутки на кругъ. Между тѣмъ, по даннымъ, опубликованнымъ союзомъ германскихъ желѣзныхъ дорогъ, *скорые поѣзда* по слѣдующимъ линіямъ имѣютъ въ настоящее время такую быстроту: Парижъ—Дижонъ—57 километровъ въ часъ; Нью-Іоркъ—Чикаго—65 кил. въ часъ; курьерскій поѣздъ (Jagd Zug) Кельнъ—Берлинъ—67 километровъ; Лондонъ—Манчестеръ—77 килом.; Балтимора—Вашингтонъ—86 килом. въ часъ, и нѣсколько разъ, по словамъ Германа, австрійскій императоръ ѣздилъ по Венгріи съ экстреннымъ поѣздомъ со скоростью 90 километровъ въ часъ. Точно также, по новѣйшимъ свѣдѣніямъ, сообщаемымъ проф. Тёрстеномъ, среднею *обычною* скоростью въ Соединенныхъ Штатахъ уже нужно считать, будто бы, 50 англійскихъ миль въ часъ (т.-е. около 75 верстъ), а какъ исключительная быстрота на нѣкоторыхъ поѣздахъ—60 миль въ часъ (т.-е. около 90 верстъ), т.-е. еще быстрѣе, нежели въ показан-

ныхъ выше данныхъ [1]). Наконецъ, по газетнымъ извѣстіямъ, въ той же Америкѣ, будто бы только-что выстроенъ локомотивъ, который въ состояніи дѣлать въ часъ пробѣга 130 километровъ [2])!! Англійскій ученый Ольпортъ (Allport), желая перевести экономическій выигрышъ отъ подобной быстроты и также сравнительной дешевизны желѣзныхъ дорогъ на деньги, оцѣниваетъ его для одной лишь Англіи, сравнительно съ прежними путями, болѣе 100 милліоновъ фунт. стерл. въ годъ. Но „time is money“, говоритъ онъ: въ Англіи ежегодно передвигается по желѣзнымъ дорогамъ 600 милліоновъ человѣкъ пассажировъ, которые сберегаютъ на новыхъ путяхъ 300 милліоновъ часовъ, а это вновь составитъ (считая по 8 часовъ работы, кромѣ воскресеній) огромную хозяйственную цѣнность, равную ежегодно 125.000 годовъ работы, что̀ опять-таки дастъ въ результатѣ многіе милліоны фунтовъ стерлинговъ!!... Такимъ образомъ, быстрота сообщенія и, слѣдовательно, выигрышъ во времени посредствомъ желѣзныхъ дорогъ, увеличилась въ 20 и болѣе разъ, сравнительно съ той, какою могли пользоваться, при обыкновенномъ экипажномъ сообщеніи, наши предки, даже при условіи наилучше устроенныхъ грунтовыхъ дорогъ.

Само собою разумѣется, что культурное различіе разныхъ эпохъ въ отношеніи ко времени находится въ тѣснѣйшей зависимости и отъ занятій, которымъ себя посвящаетъ народъ. Поэтому многія отличія разныхъ народностей, по мнѣнію Германа, проистекаютъ не отъ какихъ-либо національныхъ особенностей, но отъ ихъ культурныхъ свойствъ или ступени. Успѣхи экономіи „времени“ являются успѣхами въ то же время и культуры; всякій видъ трудовой дѣятельности человѣка имѣетъ свою особую экономію, съ весьма при томъ различными ступенями, и отсюда— если исторія культуры въ дѣйствительности можетъ считаться исторіей человѣческаго труда, то она является одинаково и исторіей человѣческой экономіи времени. Всѣ тѣ промыслы, напримѣръ, которые имѣютъ дѣло съ дарами природы и ихъ добываніемъ, какъ поиски и копанье минераловъ и металловъ, а также всѣ тѣ, которые зависятъ отъ періодическихъ измѣненій въ природѣ, каковы: земледѣліе, садоводство и другія подобныя отрасли хозяйства, отличаются своимъ медленнымъ темпомъ труда, за исключеніемъ немногихъ видовъ работы, которые и здѣсь производятся машинами. Быстрѣе нѣсколько совершается трудъ

[1]) „Speed in Railway Travel“, Prof. Thurston, въ журналѣ американскомъ: „The Forum“, edited by L. S. Metcalt. 1890 года, декабрь, стр. 469.
[2]) См. E. Hermann: „Sein und Werden“, стр. 169.

человѣка въ охотѣ и морскомъ рыболовствѣ, при которыхъ необходимо требуется передвиженіе. Въ трудѣ ремесленника и въ кустарной промышленности темпъ еще повышается, но не переходитъ все-таки извѣстныхъ, довольно тѣсныхъ, границъ. Промежуточную ступень въ данномъ отношеніи, съ быстрыми переходами притомъ отъ полнаго покоя къ самой оживленной дѣятельности, образуетъ военное искусство, которое пріучаетъ къ обращенію съ машинами, снабжаетъ человѣка механическими и химическими силами, превышающими человѣческую силу въ сотни и тысячи разъ; военное дѣло, наконецъ, содѣйствуетъ ускоренію передвиженія, транспортировки, заставляетъ обращать серьезное вниманіе на пути сообщенія, утилизируетъ почту, телеграфъ, телефонъ, велосипеды, воздушные шары, голубиную почту, вообще поощряетъ развитіе всѣхъ способовъ скораго сообщенія въ своихъ спеціальныхъ цѣляхъ; самый языкъ, употребляемый въ военномъ дѣлѣ, ускоряется и сокращается. Огромная масса людей, составляющихъ войско, производитъ движенія съ точностью машинъ, и во всѣхъ военныхъ учрежденіяхъ стараются ввести порядокъ, точность и краткость, почему человѣческая личность во многихъ случаяхъ почти превращается въ автомата.

Но наиболѣе всего быстрымъ темпомъ и рѣшительнымъ стремленіемъ къ сокращенію времени отличаются позднѣе возникшіе виды и способы промышленности и торговли, которые ведутся со старательнымъ раздѣленіемъ труда и съ помощью дорогихъ и сложныхъ машинъ фабричнымъ образомъ. Имъ помогаетъ повсюду улучшеніе передвиженій, какъ по суху, такъ и по морю, и вообще разнообразное примѣненіе пара, электричества, какъ двигателей, а разныхъ механическихъ и химическихъ усовершенствованныхъ процессовъ—какъ ихъ необходимыхъ принадлежностей. *Скорость*, *быстрота*—составляютъ отличительную черту этого интенсивнаго развитія промышленности нашего времени. Во всѣхъ рѣшительно отношеніяхъ эти свойства составляютъ главную и ближайшую цѣль современной промышленности и человѣка: скоропечатни, скоропись или стенографія, скорострѣльныя оружія, скоробѣлильни, скорые, молніеносные поѣзда, скорая (пневматическая) почта, скорое выполненіе всякихъ промышленныхъ и торговыхъ заказовъ, вообще цѣнность быстроты, какъ въ хозяйственной дѣятельности, такъ въ рѣшительности и способахъ самого мышленія человѣка, возростаютъ вмѣстѣ съ ходомъ культуры; весь складъ распредѣляется у такихъ націй или классовъ по часамъ и приноравливается къ этому быстрому біенію пульса жизни. Точность, правильность и однообразность же-

лѣзныхъ дорогъ, а постепенно вслѣдъ за ними и иныхъ способовъ передвиженія, появленіе газетъ по нѣскольку разъ въ день съ добавочными телеграммами и извѣстіями, приливъ и отливъ массъ людей въ извѣстныя учрежденія города лишь за извѣстные часы дня и ночи, оживленіе, напримѣръ, биржи нѣсколько разъ въ день на опредѣленное время, въ опредѣленные часы,—все это такія явленія, которыя напоминаютъ лишь быстрый темпъ хорошо развитого животнаго организма.

Таковъ въ общихъ чертахъ складъ жизни въ періодъ *интенсивной экономіи времени*, встрѣчаемый, но далеко не господствующій между людьми въ концѣ XIX вѣка: онъ находится въ прямой, непосредственной зависимости отъ занятій и культуры жителей каждой страны; у однихъ народовъ занятія скораго темпа, т.-е. интенсивнаго характера, преобладаютъ, ускоряя пульсъ народной жизни, у другихъ—а таковыхъ большинство Европы—преобладаютъ перечисленныя медлительныя занятія и самый складъ жизни получаетъ знакомую намъ окраску „экстенсивной экономіи времени“ или продолжительнаго времени. Городская крупно-индустріальная организація живетъ скорѣе всего; земледѣльческій, крестьянскій народъ совершаетъ всѣ жизненныя операціи наиболѣе медленнымъ образомъ и отстоитъ всего дальше отъ интенсивнаго образца. Но существуютъ страны, въ которыхъ городскія формы экономическаго производства, съ употребленіемъ сложныхъ машинъ, имѣютъ широкое примѣненіе и въ деревнѣ къ сельской работѣ (напримѣръ, въ Соединенныхъ Штатахъ, частью въ Англіи и Бельгіи), и, наоборотъ, существуютъ такія государства, въ которыхъ города представляютъ собой въ сущности лишь большія деревни (напримѣръ, въ Россіи).

Но чтобы яснѣе постичь разницу послѣднихъ двухъ видовъ экономіи „времени“, необходимо провести параллель между типами обоихъ періодовъ; образцомъ интенсивной экономіи времени могутъ, по справедливости, болѣе всего считаться Соединенные Штаты Сѣверной Америки; примѣромъ стародавняго періода экстенсивной экономіи можетъ лучше всего служить востокъ — Азія. Этими образцами мы и ограничимся въ нашей сравнительной параллели; остальные народы представляютъ бо̀льшее или мѐньшее приближеніе къ тому или другому типу.

Сѣверная Америка, какъ государство огромныхъ размѣровъ, не можетъ, натурально, не отличаться и большими контрастами въ отношеніи жителей и ихъ представленій о значеніи времени: житель тихой Уты—мормонъ или потомокъ недавно освобожденныхъ негровъ—во многомъ по складу своей жизни, по вкусамъ

и привычкамъ, отчасти даже по особенностямъ семейной жизни напоминаютъ, пожалуй, востокъ. Самый американскій характеръ также не чуждъ контрастовъ, выражающихся въ быстрыхъ, часто, переходахъ отъ кипучей дѣятельности къ полнѣйшему, хотя и краткому far niente... Тѣмъ не менѣе, однако, главная масса американскаго народа, истинный представитель его—„янки"—кладетъ одинаковый отпечатокъ дѣловитости, скорости и быстроты на весь обыденный строй американской жизни. Начнемъ съ внѣшности: прежде всего, на улицахъ американскихъ городовъ поражаетъ общая скорость движенія и масса ѣдущихъ и идущихъ, несмотря притомъ на то, что надъ улицами нѣкоторыхъ городовъ, какъ Нью-Іоркъ, существуютъ на высокихъ столбахъ воздушныя желѣзныя дороги, не говоря о нѣсколькихъ парахъ рельсъ конножелѣзныхъ дорогъ, проложенныхъ по самой улицѣ. Быстрый темпъ движеній пѣшеходовъ на переходахъ улицъ и особенно на перекресткахъ превращается въ настоящее бѣганье и прыганье; фланёровъ передъ окнами магазиновъ, столь привычныхъ въ европейскихъ городахъ, въ Америкѣ почти не существуетъ—ихъ затолкали бы на улицѣ. Точно такъ же мало американецъ посвящаетъ времени и на ѣду, какъ на передвиженіе: завтракаетъ онъ, напримѣръ, въ гостинницѣ въ нѣсколько минутъ; по звонку колокола всѣ гости бросаются стремглавъ въ залъ, выбираютъ тѣ или иные горячіе напитки, берутъ сами изъ буфета уже приготовленныя и разложенныя на тарелкахъ кушанья, горячія или холодныя, и быстро ихъ уничтожаютъ, чтобы за нѣсколько минутъ передъ дѣломъ забѣжать въ читальный залъ для просмотра утреннихъ газетъ. Во всемъ житейскомъ обиходѣ всѣ учрежденія приноровлены къ той же экономіи времени. Желѣзныя дороги, напримѣръ, какъ извѣстно, строятся въ Америкѣ весьма быстро, но и ѣздятъ по нимъ, какъ мы видѣли, также быстро; при этомъ, какъ правило, на всѣхъ большихъ разстояніяхъ поѣзда снабжены ресторанами и спальными вагонами, такъ чтобы путь можно было совершать безъ всякихъ перерывовъ и потери времени хотя бы въ теченіе многихъ дней. Отели или гостинницы, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, лежатъ около самыхъ вокзаловъ, и въ большей части даже только-что возникающихъ городовъ они устроиваются съ полнымъ комфортомъ одними изъ первыхъ зданій; такимъ образомъ, прибывши на мѣсто, путешественнику нѣтъ надобности терять время, разыскивая себѣ жилище и ночлегъ. Въ свою очередь, гостинницы устроиваются такъ, чтобы возможно больше обходиться безъ прислуги и безполезной траты времени своего и чужого. Всѣ, напримѣръ,

необходимыя для путешественниковъ справки и указанія, въ видѣ нужныхъ для того книгъ и изданій, находятся тутъ же у входа и незачѣмъ искать прислугу, чтобы ими воспользоваться.

Американцы съ дѣтства пріучаются къ этой дѣловитости, энергіи и быстротѣ, ихъ отличающей. Въ тамошней школѣ почетное мѣсто занимаетъ такъ-называемая drill, т.-е. „муштровка“ или совмѣстное обученіе дѣтей по командѣ, чтобы пріучить ихъ къ большей отчетливости и быстротѣ выполненія задачъ разнаго рода, предлагаемыхъ наставникомъ. Нѣмецкій путешественникъ Фридрихъ Ратцель, посѣщавшій народныя школы въ Нью-Іоркѣ, былъ пораженъ скорописью дѣтей отъ 12 до 14 лѣтъ и той чрезвычайной быстротой, съ которой они рѣшаютъ умственныя ариѳметическія задачи; на нихъ слѣдовали часто отвѣты—буквально едва учитель закрывалъ ротъ. Этотъ спѣхъ—чисто лихорадочный, съ которымъ американцы, такимъ образомъ, какъ малолѣтніе, такъ и взрослые, исполняютъ свое дѣло. Тотъ же Ратцель, какъ и другой германскій путешественникъ и поэтъ, Боденштедтъ, приписываютъ это отчасти вліянію самого американскаго климата, или точнѣе, воздуха, дѣйствующаго возбудительно на нервы, чѣмъ также Ратцель объясняетъ и малое, сравнительно, въ Америкѣ употребленіе хмельныхъ напитковъ. Американецъ умѣетъ пользоваться моментомъ: всякое дѣйствіе, всякая работа производится имъ безъ долгихъ приготовленій, безъ скучныхъ разглагольствованій и торговли, рѣшительнымъ и быстрымъ образомъ. Поэтому никакая иная страна не представляетъ такой удобной почвы для всякой новинки въ смыслѣ техническаго изобрѣтенія или усовершенствованія, какъ Америка. Въ то время, какъ старая Европа, напримѣръ, въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ, лишь приступала къ устройству телефоновъ и электрическаго освѣщенія, улицы американскихъ городовъ были покрыты уже, какъ паутиной, множествомъ проволокъ для этихъ двухъ цѣлей и далеко опередили всѣ прочія страны; другой примѣръ: когда въ 1872 году сгорѣла богато обстроенная лучшая часть Бостона въ одну ночь на цѣлыхъ 40 акровъ поверхности, то уже черезъ годъ городъ такъ вновь обстроился, что нельзя было замѣтить слѣдовъ несчастія. Еще развалины пожарища дымились и до нихъ нельзя было дотронуться руками—до такой степени онѣ были горячи, какъ начался подвозъ матеріала и новая постройка. При другомъ, еще болѣе крупномъ пожарѣ, который въ 1871 году въ три дня превратилъ 17.450 домовъ въ городѣ Чикаго въ развалины (между ними 41 церковь, 32 отеля и 16 театровъ), возстановленіе города производилось такъ быстро, что черезъ три года онъ сдѣ-

лался больше и величественнѣе, нежели былъ до пожара. Постройки шли по такому разсчету, что въ теченіе времени отъ 15-го апрѣля по 15-е декабря 1872 года, въ продолженіе 200 рабочихъ дней съ 8 часами ежедневно, за исключеніемъ воскресеній, каждый часъ воздвигался одинъ новый домъ, отъ четырехъ до шести этажей величиной.

Весьма характерной чертой у американцевъ является при этомъ заботливость объ отдаленномъ будущемъ, нерѣдко даже насчетъ экономіи времени живущихъ. Города часто закладываются въ такихъ огромныхъ размѣрахъ, что много времени теряется, чтобы пройти будущую часть города, которая имѣетъ готовыми лишь улицы; дома же стоятъ на бумагѣ, на городскомъ планѣ. Съ другой стороны, сѣверный американецъ невольно поражаетъ своимъ равнодушіемъ къ прошедшему; старость также не пользуется особеннымъ уваженіемъ, къ чему бы это ни относилось,—будь это достопамятное зданіе или другая замѣчательность. У нихъ часто недостаетъ историческаго смысла и эстетическаго вкуса, что̀ рѣзко выражается, во-первыхъ, въ несоотвѣтствіи построекъ своему назначенію и часто древними, совершенно неумѣстными съ европейской точки зрѣнія, прозвищами новыхъ поселеній. Около Нью-Іорка, напримѣръ, находится сельскій домъ, представляющій точную копію развалинъ крѣпости, а таможня выстроена въ стилѣ греческаго храма. Троя, Итака, Римъ, Сиракузы, какъ названія городовъ, встрѣчаются въ Соединенныхъ Штатахъ во множественномъ числѣ, не имѣя, очевидно, ни почвы, ни повода, ни причинъ для такихъ пышныхъ именъ. Церкви, которыя мы привыкли видѣть въ Европѣ воздвигнутыми болѣе или менѣе монументальнымъ образомъ, очень часто въ Америкѣ по наружности ничѣмъ не отличаются отъ обыкновенныхъ домовъ, и наоборотъ, постройки для самыхъ ординарныхъ, будничныхъ цѣлей иногда воздвигаются въ Америкѣ монументальнѣйшимъ образомъ. Сплошь и рядомъ маленькій городокъ, состоящій изъ одного лишь отеля и станціоннаго дома, получаетъ имя, ни съ того, ни съ сего, Парижа, Лондона, Москвы или другого крупнаго центра европейской жизни. Одинаково, впрочемъ, въ Америкѣ старость мало цѣнится и въ частной жизни: уже мальчикъ съ 14 лѣтъ нерѣдко выступаетъ тамъ, какъ извѣстно, на житейское поприще со всѣми его заботами, трудами, лишеніями и удовольствіями; молодые люди отъ 22—24 лѣтъ занимаютъ часто уже выдающійся постъ; женятся опять-таки сравнительно раньше, нежели въ Европѣ. Самыя занятія и профессіи опредѣляются не по заведенному у насъ нормальному порядку, а мѣ-

няются и чередуются случайнымъ, для европейца несообразнымъ образомъ: часто генералы дѣлаются адвокатами, полковники—священниками; бывшаго нѣмецкаго референдарія или ассесора можно встрѣтить въ Америкѣ на козлахъ извозчика; намъ извѣстенъ случай русскаго литератора, превратившагося въ Америкѣ —въ банщика!!.. Наконецъ, начиная свою дѣятельность рано, американцы и не прекращаютъ ея поздно, до самой глубокой старости часто посвящая себя общественнымъ и частнымъ занятіямъ; но при этомъ въ первомъ случаѣ они опять-таки рѣзко отличаются отъ европейцевъ въ томъ смыслѣ, что имъ совершенно неизвѣстно слово „пенсіонъ", столь привычное и желанное въ другихъ странахъ для каждаго чиновника.

Въ заключеніе, какъ извѣстно, трудъ въ Америкѣ вознаграждается выше, чѣмъ гдѣ-либо на свѣтѣ, т.-е. размѣръ рыночной платы, получаемой американскимъ рабочимъ, соотвѣтственно больше, чѣмъ въ Европѣ, при сравнительно кратчайшемъ рабочемъ днѣ (въ 8 часовъ); но въ то же самое время этотъ трудъ американца является, нѣтъ сомнѣнія, и наиболѣе *интенсивнымъ*, т.-е. въ одну и ту же единицу времени, при свойственной ему энергіи, быстротѣ и ретивости, рабочій въ Америкѣ точно также и произведетъ бо́льшее количество продуктовъ, нежели рабочій другой національности, и весьма вѣроятно, что для своего хозяина въ конечномъ результатѣ американскій дорого вознаграждаемый работникъ окажется выгоднѣе дешеваго, но менѣе энергичнаго европейца.

Совершенно противоположную картину представляетъ собой складъ жизни человѣка въ Азіи на востокѣ; въ то время, какъ американецъ, напримѣръ, кажется, для того только и живетъ, чтобы работать, человѣкъ востока работаетъ только для того, чтобы жить, и работаетъ, по возможности, меньше, лишь въ видахъ крайней необходимости. Онъ слѣпо вѣритъ въ фатумъ, въ судьбу, и предоставляетъ ей заботу о будущемъ, довольствуясь настоящимъ, если оно сколько-нибудь сносно. Ничто не можетъ вывести его изъ того равнодушія и апатіи, въ которую онъ погруженъ. Онъ никогда не торопится, потому что торопливость вызываетъ волненіе, а всякое волненіе причиняетъ страданіе. Его девизъ слѣдующій: „не дѣлай ничего сегодня, что̀ можешь сдѣлать завтра".

Все, что̀ дѣлаетъ восточный человѣкъ, онъ производитъ съ спокойнымъ обдумываньемъ и съ извѣстными установленными формальностями. Вообще, въ обращеніи къ людямъ онъ любитъ говорить обинявами и съ длинными церемоніями; достаточно припомнить тѣ околичности, съ которыми производится на востокѣ

торговля, и ту массу безполезнаго времени и усилій, которыя тратятся тамъ часто для совершенія несложной торговой сдѣлки. Опять-таки, обратно съ американцемъ, востокъ является рѣшительнымъ противникомъ всякихъ новинокъ и реформъ, особенно когда онѣ исходятъ отъ людей не изъ его среды. Но зато, разъ онъ рѣшился на перемѣну, то твердо стоитъ на своемъ, не отступая отъ задуманнаго, образцомъ чего могутъ служить современные японцы.

Семья на востокѣ пользуется гораздо бо̀льшею властью, нежели то можно было бы думать при господствѣ полигаміи. Въ Китаѣ, напримѣръ, семья даже сильнѣе и могущественнѣе, чѣмъ само государство; послѣднее представляетъ собой почти только іерархію семействъ. Отсюда естественно должны вытекать два послѣдствія: во-первыхъ, старость на востокѣ, обратно съ Америкой, вообще весьма уважается и почитается, начиная со старыхъ людей и кончая старыми традиціями. Какъ извѣстно, характеристику Китая составляетъ „культъ предковъ", чѣмъ Китай сближается съ древнимъ Египтомъ и Римомъ; во-вторыхъ, браки на востокѣ отличаются большою плодовитостью; при помощи часто полигаміи человѣкъ создаетъ тамъ раннее и многочисленное потомство. Но такъ какъ запросы лица на жизнь весьма тамъ скромны, то оно не заботится о будущемъ черезъ накопленіе сокровищъ, но желаетъ себя увѣковѣчить черезъ посредство многочисленнаго потомства. Имѣть много дѣтей считается на всемъ востокѣ, отъ Китая до Іудеи, не только желаннымъ дѣломъ, но величайшей честью, обратно съ западомъ или Европой, гдѣ родилось на свѣтъ ученіе Мальтуса и выработался принципъ, что потомство лишь увеличиваетъ тяжесть конкурренціи, или, другими словами, что молодыя поколѣнія являются врагами старыхъ, почему плодить первыхъ равносильно—ухудшать собственное экономическое положеніе. Востокъ лучше всего можно сравнить съ вѣчнымъ юношескимъ періодомъ народовъ въ смыслѣ наклонности къ поэтической сторонѣ жизни и отсутствію заботъ о будущемъ; западъ же, и особенно ту же Америку—съ возмужалымъ, зрѣлымъ возрастомъ человѣчества, можетъ быть, уже приближающимся къ старости. Тотъ главный факторъ и мотивъ къ производительной дѣятельности, который заключается въ стремленіи къ пріобрѣтенію, имѣетъ своимъ корнемъ на западѣ вовсе не любовь къ своимъ дѣтямъ, но исключительно себялюбіе: мы потребляемъ богатство съ такой же быстротой, какъ и пріобрѣтаемъ его. Между тѣмъ восточный человѣкъ смотритъ на себя

какъ на представителя своихъ предковъ, какъ на лицо, которое лишь временно пользуется имуществомъ своихъ дѣтей.

Извѣстный ученый Бэджготъ утверждаетъ, что для каждаго народа существуютъ двѣ фазы развитія: одна фаза—состояніе застоя, покоя, и другая—успѣха или движенія. Наблюдая жизнь востока, легко придти къ заключенію, относительно по крайней мѣрѣ большинства тамошнихъ народовъ, что они или никогда не выходили изъ первой фазы, или, по крайней мѣрѣ въ настоящее время, покоятся крѣпкимъ сномъ. Нашъ поэтъ (Лермонтовъ) прекрасно охарактеризовалъ эту картину востока въ своихъ звучныхъ стихахъ:

..."Не боюся я Востока,
Отвѣчалъ Казбекъ:
Родъ людской тамъ спитъ глубоко
Ужъ девятый вѣкъ;
. . . .
. . . .
Все, что *тамъ* доступно оку,
Спитъ, покой цѣня"...

Рѣшительная разница двухъ различныхъ культурныхъ ступеней человѣчества въ складѣ семейной и общественной жизни еще рѣзче выражается на общемъ экономическомъ строѣ, на характерѣ промышленной дѣятельности человѣка востока и запада и на той скорости или частости, съ которой бьется пульсъ той же самой экономической жизни на противоположныхъ частяхъ свѣта. Обратно съ описаннымъ словами поэта сонливымъ покоемъ востока, наша эпоха на западѣ по справедливости носитъ названіе *нервнаго вѣка*, за ту именно лихорадочную быстроту, съ которой совершается весь круговоротъ теперешней жизни. „Какъ вокругъ электрической машины,—говоритъ Мантегацца,—ощущается особый запахъ озона, а въ комнатѣ лихорадочно больного лихорадочный воздухъ, такъ точно среди конвульсивнаго и истерическаго общества, которое насъ окружаетъ, господствуетъ нервозный воздухъ, въ которомъ, нѣтъ-нѣтъ, посыплются искры, не то промелькнетъ и свѣтлая молнія" [1])... Напряженнѣе всего это нервное состояніе замѣчается вовсе не на югѣ, а въ туманахъ сѣвера, въ Америкѣ и Англіи, которыя за послѣднія двѣсти лѣтъ дали міру болѣе всего стимуловъ и толчковъ своими великими техническими изобрѣтеніями къ оживленію и перевороту всей экономической жизни цѣлаго человѣчества. Въ самомъ дѣлѣ, весьма характерной чертой

[1]) Mantegazza: „Das nervöse Jahrhundert", стр. 65.

современной культурной эпохи является то обстоятельство, что почти всѣ сберегающія время изобрѣтенія и открытія, слѣдовательно, ускоряющія общій темпъ всей народной жизни, обязаны своимъ происхожденіемъ преимущественно, если только не исключительно англо-саксонской расѣ въ ея цѣломъ, и даже если идея нѣкоторыхъ изобрѣтеній вышла изъ головы человѣка другой національности, то, во всякомъ случаѣ, практическое примѣненіе, утилизація изобрѣтенія произведены или американцами, или англичанами, въ весьма рѣдкихъ случаяхъ—нѣмцами. Укажемъ лишь нѣкоторыя: всѣ главнѣйшіе успѣхи по пряденію и ткачеству, ускоряющіе въ огромное число разъ обороты человѣческаго труда, принадлежатъ почти исключительно англичанамъ: такъ-называемая Spinning Jenny (1760) Джемса Харгрэвса (James Hargreaves), ватерная прядильная машина (1769) Ричарда Аркрайта (Arkwright), комбинація этихъ обѣихъ машинъ Самуила Кромптона (Crompton), механическій ткацкій станокъ Эдмунда Картрайта (Cartwright) 1786 года; затѣмъ (1769) паровая машина (Jamma), локомотивъ и желѣзная дорога (двухъ Стефенсоновъ) и пароходы (англо-американца Роберта Фультона). Въ свою очередь, электрическій телеграфъ (Морзе), телефонъ, фонографъ (Эдисонъ), микрофонъ и проч. всецѣло или отчасти являются продуктомъ американскаго генія. Многія изобрѣтенія собственно другихъ народностей, какъ швейная машина (изобрѣтена нѣмцемъ (Maderssperger), вязальная машина (нѣмцемъ Heilmann), электрическое освѣщеніе (русскими Ладыгинымъ и Яблочковымъ)—пущены главнымъ образомъ въ ходъ и наиболѣе распространены, благодаря тѣмъ же самымъ энергичнымъ американцамъ, и т. д.

Такимъ образомъ, Америка и Англія являются странами наиболѣе *интенсивной* экономіи времени; онѣ дали міру наибольшее количество изобрѣтеній, ускоряющихъ пользованіе временемъ и сберегающихъ его, и въ то же самое время тѣ же двѣ родственныя націи, слѣдовательно, и наиболѣе воспользовались плодами своихъ изобрѣтеній. Никакія другія страны не утилизируютъ въ такихъ размѣрахъ машинъ и всякаго рода механическихъ приспособленій, и вся физическая и духовная жизнь этихъ родственныхъ націй, въ бо́льшей или ме́ньшей мѣрѣ, отличается тѣмъ ускореннымъ, такъ сказать, „машиннымъ темпомъ", который и составляетъ главнѣйшее отличіе всей промышленной жизни запада отъ востока.

На востокѣ еще царятъ (гдѣ не уничтожены европейской конкурренціей) домашніе промыслы, которые покоятся лишь на работѣ искусныхъ рукъ, а не на машинахъ и иныхъ механиче-

скихъ изобрѣтеніяхъ, свойственныхъ западу. Сюда принадлежатъ прежде всего пряденіе, ткачество, плетеніе, вязаніе, составляющія по преимуществу предметъ женскаго труда, часто полнаго красоты и вкуса, но поглощающаго на свое производство массу времени, какой бы отрасли производства ни коснуться; всѣ восточные продукты, начиная съ чая и шолковыхъ тканей и кончая вышивками и лакированными вещами, поражаютъ кропотливымъ терпѣніемъ своихъ производителей и, слѣдовательно, полнымъ пренебреженіемъ къ экономіи „времени", —обратно съ западомъ, старающимся повсюду замѣнить руки человѣка машинами. Востоку человѣчество также обязано многими изобрѣтеніями, начиная съ компаса и кончая порохомъ и спиртомъ, но большинство восточныхъ изобрѣтеній или остались совершенно втунѣ на востокѣ, и ихъ пришлось повторять вновь на западѣ, или же востокъ не съумѣлъ совершенно ихъ утилизировать надлежащимъ образомъ; порохъ, употребляемый, напримѣръ, почти исключительно какъ матеріалъ для фейерверковъ, былъ извѣстенъ китайцамъ задолго до Бернарда Шварца, а спиртъ, какъ матеріалъ для нѣкоторыхъ техническихъ подѣлокъ, употреблялся ими задолго до существованія на свѣтѣ Арнольда Виллянова и Раймунда Люллія, жившихъ всего лишь въ XIV вѣкѣ и впервые описавшихъ выгонку спирта. Лакъ, бумага, тушъ, фарфоръ и множество другихъ болѣе мелкихъ восточныхъ изобрѣтеній, какъ извѣстно, до сближенія съ тѣми же европейцами, не имѣли серьезнаго значенія во всемірномъ торговомъ оборотѣ и утилизировались скорѣе въ отношеніи къ предметамъ прихоти, нежели необходимости. Нынѣ западъ покупаетъ у востока время, щедро употребляемое съ неутомимымъ прилежаніемъ на производство его издѣлій, переживающихъ, по своей прочности, чуть не вѣчность, тогда какъ онъ самъ, т.-е. культура „интенсивной" экономіи, наоборотъ, обнаруживаетъ тенденцію производить все скоро и споро, на краткій срокъ и по дешевой цѣнѣ, начиная съ шестиэтажныхъ великановъ-домовъ и скоротечныхъ обоевъ, которыми оклеены ихъ стѣны, а также разныхъ конторъ, банковъ и иныхъ промышленныхъ учрежденій, въ нихъ помѣщающихся и не менѣе скоротечныхъ, и кончая, наконецъ, тѣми тканями и костюмами, которые всѣ носятъ, мѣняя ихъ чаще въ годъ, нежели на востокѣ изнашивали въ теченіе, можетъ быть, нѣсколькихъ поколѣній...

Но нѣтъ правила безъ исключеній; существуетъ народъ, который не только вышелъ съ востока, но частью даже проживаетъ тамъ и который, тѣмъ не менѣе, оставаясь по происхожденію и по степени культуры восточнымъ, т.-е. представителемъ продолжительной или

„экстенсивной“ экономіи времени, по своимъ природнымъ свойствамъ и особенностямъ исторіи принадлежитъ къ періоду интенсивному, или, какъ выражается мѣтко Германъ, народъ этотъ мыслитъ по западному, скорѣе даже, чѣмъ самъ западъ въ своихъ низшихъ слояхъ населенія; это семитическая раса, изъ которой въ настоящее время наиважнѣйшую роль играютъ евреи. Евреи, какъ извѣстно, основали новую религію, нынѣ господствующую въ большей части міра; религія эта, имѣя на себѣ восточный отпечатокъ, какъ бы перенесла востокъ на западъ и быстро распространилась по всей землѣ. Но евреи, эти „западники востока“, выступили противниками христіанства, у нихъ же получившаго свое начало, и съ тѣхъ поръ по настоящее время второе тысячелѣтіе тянется борьба между христіанами и іудеями, которая, по терминологіи Германа, является въ дѣйствительности борьбой „восточниковъ запада“ съ „западниками востока“. „До тѣхъ поръ, пока евреи лишь содѣйствовали хозяйственному развитію черезъ свою ловкость, прилежаніе и осмотрительность, до тѣхъ поръ противъ нихъ голосовъ почти не слышалось; но когда, въ трудныя времена упадка, ихъ конкурренція выступила и выказалась свойственнымъ имъ рѣзкимъ образомъ, а ихъ стремленіе дать выдающееся мѣсто торговлѣ передъ всѣми другими отраслями хозяйства, которыя, въ свою очередь, они стараются передѣлать на торговый образецъ, коснулось интересовъ землевладѣльцевъ и мелкихъ горожанъ, и безъ того экономически слабыхъ, тогда-то началось новое антисемитическое движеніе. Это послѣднее смѣшиваетъ причину съ послѣдствіемъ и приписываетъ евреямъ то, что̀ составляетъ лишь естественную эволюцію народнаго хозяйства, и появилось бы и безъ ихъ участія, но лишь болѣе медленно, т.-е. прекращеніе *экстенсивныхъ* формъ предпріятій и постановка на ихъ мѣсто *интенсивнаго* производства въ разныхъ видахъ“. Приведенной причиной, нѣтъ сомнѣнія, объясняется также и то явленіе, что наиболѣе всего евреи получили силу и вызвали противъ себя народное неудовольствіе въ тѣхъ именно странахъ, населеніе которыхъ твердо держится старыхъ хозяйственныхъ формъ, т.-е. преимущественно является выразителемъ уже отживающихъ культурныхъ ступеней „экстенсивной экономіи времени“ [1]).

Теперешняя Европа по отношенію своего населенія ко „времени“ или „пространству“, а иначе по степени культуры вообще представляетъ собою смѣсь первобытности съ интенсивными формами; въ однихъ слояхъ народа, въ однѣхъ отрасляхъ хозяй-

---

[1]) См. Sein und Werden in Raum und Zeit, von E. Hermann, стр. 318—329.

ственной дѣятельности населенія преобладаютъ старыя исконныя формы не только „экстенсивнаго“ періода человѣчества, но могутъ встрѣчаться и встрѣчаются, и притомъ, какъ увидимъ дальше, въ немаломъ количествѣ „люди минуты“, т.-е. лица культурнаго государства, но которыя сохранили весь обликъ, привычки и пріемы въ отношеніяхъ ко времени, свойственные дикарю. Одни государства приближаются болѣе къ высшему *интенсивному* типу, какъ это было упомянуто, напримѣръ, объ Англіи; другія, какъ, напримѣръ, Россія, по роду и характеру занятій большинства жителей и ихъ степени экономическаго развитія во многихъ случаяхъ складомъ своего быта и особенно оцѣнкой экономическаго значенія „времени“ еще напоминаютъ востокъ. Временемъ у насъ дорожатъ еще весьма мало, а потерю его ставятъ ни во что; точныхъ представленій о пространствѣ не существуетъ; энергія, въ смыслѣ быстроты дѣйствій, встрѣчается народомъ отнюдь не одобрительно, приравнивается къ суетливости и торопливости, и народная мудрость, выражаемая пословицами, беретъ подъ свою защиту лишнюю трату „времени“ [1]), слегка осмѣивая лишь существующую неточность въ измѣреніяхъ пространства.

Но вообще и во всей Европѣ время еще далеко не цѣнится надлежащимъ образомъ; европейскій крестьянинъ живетъ еще вмѣстѣ съ природой, считая по временамъ года и не придавая значенія меньшему періоду времени, нежели сутки, изъ которыхъ притомъ ночь занимаетъ бо̀льшую часть; часы для него не существуютъ, а еще менѣе минуты; даже въ образованныхъ классахъ не имѣютъ должнаго представленія о важности и значеніи въ жизни минутъ и секундъ, и на потерю ихъ не обращаютъ никакого вниманія. Между тѣмъ, если сложить всѣ минуты и секунды, которыя у насъ пропадаютъ въ обыденной жизни зря, то въ суммѣ, разумѣется, получатся цѣлые годы жизни. Германъ приво-

---

[1]) Приведемъ нѣсколько характерныхъ пословицъ и поговорокъ изъ разныхъ мѣстностей Россіи, касающихся воззрѣній нашего народа на время и пространство: „Тише ѣдешь — дальше будешь“; „Поспѣшишь—людей насмѣшишь“; „Не спѣши въ Лепеши, а ночуй въ Сандыряхъ“; „Русскій часъ дологъ,—тридцать со днемъ“ (записано въ чебоксаровскомъ уѣздѣ). Московскій часъ, согласно Максимову, еще длиннѣе, срокомъ ровно въ цѣлый годъ: „Подожди съ московскую годинку,—съ московскій часъ!“ („Крылатыя Слова“ 1890, стр. 118. „Дѣло не волкъ—въ лѣсъ не убѣжитъ“. „Годинка—не кобылка,—не пристане“ (бѣлорусск., сообщено г. Ляцкимъ). „Скорый поспѣхъ—людямъ на смѣхъ“ (тоже). „Що скоре—то ледящо“ (малорусск., сообщено г. Ляцкимъ). „Баба мѣрила клюкой,—да махнула рукой,—буть де такъ!“ „Мѣрилъ-то ихъ Иванъ да Тарасъ, да у нихъ цѣпь порвалась; Иванъ говоритъ: „свяжемъ“, а Тарасъ: „ладно, и такъ скажемъ“ (сообщено Д. Н. Анучинымъ), и т. д. „Корельскій верстень—поѣзжай цѣлый день“ (Максимовъ).

дить по этому поводу нѣсколько интересныхъ выкладокъ о потерѣ времени на частыхъ остановкахъ конножелѣзныхъ дорогъ въ Вѣнѣ, которыми ему пришлось завѣдывать. Въ публикѣ,—разсказываетъ онъ,—представленія по данному предмету такъ неясны, что большинство полагало, что эти остановки берутъ отъ одной до трехъ минутъ каждая; по оффиціальнымъ свѣденіямъ конножелѣзнаго общества, остановки вычислялись отъ 15 до 20 секундъ; наконецъ, по личному тщательному изслѣдованію Германа, онѣ въ дѣйствительности, какъ оказалось, составляли всего лишь отъ 7 до 10 секундъ, ему удалось лично понизить это время отъ 3 до 6 секундъ, чѣмъ онъ сберегъ для народонаселенія города, при 400.000 остановокъ въ конкѣ, при 10 человѣкахъ въ вагонѣ, по меньшей мѣрѣ, въ день 16.000.000 секундъ, или 266.666 минутъ, или 4.444 часа, или, кладя на рабочій день 12 часовъ, это составитъ 370 рабочихъ дней. Таково сбереженіе, которое получается, благодаря выигрышу лишь нѣсколькихъ секундъ; сбереженіе же *одной минуты*, при пользованіи конкой каждымъ ѣдущимъ ежедневно, по его разсчету, составило бы для всего городского населенія Вѣны ежегодно 150 лѣтъ. Если развивать эту тэму далѣе, вычисляя все то значеніе мелкихъ, незамѣтныхъ потерь времени, которое производится безцѣльно и безполезно, то въ сложности, конечно, получатся цѣлыя столѣтія, которыя, еслибы были посвящены труду, дали бы, разумѣется, цѣлые милліоны потерянныхъ теперь рублей. Во всей Европѣ, примѣрно, считается 350 милліоновъ жителей; если изъ нихъ полагать, что лишь 100 милліоновъ непосредственно пользуются желѣзно-дорожнымъ сообщеніемъ, и класть, что каждый изъ нихъ въ теченіе года потеряетъ на ожиданіяхъ на станціяхъ всего въ сложности 5 часовъ, то получится ежегодная потеря для Европы 41.666.660 рабочихъ дней (въ дѣйствительности, навѣрное, больше) или по двѣнадцати часовъ труда въ сутки—111.111 рабочихъ лѣтъ, что̀ составитъ, ежели оцѣнивать въ среднемъ человѣческій годовой трудъ только въ 100 рублей, ежегодную потерю въ 11 милліоновъ слишкомъ отъ одного только безполезнаго сидѣнья на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ. Несомнѣнно, во всякомъ случаѣ, одно, что въ большинствѣ Европы время еще далеко не цѣнится, даже въ тѣхъ предѣлахъ, въ какихъ, напримѣръ, въ Америкѣ.

Такимъ образомъ, экономія времени первобытнаго періода сталкивается въ Европѣ съ интенсивной экономіей времени, свойственной эпохѣ паровыхъ машинъ, электричества и желѣзныхъ дорогъ. Наиболѣе консервативнымъ въ этомъ случаѣ экономиче-

скимъ элементомъ, сильнѣе всего связаннымъ съ устарѣлыми формами хозяйства, является, какъ упоминалось, именно сельское населеніе. Въ то время, какъ сѣверо-американскій фермеръ обработываетъ свое поле и жатву послѣдними, усовершенствованными машинами, передаетъ свое зерно въ многочисленные элеваторы и склады, существующіе чуть не у воротъ его житницы, иногда даже—какъ знаменитый союзъ грэнджеровъ—вступаетъ въ коалицію съ другими такими же сельчанами, непохожими на своихъ европейскихъ собратій, конкуррируетъ съ желѣзными дорогами, заводитъ свои пароходы, отправляя прямо, минуя посредниковъ, свои продукты на отдаленные рынки, имѣетъ свою газету, сносится со всѣмъ міромъ посредствомъ почты, телеграфа, телефона, посѣщаетъ биржу и черпаетъ свои свѣденія о ходѣ цѣнъ въ мірѣ изъ перваго источника,—въ то же самое время въ Европѣ представляется картина совершенно иная, какъ въ отношеніи техники сельско-хозяйственнаго производства, такъ и всего строя жизни сельскаго населенія, распадающагося тутъ, въ отличіе отъ Америки, уже на два класса—крестьянъ и помѣщиковъ. Европейскій крестьянинъ прежде всего боится наиважнѣйшаго орудія въ экономіи времени и пространства—желѣзныхъ дорогъ; онъ боится потому, что желѣзныя дороги доставляютъ на тотъ маленькій рынокъ, на который крестьянинъ привыкъ поставлять свои продукты, тоже сырье, хлѣбъ, скотъ, птицу и проч. изъ отдаленныхъ мѣстностей и даже странъ, понижая цѣны и затрудняя крестьянину сбытъ. Зимой крестьянинъ привыкъ заниматься съ своимъ семействомъ пряденіемъ, ткачествомъ, приготовленіемъ разной домашней утвари и подѣлокъ, необходимыхъ въ хозяйствѣ, а иногда и домашнимъ кустарнымъ промысломъ, который для многихъ даетъ важный побочный заработокъ. Въ настоящее время картина уже значительно мѣняется: въ европейскую деревню проникаютъ не только разносчики, но и торгаши, торговые агенты, скупщики, и доставляютъ крестьянину по сравнительно дешевой цѣнѣ продукты фабричнаго производства, менѣе прочные и долговѣчные, но по своей цѣнѣ вытѣсняющіе прочный домашній холстъ, крашенину, пестрядь, сукно и проч., скупая его продукты по произвольной цѣнѣ и злоупотребляя его невѣжествомъ, разрозненностью силъ и сравнительной бѣдностью. Съ другой стороны, помѣщикъ, крупный землевладѣлецъ готовъ пользоваться выгодами современной транспортировки и средствъ сообщенія, но въ то же самое время многія стороны современнаго экономическаго склада претятъ ему въ такой же степени, какъ и крестьянину; тѣ же сберегающія время учрежденія, которыми онъ пользуется, приносятъ

ему конкурренцію всего хлѣбнаго міра и повелительно диктуютъ цѣны, не справляясь съ его желаніями; прежнія помѣщичьи прерогативы разнаго рода въ большинствѣ давно прекратились, а пріемы и распорядки помѣщичьяго хозяйства далеко не усовершенствовались и не идутъ вслѣдъ за временемъ. И вотъ, въ большинствѣ Европы со стороны земледѣльческаго класса начинается давленіе на правительство, въ смыслѣ разнороднаго покровительства землевладѣльческимъ интересамъ—таможенными пошлинами на хлѣбъ, скотъ, запретомъ ввоза послѣдняго якобы въ санитарныхъ видахъ, вывозными преміями и „нормировкой" производства, напримѣръ, сахару, доставленіемъ дешеваго казеннаго кредита, устройствомъ синдикатовъ и возвратомъ пошлинъ на вывозъ тоже сахару, спирту, табаку и проч.

Но если въ своей культурной ступени и особенно въ экономіи „времени" Европа значительно отстала отъ Америки, и ей еще много предстоитъ пережить прежде, нежели, слѣдуя законамъ эволюціи, она ее догонитъ, то, несмотря на это, въ темныхъ сторонахъ современной цивилизаціи, въ тѣхъ печальныхъ послѣдствіяхъ, которымъ, какъ извѣстно, не чуждо и поступательное движеніе интенсивнаго хозяйства нашего времени и которыя называются пролетаріатомъ, Европа не только на этотъ разъ не отступаетъ, но даже выступаетъ впереди Америки. Спрашивается, что̀ называется пролетаріемъ? На этотъ вопросъ можно отвѣтить съ разныхъ точекъ зрѣнія различно. Обыкновенно современнымъ пролетаріемъ называютъ такого человѣка, который не владѣетъ никакими средствами существованія, кромѣ собственной рабочей силы. Э. Германъ, съ точки зрѣнія значенія экономіи времени, называетъ пролетарія „человѣкомъ минуты", который, такъ сказать, внѣдренъ въ современную цивилизацію и живетъ посреди общества и условій „интенсивнаго времени", почему и представляетъ собою *соединеніе контрастовъ*. Въ самомъ дѣлѣ, европейскій пролетарій, который создаетъ всѣ цѣнности и богатства, или помогаетъ ихъ создавать, самъ лично не владѣетъ никакими: онъ копаетъ глубоко подъ землей каменный уголь, а самъ мерзнетъ отъ холода; жнетъ жатву превосходнаго хлѣба, а самъ питается жалкимъ картофелемъ; ткетъ блестящую шолковую ткань, а самъ ходитъ въ грязныхъ лохмотьяхъ. Тѣ же контрасты продолжаются и въ прочихъ сторонахъ его жизни: пролетарій преимущественно является фабричнымъ рабочимъ, т.-е. орудіемъ въ трудовомъ процессѣ „интенсивной экономіи времени" и, между тѣмъ, въ своей частной жизни—онъ „человѣкъ минуты" такъ же, какъ первобытный человѣкъ съ острова Новой Гвинеи или

Новой Зеландіи. Еще когда-то въ древности, кажется, Гракхъ сравнилъ пролетарія съ дикаремъ и звѣремъ первобытнаго лѣса, живущимъ въ пещерахъ и дуплахъ. Дѣйствительно, съ точки зрѣнія экономіи времени, современный европейскій рабочій-пролетарій во многихъ отношеніяхъ оправдываетъ это сравненіе. Какъ дикарь, онъ не имѣетъ постояннаго и даже собственнаго жилища, а лишь наемное, часто безъ мѣры переполненное, тѣсное и грязное; какъ дикарь, пролетарій вообще не отличается предусмотрительностью, мало думаетъ о будущемъ, и эти думы могутъ быть въ большинствѣ лишь печальны, а для сбереженій онъ не имѣетъ, большею частью, необходимыхъ условій—избытка средствъ противъ проживаемаго; пропитаніе его находится въ такой же зависимости отъ случая, какъ у дикаря, — сегодня онъ сытъ, а завтра голоденъ. Ложась спать, онъ не знаетъ, будетъ ли онъ завтра обѣдать и будетъ ли имѣть ночлегъ. Вообще, все его хозяйственное существованіе отличается непостоянствомъ и неустойчивостью. Подобно „человѣку минуты“, онъ не можетъ похвалиться высокой нравственностью въ нашемъ смыслѣ; онъ не рѣшается часто жениться на женщинѣ, которую любитъ, и вступаетъ въ связь, не освященную закономъ. Въ результатѣ онъ является отцомъ незаконныхъ дѣтей, которыхъ существованіе, помимо его матеріальной несостоятельности, во многихъ странахъ никакъ не обезпечивается и не находится подъ защитой закона, лишь плодя и увеличивая порокъ и преступленія.

Таковъ современный пролетарій, какимъ можетъ считаться значительное число европейскихъ рабочихъ, созданныхъ той самой „интенсивной экономіей времени“, которой обязана своимъ существованіемъ и вся настоящая цивилизація. Картина, нѣтъ сомнѣнія, печальная, но вѣрная и представляетъ собой уже много лѣтъ тревожную задачу, не разрѣшенную и до настоящихъ дней; что дѣлать? какъ устранить эту важную заботу, много лѣтъ снѣдающую милліоны людей? That is the question!—вотъ вопросъ, достаточно важный, чтобы заставить многихъ людей усомниться, благодаря его существованію, въ самой плодотворности нашей культуры и чуть не мечтать, подобно Руссо, о возвращеніи человѣчества въ первобытное состояніе, или фантазировать, подобно Беллами, о прекрасномъ будущемъ для человѣчества черезъ сто лѣтъ... Здѣсь не мѣсто, конечно, вдаваться въ обсужденіе этого столь труднаго и сложнаго вопроса; — замѣтимъ только, что до настоящаго времени ключа къ разрѣшенію этой задачи еще не найдено; не нашелъ его и Германъ въ своей интересной книгѣ, съ которой мы только-что познакомились. Мало того, рѣшеніе

этой задачи, по нашему убѣжденію, едва ли кто найдетъ и въ будущемъ,—но не потому, чтобы зло соціальнаго вопроса представляло непремѣнно собой что-либо вѣчное, подобно самому человѣчеству, а потому, что-всякія въ данномъ случаѣ предложенія и мѣры, въ чемъ бы они ни выражались и кѣмъ бы ни предлагались, могутъ, конечно, принести свою долю частнаго добра людямъ (какъ новѣйшая, напримѣръ, схема генерала Бутса), но не разрѣшатъ судьбы пролетаріата въ его цѣломъ, уже по своей односторонности и мизерности. Если человѣкъ переживаетъ каждый возрастъ своей жизни лишь однажды и, достигши возмужалости, не можетъ возвратиться къ юности или къ дѣтству съ его радостями и утѣхами, такъ и все человѣчество, вступая въ періодъ зрѣлаго возраста, въ эпоху „интенсивной экономіи времени", въ нашъ вѣкъ, не можетъ, какъ бы ни хотѣлось, вернуться къ тихому, безмятежному, частью идиллическому существованію востока, этого типичнаго образца уже отживающей, хотя и наиболѣе распространенной „экстенсивной экономіи культуры". Какъ бы ни велико было это зло нашей современности, но, увы, поворотъ назадъ въ Азію, къ тамошнему складу жизни, для человѣчества такъ же невозможенъ, какъ и переживаніе второй разъ того же самаго возраста. Въ настоящемъ случаѣ современный западный міръ можетъ лишь воскликнуть вслѣдъ за нашимъ поэтомъ:

„Нѣтъ! не дряхлому Востоку
Покорить меня!"...

Остается, слѣдовательно, двигаться впередъ,—разъ, по законамъ развитія, возвращеніе назадъ немыслимо. Необходимо дать ходъ и просторъ дальнѣйшему поступательному шествію новыхъ культурныхъ формъ жизни. Всякое движеніе матеріальной природы должно довѣряться, какъ на этомъ настаиваетъ Германъ, по возможности, искусственнымъ силамъ и органамъ, т.-е. трудъ человѣка долженъ всячески сберегаться,—другими словами, самое широкое примѣненіе машинъ, немедленное пользованіе всѣми выводами настоящихъ и будущихъ усовершенствованій техническихъ знаній, должно получить всеобщее распространеніе. Соединеніе, ассоціированіе силъ во всѣхъ видахъ производства и труда точно также должно всѣми мѣрами поощряться и расширяться.

Государственной власти въ данномъ случаѣ предстоитъ также двоякая задача: съ одной стороны, не задерживать безполезно перехода старыхъ формъ жизни въ новыя и не тратить тщетно для этой цѣли средствъ и усилій, и во-вторыхъ, помогать, путемъ законодательнаго воздѣйствія и активнаго вмѣшательства,

наиболѣе легкому, удобному совершенію этого переходнаго и болѣзненнаго процесса, и притомъ по возможности безъ страданія для народа. На первомъ планѣ здѣсь стоитъ дальнѣйшая выработка и широкое развитіе, вмѣстѣ съ практическимъ примѣненіемъ, правильныхъ нормъ какъ рабочаго и фабричнаго законодательства, такъ и другихъ видовъ государственнаго воздѣйствія на общее благо народа. Нѣтъ сомнѣнія, что многимъ такое разрѣшеніе соціальнаго вопроса покажется слишкомъ отдаленнымъ и медленнымъ. Зато этотъ путь, какъ отвѣчающій законамъ эволюціи, намъ кажется, можетъ считаться не только самымъ вѣроятнымъ, но и единственно прочнымъ и надежнымъ, благодаря именно своей постепенности и естественному ходу развитія.

Иванъ Янжулъ.

ДЭМОСЪ

Романъ въ двухъ частяхъ.

Соч. Гиссинга

XII *).

По возвращеніи въ Лондонъ, Губертъ погрузился въ научныя занятія и мало-по-малу, всецѣло поглощенный ими, если не забылъ совершенно Адель, то все же на время заглушилъ въ себѣ горькое чувство поздняго раскаянія, обиды и сознанія, что невозвратно потерялъ существо, которое могло бы освѣтить все его существованіе и подарить ему истинное, тихое, но надежное счастье.

Онъ особенно полюбилъ итальянскихъ поэтовъ начала возрожденія и произведенія примитивнаго искусства живописцевъ до Рафаэля. Читая „Vita nuova“, онъ въ Эгеріи видѣлъ одухотворенный образъ Адели. Возвышенныя чувства поэта будили въ душѣ его откликъ, и сердце его трепетало снова, потому что Адель тайно, независимо отъ его воли и сознанія, все еще жила въ его умѣ и сердцѣ.

Подражая Данте, онъ писалъ сонеты въ честь миссъ Вальтамъ. Страсть, недавно еще охватившая его и повергшая къ ногамъ другой женщины, пронеслась, какъ буря, безслѣдно. Это было рабство, и онъ благословлялъ небо, что освободился отъ позорной страсти. Любовь къ Адели была глубокимъ и возвышеннымъ состояніемъ его духа; образъ этой дѣвушки являлся ему

---

*) См. выше: февр., 696 стр.

какъ символъ всего прекраснаго и добраго; она для него теперь была духомъ, а не женщиной изъ плоти и костей.

Губертъ провелъ мучительную, безсонную ночь послѣ того, какъ узналъ отъ пастора, что свадьба Адели и Мотимера рѣшена безвозвратно. Но ему—то казалось, что не все еще потеряно, что онъ еще можетъ возвратить себѣ симпатію и довѣріе Адели, то думалъ онъ, что долженъ спасти ее, выдаваемую насильно за немилаго человѣка.

Въ уединеніи, въ безмолвіи таинственной ночи голову его охватывалъ какой-то горячечный бредъ, и сердце разгоралось противоположными чувствами. А что, если она добровольно выходитъ замужъ за этого Мотимера? Пусть же онъ утратитъ ее, пусть разсѣется послѣдняя, жалкая иллюзія!

Но если она еще свободна—не долженъ ли онъ опровергнуть клевету, взведенную на него, не долженъ ли возстановить ея прежнее довѣріе и уваженіе къ себѣ? А если она уже невѣста, то по какому праву онъ будетъ возмущать ея спокойствіе? Такъ терзался Губертъ и во всю ночь не сомкнулъ глазъ.

Когда онъ снова посѣтилъ Ванлей, его мать сказала ему, что у нея лежитъ маленькій томикъ: „Годъ христіанина“.

— Не знаешь ли, чья это книга?

Глаза Губерта засверкали радостью.

— Эту книгу дала мнѣ еще давно миссъ Вальтамъ,—сказалъ онъ:—дайте ее мнѣ.

Мгновенно въ головѣ его возникъ планъ возвратить эту книгу Адели, вложивъ въ нее письмо или—нѣтъ!—одинъ изъ сонетовъ, написанныхъ имъ въ послѣднее время въ честь ея.

Свѣжій, крѣпительный ночной воздухъ обвѣвалъ горячій лобъ Губерта, когда онъ шелъ къ своему другу Вейверну. Уже на небѣ таинственно мерцали безчисленныя звѣзды. Шаги его звучно отдавались на потемнѣвшей дорогѣ. Вдругъ въ сумракѣ вырисовался передъ нимъ туманный силуэтъ женщины. Вглядѣвшись, онъ узналъ въ немъ Летти Тью. Она быстро прошла мимо него.

— Неужели, миссъ Тью,—окликнулъ онъ дѣвушку,—вы не узнаете своего стараго знакомаго?

— При лунномъ свѣтѣ все такъ измѣняетъ свой видъ...—пробормотала смущенно дѣвушка, останавливаясь.

— Ночь, однако, довольно свѣтлая. Я шелъ къ Вейверну, съ тѣмъ чтобы просить его передать миссъ Вальтамъ ея книгу, найденную мною у себя; но теперь, разъ благопріятный случай позволилъ мнѣ встрѣтиться съ вами, могу я просить *васъ* передать ее Адели?

— Что-жъ, я не откажусь. И прикажете поблагодарить ее отъ вашего имени?—тонко прибавила Летти.

— Я вамъ буду очень благодаренъ. Вы позволите завтра утромъ занести книгу вамъ на домъ?

Летти кивнула головой въ знакъ согласія. Губертъ, почтительно откланявшись, хотѣлъ продолжать свой путь, но Летти протянула ему руку. Онъ горячо пожалъ ее. Онъ былъ тронутъ.

— Прощайте, миссъ Тью,—сказалъ онъ.—Ахъ, если бы вы знали, какъ я сожалѣю о невозвратномъ прошломъ!

Бѣдному Губерту предстояло пережить еще нѣсколько горькихъ минутъ, когда онъ читалъ у клерджимена данный имъ нумеръ мѣстнаго листка.

— Хотѣлъ бы я знать,—гнѣвно вскричалъ м-ръ Вейвернъ, тяжело шагая взадъ и впередъ по комнатѣ,—кто сочинитель этой подлой статейки!

— Вы думаете, Вальтамамъ уже извѣстно содержаніе замѣтки?—сказалъ дрожащимъ голосомъ Губертъ.

— Разумѣется. Мнѣ сама м-съ Вальтамъ и дала этотъ нумеръ.

— Вы, конечно, опровергли эту омерзительную клевету?

— Да, всѣми силами, разумѣется, возсталъ противъ нея.

— Завтра же я объяснюсь съ редакторомъ, и посмотримъ,—вскричалъ Губертъ,—какъ-то отдѣлается отъ меня та каналья, которая настрочила замѣтку!

— Напечатано здѣсь, что извѣстіе получено отъ „нашего лондонскаго корреспондента“, но я увѣренъ, что его доставилъ кто-нибудь изъ мѣстныхъ жителей.

— Вы, быть можетъ, думаете, что оно составлено по внушенію Мотимера?

— Нѣтъ, я этого не думаю.

— А между тѣмъ это — вѣроятно въ высшей степени. Я побываю въ ванлейскомъ замкѣ, и, надѣюсь, тамъ мнѣ дадутъ категорическій отвѣтъ.

— Не дѣлайте этого, умоляю васъ!—вскричалъ пасторъ, хватая его за руку.

— Почему это?

— У васъ нѣтъ ни права, ни основанія обвинять именно Мотимера въ этомъ гнусномъ дѣлѣ, а не кого другого. А главное, знайте, онъ уже получилъ отъ миссъ Вальтамъ согласіе на бракъ. Все уже кончено.

Утромъ Губертъ принесъ Летти Тью книгу, которую та взялась передать Адели. Онъ просилъ ее такъ же опровергнуть пе-

редъ этой послѣдней клевету, взведенную на него въ замѣткѣ „Belwick Chronicle“.

При свиданіи обѣ молодыя дѣвушки нѣжно обнялись. Хотя Летти была однихъ лѣтъ со своей подругой, но относилась къ ней какъ къ старшей сестрѣ.

— Какъ мнѣ хочется знать, счастлива ли ты теперь, невѣстой!—вскричала Летти.

— Я поступила такъ, какъ мнѣ велѣла совѣсть. Я спокойна. Чтò это у тебя?—прибавила она, замѣтивъ въ рукахъ у своей подруги маленькій пакетъ.

— Это книга, которую мнѣ поручили тебѣ передать. „Годъ христіанина“—вѣдь это твоя книга?

— Моя,—отвѣчала Адель совершенно спокойно.

— Я вчера встрѣтилась съ Губертомъ Эльдономъ, и онъ просилъ передать ее тебѣ.

— Благодарю, милочка.

— Онъ шелъ къ м-ру Вейверну, съ которымъ за послѣднее время очень подружился.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— И онъ просилъ тебѣ передать еще...

— Знаешь чтò,—не будемъ лучше говорить объ Эльдонѣ.

— Прости меня, но я должна говорить о немъ. Знаешь ли: вѣдь все, чтò писали о его женитьбѣ на актрисѣ, совершенная ложь.

— Откуда ты это узнала?

— Къ мамà приходилъ м-ръ Вейвернъ. Онъ утверждаетъ, что все это гнусная клевета.

— Такъ какъ меня нисколько это не интересуетъ, то прекратимъ разговоръ объ этомъ,—сказала Адель, повидимому, совершенно равнодушно.

Оставшись одна, Адель развернула книгу и, устремивъ на нее печальный взоръ, задумалась.

Потомъ открыла ее, стала перелистывать. Она надѣялась найти въ ней письмо, но, вмѣсто того, между страницами лежало нѣсколько листковъ со стихами.

Прочитавъ сонетъ, она вынула его изъ книги и затѣмъ написала записку слѣдующаго содержанія:

„Благодарю васъ, уважаемый мистеръ Эльдонъ, за присылку книги „Годъ христіанина“; въ ней я нашла нѣсколько исписанныхъ листковъ, попавшихъ, вѣроятно, туда по ошибкѣ. Поэтому прилагаю ихъ къ этому письму. Преданная вамъ Адель Вальтамъ“.

Положивъ въ конвертъ письмо вмѣстѣ съ сонетомъ, молодая

дѣвушка твердымъ почеркомъ написала адресъ и спрятала его, намѣреваясь сама отнести на почту. Въ ближайшее воскресенье пасторъ торжественно огласилъ о предстоящемъ бракѣ Ричарда Мотимера съ Маріей-Аделью Вальтамъ. Были приняты всѣ мѣры, чтобы съ возможною поспѣшностью совершить это оглашеніе. Черезъ какіе-нибудь два часа послѣ того, какъ Адель дала свое слово Ричарду, этотъ послѣдній былъ уже у пастора, спѣша поскорѣе совершить всѣ обычныя въ такихъ случаяхъ формальности.

М-съ Вальтамъ не имѣла ничего противъ такой торопливости; что касается Адели, то она тоже не просила отсрочки.

Въ деревнѣ много по поводу этого толковали, называли почему-то предполагаемую свадьбу „скандаломъ", но обрушивались главнымъ образомъ на мать, Адель же выставляли жертвой честолюбивыхъ разсчетовъ м-съ Вальтамъ. Семейство Вальтамовъ обѣдало въ замкѣ. Мотимеръ казался полнымъ ликующаго восторга; трудно было опредѣлить—настоящаго или поддѣльнаго. Порою лицо его омрачалось, и онъ задумывался, но одного взгляда на Адель было достаточно, чтобы улыбка вновь расцвѣтала на его губахъ.

Между прочимъ, онъ сказалъ, что ждетъ къ себѣ свою сестру. М-съ Вальтамъ приняла большое участіе въ этомъ и стала разспрашивать Ричарда о его сестрѣ.

— Алиса,—сказалъ онъ,—почти одного роста съ Адель.

Ричардъ называлъ теперь свою невѣсту просто по имени, и послѣднюю это очень раздражало.

— Она хорошая дѣвушка и пріобрѣтетъ вашу симпатію,—продолжалъ онъ.

— Надѣюсь!—пробормотала Адель, устремивъ въ первый разъ свои глаза въ упоръ на Мотимера.

Когда встали изъ-за стола, этотъ послѣдній предложилъ осмотрѣть замокъ. Но Адель предпочла остаться съ своимъ братомъ въ гостиной, въ то время, какъ ея женихъ съ м-съ Вальтамъ осматривали высокіе покои дома. Будущая теща хвалила мебель, солидную и безъ претензій. Все въ ванлейскомъ замкѣ обѣщало жизнь комфортабельную и—если благополучіе зависитъ единственно отъ комфорта—счастливую.

— Миссъ Адель достаточно выразить какое-либо желаніе,—сказалъ Мотимеръ галантно,—и оно немедленно будетъ исполнено. Я куплю карету для нея и верховую лошадь, если это доставитъ ей удовольствіе.

— Вы очень добры, но, конечно, Адель должна соглашать свои желанія съ вашими разумными принципами.

— Что касается меня, то нѣтъ человѣка болѣе равнодушнаго къ роскоши, но совсѣмъ другое дѣло она; для нея я все готовъ сдѣлать.

Однажды Мотимеръ принесъ Адели кипу книгъ, брошюръ и журналовъ.

— Я, конечно, далекъ отъ мысли заставить васъ прочитать цѣликомъ всѣ эти сочиненія,—сказалъ онъ, кладя ихъ передъ нею на столъ.—Я цѣлую ночь провелъ надъ этими книгами, отмѣчая карандашомъ всѣ тѣ мѣста, на которыя я желаю обратить ваше вниманіе. Но особенно я рекомендую вамъ прочесть статьи въ „Огненномъ крестѣ", принадлежащія перу м-ра Уэстлекъ.

— Тутъ есть и ваши статьи?—спросила Адель.

— Нѣтъ, я ограничиваюсь участіемъ въ конференціяхъ по разнымъ соціальнымъ и экономическимъ вопросамъ. Послѣ Рождества я долженъ присутствовать на одной изъ нихъ въ Лондонѣ. Желаете вы сопровождать меня?

— Охотно.

— Я представлю вамъ м-съ Уэстлекъ. Это женщина изъ высшаго круга, также какъ и вы. Въ „Огненномъ крестѣ" напечатано нѣсколько ея стихотвореній, доказывающихъ, что у нея есть умъ и сердце.

— Ваша сестра соціалистка по убѣжденіямъ? — спросила Адель.

— Нельзя сказать, чтобы „принцесса"—мы такъ ее называемъ въ семьѣ — раздѣляла вполнѣ наши идеи, но, я надѣюсь, со временемъ она усвоитъ ихъ.

— А въ Новомъ-Ванлеѣ всѣ раздѣляютъ ихъ?

— Да, всѣ. Каждый работникъ, поступающій къ намъ, причисляется къ союзу.

— Трудъ на вашихъ фабрикахъ оплачивается выше, чѣмъ въ заведеніяхъ другихъ хозяевъ?

— Заработная плата почти та же, но плата за квартиру значительно ниже, а главное, всѣ припасы, провизія, продаются рабочимъ по ихъ настоящей цѣнѣ и хорошаго качества; этого вы нигдѣ въ иномъ мѣстѣ не встрѣтите. Мы вовсе не хотимъ сдѣлать нашихъ работниковъ богатыми людьми; рабочіе къ намъ являются съ дикими понятіями, развращенные многолѣтнимъ рабствомъ у капиталистовъ-эксплуататоровъ. Мы внушаемъ имъ здравыя понятія. У насъ нѣтъ самаго имени хозяина, капиталиста, предпринимателя. Все мое состояніе принадлежитъ союзу. Работники имѣютъ права, равныя со мною. Если нужно распорядиться чѣмъ-нибудь, —ну, тогда выступаю я, но этимъ и ограничивается

моя роль главы предпріятія. Въ настоящее время оно еще не приноситъ намъ большой прибыли, но я намѣренъ, когда дѣло расширится и пойдетъ, основать спеціальный фондъ для пропаганды.

— Что такое пропаганда?—спросила Адель.

— Мы должны стараться распространять наши идеи, такъ сказать, рекламировать ихъ. Это достигается помощью изданія дешевыхъ газетъ и брошюръ, устройствомъ залъ для чтенія, конференцій и публичныхъ чтеній, и т. п. Все это, какъ вы легко поймете, требуетъ денегъ и денегъ не малыхъ.

Адель задумалась на минуту.

— Итакъ, все, что отъ васъ получаютъ рабочіе, — сказала она, наконецъ:—это квартиру и столъ по настоящимъ цѣнамъ?

— Мы даемъ гораздо болѣе, чѣмъ кажется съ перваго взгляда. Жилища нашихъ рабочихъ не похожи на собачьи конуры. Какъ-нибудь мы поѣдемъ вмѣстѣ въ Лондонъ, и я поведу васъ въ рабочіе кварталы. Вы увидите, въ какихъ вертепахъ живутъ рабочіе. То же самое и въ другихъ промышленныхъ центрахъ. Вы все увидите своими глазами. Въ Новомъ-Ванлеѣ число рабочихъ часовъ значительно сокращено. Рабочихъ не третируютъ какъ вьючныхъ животныхъ. Будущее ихъ обезпечено, тогда какъ на фабрикахъ капиталистовъ тысячи причинъ могутъ завтра же выкинуть рабочаго съ женою и дѣтьми умирать съ голода на улицу. Мы завели школы, гдѣ дѣти рабочихъ за ничтожную плату могутъ получить начальное образованіе. Библіотека, залы для чтенія, правильно организованныя игры и проч., все это къ услугамъ рабочихъ, и что главное—они имѣютъ досугъ, чтобы пользоваться всѣмъ этимъ. Посѣтите сами Ванлей, поговорите съ женами нашихъ рабочихъ, и вы изъ ихъ устъ услышите, довольны ли онѣ своей судьбой.

— Вы благодѣтель края!

— Что говорить обо мнѣ! — сказалъ Мотимеръ съ горечью, дѣлая презрительный жестъ рукою: — обо мнѣ, который, какъ и другіе капиталисты, пользуется роскошью и наслажденіями жизни, какихъ не могутъ имѣть мои собратья!

— Пусть такъ, но вы все-таки дѣлаете болѣе для своихъ ближнихъ, чѣмъ кто-либо. Но есть одно, что меня мучитъ, это...

— Что такое, Адель?

— Я поговорю объ этомъ съ вами въ другой разъ.

— Я знаю: мое отношеніе къ религіи, мой индифферентизмъ къ ней пугаетъ васъ. Избавить отъ голода, холода и злой нужды мужчинъ, женщинъ и дѣтей; сдѣлать ихъ трудолюбивыми и

трезвыми (въ Новомъ-Ванлеѣ не существуетъ ни одного кабака!); воспитать дѣтей такъ, чтобы они уважали въ себѣ и другихъ человѣка, были скромны, почитали своихъ родителей,—короче, чтобы явилось новое поколѣніе рабочихъ: сильныхъ, здоровыхъ, исполненныхъ независимости и чувства собственнаго достоинства,—вотъ моя религія! Думаю, что она не хуже всякой другой.

— Но это религія безъ догматовъ!

— На этотъ счетъ мы дѣйствительно поговоримъ лучше когда-либо въ другой разъ. Мнѣ еще надо написать кучу писемъ.

— Не могу ли я вамъ помочь? Я въ вашемъ распоряженіи; хотите, я буду писать подъ вашу диктовку?

— Я ничего не хочу, кромѣ того, чтобы вы прочитали отмѣченныя мною мѣста въ этихъ книгахъ.

— Я прочту ихъ съ величайшимъ интересомъ.

— О, этимъ вы меня обрадуете несказанно! — воскликнулъ Ричардъ.

Когда онъ ушелъ, Адель, оставшись одна, ощутила, что порывъ какого-то новаго, благороднаго чувства охватилъ ее, какъ жаръ теплицы распускающійся цвѣтокъ. И съ пылающими щеками поспѣшила она приступить къ чтенію оставленныхъ Ричардомъ книгъ.

. . . .

Мотимеръ написалъ Алисѣ, чтобы она пріѣзжала немедленно. Онъ чувствовалъ, что не въ состояніи безъ ея помощи привести въ исполненіе свои планы.

Въ день ея пріѣзда онъ отправился встрѣчать ее на желѣзнодорожную станцію.

Уже нѣсколько минутъ шагалъ онъ въ нетерпѣніи вдоль хвоста прибывшаго поѣзда. Служащіе сбились съ ногъ, стараясь показать усердіе въ исполненіи его нетерпѣливыхъ приказаній. Наконецъ, онъ замѣтилъ Алису, выходящую изъ вагона второго класса.

— Замѣть, какъ меня всѣ здѣсь знаютъ, — сказалъ онъ ей самодовольно, указывая глазами на суетившихся сторожей.—Чортъ побери! зачѣмъ тебѣ было ѣхать во второмъ классѣ?—прибавилъ онъ, съ одобрительнымъ видомъ осматривая туалетъ сестры.

— А развѣ надо было ѣхать въ первомъ?—спросила та. —Меня испугала цѣна.

— Принцессы всегда ѣздятъ въ первомъ. Въ Лондонѣ другое дѣло; но здѣсь меня всѣ знаютъ, какъ бѣлаго волка. Кто тебя провожалъ въ Лондонѣ?

— М-ръ Кинъ.

— Какъ, тебя провожалъ Кинъ!—вскричалъ Ричардъ, хмуря брови.—Онъ тебѣ по прежнему продолжаетъ нравиться?

— Да, это необыкновенно услужливый человѣкъ.

— Ты довольна, что ѣдешь въ Новый-Ванлей?

— Такъ себѣ. Что, эта карета и лошади твои, Ричардъ?

— Разумѣется.

Стояла чудная, ясная осенняя погода. Свѣжій утренникъ подернулъ пожелтѣвшую траву и деревья—бѣлымъ, нѣжнымъ инеемъ. На концахъ вѣтокъ сбирались капли росы и сверкали на солнцѣ какъ бриліанты. Копыта лошадей звучно поражали замерзшую землю. Здоровый сѣверо-восточный вѣтерокъ слегка пощипывалъ розовыя щеки дѣвушки. На душѣ у нея было покойно. Она весело смѣялась.

— Ахъ, Ричардъ!—сказала она:—какъ пріятно быть богатой! знаешь, ты совсѣмъ преобразился, такъ что не узнать! И знаешь, ничто такъ не придаетъ человѣку видъ джентльмена, какъ перчатки.

— Мы сейчасъ поѣдемъ деревней. Ради Бога, не смотри ни направо, ни налѣво; на насъ будутъ таращить глаза изъ всѣхъ оконъ!

XIII.

Когда карета подъѣхала къ рѣшеткѣ парка, Ричардъ почелъ нужнымъ дать сестрѣ нѣсколько совѣтовъ относительно того, какъ ей держать себя въ присутствіи слугъ.

— Прими гордый и независимый видъ. Нужно, чтобы казалось, что ты не въ первый разъ уже въ жизни принимаешь чужія услуги. И не благодари на каждомъ шагу. Не имѣй также слишкомъ довольнаго вида. Когда мы будемъ, Алиса, разговаривать за столомъ, отвѣчай спокойно и сдержанно.

Впрочемъ, эти благоразумные совѣты были излишними: Алиса уже пріобрѣла привычку командовать слугами и держать себя болѣе или менѣе прилично. Всего труднѣе было ей, войдя въ замокъ, не показать и виду, что она ослѣплена роскошью убранства и обширностью его покоевъ. Она шла по комнатамъ въ какомъ-то опьяненіи. Ей казалось, что она грезитъ. Ванлейскій замокъ вполнѣ отвѣчалъ описаніямъ старинныхъ замковъ, которые она читала въ романахъ.

За завтракомъ Ричардъ внимательно приглядывался къ сестрѣ. Онъ находилъ, что она держитъ себя очень благопристойно, и между ея манерами и тѣмъ, какъ держитъ себя Адель, нѣтъ

большой разницы.. Правда, что отъ него вообще ускользали тѣ тонкіе оттѣнки, которые, тѣмъ не менѣе, кладутъ такую рѣзкую грань между прирожденной лэди и разбогатѣвшей работницей. Разговоръ вертѣлся главнымъ образомъ около работъ, производимыхъ въ долинѣ. Пить кофе Ричардъ предложилъ сестрѣ въ библіотекѣ. Комната эта мало соотвѣтствовала своему названію. Въ ней, правда, стояло на полкахъ томовъ пятьдесятъ. Бумаги и чертежи заваливали бюро. На стѣнахъ не видно было ни портретовъ, ни картинъ. Эти голыя стѣны придавали комнатѣ угрюмый и холодный видъ. Въ ней было какъ-то неуютно. На Алису комната произвела, видимо, непріятное впечатлѣніе. Она стояла у огня и грѣла руки.

— Ну, какъ здоровье матери?—спросилъ Ричардъ, закуривая сигару.

— Она такъ же занята хозяйствомъ, все хлопочетъ.

Принесли кофе и графинчикъ съ коньякомъ. Ричардъ, проповѣдуя трезвость, самъ не отказывался отъ спиртныхъ напитковъ.

Въ эту минуту онъ чувствовалъ особую нужду въ возбудительномъ.

Труднѣе всего было заговорить о роковомъ вопросѣ. Съ четверть часа, по крайней мѣрѣ, Ричардъ переливалъ изъ пустого въ порожнее, надѣясь нечувствительно навести сестру на интересовавшій его предметъ. Но Алиса сама, наконецъ, заговорила:

— Въ своемъ письмѣ ты упоминалъ, что тебѣ нужно со мной поговорить о чемъ-то важномъ,—сказала она.

— Да, я долженъ передать тебѣ печальную въ одномъ отношеніи новость. Разбитыя иллюзіи и надежды, знаешь, весьма мучительная вещь. Ты мнѣ можешь помочь въ этомъ дѣлѣ.

— Боже мой! что̀ такое?—спросила сестра тревожно.

— Пусть меня повѣсятъ, если я знаю, какъ это все вышло! —сказалъ Ричардъ, подливая себѣ въ стаканъ коньяку.

— Вѣрно, дѣло идетъ о бракѣ съ Эммой?

— Да, о ней. Я... я не могу на ней жениться. Я обрученъ съ другою.

— Но что̀ скажутъ объ этомъ!—вскричала пораженная Алиса.

Ричардъ молчалъ.

— Съ кѣмъ же ты обрученъ? Кто она такая?

— Съ миссъ Адель Вальтамъ.

— Что-жъ, она знаетъ о томъ, что ты раньше предполагалъ жениться на Эммѣ?

— Разумѣется, нѣтъ! Хорошъ бы я былъ, еслибы ей объ этомъ сказалъ!

— Бѣдная Эмма! я очень жалѣю ее. Когда же ты думаешь ей сообщить это роковое для нея рѣшеніе?

— Я и не думаю лично передавать ей, что женюсь на другой. Она узнаетъ это черезъ тебя. Мое рѣшеніе твердо. Ничто не заставитъ меня измѣнить его,—знай это.

— Ну, а если мама возстанетъ противъ этого? Она можетъ помѣшать твоему браку.

— А развѣ нельзя сказать, что я уже женатъ?

— Однако, ты мнѣ предлагаешь играть хорошую роль.

— Все это предразсудки и мелочи.

Ричардъ желалъ познакомить сестру съ семействомъ своей невѣсты, и они пошли въ деревню. Свѣжій воздухъ и быстрая ходьба возвратили Алисѣ ея обычное хорошее расположеніе духа.

М-съ Вальтамъ приняла ее очень ласково.

— Мы уже знали о вашемъ пріѣздѣ въ Новый-Ванлей,—сказала она, пожимая ей руку:—въ деревнѣ всѣ, и большія, и малыя новости разносятся съ необыкновенной быстротой.

Съ Аделью Алиса обнялась. Адель была сдержанна и молчалива, но улыбалась.

Условились, что на слѣдующій день онѣ вмѣстѣ, подъ руководствомъ Ричарда, отправятся осматривать работы.

На возвратномъ пути Ричардъ сказалъ сестрѣ:

— Я тобою очень доволенъ. Ты прекрасно вела себя. Ну, какое впечатлѣніе произвела на тебя Адель?

— Она очень молчалива.

— Да, это въ ея характерѣ.

На дорогѣ они встрѣтили Родмана, и Ричардъ представилъ его сестрѣ.

— Завтра,—сказалъ онъ ему,—моя сестра и миссъ Вальтамъ придутъ осматривать работы.

М-ръ Родманъ поклонился.

— Отчего ты вчера мнѣ его не представилъ?—сказала Алиса, когда они прошли дальше.—Онъ имѣетъ видъ очень порядочнаго человѣка.

— Да, это славный малый и для дѣла незамѣнимъ. Но все-таки надо держать его на извѣстномъ разстояніи.

За обѣдомъ, въ первый разъ въ жизни, Алиса пила шампанское.

До полночи братъ и сестра проговорили съ глазу на глазъ. Алиса спросила у Ричарда, пріѣдетъ ли онъ въ Лондонъ со своею женой. Онъ отвѣчалъ, что во всякомъ случаѣ не долѣе какъ на недѣлю, и что они помѣстятся въ отелѣ.

— Ты, значитъ, не привезешь жену къ намъ?

— О, да, я теперь избѣгаю посѣщать Гигсбюри; но мы съ тобой увидимся, и ты съ нами поѣдешь въ театръ.

— А Генри?

— О немъ я еще подумаю. Вѣроятно, я со временемъ найму въ Лондонѣ домъ, и тогда ты будешь жить съ нами. Можетъ быть, еще сдѣлаешь хорошую партію.

— Ты не думаешь выдать меня за какого-нибудь работника-соціалиста, а?—спросила Алиса съ хитрымъ видомъ.

— Мы поставили своею задачею уравненіе сословій и состояній; естественно, что ты должна выйти замужъ за человѣка не изъ своего класса.

— Слава Богу, я не буду больше приказчицей въ магазинѣ!

При этомъ восклицаніи Ричардъ расхохотался.

Въ этотъ же день Губертъ Эльдонъ получилъ два письма; оба адреса были надписаны женской рукой. Онъ открылъ одинъ изъ конвертовъ. Каково же было его удивленіе, когда изъ него выпали его же собственные сонеты!

Онъ не ожидалъ подобнаго афронта. Сердце его мучительно сжалось, и онъ вскричалъ, задыхаясь:—Довольно! надо предоставить ее собственной судьбѣ! Будущее откроетъ ей глаза!

Второе письмо было отъ миссъ Тью; вотъ его содержаніе:

„Дорогой м-ръ Эльдонъ, я нашла необходимымъ написать вамъ нѣсколько словъ, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, вы можете подумать, что я не исполнила до конца всего, что̀ обѣщала. Она сама хотѣла вамъ написать. Быть можетъ, на это у нея есть свои основанія. Я ничего, къ несчастію, утѣшительнаго для васъ не могу написать. Будьте, ради Бога, снисходительны и вѣрьте, что я считаю васъ добрымъ и благороднымъ человѣкомъ“.

— Какое милое дитя!—прошепталъ Эльдонъ съ печальной улыбкой. Какъ бы то ни было, оставаться долѣе въ Англіи для Губерта стало немыслимо. И когда, въ одно изъ его посѣщеній, лэди Эльдонъ спросила, какіе у него проекты относительно будущаго, Губертъ спокойно отвѣчалъ:

— Я поѣду въ Италію и буду на мѣстѣ изучать произведенія ея великихъ живописцевъ. Вѣроятно, недѣли черезъ двѣ я уже буду въ Римѣ.

Лэди Эльдонъ положила исхудалыя руки на голову сына и благословила его.

XIV.

Канунъ Рождества. Снѣгъ падаетъ большими, пушистыми хлопьями.

Алиса только-что возвратилась изъ своей поѣздки въ Ванлей. Она озябла и къ тому же не въ духѣ; перспектива предстоящихъ объясненій ей далеко не улыбается. Первымъ вопросомъ м-съ Мотимеръ, когда она увидѣла свою дочь, было:

— Почему же ты пріѣхала одна, скажи ради Бога?

— Ричардъ никакъ не могъ оставить дѣла,—отвѣчала Алиса, торопясь подняться по лѣстницѣ въ свою комнату.

По обыкновенію, Генри проводилъ весь вечеръ внѣ дома, въ какой-то развеселой компаніи.

М-съ Мотимеръ обшарила весь домъ и нашла-таки пару старыхъ туфель Ричарда. Она поставила ихъ передъ огнемъ въ столовой. Простыя кушанья, заботливо приготовленныя ею самой, распространяли вкусный запахъ. Въ комнатѣ Ричарда въ каминѣ весело трещалъ огонь. Хотя сынъ и не писалъ м-съ Мотимеръ, что пріѣдетъ вмѣстѣ съ Алисой, но она была въ этомъ почему-то увѣрена, и все приготовила къ его пріѣзду.

Переодѣвшись, Алиса спустилась въ столовую и, объявивъ, что умираетъ съ голоду, молча принялась за блюдо холодной говядины, приготовленной ея матерью съ особымъ стараніемъ. Когда она наѣлась и встала изъ-за стола, м-съ Мотимеръ спросила, почему именно Ричардъ не пріѣхалъ. Такъ какъ дочка хранила молчаніе, мать нетерпѣливо прикрикнула на нее:

— Ты слышишь, что̀ я тебя спрашиваю?

— Важныя дѣла не позволяютъ ему покинуть Ванлей,—отвѣчала сухо Алиса.

— Что̀ у него можетъ быть такое спѣшное? Почему бы ему не пріѣхать на день, на два?

Алиса молчала, видимо собираясь съ силами, и вдругъ отрѣзала безъ всякихъ околичностей:

— Ричардъ, мама̀, не пріѣхалъ, потому что онъ женился!

— Какъ? Что̀ ты говоришь? Женился?—вскричала м-съ Мотимеръ, широко раскрывая глаза. У нея даже голосъ пересѣкся и звучалъ хрипло, надтреснуто.

— Какъ!—продолжала она,—что̀ ты говоришь такое? Я сегодня утромъ еще видѣла Эмму, и она ничего мнѣ не говорила.

Она видимо еще не понимала или, вѣрнѣе сказать, не хотѣла понять, въ чемъ дѣло. Слова ея были нелѣпы. Она знала,

что Ричардъ не пріѣзжалъ въ Лондонъ, но она силилась обмануть себя. Хотя испуганная выраженіемъ лица своей матери, Алиса тѣмъ не менѣе продолжала:

— Ричардъ женился не на Эммѣ, мамà. Онъ женился на одной молодой дѣвушкѣ въ Ванлеѣ.

— Какъ... Ричардъ былъ способенъ такъ поступить!—сказала мать, стиснувъ зубы. Она говорила тихо, но ея шопотъ былъ ужаснѣе крика.—Ричардъ, мой сынъ, могъ нарушить данное слово! Могъ обмануть бѣдную, беззащитную дѣвушку! О, Боже!—казалось, она задохнется отъ горя и негодованія.

— Успокойтесь, мамá, успокойтесь! Вамъ вредно такъ волноваться. Такъ какъ дѣло это непоправимое, то приходится примириться съ совершившимся фактомъ. Ричардъ говорилъ мнѣ, что онъ по прежнему будетъ посылать Эммѣ ту же сумму денегъ, какую посылалъ до сихъ поръ.

— Деньги! будетъ посылать деньги!.. А! ты произнесла, наконецъ, роковое слово! Деньги погубили его—онѣ же погубятъ и насъ всѣхъ. Подумать только, что Ричардъ поступилъ такимъ образомъ! Онъ, который такъ много говорилъ о правахъ угнетенныхъ и громилъ угнетателей! Онъ, который кричалъ, что богатые употребляютъ свою силу, лишь на то, чтобы дѣлать несчастными другихъ, *самъ* онъ какъ теперь поступилъ! Скажи ему, скажи ему это: я, его старая мать, говорю ему: между поведеніемъ его и тѣхъ, въ кого онъ кидалъ камнями, нѣтъ никакой разницы! Скажите, пожалуйста! онъ будетъ посылать обманутой имъ дѣвушкѣ деньги! И ты смѣешь мнѣ это говорить?! Конечно, ноги его здѣсь не будетъ съ этого дня! Я не хочу его знать! Онъ не только себя опозорилъ,—онъ покрылъ позоромъ и мою сѣдую голову, онъ обезчестилъ своего покойнаго отца.

М-съ Мотимеръ въ волненіи ходила по комнатѣ. Алиса не проронила ни одного слова. Мать продолжала:

— Нѣтъ, мнѣ вашихъ денегъ не надо. У меня есть свой небольшой доходъ, я проживу на него. Я уйду изъ вашего дома, и дѣлайте чтò хотите, живите какъ хотите. Я не желаю больше быть вашей служанкой. А то, запрусь въ своей комнатѣ и буду только ходить въ кухню за своей обѣденной порціей. Я съумѣю устроиться такъ, какъ мнѣ хочется. Сидите на своихъ деньгахъ,—мнѣ онѣ не нужны, *вамъ* я не желаю быть ничѣмъ обязанной. Вотъ ключи, деньги, берите—я съ радостью ихъ вамъ отдаю! Разскажи обо всемъ Ричарду, все разскажи! Пусть онъ знаетъ, какого я о немъ теперь мнѣнія!

Говоря все это, м-съ Мотимеръ вынула изъ кармана связку

ключей и кошелекъ съ деньгами на текущіе расходы. Гнѣвнымъ жестомъ она бросила ихъ на столъ и вышла изъ комнаты.

Оставшись одна, Алиса подумала, покачала головой, потомъ взяла ключи, кошелекъ и поднялась въ свою комнату.

Черезъ нѣсколько минутъ она вышла изъ дома, наняла фіакръ и приказала везти ее въ Вильтонъ-скверъ.

Ей отворила Катерина. Алиса сказала, что хочетъ поговорить съ Эммой. Когда дѣвушка увидѣла Алису, она перемѣнилась въ лицѣ. Она почувствовала инстинктивно, что та привезла ей извѣстія о Ричардѣ. Долгіе дни, проведенные у постели больной сестры, наложили на нее особенный отпечатокъ грусти и страданія. Она похудѣла, лицо ея осунулось, глаза распухли. Она привыкла ходить неслышно, на цыпочкахъ, и теперь двигалась такъ же безшумно, какъ будто все еще была у изголовья бѣдной Жанны.

— Какъ себя чувствуетъ теперь ваша сестра?—спросила Алиса, чтобы начать разговоръ. Она избѣгала прямо глядѣть въ лицо Эммы.

— Увы! ей чѣмъ дальше, тѣмъ хуже,—отвѣчала та печальнымъ голосомъ, опуская безнадежно голову.

— Ахъ, какое несчастье! Вотъ что, милочка,—я пришла съ вами поговорить объ одномъ дѣлѣ.

— Говорите; Катерина побудетъ пока у сестры.

— Какой у васъ измученный видъ, Эмма!

— Скажите мнѣ поскорѣе, что̀ съ Ричардомъ? почему его такъ долго нѣтъ?

— Неотложныя дѣла мѣшаютъ ему пріѣхать въ Лондонъ,— отвѣчала Алиса, нервно теребя муфту.

— Я надѣюсь, что онъ здоровъ? Можетъ быть, онъ просилъ васъ что-нибудь мнѣ передать?

— Да, онъ просилъ передать... Вышло такое дѣло... очень серьезное...—пробормотала Алиса; кроткіе, довѣрчивые глаза бѣдной Эммы, устремленные на нее, смущали ее.

Она не рѣшалась сразу нанести ударъ Эммѣ, и потому хотѣла сперва подготовить ее.

— Ахъ, еслибы вы знали, какую сцену сейчасъ сдѣлала мнѣ мама̀! Она сначала хотѣла оставить нашъ домъ и бросила мнѣ ключи и кошелекъ, затѣмъ объявила, что будетъ жить затворницей въ своей комнатѣ и ни за что не станетъ ни во что вмѣшиваться. Я въ первый разъ видѣла ее такой разъяренной. Она упрекала меня въ бездушіи, безсердечіи, говорила, что я дурно кончу, и что она за меня краснѣетъ. Боже, какая скука! какая

скука! Это все деньги причиной всему. Онѣ надѣлали намъ такъ много непріятностей,—право же, больше, чѣмъ добра. Я лично желала бы оставаться бѣдной по прежнему. Черезъ золото слезы льются.

Эмма ни слова не спросила у Алисы о причинѣ раздраженія м-съ Мотимеръ. Она только попросила сказать то, чтò ей поручено передать отъ Ричарда.

— Я боюсь вамъ сказать, Эмма. Предупреждаю—эта новость очень горькая для васъ.

— Не бойтесь,—съ моей стороны не будетъ ни упрековъ, ни гнѣва, ни мести; говорите смѣло, ради Бога!

— Ну, если такъ... Ричардъ женился.

— И онъ васъ просилъ передать мнѣ объ этомъ?—спросила Эмма совершенно спокойно.

— Да, Эмма,—отвѣчала Алиса, пораженная хладнокровіемъ своей бывшей пріятельницы:—и повѣрьте, я глубоко сочувствую вашему горю; но чтò я могу здѣсь сдѣлать? Ричардъ нарочно вызвалъ меня въ Ванлей, чтобы просить взять на себя сообщить вамъ эту грустную новость. У него не хватало духу самому сказать все вамъ. Я приняла на себя эту тяжелую обязанность. Вы не можете себѣ представить, чего только я не наслушалась отъ матери! Какъ много горя причинилъ намъ Ричардъ своимъ поступкомъ! Бѣдная Эмма, еслибы вы знали, какъ мнѣ васъ жалко!

— На комъ онъ женился?—спросила Эмма тономъ совершенной покорности судьбѣ.

— На одной дѣвушкѣ въ Ванлеѣ,—отвѣчала Алиса.

— Безъ сомнѣнія, эта дѣвушка изъ хорошей семьи, богатая?

— Кажется.

— Вы ее знаете, Алиса?

— Да, я ее видѣла, но она мнѣ не внушила къ себѣ симпатіи,—сказала Алиса, думая словами уменьшить горечь понесенной Эммою утраты.

— И это все, чтò вы хотѣли мнѣ сказать?

— Ахъ, онъ еще говорилъ,—но просилъ только меня не передавать вамъ,—что онъ по прежнему будетъ присылать вамъ деньги.

При этихъ словахъ Алисы яркая краска залила щеки и шею Эммы. Это не было признакомъ гнѣва,—нѣтъ, ей только стало стыдно за любимаго человѣка.

— Надѣюсь, что мы съ вами останемся въ прежнихъ отношеніяхъ? Вы вѣдь не сердитесь на меня?

— О, нѣтъ, я не сержусь на васъ.

Дня три спустя послѣ этого разговора, когда Алиса только-

что сѣла завтракать, горничная доложила ей о приходѣ сестры Эммы.

— Жанна умерла сегодня въ четыре часа,—сказала, входя, Катерина холоднымъ тономъ, какой она принимала въ особо-торжественныхъ случаяхъ. Эмма не смыкала глазъ двѣ ночи подъ-рядъ. Боюсь, какъ бы и она не заболѣла. Я силой заставила ее лечь въ постель, а сама вотъ пошла къ вамъ. Напишите вашему брату вотъ о чемъ: я не знаю, на что сдѣлать похороны. Онъ долженъ намъ помочь. Напишите ему, Алиса.

— А Эмма знаетъ, что вы отправились сюда просить объ этомъ?

— Она слишкомъ поглощена своимъ горемъ, чтобы думать о чемъ-либо. Такъ вы напишете Ричарду?

— Дайте мнѣ подумать немного, Катерина.

Все это усложняло положеніе дѣла. Съ того времени, какъ Алиса побывала въ ванлейскомъ замкѣ, она пріобрѣла большой апломбъ. Къ тому же теперь она была хозяйкой въ домѣ и сразу вошла въ новую роль. У нея явилась привычка распоряжаться. Независимость ей очень нравилась.

Она предложила Катеринѣ послать Ричарду телеграмму. Она, конечно, все устроитъ. Не распространяясь о подробностяхъ печальнаго обряда, она продолжала:

— Смерть Жанны наступила внезапно?

— Вчера она начала бредить, къ вечеру уже никого не узнавала, такъ и умерла.

Когда Катерина ушла, Алиса послала депешу Ричарду, въ которой сообщила ему печальную новость. Телеграмма осталась безъ отвѣта, но черезъ три часа послѣ ея отправки къ Алисѣ явился м-ръ Кинъ. Уснащая, по обыкновенію, свою рѣчь жеманными и не идущими къ дѣлу любезными фразами, онъ объявилъ, что Мотимеръ поручилъ ему пріобрѣсти мѣсто на кладбищѣ и вообще руководить всей церемоніей. Онъ выразилъ предположеніе, что, вѣроятно, покойная находилась въ родствѣ съ ними.

— Нѣтъ, это просто старые друзья,—отвѣчала Алиса:—вѣдь вы навѣрно слышали о сестрѣ покойной, Эммѣ?

— Вы знаете, съ какимъ усердіемъ и радостью готовъ я оказать услугу вашему брату, котораго такъ уважаю! Сегодня вечеромъ онъ самъ будетъ въ Лондонѣ.

— Прекрасно. Но знаете, м-ръ Кинъ, къ чему принимать такъ близко къ сердцу смерть этой несчастной дѣвушки? Жанна такъ долго была прикована болѣзнью къ постели, такъ страдала, что, право, смерть явилась ея освободительницей. Въ томъ по-

ложеніи, въ какомъ она находилась послѣдній годъ, она была только въ тягость и себѣ, и другимъ.

— Въ такомъ случаѣ, поговоримъ о вашей поѣздкѣ въ Ванлей. Остались вы ею довольны?

— Да, очень. И я, вѣроятно, скоро совсѣмъ переѣду туда. Васъ радуетъ эта новость?

— Все, что радуетъ васъ, миссъ, радуетъ и меня,—отвѣчалъ Кинъ, прикладывая руку къ сердцу.

— Но, быть можетъ, вы предпочли бы, чтобы я осталась здѣсь?

— Ахъ, миссъ Мотимеръ!—вскричалъ журналистъ, испуская вздохъ и видимо собираясь пустить въ ходъ все свое краснорѣчіе.—Къ чему вы меня спрашиваете? Развѣ вы не знаете? Вѣрьте, единственное мое желаніе—заслужить ваше уваженіе и довѣріе.

— Я боюсь, что изліяніе вашихъ чувствъ отвлечетъ насъ слишкомъ далеко отъ дѣла.

— Правда, совершенная правда, прелестная принцесса! Вѣдь я могу себѣ позволить называть васъ такъ?

— Пожалуй, но только когда мы наединѣ другъ съ другомъ.

— Я долженъ признаться, что про себя всегда васъ такъ называю.

— О, ваши мысли, конечно, не подлежатъ моему контролю!

— Вы изволите надо мною смѣяться, миссъ!

— Ну вотъ еще!—и Алиса засмѣялась.

Подъ вечеръ она получила, наконецъ, отъ Ричарда нѣсколько словъ. Онъ назначалъ ей свиданіе въ сосѣднемъ отелѣ.

— Почему ты не пріѣхалъ прямо къ намъ?—спросила его Алиса.—Ты вѣдь знаешь, что мама теперь ни во что не вмѣшивается и даже обѣдаетъ одна въ своей комнатѣ.

— Ты ей сообщила о смерти Жанны?—сказалъ Ричардъ, не отвѣчая на вопросъ.

— Нѣтъ еще.

— Ты, знаешь, повидайся еще съ Эммой, поговори съ ней. Я просилъ также Кина сдѣлать попытку... Ты знаешь, можетъ выйти неловко... Вообще надо ее успокоить.

— Но самъ-то ты зачѣмъ сегодня пріѣхалъ?

— Я главнымъ образомъ хотѣлъ, чтобы ты сказала матери о смерти Жанны. Быть можетъ, она захочетъ присутствовать на погребеніи. Обо всемъ этомъ лучше поговорить на словахъ, чѣмъ на письмѣ.

— Ты за меня, Ричардъ, прячешься! Всѣ эти объясненія въ высшей степени непріятны и цѣликомъ падаютъ на меня.

— Какъ хочешь: твое дѣло соглашаться помочь брату или нѣтъ!—гнѣвно сказалъ Ричардъ. Между ними произошла маленькая пикировка.

— Ты живешь въ свое удовольствіе, полной жизнью,—сказала Алиса въ заключеніе:—я же должна здѣсь прозябать. Право, кончится тѣмъ, что со скуки я выйду замужъ за м-ра Кина.

При этихъ словахъ Ричардъ со всего размаха треснулъ кулакомъ по столу, стоявшему между ними.

— Чортъ побери! Онъ уже сдѣлалъ тебѣ предложеніе? Ты уже дала свое слово?

Испугавшись за послѣдствія своей легкомысленной фразы, Алиса поспѣшила его успокоить:

— Ты съ ума сошелъ, Ричардъ! Неужели ты думаешь, что я такъ глупа? Я отлично понимаю, чтò за человѣкъ этотъ Кинъ. Я—выйду за такого господина! что за глупости!

— Еслибы тебѣ пришло въ голову выкинуть такую штуку, я бы принялъ свои мѣры.

— Меня просто забавляетъ его ухаживанье. Моя жизнь такая монотонная, такая несносная, что, право, радъ даже и такому развлеченію. Еслибы ты читалъ романы, ты бы это все отлично понялъ.

— Романы!.. Романы!.. Вотъ начитаешься ихъ, да и выкинешь какую-нибудь глупость. Съ огнемъ играть опасно. Съ м-ромъ Киномъ мы большіе пріятели, и я ему намекну, чтобы онъ зналъ свое мѣсто.

— Я ничего не имѣю противъ этого,—сказала Алиса.— Кстати, ты хочешь видѣть Генри? Сообщить ему о твоемъ пріѣздѣ?

— Какъ хочешь,—холодно отвѣчалъ Ричардъ.

Похороны Жанны были въ ближайшее воскресенье послѣ полудня. За гробомъ шли только ея сестры. Алиса, не безъ робости, сообщила печальную новость матери, но та выказала поразительное равнодушіе, такъ что Алиса даже удивилась.

На другой день послѣ похоронъ Алиса отправилась къ сестрамъ, чтобы выразить свое сочувствіе ихъ горю и вручить имъ небольшую сумму денегъ отъ имени Ричарда.

Но Эмма наотрѣзъ отказалась принять деньги. Она объявила, что не желаетъ отнынѣ ничего имѣть общаго съ Ричардомъ. Алиса попробовала подойти съ другой стороны и предложить денегъ лично отъ себя.

— Нѣтъ, благодарю васъ,—сказала Эмма, и въ ея тихомъ голосѣ послышалась непоколебимая рѣшимость.—Я уже все обдумала. Мы немедленно оставимъ это помѣщеніе—оно не по нашимъ

средствамъ. А тамъ Богъ намъ поможетъ какъ-нибудь перебиться.

У Алисы словно гора свалилась съ плечъ, когда она оставила этотъ печальный домъ. Узнавъ, что ея сестра отказалась принять подачку отъ Мотимера, Катерина пришла въ неописанную ярость.

— Какъ! — кричала она:—человѣкъ тебѣ измѣнилъ, поступилъ съ тобою какъ послѣдній негодяй, и ты съ нимъ церемонишься! Вотъ такъ-то всѣ вы—васъ изобидятъ, а вы вмѣсто того, чтобы наказать обидчика, оставляете его въ покоѣ. Что ты думаешь, ты его проймешь своимъ благороднымъ поступкомъ? Дуры вы, дуры всѣ! Нѣтъ, я бы на твоемъ мѣстѣ не такъ поступила: я бы не молчала, я бы на всѣхъ перекресткахъ прокричала— пусть всѣ видятъ, какой это низкій человѣкъ! Повѣрь, у него и такъ много враговъ, ему завидуютъ и рады будутъ случаю посбить ему спѣси; попробовалъ бы онъ тогда явиться на митингъ! Ну, что̀ теперь съ нами будетъ? Куда мы дѣнемся? Что̀ я съ дѣтьми буду дѣлать?

Эмма молча слушала сестру. Она не пыталась удерживать ее и ждала, пока гнѣвъ ея не выльется словами. Потомъ она пошла искать комнату, платить за которую было бы имъ подъ силу, чтобы, перебравшись въ нее съ сестрою и дѣтьми, начать прежнюю трудовую жизнь.

Но уже вдвое тяжелѣе казалась теперь эта жизнь, послѣ столькихъ разбитыхъ надеждъ!

XV.

Наблюденія надъ многочисленными попытками основать общественныя отношенія на разумныхъ началахъ справедливости и гуманности,—попытками, которыя, въ концѣ концовъ, всегда сводились на ту же эксплуатацію, доказываютъ всего лучше жизненность эгоистическихъ побужденій, владычество которыхъ надъ душою человѣческой, очевидно, не сокрушишь измѣненіемъ однихъ лишь внѣшнихъ условій его существованія.

Положимъ, что въ основѣ современныхъ общественныхъ отношеній лежитъ эксплуатація сильными слабыхъ; но вѣдь тѣ, которые начинаютъ проповѣдовать этому обществу свободу, равенство и братство, общность орудій труда, миръ и взаимное благоволеніе, сами плоть отъ плоти и кость отъ кости его; они неминуемо, роковымъ образомъ, должны придти къ противорѣчію, такъ какъ, обличая пороки другихъ, они сами принесутъ съ собою въ обще-

ство, устроенное сообразно ихъ идеалу, тѣ же эгоистическія наклонности, тщеславіе, жажду первенства, и, проповѣдуя миръ, сами же первые начнутъ враждовать противъ своего ближняго.

М-ръ Уэстлекъ, какъ человѣкъ опытный, уже давно началъ замѣчать симптомы, ясно указывавшіе на начинающееся разложеніе союза. Такъ, одинъ изъ членовъ его, нѣкто Родгаузъ, увлекательное краснорѣчіе котораго уже не разъ вызывало шумные аплодисменты на воскресныхъ митингахъ, съ нѣкоторыхъ поръ сталъ говорить съ замѣчательной откровенностью и смѣлостью, что, благодаря равнодушію вождей „союза", соціалистическое движеніе, которому онъ долженъ служить, затормазилось. М-ръ Уэстлекъ отказался напечатать въ „Огненномъ Крестѣ" одну изъ рѣчей молодого демагога, произнесенную въ вышесказанномъ духѣ.

Но м-ръ Родгаузъ не остановился на этомъ. Вскорѣ послѣ Рождества, на митингѣ, онъ заявилъ, что отказывать соціалистамъ въ правѣ, путемъ болѣе или менѣе аггрессивныхъ мѣръ, проводить въ жизнь ихъ принципы—значитъ лишать ихъ главнаго орудія и свести все дѣло на одну болтовню. Хорошо этимъ господамъ, сидя въ комфортабельномъ кабинетѣ, разводить патоку на розовой водѣ! Конечно, подобные господа отвергаютъ всякія рѣшительныя средства. Слишкомъ ясно, что для нихъ гораздо выгоднѣе поберечь свою шкуру, отдѣлываясь пустыми фразами. Но онъ—Родгаузъ—не такъ понимаетъ роль истиннаго друга работниковъ. По его мнѣнію, прежде всего надо вырвать дѣло изъ рукъ этихъ писакъ по шиллингу строчку.

„Огонь и кровь"—таковъ долженъ быть девизъ ихъ партіи.

„Непримиримая вражда и борьба до послѣдней капли крови, не останавливающаяся ни передъ чѣмъ, съ гнусными эксплуататорами",—вотъ верховный принципъ современной соціальной борьбы.

Люди разсудительные сразу поняли, что Родгаузъ и его единомышленники поставили большую игру, провозгласивъ подобные принципы. Но такихъ среди „братьевъ" и „сестеръ" нашлось не много. Толпа измѣнчива,—кидается на все новое. Отказъ м-ра Уэстлека напечатать рѣчь Родгауза послужилъ сигналомъ къ вылазкѣ противъ членовъ-распорядителей. Этотъ послѣдній отпечаталъ въ видѣ отдѣльной брошюры свою рѣчь, и на ближайшемъ собраніи она была щедро раздана всѣмъ, кто только желалъ брать.

У самого Родгауза не было за душой ни пенса. Терять ему было нечего. Но между его друзьями двое могли щедро снабдить его деньгами и вообще оказать ему большую поддержку, тѣмъ болѣе, что онъ своей агитаціей могъ оказать имъ немалую услугу. Это были—владѣлецъ типографіи изъ Камденъ-Тоунъ,

другой—негоціантъ, торговецъ масломъ, которому лавры Мотимера и м-ра Уэстлека не давали спать, несмотря на 1.000 фунтовъ годового дохода; онъ охотно согласился помочь партіи, задумавшей реформировать „союзъ“, но подъ тѣмъ условіемъ, чтобы на страницахъ новой газеты, изданіе которой они затѣвали, отвели особую рубрику спеціально для прославленія его гуманной дѣятельности, направленной ко благу страдающихъ и угнетенныхъ работниковъ.

„Набатъ“—такое же ежедневное изданіе, какъ и „Огненный Крестъ“—вышелъ въ началѣ февраля. Въ слѣдующее же за его выходомъ воскресенье ожидалось бурное засѣданіе, какъ въ залѣ Новаго-Ванлея, такъ и внѣ его. Повсюду красовались расклеенныя афиши, на которыхъ значилось, что на конференціи выступить въ качествѣ ораторовъ двое воротилъ „союза“: Ричардъ Мотимеръ и м-ръ Уэстлекъ. Съ своей стороны, товарищи Родгауза и онъ самъ готовились изобличить „сладкорѣчивыхъ шарлатановъ“. За исключеніемъ весьма немногихъ, соціалисты Гокстона и Ислингтона взяли сторону новаго демагога и „Набата“.

Алиса писала брату, что положеніе вещей требуетъ его присутствія въ Гигсбюри. Генри сталъ совсѣмъ невозможенъ, ничего не дѣлаетъ, пьянствуетъ, устроиваетъ скандалы и къ тому же въ послѣднее время началъ говорить въ тавернахъ о правахъ человѣка и удивлять компанію гулякъ своими крайними взглядами.

Откуда онъ беретъ деньги—Богъ его знаетъ. Очевидно, что получаемой имъ суммы на карманные расходы слишкомъ недостаточно для того, чтобы вести такую жизнь. М-ръ Кинъ, которому было поручено, между прочимъ, наблюдать за Генри, умываетъ руки и не отвѣчаетъ за него. Но кромѣ этой заботы, на Ричарда, со дня свадьбы котораго прошло не болѣе полутора мѣсяца, обрушилась еще новая и самая серьезная.

Выяснилось почти несомнѣнно, что копи ванлейской долины, при томъ способѣ веденія дѣла, который практиковалъ Ричардъ, не могутъ принести серьезной выгоды. Приходилось думать только о томъ, чтобы свести концы съ концами и покрыть издержки производства.

Но въ душѣ Ричарда зарождались сомнѣнія: достигнетъ ли онъ даже и этой скромной цѣли? Члены совѣта администраціи Новаго-Ванлея видѣли своего шефа постоянно мрачнымъ, раздраженнымъ. Очевидно, онъ утратилъ всякую надежду, и смотрѣлъ на все дѣло какъ на погибшее.

И было отчего стать пессимистомъ. Онъ боялся, что ему скоро придется тронуть самый капиталъ. А между тѣмъ наслѣд-

ство не составляло безусловной его собственности. Значительная часть его принадлежала Алисѣ и безпутному Генри.

Удушливая, гнетущая атмосфера приближающейся катастрофы тяготѣла надъ Новымъ-Ванлеемъ. Рабочимъ, мастерамъ, всему персоналу эксплуатаціи приходилось сильно терпѣть отъ того мрачнаго расположенія духа, въ которомъ постоянно находился ихъ хозяинъ.

Тѣ, какъ отнеслась мать къ его поступку, тоже не мало горечи прибавило въ ту чашу, которая сперва казалась Ричарду наполненной нектаромъ. Несмотря на свой крутой нравъ, Ричардъ былъ способенъ къ привязанности, и въ глубинѣ души его таилась искра сыновней нѣжности. Но онъ никогда бы не далъ ей разгорѣться яркимъ пламенемъ.

Чѣмъ болѣе препятствій и усложненій встрѣчалъ онъ на своемъ пути, тѣмъ непреклоннѣе становилась его душа. Подчинять себѣ любовью и лаской было не въ его характерѣ. Онъ всегда ломилъ, гнулъ на свою сторону. Въ поступкахъ м-съ Мотимеръ онъ видѣлъ непокорство, и тѣмъ съ бо̀льшимъ упрямствомъ пошелъ на проломъ къ своей цѣли. Онъ остановился на слѣдующемъ планѣ: предложить, т.-е заставить, въ сущности, м-съ Мотимеръ поселиться опять въ Вильтонъ-скверѣ, въ томъ же помѣщеніи, въ которомъ они жили до рокового дня, когда свалившееся съ неба наслѣдство перевернуло всю ихъ жизнь. Разъ это осуществится, Алиса и Генри свободно могутъ переѣхать изъ Лондона въ Новый-Ванлей.

Алиса вполнѣ одобрила этотъ планъ.

— Мама̀ навѣрное согласится,—сказала она Ричарду, когда онъ пріѣхалъ въ Лондонъ съ цѣлью привести въ исполненіе задуманный планъ:—она только о томъ и думаетъ, чтобы снова возвратиться на старое пепелище.

— Ну, я не питаю такихъ розовыхъ надеждъ. Дѣло не обойдется безъ борьбы и сценъ, на которыя мама̀ такая большая охотница. Она навѣрное вообразитъ, что я желаю отстранить ее, чтобы одному пользоваться наслѣдствомъ.

— Но что̀ ты намѣренъ предпринять относительно Генри?

— Тѣмъ или другимъ способомъ, но я заставлю его бросить свои дурныя привычки.

Ричардъ искренно безпокоился о судьбѣ брата. Разъ м-съ Мотимеръ поселилась бы въ Вильтонъ-скверѣ, а сестра переѣхала бы въ Ванлей, ничего не было бы легче, какъ предоставить Генри идти той дорогой, которую онъ выбралъ.

— Но что же будетъ Генри дѣлать въ Ванлеѣ?—спросила Алиса.

Ричардъ задумался. Наконецъ, счастливая мысль осѣнила его. Онъ ударилъ себя по лбу и вскричалъ:

— Нашелъ! Я его помѣщу къ Родману. Этотъ съумѣетъ держать его въ порядкѣ.

— Ну, а я?

— Ты будешь жить съ нами въ замкѣ.

— Но что скажетъ твоя жена?

— Какое ей до этого дѣло? Такъ я и позволю ей что-либо говорить!

Однако, чтобы соблюсти наружный видъ приличія, Ричардъ рѣшился посовѣтоваться о предполагаемомъ поселеніи Алисы въ Ванлеѣ съ женою, хотя въ глубинѣ души сознавалъ, что ея мнѣніе ни въ какомъ случаѣ не повліяетъ на его собственное. Въ семьѣ, думалъ онъ, мужъ—голова.

— Ну, а теперь я хочу ноговорить съ мама̀.

— Тебѣ, вѣроятно, придется говорить съ ней черезъ дверь. Она никого къ себѣ не пускаетъ.

— Положительно она сошла съ ума! Скажи ей просто, что я желаю съ ней говорить по дѣлу.

— Мы рискуемъ получить отказъ.

— Скажи, что дѣло очень важное. Чортъ побери! если она не захочетъ меня видѣть, я самъ поднимусь къ ней и выломаю дверь. Мнѣ некогда терять время на пустяки.

Алиса поднялась наверхъ. Постучавъ два раза и не получивъ никакого отклика, она робко спросила:

— Мама́, вы здѣсь?

— Что вамъ отъ меня нужно?—спросила м-съ Мотимеръ рѣзкимъ тономъ.

— Ричардъ желаетъ съ вами говорить. У него до васъ очень важная просьба.

— Я не желаю имѣть съ нимъ ничего общаго.

— Если онъ явится, вы впустите его?

— Нѣтъ.

Алиса, постоявъ съ минуту въ нерѣшительности, спустилась въ гостиную и сообщила о результатахъ своихъ переговоровъ съ матерью. Ричардъ вскочилъ и побѣжалъ вверхъ по лѣстницѣ, шагая черезъ двѣ ступеньки. Бѣшено ударивъ въ дверь, онъ крикнулъ:

— Отворите, или я сломаю дверь! Къ чему, чортъ побери, вся эта комедія?

— Оставьте меня въ покоѣ. Занимайтесь своими дѣлами, а я съ вами ничего общаго имѣть не желаю.

— Ну, такъ я сейчасъ пойду за слесаремъ, и сломаемъ замокъ!

Тонъ, которымъ это было сказано, показывалъ, что Ричардъ не шутилъ.

Онъ уже хотѣлъ привести въ исполненіе свою угрозу, когда въ замкѣ щелкнулъ ключъ. Вслѣдъ затѣмъ дверь комнаты распахнулась и съ такою силою ударилась въ стѣну, что домъ задрожалъ.

На столѣ у пылавшаго очага стояли чашки, тарелки, ножи, лежала сложенная скатерть. Хлѣбъ и кусокъ сыра лежали на полкѣ. Комната поражала крайней бѣдностью обстановки. Когда Ричардъ увидѣлъ похудѣвшее, осунувшееся лицо своей матери, ея сѣдые волосы, сердце его дрогнуло, гнѣвъ затихъ,—онъ молча и почти смущенно стоялъ передъ нею. М-съ Мотимеръ жестомъ, исполненнымъ достоинства, указала ему мѣсто, въ почтительномъ разстояніи отъ себя. Затворивъ дверь, Ричардъ сѣлъ и сказалъ по возможности мягче:

— Я не буду съ вами говорить о томъ, что̀ уже стало фактомъ. Я понимаю вашу досаду, даже ваше негодованіе, но во всякомъ случаѣ не вижу резона вступать съ вами по этому поводу въ какія бы то ни было объясненія и пререканія.

— Перейдемъ къ дѣлу, Ричардъ. Чего ты отъ меня хочешь? Я только объ одномъ думаю, одного желаю—поскорѣе оставить этотъ домъ. Что̀ хотите дѣлайте, лишь бы не на моихъ глазахъ! У меня, благодареніе Богу, есть маленькія средства, и я могу еще работать. У тебя, я знаю, языкъ хорошо привѣшенъ, ты за словомъ въ карманъ не полѣзешь; но говорить—это одно, а поступать согласно своимъ словамъ—другое!

— Къ чему это все, мама́? Подумайте, что̀ выходитъ отъ того, что вы относитесь къ намъ такъ недоброжелательно и безъ должной разсудительности? Алиса теперь въ одиночествѣ, Генри окончательно свихнулся. Сознайтесь, что вы не правы. Я относился къ вамъ всегда съ такимъ уваженіемъ, я былъ вамъ добрымъ сыномъ. Позвольте вамъ сказать, что первая обязанность матери—это заботиться о своихъ дѣтяхъ.

— Мнѣ нѣтъ дѣла до васъ. Если поведеніе Генри безчеститъ наше имя, это не въ первый уже разъ и не въ послѣдній, вѣроятно. Я не могу теперь внушать вамъ правила чести. Поздно! все кончено, все погибло безвозвратно, и объ одномъ только я жалѣю, что дожила до такого позора, что Богъ не взялъ меня раньше

къ себѣ. Повторяю, единственное мое желаніе—это никогда больше не быть съ вами подъ одною крышей.

— Что-жъ, ваше желаніе не трудно исполнить. И я даже думаю, что такъ будетъ всего лучше. Вы снова помѣститесь въ нашемъ старомъ домѣ въ Вильтонъ-скверѣ. Кстати, его теперь занимаетъ одна ваша старая пріятельница. Навѣрное она согласится отдать вамъ въ наймы часть помѣщенія. Такимъ образомъ вы будете не одни.

За симъ Ричардъ, очень довольный успѣхомъ, сошелъ внизъ. Онъ разсказалъ все сестрѣ и просилъ ее сдѣлать видъ, какъ будто имъ и въ голову не приходило поселить свою мать въ Вильтонъ-скверѣ, а инициатива идетъ единственно отъ нея самой. Вечеромъ явился Генри. Ричардъ пошелъ ему отворить. Входя, Генри зацѣпился за коверъ и едва не растянулся во весь ростъ. Съ большимъ трудомъ взобрался онъ на лѣстницу. Когда онъ, наконецъ, достигъ столовой, Ричардъ приказалъ ему быть готовымъ на дняхъ отправиться въ Ванлей.

— Вотъ хорошо! А что я тамъ буду дѣлать? — отвѣтилъ наглымъ тономъ гуляка.

— Послушай, Генри, право, не совѣтую тебѣ перечить мнѣ,— не то тебѣ плохо придется!

Въ этотъ вечеръ предстояли два митинга: партіи Мотимера и приверженцевъ Родгауза.

М-ръ Кинъ явился предупредить Ричарда, что на митингѣ Родгауза одинъ изъ ораторовъ долженъ былъ сообщить кое-что изъ его частной жизни.

— О чемъ же они будутъ говорить?

— Дѣло идетъ объ одной молодой дѣвушкѣ...

— О какой молодой дѣвушкѣ?—спросилъ Ричардъ, видимо смущенный.

Не отвѣчая на вопросъ, м-ръ Кинъ заявилъ, что онъ предпочитаетъ этотъ вечеръ провести гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ, а не въ пивной, гдѣ предполагался митингъ.

— Да вы забѣгите на четверть часа, поговорите о чемъ-нибудь, а затѣмъ уйдите.

— Нѣтъ, ужъ я лучше не буду сегодня совсѣмъ на конференціи.

— Какъ хотите.

На митингѣ приверженцевъ Мотимера присутствующихъ было крайне ограниченное число. Уэстлекъ на этотъ разъ поражалъ своимъ краснорѣчіемъ. Идеалъ, который онъ прославлялъ, дѣлалъ честь его благороднымъ чувствамъ. Онъ говорилъ безъ всякой

запальчивости о раздорахъ въ ихъ партіи и обсуждалъ дѣло какъ истинный философъ. Въ заключеніе рѣчи онъ возвысился до истиннаго лиризма, коснувшись новаго порядка вещей, который долженъ явиться слѣдствіемъ ихъ разумной дѣятельности, чуждой крайнихъ увлеченій и рѣзкихъ скачковъ. Много также говорилъ онъ и „о тысячахъ несчастныхъ, которые при современномъ соціальномъ строѣ осуждены со дня рожденія на мрачное, безнадежное прозябаніе, нищету, невѣжество"...

И, какъ всегда, слова эти наэлектризовали все собраніе. Ричардъ Мотимеръ говорилъ сейчасъ вслѣдъ за нимъ. Но вступленіе его рѣчи показалось холоднымъ и дѣланнымъ послѣ блестящихъ, заключительныхъ словъ м-ра Уэстлека. Голосъ его былъ глухъ и дрожалъ. Мало-по-малу, однако, къ нему вернулся прежній апломбъ, въ особенности когда онъ сталъ громить Родгауза.

„Прежде всего,—говорилъ онъ,—будемъ практическими людьми, истинными англичанами—серьезными, уравновѣшенными, мыслящими, сохранимъ вѣрность своему національному характеру и не станемъ подражать обитателямъ континента, проводящимъ время въ пустой восторженной болтовнѣ и требующимъ снять имъ луну съ неба".

Въ заключеніе онъ объявилъ, что доктрины „Набата" такъ же опасны, какъ и безнравственны. Увы! въ этотъ вечеръ Ричардъ принужденъ былъ измѣнить самому себѣ и проповѣдовать умѣренность въ борьбѣ съ капитализмомъ, когда еще живы были въ памяти его пламенныя обличительныя рѣчи. Онъ сошелъ съ каѳедры при всеобщемъ, тягостномъ безмолвіи.

Какая разница между этимъ собраніемъ и митингомъ соціалистовъ Ислингтона и Гокстона! Гг. Коусъ и Кулленъ явились тріумфаторами на этомъ шумномъ сборищѣ. Зала грозила обрушиться отъ неистоваго топота и грома рукоплесканій. Взрывы восторженныхъ криковъ привѣтствовали каждый оскорбительный эпитетъ по адресу м-ра Уэстлека и хозяина Новаго-Ванлея, которыми обильно уснащали свои рѣчи ораторы.

М-ръ Коусъ всталъ и съ таинственнымъ, сосредоточеннымъ видомъ объявилъ собранію, что одинъ изъ „товарищей" сдѣлаетъ разоблаченіе нѣсколько скандалёзнаго характера, на которое онъ, Коусъ, желаетъ обратить особое вниманіе присутствующихъ.

Разоблаченія эти касаются одного изъ членовъ „союза", имя котораго у всѣхъ на устахъ. Онъ будетъ изобличенъ сейчасъ въ низости, которая окончательно уронитъ его въ глазахъ всѣхъ честныхъ людей.

Кто долженъ былъ взять на себя роль разоблачителя? Ужъ,

конечно, не Даніель Доббъ, такъ какъ его расположеніе къ семейству Мотимеровъ не позволяло предполагать, чтобы онъ рѣшился предать Ричарда на публичный позоръ, открывъ подробности его исторіи съ Эммой.

Поворотъ общественнаго мнѣнія противъ Ричарда былъ несомнѣненъ.

Неожиданное богатство, доставшееся ему, прежде всего возбудило всеобщую зависть и недоброжелательство, которыя ждали только случая, чтобы перейти въ открытую ненависть къ нему.

Теперь уже говорили, что филантропическія затѣи Мотимера въ ванлейской долинѣ служатъ только его собственнымъ интересамъ и что онъ въ существѣ такой же эксплуататоръ, какъ и другіе капиталисты.

Въ Гокстонѣ ненавидѣли теперь самое имя Мотимера. Акціи его противника, Родгауза, стояли необыкновенно высоко. Оставалось только разоблачить передъ толпою частную жизнь Ричарда, чтобы окончательно подорвать его авторитетъ и нѣкогда столь широкую и казавшуюся такой прочной популярность.

Повторяли на всѣ лады: „въ частной жизни дѣятель долженъ быть такимъ же, какимъ является въ общественной". Предсѣдатель общества пытался вступиться, но никто его не слушалъ, и среди невообразимаго гама, м-ръ Кумченъ разсказалъ исторію отношеній Ричарда къ Эммѣ. Эта послѣдняя, которая теперь, не смотря на воскресный день, сидѣла за работой въ своей бѣдной комнаткѣ, не могла и предположить, что теперь говорятъ публично о томъ, что̀ наполняло неисцѣлимой скорбью ея душу, клеймили поведеніе того, кто измѣнилъ ей.

Но еслибы она узнала объ этомъ, едвали эта публичная месть доставила бы ей утѣшеніе. Между тѣмъ всѣ присутствовавшіе на митингѣ разбились на отдѣльныя кучки. Болѣе всего тѣснилось слушателей около Родгауза. Тэмою для всѣхъ разговоровъ, толковъ, споровъ, рѣчей служили алчность, надменность и лицемѣріе Мотимера.

М-ръ Кинъ, который тоже присутствовалъ при этомъ побіеніи его друга камнями, сказалъ своему сосѣду:

— Мотимеръ, кажется, былъ возмущенъ поведеніемъ этой дѣвушки. Онъ, кажется, у нея не первый... понимаете? Есть вѣроятность предполагать, что она даже была... понимаете?

— Ба!

— Конечно, все это было до времени шито-крыто... Вы понимаете, такія вещи не разглашаются.

— Чортъ побери, что вы хотите этимъ сказать?—съ горячностью вскричалъ Даніель Доббъ, прислушивавшійся къ разговору:—Это подлая клевета! Я чѣмъ угодно готовъ поручиться, что Эмма чиста отъ какихъ бы то ни было подозрѣній!

Толпа заволновалась. Раздались голоса, требовавшія изгнать Кина, который навѣрное подкупленъ Мотимеромъ и явился сюда чтобы пустить клевету, безчестящую дѣвушку.

Не обладай м-ръ Кинъ удивительной юркостью и изворотливостью, дѣло кончилось бы для него очень плохо.

Даніель поторопился написать Мотимеру о всемъ происшедшемъ на митингѣ, требуя, чтобы онъ опровергнулъ клевету, взведенную на его бывшую невѣсту усерднымъ журналистомъ.

Онъ писалъ, что прочтетъ это опроверженіе на слѣдующемъ же митингѣ во всеуслышаніе.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Въ семействѣ Мотимеровъ произошло, повидимому, перемиріе, хотя основаніемъ его послужили далеко не дружественныя чувства. Оно было вызвано необходимостью со стороны м-съ Мотимеръ уступить сыну. Было не въ характерѣ этой семьи прикрывать тайную злобу лицемѣрной вѣжливостью. Окончательный разрывъ былъ неизбѣженъ. Какую роль могла играть м-съ Мотимеръ въ домѣ своего сына? Никакой. И еслибы Алиса вышла замужъ, положеніе вещей не перемѣнилось бы. Старушка не обманывала себя несбыточными надеждами на будущее. Она понимала, что отнынѣ она чужой человѣкъ своимъ дѣтямъ. Повидимому, она покорилась своей участи, но сердце ея было ожесточено, и много горечи звучало въ словахъ ея, когда она говорила, что намѣрена умереть въ этомъ старомъ домѣ, съ которымъ связано столько дорогихъ для нея воспоминаній.

Послѣ митинга Ричардъ отправился въ Гигсбюри ужинать. Онъ болѣе обстоятельно обсудилъ съ Алисою планы будущаго. Онъ просилъ ее позаботиться устроить квартиру для ихъ матери и провести съ нею нѣсколько дней. Это очень не понравилось Алисѣ, и она нахмурилась. Но братъ настаивалъ, говоря, что увезетъ Генри завтра въ Ванлей, а дня черезъ три пріѣдетъ и за нею.

Онъ снабдилъ ее небольшою суммою для покупки необходи-

мыхъ вещей ихъ матери. Утромъ Ричардъ получилъ письмо отъ Даніеля Добба. Онъ прочелъ его, повидимому, совершенно равнодушно, а между тѣмъ невѣденіе относительно происходившаго на митингѣ враждебной ему партіи составляло предметъ его тайнаго безпокойства и даже страха.

По зрѣломъ размышленіи онъ составилъ отвѣтъ Даніелю слѣдующаго содержанія:

„Я получилъ ваше письмо и принужденъ сказать вамъ, что не нахожу никакой нужды что-либо опровергать. Я того мнѣнія, что моя частная жизнь не можетъ быть предметомъ публичнаго разсмотрѣнія.

„Вы можете сдѣлать изъ этого моего письма какое вамъ угодно употребленіе.

„Прибавлю только: наше общее дѣло едва-ли выиграетъ отъ того, что будутъ стараться замарать репутацію человѣка, всецѣло преданнаго ему.

„Вашъ слуга

„Мотимеръ".

Перечитавъ нѣсколько разъ это посланіе, которое онъ составилъ по образцу письма одного государственнаго человѣка, находившагося въ аналогичномъ съ нимъ положеніи, Ричардъ отправилъ его на почту.

Затѣмъ онъ спустился въ кухню, гдѣ, какъ онъ зналъ, находилась теперь его мать, отказывавшаяся сдѣлать шагъ въ какія-либо другія комнаты дома, и сказалъ ей аффектированнымъ тономъ:

— До свиданія, мамà; желаю вамъ устроиться покойно и счастливо въ Вильтонъ-скверѣ.

— Если тамъ и не будетъ мнѣ покойно, то я не приду къ тебѣ жаловаться!—отвѣчала та сухо.

М-съ Мотимеръ была одѣта въ свое прежнее скромное платье, какія носятъ вдовы въ рабочемъ классѣ и которое казалось еще бѣднѣе по сравненію съ элегантнымъ нарядомъ ея дочери. Сажая свою мать въ фіакръ, Ричардъ въ первый разъ почувствовалъ, какъ въ груди его шевельнулось чувство стыда. Но онъ поспѣшилъ отогнать это чувство

Къ тому же ему и некогда было останавливаться на немъ.

Подъ-вечеръ случай свелъ въ одномъ омнибусѣ сестру Эммы, Катерину, и Даніеля Добба. Даніель уже получилъ отвѣтъ Мотимера и былъ въ страшной ярости на собственника ванлейскаго замка. Наклонившись къ уху сосѣдки, онъ сказалъ:

— Слышали ли вы въ послѣднее время что-либо о Ричардѣ Мотимерѣ?

— Нѣтъ, ничего не слыхала,—отвѣчала коротко Катерина.

— Ну, это небольшая потеря,—злобно проворчалъ Даніель.

— Зато онъ самъ услышитъ обо мнѣ, и не думаю, чтобы это ему пришлось по вкусу.

Стукъ, производимый каретой, дѣлалъ разговоръ настолько затруднительнымъ, что они замолчали, и каждый предался теченію собственныхъ мыслей, пока омнибусъ не остановился и они вылѣзли изъ него и пошли рядомъ. Даніель, конечно, не догадался предложить Катеринѣ донести ея тяжелый узелъ. Въ первобытномъ обществѣ право таскать тяжести принадлежитъ исключительно женщинамъ. Дикарь идетъ на-легкѣ, а женщина тащится сзади, неся на плечахъ все его имущество. Нѣчто подобное происходило и въ данномъ случаѣ.

— Я никогда бы не могъ подумать, что Ричардъ способенъ на подобную низость!—гнѣвно заговорилъ Даніель. — Вотъ ужъ на немъ какъ нельзя лучше оправдывается мнѣніе, что богатство губитъ человѣка. Вотъ письмо, которое онъ мнѣ написалъ въ отвѣтъ на мое сообщеніе о происходившемъ на послѣднемъ митингѣ. Я писалъ ему, какъ господа, желавшіе обѣлить его поведеніе, пустили гнусную сплетню относительно Эммы. Послушать только ихъ ругань! Кто авторъ слуха? Почемъ я знаю. Но выходитъ такъ, что Мотимеру отъ этого только польза, а бѣдную дѣвушку очернили! Какой омерзительный поступокъ!

— Что̀ такое?.. Я не понимаю, о чемъ вы говорите. Какая сплѐтня ходитъ насчетъ Эммы? Что̀ такое?

— Судите сами!—сказалъ Даніель, развертывая письмо Ричарда, и онъ началъ читать, подчеркивая слова и сопровождая чтеніе пояснительными примѣчаніями.—Можетъ ли быть яснѣе!—заключилъ онъ:—прочесть такое письмо на митингѣ значитъ только подтвердить пущенный слухъ. Онъ не желаетъ вступать въ объясненія! Его частная жизнь не можетъ быть предметомъ обсужденія на митингѣ! Эти отговорки только подтверждаютъ, что онъ самъ и пустилъ гнусный слухъ.

— Довольно!

И Катерина, остановившись, сложила на мостовую свое бремя; пользуясь минутою отдыха, она принялась честить Мотимера.

Затѣмъ они разстались. Даніель побрёлъ дальше, неуклюже размахивая руками, съ печальнымъ сознаніемъ, какъ трудно потушить разъ пущенный слухъ. Катерина же, вернувшись домой, сейчасъ же разсказала все своей сестрѣ, при чемъ она то осыпала

Ричарда упреками, то накидывалась на Эмму, удивляясь, какъ она можетъ быть спокойной, когда о ней говорятъ такія подлыя вещи. Хладнокровіе и молчаливая покорность сестры еще больше возбуждали гнѣвъ Катерины. Она стала кричать, что на ея мѣстѣ не такъ бы поступила, что она бы отплатила Мотимеру око за око и зубъ за зубъ. Эмма долго слушала истерическіе крики разъяренной женщины и, наконецъ, объявила, что если та ее не оставитъ въ покоѣ и не прекратитъ эти вѣчныя сцены, то она уйдетъ изъ дома и будетъ жить отдѣльно.

Дѣти, сидѣвшія за столомъ, испуганныя, стали плакать. Эмма съ кроткой улыбкой начала утѣшать ихъ. Катерина предпочитала болѣе энергическій методъ и успокаивала дѣтей по обыкновенію, раздавъ имъ нѣсколько тумаковъ и шлепковъ. Мало-по-малу все пришло въ обычный порядокъ. Эмма развязала принесенный сестрою узелъ, и ея швейная машина стучала вплоть до самой полуночи.

II.

На одномъ изъ склоновъ долины, гдѣ раскидывается Новый-Ванлей, какимъ-то чудомъ уцѣлѣлъ лѣсъ, который теперь служитъ лѣтомъ почти единственнымъ мѣстомъ прогулокъ для окрестныхъ жителей.

Широкая дорога пересѣкаетъ его, поднимаясь въ гору. Но гуляющіе обыкновенно сворачиваютъ въ сторону, на узкую тропинку, которая то пробирается чащей орѣшника, то приводитъ довѣрившагося ей подъ тѣнистые своды старыхъ деревьевъ, сквозь изумрудную зелень которыхъ прокрадываются солнечные лучи и золотистыми пятнами играютъ на стволахъ, на муравѣ. Затѣмъ она извивается между глыбами скалъ и ясеневыми рощицами и вдругъ пропадаетъ. Передъ вами открывается небольшая зеленая лужайка, а отъ нея скатъ, гдѣ опять засѣлъ частый орѣшникъ. Здѣсь, въ прохладѣ и уединеніи, можно незамѣтно провести нѣсколько часовъ, лежа на травѣ, прислушиваясь къ шелесту листьевъ и щебету птицъ и слѣдя за прихотливымъ бѣгомъ легкихъ облаковъ.

Адель хорошо знала это красивое мѣстечко. Когда она была еще въ дѣвицахъ, она часто приходила сюда съ Летти. Здѣсь подруги исповѣдовали другъ другу свои тайны, и Губертъ Эльдонъ, тогда еще полный юношеской отваги, надеждъ и веселости, любилъ ихъ подстерегать здѣсь и болтать съ ними. Адель смотрѣла на этотъ уголокъ земли какъ на свою собственность.

Меланхолическія мечты, признанія чистаго, невозмущеннаго еще жизнью сердца—все это пережито здѣсь, въ невозвратные часы дѣвической свободы.

Шесть мѣсяцевъ спустя послѣ свадьбы, Адель снова посѣтила этотъ уголокъ, но уже все ей представилось въ иномъ свѣтѣ. Листва казалась не такою густою и изумрудною, трава не манила какъ роскошное, мягкое ложе, и горизонтъ утратилъ свой просторъ.

Что за причина была этому—трудно объяснить. Глаза ея иначе смотрѣли теперь на міръ; не тѣ чувства наполняли ея грудь; она была другая, и все стало не тѣмъ, что̀ было. Быть можетъ, дымъ ванлейскихъ фабрикъ проникъ и сюда, и отравилъ дѣвственный лѣсной воздухъ.

Адель принесла съ собою толстый томъ нѣмецкаго сочиненія объ основахъ соціализма и лексиконъ.

М-ръ Уэстлекъ совѣтовалъ ей поближе изучить соціальный вопросъ и рекомендовалъ прочесть нѣсколько наиболѣе капитальныхъ трудовъ.

Быть можетъ, она видѣла въ принесенной ею сюда книгѣ средство оградить себя отъ воспоминаній прошлаго?

Ей хотѣлось забыться и отдохнуть немного отъ разочарованій, отъ устрашавшей ее дѣйствительности.

Она сѣла на траву и принялась за скучный и утомительный трудъ доискиваться смысла въ длинныхъ, темныхъ періодахъ нѣмецкаго теоретика-соціалиста.

И каждый день она подвергала себя этой нравственной дисциплинѣ, усиливаясь побѣдить умственнымъ напряженіемъ безъисходную тоску, наполнявшую ея сердце. Какъ-то разъ Губертъ Эльдонъ, увидѣвъ ее сидящей подъ сѣнью раскидистыхъ вѣтвей, сравнилъ ее съ молодой, стройной березкой, весело лепечущей листьями среди старыхъ дубовъ и вязовъ, и своимъ веселымъ силуэтомъ оживляющей пейзажъ.

А теперь какая перемѣна: лицо ея носило слѣды глубокой душевной тревоги; цвѣтъ лица потерялъ прежнюю свѣжесть; исчезло выраженіе душевной ясности; уста потеряли прежнюю милую улыбку и сжатыя губы сурово сдерживали вздохъ, готовый улетѣть изъ наболѣвшей груди. Она съ ожесточеніемъ принялась за чтеніе, и на ея лицѣ появилось выраженіе удовольствія, что ей удается-таки побѣдить трудности ученаго языка.

Черезъ минуту шумъ шаговъ привлекъ ея вниманіе. Она подняла глаза; передъ нею стояла Летти.

Замужство Адели нѣсколько охладило отношенія между пріятельницами. Послѣ свадьбы Адель провела двѣ недѣли въ Лон-

донѣ и вернулась въ Ванлей съ совершенно разстроеннымъ здоровьемъ. Въ февралѣ она серьезно заболѣла и только съ наступленіемъ весны оправилась настолько, что могла выходить на воздухъ.

Теперь-то и замѣтила Летти въ своей подругѣ перемѣну къ ней, и это очень ее огорчило, но она не старалась возвратить утраченную близость къ сердцу Адели, разъ та не желала ея болѣе. Ей было очень тяжело являться въ замокъ съ визитомъ и говорить прежнему другу самыя банальныя пошлости о погодѣ и нарядахъ. Съ другой стороны, м-съ Вальтамъ и Альфредъ тоже говорили, что Адель и къ нимъ стала относиться совершенно иначе. Неужели же богатство могло вскружить ей голову? Неужели, сдѣлавшись хозяйкой ванлейскаго замка, она уже не считала Летти достойной быть съ нею на равной ногѣ, и прежняя короткость должна поэтому смѣниться оффиціальной холодностью? Летти надѣялась, что это не такъ, и что ихъ временное разобщеніе кончится и дружба ихъ станетъ еще тѣснѣе.

Бракъ Адели съ Ричардомъ Мотимеромъ являлся въ ея глазахъ неразрѣшимой загадкой. До самой послѣдней минуты она все надѣялась, что онъ не состоится; когда же роковой обрядъ былъ совершонъ, она рѣшила про себя, что ея подруга жертвуетъ собою, что ея согласіе на бракъ есть актъ смиренія и самоотверженія.

— Что ты читаешь?—спросила Летти, садясь на скатѣ, въ нѣкоторомъ разстояніи отъ Адели.

— Можно ли одолѣть книгу, если приходится почти каждое слово отыскивать въ словарѣ? А мнѣ приходится это дѣлать, изучая трактатъ Шефле о соціальномъ вопросѣ.

— И ты находишь эту книгу интересной?

— Я хочу даже перевести ее. Это замѣчательное сочиненіе, а мужъ не знаетъ нѣмецкаго языка.

— Ты совсѣмъ стала соціалисткой!

— Да, я соціалистка,—отвѣчала Адель съ твердостью.— Стоитъ только дать себѣ трудъ серьезно подумать, чтобы понять всю справедливость этихъ идей. Тебя пугаетъ слово: соціализмъ,— не правда ли? Ахъ! еще такъ недавно то время, когда и на меня оно производило то же впечатлѣніе. Это просто слѣдствіе незнанія предмета въ его сущности.

— Я не могу отговориться невѣдѣніемъ,—сказала Летти,— такъ какъ Альфредъ тоже донимаетъ меня доктринами своей школы. Можно тебѣ задать одинъ вопросъ?—и такъ какъ Адель

сдѣлала утвердительный знакъ, она продолжала:—Ты ходишь теперь въ церковь, Адель?

— Разумѣется. Альфредъ самъ неясно понимаетъ проповѣдуемыя имъ идеи. А по моему, соціализмъ нисколько не противорѣчитъ христіанской морали.

— Любопытно, согласится ли м-ръ Вейвернъ съ тобою, если ты ему это скажешь?

— Весьма возможно. Наши взгляды могутъ сойтись.

— Нашъ клерджименъ—соціалистъ!—вскричала Летти въ полнѣйшемъ изумленіи:—я положительно падаю съ облаковъ.

— Когда мы становимся на сторону справедливости и милосердія, мы дѣлаемся соціалистами, сами того не зная. Но, конечно, м-ръ Вейвернъ предоставляетъ такимъ людямъ, каковъ мой мужъ, осуществлять на практикѣ христіанскія идеи. Царство же пасторовъ не отъ міра сего.

Перемѣна, происшедшая во взглядахъ Адели, глубоко огорчала ея подругу. Тонъ авторитета, съ которымъ она говорила теперь, представлялъ поразительный контрастъ той скромной сдержанности, которая не покидала ее прежде, даже въ тѣ минуты, когда она защищала дорогія ей вѣрованія.

Болѣе опытный, чѣмъ Летти, наблюдатель, слыша, съ какимъ жаромъ говоритъ Адель, понялъ бы, что она искусственной горячностью силится дополнить недостатокъ убѣжденности въ истинѣ своей новой вѣры, въ чемъ она не сознавалась, быть можетъ, даже и передъ самой собой.

— Подходя къ тебѣ,—сказала Летти, помолчавъ,—мнѣ, кажется, я замѣтила улыбку на твоихъ губахъ. Неужели Шефле могъ тебя такъ развеселить?

— Нѣтъ, я смѣялась собственнымъ мыслямъ,—отвѣчала Адель, и лицо ея вдругъ прояснилось; на мгновеніе она стала похожа на прежнюю, беззаботную Адель.

— Итакъ, ты счастлива?

— Да, очень счастлива!—съ жаромъ вскричала Адель, превращаясь снова въ м-съ Мотимеръ.

— А для меня нѣтъ больше радости, какъ знать, что тебѣ хорошо.

— Да, я очень счастлива,—повторила снова Адель.—Я боялась одного: не быть въ состояніи помогать моему мужу въ осуществленіи его задачъ. Однако теперь убѣдилась, что могу ему быть полезной. Такъ, я устроиваю чай для дѣтей рабочихъ каждую недѣлю. Не хочешь ли и ты помочь мнѣ сегодня?

— Я готова все сдѣлать для твоего удовольствія.

— Это не для моего удовольствія,—возразила важнымъ тономъ Адель,—а ради нашего дѣла.

Пріятельницы разстались.

Вернувшись въ замокъ, Адель нашла свою золовку въ гостиной, по обыкновенію погруженную въ чтеніе какого-то романа. Она теперь почти не отходила отъ дома, не гуляла и даже отказывалась кататься въ коляскѣ.

Когда колоколъ возвѣстилъ часъ завтрака, Алиса отложила въ сторону книгу и, сдѣлавъ гримаску, вскричала:

— Какая скука, что нужно каждый день непремѣнно ѣсть!

— Еслибы вы поменьше читали, а больше были бы на воздухѣ, въ движеніи, у васъ былъ бы аппетитъ. А то вонъ какая вы блѣдная! Ну, а что ваши занятія музыкой?

— Это такъ трудно и скучно! я бросила.

— Ну, а французскій языкъ?

— Я займусь имъ завтра.

Подъ вечеръ Ричардъ гулялъ съ женою по саду.

— Сегодня Родманъ подалъ мнѣ мысль, которая раньше совсѣмъ не приходила мнѣ въ голову,—сказалъ онъ.—Въ будущемъ году предстоятъ выборы, и Родманъ совѣтуетъ мнѣ выставить себя кандидатомъ отъ Бельвика.

— Ты выступишь какъ соціалистъ?

— Нѣтъ, лучше радикаломъ. По существу это одно и то же, а скомпрометтировать свою кандидатуру изъ-за одного слова было бы непростительной глупостью.

Адель, закрывъ лицо своимъ японскимъ вѣеромъ, размышляла съ минуту.

— А у тебя хватитъ времени, чтобы исполнять какъ слѣдуетъ свои обязанности въ парламентѣ?—спросила она, наконецъ.

— Съ такимъ человѣкомъ, какъ Родманъ, я не побоюсь совмѣстить политику съ промышленностью.

— Итакъ, это уже рѣшенное дѣло?

— Разумѣется. И надѣюсь, моя кандидатура не потерпитъ фіаско. Тебѣ бы хотѣлось видѣть меня въ парламентѣ?—И Ричардъ принялъ позу оратора.

— Да, если это можетъ принести пользу дѣлу, которому ты служишь.

— Что же, какъ не дѣло рабочихъ, я буду отстаивать въ парламентѣ? Кстати, я намѣренъ сегодня прогнать одного рабочаго.

— Не можетъ быть!—вскричала Адель тревожно.

— Это нѣкто Рендаль, гуляка и лѣнтяй. Я болѣе не намѣренъ терпѣть его у себя на фабрикѣ.

— Развѣ ты не можешь ограничиться выговоромъ? Быть можетъ, онъ исправится.

— Онъ сказалъ мнѣ дерзость, которую я ему не могу простить.

По тону своего мужа Адель поняла, что было бы безполезно дольше настаивать. Она умолкла и шла, пристально разсматривая свой вѣеръ.

— Что, сегодня будетъ чай для дѣтей?

— Да. И я имъ прочитаю книгу, которую мнѣ рекомендовалъ м-ръ Вейвернъ.

— Ужъ навѣрное это какая-нибудь нравоучительная исторія!—презрительно отозвался Ричардъ.

— И не угадалъ. Это волшебная сказка.

— Сказка?—переспросилъ Ричардъ.—Какъ будто нельзя было выбрать что-нибудь по исторіи, или по ботаникѣ, или по зоологіи! Что-нибудь доступное для дѣтскаго ума и въ то же время полезное. Но набивать головы дѣтей фантастическимъ бредомъ—этого я не понимаю! Я бы даже и Алисѣ запретилъ читать романы. Они ей только кружатъ голову.

— А что̀ дѣлаетъ Генри?—спросила Адель.

— Ахъ, еслибы кто-нибудь избавилъ меня отъ моего братца, я былъ бы ему очень благодаренъ.

— А не пригласить ли его завтра къ намъ на обѣдъ?

— Я не вижу въ этомъ никакой нужды.

— Меня безпокоитъ, какъ бы онъ не подумалъ, что мы имъ пренебрегаемъ. Но вернемся къ вопросу, что̀ читать сегодня за чаемъ. Если ты находишь, что сказки читать не стоитъ, то я поищу что-нибудь подходящее.

— Да, я удивился, какъ это м-ръ Вейвернъ, человѣкъ съ весьма здравыми понятіями, выбралъ такую книгу! Впрочемъ, поступай такъ, какъ сама найдешь лучшимъ.—Адель хотя и находила величайшее наслажденіе въ чтеніи сказокъ Андерсена, тѣмъ не менѣе серьезныя вещи предпочитала пустякамъ. Она даже иногда стыдила самоё себя, если замѣчала въ себѣ наклонность погрузиться въ міръ фантазіи.

Она откинула самую мысль о наслажденіи жизнью. Время безпечности и веселья для нея миновало, по ея убѣжденію. Отнынѣ ей предстояло размышлять, работать и терпѣть.

Она много читала, и въ выборѣ чтенія ей много помогалъ Вейвернъ. Съ своей стороны, Мотимеръ ничего не имѣлъ про-

тивъ того, чтобы жена его занималась изученіемъ высшихъ вопросовъ. Онъ надѣялся, что, благодаря этому, ея религіозность уступитъ мѣсто болѣе здравымъ, по его' понятію, взглядамъ.

Адель не принадлежала къ числу тѣхъ женщинъ, которыя считаютъ свое образованіе вполнѣ достаточнымъ, разъ онѣ могутъ съ сомнительной орѳографіей написать письмо и пробренчать что-нибудь „съ чувствомъ" на фортепьяно. Она хотѣла ознакомиться съ тѣми идеями, которыми увлекался ея мужъ, она мечтала почерпнуть въ книгахъ неотразимые аргументы, которыми могла бы убѣдить его въ необходимости религіи и поколебать его упорное невѣріе. Въ то время, какъ она вмѣстѣ съ Летти поила дѣтей чаемъ, сервированнымъ въ саду, у подъѣзда замка позвонилъ гость. Онъ спросилъ у отворившаго дверь слуги, можетъ ли онъ видѣть м-съ Мотимеръ, на что получилъ отвѣтъ, что миссисъ читаетъ дѣтямъ книжку, а въ гостиной только одна молодая миссъ.

М-ръ Денъ, лицо, въ первый разъ появляющееся на страницахъ нашего романа, но уже близко знакомое съ обитателями Ванлея, входитъ въ гостиную. Алиса, лежа въ креслѣ съ отлогой спинкой, протягиваетъ ему руку, подавляя зѣвоту.

— Вотъ неожиданность!—восклицаетъ она тономъ безконечнаго удивленія:—вы здѣсь? Вы вѣрно къ Ричарду? Чтò васъ привлекло въ Ванлей?

— Непобѣдимое желаніе васъ видѣть, миссъ Мотимеръ,— говоритъ гость, съ нѣжностью глядя на молодую дѣвушку:—вотъ уже мѣсяцъ, какъ я лишенъ этого удовольствія.

— Я совѣтую вамъ пойти и сказать такую же пріятную фразу Адели. Она въ саду читаетъ дѣтямъ сказку. Вамъ будетъ полезно послушать.

— Другими словами, вы меня прогоняете отъ себя?

— Вы дойдите до лужайки, а потомъ поверните направо.

Но не успѣлъ онъ сдѣлать нѣсколько шаговъ, какъ она закричала:

— М-ръ Денъ... м-ръ Денъ, да подождите же! Я вамъ хочу сказать два слова. Впрочемъ, если ужъ вамъ такъ хочется видѣть Адель, идите, Богъ съ вами!

М-ръ Денъ поспѣшно вернулся.

Дѣвушка указала ему стулъ противъ себя. Онъ сѣлъ и взволнованнымъ голосомъ началъ:

— Миссъ Мотимеръ...

— Ну-съ, чтò дальше?

— Вотъ уже цѣлый мѣсяцъ, какъ я жду...

— Отчего же вамъ не подождать и дольше?—надменно прервала Алиса.

— Зачѣмъ вы меня обезкураживаете! Ради Бога... могу ли я питать хоть проблескъ надежды?..

— Ни малѣйшей, — сказала Алиса такимъ рѣшительнымъ тономъ, который, повидимому, не позволялъ сомнѣваться въ ея намѣреніяхъ.

— Послушайте, вы это серьезно говорите?

— Разумѣется, серьезно.

— Но развѣ это возможно?! Нѣтъ, вы смѣетесь.

— Я смѣюсь? Мнѣ вовсе не до смѣха.

— Очевидно, есть какая-нибудь особенная причина вашей перемѣны ко мнѣ!—вскричалъ съ гнѣвомъ бѣдный м-ръ Денъ.

Алиса трижды качнула головой въ знакъ того, что онъ угадалъ.

— Въ такомъ случаѣ... я имѣю честь кланяться,—сказалъ совершенно растерянный и разстроенный м-ръ Денъ:—я вижу, что лучше... прощайте.

Но едва онъ дошелъ до двери, какъ мучительница крикнула:

— М-ръ Денъ... м-ръ Денъ... Вы теперь отправитесь, вѣроятно, въ Лондонъ?

— Да.

— Такъ вотъ что: прежде отыщите Ричарда и постарайтесь, чтобы онъ васъ пригласилъ обѣдать.

— А если онъ меня не пригласитъ?

— Я на васъ разсержусь и никогда вамъ этого не прощу.

— У меня нѣтъ съ собою необходимаго платья.

— Что-жъ мнѣ дѣлать? Но если вы осмѣлитесь теперь уѣхать, я вамъ этого никогда, никогда не прощу. Это единственная причина, которая можетъ повести къ разрыву между нами. Слышите—между нами все кончено, если вы посмѣете уѣхать! Я не намѣрена повторять одно и то же два раза.

Въ тонѣ, которымъ произнесла Алиса эти слова, послышалось даже нѣчто трагическое.

Въ концѣ концовъ, м-ръ Денъ, покорно опустивъ голову, побрёлъ въ садъ отыскивать Ричарда.

III.

Въ числѣ дѣтей, которыхъ Адель угощала чаемъ, находились и двое маленькихъ Рендалей, дѣвочки девяти и восьми лѣтъ. Ее поразилъ ихъ взволнованный видъ и взгляды, которые онѣ

на нее исподтишка бросали. Она заговорила съ ними, постаралась ихъ ободрить, и дѣти стали просить, чтобы она заступилась передъ хозяиномъ за ихъ отца.

— Это правда,—сказала старшая,—что отецъ напился пьянъ (слова эти въ устахъ девятилѣтняго ребенка привели въ ужасъ Адель), но, право же, онъ больше не будетъ. Если его выгонять, вся семья должна будетъ умереть съ голоду, такъ какъ рабочаго изъ Новаго-Ванлея не возьмутъ ни на одну фабрику.

Адель рѣшилась еще разъ попытать счастье и пошла къ мужу; но тотъ не хотѣлъ ничего слушать, съ досадой отвергъ ея просьбы и остался непреклоненъ.

— Прости его ради меня!—умоляла она:—сдѣлай исключеніе на этотъ только разъ!

— Нѣтъ, не проси. Рендаль неисправимъ, и видъ его производитъ на меня самое скверное впечатлѣніе. Это дерзкій нахалъ!

— Впечатлѣніе можетъ быть обманчивое. Дѣти его мнѣ очень нравятся. Судя по нимъ, можно съ увѣренностью сказать, что ихъ мать—хорошая женщина. Она будетъ сдерживать мужа. Она ему внушитъ, что отъ его поведенія зависитъ настоящее и будущее его семейства.

— Его семейства!—вскричалъ Ричардъ съ насмѣшкой:—это ужъ не мое дѣло! Если я позволю хоть разъ безнаказанно говорить мнѣ дерзости, мой авторитетъ быстро падетъ. Не будемъ болѣе говорить объ этомъ.

Пришлось отступить. Адель старалась изгнать изъ своей памяти слезы маленькихъ дѣвочекъ и убѣдить себя, что Рендаль можетъ найти себѣ работу. Да и можетъ ли она знать всѣ мотивы, которые руководили ея мужемъ въ данномъ случаѣ, какъ хозяиномъ громаднаго промышленнаго предпріятія? Въ концѣ концовъ, она даже попросила у него извиненія, такъ какъ въ подобныхъ случаяхъ онъ самъ лучше всякаго можетъ судить, какъ поступить ему. Адель хотѣла этимъ актомъ смиренія заглушить въ себѣ голосъ негодованія противъ безсердечія Ричарда, подымавшійся въ душѣ ея. Отнынѣ она рѣшила всѣми силами бороться противъ мятежныхъ инстинктовъ, скрывавшихся въ ея натурѣ.

Ричардъ выслушалъ извиненія своей жены хотя и съ улыбкой, но во взглядѣ его появилось выраженіе озабоченности.

Въ немъ сейчасъ пробудились недовѣріе и подозрительность, которыя у всѣхъ людей его закала вызываетъ чужой великодушный поступокъ. Не будучи сами способны къ великодушію, они не могутъ вѣрить ему и въ другихъ.

— Горячность, съ которою ты вмѣшалась въ это дѣло,— почелъ онъ нужнымъ сказать своей женѣ,—доказываетъ, что у тебя болѣе сердца, чѣмъ разсудительности. Знай: управлять людьми можно только желѣзной рукой.

Въ этотъ день Адель отправилась повидаться съ матерью. Чтобы она не оставалась совсѣмъ одна, Альфредъ теперь каждый вечеръ пріѣзжалъ изъ Бельвика.

М-съ Вальтамъ сіяла радостью.

Она объявила дочери, что старый Вилькенсонъ умеръ, и теперь Альфредъ займетъ его мѣсто, а слѣдовательно и содержаніе его удвоится. Затѣмъ она заговорила о предстоящей свадьбѣ сына съ Летти. На этотъ разъ ужъ можно будетъ отпраздновать ее какъ слѣдуетъ—не то что свадьба Адели, которая такъ быстро и неожиданно сладилась, что не было времени и приготовить все порядкомъ. Да, по истинѣ она теперь вознаграждена за тѣ тяжелые годы, которые пришлось ей вынести послѣ смерти мужа! Забота о дѣтяхъ грызла ее и день, и ночь. Теперь, благодаря Богу, оба встали на свои ноги, оба пристроены, и она можетъ быть спокойна! Обнявъ свою мать, Адель вскричала, подавляя рыданія:

— Милая мама, люби меня по прежнему!

Затѣмъ она вернулась въ замокъ. На сердцѣ у нея было очень тяжело. Какое-то предчувствіе недобраго томило ее.

На лѣстницѣ она столкнулась съ почтальономъ.

Алиса, просматривая принесенную корреспонденцію, обратила вниманіе на одно письмо, адресованное на имя м-съ Мотимеръ. Оно возбудило ея живѣйшее любопытство. Она узнала почеркъ Катерины Клей.

Клеймо, показывавшее, что письмо послано изъ Лондона, подтверждало ея предположеніе. Очевидно, Катерила задумала отомстить Ричарду, написавъ его женѣ обо всемъ. Первое движеніе Алисы было взять письмо и потихоньку передать его брату; но она побоялась, чтобы прислуга не замѣтила ея маневра.

Адель, прочитавъ адресъ, сказала, что письмо написано несомнѣнно безграмотной особой. Затѣмъ она вскрыла конвертъ:

„Миссисъ, весьма возможно, что вы даже не знаете моего имени; если я рѣшилась писать, то лишь потому, что вашъ мужъ хорошо мнѣ извѣстенъ и что моя сестра, мои дѣти, всѣ мы умираемъ теперь съ голоду.

„Моя сестра Эмма была невѣстой Ричарда Мотимеръ еще задолго до того, какъ онъ съ вами познакомился.

„Онъ долго обманывалъ ее, а она всему вѣрила. Такъ продолжалось до самой смерти другой моей сестры. Теперь, боясь

быть осмѣяннымъ своими друзьями, Мотимеръ распустилъ слухъ, будто поведеніе Эммы было не безупречно. Это подлая ложь. Мать Мотимера прокляла его. Онъ предлагалъ денегъ; но у Эммы слишкомъ благородная душа, чтобы она стала брать ихъ у того, кто ее бросилъ. Вы, м-съ, вѣроятно, не знали всего этого? Цѣль моего письма, во-первыхъ, открыть вамъ глаза, а во-вторыхъ, сказать вамъ, что если Эмма готова лучше умереть, чѣмъ воспользоваться подаяніемъ вашего мужа, то я не такъ смотрю на дѣло, у меня дѣти.—Катерина Клей".

Прочитавъ это письмо, Адель удалилась въ свою комнату. Алиса же побѣжала искать брата. Она встрѣтила его недалеко отъ замка.

— Какъ! Это ты, принцесса?—вскричалъ Ричардъ съ шутливымъ удивленіемъ.—Что тебя выгнало изъ дому? Или у тебя больше нѣтъ романовъ?

— Я хотѣла предупредить тебя: Адель получила письмо изъ Лондона.

Ричардъ въ гнѣвѣ топнулъ ногой и крикнулъ:

— Ужъ навѣрное это мама постаралась!

— Нѣтъ, ты ошибся. Письмо отъ Катерины.

— Отъ сестры Эммы?

— Да, отъ нея.

— И ты видѣла Адель послѣ того, какъ она прочла это письмо?

Алиса сдѣлала отрицательный знакъ.

Ричардъ продолжалъ:

— Ничего лучшаго и ожидать нельзя было отъ этой Катерины.

— Если ея намѣреніе было внести разладъ въ твою семейную жизнь, то она дѣйствительно нашла лучшее средство достичь своей цѣли,—сказала съ хитрымъ видомъ Алиса.

— Вся эта исторія скоро кончится.

Скажи лучше, что она только-что начинается!—возразила Алиса, стараясь поймать зонтикомъ вившагося надъ дорожкой мотылька.

Братъ и сестра молча вернулись въ замокъ. Въ головѣ Ричарда возникали тысячи догадокъ и предположеній. Разумѣется, Катерина сообщила ей все! Какъ-то отнесется Адель къ этому? Если она даже и не станетъ дѣлать ему сценъ, упрекать, промолчитъ изъ гордости, то въ глубинѣ души все же она почувствуетъ къ нему глубокое презрѣніе.

Мысль объ этомъ, какъ бритва, скользнула ему по сердцу. Подобное сознаніе нестерпимо для тщеславнаго человѣка. Надо

еще прибавить, что со дня свадьбы взглядъ Ричарда на свою жену значительно измѣнился. Въ принципѣ онъ смотрѣлъ на замужнюю женщину какъ на собственность мужа, не имѣющую уже болѣе своей воли и теряющую всю нравственную и интеллектуальную независимость.

Жена—это одинъ изъ предметовъ необходимости, домашняя вещь, не болѣе.

Но на дѣлѣ, однако, онъ чувствовалъ къ Адели невольное почтеніе. Онъ начиналъ понимать, какою громадною властью и авторитетомъ пользуется мужественная и добродѣтельная женщина.

Онъ въ глубинѣ души признавалъ ея безконечное превосходство надъ нимъ. Теперь уже не одно тщеславное желаніе имѣть жену —„лэди" привлекало его къ Адели. Онъ полюбилъ ее.

Страхъ, который онъ почувствовалъ, когда ему пришло въ голову, что она можетъ бросить его, указалъ ему, какое значеніе она пріобрѣла въ его жизни. Какъ теперь, послѣ того, какъ Адель прочла письмо и *все* узнала, какъ онъ теперь съ нею встрѣтится? Какими глазами посмотритъ на нее? Чтò скажетъ въ свое оправданіе?

Все это наполняло его душу мучительнымъ безпокойствомъ.

Онъ пошелъ на половину жены.

Она сидѣла въ своемъ будуарѣ съ книгой въ рукѣ.

— Ты получила письмо изъ Лондона? Отъ кого?—сказалъ онъ, повидимому, совершенно безпечно.

Адель молчала.

— Что же ты ничего не говоришь?—уже съ раздраженіемъ въ голосѣ крикнулъ Ричардъ.

Адель такъ же молча подала ему письмо.

Быстро пробѣжавъ его, онъ спросилъ:

— Ну, чтò-жъ ты объ этомъ думаешь?

— Я жду твоихъ объясненій.

— Алиса сказала мнѣ, отъ кого письмо. Она узнала почеркъ. Слава Богу, что такъ вышло: по крайней мѣрѣ, ты ничего отъ меня не можешь скрыть.

— Для этого надо было бы повѣрить исторіи, о которой разсказывается въ письмѣ,—возразила Адель съ достоинствомъ.

— Ты этимъ хочешь сказать, что не повѣрила ей?

— Какъ могу я повѣрить этому письму, разъ ты мой мужъ! —отвѣчала она, прямо глядя въ глаза Ричарду.

Человѣкъ иного склада бросился бы на колѣни передъ нею. Мотимеръ почувствовалъ только облегченіе, смѣшанное съ недовѣріемъ, и вскричалъ съ жаромъ:

— Ты имѣешь полное основаніе не вѣрить этой сказкѣ. Женщина, написавшая тебѣ это, способна рѣшительно на все. Письмо это доказываетъ. Вотъ какъ было дѣло. Я дѣйствительно одно время думалъ жениться на этой дѣвушкѣ, ея сестрѣ, но еще прежде, чѣмъ познакомился съ тобою, между нами было все кончено, по причинѣ... Ну, вы сами можете понять. Безполезно входить въ подробности. Понятно, начались жалобы, злоба заставляла ихъ клеветать на меня и, наконецъ... это письмо.

Адель внимательно слушала мужа, не спуская глазъ съ него. Ей хотѣлось вѣрить ему, но тысячи разнообразныхъ мыслей заронились въ ея умѣ. Почему, когда они были въ Лондонѣ, Ричардъ не захотѣлъ познакомить ее со своею матерью?

Онъ говорилъ тогда, что у нея сварливый характеръ, что она не можетъ привыкнуть къ тому новому положенію, въ которое поставило ихъ неожиданное наслѣдство, и отнесется съ невольнымъ недоброжелательствомъ къ женѣ сына, потому лишь, что она изъ высшаго общества. Во всемъ этомъ слышалась какая-то фальшь. Но тогда Адель повѣрила на̀ слово мужу. Теперь это письмо! Что̀ ей думать, чему вѣрить? Но, Боже, неужели этотъ человѣкъ—повидимому, такой смѣлый, чистосердечный, благородный—на дѣлѣ не болѣе, какъ лицемѣръ и лжецъ?

Адель не могла говорить отъ волненія. А Ричардъ стоялъ передъ нею, скрестивъ руки, ожидая ея отвѣта.

. . . .

Въ это время Алиса сидѣла въ гостиной, съ Вильямомъ Родманомъ, котораго пригласили обѣдать въ замокъ, вмѣстѣ съ Генри. Этотъ послѣдній бесѣдовалъ пока съ грумомъ на конюшнѣ и не спѣшилъ въ гостиную.

Родманъ принималъ сантиментальныя позы, нѣжно глядя на Алису, которая объявила ему, что если онъ не объяснится, наконецъ, съ Ричардомъ и не добьется отъ него согласія на ихъ союзъ, то она кончитъ тѣмъ, что возьметъ свое слово назадъ. Очевидно, между Алисой и Родманомъ давно уже было все порѣшено. Родманъ жестоко теребилъ свои усы, то закручивая ихъ вверхъ, то запуская концы ихъ себѣ въ ротъ и, наконецъ, сдался.

Ричардъ, войдя въ гостиную, объявилъ, что Адель чувствуетъ себя нездоровой и не выйдетъ къ обѣду.

Адель до поздняго часа читала Евангеліе. Наконецъ, она почувствовала необходимость въ свѣжемъ воздухѣ. Было уже одиннадцать часовъ. Она вышла въ паркъ и направилась по своей любимой аллеѣ. Ночь была темная; глубокая тишина, царившая въ природѣ, позволила ей уловить конецъ слѣдующаго разговора:

— Онъ будетъ моимъ мужемъ,—говорила Алиса брату,—я такъ хочу; я въ такихъ лѣтахъ, что уже могу сама распоряжаться своей судьбой.

— Однако, ты еще несовершеннолѣтняя. Мой авторитетъ еще имѣетъ для тебя значеніе; положимъ, Родманъ хорошій малый, но все же тебѣ не пара. Ты можешь сдѣлать гораздо болѣе выгодную партію.

— Родманъ будетъ моимъ мужемъ, вотъ увидишь!

— Я постараюсь не допустить до этого.

— Ты хочешь мнѣ помѣшать? Отлично. Тогда я все разскажу Адели! разскажу, какъ ты поступилъ съ Эммой, и доставлю вдобавокъ доказательства. Что, теперь ты посмѣешь мнѣ мѣшать?

И, сказавъ это, Алиса быстро пошла къ замку.

IV.

Въ сентябрѣ м-ръ Вейвернъ обвѣнчалъ двѣ пары: Алису Мотимеръ съ Родманомъ и Летти съ Альфредомъ Вальтамъ.

Первые отправились проводить свой медовый мѣсяцъ въ Южный-Уэльсъ, а послѣдніе—на континентъ. Какъ мы уже видѣли, Ричардъ не одобрялъ выбора своей сестры. Природный тактъ и практическій умъ Родмана подсказали ему, что, принявъ участіе въ дѣлахъ Мотимера, онъ, однако, не долженъ приставать къ нему съ интимностью. Ричардъ становился съ каждымъ днемъ все болѣе требовательнымъ, придирчивымъ и высокомѣрнымъ по отношенію къ тѣмъ, которыхъ онъ, несмотря на свои соціалистическіе взгляды, считалъ стоящими ниже себя.

Когда Ричардъ узналъ въ первый разъ о намѣреніяхъ Родмана, онъ не могъ говорить отъ гнѣва. Родманъ сохранилъ полное спокойствіе, но въ душѣ былъ глубоко оскорбленъ пріемомъ, который оказалъ Ричардъ его сватовству. Онъ не могъ простить пренебреженія къ нему разбогатѣвшаго „брата". Онъ понималъ, что поселиться съ женою въ Ванлеѣ невозможно. Алиса была очень рада его проекту жить въ Лондонѣ. Она мечтала о той блестящей, свѣтской жизни, которая изображалась въ прочитанныхъ ею романахъ.

Мужъ, по ея мнѣнію, долженъ былъ безпрекословно подчиняться всѣмъ ея капризамъ и все свое время посвящать ей. Ея бездушное, эгоистическое отношеніе къ мужу скоро дало почувствовать ему, какое иго надѣлъ онъ, женившись на Алисѣ.

Въ то же время Алиса не могла простить Ричарду его оппозиціи ея желаніямъ, и Адели—то, что она не выражала никакой особой симпатіи къ ея мужу.

Состояніе здоровья Адели внушало безпокойство. Доктора совѣтовали провести осень на югѣ Англіи. Предполагалось, что Адель вмѣстѣ съ матерью отправится въ Эксмутъ, гдѣ встрѣтится съ м-съ Уэстлекъ.

Ричардъ обѣщался навѣщать ихъ такъ часто, какъ только могли позволить его дѣла. Съ отъѣздомъ Родмана онъ былъ заваленъ работой, что не мѣшало ему, однако, агитировать въ пользу своего избранія депутатомъ отъ Бельвика.

Честолюбіе поглотило всѣ остальныя стороны характера Ричарда. Новый-Ванлей болѣе уже не представлялъ для него цѣли; онъ глядѣлъ теперь на эксплуатацію долины лишь какъ на средство, при помощи котораго надѣялся осуществить свои честолюбивыя мечты.

Ричардъ не имѣлъ никакого понятія о государственной машинѣ, однимъ изъ колесъ которой думалъ теперь сдѣлаться. Ничего не было проще, казалось ему, явиться въ парламентъ и заговорить, сказать живое, новое, свободное слово...

Онъ думалъ, что такъ же, какъ на митингахъ и конференціяхъ въ рабочемъ кварталѣ, онъ будетъ метать громы краснорѣчія и въ Вестминстерѣ.

Онъ уже видѣлъ себя вносящимъ новый билль единственно въ интересахъ народа,—билль, носящій *его* имя!

Адель полною грудью вдыхала тепловато-влажный, пропитанный солью, воздухъ Эксмута. Часто стоя лицомъ къ безбрежному морскому простору, она задумывалась о высшихъ вопросахъ человѣческаго духа, о безсмертіи, о назначеніи человѣка, о долгѣ и любви. Когда же порою ея душу терзали сомнѣнія, она находила возлѣ себя преданнаго друга въ лицѣ м-съ Уэстлекъ.

Молодая женщина возстановляла свои силы въ Эксмутѣ, послѣ рожденія своего перваго ребенка. Это обстоятельство служило еще новымъ связующимъ звеномъ между нею и женою Мотимера, которую тоже въ перспективѣ ожидало материнство. Независимость, съ которою высказывалась м-съ Уэстлекъ, удивляла Адель, но никогда не оскорбляла, даже когда дѣло шло о вопросахъ, наиболѣе дорогихъ ея сердцу. Стелла Уэстлекъ относилась къ своему другу какъ старшая сестра. Въ ея устахъ всякая самая простая фраза принимала особое значеніе. Въ ней не было ничего банальнаго, пошлаго.

Ея мужъ, несмотря на то, что былъ поглощенъ своими литературными занятіями, нерѣдко навѣщалъ свою жену въ Эксмутѣ.

Они свели знакомство, скоро перешедшее въ самыя дружественныя отношенія, съ однимъ художникомъ—м-ромъ Боскобель и его женой, которая такъ же живо интересовалась вопросами искусства и литературы. Адель служила ей объектомъ психологическихъ наблюденій. Она ее очень полюбила и однажды сказала Уэстлеку, что во всей фигурѣ м-съ Мотимеръ такъ много искренности, цѣломудрія и достоинства, что она производитъ на нее впечатлѣніе мадонны.

— На мою жену,—отвѣчалъ тотъ,—она производитъ такое же впечатлѣніе. Она говоритъ, что голосъ нашего общаго друга сладокъ какъ прощеніе!

— А ей приходится много прощать?

— Надѣюсь, что нѣтъ; однако, нельзя сказать, чтобы у нея былъ счастливый и беззаботный видъ.

Мотимеръ пріѣзжалъ въ Эксмутъ раза два на нѣсколько дней. Въ концѣ осени Уэстлекъ и Боскобель уѣхали въ Лондонъ. Такимъ образомъ распался кружокъ, который вносилъ много радости въ скорбное существованіе Адели. Она теперь осталась одна со своею матерью. Въ февралѣ она разрѣшилась отъ бремени. Ребенокъ родился мертвымъ. Какъ только позволило ей здоровье, она возвратилась въ Ванлей.

Приближались парламентскіе выборы. Мотимеръ почти каждое утро проводилъ въ Бельвикѣ. Адель походила теперь на тѣнь—такъ она была худа и блѣдна. Она вернулась къ своимъ обычнымъ занятіямъ. Часто она проводила цѣлые часы съ Вейверномъ въ длинныхъ бесѣдахъ о всевозможнѣйшихъ вопросахъ.

Какъ-то разъ она спросила его мнѣнія насчетъ шансовъ ея мужа быть выбраннымъ въ Бельвикѣ.

Пасторъ не скрылъ отъ нея, что шансы эти болѣе чѣмъ сомнительны. Составилось мнѣніе, что Мотимеръ—вздорный и безпокойный человѣкъ, тяжелый характеръ котораго сѣетъ раздоръ въ радикальномъ лагерѣ. Будь даже онъ по прежнему популяренъ, ему все же невозможно тягаться съ двумя другими кандидатами, изъ которыхъ одинъ—сынъ лорда, а другой—богатый торговецъ желѣзомъ. Сторонники Родгауза не дремали, и его органъ не щадилъ черныхъ красокъ, чтобы окончательно подорвать всякій кредитъ Мотимера. Пасторъ выразилъ полное убѣжденіе, что эта выборная компанія окончится полнѣйшимъ фіаско послѣдняго. Адель была очень огорчена. Самъ Ричардъ очевидно предчувствовалъ неудачу и ходилъ мрачный, смущенный, подавленный,

и всячески старался даже избѣгать говорить о предстоящихъ выборахъ съ женой. Впрочемъ эта послѣдняя и сама не касалась этого вопроса.

Тѣмъ не менѣе, раза два онъ кидалъ фразы, въ которыхъ звучали его старая самоувѣренность и желѣзное упорство. Наконецъ, наступилъ роковой день. Уѣзжая изъ Ванлея, Ричардъ сказалъ женѣ, что онъ, по всей вѣроятности, вернется лишь на слѣдующій день утромъ.

Ночью Адель не могла заснуть. Наконецъ, начала забываться, какъ вдругъ рѣзкій стукъ разбудилъ ее. Удары въ дверь становились все громче и сильнѣе. Будучи одна, Адель нашла благоразумнымъ запереть двери на ключъ. Услышавъ голосъ мужа, она соскочила съ кровати, накинула на себя пеньюаръ и поспѣшила отворить дверь. Прозрачныя шторы позволяли проникать въ комнату серебристому свѣту луны. Ричардъ вошелъ, пошатываясь, и коснѣющимъ языкомъ спросилъ, зачѣмъ она заперла дверь. Тутъ только замѣтила Адель, въ какомъ состояніи ея мужъ.

Лицо его пылало багровымъ румянцемъ. Отъ него сильно пахло табакомъ и водкой. Удивительно было, какъ это ему въ такомъ плачевномъ видѣ удалось-таки добраться до дому. Впрочемъ этому онъ былъ обязанъ уму лошади, которая его везла. Оперпись о туалетный столикъ, Ричардъ налитыми кровью глазами глядѣлъ на жену; потомъ циническая усмѣшка осклабила его пьяное лицо, и, хрипло засмѣявшись, онъ сдѣлалъ два невѣрныхъ шага къ своей женѣ. Адель задрожала и убѣжала въ другую комнату, которую тотчасъ же заперла на ключъ. Онъ не преслѣдовалъ ее.

Подождавъ немного, она вышла въ корридоръ и тамъ нѣкоторое время прохаживалась взадъ и впередъ.

Наконецъ, она вернулась въ спальню. Завернувшись въ одѣяло, бѣдная женщина провела остальную часть ночи, сидя на стулѣ.

Число голосовъ, которое получилъ Ричардъ на свою долю, было до смѣшного мало, въ сравненіи съ его противниками. Какъ бы то ни было, приходилось примириться съ неудачей и возвратиться къ болѣе скромнымъ, будничнымъ занятіямъ. Съ своей стороны, Адель ни словомъ не намекала на происшествіе роковой ночи.

Исторія Мотимера и бѣдной гокстонской работницы была узнана м-ромъ Уэстлекомъ совершенно неожиданно. Товарищи Родгауза давно уже опубликовали въ своемъ „Набатѣ“ обстоятельное сообщеніе на этотъ счетъ, но нумеръ этотъ какъ-то не

попадался на глаза Уэстлеву. Узнавъ все, онъ послѣ зрѣлаго размышленія успокоился на той мысли, что защитники самыхъ высокихъ идей порою бываютъ совершенно недостойные люди.

V.

М-ръ и м-съ Родманъ поселились въ Безуотэрѣ, въ небольшомъ, но богато меблированномъ домѣ.

Однажды, будучи въ Лондонѣ, Адель посѣтила ихъ. Въ гостиной уже сидѣли гости, три дамы и одинъ кавалеръ.

Этотъ послѣдній имѣлъ видъ спортсмена, говорилъ громко, съ вульгарными жестами. Возлѣ него на полу стояла его шляпа. Гостьи, особы среднихъ лѣтъ, были разряжены въ бьющіе на эффектъ туалеты. Разговоръ вертѣлся исключительно на послѣднемъ громкомъ процессѣ. Джентльменъ съ спортсменскими замашками хвалился личнымъ знакомствомъ съ убійцей. Приходъ Адели только на минуту прервалъ оживленную бесѣду.

Господинъ, продолжая болтать, уставился на Адель такимъ пристальнымъ взглядомъ, что ей стало неловко.

Наконецъ, гости откланялись, и Адель осталась наединѣ съ хозяйкой дома.

— Итакъ, Ричардъ потерпѣлъ полное пораженіе,—сказала Алиса.—Да и, въ самомъ дѣлѣ, какой шансъ у него былъ на то, что его выберутъ!

Адели было очень тяжело говорить на эту тэму. Вообще Алиса теперь ей гораздо менѣе нравилась. Общество, въ которое она попала, видимо портило ее.

Она приняла манеры и языкъ того промежуточнаго слоя людей, которые отъ одного берега отстали, а къ другому не пристали и, воображая себя свѣтскими, въ сущности, усвояютъ лишь все пошлое, рѣзкое и крайнее въ этихъ послѣднихъ, такъ какъ только такого рода рѣзкія черты и замѣтны ихъ неопытному глазу, всѣ же оттѣнки для нихъ не существуютъ. Понятно, что въ результатѣ получается каррикатура. Алиса какъ-то вся изломалась за послѣднее время. Физіономія ея ни минуты не оставалась въ покоѣ. Она постоянно силилась придать ей какое-нибудь особенное выраженіе. Ироническая улыбка не сходила съ ея губъ. Ея вкусъ испортился, и она стала одѣваться слишкомъ экстравагантно, слишкомъ много нацѣпляла на себя драгоцѣнностей. Волосы она зачесывала себѣ теперь на лобъ.

— Сегодня у насъ будетъ обѣдать нѣсколько нашихъ друзей,—

сказала она:—конечно, вы присоединитесь къ ихъ числу. Вилли, я убѣждена, будетъ очень радъ васъ видѣть. Вы останетесь?— Сухой тонъ этого приглашенія ясно показывалъ, что отрицательный отвѣтъ доставитъ гораздо болѣе удовольствія хозяйкѣ, чѣмъ утвердительный.

Поэтому Адель поспѣшила сказать:

— Нѣтъ, я не могу остаться у васъ обѣдать. Я такъ больна, что не въ силахъ выносить большое общество.

— Конечно, я не буду васъ въ такомъ случаѣ удерживать, разъ это можетъ утомить васъ.

Послѣдовало краткое молчаніе.

— Я знаю,—начала Алиса,—что вы очень любите дѣтей; я очень сочувствую вашему горю. Вотъ я такъ совсѣмъ не желаю ихъ имѣть и надѣюсь, что ихъ у меня никогда и не будетъ. Ихъ крикъ разстроиваетъ мнѣ нервы.—Адель не отвѣчала ни слова. Она поднялась, пожала руку Алисы и удалилась. Она рѣшила про себя, что ни за что не познакомитъ ее съ м-съ Уэстлекъ, о чемъ у нихъ съ мужемъ уже не разъ шла рѣчь, при чемъ онъ вообще настаивалъ на томъ, чтобы ввести Алису въ кругъ ихъ новыхъ знакомыхъ. Это служило мотивомъ взаимныхъ неудовольствій супруговъ. Ричардъ искренно любилъ свою сестру, и ему совсѣмъ не хотѣлось разойтись съ нею. А между тѣмъ, благодаря антипатіи къ ней его жены, это дѣлалось само собою роковымъ образомъ.

Теперь та дружественная связь, которая установилась между Аделью и Стеллой Уэстлекъ, когда они проводили осень въ Эксмутѣ, стала еще тѣснѣе. Часто цѣлое утро онѣ проводили вмѣстѣ, играя въ четыре руки или занимаясь чтеніемъ любимаго поэта, а затѣмъ отправлялись осматривать какой-нибудь музей или картинную галерею. Обѣды у супруговъ Уэстлекъ отличались непринужденностью и искреннимъ весельемъ. Не требовалось особенно нарядныхъ костюмовъ. Гости чувствовали себя свободно.

По вечерамъ иногда даже бывали собранія, на которыхъ присутствовали убѣжденные соціалисты; въ числѣ ихъ однажды Адель замѣтила трехъ или четырехъ, видимо, принадлежащихъ къ рабочему классу. Впрочемъ, такого рода вечера не нравились женѣ Ричарда. Ей было непріятно видѣть Стеллу, предметъ ея обожанія, окруженной такого рода вульгарными людьми, говорившими съ ней, по ея мнѣнію, слишкомъ фамильярно.

Отъ Алисы она отправилась къ своему другу, а потомъ съ нею вмѣстѣ въ ателье Боскобеля. Художникъ просилъ Адель

остаться обѣдать у нихъ, и оказалось, что на этотъ разъ она не побоялась усталости и вреда для здоровья.

Едва м-съ Мотимеръ вошла въ гостиную, какъ лакей открылъ дверь и возвѣстилъ имя, которое заставило ее всю вздрогнуть. Она едва могла сдержать свое волненіе, когда увидѣла входящимъ Губерта Эльдона.

М-съ Боскобель хотѣла представить ей Губерта, но онъ съ живостью объявилъ, къ великому изумленію хозяйки дома:

— Я уже имѣлъ честь встрѣчать м-съ Мотимеръ.

Жена художника познакомилась съ Губертомъ въ Римѣ, гдѣ провела нѣсколько мѣсяцевъ и въ прошломъ году. Но, конечно, обстоятельства его жизни оставались ей неизвѣстными.

Какъ-то разъ разговоръ зашелъ о соціализмѣ, и по поводу его она разсказала Губерту исторію Ричарда Мотимера, предполагая, конечно, что онъ ея не знаетъ. Губертъ сказалъ, что она ему хорошо извѣстна; съ ужасомъ говорилъ онъ, какъ обезобразилась живописная ванлейская долина, благодаря начатой въ ней разработкѣ копей, фабричной копоти, дыму и оглушительному грохоту машинъ.

М-съ Боскобель любила окружать себя молодыми людьми, изъ аристократическаго круга, любящими искусство и литературу. Губертъ, конечно, могъ быть украшеніемъ любого самаго великосвѣтскаго кружка, благодаря своему уму, изяществу и образованію.

Губертъ сѣлъ противъ Адели. Послѣ непродолжительнаго молчанія онъ сказалъ:

— Я не ожидалъ васъ встрѣтить здѣсь, миссисъ!

— Я гощу въ Лондонѣ у моего друга Стеллы Уэстлекъ.

— Ея портретъ, работы нашего хозяина, мнѣ показался замѣчательнымъ произведеніемъ. Онъ внушилъ мнѣ большое желаніе познакомиться съ моделью.—Голосъ Губерта производилъ на Адель успокаивающее дѣйствіе.

Она чувствовала значеніе этой неожиданной встрѣчи. Та, робость, съ какою Губертъ смотрѣлъ на нее,—возбуждала въ ней неизъяснимое чувство.

Губертъ предложилъ ей руку, чтобы вести ее въ столовую. Они разговорились за столомъ и не чувствовали никакого стѣсненія. Въ томъ, какъ говорилъ Губертъ,—выражалась та внутренняя перемѣна, которая несомнѣнно произошла въ немъ за то время, какъ они не видались; привычка быть въ свѣтѣ вообще уравновѣшивала его сужденія и обуздывала юношескую пылкость одушевленія, все еще свѣтившагося въ его лицѣ, но и кромѣ того жизненный опытъ положилъ рѣзкій слѣдъ на него; черты его

стали рѣзче и характернѣе, въ выраженіи была какая-то сосредоточенность.

Онъ говорилъ объ искусствѣ, о литературѣ, о лондонской жизни.

Адель безъ страха выдерживала его взглядъ, который теперь съ большей смѣлостью приковывался къ ея лицу, и сама старалась прочесть въ немъ мысли и чувства, наполнявшія его въ эту минуту.

О прошломъ не было сказано ни слова.

А. Э.

НОВЫЯ СОЧИНЕНІЯ
Г. И. УСПЕНСКАГО

— Сочиненія Глѣба Успенскаго. Томъ третій. Спб. 1891.

Сочиненія, на которыхъ мы думаемъ остановиться, не всѣ новы по времени ихъ перваго появленія; въ изданный теперь третій томъ собранія сочиненій г. Успенскаго вошло, по связи сюжетовъ, и кое-что изъ написаннаго давно; но бо́льшая часть этого тома занята дѣйствительно новыми, именно въ послѣдніе годы написанными произведеніями. Статьи третьяго тома собраны въ слѣдующія рубрики: Очерки переходнаго времени; Статьи разнаго содержанія; Невидимки. Поѣздки къ переселенцамъ; Мелькомъ; Разсказы. Въ предисловіи къ „Очеркамъ переходнаго времени“ авторъ замѣчаетъ: „Подъ общимъ названіемъ „Очерки переходнаго времени“ помѣщаются въ настоящемъ изданіи очерки и разсказы, написанные въ разное время, съ 64 г. до 90 г., но не вошедшіе ни въ первое, ни во второе, полное, изданія, вслѣдствіе того, что на тѣ же темы были написаны впослѣдствіи очерки и разсказы, имѣющіе между собою нѣкоторую связь и послѣдовательность. „Нравы Растеряевой улицы“, „Разореніе“, безъ всякихъ дополненій и разъясненій, весьма достаточно омрачають воспоминанія читателей о темныхъ временахъ русской жизни, и увеличивать этихъ омрачительныхъ впечатлѣній количествомъ жизненныхъ мрачныхъ фактовъ не было никакой надобности.

„Если же эти омрачительные очерки я рѣшился помѣстить

въ настоящемъ изданіи, то основаніемъ этому была та несомнѣнная особенность русской жизни, вслѣдствіе которой „переходное время“ стало въ послѣднія тридцать лѣтъ какъ бы обычнымъ „образомъ жизни“ русскаго человѣка. Ощущалось оно до Севастопольской войны, до освобожденія крестьянъ, до судебной, земской, городской реформъ. Ощущалось и во время войны, во время и послѣ каждой реформы, ощущается и въ настоящее время. Вотъ причина, послужившая основаніемъ собрать тѣ очерки, разсказы и замѣтки, которые касались неопредѣленныхъ условій жизни и колебаній мысли русскаго человѣка, подъ вліяніемъ новыхъ теченій, постепенно осложнявшихъ русскую жизнь“.

И здѣсь, какъ въ первыхъ двухъ томахъ настоящаго изданія, г. Успенскій не размѣщалъ своихъ произведеній въ хронологическомъ порядкѣ, какъ, по его словамъ, желали нѣкоторые изъ его читателей: онъ предпочиталъ собирать свои очерки, писанные въ разное время, подъ общія темы, къ которымъ могло быть отнесено ихъ содержаніе. Конечно, съ точки зрѣнія цѣльности впечатлѣнія онъ былъ совершенно правъ, но было бы не трудно удовлетворить и желанію читателей, выставивъ подъ отдѣльными очерками и разсказами хронологическое обозначеніе. Это послѣднее во многихъ случаяхъ представило бы не малый интересъ: это было бы не только библіографическое указаніе на исторію авторскаго труда, но и указаніе на условія общественной жизни и литературы въ данное время. Со стороны читателя было именно не произвольнымъ желаніемъ знать, въ какую минуту дѣлались г. Успенскимъ тѣ или другія наблюденія и замѣтки, и сличить ихъ съ тѣмъ, что̀ говорилось въ это же самое время писателями другого взгляда на вещи или что̀ совершалось по тѣмъ или другимъ вопросамъ, какихъ г. Успенскій касался, въ практической дѣйствительности. Такое сопоставленіе во многихъ случаяхъ могло бы быть дѣломъ не одного пустого любопытства. Впрочемъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ хронологія выясняется изъ самыхъ разсказовъ.

Дѣятельность г. Успенскаго столько разъ бывала предметомъ критическихъ обсужденій, варьировавшихъ отъ величайшихъ похвалъ до строжайшихъ порицаній, доходившихъ до приравненія его произведеній (съ произведеніями его литературныхъ сотоварищей) до литературы кабака и харчевни, что мы не будемъ долго останавливаться на свойствахъ его дарованія и писательской манеры; на томъ, имѣетъ ли оправданіе то давнее смѣшеніе художества и публицистики, которое, наконецъ, стало его постоянной чертой; даже на томъ, въ чемъ собственно состоитъ его

міровоззрѣніе, его взглядъ на идеалы народной жизни и ея нужды и недостатки. Извѣстно, что это міровоззрѣніе не однажды бывало предметомъ недоумѣнія для людей, которые высоко цѣнили въ Успенскомъ и его поэтическое дарованіе, и его замѣчательную наблюдательность, и которые, однако, не находили у него достаточно опредѣленнаго указанія на то, чѣмъ долженъ бы быть по его взгляду идеалъ народнаго быта. Что касается до формы, то сначала не однажды слышались сожалѣнія о недостаткахъ художественной отдѣлки произведеній г. Успенскаго, которыя слишкомъ часто, начавшись картиной, живымъ художественнымъ очеркомъ, кончались разсужденіями, для которыхъ скорѣе было бы мѣсто въ публицистической статьѣ, а вовсе не въ беллетристикѣ; но авторъ такъ упорно сохранялъ свою манеру, что критики должны были волей-неволей помириться съ этимъ „недостаткомъ" и предоставить г. Успенскаго на волю божію: онъ такъ и остался съ этой манерой. Впослѣдствіи, именно въ предисловіи къ собранію его сочиненій 1883 года, г. Успенскій далъ отчасти объясненіе того, какъ складывался характеръ нѣкоторыхъ его произведеній. А именно, указывая, почему въ томъ изданіи онъ не расположилъ своихъ сочиненій въ хронологическомъ порядкѣ, г. Успенскій говорилъ тогда:

„Времена, пережитыя русскою журналистикою въ шестидесятыхъ годахъ, были преисполнены всевозможныхъ случайностей, безпрестанно разстроивавшихъ ея правильное теченіе... Я говорю здѣсь о тѣхъ чисто внѣшнихъ затрудненіяхъ, благодаря которымъ нельзя было благополучно начать и кончить задуманную работу. Приведу одинъ примѣръ: „Нравы Растеряевой улицы", начатые въ 1866 г., прекратились на четвертой главѣ, потому что „Современникъ" былъ закрытъ. Продолженіе этихъ очерковъ, приготовленное для „Современника", должно было явиться въ сборникѣ „Лучъ", изданномъ редакціей „Русскаго Слова", которое также было прекращено, причемъ все, что̀ имѣло „связь" съ очерками, напечатанными въ „Современникѣ", надо было уничтожить, обрѣзать, выкинуть для того, чтобы „продолженіе" имѣло видъ работы отдѣльной и самостоятельной; вотъ почему дѣйствующія лица были переименованы въ другихъ, имъ „сдѣлана" иная обстановка, и самое названіе измѣнено. Затѣмъ дальнѣйшее продолженіе той же серіи разсказовъ печаталось въ журналѣ „Женскій Вѣстникъ", такъ какъ тогда (1866) почти совершенно не было другихъ литературныхъ журналовъ. Можно по этому судить, что̀ должна была претерпѣть „Растеряева улица" съ своими пьяницами, „сапожниками и мастеровщиной",

появляясь въ журналѣ, посвященномъ *женскому* развитію, *женскому вопросу!* При всемъ моемъ глубокомъ желаніи, чтобы пьяницы мои вели себя въ дамскомъ обществѣ поприличнѣе, всѣ они до невозможности пахли водкой и сокрушали меня. Но что же было дѣлать? Я ихъ умылъ и пріодѣлъ, и они стали только хуже, а правды въ нихъ меньше".

При такомъ положеніи вещей, очевидно, безполезно говорить о тѣхъ художественныхъ требованіяхъ, на которыхъ такъ настаивала предшествующая литература. Нѣкогда требовалось, по классическому примѣру, „часто обращать стиль"; Гоголь совѣтовалъ писателю нѣсколько разъ переписывать свое произведеніе; критики и беллетристы сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ считали нужнымъ „вынашивать" поэтическія произведенія, что не мѣшало, впрочемъ, посредственности оставаться посредственностью, а нерѣдко вносило въ произведенія большую искусственность и, слѣдовательно, неискренность. У нашего писателя въ условіяхъ тогдашней литературы не было къ тому ни времени, ни охоты. Впрочемъ, не однѣ внѣшнія условія литературы произвели эту складку произведеній г. Успенскаго: кто мѣшалъ ему продолжать „вынашивать" свои произведенія, какъ дѣлалъ это въ тѣ же годы Тургеневъ, подолгу работавшій надъ своими повѣстями и романами, какъ дѣлалъ это г. Гончаровъ, долгими годами обдумывавшій свои сочиненія, и проч. Но у г. Успенскаго случились два обстоятельства, которыя помѣшали ему предаться такому вынашиванію. Во-первыхъ, литературный трудъ былъ для него средствомъ существованія: ему нельзя было ждать годами того благопріятнаго времени, когда явится для него возможность безопасно провести свой трудъ сквозь внѣшнія препятствія, и заниматься тѣмъ временемъ красивою отдѣлкою деталей: отсюда необходимость, за отсутствіемъ другихъ подходящихъ изданій, отдавать свои, иной разъ немного демократическія, творенія въ столь невинныя изданія, какъ „Женскій Вѣстникъ", и при этомъ продѣлывать надъ этими твореніями тѣ операціи, послѣ которыхъ въ нихъ оказывалось „меньше правды", то-есть которыя, другими словами, ихъ искалѣчивали. Найдутся литературные моралисты, которые строго осудятъ писателя за пристрастіе къ „журнализму" и за это забвеніе „высокихъ требованій искусства"; чтобы соблюсти эти требованія, писателю, въ положеніи г. Успенскаго, оставалось бы, кажется, одно—покинуть на (неопредѣленное) время всякія помышленія о литературѣ, а для пріобрѣтенія средствъ къ существованію поступить на службу въ канцелярію, купеческую контору или что-нибудь подобное; но

моралисты забываютъ, что бываютъ временами такія настроенія, когда канцелярія, купеческія конторы и т. п. становятся нравственно невыносимы для людей, задавшихъ себѣ какіе-то общественные вопросы; этимъ людямъ кажется (и какой разумный и добросовѣстный человѣкъ скажетъ, что безъ основанія?), что работа въ „журнализмѣ", который обращается прямо къ общественнымъ массамъ, болѣе удовлетворитъ человѣка, преданнаго интересамъ этихъ массъ, чѣмъ прозябаніе (и, можетъ быть, пресмыкательство?) въ канцеляріяхъ, купеческихъ конторахъ и т. д. Здѣсь мы приходимъ ко второму условію, опредѣлившему дѣятельность г. Успенскаго. Разбуженная мысль, набирающаяся толпа живыхъ ὀбразовъ не оставляли ему другой дороги.

То время, въ которое началась дѣятельность г. Успенскаго, есть уже давно прошедшее время; для него наступаетъ исторія; многіе въ *наше* время начинаютъ даже находить, что то было время дурное, наполненное вредными заблужденіями, порождавшее несбыточныя иллюзіи и т. п. Но тѣмъ, кто переживалъ это время, думается (и правдивая исторія, безъ сомнѣнія, нѣкогда подтвердитъ это), что то время было одною изъ рѣдкихъ и благотворнѣйшихъ эпохъ въ исторіи нашего внутренняго быта, когда совершилась одна изъ величайшихъ во всей русской исторіи реформъ нашей народной жизни и когда рядомъ съ этимъ въ глубинѣ общественной мысли совершался, также рѣдко бывавшій въ нашей исторіи, актъ общественнаго сознанія, когда заговорила общественная *совѣсть*. Легко указывать теперь на тѣ ошибки и прорухи, какія случались въ тогдашней личной и общественной жизни, на тѣ крайности увлеченій, на то, что забывалась наличная дѣйствительность и т. п.; но что̀ раньше могло научить какому-нибудь политическому и общественному опыту, который предохранилъ бы отъ увлеченій и ошибокъ? Извѣстно, что предъидущая эпоха, совсѣмъ напротивъ, настойчиво и сурово, даже до жестокости, отстраняла общество отъ всякой мысли о его самыхъ коренныхъ интересахъ, нравственныхъ и реальныхъ, держала общество въ положеніи малолѣтняго, которому не слѣдуетъ „смѣть свое сужденіе имѣть"; эти нравственные и реальные интересы, къ счастію, не были, однако, убиты, но они питались неровно, урывками, вдали отъ дѣйствительности, и понятно, что именно это и готовило ту почву, на которой потомъ развились идеалистическія увлеченія и ошибки. Нынѣшнимъ молодымъ поколѣніямъ неизвѣстно и становится даже непонятно то необычайное возбужденіе, какое овладѣвало молодыми поколѣніями конца 50-хъ и начала 60-хъ годовъ: казалось, насту-

пала новая эра, съ которой должна была начаться совсѣмъ новая жизнь, когда уже не должны больше повториться прежнія бѣдствія и неправды, теперь открытыя и изобличенныя, что, наконецъ, вступаютъ въ жизнь новыя начала общественной правды и справедливости. Все это сообщило и литературѣ совершенно новый характеръ. Это былъ характеръ по преимуществу народный и народническій. Та прежняя литература, почти вчерашняя, которая въ прикрытыхъ образахъ, почти аллегоріяхъ, говорила о достоинствѣ народа и его человѣческомъ правѣ, становилась историческимъ прошлымъ: вопросъ былъ ясенъ; потребовалось осуществить его въ дѣйствительности въ томъ множествѣ отношеній, въ которыхъ существовала народная жизнь, и прежде всего изучить самый народъ безъ тѣхъ насильственныхъ умолчаній, какими рѣчь о немъ прежде наполнялась, изучить его и безъ тѣхъ прикрасъ, какія прежній писатель находилъ нужными, чтобы внушить къ нему участіе и уваженіе. Отсюда въ новой литературѣ тѣ черты, которыми она уже вскорѣ стала отдѣляться отъ прежней. Уже со временъ Гоголя наша литература вступила на путь реализма; въ свое время онъ испугалъ старыхъ романтиковъ, которые заклеймили его подъ названіемъ „натуральной школы"; теперь этотъ пріемъ получилъ такое развитіе, что начиналъ пугать самихъ реалистовъ сороковыхъ годовъ. Уже на первыхъ порахъ новой школы стали появляться изображенія народной жизни, столь мало польщенныя, что на нихъ не рискнулъ бы писатель прежняго поколѣнія. Съ другой стороны, писатели новой школы все больше настаиваютъ на томъ, что основнымъ интересомъ литературы долженъ стать именно народъ, та громадная масса, которая составляетъ основу „націи" и къ которой небольшая доля образованнаго общества, „интеллигенція", составляетъ только незначительный и часто даже вредный цѣлому привѣсокъ.

По поводу сочиненій г. Златовратскаго мы говорили о томъ, какъ возникшее теперь народничество отразилось на литературѣ въ повѣсти изъ народнаго быта и быта людей и классовъ, прикосновенныхъ къ народу. Новая повѣсть изображала народъ, съ одной стороны, въ ультра-реальныхъ чертахъ, а съ другой уже вскорѣ поставила тему о народѣ и не-народѣ, какъ мы указывали это въ сочиненіяхъ г. Златовратскаго. Въ первыхъ разсказахъ г. Успенскаго, разумѣется, еще трудно было опредѣлить ту особенную складку, какую приняли его произведенія въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи; но, сличая первые разсказы съ дальнѣйшими, можно было впослѣдствіи увидѣть, что эта особенная складка

была уже и съ самаго начала, и съ теченіемъ времени читатель неизмѣнно встрѣчалъ въ его разсказахъ эту особую манеру, какой не выработалось ни у кого другого въ народнической школѣ. Критики его произведеній не однажды задавали себѣ вопросъ о свойствахъ этой манеры и о „міровоззрѣніи“ писателя. Мы упоминали, какъ, наконецъ, художественная критика должна была помириться съ особыми пріемами писателя, мѣшавшаго поэзію и публицистическое разсужденіе, или отступиться отъ него. Его „міровоззрѣніе“ опять не разъ приводило въ недоумѣніе: какъ будто это былъ другъ народа, искавшій для него просвѣщенія и свободнаго развитія, но въ то же время онъ какъ будто желалъ для народа той консервативной неподвижности обычая, при которой развитіе становится невозможнымъ; вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, онъ постоянно обращался къ вопросу о тѣхъ препонахъ, которыя лежали на пути народной жизни и исходили всего чаще изъ высшихъ классовъ, не разумѣющихъ народа и не желающихъ придти къ нему на помощь съ чувствомъ простого, естественнаго человѣколюбія. Въ результатѣ получалось весьма сложное и не всегда ясное впечатлѣніе: Успенскаго могли считать своимъ и тѣ истинные друзья народа, которые считаютъ народное благо нераздѣльнымъ съ успѣхами просвѣщенія и съ развитіемъ учрежденій, и тѣ, которые, дѣля народъ и не-народъ, желали поставить народъ въ упоръ противъ „интеллигенціи“ и хотѣли бы только, чтобы народъ предоставленъ былъ самому себѣ, потому что его „душа“ и его разумъ съумѣютъ найти то, что̀ именно нужно для его благополучія и что̀ отвѣчало бы народнымъ свойствамъ; наконецъ, кажется, могли бы найти у г. Успенскаго кое-что сочувственное и тѣ, кто придерживался чисто консервативныхъ взглядовъ, — нашему писателю случалось разсказывать свои наблюденія, что крѣпостная школа способствовала иногда благоустройству крестьянскаго быта... Любопытно, однако, что два лагеря, кажется, неизмѣнно относились къ дѣятельности г. Успенскаго (и вообще писателей-народниковъ) съ крайнею враждой: это былъ лагерь „Моск. Вѣдомостей“ и „Р. Вѣстника“, гдѣ этотъ писатель предавался анаѳемѣ, какъ принадлежащій къ литературѣ кабака и харчевни, и лагерь славянофильства въ „Днѣ“ и „Руси“. Вникнувъ въ характеръ сочиненій г. Успенскаго, мы увидимъ и причины упомянутыхъ разнорѣчій, и причины вражды къ нему двухъ названныхъ лагерей.

Произведенія г. Успенскаго не представляютъ вообще какой-либо опредѣленной системы взглядовъ, какого-либо „міровоззрѣнія“ съ точными подробностями; какъ увидимъ, онъ и не стремился

къ этому; это не было его дѣло. Вообще, это весьма характеристическій представитель тѣхъ стремленій, какія выработывались въ нашемъ обществѣ въ концѣ пятидесятыхъ и началѣ шестидесятыхъ годовъ. Тѣ довѣрчивыя мечты, какія возникали тогда, жили очень недолго; уже вскорѣ онѣ были разнесены мрачными событіями, — осталось одно глубокое участіе къ судьбѣ народа, которое выростало, кажется, тѣмъ больше, чѣмъ сильнѣе становилась несомнѣнно наступившая реакція. И г. Успенскій былъ въ числѣ тѣхъ писателей, на которыхъ въ особенности отразилось это настроеніе. Если въ первое время у него, по воспитанію на прежней литературной школѣ, являлись попытки создавать нѣчто цѣльное, съ художественными намѣреніями, то чѣмъ дальше, тѣмъ онъ больше отдается дѣятельности чисто субъективнаго свойства. Прежде чѣмъ слагался у него художественный планъ, имъ овладѣвало раздумье: наблюдаемый типъ, видѣнная и изученная картина влекли его не столько къ художественному воспроизведенію, сколько наводили на размышленіе о положеніи вещей. Его наблюденія стали, наконецъ, направляться исключительно на такіе предметы, въ которыхъ сказывалось отраженіе той или другой стороны общественныхъ отношеній или бытового вопроса: другими словами, онъ все видѣлъ только съ этой одной точки зрѣнія, въ которой заключалось все существо его мысли. Къ нему стала совсѣмъ неприложима обыкновенная мѣрка художественныхъ требованій. Если въ прежнее время онъ задумывалъ иногда нѣчто похожее на повѣсть съ ея обычными принадлежностями, или болѣе или менѣе законченныя бытовыя картины, то подъ-конецъ онъ исключительно ограничивается одними „очерками“, и если изъ нихъ собирается нѣчто цѣльное, какъ „Власть Земли“, то это цѣльное составляется почти только механически, изъ разсказовъ и замѣтокъ, имѣющихъ одну тему, но не представляющихъ строго органическаго развитія. Самые разсказы и очерки становятся какъ бы только иллюстраціями къ чисто публицистическимъ соображеніямъ, которыми постоянно сопровождается его наблюденіе народной жизни. Наконецъ, его „очерки“ принимаютъ просто форму дневника.

Такимъ образомъ, въ его произведеніяхъ образовался, наконецъ, совершенно особый литературный родъ, нѣчто смѣшанное, заимствующее свой интересъ и отъ публицистическихъ размышленій, и отъ художественныхъ картинъ. Не знаемъ, какъ относится къ сочиненіямъ г. Успенскаго обыкновенный читатель современной беллетристики; думаемъ, что многимъ изъ читателей онъ покажется, пожалуй, немного скученъ, вслѣдствіе той примѣси общихъ

разсужденій, которыя требуютъ въ самомъ читателѣ присутствія подобныхъ интересовъ; но тѣмъ, у кого уже пробудились эти интересы, чтеніе Успенскаго въ высокой степени любопытно и поучительно. Не скажемъ, чтобы теоретическая постановка соціальныхъ вопросовъ была всегда правильна и послѣдовательна,—напротивъ, не разъ она можетъ не удовлетворить нѣсколько требовательнаго читателя. Иногда вопросы касаются такихъ вещей, гдѣ должна быть прямо примѣнена наука, напримѣръ политическая экономія, статистика, и т. п., и гдѣ не помогутъ однѣ благожелательныя теоретическія разсужденія; тѣмъ не менѣе даже тамъ, гдѣ точка зрѣнія ошибочна, разсказъ Успенскаго бываетъ очень привлекателенъ. Источникъ этой привлекательности въ томъ мягкомъ, любящемъ отношеніи къ народу, которое влечетъ писателя къ изученію его жизни и которое постоянно наводитъ его на раздумье о положеніи этого народа. Можно сказать, что эта мысль, это настроеніе никогда не покидаютъ писателя, и отсюда понятно, чѣмъ отличаются его произведенія отъ всякаго иного художественнаго „творчества“: если „чистое искусство“, по новѣйшимъ о немъ толкамъ, требуетъ абсолютнаго удаленія отъ какой-либо тенденціи и ищетъ, такъ сказать, кастратскаго поклоненія красотѣ и какого-то отвлеченнаго отъ жизни изображенія этой жизни, то г. Успенскій представляетъ этому совершенную противоположность. Онъ всегда тенденціозенъ; онъ не можетъ быть хладнокровнымъ наблюдателемъ жизненныхъ явленій; каждый встрѣченный имъ типъ, каждое наблюдаемое бытовое явленіе тотчасъ приводится имъ къ цѣлому народному вопросу; его симпатіи и антипатіи всегда ясны, и тому, кто уже знакомъ съ его произведеніями, при каждомъ новомъ очеркѣ и разсказѣ извѣстны напередъ. Партизаны чистаго искусства должны осудить его безповоротно; но эта манера, такъ нарушающая правила благоприличной беллетристики, нисколько не мѣшала успѣху сочиненій г. Успенскаго; извѣстно, напротивъ, что онъ принадлежитъ теперь къ числу наиболѣе любимыхъ и распространенныхъ писателей нашей литературы. Кромѣ этого задушевнаго отношенія къ народу, причина его успѣха заключается еще въ другомъ его качествѣ, безъ котораго и первое было бы, впрочемъ, для него недостаточно. Дѣло въ томъ, что на помощь раздумью писателя о насущныхъ матеріальныхъ и нравственныхъ вопросахъ народной жизни является замѣчательное, скажемъ даже, рѣдкое умѣнье передать черту народной жизни въ художественномъ образѣ. Очень часто авторъ начинаетъ свой „очеркъ“ своими общими размышленіями о народныхъ дѣлахъ, съ своими личными надеж-

дами или сѣтованіями; затѣмъ ему понадобится примѣръ, и передъ нами является тотчасъ живая, прекрасно схваченная картина изъ народной жизни,—но она не ведется далеко, она нужна только какъ иллюстрація. Или же, если писатель прямо останавливается на извѣстномъ явленіи народной жизни и хочетъ нарисовать его читателю, рядомъ мы встрѣтимъ опять неизбѣжный комментарій. Такимъ образомъ, работа художественная постоянно переплетена съ личными вмѣшательствами автора; это своего рода „лирическія мѣста", какъ у Гоголя; но если у самого Гоголя ихъ считали излишествомъ (хотя они были очень рѣдки), то сочиненія г. Успенскаго пересыпаны ими сплошь. Нарушеніе правилъ искусства непозволительное.

Какъ мы замѣтили, „міровоззрѣніе" г. Успенскаго не однажды вызывало критическія разысканія. Въ самомъ дѣлѣ, если г. Успенскій принадлежитъ очевидно къ писателямъ народничества, если вообще его интересы сосредоточиваются на изученіи и изображеніи народной жизни, то въ чемъ его исходный пунктъ, съ какимъ критеріемъ приступаетъ онъ къ постановкѣ вопроса? Говоря о сочиненіяхъ г. Златовратскаго, мы видѣли, что тамъ этотъ исходный пунктъ болѣе или менѣе ясенъ. Симпатіи г. Златовратскаго клонятся, очевидно, къ „Большому человѣку" съ одной стороны, и, съ другой, состоятъ въ противоположеніи народа и не-народа. Общественный міръ построенъ неправильно; истина заключена въ народѣ; чтобы поправить дѣло, мы, съ одной стороны, должны изучить „народную душу", а съ другой—заняться личнымъ аскетическимъ усовершенствованіемъ по рецепту „Большого человѣка". Дѣйствительность не совсѣмъ вяжется съ этими наставленіями,—отыскиванье народной души и аскетическое само-усовершенствованіе могутъ совершаться очень долгое время, нисколько не затрогивая холодной дѣйствительности, которая не будетъ обращать на нихъ вниманія, если, наконецъ, не приметъ противъ нихъ „мѣръ",— и писатель, кажется, такъ и остается въ недоумѣніи о томъ, какъ съ этимъ быть... Г. Успенскому постоянно приходилось встрѣчаться если не съ этими, то съ подобными противорѣчіями бытового народнаго идеала съ дѣйствительностью; онъ даже постоянно занятъ имъ, его манитъ картина свободнаго, разумнаго земледѣльческаго труда, и нѣкоторымъ изъ его критиковъ и почитателей казалось, что онъ стоитъ на той же, болѣе или менѣе мистической, точкѣ зрѣнія искателей „народной правды", „народной души" и т. п., въ ожиданіи, что личнымъ усовершенствованіемъ въ духѣ этой правды и будетъ достигнутъ залогъ улучшенія общественнаго. Нѣкоторая неопредѣленность въ теоре-

тическихъ построеніяхъ г. Успенскаго и въ изображеніи „положительныхъ“ народныхъ характеровъ могла дать поводъ къ мысли о подобномъ, нѣсколько гадательномъ, элементѣ въ міровоззрѣніи г. Успенскаго; но поставить этотъ элементъ въ основѣ его взглядовъ на общественную и народную дѣйствительность было бы, кажется намъ, большою ошибкою. Въ большинствѣ случаевъ его взгляды отличаются, напротивъ, достаточной ясностью и практическою оцѣнкой отношеній. Народъ и не-народъ отличаются у него не въ принципѣ, какъ добро и зло, истина и ложь, а какъ два общественныхъ слоя, изъ которыхъ одинъ зависитъ отъ другого, которые не совсѣмъ понимаютъ другъ друга вслѣдствіе историческаго прошлаго, но которые очень могли бы придти ко взаимному пониманію, и не-народъ, питающійся народомъ, могъ бы очень сблизиться съ послѣднимъ и быть ему чрезвычайно полезенъ при большемъ къ нему вниманіи, то-есть, именно при большемъ развитіи просвѣщенія и при улучшеніи учрежденій, одинаково правящихъ народомъ и не-народомъ. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи взгляды г. Успенскаго едва ли отличаются отъ взглядовъ другихъ приверженцевъ возможно широкаго просвѣщенія и общественной самодѣятельности,—приверженцевъ, вовсе не склонныхъ къ мистическому народничеству. Отъ этого послѣдняго г. Успенскій даже рѣзко отдѣляется въ иныхъ случаяхъ, потому что не скрываетъ отъ себя извѣстныхъ золъ народной жизни и не дѣлитъ иныхъ полу-мистическихъ идеаловъ новѣйшаго народолюбія. Вѣроятно, этою стороной своихъ взглядовъ онъ особенно и отталкивалъ отъ себя тотъ отдѣлъ народолюбія, который представляется славянофильствомъ. Понятно, далѣе, что достаточно было ему быть горячимъ защитникомъ народнаго, мужицкаго интереса, чтобы привлечь на себя вражду и брань со стороны извѣстныхъ „патріотовъ своего отечества“.

Чтобы указать, какъ мало, въ сущности, нашъ писатель увлекался мистическими теоріями народности, приведемъ на первый разъ выдержку изъ того, что̀ писалъ онъ по поводу рѣчи Достоевскаго на Пушкинскомъ праздникѣ. Знаменитая рѣчь сначала произвела на г. Успенскаго впечатлѣніе: *слушая* рѣчь, онъ не успѣлъ достаточно вникнуть во всѣ подробности произносимаго; однѣ подробности, болѣе сочувственныя, врѣзались въ память, другія ускользнули, и общій выводъ, подтвержденный восторгомъ слушателей, казался ему таковъ:

„Какъ было не привѣтствовать г. Достоевскаго, который въ первый разъ, въ теченіе почти трехъ десятковъ лѣтъ, съ глубочайшею искренностью, рѣшился сказать всѣмъ изстрадавшимся

за эти трудные годы: ваше неумѣнье успокоиться въ личномъ счастьѣ, ваше горе и тоска о несчастьѣ другихъ и, слѣдовательно, ваша работа, какъ бы несовершенна она ни была, на пользу всеобщаго благополучія, есть предопредѣленная всей вашей природой задача, задача, лежащая въ сокровеннѣйшихъ свойствахъ вашей національности.

„Это громко, горячо сказанное слово могло и должно было потрясти многихъ и многихъ“.

Но „на другой день“ оказалось, что полный текстъ рѣчи не совсѣмъ отвѣтилъ первому впечатлѣнію. Правда, что въ печатномъ текстѣ были мѣста, отвѣчавшія этому первому благопріятному впечатлѣнію; но были и другія, производившія, уже въ чтеніи, впечатлѣніе совсѣмъ иного рода, и, между прочимъ, то „всечеловѣческое“, о которомъ говорилъ Достоевскій обратилось, по выраженію г. Успенскаго, во „всезаячье“.

Г. Успенскій въ слышанной рѣчи съ сочувствіемъ встрѣтилъ объясненія Достоевскаго, что русскій скиталецъ (какъ Пушкинскій Алеко или Онѣгинъ) былъ именно историческій русскій страдалецъ, былъ тѣсно связанъ съ народомъ, что въ немъ все исторически неизбѣжно и законно. Но затѣмъ оказалось нѣчто другое.

„Мы нашли (въ печатной рѣчи), что хотя въ ней и есть слово въ слово то самое, что̀ передано нами, но что, кромѣ этого, въ ней есть еще и нѣчто такое, что̀ превращаетъ ее въ загадку, которую нѣтъ охоты разгадывать, и которая сводитъ весь смыслъ рѣчи почти на нуль. Дѣло въ томъ, что г. Достоевскій къ всеевропейскому, всечеловѣческому смыслу русскаго скитальчества ухитрился присовокупить великое множество соображеній, уже не всечеловѣческаго, а всезаячьяго свойства. Эти неподходящія черты онъ разбросалъ по всей рѣчи, гдѣ по словечку, гдѣ цѣлыми фразами, и всегда вблизи съ разговорами о всечеловѣчности.

„Я радуюсь не тому всемірному журавлю, котораго Достоевскій сулитъ русскому человѣку въ будущемъ, а тому только, что нѣкоторыя явленія русской жизни начинаютъ выясняться въ человѣческомъ смыслѣ, объясняются „по человѣчеству“, не съ злорадствомъ, какъ было до сихъ поръ, а съ нѣкоторою внимательностью, чего до сихъ поръ не было“.

„Но у г. Достоевскаго, оказывается, былъ умыселъ другой. Ужъ и въ тѣхъ выпискахъ изъ его рѣчи, которыя приведены, читатель можетъ видѣть мѣстами нѣчто всезаячье. Тамъ воткнуто, какъ бы нечаянно, слово „можетъ быть“, тамъ поставлено, то-

же какъ бы случайно, рядомъ „постоянно“ и „надолго“, тамъ ввернуты слова „фантастическій“ и *дѣланіе*, то-есть, выдумка, хотя немедленно же и заглушены увѣреніемъ совершенно противоположнаго свойства: необходимостью, которая не даетъ возможности продешевить, и т. д. Такіе заячьи прыжки даютъ автору возможность превратить, мало-по-малу, все свое „фантастическое дѣланіе“ въ самую ординарную проповѣдь полнѣйшаго мертвѣнія. Помаленьку да полегоньку, съ кочки на кочку, прыгъ да прыгъ, всезаяцъ, мало-по-малу, допрыгиваетъ до непроходимой дебри, въ которой не видать уже и его заячьяго хвоста. Тутъ оказалось, какъ-то незамѣтно для читателя, что Алеко, который, какъ извѣстно, типъ вполнѣ народный, изгоняется народомъ именно потому, что ненароденъ. Точно также народный типъ скитальца. Онѣгинъ, получаетъ отставку отъ Татьяны тоже потому, что ненароденъ. Какъ-то оказывается, что всѣ эти скитальчески-человѣческія народныя черты—черты отрицательныя. Еще прыжокъ, и „всечеловѣкъ“ превращается „въ былинку, носимую вѣтромъ“, въ человѣка-фантазера *безъ почвы*... „Смирись! вопіетъ грозный гласъ: — счастіе не за морями!“ Что же это такое? Что же остается отъ всемірнаго журавля? Остается Татьяна, ключъ и разгадка всего этого „фантастическаго дѣланія“. Татьяна, какъ оказывается, и есть то самое пророчество, изъ-за котораго весь сыръ-боръ загорѣлся. Она потому пророчество, что, прогнавши отъ себя всечеловѣка, потому что онъ безъ почвы (хотя ему и нельзя взять дешевле), предаетъ себя на съѣденіе старцу-генералу (ибо не можетъ основать личнаго счастія на несчастіи другого), хотя въ то же время любитъ скитальца. Отлично: она жертвуетъ собою. Но увы, тутъ же оказывается, что жертва эта недобровольная: я другому „отдана“! Нанялся—продался. Оказывается, что мать насильно выдала ее за старца, и старецъ, который женился на молоденькой, не желавшей идти за него замужъ (этого старецъ не могъ не знать), именуется въ той же рѣчи „честнымъ человѣкомъ“. Неизвѣстно, что представляетъ собою мать. Вѣроятно, тоже что-нибудь всемірное. Итакъ, вотъ къ какой проповѣди тупого, подневольнаго, грубаго жертвоприношенія привело автора обиліе заячьихъ идей. Нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что дѣвицы, подносившія г. Достоевскому вѣнокъ, подносили ему его не въ благодарность за совѣтъ посвящать свою жизнь ухаживанію за старыми хрычами, насильно навязанными въ мужья; не за матерей, выдающихъ дочерей замужъ насильно, дабы онѣ въ будущемъ своими страданіями помогли арійскому племени разогнать тоску. Очевидно, что тутъ

кто-нибудь ошибся. Но въ неправильномъ толкованіи рѣчи виновенъ не кто иной, какъ самъ Ѳ. М. Достоевскій, не высказавшій своей мысли въ болѣе простой формѣ" (т. III, стр. 350—351).

Что г. Успенскій дѣйствительно не могъ восхищаться мистической „всечеловѣчностью" русскаго народа, не увлекался исканіемъ таинственной народной души, открытіе которой стало бы панацеей нашихъ общественныхъ недуговъ, можно видѣть изъ другихъ мѣстъ его сочиненій, между прочимъ, изъ его разсужденій о томъ же Достоевскомъ, по поводу его „Дневника". Возвратившись еще разъ къ самой рѣчи, г. Успенскій вѣрно указалъ, что когда смутныя впечатлѣнія торжества стали забываться и поклонники Достоевскаго хотѣли отдать себѣ болѣе точный отчетъ въ сущности его идей, въ результатѣ получилось большое недоумѣніе: что̀ онъ собственно хотѣлъ сказать? „И чѣмъ болѣе обыватель старался проникнуть въ „самую суть" ученія Ѳ. М., тѣмъ болѣе онъ терялся и недоумѣвалъ. Желая силою своего слова покорить всѣхъ обывателей и быть привѣтствованнымъ „всѣми", г. Достоевскій соединилъ въ своей рѣчи вещи совершенно несоединимыя". И чтобы это стало читателю нагляднѣе, г. Успенскій предлагаетъ ему представить себѣ, что *всѣ* тѣ, на кого рѣчь Достоевскаго произвела сильное впечатлѣніе, пришли къ нему на квартиру благодарить его и выразить сочувствіе.

„Является мужъ Татьяны благодарить за то, что г. Достоевскій назвалъ его честнымъ человѣкомъ, несмотря на то, что его и самого иной разъ мучилъ вопросъ: „Ужъ не загубилъ ли, молъ, я, старый хрѣнъ, чужую жизнь?" Честный человѣкъ радъ ободряющему слову; онъ радъ, что почтенный писатѣль заступился за него; онъ хоть и старъ, но онъ любилъ Татьяну „какъ отецъ", лелѣялъ ее какъ зѣницу ока, и, правду сказать, Татьяна цѣнила его внимательность и спокойную, но прочную любовь, не рвалась, какъ нынѣшнія, не похожія на женщинъ, стриженыя барышни, въ какіе-то курсы, не бѣгала съ книжкой. Генералъ благодаритъ г. Достоевскаго за то, что онъ вывелъ и возвеличилъ этотъ истинный образъ женщины, матери семейства, вѣрной долгу, слушающейся родителей. Въ заключеніе, генералъ похвалилъ тещу, m-me Ларину, за то, что она какъ „истинная" мать, съумѣла во̀-время обуздать Татьяну, не побоялась ея слезъ, выбила изъ головы дурь и фантазіи о какомъ-то хлыщѣ Онѣгинѣ, и своею твердостью достигла того, что изъ Татьяны вышла женщина, а не какая-нибудь нынѣшняя курсистка, не какая-нибудь мечтающая о какихъ-то общественныхъ дѣлахъ, въ родѣ несчастной

племянницы генерала, Маши Булатовой, которой, вѣроятно, предстоитъ гибель".

Но генералъ не успѣлъ еще выйти, какъ явилась сама Маша Булатова:

„Маша Булатова, въ жаркихъ выраженіяхъ, торопливо разсказываетъ г. Достоевскому свою исторію, какъ бабушка m-me Ларина, этотъ самый генералъ и частью уже состарившаяся Татьяна, ея родная тетка, во что бы то ни стало хотятъ ее упечь замужъ за очень богатаго человѣка, что она знаетъ, какъ пуста эта праздная жизнь, что она не эгоистка, что она хочетъ быть полезной другимъ, что она хочетъ ѣсть трудовой хлѣбъ, учиться, знать, учить другихъ. Она въ сильномъ волненіи разсказываетъ Ѳ. М., что генералъ и m-me Ларина, видя ея участіе къ сельскому учителю и боясь, чтобы изъ этого не вышло „амуровъ", натворили Богъ знаетъ чего. Распустили про учителя такіе слухи, что того теперь и слѣдъ простылъ. Что даже на курсы попасть ей стоило страшныхъ усилій, на каждомъ шагу ей дѣлали непріятности. Доводили о чемъ-то до свѣденія начальства, вслѣдствіе чего ей не выдано было свидѣтельства о благонадежности. Но теперь, послѣ рѣчи Ѳ. М., ей все нипочемъ. Она все забыла. Она вся хочетъ отдаться служенію на родной нивѣ. Ей ничего не нужно, ни жениховъ, ни каретъ, ни богатствъ, она уйдетъ въ чемъ есть и вся посвятитъ себя служенію на пользу ближнему"...

При этой рѣчи, „дядя, весь красный отъ гнѣва, недоумѣвая, глядѣлъ на г. Достоевскаго, который, чувствуя свое неловкое положеніе, какъ-то загадочно улыбался, глядя въ землю".

Въ это время влетаетъ новый посѣтитель. Это былъ соціалистъ: онъ едва не сшибъ съ ногъ генерала, стремительно бросился къ Достоевскому, какъ бы желая задушить его въ своихъ объятіяхъ. Генералъ ушелъ не простясь, но тотчасъ же явился новый гость, а именно Иванъ Аксаковъ. Увидѣвъ, что Достоевскій обнимается съ какою-то подозрительною личностью, Аксаковъ сталъ въ сторонѣ и слушалъ:

„Отлично, Ѳ. М., вы утерли носъ этимъ славянофиламъ! Довольно они разводили на бобахъ на счетъ народной подоплеки! Я думаю, Аксаковъ теперь почесываетъ въ затылкѣ, какъ вы хватили его всеевропейскимъ-то человѣкомъ! Именно, правда ваша, русскому человѣку придется быть пустымъ пузыремъ, если, какъ вы говорите, всечеловѣческая тоска не заполонитъ его душу. Слава вамъ, что вы такъ смѣло, искренно связали идеалы русскаго человѣка со скорбію о всечеловѣческомъ счастіи!" и т. д.

Соціалистъ, наконецъ, ушелъ.

„Этотъ уродъ какими судьбами очутился здѣсь?—въ удивленіи спросилъ И. С.—И, что-то я не понимаю, кажется, съ благодарностью явился? Или мало ему той оплеухи, которую вы закатили всѣмъ этимъ общечеловѣкамъ? Такъ подогнуть башку пустозвонную, отъ пустоты и вмѣстѣ гордости лѣзущую вверхъ, какъ подогнули вы, почтеннѣйшій Ѳ. М., подогнуть подъ яремъ народнаго плуга, подъ соху мужицкую, никто доселѣ съ такимъ блистательнымъ успѣхомъ еще не дѣлывалъ!“ и т. д.

„Положеніе Ѳ. М. во время этихъ визитовъ было весьма щекотливое. Особенно же ему было неловко, когда къ нему явилась Татьяна. Она благодарила его не за себя.

„— Что̀ прошло, того не воротишь!—сказала она.

„Она была рада, что Ѳ. М. единственный человѣкъ, который хорошо отозвался объ Онѣгинѣ.

„— Вѣдь, право, онъ былъ добрый человѣкъ, но вы вспомните, какое тогда было время! Куда было дѣвать и сердце, и умъ? Они потомъ съ Чацкимъ, оба, бѣдные, какъ мучились въ этомъ ужасномъ обществѣ! Я не жалѣю о прошломъ—что̀ жалѣть о томъ, что̀ ушло навсегда!—но вѣдь вспомните положеніе тогдашней женщины, дѣвушки. Мы ничего не знали, жили какъ велятъ... Мы были забиты... Разумѣется, оставалось терпѣть... Повѣрите ли, я часто завидую моей племянницѣ! Она будетъ вольная птица... Сама себѣ голова. А мы? Мы даже и любить-то не смѣли, кого хотѣли! И думать не смѣли... А теперь! Хоть не браните, и за то вамъ спасибо, Ѳ. М.!“

„Татьяна приложила къ глазамъ платокъ.

„Я очень сожалѣю, что не имѣю времени перебрать рѣшительно всѣхъ посѣтителей, благодарившихъ Достоевскаго, мнѣнія которыхъ, *по частямъ*, исчерпываютъ всю знаменитую рѣчь“ (т. III, стр. 351—355).

Въ шутливой формѣ здѣсь очень вѣрно указана та путаница противорѣчій, какою дѣйствительно отличалась рѣчь Достоевскаго. Приверженцы его философіи въ самомъ дѣлѣ должны были выбирать изъ его рѣчи, какъ и изъ другихъ его публицистическихъ писаній, только отдѣльные эпизоды, отстраняя другіе, чтобы сохранить какое-нибудь подобіе послѣдовательности. Но г. Успенскій ни мало не увлекался и такою подобранной философіей. Его отталкивалъ и этотъ мистическій тонъ, и произвольныя противопоставленія Россіи и Европы, и нескончаемое самовосхваленіе и, наконецъ, прямая фальшивость выводовъ.

Что рѣчь Достоевскаго была понята такимъ страннымъ про-

тиворѣчивымъ образомъ, причину этого г. Успенскій справедливо видѣлъ въ томъ, что само общество было глубоко затронуто народнымъ вопросомъ и съ жаднымъ нетерпѣніемъ бросалось на все, гдѣ думало найти рѣшеніе этого вопроса. Слѣдующія слова нашего писателя по этому поводу указываютъ, между прочимъ, тотъ пунктъ, на которомъ вращаются его собственныя исканія:

„Народный вопросъ самъ собой сталъ передъ всѣми; рѣшеніе его не можетъ не волновать всякаго, и буквально всякій думаетъ о немъ по своему. Именно неизбѣжность, обязательность, неминучесть мысли объ этомъ вопросѣ, настоятельность опредѣленія „народнаго дѣла" дало послѣднему двадцатипятилѣтію ту, а не другую физіономію, и если эта физіономія не всегда и не всѣмъ приходилась по сердцу, то единственно потому, что „народное дѣло" не выяснялось во всей полнотѣ и безпристрастіи, къ которому обязываетъ его серьезность и значеніе. Все въ потьмахъ, все ощупью, все въ безпомощномъ невѣденіи. Предсказаній, шарадъ, ребусовъ насчетъ великаго будущаго, ходячихъ фразъ, что „этого у насъ нѣтъ", что мы такіе-сякіе-сухіе и немазаные (на Пушкинскомъ праздникѣ одинъ ораторъ сказалъ: „у насъ нѣтъ сословій!")—сколько угодно, а настоящаго выясненія задачъ народнаго дѣла,—задачъ, необходимыхъ для всякаго живущаго на Руси, потому что нельзя, невозможно цѣлымъ поколѣніямъ жить о единомъ хлѣбѣ—нѣтъ! Теперь вотъ, черезъ двадцать-пять весьма поучительныхъ лѣтъ, намъ говорятъ: „поди, молъ, потрудись на какой-то родной нивѣ!" А гдѣ она? что она?—неизвѣстно. Да еще со смиреніемъ! Не только нѣтъ мало-мальски правдиваго, безпристрастнаго указанія на самое дѣло, но даже и положеніе-то самой нивы, на которую приглашаютъ потрудиться со смиреніемъ, какъ на грѣхъ, ни единымъ словомъ не уясняется".

Въ примѣръ ходячихъ фразъ, произносимыхъ обыкновенно съ великою самонадѣянностью и, однако, ничего не означающихъ, г. Успенскій приводитъ разсужденіе Достоевскаго въ „Дневникѣ Писателя" (1877, № 2). Тамъ рядомъ поставлены двѣ статьи: одна называлась: „Злоба дня въ Европѣ", другая рядомъ: „Русское рѣшеніе вопроса"; параллель могла бы быть любопытна, еслибы была проведена правильно, но этого-то и нѣтъ. „Покуда дѣло идетъ о злобѣ дня въ Европѣ, авторъ вполнѣ послѣдователенъ. Прежде всего онъ изображаетъ происхожденіе даннаго положенія вещей и, на основаніи этого положенія, выводитъ заключеніе относительно того способа, которымъ можетъ быть рѣшенъ, или безъ котораго рѣшенъ не можетъ быть, роковой, проклятый вопросъ. Но какъ только дѣло касается Россіи, никакого поло-

женія вещей нѣтъ, а прямо, съ первой строки, начинаются ни на чемъ не основанные прорицанія, указанія, ребусы, шарады". Говоря объ Европѣ, Достоевскій, какъ слѣдуетъ, вспоминаетъ о феодализмѣ, объ усиленіи буржуазіи, о новомъ движеніи рабочаго класса, однимъ словомъ, дѣло изображается въ ясныхъ, вразумительныхъ чертахъ: ясно историческое положеніе вещей и смыслъ современной борьбы.

„Но какъ только дѣло касается Россіи,—замѣчаетъ г. Успенскій,— съ первой же строки начинается отвлеченная (хотя и очень искусная) проповѣдь о самосовершенствованіи. Ни о положеніи вещей въ данную минуту, ни о прошломъ, изъ котораго оно вышло—нѣтъ ни одного слова. На каждомъ шагу задаешь себѣ вопросы: какую такую злобу дня разрѣшу я, если, подобно Власу, буду съ открытымъ воротомъ и въ армякѣ, собирать на построеніе храма Божія? Если ту же, какая въ Европѣ, то почему же тамъ дѣло должно кончиться дракой, а не Власомъ? Если другую какую-нибудь, русскую злобу, особенную, то какую именно? Еслибы г. Достоевскій былъ послѣдователенъ, то, параллельно вышеприведенному изображенію положенія вещей, долженъ бы былъ представить такое же и относительно Россіи. Въ Европѣ, —говоритъ онъ,—были рыцари..., а у насъ были или не были? если не рыцари, то хоть простые грабители, откупа, напримѣръ, которые опаивали народъ дурманомъ, организмъ, физическое его здоровье разстраивавшіе? Забирались не только въ карманъ, а въ самую кровь. Въ Европѣ вотъ,—говоритъ г. Достоевскій,—буржуа не даетъ пролетарію жить на свѣтѣ... А у насъ есть ли что-нибудь въ этомъ родѣ? Для кого устроены банки всевозможныхъ родовъ и видовъ, кто играетъ на биржѣ, съѣдаетъ милліоны гарантій и субсидій? И достаточно ли въ такихъ дѣлахъ Власа, собирающаго на построеніе храма Божія? Рѣшительно нельзя понять, почему на Руси люди будутъ только самосовершенствоваться? Единственное объясненіе этому, кажется, состоитъ въ томъ, что люди эти вообще ужасно развращены, испорчены. И опять неизвѣстно, кто ихъ испортилъ, отчего они развратились и отчего именно они-то и суть провозвѣстники христіанства. Не опредѣляя „положенія" вещей, не объясняя его, рѣшительно невозможно давать совѣтовъ о томъ, что̀ нужно дѣлать, невозможно предсказывать, прорицать, учить и настаивать, не рискуя впасть въ противорѣчіе и свести самую горячую проповѣдь на ничто. И такихъ противорѣчій можно найти у г. Достоевскаго не мало. Въ рѣчи онъ подтруниваетъ надъ тѣмъ, что до сихъ поръ интеллигентный человѣкъ все какъ будто хочетъ поднять народъ до себя, а въ „Дневникѣ" прямо

совѣтуетъ „поднимать"... Въ томъ же дневникѣ говоритъ: „раздай имѣніе", а на слѣдующемъ столбцѣ говоритъ, что „можно и не раздавать" (стр. 357—360).

По обыкновенію, г. Успенскій объясняетъ внутреннюю пустоту этихъ проповѣдей и прорицаній нагляднымъ примѣромъ. Нѣкто, чувствительный человѣкъ, подавленный массою человѣческихъ страданій, забываетъ о своихъ мелкихъ страданіяхъ и рѣшается христіански послужить человѣчеству. „Онъ чувствуетъ, что надо „смирить" себя, покорить себя работѣ на родной нивѣ, послужить народному дѣлу". Однажды поразился онъ, прочитавъ въ газетахъ дѣло, разбиравшееся у мирового судьи, о побояхъ и увѣчьяхъ, нанесенныхъ сапожнымъ мастеромъ ученику, десятилѣтнему мальчику; на судѣ оказалось, что мастеръ колотитъ своихъ учениковъ не на животъ, а на смерть. Чувствительный человѣкъ разыскалъ мальчугана, нашелъ еще такихъ же и завелъ свою мастерскую, для чего пригласилъ взрослаго рабочаго, и старался всѣмъ имъ объяснить свои христіанскія и народныя мысли. Но дѣло вышло несообразное. Для своей мастерской онъ остался „хозяиномъ" (слово ему обидное, потому что онъ такой же человѣкъ, какъ они, члены мастерской), и противъ него устроивается, наконецъ, нѣчто непріязненное.

„Положимъ, что у насъ нѣтъ ни буржуа, которые не даютъ жить пролетарію, „нѣтъ даже сословій", нѣтъ ничего въ западно-европейскомъ, не-христіански враждебномъ родѣ, но есть двое хозяевъ сапожниковъ, которые недовольны, и очень основательно недовольны тѣмъ, что отъ нихъ сбѣжали мальчики, что это дурной примѣръ; есть, кромѣ того, матери и отцы, не понимающіе и не могущіе понять, почему это баринъ затесался къ сапожникамъ, что̀ ему нужно, и непремѣнно думающіе, что тутъ что-нибудь не такъ"... Даже мальчуганы начинаютъ полагать, что тутъ не безъ подвоха. Начинаются непріятности. Чувствительный человѣкъ идетъ къ Достоевскому „посовѣтоваться"—закрывать ему мастерскую или нѣтъ.

„Что̀ отвѣтитъ ему Ѳ. М.,—размышляетъ г. Успенскій.— Неужели скажетъ:

„— Смирись, гордый человѣкъ!

„Но на это впечатлительный человѣкъ можетъ возразить:

„— Да я и такъ ужъ смирился. Мнѣ лично ничего не надо, я хочу только хоть этимъ пятерымъ, шестерымъ мальчишкамъ быть полезенъ. Неужели же я долженъ бросить ихъ на произволъ судьбы? Вѣдь ихъ пуще прежняго начнутъ колотить колодкой по головѣ? Мнѣ кажется, что я и по-христіански не имѣю

права отступать. Я долженъ идти до конца. Пусть дѣлаютъ, что хотятъ, я готовъ!

„— Смирись, праздный человѣкъ! Покори себя себѣ, усмири себя въ себѣ. Не *внѣ тебя* правда, не въ сапожной твоей мастерской, а *въ тебѣ самомъ найди себя*, самъ собой, въ себѣ!

„— Стало быть, бросать посовѣтуете?

„И даже на этотъ вопросъ нѣтъ категорическаго отвѣта; не слушая и не останавливаясь, Ѳ. М. продолжалъ утверждать:

„— ...И узришь свѣтъ! И увидишь правду! Побѣдишь себя, усмиришь себя и другихъ освободишь; и узришь счастіе... и начнешь великое дѣло... Не въ вещахъ правда".

„И такъ до безконечности (стр. 362—363).

И оно шло дѣйствительно до безконечности и у самого Достоевскаго, и у его многочисленныхъ послѣдователей и новѣйшихъ сотоварищей по направленію, въ родѣ „Большого человѣка" и его поклонниковъ. Понятно, что эти поученія и прорицанія, безпредметныя и далекія отъ настоящей жизни и дѣйствительнаго народнаго дѣла, способны, наконецъ, оттолкнуть отъ себя или какъ самодовольное пустословіе, или какъ фарисейство. Очевидно, что къ этого рода мистическому народничеству г. Успенскій не имѣетъ никакой склонности.

Мы упоминали выше, что вмѣстѣ съ другими писателями, изображавшими народные дѣла и интересы, г. Успенскій не пользовался благосклонностью столповъ консерватизма. Для опредѣленія его собственнаго взгляда на эти столпы можетъ служить статья его подъ названіемъ: „Подозрительный бель-этажъ" (т. III, стр. 363 и д.). Поводомъ къ его разсужденію была статья Щебальскаго въ „Русскомъ Вѣстникѣ", гдѣ, между прочимъ, сказано было слѣдующее: „Сильно ошибся бы тотъ читатель „Русскаго Вѣстника", который сталъ бы заключать по беллетристикѣ „Русск. Вѣстника" о нашей современной беллетристикѣ вообще. Повѣсти и романы „Русск. Вѣстника" это —бель-этажъ, чистыя комнатки нашего литературнаго зданія. Но въ этомъ зданіи есть чердаки и подвалы, есть грязные чуланы, и иногда не вентилируемыя, никогда не подметаемыя спальни, есть задніе дворы съ кучами мусора". „Такъ вотъ въ этотъ-то мусоръ,—замѣчаетъ г. Успенскій,—и упрятываетъ г. Щебальскій насъ, пишущихъ о народѣ".

Этотъ бель-этажъ далъ г. Успенскому поводъ къ разсужденіямъ, которыя, вѣроятно, не были по вкусу ни Щебальскому, ни цѣлому „Русскому Вѣстнику".

Приведемъ изъ этихъ разсужденій только два эпизода, кото-

рые опять наглядно опредѣляютъ литературную роль г. Успенскаго. Въ началѣ онъ говоритъ:

..."Не такъ давно деревенское уединеніе мое было нарушено весьма непріятнымъ обстоятельствомъ: случилось мнѣ прочесть въ литературномъ обозрѣніи "Голоса" о томъ, что "Русскій Вѣстникъ" помѣстилъ статью, посвященную литературѣ о народной жизни, гдѣ осрамилъ всѣхъ пишущихъ о народѣ (а я тоже маракую по части разныхъ очерковъ и отрывковъ изъ крестьянской жизни) самымъ постыднымъ образомъ. Не то огорчило меня, что авторъ статьи причислилъ себя къ "литературѣ бель-этажа", къ литературѣ парадныхъ комнатъ, а всѣхъ насъ наименовалъ литературою кабака и харчевни, задняго двора и черной лѣстницы; не то, что въ посрамленіе насъ онъ торжественно указалъ на великія имена Пушкина, Лермонтова и Гоголя и противопоставилъ имъ "всѣхъ этихъ" "разныхъ семинаристовъ"; не то, наконецъ, что наши несчастные очерки и отрывки изъ деревенскихъ дневниковъ онъ привелъ въ связь съ крамолой, нѣтъ! Все это давнымъ-давно извѣстно, а главное, все это не можетъ быть опровергаемо и, стало быть, нисколько не можетъ волновать "этихъ разныхъ семинаристовъ". Въ самомъ дѣлѣ, развѣ я не знаю, что, напримѣръ, я, одинъ изъ "этихъ семинаристовъ", не похожъ на Пушкина? Развѣ я не знаю, что "Русскій Вѣстникъ"—литература бель-этажа? Развѣ я не знаю, что "крамола" чудится этому бель-этажу литературы во всемъ, и что нельзя написать "отрывка" изъ деревенскаго дневника и затронуть въ немъ хоть каплю изъ безчисленныхъ и настоятельныхъ деревенскихъ нуждъ, чтобы какой-нибудь литературный сыщикъ не указалъ на тебя, какъ на человѣка, котораго слѣдовало бы истребить? И чѣмъ я виноватъ, что я родился не въ бель-этажѣ? Родись я въ бель-этажѣ, а бель-этажный критикъ въ лакейской, тогда онъ бы былъ представителемъ литературы кабака и харчевни, а я забрался бы въ бель-этажъ. Все отъ Бога, господа, и въ этихъ дѣлахъ ничего не подѣлаешь! А они ругаются и за то, что родился не въ бель-этажѣ, и за то, что не Пушкинъ. Но, милостивые государи, вѣдь и вы тоже не Пушкины. Развѣ господинъ Катковъ похожъ на Лермонтова или развѣ г. Щебальскій напоминаетъ Гоголя?"

Дальше г. Успенскій занялся подробнѣе этимъ предметомъ причемъ оказалось, что бель-этажъ довольно подозрителенъ относительно своего аристократизма. Но дѣло было не въ этихъ нападеніяхъ, которыя въ данномъ положеніи вещей были совершенно естественны, а по существу до ничтожества мелки.

"Повторяю,—говоритъ г. Успенскій,—не это меня взволно-

вало и раздосадовало; на все это, право, можно бы отвѣтить и весело, и остроумно, еслибы была охота и еслибы наша жизнь не была такъ тягостна и такъ упорно не хотѣла хоть чѣмъ-нибудь облегчить угнетенную душу русскаго человѣка. Меня взволновала, благодаря этой критикѣ, именно эта самая жизнь, жизнь деревенская, окружающая меня. Тысячу разъ я говорилъ себѣ, что надо бросить писать о деревнѣ, что теперь „поздно", что очерки и отрывки, при условіяхъ, которыми окружена подобнаго рода литературная работа, безплодны, не нужны, потому что не могутъ выразить всей многосложности того *ненужнаго зла*, которое введено въ народную жизнь упорными и ужасными, по безсердечію, усиліями, и съ которымъ теперь деревня принуждена раздѣлываться „своими средствами". Вотъ этотъ-то приливъ обезсиливающей тоски, тоски, прекращающей, въ концѣ концовъ, всякую работу мысли, всякую возможность ощущать, будучи живымъ, что-нибудь, кромѣ страшнаго холода внутри и внѣ, вотъ въ такое-то мученіе и повергла меня статья бель-этажнаго критика. Она опять и въ усиленной степени воскресила эту дѣйствительность деревенскую, отъ которой не знаешь куда уйти, чтобы хоть здоровьемъ-то физическимъ запастись; она, доказывающая, что „очерки" и „отрывки изъ дневниковъ"—ничтожество и посрамленіе литературы, сдѣлала то, что сама дѣйствительность, которую „очерки и отрывки" не отражаютъ и въ самой ничтожной степени, вдругъ встала во всемъ своемъ грозномъ безобразіи и стала давить, гнести, царапать, рвать и мучить всѣми муками, на какія способно безъ нужды, безъ смысла раздраженное существо. Въ самомъ дѣлѣ, какіе ужъ тутъ „отрывки и очерки" (стр. 364—65)!

Въ этихъ словахъ опять сказывается та задушевная мысль, которая руководила всей дѣятельностью г. Успенскаго. Были нѣкогда другія времена: онъ, какъ и другіе, мечталъ, что наступила новая пора русской жизни, что и для общества, и для народной массы пришла возможность иначе устроить свою жизнь, до тѣхъ поръ слишкомъ безобразную. Разочарованіе явилось слишкомъ скоро; но сбереглось и это стремленіе къ лучшему, и любовь къ народу съ его безобиднымъ и правдивымъ трудомъ, но и съ его бѣдствіями, и вмѣстѣ наивностью, помочь которымъ слѣдовало хотя бы по простому христіанскому человѣколюбію, не говоря о болѣе тѣсномъ и ограниченномъ чувствѣ общественномъ. Писатель можетъ помочь только однимъ—разсказомъ и описаніемъ того, что̀ онъ видѣлъ, указаніемъ тѣхъ тягостей и настоящихъ несчастій, которымъ нужно помочь, а также и тѣхъ

свѣтлыхъ сторонъ народнаго быта и народнаго чувства, которыя привлекаютъ симпатію и являются вмѣстѣ нравственной поддержкой противъ грозящаго разростись равнодушія и скептицизма. Писатель, какъ мы видѣли, не питалъ никакихъ несбыточныхъ ожиданій; онъ не только не склоненъ къ столь распространенному фантазерству на тему народа, но вооружается противъ него, какъ противъ фальши, которая вредна уже тѣмъ, что отводитъ глаза отъ дѣйствительности и поощряетъ къ праздному благодушію, когда для него вовсе нѣтъ мѣста. Онъ не обманывается и о степени той пользы, которую можетъ принести его собственный трудъ: народная жизнь такъ громадна и такъ много надо сдѣлать для того, чтобы она стала на дорогу самыхъ первоначальныхъ требованій человѣческой справедливости, такъ много въ ней въ особенности „ненужнаго зла", что думать помочь всему этому какими-нибудь „очерками" было бы слишкомъ наивно. Писатель не обманывается, наконецъ, и свойствами самаго народнаго быта: если для себя народъ не встрѣчаетъ должнаго вниманія, справедливости и добраго чувства, то и въ его собственной средѣ слишкомъ много дикой грубости—результата его прошлаго и настоящаго... Изъ всего этого сложился тотъ основной *тонъ* произведеній г. Успенскаго, на который мы указывали: это—никогда не покидающее писателя раздумье, въ помощь которому его замѣчательная наблюдательность и способность поэтическаго воспроизведенія приноситъ цѣлую многолюдную толпу живыхъ образовъ и рядъ бытовыхъ картинъ.

Г. Успенскій пошелъ „въ народъ" въ качествѣ писателя. Провинціалъ по происхожденію и ранней жизни, онъ и теперь поселился въ деревнѣ и, кромѣ того, много странствовалъ, чуть не по всѣмъ концамъ Россіи,—и здѣсь опять черта, рѣзко отдѣляющая его отъ старой литературной школы. Никто изъ писателей этой школы, говорившихъ о народѣ (не исключая даже Островскаго и Писемскаго), не достигалъ такого обширнаго личнаго знакомства съ народомъ и его разнообразной территоріей: для этихъ писателей мужикъ, человѣкъ народа, былъ обыкновенно мужикъ изъ ближайшаго знакомаго околотка, для Тургенева — орловскій, для Писемскаго, а также отчасти для Островскаго — костромской, для Григоровича — тульскій, и т. д.; не говоря о томъ, что прежняя школа изображала этихъ тульскихъ, или орловскихъ, или костромскихъ мужиковъ съ извѣстной идеализаціей и болѣе или менѣе художественной выдумкой, у этой школы не было достаточной степени простого этнографическаго знанія и, слѣдовательно, не было возможности какого-либо бытового разно-

образія картинъ и возможности сравненія. Съ своей точки зрѣнія, г. Успенскій интересовался именно бытомъ: когда прежнихъ писателей занималъ или самый общій соціальный вопросъ, вопросъ объ общемъ гражданскомъ положеніи народной массы, или занимала ихъ задача психологическаго развитія въ условіяхъ народнаго быта, г. Успенскій стремится изучить и изобразить именно условія гражданской, образовательной и нравственной жизни народа. Его цѣль прямо утилитарная. Но чтобы дать нѣсколько правильное понятіе о народной жизни, надо наблюдать ее по возможности въ большемъ числѣ ея проявленій, и г. Успенскій предпринимаетъ свои странствія: онъ особенно знаетъ сѣверныя губерніи, но живалъ и въ среднихъ, подмосковныхъ, въ Малороссіи, отправлялся къ казакамъ, водился съ сектантами, отправлялся съ переселенцами въ западную Сибирь, изучалъ ихъ положенія на главныхъ переселенческихъ станціяхъ и на мѣстахъ новыхъ поселеній, отправлялся, наконецъ, въ Константинополь, гдѣ наблюдалъ русскихъ богомольцевъ, отправлявшихся ко святымъ мѣстамъ, пытался пробраться въ Болгарію, чтобы получить на мѣстѣ понятіе о томъ, какъ стоитъ тамъ русское дѣло, полагаемое самымъ народнымъ. Всѣ эти странствія дали ему огромный матеріалъ наблюденій надъ разнообразнѣйшими формами народной жизни; эти наблюденія сказались въ массѣ замѣчательно тонкихъ и интересныхъ художественныхъ эскизовъ, но, въ концѣ концовъ, не дали ни одного „романа", ни даже „повѣсти". Вѣроятно, это послѣднее показалось бы ему, и не безъ основанія, празднымъ дѣломъ.

Тэма, на которой сосредоточены мысли г. Успенскаго, повторяется во всѣхъ безъ исключенія его разсказахъ,—живетъ ли онъ въ деревнѣ и разсказываетъ ея мелкія, но для нея самыя важныя дѣла, отправляется ли путешествовать. Впечатлѣнія народной жизни большею частью неотрадны, и разсказы его наводили бы одно уныніе, еслибы не перемежались живыми образами, между которыми нерѣдко симпатично выдаются если не „положительные" типы, то мягкія человѣчныя лица и явленія, созданныя самою непосредственною жизнью народа. Было бы долгимъ, да, можетъ быть, и напраснымъ трудомъ размѣщать по разрядамъ тѣ стороны народнаго быта и личные типы, на которыхъ останавливался нашъ писатель. Чтобы дать образчики его міровоззрѣнія и писательской манеры, достаточно выбрать на-удачу нѣсколько эпизодовъ. Почти всегда мы встрѣтимся съ полу-веселой, полу-меланхолической шуткой, изъ-за которой скоро опять скажется тре-

вожная мысль о народныхъ дѣлахъ, которыя, какъ и естественно, сливаются со всѣмъ „положеніемъ вещей".

Въ 1883 году авторъ сдѣлалъ путешествіе на Кавказъ. Собираясь разсказывать объ этомъ путешествіи, онъ вспоминаетъ, какъ русскіе литераторы путешествовали въ прежнее время.

„Еще недавно у всякаго русскаго „путешественника-литератора" первая глава путевыхъ воспоминаній была всегда посвящена трогательному живописанію разлуки съ родными берегами и съ дорогими сердцу друзьями. Вся такая, первая, глава была написана путешественникомъ „не чернилами", какъ пишутъ въ крестьянскихъ письмахъ, „а слезами". Родина, отечество, родные берега были для него такъ дороги, онъ такъ неразрывно былъ связанъ съ ними, такъ страстно, всѣмъ сердцемъ, всѣмъ существомъ своимъ проникся къ нимъ любовью, что „корабль", носившій всегда какое-нибудь задумчивое и во всякомъ случаѣ благозвучное названіе, „Эвріанта", „Ретвизанъ", уносившій путешественника отъ родныхъ береговъ, казался какимъ-то безсердечнымъ, жестокимъ существомъ, насильно отнимающимъ путника изъ жаркихъ объятій близкихъ, дорогихъ людей и отъ всего, съ чѣмъ онъ сроднился, сросся душою и тѣломъ.

„Путешественникъ обыкновенно „едва" не лишался чувствъ въ то мгновеніе, когда „Ретвизанъ", наконецъ, „взмахнетъ крыломъ"; только дуновеніе вѣтра поддерживало его силы, а все лицо его и всѣ лица дорогихъ существъ, остававшихся на берегу, бывали въ моментъ разлуки „залиты", буквально, слезами; сквозь ручьи слезъ видѣлъ путешественникъ, какъ остающіеся на родинѣ машутъ ему платками, шляпами, посылаютъ поцѣлуи; наконецъ, и ручьи слезъ, и даль, уже отдѣляющая путника отъ родины, мѣшаютъ видѣть ему что-нибудь, кромѣ неба и моря. Но отъ самаго Кронштадта до Копенгагена онъ не можетъ отойти отъ борта, и все смотритъ въ сторону Кронштадта. Затѣмъ даже въ Штетинѣ и Гамбургѣ онъ пытается устремить взоры въ томъ же направленіи, и хотя убѣждается, что родина „далеко" и что усилія разсмотрѣть изъ Гамбурга Кронштадтъ напрасны, но мысль о родинѣ, во всякомъ случаѣ, не покидаетъ его.

„Неизвѣстно, когда бы мысль эта, наконецъ, покинула его, еслибы на выручку и для начала второй главы не являлась буря. Понемногу да понемногу сначала „легкая зыбь", потомъ легкая качка, а тамъ и „шквалъ", а тамъ, глядишь, и лампой ударило путника, а тамъ, понемногу да помаленьку, придавило его тюфякомъ, на которомъ онъ лежалъ, мечтая о друзьяхъ и о родинѣ; дальше да больше — и дѣло разыгрывается не на шутку; послѣ

тюфяка и лампы слѣдуетъ ударъ сорвавшимся со стѣны зеркаломъ; немного погодя, путешественникъ „съ трудомъ“ вылѣзаетъ изъ-подъ дивана, получая еще ударъ „евангеліемъ“ въ кожаномъ переплетѣ, съ мѣдными застежками (подарокъ друга), а высвободившись изъ этихъ затрудненій и кое-какъ добравшись до палубы и узнавъ отъ капитана, что никакой опасности нѣтъ, что это даже не буря, а весьма благопріятный „свѣжій вѣтерокъ“, вновь ударомъ огромной волны повергается въ глубину каюты и остается въ безчувственномъ состояніи до тѣхъ поръ, пока сильнѣйшіе припадки морской болѣзни не возвратятъ его къ жизни.

„И только послѣ всѣхъ этихъ испытаній, путешественникъ рѣшается оставить надежду видѣть Кронштадтъ и начинаетъ наблюдать чужеземные мѣста и нравы. На пространствѣ трехъ-четырехъ томовъ онъ добросовѣстно и всегда заманчиво для читателя описываетъ города, древности, обѣды, картины“, и т. д.

Путешествіе кончается совершенно благополучно. Насладившись Европой, путешественникъ возвращается въ Кронштадтъ. Сердце его таетъ въ благоговѣйныхъ ощущеніяхъ, когда онъ видитъ („шпиль“ Петропавловской крѣпости) и куполъ Исакія, встрѣчаетъ родныхъ и друзей. Затѣмъ онъ ѣдетъ въ деревню: начинаются благословенныя „тихія“ поля, плакучія березы, ивы, нивы, соломенныя кровли, пахарь, родной домъ, самоваръ на берегу, удочки въ рукахъ, тихая рѣка, соломенная шляпа съ широкими полями и... „Спасибо, сторона родная, за твой врачующій просторъ!“...

Путешествіе новѣйшаго литератора бываетъ совсѣмъ иного рода и не кончается такимъ чувствительнымъ успокоеніемъ. Нашъ авторъ по собственному опыту замѣчаетъ, что нынѣшній путешественникъ, „уѣзжая въ чужедальныя страны, чувствуетъ себя точно выпущеннымъ изъ лазарета или вставшимъ съ кровати послѣ продолжительной болѣзни, а возвращаясь и оправившись духомъ и тѣломъ, хотя и смутно, но сильно трепещетъ возможности опять попасть въ больные“. Не лучше онъ чувствуетъ себя и тогда, когда странствуетъ у себя дома. Г. Успенскій разсказываетъ, что, ѣдучи на Кавказъ и возвращаясь съ Кавказа, онъ чувствовалъ какую-то неисцѣлимую тяготу и даже какъ бы отчаяніе. Виновато ли въ томъ „переходное время“, или люди, благодаря этому времени, стали какіе-то половинчатые, съ помѣсью старыхъ и новыхъ идей, но въ теченіе всего пути нашъ путешественникъ не слышалъ ничего другого, кромѣ разговора о разнаго рода „безобразіяхъ“, особливо безобразіяхъ неправеднаго стяжанія. Въ прежнее время,—разсказываетъ г. Успенскій,—

все-таки можно было слышать какіе-нибудь разговоры: мужикъ разскажетъ, какъ онъ ходилъ въ Кіевъ и что видѣлъ, и какъ баба-вѣдунья испортила его жену; молодой человѣкъ разскажетъ, какъ онъ влюблялся; попадалась барыня, разсказывавшая свои романы, или офицеръ, участвовавшій при взятіи Гуниба. Бываютъ и теперь такіе разговоры, но надъ ними господствуетъ разговоръ о безобразіяхъ.

„Вотъ ѣдетъ крестьянская семья изъ орловской губерніи на переселеніе въ ставропольскую; поговорите съ мужиками, и со второго же слова начинается повѣсть о всевозможныхъ безобразіяхъ: земельныхъ, мірскихъ, „правленскихъ". Со второго слова начинается повѣсть о томъ, какъ староста обворовалъ, какъ старшина обворовалъ, какъ обворовалъ кабатчикъ. Дорожный мастеръ повѣствуетъ о подвигахъ строителей такія чудеса, о которыхъ во снѣ не приснится, а подрядчикъ желѣзной дороги, въ свою очередь, выдвигаетъ на сцену чудовищныя дѣянія по части наживы дорожныхъ мастеровъ. Земецъ не находитъ словъ, которыми можно бы достаточно точно выразить негодованіе на безобразія администраціи, а господинъ становой приставъ рисуетъ портреты земскихъ дѣятелей въ такомъ видѣ, что именно можно „удавиться съ тоски", если только изображеніе хоть чуть похоже на правду. „Никто ничего не дѣлаетъ, а всѣ воруютъ"—вотъ корень и основаніе этого разговора, угнетающаго всякіе разговоры „вообще", разговоры по человѣчеству... Разговоръ „о безобразіяхъ" и „возмутительныхъ фактахъ" почти единственный изъ разговоровъ, который общедоступенъ, открытъ для всесторонняго обсужденія, договаривается до конца и постоянно имѣетъ свѣжій и обильный газетный матеріалъ, ежедневно сотнями ручьевъ и рѣчекъ, газетъ и газетокъ, какъ мутными потоками, разливающійся среди публики поѣздовъ, бороздящихъ Россію; другого разговора, который бы такъ же безъ утаекъ, умолчаній, экивоковъ договорился до конца, и такъ же бы обильно получилъ питаніе, разговора, который бы не заражалъ, а освѣжалъ мысль разговаривающихъ, я рѣшительно не слыхалъ и не замѣчалъ.

„Напротивъ того, мнѣ, да, какъ я думаю, и не одному мнѣ, множество разъ приходилось убѣждаться въ томъ, что обыкновенный живой разговоръ живыхъ людей о живыхъ людскихъ нуждахъ и желаніяхъ, „по нынѣшнимъ временамъ", сдѣлался необыкновенно труднымъ, вслѣдствіе того, что его поминутно приходится поддерживать искусственно, дѣлать усилія для его продленія, зацѣплять готовую замереть фразу новой фразой, которую надо умѣть поскорѣе отыскать, чтобы бесѣда не была

прервана мертвымъ молчаніемъ. Въ отношеніи внѣшней отдѣлки такого разговора, такъ сказать, техники его, общество наше сдѣлало огромные успѣхи; никогда на Руси не было такъ много людей, которые бы умѣли говорить такъ складно, умно, закругленно, законченно, словомъ, „красно“, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, никогда этого рода разговоръ не страдалъ присутствіемъ того внутренняго холода, которымъ онъ страдаетъ теперь. Отсутствіе не только увѣренности, а и самой тѣни мысли *осуществленія* того, о чемъ идетъ рѣчь, глубоко въѣлось въ самый корень души современнаго обывателя; земецъ, разговаривающій о земскихъ нуждахъ, о деревенской неурядицѣ, о народной школѣ; гласный думы, трактующій о недостаткахъ и задачахъ городского самоуправленія, наконецъ, просто отецъ семейства, говорящій о воспитаніи, всѣ они говорятъ такъ резонно и такъ литературно хорошо, какъ дай Богъ сказать любому, набившему руку на передовыхъ статьяхъ, литератору, да и лучше, несравненно лучше любого современнаго литератора говоритъ огромное большинство обывателей; но эта блестящая рѣчь страдаетъ тою же болѣзнью, которою недугуетъ и рѣчь литературная. Какъ та, такъ и другая лишены жизненной энергіи, утратили связь слова и дѣла, отвыкли представлять собственныя мысли въ реальныхъ, осуществленныхъ формахъ.

„Слушать такіе разговоры до крайности тяжело, точно слушать, какъ „безрукій“ говоритъ (забывъ свое увѣчье), что вотъ онъ сейчасъ протянетъ руку, возьметъ, сдѣлаетъ“ (т. III, стр. 122—126).

Съ Кавказа нашъ путешественникъ вернулся Каспійскимъ моремъ въ Астрахань; на пристани произошла на его глазахъ слѣдующая сцена. Пристань была пустая; ходило по ней человѣка два-три конторщиковъ и приказчиковъ, словомъ, русскихъ мужиковъ въ „пиньжакахъ“, дѣлать имъ было нечего; въ это время пришелъ на пристань еще мужикъ, молодой парень, и затѣмъ произошло слѣдующее.

„Постоялъ молодой парень минуты двѣ-три, зѣвнулъ во всю мочь, и не успѣлъ закрыть рта, какъ одинъ изъ мужиковъ, „одѣтыхъ въ пиньжаки“, подошелъ къ нему и такъ двинулъ въ грудь обѣими руками, что дѣтина грохнулся на спину, высоко поднялъ ноги въ лаптяхъ, а шапка откатилась далеко въ сторону. Поднявшись, дѣтина пошелъ за шапкой и что-то заговорилъ, а „пиньжакъ“ пошелъ назадъ и тоже что-то говорилъ, и потомъ опять сталъ на мѣсто.

„Все дѣло заняло не болѣе двухъ секундъ, но этотъ эпи-

зодъ сразу возвратилъ меня къ дѣйствительности. За что̀ одинъ „пхнулъ" другого? Я былъ увѣренъ, что *ни за что*, что это было сдѣлано такъ, зря, что малый такъ же мало ожидалъ того, что его „пхнутъ", какъ и этотъ „пиньжакъ" мало думалъ о томъ, что вотъ онъ кого-то пхнетъ. Зачѣмъ это? Не знаю! Вѣроятно, поднявшійся съ земли парень скажетъ:

„— Ты чего пхаешь?—И вѣроятно, пиджакъ отвѣтитъ:

„— А ты чего рыло-то выперъ?

„— Да мнѣ Иванъ Митрича повидать надо, чортъ этакой!

„— Такъ ты и говорилъ бы толкомъ, а не пёръ идоломъ!

„— Да, еловая ты голова, ты бы спросилъ, а не пхалъ!

„— Да, наспрашиваешься васъ тутъ, дьяволовъ!

„Послѣ этого разговора, весьма вѣроятнаго, парень пойдетъ домой, а пиджакъ постоитъ-постоитъ и тоже пойдетъ домой. И такъ зачѣмъ же все это? „Ты бы спросилъ!" вѣдь это, кажется, резоннѣе? Но нѣтъ, этотъ эпизодъ тѣмъ и замѣчателенъ, что въ немъ „нѣтъ резону". „Пхнуть человѣка безъ всякаго резону", вотъ что̀ есть обычное дѣло въ океанѣ нашей жизни и что̀ страшнѣй безднъ настоящаго океана. Впечатлѣніе эпизода было столь поучительно, что я вновь впалъ въ то самое душевное состояніе, которое два съ половиной мѣсяца тому назадъ привезъ съ собой въ Владикавказъ" (стр. 158—159).

Эту страшную грубость нравовъ, привычку къ насилію и со стороны тѣхъ, кто его совершаетъ, и тѣхъ, кто его испытываетъ, эту потерю всякаго смысла общежитія, г. Успенскій не однажды изображаетъ въ своихъ разсказахъ, какъ печальную сторону народнаго быта. Онъ не берется объяснять ея происхожденіе, и дѣйствительно, это было бы дѣломъ историка. Но отсюда видно еще разъ, что при всей его любви къ народу онъ не закрываетъ глазъ на эти грубыя свойства народныхъ нравовъ, которыя, впрочемъ, не ограничиваются народной средой и не въ ней одной имѣютъ свое начало.

Дальше, мы находимъ нашего писателя въ Константинополѣ. Турецкая, а нѣкогда византійская столица много разъ описывалась нашими путешественниками, и благочестивыми странниками ко святымъ мѣстамъ, и простыми туристами, описывалась весьма красивыми фразами, съ поэтическими изображеніями Босфора и св. Софіи, съ патріотическими мечтами, что русскіе нѣкогда водрузятъ на ней крестъ и т. д.,—но описаніе г. Успенскаго едва ли найдетъ себѣ параллель между прежними путешествіями... Критики сочиненій г. Успенскаго замѣчали ту его особенность, что у него вообще нѣтъ пейзажа; какого-нибудь намѣренія дать

пейзажъ у него не явилось ни на Кавказѣ, ни на Босфорѣ. Онъ замѣтитъ, конечно, невиданную прежде природу, столь непохожую на наши заурядныя мѣста; она поразитъ его своими необычайными эффектами, но онъ все-таки долго не остановится на ней, для него это вообще только сцена, въ которой интересна не она, а живущіе въ ея обстановкѣ люди. Эти люди бываютъ иногда оригинальны и интересны; такъ, ему казались интересны туземные обитатели Кавказа, и онъ жалѣетъ, что имъ приходится втянуться въ безцвѣтную жизнь, приносимую „цивилизаціей", но иногда на блестящей сценѣ природы проживаютъ и другіе люди, не внушающіе особаго интереса и симпатіи. Такими представляются ему обитатели Константинополя и—тѣ туземцы, которые состоятъ теперь его хозяевами, и тѣ европейцы, которые, по его мнѣнію, станутъ его хозяевами въ будущемъ.

Очевидно, въ самомъ дѣлѣ, что современное положеніе Константинополя въ промышленномъ, торговомъ и образовательномъ отношеніи есть уже своего рода совершившійся фактъ, историческій и культурно-бытовой, а съ тѣмъ вмѣстѣ и внутренно-политическій антецедентъ, который займетъ свое мѣсто въ будущемъ рѣшеніи вопроса. Въ промышленно-торговомъ отношеніи Константинополь уже находится въ рукахъ западной Европы. Нашъ путешественникъ обращаетъ вниманіе еще на другую сторону международныхъ вліяній въ Константинополѣ, именно сторону образовательную. Въ этомъ отношеніи мы видимъ слѣдующіе факты:

„Положеніе школьнаго дѣла у разныхъ національностей, проживающихъ въ Константинополѣ, таково: *греки*, добровольными пожертвованіями, содержатъ въ Константинополѣ *восемьдесятъ* первоначальныхъ школъ, восьми-классный лицей съ 720 учениками, коммерческое училище, женскую гимназію съ 400 пансіонеровъ, учительскую семинарію, *восемь* даровыхъ библіотекъ, и даютъ образованіе пятнадцати тысячамъ дѣтей; *евреи* и *армяне* имѣютъ здѣсь элементарныя и среднія учебныя заведенія мужскія и женскія; *французское* правительство отпускаетъ ежегодно 910.000 франковъ на дѣло образованія на Востокѣ и субсидируетъ прекрасно поставленный Collége St.-Benoît; *американцы* содержатъ здѣсь буквально великолѣпнѣйшій Робертъ-Колледжъ. Кстати сказать, этотъ Робертъ-Колледжъ—одно изъ величественнѣйшихъ зданій на Босфорѣ и бросается въ глаза своими грандіозными размѣрами, гораздо прежде, чѣмъ даже самые султанскіе дворцы. Это роскошно устроенное учебное заведеніе воспитываетъ молодыхъ людей *всѣхъ балканскихъ народностей хри-*

стіанскихъ вѣроисповѣданій. Нѣмцы, благодаря лично пожертвованной императоромъ Вильгельмомъ суммѣ 30.000 марокъ, устоили Bürgerschule, въ которой обучается 300 дѣтей. *Италія* выдаетъ двумъ своимъ школамъ 14 т. франковъ ежегодной субсидіи, *Австрія* субсидируетъ свою школу 6.000 гульденовъ, наконецъ *англійскія* и *шотландскія* религіозныя общины давно уже имѣютъ въ городѣ и предмѣстьяхъ свои школы и дѣятельно ведутъ чрезъ ихъ посредство свою пропаганду.

„Всѣ эти свѣденія, сообщенныя мнѣ Д. Р. Б., корреспондентомъ „*Спб. Вѣдом.*", близко знакомымъ съ положеніемъ школьнаго дѣла въ Константинополѣ, собраны коммиссіею, образовавшеюся подъ предсѣдательствомъ г-жи Нелидовой и вызванной настоятельнѣйшею потребностью въ русской школѣ, выяснившейся особенно неотразимо послѣ пріѣзда въ Константинополь г. Тимирязева, делегата министерства финансовъ, для переговоровъ о русско-турецкомъ коммерческомъ трактатѣ" [1]).

„Отсутствіе русской школы оказалось чрезвычайно вреднымъ относительно нашей торговли: „между туземцами никто не знаетъ русскаго языка, ни одна кофейня не выписываетъ русскихъ газетъ". Кромѣ русской колоніи, всѣ *славяне* Балканскаго полуострова съ удовольствіемъ увидѣли бы основаніе русской школы. И въ самомъ дѣлѣ, желая имѣть какое-нибудь нравственное вліяніе на Балканскомъ полуостровѣ, какимъ образомъ можно было не открыть здѣсь даже школы, когда рѣшительно необходимъ русскій университетъ для славянскаго населенія всего полуострова? Въ настоящее время болгарская учащаяся молодежь направляется въ краковскій и львовскій университеты, чтобы получить высшее образованіе [2]). Чѣмъ же Россія-то хочетъ влiять здѣсь, *на мѣстѣ?* Между тѣмъ, она до сихъ поръ выдаетъ субсидіи греческимъ школамъ, субсидіи, въ которыхъ онѣ, какъ мы видѣли выше, вовсе не нуждаются.

„А относительно „русской школы" идетъ только безплоднѣйшая и безконечнѣйшая переписка" (стр. 171—172).

Затѣмъ авторъ прибавляетъ:

„А вотъ по части кулачества, барышничества, ничего, орудуемъ и у вратъ святой Софіи. По Галатѣ нельзя пройти безъ того, чтобы не получить тысячи приглашеній изъ тысячи публичныхъ домовъ *на русскомъ языкѣ*: „Здраствуй! Заходи! братушка"!.. Все россійскій товаръ, изъ Одессы, изъ „Россіи" (стр. 173)...

---

[1]) „*Спб. Вѣд.*", 86 г. № 51.

[2]) И, конечно, во Львовѣ и Краковѣ получаетъ направленіе мыслей, не весьма сочувственное къ Россіи.

Описанію внѣшности Константинополя (между прочимъ, улицы его—„смердящія“) нужно было г. Успенскому какъ указаніе людской обстановки; пейзажъ и картины города понадобились для описанія людей,—въ той степени, насколько можно было видѣть въ короткое пребываніе. Въ особенности останавливала нашего писателя та роль, какая предназначается будущему Царьграду въ заманчивыхъ мечтаніяхъ нашихъ патріотовъ: видимо, Константинополь привлекалъ его любопытство особенно съ этой стороны. Онъ посѣтилъ, конечно, святую Софію.

„Впечатлѣніе, получившееся при посѣщеніи св. Софіи, было весьма смутное: неопрятно, пустынно, заброшенно, пусто, безпризорно, „кое-какъ“. Никакія историческія воспоминанія, почему-то, совершенно не шли на умъ при видѣ этого, во всѣхъ отношеніяхъ искаженнаго, почти заброшеннаго храма. Даже иностранцы какъ-то не интересуются имъ; да и вообще, среди современныхъ нравственныхъ и политическихъ заботъ, идей и теченія мыслей, на которыя наводитъ васъ константинопольская жизнь, для всѣхъ св. Софія какъ-то въ сторонѣ, она какъ-то одинока со всею своею исторіею, и только русскіе считаютъ своею обязанностью посѣтить ее, снимаютъ шапку, входя въ храмъ, крестятся, говорятъ: „хорошо бы, еслибы она наша опять поскорѣе стала!“—Но, выражая такія пожеланія, и сами русскіе, какъ будто бы, пообслабѣли въ мысляхъ, касающихся рѣшенія участи св. Софіи. Нѣтъ огня, страсти въ этомъ желаніи „поскорѣй бы была наша!“ (стр. 176).

Описывая внутренность св. Софіи, нашъ путешественникъ поражался заброшенностью и начинающимся разрушеніемъ. Извѣстно, что, обращая Софію въ мечеть, турки замазали живопись и мозаику и этотъ верхній слой самъ начинаетъ отпадать. „Мозаическіе потолки вызолочены и разрисованы ничего не означающими фигурами и цвѣтами; и позолота, и рисунки неопрятны, закопчены и небрежно намалеваны кое-какъ, такъ что мозаическія изображенія кое-гдѣ проступаютъ чрезъ позолоту. Надъ алтаремъ, напримѣръ, ясно видны очертанія Спасителя, распростершаго благословляющія руки, выступающія сквозь позолоту и какіе-то намалеванные на ней цвѣты. Какъ будто сами турки чувствуютъ, что, это все только „пока“ ихнее, что, въ сущности, этотъ храмъ чужой, кое-какъ передѣланный на магометанскій ладъ. По крайней мѣрѣ турокъ, съ которымъ приходится ходить по верхней галлереѣ, самъ ведетъ васъ смотрѣть проступающій сквозь позолоту ликъ Спасителя и самъ говоритъ, что „это значитъ, храмъ опять будетъ христіанскій“.

Нашъ путешественникъ вспоминаетъ извѣстное изреченіе, что „владѣть Константинополемъ значитъ владѣть міромъ". Этотъ вопросъ занимаетъ его съ разныхъ сторонъ, и понимать его можно различно. Въ настоящее время турки владѣютъ Константинополемъ, но міромъ не владѣютъ: ихъ собственное будущее въ этомъ пунктѣ очень сомнительно; между тѣмъ здѣсь укрѣпляются уже могущественные европейскіе интересы, самые реальные—промышленные и торговые, къ которымъ присоединяются и политическіе. Г. Успенскій старался выяснить себѣ вопросъ, опредѣляя народный характеръ: идеалъ настоящаго турка—неподвижность домашней жизни; его высшее желаніе—заработать необходимѣйшее для его существованія и затѣмъ „не выходить изъ дома"; очевидно, будущее принадлежитъ не этому неподвижному человѣку и не этому національному типу. Дѣйствительно, торговые и промышленные интересы уже теперь находятся сполна въ рукахъ европейцевъ, и именно западныхъ, а не восточныхъ. Этими европейцами заселены уже теперь громадные кварталы. Сами по себѣ эти западные обитатели Константинополя очень мало интересны: это мелкіе шаблонные представители европейской цивилизаціи, агенты и приказчики торговыхъ и банкирскихъ фирмъ, но они служатъ представителями громаднаго европейскаго механизма. Изъ характера современной жизни Константинополя получается впечатлѣніе, что турки во всякомъ случаѣ уже не хозяева этого всемірнаго пункта; но уже намѣчаются и тѣ элементы, изъ которыхъ должна складываться жизнь будущаго Константинополя. Г. Успенскій не знаетъ, какъ думаютъ объ этомъ предметѣ тѣ наши патріоты, которые полагаютъ, что мы должны „владѣть Константинополемъ". Настоящій порядокъ вещей въ Константинополѣ установился именно вслѣдствіе напора европейскихъ интересовъ и безсильной неподвижности турокъ; чтобы „владѣть" здѣсь вполнѣ, надо или устранить нынѣшнее положеніе вещей, или стать во главѣ его.

„Не знаю, рисовали ли въ своемъ воображеніи эту картину—о прекращеніи кровообращенія во всемъ мірѣ—тѣ наши патріоты, которые утверждаютъ, что намъ необходимо „владѣть" Константинополемъ. Если они не нарисовали ея, то пусть попробуютъ представить себѣ, что̀ будетъ, положимъ, въ фабричномъ механизмѣ, если какимъ-нибудь образомъ мы вынемъ изъ него одинъ только винтъ, повидимому ничтожный, но на самомъ дѣлѣ важный, какъ и все важно и нужно въ извѣстномъ механизмѣ. Немедленно же все въ механизмѣ придетъ въ разстройство, все затрещитъ, зашатается, и начнется разстройство и разрушеніе. На это полное

разстройство европейскихъ порядковъ, всеевропейскаго строя жизни, непремѣнно должны разсчитывать всѣ тѣ, кто придаетъ слову „владѣть“ идею „власти надъ міромъ“. Но не думаю, чтобы наши патріоты такъ ужъ стремились къ разрушенію существующаго европейскаго порядка. Не хватитъ у нихъ на это смѣлости, да и фантазіи не хватитъ на это, чтобы представить себѣ, какого рода порядками могли бы они замѣнить уничтоженные?

„Но если затруднительно рѣшиться на задушеніе и разрушеніе всего европейскаго строя жизни, и если не хватаетъ фантазіи создать что-либо новое, то владѣть Константинополемъ такъ, чтобы въ то же время владѣть міромъ, мы можемъ лишь въ томъ случаѣ, если, признавъ существующій европейскій механизмъ за неразрушимый, сами сдѣлаемся въ немъ первенствующими дѣятелями, т.-е., если теперь весь цивилизованный міръ имѣетъ въ Константинополѣ милліонъ своихъ приказчиковъ, то намъ, чтобы преобладать надъ міромъ, не разрушая „существующаго порядка вещей“, намъ надобно имѣть два милліона, вмѣсто тысячи кораблей—двѣ тысячи, вмѣсто тысячи фабрикъ—двѣ тысячи фабрикъ; словомъ, намъ надобно развить въ своей странѣ всѣ европейскіе порядки и довести ихъ до высшей степени. Не сдѣлай мы этого, мы будемъ владѣть Константинополемъ такъ же, какъ владѣютъ турки, т.-е. не только не владѣя всѣмъ міромъ, но не владѣя ровно ничѣмъ“ (стр. 186).

Но г. Успенскому это вообще совсѣмъ не желательно: чтобы угнаться за Европой въ промышленномъ дѣлѣ, намъ необходимо, по его мнѣнію, принять всѣ условія европейскаго промышленнаго развитія, и прежде всего—обезземелить крестьянъ, накопить милліоны голодныхъ рабочихъ, предлагающихъ за безцѣнокъ свой трудъ, и словомъ, „развести въ своемъ отечествѣ всѣ европейскія язвы“. Но хотя мы и разстроиваемъ себя постоянно, добровольно заражая себя европейскими недугами, намъ все-таки поздно догонять Европу по части промышленности, и если „владѣть Константинополемъ и міромъ во имя ситцеваго преобладанія надъ Европой, и притомъ владѣть сейчасъ, теперь же, это даже и не мечтаніе, а нѣчто не подлежащее никакому сужденію“, то „зачѣмъ же мы стремимся сюда? Зачѣмъ намъ св. Софія, зачѣмъ намъ Константинополь и во имя чего тѣ огромныя жертвы, которыя мы готовимся принести, да, наконецъ, во имя чего, какого Бога все это?“... „Чтò мы скажемъ новаго всему свѣту, когда, наконецъ, придемъ сюда?“

Всѣмъ этимъ размышленіямъ нашъ авторъ предавался во время праздника Рамазана, когда султанъ празднуетъ свою (еже-

годную) свадьбу и по этому случаю происходитъ великолѣпная иллюминація и фейерверкъ, а въ Перѣ шумѣла толпа европейской буржуазіи „третьяго сорта“, отражавшей, однако, цѣлый строй европейской жизни, напирающей на этотъ разлагающійся Востокъ.

„Никогда, какъ въ этотъ вечеръ торжества съ самымъ низменнымъ и унижающимъ человѣка смысломъ, никогда болѣе ярко не представлялось мнѣ безсиліе всей этой азіатчины передъ напряженно дѣятельнымъ европейскимъ міромъ, идущимъ ей въ смѣну, стирающимъ лѣнивца съ лица земли, для того, чтобы добыть хлѣбъ своимъ труженикамъ, силу своему генію, пищу своему неумолчно работающему уму... Эти приказчики съ приказчицами ежесекундно говорили о напряженномъ трудѣ европейскаго общества; эти огни, фейерверки, музыка—говорили объ апатіи, лѣни и умираніи... Мы-то причемъ тутъ? И причемъ тутъ св. Софія?

„Св. Софія невольно вспомнилась мнѣ, какъ одинокая, чуждая среди этихъ двухъ совершенно опредѣленныхъ теченій константинопольской жизни, и какая-то жалость къ этой лишней, одинокой, сумрачной зрительницѣ чуждыхъ ей жизней, цѣлей и стремленій взяла меня за сердце. Взяла меня за сердце почему-то жалость и къ намъ: и мы чужды всему этому, чужды такъ же, какъ и Софія; но вотъ мы почему-то здѣсь, почему-то хотимъ быть здѣсь, и оба въ какомъ-то странномъ, неопредѣленномъ положеніи“ (стр. 188).

Въ 1887 году г. Успенскій сдѣлалъ поѣздку по Дунаю. Ему хотѣлось, кажется, познакомиться между прочимъ съ тѣмъ положеніемъ, какое принялъ въ послѣднее время болгарскій вопросъ. Мы освободили Болгарію, но затѣмъ образовались между освобожденными и освободителями отношенія совершенно непостижимыя. Въ Болгарію г. Успенскій, однако, не попалъ. Онъ ѣхалъ на русскомъ пароходѣ, совершающемъ рейсы по Дунаю, и когда при одной остановкѣ у болгарскаго города онъ хотѣлъ сойти на берегъ, чтобы побывать въ городѣ, это оказалось соединено съ большими затрудненіями: проѣзжихъ русскихъ не желали даже пускать пройти по улицамъ города. Съ обыкновенной своей шуткой г. Успенскій изображаетъ свое положеніе общественное и національное, на берегахъ Дуная, въ слѣдующемъ иносказаніи:

„Въ былыя времена крѣпостного права, когда въ обществѣ чиновниковъ, купцовъ и господъ могли встрѣчаться „вышедшіе въ люди“ крѣпостные крестьяне, нерѣдко, при встрѣчѣ другъ съ другомъ незнакомыхъ людей (особливо въ дорогѣ, на постояломъ дворѣ и чаще всего зимой, равнявшей всѣ сословія однообразіемъ дорожнаго костюма), приходилось слышать вопросъ:

Вы чьи будете? Отвѣты на этотъ вопросъ бывали разные: одинъ съ гордостью отвѣтитъ: „Я чиновникъ!“ Другой, напротивъ, не безъ нѣкотораго конфуза, скромно скажетъ: „Мы? Мы шереметевскіе-съ!“ Третій, вмѣсто того, чтобы отвѣтить: „Я—помѣщикъ“, только покосится на вопрошателя и скажетъ: „Что-о?“ и тѣмъ вполнѣ уяснитъ свое положеніе въ обществѣ. Но тотъ, кто не былъ ни чиновникомъ, ни бариномъ, ни крѣпостнымъ, въ старыя крѣпостныя времена, все-таки и онъ весьма точно могъ характеризовать свое положеніе, и на вопросъ: „Вы чьи?“ довольно увѣренно отвѣчалъ: „Мы? Мы *свои* будемъ!“

„А вотъ мнѣ, такому россіянину, какъ тотъ, который въ былыя времена увѣренно могъ говорить о себѣ: „Я свой!“, спустя десятки лѣтъ послѣ паденія крѣпостного права, когда уже самая тѣнь возможности спросить живого человѣка: „Вы чей?“—исчезла безслѣдно,—мнѣ, помнившему эти минувшія времена только по наслышкѣ, нежданно-негаданно пришлось стать лицомъ къ лицу съ этимъ требованіемъ дать отвѣтъ на вопросъ: „Вы чьи будете?“ и испытать полнѣйшую невозможность вымолвить простой и возможный даже въ старину отвѣтъ: „Я? Я *свой*“. И вѣдь кто приставалъ-то ко мнѣ съ этимъ назойливымъ вопросомъ? Приставалъ ко мнѣ самъ „славный тихій Дунай“, приставали ко мнѣ съ этимъ вопросомъ его берега, и правый, и лѣвый, задавая мнѣ одинъ и тотъ же вопросъ. Оба они совершенно другъ на друга не похожи, оба другъ другу враждебны, оба требовали отъ меня сочувствія своимъ цѣлямъ и желаніямъ, и, такимъ образомъ, оба, поставивъ меня въ невозможность даже ротъ открыть, чтобы сказать: „Я свой!“—довели до необходимости сознаться въ глубинѣ души, что я—*ничей!*“...

Въ Румыніи нашъ путешественникъ поражался нѣкоторой двойственностью: съ одной стороны, какъ будто по-европейски аранжированное государство и городъ, кофейни на парижскій манеръ и франты по парижскому образцу, а съ другой стороны—ободранная толпа полудикаго вида мужиковъ, не совсѣмъ отвѣчающая парижскому образцу.

„Но, несмотря на то, что всего этого нерадующаго и нескладнаго дѣйствительно довольно много встрѣчается на каждомъ шагу, не могу утаить, что мое особенное душевное настроеніе побуждало меня какъ бы выискивать это нескладное для собственнаго успокоенія, и поэтому я былъ очень радъ, когда въ Добруджѣ сѣли на пароходъ два сулинскихъ мужика, два нашихъ россіянина-липована, и когда на мой вопросъ: „хорошо-ли вамъ, господа, живется въ Румыніи?“—оба мужика въ одинъ голосъ вос-

кликнули: „ободралъ насъ румынъ, на-чисто ободралъ!“—такъ повѣрите ли? мнѣ стало даже просто пріятно и легко... Румынская *индепенденца* безпокоила меня, съ непривычки, заставляла думать о чемъ-то, что̀ нарушало душевную мертвую тишину, а когда я услыхалъ слово „ободралъ“, такъ во мнѣ сразу установилось что-то уравновѣшенное; слово это не требуетъ ни малѣйшаго напряженія мысли, оно мнѣ знакомо, я сжился съ нимъ вплотную. Слово „индепенденца“ меня безпокоитъ, а „ободралъ“, напротивъ, успокаиваетъ, вытѣсняетъ „индепенденцу“ изъ моихъ мыслей, а стало быть и не тревожитъ ее.

„Бывали случаи, когда дѣйствительно „хорошее“, противъ чего не находилось никакихъ подходящихъ оборонительныхъ средствъ, такъ сильно на меня дѣйствовало, что оставалось только одно—отвернуться и не смотрѣть“ (стр. 188—191).

Такъ однажды его „огорчило до глубины души“ превосходное впечатлѣніе, которое произвелъ на него новоустроенный Сулинскій рукавъ Дуная. Еще недавно по немъ не было ни прохода, ни проѣзда; трясина покрывала огромное пространство устьевъ Дуная; теперь, въ рукахъ международной коммиссіи, во главѣ которой стоитъ англичанинъ, въ болотѣ прорытъ каналъ, берега укрѣплены, заграждены мели, и по недавнему болоту могутъ ходить океанскіе пароходы... „Заскучалъ я отъ всего этого ужасно и, чтобы не разстроиться окончательно, пересталъ совсѣмъ смотрѣть на англійскія сооруженія и... сразу же успокоился“.

Въ Болгарію, какъ мы сказали, г. Успенскій не попалъ, но на пароходѣ онъ встрѣтилъ русскаго солдата, который пробылъ на службѣ въ Болгаріи семь лѣтъ во время управленія Баттенберга, а теперь возвращался въ Россію. Въ теченіе этихъ семи лѣтъ, солдатъ, человѣкъ разумный, успѣлъ присмотрѣться къ болгарскимъ порядкамъ. На вопросъ, какъ, по его мнѣнію, вернутся ли русскіе въ Болгарію, Иванъ Семеновичъ, смѣшавшись и послѣ нѣкотораго колебанія, отвѣтилъ, однако: „на врядъ ли“, и объяснилъ это тѣмъ, что—„ежели будемъ говорить, къ примѣру, про нашъ народъ, то не можетъ онъ здѣшнихъ порядковъ *превзойтить*“. Въ дальнѣйшей бесѣдѣ оказалось, что нашъ народъ не можетъ „превзойтить“ болгаръ „по мужицкой части“, такъ какъ хозяйство здѣсь въ большомъ порядкѣ и администрація очень заботится о земельномъ вопросѣ. Нашъ путешественникъ никакъ не могъ съ этимъ согласиться.

„— Что это вы говорите? Это намъ-то не превзойтить Болгаріи? намъ, которые безкорыстно освободили, пролили море своей

крови, усѣяли землю своими костями, не превзойтить этихъ проходимцевъ?

„И я, будучи, въ качествѣ пассажира перваго класса, обогащенъ массою свѣденій по части возмутительнѣйшаго болгарскаго проходимства, немедленно же и сразу огромнѣйшей массой завалилъ ими Ивана Семеновича, какъ говорится, выше головы. Я сообщилъ ему о продажности и корыстолюбіи дѣятелей: одинъ такой-то продался англійской газетѣ и получаетъ франкъ золотомъ за строчку, чтобы ругать Россію; другой только и думаетъ, какъ бы улизнуть изъ Рущука въ Австрію, гдѣ уже у него куплено имѣніе, такъ какъ денегъ онъ наворовалъ... Разсказалъ я о Баттенбергѣ“ (стр. 204)... и т. д.

Иванъ Семеновичъ сконфуженно отвѣчалъ, что онъ „этихъ дѣловъ разсудить не можетъ“, а что „дурного человѣка вездѣ много“; что „ежели поглядѣть“, такъ и у насъ не мало: „начальство объ насъ, объ подданныхъ, печется, старается, какъ чтобы лучше было, но злодѣй не задумается повредить“. И какъ оренбургскій уроженецъ, и самъ крестьянинъ, разсказываетъ исторіи о грабежѣ башкирскихъ земель. Возвратившись потомъ къ Болгаріи, Иванъ Семеновичъ разсказываетъ о болгарскихъ земельныхъ порядкахъ, которыхъ намъ „не превзойтить“...

Основной интересъ г. Успенскаго сосредоточенъ, конечно, на изученія русскаго быта и особливо народнаго—по той естественной причинѣ, что крестьянская среда и составляетъ массу „народа“, къ которому мы сами принадлежимъ, и что, къ сожалѣнію, сама эта масса, по множеству разныхъ обстоятельствъ, не можетъ высказать своихъ заботъ, потребностей, не можетъ сказать что-либо въ свою защиту. Настроеніе нашего писателя вообще довольно, даже очень пессимистическое, не потому вовсе, чтобы онъ не вѣрилъ въ самую возможность лучшаго устройства народныхъ дѣлъ, не вѣрилъ въ самую способность народа къ лучшей жизни, а потому только, что его положеніе тяжко въ данную минуту, въ данныхъ условіяхъ. Напротивъ, писатель, какъ намъ кажется, вполнѣ убѣжденъ въ возможности лучшаго будущаго, только для этого нужно больше вниманія къ народнымъ нуждамъ, чѣмъ сколько имѣется его теперь — по старой, общественной и административной привычкѣ. Въ данныхъ условіяхъ пессимизмъ находитъ столько пищи, что писатель не разъ говоритъ о „безсмыслицѣ существованія“, когда человѣкъ оказывается безсильнымъ помочь окружающей бѣдѣ и не видитъ, откуда и

когда наконецъ можетъ придти помощь. Остается одна цѣль и одна возможность (хотя и далеко неполная) изучать это положеніе народныхъ дѣлъ и останавливать на немъ вниманіе общества, въ надеждѣ, что когда распространится лучшее пониманіе народныхъ дѣлъ, оно отразится и ихъ улучшеніемъ. Г. Успенскому, какъ мы замѣчали, приписывалось нѣкоторыми мистическое исканіе „народной души" и отвлеченной моральной „правды"; на дѣлѣ, его изученіе народнаго быта и его исканія совершаются на весьма практической почвѣ. Онъ полагаетъ, вѣроятно, что при здравыхъ учрежденіяхъ, ограждающихъ народный хозяйственный бытъ, при распространеніи образованія, народное сознаніе само будетъ въ состояніи вести бытъ въ здравомъ направленіи... Но пока до этого еще слишкомъ далеко, и настоящее положеніе быта, какъ и нравственное настроеніе людей, ставящихъ себѣ этотъ вопросъ, крайне безотрадны. Къ тѣмъ указаніямъ, изъ которыхъ читатель могъ видѣть настроеніе писателя, приводимъ еще цитату:

„Мы, люди, примѣрно сорока-пяти-лѣтняго возраста,—говоритъ однажды г. Успенскій,—переформированные во всѣхъ направленіяхъ справа налѣво и слѣва направо, вдоль и поперекъ, сверху до низу и снизу до верху, къ глубокому нашему сожалѣнію, не можемъ характеризовать пережитого нами времени и его сегодняшнихъ послѣдствій какимъ-нибудь опредѣленнымъ признакомъ, какъ это могли сдѣлать люди предшествовавшихъ намъ поколѣній, вплоть до послѣдняго крѣпостного мужика, имѣвшаго также возможность самымъ точнымъ образомъ разграничить настоящее отъ прошлаго: „При управляющемъ Иванѣ Петровичѣ было совсѣмъ не такъ, какъ при Карлѣ Карлычѣ". Приведенные къ познаванію результатовъ нашей сорока-пяти-лѣтней маяты, мы въ укоръ нашей сорока-пяти-лѣтней жизни и такъ-называемой „дѣятельности" видимъ (главнымъ образомъ, на основаніи неподкупныхъ статистическихъ данныхъ), что изъ данныхъ жизнью фактовъ одинаково можно собирать пышные букеты самыхъ отраднѣйшихъ явленій, доказывающихъ ростъ основныхъ, самобытныхъ началъ въ нашей жизни, и въ то же время не можемъ не холодѣть отъ ужаса надъ обиліемъ такого рода явленій, почерпаемыхъ все изъ того же источника, которыя не только не способны навести на какія-нибудь логически развивающіяся мысли о нашемъ настоящемъ, но рѣшительно превращаютъ всякую способность мышленія и повергаютъ въ состояніе столбняка. Результатомъ такого мышленія, основаннаго единственно на изученіи самоуничтожающихъ другъ друга „данныхъ", конечно, можетъ быть

только непрестанная маята существованія и одновременно съ нимъ также непрестанное желаніе разыскать какое-либо доступное пониманію основаніе всего нами пережитого. Примѣривали мы себя и къ Европѣ вообще, и къ росту отдѣльныхъ европейскихъ народовъ въ частности, полагая, „не выйдетъ ли чего въ нашу пользу"? Строили программы жизни, составляли росписанія порядка жизни, созидали теоріи болѣе или менѣе популярнаго благообразія, и изъ всего этого, въ концѣ концовъ, все-таки не получилось пока ничего существеннаго и осязаемаго" (стр. 378—379).

„Теоріи" друзей народа бывали самыя скромныя—забота о народной школѣ, о земскихъ вопросахъ, но „угрюмая, сердитая старина" не могла вынести и этого, и „съ первыхъ же дней реформы направила всю свою стихійную силу на то, чтобы не дать ходу молодымъ побѣгамъ жизни. Самыя неистовыя, явныя хищничества, земельныя, банковыя, желѣзнодорожныя, торжественно, безбоязненно, побѣдительно предъявляютъ себя молодому поколѣнію, ежедневно, въ теченіе многихъ и многихъ лѣтъ. И въ то же время, корреспонденція сельскаго учителя, направленная противъ сельскаго хищника, губила этого корреспондента и ни мало не вредила хищнику. Немудрено, что такое продолжительное несоотвѣтствіе добрыхъ и злыхъ теченій въ нашей жизни разрѣшилось тою ужаснѣйшею *истерикой*, которая надолго пришибла сплошь все русское общество. Люди, по тѣмъ или инымъ причинамъ устоявшіе или устранившіеся отъ истерической эпидеміи, стали понемногу разъединяться другъ отъ друга, стали подумывать чаще, чѣмъ прежде, „о хлѣбѣ" и о тихомъ пристанищѣ" (стр. 430).

Писанія г. Успенскаго представляютъ именно отраженіе и въ значительной степени выраженіе мыслей и исканій этого поколѣнія шестидесятыхъ годовъ, въ которомъ стремленіе къ общественно-полезному труду направилось на народные вопросы. Длинный рядъ его очерковъ и разсказовъ занятъ исключительно этими вопросами; всего чаще это — отдѣльные эпизодическіе очерки; при всѣхъ нерѣдко замѣчательныхъ художественныхъ достоинствахъ этой эпизодической живописи, разсказъ всегда имѣетъ свое „нравоученіе", свое практическое примѣненіе, высказанное или предполагаемое. Быть можетъ, „нравоученіе" иногда односторонне, не всегда правильно, — но самое наблюденіе всегда интересно.

Таковы и его путевые очерки. Какъ мы сказали, онъ много странствовалъ по Россіи—и странствовалъ не по извѣстнымъ, изби-

тымъ путямъ, а забираясь въ проселочную глушь и въ рѣчныя захолустья. Здѣсь, между прочимъ, яснѣе видны и отношенія цивилизаціи и „самобытности".

„Тѣмъ именно и хороши поѣздки по сухопутнымъ и рѣчнымъ проселкамъ, что вы здѣсь видите подлинное отношеніе между тѣмъ, что̀ „самобытно" и что̀ занесено изъ чужой земли. На желѣзной дорогѣ трудно видѣть эти подлинныя отношенія между своимъ и чужимъ; тамъ, кромѣ иноземной выдумки,—локомотива, рельсовъ и вагоновъ, т.-е. всего необходимаго для передвиженія, —движеніе это обставлено и другими чужеземными удобствами: вокзалы, буфеты, комнаты для пріѣзжающихъ, уборныя, газетные шкафы и прочія удобства обыкновенной чужеземной жизни неразлучны съ удобствами передвиженія. Пять-шесть дней такого пути ни на минуту не оторвутъ васъ отъ всевозможныхъ удобствъ обыкновенной „культурной" жизни, и путникъ на край свѣта привезетъ самого себя съ тѣми самыми душевными осложненіями, отъ которыхъ именно и хотѣлъ отдохнуть во время поѣздки.

„Не то на сухопутныхъ и рѣчныхъ проселкахъ. Здѣсь пароходъ, чужеземная выдумка, самъ по себѣ, а берегъ, съ которымъ пароходъ имѣетъ дѣло, и обыватель, который садится на него съ этого берега, также самъ по себѣ. Поэтому пароходъ устраиваетъ для него бархатный диванъ, а берегъ приноситъ на этотъ диванъ самой свѣжей грязи или пыли; пароходъ устраиваетъ ему буфетикъ съ бутербродикомъ, столикъ для обѣда и „карту кушаньевъ", а берегъ тащитъ изъ грязнаго огромнаго мѣшка, занимающаго три мѣста, собственнаго своего жаренаго поросенка, свою водку, свои свертки чая, сахара, булокъ и запимаетъ всѣмъ этимъ весь „культурный" столикъ. Словомъ, между иностранной выдумкой на водѣ и самобытнымъ обычаемъ жизни на берегу не существуетъ на этихъ проселкахъ ни малѣйшихъ признаковъ единенія".

И онъ рисуетъ забавную картину собственнаго путешествія къ пароходу „на водѣ" по первобытнымъ топямъ „на берегу" и траги-комическую исторію барыни, сошедшей на пристани съ парохода „на берегъ" и очутившейся тотчасъ въ непроглядныхъ потьмахъ, въ невылазной грязи, и подъ кучей свалившихся на нее семи „мѣстъ" ея багажа, — чѣмъ она даже и не возмущалась, потому что имѣла привычки „берега".

„Пароходство по Окѣ,—продолжаетъ г. Успенскій,—существуетъ уже болѣе семнадцати лѣтъ, а между тѣмъ населеніе нисколько не постаралось облегчить и обставить хоть какими-нибудь удобствами свои сношенія съ этой пришлой выдумкой,

называемой пароходомъ. Пароходъ строитъ пристань, т.-е. ставитъ баржу, дрянную, маленькую, ничтожную; соединяетъ эту баржу съ берегомъ двумя бревнами, скрѣпленными веревками, на которыя въ длину настланы доски, и тѣмъ ограничиваетъ свое вниманіе къ береговому обывателю. Пароходъ такъ экономенъ, что этотъ спускъ доходитъ только до уровня воды, которая иногда плещетъ черезъ концы бревенъ и досокъ, упирающихся въ берегъ, а затѣмъ дальнѣйшее слѣдованіе людей и товаровъ на берегъ и съ берега предоставляется уже мудрости обывателей. И обыватели прямо лѣзутъ на стѣну, по грязи, спотыкаясь, пачкаясь, падая подъ тяжестью чемодановъ, мѣшковъ, а главное, подъ тяжестью товаровъ, тюковъ и бочекъ. Только въ нѣкоторыхъ городкахъ, и то старыхъ, устроены еще кой-какія лѣсенки отъ воды на вершины берега; но это сдѣлано такими городами, у которыхъ уже есть своей собственной исторіи лѣтъ по шестисотъ; тамъ же, гдѣ исторіи всего лѣтъ двадцать, тамъ до этой лѣсенки остается еще шестьсотъ лѣтъ ожиданія" (стр. 266—267).

Эта „самобытность" съ шестью стами лѣтъ ожиданія будущей возможности взойти на крутой берегъ по лѣстницѣ привлекаетъ нашего писателя столь же мало, какъ другая „самобытность" народнаго быта, которая выражается „семейной бойней"... Разсказывая о своемъ путешествіи отъ вокзала желѣзной дороги до упомянутой пароходной пристани, г. Успенскій замѣчаетъ, что въ странствіи по топямъ грязи, гдѣ, по словамъ артельщика, его „однажды прямо Богъ спасъ", въ этомъ странствіи „забывается сразу все политическое положеніе Россіи и Европы, западничество, славянофильство и народничество, конституціонный режимъ и свобода печати", и при новыхъ толчкахъ и „паденіяхъ въ бездну" мысль невольно начинаетъ принимать „религіозное направленіе" и, наконецъ, оказываешься „въ отдаленнѣйшемъ прошломъ".

Подобныя впечатлѣнія, когда забываются всѣ наши вопросы, когда мысль начинаетъ принимать „религіозное направленіе" и погружаешься въ отдаленнѣйшее прошлое, можно сказать, сопровождали писателя и во всѣхъ его странствіяхъ. Онъ видывалъ народную жизнь лицомъ къ лицу, въ самыхъ разнообразныхъ ея проявленіяхъ, въ самыхъ разнообразныхъ комбинаціяхъ бытовой непосредственности и культуры, отъ примѣровъ страшнаго извращенія человѣческой личности, какъ напримѣръ въ эпизодѣ объ аракчеевцѣ или въ разсказѣ „Расцѣловали" (ему встрѣчались даже нравы, напоминавшіе ему времена „ихтіозавровъ", стр. 486), до примѣровъ по истинѣ трогательнаго добросердечія и заботы о

ближнемъ, какъ въ разсказахъ, соединенныхъ подъ заглавіемъ „Невидимки“. Можно, кажется, съ увѣренностью сказать, что ни у кого изъ нашихъ беллетристовъ-народниковъ не встрѣтится такого обилія разнообразныхъ, живо схваченныхъ типовъ, какъ въ этихъ дорожныхъ очеркахъ г. Успенскаго: они взяты не изъ скудныхъ, случайныхъ воспоминаній, а изъ пристальнаго наблюденія въ прямомъ общеніи съ народомъ. Въ большинствѣ случаевъ это не одна выставка типовъ, безразлично собранныхъ ради ихъ живописной оригинальности, какъ это нерѣдко бываетъ у иныхъ повѣствователей; это типы, характерные въ бытовомъ смыслѣ, наводящіе на прямой практическій вопросъ, который вызываетъ на помощь или со стороны просвѣщенныхъ друзей народа, или прямо со стороны законодательной власти. Укажемъ, напримѣръ, что̀ говоритъ нашъ писатель о положеніи переселенцевъ въ Сибири, о расколѣ (стр. 250), и др.

Не мудрено, что разнообразная масса впечатлѣній, собранныхъ на пространствѣ отъ Петербурга до Дуная и Баку на югѣ, и до Томска на востокѣ, впечатлѣній не прикрашенной никакими предвзятыми теоріями народной дѣйствительности, въ ея встрѣчахъ и противорѣчіяхъ съ „цивилизаціей“, нерѣдко приводила нашего путешественника въ полное недоумѣніе, почти въ состояніе „столбняка“. И въ самомъ дѣлѣ, не легко было бы разобраться въ массѣ бытовыхъ явленій громаднаго народа, въ эпоху несомнѣнно совершающагося бытового перелома. Наблюдателя поражаетъ громадность того, что̀ должно быть сдѣлано для элементарныхъ потребностей правильно поставленнаго народнаго быта, когда, между тѣмъ, для этого не дѣлается даже вещей очень немудреныхъ, указываемыхъ простымъ здравымъ смысломъ и простымъ добрымъ чувствомъ. Внѣ сомнѣнія стоитъ необходимость широкой народной школы, которая удалила бы или, по крайней мѣрѣ, ограничила „власть тьмы“, потребность правильнаго устройства земельныхъ отношеній; наконецъ, еще одинъ вопросъ, наполняющій наблюдателя безпокойствомъ, есть распространеніе власти капитализма, который олицетворяется г. Успенскимъ въ видѣ „господина Купона“.

Въ разсказѣ „Слѣпой пѣвецъ“, дѣйствіе котораго происходитъ гдѣ-то въ кубанской станицѣ, авторъ рисуетъ намъ удручающую картину того, какъ господинъ Купонъ съ его „антихристовыми печатями“, въ видѣ желѣзной дороги, вокзала, трактира, кафе-шантана, новой моды, „пинжака“ и „тюрнюра“ и т. д., врывается въ мирную жизнь мирной станицы и разомъ уничтожаетъ въ ней прежній, неприхотливый спокойный бытъ, замѣняя

его алчнымъ стремленіемъ къ наживѣ и порчей нравовъ. Остается, однако, недоумѣніе: какъ же съ этимъ быть? Если г. Купонъ врывается въ патріархально проживавшія захолустья, то очень прискорбно, конечно, что онъ разрушаетъ мирную идиллію (если только она была?), но помочь этому, удалить г. Купона, нѣтъ никакой возможности. Онъ придетъ, хотимъ ли мы этого или не хотимъ; онъ идетъ не только въ кубанскія или, напримѣръ, сибирскія захолустья, но проникаетъ даже во внутреннюю Африку, отъ вѣковъ неизвѣстную постороннему человѣчеству. Съ извѣстными свойствами г. Купона, неполезными для нравовъ мѣстныхъ обывателей, соединяются несомнѣнно и большія выгоды для другого человѣчества, на которыя онъ и разсчитываетъ и на которыхъ построенъ его успѣхъ. Паденіе патріархальной старины есть явленіе общечеловѣческое и ему нельзя помочь никакими соболѣзнованіями; нужно, слѣдовательно заботиться только о томъ, чтобы мѣстные обыватели бывали приготовлены къ этому неизбѣжному перевороту, для того, чтобы онъ не заставалъ ихъ врасплохъ и чтобы наступленіе новыхъ формъ обычая не сопровождалось тотчасъ эксплуатаціей и развратомъ. Въ болѣе прочно установленномъ культурномъ бытѣ проложеніе желѣзной дороги едва ли сопровождается такимъ нравственно-бытовымъ разгромомъ, какой изобразилъ г. Успенскій. Вопросъ опять возвращается къ тому же— къ достиженію болѣе правильно и здраво поставленнаго народнаго быта, путемъ экономическаго и гражданскаго обезпеченія и образованія.

Какъ мы говорили, г. Успенскій очень не нравится консервативнымъ отдѣламъ нашего общества и литературы, гдѣ его причисляютъ или къ писателямъ кабака и харчевни, или къ отпѣтымъ отрицателямъ; не нравится, очевидно, тѣмъ, что изучаетъ народную жизнь совершенно независимо отъ тѣхъ готовыхъ теоретическихъ или полу-мистическихъ фразистыхъ формулъ, въ которыхъ народный вопросъ считается заключеннымъ и разрѣшеннымъ; но можно спросить, гдѣ больше настоящаго народолюбія, правды и настоящей пользы для общественнаго самосознанія — въ тѣхъ ли высокомѣрныхъ и туманныхъ теоріяхъ, или въ этихъ пристальныхъ изученіяхъ народной дѣйствительности и въ этомъ раздумьѣ?

А. В—нъ.

СТИХОТВОРЕНІЯ

I.

ЮЖНЫЙ ПОЛДЕНЬ.

Дрожащій блескъ по воздуху разлитъ,
День пышетъ страстью свѣтлой и великой,
И какъ раба, любимая владыкой,
Оцѣпенѣло море и молчитъ.
Къ подножью маслинъ съ блѣдными листами
И олеандровъ, рдѣющихъ цвѣтами,
Прижались робко тѣни ихъ вѣтвей,
И вся земля, лишенная тѣней,
Открылась взорамъ полдня и, нагая,
Горитъ отъ жгучихъ ласкъ, изнемогая...
Въ садахъ, подъ неподвижной пеленой
Благоуханій, въ сладостномъ покоѣ,
Незримо переходитъ солнца зной
И въ виноградный сокъ, и въ ядъ алое.
Цвѣтетъ, ликуя, все, что жизнь таитъ.
И даже скалъ желтѣющій гранитъ,
Не выдержавъ лобзаній раскаленныхъ,
Рождаетъ солнцу зелень чахлыхъ мховъ.
Лишь голые утесы береговъ,
Внезапной тишиною пробужденныхъ,
Глядятъ въ стекло зелено-синихъ водъ
И съ грустью видятъ въ нихъ свои морщины.
А тамъ, вдали, безъ вѣтра пыль встаетъ.
Нѣтъ, то не пыль. То горныя вершины

Мерещатся, какъ призраки иль сны,
Сквозь отраженный блескъ лучей отвѣсныхъ,
И, кажется, средь общей тишины
Заснуло время въ глубинахъ небесныхъ...

Любовь и радость, мощь и красота,—
Все то, чего мы жаждемъ такъ напрасно,—
Все воплотилось въ этотъ полдень ясный—
Безъ цѣли, безъ желанья, безъ труда...

II.

* * *

Съ высотъ альпійскихъ я принесъ
Тебѣ цвѣтокъ сухой и бѣлый.
Онъ на скалѣ обледенѣлой
Одинъ подъ блѣднымъ небомъ росъ.
Нѣтъ въ лепесткахъ благоуханья,
На жесткихъ листьяхъ красокъ нѣтъ.
Онъ вешней лаской не согрѣтъ
И не боится увяданья.

Тамъ, на заоблачной тропѣ,
Гдѣ я нашелъ цвѣтокъ подснѣжный,
Я думалъ про тебя, другъ нѣжный,
И про любовь мою къ тебѣ.

Какъ ледъ вершинъ, давно остыла
Душа печальная моя
И въ размышленіяхъ забыла
Весну и краски бытія.
Но—видишь—мыслямъ непокорный,
Къ тебѣ влюбленный я пришелъ.
—Храни, мой другъ, цвѣтокъ нагорный,
Храни любви моей символъ!

Н. Минскій.

ГЕНРИХЪ ГЕЙНЕ,

ЕГО

КРИТИКИ И ИСТОРИКИ

— *Georg Brandes*, Die Litteratur des neunzehnten Jahrhunderts in ihren Hauptströmungen dargestellt. Sechster Band. Das junge Deutschland. Leipzig 1891.

— *Heinrich v. Treitschke*, Deutsche Geschichte in neunzehnten Jahrhunderts. B. III u. IV. Leipzig, 1885 u. 1889.

Георгъ Брандесъ привелъ къ концу большое дѣло, предпринятое имъ почти двадцать лѣтъ тому назадъ. Осенью 1890 г. вышелъ въ свѣтъ шестой и послѣдній томъ „Литературы XIX-го вѣка, изображенной въ главныхъ ея теченіяхъ". Заглавіе книги не вполнѣ соотвѣтствуетъ ея замыслу и содержанію; она обнимаетъ собою, и то не вполнѣ, только первую половину XIX-го вѣка. Предѣльнымъ пунктомъ своего труда Брандесъ избралъ 1848 годъ, до котораго онъ и довелъ обзоръ литературъ французской и нѣмецкой; исторія англійской литературы прерывается у него на смерти Байрона, т.-е. не идетъ дальше первой четверти столѣтія. Существенно-важной неполноты отъ этого, однако, не происходитъ, такъ какъ всѣ выдающіеся англійскіе поэты и романисты, выступившіе на сцену въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ—Теннисонъ, Диккенсъ, Теккерей, Бульверъ, Троллопъ, Дизраели,—достигли своего апогея уже послѣ 1850 года.

Шестой томъ сочиненія Брандеса посвященъ „молодой Германіи", т.-е. литературной школѣ, сложившейся на развалинахъ

романтизма и возобновившей, шестьдесятъ лѣтъ спустя послѣ „Вертера“ и „Разбойниковъ“, эпоху „бури и напора“ (Sturm und Drangperiode). Тѣсно связаны съ этой школой — не какъ основатели, но какъ предшественники ея и вдохновители—Бёрне и Гейне. Они появились гораздо раньше, поднялись гораздо выше; но ихъ коснулось преслѣдованіе, возбужденное противъ ихъ преемниковъ, и кличка „молодой Германіи“, съ легкой руки Менцеля и союзнаго сейма, соединила въ одно цѣлое такія разнородныя величины, какъ Бёрне—и Мундтъ, Гейне—и Лаубе. Понятно, что критика относится къ нимъ совершенно иначе и тщательно отдѣляетъ крупное отъ мелкаго. Величайшему нѣмецкому поэту XIX-го вѣка отведена цѣлая четверть книги Брандеса—и это, безспорно, самый интересный ея отдѣлъ, на которомъ мы и хотимъ остановить вниманіе нашихъ читателей.

О Гейне и по поводу Гейне написано и пишется до сихъ поръ очень много. Его не только изучаютъ, какъ явленіе, перешедшее въ область исторіи—о немъ горячо спорятъ, его осуждаютъ и оправдываютъ, какъ писателя, стоящаго въ водоворотѣ современныхъ стремленій. Въ то самое время, когда одна за другою слѣдуютъ монографіи о Гейне, относящіяся къ нему по возможности спокойно и объективно (послѣдняя изъ нихъ, по времени, написана Прёльсомъ: *Robert Proelss*, Heinrich Heine. Sein Lebensgang und seine Schriften nach den neuesten Quellen dargestellt. Stuttgart, 1886), одинъ изъ выдающихся нѣмецкихъ историковъ, Трейтшке, осыпаетъ Гейне укоризнами, напоминающими самый разгаръ гоненій противъ „молодой Германіи“. Настроеніе, выражающееся въ этихъ укоризнахъ, нельзя назвать ни случайнымъ, ни скоропреходящимъ. Четвертый томъ сочиненія Трейтшке, появившійся въ 1889 г., такъ же богатъ выходками противъ Гейне (и Бёрне), какъ и третій, вышедшій въ свѣтъ четырьмя годами раньше. Запальчивыя нападенія вызываютъ столь же пламенную защиту; молодой писатель, Поль Неррлихъ, посвящаетъ цѣлую брошюру (Herr von Treitschke und das junge Deutschland. Berlin, 1890) реабилитаціи литературныхъ героевъ, развѣнчиваемыхъ консервативнымъ историкомъ. Разгадка этой страстности заключается въ томъ, что Гейне — какъ и Бёрне, какъ и многіе другіе писатели тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ— поклонялся сжигаемому въ наше время, сжигалъ кумиры, опять сдѣлавшіеся предметомъ поклоненія. „Въ новой германской имперіи,—говоритъ Брандесъ, — обстоятельства сложились неблаго-

пріятно для Гейне. Ему не могутъ простить любовь къ Франціи и тѣсно связанное съ нею легкомысліе (Frivolität). Въ его пассивъ вносится его не-германское происхожденіе и не-германское остроуміе, его чувствительность, его несдержанность, его щегольство, его вызывающее язычество. Новая Германія, въ сущности, индифферентна къ религіи, но она это скрываетъ; въ области нравственной она отличается дисциплиной. Высшія добродѣтели—любовь къ правдѣ, самостоятельность, тонкость чувствъ, сознаніе собственнаго достоинства—она цѣнитъ меньше, чѣмъ исполненіе долга, внѣшнюю порядочность и выдержку, военное мужество, умѣнье стремиться во что бы ни стало къ однажды намѣченной цѣли. Не то было въ эпоху Гейне. Дисциплинѣ большого значенія не придавалось; религіозность ставилась выше религіи, человѣчность—выше національнаго чувства. Справедливость, въ глазахъ лучшихъ людей того времени, была обязательна не только по отношенію къ своимъ, но и по отношенію къ чужимъ; патріотизмъ признавался добродѣтелью не иначе, какъ съ этой оговоркой". Для Трейтшке, какъ и для всѣхъ правовѣрныхъ германскихъ націоналистовъ и централистовъ, прусское государство—синонимъ всего лучшаго и высшаго, источникъ всѣхъ благъ, свѣтило міра; для Гейне оно было ненавистной помѣхой на пути къ свободѣ. Этого до сихъ поръ не могутъ простить ему прусскіе патріоты, не исключая и тѣхъ, которые, какъ Трейтшке, очень хорошо видятъ и понимаютъ ошибки прусскаго правительства при Фридрихѣ-Вильгельмѣ III и Фридрихѣ-Вильгельмѣ IV. По справедливому замѣчанію Брандеса, нерасположеніе Гейне къ Пруссіи усиливалось еще тѣмъ, что онъ былъ уроженцемъ рейнской провинціи, во многомъ составлявшей контрастъ съ старо-прусскими областями и долго не примирявшейся съ мыслью о прусскомъ господствѣ. Тогдашніе жители Кельна, Кобленца, Дюссельдорфа не хотѣли и не могли считать себя пруссаками. О молодомъ человѣкѣ, взятомъ въ солдаты, родители и родственники его говорили, что онъ „служитъ у пруссаковъ". Мѣстнымъ чиновникамъ переводъ на службу въ старо-прусскія провинціи представлялся чѣмъ-то въ родѣ ссылки въ Сибирь—и это представленіе поддерживалось тѣмъ, что, съ точки зрѣнія самого правительства, перемѣщеніе съ запада на востокъ являлось иногда какъ бы наказаніемъ для служащихъ. Припомнимъ, напримѣръ, что уже послѣ смерти Гейне, въ эпоху „конфликта" между министерствомъ и сеймомъ (т.-е. въ первой половинѣ шестидесятыхъ годовъ), одинъ изъ вождей оппозиціи, Бокумъ-Дольфсъ, занимавшій довольно высокій административный постъ въ Кобленцѣ, былъ

переведенъ на ту же должность въ Гумбинненъ, къ самой русской границѣ... Понятно, къ чему должна была привести инстинктивная антипатія, усложненная сознательною политическою враждою; понятна незавидная роль, отводимая въ стихотвореніяхъ Гейне „уродливой птицѣ“, прусскому орлу, которому онъ грозить стрѣлами изъ *рейнскихъ* луковъ (ich rufe zum lustigen Schiessen herbei die rheinischen Bogenschützen). Нужно быть очень уже щепетильнымъ пруссакомъ, чтобы негодовать на Гейне, заднимъ числомъ, за эти несбывшіяся угрозы. Еще одинъ шагъ —и ему поставятъ въ вину, зачѣмъ онъ не пѣлъ „die Wacht am Rhein“, хотя при его жизни эта любимая пѣснь гг. Трейтшке и К° и не была еще написана.

Для Трейтшке непонятно, какимъ образомъ молодежь тридцатыхъ годовъ могла увлекаться французскимъ конституціонализмомъ—этой „неестественной смѣсью англійскихъ парламентскихъ порядковъ съ наполеоновскимъ административнымъ деспотизмомъ“. Онъ не можетъ простить тогдашнимъ галломанамъ, что для нихъ былъ дороже генералъ Фуа—чѣмъ генералъ Гнейзенау, любой „передовой“ ораторъ французской палаты депутатовъ—чѣмъ великій министръ Мотцъ, создатель великаго таможеннаго союза. Болѣе страннаго недоразумѣнія нельзя себѣ и представить. Теоріямъ и доктринамъ самаго недавняго происхожденія Трейтшке хочетъ дать обратную силу. Ему досадно, зачѣмъ разочарованіе въ спасительной силѣ конституціонализма, составляющее—хотя и не въ такой степени, какъ это кажется нашимъ доморощеннымъ обскурантамъ—сигнатуру семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ, не наступило гораздо раньше, во второй четверти XIX-го вѣка. Онъ сердится, какъ ребенокъ, на всѣхъ тѣхъ, кто не былъ бисмаркіанцемъ еще до Бисмарка. Ослѣпленный гнѣвомъ, онъ забываетъ, что заслуги Мотца—если и допустить, что ихъ новѣйшая оцѣнка свободна отъ преувеличеній—не были и не могли быть извѣстны современникамъ министра, вслѣдствіе строгой тайны, покрывавшей внутреннее управленіе тогдашней Пруссіи. Онъ упускаетъ изъ виду, что среди глубокаго мира слава Гнейзенау,—многимъ, вдобавокъ, обязанная позднѣйшимъ историческимъ изслѣдованіямъ,—неминуемо должна была отойти на второй планъ, между тѣмъ какъ слава генерала Фуа или генерала Ламарка (Фуа, какъ извѣстно, умеръ еще до 1830 г.) была тѣсно связана съ лучшими стремленіями тогдашняго времени.

Тѣмъ же нарушеніемъ исторической перспективы Трейтшке грѣшитъ и тогда, когда громитъ Гейне за его увлеченіе Наполеономъ. „Тѣнь Наполеона,—восклицаетъ Трейтшке,—была для

Гейне предметомъ идолопоклонства, до котораго не доходили даже льстивыя рѣчи императорскаго сената. Это лакейское настроеніе (Bedientengesinnung) тѣмъ отвратительнѣе, что источникомъ его служило, отчасти, желаніе нравиться (Gefallsucht); прославляя генія, тщеславный поэтъ хотѣлъ превознести, этимъ самымъ, собственное свое величіе". Въ послѣднихъ словахъ озлобленіе Трейтшке доходитъ до нелѣпости; въ самомъ дѣлѣ, кто же повѣритъ, что Гейне рисовался и думалъ о самомъ себѣ, когда писалъ удивительное именно своею простотою стихотвореніе: „Два гренадера" или восторженныя страницы въ „Buch Le Grand"? Щеголять наполеоновскимъ культомъ и видѣть въ немъ какъ бы ходули для собственнаго возвышенія Гейне не могъ уже потому, что этотъ культъ былъ тогда явленіемъ весьма распространеннымъ, почти зауряднымъ. Современный взглядъ на Наполеона, основанный отчасти на печальномъ опытѣ второй имперіи, отчасти на полувѣковой исторической работѣ, разрушившей наполеоновскую легенду, нельзя переносить въ двадцатые или тридцатые годы, когда къ обаянію неслыханныхъ побѣдъ присоединилось обаяніе столь же неслыханнаго паденія и „мученичества" на островѣ Св. Елены. Гейне, какъ и нашъ Пушкинъ, восхвалялъ павшаго, „побѣжденнаго властителя"; если это восхваленіе можетъ быть названо „лакейскимъ", то что́ же сказать о хвалахъ, предметомъ которыхъ былъ Наполеонъ торжествующій, и торжествующій именно надъ Германіей? А въ такихъ хвалахъ повиненъ—если только здѣсь можетъ быть рѣчь о „винѣ"—Гёте, повиненъ Гегель. Эпитетъ, столь неудачно избранный Трейтшке, примѣнимъ къ рѣчамъ наполеоновскаго сената, но примѣнимъ къ нимъ только потому, что онѣ относились къ *царствующему* императору и дѣйствительно были *льстивы*, т.-е. неискренни и вызваны личнымъ, мелкимъ, своекорыстнымъ разсчетомъ.

Упрекъ въ отсутствіи патріотизма, въ недостаткѣ любви къ отечеству, къ народу, — упрекъ, связываемый обыкновенно съ еврейскимъ происхожденіемъ Гейне,—былъ пущенъ въ ходъ еще Менцелемъ. Съ тѣхъ поръ онъ повторялся безчисленное множество разъ—и теперь опять возобновленъ Трейтшке, здѣсь, какъ и во многомъ другомъ, подающимъ руку Штеккеру и тому подобнымъ проповѣдникамъ антисемитизма. Брандесъ утверждаетъ, наоборотъ, что Гейне, какъ и Бёрне, вовсе не былъ лишенъ патріотическаго чувства. Этимъ чувствомъ внушены рѣзкія выходки Бёрне противъ апатіи, вялости, низкопоклонства нѣмцевъ; это же чувство слышится въ безпощадной ироніи Гейне. Иногда оно выливается въ страницахъ, полныхъ истиннаго лиризма. Таково,

напримѣръ, то мѣсто въ „Reisebilder“, гдѣ Гейне сравниваетъ себя съ шутомъ императора Максимиліана, прославившимся своей вѣрностью Кунцемъ фонъ-деръ-Розенъ. „О, германская отчизна, о, дорогой германскій народъ! Я—твой Кунцъ фонъ-деръ-Розенъ. Тотъ, чье призваніе—веселье, тотъ, кто долженъ забавлять тебя въ часы счастья, проникаетъ въ твою темницу, утѣшаетъ тебя въ минуту невзгоды. Я приношу съ собою твой крѣпкій скипетръ и твою прекрасную корону; узнаешь ли ты меня, мой повелитель? Ты въ оковахъ, но побѣда останется за тобою, потому что на твоей сторонѣ право. Приближается часъ освобожденія, настаетъ новое время. Ночь прошла, о мой повелитель; за стѣнами тюрьмы занимается утренняя заря“. И дѣйствительно, несмотря на симпатію къ чужой странѣ, несмотря на горькія укоризны, расточаемыя соотечественникамъ, Гейне былъ нѣмцемъ и нѣмецкимъ патріотомъ. Первое признаетъ даже Трейтшке, допуская, что въ часы поэтическаго вдохновенія Гейне чувствовалъ вполнѣ по-нѣмецки (in den Stunden, da er ein Dichter war, empfand er ganz deutsch). „Чувствовать по-нѣмецки“ —не все ли это равно, что сочувствовать нѣмцамъ, раздѣлять ихъ радость и горе? Конечно—не ту радость, которую даетъ удовлетвореніе худшихъ національныхъ похотей, не то горе, источникомъ котораго служитъ тщеславіе или трусость. Есть патріотизмъ, отъ котораго, по выраженію самого Гейне, съуживается и съёживается сердце, какъ кожа во время холода; есть патріотизмъ другого рода, согрѣвающій и расширяющій сердце, дающій ему возможность обнять, въ одномъ чувствѣ, и часть, и цѣлое. Патріотизмъ перваго рода при жизни Гейне былъ обычнымъ свойствомъ „средняго“ нѣмца,—и еще больше, чѣмъ тогда, распространенъ въ современной Германіи; патріотизмомъ второго рода былъ одушевленъ самъ Гейне. Намъ, русскимъ, должна быть особенно понятна „ненавидящая любовь“, заставлявшая Гейне скрывать подъ смѣхомъ „невидимыя міру слезы“.

Можно ли, однако, говорить серьезно о любви Гейне къ кому бы то ни было и чему бы то ни было? Былъ ли онъ въ чемъ-либо убѣжденъ, вѣрилъ ли чему-либо, желалъ ли, горячо и страстно, осуществленія той или другой завѣтной идеи? Въ этомъ сомнѣвались уже современники Гейне, и притомъ въ обоихъ лагеряхъ, реакціонномъ и прогрессивномъ; не довѣрялъ веселому поэту, какъ извѣстно, и тотъ, кто раздѣлялъ съ нимъ честь менцелевскихъ нападокъ и сеймовыхъ запрещеній—не довѣрялъ ему самъ Бёрне. Съ такимъ же недовѣріемъ смотрятъ на него и теперь его враги, въ родѣ Трейтшке, а односторонніе поклон-

ники не хотятъ видѣть въ немъ ничего другого, какъ только пѣвца скоропреходящей любви и беззаботныхъ наслажденій. Основаніемъ для подобныхъ взглядовъ служать, прежде всего, нѣкоторыя черты въ жизни Гейне. Въ 1828 г., когда онъ надѣялся получить мѣсто въ Мюнхенѣ, въ 1837 г., когда онъ разсчитывалъ на разрѣшеніе, въ Пруссіи, газеты, которую онъ намѣревался основать въ Парижѣ, онъ выражалъ готовность примириться съ нѣмецкими порядками; въ тридцатыхъ годахъ онъ принялъ небольшую пенсію отъ министерства Гизо и продолжалъ пользоваться ею до самаго паденія польской монархіи. Само собою разумѣется, что все это тщательно подчеркивается его противниками. Трейтшке прямо называетъ Гейне „наемникомъ" Гизо, говоритъ о „торговой сдѣлкѣ", заключенной между нѣмецкимъ поэтомъ и французскимъ министромъ. Слишкомъ строгій судья упускаетъ изъ виду, что въ моментъ совершенія этой „сдѣлки" Гейне грозила совершенная нищета. Союзный сеймъ, незадолго передъ тѣмъ, запретилъ обращеніе въ Германіи не только всѣхъ уже изданныхъ сочиненій Гейне, но и всѣхъ тѣхъ, которыя *будутъ имъ написаны*,—а кромѣ пера, у Гейне не было тогда никакихъ средствъ къ жизни. Еще важнѣе обстоятельство, указываемое въ брошюрѣ Неррлиха: пенсія была назначена Гейне на томъ же основаніи, какъ и многимъ другимъ политическимъ изгнанникамъ. Въ спискѣ пенсіонеровъ находились, рядомъ съ Гейне, бывшій шведскій король (Густавъ IV) и бывшій испанскій первый министръ (Годои). Ясно, что здѣсь не было ничего похожаго на „наемъ", на „торговую сдѣлку". Наемъ предполагаетъ обоюдность обязательствъ—а никто не утверждаетъ, чтобы Гейне принялъ на себя какія-либо обязательства по отношенію къ правительству Людовика-Филиппа. Онъ ничего не писалъ по его заказу или въ его защиту. Правда, отзывы его о французскомъ правительствѣ, относящіеся къ сороковымъ годамъ, мягче, чѣмъ отзывы тридцатыхъ годовъ; но, по справедливому замѣчанію Неррлиха, достаточнымъ объясненіемъ этому служитъ чувство благодарности, котораго не могло не внушать Гейне французское гостепріимство. Іюльское правительство привыкло выслушивать самыя горькія истины у себя дома, отъ французскихъ ораторовъ и журналистовъ; ему не было надобности заботиться о молчаніи *одного* писателя — и еще, вдобавокъ, писателя *нѣмецкаго*. Тогдашняя нѣмецкая журналистика не имѣла никакого политическаго значенія, и министрамъ Людовика-Филиппа, какъ и самому королю, было довольно безразлично, что говоритъ о нихъ какая-нибудь „Аугсбургская Всеобщая Газета". Конечно, было бы лучше,

еслибы въ жизни Гейне не было этого эпизода,—но во всякомъ случаѣ онъ не имѣетъ той окраски, которую ему даетъ Трейтшке. Болѣе непріятное впечатлѣніе производятъ уступки, на которыя шелъ Гейне, чтобы открыть своей газетѣ доступъ въ Пруссію; но это была минутная слабость, особенно часто постигающая изгнанниковъ. Можно сказать почти навѣрное, что разрѣшеніе прусскаго правительства, еслибы оно было дано, очень скоро было бы взято обратно. Одно дѣло—попытаться, съ отчаянія, стать оффиціознымъ или „пріятнымъ“ публицистомъ, другое дѣло —свыкнуться съ этимъ положеніемъ. На послѣднее Гейне едва ли оказался бы способнымъ.

Гораздо интереснѣе посмотрѣть, на сколько и какъ образъ мыслей Гейне отразился въ его произведеніяхъ. Свободными отъ противорѣчій ихъ признать никакъ нельзя—а отъ противорѣчій только одинъ шагъ до недоразумѣній, вольныхъ и невольныхъ. Гейне говоритъ какъ радикалъ, какъ революціонеръ,—и вмѣстѣ съ тѣмъ постоянно увѣряетъ, что онъ не якобинецъ, даже не республиканецъ. Онъ идетъ чрезвычайно далеко въ своихъ выходкахъ противъ монарховъ и монархіи (см., напримѣръ, его діалогъ съ Барбароссой въ „Германіи“ или его стихотвореніе: „1649—1793—???“)—и вмѣстѣ съ тѣмъ восхищается не только Наполеономъ, но и другими деспотами, не окруженными ореоломъ всемірной славы. Въ „Атта-Тролль“ онъ осмѣиваетъ не только общепринятые, традиціонные взгляды, но и многіе догматы новѣйшаго демократическаго катехизиса. Разгадку всѣхъ этихъ контрастовъ Брандесъ видитъ въ томъ, что Гейне былъ въ одно и то же время большимъ поклонникомъ свободы и рѣшительнымъ аристократомъ. Онъ страстно любилъ свободу, тяжело чувствовалъ ея отсутствіе; но его тонкой, нервной натурѣ было свойственно, вмѣстѣ съ тѣмъ, отвращеніе къ посредственности, господство которой казалось ему неизбѣжнымъ результатомъ эгалитарнаго режима. Въ его крови не было ни одной консервативной—но, точно также, и ни одной демократической капли. Онъ боится, что масса подавитъ личность, что идеалы средняго человѣка возьмутъ верхъ надъ стремленіями генія. Отсюда его нерасположеніе къ Сѣверо-Американскимъ Штатамъ (Manchmal kommt mir in den Sinn nach America zu segeln, nach dem grossen Freiheitsstall, der bewohnt von Gleichheitsflegeln); отсюда его насмѣшки надъ равенствомъ, нивеллирующимъ дарованія (Strenge Gleichheit! Jeder Esel sei befugt zum höchsten Staatsamt, und der Löwe soll dagegen mit dem Sack zur Mühle traben). Его приводила въ ужасъ одна мысль о жизни, въ которой не оставалось бы

мѣста для красоты, для искусства. Онъ ненавидѣлъ современное ему общество, управляемое тупымъ духовенствомъ и грубою аристократіей; но не болѣе привлекательнымъ казалось ему и общество будущаго, общество освобожденныхъ рабовъ, въ душѣ которыхъ мѣсто страха займетъ зависть. Онъ держалъ сторону революціи противъ Людовика XVI, этого честнаго слесаря, по ошибкѣ судьбы попавшаго на королевскій престолъ; но столь же несомнѣнно и то, что онъ былъ на сторонѣ Цезаря противъ Брута, этого глупца, умѣвшаго только вонзить ножъ въ великаго человѣка. Онъ воображалъ себя монархистомъ, но на самомъ дѣлѣ былъ цезаріанцемъ, т.-е. приверженцемъ силы, основанной на талантѣ; онъ называлъ себя демократомъ, потому что родился плебеемъ, обреченнымъ на оппозицію противъ высшихъ сословій. „Въ сущности", — таковъ заключительный выводъ Брандеса,— Гейне былъ послѣдователенъ. Кажущееся противорѣчіе въ его политическихъ симпатіяхъ и тенденціяхъ зависитъ отъ того, что онъ любилъ красоту и величіе не меньше, чѣмъ свободу, и не хотѣлъ принести въ жертву, на алтарѣ мнимаго равенства, высшее развитіе человѣческаго рода".

Объясненіе гейневскихъ противорѣчій, предлагаемое Брандесомъ, едва ли имѣетъ достоинство новизны, на которое прямо претендуетъ авторъ. Его элементы можно найти у самого Гейне— напримѣръ, въ предисловіи къ „Atta Troll", написанномъ въ 1846 г., пять лѣтъ спустя послѣ самой поэмы. Начало сороковыхъ годовъ, по словамъ Гейне, было временемъ наибольшаго развитія нѣмецкой политической поэзіи и вмѣстѣ съ тѣмъ политическаго ригоризма, требовавшаго отъ поэта прежде всего „честныхъ убѣжденій". „Музамъ было дано строгое предписаніе отнынѣ впредь не шататься легкомысленными и праздными, а поступить на службу, маркитантками при арміи свободы или прачками при христіанско-германской національности. Дарованіе стало синонимомъ безхарактерности [1]); въ рукахъ завистливаго безсилія антитеза характера и таланта сдѣлалась оружіемъ противъ притязаній генія. *Хорошіе музыканты* (Гейне

[1]) Ein Talent, doch kein Charakter—таково было обвиненіе, взведенное на Гейне. Великому юмористу стоило только измѣнить въ этой формулѣ нѣсколько словъ—и она обрушилась всей своей тяжестью на голову его противниковъ. Мы имѣемъ въ виду знаменитую эпитафію медвѣдя, героя поэмы (форма ея—пародія на стихи баварскаго короля Людвига I): „Atta Troll, Tendenzbär, sittlich religiös; als Gatte brünstig; durch Verführtsein von dem Zeitgeist, waldursprünglich sanskülotte; sehr schlecht tanzend, doch Gesinnung tragend in der zott'gen Hochbrust; manchmal auch gestunken habend; *kein Talent*, *doch ein Charakter*".

намекаетъ здѣсь на извѣстную нѣмецкую поговорку: gute Leute—aber schlechte Musikanten) были объявлены нехорошими людьми, и наоборотъ; пустая голова стала кичиться полнотою сердца". Этого не могъ перенести вѣрный рыцарь поэзіи и искусства,—и написалъ „Atta Troll", т.-е. сатиру на филистерство, облеченное въ демократическія формы. „Вы лжете,—восклицаетъ Гейне въ предисловіи къ поэмѣ, обращаясь къ ея многочисленнымъ критикамъ,—вы лжете, когда относите мои насмѣшки къ самымъ идеямъ, за которыя я такъ часто вступался и такъ много выстрадалъ. Поэту понятно чудное величіе этихъ идей—и именно потому имъ неудержимо овладѣваетъ смѣхъ, когда онъ видитъ, какъ грубо и тупо ихъ понимаютъ ограниченные ихъ поклонники. Есть зеркала, въ которыхъ всякій, будь это хоть самъ Аполлонъ, отражается въ каррикатурномъ видѣ. Смотря на нихъ, мы смѣемся—но смѣемся, конечно, не надъ богомъ, а надъ его извращеннымъ образомъ". Чрезвычайно ярко выразился здѣсь именно тотъ „умственный аристократизмъ" Гейне, о которомъ говоритъ Брандесъ. О внутренней цѣнности этого аристократизма можно быть различныхъ мнѣній. Самъ Брандесъ видитъ въ немъ, кажется, неизбѣжную и симпатичную принадлежность „тонкой" натуры; мы склонны думать, что съ „аристократизмомъ мысли", какъ и со всякимъ другимъ, неразрывно связана значительная доля эгоизма. Рѣчь идетъ, однако, не объ оправданіи или обвиненіи Гейне, а только объ *объясненіи* его умственнаго и нравственнаго склада—и съ этой точки зрѣнія мы вполнѣ присоединяемся къ взгляду Брандеса, находящему подтвержденіе въ словахъ самого Гейне.

Осмѣивая тѣхъ, кто *требовалъ* отъ музъ полезной политической службы, Гейне ничуть не отрицалъ *возможность* и законность политической поэзіи; лучшимъ доказательствомъ этому служитъ его „Германія", написанная три года спустя послѣ „Атта Тролля". Какъ разъ въ это время въ нѣмецкой литературѣ поставленъ былъ съ большой торжественностью вопросъ о томъ, можетъ ли поэтъ быть „человѣкомъ партіи". Поэтъ,—воскликнулъ Фрейлигратъ, находившійся тогда въ первомъ, политически-безцвѣтномъ періодѣ своей литературной дѣятельности и только-что принявшій пенсію отъ короля Фридриха-Вильгельма IV,—„поэтъ стоитъ на башнѣ болѣе высокой, чѣмъ крѣпостная стѣна партіи" (der Dichter steht auf einer höhern Warte als auf den Zinnen der Partei). На это отвѣчалъ другой молодой поэтъ, Георгъ Гервегъ, напомнившій Фрейлиграту, что на „крѣпостныхъ стѣнахъ партіи" сражались нѣкогда сами боги (Nur offen

wie ein Mann: Für oder wider! Und die Parole: Sklave oder frei! Selbst Götter stiegen vom Olymp hernieder und kämpften auf der Zinne der Partei!). Не прошло и года—и Фрейлигратъ, отказавшись отъ „инвалидной пенсіи", очутился въ одномъ лагерѣ съ Гервегомъ. Къ этому же лагерю принадлежалъ, въ сущности, и Гейне: онъ только не хотѣлъ быть въ немъ простымъ солдатомъ и нести, по командѣ, ежедневную строевую службу. На „крѣпостную стѣну партіи" авторъ „Германіи" выходилъ не въ урочный часъ, а только тогда, когда у него была готова новая, мастерски отточенная стрѣла. Пущенная въ станъ противниковъ, она совершала въ немъ бо́льшія опустошенія, чѣмъ цѣлый рядъ залповъ, произведенныхъ часовыми... Брандесъ совершенно правъ, различая *партію*, какъ сплоченную, дисциплинированную группу, преслѣдующую опредѣленныя практическія цѣли, отъ *партіи*, вдохновляемой служеніемъ идеѣ, соединяемой общностью представленій о лучшемъ будущемъ. Человѣкомъ партіи, въ этомъ послѣднемъ смыслѣ, былъ Шиллеръ, былъ Байронъ, былъ и Гейне—и ея „крѣпостныя стѣны" не уступятъ, по высотѣ, никакой поэтической „башнѣ".

До какой степени самъ Гейне былъ проникнутъ мыслью о своемъ политическомъ призваніи, это видно уже изъ того, что онъ называетъ себя (въ заключительной главѣ „Германіи") сыномъ Аристофана. „Какъ ни мало формальнаго сходства,—замѣчаетъ по этому поводу Брандесъ,—между лирико-сатирическими стихотвореніями Гейне и фантастическими комедіями Аристофана, характеромъ остроумія первый похожъ на послѣдняго, быть можетъ, больше, чѣмъ какой бы то ни было другой писатель". Подобно Аристофану, Гейне охотно и часто касается предметовъ, о которыхъ не принято говорить публично; подобно Аристофану, онъ смѣется надъ тѣмъ, къ чему обыкновенно относятся съ уваженіемъ, искреннимъ или притворнымъ; подобно Аристофану, онъ задѣваетъ, не церемонясь, „сильныхъ земли", съ тою только разницей, что Аристофанъ сражался, большею частью, за старину и рутину, а Гейне никогда не былъ консервативенъ. Аристофановскимъ духомъ проникнуты стихотворенія, воспѣвающія Людвига баварскаго и Фридриха-Вильгельма прусскаго. Аристофана напоминаетъ многое въ „Германіи", еще больше—весь „Атта Тролль", гдѣ полету мысли Гейне способствуетъ перенесеніе дѣйствія въ медвѣжье царство. У Аристофана мы находимся, сплошь и рядомъ, какъ бы внѣ времени и пространства, между небомъ и землею; создаваемый имъ міръ противорѣчитъ законамъ дѣйствительности и природы—и къ этому противорѣчію

самъ поэтъ относится серьезно, какъ къ чему-то совершенно нормальному и простому. Аналогичныхъ результатовъ, но другими средствами, достигаетъ Гейне: онъ часто переносится въ область сновъ или видѣній, и даетъ здѣсь полную волю своей фантазіи. Всего яснѣе эта черта творчества Гейне выразилась въ „Германіи". Почти каждая глава этой поэмы начинается прозаичными, обыденными чертами—и постепенно, незамѣтно поднимается до горячей страсти, высокаго паѳоса, пламенной мечты, священнаго негодованія; потомъ молніи гаснутъ въ туманѣ и опять выступаетъ на сцену житейская, заурядная обстановка. Гейне пріѣзжаетъ въ Кельнъ, ѣстъ яичный пирогъ съ ветчиной, пьетъ рейнвейнъ; затѣмъ онъ идетъ гулять по улицамъ города, вспоминаетъ его прошедшее, вспоминаетъ господство средневѣковыхъ обскурантовъ [1]); соборъ, освѣщенный луной, наводитъ его на гнѣвныя мысли, и онъ видитъ сзади себя неотступно слѣдующій за нимъ вооруженный призракъ, „die That von seinem Gedanken"... Ночью, въ лѣсу, у почтовой кареты ломается колесо; почтальонъ уходитъ за помощью, Гейне остается одинъ, слышитъ вой волковъ, и держитъ къ нимъ остроумную рѣчь, одну изъ лучшихъ страницъ поэмы. Въ Минденѣ онъ засыпаетъ на постели, съ балдахина которой свѣшивается грязная кисть. Эта кисть принимаетъ, въ глазахъ соннаго поэта, то видъ змѣиной головы, то форму прусскаго орла, собирающагося выклевать ему печень. Особенно искусенъ переходъ изъ одной сферы въ другую въ томъ отдѣлѣ поэмы, гдѣ является на сцену Барбаросса. Сначала, среди толчковъ качающагося экипажа, поэту слышится припѣвъ старинной пѣсни, которую пѣла его кормилица: „Sonne, du klagende Flamme"; потомъ ему вспоминается содержаніе этой пѣсни и другихъ сказокъ, между которыми главную роль играла легенда о Барбароссѣ, не умершемъ, а только спящемъ. Въ его воображеніи встаетъ пещера, гдѣ покоится императоръ, окруженный дремлющею свитой; онъ присутствуетъ при ихъ пробужденіи, и повторяющійся припѣвъ: Sonne, du klagende Flamme, становится призывомъ къ мщенію (der Kaiser hält ein strenges Gericht, er will die Mörder bestrafen—die Mörder, die gemeuchelt einst die theure, wundersame, goldlockigte Jungfrau Germania—Sonne, du klagende Flamme!). Послѣ короткаго возвращенія къ сѣренькой дѣйствительности (ein feiner Regen prickelt herab, eiskalt wie Nähnadelspitzen.

---

[1]) Въ началѣ XVI-го вѣка Кельнъ былъ одною изъ главныхъ твердынь того направленія, противъ котораго написаны Epistolae obscurorum virorum.

Die Pferde bewegen traurig den Schwanz, sie waten im Koth und schwitzen) слѣдуетъ опять погруженіе въ міръ грезъ: поэтъ бесѣдуетъ съ Барбароссой, и романтичная легенда заканчивается смѣлой, ѣдкой шуткой (Herr Rothbart, du bist ein altes Fabelwesen, geh', leg' dich schlafen, wir werden uns auch ohne dich erlösen)... Не малую роль играютъ грезы и сновидѣнія и въ „Atta Troll", и во многихъ мелкихъ стихотвореніяхъ Гейне („Frieden", „Die Wallfahrt nach Kevlaar", „die Grenadiere", „Ich hab' im Traum geweinet", „Allnächtlich im Traume" и др.). „Реальныхъ образовъ, — говоритъ Брандесъ, — Гейне создалъ мало; останутся изъ нихъ весьма немногіе. Съ этой точки зрѣнія выше Гейне могутъ быть поставлены многіе писатели, гораздо менѣе значительные. Его сила—именно въ его видѣніяхъ (Visionen). Его любимая область—полусвѣтъ; это сближаетъ его съ Рембрандтомъ. Главное искусство Рембрандта—вызвать изъ моря тѣневыхъ волнъ сверкающій, рѣзкій свѣтъ, естественный по своему происхожденію, сверхъестественный по своему дѣйствію; свѣтъ, благодаря которому можно видѣть сквозь тьму, благодаря которому полумракъ становится прозрачнымъ. Родственное искусство Гейне заключается въ томъ, чтобы вызвать изъ дѣйствительности, на нѣсколько мгновеній и путемъ едва замѣтныхъ переходовъ, міръ воображаемый, но весь проникнутый современностью—и затѣмъ опять возвратиться къ дѣйствительности".

Противники Гейне всегда старались и стараются до сихъ поръ выставить его поэтомъ чувственности, не отступающимъ даже передъ грязью, нарушающимъ, безъ всякой надобности, самыя элементарныя требованія приличія. Трейтшке, напримѣръ, заключаетъ свою обвинительную рѣчь противъ Гейне слѣдующею формулой: „онъ служилъ только житейскимъ наслажденіямъ, но въ молодости это служеніе облагораживалось, до извѣстной степени, поклоненіемъ красотѣ. Позже оно все больше и больше опошлялось и грубѣло, нисходя до грязнаго и прозаическаго культа плоти. Крайнимъ выраженіемъ его служитъ собственное признаніе Гейне: „Selten habt Ihr mich verstanden, selten auch verstand ich Euch. Nur wo wir im Koth uns fanden, da verstanden wir uns gleich". „Трудно понять,—замѣчаетъ по этому поводу Брандесъ,—какимъ образомъ можно видѣть въ этихъ стихахъ нѣчто похожее на признаніе. Это—просто ударъ бича въ сторону тѣхъ, которыхъ привлекаетъ все скабрёзное, какъ свиней—грязная лужа". Несправедливъ, по мнѣнію Брандеса, и другой упрекъ, часто дѣлаемый Гейне—упрекъ въ цинизмѣ, слѣдующемъ иногда непосредственно за высоко-поэтическими мѣстами.

Брандесъ напоминаетъ, что такіе рѣзкіе переходы встрѣчаются и у Гёте—напримѣръ, въ „Фаустѣ"; вся разница въ томъ, что противоположныя настроенія принадлежатъ здѣсь двумъ различнымъ дѣйствующимъ лицамъ, между тѣмъ какъ въ лирическихъ стихотвореніяхъ они по-неволѣ оба пріурочиваются къ самому поэту. Контрасты, не менѣе рѣзкіе, бываютъ и въ дѣйствительной жизни —а Гейне хотѣлъ изображать ее какъ она есть, безъ прикрасъ, безъ романтическихъ преувеличеній. Отсюда еще не слѣдуетъ, чтобы обвиненіе въ цинизмѣ было лишено, по отношенію къ Гейне, рѣшительно всякихъ основаній. Онъ слишкомъ часто и слишкомъ безцеремонно останавливался на своихъ отношеніяхъ къ женщинамъ, не всегда соблюдая, притомъ, требованія эстетическаго вкуса. Не нужно только судить о немъ исключительно по этимъ слабымъ сторонамъ его творчества; не нужно забывать изъ-за нихъ о всемъ крупномъ и цѣнномъ, внесенномъ имъ въ сокровищницу нѣмецкой и всемірной поэзіи.

Комическое впечатлѣніе производитъ Трейтшке, когда порицаетъ Гейне за неумѣнье пить вино и прославлять его въ пѣсняхъ (war er doch der einzige unserer Lyriker, der niemals ein Trinklied gedichtet hat... Nach Germanenart zu zechen vermochte der Orientale nicht). Виновато, слѣдовательно, и здѣсь восточное, т.-е. еврейское происхожденіе Гейне. Еслибы Трейтшке и былъ фактически правъ, упрекъ его оставался бы до крайности смѣшнымъ и... неостроумнымъ; мастерство въ выпивкѣ ни для кого не обязательно и считается добродѣтелью развѣ въ средѣ германскихъ студенческихъ корпорацій. Оказывается, однако, что въ немногихъ словахъ Трейтшке успѣлъ надѣлать массу ошибокъ. Во-первыхъ, евреямъ, какъ народности, вовсе не свойственно отвращеніе къ вину; чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только заглянуть въ Ветхій Завѣтъ, припомнить исторію Ноя или Лота. Во-вторыхъ, по удостовѣренію Неррлиха, существуютъ по меньшей мѣрѣ три нѣмецкихъ лирическихъ поэта, ничего не написавшихъ въ честь вина: Мерике, Ленау, Уландъ. Въ-третьихъ, у самого Гейне есть юмористическая пьеса: „Im Hafen", въ которой, по выраженію Брандеса, очень мило изображено „веселое опьяненіе геніальной натуры". Трейтшке, очевидно, забылъ золотое правило: pas trop de zèle!

„Что̀ могъ сказать о религіи человѣкъ, которому было чуждо всякое глубокое религіозное чувство?" Такъ восклицаетъ Трейтшке, смѣшивая, очевидно, религію съ религіозностью. Если Гейне былъ врагомъ положительныхъ религій, то это еще не значитъ, чтобы ему было недоступно и непонятно религіозное настроеніе. Нѣчто

весьма похожее на своеобразную религіозность просвѣчиваетъ уже въ прелестной „Горной Идилліи“, которую Брандесъ справедливо ставитъ рядомъ съ знаменитымъ отвѣтомъ Фауста на вопросъ Гретхенъ о его вѣрованіяхъ. Еще лучшимъ доказательствомъ тому, что Гейне не былъ чуждъ, по временамъ, религіознаго чувства, служитъ одно изъ самыхъ дивныхъ его стихотвореній: „die Wallfahrt nach Kevlaar“. Припомнимъ, наконецъ, грандіозное видѣніе Христа, возвышающагося надъ моремъ и землею и вносящаго миръ въ сердца людей („Frieden“, въ томъ отдѣлѣ „Buch der Lieder“, который носитъ общее заглавіе: „die Nordsee“). Правда, въ первоначальномъ своемъ видѣ это стихотвореніе заканчивалось иронической тирадой, направленной противъ одного изъ берлинскихъ піетистовъ; но если оно и теряло, отъ того, часть своей силы—менѣе искреннимъ оно не становилось. Въ такомъ умѣ, какъ гейневскій, представленіе о высшемъ идеалѣ любви и мира естественно должно было вызвать воспоминаніе о томъ, что̀ дѣлаютъ изъ этого идеала лицемѣрные и своекорыстные его поклонники.

Въ техникѣ стиха Гейне былъ многимъ обязанъ сначала Августу Вильгельму Шлегелю, лекціи котораго онъ слушалъ въ Боннѣ и которому онъ посвятилъ три первые свои сонета, потомъ—Вильгельму Мюллеру и Клеменсу Брентано. Вильгельмъ Мюллеръ (отецъ извѣстнаго ученаго Макса Мюллера), рано умершій, теперь мало извѣстный, но въ свое время очень популярный авторъ „Müllerlieder“ (положенныхъ на музыку Шубертомъ) и „Griechenlieder“, послужилъ образцомъ для многихъ стихотвореній Гейне, написанныхъ короткимъ, трехстопнымъ ямбомъ. Сходство между обоими поэтами иногда очень велико; это признавалъ и самъ Гейне. Намъ кажется, однако, что Брандесъ недостаточно подчеркиваетъ различіе, существующее рядомъ съ сходствомъ. Послѣднее, помимо размѣра, коренится въ отдѣльныхъ словахъ и оборотахъ; первое чувствуется въ общемъ колоритѣ стихотворенія. О „вечернихъ туманахъ“ говорятъ, напримѣръ, оба поэта—но „ангеловъ смерти“, въ нихъ парящихъ, усматриваетъ только Мюллеръ. У Брентано Гейне заимствовалъ четырехстопный трохей и сюжетъ пѣсни о „Лорелеѣ“; но, какъ указываетъ и Брандесъ, обработка сюжета у Гейне совершенно оригинальна, настроеніе—чисто гейневское. Скоро, впрочемъ, Гейне освобождается отъ всякихъ постороннихъ вліяній, выработываетъ себѣ особый языкъ, особую манеру. Отличительная ихъ черта—величайшая сжатость. Въ возможно-немногихъ словахъ выражается воз-

можно-многое [1]); настроенія, мысли, картины достигаютъ крайней степени сосредоточенности. Стихотворенія Гейне—это „пряная, благоуханная эссенція страсти, житейскаго опыта, горечи, остроумія, насмѣшки и фантазіи, эссенція поэзіи и прозы". Нѣкогда существовали только башенные часы; теперь изобрѣтены часы карманные. Колеса и пружины, требовавшія прежде значительнаго пространства, умѣщаются теперь въ самомъ небольшомъ объемѣ. Такое же усовершенствованіе механики встрѣчается и въ области поэзіи. Въ иномъ стихотвореніи Гейне можно найти не меньше чувствъ и мыслей, чѣмъ въ цѣлой греческой трагедіи. Сжатость у Гейне доходитъ иногда до недомолвокъ; многое, прямо не выраженное, можетъ быть только угадано—но это скорѣе усиливаетъ, чѣмъ ослабляетъ впечатлѣніе. Таковы, напримѣръ, стихотворенія: „der Asra", „Es war ein alter König".

На вершинѣ своего творчества Гейне можетъ быть сравниваемъ только съ Гёте. Приступая къ этому сравненію, Брандесъ расположенъ сначала слишкомъ безусловно въ пользу великаго „олимпійца". Онъ находитъ, что въ изображеніи любви—т.-е. именно въ томъ, что̀ входитъ въ сферу творчества обоихъ поэтовъ—Гейне почти никогда не проникаетъ въ самую глубину чувства. Въ „Buch der Lieder" мы встрѣчаемъ или простое противопоставленіе любви и страданья, любви и смерти, или досаду на холодность любимой женщины и негодованіе на ея измѣну. Позже любовныя стихотворенія Гейне впадаютъ либо въ чувственность и фривольность, либо въ явныя преувеличенія. Красиво, эффектно говоритъ поэтъ о любви, переживающей даже гибель вселенной (ich hab dich geliebet und liebe dich noch, und fiele die Welt zusammen, aus ihren Trümmern stiegen doch hervor meiner Liebe Flammen)—но тронуть, задѣть за живое эта риторическая фигура никакъ не можетъ. Женскую чистую любовь—ту любовь, которая такъ чудесно звучитъ въ словахъ возлюбленной Эгмонта (Freudvoll und leidvoll, gedankenvoll sein, hangen und bangen in schwebender Pein, himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt),—Гейне даже и не пытался выразить. Теплымъ сердечнымъ чувствомъ проникнуты только предсмертныя его стихотворенія, вызванныя послѣднею его любовью (къ Камиллѣ Сельденъ, извѣстной подъ прозвищемъ „la mouche"). Этотъ строгій, слишкомъ строгій приговоръ скоро, однако, опровергается самимъ

[1]) Какъ рано это свойство развилось у Гейне, доказательствомъ тому можетъ служить извѣстное четверостишіе, написанное не позже 1821 г.: „Anfangs wollt'ich fast verzagen, und ich glaubt: ich trüg es nie, und ich hab'es doch getragen,—aber fragt mich nur nicht: wie"?

судьею. „Die Lotosblume“, какъ картина пожирающаго любовнаго пламени, ставится Брандесомъ—и совершенно справедливо—на ряду съ обращеніемъ Гёте къ померанцевому дереву, „Auf Flügeln des Gesanges“—на ряду съ безсмертной жалобой Миньоны („Nur wer die Sehnsucht kennt, weiss was ich leide“). „Гёте,—восклицаетъ Брандесъ,—всегда остается мудрымъ язычникомъ, спокойно совершающимъ свою скульптурную работу; въ мечтательной головѣ Гейне было зерно божественнаго безумія“. Не даромъ же Гёте, когда ему нужно было создать обстановку для любовной сцены, особенно охотно избиралъ Италію, а Гейне—Индію. Образцовымъ выраженіемъ чистой любовной тоски Брандесъ признаетъ знаменитое стихотвореніе о соснѣ и пальмѣ (переведенное Лермонтовымъ). Удивительна простота средствъ, которыми достигается здѣсь сильнѣйшее дѣйствіе; риѳмы не отличаются богатствомъ, картиннаго нѣтъ ничего—все дѣло въ настроеніи, неотразимо захватывающемъ читателя... Если Гёте не имѣетъ соперниковъ, когда идетъ рѣчь о простомъ, цѣльномъ, здоровомъ чувствѣ, то столь же силенъ Гейне въ изображеніи смѣшанныхъ, сложныхъ чувствъ современнаго, надломаннаго человѣка. Гёте не могъ бы создать тѣхъ рѣзкихъ контрастовъ и трудно разрѣшимыхъ загадокъ, которыми полно, напримѣръ, стихотвореніе Гейне: Wenn ich in deine Augen seh, so schwindet all mein Leid und Weh... Doch wenn du sprichst: ich liebe dich, so muss ich weinen bitterlich“. Иногда и у Гёте, счастливаго Гёте, вырывается горькое сѣтованіе на судьбу (такова, напримѣръ, жалоба стараго арфиста въ „Вильгельмѣ Мейстерѣ“: „Wer nie sein Brot mit Thränen ass“)—но оно никогда не доходитъ до глубокаго отчаянія, которымъ проникнуты нѣкоторыя стихотворенія Гейне („Fragen“, „Lass die heiligen Parabeln“). Искусственно подчеркиваемая Гейне гордость міровой скорби („Ich unglücksel’ ger Atlas!“) производитъ, зато, менѣе сильное впечатлѣніе, чѣмъ спокойная покорность страданію, выраженная въ удивительныхъ стихахъ Гёте: „Alles geben die Götter, die Unendlichen, ihren Lieblingen ganz, alle Freuden, die unendlichen, alle Schmerzen, die unendlichen, ganz“. Одинаково сильны оба поэта въ олицетвореніи понятій—напримѣръ мира, счастья, несчастья. Небольшое стихотвореніе Гейне: „Das Glück ist eine leichte Dirne“—такой же перлъ истинной поэзіи, какъ и обращеніе Гёте къ миру, оканчивающееся словами: „süsser Friede, komm, ach komm in meine Brust!“

Сравненіе—пріемъ обоюдоострый. Безспорно, съ его помощью ярче можно выставить на видъ достоинства, недостатки, особен-

ности писателя; но оно столь же легко приводить къ ненужному и безцѣльному возвеличенію одного на счетъ другого, къ измѣренію, однимъ и тѣмъ же масштабомъ, несоизмѣримыхъ величинъ. Мы видѣли уже, что заключенія, выводимыя Брандесомъ изъ параллели между Гёте и Гейне, не свободны отъ внутренняго противорѣчія. Скажемъ болѣе: нѣкоторыя изъ нихъ явно несправедливы. Стихотворенію Гейне: „Mein Herz, mein Herz ist traurig" Брандесъ противопоставляетъ гётевскія „Горныя вершины" („Ueber allen Gipfeln ist Ruh"). Гейне желаетъ смерти; Гёте примиряется съ мыслью о ней. Стихи Гёте—чистѣйшая мелодія. Все проникнуто здѣсь однимъ и тѣмъ же гармоническимъ настроеніемъ: вечерняя тишина въ природѣ и въ сердцѣ—замираніе звуковъ и желаній—сознаніе единства съ великимъ цѣлымъ. У Гейне, наоборотъ—рѣзкая дисгармонія между мирной картиной и душевной тревогой, внезапно прорывающейся наружу въ послѣднемъ стихѣ: „ich wollt, er schösse mich todt". Андерсенъ называетъ этотъ стихъ „поразительнымъ"; Брандесъ полагаетъ, что къ нему больше подходитъ эпитетъ: „застигающій врасплохъ" (überrumpelnd), потому что онъ ничѣмъ не подготовленъ... Разница между обоими стихотвореніями дѣйствительно велика, и болѣе совершеннымъ можно, пожалуй, признать стихотвореніе Гёте; но это ничуть не уменьшаетъ оригинальную прелесть гейневской пьесы. Она дышетъ искренностью; настроеніе, въ ней выраженное, не сочинено, а несомнѣнно пережито поэтомъ. Заключительнаго восклицанія читатель, быть можетъ, не предвидитъ, но „застигающимъ врасплохъ" его назвать нельзя; оно тѣсно связано съ началомъ пьесы, противополагающимъ печаль поэта веселому свѣту майскаго дня („Mein Herz ist traurig—doch lustig leuchtet der Mai"). „Неожиданности" здѣсь ровно настолько, чтобы потрясти читателя, но вовсе не настолько, чтобы непріятно удивить его. Въ больномъ сердцѣ весеннее ликованіе природы способно усилить жажду вѣчнаго покоя. Ружье солдата, блестящее на солнцѣ и наводимое въ сторону поэта, могло послужить послѣднимъ звеномъ въ длинномъ рядѣ печальныхъ представленій и обострить желаніе смерти—смерти внезапной, легкой, сразу, безъ участія больной воли, заканчивающей всѣ земные счеты. Быть можетъ, это не болѣе какъ минутная усталость, быстро смѣняемая жизнерадостнымъ чувствомъ [1])—но вѣдь лирическая поэзія и есть, по преимуществу, область скоропреходящихъ настроеній.

[1]) Припомнимъ извѣстное стихотвореніе Некрасова: „Я сегодня такъ грустно настроенъ".

Правъ, въ нашихъ глазахъ, Андерсенъ, а не Брандесъ, совершенно напрасно старающійся доказать слабость одного произведенія существованіемъ другого, болѣе сильнаго.

Не можемъ мы согласиться съ Брандесомъ и по другому, болѣе общему вопросу. Ограничивая до крайности значеніе первыхъ любовныхъ стихотвореній Гейне (т.-е. тѣхъ, которыя вошли въ составъ „Buch der Lieder"), Брандесъ замѣчаетъ, что досада, вызванная холодностью любимой женщины, негодованіе, вызванное ея измѣной—„нѣчто безплодное, не внушающее сочувствія" (eine unfruchtbare Sache, die kein Mitgefühl erweckt). Отчего? Если досада граничитъ съ печалью, если негодованіе граничитъ съ отчаяніемъ, если въ нихъ слышится искреннее, глубокое чувство, выраженное въ художественной формѣ, то гдѣ же основаніе считать ихъ поэтически „безплодными"? Источникомъ вдохновенія можетъ служить любой фазисъ любви: радость—наравнѣ съ горемъ, предчувствіе—наравнѣ съ воспоминаніемъ, блаженство взаимности—наравнѣ съ мукой отвергнутаго или обманутаго чувства. Какъ оригинальны, какъ глубоки, притомъ, нѣкоторыя изъ стихотвореній, написанныхъ Гейне на осуждаемыя Брандесомъ темы! Какъ сильна въ нихъ иронія или горечь („Du hast Diamanten und Perlen", „Verrieth mein blasses Angesicht"), сколько въ нихъ образовъ, неотразимо дѣйствующихъ на фантазію („Vergiftet sind meine Lieder", „Das Meer erglänzte weit hinaus", „Ich trat in jene Hallen", „Wie kannst du ruhig schlafen")! Ошибается Брандесъ и въ томъ, что видитъ въ любовныхъ стихотвореніяхъ „Buch der Lieder" *только* досаду и негодованіе, съ прибавкой еще контраста между любовью и смертью. Нѣтъ, негодованіе часто уступаетъ мѣсто прощенію, сожалѣнію; забывается измѣна и вновь торжествуетъ любовь, ни на что не надѣясь и ничего не ожидая („Ich grolle nicht", „Ja, du bist elend", „Aus meinen grossen Schmerzen"). Удивительно хороши у Гейне упреки, исполненные нѣжности („Warum sind denn die Rosen so blass"), воспоминанія о потерянномъ счастьѣ, чуждыя всякой горечи и злобы („Hör' ich das Liedchen klingen", „Ich hab' im Traum' geweinet", „Ich stand in dunkeln Träumen"). Есть, наконецъ, у Гейне и пѣсни расцвѣтающей или торжествующей любви („Im wunderschönen Monat Mai", „Auf Flügeln des Gesanges", „Die Lotosblume"); нѣкоторыя изъ нихъ самъ Брандесъ относитъ къ числу лучшихъ произведеній поэта. Много любовныхъ стихотвореній, нисколько не чувственныхъ и не „фривольныхъ", можно найти и въ сборникѣ, озаглавленномъ: „Neue Gedichte"; назовемъ, для примѣра: „Ach, ich sehne mich nach

Thränen", „Die blauen Frühlingsaugen", „Wie des Mondes Abbild zittert". Гамма любовныхъ отголосковъ, находившаяся въ распоряженіе Гейне, вовсе не такъ бѣдна, какъ думаетъ Брандесъ.

Не вполнѣ справедливымъ кажется намъ, наконецъ, отзывъ Брандеса о гейневской прозѣ. Безспорно, главная сила Гейне заключается въ его стихахъ; но едва ли можно утверждать, что все написанное имъ въ прозѣ носитъ на себѣ печать „дилеттантизма". Дилеттантскимъ является, иногда, *содержаніе* позднѣйшихъ прозаическихъ сочиненій Гейне, въ которыхъ онъ беретъ на себя роль философа, эстетика, публициста. И здѣсь, однако, встрѣчаются страницы, блещущія не только остроуміемъ и красотою формы, но и глубиною мысли. Напрасно думаетъ Трейтшке, что политическими и философскими экскурсіями Гейне восхищались только одни простодушные нѣмецкіе либералы, что французы никогда не относились къ нему серьезно и ничему отъ него не научились. Совершенно противоположное мнѣніе высказываетъ такой компетентный судья, какъ Альберъ Сорель (въ недавно вышедшей біографіи madame де-Сталь); онъ прямо признаетъ, что книга Гейне о Германіи произвела во Франціи большое впечатлѣніе, поколебала вліяніе извѣстнаго сочиненія madame де-Сталь и предсказала, косвенно, событія 1870—71 г. Какъ бы то ни было, лучшими прозаическими произведеніями Гейне остаются наиболѣе раннія, т.-е. первые отдѣлы „Reisebilder" („Harzreise", „Nordsee", „Buch le Grand")—а по отношенію къ нимъ не можетъ быть и рѣчи о „дилеттантизмѣ". Дилеттантизмъ—синонимъ полузнанія, поверхностнаго знакомства съ предметомъ, поспѣшнаго или легкомысленнаго разрѣшенія спорныхъ вопросовъ; а „Reisebilder" ни на какое знаніе не претендуютъ, ни о какомъ предметѣ не трактуютъ ex professo, никакихъ сужденій или осужденій не произносятъ. Это—рядъ стихотвореній въ прозѣ, то насмѣшливыхъ, то задушевныхъ, но всегда изящныхъ и оригинальныхъ. Гейне, по мнѣнію Брандеса, является здѣсь ученикомъ Стерна; можетъ быть—но ученикъ превзошелъ учителя.

Несогласіе по отдѣльнымъ вопросамъ не мѣшаетъ намъ признать, что характеристика Гейне, данная Брандесомъ, вполнѣ достойна и поэта, и его критика. Она появилась, вдобавокъ, во-время, какъ противовѣсъ нападеніямъ, не знающимъ ни мѣры, ни границы. Гейне—*великій писатель*: вотъ окончательный выводъ, къ которому приходитъ Брандесъ. „Быть великимъ писателемъ—значитъ обладать даромъ вызывать видѣнія и настроенія: видѣнія—посредствомъ настроеній, или настроенія—посредствомъ видѣній. Гейне владѣетъ въ особенности послѣднимъ искусствомъ...

Слогъ—это выраженіе личности и оружіе въ литературной борьбѣ. Слогъ Гёте, несмотря на все его совершенство, недостаточно сложенъ, чтобы обнять собою всѣ оттѣнки новѣйшей мысли. Слогъ Гейне—въ лучшихъ произведеніяхъ его подобный испанскому клинку, гибкому какъ тростникъ, но не разбивающемуся даже о панцырь—можетъ быть названъ, наоборотъ, современнымъ по преимуществу, охватывающимъ всю жесткость и всю извращенность, всю прелесть и всю тревогу, всѣ контрасты современной жизни. Такому слогу въ высокой степени свойственна способность дѣйствовать на нервы современныхъ читателей, болѣе привыкшихъ къ пряностямъ и горячительнымъ напиткамъ, чѣмъ къ чистому вину и простой пищѣ". Прибавимъ къ этому только одно: между пряностями, которыми безспорно богатъ Гейне, встрѣчается, и нерѣдко, простая, чистая пища (припомнимъ хотя бы вѣчно-юное и свѣжее: „Du bist wie eine Blume")—и въ этомъ заключается одна изъ главныхъ основъ его неувядаемой славы.

К. Арсеньевъ.

ИДОЛЫ и ИДЕАЛЫ

Φυλάξατε ἑαυτούς ἀπὸ τῶν εἰδώλων.
(1 Посл. ап. Іоан., V, 21.)

Не такъ давно изданъ небольшой сборникъ словъ и рѣчей одного изъ нашихъ досточтимыхъ пастырей церкви. За немногими исключеніями, эти слова и рѣчи вызывались разнообразными фактами нашей текущей дѣйствительности, случаями изъ мѣстной общественной жизни, иногда оффиціальнаго, иногда неоффиціальнаго характера. Тамъ же помѣщена, между прочимъ, и послѣдняя рѣчь, обращенная къ дворянамъ нашей губерніи передъ ихъ присягою. „Я считаю своею священною обязанностью,—сказалъ духовный ораторъ,—предъ приведеніемъ васъ къ присягѣ напомнить вамъ, что настоящее ваше очередное собраніе, какъ и текущія собранія дворянства всей русской земли, совершается при обстоятельствахъ выдающихся, при условіяхъ въ высшей степени знаменательныхъ". А именно, „доблестное россійское дворянство призывается нынѣ къ великому земскому строенію, ему ввѣряется ближайшее попеченіе о благѣ народа... И какого народа? И въ какую историческую минуту? Народа русскаго, православнаго, христіаннѣйшаго по природнымъ своимъ свойствамъ, народа истинно-христіанскаго по своей православной вѣрѣ. Какъ старшая братія, какъ лучшая передовая дружина этого народа святого, этого новаго Израиля, умѣйте стоять на высотѣ вашего призванія, умѣйте быть носителями въ своемъ сердцѣ и выразителями въ своей жизни и дѣятельности его лучшихъ свойствъ, его возвышеннѣйшихъ стремленій, его христіанскаго смиренія, его безпредѣльной преданности Богу и вѣрѣ православной, своему царю и отечеству. И въ какую историческую минуту призываетесь вы къ попеченію о благѣ этого народа? Въ минуту, когда его самосознаніе идетъ

впередъ поступью богатырскою, когда пониманіе имъ своего всемірно-историческаго просвѣтительнаго призванія ростетъ не по днямъ, а по часамъ, когда его вѣра въ это призваніе все крѣпнетъ и крѣпнетъ...

„Русскому народу, какъ древнему Израилю, ввѣрены словеса Божіи. Онъ носитель и хранитель истиннаго христіанства. У него истинное богосознаніе, у него вѣра истинная, у него сама истина. А истина даетъ ему основы христіанской свободы, свобода же созидаетъ его въ христіанской любви. Это такъ же непреложно какъ непреложенъ Господь и его божественное слово. Итакъ,—еще разъ повторяетъ краснорѣчивый ораторъ,—у русскаго народа истинное христіанство, истинная вѣра, истинная свобода, истинная любовь, у него православіе. Вотъ какого народа и въ какую историческую минуту призываетесь вы стать передовою дружиною! Вотъ о чьемъ благѣ попеченіе ввѣряется вамъ!.. Попеченіе о благѣ народа истинно-христіанскаго, народа святого, призваннаго просвѣтить и обновить лицо земли“.

Такая отрадная всѣмъ намъ увѣренность высказывается досточтимымъ ораторомъ, конечно, какъ внушенная ему сердцемъ ревностнаго, горячаго патріота, и никто не можетъ ожидать, ни требовать, чтобы все имъ сказанное было выводомъ изъ непреложныхъ данныхъ священнаго писанія или священнаго преданія. Ни въ томъ, ни въ другомъ нѣтъ, конечно, ни подтвержденія, ни отрицанія самыхъ лучшихъ для насъ представленій о нашемъ отечествѣ и его высшемъ предназначеніи, и именно потому все это, какъ принадлежащее по существу къ области мірскихъ мнѣній, можетъ оставаться предметомъ всесторонняго обсужденія. И мы, съ своей стороны, говоря объ этихъ вопросахъ, хотя бы и по поводу пастырскаго слова, можемъ нисколько не вторгаться въ неподлежащую намъ сферу духовнаго учительства.

Притомъ въ краткой и торжественной рѣчи оратору трудно выяснить каждую свою мысль до конца, и многія его изреченія по необходимости остаются совершенно неопредѣленными. Но весьма прискорбно, когда благолѣпныя слова, исходящія изъ устъ пастыря церкви, воспроизводятся и перетираются какъ дешевая прикраса для фальшиваго патріотизма, менѣе всего озабоченнаго истиннымъ благомъ и величіемъ нашей родины. Нѣтъ возможности и на минуту допустить, чтобы нашъ духовный ораторъ дѣйствительно принималъ вышеприведенныя слова и фразы въ томъ смыслѣ, въ какомъ ими нынѣ такъ часто злоупотребляютъ въ свѣтской литературѣ. Относительно нѣкоторыхъ мѣстъ рѣчи

это даже вполнѣ очевидно. Такъ, напримѣръ, здѣсь высказывается полное сочувствіе и одобреніе тому, что наше высшее сословіе призвано къ великому земскому строенію и что ему ввѣрено ближайшее попеченіе о благѣ русскаго народа. Ясно, однако, что досточтимый ораторъ никакъ не можетъ быть въ этомъ вопросѣ солидаренъ съ тѣми писателями и общественными дѣятелями, которые особенно настаиваютъ на такой постановкѣ дѣла и употребляютъ тѣ же самыя слова, но при этомъ руководствуются тѣмъ мнѣніемъ, что будто русскій народъ, предоставленный самому себѣ, отъ безмѣрной свободы въ конецъ спился и изворовался, а потому необходимо его какъ можно крѣпче подтянуть съ помощью высшаго сословія, оно же найдетъ тутъ и свою собственную выгоду. На языкѣ этихъ публицистовъ и дѣятелей (выставляющихъ себя обыкновенно, хотя и напрасно, истолкователями правительственныхъ взглядовъ) „великое земское строеніе“ обозначаетъ усиленное и систематическое обузданіе народа, а предоставленіе одному сословію ближайшаго попеченія о русскомъ народѣ знаменуетъ (по крайней мѣрѣ, въ идеалѣ) возвращеніе къ золотому вѣку крѣпостного права — безъ народныхъ школъ, но зато съ „сотней тысячъ полиціймейстеровъ“, по выраженію императрицы Екатерины II. Такія „благочестивыя пожеланія“ (коихъ полное осуществленіе принадлежитъ, конечно, къ области поэтическихъ грёзъ) открыто обосновываются или на томъ, что русскій народъ не доросъ до свободы и грамотности, или же на томъ, что вообще никакой свободы и никакой грамотности не нужно, а нужны только привилегіи. Но нашъ духовный ораторъ, очевидно, имѣетъ и о русскомъ народѣ, и о свободѣ и просвѣщеніи совершенно иныя, и даже прямо противоположныя понятія. Слѣдовательно, у него должны быть и другіе, разумные и достойные мотивы, чтобы сочувствовать исключительному положенію того или другого сословія, хотя, вообще говоря, такой взглядъ на отношенія между сословіями остается для насъ недостаточно вразумительнымъ. Русскій народъ (въ тѣсномъ смыслѣ) независимо отъ прочихъ сословій представляется какъ народъ христіаннѣйшій по природнымъ своимъ свойствамъ, народъ святой, у котораго сама истина; но какъ съ этими качествами согласовать необходимость для такого народа быть подъ опекой какого-нибудь сословія? Правда, досточтимый ораторъ, указавши безъ всякихъ ограниченій на абсолютныя совершенства опекаемаго народа, называетъ затѣмъ опекающее сословіе *лучшею* частью этого народа, его *передовою* дружиною. Но развѣ есть что-нибудь лучше святости, и развѣ можно быть впереди истины?..

I.

На русскій народъ или, точнѣе говоря, на взаимоотношеніе въ немъ высшаго и низшаго классовъ существуютъ у насъ два крайніе взгляда, противоположные другъ другу и, однакоже, во многомъ существенномъ сходящіеся между собою; первый изъ нихъ я назову *крѣпостническимъ*, а второй—*народопоклонническимъ*.

Согласно первому взгляду, русскій народъ (въ тѣсномъ смыслѣ, т.-е. простонародье) обреченъ на вѣчное или, по крайней мѣрѣ, неопредѣленно-продолжительное гражданское, экономическое и культурное несовершеннолѣтіе; оставленный безъ властнаго и строгаго присмотра, онъ можетъ только спиться и изворовался, какъ это показываетъ будто бы недавній опытъ; высшее же сословіе, напротивъ, имѣетъ въ себѣ нѣкую vertu occulte, вслѣдствіе которой оно спиться и изворовался не можетъ, но всегда остается на высотѣ своего призванія. А отсюда прямой выводъ: „худыхъ людишекъ", „мужиковъ" отдать на щитъ,—я хочу сказать—на попеченіе „лучшимъ людямъ", „добліимъ мужамъ". Заключеніе совершенно правильно, но основныя положенія, изъ которыхъ оно выводится, содержатъ въ себѣ нѣсколько довольно незамысловатыхъ неправдъ. Во-первыхъ предполагается какой-то рокъ, судьба, или предопредѣленіе, по которымъ простой народъ долженъ всегда производить худыхъ людишекъ, а высшее сословіе—доблестныхъ мужей. Такого рока, какъ извѣстно, вовсе не существуетъ, и всякое сословіе въ массѣ своей состоитъ изъ болѣе или менѣе плохихъ людишекъ. Нашимъ крѣпостникамъ [1]) приходится поневолѣ для поддержанія своего взгляда представлять и народъ, и дворянство въ крайне ложномъ свѣтѣ: съ одной стороны, все воры

---

[1]) Употребляю этотъ терминъ не въ смыслѣ брани, а какъ болѣе опредѣленный и яркій, нежели „ретрограды" и т. п. Извѣстно, впрочемъ, что одинъ и тотъ же терминъ можетъ имѣть почетное или же оскорбительное значеніе, смотря по времени и обстоятельствамъ. Такъ напримѣръ, названіе „тайные совѣтники" означало прежде людей, которые по своему высокому чину въ гражданской іерархіи могутъ *совѣщаться* о важныхъ государственныхъ дѣлахъ, остающихся *тайною* для прочихъ смертныхъ; а нынѣ, если вѣрить нѣкоторымъ газетамъ, это названіе должно относиться къ заговорщикамъ, которые составляютъ между собою тайный совѣтъ на погибель государства. Такимъ образомъ почетное наименованіе превращается въ самое ужасное. Но и наоборотъ весьма скверныя клички могутъ входить въ почетъ: такъ напр., крѣпостниками еще недавно назывались люди, по своекорыстнымъ побужденіямъ мечтающіе о возстановленіи крѣпостного права, а теперь это означаетъ, повидимому, патріотовъ, радѣющихъ о *крѣпости* государственнаго и земскаго строенія.

да пропоицы, а съ другой — все Пожарскіе, спасающіе Россію (а кстати и свои заложенныя имѣнія). Конечно, нашъ простой народъ, какъ и всякій другой, весьма далекъ отъ идеальнаго совершенства; но вѣдь этимъ господамъ нужно, чтобы онъ былъ *какъ можно хуже*,—на его недостаткахъ и порокахъ зиждутся ихъ собственныя притязанія; поэтому, малюя фальшивыми красками свою мрачную картину, они навѣрное не станутъ заботиться объ исправленіи дѣйствительныхъ золъ и бѣдствій народной жизни. Здѣсь вторая главная неправда этого направленія. Попеченіе о народѣ оно разумѣетъ исключительно въ смыслѣ его муштрованія и подтягиванья, а никакъ не въ смыслѣ его внутренняго духовнаго развитія. Для этого послѣдняго необходимы извѣстныя образовательныя средства, коихъ основаніе есть грамотность. И именно на нее-то и возстаютъ наши попечители о народномъ благѣ. Обвиняютъ народъ въ томъ, что онъ спился, но ратуютъ не противъ кабака, а противъ школы. Оно и понятно: отъ кабака народъ дѣлается такимъ, какимъ онъ имъ нуженъ, тогда какъ чрезъ школу онъ можетъ сдѣлаться просвѣщеннѣе самихъ опекуновъ, получившихъ иногда высшее образованіе въ конюшнѣ или въ опереткѣ. Такимъ образомъ, проповѣдь строгой опеки надъ народомъ непремѣнно соединяется у этихъ доблестныхъ мужей съ требованіемъ закрытія школъ [1]). Вредъ грамотности становится аксіомой. Привилегіи однихъ и безграмотность народа — вотъ два столпа, на которыхъ зиждется соціальная утопія этихъ „собственныхъ Платоновъ земли Россійской“.

Если людямъ, спасающимъ Россію отъ просвѣщенія, нужно, чтобы народъ былъ какъ можно хуже, а для этого имъ нужно сократить школы, то отсюда же вытекаетъ логически и третья ихъ неправда. А именно, имъ приходится какъ можно болѣе съузить самое дворянство, ограничить его одними питомцами привилегированныхъ учебныхъ заведеній и кадетскихъ корпусовъ, исключить изъ него всю прочую такъ-называемую „интеллигенцію“, такъ-называемыхъ „разночинцевъ“ и такъ-называемыхъ „семинаристовъ“, т.-е. людей, наиболѣе содѣйствовавшихъ

[1]) Нѣкоторые изъ нихъ, болѣе стыдливые, требуютъ только замѣны всѣхъ существующихъ народныхъ школъ одпѣми церковно-приходскими. Такое требованіе можетъ быть совершенно искреннимъ и благонамѣреннымъ, но къ чему оно сводится на дѣлѣ—можно заключать изъ того, что писатели, самымъ ревностнымъ образомъ защищающіе *принципъ* церковно-приходскаго обученія, вынуждены сознаться въ его практической неосуществимости при данныхъ условіяхъ. Весьма рѣшительно въ этомъ смыслѣ высказался ученикъ извѣстнаго С. А. Рачинскаго, г. Горбовъ, въ статьѣ, напечатанной въ „*Православномъ Обозрѣніи*“ около трехъ лѣтъ тому назадъ („Неясныя стороны русской народной школы“).

Верховной власти, со временъ Петра Великаго, въ дѣлѣ просвѣщенія Россіи. Въ этомъ ихъ и вина, за это они и должны быть искоренены. Кто болѣе способенъ обучать и воспитывать, нежели подтягивать, тотъ очевидно не годится въ ряды передовой дружины, устремившейся къ великому земскому строенію. Наши публицисты-охранители уже съ полною откровенностью высказываютъ свои мечты о закрытіи не только народныхъ школъ, но также гимназій и университетовъ. Это во всякомъ случаѣ дѣлаетъ честь ихъ послѣдовательности и сообразительности. Они ясно видятъ единственный способъ уничтожить ту „интеллигенцію", которая стоитъ поперекъ пути къ ихъ идеалу. Петръ Великій создалъ ее посредствомъ училищъ; упраздните училища, и скоро вся эта „интеллигенція" исчезнетъ сама собою, даже безъ всякаго кровопролитія. А съ ея исчезновеніемъ патріотическій идеалъ этихъ „пророковъ на-выворотъ" осуществится вполнѣ, въ Россіи останутся только безграмотный и безгласный народъ съ одной стороны, а съ другой—„сто тысячъ" екатерининскихъ полиціймейстеровъ, безпрепятственно переводящихъ этотъ народъ на положеніе безземельныхъ батраковъ.

А между тѣмъ всѣ эти противоестественныя вожделѣнія, эта „мерзость запустѣнія", поставленная на мѣсто идеала,—все это имѣетъ своимъ первоначальнымъ побужденіемъ нѣчто невинное и позволительное — заботу о своихъ собственныхъ интересахъ. Но подобная забота, совершенно законная въ предѣлахъ частной жизни, становится источникомъ всевозможныхъ неправдъ и золъ, какъ только ея особенный предметъ возводится въ общій принципъ, выставляется какъ высшая общественная задача. Религія запрещаетъ намъ почитать ограниченные предметы вмѣсто безконечнаго Божества; такіе обожествленные предметы она осуждаетъ какъ идолы, и служеніе имъ какъ идолопоклонство. Точно также въ нравственной и соціально-политической жизни, если частные интересы какой бы то ни было группы людей ставятся на мѣсто общаго блага и преходящіе факты идеализуются и выдаются за вѣчные принципы, то получаются не настоящіе идеалы, а только идолы. И служеніе этимъ сословнымъ, національнымъ и прочимъ идоламъ, какъ и идоламъ языческихъ религій, непремѣнно перейдетъ въ безнравственныя и кровожадныя оргіи.

Истиннымъ Богомъ можетъ быть только существо, обладающее полнотою совершенства; истинно-человѣческимъ идеаломъ можетъ быть только то, что̀ само по себѣ имѣетъ всеобщее значеніе, что̀ способно все въ себѣ совмѣстить и всѣхъ объединить собою. Едва ли, однако, найдется такой наивный человѣкъ, кото-

рый искренно воображалъ бы, что особенные интересы его сословія или націи могутъ объединить всѣ сердца. И прежде всего сами эти сокрушительные охранители и попятные пророки обнаруживаютъ злобную и непримиримую вражду противъ всѣхъ и всего, что̀ не можетъ или не хочетъ служить ихъ интересамъ: затаенную вражду противъ крестьянъ, открытую вражду противъ школы, которая должна поднять духовный уровень народа, неистовую вражду противъ образованнаго класса, который долженъ черезъ школу содѣйствовать народному благу. Эта тріединая вражда къ простому народу, къ школѣ и къ „интеллигенціи" заслоняетъ даже своекорыстные сословные разсчеты и становится настоящимъ spiritus movens всей ретроградной публицистики, сообщая ей прямо злостный характеръ.

II.

Въ противоположность крѣпостникамъ, народопоклонники утверждаютъ, что нашъ простой народъ, несмотря на свои явные недостатки и пороки, несмотря даже на свой, какъ выражался Достоевскій, „звѣриный образъ", обладаетъ однако абсолютною правдой, „имѣетъ въ себѣ Христа", живетъ по Божьи; между тѣмъ какъ образованный классъ, при всѣхъ своихъ видимыхъ внѣшнихъ преимуществахъ, утратилъ внутреннюю правду жизни, предался ложнымъ и суетнымъ интересамъ, и потому не только не можетъ вести за собою простой народъ, но для собственнаго своего исцѣленія долженъ смириться передъ народомъ, принять безусловно сущность народнаго міросозерцанія, научиться у народа истиннымъ началамъ жизни. Отрицательныя преимущества этого взгляда велики и очевидны. Онъ свободенъ отъ мелкаго своекорыстія и грубаго насильничества; въ немъ нѣтъ ничего скотскаго и ничего человѣкоубійственнаго; отъ него не пахнетъ ни случною конюшней, ни становою квартирой. Эти сравнительныя достоинства не мѣшаютъ, однако, народопоклонничеству быть взглядомъ ложнымъ въ своихъ теоретическихъ основахъ и далеко не безвреднымъ въ своихъ практическихъ примѣненіяхъ.

Для точной оцѣнки этого взгляда необходимо различать въ немъ двѣ главныя стадіи. На первой народопоклонники требуютъ отъ себя и отъ другихъ соединиться съ простымъ народомъ, главнымъ образомъ, въ его непосредственной религіозной *вѣрѣ*; на второй стадіи требуется уподобленіе народу въ его *жизни*, подражаніе его простому быту.

Указаніе на религіозный духъ русскаго народа, на его непосредственное христіанство, вообще говоря, справедливо. Но вѣдь именно непосредственной-то вѣрѣ и нельзя научиться. Проявленія народной вѣры могутъ, конечно, оказывать положительное религіозное воздѣйствіе на воспріимчивыя и предрасположенныя къ такимъ вліяніямъ души; но это только индивидуальная психологическая возможность, а никакъ не общеобязательное нравственное требованіе. Вѣра и теряется, и пріобрѣтается самыми различными способами, смотря по характерамъ лицъ и условіямъ жизни. И съ положительно-религіозной точки зрѣнія она есть дѣйствіе въ насъ благодати Божіей, избирающей себѣ всевозможные пути, а отъ насъ требующей только добросовѣстнаго исканія истины и готовности принять ее. Нарочно, по преднамѣренному рѣшенію учиться у народа его „дѣтской вѣрѣ"—мысль, очевидно, неосуществимая. Вѣра есть внутреннее душевное состояніе, и перенимать его нарочно отъ другихъ нельзя. Но еслибы и было можно, то во всякомъ случаѣ такая, извнѣ перенятая, вѣра не была бы вѣрою непосредственною, значитъ не была бы именно тѣмъ, что̀ требовалось. Помимо того, что многіе культурные люди сохранили, несмотря на европейское образованіе, свою „дѣтскую вѣру", и слѣдовательно имъ совсѣмъ уже нечему учиться у народа,—помимо этого нельзя избѣжать слѣдующей дилеммы. Или мы находимъ внутреннія всеобщія основанія достовѣрности для ученій положительнаго христіанства, независимыя ни отъ какихъ людей и народовъ; въ такомъ случаѣ мы безъ всякаго намѣренія и старанія внутренно солидарны и съ русскимъ народомъ, поскольку онъ „дѣтски" вѣритъ въ то же самое, сознательно нами принимаемое ученіе; мы находимся съ нимъ въ истинномъ духовномъ единствѣ, и намъ нѣтъ никакой надобности смиряться передъ нимъ, подражать ему, учиться у него; напротивъ того, мы имѣемъ и возможность, и право, и обязанность учить его, критически относясь къ тѣмъ его вѣрованіямъ и къ тѣмъ фактамъ народной жизни, которые не согласны съ христіанской истиной. Или же—другое предположеніе: мы не имѣемъ въ себѣ никакихъ внутреннихъ и всеобщихъ основаній для вѣры въ христіанское ученіе, и потому хотимъ взять это ученіе у народа, какъ внѣшній готовый фактъ; въ такомъ случаѣ мы можемъ усвоить только внѣшніе *знаки* народной вѣры—пустыя слова и механическія тѣлодвиженія; ибо душевныя состоянія, съ этими знаками связанныя, имѣютъ свои основанія въ народной психологіи и искусственно воспроизведены быть не могутъ. Уже то обстоятельство, что мы хотимъ перенимать извнѣ вѣру народа, тогда какъ самъ онъ ее не пе-

ренимаетъ, а имѣетъ въ себѣ, уже это обстоятельство показываетъ, что мы съ народомъ не солидарны и вѣрѣ его не причастны, а перенять можемъ только одну видимость. При этомъ теряется всякій критерій истины; мы не можемъ различать существеннаго отъ несущественнаго, вѣры отъ суевѣрія, и становимся жертвой всевозможныхъ случайностей и противорѣчій. Такъ, напримѣръ, доселѣ остается тайной, почему никто изъ нашихъ образованныхъ народовѣрцевъ не перешелъ прямо въ старообрядчество. Если для нихъ главное дѣло въ простонародной русской вѣрѣ, то развѣ это не простонародная и не русская вѣра? Конечно, имъ пришлось бы выбирать между множествомъ толковъ, но это такое неудобство, котораго при ихъ воззрѣніи вообще избѣжать невозможно.

Дѣлать истинную религію аттрибутомъ народности могутъ, конечно, только люди, въ сущности, лишенные религіознаго интереса, или, по крайней мѣрѣ, такіе, у которыхъ онъ очень слабъ, что̀ и должно рано или поздно обнаружиться. Въ виду этого и при явной невозможности нарочно соединиться съ народомъ въ вѣрѣ, которой самъ въ себѣ не имѣешь, болѣе искренніе и серьезные люди этого направленія, не желающіе кривить душою и твердить однѣ пустыя фразы, принуждены отказаться отъ вѣроисповѣднаго элемента въ своемъ воззрѣніи и вмѣсто чуждой имъ вѣры русскаго народа выставить, какъ предметъ поклоненія, столь же чуждую, но болѣе доступную, *простоту народнаго быта*. Здѣсь уже идоломъ является не русскій народъ въ его духовныхъ началахъ, а жизнь простого народа вообще. Это вторая стадія народопоклонничества. Теперь уже намъ не говорятъ: вѣруйте какъ мужики,—а только: живите какъ мужики. Это новое требованіе имѣетъ, конечно, преимущество удобоисполнимости. Перемѣнить внѣшній образъ своей жизни всякій можетъ по желанію. Спрашивается только: нужно ли это [1])?

Простота народнаго быта, также какъ и простота народной вѣры, не представляетъ *сама по себѣ* никакого внутренняго духовнаго совершенства; самыя простыя формы жизни и самыя глу-

---

[1]) Проповѣдь „опрощенія" связывается обыкновенно съ именемъ гр. Л. Н. Толстого; но, помимо правдиваго изображенія и обличенія нашей общественной и семейной жизни, воззрѣнія знаменитаго писателя за послѣднія 15 лѣтъ его дѣятельности представляютъ, такъ сказать, лишь *„феноменологію" его собственнаго духа* и въ этомъ смыслѣ имѣютъ, конечно, значительный интересъ, но не подлежатъ опроверженіямъ. Поэтому я не желалъ бы, чтобы послѣдующія замѣчанія были приняты за полемику противъ славнаго романиста, который не можетъ отвѣчать за то, что̀ другіе выводятъ изъ субъективныхъ изліяній его артистической натуры.

бокія непосредственныя вѣрованія могутъ совмѣщаться и дѣйствительно совмѣщаются не только съ умственною, но и съ нравственною дикостью. Ни та, ни другая простота не освобождають народную массу отъ того „звѣринаго образа“, о которомъ говорилъ Достоевскій и который такъ ярко изображенъ Л. Толстымъ въ его драмѣ „Власть тьмы“. А если простая жизнь, также какъ и сложная, можетъ быть и хорошею, и дурною, и доброю, и злою, если могутъ быть простонародные злодѣи и образованные праведники, то зачѣмъ же понятія нравственнаго добра и зла подмѣнять безразличными въ нравственномъ смыслѣ понятіями простоты и сложности? Простота жизни и вѣры, не имѣя въ себѣ никакого безусловнаго нравственнаго преимущества, лишена къ тому же и внутренней силы сопротивленія, у нея нѣтъ никакой устойчивости и прочности. Если при первомъ столкновеніи съ болѣе сложными культурными формами жизни и мысли эта первобытная простота неизбѣжно колеблется и исчезаетъ, то какой же въ ней прокъ и зачѣмъ нужно ее искусственно возстановлять? Вѣдь она уже обнаружила свое двойное безсиліе: она безсильна освободить народъ отъ его „звѣринаго образа“, и она безсильна сама устоять противъ культурныхъ осложненій и овладѣть ими. Нарочно и искусственно возстановлять эту явно несостоятельную простоту можетъ быть только дѣтской забавой, строеніемъ карточныхъ домиковъ: а это и безполезно, и непрочно.

Для жизни, какъ и для мысли народа, желательны формы болѣе совершенныя и устойчивыя, а для этого нужна внутренняя работа сознанія и воли, нужно умственное и нравственное развитіе, дѣятельность разума, усвоеніе научной истины, однимъ словомъ, нужна *образованность*, не какъ цѣль сама по себѣ, не какъ безусловное благо, а какъ необходимое средство для укрѣпленія, развитія и полнѣйшаго осуществленія всѣхъ добрыхъ началъ жизни и вѣры. И если существуетъ и въ Россіи классъ сравнительно образованный, то его патріотическая задача и нравственная обязанность заключаются не въ томъ, чтобы искусственно усвоять себѣ первобытное состояніе народной массы, состояніе столь несовершенное и столь непрочное, а въ томъ, чтобы помочь этой массѣ освободить скрытый въ ней образъ Божій отъ того „звѣринаго образа“, который не отрицають и народопоклонники. А этого можно достигнуть, конечно, не чрезъ пренебреженіе къ образованію и къ наукѣ, а, напротивъ, только чрезъ ихъ укрѣпленіе въ насъ самихъ и распространеніе въ народѣ. Стыдно и горько настаивать на такой азбучной истинѣ; но что

же дѣлать, когда ее нынѣ не только оспариваютъ, но и прямо объявляютъ отжившимъ заблужденіемъ?

III.

Противъ нашихъ крѣпостниковъ, съ одной стороны, противъ народопоклонниковъ и упростителей — съ другой, мы осмѣливаемся утверждать, что задача образованнаго класса относительно народа состоитъ не въ томъ, чтобы его подтягивать и эксплуатировать, а также и не въ томъ, чтобы ему поклоняться и уподобляться, а въ томъ, чтобы приносить ему дѣйствительную и положительную пользу, заботясь не о его безгласности, а также и не о сохраненіи его первобытной простоты, а единственно только о томъ, чтобы онъ былъ лучше, просвѣщеннѣе и счастливѣе; а для этого трудиться надъ возможно полнымъ и широкимъ развитіемъ и распространеніемъ общечеловѣческаго образованія, безъ котораго и самыя добрыя качества народнаго духа оказываются непрочными и въ соціально-нравственномъ смыслѣ безплодными. Защищать систематически этотъ взглядъ въ виду навалившаго нынѣ съ двухъ сторонъ обскурантизма кажется мнѣ дѣломъ необходимымъ. Такая защита будетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и дальнѣйшею, положительною, критикою обоихъ противоположныхъ заблужденій — крѣпостничества и народопоклонства (съ упростительствомъ). Итакъ, разберемъ главныя преимущества этого третьяго взгляда.

Первое и основное его преимущество—въ томъ, что онъ *по существу* христіанскій, хотя бы его представители и чуждались всякаго ограниченнаго клерикализма и піэтизма. Во всякомъ случаѣ, они на дѣлѣ показываютъ свою вѣру въ христіанскаго Бога, въ Бога, какъ безконечное совершенство, полагая свой идеалъ въ томъ, что̀ имѣетъ внутреннее, безусловное достоинство, во всеобщемъ благѣ, въ торжествѣ правды, а не въ такихъ вещахъ, которыя чужды христіанской вѣрѣ и безразличны въ нравственномъ смыслѣ, каковы, напримѣръ, сословныя привилегіи или простота внѣшнихъ бытовыхъ формъ. Ставя идеалъ общественной правды и всеобщаго блага впереди, въ будущемъ, не признавая его совершившимся фактомъ (что̀ было бы противно очевидной дѣйствительности), но и не отрицая его осуществимости (что̀ противорѣчило бы христіанской истинѣ), нашъ третій взглядъ не только не отказывается отъ лучшихъ евангельскихъ упованій, выраженныхъ въ молитвѣ Господней: о пришествіи къ намъ

царства правды, о совершенномъ исполненіи воли Божіей на землѣ, но и заставляетъ насъ собственнымъ трудомъ содѣйствовать осуществленію этихъ упованій, чтὸ также требуется евангельскимъ ученіемъ (см. притчу о талантахъ). Не измѣняя христіанской *вѣрѣ* и не отрекаясь отъ христіанской *надежды*, взглядъ этотъ соотвѣтствуетъ и христіанской *любви*, будучи совершенно чуждъ эгоизма. Не говоря уже о явномъ сословномъ своекорыстіи нашихъ проповѣдниковъ крѣпостничества,—есть эгоизмъ, хотя и менѣе грубый, въ воззрѣніи народовѣрцевъ и упростителей. Люди, преклоняющіеся передъ простотой и непосредственностью народной вѣры, могутъ видѣть въ ней убѣжище отъ сомнѣній ихъ собственнаго ума; но они ничего не сдѣлаютъ для того, чтобы эта вѣра стала просвѣщеннѣе и разумнѣе, а тѣмъ самымъ и крѣпче. Люди, подражающіе простотѣ народнаго быта, могутъ на лучшій конецъ найти въ физическомъ трудѣ лекарство отъ своихъ страстей и недуговъ, но они ничего не сдѣлаютъ, чтобы улучшить условія народной жизни, чтобы облегчить ея тягости. И тѣ, и другіе въ своемъ смиреніи передъ народомъ, въ своемъ опрощеніи и уподобленіи ему, ищутъ только своего собственнаго удовлетворенія, своего душевнаго спокойствія, а никакъ не пользы народа. Особенно что касается до упростителей, то ихъ эгоизмъ бросается въ глаза, и на него, если не ошибаюсь, уже было указано въ печати. И какая, въ самомъ дѣлѣ, можетъ быть польза народу отъ того, что горсть „интеллигентовъ" прикинется мужиками или рабочими и вмѣсто прежнихъ своихъ занятій и забавъ отдастся исключительно этому новому виду спорта? Дѣйствительная любовь даетъ пониманіе. Еслибы наши опростившіеся народопоклонники дѣйствительно любили народъ, они поняли бы, чтὸ ему нужно, чего онъ хочетъ отъ образованныхъ людей. Но они, смиряясь передъ народомъ, вовсе и не интересуются знать его мнѣніе даже о нихъ самихъ и объ ихъ затѣѣ.

Какъ нѣтъ тутъ дѣйствительной любви, такъ нѣтъ и истиннаго смиренія. Есть обязательное для всякаго человѣка смиреніе передъ тѣмъ, чтὸ въ самомъ себѣ заключаетъ безусловное совершенство, передъ тѣмъ, чтὸ само по себѣ истинно и прекрасно, передъ вѣчною объективною правдою и ея прямыми воплощеніями, гдѣ бы и въ комъ бы они ни являлись. А смиреніе передъ чѣмъ попало, по собственному своему усмотрѣнію, есть смиреніе передъ своимъ произволомъ, т.-е вовсе не смиреніе, а просто самодурство. Настоящее смиреніе слѣдуетъ намъ поберечь для такихъ предметовъ, которые одинаково выше и насъ, и народа, а этотъ послѣдній будетъ нами вполнѣ доволенъ, если мы отне-

семся къ нему съ внимательнымъ участіемъ, вникнемъ въ то, что̀ ему дѣйствительно отъ насъ нужно, и, нисколько не стараясь уподобляться ему внѣшнимъ образомъ, покажемъ нашу внутреннюю, нравственно-органическую солидарность съ нимъ, пользуясь въ полной мѣрѣ нашимъ отъ него отличіемъ, нашимъ культурнымъ старшинствомъ, чтобы дать ему то, чего онъ безъ насъ добыть не можетъ. Это единственный способъ оказать ему дѣйствительную любовь и показать на дѣлѣ свои христіанскіе принципы.

Такимъ образомъ, первое преимущество защищаемаго нами взгляда само собою приводитъ ко второму. Будучи истинно-христіанскимъ, этотъ взглядъ есть вмѣстѣ съ тѣмъ истинно-*народный*. Только на его почвѣ можетъ установиться взаимное сочувственное пониманіе между образованнымъ классомъ и простымъ народомъ. Конечно, народъ могъ бы хорошо понять проповѣдниковъ крѣпостничества, но едва ли бы онъ имъ сочувствовалъ. Что касается народопоклонниковъ, то они простымъ людямъ совсѣмъ непонятны. Образованный человѣкъ, не изъ искренняго благочестія и вѣры соблюдающій посты или поклоняющійся иконамъ, а только потому, что такъ дѣлаетъ народъ, былъ бы этимъ послѣднимъ навѣрное сочтенъ за полоумнаго [1]); точно также образованный человѣкъ, пашущій землю безъ нужды, а лишь изъ одного стремленія опроститься и уподобиться народу, возбуждаетъ въ крестьянахъ если не подозрѣнія, то насмѣшки. Но образованный человѣкъ, занятый своимъ дѣломъ, служащій культур-

¹) Въ одной газетѣ меня недавно упрекали за высокомѣрное будто бы отношеніе къ простому народу вообще и къ его религіознымъ вѣрованіямъ въ особенности. Предлогомъ для такого неожиданнаго упрека послужило мое разсужденіе о фальшивомъ (по существу) отношеніи нѣкоторыхъ славянофиловъ къ предметамъ народнаго культа, именно къ чудотворнымъ иконамъ. Я утверждалъ (и утверждаю), что въ самомъ народѣ иконопочитаніе имѣетъ вовсе не тѣ субъективные и фантастическіе мотивы, которые выставлялись славянофилами, а другіе, объективные и положительно-религіозные, существовавшіе и даже формулированные церковью раньше появленія на свѣтъ русскаго народа. Газета не догадалась, что эти самые объективно-религіозные мотивы народнаго культа принимаю я (разумѣется, въ болѣе сознательной и отчетливой формѣ и не ручаясь за каждый частный случай), а слѣдовательно и въ этомъ пунктѣ я оказываюсь нравственно-солидарнымъ съ народомъ, *поклоняясь не ему, а тому, чему онъ поклоняется.* Мое осужденіе славянофильскаго народопочитанія газета приняла за презрительное отношеніе къ народному иконопочитанію. Упоминаю объ этой забавной ошибкѣ, потому что она мнѣ кажется довольно характеристичной. Очевидно, эти господа не могутъ даже допустить возможности собственно-религіознаго убѣжденія, независимаго отъ практикуемаго ими псевдо-патріотическаго приспособленія къ народу, которое показываетъ только ихъ полное отъ него отчужденіе.

нымъ интересамъ страны, каковы бы ни были его частныя мнѣнія и вѣрованія, можетъ разсчитывать на уваженіе и признательность народа даже въ томъ случаѣ, когда его дѣятельность не имѣетъ прямого отношенія къ народнымъ нуждамъ.

Что культурное осложненіе жизни неизбѣжно сопровождается осложненіемъ человѣческой глупости и гадости, появленіемъ множества новыхъ безобразій и вздоровъ, невозможныхъ въ патріархальномъ бытѣ—это безспорно, и народъ, конечно, замѣчаетъ эту отрицательную сторону культуры, но чтобы онъ изъ-за нея отрицалъ или презиралъ самое просвѣщеніе — это выдумка. Въ отличіе отъ нашихъ обскурантовъ, народъ въ высшей степени уважаетъ науку. Онъ сознаетъ свою темноту и вовсе не желаетъ въ ней навсегда оставаться; въ ученьѣ онъ видитъ свѣтъ и не особенно боится даже „лжеученій".

Будучи христіанскимъ и народнымъ, нашъ взглядъ—это его третье преимущество—есть взглядъ *историческій*, тогда какъ обѣ противоположныя крайности крѣпостничества и народопоклонства сходятся и въ этомъ отношеніи, отличаясь своимъ антиисторическимъ характеромъ. Они желали бы остановить исторію и вернуть человѣчество или, по крайней мѣрѣ, нашъ народъ къ минувшимъ, болѣе или менѣе отдаленнымъ эпохамъ. Въ этомъ одномъ уже явное обличеніе ихъ несостоятельности, несомнѣнное testimonium paupertatis. Съ нашей точки зрѣнія, напротивъ, общій ходъ исторіи человѣчества, и русской въ частности, объясняется и оправдывается какъ совершенно цѣлесообразный. Признавая окончательною цѣлью исторіи полное осуществленіе христіанскаго идеала въ жизни всего человѣчества, осуществленіе правды и любви, или свободной солидарности всѣхъ положительныхъ силъ и элементовъ вселенной, мы понимаемъ всестороннее развитіе культуры какъ общее и необходимое средство для этой цѣли, ибо эта культура въ своемъ постепенномъ прогрессѣ разрушаетъ всѣ враждебныя перегородки и исключительныя обособленія между различными частями человѣчества и міра и стремится соединить всѣ естественныя и соціальныя группы въ одну безконечно разнообразную по своему составу, но нравственно-солидарную семью. Поэтому хотя бы отдѣльныя ступени этого процесса и не давали непосредственнаго удовлетворенія тѣмъ или другимъ лицамъ, тѣмъ или другимъ классамъ людей, онѣ, тѣмъ не менѣе, необходимы ради окончательной и всеобщей цѣли. Мы не противополагаемъ гуманнаго просвѣщенія религіозной вѣрѣ, но полагаемъ, что такое просвѣщеніе необходимо и для самой вѣры. Историческій опытъ какъ чужихъ народовъ,

такъ и нашъ собственный, достаточно показываетъ, къ чему можетъ приводить сильная (или кажущаяся сильной) вѣра при слабомъ просвѣщеніи. Итакъ, *ближайшая* цѣль историческаго процесса и нашей общественной дѣятельности есть полное развитіе и распространеніе гуманной культуры, которая составляетъ необходимый элементъ и самого христіанства, какъ религіи *богочеловѣческой*. Надъ этой ближайшей и насущной задачей можно и должно работать сообща, несмотря ни на какія различія въ личныхъ взглядахъ на дальнѣйшую и окончательную цѣль исторіи. Съ нравственной стороны такая культурная работа есть не что иное какъ наиболѣе цѣлесообразно организованная *помощь* нашимъ ближнимъ, въ совокупности взятымъ, а такая помощь (omnibus quantum potes juva) по общему моральному закону обязательна для всякаго, будь онъ по вѣрѣ христіанинъ, или просто гуманистъ, лишь бы онъ признавалъ нравственныя обязанности къ человѣчеству. Личныя и національныя особенности культурныхъ рабочихъ очень важны и желательны для самаго дѣла; онѣ даютъ общечеловѣческой культурѣ ея богатство, полноту и разнообразіе, нисколько не нарушая ея единства. Можно говорить о національныхъ культурахъ только въ томъ смыслѣ, въ какомъ говорится о нѣмецкой, англійской, русской наукѣ, причемъ вовсе не предполагается, чтобы у каждаго изъ этихъ народовъ была своя особенная, исключительно ему принадлежащая, для него одного имѣющая значеніе, математика или химія. Такимъ же образомъ и вообще, при всемъ разнообразіи культурныхъ характеровъ и направленій, все-таки въ смыслѣ объективномъ,—въ смыслѣ задачъ и результатовъ историческаго труда,—существуетъ только одна общечеловѣческая культура для всѣхъ народовъ, какъ одна для всѣхъ истина, одна справедливость, одно Божество [1]).

Пока совершается историческій процессъ въ нынѣшнихъ земныхъ условіяхъ, прямое и дѣятельное участіе въ культурной работѣ, дѣло созиданія самой культуры не можетъ принадлежать равномѣрно всѣмъ людямъ. Помимо различія между болѣе или менѣе одаренными народами и племенами, въ каждомъ народѣ и племени двигателемъ культурнаго прогресса можетъ быть только избранное меньшинство, а не народныя массы, слишкомъ занятыя матеріальнымъ обезпеченіемъ—и себя, и передового меньшинства.

---

[1]) Опроверженіе противоположнаго взгляда см. въ моихъ статьяхъ: „Россія и Европа" („Вѣстн. Европы", апрѣль, 1888), „Мнимая борьба съ Западомъ" („Русская Мысль", авг., 1890) и „Нѣмецкій подлинникъ и русскій списокъ" („Вѣстн. Европы", дек., 1890.

Разумѣется, это послѣднее, чтобы служить общему благу, а не своимъ частнымъ интересамъ, не можетъ представлять замкнутую касту, а должно быть открытымъ для всѣхъ личныхъ дарованій. Дѣло не въ обособленіи классовъ по случайнымъ преимуществамъ, а въ раздѣленіи труда по способностямъ. Вообще раздѣленіе труда есть первое условіе и первый признакъ цивилизаціи, а въ основѣ всѣхъ прочихъ раздѣленій труда лежитъ главное и общее раздѣленіе исторической работы между большинствомъ, *сохраняющимъ* жизнь человѣчества посредствомъ физическаго труда, и меньшинствомъ, *улучшающимъ* эту жизнь, двигающимъ человѣчество впередъ. Этого раздѣленія нѣтъ въ дикомъ состояніи, его не будетъ въ грядущемъ Царствіи Божіемъ, но между этими двумя предѣлами оно всегда было и будетъ. Оно такъ же мало противорѣчитъ справедливости, какъ напримѣръ то, что не всѣ ткани даже самаго высшаго организма могутъ быть нервными клѣточками и волокнами. Организмовъ, состоящихъ изъ однихъ такихъ высшихъ элементовъ, вовсе не бываетъ въ нашемъ мірѣ; организмъ, не имѣющій совсѣмъ этихъ элементовъ и потому болѣе равномѣрный въ своемъ составѣ, можетъ существовать, но это— организмъ низшаго порядка. Оставляя, впрочемъ, въ сторонѣ сравненіе между обществомъ и организмомъ, такъ какъ его законность можетъ оспариваться и имъ дѣйствительно много злоупотребляли, едва ли кто-нибудь найдетъ несправедливымъ, что не всѣ греки, а только одинъ Фидій изваялъ статую Зевса Олимпійскаго: если онъ ее предоставилъ всѣмъ, то этого совершенно достаточно для самаго тонкаго чувства справедливости. Я рѣшительно не вижу никакой обиды для народныхъ массъ въ томъ, что онѣ не сами изобрѣли паровую машину,—лишь бы только онѣ имѣли возможность дешево пользоваться желѣзными дорогами и прочими приложеніями паровой силы. Я цѣню культурное расчлененіе, благодаря которому въ Россіи кромѣ земледѣльцевъ существуетъ еще и Пушкинъ, но, разумѣется, я при этомъ желаю, чтобы *весь* русскій народъ могъ наслаждаться поэзіей Пушкина. Никакая справедливость не предписываетъ, чтобы всѣ дѣлали одно и то же; требуется только, чтобы каждый трудился не для одного себя, чтобы сдѣланное однимъ или немногими могло быть общимъ достояніемъ. И вотъ этой-то простѣйшей, ультра-азбучной истины, безъ которой вся исторія есть безсмыслица, не хотятъ понять и принять ни наши крѣпостники по своему своекорыстію, ни наши народопоклонники по своему недомыслію. Первые, вообще не отрицая высшей культуры (по крайней мѣрѣ, нѣкоторыхъ ея сторонъ), желали бы оставить ее для себя, въ

свое исключительное пользованіе. Они хотятъ лишить народныя массы даже перваго элементарнаго средства всякой культуры — грамотности, подъ тѣмъ благовиднымъ предлогомъ, что съ грамотностью удобнѣе проникнутъ въ народъ всякія лжеученія, а также легче будетъ мужикамъ писать фальшивые векселя. Особенно въ этомъ послѣднемъ пунктѣ наши censores morum вполнѣ компетентны, но вообще слѣдуетъ замѣтить, что они вмѣстѣ съ даромъ непогрѣшимаго различенія ложныхъ и истинныхъ ученій, очевидно, получили также и даръ особой логики. По этой логикѣ слѣдовало бы кромѣ грамотности отнять у народа и огонь въ предупрежденіе пожаровъ, а также и воду, ибо колодцы могутъ вѣдь быть отравлены злонамѣренными людьми.

Что касается нашихъ народопоклонниковъ (послѣдней формаціи), то они, частью по недостаточности своего образованія, частью по предвзятой фальшивой идеѣ, видятъ какую-то аномалію и несправедливость въ томъ, что̀ есть необходимое условіе для всякаго усовершенствованія человѣческой жизни—въ раздѣленіи труда. Провести послѣдовательно ихъ дикую идею нѣтъ никакой возможности. Чтобы пахать землю, нужны орудія съ металлическими частями, слѣдовательно нужно горное и металлургическое дѣло; и уже съ древнѣйшихъ временъ этимъ дѣломъ долженъ былъ заниматься особый классъ людей, помимо землепашцевъ. Вотъ уже значитъ изъ самой природы вещей возникаетъ раздѣленіе труда и начало цивилизаціи. Но вѣдь не случайно же явились и дальнѣйшія осложненія культуры, дальнѣйшія ступени историческаго процесса, и остановить его гдѣ намъ угодно, или вернуть назадъ, къ произвольно выбранной нами стадіи,—это все равно, что „опростить“ животное царство, вернувши его, напримѣръ, къ формамъ животныхъ безпозвоночныхъ, такъ какъ у высшихъ животныхъ болѣе развиты дурные инстинкты и много лишнихъ органовъ.

Всего лучше основная мысль нашихъ упростителей выражена и заранѣе опровергнута въ геніальномъ разсказѣ гр. Л. Н. Толстого „Три смерти“. Здѣсь представлено, какъ умираютъ: культурная барыня, мужикъ и дерево. Барыня умираетъ совсѣмъ плохо, мужикъ значительно лучше, и еще гораздо лучше дерево. Это происходитъ очевидно отъ того, что жизнь мужика проще, чѣмъ жизнь барыни, а дерево живетъ еще проще, чѣмъ мужикъ. Но если изъ этого несомнѣннаго факта можно выводить какое-нибудь нравственно-практическое слѣдствіе, отождествляя простоту съ высшимъ благомъ, то зачѣмъ же останавливаться на мужикѣ, а не доходить до дерева, которое проще мужика, или

еще лучше—до камня, который такъ простъ, что даже совсѣмъ не умираетъ. А всего проще, конечно, чистое небытіе,—не даромъ наши упростители стали въ послѣднее время оказывать особую склонность къ буддизму... Или, быть можетъ, несправедливо прилагать логическія требованія къ взглядамъ людей, отказавшихся отъ теоретической дѣятельности и ставшихъ исключительно на нравственно-практическую почву? Но и на этой почвѣ они во всякомъ случаѣ могли бы принять во вниманіе тотъ несомнѣнный *фактъ*, что историческимъ развитіемъ культуры обусловливается и болѣе полное и широкое примѣненіе той идеи соціальной справедливости, за которую они стоятъ. Чтобы не ходить далеко,—чѣмъ обусловлено было упраздненіе крѣпостного права въ Россіи, какъ не тѣмъ, что съ преобразованіями Петра Великаго выдѣлился у насъ изъ народнаго цѣлаго особый культурный классъ, получившій средства къ усвоенію общечеловѣческаго просвѣщенія и его гуманныхъ идей? Величайшій актъ соціальной справедливости въ нашей исторіи, конечно, не могъ бы совершиться, еслибы Радищевъ, Тургеневъ, Самаринъ, Милютинъ, Черкасскій прониклись стремленіемъ къ „опрощенію" и вмѣсто своей литературной, общественной и политической дѣятельности предались паханію земли. Ихъ собственные крестьяне при этомъ и были бы, можетъ быть, отпущены на волю, но крѣпостное право вообще осталось бы въ своей силѣ. Не было бы оно уничтожено и въ томъ случаѣ, еслибы преобразовательной ломки Петра Великаго вовсе не произошло, и названные дѣятели, подобно ихъ предкамъ, должны были бы засѣдать въ боярской думѣ или въ холопьемъ приказѣ, отличаясь отъ своихъ крѣпостныхъ только болѣе богатыми кафтанами, а не европейскимъ образованіемъ [1]).

---

[1]) Одинъ московскій публицистъ, отрицая, повидимому, всякое вліяніе европейскаго просвѣщенія и идей общественной нравственности въ дѣлѣ освобожденія крестьянъ, утверждалъ недавно, что это дѣло совершилось исключительно только вслѣдствіе существующей у насъ формы правленія. Мы менѣе всего склонны умалять огромную историческую заслугу нашего просвѣщеннаго и гуманнаго правительства—напротивъ, мы цѣнимъ его здѣсь въ двойной мѣрѣ—не за то только, что оно рѣшило освободить крестьянъ, но и за то еще, что оно въ теченіе полутора вѣка передъ тѣмъ создавало и воспитывало тотъ образованный классъ, въ которомъ выяснилась нравственная необходимость освободительнаго акта и выработались дѣятели, послужившіе верховной власти въ его исполненіи. Но при этомъ я рѣшительно отказываюсь понять, какое отношеніе къ данному предмету имѣетъ собственно *форма правленія, отвлеченно взятая*. Вѣдь и установленіе крѣпостного права совершилось при той же самой государственной формѣ, какъ и его упраздненіе; между этими двумя актами

Итакъ, оба разсмотрѣнные взгляда—крѣпостническій и народопоклоннический—при видимой своей противоположности, оказываются одинаково противохристіанскими, противонародными и противоисторическими. Оба взгляда основаны на эгоизмѣ: крѣпостники своекорыстно ищутъ сохраненія и развитія сословныхъ привилегій; народопоклонники ищутъ своего личнаго удовлетворенія въ опрощеніи и мнимомъ уподобленіи себя народной массѣ, которой отъ этого ни тепло, ни холодно. И тѣ, и другіе—чужды и противны народу: одни прямо враждебно сталкиваются съ его насущными интересами и мечтаютъ закабалить его себѣ; другіе отказываются отвѣчать на дѣйствительныя потребности народа и отнимаютъ у него ту пользу, которую могли бы принести, содѣйствуя общему прогрессу страны въ качествѣ людей культурныхъ—ученыхъ, учителей, техниковъ, лекарей и даже хотя бы честныхъ торговцевъ, промышленниковъ и чиновниковъ. Наконецъ, оба эти направленія на свою бѣду одинаково, хотя съ разныхъ сторонъ, противорѣчатъ общему ходу исторіи, который клонится, во-первыхъ, къ наибольшему осложненію культурныхъ формъ и, слѣдовательно, къ полнѣйшему раздѣленію культурнаго труда,—но, вмѣстѣ съ тѣмъ, во-вторыхъ, и къ наибольшему уравненію всѣхъ въ пользованіи произведеніями этого труда, къ наиболѣе справедливому распредѣленію общаго достоянія. Народопоклонники-упростители возстаютъ противъ самаго факта культурнаго осложненія, а крѣпостники—противъ справедливаго распредѣленія культурныхъ благъ. И тѣ и другіе должны видѣть въ исторіи человѣчества какую-то ошибку. Гораздо легче, конечно, признать ошибкою ихъ собственныя бредни. Эта ошибка отягчается грубымъ своекорыстіемъ, съ одной стороны, и слѣпою враждой къ просвѣщенію и наукѣ,—съ другой. По счастію, какъ сказалъ одинъ поэтъ—

У науки нравъ не робкій,
Не заткнешь ея теченья
Ты своей дрянною пробкой...

Въ противоположность этимъ двумъ соціальнымъ ересямъ,

не произошло никакой перемѣны въ основахъ нашего политическаго строя, а совершалась перемѣна другого рода, именно постепенное усвоеніе правительствомъ и обществомъ тѣхъ идей гуманнаго просвѣщенія, благодаря которымъ и въ другихъ странахъ, въ Европѣ и въ Америкѣ, упразднено крѣпостное право и рабство при самыхъ различныхъ формахъ правленія. Впрочемъ упомянутый публицистъ, очевидно понимающій абсолютный характеръ монархическаго принципа не въ томъ смыслѣ, какой заключается въ моей теократической формулѣ, совершенно напрасно ссылается на сію послѣднюю.

изъ коихъ одна стремится *раздѣлить* націю на два враждебные стана, а другая—*слить* ее въ безформенную массу, мы утверждаемъ нравственно-органическую солидарность между простымъ народомъ и образованнымъ классомъ и обязанность для этого послѣдняго культурно служить народу, проводя въ его жизнь не собственныя измышленія и своекорыстныя затѣи, а единственно твердыя и единственно плодотворныя начала общечеловѣческаго просвѣщенія и вселенской правды. Двумъ идоламъ сословнаго обособленія и простонароднаго безразличія,—идоламъ, которыхъ поклонники или требуютъ чужой крови, какъ жрецы привилегированныхъ боговъ Тира и Кареагена, или же сами лишаютъ себя жизненной силы, подобно служителямъ простонародныхъ божествъ фригійскихъ,—мы противопоставляемъ свѣтлый и благотворный христіанскій идеалъ всеобщей солидарности и свободнаго развитія всѣхъ живыхъ силъ человѣчества. Конечно, пока этотъ идеалъ остается только общимъ мѣстомъ или пустою фразою, никто противъ него спорить не станетъ, имъ даже охотно прикрываются изъ приличія разные идолопоклонники. Но бѣда, если ту общую истину, которую всѣ признаютъ на словахъ, кто-нибудь захочетъ примѣнить къ дѣлу, или хотя бы только къ сужденію о дѣйствительныхъ проявленіяхъ лжи и зла въ мірѣ. Но именно такое развитіе христіанской идеи и составляетъ нашу задачу. При дальнѣйшемъ ея исполненіи мы встрѣтимся съ новыми идолами, менѣе грубыми и еще болѣе опасными, чѣмъ тѣ, которые мы здѣсь разсмотрѣли.

Владиміръ Соловьевъ.

* * *

Когда, пробившись изъ-за тучъ,
Въ осенній день, ненастья полный,
Освѣтитъ ярко солнца лучъ
Лѣсъ обнаженный и безмолвный,—
Онъ снова, кажется, живетъ,
Дождемъ омытый, какъ слезами,
И ждешь—что птица запоетъ,
И ждешь—что встрѣтишься съ цвѣтами.
Но быстро гаснетъ блескъ лучей,
Мгновенный блескъ, манившій счастьемъ,
И лѣсъ угрюмѣй и мрачнѣй
Стоитъ, окутанный ненастьемъ.
Такъ и въ душѣ моей больной
Твой голосъ—ласковый и нѣжный—
Звучалъ и счастьемъ, и весной,
И звалъ меня въ міръ грёзъ безбрежный.
Онъ отзвучалъ. Сильнѣй печаль
Томитъ меня, какъ мракъ ненастья,
И грёзъ несбывшихся мнѣ жаль,
И жалко призрачнаго счастья.

Вл. Ладыженскій.

ФРАНКО-РУССКІЯ ОТНОШЕНІЯ

ПРИ

НАПОЛЕОНѢ I.

Napoléon et Alexandre I. L'alliance russe sous le premier empire. I. De Tilsit à Erfurt. Par *Albert Vandal*. Paris, 1891.

— *Alexandre I et Napoléon*, d'après leur correspondance inédite. 1801—1812. Par *Serge Tatistcheff*. Paris, 1891.

— Сборникъ Императорскаго Русскаго Историческаго Общества. Томъ 70. Дипломатическія сношенія Россіи съ Франціей въ эпоху Наполеона I. Подъ редакціей проф. А. Трачевскаго. Т. I. 1800—1802. Спб., 1890.

Событія, волновавшія Европу въ началѣ столѣтія, представлялись долго въ какомъ-то фантастическомъ освѣщеніи: необычайная личность Наполеона, успѣхи и побѣды французскихъ армій, внезапное крушеніе старинныхъ монархій, поразительныя перемѣны въ судьбѣ государствъ,—все это давало богатую пищу легендѣ. Туманный ореолъ, окружавшій героевъ великой эпохи, мѣшалъ разглядѣть ихъ подлинныя черты; историки и поэты рисовали грандіозные образы на тускломъ фонѣ историческихъ фактовъ, не отдѣляя вымысла отъ дѣйствительности и увлекаясь больше красотой и стройностью изображаемыхъ картинъ, чѣмъ реальной правдою совершавшихся дѣлъ.

Критическій анализъ событій затруднялся отчасти односторонностью и неполнотою документальныхъ данныхъ, доступныхъ изслѣдованію и обсужденію; дипломатическіе архивы ревниво оберегали свои сокровища отъ нескромныхъ взоровъ и продолжали до недавняго времени сохранять государственныя тайны про-

шлаго, какъ бы опасаясь разрушить установившіяся заблужденія, созданныя недомолвками и прикрасами оффиціальныхъ лѣтописцевъ. Многія изъ закулисныхъ особенностей наполеоновской эпохи уже раскрыты; многое раскрывается только теперь, по мѣрѣ изученія и обнародованія архивныхъ матеріаловъ. Не такъ давно появилась въ печати дипломатическая переписка Талейрана; наше „Имп. русское историческое Общество“ напечатало первый томъ обширнаго собранія документовъ, касающихся внѣшней политики Франціи и Россіи при Наполеонѣ; наконецъ, почти одновременно вышли въ свѣтъ двѣ объемистыя книги, посвященныя тому же предмету и составленныя большею частью по неизвѣстнымъ дотолѣ источникамъ.

Г. Татищевъ открылъ въ нашихъ архивахъ цѣлую коллекцію неизданныхъ писемъ Александра I къ Наполеону, а также нѣсколько писемъ послѣдняго къ русскому императору; сверхъ того, онъ сообщаетъ подлинный текстъ двухъ секретныхъ актовъ, подписанныхъ въ Тильзитѣ,—союзнаго договора 7-го іюля 1807 года и дополнительной конвенціи относительно Каттаро и Корфу. Упомянутое выше изданіе русскаго историческаго Общества предупредило „открытіе“ г. Татищева только по отношенію къ двумъ первымъ годамъ столѣтія (1801—1802). Г. Татищевъ довольствуется изложеніемъ фактовъ и точнымъ воспроизведеніемъ писемъ и документовъ, безъ объясненія и анализа ихъ содержанія; но самый матеріалъ, приводимый авторомъ, полонъ живого интереса и могъ бы только пострадать отъ переработки. Эпизоды личныхъ сношеній Александра I и Наполеона ярко освѣщаются частною перепискою обоихъ правителей и подробными бесѣдами ихъ съ посланниками; эти непринужденныя и нерѣдко интимныя бесѣды, записанныя съ буквальною точностью, придаютъ дипломатическимъ отчетамъ безъискусственный репортерскій характеръ и читаются иногда положительно какъ романъ.

Сочиненіе Альбéра Вандаля написано въ другомъ тонѣ; это уже не легкій и живой разсказъ, а обстоятельное, серьезное историческое изслѣдованіе, дающее не только новыя фактическія свѣденія, но и обработку и оцѣнку ихъ. Какъ и г. Татищевъ, и ранѣе его г. Трачевскій (редакторъ упомянутаго выше изданія русскаго историческаго Общества), Альбéръ Вандаль имѣлъ одинаково доступъ въ парижскіе и петербургскіе архивы; онъ пользовался почти тѣми же неизданными матеріалами, но въ гораздо большей мѣрѣ утилизировалъ обширную литературу предмета для характеристики взаимныхъ отношеній европейскихъ кабинетовъ въ описываемую эпоху. Вандаль подробно излагаетъ и объ-

ясняетъ политику великихъ державъ, останавливается на вопросахъ и проектахъ, занимавшихъ дипломатію, и не скрываетъ своихъ личныхъ взглядовъ, симпатій и антипатій, хотя и старается, по возможности, сохранить объективность историка. Французскій авторъ поставилъ себѣ задачей выяснить обстоятельства, при которыхъ осуществился и затѣмъ разстроился франко-русскій союзъ при Наполеонѣ I. Повидимому, эта задача имѣетъ нѣкоторую связь съ современными планами политическихъ комбинацій; быть можетъ, популярная нынѣ идея франко-русской солидарности лежитъ отчасти въ основѣ того особеннаго вниманія, съ какимъ изучаются теперь условія и послѣдствія союзныхъ сдѣлокъ въ Тильзитѣ и Эрфуртѣ.

Но, какъ это ни странно, Альбѐръ Вандаль, подобно другимъ французскимъ авторамъ, писавшимъ о политикѣ,—какъ графъ Шодорди, Эдмонъ Гиппò, Анатоль Леруа-Больѐ,—относится довольно холодно къ мысли о тѣсномъ союзѣ съ Россіею, насколько можно судить по общему тону его сужденій о русской или „московской“ (moscovite) дипломатіи. Вандаль, какъ и другіе французскіе писатели, относится съ недовѣріемъ и скрытою враждою къ стихійной силѣ русскаго государства; онъ не высказывается прямо, но все-таки даетъ понять, что для Франціи немыслимо прочное сближеніе съ народомъ мало культурнымъ, отчужденнымъ отъ общихъ политическихъ идей и стремленій культурныхъ націй. Русскіе же изслѣдователи, проф. Трачевскій и г. Татищевъ, принимаютъ на вѣру мысль о союзѣ съ Франціею и видятъ почему-то подтвержденіе этой идеи въ событіяхъ наполеоновской эпохи. Первый ставитъ эпиграфомъ къ своему труду заявленіе французскаго посланника Гедувилля въ передачѣ Кочубея: „обѣ державы, на крайностяхъ, такъ сказать, Европы находящіяся, другъ другу вредить не могутъ, а соединяся, важное вліяніе вездѣ имѣть могутъ“. Намекая на „глубокіе корни русско-французской политики, стволъ которой не укладывается въ рамки немногихъ лѣтъ“, г. Трачевскій утверждаетъ, что избранный имъ эпиграфъ „хорошо опредѣляетъ ея національную сущность въ тѣ годы, которые особенно важны для оцѣнки всей внѣшней дѣятельности Наполеона“; но благодаря разнымъ случайностямъ и особенно вслѣдствіе ошибокъ и увлеченій нашей дипломатіи, „соединеніе двухъ державъ, на крайностяхъ Европы находящихся“,—этотъ будто бы „основной предметъ“ собранныхъ документовъ,—„оставалось благимъ пожеланіемъ, вопросомъ будущаго“. Еще яснѣе и наивнѣе говоритъ г. Татищевъ: онъ думаетъ, что разсказъ о „временныхъ ошибкахъ, мимолетныхъ уклоненіяхъ разума и справедливости“

можетъ „стереть послѣдніе слѣды недоразумѣній, слишкомъ долго раздѣлявшихъ два великіе народа, призванные любить и уважать другъ друга, поддерживать себя взаимно и способствовать такимъ образомъ, хотя и въ слабой мѣрѣ, торжеству неизмѣнной правды, вѣчной истины". Опасность роковыхъ заблужденій, погубившихъ дѣло франко-русскаго союза при Наполеонѣ, не существуетъ уже „съ тѣхъ поръ, какъ французскій народъ сталъ вновь принадлежать самому себѣ. Республика, по мнѣнію нашего автора, воспользуется опытомъ правительствъ, замѣненныхъ ею, не впадая въ ихъ погрѣшности и въ ихъ преступленія. Она уже доказываетъ это, направляясь мужественно по пути къ искреннему и прочному сближенію съ великой имперіею сѣвера, которая, съ своей стороны, вполнѣ расположена пойти ей на встрѣчу. Франція больше не отступитъ отъ этого пути, ибо существуетъ нѣчто болѣе непогрѣшимое, чѣмъ геній великаго человѣка,—это геній великой націи". Эта хвала республикѣ и національному самоуправленію, эти громкія слова о „торжествѣ неизмѣнной правды, вѣчной истины", могли вѣроятно разсчитывать на нѣкоторый эффектъ среди легкомысленныхъ читателей французскаго журнала, въ которомъ печаталась книга г. Татищева; но даже редакція „Nouvelle Revue", для которой лучшимъ олицетвореніемъ русскаго народа представляется „вольный казакъ Ашиновъ", едва ли ждетъ отъ этого мнимаго „казачества" чего-нибудь другого, кромѣ лишь содѣйствія отвоеванію у нѣмцевъ Эльзаса и Лотарингіи. Почему именно русская политическая практика, соединившись съ французскою, произведетъ на свѣтъ „вѣчную истину и справедливость", и особенно какимъ образомъ самобытныя идеи того направленія, къ которому принадлежитъ г. Татищевъ, могутъ имѣть общую почву съ принципами французской республики,—это остается неизвѣстнымъ. Люди, проповѣдующіе для своего собственнаго народа систему повальныхъ тѣлесныхъ экзекуцій, не должны были бы думать о прочномъ сближеніи съ современною Франціею и разсуждать о „торжествѣ неизмѣнной правды и вѣчной истины": эти лицемѣрныя фразы никого не введутъ въ заблужденіе. Холодные и отчасти непріязненные отзывы Альбера Вандаля служатъ косвеннымъ отвѣтомъ на „патріотическія" ожиданія г. Татищева.

Нужно замѣтить, что французское сочиненіе г. Татищева почти вполнѣ свободно отъ узкихъ и мелкихъ тенденцій, отличающихъ его прежніе труды: авторъ является передъ французскою публикою совсѣмъ не въ томъ видѣ, въ какомъ онъ составилъ себѣ извѣстность у насъ. Г-нъ Serge Tatistcheff оказывается

писателемъ весьма либеральнымъ и передовымъ; онъ ни однимъ словомъ не обнаруживаетъ своей солидарности съ тѣмъ убогимъ націонализмомъ, который сводится къ заподозриванію и преслѣдованію лицъ съ иностранными фамиліями. Напротивъ, авторъ какъ будто отрекается теперь отъ теоріи, развиваемой съ большимъ усердіемъ въ его же русскихъ изслѣдованіяхъ,—теоріи, предполагающей внутренній разладъ и постоянное противорѣчіе между „внѣземельною" дипломатіею и высшимъ правительствомъ. По прежнимъ объясненіямъ г. Татищева, всѣ неудачи и ошибки нашей внѣшней политики происходили отъ того, что предначертанія и намѣренія государей извращались иновѣрными и иноплеменными исполнителями, занимавшими высшіе посты въ сферѣ дипломатической дѣятельности. Правда, факты, излагаемые самимъ авторомъ, опровергали на каждомъ шагу его теорію; но недостатокъ логики прикрывался обычнымъ патріотическимъ туманомъ и могъ остаться незамѣченнымъ для читателей. Въ новѣйшемъ своемъ сочиненіи г. Татищевъ не старается уже отыскивать искусственныя и явно-натянутыя оправданія для погрѣшностей русской политики; онъ не выдѣляетъ дипломатовъ изъ состава правительства, не взваливаетъ отвѣтственности за промахи и увлеченія руководителей на исполнительные органы, не ставитъ вопросовъ о происхожденіи и вѣроисповѣданіи дѣйствовавшихъ лицъ, когда виноваты учрежденія и традиціи. Авторъ оспариваетъ „иллюзію", которую поддерживалъ Наполеонъ, относительно несогласія довѣренныхъ представителей Александра I съ его дѣйствительными желаніями и чувствами; онъ не пытается уже умалить непосредственную руководящую роль императора въ рѣшеніяхъ и дѣйствіяхъ Россіи, хотя бы эти рѣшенія и дѣйствія оказывались ошибочными съ точки зрѣнія русскихъ интересовъ. Мы отмѣчаемъ этотъ поворотъ въ сторону исторической правды, не касаясь вопроса о мотивахъ его и степени его прочности. Самая книга г. Татищева посвящена одному изъ современныхъ русскихъ дипломатовъ съ чисто-нѣмецкой фамиліей. Быть можетъ, отреченіе автора отъ нѣкоторыхъ особенностей поверхностнаго націонализма вызвано болѣе внимательнымъ и обдуманнымъ анализомъ прошлаго, а не только соображеніями о вкусахъ и взглядахъ французской публики, для которой прежде всего предназначена книга.

I.

Въ отношеніяхъ Александра I къ наполеоновской Франціи замѣчаются такіе же рѣзкіе переходы отъ вражды къ дружбѣ, отъ воинственнаго, высокомѣрнаго тона къ снисходительному и довѣрчивому, какъ и при императорѣ Павлѣ. Интересы Россіи не играли вообще никакой роли въ этихъ перемѣнчивыхъ настроеніяхъ. Вопросы о войнѣ и мирѣ зависѣли отъ личныхъ чувствъ къ тому или другому иностранному правительству.

Когда императоръ Павелъ, раздраженный поведеніемъ вѣнскаго кабинета, задумалъ сблизиться съ прежними врагами, французами, то вице-канцлеръ графъ Панинъ горячо доказывалъ необходимость прежде всего спасти Австрію отъ угрожавшихъ ей военныхъ ударовъ. „Справедливые поводы къ неудовольствію противъ вѣнскаго кабинета", по мнѣнію министра, должны еще усиливать рѣшимость пойти на помощь австрійцамъ, ибо „приближается моментъ, когда государь можетъ наказать Австрію и отомстить ей единственнымъ достойнымъ его великой души образомъ, спасая австрійскую монархію отъ гибели" (sic!). Планъ благородной мести австрійцамъ посредствомъ отдачи имъ спасительной русской арміи не былъ принятъ, но французскому правительству была доставлена краткая и весьма категорическая нота графа Ростопчина, съ требованіемъ очистить Мальту, возстановить короля сардинскаго въ его прежнихъ владѣніяхъ, и пр. Черезъ два дня послѣ отсылки этой ноты дана уже была вполнѣ миролюбивая инструкція генералу Спренгпортену, уѣзжавшему въ Парижъ въ качествѣ русскаго уполномоченнаго. Бонапартъ успѣлъ пріобрѣсть расположеніе и сочувствіе Павла I.

Въ декабрѣ 1800 года первый консулъ французской республики писалъ русскому государю: „... я желаю видѣть скорый и безповоротный союзъ двухъ могущественнѣйшихъ націй въ мірѣ. Я тщетно пытался въ теченіе двѣнадцати мѣсяцевъ дать отдыхъ и спокойствіе Европѣ; я не могъ достигнуть этого, и борьба продолжается еще безъ причины, и какъ кажется, только по внушеніямъ англійской политики. Черезъ двадцать-четыре часа послѣ того, какъ ваше величество уполномочитъ кого-либо, кто пользуется полнымъ его довѣріемъ, материкъ и моря будутъ спокойны. Когда Англія, императоръ Германіи и всѣ другія державы убѣдятся, что стремленія и силы нашихъ двухъ великихъ націй направлены къ одной цѣли, оружіе выпадетъ у нихъ изъ рукъ, и настоящее поколѣніе будетъ благословлять ваше величе-

ство за то, что вы освободили его отъ ужасовъ войны и отъ раздоровъ партій. Если эти чувства раздѣляются вашимъ величествомъ, какъ побуждаютъ меня думать прямота и величіе его характера, то я считалъ бы умѣстнымъ и достойнымъ, чтобы одновременно установлены были границы различныхъ государствъ и чтобы Европа узнала въ тотъ же самый день о подписаніи мира между Франціей и Россіею и о взаимныхъ обязательствахъ, принятыхъ ими для всеобщаго умиротворенія. Этотъ сильный, откровенный и искренній способъ дѣйствій можетъ не понравиться нѣкоторымъ кабинетамъ, но вызоветъ одобреніе всѣхъ народовъ и потомства". Почти одновременно императоръ Павелъ, съ своей стороны, обращался къ Бонапарту съ предложеніемъ устроить совокупными силами необходимый миръ въ Европѣ. „Обязанность тѣхъ, кому Богъ вручилъ власть управленія народами—думать и заботиться объ ихъ благосостояніи,—писалъ императоръ.—Я предлагаю вамъ для этой цѣли условиться между собою относительно мѣръ къ прекращенію бѣдствій, угнетающихъ Европу въ продолженіе одиннадцати лѣтъ. Я не говорю и не хочу спорить ни о правахъ человѣка, ни о принципахъ различныхъ правительствъ, которые усвоили себѣ отдѣльныя страны. Постараемся возвратить міру спокойствіе и тишину, въ которыхъ онъ такъ нуждается и которыя кажутся столь согласными съ неизмѣнными законами Всевышняго". Уполномоченнымъ для веденія этихъ важныхъ переговоровъ назначенъ былъ дипломатъ старой школы, непримиримый врагъ новой Франціи, Колычевъ.

Отвѣчая на письмо перваго консула, императоръ Павелъ сдѣлалъ весьма разумную и существенную оговорку, которая, однако, была забыта имъ черезъ нѣсколько дней: онъ уклонился отъ вмѣшательства въ установленіе границъ какъ въ Италіи, такъ и въ Германіи, для избѣжанія послѣдствій, къ которымъ это могло бы привести. Колычевъ медленно собирался въ путь, и тѣмъ временемъ измѣнялись намѣренія Павла I; представителю сардинскаго короля въ Петербургѣ удалось добиться, чтобы на русскаго дипломата возложена была настойчивая защита интересовъ Сардиніи, вопреки сообщенному уже въ Парижъ рѣшенію не вмѣшиваться въ итальянскія дѣла. Эти злосчастные интересы сардинскаго короля имѣли роковое, пагубное значеніе въ общемъ ходѣ русско-французской политики; они все болѣе выдвигаются на первый планъ, по совершенно непонятнымъ причинамъ, и постепенно становятся главнѣйшимъ предметомъ политическихъ заботъ и военныхъ напряженій Россіи. Павелъ I еще направлялъ свое главное вниманіе на Англію и совѣтовалъ Бонапарту предпринять про-

тивъ нея что-нибудь рѣшительное на собственной ея территоріи; подобные совѣты были принимаемы съ большимъ сочувствіемъ, такъ какъ они прямо указывали на возможность полнаго соглашенія и союза на почвѣ вражды къ англичанамъ. Любопытно, между прочимъ, что Колычеву было спеціально предписано особымъ рескриптомъ имѣть въ виду, „дабы никто изъ употребленныхъ въ негоціаціи съ Бонапартомъ не принималъ никакихъ ни отъ его, ни отъ имени правительства подарковъ, ни деньгами, ни бриллiантами, распространяя сіе и на всѣхъ подчиненныхъ нынѣ и впредь".

Тотчасъ послѣ пріѣзда въ Парижъ русскій дипломатъ занялся интересами короля Обѣихъ-Сицилій и возбудилъ этимъ понятное недоумѣніе; это недоумѣніе проходитъ, какъ красная нить, черезъ всю дипломатическую переписку того времени и тянется безнадежно до кровавой развязки подъ Аустерлицемъ. „Не взирая на чрезвычайныя почести и словесныя увѣренія,—сообщаетъ Колычевъ въ февралѣ 1801 года,—кажется, что въ сближеніи Франціи съ Россіею ни малѣйшей нѣтъ искренности, ибо здѣшнее правительство, оказавъ только наружное уваженіе къ покровительству вашего имп. величества королю неаполитанскому, отказало послу его здѣсь вступить съ нимъ въ переговоры, и, удаля отъ владѣній его свои войска, принудитъ, вѣроятно (?), заключить миръ, неприличный ни выгодамъ его, ни достоинству вашего имп. величества, и въ томъ намѣреніи посланъ въ Неаполь уполномоченный Алкьеръ, бывшій прежде посломъ въ Гишпаніи. О семъ не преминулъ я въ самыхъ сильныхъ выраженіяхъ (sic) объясниться съ Талейраномъ. Сверхъ того, весьма ясно желаніе правительства вовлечь Россію въ убыточную войну не только съ Англіей, но и съ самою Портою, дабы лишить ее сего союзника и, удаля со временемъ отъ Пруссіи, ослабить и унизить государство, которое одно только можетъ удержать равновѣсіе Европы".

Съ такими взглядами нельзя было приступать къ соглашенію съ Франціею, и въ письмѣ къ Ростопчину отъ того же числа (25-го февраля), Колычевъ настоятельно проситъ освободить его отъ тягостной и непосильной задачи. „Умоляю васъ, графъ,—пишетъ онъ,—убрать меня отсюда какъ можно скорѣе; я вижу все въ черномъ свѣтѣ и оттого заболѣлъ; къ тому же я, въ самомъ дѣлѣ, чувствую, что данная мнѣ миссія превышаетъ мои силы, и я сомнѣваюсь въ успѣхѣ. Пришлите мнѣ преемника; служба отъ этого выиграетъ: быть можетъ, онъ будетъ счастливѣе и во всякомъ случаѣ ловчѣе. Осмѣливаюсь просить васъ объ этомъ серьезно. Вы выведете меня изъ большого затрудненія,

отозвавъ меня отсюда. Я никогда не привыкну къ людямъ, которые здѣсь управляютъ; я никогда не стану довѣрять имъ. Съ людьми, управляющими здѣсь, нужно держаться твердо и ничего не уступать, а еще менѣе входить въ ихъ виды". Просьба не была услышана, и Колычевъ оставленъ былъ въ Парижѣ, какъ бы умышленно для того, чтобы сдѣлать невозможнымъ прочное примиреніе съ французскимъ правительствомъ.

Петербургскій кабинетъ предъявлялъ такія требованія, которыя можно было ставить только послѣ разгрома противника, а между тѣмъ Франція одержала цѣлый рядъ великихъ побѣдъ, которыя нисколько не располагали ее къ односторонним и ненужнымъ уступкамъ. Самыя требованія Россіи относились къ предметамъ и вопросамъ, не имѣвшимъ ни малѣйшей связи съ дѣйствительными русскими интересами. Въ началѣ марта 1801 года имп. Павелъ сообщилъ черезъ вице-канцлера князя Куракина свои „послѣднія и неизмѣнныя намѣренія относительно вознагражденій, которыя должны быть даны въ Германіи королю прусскому, курфюрсту баварскому и королю вюртембергскому, а также Даніи и Швеціи"; правительство будетъ „строго держаться этого ультиматума и отвергнетъ всякое предложеніе", уклоняющееся въ чемъ бы то ни было отъ точно выраженныхъ желаній государя. Такъ какъ безъ войны нельзя было ожидать принятія подобныхъ „ультиматумовъ" французами, то мысль о прочномъ мирѣ и союзѣ оказывалась иллюзіей. Колычевъ искренно негодуетъ по поводу того, что французская дипломатія помимо Россіи „поспѣшила принудить неаполитанскаго короля заключить перемиріе, дабы основать на ономъ миръ", несогласный съ выгодами этого побѣжденнаго короля, т.-е., что Франція, въ сущности, поступаетъ самостоятельно, какъ независимая держава, и притомъ „не только оправдывать сей насильственный поступокъ, но и исправить оный отрекается". Для пріобрѣтенія русской дружбы французамъ предлагалось еще вдобавокъ очистить Египетъ и отнять у англичанъ островъ Мальту для передачи его Россіи. Русскія условія соглашенія, какъ и слѣдовало ожидать, признаны были Бонапартомъ „несовмѣстимыми съ достоинствомъ французской націи и не соотвѣтствующими тѣмъ дружескимъ намѣреніямъ, которыя сблизили русскаго императора съ французскою республикою". Первый консулъ находилъ вообще, что „общій тонъ заявленій, переданныхъ вице-канцлеромъ Колычевымъ, совершенно не тотъ, какой обыкновенно принятъ между государствами независимыми, побуждаемыми къ миру взаимнымъ уваженіемъ и обоюдными интересами, а не чувствами страха или подчиненности". Онъ рѣшилъ поэтому

послать въ Петербургъ одного изъ своихъ офицеровъ, Дюрока, чтобы представить русскому правительству необходимыя объясненія. Дюрокъ засталъ уже въ Россіи новаго императора.

Общій характеръ переговоровъ вовсе не измѣнился съ кончиною Павла I. Напротивъ, русскія ноты стали еще рѣзче и категоричнѣе. Первыя инструкціи Александра I подтверждали необходимость твердо отстаивать интересы неаполитанскаго короля и требовать смягченія предложенныхъ ему условій мира, въ видахъ охраны его королевскаго достоинства и его государственныхъ выгодъ. Колычеву поручено было также домогаться возстановленія правъ короля сардинскаго и возвращенія Египта подъ власть Турціи. Согласно полученнымъ предписаніямъ, нашъ дипломатъ заявилъ французскому правительству, что „быстрое и полное исполненіе" требованій, формулированныхъ императоромъ Павломъ, составляетъ единственное средство къ утвержденію мира и гармоніи между обѣими державами. Условія, „исторгнутыя" у неаполитанскаго двора силою оружія, „никогда не будутъ признаны Россіею"; поступки Франціи, - говорилось далѣе въ нотѣ Колычева,—„возбуждаютъ справедливое недовѣріе и заставили бы даже заподозрить искренность намѣреній французскаго правительства, если послѣднее само не поспѣшитъ отказаться отъ мѣръ, которыя могли быть внушены ему плохо оцѣненными обстоятельствами". Талейранъ, „прочитавъ эту ноту съ величайшимъ вниманіемъ, нашелъ ее написанною въ стилѣ настолько же необычайномъ, какъ и неприличномъ по отношенію къ французскому правительству", и потому призналъ невозможнымъ представить ее первому консулу, о чемъ и сообщилъ оффиціально Колычеву. Колычевъ повторилъ въ болѣе краткой формѣ тѣ же настоятельные запросы о возвратѣ отнятыхъ владѣній королямъ сардинскому и Обѣихъ-Сицилій. Онъ доносилъ въ Петербургъ, что „первый консулъ въ высшей степени честолюбивъ, горячъ, необузданъ, хорошій генералъ, имѣвшій всегда удачу, но очень посредственный администраторъ, ничего не понимающій въ иностранной политикѣ и не слушающій ничьихъ совѣтовъ". Въ свою очередь, Бонапартъ въ небольшомъ письмѣ къ Талейрану замѣчаетъ, что „трудно быть болѣе дерзкимъ и глупымъ, чѣмъ Колычевъ". Самъ императоръ Александръ I, давая строгія предписанія своему представителю въ Парижѣ, выражалъ въ то же время вполнѣ дружескія и миролюбивыя чувства, въ разговорахъ съ Дюрокомъ. Оказывалось, что въ сущности онъ ничего не имѣетъ противъ Франціи, что онъ всегда желалъ видѣть Египетъ въ рукахъ французовъ и что его мало интересуютъ короли Сардиніи и Обѣихъ-Сицилій. „Въ са-

момъ дѣлѣ, говорилъ императоръ, участіе моего покойнаго родителя къ сардинскому королю было дѣломъ личнымъ; я не знаю никого изъ этихъ государей; я согласенъ, что сардинскій король виноватъ предъ французскимъ правительствомъ". И тѣмъ не менѣе, домогательства и жалобы этихъ итальянскихъ принцевъ оказывали почему-то рѣшающее вліяніе на политику Россіи. Въ подробномъ рескриптѣ, данномъ Колычеву въ іюнѣ 1801 года, были точно указаны тѣ пункты, отъ которыхъ нашему дипломату не было позволено отступить ни въ какомъ случаѣ. Въ инструкціи новому уполномоченному, графу Моркову, было откровенно объяснено, что многія изъ политическихъ обязательствъ, принятыхъ на себя Павломъ I, прямо противорѣчили интересамъ имперіи, а другія были несовмѣстимы съ географическимъ положеніемъ и взаимными удобствами договаривающихся сторонъ; и однако новый государь будетъ дѣйствовать въ томъ же направленіи, изъ уваженія къ договорамъ, и „готовъ поддерживать союзниковъ силою оружія въ дѣлѣ, чуждомъ имперіи", если желанные результаты не будутъ достигнуты мирными способами. Александръ I давалъ понять, что снисходительность его къ Франціи имѣетъ свои границы и что онъ можетъ почувствовать себя вынужденнымъ прибѣгнуть къ другимъ мѣрамъ для достиженія цѣли. Заботамъ графа Моркова поручались прежде всего интересы королей сардинскаго и неаполитанскаго, курфюрста баварскаго и герцога вюртембергскаго,—интересы, которые, по признанію самого правительства, были „чужды нашей имперіи". Талейранъ не скрывалъ своего удивленія при видѣ этой самоотверженной заботливости Россіи о королѣ сардинскомъ, котораго покинули именно тѣ двѣ державы, которыя толкнули его на войну—Австрія и Англія; французскому министру казалось непостижимымъ это настойчивое вмѣшательство въ итальянскія дѣла со стороны государства отдаленнаго, не имѣющаго никакого повода тратить свои силы въ пользу нѣкоторыхъ иностранныхъ принцевъ, неудачно воевавшихъ съ Франціею.

Наша политика руководствовалась личными чувствами и впечатлѣніями, не подчиненными сознанію реальныхъ государственныхъ потребностей; оттого и дѣйствія и рѣшенія Россіи поражали своею перемѣнчивостью, случайностью мотивовъ и непослѣдовательностью. Эта слабая сторона хорошо замѣчена была французскимъ правительствомъ еще при Павлѣ I; она давала надежду на возможность полнаго поворота въ русской политикѣ, посредствомъ личныхъ вліяній, которыя легко было пустить въ ходъ при обычныхъ свѣтскихъ талантахъ, свойственныхъ французамъ. Чтобы достигнуть этой перемѣны въ настроеніи петербургскаго

кабинета, надо было прежде всего покончить съ формальными разногласіями и спорами. Въ концѣ сентября 1801 года была, наконецъ, подписана мирная конвенція между Франціею и Россіею. Первый консулъ французской республики вступилъ въ личную переписку съ Александромъ I, посылалъ въ Петербургъ своихъ довѣренныхъ людей, имѣвшихъ шансы понравиться государю, и старался быть любезнымъ съ его представителемъ въ Парижѣ, раздражительнымъ и надменнымъ графомъ Морковымъ. Симпатіи къ королю сардинскому были однако болѣе упорны, чѣмъ думалъ Бонапартъ; положеніе этого русскаго кліента, которому Франція не могла безпричинно возвратить отнятую часть территоріи по одному лишь требованію Россіи, продолжало служить главнымъ и даже почти единственнымъ предметомъ дипломатическихъ нотъ, переговоровъ и протестовъ. Безконечныя напоминанія и скрытыя угрозы по поводу короля сардинскаго наполняютъ собою всѣ документы, рескрипты, инструкціи и сообщенія, напечатанныя въ сборникѣ историческаго общества, за 1801 и 1802 годы. Г. Татищевъ объясняетъ это направленіе нашей тогдашней политики одностороннимъ вліяніемъ вице-канцлера графа Панина; но это же направленіе оставалось въ силѣ и послѣ отставки Панина, измѣняясь только въ частностяхъ и мелочахъ, пока наконецъ дѣло не дошло до войны. Въ дипломатическихъ бумагахъ говорилось о „снисхожденіи къ Франціи" по мѣрѣ ея уступчивости; но графъ Морковъ употреблялъ какъ будто всѣ старанія, чтобы усилить взаимное недовѣріе и вражду, хотя онъ былъ только точнымъ исполнителемъ оффиціальныхъ предписаній и внушеній. Въ Парижѣ были крайне недовольны „неприличнымъ поведеніемъ" русскаго уполномоченнаго, рѣзкимъ и оскорбительнымъ тономъ его рѣчей, его сношеніями съ врагами республики и перваго консула. Но общій характеръ политики опредѣлялся не простыми исполнителями и даже не министрами, которые мѣнялись постоянно, а коренился во всемъ складѣ государственной дѣятельности, въ отчужденности отъ реальныхъ интересовъ страны, въ привычкѣ смотрѣть на международныя отношенія какъ на личныя дѣла правителей.

Съ точки зрѣнія традицій, петербургскій кабинетъ не могъ относиться иначе, какъ свысока, къ французскимъ дѣятелямъ, выдвинутымъ революціею и не имѣвшимъ за собою ни аристократическихъ связей, ни придворныхъ званій. Либеральныя воззрѣнія Александра I не исключали взгляда на западно-европейскія государства какъ на частныя достоянія династій. Сочувствіе къ сардинскому королю оффиціально мотивировалось тѣмъ, что оставшіяся

у него владѣнія даютъ мало дохода и не обезпечиваютъ королевскаго содержанія въ достаточной мѣрѣ. Графъ Морковъ ссылался на этотъ аргументъ въ разговорѣ съ первымъ консуломъ, надѣясь на его великодушіе и справедливость; но—пишетъ онъ—Бонапартъ „далъ мнѣ отвѣтъ, вполнѣ рисующій непреклонность его принциповъ и жесткость его характера; онъ сказалъ мнѣ: справедливость государствъ—это ихъ выгоды и удобства; великодушіе, несогласное съ интересами, становится страстью или, вѣрнѣе, слабостью". Когда нашъ дипломатъ упомянулъ о скромныхъ сардинскихъ доходахъ, не превышающихъ 600 тысячъ ливровъ въ годъ, то первый консулъ выразилъ готовность давать королю дополнительныя суммы изъ средствъ французскаго казначейства. Если дѣло шло только объ имуществѣ и денежныхъ доходахъ династій, какъ можно было заключить изъ нѣкоторыхъ заявленій Моркова и самого Александра I, то Франція охотно соглашалась на уступки; но нельзя было ожидать отъ нея добровольнаго отказа отъ плодовъ счастливой войны и разсчитывать на отдачу занятыхъ и присоединенныхъ уже территорій. „Это рѣшено, говорилъ Бонапартъ Моркову: денегъ сколько хотите и сколько король захочетъ, а больше ничего". Гораздо легче было устроить соглашеніе по другому болѣе сложному и щекотливому вопросу о территоріальныхъ вознагражденіяхъ и перемѣнахъ въ Германіи. Тогда упрочилась уже власть перваго консула; онъ сдѣлался пожизненнымъ правителемъ, а по мѣрѣ утвержденія его власти улучшалось и отношеніе къ нему русскаго правительства и дипломатіи. Въ то же время замѣчается еще другая черта: Александръ I напоминаетъ французамъ либеральные принципы, признаетъ право каждаго народа судить о свойственномъ ему образѣ правленія и создавать себѣ государственный порядокъ по собственному желанію, и на этомъ основаніи заступается за Швейцарію. Получивъ одно такое письмо русскаго императора, Бонапартъ „былъ до того изумленъ его содержаніемъ, что просилъ Талейрана разсмотрѣть хорошенько, царя ли это рука"; удивленіе или сомнѣніе вызывалось тѣмъ, что всѣ четыре страницы письма наполнены были демократическими идеями и принципами, слишкомъ либеральными для перваго консула [1]. Но чувствительность по отношенію къ народамъ имѣла лишь отвлеченный характеръ и легко парализовалась мыслью объ анархіи; такъ, въ одномъ изъ писемъ къ первому консулу предлагается ему положить конецъ безначалію въ Швейцаріи,

---

[1]) Сборникъ Имп. Р. Историч. Общества, примѣчанія, стр. 727.

подобно тому, какъ онъ „съ такою славою сдѣлалъ это въ своемъ отечествѣ“. Стоитъ назвать народную свободу анархіей, а національное самоопредѣленіе—безначаліемъ, и въ результатѣ получается замѣна либеральныхъ выводовъ консервативными и реакціонными. Бѣдствія королей и принцевъ, лишенныхъ части своихъ удѣловъ, давали болѣе постоянную и конкретную пищу гуманнымъ чувствамъ; письма къ Бонапарту часто цѣликомъ посвящались обсужденію доходовъ того или другого германскаго владѣтеля, какъ напр. герцога-епископа любекскаго и др. Эти небольшія матеріальныя требованія, вызываемыя родственными отношеніями къ нѣкоторымъ нѣмецкимъ принцамъ, легко удовлетворялись Франціею и доставляли первому консулу поводъ обнаруживать дружескую предупредительность, которая со временемъ должна была принести свои реальные плоды.

Ближайшіе совѣтники Александра I склонялись въ пользу союза съ Англіею и Австріею, по причинамъ чисто-политическимъ; но личное чувство императора замѣтно колебалось, то поддаваясь старымъ французскимъ симпатіямъ или очарованію военной славы, то повинуясь охранительнымъ стремленіямъ, поддерживаемымъ интересами родственныхъ европейскихъ дворовъ. Письма Александра I къ Бонапарту были сдержанны, но весьма любезны и доброжелательны; бесѣды съ французскими уполномоченными, особенно съ Коленкуромъ, имѣли не только дружественный, но иногда даже интимный оттѣнокъ, и все-таки наша дипломатія говорила тѣмъ же высокомѣрнымъ языкомъ, слѣдуя тѣмъ же неизмѣнно повторяемымъ и подтверждаемымъ инструкціямъ. Первый консулъ, какъ замѣчаетъ г. Татищевъ, искалъ разгадку этой двойственности въ дурной волѣ министровъ, не желавшихъ исполнять намѣреній своего государя. „Императоръ Александръ,—писалъ онъ папѣ,—справедливъ и проникнутъ миролюбіемъ, но кабинетъ его отличается разладомъ, надменностью и безнравственностью“. Въ наставленіяхъ генералу Гедувиллю поручалось, между прочимъ, стремиться къ личному сближенію съ императоромъ, намекать при случаѣ на прекрасное новое оружіе, фабрикуемое во Франціи, и лучшіе образцы котораго будутъ съ удовольствіемъ поднесены русскому двору; предлагалось также возбуждать интересъ къ французскимъ модамъ въ кружкахъ, близкихъ къ императрицѣ, и французское правительство прислало бы въ подарокъ все наиболѣе изящное, что̀ выработано въ Парижѣ по этой части.

Эти и подобные имъ способы ухаживанья за Россіею не имѣли ожидаемаго успѣха, въ чемъ пришлось убѣдиться Бонапарту по

случаю спора съ Англіею въ началѣ 1803 года. Англія нарушила одно изъ условій мира, заключеннаго въ Амьенѣ, отказавшись очистить Мальту; первый консулъ предложилъ возникшій споръ на судъ императора Александра. Отвѣтъ былъ настолько неясенъ, что нельзя было сомнѣваться въ его истинномъ смыслѣ. Въ виду предстоявшаго разрыва съ Англіею, Бонапартъ въ особомъ письмѣ къ императору просилъ отозвать графа Моркова, какъ дипломата, враждебно относящагося къ Франціи и участвующаго во всѣхъ направленныхъ противъ нея интригахъ. Первый консулъ публично высказалъ Моркову при пріемѣ дипломатическаго корпуса, что петербургскій кабинетъ не долженъ былъ бы держать на жалованьѣ французскихъ эмигрантовъ, интригующихъ за границею противъ своего отечества, и что заступничество Россіи за одного изъ этихъ французовъ, арестованнаго французскою властью, оскорбительно для Франціи. Взаимныя отношенія все болѣе разстроивались, и Россія незамѣтно вовлекалась въ круговоротъ ненужныхъ военныхъ подвиговъ и испытаній, по поводу посторонних для нея политическихъ дѣлъ. Въ холодномъ отвѣтномъ письмѣ Александра I восхваляются заслуги Моркова, какъ добросовѣстнаго выразителя намѣреній и желаній государя, и согласіе на отставку этого дипломата связывается съ собственной его давнишнею просьбою объ увольненіи отъ тягостной службы, по разстройству здоровья. Въ Парижѣ оставленъ повѣренный въ дѣлахъ Убри, который продолжалъ полемизировать съ Талейраномъ о королѣ сардинскомъ и о французскихъ эмигрантахъ, служащихъ русскими дипломатическими агентами. Гроза приближалась. Неожиданный захватъ и казнь герцога Энгьенскаго, въ мартѣ 1804 года, дали новый и сильный толчокъ событіямъ.

Русское правительство предъявило формальный протестъ, который вызвалъ насмѣшливые комментаріи Талейрана; дипломатическія сношенія были прерваны, и послѣднимъ актомъ нашего повѣреннаго въ дѣлахъ было новое категорическое требованіе о вознагражденіи короля сардинскаго и объ очищеніи Ганновера и королества неаполитанскаго. Миролюбивый Александръ I вступилъ на путь войны, съ цѣлью безкорыстно умиротворить и успокоить Европу, для пользы Англіи и другихъ державъ, обиженныхъ Франціею. Россія должна была дать свои силы и средства въ распоряженіе австрійцевъ, пруссаковъ, англичанъ и неаполитанцевъ; русскій императоръ былъ душою этой коалиціи, третьей по счету и гораздо болѣе грозной, чѣмъ двѣ предшествовавшія. Миссія всеобщаго умиротворенія, принятая на себя Александ-

ромъ I, потребовала отъ Россіи тяжелыхъ кровавыхъ жертвъ и вовлекла ее въ рядъ разорительныхъ войнъ, которыя даже въ случаѣ полнаго успѣха не могли принести никакихъ выгодъ странѣ. Бонапартъ, превратившійся тѣмъ временемъ въ императора Наполеона, считалъ русскую вражду дѣломъ недоразумѣнія и не терялъ надежды завоевать дружбу русскаго государя. Онъ надѣялся еще на возможность соглашенія; онъ послалъ своего адъютанта Савари въ главную квартиру союзниковъ, съ письмомъ къ Александру I; но письмо было принято холодно и удостоилось лишь краткаго оффиціальнаго отвѣта. Передъ рѣшительною битвою, въ ноябрѣ 1805 года, Наполеонъ вторично послалъ генерала Савари, чтобы предложить русскому императору свиданіе; Александръ I уполномочилъ для переговоровъ одного изъ своихъ генералъ-адъютантовъ, князя Долгорукова. Русскій генералъ повторилъ старыя заявленія о правахъ сардинскаго короля и т. п., и, по увѣренію Наполеона, „высказалъ это въ такомъ тонѣ, какъ будто разговаривалъ съ бояриномъ, котораго готовятся сослать въ Сибирь". Наполеонъ отвѣтилъ Долгорукову, что „Россія должна была бы слѣдовать совершенно другой политикѣ и заботиться только о своихъ собственныхъ интересахъ".

Кровопролитное сраженіе при Аустерлицѣ разрушило широкіе планы союзниковъ, но не повліяло на мечтательную политику Александра I. Миръ, подписанный уже въ Парижѣ въ іюлѣ 1806 года, не былъ ратификованъ въ Петербургѣ; Пруссія, получивъ отъ Наполеона Ганноверъ и заключивъ оборонительный и наступательный союзъ съ Франціею, обратилась вновь къ Россіи и вступила съ нею въ секретную сдѣлку, съ цѣлью расширить прусскія владѣнія при помощи русскихъ военныхъ силъ. Изъ чисто-личнаго сочувствія къ королю Фридриху-Вильгельму и къ его привлекательной супругѣ, королевѣ Луизѣ, императоръ Александръ обязался употребить всѣ войска россійской имперіи на защиту и охрану неприкосновенности прусской территоріи, обѣщая съ своей стороны „оставаться вѣрнымъ своей прежней системѣ безкорыстія по отношенію ко всѣмъ европейскимъ государствамъ". Всякія возможныя выгоды и пріобрѣтенія должны были достаться Пруссіи; для Россіи и ея арміи предназначалась лишь почетная роль—работать и жертвовать собою въ пользу короля прусскаго и его будущей расширенной монархіи, подъ заманчивымъ знаменемъ возстановленія справедливости и порядка въ Европѣ. Даже министры и совѣтники Александра I находили договоръ съ Пруссіею слишкомъ невыгоднымъ и опаснымъ; но мысли

о русскихъ интересахъ вообще отсутствовали въ этихъ воинственныхъ порывахъ и рѣшеніяхъ, навлекавшихъ на Россію грозные военные удары. Наполеонъ быстро разгромилъ Пруссію, и великодушный Александръ I еще съ большею рѣшимостью бросилъ свои русскія войска въ кровавый и безцѣльный бой, для спасенія чести и достоянія прусскаго королевскаго дома.

Произошла одна изъ кровопролитнѣйшихъ битвъ—при Прейсишъ-Эйлау. Русское правительство собрало новыя силы, подписало новый договоръ съ Пруссіею, еще болѣе для нея выгодный и еще менѣе согласный съ интересами Россіи. Вопреки совѣтамъ опытныхъ генераловъ, и въ томъ числѣ самого Беннигсена, рѣшено дѣйствовать наступательно, — дана была новая страшная битва, 2-го іюня 1807 года, при Фридландѣ, и Наполеонъ побѣдилъ. Въ это время, подъ вліяніемъ испытанныхъ разочарованій, происходитъ поразительная перемѣна въ настроеніи императора Александра I: изъ непримиримаго врага онъ внезапно дѣлается вѣрнымъ поклонникомъ, другомъ и союзникомъ Наполеона. Французскій полководецъ не только побѣдилъ русское войско, но завоевалъ умъ и сердце его вождя, русскаго государя. Объ этомъ крутомъ и необычайномъ поворотѣ, объ его обстоятельствахъ и послѣдствіяхъ, равно какъ и о позднѣйшихъ усложненіяхъ, приведшихъ къ новой и столь же ненужной борьбѣ, мы находимъ интересныя подробныя свѣденія въ книгахъ г. Татищева и Альбера Вандаля.

Л. Слонимскій

ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ

1 марта 1891 г.

Органы самоуправленія и „активная администрація“.—Новый проектъ городской избирательной реформы.—Участіе священниковъ въ земскихъ собраніяхъ.—Нѣсколько распоряженій по церковно-приходскимъ школамъ.—Проектъ мѣропріятій противъ штунды.—Предстоящее осуществленіе земской реформы.—

Оспаривая, въ предыдущемъ обозрѣніи, необходимость и цѣлесообразность особаго „совѣта по земскимъ дѣламъ“, мы пришли къ заключенію, что преимущество передъ проектомъ г. Коркунова имѣетъ, несмотря на всѣ свои неудобства, даже тотъ порядокъ разрѣшенія разногласій между администраціей и земствомъ, который установленъ закономъ 12-го іюня 1890 г. Посмотримъ теперь, въ чемъ могло бы состоять желательное, съ нашей точки зрѣнія, усовершенствованіе этого порядка.

Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что для комитета министровъ, въ настоящемъ его составѣ и при настоящемъ его устройствѣ, новая, трудная задача, возложенная на него земскимъ положеніемъ 1890 г., окажется непосильной. Пересмотръ городового положенія еще больше усложнитъ эту задачу, если разрѣшеніе разногласій между администраціей и городскимъ самоуправленіемъ будетъ подчинено тѣмъ же правиламъ, какъ и разрѣшеніе разногласій между администраціей и земствомъ. Масса работы, самой разнообразной и прямо вносимой въ общее присутствіе комитета, и теперь уже, по словамъ г. Коркунова, приводитъ къ тому, что разсмотрѣніе дѣлъ въ комитетѣ „нерѣдко сводится къ одной формальности, и лишь въ исключительныхъ случаяхъ возникаютъ въ немъ сколько-нибудь оживленныя пренія“. Что же будетъ тогда, когда въ комитетъ министровъ со всѣхъ концовъ Россіи станутъ поступать вопросы, составляющіе предметъ спора между министромъ внутреннихъ дѣлъ и земскими собраніями? Съ перваго взгляда можетъ показаться, что самымъ простымъ выходомъ изъ затрудненія были бы двѣ мѣры, намѣчаемыя, мимоходомъ, г Кор-

куновымъ: учрежденіе въ составѣ комитета „спеціальныхъ секцій", по образцу департаментовъ государственнаго совѣта, и усиленіе комитета значительнымъ числомъ новыхъ членовъ, не принадлежащихъ къ категоріи „представителей активнаго управленія". Мы думаемъ, однако, что обѣ эти мѣры имѣли бы только характеръ паллiативный. Спеціальныя секціи облегчили бы, до извѣстной степени, трудъ комитета, но не могли бы не подчиниться общему его духу. То же самое слѣдуетъ сказать и о новыхъ членахъ комитета, присоединенныхъ къ министрамъ и главноуправляющимъ отдѣльными частями. „Министры, — говоритъ г. Коркуновъ, — завѣдуя каждый отдѣльною отраслью, естественно склонны выше всего ставить интересы своего вѣдомства. Являясь *представителями активнаго управленія*, они находятся, такъ сказать, подъ непосредственнымъ давленіемъ запросовъ текущей государственной дѣятельности и потому не могутъ не быть особенно отзывчивы къ потребностямъ данной минуты. Отвѣтственные органы исполнительной власти, они всегда стремятся къ обезпеченію себѣ возможной свободы дѣйствія, возможной полноты власти". Правда, эта характеристика относится къ министрамъ, дѣйствующимъ въ отдѣльности, а не въ совокупности; но она, очевидно, примѣнима и къ послѣднему случаю. Взгляды, выработанные практикою „активнаго управленія", не могутъ внезапно уступать мѣсто другимъ, во многомъ противоположнымъ; пріемы, усвоенные при распоряженіяхъ единоличныхъ, не могутъ не отражаться и на дѣятельности въ составѣ коллегіи. Это признаетъ и г. Коркуновъ, находя, что въ высшемъ совѣщательномъ учрежденіи по дѣламъ управленія „едва ли цѣлесообразно" рѣшительное преобладаніе министровъ. Министрамъ, по его мнѣнію, должны быть противопоставлены здѣсь „другія лица, не стоящія непосредственно у дѣлъ управленія и могущія, поэтому, относиться къ обсуждаемымъ вопросамъ спокойнѣе и свободнѣе, ставя ихъ въ надлежащую перспективу, соображая ихъ съ общими и постоянными задачами государственной жизни, охраняя должную грань между управленіемъ—съ одной стороны, законодательствомъ и судомъ—съ другой".

Достаточно ли, однако, простого „противопоставленія"—или, правильнѣе, сопоставленія — разнородныхъ элементовъ? Каждое учрежденіе, успѣвшее пустить корни и создать традиціи, обладаетъ извѣстною устойчивостью, извѣстною силою сопротивленія, не скоро и не легко поддающеюся дѣйствію новыхъ вліяній. Комитетъ министровъ, съ самаго своего основанія, былъ и продолжаетъ быть вѣрнымъ своему наименованію. Несмотря на включеніе въ его составъ представителей государственнаго совѣта, несмотря на предсѣдательство особаго лица, свободнаго отъ „активной" исполнительной роли,

онъ получалъ и получаетъ свою окраску именно и почти исключительно отъ министровъ. Въ особенности это можно сказать о послѣднемъ десятилѣтіи, когда столь часто переступалась „грань, отдѣляющая управленіе отъ законодательства". Зависѣло это, конечно, не только отъ того, что министрамъ принадлежало въ комитетѣ большинство двухъ третей голосовъ, но и отъ общаго направленія дѣятельности комитета—направленія, закрѣпленнаго временемъ и привычкой. Не думаемъ, чтобы оно измѣнилось существенно и скоро, еслибы за министрами и осталось, въ комитетѣ, только простое большинство голосовъ. Скажемъ болѣе: еслибы они даже очутились въ меньшинствѣ (что мы считаемъ весьма мало вѣроятнымъ, въ виду положенія, присвоеннаго комитету общимъ ходомъ нашей государственной жизни), это едва ли помѣшало бы имъ сохранить господствующее значеніе, по крайней мѣрѣ въ дѣлахъ текущаго управленія, къ числу которыхъ принадлежатъ дѣла земскія и городскія. Между тѣмъ именно въ примѣненіи къ земству и къ городамъ наиболѣе важно то „спокойствіе", та „свобода" взгляда, о которыхъ говоритъ г. Коркуновъ. Въ ряду нашихъ высшихъ государственныхъ учрежденій есть одно, обладающее этими качествами въ несравненно большей степени, чѣмъ комитетъ министровъ. Мы имѣемъ въ виду, конечно, правительствующій сенатъ.

Въ пользу сената, съ занимающей насъ точки зрѣнія, свидѣтельствуетъ, прежде всего, его исторія. Комитетъ министровъ, по извѣстному выраженію Сперанскаго, былъ учрежденъ только какъ „образъ доклада" дѣлъ, подлежавшихъ Высочайшему разрѣшенію; сенату, по мысли его великаго основателя, принадлежалъ, съ самаго начала, высшій надзоръ за всѣми отраслями управленія. „Названіе: *правительствующій*,—говоритъ А. Д. Градовскій,—вполнѣ соотвѣтствовало назначенію сената... Сенатъ на самомъ дѣлѣ былъ первенствующимъ мѣстомъ въ государственномъ управленіи и, при всѣхъ своихъ тогдашнихъ несовершенствахъ, долженъ былъ положить начало коллегіальному управленію". При ближайшихъ преемникахъ Петра сенатъ скоро потерялъ свое значеніе; но впослѣдствіи, по временамъ, онъ опять поднимался на значительную высоту, и мысль, положенная въ его основу, никогда не исчезала безслѣдно ни въ текстѣ законовъ, ни въ практическомъ ихъ примѣненіи. При Елизаветѣ Петровнѣ кругъ дѣйствій сената былъ столь же обширенъ, какъ и степень его власти. При Екатеринѣ II, при Александрѣ I общій ходъ событій мѣшалъ сенату пользоваться нѣкоторыми правами, принадлежавшими ему на бумагѣ; но Петровская традиція устояла противъ всѣхъ перемѣнъ, совершавшихся вокругъ сената. Она проникла и въ сводъ законовъ, предоставляющій сенату „высшій надзоръ въ порядкѣ управленія и

исполненія, попеченіе о средствахъ къ облегченію народныхъ нуждъ, попеченіе объ охраненіи общаго спокойствія и тишины". Если многое изъ здѣсь перечисленнаго остается мертвой буквой, то это объясняется, между прочимъ, именно не-нормальнымъ ростомъ компетенціи комитета министровъ, давно и далеко выступившей за свои естественныя границы. Комитетъ министровъ долженъ былъ, собственно говоря, сдѣлаться тѣмъ, чѣмъ является, по закону 1861 г., совѣтъ министровъ. Вмѣсто того къ нему перешли, постепенно, многія изъ функцій, обусловливавшихъ собою *правительствующій* характеръ сената. Отыскивая, между западно-европейскими учрежденіями, нѣчто аналогичное комитету министровъ, г. Коркуновъ останавливается на государственномъ совѣтѣ баварскомъ, французскомъ или испанскомъ. Не входя въ всесторонній разборъ этой аналогіи, напомнимъ только одну черту, доказывающую вовсе не то, что хочетъ доказать г. Коркуновъ. Въ французскомъ государственномъ совѣтѣ—читаемъ мы въ статьѣ г. Коркунова—„предсѣдательствуетъ министръ юстиціи, но другіе министры имѣютъ въ немъ голосъ только по дѣламъ, касающимся ихъ вѣдомства. Собственно члены совѣта дѣлятся на тридцать два ординарныхъ и восемнадцать экстра-ординарныхъ совѣтниковъ. Въ Испаніи государственный совѣтъ состоитъ изъ предсѣдателя, министровъ и 32 совѣтниковъ". Не ясно ли, что къ типу этихъ государственныхъ совѣтовъ нашъ сенатъ подходитъ гораздо ближе, чѣмъ нашъ комитетъ министровъ? Вмѣсто того, чтобы измѣнять составъ и устройство комитета министровъ, не лучше ли возложить нѣкоторыя его функціи на сенатъ, вполнѣ подготовленный къ ихъ исполненію? Посмотримъ, можно ли отнести къ числу такихъ функцій разрѣшеніе пререканій между администраціей и органами самоуправленія.

Когда мысль о возможности предоставить сенату рѣшающій голосъ въ земскомъ дѣлѣ была заявлена въ петербургскомъ юридическомъ обществѣ (во время преній по докладу г. Коркунова), она вызвала со стороны докладчика слѣдующія главныя возраженія (см. „Юридическую Лѣтопись" за 1891 г., № 1). „Сила и значеніе сенатскаго надзора обусловливаются тѣмъ, что онъ ограниченъ надзоромъ за законностью. Опираясь въ своей контролирующей дѣятельности на вполнѣ объективное основаніе—на постановленія закона,—сенатъ можетъ сохранить за собою въ этой дѣятельности должную самостоятельность и независимость. Но положеніе его должно по необходимости измѣниться, разъ сенату будетъ предоставленъ и надзоръ за *цѣлесообразностью* земской дѣятельности [1]). Цѣлесообразность, по са-

[1]) Земское положеніе 12-го іюня 1890 г. сохраняетъ за сенатомъ окончательное

кому существу своему—понятіе относительное, не поддающееся объективному и точному опредѣленію. Начало цѣлесообразности не можетъ дать сенату такого же оплота его самостоятельности въ рѣшеніи дѣлъ, какъ начало законности. Представители активной администраціи, министры, будутъ тогда стремиться подчинять дѣятельность сената своимъ указаніямъ—и будутъ совершенно правы, такъ какъ они безспорно болѣе компетентные рѣшители вопросовъ цѣлесообразности, чѣмъ сенатъ. Министры непосредственно завѣдуютъ текущимъ управленіемъ, они лучше знаютъ положеніе каждой отрасли управленія въ каждый данный моментъ и, что̀ всего важнѣе, они—отвѣтственныя лица за успѣшное осуществленіе ввѣренныхъ имъ задачъ государственнаго управленія. Если сенатъ станетъ дѣйствовать по указаніямъ министровъ, его контроль потеряетъ отличительныя особенности, на которыхъ основана, въ настоящее время, его популярность". Эти соображенія кажутся намъ далеко не убѣдительными. *Возможность* руководствоваться, при рѣшеніи дѣлъ, *только* закономъ нимало не обезпечиваетъ, сама по себѣ, самостоятельность и независимость учрежденія. Такая возможность существовала—если не de facto, то de jure,—для русскихъ до-реформенныхъ судебныхъ учрежденій; но кто же станетъ утверждать, что наши магистраты и уѣздные суды, наши гражданскія и уголовныя палаты были независимы и самостоятельны? Наоборотъ, самостоятельнымъ и независимымъ можетъ быть и учрежденіе, облеченное высшею административною властью, т.-е. основывающее свои распоряженія не на одномъ только текстѣ закона. Приведемъ, для примѣра, хотя бы французскій государственный совѣтъ—конечно, не въ ту эпоху его дѣятельности, когда онъ былъ подавленъ авторитетомъ перваго Наполеона... Вопросъ о цѣлесообразности, въ дѣлахъ административныхъ, возникаетъ, притомъ, на каждомъ шагу и при примѣненіи закона. Представители „активнаго управленія" расположены думать, что законъ долженъ быть толкуемъ не столько по буквальному или внутреннему его смыслу, сколько примѣнительно къ обстоятельствамъ даннаго случая —или, лучше сказать, примѣнительно къ господствующимъ теченіямъ

разрѣшеніе тѣхъ административныхъ возраженій противъ постановленій земскихъ собраній, которыя мотивированы *незаконностью* постановленія. Комитету министровъ (или, если спорный вопросъ связанъ съ возвышеніемъ земскаго обложенія—государственному совѣту) министръ внутреннихъ дѣлъ представляетъ объ измѣненіи или отмѣнѣ тѣхъ постановленій, въ которыхъ онъ усмотритъ „что-либо несоотвѣтствующее общимъ государственнымъ нуждамъ или явно нарушающее интересы мѣстнаго населенія". Для большей краткости можно сказать, что въ такихъ случаяхъ оспаривается *цѣлесообразность* земскихъ постановленій. Этой терминологіи мы держались, разбирая положеніе 12-го іюня (см. Внутр. Обозр. въ № 8 „Вѣстн. Европы" за 1890 г.); ея же держится и г. Коркуновъ.

и взглядамъ. Чтобы отстоять законъ противъ подобныхъ толкованій, приходится, нерѣдко, переносить пренія на ту же почву и доказывать, что наиболѣе точное примѣненіе закона представляется, вмѣстѣ съ тѣмъ, и наиболѣе цѣлесообразнымъ. Гарантіей самостоятельности и независимости служитъ, поэтому, не формальное, чисто-юридическое отношеніе къ дѣлу, а составъ коллегіи и ея духъ, воспитанный преданіемъ. Въ составъ сената (мы имѣемъ въ виду, конечно, административные его департаменты—первый и второй) входятъ, преимущественно, лица знакомыя, по собственному опыту, съ „активнымъ управленіемъ", но переставшія числиться въ его рядахъ и свободныя отъ его увлеченій. Это, большею частью, люди, заканчивающіе свою служебную карьеру, ничего больше не ищущіе и не домогающіеся, способные видѣть въ дѣлѣ *только* дѣло, а не борьбу двухъ началъ, изъ которыхъ одно должно, во что бы то ни стало, одержать верхъ надъ другимъ. Такому взгляду способствуютъ традиціи сената, не чуждыя, конечно, разныхъ постороннихъ примѣсей, но сохраняющія отблескъ Петровскаго міросозерцанія и Долгоруковскаго „стоянія за правду". Убѣдиться въ этомъ суждено только нашимъ потомкамъ, потому что дѣятельность административныхъ департаментовъ сената, за рѣдкими исключеніями, остается безгласной и безвѣстной; но нѣкоторымъ указаніемъ на общую ея окраску могутъ служить ожесточенныя нападенія, предметомъ которыхъ служилъ еще недавно, со стороны реакціонной печати, первый департаментъ сената.

Еслибы судьею „цѣлесообразности" земскихъ постановленій сдѣлался сенатъ, то „представители активной администраціи", по мнѣнію г. Коркунова, неминуемо стремились бы „подчинить сенатъ своимъ указаніямъ". Мы этого не отрицаемъ; но развѣ отъ такихъ стремленій огражденъ сенатъ, въ качествѣ хранителя законности и закона? Нимало. Всякой власти, привыкшей дѣйствовать по усмотрѣнію, свойственна настойчивость въ отстаиваніи своихъ распоряженій — все равно, съ какой бы стороны и на какомъ бы основаніи ни угрожала имъ отмѣна. Вопросъ не въ томъ, какъ положить конецъ подобной настойчивости, а только въ томъ, какъ сдѣлать ее безопасной и безвредной. „Представителямъ активнаго управленія" должна быть предоставлена полная возможность выяснить всѣ мотивы, заставляющіе ихъ смотрѣть на дѣло такъ, а не иначе; но за коллегіей, произносящей рѣшительное слово, должна быть обезпечена столь же полная свобода въ взвѣшиваніи и оцѣнкѣ этихъ мотивовъ. О такой свободѣ нельзя, конечно, и думать, если „представители активнаго управленія" предполагаются заранѣе, a priori, наиболѣе компетентными судьями „цѣлесообразности" спорныхъ постановленій. На чемъ же,

однако, г. Коркуновъ основываетъ подобное предположеніе? На томъ, *во*-первыхъ, что министры, завѣдуя текущимъ управленіемъ, лучше, чѣмъ кто бы то ни было, знаютъ положеніе, въ каждый данный моментъ, каждой отрасли управленія. Но что̀ же имъ мѣшаетъ сообщить все имъ извѣстное поставленному надъ ними коллегіальному учрежденію? Вѣдь знаніе, въ данномъ случаѣ, не есть нѣчто интуитивное, непередаваемое, доступное только внутреннему чувству; оно можетъ быть выражено и формулировано со всею точностью, сдѣлано нагляднымъ и вразумительнымъ для каждаго, обладающаго достаточной подготовкой—а въ членахъ высшей административной коллегіи такая подготовка предполагается сама собою. *Знаніе* не всегда служитъ, притомъ, ручательствомъ правильнаго *пониманія*. Можно быть вполнѣ знакомымъ съ обстоятельствами дѣла—и вывести изъ нихъ совершенно невѣрное заключеніе. Это признаетъ, какъ мы уже видѣли, и самъ г. Коркуновъ, находя, что „спокойнаго и свободнаго отношенія“ къ вопросамъ текущаго управленія, установки ихъ „въ надлежащую перспективу“, соображенія ихъ съ „общими и постоянными задачами государственной жизни“ можно ожидать въ бо̀льшей мѣрѣ „отъ лицъ, не стоящихъ непосредственно у дѣлъ управленія“, чѣмъ отъ „представителей активной администраціи“... Второй доводъ, приводимый г. Коркуновымъ въ пользу наибольшей компетентности министровъ, заключается въ томъ, что на нихъ лежитъ „отвѣтственность за успѣшное осуществленіе ввѣренныхъ имъ задачъ государственнаго управленія“. Этотъ доводъ напоминаетъ намъ извѣстную французскую поговорку: qui prouve trop, ne prouve rien. Въ самомъ дѣлѣ, если отвѣтственность—синонимъ компетентности, то къ чему ставить надъ отвѣтственнымъ лицомъ безотвѣтственную коллегію? [1]) Не лучше ли ничѣмъ не стѣснять его усмотрѣніе и предоставить разрѣшеніе всѣхъ спорныхъ вопросовъ непосредственно и прямо его единоличной власти, какъ это и предлагалъ первоначальный проектъ земской реформы?.. Если представители активнаго управленія были бы „совершенно правы“, стремясь „подчинить“ себѣ сенатъ, то, значитъ, они будутъ „совершенно правы“ и въ стремленіи подчинить себѣ комитетъ министровъ, преобразованный по мысли г. Коркунова? Вѣдь члены комитета, „не стоящіе непосредственно у дѣлъ управленія“, ничѣмъ существенно не будутъ отличаться отъ сенаторовъ, и все позволительное по отношенію къ послѣднимъ должно считаться позволительнымъ и по отношенію къ первымъ. Опроверженіемъ вывода,

[1]) Въ сущности, одинаково отвѣтственными—или, правильнѣе, одинаково безотвѣтственными—представляются здѣсь и лица, и коллегіальное учрежденіе; но мы принимаемъ исходную точку г. Коркунова, чтобы показать, что даже она не оправдываетъ его заключенія.

къ которому приходитъ г. Коркуновъ, служитъ, такимъ образомъ, его собственная аргументація.

Компетентность сената въ разрѣшеніи вопросовъ о цѣлесообразности или нецѣлесообразности земскихъ постановленій всего лучше можетъ быть выяснена путемъ примѣровъ. Представимъ себѣ, что въ какомъ-либо губернскомъ земскомъ собраніи заходитъ рѣчь о закрытіи земской школы, подготовляющей учительницъ для начальныхъ народныхъ училищъ. Собраніе, большинствомъ голосовъ, признаетъ школу полезной и постановляетъ сохранить ее на прежнемъ основаніи. Противъ этого заявляется протестъ, основанный либо на томъ, что расходъ на содержаніе школы составляетъ напрасное бремя для мѣстнаго населенія, либо на томъ, что, съ точки зрѣнія общегосударственной, нѣтъ надобности поддерживать земскіе разсадники учительницъ, когда существуютъ епархіальныя женскія училища. Неужели сенатъ, выслушавъ письменное и словесное объясненіе министра (или министровъ), не могъ бы придти къ правильному заключенію по существу спорнаго вопроса? Въ первомъ случаѣ ему достаточно было бы сообразить цифру губернскаго земскаго сбора съ платежными средствами населенія, съ другими расходными статьями губернской смѣты, съ потребностями, остающимися безъ удовлетворенія за недостаткомъ средствъ; во второмъ случаѣ ему слѣдовало бы опредѣлить, представляется ли достаточное основаніе къ подведенію всѣхъ учительскихъ школъ подъ одинъ однообразный уровень, пока это не опредѣлено законодательною властью, пока существуютъ, другъ подлѣ друга, нѣсколько различныхъ типовъ начальныхъ училищъ. Другой примѣръ: въ земскомъ собраніи обсуждаются два предложенія, клонящіяся къ поднятію народнаго благосостоянія. Одно видитъ лучшій къ тому способъ въ развитіи кустарныхъ промысловъ, другое—въ поощреніи интенсивной полевой культуры. Рѣшеніе, принятое собраніемъ, признается несогласнымъ съ интересами мѣстнаго населенія. Гдѣ причина думать, что сенатъ, ознакомившись со всѣми доводами pro и contra, окажется неспособнымъ опредѣлить ихъ сравнительную силу?.. Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ отъ высшей административной коллегіи, какъ бы она ни называлась и изъ кого бы она ни состояла, не требуется ни иниціативы, ни творческой мысли; требуется только всестороннее, безпристрастное обсужденіе вопроса—и затѣмъ обдуманный, спокойный выборъ между двумя мнѣніями, подробно мотивированными и приведенными въ возможно бóльшую ясность. Мнѣніе администраціи имѣло бы на своей сторонѣ то важное преимущество, что оно всегда могло бы быть поддержано лично самимъ министромъ или товарищемъ министра.

Въ дѣлахъ административныхъ, подвѣдомственныхъ, въ настоящее

время, первому департаменту сената, опредѣленіе сената является послѣднимъ словомъ только тогда, когда съ нимъ согласится подлежащій министръ; въ противномъ случаѣ дѣло переносится въ общее собраніе, а оттуда можетъ дойти до государственнаго совѣта. Тотъ же порядокъ могъ бы быть удержанъ и для тѣхъ случаевъ, о которыхъ мы теперь говоримъ—не потому, конечно, чтобы онъ былъ возможно лучшимъ, но потому, что онъ уже существуетъ и признается достаточной гарантіей для администраціи, при несогласіи ея съ сенатомъ. Въ составъ сената, при разрѣшеніи земскихъ дѣлъ, могли бы быть введены, безъ всякаго неудобства, и представители земскихъ собраній, на основаніяхъ, аналогичныхъ съ тѣми, которыя предположены г. Коркуновымъ по отношенію къ совѣту по земскимъ дѣламъ... Повторяемъ еще разъ: все сказанное нами по поводу разногласій между администраціей и земствомъ примѣнимо вполнѣ къ разногласіямъ между администраціей и городскими думами. Разбору проекта г. Коркунова мы отвели такъ много мѣста именно потому, что еще не приведенъ къ концу пересмотръ городового положенія 1870 года.

Въ цѣломъ рядѣ обозрѣній мы говорили подробно о недостаткахъ нашего городского самоуправленія и о средствахъ къ ихъ исправленію. Мы упоминали, при этомъ, и о разныхъ проектахъ реформы, принадлежащихъ правительственнымъ учрежденіямъ и частнымъ лицамъ. Число проектовъ второго рода увеличилось, недавно, еще однимъ, принадлежащимъ харьковскому городскому головѣ, И. О. Фесенко („Къ вопросу о реформѣ городскихъ общественныхъ управленій". Двѣ части. Харьковъ, 1890). Насъ заинтересовало въ особенности мнѣніе г. Фесенко о наилучшей избирательной системѣ. Отрицательная сторона этого мнѣнія, т.-е. критика дѣйствующихъ—а отчасти и проектируемыхъ—порядковъ во многомъ совпадаетъ съ нашими взглядами. Авторъ совершенно правъ, когда возстаетъ противъ дѣленія избирателей на разряды, противъ возстановленія сословнаго начала, противъ зависимости избирательнаго права отъ цифры уплачиваемаго налога. Мы согласны съ нимъ и тогда, когда онъ защищаетъ территоріальную организацію выборовъ, т.-е. группировку избирателей по мѣсту жительства. Разномысліе наше начинается по вопросу о томъ, какая именно территорія должна быть принята за избирательную единицу. Харьковскій городской голова предлагаетъ для этого церковный приходъ; приходское собраніе, заботящееся о нуждахъ церкви и причта и выбирающее церковнаго старосту и приходскій совѣтъ, должно, по мнѣнію г. Фесенко, избирать и гласныхъ думы. Сочувствуя расширенію дѣятельности прихода, какъ собранія лицъ,

соединенныхъ въ одно цѣлое добровольною, духовною связью, мы считали бы крайне опаснымъ придавать приходу оффиціальный характеръ, обращать его въ органъ мѣстнаго самоуправленія. Участіе въ приходскомъ собраніи обусловливается принадлежностью къ господствующей церкви; участіе въ выборѣ гласныхъ, наоборотъ, не должно быть связываемо съ вѣроисповѣданіемъ. Въ какомъ положеніи очутились бы, въ случаѣ осуществленія мысли г. Фесенко, наши многочисленные иновѣрцы, раскольники, сектанты? Не будучи полноправными членами приходскаго собранія, они присоединялись бы къ къ нему только на время выборовъ въ гласные думы. Между ними и коренными прихожанами была бы проведена, такимъ образомъ, рѣзкая черта, переступить которую было бы чрезвычайно трудно. Сохраняя, de jure, право быть гласными, иновѣрцы были бы лишены, de facto, возможности пользоваться этимъ правомъ—а такое косвенное ограниченіе было бы хуже прямого, потому что оно не столь рѣзко, не столь очевидно нарушило бы религіозную равноправность и оставило бы мѣсто для неосновательныхъ увѣреній, что иновѣрцы, въ области городского самоуправленія, ничѣмъ не отличаются отъ православныхъ.

Активное избирательное право, т.-е. право *избирать* гласныхъ, г. Фесенко предлагаетъ предоставить „всѣмъ лицамъ мужескаго пола, достигшимъ гражданской правоспособности, и притомъ не только обывателямъ-собственникамъ, но обывателямъ-арендаторамъ или квартирантамъ“; пассивное избирательное право, т.-е. право *быть избраннымъ* въ гласные, онъ пріурочиваетъ исключительно къ владѣнію, въ чертѣ города, недвижимою собственностью, продолжающемуся, притомъ, не менѣе четырехъ лѣтъ. Нѣчто въ этомъ родѣ, какъ припомнятъ, быть можетъ, наши читатели, предлагала группа саратовскихъ „общественныхъ дѣятелей“. Разбирая ея проектъ (въ декабрьскомъ Внутреннемъ Обозрѣніи), мы имѣли уже случай показать всю несправедливость и нецѣлесообразность домовладѣльческой избирательной монополіи. До крайности слабы и тѣ аргументы, которые приводитъ въ ея пользу г. Фесенко. Его главная мысль заключается въ томъ, что для участія въ распоряженіи городскимъ хозяйствомъ нужно, прежде всего, умѣнье вести свое собственное, личное хозяйство. Это умѣнье г. Фесенко считаетъ, почему-то, достояніемъ домовладѣльцевъ, и однихъ только домовладѣльцевъ. Нужно ли доказывать произвольность и несостоятельность этого взгляда? Развѣ хозяиномъ, въ смыслѣ распорядителя собственнымъ дѣломъ, является только домовладѣлецъ? Развѣ „хозяйственныя способности“ не нужны фабриканту, купцу, ремесленнику, начальнику учебнаго заведенія, издателю газеты или журнала, да, наконецъ, въ бо́льшей или ме́нь-

шей степени, и всякому главѣ семейства? Развѣ завѣдываніе небольшимъ домомъ, въ которомъ всего двѣ-три квартиры,—лучшая подготовка къ общественной дѣятельности, чѣмъ, напримѣръ, руководство обширнымъ промышленнымъ предпріятіемъ? Развѣ крупные домовладѣльцы всегда сами управляютъ своими домами? Развѣ домовладѣльцы, вообще, отличаются исправностью въ исполненіи хотя бы обязательныхъ постановленій городской думы? Или, можетъ быть, г. Фесенко полагалъ бы допускать къ избранію въ гласные только тѣхъ домовладѣльцевъ, дома которыхъ будутъ найдены въ образцовомъ порядкѣ?.. Самъ г. Фесенко признаетъ, что арендаторъ чужого дома можетъ быть „хорошимъ хозяиномъ", а слѣдовательно, и „прекраснымъ распорядителемъ общественной собственности"—но все-таки устраняетъ его отъ участія въ городскомъ представительствѣ, на томъ основаніи, что онъ „не можетъ осязательно почувствовать всю тягость налоговъ, платимыхъ обывателемъ-собственникомъ". Почему же не можетъ? А если онъ, въ силу договора съ собственникомъ, самъ уплачиваетъ всѣ упадающіе на домъ налоги? Кому же не извѣстно, притомъ, что налоги съ дома уплачиваются домовладѣльцемъ, въ сущности, изъ кармана квартирантовъ? Если „хорошимъ распорядителемъ общественной собственности" можетъ быть только тотъ, кто самъ кряхтитъ подъ бременемъ общественныхъ сборовъ, то не слѣдовало ли бы, во имя логики, закрыть доступъ въ гласные людямъ богатымъ, для которыхъ мало замѣтна и вовсе не отяготительна даже высокая цифра налога? Г. Фесенко впадаетъ здѣсь въ ошибку, противъ которой намъ часто приходилось спорить: онъ упускаетъ изъ виду, что желаніе сберечь нѣсколько рублей или копѣекъ—вовсе не единственный, вовсе даже не главный стимулъ къ общественной дѣятельности. Можно быть глубоко заинтересованнымъ въ благосостояніи города, весьма мало платя въ городскую кассу—и наоборотъ.

Къ числу лицъ, не имѣющихъ права быть гласными, г. Фесенко предлагаетъ присоединить, между прочимъ: 1) всѣхъ тѣхъ, кто занимаетъ въ городѣ высокую административную или судебную должность, и 2) всѣхъ тѣхъ, чьи занятія несовмѣстимы съ аккуратнымъ посѣщеніемъ думы (врачи, священнослужители, лица по роду своей службы часто обязанныя покидать городъ). Основаніемъ къ первому изъ этихъ изъятій г. Фесенко считаетъ „подавляющій авторитетъ, присвоенный (?) высокимъ должностямъ и могущій вредно отразиться при обсужденіи дѣлъ въ засѣданіяхъ думы". Мы должны признаться, что не понимаемъ этого соображенія. Должностныя лица, поставленныя въ непосредственное соприкосновеніе съ городскимъ самоуправленіемъ (губернаторъ, члены губернскаго правленія и губернскаго

по городскимъ дѣламъ присутствія), и теперь, на основаніи дѣйствующаго городового положенія, не могутъ быть избираемы въ гласные; что касается до всѣхъ остальныхъ должностныхъ лицъ, то участіе ихъ въ думѣ никого стѣснить не можетъ. Весьма полезными, никого не „подавлявшими" гласными петербургской думы бывали сенаторы, члены государственнаго совѣта. Можно было бы только порадоваться, еслибы въ думахъ губернскихъ городовъ почаще участвовали предсѣдатели и члены судебныхъ палатъ, директора народныхъ училищъ, управляющіе государственными имуществами, отдѣленіями государственныхъ банковъ и т. п. Ничего, кромѣ пользы, не могли бы принести и въ уѣздныхъ думахъ предсѣдатели и члены окружныхъ судовъ, инспекторы народныхъ училищъ, начальники среднихъ учебныхъ заведеній. Еще менѣе понятно предложеніе г. Фесенко, направленное противъ врачей и священниковъ. И тѣ, и другіе кажутся намъ, наоборотъ, весьма желательными членами думы, какъ лица, близко знакомыя съ нуждами бѣднѣйшихъ городскихъ жителей—а первые, сверхъ того, и какъ спеціалисты по вопросамъ гигіены. Какъ много потеряла бы, напримѣръ, петербургская городская дума, еслибы членомъ ея не былъ, въ продолженіе многихъ лѣтъ, покойный С. П. Боткинъ! Аккуратность въ посѣщеніи засѣданій обусловливается не званіемъ, не профессіей, а исключительно серьезнымъ отношеніемъ къ общественной дѣятельности... Не можемъ мы, наконецъ, согласиться съ г. Фесенко и по вопросу объ установленіи, для гласныхъ думы, образовательнаго ценза, хотя бы и не идущаго дальше окончанія курса въ низшемъ учебномъ заведеніи. Въ небольшихъ уѣздныхъ городахъ могутъ быть полезны и безграмотные гласные, тѣмъ болѣе, что ихъ никогда и нигдѣ не бываетъ много. Пускай только будетъ введена разумная избирательная система и установлены хорошіе избирательные порядки: избиратели сами съумѣютъ тогда найти подходящихъ гласныхъ, и въ установленіи новыхъ ограниченій избирательнаго права не окажется никакой надобности.

Мы только-что сказали, что священники могутъ быть полезными членами городскихъ думъ, подъ условіемъ, конечно, *избранія*, а не *назначенія* ихъ въ гласные. Нельзя не пожелать, поэтому, чтобы въ новомъ городовомъ положеніи не повторилась ошибка, допущенная въ земскомъ положеніи 12-го іюня 1890 г. При дѣйствіи прежняго закона, священники могли участвовать въ землевладѣльческомъ избирательномъ съѣздѣ, а слѣдовательно, и быть избираемыми въ гласные, въ качествѣ уполномоченныхъ отъ священнослужителей,

владѣющихъ въ уѣздѣ церковною землею. Священнику, лично имѣющему надлежащій имущественный цензъ, ничто не мѣшало принимать участіе въ выборахъ по собственному праву, наравнѣ съ избирателями другихъ классовъ и сословій. Теперь священно-и церковно-служители исключены безусловно изъ числа избирателей и избираемыхъ (законъ 12-го іюня, ст. 26 и 38), а епархіальному начальству предоставлено *назначать*, если это будетъ признано нужнымъ, по одному депутату отъ духовенства какъ въ губернское, такъ и въ уѣздныя земскія собранія. О такомъ разрѣшеніи вопроса сожалѣетъ въ настоящее время „Церковный Вѣстникъ", признаваемый иногда— не знаемъ, основательно или неосновательно—органомъ „синодальнымъ". Доводомъ противъ участія священниковъ въ земскихъ собраніяхъ въ качествѣ гласныхъ, служитъ, обыкновенно, масса дѣлъ, безъ того отягощающая духовенство. „Правильнѣе было бы,—возражаетъ на это „Церковный Вѣстникъ",—разсуждать обратно: кому поручается болѣе дѣла, тому нужно дать и болѣе правъ. Думаемъ, что трудно найти въ мірѣ человѣка, который радовался бы тому, что его лишаютъ правъ, какъ бы эти права мелки и ничтожны ни были. И духовенство не можетъ радоваться, что земская реформа его права урѣзала, хотя всѣмъ извѣстно, что духовенство своими земскими правами пользовалось вяло, почти апатично, на что были вѣскія причины, но не въ духовенствѣ, а во внѣшнихъ условіяхъ его положенія среди общества. Гордіевъ узелъ новой земской реформы разрубленъ, а не развязанъ, и тамъ, гдѣ слабыя силы нуждались въ помощи, сочли удобнѣйшимъ заглушить ихъ. А между тѣмъ двѣ разныя вещи — не пользоваться правами и не имѣть правъ... Жизнь православнаго духовенства такъ тѣсно связана съ жизнью другихъ сословій, что нѣтъ возможности раздѣлить ихъ интересы. Хорошіе порядки, хорошія дороги, хорошія училища, хорошіе врачи одинаково нужны какъ духовному человѣку, такъ равно дворянину, мѣщанину, крестьянину; почему же другія сословія имѣютъ право избирать своихъ представителей для удовлетворенія общественныхъ нуждъ, а духовенство не имѣетъ? Утѣшать духовенство тѣмъ, что у него болѣе теперь обязанностей, неосновательно, потому что массу дѣла можно терпѣливо переносить, но не до радости человѣку, когда надрываются силы, когда сознаешь, что падаешь подъ непосильной ношей. Переводя на практическій языкъ современное правовое состояніе духовенства, получимъ слѣдующее: духовенству говорятъ: исполняй всѣ нужды по приходу и должности, но по какимъ дорогамъ тебя возятъ—это не твое дѣло; учи въ церкви и внѣ церкви, но какія противоборствующія силы создаются обществомъ къ разоренію твоего ученія—не твое дѣло; лечись въ своихъ

болѣзняхъ и лечи другихъ, но какъ поставлена медицинская помощь въ уѣздѣ—не твое дѣло; преподавай законъ Божій въ училищахъ, но какъ поставлено школьное дѣло—не твое дѣло; улучшай народную нравственность, но не разсуждай о тѣхъ мѣрахъ, которыя ведутъ къ разоренію нравственности. Вообще, ты трудись, а думать за тебя будутъ другіе, и не твое дѣло, если другіе будутъ твои труды разрушать". Во всемъ этомъ много справедливаго, и остается только недоумѣвать, какимъ образомъ могла произойти перемѣна, одинаково нежелательная и для духовенства, и для земства. Депутатъ, „командированный" въ собраніе, въ рѣдкихъ только случаяхъ будетъ пользоваться тѣмъ авторитетомъ, который могъ бы принадлежать свободно избранному гласному-священнику. Присутствіе, въ земскомъ собраніи, *избранниковъ* отъ духовенства было бы полезно даже при разрѣшеніи тѣхъ вопросовъ, по которымъ всего скорѣе, повидимому, можетъ произойти разногласіе между духовными и свѣтскими членами собранія. Мы имѣемъ въ виду вопросы, касающіеся начальныхъ училищъ. Если стремленіе обратить земскія школы въ церковно-приходскія достигаетъ, иногда, почти болѣзненнаго напряженія, то не объясняется ли это, отчасти, именно тѣмъ, что духовенство и теперь уже слишкомъ рѣдко и слишкомъ мало участвуетъ въ земской дѣятельности? Съ усиленіемъ этого участія, духовенство перестало бы, быть можетъ, видѣть въ земскихъ школахъ нѣчто ему чуждое или даже враждебное—и мирное ихъ развитіе сдѣлалось бы для него столь же дорогимъ, какъ и процвѣтаніе школъ церковно-приходскихъ.

Увеличеніе числа начальныхъ школъ всякаго типа, всякаго наименованія — вотъ къ чему должны быть направлены усилія всѣхъ тѣхъ, кому дорого народное образованіе. До крайности нежелательнымъ представляется, наоборотъ, поощреніе одного рода школъ *въ ущербъ другому,* въ особенности если оно исходитъ отъ лицъ, облеченныхъ властью. Недавно состоялось распоряженіе, въ силу котораго земскіе начальники становятся членами уѣздныхъ отдѣленій епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ по дѣламъ церковно-приходскихъ школъ въ ввѣренныхъ имъ участкахъ. Нужно надѣяться, что это не приведетъ къ усиленной дѣятельности земскихъ начальниковъ по предмету обращенія земскихъ школъ въ церковно-приходскія. Воспользоваться, въ этомъ смыслѣ, своею властью они могутъ весьма легко; но какихъ добрыхъ результатовъ можно ожидать отъ перемѣны, совершающейся вслѣдствіе предписанія или хотя бы авторитетнаго „внушенія"? Мы видѣли еще недавно, какую внутреннюю цѣну имѣютъ общественные приговоры о закрытіи земской школы, напи-

санные подъ вліяніемъ мѣстнаго священника [1]); такимъ же характеромъ, безъ сомнѣнія, слишкомъ часто отличались бы и приговоры, продиктованные земскимъ начальникомъ. Въ области начальнаго обученія остается еще сдѣлать столь многое, что простая замѣна одной школы другою никогда не можетъ считаться шагомъ впередъ. Энергія духовенства и помогающей ему свѣтской власти должна быть направлена не къ переводу школъ, уже существующихъ, изъ одного вѣдомства въ другое, а къ открытію школъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ ихъ нѣтъ вовсе. Къ чему ведетъ, иногда, походъ противъ земской школы—объ этомъ можно судить по слѣдующему извѣстію („Русскія Вѣдомости", № 33). Устюгское земство (вологодской губерніи) обратило половину своихъ школъ въ церковно-приходскія; два другія земства той же губерніи—сольвычегодское и яренское—пошли еще дальше и рѣшили обратить въ церковно-приходскія школы *всѣ* земскія училища, двадцать лѣтъ существовавшія въ этихъ уѣздахъ. Ни на начальное обученіе, ни на городскія училища не было ассигновано ни копѣйки. Въ сѣверныхъ уѣздахъ—читаемъ мы дальше—„уничтоженіе земскихъ школъ неудобно еще и въ томъ отношеніи, что приходскія церкви встрѣчаются рѣдко, а при нихъ вѣдь и должны существовать церковно-приходскія школы. Въ дальнихъ отъ приходовъ селеніяхъ, гдѣ прежде были земскія школы, обученіе грамотѣ должно совсѣмъ прекратиться"—или, прибавимъ мы отъ себя, продолжаться въ такъ-называемыхъ школахъ грамотности, столь же мало похожихъ на земскія школы, какъ мякина, съ голоду употребляемая въ пищу, похожа на настоящій хлѣбъ... Не объясняется ли образъ дѣйствій названныхъ нами земскихъ собраній, между прочимъ, тѣмъ обстоятельствомъ, что предсѣдательствуютъ въ нихъ, за неимѣніемъ уѣздныхъ предводителей, назначаемые администраціей чиновники по крестьянскимъ дѣламъ?.. Какъ бы то ни было, весьма характеристично совпаденіе двухъ явленій: обращенія земскихъ школъ въ церковно-приходскія—и сокращенія расходовъ на школьное дѣло. Не ясно ли, что побужденіемъ къ первому часто служитъ надежда достигнуть послѣдняго? Еслибы было принято за правило допускать превращеніе земскихъ школъ въ церковно-приходскія не иначе, какъ подъ условіемъ сохраненія въ силѣ всей прежней ассигновки на школы, то самый фактъ превращенія встрѣчался бы, мы въ этомъ убѣждены, гораздо рѣже.

Въ нашей свѣтской печати прошло, кажется, почти незамѣченнымъ слѣдующее, весьма важное, опредѣленіе св. синода, состоявшееся въ ноябрѣ минувшаго года и распубликованное въ № 269 „Правитель-

---

[1]) См. Общественную Хронику въ № 12 „Вѣстника Европы" за 1890.

ственнаго Вѣстника": „одинъ епархіальный училищный совѣтъ, доводя до свѣденія училищнаго совѣта при святѣйшемъ синодѣ, что въ нѣкоторыхъ церковно-приходскихъ школахъ епархіи допущены были къ испытаніямъ въ экзаменаціонныхъ коммиссіяхъ по духовному вѣдомству ученики лютеранскаго исповѣданія и выдержали по всѣмъ предметамъ испытаніе удовлетворительно, но не экзаменовались по закону Божію, и не желая лишить ихъ права на льготу вслѣдствіе особности ихъ вѣроисповѣдныхъ убѣжденій, проситъ подробныхъ руководственныхъ указаній относительно такихъ учениковъ. Обсудивъ сіе ходатайство, святѣйшій синодъ нашелъ, что въ циркулярномъ синодальномъ указѣ отъ 29-го апрѣля 1887 года съ полною опредѣлительностью изъяснено, что всѣ воспитанники церковно-приходскихъ школъ допускаются къ испытанію на право полученія льготныхъ по воинской повинности свидѣтельствъ IV разряда, но съ тѣмъ, чтобы допущенные къ испытанію воспитанники инославныхъ исповѣданій подчинялись во всемъ требованію правилъ 8-го (15-го) октября 1886 г. о производствѣ сихъ испытаній, т.-е. были испытуемы, наравнѣ съ православными воспитанниками, и изъ закона Божія, и посему не представляется основаній дѣлать въ семъ отношеніи изъятіе для воспитанниковъ лютеранскаго исповѣданія. Принимая, за симъ, во вниманіе, что, по имѣющимся въ епархіальныхъ годовыхъ отчетахъ о церковно-приходскихъ школахъ свѣденіямъ, въ нѣкоторыхъ церковно-приходскихъ школахъ обучается довольно значительное число воспитанниковъ инославныхъ исповѣданій и раскольниковъ, во избѣжаніе возможныхъ недоумѣній относительно выдачи имъ льготныхъ по воинской повинности свидѣтельствъ, святѣйшій синодъ, согласно заключенію училищнаго при немъ совѣта, опредѣлилъ: разъяснить циркулярно по духовному вѣдомству, чрезъ напечатаніе въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ", что: 1) къ испытаніямъ въ экзаменаціонныхъ коммиссіяхъ по духовному вѣдомству допускаются всѣ воспитанники церковно-приходскихъ школъ, безъ различія исповѣданій; 2) допущенные къ испытаніямъ на право полученія льготныхъ по воинской повинности свидѣтельствъ воспитанники инославныхъ исповѣданій и раскольники обязательно должны подвергаться испытанію по закону Божію въ объемѣ программы для церковно-приходскихъ школъ; 3) тѣмъ изъ сихъ воспитанниковъ, кои, бывъ допущены къ означенному испытанію и выдержавъ оное удовлетворительно по всѣмъ предметамъ, отъ экзамена по закону Божію отказались, льготныя по воинской повинности свидѣтельства не должны быть выдаваемы, а равно не могутъ быть имъ выдаваемы свидѣтельства или удостовѣренія объ окончаніи курса церковно-приходской школы, хотя бы и безъ льготныхъ правъ по воинской повинности, и 4) вмѣняется въ обязанность завѣдываю-

щимъ школами священникамъ при пріемѣ учениковъ въ церковно-приходскія школы предварять родителей дѣтей неправославнаго исповѣданія, что дѣти ихъ обязательно должны обучаться, наравнѣ съ воспитанниками православными, закону Божію по программѣ для церковно-приходскихъ школъ и должны подвергаться испытанію въ знаніи сего важнѣйшаго изъ предметовъ церковно-школьнаго обученія, и что тѣ изъ воспитанниковъ, кои не обнаружатъ знанія закона Божія по программѣ церковно-приходскихъ школъ, не получатъ свидѣтельствъ, установленныхъ для полученія льготы IV разряда по отбыванію воинской повинности, а также и объ окончаніи курса школы". Намъ кажется, что это опредѣленіе служитъ весьма важнымъ аргументомъ въ пользу сохраненія, рядомъ съ церковно-приходскими, и другихъ начальныхъ школъ, подчиненныхъ дѣйствію положенія 25-го мая 1874 г. и состоящихъ въ вѣденіи уѣздныхъ училищныхъ совѣтовъ. Эти школы, въ противоположность церковно-приходскимъ, могутъ выдавать льготныя по воинской повинности свидѣтельства и иновѣрцамъ, и раскольникамъ, закону Божію не обучавшимся. Обращеніе ихъ въ церковно-приходскія повлекло бы за собою, для значительной части населенія, потерю существенно-важнаго права, принадлежащаго, по смыслу устава о воинской повинности, всѣмъ русскимъ гражданамъ, независимо отъ ихъ вѣроисповѣданія... Разсматриваемыя какъ средство распространенія православія, церковно-приходскія школы дѣйствовали бы, можетъ быть, болѣе успѣшно, еслибы для учениковъ-раскольниковъ или иновѣрцевъ не было *обязательно* слушаніе уроковъ по закону Божію у православнаго законоучителя. Сближеніе съ православіемъ является естественнымъ послѣдствіемъ посѣщенія школы, наполненной преимущественно православными учениками; между тѣмъ число иновѣрцевъ и раскольниковъ, вступающихъ въ церковно-приходскія школы, было бы, безъ сомнѣнія, гораздо больше, еслибы отъ нихъ не *требовалось* изученіе догматовъ и обрядовъ православной вѣры. Для многихъ тысячъ дѣтей это требованіе, даже и при существованіи земскихъ школъ, послужитъ безусловной помѣхой къ полученію какого бы то ни было образованія—или заставитъ ихъ посѣщать спеціально-раскольническія школы.

Три мѣсяца тому назадъ мы приводили, со словъ „Новаго Времени", слухъ о какихъ-то новыхъ мѣрахъ, проектируемыхъ въ юго-западномъ краѣ по отношенію къ штундистамъ. Рѣчь шла о необходимости спеціальныхъ мѣропріятій, которыя „дали бы почувствовать штундѣ и народу, что штунда—измѣна вѣрѣ и народности, что она противна государственному строю и не можетъ оставаться ненаказуе-

мой". Программу дѣятельности, направленной къ этой цѣли, мы находимъ теперь въ докладѣ епископа уманскаго (викарія кіевской епархіи), представленномъ митрополиту кіевскому и напечатанномъ въ „Кіевскомъ Словѣ". Гражданская власть, по мнѣнію преосвященнаго, могла бы оказать церкви слѣдующую помощь: „1) мѣщанскими управами и волостными правленіями въ настоящее время выдаются штундистамъ отпускные билеты безъ обозначенія, что онъ штундистъ, почему директора фабрикъ и заводовъ принимаютъ ихъ охотно въ число рабочихъ и этимъ даютъ имъ полную возможность негласно пропагандировать штунду среди массы рабочихъ. Для пресѣченія этого зла необходимо, чтобы мѣщанскія управы и волостныя правленія, выдавая отпускной билетъ штундисту, дѣлали въ билетѣ помѣтку, что онъ состоитъ въ сектѣ штунды. Именные списки штундистовъ въ помянутыя учрежденія должны быть сообщаемы причтами. 2) Вокзалы и мастерскія желѣзныхъ дорогъ тоже служатъ не только притонами, но и разсадниками штунды среди рабочаго люда. Крайне полезно было бы епархіальной власти войти въ сношеніе съ министромъ путей сообщенія, чтобы штундисты не принимались на службу ни на вокзалахъ, ни въ мастерскихъ желѣзныхъ дорогъ. 3) Въ силу ст. 206 т. 15 Свод. Зак. надъ дѣтьми штундистовъ назначать опеки, чѣмъ дѣти штундистовъ будутъ ограждены отъ ученія пропагандистовъ штунды. А тѣхъ дѣтей, которыя не были крещены—крестить. 4) Воспретить законнымъ порядкомъ устроивать штундистамъ свои молитвенные дома и при нихъ заводить негласно школы грамоты для дѣтей штундистовъ, какъ крещенныхъ въ православіи, такъ и не крещенныхъ. 5) Воспретить штундистскія собранія. 6) Упростить процедуру штундистскихъ дѣлъ о проступкахъ противъ вѣры и производить дѣла какъ можно скорѣе. 7) Приговоры суда надъ штундистами приводить въ исполненіе какъ можно скорѣе и точно. Есть много случаевъ, что приговоры суда надъ штундистами не приводятся въ исполненіе, что̀ крайне соблазнительно для народа".—Распространяться о значеніи предложеній, заключающихся въ пун. 3, 4 и 5, было бы излишне. Всякому понятно, что̀ значитъ запрещеніе собираться для молитвы и въ особенности разлученіе родителей и дѣтей, являющееся неминуемымъ послѣдствіемъ опеки. Менѣе важнымъ можетъ показаться, съ перваго взгляда, первый пунктъ программы; можно подумать, что онъ имѣетъ въ виду только установленіе надзора за штундистами, поступающими на фабрику. На самомъ дѣлѣ, однако, осуществленіе его было бы равносильно совершенному устраненію штундистовъ отъ фабричной работы или даже отъ какихъ бы то ни было постороннихъ заработковъ. Это видно изъ сопоставленія пун. 1-го съ пун. 2-мъ, прямо предлагающимъ *запретить* пріемъ штундистовъ на

работу въ желѣзнодорожныхъ мастерскихъ и вокзалахъ. При такомъ взглядѣ на штунду, видъ на жительство съ помѣтою: „штундистъ“ весьма скоро сдѣлался бы своего рода „волчьимъ паспортомъ“, обладатель котораго нигдѣ не находилъ бы для себя мѣста. Послѣдователи штунды оказались бы какими-то паріями, едва терпимыми въ родной деревнѣ или родномъ городѣ и лишенными, de facto, одного изъ важнѣйшихъ гражданскихъ правъ—права передвиженія и свободнаго выбора занятій. Ограниченіе этого права, со времени изданія закона 3-го мая 1883 г., существуетъ только по отношенію къ скопцамъ; неужели можно допустить, чтобы на одинъ уровень съ этой сектой были поставлены штундисты?.. Что касается до послѣднихъ двухъ пунктовъ, то скорое и точное исполненіе приговоровъ надъ штундистами, какъ и всякихъ другихъ, разумѣется само собою и не требуетъ подтвержденія въ законодательномъ порядкѣ. Объ „упрощеніи“ и „ускореніи“ процедуры мы затрудняемся сказать что-либо опредѣленное, потому что не знаемъ, въ чемъ оно должно заключаться. Замѣтимъ только, что скорость и простота производства желательны лишь въ той мѣрѣ, въ какой онѣ совмѣстимы съ гарантіями, обезпечивающими *правильность* процесса и *справедливость* приговора—и желательны не для однихъ только дѣлъ о преступленіяхъ противъ вѣры, совершаемыхъ штундистами.

Чрезвычайно печальное впечатлѣніе производятъ призывы къ „свѣтской рукѣ“, повторяющіеся все чаще и чаще въ нашей періодической печати. Снисходительность начальства—вотъ, съ точки зрѣнія этихъ призывовъ, единственная или главная причина распространенія лжеученій; усиленная строгость власти—вотъ единственное дѣйствительное средство противъ дальнѣйшаго зла. Прокуратура, судъ, администрація—всѣ, по мнѣнію „Церковнаго Вѣстника“, оказываются виновными въ успѣхахъ, сдѣланныхъ штундизмомъ. Интересенъ слѣдующій эпизодъ, разсказываемый газетой. „Начиная съ первыхъ дней появленія штундизма, крестьянскія общества составляли приговоры о выселеніи изъ своей среды штундистскихъ вожаковъ. Гражданское начальство взглянуло на дѣло нѣсколько иначе: въ большинствѣ случаевъ приговоры обществъ оставлялись безъ послѣдствій. Подобныя дѣйствія губернской администраціи получили даже санкцію руководящихъ правительственныхъ сферъ. Въ херсонское губернское по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе стали поступать приговоры сельскихъ обществъ объ удаленіи изъ ихъ среды вожаковъ штундизма. Означенное присутствіе обратилось за разъясненіями къ подлежащей высшей власти. II отдѣленіе Собственной Его Величества канцеляріи сообщило присутствію, что губернскія по крестьянскимъ дѣламъ присутствія, смотря по обстоятельствамъ дѣла, въ правѣ не утверждать

мірской приговоръ объ удаленіи изъ крестьянскаго общества его членовъ за одно отступленіе отъ вѣры, если только означенное общество къ принятію этой мѣры не имѣетъ *другого* основанія. Кіевскій генералъ-губернаторъ по поводу этой административной мѣры входилъ въ сношеніе съ министромъ внутреннихъ дѣлъ, который не одобрилъ выселенія вожаковъ штундизма изъ мѣстъ ихъ жительства". Удивительнаго, по нашему мнѣнію, здѣсь нѣтъ ничего, потому что удаленію, на основаніи общественныхъ приговоровъ, подлежатъ, по закону, только *вредные и порочные* члены общества. Человѣка, отступившаго отъ вѣры, нельзя, въ силу этого одного, считать порочнымъ и вреднымъ: вотъ простое и совершенно вѣрное начало, высказанное вторымъ отдѣленіемъ Собственной канцеляріи и усвоенное министерствомъ внутреннихъ дѣлъ. Поддерживать противоположное мнѣніе—значитъ утратить ясное понятіе о смыслѣ словъ, употребленныхъ въ данномъ случаѣ закономъ... Взгляды „Церковнаго Вѣстника" раздѣляются и „Московскими Вѣдомостями". Сообщая, со словъ „Судебной Газеты", объ оправданіи екатеринославскимъ окружнымъ судомъ крестьянина Смирнова, судившагося за распространеніе баптизма, московская газета восклицаетъ: „пора бы обратить вниманіе на дѣла о совращеніи изъ православія и изъять ихъ изъ вѣденія присяжныхъ засѣдателей, которые своими бо́льшею частью оправдательными приговорами лишаютъ правосудіе всякой возможности бороться съ распространеніемъ вреднаго сектантства". Любопытно было бы знать, на чемъ основано предположеніе газеты, что присяжные *большею частью* оправдываютъ обвиняемыхъ въ преступленіяхъ противъ вѣры? Новыхъ работъ по уголовной статистикѣ министерство юстиціи давно уже не выпускало—но пока онѣ выходили въ свѣтъ, онѣ почти постоянно обнаруживали, по занимающему насъ вопросу, одно и то же: крайнюю строгость присяжныхъ въ дѣлахъ о преступленіяхъ противъ вѣры. Въ то время, когда по всѣмъ вообще дѣламъ, рѣшеннымъ при участіи присяжныхъ, процентъ оправдательныхъ приговоровъ колебался около 35%, немного лишь, изъ года въ годъ, повышаясь или понижаясь, по дѣламъ о преступленіяхъ противъ вѣры онъ составлялъ въ 1873 г.—19%, въ 1874 г.—около 18%, въ 1877 г.—только 10½%, въ 1878 г.—менѣе 30%, въ 1879 г.—только 10½%. Трудно предположить, чтобы восьмидесятые года произвели, въ этомъ отношеніи, какую-нибудь замѣтную перемѣну; гораздо болѣе вѣроятнымъ представляется и здѣсь поворотъ въ сторону строгости, чѣмъ въ сторону снисходительности.

Русское земство стоитъ теперь на рубежѣ между двумя эпохами своего существованія. Старыя земскія учрежденія еще дѣйствуютъ, но послѣдній ихъ часъ уже недалекъ. Въ московской губерніи принимаются уже подготовительныя мѣры къ осуществленію новаго земскаго положенія; оно поставлено на очередь и въ другихъ мѣстахъ (напримѣръ, если вѣрить слухамъ—въ тверской губерніи). Близость перемѣны отражается не только въ газетныхъ статьяхъ, громящихъ исчезающій порядокъ, но и въ рѣчахъ нѣкоторыхъ земскихъ дѣятелей. Вотъ, напримѣръ, что̀ сказалъ недавно предсѣдатель бессарабской губернской земской управы, г. Кристи: „въ земскія учрежденія вводится сословный характеръ, причемъ дворянству дается преобладающее вліяніе. Но пусть тѣ, которые свой либерализмъ доводятъ даже до крайности, не возмущаются этимъ обстоятельствомъ. Во-первыхъ, право дворянъ и преобладающее ихъ вліяніе есть право, установленное цѣлою нашею исторіей. Во-вторыхъ, въ самомъ земскомъ положеніи есть небольшая, можетъ быть мало замѣтная черта, которая можетъ успокоить ихъ либеральныя чувства. А именно: вмѣстѣ съ потомственными дворянами предоставлено такое же право участія личнымъ дворянамъ. А что̀ такое личный дворянинъ? Всякій получившій высшее образованіе, къ какому бы онъ сословію ни принадлежалъ, года черезъ три можетъ стать личнымъ дворяниномъ. Такимъ образомъ, элементу образованія интеллигенціи дается то же право, какъ и потомственнымъ дворянамъ, своими заслугами пріобрѣвшимъ это право. Наконецъ, укажу еще на одно измѣненіе въ земскомъ положеніи: именно—на болѣе строгій контроль, учреждаемый за земскими учрежденіями со стороны правительства. Конечно, подобный контроль можетъ быть только полезенъ, если не впадетъ въ крайній формализмъ. Итакъ, не предвидится особой ломки земскихъ учрежденій, дальнѣйшее развитіе и процвѣтаніе которыхъ будетъ зависѣть все-таки отъ насъ, людей земли". Оптимизмъ, выражающійся въ этой рѣчи, окрашенъ въ самую нѣжно-розовую краску. Напрасно только г. Кристи полагаетъ, что „либераламъ" неизвѣстенъ или непонятенъ текстъ новаго земскаго положенія. Они знаютъ и безъ „успокоительныхъ" словъ г. Кристи, что личные дворяне, по отношенію къ земскимъ выборамъ, уравнены съ дворянами потомственными—но они знаютъ, точно также, что личное дворянство пріобрѣтается, за самыми рѣдкими исключеніями, только государственной службой, и притомъ службой вовсе не столь непродолжительной, какъ полагаетъ г. предсѣдатель бессарабской управы. Въ гражданской службѣ личное дворянство дается чиномъ девятаго класса—а дослужиться до этого чина въ три года могутъ только кандидаты университета (или, по новой терминологіи, получившіе

дипломъ перваго разряда). Другимъ лицамъ, получившимъ высшее образованіе, нужно служить до титулярнаго совѣтника уже не три года, а шесть. Прошло, притомъ, то время, когда на службу вступали всѣ получившіе высшее образованіе; теперь многіе не служать вовсе или служатъ весьма не долго, и доступъ къ личному дворянству остается для нихъ закрытымъ. А всѣ получившіе только среднее образованіе или не окончившіе курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ? Неужели ихъ можно исключить, однимъ взмахомъ пера, изъ рядовъ „интеллигенціи"?.. Нѣтъ, утѣшенія, предлагаемыя г. Кристи, оказываются, въ концѣ концовъ, весьма мало утѣшительными. Противъ его симпатіи къ „строгому контролю" мы возражать не станемъ; это значило бы возобновлять давнишній споръ о сравнительныхъ достоинствахъ самостоятельности и опеки. Замѣтимъ только, что самое слово: *контроль* выбрано г. Кристи не совсѣмъ удачно. Администрація, при дѣйствіи новаго земскаго положенія, будетъ облечена по отношенію къ земству такою властью, которая отнюдь не исчерпывается понятіемъ о *контролѣ*.

Мы говорили недавно о неудобствахъ, сопряженныхъ съ соединеніемъ въ одномъ лицѣ званій земскаго начальника и земскаго гласнаго. „Гражданинъ", устами одного изъ земскихъ начальниковъ, предлагаетъ, наоборотъ, чтобы всѣ земскіе начальники включались въ составъ уѣздныхъ земскихъ собраній безъ выборовъ, въ силу самаго факта занятія ими этой должности. Не думаемъ, чтобы это предложеніе имѣло какіе-либо шансы успѣха. Если земское положеніе 1890 г., отступивъ, на этомъ пунктѣ, отъ первоначальнаго проекта гр. Д. А. Толстого, не ввело въ составъ земскаго собранія крупныхъ землевладѣльцевъ, въ качествѣ гласныхъ по собственному праву, то едва ли можетъ быть рѣчь о созданіи другой категоріи невыбираемыхъ гласныхъ, имѣющей еще гораздо меньше правъ на существованіе. Статья „Гражданина"—лучшій аргументъ противъ нововведенія, въ пользу котораго она написана. Наивный авторъ прямо высказывается за „руководительство" земскаго начальника, т.-е. хочетъ сдѣлать его отцомъ-командиромъ надъ рядовыми—гласными отъ крестьянъ. А между тѣмъ правильная дѣятельность земскихъ собраній возможна только тогда, когда гласными отъ крестьянъ, какъ и всѣми другими, никто не „командуетъ".

ЗАМѢТКА.

Гр. П. А. Капнистъ и П. Д. Шестаковъ, попечитель казан. учебн. округа,—о классицизмѣ.

Почти одновременно появилось въ одномъ изъ московскихъ періодическихъ изданій начало изслѣдованія гр. П. А. Капниста, подъ заглавіемъ: „Классицизмъ, какъ необходимая основа гимназическаго образованія", а въ одномъ изъ петербургскихъ—началось печатаніе посмертныхъ записокъ бывшаго попечителя казанскаго учебнаго округа П. Д. Шестакова о „гр. Д. А. Толстомъ, какъ министрѣ народнаго просвѣщенія", а слѣдовательно, и какъ объ основателѣ того классицизма, защиту котораго беретъ на себя вышеупомянутый авторъ, „въ виду,—какъ онъ высказался,—тѣхъ обвиненій и клеветъ (sic!), которыми совершенно несправедливо, по нашему глубокому убѣжденію (такъ говоритъ гр. Капнистъ), осыпаютъ школьную систему, основанную на изученіи обоихъ древнихъ языковъ".

Эти „обвиненія и клеветы" на классицизмъ, по мнѣнію гр. Капниста, сосредоточились въ „Вѣстникѣ Европы", а потому начало своего труда онъ посвятилъ пока статистикѣ преступленій нашего журнала и 1) нашелъ, что „въ *Вѣстникѣ Европы* съ марта мѣсяца по октябрь (1890 г.) появилось восемь (!!!) статей противъ классицизма, а 2) подвергнувъ краткому анализу не только содержаніе статей, но и самыя заглавія ихъ, онъ убѣдился, что есть „основаніе заподозрить (?) тенденціозность" редакціи даже въ выборѣ заглавія статьи, „съ цѣлью усилить въ читателѣ впечатлѣніе наступившей уже будто бы близости разрушенія классической системы образованія". Но почтенный авторъ не ограничился одною статистикою преступленій журнала и разъясненіемъ таинственнаго значенія заглавій его статей; онъ пошелъ дальше и въ концѣ своего обзора нашей дѣятельности за истекшій годъ, столь осуждаемой имъ и вмѣстѣ заподозрѣнной въ преслѣдованіи странныхъ цѣлей, гр. Капнистъ, отъ имени „Вѣстника Европы", сообщилъ въ ковычкахъ своимъ читателямъ скрываемые замыслы этого журнала: „Въ настоящее время — такъ говоритъ гр. Капнистъ отъ имени журнала—обстоятельства не благопріятствуютъ явному нападенію на классическую школу съ цѣлью совершеннаго ея упраздненія, а потому нужно ограничиться подготовительною работою: дискредитировать существующую систему, ума-

лить значеніе преподаванія древнихъ языковъ, вселить въ общество мнѣніе, что классическая система образованія отжила свой вѣкъ даже въ западной Европѣ, а затѣмъ уже на подготовленной почвѣ, выждавъ (?) благопріятную минуту, сбросить маску и выступить прямымъ противникомъ классическаго образованія". Всякій, конечно, понимаетъ, что съ авторомъ, который такъ смѣло берется вслухъ читать сокровенныя, будто бы, мысли другихъ и излагаетъ ихъ по своему, никакая серьезная полемика невозможна; притомъ, въ вышедшей нынѣ гл. I, авторъ хотя постоянно упоминаетъ „Вѣстникъ Европы" и вмѣстѣ съ нимъ „брошюру г. Еленева", но ограничивается разсмотрѣніемъ послѣдней, и то преимущественно по вопросу о переутомленіи и о необходимости сокращенія числа уроковъ латинскаго и греческаго языковъ въ нашихъ гимназіяхъ, по поводу чего гр. Капнистъ приходитъ, въ противоположность мнѣнію г. Еленева, „къ глубокому убѣжденію, что уменьшеніе числа уроковъ въ нашихъ гимназіяхъ приведетъ ихъ въ совершенный упадокъ, а потому мы и считаемъ—говоритъ онъ—эту мѣру невозможною" [1]).

Но послушаемъ, что̀ высказалъ по этому же вопросу бывшій попечитель казанскаго учебнаго округа, П. Д. Шестаковъ, въ своихъ небезъинтересныхъ воспоминаніяхъ о лицѣ, которое считается основателемъ безапелляціонно практиковавшагося доселѣ классицизма и защитникомъ котораго, нѣсколько запоздалымъ, выступилъ теперь графъ Капнистъ—въ виду значительныхъ отступленій послѣдняго времени отъ классической программы гр. Д. А. Толстого. Недавно скончавшійся (въ концѣ 1889 г.) Шестаковъ самъ прошелъ всѣ стадіи педагогической дѣятельности, отъ должности учителя гимназіи до попечителя округа, и было бы мудрено заподозрить его въ намѣреніи „дискредитировать существующую систему", а между тѣмъ вотъ что̀ онъ говоритъ объ уваровскихъ гимназіяхъ [2]): „Въ уваровскихъ гимназіяхъ не было *такого громаднаго* числа уроковъ древнихъ языковъ, какъ въ *настоящее время,* но благодаря тому, что преподаваніе—говорю, конечно, о хорошихъ учителяхъ—не останавливалось слишкомъ долго на грамматикѣ, а обращали преимущественное вниманіе на переводы съ латинскаго и греческаго, ученики, при *трехъ* урокахъ латинскаго языка во всѣхъ классахъ съ I до VII включительно, и при *трехъ же* урокахъ греческаго съ IV до VII класса, успѣвали достаточно". Далѣе, П. Д. Шестаковъ приводитъ примѣры, какъ въ срединѣ 30-хъ годовъ въ одной гимназіи, въ эпоху министерства Уварова, „между учениками V класса были такіе бойкіе латинисты, которые довольно

---

[1]) „Русское Обозр.", янв. 1891 г., стр. 72.

[2]) „Русская Стар.", февр. 1891 г., стр. 389.

свободно переводили „Георгики" Виргилія, элегіи Овидія, и даже нѣкоторыя изъ рѣчей Цицерона. Въ то же время въ тверской гимназіи, гдѣ мы учились, учитель греческаго языка К. А. Коссовичъ, впослѣдствіи извѣстный санскритологъ, доводилъ учащихся до того, что въ VII классѣ переводили Платона и нѣкоторые ученики въ гимназіи прочитывали всего Гомера. Уваровскія учебныя заведенія—заключаетъ П. Д. Шестаковъ—образовали людей сороковыхъ годовъ, съ честью и пользою послужившихъ дѣлу народнаго образованія".

Такіе плоды,—и притомъ по признанію такого компетентнаго лица, какъ Шестаковъ, бывшій попечителемъ казанскаго учебнаго округа въ теченіе 20 лѣтъ (1863—1883 г.),—принесли уваровскія гимназіи, просуществовавъ не болѣе 15 лѣтъ. А какіе плоды принесли новѣйшія гимназіи 1871 г., послѣ 20-ти-лѣтняго ихъ существованія?—на это мы находимъ обстоятельный отвѣтъ у гр. Капниста, который такъ характеризуетъ ихъ питомцевъ: „къ сожалѣнію, въ современныхъ юношахъ нельзя не замѣтить болѣзненнаго вырожденія самолюбія; оно вызываетъ въ нихъ не разумное соревнованіе, а безумное соперничество во что бы то ни стало, непризнаніе ничего выше самого себя, строгость къ другимъ наряду съ крайнимъ снисхожденіемъ къ собственнымъ своимъ дѣйствіямъ, неумѣнье переносить малѣйшія неудачи, неизбѣжно и естественно встрѣчающіяся въ школьной жизни, какъ и въ жизни вообще" [1]). Итакъ, вотъ что̀ мы получили въ результатѣ послѣ 20-лѣтняго существованія анти-уваровскаго классицизма. Люди восьмидесятыхъ годовъ не заслужили отъ гр. Капниста той похвалы, съ какою попечитель казанскаго округа справедливо помянулъ людей сороковыхъ годовъ, вышедшихъ изъ уваровскихъ гимназій.

Покойный Шестаковъ имѣлъ случай при самомъ началѣ министерской дѣятельности гр. Д. А. Толстого, въ 1866 г., близко ознакомиться съ его взглядами на классицизмъ, и теперь оказывается, что въ то время гр. Толстой былъ даже враждебенъ тому, что̀ послѣ пришлось ему же осуществить. „Во время первой своей поѣздки (1866 г.) гр. Д. А. Толстой (будучи уже министромъ народнаго просвѣщенія), по словамъ Шестакова, былъ полонъ воспоминаніями объ уваровскомъ времени, и съ большимъ интересомъ слушалъ наши разсказы объ уваровскихъ гимназіяхъ. Когда мы передавали подробно объ устройствѣ гимназій того времени, о томъ, что, несмотря на небольшое число уроковъ, у хорошихъ учителей достигались значительные результаты, потому, во-1-хъ, что русскій языкъ шелъ впереди древнихъ и на немъ основывалось ихъ ученіе; во-2-хъ, потому,

[1]) l. c., 60 стр.

что въ то время преимущественно обращалось вниманіе на переводы съ древнихъ языковъ, переводы же съ русскаго дѣлались только для упражненія учениковъ въ грамматическихъ формахъ, самая грамматика проходилась по стольку, по скольку нужно было для приступа къ чтенію классиковъ:

„— Не то ли же самое я говорилъ Каткову и Леонтьеву,—обратился при этомъ къ своему спутнику гр. Д. Н. Толстой:—но *они противъ этого.*

„Мы сказали, что система Леонтьева намъ извѣстна; онъ того мнѣнія, что для русскихъ дѣтей нѣтъ надобности учиться русской грамматикѣ, что родной языкъ имъ извѣстенъ и безъ насъ, а общіе грамматическіе законы они и лучше, и основательнѣе узнаютъ при изученіи грамматики древнихъ языковъ.

„— Вы несогласны съ этимъ?—спросилъ графъ.

„— Нѣтъ, мы постоянно спорили съ Леонтьевымъ...

„— Я совершенно вашего мнѣнія,—замѣтилъ гр. Д. Н. Толстой,—и удивляюсь, какъ такой умный человѣкъ, какъ Леонтьевъ, отвергаетъ необходимость для русскаго основательнаго изученія грамматики родного языка; но онъ упрямъ, переспорить его трудно, а умный человѣкъ, съ основательными знаніями; Катковъ за-одно съ нимъ.

„Точно также графъ согласился, что при изученіи древнихъ языковъ слѣдуетъ преимущественное вниманіе обращать не столько на грамматику, сколько на чтеніе классиковъ... Тогда хотя онъ и признавалъ знаніе и компетентность Каткова и Леонтьева въ дѣлѣ образованія, но во многомъ существенномъ съ нимъ не соглашался; впослѣдствіи они умѣли (?) убѣдить его въ правильности своихъ взглядовъ".

И вотъ какимъ образомъ, по объясненію Шестакова, четыре года спустя, въ 1870 г., тотъ же гр. Толстой, удивлявшійся ультра-классическимъ идеямъ Каткова и Леонтьева, ввелъ въ послѣдній гимназическій уставъ именно то, чему самъ еще не такъ давно изумлялся, и нужно было потерять 20 лѣтъ на то, чтобы приступить къ освобожденію классицизма пока отъ нѣкоторыхъ идей „Каткова и Леонтьева", упоминаемыхъ въ запискахъ П. Д. Шестакова и въ свое время вызывавшихъ возраженія гр. Д. А. Толстого. Таковы именно были послѣднія оффиціальныя измѣненія въ программѣ преподаванія древнихъ языковъ, чтó, повидимому, и вызвало теперь защиту классицизма со стороны гр. Капниста, который, такимъ образомъ, оказался—plus Tolstoy, que Tolstoy.

Въ заключеніе пожелаемъ, чтобы гр. Капнистъ, при продолженіи начатаго имъ изслѣдованія о классицизмѣ, обратилъ вниманіе на

приведенные нами выше взгляды и сообщенія по этому предмету бывшаго попечителя казанскаго учебнаго округа, и при этомъ позволимъ себѣ выразить надежду на то, что, по крайней мѣрѣ, покойный Шестаковъ, бывшій попечитель казанскаго учебнаго округа не будетъ имъ обвиненъ въ „клеветѣ“ на классицизмъ, и о немъ, по крайней мѣрѣ, авторъ не скажетъ, что и онъ, Шестаковъ, „какъ г. Еленевъ и *Вѣстникъ Европы*, принадлежитъ къ числу тѣхъ противниковъ (?!) нашихъ гимназій, которые въ тѣхъ случаяхъ, когда они не хотятъ (?!) высказаться просто противъ классической системы, готовы (!) утверждать, что они даже сочувствуютъ ей, но въ то же время предлагаютъ изъять изъ гимназическаго преподаванія все, что̀ составляетъ суть (?) системы, и подсѣкаютъ ее въ самомъ корнѣ“. Авторъ обѣщаетъ не замедлить сообщеніемъ того, въ чемъ состоитъ, по его „глубокому убѣжденію“, „суть“ классической системы, и тогда, можетъ быть, выяснится само собою, почему только онъ одинъ имѣетъ привилегію искренно ей сочувствовать, а другіе не могутъ сочувствовать, по его мнѣнію, иначе, какъ съ самыми коварными и злостными намѣреніями.

М. М.

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1-го марта 1891.

Политическія перемѣны въ Германіи.—Экономическія и податныя реформы.—Особенности нѣмецкаго націонализма.—Оппозиція князя Бисмарка въ печати.—Странныя недоумѣнія по этому поводу.—Впечатлительность въ международной политикѣ.—Неудача франко-германскаго сближенія и ея причины.

Новое политическое теченіе, преобладающее въ Германіи со времени отставки князя Бисмарка, имѣло до сихъ поръ вполнѣ успокоительный характеръ. Вслѣдъ за бывшимъ канцлеромъ сошелъ со сцены и его честолюбивый соперникъ, главный представитель воинственныхъ тенденцій при дворѣ Вильгельма II, графъ Вальдерзэ. Молодой императоръ освободился поочередно отъ обоихъ авторитетныхъ и слишкомъ вліятельныхъ совѣтниковъ, унаслѣдованныхъ отъ недавней эпохи борьбы за имперію; предпріимчивый начальникъ главнаго штаба, сотрудникъ и послѣдователь, графъ Мольтке, оказался столь же неудобнымъ для новой правительственной системы, какъ и князь Бисмаркъ. На мѣсто графа Вальдерзэ назначенъ генералъ, никогда не занимавшійся политикою и пользующійся репутаціею дѣльнаго и аккуратнаго исполнителя, графъ Альфредъ Шлиффенъ. Два главнѣйшіе правительственные поста въ имперіи заняты теперь скромными дѣятелями, которымъ никто не припишетъ таинственныхъ цѣлей и плановъ, опасныхъ для спокойствія Европы. Ни канцлеръ Каприви, ни генералъ Шлиффенъ не могутъ сами по себѣ возбуждать тревогу между сосѣдними государствами и народами, тогда какъ имена Бисмарка и Вальдерзэ постоянно напоминали о возможныхъ конфликтахъ и случайностяхъ, способныхъ нарушить миръ. Въ рукахъ Вильгельма II сосредоточилось теперь дѣйствительное руководство внутренними и внѣшними дѣлами; онъ окруженъ людьми, безусловно слѣдующими его внушеніямъ и не имѣющими своей самостоятельной закулисной политики. Министры, которыхъ онъ выдвинулъ, суть представители идей соціальной реформы, приверженцы мирнаго народнаго развитія и рѣшительные противники всякихъ воинственныхъ претензій и предпріятій. Выборъ такихъ министровъ, какъ Микель и Берлепшъ, и удаленіе такихъ совѣтниковъ, какъ Вальдерзэ, достаточно ярко опредѣляютъ тотъ путь, котораго рѣшилось держаться нынѣшнее правительство Германіи.

Въ имперскомъ сеймѣ и въ прусской палатѣ депутатовъ одно-

временно обсуждаются сложные и важные законопроекты, выработанные новыми министрами и направленные къ дѣйствительному облегченію быта трудящихся массъ. Проектъ объ охранѣ рабочихъ, разсматриваемый имперскимъ сеймомъ, осуществляетъ отчасти программу прошлогодней международной конференціи по рабочему вопросу. Законъ о подоходномъ налогѣ привлекаетъ зажиточные и богатые классы къ болѣе серьезному участію въ уплатѣ государственныхъ сборовъ, уменьшая соотвѣтственнымъ образомъ податное бремя, лежащее на низшихъ и бѣдныхъ слояхъ населенія. Прусская податная система, преобразованная въ 1873 и 1883 годахъ, могла бы считаться образцовою сравнительно съ дѣйствующею, напримѣръ, у насъ: въ Пруссіи давно уже примѣняется тотъ принципъ, что распредѣленіе податей должно сообразоваться съ средствами плательщиковъ, и что извѣстный минимумъ дохода или заработка (900 марокъ или 420 р. въ годъ) не подлежитъ обложенію въ пользу казны, а у насъ понынѣ господствуетъ порядокъ прямо противоположный. И тѣмъ не менѣе, прусская система преобразовывается и улучшается уже третій разъ въ теченіе двадцати лѣтъ, а наша остается почти въ томъ же устарѣломъ видѣ и съ тѣми же общепризнанными, вопіющими недостатками, какъ и въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, до изданія дѣльныхъ и многотомныхъ работъ тогдашней податной коммиссіи. Нѣмецкіе патріоты-народники понимаютъ свою задачу совсѣмъ не такъ, какъ наши націоналисты. Оффиціальное народничество проявляется въ Германіи не въ пустыхъ похвальбахъ и не въ крикливомъ самодовольствѣ, какъ у нашихъ мнимыхъ патріотовъ, а въ плодотворномъ и непрестанномъ трудѣ на пользу народа, въ осуществленіи справедливыхъ реформъ, въ искреннихъ заботахъ о возвышеніи экономическаго и культурнаго уровня націи. Поучительно было бы сопоставить своеобразныя формы патріотическаго націонализма въ нашей печати и продукты національнаго самосознанія у нѣмцевъ. Въ то время какъ нѣмцы стремятся основательно улучшить положеніе рабочаго класса, удовлетворить требованія и нужды трудящихся, облегчить податныя тягости для неимущихъ, наши патріоты упорно молчатъ по поводу явныхъ и повсемѣстныхъ золъ, угнетающихъ народъ, не поднимаютъ своего голоса въ защиту крестьянскаго большинства, подавляемаго непосильными платежами и устарѣлыми, односторонними законами; напротивъ, наши газетные публицисты искусственно отвлекаютъ общественное вниманіе отъ этихъ настоятельныхъ нуждъ и вопросовъ, возбуждая дурные инстинкты фальшивою племенною травлею, лишенною цѣли и смысла. Реальные, жизненные интересы крестьянства находили не защитниковъ, а противниковъ въ нашей „патріотической“ печати; мнимые

патріоты усердно клеветали на собственный свой народъ, доказывая, что онъ нуждается въ тѣлесномъ наказаніи и въ строгой, безцеремонной опекѣ. Между тѣмъ какъ нѣмецкое крестьянство охраняется отъ ростовщической эксплуатаціи закономъ 1880 года, наше нуждающееся сельское населеніе, гораздо болѣе безпомощное уже по своему безграмотству, предоставлено вполнѣ на волю ростовщиковъ и взыскателей, и ни одинъ изъ расплодившихся у насъ „чисто-русскихъ" охранителей народа не замѣчаетъ ненормальности такого печальнаго порядка и не предлагаетъ послѣдовать разумному примѣру нѣмцевъ. Въ настоящее время законъ 1880 года признается уже недостаточнымъ въ Германіи, и въ нѣмецкихъ газетахъ обсуждаются дальнѣйшія мѣры противъ ростовщичества, а наши патріоты ничего не говорятъ о хищномъ кулачествѣ, губящемъ крестьянскія хозяйства, и думаютъ увѣрить публику, что для народа нужнѣе всего ограниченіе финляндцевъ и прочихъ инородцевъ. Нѣкоторые изъ публицистовъ этого лагеря усвоили себѣ какой-то снисходительный, насмѣшливый тонъ по отношенію къ тому, чтó предпринимается и совершается новымъ германскимъ правительствомъ. Но этотъ тонъ совершенно не соотвѣтствуетъ дѣйствительному ходу жизни въ сосѣдней имперіи. Мы видимъ въ Германіи бодрое и энергическое движеніе впередъ, серьезныя попытки возвысить народныя силы и средства, смѣлые шаги на встрѣчу будущему, непрерывный и свободный ростъ народной культуры, народнаго благосостоянія и просвѣщенія, и наши націоналисты, при всемъ своемъ самодовольствѣ, не станутъ, конечно, отрицать, что новѣйшія нѣмецкія преобразованія важнѣе и искусственнѣе тѣхъ, которыми спеціально занимается наша собственная патріотическая журналистика.

Если въ самой Германіи многіе недовольны политикою „новой эры", то это зависитъ прежде всего отъ понятнаго настроенія людей, воспитанныхъ на системѣ Бисмарка и не могущихъ разстаться съ принципами и идеалами внѣшняго воинственнаго націонализма. Бывшій канцлеръ поддерживаетъ это оппозиціонное настроеніе великимъ авторитетомъ своего имени, черезъ посредство провинціальной газеты, пріобрѣвшей большую популярность въ послѣднее время,—„Hamburger Nachrichten". Статьи этой газеты, весьма умѣренно критикующія дѣйствія правительства, производятъ почему-то сильное впечатлѣніе и возводятся на степень событій, благодаря предполагаемой связи ихъ съ идеями и внушеніями князя Бисмарка. Противъ правительства высказываются вообще патріоты и консерваторы старой школы; они находятъ, что внѣшняя политика стала слабѣе, не-устойчивѣе и безцвѣтнѣе, что слишкомъ большая свобода предоставлена соціаль-демократамъ и прогрессистамъ, что государственная власть какъ-будто

кокетничаетъ съ недавними „врагами имперіи“ (т.-е. врагами бывшаго канцлера) и что интересы Германіи могутъ пострадать отъ черезъ-чуръ лихорадочной дѣятельности молодого императора, отъ его пренебреженія къ старымъ, испытаннымъ совѣтникамъ и отъ его опасной страсти къ новизнѣ. Послѣдній пунктъ, касающійся лично Вильгельма II, затрогивается, конечно, съ большою осторожностью, путемъ косвенныхъ намековъ и оговорокъ, такъ какъ выразители этого патріотическаго недовольства принадлежатъ къ наиболѣе консервативнымъ элементамъ нѣмецкаго общества. Особенно настойчиво выражаются эти тенденціи въ „Кёльнской газетѣ“, которая, между прочимъ, доказываетъ необходимость оффиціозной прессы для своевременнаго и всесторонняго выясненія взглядовъ правительства. По мнѣнію „Кёльнской газеты“, нужно было продолжать бисмарковскую политику безъ Бисмарка, вмѣсто того, чтобы искать новыхъ путей и вызывать безпокойство среди благонамѣренныхъ патріотовъ. Сближеніе съ партіею центра, съ прогрессистами и соціаль-демократами, кажется этимъ консерваторамъ крайне нежелательнымъ, если оно не основано на строгомъ политическомъ разсчетѣ, на обоюдныхъ сдѣлкахъ съ цѣлью правильнаго обмѣна услугъ. Эти публицисты лишились удобства—называть противниковъ врагами имперіи, ибо правительство пользуется симпатіями прежней оппозиціи и старается по возможности занять вполнѣ нейтральное положеніе, выше отдѣльныхъ партій. Сожалѣя о недавнемъ прошломъ, столь выгодномъ и благопріятномъ для національно-консервативныхъ группъ, приверженцы бисмарковской политики въ то же время горячо и рѣзко протестуютъ противъ участія самого Бисмарка въ газетной полемикѣ. „Кёльнская газета“ говоритъ о недостаткѣ „достойной и патріотической сдержанности“ бывшаго канцлера; въ его сужденіяхъ сказываются „личные мотивы и личное раздраженіе“, чтó дѣлаетъ его критику недоброжелательною. „Злоба по поводу отставки находитъ себѣ выходъ въ этомъ стремленіи къ порицанію, и князь Бисмаркъ невольно руководствуется желаніемъ осуждать всѣ правительственныя мѣры, чтобы убѣдить себя и весь свѣтъ въ превратности той политики, которая направляется не имъ“. Газета безцеремонно выражаетъ опасеніе, чтобы въ нѣмецкомъ народѣ не утвердился взглядъ на Бисмарка какъ на „великаго дѣятеля и мелкаго человѣка“; она „съ болью и негодованіемъ видитъ, какъ князь Бисмаркъ ворчливо и шумно бѣжитъ вслѣдъ за нѣмецкою государственною колесницею“. Еще годъ тому назадъ немыслимо было представить себѣ подобные отзывы о желѣзномъ канцлерѣ въ „Кёльнской газетѣ“, а теперь бывшіе смиренные оффиціозы смѣло нападаютъ на „павшее величіе“, даютъ

своему прежнему кумиру и вдохновителю уроки патріотизма и политическаго такта.

Повидимому, такое отношеніе къ Бисмарку не имѣетъ смысла со стороны приверженцевъ и поклонниковъ его политики, солидарныхъ съ его принципами и воззрѣніями; но дѣло въ томъ, что статьи „Hamburger Nachrichten", приписываемыя внушеніямъ бывшаго канцлера, раздражаютъ Вильгельма II и могутъ побудить его перенести это раздраженіе на всю бисмарковскую партію и на ея сторонниковъ въ печати. Личныя чувства императора къ князю Бисмарку могутъ способствовать дальнѣйшему и болѣе рѣзкому разрыву съ старымъ бисмарковскимъ направленіемъ, которое столь дорого „Кёльнской газетѣ" и ея единомышленникамъ. Своимъ вмѣшательствомъ въ оппозиціонную газетную полемику бывшій канцлеръ создаетъ рѣшительную преграду между своею правительственною системою и Вильгельмомъ II; онъ еще болѣе отталкиваетъ его отъ себя и своихъ сторонниковъ, къ великой досадѣ патріотовъ старой школы. Этимъ и объясняется негодованіе послѣднихъ по поводу „безтактнаго" поведенія князя Бисмарка. Съ другой стороны, прогрессисты и демократы съ понятнымъ злорадствомъ смотрятъ на развивающуюся распрю и усердно подзадориваютъ обѣ стороны, надѣясь дождаться интересныхъ разоблаченій или, быть можетъ, даже крутыхъ мѣръ противъ недавняго руководителя политическихъ судебъ Германіи. Газеты серьезно толкуютъ о возможности громкаго процесса, въ родѣ дѣла графа Арнима, причемъ въ качествѣ подсудимаго фигурировалъ бы знаменитый творецъ германскаго единства. Такого рода предположенія приписываются самому Вильгельму II или его канцлеру.

Нѣтъ ничего печальнѣе этой жалкой газетной кампаніи, извращающей основныя политическія понятія читающей публики, ради мелочныхъ цѣлей и побужденій. Нѣкоторая часть нѣмецкаго общества готова какъ будто забыть, что право обсуждать и критиковать дѣйствія правительства принадлежитъ каждому нѣмецкому гражданину, что оно не можетъ быть отнято и у бывшаго канцлера, и что обвиненіе въ безтактности не даетъ еще матеріала для законнаго преслѣдованія предъ судомъ. Въ дѣлѣ графа Арнима существовали формальные поводы къ возбужденію уголовнаго процесса: графъ Арнимъ не выдавалъ бумагъ, имѣвшихъ оффиціальное значеніе, и хотѣлъ сохранить у себя свою секретную дипломатическую переписку послѣ отставки отъ должности германскаго посла въ Парижѣ. Такъ же точно въ дѣлѣ Геффкена обвиненіе вызывалось незаконнымъ обнародованіемъ документовъ и свѣденій, заключавшихъ въ себѣ важныя государственныя тайны (дневникъ Фридриха II). Ни графъ Арнимъ, ни Геффкенъ не обвинялись за выраженіе или печатаніе личныхъ

мнѣній ихъ о правительственной политикѣ, каковы бы эти мнѣнія ни были; они преслѣдовались лишь за присвоеніе или обнародованіе секретныхъ бумагъ, оглашеніе которыхъ могло причинить ущербъ интересамъ государства, т.-е. за опредѣленный проступокъ, точно предусмотрѣнный уголовнымъ закономъ. Справедливо или несправедливо поступалъ князь Бисмаркъ въ обоихъ дѣлахъ—это другой вопросъ; но формальное основаніе для преслѣдованія несомнѣнно было на-лицо. Ничего подобнаго не представляется въ настоящемъ случаѣ; о злоупотребленіяхъ какими-либо государственными тайнами нѣтъ и рѣчи, а дѣло идетъ просто о личныхъ взглядахъ бывшаго канцлера на текущіе политическіе вопросы,—взглядахъ, проводимыхъ въ формѣ отвлеченныхъ газетныхъ разсужденій.

Толки о судебномъ процессѣ по поводу весьма умѣренной критики правительственныхъ дѣйствій въ газетѣ князя Бисмарка могутъ быть объяснены только недостаткомъ ясанаго сознанія политическихъ правъ въ нѣкоторой части нѣмецкой журналистики. Придетъ ли кому-нибудь въ голову въ Англіи отрицать право Гладстона высказываться свободно о политикѣ его преемника по министерству, лорда Сольсбери? Самая мысль объ этомъ кажется странною, а между тѣмъ нѣмецкіе консерваторы желали бы, чтобы ихъ бывшій канцлеръ, привыкшій къ неустанной политической дѣятельности, отказался вдругъ отъ права имѣть и выражать свои личные взгляды о текущихъ дѣлахъ. Почему оффиціальная отставка должна лишать человѣка прежней свободы мнѣній и слова, и на какомъ основаніи можно требовать молчанія отъ такого опытнаго и энергичнаго дѣятеля, какъ князь Бисмаркъ,—этого не объясняютъ его обвинители. Обычныя и неизбѣжныя особенности свободной политической жизни встрѣчаютъ еще не мало традиціонныхъ предразсудковъ и недоразумѣній даже въ такой высоко-культурной странѣ, какъ Германія. Личный элементъ занимаетъ тамъ руководящее мѣсто въ области высшаго государственнаго управленія, и не даромъ нервная впечатлительность Вильгельма II считается однимъ изъ важнѣйшихъ факторовъ современнаго политическаго положенія.

Насколько важенъ этотъ личный элементъ въ политикѣ при впечатлительномъ характерѣ правителей, можно видѣть изъ исторіи послѣднихъ попытокъ сближенія Германіи съ Франціею. Германскій императоръ довольно ловко подготовлялъ почву для мирныхъ взаимныхъ сношеній обѣихъ націй въ области общечеловѣческихъ интересовъ, научныхъ, соціальныхъ и художественныхъ; онъ достигъ уже нѣкоторыхъ благопріятныхъ результатовъ посредствомъ международной рабочей конференціи и берлинскаго медицинскаго конгресса, а также при помощи постоянной предупредительности по отношенію

къ французамъ по отдѣльнымъ случаямъ и поводамъ. Недавно онъ обратился къ французской академіи съ выраженіемъ соболѣзнованія по поводу смерти Мейсонье. Наконецъ онъ сдѣлалъ шагъ еще болѣе смѣлый и значительный: его мать и сестра отправились въ Парижъ, чтобы привлечь французскихъ живописцевъ къ участію въ предстоящей художественной выставкѣ въ Берлинѣ. Это было первое посѣщеніе Франціи членами фамиліи Гогенцоллерновъ со времени событій 1870—71 годовъ. Императрица-мать была принята французами съ почтительнымъ сочувствіемъ и вниманіемъ, во-первыхъ, какъ женщина не-нѣмецкой крови и вдова гуманнаго Фридриха II, и во-вторыхъ, какъ извѣстная антагонистка Бисмарка. Французамъ льстило ухаживанье германскихъ властителей, ихъ видимое преклоненіе предъ французскимъ геніемъ, французскими вкусами и талантами. Императрица Викторія, сохраняя свое оффиціальное инкогнито, обходила мастерскія художниковъ, восторгалась ихъ произведеніями и приглашала ихъ на берлинскую выставку, причемъ не встрѣчала вообще категорическаго отказа; знаменитый баталистъ Детайль былъ изъ первыхъ, согласившихся послать свои картины въ Берлинъ, и онъ старался даже пропагандировать свою мысль между болѣе сдержанными или упорными товарищами. Можно было предполагать, что значительная часть французскихъ живописцевъ приняла бы приглашеніе, по примѣру Детайля, вопреки обычнымъ протестамъ и возгласамъ Поля Деруледа и всей его „лиги патріотовъ". Къ несчастью, мать Вильгельма II увлеклась интересными и разнообразными впечатлѣніями парижской жизни и упустила изъ виду всю щекотливость вопросовъ, возбуждаемыхъ ея пребываніемъ въ французской столицѣ, бомбардированной ея покойнымъ мужемъ двадцать лѣтъ тому назадъ. Императрица стала вести неосторожные разговоры, которые невольно наводили многихъ на мысль, что ей дана какая-то политическая миссія, а не художественная, что ей поручено зондировать почву относительно примиренія съ Франціею безъ уступокъ насчетъ Эльзаса и Лотарингіи и т. п. Два мелкіе факта довершили поворотъ французскаго настроенія въ другую сторону и превратили первоначальное сочувствіе въ неудовольствіе и раздраженіе. Императрица пожелала осмотрѣть Версаль, чтобы видѣть ту залу дворца, гдѣ послѣ ряда рѣшительныхъ побѣдъ надъ французами провозглашено было возстановленіе германской имперіи. Это невниманіе къ естественнымъ чувствамъ побѣжденной Франціи было въ высшей степени оскорбительно для чуткихъ и впечатлительныхъ французовъ; это небрежное возбужденіе самыхъ тяжелыхъ воспоминаній какъ будто отрезвило умы и напомнило всѣмъ, что за императрицею Викторіею стоитъ все та же враждебная, сурово вооруженная побѣдительница, Германія.

Усердіе какого-то второстепеннаго чиновника при посѣщеніи императрицею школы изящныхъ искусствъ подбавило масла въ огонь и грозило принять размѣры опаснаго публичнаго скандала: на памятникъ, воздвигнутый во дворѣ школы живописцу Реньо, убитому подъ Бюзенвалемъ въ 1871 году, возложенъ былъ лигою патріотовъ вѣнокъ, и этотъ вѣнокъ исчезъ передъ визитомъ германскихъ гостей. Поль Деруледъ возмутился и хотѣлъ сдѣлать формальный запросъ въ палатѣ; многія газеты заговорили объ унизительномъ угодничествѣ передъ нѣмцами и приняли непріязненный тонъ относительно любознательной императрицы, предлагая ей прямо поторопиться отъѣздомъ. Мать Вильгельма II покинула Парижъ при совершенно иномъ настроеніи французовъ, чѣмъ какое было при ея пріѣздѣ; она пробыла во Франціи слишкомъ долго для перваго раза.

Миссія имп. Викторіи не удалась во всѣхъ отношеніяхъ, и послѣдствія неудачи, сверхъ всякаго ожиданія, получили крайне непріятную политическую окраску. Тѣ же нѣмецкіе дѣятели и публицисты, которые категорически отрицали политическое значеніе поѣздки, стали вдругъ рѣзко нападать на французовъ за нежеланіе пойти на встрѣчу германскому миролюбію. И къ общему удивленію, на отказъ парижскихъ художниковъ отъ участія въ берлинской выставкѣ, т.-е. на рѣшенія и дѣйствія отдѣльныхъ лицъ, отвѣчаютъ въ Берлинѣ оффиціальными, правительственными мѣрами и заявленіями, имѣющими несомнѣнно враждебный, вызывающій характеръ. Правительство немедленно распорядилось, чтобы стѣснительныя паспортныя правила на французской границѣ примѣнялись съ полною строгостью и чтобы не дѣлалось никакихъ облегченій для лицъ, проѣзжающихъ черезъ Эльзасъ по желѣзнымъ дорогамъ. Самъ канцлеръ Каприви, обыкновенно столь спокойный и умѣренный, счелъ нужнымъ —въ первый разъ за все время своего канцлерства—поднять тонъ до степени скрытой угрозы. При обсужденіи закона объ унтеръ-офицерскихъ преміяхъ въ имперскомъ сеймѣ, въ засѣданіи 28-го (16) февраля, канцлеръ отнесся съ непривычною непріязнью къ прогрессистамъ и закончилъ словами: „мы дѣлаемъ все, что можемъ, для того, чтобы совѣсть наша была чиста, но хотимъ также, чтобы рука наша была сильна въ случаѣ, если того потребуютъ обстоятельства, чего Боже избави". Предводитель центра Виндгорстъ, какъ ловкій парламентскій стратегъ, поспѣшилъ воспользоваться удобною позиціею, чтобы выступить въ качествѣ выразителя общегерманскаго патріотизма; онъ предложилъ принять правительственный законопроектъ возможно бо́льшимъ числомъ голосовъ, дабы показать міру, что „вся Германія непоколебимо предана императору, при какихъ бы то ни было обстоятельствахъ, и готова защищать свое достоинство противъ

кого бы то ни было". Большинство нѣмецкихъ газетъ выражается въ томъ же воинственномъ смыслѣ. „Сѣверо-германская газета", сдѣлавшаяся вновь оффиціознымъ органомъ канцлера, авторитетно выставляетъ на видъ, что „единодушные отзывы всей германской печати о происходящемъ во Франціи служатъ ручательствомъ того, что въ случаѣ, если націи потребуется отстаивать свое достоинство, всѣ нѣмцы сплотятся во-едино, вдохновляемые мыслью объ одномъ общемъ отечествѣ".

Раздраженіе, вызванное неудачею императрицы Викторіи, принимаетъ какія-то странныя, грубыя формы, отъ которыхъ уже отчасти отвыкла Европа со времени отставки князя Бисмарка. Обнаруживать злобу тотчасъ послѣ длиннаго ряда любезностей, при первомъ отрицательномъ отвѣтѣ противника, значитъ выдавать неискренность миролюбивыхъ чувствъ, показывать корыстную ихъ основу и дѣлать сближеніе почти невозможнымъ на будущее время. Не видно даже никакой логической связи между различными инцидентами пребыванія императрицы Викторіи и внезапными угрожающими рѣшеніями и дѣйствіями германскаго правительства. Парижскіе живописцы и не подозрѣвали, что подъ любезнымъ приглашеніемъ ихъ на берлинскую выставку скрывается враждебный вызовъ и что отъ ихъ отвѣта зависитъ обращеніе германскихъ властей съ проѣзжающими въ Эльзасѣ французами. Теперь партія лиги патріотовъ должна торжествовать побѣду, такъ какъ ея предостерегающій голосъ оказался, въ сущности, справедливымъ: дѣйствительно, недовѣріе къ нѣмецкимъ любезностямъ вполнѣ оправдалось неожиданною и ничѣмъ не мотивированною перемѣною фронта со стороны Германіи. Ухаживать за сосѣдями на словахъ, имѣть въ этомъ нѣкоторый успѣхъ и затѣмъ грозить насильственною расправою за непринятіе снисходительной и дешевой дружбы,—это, конечно, вовсе не цѣлесообразный способъ къ примиренію. Съ нѣмецкой стороны произошла въ этомъ случаѣ очевидная и непонятная ошибка, бросающая своеобразный свѣтъ на прежнія попытки научно-художественнаго сближенія съ французами. Оказывается, что привлеченіе французовъ къ участію въ берлинской рабочей конференціи и въ международномъ медицинскомъ конгрессѣ имѣло также скрытый политическій смыслъ, котораго не замѣчали во Франціи. Такъ и теперешнее приглашеніе французскихъ художниковъ на берлинскую выставку принималось лишь за весьма тактичную миролюбивую манифестацію, свидѣтельствующую о хорошихъ намѣреніяхъ германскаго правительства; а между тѣмъ эта невинная манифестація, если судить по ея послѣдствіямъ, была серьезною политическою ловушкою и имѣла для нѣмцевъ совсѣмъ не то значеніе, какое придано было ей на первыхъ порахъ довѣрчивыми французами.

Съ вопросами простой вѣжливости и приличія нѣмцы связывали почему-то возможность политическихъ уступокъ и отреченій, о которыхъ не могли и думать французы; изъ-за невинныхъ научныхъ и художественныхъ задачъ выступаетъ вдругъ вопросъ объ Эльзасѣ и Лотарингіи. Постепенное фактическое сближеніе обѣихъ націй могло бы со временемъ смягчить политическую распрю и даже подготовить мирное рѣшеніе на обоюдно-выгодныхъ условіяхъ; но предполагать, что можно заставить французовъ забыть объ утраченныхъ провинціяхъ и достигнуть примиренія путемъ простыхъ любезностей, въ родѣ приглашенія на берлинскія выставки и съѣзды,—было болѣе чѣмъ странно. Нѣмцы отказались отъ участія въ парижской всемірной выставкѣ и принимали всякія мѣры, чтобы противодѣйствовать ея успѣху, и никто не винилъ ихъ за это; почему же они столь высокомѣрно недоумѣваютъ и раздражаются, когда французы уклонились отъ предложенія способствовать блеску художественной выставки въ Берлинѣ? Нѣмцы до сихъ поръ не признаютъ равенства въ отношеніяхъ обѣихъ націй; они ни на минуту не забываютъ, что французы —побѣжденные, а между тѣмъ сами требуютъ и ждутъ отъ нихъ забвенія этого обстоятельства. Совершенно естественно, что, видя преувеличенное толкованіе, даваемое французской уступчивости въ дѣлѣ внѣшняго взаимнаго сближенія, парижскіе патріоты предпочли остаться въ сторонѣ отъ берлинскихъ предпріятій, чтобы избѣгнуть опасныхъ недоразумѣній и конфликтовъ. Нужно признать, что во всей этой исторіи французы вели себя вполнѣ прилично и сдержанно; они до конца относились съ должнымъ уваженіемъ къ личности императрицы Викторіи и ничѣмъ не нарушили правъ гостепріимства, если не считать нѣкоторыхъ уличныхъ листковъ, за которые не можетъ отвѣчать ни правительство, ни нація. Французы достаточно ясно доказали свою готовность поддерживать мирныя равноправныя сношенія съ нѣмцами на поприщѣ наукъ и искусствъ; это видно уже изъ примѣровъ берлинской рабочей конференціи и медицинскаго конгресса, а также изъ того, какъ сочувственно относятся французы къ отдѣльнымъ нѣмецкимъ ученымъ: еще недавно, напримѣръ, Гельмгольцъ получилъ отъ французскаго правительства орденъ почетнаго легіона. Если на этотъ разъ не удалось привлечь парижскихъ художниковъ, какъ раньше привлечены были въ Берлинъ французскіе врачи, то это зависѣло уже, по всей вѣроятности, отъ неумѣлости и безтактности лицъ, взявшихъ на себя щекотливую миссію, ибо ничто не измѣнилось въ положеніи дѣлъ со времени прежнихъ удавшихся попытокъ сближенія по отдѣльнымъ поводамъ и случаямъ. Вильгельмъ II сдѣлалъ крупный и едва ли поправимый промахъ, превративъ эту частную неудачу въ общее политическое событіе и выра-

зивъ свое раздраженіе въ безцѣльной и несправедливой мѣрѣ относительно пограничныхъ жителей Эльзаса. Этимъ рѣзкимъ и необъяснимымъ вызовомъ по адресу всей Франціи сразу испорчены плоды разумной, миролюбивой политики Германіи за послѣдній годъ; всѣ видятъ теперь, что новое нѣмецкое правительство, при болѣе мягкихъ наружныхъ формахъ, сохраняетъ, въ сущности, тѣ же надменныя притязанія, какъ и при Бисмаркѣ. Франко-германское сближеніе отсрочено надолго, и потребуется много новыхъ и упорныхъ усилій, чтобы возстановить порванныя нынѣ связи; горечь обиды не скоро проходитъ у такого народа, какъ французскій, а намѣренія нынѣшнихъ нѣмецкихъ правителей не могутъ уже болѣе возбуждать довѣріе среди миролюбивыхъ оптимистовъ Франціи. Все новое, внесенное въ политику молодымъ императоромъ и подававшее надежды на спокойную будущность, оказывается вдругъ иллюзіею; въ международныхъ отношеніяхъ послышались опять старыя солдатскія нотки, и прежнее дружеское вниманіе смѣняется враждою и угрозами. Эта легкая доступность быстрымъ и случайнымъ впечатлѣніямъ можетъ привести Вильгельма II къ печальнымъ ошибкамъ; все международное положеніе становится шаткимъ и неопредѣленнымъ, если оно держится на личной впечатлительности такого перемѣнчиваго дѣятеля, какъ императоръ Германіи. Можно надѣяться, что первое увлеченіе пройдетъ, и политическое благоразуміе вступитъ въ свои права; въ этомъ случаѣ общественное мнѣніе Европы должно оказать сдерживающее вліяніе на нетерпѣливыхъ нѣмецкихъ патріотовъ, готовыхъ насильно навязывать французамъ свои односторонніе и узкіе взгляды на условія взаимнаго прочнаго мира.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1-го марта 1891.

— Государственное счетоводство и финансовая отчетность въ Англіи, ординарнаго академика Н. Х. *Бунге*. Санктпетербургъ. 1890 г.

Въ прошедшемъ году Н. Х. Бунге избранъ академіей наукъ въ ея члены, и вотъ новый академикъ уже даритъ публикѣ весьма цѣнное научное изслѣдованіе. Государственное счетоводство и финансовая отчетность составляютъ тотъ важный отдѣлъ финансовыхъ знаній, который получилъ у насъ наименьшее развитіе и менѣе всего привлекалъ вниманіе ученыхъ. Немногія, встрѣчающіяся у насъ, по этому предмету работы принадлежатъ скорѣе людямъ практики, чѣмъ теоріи, каковы, напр., книги о государственной отчетности Бельгіи, Пруссіи и Франціи, В. А. Татаринова, и Италіи— Н. В. Пясецкаго. Что касается до финансовой отчетности Англіи, Россія до сихъ поръ не имѣла о ней ни одного сочиненія, и новый трудъ Н. Х. Бунге, въ лицѣ котораго теорія такъ удачно соединяется съ многолѣтнею практическою опытностью, пополняетъ этотъ крупный пробѣлъ. Впрочемъ иностранная литература также весьма скудна данными, относящимися къ этому вопросу: чуть не единственной, спеціально посвященной бюджетному праву Великобританіи, работой является извѣстный „Memorandum“ или записка г. Welby, составленная еще въ 1884 г. по просьбѣ испанскаго правительства и затѣмъ повторяемая во всѣхъ трудахъ по этому предмету [1]. Затѣмъ, всѣ свѣденія,— кромѣ, конечно, оффиціальныхъ документовъ, ежегодно представляемыхъ парламенту,—разбросаны болѣе или менѣе по сочиненіямъ, относящимся къ конституціонному праву Англіи (May, Todd, Gneist и др.), въ руководствахъ по финансовой наукѣ (v. Stein, Leroy-

[1]) См., напр., United States Consular Reports. Budgets and Budget Legislation in Foreign Countries. № 90. March 1888. Washington. 1888, p. 441.

Beaulieu), и, наконецъ, въ трудахъ, спеціально посвященныхъ бюджетному праву (напр., Gustav Seidler). Заслуга русскаго автора заключается прежде всего въ томъ, что онъ собралъ, изучилъ всю эту литературу, пополнилъ ее цѣлымъ рядомъ практическихъ свѣденій, доставленныхъ ему агентами нашего министерства финансовъ въ Парижѣ и Лондонѣ, сопоставилъ и провѣрилъ полученныя такимъ путемъ данныя и изложилъ результаты этого изслѣдованія въ весьма общедоступной формѣ.

Составленіе государственныхъ росписей въ Англіи и система счетоводства и отчетности имѣютъ, какъ видно изъ выводовъ новаго труда Н. Х. Бунге, не только весьма значительное отличіе отъ принятыхъ во всей остальной Европѣ правилъ, но и свои крупныя достоинства. Росписи въ Англіи, напр., очень мало расходятся съ отчетами объ ихъ исполненіи, а это уже одно указываетъ на интересъ, представляемый изученіемъ порядка, установленнаго въ англійскомъ государственномъ счетоводствѣ. Кромѣ того, изъ многихъ спеціальныхъ особенностей, съ выгодой отличающихъ англійскій порядокъ составленія и исполненія бюджета отъ континентальной Европы, слѣдуетъ также указать, что англійскія смѣты отдѣльныхъ вѣдомствъ, содержа въ себѣ исчисленіе расходовъ по предметамъ, а не по министерствамъ, облегчаютъ безошибочное сравненіе данныхъ за продолжительный періодъ времени и, слѣдовательно, даютъ возможность постоянно строгаго и дѣйствительнаго контроля. Точно такъ же, при англійскомъ способѣ счетоводства, достигается иной важный практическій результатъ, а именно, итоги всѣхъ государственныхъ доходовъ и расходовъ могутъ быть подведены въ любой день вслѣдъ за разнесеніемъ статей по книгамъ. Затѣмъ, какъ свидѣтельствуетъ почтенный авторъ, хотя разсмотрѣніе доходовъ и расходовъ происходитъ тамъ и въ двухъ комитетахъ, собственно, in corpore, состоящихъ изъ цѣлаго состава нижней палаты—in the whole House, въ такъ-называемыхъ комитетахъ доходовъ и расходовъ (Committee of Supply, Committee of Ways and Means), но этотъ парламентскій порядокъ съ его рѣчами, какъ нѣкоторые могутъ думать, отнюдь не мѣшаетъ дѣловому обсужденію предмета; въ дѣйствительности, здѣсь участвуютъ ближайшимъ образомъ лишь члены, интересующіеся дѣломъ, которое выдвигается всегда на первый планъ, и, какъ свидѣтельствуетъ опытъ, подробное разсмотрѣніе, напр., расходовъ въ двухъ помянутыхъ инстанціяхъ составляетъ не пустую только формальность, а условіе болѣе обдуманнаго разрѣшенія каждой новой издержки.

Весьма спорный пунктъ въ англійскомъ бюджетномъ правѣ составляетъ опредѣленіе значенія и послѣдствій такъ-называемаго

„акта усвоенія“ (Apprорriation Act), который содержитъ въ себѣ перечень разрѣшенныхъ расходовъ и утверждается обыкновенно парламентомъ въ концѣ каждой сессіи. По мнѣнію всѣхъ англійскихъ юристовъ, этотъ актъ заключаетъ въ себѣ полномочіе правительству на взиманіе и расходованіе разрѣшенныхъ суммъ. Нѣкоторые же нѣмецкіе ученые, и во главѣ ихъ Гнейстъ, держатся иного толкованія: первый, напр., полагаетъ, что отказъ въ утвержденіи этого акта былъ бы не чѣмъ инымъ, какъ actus inanis, и легко могъ бы быть возмѣщенъ простымъ королевскимъ повелѣніемъ, а Лоренцъ Штейнъ заходитъ такъ далеко въ этомъ отношеніи, что даже совсѣмъ не допускаетъ въ Англіи отказа въ утвержденіи бюджета [1]). Нашъ авторъ въ своемъ трудѣ не касается этого вопроса. Но, насколько позволительно судить по одному замѣчанію, мимоходомъ брошенному въ концѣ изслѣдованія, онъ скорѣе присоединяется къ мнѣніямъ англійскихъ юристовъ, нежели нѣмецкихъ.

Не ограничиваясь обстоятельнымъ ознакомленіемъ читателя со всѣмъ существеннымъ строемъ англійскаго порядка финансовой отчетности, Н. Х. Бунге, въ видѣ приложенія, присоединяетъ къ своей книгѣ и главнѣйшій матеріалъ, которымъ онъ пользовался, какъ-то: Memorandum Welby, отрывки или извлеченія изъ книги Гнейста, англійскій „актъ усвоенія“ 1887 г., и притомъ все это не только въ подлинникѣ, но и въ переводѣ. Всѣ спорныя мѣста приводимыхъ документовъ сопровождаются примѣчаніями и сопоставленіями автора, причемъ ему удается не только сдѣлать нѣсколько существенныхъ исправленій неточностей Гнейста, но мимоходомъ бросить даже и весьма цѣнные и практичные замѣчанія и совѣты въ примѣненіи къ разсмотрѣнію доходныхъ и расходныхъ смѣтъ въ нашемъ собственномъ отечествѣ (прим. къ стр. 23 и 24).—И. Я.

— *А. Карпѣевъ*. Матеріалы и замѣтки по литературной исторіи *Физіолога*. Изданіе Импер. Общества любителей древней письменности. (Спб.), 1890.

Подъ именемъ „Физіолога“ въ средніе вѣка былъ чрезвычайно распространенъ и знаменитъ памятникъ, заключавшій въ себѣ описанія разныхъ животныхъ съ символическими и нравоучительными толкованіями. Этотъ памятникъ былъ распространенъ и на европейскомъ западѣ, и на востокѣ; изъ литературы греческой, гдѣ онъ пер-

[1]) См. *Gneist*, Gesetz und Budget, стр. 115. *Lorenz von Stein*, Lehrbuch der Finanzwissenschaft, Erster Theil, Leipzig, 1885 г., стр. 326, и *Dr. Gustaw Seidler*, Budget und Budgetrecht im Staatshaushalte der constitutionellen Monarchie. Wien, 1885 г., стр. 167.

воначально возникъ, онъ пришелъ и въ старую славянскую литературу, и тексты его встрѣчаются въ нашихъ рукописяхъ. Какъ обыкновенно бывало съ подобными средневѣковыми произведеніями, переходившими отъ одного народа къ другому, обращавшимися въ рукописяхъ, текстъ „Физіолога“ подвергся различнымъ передѣлкамъ, дополненіямъ и т. п., такъ что составъ рукописей въ разныхъ литературахъ и даже въ одной и той же представляетъ большое количество варіантовъ. Какъ множество другихъ средневѣковыхъ произведеній легендарнаго характера, „Физіологъ“ считается новѣйшими учеными за результатъ коллективнаго творчества, которое тѣмъ самымъ открывало путь къ многоразличнымъ видоизмѣненіямъ текста. Происхожденіе памятника было однако покрыто мракомъ неизвѣстности; теперь полагаютъ, что онъ возникъ на греческой почвѣ въ Александріи, во II—III вѣкѣ по Р. Х. и оттуда впослѣдствіи разошелся на востокъ и западъ.

„Въ литературной исторіи перехожихъ памятниковъ, — говоритъ г. Карнѣевъ, — случалось нерѣдко, что недостающія звенья литературнаго общенія неожиданно пополнялись славянскими рецензіями. Такъ и въ данномъ случаѣ, славянскіе тексты являются существенно важнымъ подспорьемъ въ правильной постановкѣ вопроса о генетическихъ отношеніяхъ между различными рецензіями Физіолога: способствовать сколько-нибудь сносному выясненію этого послѣдняго вопроса и имѣетъ въ виду, главнымъ образомъ, настоящій очеркъ“. Такимъ образомъ славянскіе тексты дали нашему ученому поводъ къ изслѣдованію цѣлой исторіи этого памятника. Эта исторія была очень долгая и многосложная.

„Тотъ многовѣковой памятникъ, который сохранился до нашихъ дней подъ названіемъ Физіолога,—говоритъ г. Карнѣевъ,—занимаетъ настолько важное мѣсто въ исторіи всеобщей литературы по своимъ многоразличнымъ отраженіямъ въ литературныхъ памятникахъ славянскихъ и романо-германскихъ, что уже по одному этому имѣетъ право претендовать на самостоятельный интересъ, на спеціальное къ себѣ вниманіе. Но значеніе Физіолога не исчерпывается его вліяніями исключительно въ свѣтской литературѣ; какъ памятникъ экзегетическій, онъ оказалъ извѣстное вліяніе на церковную письменность; проникъ въ средневѣковую проповѣдь; своей символической стороною онъ обусловилъ извѣстный стиль и укладъ средневѣковой церковной архитектуры и живописи, придалъ своеобразный отпечатокъ орнаменту и рукописной заставкѣ. Вліяніе нашего памятника спустилось и въ народную среду, сказавшись замѣтною струею въ памятникахъ народно-поэтическаго творчества, а живая рѣчь сохранила до нашихъ дней археологическіе остатки его въ видѣ цѣлаго рода образныхъ

выраженій. Различнаго рода пережитками когда-то живого прошлаго нашего памятника богата и геральдика.

„Помимо всѣхъ этихъ многоразличныхъ отраженій и вліяній, Физіологъ жилъ и собственною жизнью, перерождаясь постепенно въ „бестіарій“. Этотъ послѣдній съ одной стороны ложился въ основу различныхъ литературныхъ обработокъ бестіарнаго матеріала, съ другой—входилъ, въ видѣ существенной части, въ составъ фантастическихъ средневѣковыхъ энциклопедій XIII вѣка, откуда уже физіологическія сказанія безчисленными лучами расходились во всѣ последующіе вѣка средневѣковья“ (стр. 2—3).

Поставивъ главной задачей изслѣдованіе „Физіолога“ съ его славянской стороны, авторъ широкимъ образомъ коснулся и цѣлаго вопроса по литературной исторіи этого памятника. Введеніе посвящено судьбѣ Физіолога на славянской или, вѣрнѣе, на русской почвѣ. Указавъ внѣшнюю литературную исторію памятника, г. Карнѣевъ установилъ вопросъ объ его славянскомъ переводѣ и тѣхъ отголоскахъ его, какіе являются въ другихъ памятникахъ. До сихъ поръ наши изслѣдователи старой письменности касались этого предмета больше въ общихъ чертахъ и мимоходомъ; не мудрено, что выводы, сдѣланные до сихъ поръ, не отличались точностью. Самое изслѣдованіе г. Карнѣева указываетъ, какой сложный трудъ предстоялъ тому, кто хотѣлъ бы придти здѣсь къ точному выводу. Въ самомъ дѣлѣ, надо было разобраться въ цѣлой сложной исторіи памятника, первоначальная форма котораго могла быть возстановлена только сличеніемъ множества его варіантовъ въ средневѣковой литературѣ и пересмотромъ разнообразныхъ теорій новѣйшихъ изслѣдователей. Тому и другому г. Карнѣевъ посвятилъ много труда въ особыхъ главахъ своего сочиненія, гдѣ онъ останавливается на генеалогіи памятника, на описаніи всѣхъ извѣстныхъ его текстовъ отъ древне-греческихъ, сирійскихъ, арабскихъ, эѳіопскихъ, до средневѣковыхъ западныхъ и славянскихъ. Затѣмъ бо́льшую часть книги занимаетъ сравнительный анализъ отдѣльныхъ сказаній „Физіолога“ по различнымъ редакціямъ. Этотъ анализъ расположенъ такимъ образомъ, что въ каждой его главѣ приведенъ сначала славянскій текстъ отдѣльныхъ описаній, по списку XV вѣка, и затѣмъ составъ этого текста сличается съ изложеніемъ того же предмета въ остальныхъ восточныхъ и западныхъ редакціяхъ памятника. Такимъ образомъ, все содержаніе „Физіолога“ пересмотрѣно по всѣмъ извѣстнымъ варіантамъ этого памятника.

Изъ своихъ изслѣдованій г. Карнѣевъ дѣлаетъ вообще такіе выводы:

„Наличныя рецензіи „Физіолога“ восходятъ къ одной общей, которая сохранена преимущественно восточными текстами.

„Физіологъ, въ томъ видѣ, въ какомъ онъ дошелъ до насъ, представляетъ, при каждомъ сказаніи, соотвѣтственныя *символическія* примѣненія.

„Родиной Физіолога съ большимъ вѣроятіемъ можетъ быть признана Александрія, а временемъ его составленія—эпоха отъ II до III вѣка по Р. Х. Физіологъ есть памятникъ коллективнаго творчества.

„Источника физіологической саги слѣдуетъ искать у античныхъ писателей, въ памятникахъ египетской старины, въ библейскихъ представленіяхъ, въ отзвукахъ талмудическихъ преданій, и т. д.

„Славянскіе переводы греческаго Физіолога сохранились лишь въ русскихъ спискахъ. Языкъ древнѣйшей рецензіи указываетъ на болгарское происхожденіе перевода (ранѣе XIII вѣка).

„Наличность отдѣльныхъ физіологическихъ сказаній различныхъ рецензій въ древне-русскихъ сборникахъ свидѣтельствуетъ о сравнительной популярности Физіолога на Руси.

„Особой литературной разработки физіологическая сага на Руси не получила.

„Разработка бестіарнаго матеріала въ сочиненіяхъ представителей южно-русской учености XVI—XVIII вѣковъ опиралась не на рецензіи Физіолога въ строгомъ смыслѣ слова, но на сборники бестіарнаго матеріала, восходящіе къ фантастическимъ энциклопедіямъ средневѣковья.

„Широкую разработку физіологическая сага встрѣтила на западѣ.

„Отзвуки физіологической саги проникаютъ собою литературныя произведенія какъ свѣтскаго, такъ и духовнаго характера.

„Вліяніе Физіолога сказывается и въ произведеніяхъ народно-поэтическаго творчества.

„Физіологическая символика проникла и въ памятники средневѣковаго искусства, въ церковную архитектуру, въ иконографію и проч. Послѣдовательно вырождаясь, физіологическій символъ перешелъ въ эмблему“ (стр. 158—160).

Изслѣдованіе еще не кончено. И въ предѣлахъ указанныхъ вопросовъ оно такъ разрослось, что авторъ долженъ былъ отказаться на этотъ разъ отъ изслѣдованія другихъ сторонъ предмета, между прочимъ одной изъ самыхъ любопытныхъ, а именно отъ изложенія тѣхъ отголосковъ сказаній „Физіолога“, которые проникли въ литературу, искусство и образныя выраженія языка. Этому предмету авторъ предполагаетъ посвятить особый очеркъ.“

Книга г. Карнѣева является, конечно, весьма полезнымъ вкладомъ въ изученіе нашей письменной и легендарной старины, въ ея связяхъ и отношеніяхъ со стариною обще-европейской. Она присо-

единяется въ этомъ смыслѣ къ цѣлому ряду другихъ подобныхъ изысканій, которыя составили уже теперь особую школу въ изслѣдованіи старой литературы и искусства. Работа ведена чрезвычайно тщательно и, безъ сомнѣнія, займетъ почетное мѣсто въ ученой литературѣ о „Физіологѣ". Намъ, однако, представляется въ подобныхъ случаяхъ одна мысль: жаль, что подобныя работы пишутся у насъ всего чаще такъ, что остаются совершенно недоступны для обыкновенныхъ, хотя и достаточно образованныхъ читателей. Нашъ изслѣдователь непосредственно примыкаетъ къ тому положенію вопроса, какой онъ имѣетъ въ спеціальной литературѣ (въ настоящемъ случаѣ—даже только западной), входитъ, какъ говорится, in medias res; но есть, конечно, громадная разница въ положеніи западнаго ученаго и нашего: первый уже имѣетъ передъ собой обыкновенно богатую литературу, и съ тѣмъ вмѣстѣ гораздо бо̀льшее число подготовленныхъ читателей, между тѣмъ какъ у насъ подобное изслѣдованіе является нерѣдко первымъ по данному предмету, съ него только и начинается литература вопроса. Пересматривая прежнія изслѣдованія о „Физіологѣ", г. Карнѣевъ могъ привести, напримѣръ, у нѣмцевъ и французовъ цѣлый рядъ спеціальныхъ изслѣдованій и изданій текста, когда у насъ могъ назвать лишь два, три сочиненія, гдѣ цѣлый вопросъ едва затрогивался. Ученые спеціалисты, даже начинающіе, считаютъ какъ бы особымъ научнымъ достоинствомъ такую чисто спеціальную постановку предмета и даже нѣсколько мудреный языкъ, но истинная наука (мы говоримъ о предметахъ историко-литературныхъ) вовсе не требуетъ такой недоступности, и мудреный языкъ нерѣдко бываетъ только стилистическимъ недостаткомъ.

— *Культурныя переживанія.* Н. Ѳ. *Сумцова.* Изданіе журнала „Кіевская Старина". Кіевъ, 1890.

Слово „переживаніе" есть довольно несчастный переводъ термина, введеннаго въ первый разъ, кажется, англійскими учеными (survival). Имъ обозначается то, что̀ сохранилось отъ старины черезъ послѣдующіе вѣка народной жизни, что̀ ихъ „пережило" и остается въ наше время отголоскомъ прошлаго, нерѣдко чрезвычайно отдаленнаго; это слово, означающее результатъ, у насъ перевели въ первый разъ словомъ, означающимъ процессъ дѣла, и въ такомъ видѣ оно распространилось въ литературномъ употребленіи, несмотря на явную граматическую несообразность (г. Сумцовъ употребляетъ также и слово „пережитокъ": это болѣе правильно, хотя все-таки какъ-то неловко).

Этими „переживаніями“ и занялся г. Сумцовъ. „Вся наша жизнь, —говоритъ онъ въ введеніи,—объята культурными переживаніями, остатками древняго міросозерцанія и древней морали. Много ихъ въ понятіяхъ, нравахъ, языкѣ и бытѣ современнаго интеллигентнаго общества, и еще болѣе въ нравахъ и понятіяхъ простого народа. Широкій потокъ цивилизаціи новаго времени, повсемѣстное господство скептицизма и критики не могли еще очистить народную жизнь отъ остатковъ древней грубости нравовъ и темныхъ повѣрій старины. Культурныя переживанія упорно держатся въ семьѣ и въ обществѣ, проникаютъ въ искусство и литературу. Что̀ можетъ быть, напримѣръ, невѣжественнѣе и грубѣе вѣры въ колдовство, въ порчу и гоненія на мнимыхъ представителей демонической силы—вѣдьмъ, однако такая вѣра и гонительство, какъ темныя культурныя переживанія, проявляются и въ Россіи, и въ западной Европѣ среди простого народа. Въ 1875 году Нипольдъ издалъ сочиненіе, любопытное уже по заглавію: „Die gegenwärtige Wiederbelebung des Hexenglaubens“, а въ сущности дѣло состоитъ не въ оживаніи, а въ переживаніи понятій и нравовъ темной старины. Не все то̀ хорошо, что̀ ново, и среди культурныхъ пережитковъ, бо̀льшею частью дѣйствительно мрачныхъ и грубыхъ, встрѣчаются весьма цѣнные съ точки зрѣнія прогресса и морали“.

Г. Сумцовъ давно уже работаетъ въ области народнаго бытового преданія и поэзіи. Способъ настоящей работы онъ указываетъ слѣдующимъ образомъ: „Въ предлагаемыхъ вниманію статьяхъ я не буду подгонять культурныя переживанія подъ извѣстныя рубрики, миѳологическую, историко-литературную, сравнительно-этнографическую, или дѣлить ихъ по внѣшнему формальному сходству обрядности или значенія. Всякому культурному переживанію отводится самостоятельное мѣсто и посвящается особое изслѣдованіе. При такой постановкѣ дѣла выигрываютъ изслѣдователь и читатель. Изслѣдователь не стѣсненъ матеріаломъ, разсматриваетъ то, что̀ ему болѣе нравится и болѣе извѣстно, и всегда можетъ остановиться на любомъ мѣстѣ своего труда; читатель имѣетъ въ такомъ случаѣ передъ собою рядъ статей разнообразнаго содержанія, по возможности законченныхъ, и можетъ дѣлать изъ нихъ выборъ по своимъ личнымъ научнымъ наклонностямъ и привычкамъ“.

Дѣло, однако, не въ этомъ внѣшнемъ удобствѣ работы, а въ томъ, что было бы несравненно труднѣе, какъ выражается авторъ, „подгонять“ матеріалъ подъ извѣстныя рубрики. Работа могла быть только двоякаго рода: или простое собираніе матеріала, или его систематическое изложеніе, которое должно было бы стать цѣлой исторіей народнаго обычая и повѣрья съ точки зрѣнія старины, уцѣлѣвшей въ

современномъ бытѣ. Для работы этого послѣдняго рода въ настоящее время не представляется пока никакой возможности по самому состоянію матеріала, далеко не собраннаго и еще не подвергнутаго предварительной обработкѣ; „подогнать" данныя подъ извѣстныя рубрики, очевидно, еще не значило бы изложить его въ настоящей научной системѣ; эта послѣдняя потребовала бы не одного сопоставленія, но генетическаго объясненія данныхъ. Къ „переживанію" очевидно сводится и имъ истолковывается цѣлая громадная масса явленій въ народной поэзіи, бытѣ, повѣрьяхъ и нравахъ не только въ народѣ, но и въ средѣ классовъ образованныхъ и полу-образованныхъ.

Прежде, чѣмъ будетъ возможна такая цѣльная исторія „переживаній", долженъ быть еще собранъ и классифицированъ матеріалъ, и въ этомъ смыслѣ книга г. Сумцова является весьма полезнымъ началомъ. Онъ бралъ изъ массы „переживаній" отдѣльные сюжеты и собиралъ параллели изъ старыхъ легендарныхъ миѳовъ и современнаго повѣрья и быта, и только въ концѣ сдѣлалъ опытъ классификаціи въ формѣ „предметнаго указателя". Здѣсь онъ объединяетъ, внѣшнимъ образомъ, „переживанія", собирая ихъ подъ такія рубрики: внѣшняя природа, село и хата, личная жизнь крестьянина, пища и одежда, семейная жизнь, общественная жизнь, праздники и игры, музыкальные инструменты, промыслы, базарные обряды, демонологія, народно-поэтическая зоологія, ботаника и проч. Изъ этого указанія видно, какъ разнообразны предметы, на которыхъ останавливается авторъ. Книга г. Сумцова, несомнѣнно полезная для спеціалистовъ, можетъ послужить интереснымъ чтеніемъ и для всѣхъ, кому не чужды изученія народнаго быта, преданій и поэзіи; изложеніе ея весьма доступное.

Въ заключительной замѣткѣ „Pro domo sua" г. Сумцовъ отвѣчаетъ на „разборъ" его книги, въ одномъ журналѣ, гдѣ на полъ-страницѣ рецензентъ успѣлъ отнестись къ книгѣ весьма бранчливо,—еще лишній примѣръ того, какъ много у насъ охотниковъ облаять чужую работу, конечно, не собираясь замѣнить ее чѣмъ-либо лучшимъ.—А. П.

— *А. С. Гольденвейзеръ*. Соціальное законодательство германской имперіи. Кіевъ, 1890. Стр. 180.

Въ книгѣ г. Гольденвейзера весьма обстоятельно и дѣльно разобраны новѣйшіе германскіе законы о страхованіи рабочихъ, въ связи съ подобными же законопроектами въ другихъ государствахъ. Кромѣ анализа оффиціальныхъ мотивовъ и парламентскихъ преній, приводятся также мнѣнія ученыхъ теоретиковъ, какъ Адольфа Вагнера,

Брентано, Шеффлé. Говоря вкратцѣ объ отношеніи правительства къ соціальному вопросу въ Германіи, авторъ показываетъ, какъ „репрессивныя мѣры отодвигаются все болѣе на задній планъ и на ихъ мѣсто выдвигаются предложенія органическихъ законовъ, направленныхъ къ посильному устраненію дѣйствительнаго соціальнаго бѣдствія, которое признается исходящимъ не отъ злобныхъ умовъ, а изъ реальныхъ условій жестокой дѣйствительности". Принципъ отвѣтственности хозяевъ за послѣдствія несчастныхъ случаевъ на фабрикахъ и заводахъ связывается обыкновенно съ тою теоріею, что рискъ, соединенный съ извѣстнымъ предпріятіемъ, входитъ въ общую оцѣнку стоимости производства и принимается заранѣе въ разсчетъ при опредѣленіи выгодъ предпринимателя; но такое формальное основаніе недостаточно, какъ справедливо замѣчаетъ г. Гольденвейзеръ: „въ дѣйствительности, какъ нельзя болѣе ясно, что основаніемъ данныхъ законоположеній служитъ вполнѣ сознанный контрастъ между капиталомъ и трудомъ и необходимость идти къ согласованію интересовъ представителей того или другого путемъ возложенія на первыхъ попеченія объ участи вторыхъ, какъ ихъ гражданской обязанности и общественнаго дѣла". Значеніе соціальнаго законодательства для рабочаго класса въ Германіи выражается наглядно въ размѣрѣ тѣхъ матеріальныхъ средствъ, которыя этимъ способомъ будутъ затрачиваться на помощь народу. Страхованіе на время болѣзни, по словамъ автора, обходится въ 60 милліоновъ марокъ ежегодно; на страхованіе отъ несчастныхъ случаевъ требуется до 90 милліоновъ, а по закону 1889 года о страхованіи на время старости и неспособности къ труду понадобится приблизительно около 250 милліоновъ,—всего около 400 милліоновъ ежегоднаго расхода на пользу рабочаго населенія.

Въ разсужденіяхъ и доводахъ автора преобладаетъ элементъ юридическій, такъ какъ самая книга составилась изъ докладовъ, читанныхъ въ кіевскомъ юридическомъ обществѣ; но народно-хозяйственная точка зрѣнія не только не принесена въ жертву юридической логикѣ, какъ это часто бываетъ въ трактатахъ юристовъ, но напротивъ постоянно принимается во вниманіе и признается вполнѣ обязательною для законовъ, касающихся рабочаго вопроса. Единственный недостатокъ книги—нѣкоторая сухость изложенія.—Л. С.

Въ теченіе февраля мѣсяца въ редакцію поступили слѣдующія новыя книги и брошюры:

А., В. А.—Альбомъ. Тифл. 90. Стр. 65.

Балобанова, Е. В.—Поэмы Оссіана, Дж. Макферсона. Изслѣдованія, переводъ и примѣчанія. Спб. 91. Стр. 370. Ц. 3 р.

Беллами. Эдв.—Будущій вѣкъ, романъ. Спб. 91. Стр. 334. Ц. 1 р.

Бендеровъ, капитанъ болгар. ген. штаба.—Военная географія и статистика Македоніи и сосѣднихъ съ нею областей Балканскаго полуострова. Спб. 90. Стр. 835. Ц. 5 р.

Бертенсонъ, Г. В.—Къ вопросу о горно-лѣсной климатической станціи на южн. берегу Крыма. Спб. 91. Стр. 36.

Бокачевъ, И.—Опись русскихъ библіотекъ и библіографическія изданія, находящіяся въ исторической и археологической библіотекѣ И. Бокачева. Спб. 90. Стр. 316.

Бѣляевъ, А.—Характеристика археологіи. Харьк. 90. Стр. 84. Ц. 50 к.

——— Очерки современной умственной жизни. Харьк. 89. Стр. 86. Ц. 50 к.

——— О покоѣ воскреснаго дня. Харьк. 91. Стр. 130. Ц. 90 к.

Венгеровъ, С. А.—Критико-біографическій словарь русскихъ писателей и ученыхъ. Вып. 29. Спб. 91. Стр. 337—382. Ц. 35 к.

Верблювскій, Г.—Судопроизводство гражданское и уголовное въ новыхъ судебно-административныхъ учрежденіяхъ. Спб. 91. Стр. 244. Ц. 1 р. 50 к.

Гамовъ, И.—Два брата. Дума изъ малорусскихъ преданій. Гомель, 90. Стр. 32. Ц. 15 к.

Гремипъ, А. Б. Старостиха и др. разсказы. Спб. 91. Стр. 51. Ц. 40 к.

Гусевъ, проф., А.—О бракѣ и безбрачіи. Противъ „Крейцеровой сонаты" и „Послѣсловія къ ней", гр. Л. Н. Толстого. Каз. 91. Стр. 104. Ц. 50 к.

Дементьевъ, П.—Практическое руководство къ новѣйшей фотографіи. Съ 2 табл. рис. Спб. 91. Стр. 311. Ц. 2 р. 50 к.

Деспотули, И. П.—Повѣсть о сытомъ и голодномъ. Од. 91. Стр. 168. Ц. 75 к.

Дьяконовъ, П. И.—Дневникъ IV-го съѣзда русскихъ врачей въ память Н. И. Пирогова. М. 91. Стр. 449.

Искандеръ.—Кто виноватъ? Ром. въ 2 ч. Ч. II. Спб. 91 (Семейная библіотека. № 14). Ц. 25 к.

Корневъ, В.—Въ тридцатыхъ годахъ. Драматическія сцены, въ 5 дѣйств. Спб. 90. Стр. 88.

Красовъ, М. И.—Безъ маяка. Ром. Спб. 91. Стр. 177.

Кренке, В. Д. — О сельскомъ хозяйствѣ. Т. II, вып. 8. Изд. 3. Спб. 91. Стр. 147. Ц. 60 к.

Кругловъ, А.—На исторической рѣкѣ. Путевые негативы: 1. Женскій Аѳонъ; 2. Вѣчевой городъ. М. 90. Стр. 245. Ц. 1 р.

Леббокъ.—Цвѣты, плоды и листья, съ предисл. проф. А. Бекетова, перев. съ англ. А. Гердъ. Спб. 91. Стр. 147. Ц. 1 р. 25 к.

Лермонтовъ, М. Ю. Рублевое изданіе, въ 1 томѣ, сочиненій, съ портретомъ автора и біографическимъ очеркомъ. Спб. 91. Стр. 460. Ц. 1 р.

Носенко, Д. А.—Уставъ вексельный, съ разъясненіями по рѣшеніямъ гражд. кассац., 4-го д—товъ и общ. собраній правит. сената. Изд. 2-е, исправл. и дополненное (неоффиц.). Спб. 91. Ц. 1 р. съ пер.

Ольденбергъ, Германъ.—Будда, его жизнь, ученіе—община. Перев. П. Николаева. М. 91. Стр. 308. Ц. 2 р.

Островская, Н.—Разсказы для дѣтей, съ 10 рис. Спб. 91. Стр. 338. Ц. 2 р.

Пареный, М. Н. — Жертва самообмана. Ром. въ 3 ч. М. 91. Стр. 360. Ц. 1 р. 50 к.

Петрушевскій, Ѳ.—Краски и живопись. Пособіе для художниковъ и техниковъ. Спб. 91. Стр. 336. Ц. 2 р. 25 к.

Рабиновичъ, И. М.—Теорія и практика желѣзно-дорожнаго права по перевозкѣ грузовъ, багажа и пассажировъ. Спб. 91. Стр. 509. Ц. 3 р. 50 к.

Рева, А. М. — Труды перваго кіевскаго областного съѣзда. Кіевъ, 90. Стр. 301.

Реклю, Элизе.—Земля и люди. Всеобщая географія. XI: Сѣв. Африка, Тунисъ, Алжирія, Марокко, Сахара. Съ 82 рис. и картой. Спб. 91. Стр. 747. Ц. 8 руб.

Риббингъ, д-ръ Севедъ. — Половая гигіена и нравственныя ея послѣдствія. Перев. съ нѣм. и изд. д-ръ мед. Н. Лейненбергъ. Од. 91. Стр. 192. Ц. 1 р.

Сѣльниковъ, М. И.—Типическія черты мѣстнаго самоуправленія Англіи, Франціи и Пруссіи. Спб. 91. Стр. 16.

Чудновскій, проф. Ю. — Основы борьбы съ легочной чахоткой. Спб. 91. Стр. 27.

Шереметевъ, гр., Сергій.—Суздаль. Спб. 91. Стр. 27.

——— Кн. П. А. Вяземскій. Спб. 91. Стр. 34.

Шершеневичъ, Г.—Экономическое обоснованіе авторскаго права. Каз. 90. Стр. 26.

Яновскій, М. В.—О фосфатуріи или „бѣлой мочѣ“. Спб. 91. Стр. 65.

Эрисманъ, Ф. Ф. — Новыя клиники и институты (клиническій городокъ) имп. москов. университета, на Дѣвичьемъ Полѣ. М. 91. Стр. 141. Ц. 2 р.

Afanassief, G.—Le pacte de famine. Par. 90. Стр. 58.

Combothecra, A.—Essai sur le régime parlementaire. Par. 89. Стр. 154.

— Всемірный языкъ „Эсперанто“. Полный учебникъ съ 2 словар. Варш. 90. Стр. 48. Ц. 10 к.

— Всеобщая исторія литературы, п. р. проф. А. Кирпичникова. Вып. XXV: Скандинавская литература, Э. М. Диллена.—Турецкая литература, В. Д. Смирнова. Спб. 91. Стр. 321—554.

— Дешевая Библіотека: В. Немировичъ-Данченко, Лѣтомъ и зимою на Шипкѣ (1877—78 г.). Спб. 90. Стр. 147. Ц. 15 к.

——— Бенъ-Гуръ, Во дни оны, пов. изъ первыхъ временъ христіанства. Перед. Е. Бекетовой. Спб. 91. Стр. 302. Ц. 25 к.

— Дорожная Библіотека: Мейеръ, К., Святой, повѣсть. Спб. 91. Стр. 248. Ц. 75 к.

— Ежегодникъ рязанскаго губернскаго земства за 1890 г. Годъ I. Ряз. 90.

— Земскій сборникъ черниговской губерніи на 1890 г., № 9—10. Черниг. 90. Стр. 842.

— Настольный Энциклопедическій словарь. Объясненіе словъ по всѣмъ отраслямъ знанія. Вып. 10. Портр. 12 и рис. 17. Изд. А. Гарбель и К°. М. 91. Стр. 431—438. Ц. вып. 40 к.

— Научный обзоръ за 1890 г. Изд. журн. „Наука и жизнь“. М. 91. Стр. 205. Ц. 1 р. 50 к.

— Общій очеркъ состоянія народныхъ училищъ таврической губерніи за 1889 г. Бердянскъ, 90. Стр. 140.

— Отчетъ дирекціи херсонской общественной библіотеки, за 1891 г. Херсонъ, 91. Стр. 28.

— Отчетъ о дѣятельности полтавскаго сельско-хозяйственнаго общества, 1889-1890 г. Полт. 90. Стр. 74.

— Памятная книжка воронежской губерніи на 1891 г. Вып. 1. Ворон. 91. Стр. 147.

— Полное собраніе постановленій и распоряженій по вѣдомству православнаго исповѣданія Россійской Имперіи. Т. VII. Съ 1730 по 1732 г. Спб., 90. Стр. 654. Ц. 2 р.

— „Помощь самообразованію", популярно-научный и литературн. Журн., изд. ред. А. Ѳ. Тельнихинымъ. № 1-й. Саратовъ, 1891. Ц. годов. 6 р.

— Сборникъ статистическихъ свѣденій по Рязанской губерніи. Т. IX, вып. II. Сапожковскій уѣздъ. Ряз. 90.

— Сборникъ статистическихъ свѣденій по Тамбовской губерніи. Т. XV. Частное землевладѣніе Моршанскаго уѣзда. Тамб. 90.

— Сборникъ статистическихъ свѣденій о Тверской губерніи. Т. IV. Старицкій уѣздъ. Тверь. 90.

——— Т. III. Вышневолоцкій уѣздъ. Тв. 90.

——— Т. V. Калязинскій уѣздъ. Тв. 90.

— Сводъ узаконеній, инструкцій, правилъ, распоряженій, циркуляровъ, съ приложеніями къ нимъ, по акцизу на спиртъ, табакъ, сахаръ и пр. Іюль 1888 —90 г. Спб. 91. Стр. 199. Ц. 1 р.

— Сообщенія С.-Петербургскаго отдѣленія комитета о сельскихъ ссудосберегательныхъ и промышленныхъ товариществахъ. 1890. Выпускъ II. Спб., 1891. Стр. 129.

— Съѣздъ русскихъ дѣятелей по техническому и профессіональному образованію въ Россіи. 1889—90 г. Общая часть и Труды I—V отдѣленій. Спб. 91.

— Труды организаціоннаго комитета съѣзда русскихъ дѣятелей по техническому и профессіональному образованію въ Россіи. Изд. п. р. В. И. Срезневскаго. Спб. 90.

— Энциклопедическій словарь, п. р. И. Е. Андреевскаго. Т. II, А: Ауто—Банки. Изд. Брокгаузъ и Ефронъ. Спб. 91. Стр. 479—954.

НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I.

The Economic Review. Published Quarterly for the Oxford University. Branch of the Christian Social Union. Vol. I. January, 1891, № 1.

Ко многимъ странностямъ, которыя отличаютъ Англію отъ остального цивилизованнаго міра, слѣдуетъ отнести, между прочимъ, и то явленіе, что хотя ее можно считать почти родиной политической экономіи, гдѣ эта наука наиболѣе развилась, имѣла наибольшее число представителей и пережила всѣ фазы своей исторіи, тѣмъ не менѣе, до настоящаго года, Великобританія не имѣла ни одного научнаго экономическаго журнала. Въ ея богатой періодической печати встрѣчаются представители всевозможныхъ мнѣній и спеціальностей, но не было органа, посвященнаго теоретической разработкѣ вопросовъ народнаго хозяйства. „The Economist", „The Statist" и нѣкоторые иные журналы съ подобными названіями, какъ извѣстно, преслѣдуютъ чисто практическія, промышленныя цѣли: первый журналъ, напр., является, главнымъ образомъ, биржевымъ органомъ. Благодаря этому недостатку, англійскіе экономисты поставлены въ необходимость всѣ небольшіе по размѣрамъ свои труды, или же очерки по текущимъ вопросамъ, которые не могутъ появляться отдѣльными книжками, печатать или въ общихъ журналахъ, или посылать даже за-границу и помѣщать преимущественно въ Америкѣ, гдѣ уже имѣется нѣсколько спеціальныхъ экономическихъ журналовъ, издаваемыхъ тамошними университетами (преимущественно Гарвардскимъ и Джона Гопкинса).

Сознаніе упомянутаго недостатка заставило англійскихъ экономистовъ въ прошломъ году придти къ рѣшенію: во-первыхъ, основать спеціально экономическое общество, и во-вторыхъ,—„Экономическій Журналъ" (Economic Journal). Постановленіе это состоялось еще въ ноябрѣ на лондонской конференціи экономистовъ, во главѣ которыхъ стоятъ профессора Маршаль, Сиджуикъ, извѣстный членъ нынѣшняго министерства Гошенъ и др., но самый предполагаемый журналъ еще до сихъ поръ не появлялся на свѣтъ. Единовременно (такъ наз. „экономическій кружокъ при лондонскомъ національномъ либеральномъ клубѣ" постановилъ выпускать въ неопредѣленные періоды сборники трудовъ своихъ членовъ, и въ то же самое время другой и притомъ весьма

обширный кружокъ экономистовъ, преимущественно при оксфордскомъ университетѣ (такъ-назыв. „христіанскій соціальный союзъ"), пришелъ также къ заключенію о необходимости имѣть свой научный органъ, и уже выпустилъ въ свѣтъ раньше своихъ другихъ предшественниковъ первую книжку новаго изданія—„Экономическое Обозрѣніе" (Economic Review).

Своеобразной чертой, характеризующей этотъ новорожденный органъ англійскихъ экономистовъ, является прежде всего самый составъ кружка, издающаго „Экономическое Обозрѣніе". Изъ 65-ти сотрудниковъ, поименованныхъ въ приложеніи къ первой книжкѣ этого научнаго органа, насчитывается 24 лица, принадлежащихъ къ духовному званію (многія изъ нихъ—профессора университетовъ), въ томъ числѣ 5 епископовъ и 1 архидіаконъ. Огромное значеніе ученаго духовенства въ умственной жизни Англіи лучше всего доказывается тѣмъ, что цѣлый рядъ весьма извѣстныхъ современныхъ экономистовъ Англіи, какъ Стёббсъ, Кеннингемъ, Шоттльуортсъ, проф. Саймсъ, Весткоттъ и многіе другіе, состоятъ въ рядахъ англиканскаго духовенства и принадлежатъ къ ближайшимъ сотрудникамъ новаго органа. Въ редакціонной программѣ (редакторы-священники: Кампіонъ, Картеръ и Фельпсъ—всѣ три члены оксфордскаго университета) содержатся указанія цѣлей, задачъ и направленія новаго экономическаго органа. Редакція обѣщаетъ прежде всего полную и строго научную объективность въ выборѣ статей для своего журнала: „никакой проектъ соціальной реформы,—говоритъ программа,—хотя бы радикальный, не встрѣтитъ препятствій къ помѣщенію въ журналѣ, если только сопровождается основательной аргументаціей, и точно такъ же никакая защита существующаго экономическаго порядка, хотя бы консервативная, не будетъ отринута, если ея логика здрава, а точка зрѣнія научна. Такую же терпимость редакція обѣщаетъ и въ отношеніи къ методу изслѣдованія, какъ и къ предмету его; такъ, „Экономическое Обозрѣніе" будетъ по преимуществу заниматься исторіей экономической теоріи и соціальнаго быта, но отнюдь оно не предполагаетъ стѣснять свободу пріемовъ изслѣдованія принадлежностью писателей исключительно къ такъ-называемымъ послѣдователямъ историческаго метода, и охотно дастъ мѣсто и авторамъ другого направленія, особенно если это будетъ содѣйствовать наилучшему выясненію истины. Затѣмъ, ссылаясь на отсутствіе въ наше время всякихъ руководящихъ экономическихъ принциповъ при обсужденіи практическихъ вопросовъ жизни, программа редакціи обѣщаетъ сосредоточить именно на этой послѣдней сторонѣ дѣла главнѣйшее вниманіе журнала. Новый журналъ будетъ заключать въ себѣ преимущественно статьи, относящіяся

къ той же, весьма мало затронутой разработкой, области политической экономіи, которую редакція новаго журнала не совсѣмъ, намъ кажется, удачно выражаетъ словами „экономическая мораль“ или, правильнѣе сказать, „этика экономіи“.

Первая книжка „Экономическаго Обозрѣнія“ составлена весьма интересно, вполнѣ отвѣчая выставленнымъ заранѣе задачамъ редакціонной программы. Во главѣ стоитъ весьма умная и тонкая рѣчь, сказанная лордомъ-епископомъ доргэмскимъ о „воспитательномъ значеніи ассоціацій“, въ прошломъ сентябрѣ, при открытіи одной мѣстной кооперативной выставки. Епископъ-экономистъ изслѣдуетъ въ ней вопросъ о нынѣшнихъ англійскихъ потребительныхъ складахъ, разсматривая ихъ лишь какъ подготовительную, такъ сказать, воспитательную стадію къ развитію и распространенію въ странѣ столь важныхъ при разрѣшеніи соціальнаго вопроса производительныхъ ассоціацій. Затѣмъ слѣдуетъ статья викарія и профессора кембриджскаго университета Кённингема, автора извѣстнаго крупнаго сочиненія по исторіи англійской промышленности, недавно вышедшаго вторымъ изданіемъ [1]); статья его носитъ названіе: „Этика денежныхъ предпріятій“ и трактуетъ трудно разрѣшимый вопросъ о томъ, что̀ именно можно считать нравственнымъ и безнравственнымъ въ промышленныхъ предпріятіяхъ; она приходитъ къ рѣшительному заключенію о необходимости не только давать нравственное направленіе *условіямъ производства*,—что̀ отчасти уже и дѣлается вмѣшательствомъ правительства (напр. въ фабричномъ законодательствѣ), но и относительно самого *рода производства* или способовъ помѣщенія капитала: не все нравственно дозволительно, что̀ выгодно, хотя бы и не возбранялось закономъ. Священникъ Ричмондъ по поводу новой книги проф. Маршаля изслѣдуетъ также вопросъ „о нравственномъ факторѣ въ экономическомъ законѣ“; упомянутый уже раньше проф. Саймсъ, священникъ и ректоръ университета въ Ноттингэмѣ, разбираетъ сочувственно нынѣшнее движеніе между англійскими рабочими въ пользу 8-часовой работы, а священникъ Кауфманъ, извѣстный авторъ многочисленныхъ сочиненій о соціализмѣ, дѣлаетъ большой историко-критическій очеркъ успѣховъ соціализма въ Соединенныхъ-Штатахъ. Наконецъ, магистръ Ритчи (единственный сотрудникъ въ этой книжкѣ журнала, не принадлежащій къ духовенству) помѣстилъ весьма любопытную статью „О теоріи собственности Локка“, которая, можетъ быть, послужила прототипомъ („трудовая теорія“) для теоретическихъ обоснованій многихъ позднѣйшихъ ученій.

---

[1]) „The Growth of English Industry and Commerce during the Early and Middle Ages“ by *W. Cunningham D. D.* Cambridge, 1890.

Сверхъ указанныхъ предметныхъ статей, въ первой книжкѣ „Экономическаго Обозрѣнія“ помѣщены некрологи умершихъ экономистовъ: Торольда Роджерса (тоже бывшаго нѣкогда священникомъ) и Лоренца Штейна, и отдѣлъ смѣси, въ которомъ сообщаются, между прочимъ, любопытныя статистическія данныя о нѣкоторыхъ производительныхъ ассоціаціяхъ въ Англіи и о предпріятіяхъ, допускающихъ участіе рабочихъ въ прибыляхъ (Profit-Sharing-Firms). Весьма интересенъ и поучителенъ, особенно для иностранцевъ, обширный отдѣлъ новаго журнала, посвященный обзору всего экономическаго законодательства Великобританіи за прошлый 1890 годъ; такой же обзоръ обѣщается въ слѣдующей книжкѣ журнала относительно Америки. Въ заключеніе помѣщенъ довольно большой отдѣлъ (болѣе двухъ печатныхъ листовъ) литературнаго обозрѣнія и критики вновь вышедшихъ экономическихъ книгъ.—И. Я.

II.

L'évolution juridique dans les diverses races humaines, par *Ch. Letourneau*. Paris, 1891. Стр. 540.

Новый трудъ Летурно имѣетъ логическую связь съ рядомъ предшествовавшихъ изслѣдованій его объ эволюціи различныхъ сторонъ общественнаго быта, нравственности, брака, собственности и политическихъ учрежденій. На этотъ разъ авторъ вступилъ въ область, мало ему знакомую теоретически, но вполнѣ доступную общему пониманію и оцѣнкѣ съ точки зрѣнія такъ-называемаго здраваго человѣческаго смысла.

Летурно предупреждаетъ читателей, что онъ „изучалъ развитіе права не какъ законникъ, а какъ антропологъ“; онъ думаетъ даже, и не безъ основанія, что, „предпринимая такое обширное изслѣдованіе, полезно, быть можетъ, имѣть умъ, не отягченный слишкомъ подробнымъ изученіемъ писанныхъ кодексовъ, которые намъ завѣщаны или внушены Римомъ“. Но вредъ односторонняго господства римскаго права, разумѣется, не освобождаетъ изслѣдователя отъ необходимости знать дѣйствительныя основы и особенности тѣхъ обширныхъ и сложныхъ явленій, которыя извѣстны подъ названіемъ юридическихъ. Къ сожалѣнію, этого знакомства не видно въ книгѣ Летурно; оно признано какъ будто излишнимъ въ трактатѣ, посвященномъ спеціально изученію права у различныхъ народовъ. Авторъ не объясняетъ, что собственно разумѣетъ онъ подъ словомъ „юридиче-

скій", и вслѣдствіе этого происходитъ странное противорѣчіе между заглавіемъ книги и ея фактическимъ содержаніемъ. „Юридическая эволюція", поставленная во главѣ книги, вызываетъ въ читателѣ прежде всего мысль о послѣдовательномъ развитіи извѣстныхъ институтовъ частнаго права, о развитіи обязательныхъ или общепринятыхъ нормъ, опредѣляющихъ имущественныя отношенія между людьми въ разныхъ странахъ и въ разные историческіе періоды; но объ этомъ предметѣ почти совсѣмъ не говорится въ сочиненіи Летурно. Въ книгѣ идетъ рѣчь исключительно объ уголовномъ правѣ, о преступленіяхъ и наказаніяхъ, объ организаціи правосудія. Авторъ понимаетъ правосудіе (justice) только въ смыслѣ карательной власти, а слово „юридическій" принято имъ, повидимому, за синонимъ „судебнаго", которому, въ свою очередь, придается одностороннее значеніе уголовной репрессіи. Такимъ образомъ, вмѣсто изслѣдованія о правѣ у разныхъ народовъ, Летурно изучаетъ нарушенія права и установленныя за нихъ формы возмездія среди различныхъ человѣческихъ расъ, чтó конечно, далеко не одно и то же.

По обыкновенію, Летурнó собралъ массу интереснаго фактическаго матеріала и распредѣлилъ его по извѣстнымъ рубрикамъ; многія свѣденія о преступленіяхъ и наказаніяхъ у дикихъ и варварскихъ народовъ не только занимательны, но и увлекательны, такъ что книга вообще не можетъ быть названа скучною. Въ началѣ, по обыкновенію, говорится о происхожденіи „идеи права", отождествляемой авторомъ съ идеею наказанія; принципъ возмездія извлекается изъ рефлекторныхъ оборонительныхъ движеній, которыя, дѣлаясь болѣе сознательными и обдуманными, даютъ начало первобытному правосудію. Первоначальная идея рефлекторной защиты превращается въ идею отплаты, которая подъ вліяніемъ многовѣковой практики постепенно принимаетъ формы позднѣйшаго уголовнаго права. Въ будущемъ авторъ предвидитъ господство разума и справедливости. „Древняя Немезида должна будетъ совершенно удалиться изъ юридическаго (т.-е. уголовно-судебнаго) міра; нельзя будетъ больше говорить ни о правѣ наказанія, ни о возмездіи". Правосудіе не будетъ уже наказывать; оно займется только „дѣломъ соціальнаго предупрежденія и, если возможно, воспитанія".

Такъ какъ эти предсказанія нисколько не вытекаютъ изъ собранныхъ авторомъ фактовъ и изложены лишь въ видѣ краткихъ положеній, ничѣмъ не обоснованныхъ, то они являются лишь мечтательными пожеланіями, вполнѣ благонамѣренными и похвальными, но имѣющими пока еще очень мало общаго съ дѣйствительнымъ ходомъ „юридической эволюціи". Достаточно вспомнить новѣйшую „эволю-

цію" идеи о тѣлесныхъ наказаніяхъ въ нѣкоторой части Европы и Азіи, чтобы усомниться въ основательности того преувеличеннаго оптимизма, которыми проникнуты разсужденія Летурнò.

Нельзя также не пожалѣть, что, удѣляя много обширныхъ главъ свѣдѣніямъ о разныхъ дикихъ и варварскихъ племенахъ, авторъ счелъ возможнымъ отвести не болѣе 12 страницъ всѣмъ славянскимъ народамъ въ совокупности (стр. 406—419). Вообще въ настоящей книгѣ еще болѣе, чѣмъ въ прежнихъ трудахъ Летурнò, бросается въ глаза недостатокъ соразмѣрности и системы въ группировкѣ матеріала; но обиліе интересныхъ и поучительныхъ данныхъ вполнѣ искупаетъ слабыя стороны новаго изслѣдованія Летурнò.—Л. С.

ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.

1 марта 1891.

Финляндское уголовное уложеніе, въ связи съ общимъ финляндскимъ вопросомъ.—Наука или публицистика?—Культура и „культурные люди“.—Два „истыхъ“, но мало другъ на друга похожихъ финна.—Нѣчто о „реакціонной печати“.—С. В. Ковалевская †.

Въ „Юридической Лѣтописи“, вслѣдъ за статьей профессора Коркунова, о которой мы говорили въ прошедшій разъ, появилась статья профессора Таганцева, также посвященная финляндскому вопросу. Она распадается на двѣ части: спеціальную и общую. Спеціальная часть содержитъ въ себѣ разборъ тѣхъ постановленій новаго финляндскаго уголовнаго уложенія, которыя требуютъ пересмотра, въ видахъ согласованія съ русскими уголовными законами и съ положеніемъ, занимаемымъ Финляндіей по отношенію къ имперіи. Многое, въ этомъ разборѣ, слѣдуетъ признать вполнѣ основательнымъ; съ нѣкоторыми замѣчаніями можно было бы поспорить, но это значило бы войти въ такіе техническіе детали, которые не представляли бы интереса для нашихъ читателей. Мы остановимся, поэтому, исключительно на общихъ разсужденіяхъ автора, тѣсно связанныхъ съ взглядами, противъ которыхъ мы уже неоднократно возражали.

Уголовное уложеніе, объ исправленіи котораго теперь идетъ рѣчь, было внесено правительствомъ на обсужденіе финляндскаго сейма еще въ 1885 г., но сеймъ не успѣлъ тогда разсмотрѣть его. Въ 1888 г. проектъ, нѣсколько измѣненный по указаніямъ сеймовой коммиссіи и финляндскаго статсъ-секретаріата, былъ вновь предложенъ сейму и имъ принятъ, а 19-го ноября 1889 г., по докладу министра статсъ-секретаря Финляндіи, утвержденъ Государемъ Императоромъ. Днемъ осуществленія новаго закона было назначено 1-е января 1891 г., но въ настоящее время, какъ извѣстно, оно отложено впредь до разсмотрѣнія сеймомъ измѣненій, предлагаемыхъ правительствомъ [1]). „Державная воля Монарха—говоритъ г. Таганцевъ,—остановила введеніе въ дѣйствіе уже опубликованнаго уложенія, какъ

---

[1]) Текстъ манифеста, состоявшагося по этому предмету, перепечатанъ въ нашемъ январьскомъ Внутреннемъ Обозрѣніи.

только оказалось, что это введеніе нарушаетъ государственные интересы и достоинство Россіи. Русскій народъ имѣетъ твердое основаніе вѣрить и надѣяться, что та же державная рука остановитъ и въ будущемъ всякое подобное посягательство на интересы государства: совершившееся да будетъ наставленіемъ для будущаго. Но этотъ урокъ не заставляетъ ли всѣхъ насъ, съ финскими согражданами включительно, серьезно вдуматься въ условія и свойства настоящаго событія?" Изъ возможности предложенія и утвержденія самимъ правительствомъ такого законодательнаго акта, который приходится передѣлывать еще до введенія его въ дѣйствіе, г. Таганцевъ выводитъ необходимость „такого порядка предварительнаго разсмотрѣнія законопроектовъ, при которомъ бы, въ силу закона, могли принимать участіе, въ той или другой формѣ, соотвѣтственныя учрежденія имперіи". На этомъ предложеніи—единственномъ, сколько-нибудь подходящемъ къ обстоятельствамъ даннаго случая,—авторъ статьи, однако, не останавливается. Признавая, что „различіе въ культурѣ, нравахъ, обычаяхъ оправдываетъ особенности въ постановленіяхъ, относящихся къ этимъ разнствующимъ интересамъ", г. Таганцевъ указываетъ на „обширное поле постановленій общихъ, въ которыхъ желательно и необходимо не только сходство, но и тождество мѣстныхъ и общихъ законовъ". „Нельзя не памятовать,—говоритъ онъ дальше,—тотъ историческій фактъ, что первымъ законодательнымъ актомъ возсоединенной (а не единой) германской имперіи, составившейся изъ самостоятельныхъ государствъ, подъ однимъ общимъ главенствомъ, государствъ также разнствующихъ и религіею, и нравами, было изданіе единаго уголовнаго кодекса". Почвой для преобразованій, ожидаемыхъ г. Таганцевымъ, должно служить „выясненіе и опредѣленіе въ законѣ основъ государственнаго отношенія россійской имперіи и великаго княжества". Примыкая къ гг. Ордину, Коркунову и публицистамъ „Московскихъ Вѣдомостей", авторъ статьи старается доказать, что Финляндія не *соединена* съ Россіей, а *присоединена* къ ней; фактическое основаніе этого присоединенія—успѣхъ русскаго оружія, юридическое—фридрихсгамскій договоръ, по которому Швеція уступила Финляндію въ *собственность и державное обладаніе* россійской имперіи. Обѣщаніе Александра І-го, подтвержденное его преемниками,—обѣщаніе хранить ненарушимо коренные законы Финляндіи—„не можетъ быть понимаемо въ томъ смыслѣ, чтобы наши государи обѣщались сохранять на предбудущія времена безъ перемѣны букву всѣхъ шведскихъ постановленій, дѣйствовавшихъ въ моментъ присоединенія Финляндіи къ Россіи. Законы суть укладъ народной жизни, и какъ измѣняется народная жизнь, такъ

измѣняется и ея укладъ. Эта измѣнчивость одинаково присуща какъ второстепеннымъ законамъ управленія, такъ и законамъ кореннымъ". И дѣйствительно, коренные законы Финляндіи во многомъ измѣнились; „почему же въ постановленіяхъ, опредѣляющихъ государственное отношеніе Россіи и Финляндіи, всякая буква шведскихъ законовъ является неприкосновенною святынею"? Еще въ 1863 г., при открытіи перваго, послѣ боргоскаго, финляндскаго сейма, императоромъ Александромъ II-мъ указано было на необходимость составленія свода государственныхъ узаконеній Финляндіи, которыя оказываются несовмѣстными съ положеніемъ дѣлъ, возникшимъ послѣ присоединенія великаго княжества къ имперіи. „Эту задачу и предстоитъ выполнить нашему времени—а лозунгомъ работы должно быть признаніе Финляндіи нераздѣльною частью государства россійскаго, связанною съ нимъ общностью государственныхъ интересовъ, связанною не механически, а органически, во всемъ томъ, что выходитъ за предѣлы мѣстныхъ нуждъ и потребностей... Хотя при утвержденіи сеймоваго устава 1869 г. и была сдѣлана Государемъ Императоромъ надпись о сохраненіи правъ верховной власти въ томъ видѣ, какъ они установлены актами 1772 и 1789 гг. и не измѣнены сеймовымъ уставомъ, но эта надпись, по точному своему смыслу, имѣетъ въ виду только сохраненіе за верховною властью присущихъ ей прерогативъ и, конечно, отнюдь не выражаетъ признанія сохраненія силы за всѣми статьями сихъ положеній, хотя бы и не соотвѣтствующими условіямъ присоединенія и узаконеніямъ, изданнымъ послѣ 1809 г. Этотъ выводъ вполнѣ подтверждается словами рескрипта земскимъ чинамъ отъ 15-го (27) марта 1872 г., даннаго по поводу ихъ петиціи объ измѣненіи законовъ о печати: Мы не имѣемъ намѣренія уступить ни одного изъ присвоенныхъ Намъ законами правъ"... „Русскіе,—читаемъ мы въ концѣ статьи,—не только могутъ желать, но имѣютъ право требовать, чтобы Финляндія видѣла въ нихъ не чужестранцевъ, а своихъ согражданъ, и чтобы это начало нашло прямое выраженіе въ законахъ Финляндіи. Во время завоеванія Финляндіи, шведы среди финляндцевъ и юридически, и фактически были единогражданами; общегосударственные интересы Швеціи преобладали надъ мѣстными интересами Финляндіи... Неисповѣдимыя судьбы Промысла замѣнили владычество Швеціи верховенствомъ Россіи, и нынѣ Россія надѣется, что державная воля монарха твердо и неуклонно сохранитъ за нею мѣсто, принадлежащее ей по историческому и государственному праву".

Такова, въ главныхъ чертахъ, аргументація г. Таганцева. Нельзя сказать, чтобы его пожеланія отличались достаточной ясностью. Гдѣ

и какъ, по мнѣнію автора, должна быть проведена пограничная черта между мѣстными и общими интересами, а слѣдовательно—и между мѣстными и общими законами? Какіе именно финляндскіе „коренные законы“, какія постановленія, „опредѣляющія государственное отношеніе Россіи и Финляндіи“, должны подлежать пересмотру, за „несовмѣстностью“ ихъ съ измѣнившимся положеніемъ вещей? Въ какомъ порядкѣ долженъ совершиться этотъ пересмотръ? Какъ далеко должно идти, въ предѣлахъ Финляндіи, уравненіе коренныхъ русскихъ съ мѣстными уроженцами? Опредѣленнаго отвѣта на всѣ эти вопросы мы у г. Таганцева не находимъ; возможны только догадки, болѣе или менѣе вѣроятныя. Ссылка на примѣръ Германіи заставляетъ думать, что къ числу тѣхъ отраслей законодательства, по которымъ необходимо полное объединеніе между имперіей и великимъ княжествомъ, г. Таганцевъ относитъ все уголовное право. Дѣйствительно, однимъ изъ первыхъ дѣлъ возсоединенной Германіи было изданіе общеимперскаго уголовнаго уложенія; но почему? Съ одной стороны—потому, что всѣ составныя части германской имперіи соединены между собою общностью языка, національности и культуры [1]), далеко перевѣшивающею различія въ религіи и нравахъ; съ другой стороны—потому, что крупнымъ центробѣжнымъ силамъ, воспитаннымъ и укрѣпленнымъ вѣками, нужно было противопоставить какъ можно скорѣе нѣсколько правовыхъ институтовъ, способныхъ провести въ жизнь теоретическую идею германскаго единства. Въ составленіи уголовнаго уложенія участвовали, притомъ, представители всей Германіи; весь народъ могъ считать его своимъ собственнымъ дѣломъ. То ли мы видимъ у насъ? Финляндія отличается отъ имперіи не только религіей и нравами, но и языкомъ, народностью, культурой. Искусственное объединеніе, идущее всецѣло отъ стороны болѣе сильной, а другою, болѣе слабою, воспринимаемое только поневолѣ, можетъ привести здѣсь скорѣе къ разобщенію, чѣмъ къ сближенію. Финляндскій партикуляризмъ, предоставленный самому себѣ, не имѣетъ для Россіи и тѣни того значенія, которое имѣлъ бы для германской имперіи, при тѣхъ же условіяхъ, партикуляризмъ баварскій, виртембергскій, саксонскій и т. п. Государства, вошедшія, вмѣстѣ съ Пруссіей, въ составъ германской имперіи, обладали, вмѣстѣ взятыя, населеніемъ, равнявшимся, приблизительно, половинѣ прусскаго народа; населеніе Финляндіи не составляетъ и одной двадцать-пятой

[1]) Познанскіе поляки и шлезвигскіе датчане, прежде чѣмъ войти въ составъ германской имперіи, были уже членами другого цѣлаго, столь же имъ чуждаго—прусскаго королевства, такъ что перемѣны къ худшему созданіе имперіи для нихъ за собою не повлекло.

части населенія русской имперіи. Баварія, Виртембергъ, Саксонія имѣли позади себя цѣлую исторію, богатую, между прочимъ, воспоминаніями о борьбѣ съ Пруссіей; у нихъ были и есть династіи, считающія себя равными Гогенцоллернамъ. У Финляндіи не было, до 1809 г., своего отдѣльнаго царствующаго дома; шведская династія, ею управлявшая, болѣе не существуетъ. Въ войнахъ съ Россіей Финляндія принимала участіе не самостоятельно, а какъ провинція шведскаго государства. При такомъ положеніи дѣлъ нѣтъ мѣста для тѣхъ мотивовъ, подъ вліяніемъ которыхъ дѣйствовали, двадцать лѣтъ тому назадъ, государственные люди объединенной Германіи; нѣтъ основанія стремиться къ возможно бо́льшей нивеллировкѣ, къ сглаживанью различій, никому и ничему не мѣшающихъ, никакою опасностью не грозящихъ. Припомнимъ, что за изданіемъ общеимперскаго уложенія послѣдовалъ, въ Германіи, цѣлый рядъ аналогичныхъ мѣръ, не исчерпанныхъ еще и въ наше время; припомнимъ, что уже составленъ проектъ общеимперскаго *гражданскаго* уложенія. Что же, слѣдуетъ ли и намъ держаться этого пути по отношенію къ Финляндіи? Многое ли уцѣлѣетъ отъ финляндской самостоятельности, не вполнѣ отрицаемой и г. Таганцевымъ, если на великое княжество будутъ распространены не только русскіе уголовные, но и русскіе гражданскіе законы? Не обратится ли Финляндія въ обыкновенную русскую губернію, у которой вѣдь также есть свои *мѣстные интересы*, состоящіе въ вѣденіи мѣстнаго земства? Быть можетъ, г. Таганцевъ думаетъ, вмѣстѣ съ г. Коркуновымъ, что примѣненіе къ Финляндіи земскаго положенія 12-го іюня 1890 г., съ замѣной сейма губернскимъ и уѣздными земскими собраніями, было бы „неизмѣримымъ шагомъ впередъ" для самой Финляндіи? Зачѣмъ же, въ такомъ случаѣ, ссылаться на примѣръ германской имперіи, составныя части которой обладаютъ не только земскими, но и парламентскими учрежденіями, дѣйствующими параллельно съ имперскимъ сеймомъ?

Усилія г. Таганцева доказать невозможность „сохраненія на предбудущія времена, безъ всякой перемѣны, *буквы* шведскихъ коренныхъ законовъ", напоминаютъ намъ то, что̀ французы называютъ „взламываньемъ открытыхъ дверей". Никто, сколько намъ извѣстно, не утверждалъ и не утверждаетъ, чтобы основные законы Финляндіи должны были навсегда оставаться неизмѣненными. Самъ г. Таганцевъ упоминаетъ о сеймовомъ уставѣ 1869 г., о законѣ 1886 г., предоставившемъ сейму (съ извѣстными ограниченіями) право законодательной инціативы; онъ забываетъ только прибавить, что эти постановленія, несомнѣнно измѣнившія и букву, и смыслъ прежнихъ основныхъ законовъ, состоялись при дѣятельномъ участіи финлянд-

скаго сейма, выразившаго этимъ самымъ, что ему совершенно чужда мысль объ абсолютной неприкосновенности закона. Весь вопросъ заключается въ томъ, какимъ порядкомъ, съ соблюденіемъ какихъ правилъ и условій могутъ быть измѣняемы финляндскіе основные законы. По этому вопросу г. Таганцевъ не высказывается опредѣлительно и прямо; мы не узнаемъ, какое значеніе принадлежитъ, въ его глазахъ, § 71 сеймоваго устава 1869 г. („изданіе, измѣненіе, поясненіе или отмѣна основного закона можетъ послѣдовать не иначе, какъ по предложенію Государя Императора и Великаго Князя *и съ согласія всѣхъ сословій*“) и § 51 того же устава, въ новой редакціи, данной ему манифестомъ 13/25 іюня 1886 г. („земскіе чины впредь имѣютъ право вносить на сеймѣ предложенія объ установленіи, измѣненіи и отмѣнѣ такихъ общихъ законовъ, которые *зависятъ отъ совокупнаго рѣшенія Государя Императора и Великаго Князя съ земскими чинами;* не могутъ быть, однако, возбуждаемы предложенія объ установленіи, измѣненіи или отмѣнѣ основныхъ законовъ, или законовъ объ организаціи сухопутныхъ и морскихъ военныхъ силъ, а также законовъ о печати“). Намъ эти статьи устава кажутся совершенно ясными и не допускающими двухъ различныхъ толкованій; но ясность, къ сожалѣнію— понятіе относительное. Мы думаемъ, напримѣръ, что надпись (на сеймовомъ уставѣ 1869 г.) о сохраненіи правъ верховной власти въ томъ видѣ, въ какомъ они установлены актами 1772 и 1789 г. и не измѣнены сеймовымъ уставомъ, заключаетъ въ себѣ не только оговорку, направленную къ огражденію правъ верховной власти, но и признаніе той формы, въ которую заключены эти права коренными законами шведской эпохи, принятыми къ исполненію и русскими государями. Не такъ понимаетъ надпись г. Таганцевъ; онъ усматриваетъ въ ней *исключительно* резервацію правъ верховной власти, и ничего больше. Чтобы убѣдиться въ ошибочности такого взгляда, стоитъ только припомнить полемику, происходившую, года полтора тому назадъ, по поводу оффиціальнаго сообщенія прокурора финляндскаго сената [1]). Въ этомъ сообщеніи надпись, сдѣланная на сеймовомъ уставѣ 1869 г., разсматривалась именно какъ доказательство тому, что императоромъ Александромъ II признавалась дѣйствительность актовъ 1772 и 1789 г. Такого смысла надписи не рѣшились отрицать даже „Московскія Вѣдомости“ (противъ которыхъ было направлено сообщеніе прокурора); прижатыя къ стѣнѣ, онѣ сдѣлали скачокъ въ сторону,—и стали утверждать, что надпись была сдѣлана по недоразумѣнію, вслѣдствіе „намѣренныхъ или ненамѣренныхъ упущеній“, вкравшихся въ все-

---

[1]) См. Общественную Хронику въ № 9 „Вѣстника Европы“ за 1889 г.

подданнѣйшій докладъ министра статсъ-секретаря великаго княжества финляндскаго... Оправданіемъ односторонняго взгляда г. Таганцева не можетъ, какъ намъ кажется, служить и ссылка на Высочайшій рескриптъ 15-го (27-го) марта 1872 г., данный по поводу сеймовой петиціи объ измѣненіи законовъ о печати. Въ словахъ этого рескрипта: „Мы не имѣемъ намѣренія уступить ни одного изъ присвоенныхъ Намъ законами правъ"—слѣдуетъ видѣть, наоборотъ, новое подтвержденіе тому, что самый объемъ правъ, о которыхъ здѣсь идетъ рѣчь, опредѣленъ *законами,* т.-е. опять-таки актами 1772 и 1789 г. и сеймовымъ уставомъ 1869 г. Не иначе, какъ сообразно съ этими законами, можетъ, слѣдовательно, быть произведенъ общій ихъ пересмотръ или совершены частныя въ нихъ измѣненія.

Съ точки зрѣнія г. Таганцева, уроженцамъ имперіи должна принадлежать, въ великомъ княжествѣ, такая же полнота правъ, какая принадлежала шведамъ до 1809 г. И здѣсь, думается намъ, аналогія проведена не совсѣмъ удачно. Шведское населеніе Финляндіи обитало въ ней весьма давно; въ нѣкоторыхъ частяхъ великаго княжества (напримѣръ, въ юго-западной его оконечности) оно очень мало было смѣшано съ финнами. Для установленія различія между финнами и шведами не было, поэтому, никакихъ основаній. Русскіе, издавна поселившіеся въ Финляндіи и приписавшіеся къ числу финляндскихъ гражданъ, пользуются одинаковыми правами съ мѣстными уроженцами. Число такихъ финляндскихъ гражданъ русскаго происхожденія можетъ увеличиваться безпрепятственно. Ограниченіе, существующее относительно пріобрѣтенія русскими, въ Финляндіи, недвижимой собственности, установлено по иниціативѣ императорскаго правительства [1])—и къ его отмѣнѣ, по удостовѣренію г. Мехелина, не предвидится, со стороны Финляндіи, никакихъ препятствій. О чемъ же хлопочетъ г. Таганцевъ? О томъ, чтобы каждому русскому, хотя бы только вчера поселившемуся въ Финляндіи, хотя бы никогда не жившему въ ней и совершенно незнакомому съ ея особенностями, было предоставлено право вступать на финляндскую службу, быть избирателемъ и даже членомъ финляндскаго сейма? Но развѣ это мыслимо, пока Финляндія сохраняетъ свои особыя учрежденія, свои особые законы, свой государственный языкъ (или, правильнѣе, два своихъ государственныхъ языка)? Юридически возможное, участіе русскихъ въ финляндской администраціи и финляндскомъ законода-

[1]) Высочайшимъ повелѣніемъ 25-го февраля 1851 г., право пріобрѣтенія въ Финляндіи недвижимой собственности предоставлено русскимъ дворянамъ безусловно, а остальнымъ русскимъ—не иначе, какъ съ Высочайшаго разрѣшенія. По словамъ г. Мехелина, отказа въ разрѣшеніи никогда не бываетъ.

тельствѣ было бы все-таки фактически-неосуществимымъ. Одно изъ двухъ: или политическая равноправность русскихъ съ шведами и финнами (въ предѣлахъ великаго княжества) осталась бы мертвой буквой—или она выразилась бы въ видѣ одинаковой для всѣхъ безправности.

Тенденціи узкаго и близорукаго націонализма—замѣтили мы въ предъидущей хроникѣ—все чаще и чаще выступаютъ на сцену, въ послѣднее время, подъ флагомъ науки, демократіи, свободной мысли. „Ну какъ же не обида, въ самомъ дѣлѣ!"—восклицаютъ, по этому поводу, „Московскія Вѣдомости" (№ 42). „Вдругъ наука,—и не либеральная! Вдругъ изъ свободы мысли не получается либеральной фразеологіи!" Въ томъ-то и дѣло, что противъ „финляндскихъ притязаній",—т.-е. противъ сохраненія за Финляндіей правъ, для нея цѣнныхъ, а для Россіи безвредныхъ,—выдвигается вовсе не „наука", а только яко бы наука, вовсе не „свобода мысли", а только претензія на свободу. Въ самомъ дѣлѣ, много ли научнаго въ аргументаціи г. Таганцева, приведенной нами выше? Научный характеръ его статья сохраняетъ, въ большей или меньшей степени, только до тѣхъ поръ, пока идетъ рѣчь о недостаткахъ финляндскаго уголовнаго уложенія; заключительная глава составляетъ экскурсію въ область публицистики и отличается отъ газетныхъ анти-финляндскихъ упражненій только формою, болѣе сдержанною и серьезною, но отнюдь не содержаніемъ. Между тѣмъ переходъ одного профессора за другимъ въ число союзниковъ реакціонной прессы привѣтствуется ею именно какъ санкція, идущая отъ лица *науки*. Стремленія, враждебныя, въ сущности, всякому научному знанію, спѣшатъ прикрыться его авторитетомъ. Извѣстная формула международнаго права: le pavillon couvre la marchandise—получаетъ неожиданное примѣненіе въ области журнальной и газетной полемики. Мы не отрицаемъ за людьми науки право сходить съ ея высотъ и присоединяться къ сражающимся въ равнинѣ; но мы удерживаемъ за собою право наблюдать, сохраняютъ ли они, во время борьбы, свои ученые доспѣхи, т.-е. безпристрастіе мысли и свободу отъ мимолетныхъ вѣяній минуты. Чтó бы ни говорили наши противники, мы никогда не согласимся признать „научными" положенія въ родѣ слѣдующихъ: „финляндскій сеймъ вовсе не можетъ быть разсматриваемъ какъ народное представительство Финляндіи" [1])... „Русскіе имѣютъ право требовать, чтобы Финляндія видѣла въ нихъ своихъ согражданъ"...

---

[1]) Цитируя эти слова г. Коркунова, „Московскія Вѣдомости" очень удивляются тому, что мы поставили ихъ въ особенную вину профессору университета. „Какъ будто, — восклицаетъ газета, — ex cathedra ничего уже и нельзя говорить, кромѣ либеральнаго вранья!" Избѣгая рѣзкихъ терминовъ, замѣтимъ только одно: кто при-

Выставлять впередъ профессорскія статьи, какъ крѣпкій оплотъ противъ „либеральныхъ бредней"—во всякомъ случаѣ гораздо лучше, чѣмъ искажать взгляды противника. Продолжая разборъ нашей предъидущей хроники, „Московскія Вѣдомости" говорятъ, буквально, слѣдующее: „*Недѣля*" еще болѣе (чѣмъ г. Коркуновъ) огорчила „Вѣстникъ Европы". Она проводитъ такую еретическую мысль, что русская культура выше финской. Вотъ этого уже нельзя перенести! Положимъ, у насъ были Петръ Великій и Ломоносовъ, Екатерина II и Державинъ; положимъ, мы имѣемъ ученыхъ, которые и въ европейской наукѣ являются звѣздами первой величины; мы имѣемъ литературу отъ Пушкина и Гоголя до Л. Толстого, передъ которой съ изумленіемъ останавливается вся Европа,—положимъ, мы все это имѣемъ, а финны ничего этого не имѣютъ, но все-таки, по мнѣнію *Вѣстника Европы*, у нихъ культура, а у насъ ея нѣтъ. Какъ такъ? Очень просто, и *Вѣстникъ Европы* открываетъ ларчикъ безо всякаго труда. У нихъ, видите, хоть какой ни на есть, да существуетъ „правовой порядокъ", а у насъ его нѣтъ, и потому мы варвары, а они, такъ сказать, цивилизованные европейцы, которыхъ счастію можетъ позавидовать русскій народъ... Признакъ, по которому *Вѣстникъ Европы* безошибочно различаетъ культурные народы отъ некультурныхъ—это *правовой порядокъ*. Есть конституція—значитъ страна культурная; нѣтъ конституціи—значитъ страна некультурная. Чего проще. Прикинулъ аршинъ—и готово. Гдѣ ужъ Россіи тягаться съ негритянскою Либеріей или съ Балканскою Болгаріей; Турція, и та насъ превзошла, потому что при Мидхатъ-пашѣ хоть на пять минутъ да имѣла конституцію. Но, главное, этотъ простодушный взглядъ тѣмъ утѣшителенъ, что никому отчаяваться въ своей культурности нѣтъ надобности—даже эскимосамъ или лапландцамъ. Нѣтъ культуры, но сейчасъ ее можно сдѣлать: стóитъ только правовой порядокъ завести. Заведетъ его себѣ эскимосъ, и будетъ смотрѣть на насъ, какъ на низшую расу. А мы, хоть онъ тамъ сальныя свѣчи ѣстъ и рыбьимъ жиромъ запиваетъ, будемъ на него умиляться и завидовать его *счастью*". Кто не читалъ нашей хроники, тому трудно будетъ повѣрить, что все это остроуміе потрачено совершенно понапрасну. Мы никогда и нигдѣ не говорили, что *фин-*

никъ говоритъ съ каѳедры, тотъ долженъ быть вдвойнѣ остороженъ въ своихъ утвержденіяхъ и отрицаніяхъ,—а что утвержденіе г. Коркунова, въ данномъ случаѣ, неосновательно, это достаточно доказывается словами, которыми начинается Высочайшее обращеніе къ финляндскому сейму (12-го января 1891 г.): „*представители финскаго народа!*" Мы указывали на эти слова и въ прошлый разъ,— но „Московскія Вѣдомости" не хотятъ видѣть того, что́ не согласуется съ ихъ излюбленной темой.

ская культура выше русской—не говорили по той простой причинѣ, что вовсе этого не думаемъ. Мы утверждали и утверждаемъ, что финскій народъ не можетъ добровольно промѣнять свою культуру— вовсе, притомъ, не столь низкую, какъ полагаютъ наши финнофобы,— на другую, хотя бы и высшую. „Отличія", которыми пользуются финляндцы и которыя хотѣла бы отнять у нихъ наша реакціонная пресса, мы признавали и признаемъ условіемъ въ высшей степени благопріятнымъ для распространенія и усовершенствованія культуры, для поднятія народнаго благосостоянія; но это еще не значитъ, чтобы они могли *создать* культуру, гдѣ ея нѣтъ вовсе, или сразу возвысить одну культуру надъ другою. „Правовой порядокъ" у эскимосовъ былъ бы только каррикатурой, пустымъ звукомъ; но вѣдь финляндцы—не эскимосы. Исторія послѣднихъ двадцати-восьми лѣтъ показываетъ съ достаточною ясностью, что они умѣютъ пользоваться своими учрежденіями. „Московскимъ Вѣдомостямъ" кажется страннымъ, что мы говоримъ о *счастьѣ* финляндцевъ; но развѣ можно отрицать, что финляндцамъ, въ среднемъ выводѣ, живется легче и лучше, чѣмъ русскимъ? Вотъ что̀ говоритъ по этому поводу, писатель, благонамѣренность котораго едва ли заподозрятъ даже „Московскія Вѣдомости": „въ Финляндіи почва скудна, народъ не слишкомъ одаренъ отъ природы; сравнимъ ее, однако, съ русской губерніей такого же населенія, но въ несравненно болѣе благопріятныхъ климатическихъ и почвенныхъ условіяхъ, напримѣръ, хоть съ черниговской губерніей. Гдѣ въ послѣдней масса учебныхъ заведеній, газетъ, отличныя дороги, фабрики, производительность которыхъ извѣстна въ цѣломъ мірѣ, гдѣ благоустроенные города, освѣщенные газомъ, гдѣ порядокъ и уваженіе къ закону?" Обратить Финляндію въ русскую область—„значило бы отодвинуть ее на степень олонецкой, архангельской или вологодской губерній, умирающихъ съ голоду среди гигантскихъ богатствъ, ихъ окружающихъ и лежащихъ мертвымъ капиталомъ". Это говоритъ не кто другой, какъ авторъ „Современной Россіи"—одной изъ книгъ, наиболѣе проникнутыхъ модными вѣяніями и наиболѣе близкихъ къ идеаламъ реакціонной прессы.

Процессъ передѣлки чужихъ мыслей примѣняется „Московскими Вѣдомостями" не къ одному только „Вѣстнику Европы"; ему тутъ же подвергается и Салтыковъ. Московская газета цитируетъ изъ Салтыкова „размышленія русскаго культурнаго человѣка" о конституціи: „чего-то хочется: не то конституцій, не то севрюжины съ хрѣномъ, не то кого-нибудь ободрать". И далѣе: „будетъ ли при конституціяхъ казначей? Если не будетъ, то чортъ ли въ нихъ и въ консти-

туціяхъ?..“ За этими цитатами слѣдуетъ торжествующее восклицаніе: „такъ вотъ какъ смотрѣлъ на этотъ признакъ культурности, открытый *Вѣстникомъ Европы*, великій сатирикъ нашъ—такъ, кажется, они Салтыкова-то называютъ?“ Чтó это такое—наивность или нѣчто другое, прямо противоположное? Неужели для московской газеты не ясно, что размышленія „культурнаго человѣка“—вовсе не размышленія самого Салтыкова? Если она забыла, чтó за „культурные люди“ выводятся на сцену въ очеркѣ того же имени, то не могла же она не замѣтить опредѣленіе „культурнаго человѣка“, непосредственно, на той же страницѣ („Сочиненія“ Салтыкова, изд. 1889 г., томъ четвертый, стр. 571), слѣдующее за приведенными ею „размышленіями“. „Я—человѣкъ культурный, потому что служилъ въ кавалеріи. И еще потому, что въ настоящее время заказываю платья у Шармера. И еще потому, что по субботамъ обѣдаю въ англійскомъ клубѣ. Приду въ пять часовъ, проберусь въ уголокъ на свое мѣсто и ѣмъ, покуда не запыхаюсь. Прежде, бывало, я разговаривалъ, а нынче—только ѣмъ“. Дальше „культурный человѣкъ“ является синонимомъ „утробистаго“ и „чистопсоваго“—а насъ хотятъ увѣрить, что его устами говоритъ самъ Салтыковъ! Для „культурныхъ людей“—въ спеціальномъ, салтыковскомъ смыслѣ слова—конституція не могла и быть ничѣмъ инымъ, какъ „севрюжиной“, т.-е. однимъ изъ средствъ къ удовлетворенію аппетита; но чтò же здѣсь общаго съ вопросомъ, спорнымъ между нами и „Московскими Вѣдомостями“? Мы знаемъ и безъ нихъ, что подъ однимъ и тѣмъ же терминомъ могутъ скрываться самыя различныя понятія; мы помнимъ, напримѣръ, исторію одного ходатайства, заявленнаго, лѣтъ двадцать-пять тому назадъ, съ досады на уничтоженіе крѣпостного права. „Культурные люди“, стоявшіе за это ходатайство, имѣли, быть можетъ, не мало общаго съ „культурными людьми“ Салтыкова; но не странно ли было бы считать ихъ представителями истинной, настоящей культуры—культуры, которой принадлежитъ будущее?

„Я думаю,—продолжаетъ храбрый сотрудникъ „Московскихъ Вѣдомостей“,—и въ Финляндіи *правовой порядокъ* болѣе потому цѣнится, что при немъ есть *казначей,* и что тамошнимъ господамъ при правовомъ порядкѣ куда ловчѣй, нежели безъ онаго, обдѣлывать свои дѣла на счетъ финскаго *быдла.* Въ этомъ все и дѣло, въ этомъ всѣ и *права*, которыя такъ горячо отстаиваютъ тамошніе *рыцари*“. Въ самомъ дѣлѣ? Почему же, въ такомъ случаѣ, за эти права такъ усердно стоятъ не-господа, не-рыцари? Существуетъ ли, по отношенію къ финляндскимъ основнымъ законамъ, какое-либо разногласіе между сословіями, входящими въ составъ сейма? Высшимъ ли сословіямъ,

„рыцарямъ" ли было нужно уравненіе финскаго языка съ шведскимъ, да и многія другія реформы, перечень которыхъ можно найти хотя бы въ недавней брошюрѣ г. Мехелина („Противорѣчатъ ли права Финляндіи интересамъ Россіи?" Гельсингфорсъ, 1890)? Если финляндское „быдло" въ чемъ-либо притѣснено или обижено „рыцарями", то почему же на обсужденіе сейма не вносятся законопроекты, направленные къ устраненію злоупотребленій?.. На самомъ дѣлѣ, конечно, импровизованные защитники финляндскаго „быдла" чувствуютъ къ нему только глубочайшее равнодушіе. Народъ, съ ихъ точки зрѣнія, не можетъ быть ничѣмъ инымъ, какъ безправной массой, дисциплинированной рабочей силой. Финнамъ, какъ и русскимъ, они не могутъ предложить ничего другого, кромѣ даровъ истинно „данайскихъ".

Не довольствуясь предположеніями о „господской" эксплуатаціи финляндскаго „быдла", „Московскія Вѣдомости" пускаютъ въ ходъ и другія средства, чтобы дискредитировать финляндскій сеймъ въ глазахъ русскаго общества. Онѣ печатаютъ, въ № 41, корреспонденцію изъ Финляндіи, подписанную: „истый финнъ" и воспроизводящую, будто бы, разговоръ этого „истаго финна" съ однимъ нюландскимъ крестьяниномъ-домохозяиномъ. „Прошу не объявлять моей фамиліи,— говоритъ въ концѣ письма корреспондентъ;—иначе, если финляндскія газеты обо мнѣ узнаютъ, то мнѣ не будетъ и житья на свѣтѣ, потому что правду говорить не позволяется". Очень жаль; сила подобныхъ корреспонденцій обусловливается именно ихъ подписью, потому что только она одна служитъ нѣкоторой гарантіей противъ сочинительства. Допустимъ, однако, что описываемый въ корреспонденціи разговоръ происходилъ на самомъ дѣлѣ. Къ чему же сводятся нареканія крестьянина противъ сейма? Если отбросить общія мѣста и бездоказательныя фразы о „подчиненности крестьянъ" и о „владычествѣ чиновной аристократіи", то остается только слѣдующее: желаніе, чтобы „господа" обсуждали на сеймѣ дѣла вмѣстѣ съ крестьянами—жалоба на то, что сеймовые депутаты получаютъ отъ 15 до 30 марокъ въ день, и эти деньги идутъ на поддержаніе „роскошной жизни господъ"—увѣреніе, что представителями крестьянства на сеймѣ являются опять-таки „господа",—и сѣтованіе на строгость закона о долговыхъ взысканіяхъ, вслѣдствіе которой продаются иногда съ публичнаго торга вещи, необходимыя для существованія должника. По первому пункту достаточно замѣтить, что раздѣленіе сейма на сословія установлено основными законами, измѣненіе которыхъ, какъ извѣстно, можетъ воспослѣдовать только въ силу правительственной иниціативы. Содержанія, изъ числа сеймовыхъ депутатовъ, не получаютъ именно „господа", т.-е. дворяне; остальнымъ оно на-

значается по усмотрѣнію избирателей. Собесѣднику „истаго финна" неизвѣстенъ, очевидно, тотъ общепризнанный фактъ, что безвозмездный трудъ депутатовъ гораздо выгоднѣе для „господъ", чѣмъ для массы народа... Что представителями крестьянства на финляндскомъ сеймѣ являются преимущественно крестьяне—это видно изъ цифръ, приведенныхъ недавно нашимъ гельсингфорсскимъ корреспондентомъ („В. Европы" № 2, стр. 847). Всѣхъ депутатовъ крестьянскаго сословія на нынѣшнемъ сеймѣ 61: изъ нихъ 34 принадлежатъ къ числу крестьянъ-собственниковъ, 18—къ разряду помѣщиковъ (не-дворянъ); остальные—народные учителя, деревенскіе торговцы и т. п. Что касается, наконецъ, до строгости долговыхъ взысканій, то это—вопросъ не сословный. Если въ финляндскомъ гражданскомъ процессѣ не содержится правила, освобождающаго предметы первой необходимости отъ продажи, за долги, съ публичнаго торга, то желательно, безъ сомнѣнія, какъ можно скорѣе установить такое правило; но отсутствіе его вовсе не имѣетъ того значенія, которое ему желалъ бы дать корреспондентъ „Московскихъ Вѣдомостей". Ничтожность обвинительнаго матеріала, съ которымъ выступилъ „истый финнъ", показываетъ какъ нельзя лучше, что для болѣе серьезныхъ обвиненій у него не было основаній... Тенденціозной воркотнѣ безъименнаго корреспондента московской газеты можно противопоставить слова, произнесенныя при открытіи сейма другимъ, несомнѣнно „истымъ" финномъ—предводителемъ крестьянскаго сословія, г. Слотте, и напечатанныя въ тѣхъ же „Московскихъ Вѣдомостяхъ", № 49: „Восемь десятилѣтій финскій народъ, соединенный съ могущественнымъ русскимъ государствомъ, жилъ счастливо подъ защитой своихъ собственныхъ законовъ. Подобно прочимъ общественнымъ классамъ, и крестьянское сословіе Финляндіи всею своею душой съ любовью привязано къ этимъ законамъ. Вслѣдствіе того, что оно само съ древнѣйшихъ временъ чрезъ своихъ представителей принимало участіе въ установленіи ихъ, ему удалось сообразовать ихъ съ своеобразнымъ характеромъ финскаго крестьянина и съ особыми потребностями, проистекающими отъ свойствъ и климата страны. Поэтому все, что̀ поддерживаетъ эти законы, возбуждаетъ въ немъ радость, все, что̀ угрожаетъ имъ опасностью, напротивъ, причиняетъ ему печаль".

Говоря о нѣкоторыхъ органахъ нашей періодической прессы, мы соединяемъ ихъ иногда, для краткости, подъ общимъ именемъ *реакціонной* печати. Это не нравится одному изъ нихъ (см. „Московскія Вѣдомости", № 21); онъ упрекаетъ насъ въ неправильномъ выборѣ

термина, въ обращеніи „безразличнаго“ слова „въ бранное“. „Почему это они выраженіе: *реакціонный*—въ бранномъ смыслѣ употребляютъ? Самъ Эдипъ не разрѣшитъ. Ну, положимъ, *Московскія Вѣдомости*, напримѣръ, по-ихнему, *реакціонная* газета. Почему? потому что она являетъ собою реакцію противъ нашего доморощеннаго либерализма. Такъ что ли? Вѣрно, такъ. Но вѣдь вы-то сами *реакціонный* журналъ, ибо являете собою реакцію противъ началъ народныхъ. То-то и есть, что слово реакція—слово безразличное, его можно приложить туда и сюда, съ одинаковымъ правомъ, а вы имъ бранитесь и даже въ традиціонное бранное слово обратили“. Невѣрно, во-первыхъ, чтобы слово: *реакціонный*, имѣло, у насъ, характеръ „брани“. Браниться — не въ нашихъ привычкахъ; когда намъ нужно отмѣтить какое-нибудь специфическое свойство нашихъ противниковъ, какую-нибудь отличительную особенность ихъ полемики или ихъ тенденцій, мы прямо выбираемъ эпитетъ не-бранный, но кажущійся намъ наиболѣе подходящимъ къ предмету („узкій“, „близорукій“, „злобный“ и т. п.). Терминъ: *реакціонный*, имѣетъ для насъ другое значеніе; онъ позволяетъ намъ сразу обозначать цѣлую группу газетъ, которыя иначе нужно было бы перечислять поименно —или сразу показать, съ кѣмъ мы, въ данномъ случаѣ, имѣемъ дѣло. Мы никогда не обижались, когда „Вѣстникъ Европы“ называли органомъ „либеральнымъ“, „яко бы либеральнымъ“, „псевдолиберальнымъ“; мы очень хорошо понимали, что это — сокращенная характеристика нашихъ стремленій, какими они представляются нашимъ противникамъ. Остается, значитъ, только вопросъ о правильномъ употребленіи термина, Конечно, въ своемъ первоначальномъ, научномъ смыслѣ—въ томъ смыслѣ, въ какомъ говорится, напримѣръ, о реакціи физіологической или химической—слово: *реакція* совершенно безразлично, т.-е. не заключаетъ въ себѣ ни похвалы, ни порицанія. Безразличнымъ оно можетъ быть и въ политической наукѣ, если примѣнять его ко всякому „отвѣтному“ движенію, вызванному другимъ, противоположнымъ. Но въ публицистикѣ, западно-европейской и русской, слова: *реакція, реакціонеръ, реакціонный*, давно уже пріобрѣли другой, спеціальный смыслъ, давно уже стали означать опредѣленное направленіе, опредѣленную группу или партію—именно ту, къ которой и мы ихъ примѣняемъ. Эпохами реакціи по преимуществу принято называть господство меттерниховской системы или движеніе назадъ, наступившее послѣ неудачи революціонныхъ вспышекъ 1848—49 г. Когда принцъ-регентъ прусскій, будущій король и императоръ Вильгельмъ I, уволилъ, въ 1858 г., министерство Мантейфеля и призвалъ къ власти умѣренныхъ либераловъ, это было. если хотите, реакціей противъ предшествующаго періода, сковавшаго

Пруссію внутри и унизившаго ее передъ Германіей и Европой; но кто же называлъ или называетъ Шверина и Ауерсвальда—реакціонерами, „новую эру"—временемъ реакціоннымъ? А между тѣмъ никто не затруднится назвать этимъ именемъ „эпоху конфликта" (1862—66), никто не затруднится сказать, что въ внутренней политикѣ, до побѣдъ 1866 г., Бисмаркъ былъ реакціонеромъ. Реакціонеръ, по опредѣленію покойнаго А. Д. Градовскаго („Трудные годы", стр. 345), „живетъ стариною, не признавая никакихъ требованій настоящаго. За оскорбленіе старины онъ мститъ зло и съ бѣшенствомъ, стараясь разбить въ прахъ ненавистную ему новизну"... Нужны ли еще доказательства тому, что мы въ правѣ употреблять выраженіе, непріятное „Московскимъ Вѣдомостямъ", именно такъ, какъ мы его до сихъ поръ употребляли?

Наука, не только русская, но и европейская, понесла тяжелую потерю въ лицѣ С. В. Ковалевской; русская литература потеряла въ ней много обѣщавшее дарованіе. „Воспоминанія", напечатанныя покойною въ нашемъ журналѣ (1890 г., №№ 7 и 8), обнаружили такую сторону ея таланта, которая до тѣхъ поръ оставалась неизвѣстной, быть можетъ, самой писательницѣ. Больше, чѣмъ кто бы то ни было, С. В. Ковалевская способствовала—не словомъ, а дѣломъ — ослабленію предразсудковъ, все еще стоящихъ на пути научнаго женскаго образованія. Она достигла вершинъ ученаго поприща; ее призвала на университетскую каѳедру чуждая ей страна, ее увѣнчала высшей наградой чуждая ей академія. Для семьи, для друзей, для слушателей, для науки, она сошла со сцены слишкомъ рано; но ей ничего уже больше не оставалось сдѣлать, чтобы побѣдоносно доказать,—какъ она то и доказала,—что женскій трудъ, въ области знанія, можетъ не уступать мужскому.

ИЗВѢЩЕНІЯ.

I.

Отъ комитета о сельскихъ ссудо-сберегательныхъ и промышленныхъ товариществахъ.

С.-петербургское отдѣленіе комитета о сельскихъ ссудо-сберегательныхъ и промышленныхъ товариществахъ объявляетъ во всеобщее свѣденіе, что для конкурса на премію имени князя А. И. Васильчикова въ 1.500 рублей предлагается на срокъ 27-го октября 1894 г. нижеслѣдующая тэма:

„Недостатки существующихъ въ Россіи формъ сельскаго мелкаго краткосрочнаго кредита и какія указанія для ихъ устраненія даетъ опытъ учрежденій такого же кредита на западѣ“.

Для соисканія преміи въ 1.500 р. на вышеозначенную тэму, сочиненія должны быть представлены въ с.-петербургское отдѣленіе комитета о сельскихъ ссудо-сберегательныхъ и промышленныхъ товариществахъ не позже 1-го февраля 1894 года. Рукописи должны обозначаться особымъ девизомъ; имя же автора и мѣстожительство его должны быть означены въ особомъ запечатанномъ конвертѣ, имѣющемъ одинаковый съ рукописью девизъ.

II.

Отъ историко-филологическаго общества при имп. новороссійскомъ университетѣ.

Въ виду особенно важныхъ ученыхъ заслугъ профессора В. И. Григоровича по славяновѣденію и по изученію южно-русской старины, вскорѣ по смерти его, между учениками и почитателями его возникла мысль объ устройствѣ памятника на могилѣ Григоровича въ Елисаветградѣ. Въ виду послѣдовавшаго со стороны господина министра народнаго просвѣщенія разрѣшенія открыть для означен-

ной цѣли сборъ пожертвованій между бывшими учениками и почитателями Григоровича въ Казани, Москвѣ и Одессѣ, правленіе историко-филологическаго общества имѣетъ честь обратиться къ ученикамъ и почитателямъ Григоровича съ приглашеніемъ содѣйствовать своими пожертвованіями къ образованію суммы, потребной на сооруженіе памятника, причемъ съ своей стороны принимаетъ на себя заботы о дальнѣйшихъ мѣрахъ къ осуществленію предположенной цѣли.

Иногородные благоволятъ присылать пожертвованія въ Одессу, въ университетъ, въ историко-филологическое общество.

Въ городѣ Одессѣ пожертвованія принимаются у казначея общества, агента министерства иностранныхъ дѣлъ, А. Д. Путяты, на Нѣжинской улицѣ, противъ телеграфа, въ домѣ Яковлева, № 58, отъ 12 до 1 ч. ежедневно.

ПОПРАВКИ:

Стран.	*Строк.*	*Напечатано*:	*Слѣдуетъ*:
16	17 св.	употребленіи	уподобленія
17	6 „	клерикалами	клериками
20	1 „	памятно	понятно
21	18 сн.	но выбравъ	повыбравъ
25	3 „	Vites	Vita
65	13 св.	Авторѣ	Авторской
86	10 „	по сюжету	по сю пору

Издатель и редакторъ: М. Стасюлевичъ.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ.

Полное собраніе постановленій и распоряженій по вѣдомству православнаго исповѣданія Россійской Имперіи. Т. VII: 1730—1732. Спб. 90. Стр. 654. Ц. 2 р.

Настоящее изданіе, руководимое особою коммиссіею, учрежденною спеціально для разбора дѣлъ синодальнаго Архива, представляетъ большой научный интересъ не для одного духовенства; отечественный историкъ найдетъ въ этомъ изданіи весьма важный и богатый источникъ для изученія нравовъ отжившихъ эпохъ, характеристики общественнаго быта и тѣхъ условій, которыя переживало наше церковное общество, относительно говоря, не такъ еще давно. Безъ такого документальнаго сборника, невозможно было бы и повѣрить тому, что не далѣе какъ въ прошедшемъ столѣтіи близъ Петербурга, въ Ямбургскомъ уѣздѣ, были случаи совращенія изъ православія не въ лютеранство, а въ язычество, съ кровавыми жертвоприношеніями пѣтуховъ и барановъ на каменныхъ алтаряхъ, подъ священными березами. Съ другой стороны, священнослужители подвергались тѣлесному наказанію, между прочимъ, за неслуженіе молебствій въ „викторіальные“ дни: „и таковыхъ безстрашниковъ предписывается наказывать шелепами (родъ плети), безъ упущенія“. Приложенный предметный указатель во многомъ облегчаетъ пользованіе этимъ изданіемъ.

Суздаль, гр. Сергія Шереметева. Спб. 1891. Стр. 27.

Этотъ небольшой очеркъ явился результатомъ интересной археологической поѣздки, совершонной лѣтъ девять тому назадъ любителями и знатоками отечественныхъ древностей въ мѣстность, которая издалека кажется великолѣпнымъ городомъ, а по мѣрѣ приближенія оказывается—деревней. Таковъ древній „Суждаль“ съ уцѣлѣвшими до сихъ поръ многочисленными колокольнями, башнями, шпилями церквей, и около всего этого разбросаны деревенскіе домики, лачужки, посреди пустырей и садиковъ. При изслѣдованіи замѣчательныхъ архитектурныхъ памятниковъ суздальской древности, путешественники встрѣтили остатки и древней юстиціи, а именно современные монастырскіе казематы съ узниками, числомъ до 10, которыхъ, какъ оказалось, „содержали по напрасну“, а потому, вѣроятно, благодаря ходатайству путешественниковъ, они были скоро освобождены.

Военная географія и статистика Македоніи и сосѣднихъ съ нею областей Балканскаго полуострова. Состав. болгар. ген. штаба капитанъ Бендеревъ. Спб. 90. Стр. 835. Съ картин.

Хотя въ нашей литературѣ имѣются сборники, обзоры и изслѣдованія по географіи и статистикѣ Македоніи и вообще Балканскаго полуострова, но трудъ г. Бендерева имѣетъ за собою всѣ преимущества полноты и—что самое важное—свѣжести данныхъ. Авторъ, повидимому, преслѣдуетъ спеціально военныя цѣли, но такъ какъ и для военныхъ цѣлей необходимо знакомство съ экономическими и культурными условіями страны, то у него можно найти всѣ необходимыя свѣдѣнія для знакомства съ современнымъ финансовымъ положеніемъ полуострова, его торговлею морскою и сухопутною, и даже учебнымъ дѣломъ. Оказывается, что по количеству училищъ и учащихся на Балканскомъ полуостровѣ первое мѣсто занимаютъ турки, такъ какъ между ними почти всѣ грамотные, потому что народное образованіе находится въ рукахъ мусульманскаго духовенства, но по той же причинѣ, при всей учености этого духовенства, населеніе остается умственно неразвитымъ. Между христіанскими народами болгары и греки занимаютъ первое мѣсто по числу учащихся (5% на 100), а Сербія—послѣднее (2%).

Повѣсти, сказки и разсказы Кота-Мурлыки. Т. V. Спб. 91. Стр. 335. Ц. 1 р. 75 к.

Въ настоящемъ выпускѣ собрано двѣнадцать разсказовъ самаго разнообразнаго содержанія, и, какъ то всегда бываетъ у Кота-Мурлыки, разсказы эти направлены то къ постановкѣ какого-нибудь общественнаго или философскаго вопроса, то къ попыткѣ рѣшить ту или другую задачу въ формѣ аллегоріи или чистой фантазіи. Такъ, весьма интересный психическій анализъ, встрѣчающійся въ разсказѣ „Шахта“, подводитъ читателя къ вопросу объ источникѣ „альтруизма“; повѣсть „Джемма“, съ чисто восточнымъ колоритомъ, заключается преніями выслушавшихъ разсказъ—о свободѣ воли. Съ выводами автора не всегда можно соглашаться,—впрочемъ, онъ никогда и не высказываетъ ихъ догматически,—тѣмъ не менѣе мастерство разсказчика дѣлаетъ чтеніе повѣстей Кота-Мурлыки увлекательнымъ и интереснымъ.

Типическія черты мѣстнаго самоуправленія Англіи, Франціи и Пруссіи. Прив.-доц. М. И. Свѣшникова. Спб. 91. Стр. 16.

Авторъ останавливается на трехъ странахъ, представляющихъ собою три момента отношеній общества къ государству, и отсюда — три типа самоуправленія: центробѣжнаго, центростремительнаго и уравновѣшеннаго, какимъ является въ послѣднее время самоуправленіе въ Пруссіи. Главною своею задачею авторъ считаетъ установленіе эмпирическихъ, опытныхъ законовъ въ изслѣдуемой имъ области, которые могли бы послужить, по его мнѣнію, и въ смыслѣ поученія, и въ смыслѣ предостереженія; впрочемъ, чужой опытъ, какъ и чужое платье, часто имѣетъ одинъ недостатокъ—не всегда бываетъ въ пору.

Энциклопедическій Словарь, п. р. проф. И. Е. Андреевскаго. Т. II, А (Ауто-Банки). Издатели: Брокгаузъ и Ефронъ. Спб. 91. Стр. 479—954.

Настольный энциклопедическій Словарь. Объясненіе словъ по всѣмъ отраслямъ знанія. Вып. 10 (Барменъ-Беза). Изд. Гарбель и К°. Москва 91. Стр. 431—478. Ц. каждаго вып. 40 к.

Оба параллельно ведущіяся изданія отличаются не однимъ объемомъ — настольный словарь гораздо болѣе сжатъ, но зато и болѣе общедоступенъ; — въ послѣднемъ преобладаютъ портреты и виды мѣстностей, такъ что его можно было бы назвать иллюстрированнымъ, а первый снабженъ богато географическими картами и рисунками предметовъ изъ области опытныхъ наукъ и естествознанія.

„ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ"

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ ИСТОРІИ, ПОЛИТИКИ, ЛИТЕРАТУРЫ

— выходитъ въ первыхъ числахъ каждаго мѣсяца, 12 книгъ въ год
отъ 28 до 30 листовъ обыкновеннаго журнальнаго формата.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

	На годъ:	По полугодіямъ:		По четвертямъ года:			
		Январь	Іюль	Январь	Апрѣль	Іюль	Октя
Безъ доставки, въ Конторѣ журнала	15 р. 50 к.	7 р. 75 к.	7 р. 75 к.	3 р. 90 к.	3 р. 90 к.	3 р. 90 к.	3 р.
Въ Петербургѣ, съ доставкою	16 „ — „	8 „ — „	8 „ — „	4 „ — „	4 „ — „	4 „ — „	4 „ —
Въ Москвѣ и друг. городахъ, съ перес. . .	17 „ — „	9 „ — „	8 „ — „	5 „ — „	4 „ — „	4 „ — „	4 „ —
За границей, въ госуд. почтов. союза . .	19 „ — „	10 „ — „	9 „ — „	5 „ — „	5 „ — „	5 „ — „	4 „ —

Отдѣльная книга журнала, съ доставкою и пересылкою — 1 р. 50 к.

Примѣчаніе.— Вмѣсто разсрочки годовой подписки на журналъ, подписка по полу-
діямъ, въ январѣ и іюлѣ, и по четвертямъ года, въ январѣ, апрѣлѣ, і
и октябрѣ, принимается—**безъ повышенія годовой цѣны подписки.**

Съ перваго марта открывается подписка на вторую четверть 1891 года.

Книжные магазины, при годовой и полугодовой подпискѣ, пользуются обычною уступкою.

ПОДПИСКА принимается — въ *Петербургѣ:* 1) въ Конторѣ журнала, на В
Остр., 5 лин., 28; и 2) въ ея Отдѣленіяхъ, при книжн. магаз. К. Риккера, на Нев
просп., 14; А. Ф. Цинзерлинга, Невскій просп., 20, у Полицейскаго мо
(бывшій Мелье и К°), и Н. Фену и К°, Невскій просп., 42;—въ *Москвѣ:* 1)
книжн. магаз. Н. И. Мамонтова, на Кузнецкомъ Мосту; Н. П. Карбасник
на Моховой, домъ Коха, и 2) въ Конторѣ Н. Печковской, Петровскія линіи
Иногородные и *иностранные*—обращаются: 1) по почтѣ, въ Редакцію журна
Спб., Галерная, 20; и 2) лично—въ Контору журнала.—Тамъ же принимаю

ИЗВѢЩЕНІЯ и ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Примѣчаніе.—1) *Почтовый адрессъ* долженъ заключать въ себѣ: имя, отчество, фами
съ точнымъ обозначеніемъ губерніи, уѣзда и мѣстожительства, и съ названіемъ ближайшаго къ н
почтоваго учрежденія, гдѣ (NB) *допускается* выдача журналовъ, если нѣтъ такого учрежденія
самомъ мѣстожительствѣ подписчика. — 2) *Перемѣна адресса* должна быть сообщена Конт
журнала своевременно, съ указаніемъ прежняго адресса, при чемъ городскіе подписчики, пере
въ иногородные, доплачиваютъ 1 руб. 50 коп., а иногородные, переходя въ городскіе—40 ко
3) *Жалобы* на неисправность доставки доставляются исключительно въ Редакцію журнала,
подписка была сдѣлана въ вышепоименованныхъ мѣстахъ, и, согласно объявленію отъ Почто
Департамента, *не позже* какъ по полученіи слѣдующей книги журнала.—4) *Билеты* на получ
журнала высылаются Конторою только тѣмъ изъ иногородныхъ или иностранныхъ подписчико
которые приложатъ къ подписной суммѣ 14 коп. почтовыми марками.

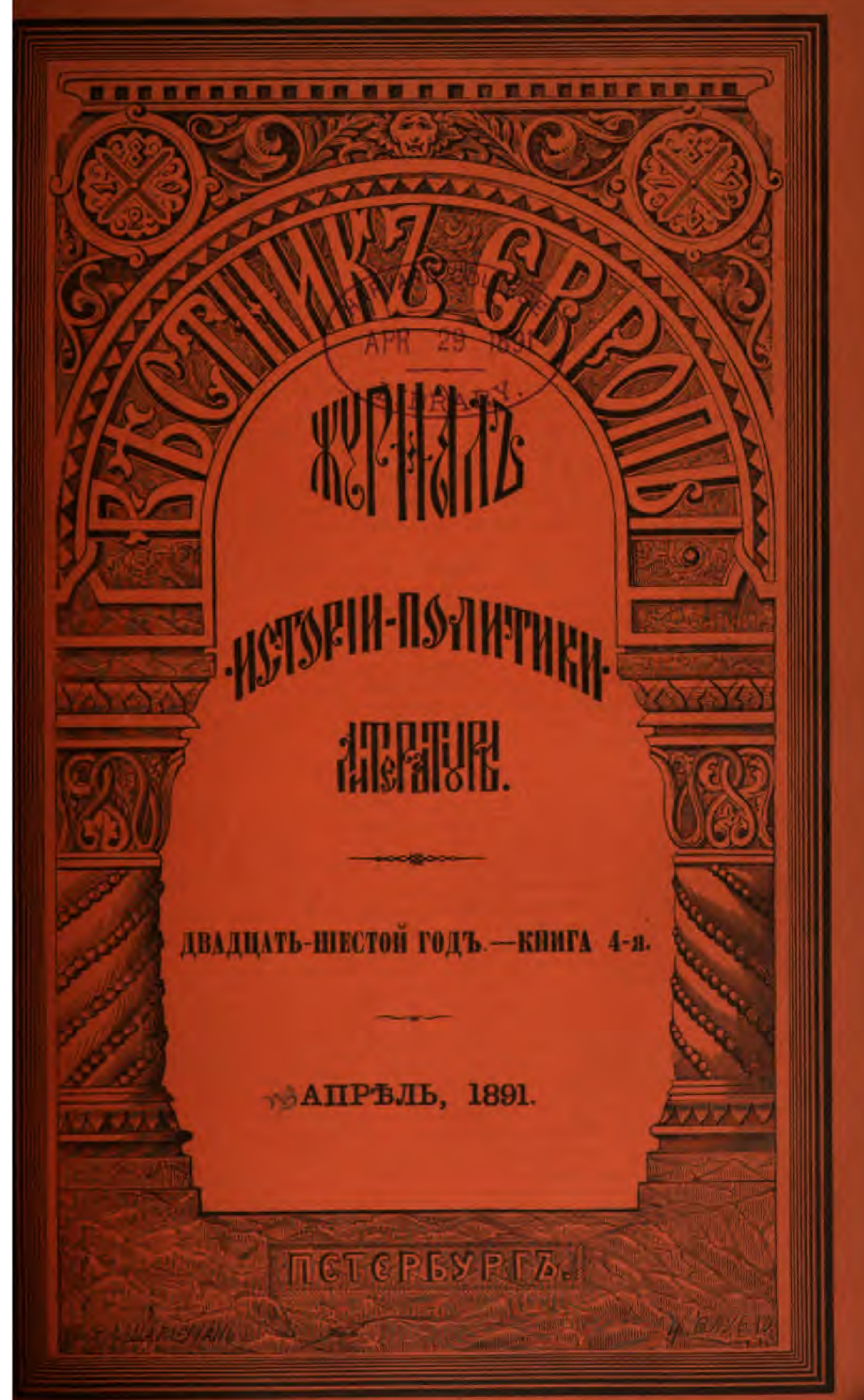
Издатель и отвѣтственный редакторъ: **М. М. Стасюлевичъ.**

РЕДАКЦІЯ „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ":
Спб., Галерная, 20.

ГЛАВНАЯ КОНТОРА ЖУРНАЛА:
Вас. Остр., 5 л., 28.

ЭКСПЕДИЦІЯ ЖУРНАЛА:
Вас. Остр., Академ. пер., 7.

КАТАЛОГЪ „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ" за 25 лѣтъ: 1866—90 г
съ алфавитнымъ Указателемъ именъ авторовъ. Спб. 1891 г. Цѣна 1
съ пересылкою.



APR 29 1891
LIBRARY

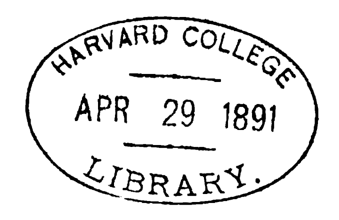
Типографія М. М. Стасюлевича, В. О., 5 лин., 28.

ИСТОРІЯ, БІОГРАФІЯ, МЕМУАРЫ, ПЕРЕПИСКА, ПУТЕШЕСТВІЯ, ПОЛИТИКА, ФИЛОСОФІЯ, ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВА.

КНИГА 4-я. — АПРѢЛЬ, 1891.

Подписка на годъ, полугодіе и четверть года въ 1891 г.

(См. подробное объявленіе о подпискѣ на послѣдней страницѣ обертки)



МОИ ВОСПОМИНАНІЯ

Посвящается моимъ ученикамъ и ученицамъ.

I *).

Окончивъ въ маѣ 1838 года университетскій курсъ кандидатомъ словеснаго отдѣленія философскаго факультета, я тотчасъ же, по рекомендаціи проф. И. И. Давыдова и инспектора студентовъ П. С. Нахимова, поступилъ домашнимъ учителемъ въ семейство гофмаршала барона Льва Карловича Бѳде. Такимъ образомъ, прямо изъ казеннокоштнаго „общежитія" и еще въ студенческомъ вицъ-мундирѣ переселился я въ подмосковное имѣніе барона, подольскаго уѣзда, въ село Покровское-Мещерское; туда уже прежде перебралось его семейство на лѣто съ московской квартиры, помѣщавшейся въ Кремлѣ, во второмъ кавалерскомъ корпусѣ, который теперь содержитъ въ себѣ Оружейную Палату.

На первыхъ же порахъ при моемъ вступленіи на поприще новой жизни выпала мнѣ счастливая доля снискать благосклонное вниманіе и затѣмъ въ теченіе цѣлаго полустолѣтія упрочить за собою дружеское расположеніе одной изъ образованнѣйшихъ и почетныхъ фамилій русскаго дворянства. По самому происхожд… и по семейнымъ преданіямъ, въ высокихъ ея качествахъ

*) Часть „Воспоминаній" Ѳ. И. Буслаева, обнявшая собою эпоху дѣтства и ш… (1818—1838 г.), напечатана въ прошедшемъ году (окт., 645; нояб., 5; дек., 5…). Въ 1838 г., болѣе полустолѣтія тому назадъ, авторъ вступилъ 20-лѣтнимъ юно… въ жизнь, и новая часть воспоминаній открывается именно первыми его ша… г… этой жизни.—*Ред.*

неразрывно сочетались привѣтливая сановитость и феодальныя доблести непоколебимаго легитимизма съ величавою простотою, благодушіемъ и строгою набожностью стариннаго боярскаго рода, который въ свою лѣтопись, по женской линіи, внесъ житіе святого мученика Филиппа митрополита, пострадавшаго отъ царя Іоанна Грознаго.

Бароны Боде—происхожденія французскаго. Въ XIV вѣкѣ у нихъ были имѣнія въ провинціи Турени. Гонимые, какъ гугеноты, они перешли въ Германію и поселились въ городѣ Ахенѣ, имѣли владѣнія на Рейнѣ и впослѣдствіи были признаны членами франконскаго округа Стейгервальдъ и утверждены императоромъ Карломъ VI въ древнемъ дворянствѣ и баронскомъ достоинствѣ. Французская революція конца прошлаго столѣтія застаетъ родителей барона Льва Карловича уже въ Эльзасѣ, въ ихъ ленномъ имѣніи, въ городѣ Сульцъ-су-Форè. Его отцу грозила гильотина, и когда жандармы сыскной полиціи ворвались къ нему въ домъ, онъ успѣлъ отъ нихъ скрыться черезъ задній дворъ и садъ. Жену его и малолѣтнихъ дѣтей они не тронули и пустились въ погоню за бѣглецомъ. Но все обошлось благополучно, и баронъ съ своимъ семействомъ успѣлъ эмигрировать въ Россію. Императрица Екатерина II приняла его благосклонно и пожаловала ему имѣніе въ 12.000 десятинъ въ херсонской губерніи, именуемое Крамеровы Балки, и другое—въ Крыму.

Въ 1815 г. баронъ Левъ Карловичъ женился на Натальѣ Ѳедоровнѣ Колычевой, изъ того стариннаго боярскаго рода, о которомъ сказано выше. Я засталъ еще въ живыхъ ея мать, Анну Никитишну, милую старушку, и пользовался отъ нихъ обѣихъ привѣтомъ и ласкою.

Когда я водворился въ семействѣ Льва Карловича и Натальи Ѳедоровны, у нихъ было два сына, Левъ и Михаилъ, и шесть дочерей: Анна, Наталья, Марья, Екатерина, Елена и Александра. Изъ нихъ двое тогда отсутствовали: старшій сынъ Левъ Львовичъ служилъ въ лейбъ-гвардіи, а старшая дочь Анна Львовна находилась въ Зимнемъ дворцѣ фрейлиною при особѣ императрицы Александры Ѳедоровны, которая ее очень любила.

Мои воспоминанія объ этой безподобной фамиліи, разсѣянныя на разстояніи, какъ я уже сказалъ, цѣлаго полустолѣтія, сливающіяся и перепутанныя со множествомъ другихъ, всякій разъ, какъ только я вызываю ихъ передъ собою, высвобождаются изъ рамокъ хронологическаго порядка и сами собою сосредоточиваются на отдѣльныхъ лицахъ, которыя, по принимаемому мною участію, представляются мнѣ раздѣленными на группы. Такихъ группъ

всего три. Одну составляетъ самое младшее поколѣніе: Александра Львовна, десяти лѣтъ, и Елена Львовна, двѣнадцати; другую— старшія ихъ сестры, мнѣ ровесницы: Наталья Львовна, годомъ старше меня, Марія Львовна, моихъ лѣтъ, и Екатерина Львовна, годомъ моложе меня. Въ центрѣ третьей группы возникаетъ передо мною величавый и прекрасный образъ Михаила Львовича, возлюбленнаго моего ученика и неизмѣннаго друга до самой его кончины, послѣдовавшей въ 1888 г. Имъ я начну, имъ же заключу мои воспоминанія о фамиліи барона Льва Карловича, а тѣ двѣ группы внесу въ нихъ, какъ эпизоды.

И всѣ-то названныя мною особы, дорогія моей памяти, отошли въ вѣчность! Осталась въ живыхъ только Анна Львовна, самая старшая изъ своихъ сестеръ и братьевъ, давно уже вдовствующая княгиня Долгорукова. Отъ своего брата наслѣдовала она дружеское ко мнѣ расположеніе, а отъ сестеръ, незабвенныхъ моихъ ученицъ—тѣ симпатіи, которыми отвѣчали онѣ на преданность и усердіе ихъ наставника.

Баронъ Левъ Карловичъ пригласилъ меня въ свой домъ собственно для того, чтобы въ теченіе года приготовить четырнадцатилѣтняго сына его Михаила Львовича въ старшій классъ пажескаго корпуса, а двухъ младшихъ дочерей учить русскому языку.

Мнѣ предоставлялось давать уроки Михаилу Львовичу изъ русской грамматики, исторіи и словесности по моему собственному разумѣнію, потому что никакой учебной программы у насъ не было, да и никто о ней не заботился, а я и подавно. Въ пензенской гимназіи мы пробавлялись, какъ вы уже знаете, самоучкою, безъ всякаго порядка и системы. Мои жалкія педагогическія попытки въ студенческіе годы были не настоящимъ дѣломъ, а плохою подѣлкою, не пробою пера, а каракулями. Теперь приходилось самому, безъ посторонней помощи и безъ всякихъ пособій, производить первый настоящій опытъ на учительскомъ поприщѣ съ отвѣтственностью экзамена моему ученику. Всю надежду возлагалъ я на свѣденія, вынесенныя мною изъ университета. Правда, мои практическія, письменныя работы по грамматикѣ на послѣднемъ курсѣ, у Шевырева и Давыдова, давали для моего опыта матеріалъ подходящій, но уже слишкомъ громоздкій и широко разбросанный; изъ него можно было кое-что извлекать, но какъ и въ какой мѣрѣ—я не могъ сообразить. По русской исторіи лекціи Погодина для моихъ уроковъ не годились, а курсъ исторіи русской литературы, читанный намъ Шевыревымъ, былъ недоступенъ ни разумѣнію, ни интересамъ моего ученика, столько же, какъ и теорія словесности Давыдова съ ея

философскими обобщеніями и обременительными подробностями о родахъ и видахъ поэтическихъ и прозаическихъ произведеній. Больше годился для моей цѣли выше объясненный мною приготовительный курсъ Шевырева о языкѣ и слогѣ; но для школьнаго обученія этотъ предметъ надобно было высвободить изъ рамокъ систематической теоріи и дать ему практическое примѣненіе на чтеніи литературныхъ произведеній и въ письменныхъ упражненіяхъ. А между тѣмъ никакихъ учебниковъ у насъ подъ руками не было, да, сверхъ того, мой смѣтливый, проницательный и необыкновенно даровитый ученикъ, но рѣзвый, живой и нетерпѣливый, питалъ рѣшительное отвращеніе къ голословнымъ предписаніямъ грамматики Востокова и риторики Кошанскаго.

Замѣчу мимоходомъ, что всѣ эти затрудненія, встрѣтившія меня при самомъ вступленіи на педагогическое поприще, тогда уже залегли глубоко въ моей душѣ и не переставали занимать меня до тѣхъ поръ, пока въ 1844 г. я не разрѣшилъ ихъ себѣ, какъ умѣлъ и могъ, въ изслѣдованіи: „О преподаваніи отечественнаго языка".

Михаилъ Львовичъ былъ только шестью годами моложе меня, да и самъ я, безбородый юноша, всего двадцати лѣтъ, по возрасту и развитію подходилъ къ нему, не какъ учитель къ ученику, а какъ старшій товарищъ къ младшему, который довѣрчиво и усердно пользуется его совѣтами и наставленіями. Такія отношенія установились между нами очень скоро, еще въ Мещерскомъ (такъ говорилось вмѣсто Покровскаго-Мещерскаго).

Я по себѣ хорошо зналъ, сколько по доброй волѣ можетъ сдѣлать для своего умственнаго образованія четырнадцатилѣтній мальчикъ, и въ дарованіяхъ своего ученика видѣлъ залогъ его будущихъ успѣховъ, на которые я тѣмъ надежнѣе разсчитывалъ, что легко и скоро замѣтилъ въ его откровенномъ и простодушномъ характерѣ способность энергически стремиться къ достиженію предположенной цѣли и упорно домогаться исполненія своихъ желаній. Въ то время, при моей неопытной молодости, конечно, я не могъ такъ ясно и точно сознавать всѣ эти соображенія, какъ теперь излагаю ихъ вамъ; однако и тогда былъ я уже настолько развитъ, что могъ, хотя и смутно, но живо ихъ почувствовать, какъ бы по инстинкту оберегая себя въ совершенно новомъ для меня, въ небываломъ положеніи.

Прежде всего мнѣ надлежало воспитать въ моемъ ученикѣ охоту къ серьезнымъ занятіямъ и пробудить любовь къ наукѣ, пользуясь его живою воспріимчивостью и пытливымъ умомъ, но такъ, чтобы съ перваго же разу не причинить ни малѣйшаго

насилія этимъ способностямъ скукою и черезъ-чуръ напряженнымъ трудомъ, какъ это обыкновенно бываетъ съ начинающими учиться, когда насильно таскаютъ ихъ по томительнымъ мытарствамъ элементарнаго учебника. Оставивъ теорію въ сторонѣ, я избралъ методъ практическій, и тѣмъ болѣе потому, что онъ вполнѣ согласовался съ предметами моихъ уроковъ, съ роднымъ языкомъ и отечественною исторіею, которая въ общихъ чертахъ была уже нѣсколько знакома Михаилу Львовичу. Сверхъ того, онъ уже не только умѣлъ разбирать церковную грамоту, но и достаточно понималъ церковно-славянскій языкъ, потому что въ набожной фамиліи барона Льва Карловича священное писаніе и богослужебныя книги далеко не были въ забросѣ, какъ бываютъ они у другихъ сплошь да рядомъ. Проживая лѣтомъ въ Мещерскомъ, его старшія дочери, владѣя хорошими голосами, любили пѣть на клиросѣ, а для басовъ и теноровъ пріѣзжали изъ ближайшаго сосѣдства молодые князья Оболенскіе. Когда подросла Елена Львовна, у нея оказался великолѣпный контральто, который могъ бы произвести эффектъ на любомъ концертѣ. Иногда и звонкій дискантъ Михаила Львовича раздавался въ этомъ семейномъ хорѣ. Кто-нибудь изъ пѣвцовъ за церковной службой читалъ Апостола, а Екатерина Львовна—шестопсалміе.

Положивъ въ основу нашихъ занятій чтеніе и разсказъ или письменное изложеніе прочитаннаго, я соединилъ вмѣстѣ уроки исторіи съ изученіемъ языка, слога и литературы, разумѣется, придерживаясь для себя нѣкоторой системы въ постепенномъ ознакомленіи моего ученика съ каждымъ изъ этихъ разнородныхъ предметовъ и не обременяя его вниманія излишними подробностями. Впрочемъ онъ самъ помогалъ мнѣ въ этомъ дѣлѣ, облегчая его, а часто и направляя своими пытливыми вопросами, и такимъ образомъ наше, такъ сказать, толковое чтеніе иногда незамѣтно переходило въ серьезную бесѣду о какой-нибудь вычитанной нами подробности. Чтобы неослабно поддерживать и возбуждать его любознательность, я долженъ былъ сколько возможно дѣлать свои уроки ему пріятными, и для этой цѣли я ничего лучше не умѣлъ придумать, какъ занимательное и вмѣстѣ поучительное чтеніе; а когда онъ втянулся въ него и пріохотился, случалось, что въ выборѣ книгъ и статей я согласовался съ его желаніемъ.

Тогда я вовсе не зналъ, а по своему личному опыту въ пензенской гимназіи не могъ и предполагать, что обученіе, въ силу дисциплинарныхъ правилъ педагогіи, должно воспитывать въ учащихся навыкъ къ неукоснительному исполненію обязанностей и

къ выносливому терпѣнію, чтобы преодолѣть трудную работу. Вмѣсто того я избралъ путь занимательнаго препровожденія времени и достигъ преднамѣренной мною цѣли: Михаилъ Львовичъ полюбилъ науку и полюбилъ страстно со всѣмъ увлеченіемъ своего пылкаго темперамента и, какъ вы увидите, доказалъ это на дѣлѣ, занимаясь въ теченіе всей своей жизни собираніемъ, приведеніемъ въ порядокъ, изученіемъ и научною обработкою письменныхъ источниковъ русской старины и даже художественною реставраціею ея иконописныхъ и монументальныхъ памятниковъ.

А надобно вамъ знать, что послѣ кратковременнаго пребыванія въ старшихъ классахъ пажескаго корпуса Михаилъ Львовичъ болѣе нигдѣ уже не учился и постоянно до самой своей кончины говаривалъ, что всѣмъ своимъ научнымъ образованіемъ онъ обязанъ одному мнѣ; я же съ своей стороны скажу вамъ, что по времени это былъ первый настоящій мой ученикъ и одинъ изъ самыхъ преданнѣйшихъ.

Однако я долженъ вамъ разсказать, сколько могу припомнить о томъ, въ чемъ именно состояли наши учебныя занятія, какъ въ урокахъ, такъ и въ свободное отъ нихъ время. Главнымъ источникомъ и пособіемъ для насъ была многотомная исторія Карамзина, изъ которой, не всегда придерживаясь хронологическаго порядка, но руководствуясь своими соображеніями, я выбиралъ наиболѣе интересные эпизоды не только государственнаго и вообще политическаго содержанія, но и особенно бытового, изъ частной семейной жизни нашихъ предковъ и всенародной, гражданской и церковной. Карамзинъ же давалъ намъ и точки отправленія для исторіи нашей древней литературы въ своемъ мастерскомъ переложеніи письменныхъ ея памятниковъ и въ обширныхъ примѣчаніяхъ, гдѣ приводилъ онъ ихъ въ оригиналѣ. Такимъ образомъ отъ Исторіи государства россійскаго мы незамѣтно переходили къ чтенію выдержекъ—изъ лѣтописи Нестора по изданію Тимковскаго, изъ Кіево-Печерскаго Патерика, изъ древнихъ русскихъ стихотвореній или былинъ Кирши Данилова. Изъ новой литературы интересовали Михаила Львовича особенно: Загоскина—„Юрій Милославскій", и Пушкина—„Борисъ Годуновъ" и „Капитанская дочка".

Пытливая любознательность моего ученика, воспламененная разнообразнымъ чтеніемъ, по стремительной живости его характера, не знала удержа и увлекала его изъ тѣсныхъ предѣловъ отмѣреннаго часами урока. Онъ забѣгалъ въ мою комнатку, лѣтомъ въ деревенскомъ флигелѣ, направо отъ большого дома, а зимою въ верхнемъ этажѣ дворцоваго корпуса, и когда за-

ставалъ меня за книгою—непремѣнно хотѣлъ знать, что такое я читаю, и я долженъ былъ подробно разсказать, что въ этой книгѣ содержится и почему и для чего она интересуетъ меня, а онъ не перестаетъ спрашивать и допрашивать, вставляя свои замѣчанія и недоразумѣнія; между нами завязывается оживленная бесѣда, и учитель съ ученикомъ превращаются въ двухъ школьныхъ товарищей, которые иной разъ наперерывъ состязаются въ разрѣшеніи мудреныхъ, хотя бы и непосильныхъ для нихъ, задачъ науки и жизни.

Этимъ немногимъ ограничиваю я свои воспоминанія о годахъ ученія Михаила Львовича. Я былъ бы очень радъ, еслибы въ этомъ любознательномъ четырнадцатилѣтнемъ мальчикѣ вы могли признать моего двойника изъ той далекой поры, когда я преуспѣвалъ въ пензенской гимназіи по методу взаимнаго обученія, когда съ моей матушкой читалъ разныя книги, а съ Михаиломъ Осиповичемъ Орловымъ велъ философскія бесѣды на латинскомъ языкѣ.

Теперь перехожу къ моимъ ученицамъ и именно къ первой, или младшей группѣ, т.-е. къ Александрѣ Львовнѣ и Еленѣ Львовнѣ. Обѣ онѣ были прехорошенькія, но каждая въ своемъ родѣ. Первая была миніатюрная десятилѣтняя дѣвочка, настоящая игрушка высокой нюрнбергской работы, рѣзвая и живая, какъ ртуть; бывало, она не ходитъ, какъ ходятъ другіе, твердо ступая на всю ногу, а какъ-то граціозно прыгаетъ на цыпочкахъ и перепархиваетъ съ мѣста на мѣсто и изъ одной комнаты въ другую. Бѣленькая и нѣжная до прозрачности, вся она будто соткана была изъ радостей и веселія, которое то-и-дѣло выступало наружу то мимолетной улыбкой, то полусдержаннымъ смѣхомъ, а то и цѣлымъ взрывомъ задушевнаго хохота. Прозрачную ясность своей души и быстроту мыслей и тѣлодвиженій и этотъ беззаботный хохотъ сберегла она въ себѣ и въ старости до самой смерти. Елена Львовна, двумя годами старше своей маленькой сестры, была привлекательна и мила въ другомъ родѣ. Значительно выше ея и полнѣе, она отличалась плавностью въ движеніяхъ и деликатною сдержанностью въ обращеніи. Во всей ея натурѣ чувствовалось что-то спокойное, ровное и неизмѣнное, какое-то въ себѣ сосредоточенное, такъ сказать, лѣнивое самодовольство, которое придаетъ обаятельную прелесть хорошенькой женщинѣ. Современемъ эти достоинства завершились новою прелестью, когда она пѣла своимъ безподобнымъ, задушевнымъ контральто. Лицомъ она больше другихъ сестеръ была похожа на Михаила Львовича, а спокойною сосредоточенностью—на Наталью Львовну.

Обѣ эти ученицы мои были очень понятливы и достаточно прилежны; заниматься съ ними мнѣ было пріятно, а благодаря внезапнымъ вспышкамъ забавной хохотуньи, даже и весело, но гораздо труднѣе, нежели съ Михаиломъ Львовичемъ. Тутъ долженъ я былъ вести свое дѣло въ строгой системѣ постепеннаго преподаванія, чтобы предложить имъ ясное понятіе объ основныхъ началахъ грамматики въ той мѣрѣ, сколько это требуется для вразумительнаго разбора отдѣльныхъ словъ и предложеній при чтеніи и вмѣстѣ съ тѣмъ для правописанія. Хотя старшая изъ моихъ ученицъ нѣсколько опередила свою сестру въ элементарныхъ свѣденіяхъ по русской грамматикѣ, но она знала кое-что только изъ этимологіи, а я, по принятому мною уже и тогда новому методу, началъ съ ними обученіе грамматики синтаксическимъ разборомъ предложенія—и на цѣльной его канвѣ, съ подлежащимъ, сказуемымъ, съ словами опредѣлительными, дополнительными и обстоятельственными, располагалъ отдѣльныя части рѣчи съ ихъ измѣненіями въ склоненіяхъ и спряженіяхъ. Такимъ образомъ я уравнялъ учебные интересы обѣихъ сестеръ, и мои уроки были новостью одинаково для той и другой. Разумѣется, и съ ними, также какъ и съ Михаиломъ Львовичемъ, я принялъ методъ практическій—на чтеніи и письменныхъ упражненіяхъ, состоявшихъ въ диктантѣ и списываніи съ печатнаго. Не помню, съ чего я началъ наше толковое чтеніе, вѣроятно съ отдѣльныхъ предложеній и періодовъ, но очень скоро приступилъ къ баснямъ Крылова и къ сказкѣ Пушкина: „О рыбакѣ и рыбкѣ", грамматическій разборъ которой впослѣдствіи я съ пользою употреблялъ въ первомъ классѣ третьей московской гимназіи, а потомъ въ 1844 г. и напечаталъ въ моемъ сочиненіи: „О преподаваніи отечественнаго языка".

Въ нашихъ урокахъ мало-по-малу водворился нѣкоторый порядокъ школьной дисциплины, благодаря вліянію старшей сестры на младшую не только примѣромъ, но и внушеніями—то тихонько произнесеннымъ словомъ, то взглядомъ, то какимъ-нибудь жестомъ. Укрощенію необузданной, безпричинной веселости Александры Львовны способствовалъ и самый методъ преподаванія, требовавшій, чтобы мои ученицы постоянно упражнялись практически, то на чтеніи, то въ диктантѣ. Когда Александра Львовна во время урока что-нибудь читала вслухъ, или что̀ писала, она до извѣстной степени сосредоточивала свое вниманіе на этихъ занятіяхъ и такимъ образомъ лишала себя возможности смѣхотворно наблюдать окружающіе ее предметы; но и тутъ выпадало не мало случаевъ къ мгновеннымъ взрывамъ ея веселости: ну,

какъ же не росхохотаться, въ самомъ дѣлѣ, до слезъ, когда въ баснѣ Крылова обезьяна надѣваетъ себѣ на носъ очки, или когда въ диктантѣ вмѣсто надлежащаго слова очутится у нея сама собою такая безсмысленная чепуха, что и не придумаешь, какъ она туда попала!

Вы, можетъ быть, удивитесь, если я скажу вамъ, что эта добродушная и простосердечная смѣшливость моей маленькой ученицы принесла лично мнѣ много пользы. Перенесенный такъ внезапно, будто по щучьему велѣнію, изъ разнокалибернаго товарищества казеннокоштныхъ нумеровъ въ аристократическую семью, живо почувствовалъ я угловатую неуклюжесть своихъ бурлацкихъ манеръ, которыя на каждомъ шагу могли бы нарушать условныя правила свѣтскихъ приличій и благовоспитанности, еслибы я не держалъ себя на-сторожѣ. Самолюбіе не позволяло мнѣ рѣзко отличаться доморощенными привычками въ этой новой средѣ, куда я попалъ, да и сознаніе собственнаго своего достоинства въ качествѣ наставника обязывало меня во всемъ до послѣдней мелочи держать себя такъ, какъ поступаютъ и ведутъ себя другіе. Въ этихъ опытахъ самовоспитанія я не встрѣчалъ себѣ никакихъ затрудненій или непріятностей, благодаря безукоризненно вѣжливой и деликатной снисходительности и привѣтливому вниманію барона Льва Карловича и баронессы Натальи Ѳедоровны со всѣми дѣтьми ихъ. Разумѣется, могли быть съ моей стороны нѣкоторые недосмотры въ соблюденіи кое-какихъ мелочей въ общепринятыхъ манерахъ и привычкахъ, и вотъ въ такихъ-то случаяхъ веселыя вспышки Александры Львовны были для меня настоящимъ кладомъ. Какъ иной разъ взглянетъ она на меня и если захихикаетъ и сдѣлаетъ насмѣшливую гримаску, я тотчасъ же проэкзаменую себя, не растрепались ли у меня на головѣ волосы, или не съѣхалъ ли на сторону мой галстухъ.

Вскорѣ по переѣздѣ фамиліи барона Льва Карловича изъ Мещерскаго въ московскій Кремль, къ двумъ моимъ ученицамъ присоединилась и третья. Эта была Анна Петровна Колычева, ихъ троюродная сестра, круглая сирота, немедленно по смерти отца привезенная къ намъ изъ ея наслѣдственнаго имѣнія,—не помню, какой губерніи,—по завѣщанію ея отца, подъ опеку и на попеченіе ея тетки, баронессы Натальи Ѳедоровны. Это была тринадцатилѣтняя дѣвочка, ростомъ съ Елену Львовну, но казалась выше по своей худобѣ; довольно красивыя черты лица ея оттѣнялись строгостью выраженія и недоумѣлымъ, какъ бы растеряннымъ взглядомъ, который не смѣетъ или не хочетъ на чемъ-нибудь остановиться, чтобы не застигли его врасплохъ. Съ

перваго же разу эта особа, выходящая изъ ряду вонъ, произвела на меня и потомъ всегда производила сильное впечатлѣніе какой-то замкнутой въ себѣ самой сосредоточенности, оторопѣлой опасливости, недоступнаго отчужденія. Нѣтъ сомнѣнія, что отдѣльныя черты этой характеристики сложились въ цѣльное представленіе не вдругъ, а послѣдовательно налагались одна на другую въ теченіе долгихъ лѣтъ, пока, наконецъ, не получили въ моей памяти настоящую свою форму какъ бы въ изваянномъ образѣ безутѣшной скорби и окаменѣлаго отчаянія.

Само собою разумѣется, что въ благодушномъ семействѣ барона Льва Карловича Анна Петровна нашла себѣ вполнѣ родной пріютъ, и чѣмъ трогательнѣе было ея сиротствующее положеніе, тѣмъ сердечнѣе и нѣжнѣе о ней заботились, тѣмъ предупредительнѣе отзывались на ея желанія и намѣренія. Ей хорошо было, какъ у себя дома, въ деревнѣ; она скоро это почувствовала и стала развязнѣе, повеселѣла и прояснилась.

Когда въ 1841 г., послѣ двухлѣтняго пребыванія за границею, воротился я въ Москву, я засталъ двухъ старшихъ моихъ ученицъ уже взрослыми дѣвицами. Въ 1842 г. Анна Петровна вышла замужъ за барона Льва Львовича, старшаго брата моего ученика. Недолго спустя вышла замужъ и Елена Львовна за Андрея Ильича Баратынскаго, приходившагося племянникомъ извѣстному поэту. Жила она очень счастливо со своимъ мужемъ въ его имѣніи гдѣ-то далеко отъ Москвы на югъ. Оба страстно любили музыку. Она, какъ вы уже знаете, пѣла своимъ восхитительнымъ контральто; онъ мастерски игралъ на скрипкѣ. По вечерамъ съѣзжались къ нимъ изъ сосѣдства аматеры; тогда устроивались квартеты для музыки и дуэты или тріо для пѣнья. Елена Львовна скончалась въ 1862 г., всего тридцати-шести лѣтъ, въ полномъ цвѣтѣ красоты и здоровья, оставивъ по себѣ троихъ сыновей и четырехъ дочерей. Ея мужъ, доживая свой вѣкъ въ томъ же имѣніи, померъ въ концѣ восьмидесятыхъ годовъ.

Александра Львовна послѣ этихъ обѣихъ моихъ ученицъ вышла замужъ за князя Оболенскаго, одного изъ тѣхъ молодыхъ людей, которые, помните, пріѣзжали изъ близкаго сосѣдства въ церковь пѣть на клиросѣ въ хорѣ съ баронессами Боде. Дѣтей у нихъ не было.

Пока въ фамиліи барона Льва Карловича устроивались эти брачные союзы и выдѣлялись изъ нея новыя семьи съ нарождающимся юнымъ поколѣніемъ, мои сношенія съ нею на нѣсколько лѣтъ прекратились не по какимъ-либо недоразумѣніямъ, а такъ сами собой, частію вслѣдствіе размноженія ея вовсе незнакомою

мнѣ родней, а еще больше потому, что собственная моя жизнь, осложненная новыми интересами въ своей семьѣ, въ университетѣ на каѳедрѣ, а дома за учеными и литературными работами, далеко увлекла меня въ разныя стороны по другимъ теченіямъ, на которыхъ мнѣ уже не приходилось встрѣчаться ни съ кѣмъ изъ фамиліи барона Боде. Впрочемъ незабвенная для меня связь съ нею, скрѣпленная взаимною пріязнью, никогда не могла уже ослабнуть. Потому и въ этотъ долгій промежутокъ нашего ненамѣреннаго разобщенія выпадали рѣдкіе случаи, когда Михаилъ Львовичъ или кто-нибудь изъ его сестеръ напоминали мнѣ о себѣ своими ласковыми приглашеніями.

Такъ случилось и съ княгинею Александрою Львовною Оболенскою. Послѣ того, какъ она вышла замужъ, я не встрѣчался съ нею ни разу до шестидесятыхъ годовъ, когда, переселившись на нѣкоторое время изъ деревни въ Москву, квартировала она на Остоженкѣ въ большомъ деревянномъ домѣ съ колоннами, наискосокъ противъ коммерческаго училища (не тотъ ли это, въ которомъ нѣкогда жилъ Тургеневъ съ своею матерью?). Она встрѣтила меня радушно и дружелюбно, будто я только-что вчера давалъ ей урокъ вмѣстѣ съ ея сестрою Еленою Львовною, которой, увы, не было уже въ живыхъ; высказывала свое удовольствіе при свиданіи, говорила безъ умолку, не давая мнѣ промолвить ни слова, и улыбалась, и смѣялась, но не по прежнему. Въ выраженіи ея лица, въ быстрыхъ движеніяхъ, во всей ея фигурѣ чувствовалось что-то тягостное, удручающее, и улыбалась она невесело, будто насильно, и въ звукѣ ея смѣха слышалась какая-то разладица. Впрочемъ я уже предвидѣлъ это печальное превращеніе. Ея мужъ, совсѣмъ еще молодой, тридцати съ небольшимъ лѣтъ, былъ неизлечимо боленъ, хотя и не чувствовалъ никакого страданія: у него отнялись ноги и были лишены всякаго движенія. Спустя нѣкоторое время, его вывезли къ намъ въ комнату на низенькихъ креслахъ съ колесами. Весь сѣдой, онъ казался хилымъ и дряхлымъ, сидѣлъ сгорбившись и тяжело поднималъ и опускалъ свою голову, обращаясь ко мнѣ, когда я стоялъ около него и говорилъ съ нимъ.

Александра Львовна вызвала меня къ себѣ вотъ по какому дѣлу. Чтобы найти хотя бы нѣкоторое развлеченіе въ своемъ горестномъ положеніи, отвести душу и хоть минутно забыться, она, за неимѣніемъ своихъ дѣтей, рѣшилась посвятить себя воспитанію осиротѣлыхъ племянниковъ и племянницъ и заботамъ о нихъ. Я долженъ былъ дать ей совѣты и указанія и рекомендовать наставниковъ для малолѣтнихъ дѣтей Елены Львовны и

для двоюродной племянницы, Варвары Андреевны, дочери барона Андрея Андреевича Боде, приходившагося роднымъ племянникомъ барону Льву Карловичу по брату Андрею Карловичу.

Въ заключеніе, о первой, или младшей, группѣ моихъ учениць я долженъ сказать вамъ нѣсколько словъ о судьбѣ баронессы Анны Петровны. Она страстно любила своего мужа, но недолго наслаждалась счастіемъ: въ 1855 г., во время крымской войны, онъ скоропостижно скончался отъ заразительной горячки, свирѣпствовавшей въ отрядѣ ополченцевъ, которымъ командовалъ. Безутѣшная скорбь, смѣнившая тупое, окаменѣлое отчаяніе, навсегда охватила подавляющимъ гнетомъ ея нравственное бытіе. Зародыши замкнутаго въ себѣ отчужденія, которое такъ заинтересовало меня въ оригинальной дѣвочкѣ-сиротѣ, завершилось въ молодой, тридцатилѣтней вдовѣ самоотреченіемъ отъ всякихъ интересовъ жизни и упорнымъ разобщеніемъ съ людьми и міромъ. Свои радости и заботы, свои думы и мечты похоронила она въ могилѣ вмѣстѣ съ обожаемымъ мужемъ, и теперь ничего другого не осталось ей на землѣ, какъ скитаться съ своими малолѣтними дѣтьми по юдоли плача и проливать свои горькія слезы въ молитвахъ къ Богу, щедрою рукою жертвуя Ему на алтаряхъ монастырей и скитовъ всѣмъ, что̀ осталось у нея въ здѣшнемъ мірѣ,—не только своимъ громаднымъ состояніемъ, но даже и дѣтьми. Своего сына, уже зачисленнаго въ пажескій корпусъ, она отдала послушникомъ въ Оптину пустынь, а оттуда перевела, въ томъ же званіи, въ Задонскій монастырь; но по совершеннолѣтіи онъ поступилъ въ гусары. Старшую дочь, красавицу пятнадцати лѣтъ, отдала она въ Бородинскій дѣвичій монастырь, гдѣ и скончалась эта несчастная на двадцать-третьемъ году, будучи пострижена въ монахини. Послѣ многолѣтняго странствованія по монастырямъ, Анна Петровна пожелала, наконецъ, водвориться на покой въ своей собственной обители и построила себѣ въ землянскомъ уѣздѣ, воронежской губерніи, въ такъ называемой „Рай-Долинѣ" Знаменскій монастырь, гдѣ и скончалась монахинею въ тайномъ постриженіи, которое разрѣшаетъ монашествующимъ носить свѣтскую одежду.

Теперь перехожу ко второй, или старшей, группѣ дочерей барона Льва Карловича. Изъ нихъ только двѣ были моими ученицами: Екатерина Львовна и Наталья Львовна,—о нихъ и буду теперь говорить; что же касается до Марьи Львовны, то о ней скажу потомъ.

Мои занятія съ этими двумя особами относятся къ тому времени, когда послѣ двухлѣтняго пребыванія въ Италіи я воро-

тился въ 1841 г. въ Москву. Онѣ пожелали учиться итальянскому языку, и въ теченіе какихъ-нибудь трехъ мѣсяцевъ я довелъ ихъ до того, что онѣ стали свободно говорить со мною по-итальянски. Это собственно не были уроки, опредѣляемые извѣстными днями и срокомъ часовъ, потому что я не хотѣлъ, да и не могъ ставить себя въ ложное положеніе какими-либо обязательствами, сопряженными съ званіемъ учителя. Разъ или два въ недѣлю онѣ приглашали меня обѣдать въ семействѣ барона Льва Карловича, а до обѣда или послѣ обѣда я съ ними занимался итальянскимъ языкомъ. И сами онѣ не могли удѣлять мнѣ много времени, будучи стѣсняемы развлеченіями великосвѣтскаго общества на балахъ и раутахъ, въ которыхъ по своему высокому образованію, любезности и граціи составляли лучшее украшеніе. Екатерина Львовна славилась своею красотою и необыкновенной прелестью и изящной ловкостью въ танцахъ, особенно въ вальсѣ. Было признано всѣми, что лучше ея вальсировать уже невозможно, и самое имя ея въ краткой типической формѣ: „Кетти Боде“—разносилось и чествовалось въ аристократическомъ обществѣ не только Москвы, но и далеко за ея предѣлами.

Тогда я бредилъ Италіею временъ гвельфовъ и гибеллиновъ и весь погруженъ былъ въ таинственныя видѣнія Божественной Комедіи Данта. Мои ученицы, легко и скоро усвоивъ себѣ складъ итальянской рѣчи въ прозѣ Манцони и въ стихахъ Торквато Тасса и Петрарки, съ большимъ нетерпѣніемъ желали раздѣлить со мною мои восторги къ великому флорентійцу. Романтизмъ былъ тогда въ полномъ разгарѣ, и безотчетная сантиментальная мечтательность, теперь осмѣянная и заподозрѣнная въ искренности, была тогда господствующимъ настроеніемъ умовъ. Вся обстановка жизни, все ежедневное, съ его толкотнею и суматохою, съ такъ-называемою злобою дня, казалось пошлымъ и невзрачнымъ; надобно было зажмуривать глаза и затыкать уши, чтобы ничего повседневнаго не видѣть и не слышать; надобно было уноситься отъ всѣхъ этихъ дрязговъ въ необозримую даль прошедшаго и въ фантастическихъ потемкахъ средневѣковья искать свѣтлые идеалы своихъ тревожныхъ мечтаній. И вотъ, въ эту-то привольную, таинственную область и переселялъ я воображеніе моихъ ученицъ самымъ подробнымъ изученіемъ Божественной Комедіи, сколько тогда могъ и умѣлъ. Я былъ тогда твердо убѣжденъ, что дѣлаю самое лучшее, ибо я безусловно вѣровалъ въ свой девизъ, вычитанный мною у Августа Шлегеля, что „Дантъ есть отецъ романтизма“.

Мои ученицы имѣли подъ руками лучшее въ то время школьное изданіе этого произведенія, составленное итальянскимъ ученымъ Бьяджоли, а я пользовался большимъ изданіемъ въ пяти томахъ, извѣстнымъ подъ названіемъ „Минервы", по прозвищу типографіи, гдѣ было оно напечатано. Оно содержитъ въ себѣ обширныя выдержки изъ всевозможныхъ комментаріевъ Данта, отъ самыхъ раннихъ временъ и до двадцатыхъ годовъ нашего столѣтія. Вы не осудите меня за эти излишнія библіографическія подробности, когда узнаете, почему онѣ мнѣ дороги и милы. Досужіе дантовскіе уроки съ баронессами Боде были первою и довольно удачною пробою тѣхъ лекцій о Дантѣ, которыя потомъ, въ шестидесятыхъ годахъ, я читалъ студентамъ московскаго университета въ теченіе цѣлыхъ трехъ лѣтъ.

Серьезныя занятія моихъ ученицъ далеко не ограничивались этими уроками. Несмотря на развлеченія свѣтскихъ обязанностей, обѣ онѣ любили читать умныя и дѣльныя книги, иногда руководствуясь моимъ выборомъ и указаніемъ. Такъ прочли онѣ, напримѣръ, на итальянскомъ языкѣ автобіографію Альфіери и на французскомъ—Ріо объ умбрійской и другихъ древнѣйшихъ школахъ итальянской живописи.

Такимъ образомъ, благодаря неутомимой любознательности моихъ ученицъ, наши литературные досуги, сосредоточенные на Божественной Комедіи, мало-по-малу стали далеко расширяться въ своемъ объемѣ множествомъ интересовъ самаго разнообразнаго содержанія, которые приходилось обдумывать, взвѣшивать и рѣшать. Между нами сами собою завязывались оживленныя бесѣды, въ которыхъ мечтанія перепутывались съ условіями дѣйствительности и книжная ученость—съ настоятельными вопросами жизни. Далекое прошедшее сливалось для насъ съ настоящимъ и цѣликомъ вступало въ него, какъ необходимая перспектива въ ландшафтѣ.

Наши интересныя занятія и бесѣды продолжались не болѣе двухъ лѣтъ. Екатерина Львовна вышла замужъ за Олсуфьева, а вслѣдъ затѣмъ Наталья Львовна 30-го ноября 1843 г. внезапно скончалась, простудившись гдѣ-то на балѣ.

Вотъ вамъ нѣсколько строкъ объ этомъ прискорбномъ событіи изъ моей записной книжки. „Сегодня во второмъ часу умерла Наталья Львовна Боде. А все не вѣрится: странно читать на бумагѣ рядомъ съ ея именемъ: „умерла"! Послѣдній разъ, какъ я видѣлъ ее, сидѣлъ я съ нею довольно долго. Она разсказывала, какъ поѣдетъ въ Петербургъ, какъ дорогой будетъ

читать мою книгу „Жизнь Альфіери", какъ баронъ Моренгеймъ [1]) будетъ пересылать ей содержаніе публичныхъ лекцій Грановскаго. Когда она воротится, я обѣщалъ продолжать съ ней чтеніе Данта. Будто на смѣхъ человѣческой судьбѣ, все предсмертное свиданіе наше было посвящено мечтаніямъ и планамъ на будущее. Жизнь такъ и заманивала впередъ: казалось, еще такъ много остается доживать, додѣлывать начатое и предположенное. И смерть такъ внезапно пала на нее, что не знаешь, выполнять ли порученія живой, или исполнять завѣщаніе усопшей? Да упокоитъ Господь ея душу!"

Екатерина Львовна черезъ нѣсколько мѣсяцевъ по бракосочетаніи съ Олсуфьевымъ овдовѣла, а лѣтъ черезъ семь вышла замужъ за князя Вяземскаго. Скончалась сорока-восьми лѣтъ, еще въ полномъ цвѣтѣ своей неувядаемой красоты.

Теперь остается сказать нѣсколько словъ о третьей особѣ, которою дополняется группа старшихъ дочерей барона Льва Карловича. Марья Львовна была ростомъ мала и не въ мѣру съ большой головой, что нарушало пропорцію всей ея фигуры. Родись она въ другой семьѣ, которая не отличалась бы такой породистою красотой, она казалась бы вовсе не дурна собою, но въ сравненіи съ своими сестрами была некрасива. И наружностью, и талантами не походила она на нихъ, но такъ же, какъ онѣ, была добра, простодушна и мила. Казалось, ничто не занимало ее въ интересахъ окружавшаго ее міра; бывало, сидитъ гдѣ-нибудь въ сторонѣ отъ другихъ и молчитъ себѣ, пока кто не обратится къ ней съ вопросомъ; она коротко отвѣтитъ и смолкнетъ. Когда ея сестры другъ за дружкой выбывали изъ семьи,—которыя шли замужъ, а которыя и умирали,—она осталась одна-одинехонька при своихъ уже престарѣлыхъ родителяхъ, и тогда-то во всей силѣ обнаружились ея высокія достоинства глубоко-любящей и беззавѣтно-преданной дочери. Наконецъ померли и они. Тогда почувствовала она себя лишнею, чуждою между людьми и въ 1862 г. пошла въ московскій Вознесенскій монастырь, гдѣ потомъ и скончалась, нареченная въ монашествѣ Паисіею.

Не надобно смѣшивать Марью Львовну съ другою баронессою Боде, игуменьею московскаго Страстного монастыря, Валеріею, о которой много говорилось во время знаменитаго процесса игуменьи Митрофаніи, ея близкой пріятельницы. Вѣра Александровна,

---

[1]) Студентъ московскаго университета, въ настоящее время русскій посолъ во Франціи.

въ монашествѣ нареченная Валеріею, была дочь барона Александра Карловича, одного изъ братьевъ Льва Карловича, и приходилась двоюродною сестрою Марьѣ Львовнѣ.

Останавливаю ваше вниманіе на характеристической особенности этой оригинальной фамиліи бароновъ Боде. Вотъ уже четвертую монахиню называю я вамъ въ ея исторіи. Была еще и пятая, но уже не православнаго исповѣданія, а католическаго, игуменья какого-то монастыря невдалекѣ отъ Рейна, родная сестра барона Льва Карловича.

Возвращаюсь теперь къ Михаилу Львовичу. Наши сношенія возобновились, когда уже былъ онъ женатъ на Александрѣ Ивановнѣ Чертковой, которая по матери приходилась родною племянницею графу Сергію Григорьевичу Строганову, и такимъ образомъ дружественныя симпатіи къ моему дорогому ученику завершились его родствомъ съ этимъ во всѣхъ отношеніяхъ замѣчательнымъ человѣкомъ, которому я такъ много обязанъ моимъ умственнымъ и нравственнымъ образованіемъ и успѣхами въ жизни.

Въ то время Михаилъ Львовичъ уже предался тѣмъ историческимъ изслѣдованіямъ, которымъ посвятилъ остальныя двадцать-пять лѣтъ своей жизни. Онъ работалъ безъ устали, соединяя въ себѣ благоговѣйную любовь русскаго боярина къ родной старинѣ и преданіямъ съ упорною рѣшимостью феодальныхъ бароновъ въ неукоснительномъ преслѣдованіи принятыхъ мѣръ для достиженія назначенной цѣли. Онъ не разбрасывался по необозримому историческому поприщу событій и лицъ, не направлялъ своихъ поисковъ въ разныя стороны, а сосредоточился вокругъ себя, какъ рыцарь среднихъ вѣковъ въ своемъ замкѣ. Ему и въ голову не приходило выбирать себѣ изъ громадной массы историческихъ предметовъ какой-нибудь одинъ, болѣе излюбленный: онъ былъ данъ ему при рожденіи и унаслѣдованъ отъ предковъ. Это былъ боярскій родъ Колычевыхъ, родъ обожаемой его матери, и на прославленіе своихъ предковъ онъ чувствовалъ въ себѣ призваніе, какъ бы отъ нихъ самихъ ему завѣщанное.

Свое дѣло началъ онъ собираніемъ письменныхъ документовъ, изустныхъ преданій и вещественныхъ предметовъ повсюду, гдѣ только боярскій родъ Колычевыхъ, расплодившійся по семьямъ, могъ оставить по себѣ какіе-либо слѣды; затѣмъ собираемое приводилъ онъ въ порядокъ, раздѣлялъ на группы и составлялъ коллекціи. Когда же окончательно выяснились результаты его поисковъ и историческій матеріалъ былъ на-готовѣ, онъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ написалъ объемистую книгу и замыслилъ

дать ея содержанію наглядное и осязательное представленіе въ монументальной формѣ цѣлаго ряда сооруженій, построенныхъ имъ въ его подмосковномъ селѣ Лукинѣ, по смоленской желѣзной дорогѣ, невдалекѣ отъ станціи Одинцово. Въ прежнія времена, въ концѣ прошлаго столѣтія и въ началѣ нынѣшняго, русскіе помѣщики строили себѣ въ деревняхъ высокія палаты въ стилѣ позднѣйшихъ итальянскихъ виллъ и версальскаго дворца Людовика XIV; при этихъ палатахъ разводили сады съ аллеями изъ замысловато и на разный манеръ подстриженныхъ деревьевъ, съ затѣйливыми, въ стилѣ рококо, бесѣдками и павильонами, которымъ давались идиллическія прозвища эрмитажей, бельведеровъ, санъ-суси, монъ-репо, а изъ-подъ темно-зеленой листвы повсюду, куда ни взглянешь, бѣлыми пятнами вылѣзають на божій свѣтъ мраморные фавны и нимфы, аполлоны и музы, амуры и другіе обыватели классическаго Олимпа, искаженные тою вычурною, растрепанною манерностью, которую итальянцы называютъ „барокко“.

Михаилъ Львовичъ для своихъ строеній въ Лукинѣ избралъ рѣшительно другой стиль и такой именно, который вполнѣ согласовался съ его симпатіями, привычными воззрѣніями и съ основными идеями его историческихъ изслѣдованій. Онъ выросталъ въ московскомъ Кремлѣ, окруженный зданіями, въ которыхъ первенствующее мѣсто занимаютъ святыни византійско-русскаго зодчества. Въ юные годы онъ присматривался, какъ подъ завѣдываніемъ и наблюденіемъ его отца возобновлялись старинные царскіе „терема“ и сооружался Большой дворецъ. Примѣръ родителей и свѣтлыя воспоминанія дѣтства не минують въ жизни безслѣдно. Михаилъ Львовичъ основалъ себѣ въ Лукинѣ свой собственный кремль со стѣнами и башнями и такъ же, какъ въ московскомъ Кремлѣ, отдѣлилъ отъ другихъ зданій построенныя имъ церкви оградою. Главною идеею этого своеобразнаго архитектурнаго произведенія, сложеннаго изъ массы отдѣльныхъ сооруженій по всей усадьбѣ, было чествованіе предковъ и въ особенности изъ боярскаго рода Колычевыхъ, высшимъ представителемъ которыхъ выступаетъ въ сіяніи мученическаго вѣнца святитель Филиппъ, митрополитъ московскій.

Въ лукинскій кремль вступаютъ черезъ проѣзжую башню, надъ воротами которой устроены такъ-называемыя „боярскія палаты“, въ стилѣ московскихъ царскихъ теремовъ. Вмѣсто двора, передъ домомъ большой кругъ, густо обсаженный высокими деревьями; въ его центрѣ поднимается высокій каменный обелискъ, который весь испещренъ именами предковъ владѣльца усадьбы.

Самый домъ снаружи не представляетъ ничего особеннаго. Онъ двухъ-этажный, но большая зала, обращенная хозяевами въ гостиную, въ два яруса, и всѣ стѣны ея сверху до низу увѣшены въ нѣсколько рядовъ фамильными портретами. На правой его сторонѣ отъ фасада въ нижнемъ этажѣ кабинетъ и спальня Михаила Львовича, а въ верхнемъ—такъ-называемые „архіерейскіе покои", изящно и съ нѣкоторой роскошью убранные, и отдѣльно отъ нихъ „монашеская келья", въ скромномъ и убогомъ видѣ, соотвѣтствующемъ ея аскетическому назначенію, для пріѣзжихъ монаховъ или монахинь. Въ эти оба помѣщенія ведетъ стеклянная галерея, вдоль стѣнъ обнесенная аршина на полтора отъ помоста широкими полками, на которыхъ стоятъ въ гипсовыхъ копіяхъ бюсты античныхъ боговъ и героевъ, а также и кое-кого изъ историческихъ знаменитостей. Полки, перегороженныя въ два ряда досками, во множествѣ наполнены—къ услугамъ пріѣзжихъ—русскими періодическими изданіями, начиная отъ Россійской Вивліоѳики и до „Отечественныхъ Записокъ" и „Русскаго Вѣстника" позднѣйшихъ годовъ. Когда я гостилъ въ Лукинѣ, мнѣ отводились архіерейскіе покои.

По другую сторону домъ выходитъ въ садъ. Тотчасъ же налѣво за оградою поднимаются три церкви,—изъ нихъ главная святителя Филиппа; при ней, по древне-христіанскому обычаю, подземная крипта большихъ размѣровъ, назначенная для фамильной усыпальницы, съ надгробіями, передъ которыми теплятся лампады.

Какъ эти храмы, такъ и все остальное въ усадьбѣ Михаилъ Львовичъ строилъ и украшалъ по планамъ, чертежамъ и рисункамъ, которые составлялъ онъ самъ, и для точнѣйшаго выполненія своихъ предпріятій неутомимо слѣдилъ и наблюдалъ за работами каменьщиковъ, плотниковъ и разныхъ мастеровъ. Онъ обладалъ разборчивымъ, тонкимъ вкусомъ и былъ опытный знатокъ византійско-русской иконописи и старинной орнаментики.

За садомъ простирается старательно расчищенный паркъ. Узкая дорога между двумя огромными прудами ведетъ въ дубовую рощу, которую особенно любилъ и холилъ Михаилъ Львовичъ, а за ней подъ сквознымъ пологомъ высокихъ сосенъ виднѣется каменная часовня святителя Филиппа, въ которой совершается молебствіе въ день памяти этого угодника. Слѣдуя далѣе въ правую сторону, достигаемъ границы парка, гдѣ изъ-подъ бугра бьетъ ключъ обильною струею и стекаетъ по жолобу въ водоемъ въ видѣ огромной раковины. Это такъ-называемый „святой колодецъ". Окрестные поселяне пьютъ изъ него воду во здравіе и

на исцѣленіе; сверхъ того, по заведенному издавна обычаю, кидаютъ въ водоемъ мѣдныя деньги. Кстати упомяну о другой достопримѣчательности въ имѣніи Михаила Львовича, которая также чествуется между ними и пробавляетъ ихъ набожность. Передъ самымъ въѣздомъ въ Лукино отъ дороги влѣво, наверху крутого откоса, стоитъ деревянная часовня, а въ ней большой деревянный же крестъ, необычайное обрѣтеніе котораго облечено таинственностью какой-то мѣстной легенды. Эту часовню построилъ Михаилъ Львовичъ и установилъ крестный ходъ въ нее 14-го сентября, въ день Воздвиженія Честнаго Животворящаго Креста.

Я вдался въ эти подробности съ тѣмъ, чтобы вы могли составить себѣ общее представленіе объ оригинальной усадьбѣ Михаила Львовича, напоминающей своими мистическими особенностями монастырскую обитель, въ которой все разсчитано на благочестивое обаяніе посѣщающихъ ее богомольцевъ. Но, я полагаю, вы нѣсколько расширите свой взглядъ и дадите ему другой оборотъ, когда я остановлю ваше вниманіе на главномъ, основномъ пунктѣ, къ которому указанныя выше подробности сосредоточиваются и получаютъ историческій смыслъ фамильныхъ преданій. Это „архивъ боярскаго рода Колычевыхъ“ съ присоединеннымъ къ нему Колычевскимъ музеемъ, въ большомъ зданіи вблизи дома направо. Оно состоитъ изъ трехъ павильоновъ, соединенныхъ вмѣстѣ, но каждый подъ своею кровлею. Средній, выше обоихъ другихъ, для архива, правый для музея, а лѣвый для входа, ничѣмъ не занятъ.

По бѣлымъ стѣнамъ архива широко раскидываетъ свои вѣтви колоссальное родословное древо бояръ Колычевыхъ и, поднимаясь къ потолку, разстилаетъ свою вершину по его сводамъ. Здѣсь хранятся книги, рукописи, историческіе документы въ свиткахъ и листахъ, фамильные мемуары и другіе источники, которыми Михаилъ Львовичъ пользовался для своихъ изслѣдованій. Корреспонденція его предковъ, его отца и матери заканчивается собраніемъ писемъ къ нему самому, раздѣленнымъ на нѣсколько папокъ. Въ одной изъ нихъ онъ указалъ мнѣ три мои записки къ нему изъ Москвы въ Мещерское 1839 г. и три письма: одно изъ Неаполя въ Москву, 1840 г.; другое изъ Рима туда же, 1840 г., и третье изъ Москвы въ Петербургъ, 1841 г. Я внесу ихъ въ свои воспоминанія, гдѣ слѣдуетъ, чтобы дать вамъ понятіе, какъ я себя чувствовалъ и какъ мыслилъ, когда на цѣлое полстолѣтіе былъ моложе, и въ какихъ товарищескихъ отношеніяхъ состоялъ я съ моимъ ученикомъ.

Въ музеѣ помѣщены въ хронологическомъ порядкѣ коллекціи

разныхъ предметовъ и вещей, принадлежавшихъ особамъ фамиліи Михаила Львовича преимущественно изъ рода Колычевыхъ, а частью и бароновъ Боде, отъ далекихъ предковъ до семейства барона Льва Карловича. Далеко выступая изъ предѣловъ личнаго интереса фамильныхъ воспоминаній, эти коллекціи предлагаютъ богатый матеріалъ для исторіи быта, костюмовъ, художественныхъ издѣлій и вообще разныхъ подробностей въ обиходѣ частной жизни русскаго дворянства. Тутъ и вышитые золотомъ камзолы бояръ Колычевыхъ, разныхъ годовъ въ теченіе всего XVIII столѣтія, и костяной очешникъ съ барельефами миѳологическаго содержанія, подаренный одному изъ этихъ бояръ Петромъ Великимъ, и миніатюрныя серебряныя игрушки, тоже подаренныя другому изъ нихъ императрицею Елизаветою; тутъ и арбалетъ, и сѣдло, вывезенные изъ Эльзаса отцомъ Льва Карловича, барономъ Карломъ-Августомъ, когда онъ спасался отъ гильотины бѣгствомъ въ Россію. Нѣкоторыя изъ коллекцій, относящихся къ позднѣйшему времени, имѣютъ лично для меня особенно трогательный интересъ. Напримѣръ: туалетныя принадлежности и кабинетныя вещи Натальи Львовны и Екатерины Львовны; четки, молитвенникъ, образокъ и другіе благочестивые предметы изъ смиренной кельи Марьи Львовны.

Подробнымъ указателемъ съ обстоятельными объясненіями всего содержащагося въ архивѣ и музеѣ можетъ служить историческое изслѣдованіе Михаила Львовича. Въ послѣдніе четыре года его жизни я часто съ нимъ видѣлся и настойчивыми совѣтами побуждалъ и уговаривалъ его, чтобы онъ не медлилъ изданіемъ въ свѣтъ этого многолѣтняго труда своего, столь интереснаго и важнаго для спеціалистовъ по русской исторіи. Наконецъ, въ 1886 г., онъ напечаталъ его подъ названіемъ: „Боярскій родъ Колычевыхъ".

Въ 1888 г., не болѣе какъ черезъ недѣлю послѣ нашего свиданія, я получилъ въ пятницу 18-го марта отъ княгини Анны Львовны записку зловѣщаго содержанія, поразившую меня какъ громомъ. „Любезнѣйшій Ѳедоръ Ивановичъ,—писала она.—Вашъ другъ и ученикъ тяжко заболѣлъ. Былъ въ среду на панихидѣ графини Марьи Ѳедоровны Соллогубъ [1]), которую очень любилъ; усталъ, разстроился, и вдругъ занемогъ, и до сихъ поръ лежитъ, не приходя въ себя. Такъ грустно—словъ нѣтъ, чтобы это выразить".

Оставаясь все въ томъ же забытьѣ, во вторникъ 22-го марта

[1]) Дочь Ѳедора Васильевича Самарина, сестра Юрія Ѳедоровича.

онъ скончался безъ малѣйшихъ страданій, тихо и мирно, будто погрузился въ сладкій сонъ.

II.

Возвращаюсь еще разъ къ 1838 г., когда я только-что окончилъ курсъ въ университетѣ. Мнѣ дали мѣсто сверхштатнаго учителя русскаго языка въ младшихъ классахъ второй московской гимназіи. Я началъ службу 18-го августа и раза четыре въ недѣлю отправлялся изъ Кремля въ далекій путь черезъ Покровку и Басманную, къ самому ея концу, гдѣ на углу Разгуляя стоитъ эта гимназія.

Странное дѣло: мое учительство въ этой гимназіи прошло мимо меня, какъ тѣнь, не оставивъ по себѣ въ памяти ни малѣйшаго слѣда. Сколько ни стараюсь, не могу вызвать въ своемъ воображеніи ни стѣнъ, ни обстановки тѣхъ классовъ, гдѣ я преподавалъ, ни того, какъ, чему и кого я училъ; не помню въ лицо и по фамиліи ни одного изъ учителей, кромѣ извѣстнаго уже вамъ Лавдовскаго, вѣроятно, потому только, что онъ былъ мнѣ товарищемъ въ казеннокоштномъ общежитіи московскаго университета. Остался всего одинъ незабытый фактъ, ясно выступающій передо мною изъ этихъ смутныхъ потемокъ,—именно то, какъ я въ первый разъ явился къ своему директору гимназіи, Старынкевичу. Въ то время было въ обычаѣ у начальниковъ всѣхъ вѣдомствъ съ особенною суровостью и съ надменнымъ сознаніемъ своего достоинства встрѣчать молодыхъ людей университетскаго образованія, которые поступаютъ къ нимъ на службу, чтобы съ перваго же разу сбить съ нихъ высокомѣрную спѣсь предъявленіемъ строгихъ правилъ дисциплины и неукоснительнаго исполненія служебныхъ обязанностей. Старынкевичъ, въ сущности, человѣкъ добрый и снисходительный, по привычкѣ къ общепринятымъ порядкамъ почелъ своимъ долгомъ прежде всего озадачить меня начальническимъ внушеніемъ, что гимназія не университетъ, что я долженъ забыть профессорскія лекціи и сосредоточить все свое вниманіе на предписанномъ учебникѣ, что въ классахъ требуется слѣдить за успѣхами учениковъ, а не разглагольствовать и тому подобное. Припоминая распущенные нравы пензенской гимназіи, я признавалъ умѣстными его педагогическія требованія, но забыть университетскія лекціи я не могъ и не хотѣлъ, потому что только при ихъ живительномъ свѣтѣ я могъ разумно понимать данный мнѣ въ руководство учебникъ. И какъ же мнѣ, учителю русскаго языка въ гимназіи, оставить втунѣ составлен-

ный мною, по указаніямъ профессора Шевырева, сводъ русскихъ и церковно-славянскихъ грамматикъ, когда я со своими учениками буду пользоваться болѣе или менѣе удачнымъ сокращеніемъ одной изъ нихъ? Отказаться отъ того, чѣмъ я сталъ, получивъ университетское образованіе, было бы то же, что отказаться отъ самого себя, отрѣшиться отъ своей собственной личности. Можетъ быть, я былъ неправъ въ своемъ увлеченіи, но признавалъ его тогда за непреложную истину. Въ отвѣтъ на внушительное распеканье почтеннаго и престарѣлаго директора, я только поддакивалъ и молчалъ, потому что сильно оробѣлъ и опѣшилъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ чувствовалъ себя глубоко оскорбленнымъ, и вышелъ изъ его кабинета, понуривъ голову и съёжившись, будто окатили меня тамъ холодною водою. Живо припоминаю эти подробности, вѣроятно, потому, что съ тѣхъ самыхъ поръ крѣпко засѣла во мнѣ инстинктивная боязнь передъ всякимъ начальствомъ.

Съ осени 1838 и до весны 1839 года мое время протекало двумя рѣзко отдѣленными полосами: свѣтлою—въ Кремлѣ и темною—на Разгуляѣ, но мѣсяца черезъ четыре мало-по-малу принялась заволакивать меня полоса темная. Я почувствовалъ изнурительное утомленіе, но не переставалъ надрывать себя, видимо ослабѣвалъ, а Великимъ постомъ 1839 г. совсѣмъ захворалъ и прекратилъ уроки въ гимназіи. Въ началѣ мая семейство барона Льва Карловича переѣхало въ Мещерское, а я по болѣзни принужденъ былъ остаться въ Москвѣ. Вотъ одна изъ трехъ записокъ моихъ къ Михаилу Львовичу, сбереженныхъ имъ для храненія въ его Колычевскомъ архивѣ: „Покорно васъ благодарю за память. Мнѣ теперь гораздо лучше. Во вторникъ было очень дурно, но это, кажется, уже переломъ моей болѣзни. Теперь только одна слабость. Пришлите мнѣ, пожалуйста, вторую часть Римской Исторіи Мишеле, а то нечего читать, а безъ занятій скучно. Дайте мнѣ знать, какихъ вамъ нужно книгъ въ родѣ этой". Вскорѣ возобновилъ я свои уроки въ гимназіи. Въ концѣ мая, въ какой-то праздничный день, въ раннія обѣдни, разбудили меня, чтобы немедленно вручить мнѣ очень нужное письмо отъ инспектора студентовъ Платона Степановича Нахимова. Въ короткихъ словахъ увѣдомлялъ онъ меня, чтобы сегодня же явился я въ девять часовъ утра къ попечителю графу Строганову. Никакими словами не могу вамъ высказать того ужаса, какимъ поразило меня это нежданное и негаданное приглашеніе. Я чувствовалъ себя виноватымъ передъ гимназіею въ нерадѣніи и упущеніи по службѣ; я былъ въ отчаяніи, путаясь въ мысляхъ, какъ и что могу я сказать въ свое оправданіе. Я ждалъ грозной расправы

и былъ убѣжденъ, что меня выгонятъ изъ службы или, по малой мѣрѣ, сошлютъ учителемъ куда-нибудь въ захолустье. Самъ не помню, какъ я шелъ изъ Кремля на Дмитровку, гдѣ жилъ тогда графъ, налѣво, въ большомъ двухъ-этажномъ каменномъ домѣ на широкомъ дворѣ съ двумя корпусами на улицу. Не помню, какъ попалъ я въ пріемную залу и какъ очутился передъ лицомъ самого графа въ его кабинетѣ; отъ всего смутнаго кошмара остался въ моей памяти только одинъ свѣтлый моментъ, обдавшій меня несказанной радостью и восторгомъ. Самъ попечитель московскаго университета предложилъ мнѣ отправиться съ его семействомъ на два года въ Италію, чтобы тамъ давать уроки его дѣтямъ. Черезъ нѣсколько дней онъ далъ мнѣ маршрутъ и денегъ, сколько нужно для переѣзда отъ Москвы до Дрездена, гдѣ я долженъ буду ожидать графиню съ дѣтьми изъ Карлсбада, а его самого изъ Москвы. Впослѣдствіи я узналъ, что этимъ рѣшительнымъ поворотомъ въ судьбѣ всей моей жизни я былъ обязанъ рекомендаціи барона Льва Карловича, который въ самыхъ лестныхъ похвалахъ отзывался графу объ успѣхахъ моего преподаванія сыну его, Михаилу Львовичу.

О послѣднихъ дняхъ моего пребыванія въ Москвѣ я ничего не могъ бы сказать вамъ, еслибы у меня не было подъ руками двухъ другихъ моихъ записокъ къ Михаилу Львовичу. Помѣщаю ихъ здѣсь обѣ.

„8-го іюня. — Сегодня мнѣ не было времени сходить въ книжный магазинъ, для покупки вамъ „Гамлета". Несносная гимназія задержала меня. Но все равно, я вамъ посылаю своего „Гамлета". Вы можете держать его, сколько вамъ угодно. Посылаю вамъ также историческія тетради. А вотъ вамъ и отъ меня покорнѣйшая просьба: пожалуйста, не забудьте, пришлите мнѣ въ это воскресенье „Древнія русскія стихотворенія": они мнѣ чрезвычайно, чрезвычайно нужны. Не забудьте, сдѣлайте одолженіе. Получили ли вы отъ Маіора [1]) „Макбета" и „Отелло". Если нѣтъ, то спросите у него. Я уже давно, еще наканунѣ вашего отъѣзда, ихъ ему отдалъ".

„20-го іюня. — Завтра ѣду изъ Москвы, и, можетъ быть, очень на долгое время. Прощайте, будьте здоровы и счастливы. Отъ всей души желаю вамъ успѣховъ самыхъ блистательныхъ и въ корпусѣ, и потомъ на службѣ. Если не будете скучать моими письмами, я за большое удовольствіе почту себѣ писать къ

---

[1]) Такъ звали домашняго врача князей Оболенскихъ, сосѣдей барона Боде по подмосковному Мещерскому.

вамъ изъ Германіи и Италіи. Засвидѣтельствуйте мое почтеніе вашей бабушкѣ, маменькѣ и всѣмъ, всѣмъ. Потрудитесь передать Екатеринѣ Львовнѣ приложенную при этомъ письмѣ тетрадь. У меня есть ваши книги, которыя вамъ передастъ Андрей Андреевичъ [1]). Поклонитесь отъ меня Тимоѳею. Будьте счастливы".

Тимоѳей былъ у насъ съ Михаиломъ Львовичемъ камердинеръ и преданный слуга, славный малый; я его очень любилъ.

Посылая прощальные поклоны всему семейству въ Мещерское, я не упомянулъ о баронѣ Львѣ Карловичѣ потому, что онъ былъ тогда въ Москвѣ по своимъ обязанностямъ наблюдателя за построеніемъ Большого дворца. При разставаньѣ онъ привѣтствовалъ меня своими ласковыми пожеланіями, и въ знакъ памяти подарилъ мнѣ хорошенькіе часы, чтобы далеко отъ Москвы, вынимая ихъ изъ жилетнаго кармана, инстинктивно вспоминалъ я иной разъ о Кремлѣ и подмосковномъ Мещерскомъ.

Ѳ. Буслаевъ.

[1]) Молодой офицеръ, сынъ барона Андрея Карловича Боде, двоюродный братъ Михаила Львовича.

ИЗЪ ВЕНГЕРСКИХЪ ПОЭТОВЪ

I.

ЗВѢЗДНАЯ НОЧЬ.

Сандора Петёфи.

Въ окно мое сіянье звѣздной ночи
Вливается во всей красѣ своей,
И къ небесамъ я устремляю очи,
А мыслью рвусь къ возлюбленной моей.

И небеса сіяющія эти,
И та, кого люблю я—краше нѣтъ,
Милѣе ихъ нѣтъ ничего на свѣтѣ,
А я брожу по свѣту много лѣтъ.

Уходитъ ночь; въ гористой синей дали
На западѣ луна еще видна,
Но уменьшась, какъ гнетъ моей печали,
Блѣднѣе все становится она.

Высоко звѣздъ блестящія плеяды
Стоятъ теперь... Вотъ заалѣлъ востокъ,
Пѣтухъ запѣлъ, и утренней прохлады
Предвѣстникомъ поднялся вѣтерокъ...

Пора во снѣ искать успокоенья,
Но не для сна настроена душа...
Дѣйствительность прекраснѣй сновидѣнья
И въ этотъ мигъ жизнь чудно хороша!

II.

НА РОДИНѢ.

Андрея Саво.

Этотъ край я вижу снова,
Полный памятью былого,
    Гдѣ родился я и росъ,
Гдѣ безъ горечи тревожной
Я цѣнилъ успѣхъ ничтожный,
    Гдѣ сбылося много грёзъ.

Какъ здѣсь все я помню ясно,
Какъ казалося прекрасно
    Все кругомъ,—и всюду мнѣ,
Гдѣ бъ я ни былъ, снились ивы,
Птичьихъ пѣсенъ переливы,
    Лепетъ рѣчки въ тишинѣ...

Чтò собой меня манило—
Все осталося, какъ было,
    Словно все ждало меня:
Пѣнье птицъ и лугъ росистый,
Лепетъ рѣчки серебристой
    И шиповникъ у плетня.

Отчего жъ оно, родное,—
Для меня теперь иное?
    Отчего въ моихъ глазахъ
Дубъ лишь дубомъ сталъ, не болѣ,
А цвѣты—цвѣтами въ полѣ,
    И трава—травой въ лугахъ?

О, обманъ воображенья!
Здѣсь ни въ чемъ нѣтъ измѣненья,
    Ничего я не забылъ,
Но прошла пора мечтаній
И я самъ средь испытаній
    Сталъ не тò, чѣмъ прежде былъ.

О. М—ва.

СРЕДНЕВѢКОВОЕ МІРОВОЗЗРѢНІЕ

его

ВОЗНИКНОВЕНІЕ и ИДЕАЛЪ

Окончаніе.

IV *).

Три главные подвига въ жизни Бернарда—установленіе единства въ церкви, побѣда надъ Абеларомъ и проповѣдь крестоваго похода—еще не исчерпываютъ ни его роли въ современномъ ему мірѣ, ни его историческаго значенія. Вся жизнь Бернарда представляетъ собою непрерывный рядъ усилій въ интересахъ монашества и церкви. Вездѣ, гдѣ былъ нанесенъ ущербъ церкви, гдѣ была омрачена святость монашескаго обѣта, нарушенъ каноническій законъ, гдѣ порокъ или личный интересъ вторгались въ „божеское царство",—Бернардъ появлялся съ наставленіемъ и увѣщаніемъ или съ безпощаднымъ обличеніемъ зла. Его взоръ охватывалъ дѣла церкви на всемъ ея протяженіи, его переписка касалась того, что творилось на далекомъ сѣверѣ въ архіепископствѣ іоркскомъ и въ Ирландіи, или на южныхъ окраинахъ христіанскаго міра, въ Саламанкѣ и въ Іерусалимѣ. Отъ него ничего не ускользало: ни дѣло простого монаха, бѣжавшаго изъ своего монастыря или подвергнувшагося карѣ, ни крупныя злоупотребленія, происходившія при дворѣ французскаго короля или въ самой римской куріи.

*) См. выше: мартъ, 5 стр.

На первомъ планѣ, особенно съ самаго начала, стоятъ, конечно, монастырскія дѣла. Съ ними всего чаще обращаются къ Бернарду, всего естественнѣе и ближе для него самого входить въ нихъ. Въ то время довольно часто совершались переходы монаховъ изъ одного монастыря въ другой. Монахи—то искали облегченія отъ слишкомъ тяжелаго для нихъ устава, то, напротивъ, уходили спасаться въ уединеніе или въ болѣе суровое общежитіе. Бернардъ вообще не одобрялъ такихъ переходовъ, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ рѣшался принимать въ Клерво чужихъ монаховъ и старался тогда оправдывать свой образъ дѣйствія. Вопросъ иногда усложнялся тѣмъ, что монахъ находился на пути въ Іерусалимъ, или аббатъ монастыря собирался идти туда на покой: Бернардъ и въ этихъ случаяхъ не одобрялъ скитанія монаховъ.

Предметомъ заботъ Бернарда часто бываетъ монашеская дисциплина; ему приходится настаивать на неослабномъ ея соблюденіи, но въ то же время онъ вступается за отдѣльныхъ монаховъ, прося о пощадѣ и снисходительности къ нимъ. Вниманіе Бернарда привлекаютъ къ себѣ и общія дѣла монастырей, въ особенности ихъ отношенія къ епископамъ; Бернардъ не былъ сторонникомъ изъятія монастырей изъ-подъ епископской власти и поддерживалъ, гдѣ нужно, право епархіальнаго епископа. Но Бернардъ не считалъ возможнымъ ограничиться сферою монашества; все болѣе и болѣе его поглощаетъ забота объ общемъ положеніи церкви; объ этомъ свидѣтельствуетъ нагляднымъ образомъ его переписка: если за первую эпоху его переписки (до начала римской схизмы) изъ числа 93 писемъ 54 относятся къ монастырскимъ дѣламъ, то въ эпоху послѣ схизмы (1138—45) изъ 96 писемъ только 14 касаются чисто монастырскихъ дѣлъ [1]). Въ попеченіяхъ Бернарда о благѣ церкви передъ нимъ открывалось обширное поле дѣятельности: на первомъ мѣстѣ стояла здѣсь забота объ избраніи достойныхъ лицъ на епископскія каѳедры—не разъ приходилось Бернарду вмѣшиваться въ епископскіе выборы или уговаривать избраннаго кандидата не отклонять отъ себя почетнаго, но отвѣтственнаго званія. Съ самими епископами Бернардъ ведетъ обширную переписку, то наставляя ихъ, то указывая имъ на злоупотребленія подчиненныхъ имъ лицъ, то прося ихъ оказать помощь достойнымъ того лицамъ; такъ, напримѣръ, хлопочетъ Бернардъ за Іоанна Сольсберійскаго и Петра Ломбарда, столь прославившихся впослѣдствіи схоластиковъ. Съ другой стороны,

[1]) О распредѣленіи, какъ бы статистикѣ, писемъ Бернарда см. Histoire Littéraire de la France. V, XIII, 1814, p. 146.

зная вліяніе Бернарда и его авторитетъ въ Римѣ, многіе епископы обращаются къ Бернарду по своимъ дѣламъ, и ему приходится разбираться въ сложныхъ и противорѣчивыхъ интересахъ. Положеніе его становится иногда до крайности щекотливымъ въ виду всевозможныхъ происковъ со стороны честолюбивыхъ прелатовъ, старавшихся заручиться его поддержкой въ римской куріи; Бернарду, такъ сказать, постоянно надлежало регулировать вѣсы папскаго авторитета въ администраціи церкви,—то поддерживать интересы достойныхъ епископовъ въ письмахъ къ папѣ и къ кардиналамъ, то разоблачать интриги недостойныхъ и подрывать ихъ кредитъ въ Римѣ.

Такая неусыпная забота о благѣ церкви не могла не вовлекать Бернарда въ сношенія и столкновенія съ свѣтскими властями, въ особенности съ королями Франціи. Не входя въ подробности политической исторіи того времени, мы должны намѣтить нѣкоторые изъ важнѣйшихъ вопросовъ, сюда относящихся. Бернардъ не могъ оставаться равнодушнымъ свидѣтелемъ ни въ спорѣ Людовика VI съ епископомъ парижскимъ, который наложилъ интердиктъ на земли короля за то, что тотъ захватилъ его доходы, ни въ дѣлѣ архіепископа реймсскаго, котораго король подвергъ суду и хотѣлъ лишить престола по обвиненію въ симоніи. Въ обоихъ этихъ случаяхъ Бернардъ считалъ правыми прелатовъ и поддерживалъ ихъ не только противъ короля, но и противъ папы.

Еще ближе долженъ былъ Бернардъ принять къ сердцу одно дѣло, относящееся къ царствованію Людовика „молодого“ (VII). По поводу бракоразводнаго дѣла графа Вермандуа возгорѣлась война между родственниками его первой и второй жены—графомъ Шампани Теобальдомъ и королемъ Франціи; война эта грозила не только гибелью благочестивому Теобальду, щедрому покровителю духовенства и монашества, но также и разореніемъ цистерціанскихъ монастырей, лежавшихъ въ Шампани. Къ тому же Бернардъ признавалъ разводъ, а слѣдовательно, и второй бракъ, неправильно состоявшимися, и потому во всѣхъ отношеніяхъ осуждалъ политику Людовика VII и его министровъ.

Такая многосторонняя и обширная дѣятельность Бернарда объясняетъ намъ необычайно высокій авторитетъ, которымъ пользовался Бернардъ въ церкви. Хотя онъ постоянно отклонялъ отъ себя всякія церковныя почести—епископство въ Генуѣ и въ Шалонѣ-на-Марнѣ, а затѣмъ и первое архіепископство во Франціи, реймсское,—которое предложилъ ему король, несмотря на столкновеніе между ними,—почетное положеніе Бернарда въ католиче-

свой церкви было безпримѣрнымъ, и хотя онъ до конца оставался простымъ аббатомъ одного монастыря—даже не главнаго въ его орденѣ,—Бернардъ былъ правъ, когда изображалъ положеніе дѣла въ письмѣ къ папѣ Евгенію словами: „Многіе говорятъ, что не вы—папа, а—я“.

Указанная нами вкратцѣ обширная дѣятельность Бернарда интересна, однако, не только потому, что выставляетъ на видъ исключительное положеніе, которое онъ занималъ, но и по тому духу, которымъ она проникнута, и который обогащаетъ историческій образъ Бернарда новой, въ высшей степени характерной чертой: это былъ горячій тонъ неумолимой правды, страстный паѳосъ нравственнаго негодованія, которымъ онъ обличаетъ слабости и непохвальные поступки своихъ современниковъ. Высоко держа въ своихъ рукахъ знамя церкви и нравственнаго закона, ею установленнаго, Бернардъ являетъ собою въ своей обличительной дѣятельности голосъ совѣсти современнаго ему общества и становится среди западнаго христіанства какъ бы всеобщимъ цензоромъ нравовъ. Давно поблекло величіе людей, которыхъ поражало смѣлое слово монаха, и самые интересы, изъ-за которыхъ разгорались страсти, утратили свое значеніе; но обличительныя письма Бернарда сохранили для насъ захватывающій интересъ, и жаръ его негодующей рѣчи воскрешаетъ предъ нами изъ пепла, на ряду съ пылкимъ и неустрашимымъ борцомъ „за славу церкви“, вѣнценосцевъ и іерарховъ, со смущеніемъ внимавшихъ его безпощаднымъ урокамъ. Первымъ образчикомъ обличительнаго слова Бернарда послужитъ намъ отрывокъ изъ письма, которое хотя и вызвано сравнительно менѣе важнымъ случаемъ; но весьма поучительно потому, что проливаетъ свѣтъ на мотивъ обличеній Бернарда: письмо это, обращенное къ епископу и духовенству Труа по поводу субдіакона Ансела, который вступилъ въ бракъ и велъ рыцарскій образъ жизни—начинается съ заключительныхъ словъ посланія апостола Іакова: „Братія, если кто изъ васъ уклонится отъ истины и обратитъ кто его, пусть тотъ знаетъ, что обратившій грѣшника отъ ложнаго пути его—спасетъ душу отъ смерти и покроетъ множество грѣховъ“.

„Заблуждается нашъ Анселъ,—продолжаетъ Бернардъ,—заблуждается, кто въ этомъ усомнится? если мы оставимъ его въ покоѣ, не онъ одинъ будетъ въ заблужденіи; сколькихъ увлечетъ за собою примѣръ знатнаго юноши? не только тѣ, кто послѣдуютъ за нимъ, но и всѣ, которые не отвратятъ его, хотя бы могли отвратить, по нашему мнѣнію, впадутъ въ то же заблужденіе. Я неповиненъ въ крови его. И писалъ я ему самому, и вамъ теперь

говорю, что онъ затѣваетъ неподобающее. Не дѣло клерика воевать воинскимъ оружіемъ, не дѣло субдіакона вступать въ бракъ. Возвѣстите грѣшнику дѣло его, чтобы онъ не умеръ въ своемъ грѣхѣ и кровь его не взыскалъ съ васъ Тотъ, Кто искупилъ его своею драгоцѣнною кровью" (№ 203).

Бережною, но твердою рукою касается Бернардъ язвы и осуждаетъ въ другомъ письмѣ неблаговидный поступокъ лица, близко къ нему стоявшаго, аббата Одона. „Нехорошо и несогласно съ вашей честью удерживать то, что этотъ человѣкъ далъ вамъ на сохраненіе, если это дѣйствительно такъ, какъ онъ говоритъ. Таковъ поводъ жалобной просьбы, съ которою онъ обратился ко мнѣ, узнавъ, что меня связываетъ съ вами тѣсная и особенная дружба. Разсчитывая на нее, я со всѣмъ должнымъ вамъ почтеніемъ заявляю вамъ, что вамъ слѣдовало бы продать скорѣе чашу съ алтаря для устраненія такой непріятной молвы, если у васъ нѣтъ вола или лошади для продажи, чтобы возвратить ему то, что ему принадлежало. Пощадите, прошу, вашу собственную честь; пощадите доброе имя вашей общины, пощадите святыню великаго поста и возвратите бѣдняку безъ отлагательства то, что вами удержано безъ всякаго на то оправданія, возвратите прежде, чѣмъ молва объ этомъ еще шире распространится и придется заплатить съ еще бо̀льшимъ посрамленіемъ" (№ 407).

Нерѣдко мы встрѣчаемся въ то время съ злоупотребленіемъ назначенія малолѣтнихъ на церковныя бенефиціи и епископства для того, чтобы ихъ заблаговременно закрѣпить за ними. Подобный поступокъ Бернардъ ставитъ въ упрекъ епископу Гаттону, который посвятилъ ребенка въ архидіакона (№ 472). Но щекотливѣе стало положеніе Бернарда, когда графъ Шампани обратился къ нему съ просьбой содѣйствовать ему въ доставленіи его маленькому сыну нѣсколькихъ бенефицій. Мы упоминали о томъ, какіе интересы связывали Бернарда съ графомъ Теобальдомъ и какъ много онъ ему былъ обязанъ. Вотъ, однако, какъ онъ ему пишетъ: „Вы знаете, что я люблю васъ, но какъ я васъ люблю — Богу извѣстно лучше, чѣмъ вамъ. Не сомнѣваюсь я, что и вы меня любите, но любите ради Бога; если же я оскорблю Его, то не будетъ у васъ причины любить меня. Ибо что я такое, чтобы столь могущественный государь обращалъ на меня хоть малѣйшее вниманіе, еслибы вы перестали думать, что духъ Господень со мною? Поэтому, быть можетъ, вамъ самимъ нежелательно, чтобы я Его оскорбилъ, а я несомнѣнно Его оскорблю, если сдѣлаю то, что вы требуете"...

Еще болѣе общій интересъ пріобрѣтаютъ обличенія Бернарда,

когда они простираются на совѣтниковъ и дворъ французскихъ королей и касаются такой извѣстной исторической личности, какъ аббатъ Сугерій. Бернардъ не могъ одобрять того, что монахъ и аббатъ рѣшился стать руководителемъ и правителемъ государства, что, оставивъ призваніе Маріи, „онъ, подобно Мареѣ“, взялъ на себя попеченіе „о многомъ“. Бернардъ еще болѣе осуждалъ пышную обстановку, которою окружалъ себя аббатъ перваго монастыря Франціи, и строго порицалъ онъ то, что въ самомъ монастырѣ св. Діонисія, вслѣдствіе пребыванія тамъ королевскаго двора, водворилось ослабленіе монашеской дисциплины, роскошь и совершенно свѣтское настроеніе. Подъ вліяніемъ Бернарда и его сочиненія о монашескомъ бытѣ аббатъ св. Діонисія совершенно измѣнилъ свой образъ жизни. Сохранилось письмо (№ 78) къ Сугерію, въ которомъ Бернардъ, привѣтствуя похвальную перемѣну, происшедшую въ Сугеріи, искусно противопоставляетъ наступившему исправленію прежній „соблазнъ“ (scandalum), и по этому поводу входитъ въ критическое изображеніе порядковъ, допускавшихся въ монастырѣ св. Діонисія. Это описаніе представляетъ собою интересный историческій документъ; оно слишкомъ подробно для того, чтобы мы могли имъ здѣсь воспользоваться, но въ концѣ его Бернардъ обличаетъ другое лицо, приближенное къ королю, также духовное, на которомъ мы остановимъ наше вниманіе.

„Два новыхъ и нестерпимыхъ озорства возникли въ наше время въ церкви,—пишетъ Бернардъ:—одно изъ нихъ—дозволь мнѣ о немъ напомнить — чванство (insolentia) твоего прежняго образа жизни; но это, милостью Божіей, исправилось, Ему во славу, тебѣ къ чести, намъ въ удовольствіе и всѣмъ въ примѣръ.

„Можетъ быть, Господь дастъ, что и насчетъ другого мы скоро будемъ утѣшены. Это весьма ненавистное новшество я и выставить на видъ опасаюсь, и упомянуть о немъ затрудняюсь. Скорбь понуждаетъ языкъ говорить, а страхъ его связываетъ. Страхъ мой въ томъ, чтобы не оскорбить кого-нибудь, если открыто высказаться, ибо истина нерѣдко порождаетъ ненависть. Но утѣшаю себя тѣмъ, что когда бичуются пороки и отъ этого является соблазнъ (scandalum), то виновенъ въ немъ тотъ, кто подалъ поводъ къ обличенію, а не обличающій“. Бернардъ рѣшается указать перстомъ на соблазнъ, который представлялъ собою при королевскомъ дворѣ Стефанъ де Гарланда, посвященный въ діаконы и въ то же время исполнявшій высокую придворную должность сенешаля.

„Чье сердце,—восклицаетъ Бернардъ,—не возмущается, чей языкъ не ропщетъ, хотя и втихомолку, по поводу того, что

діаконъ, вопреки Евангелію, служитъ одинаково Богу и мамонѣ, и такъ возвеличенъ церковными почестями, что поставленъ наравнѣ съ епископами, такъ обремененъ военными порученіями, что пользуется предпочтеніемъ предъ герцогами. Скажи на милость, что это за уродливое явленіе? Онъ хочетъ казаться одновременно клерикомъ и воиномъ, и онъ ни то, ни другое. Одинаково, въ обоихъ случаяхъ, злоупотребленіе: какъ въ томъ, что діаконъ несетъ на себѣ службу за королевскимъ столомъ, такъ и въ томъ, что королевскій стольникъ является служителемъ въ таинствахъ алтаря. Кому это не въ диковину и кто не возмущается, что одно и то же лицо, надѣвъ оружіе, идетъ во главѣ вооруженной рати, а облекшись бѣлой ризой и эпитрахилью, посреди церкви возглашаетъ Евангеліе?" Громче еще раздается голосъ Бернарда и непосредственно направлены его упреки къ королевскимъ министрамъ, Іослену — епископу суассонскому, и Сугерію — въ письмѣ его (№ 222) по поводу распри и войны между королемъ и графомъ Теобальдомъ. Написавъ королю и обвинивъ его „во всемъ дурномъ, что̀ творится въ его государствѣ съ его согласія", Бернардъ считалъ необходимымъ по поводу полученнаго имъ отвѣта высказать правду и тѣмъ, которые „состоятъ его совѣтниками". „Удивляюсь я, — пишетъ Бернардъ, — если король вѣритъ тому, что̀ говоритъ; если же самъ не вѣритъ, то какимъ образомъ онъ пытается увѣрить въ этомъ меня, которому, какъ и вы знаете, вполнѣ извѣстно все, что̀ было сдѣлано для установленія мира между королемъ и графомъ?" Разобравши и опровергнувши по пунктамъ всѣ нареканія короля противъ графа, Бернардъ восклицаетъ: „Наконецъ, пусть будетъ такъ, пусть графъ будетъ виновенъ, но въ чемъ же виновна церковь? въ чемъ, спрашиваю я, виновна, не одна церковь буржская, но шалонская, реймсская, парижская? Пусть король ищетъ своего права на графѣ, но по какому праву, заклинаю васъ, по какому праву дерзаетъ онъ разорять имѣнія и земли церкви и не дозволять пастырямъ заботиться о Христовой паствѣ, запрещать однимъ занимать церковныя должности, на которыя они избраны, а другимъ — что̀ до сихъ поръ не слыхано — отсрочивать избраніе до тѣхъ поръ, пока не расхититъ достоянія бѣдныхъ, пока вконецъ не разоритъ страны!"

„Что же, — это *вы* даете такіе совѣты? Весьма удивительно, если это творится вопреки вашему совѣту; еще удивительнѣе и хуже, если съ вашего совѣта. Даже подавать такой совѣтъ значитъ открыто учинять расколъ, противиться Богу, порабощать церковь и превращать свободу духовенства въ новое рабство.

„Если кто вѣренъ Богу, если кто сынъ церкви, то, конечно,

воспрянетъ и станетъ стѣною, насколько можетъ, предъ обителью Господа. А вы сами, если желаете мира для церкви, какъ и слѣдуетъ сынамъ мира, какъ же вы, не скажу—предлагаете, но участвуете въ такихъ дурныхъ совѣтахъ? Ибо что бы онъ ни сдѣлалъ дурного, по справедливости, все это будетъ поставлено въ вину не юношѣ-королю, а его престарѣлымъ совѣтникамъ".

Сколько основаній имѣлъ Бернардъ для того, чтобы осуждать образъ дѣйствія Людовика VII и негодовать на его совѣтниковъ, полнѣе всего можно усмотрѣть изъ его письма, написаннаго въ слѣдующемъ году къ Стефану кардиналу-епископу пренестинскому, монаху цистерціанскаго ордена. Оно заключаетъ въ себѣ систематическое, исполненное глубокой горечи, обличеніе образа дѣйствія и политики короля. Подробно описавъ насилія и захваты церковныхъ имуществъ и доходовъ со стороны королевскихъ людей въ упомянутыхъ выше епархіяхъ и разныхъ монастыряхъ, Бернардъ жалуется, что король, заключивши миръ съ графомъ Теобальдомъ, ищетъ случаевъ, чтобы возобновить ссору. Поводомъ къ неудовольствію служитъ „великое преступленіе, вмѣняемое въ вину" графу Шампани, его намѣреніе вступить въ свойство съ королевскими вассалами, женить сына на дочери графа фландрскаго и выдать дочь за графа суассонскаго.

„Подозрительно относится король къ расширенію союза любви и полагаетъ, что не будетъ королемъ, — иронически говоритъ Бернардъ,—если князья станутъ другъ друга любить. Да усмотритъ изъ этого ваша мудрость, какихъ чувствъ полонъ къ своимъ подданнымъ тотъ, кто въ ненависти и распрѣ между ними видитъ источникъ своей силы". Препятствіемъ относительно упомянутыхъ браковъ король выставлялъ родство между брачущимися, и такъ какъ, по выраженію Бернарда, онъ не встрѣчалъ повиновенія своему произволу, „то обходилъ море и сушу, чтобы найти людей, готовыхъ преступными клятвами разлучить тѣхъ, которыхъ, быть можетъ, Господь сочеталъ". „Съ какою совѣстью (qua fronte),— восклицаетъ Бернардъ,—выставляетъ другимъ родство, какъ помѣху въ бракѣ, кто самъ женатъ на родственницѣ въ третьемъ колѣнѣ?" Есть ли родство между дѣтьми Теобальда и лицами, съ которыми они должны вступить въ бракъ, Бернардъ не знаетъ; онъ никогда не отстаивалъ завѣдомо незаконныхъ браковъ, но „знайте вы,—продолжаетъ онъ,—и пусть знаетъ господинъ мой (папа), что запрещать эти браки, если нѣтъ законнаго препятствія къ нимъ, значитъ обезоружить церковь и отнять у нея много силы. У противниковъ этихъ браковъ, я полагаю, нѣтъ другого намѣренія, какъ лишить убѣжища въ земляхъ упомяну-

тыхъ князей всякаго, кто дерзнулъ бы воспротивиться расколу, которымъ они грозятъ".

Далѣе, Бернардъ обвиняетъ короля въ томъ, что онъ, „по обычаю своему", принуждаетъ епископовъ благословлять тѣхъ, кого они проклинали, и проклинать тѣхъ, кого слѣдуетъ благословить; что онъ снова принялъ въ свою семью и призвалъ въ свой совѣтъ прелюбодѣя, отлученнаго отъ церкви (графа Радульфа Вермандуа), и что ради учиненія бо̀льшаго зла „король и покровитель церкви собралъ вокругъ себя, противъ радѣтеля о церкви, много другихъ негодяевъ и отлученныхъ, клятвопреступниковъ, поджигателей и душегубцевъ".

Такъ осуждалъ Бернардъ королевскую политику и обличалъ его духовныхъ совѣтниковъ; но какъ говорилъ онъ объ этомъ съ самимъ королемъ? Предъ нами два письма Бернарда къ Людовику Толстому (VI) и нѣсколько писемъ къ его сыну. Первое изъ нихъ—коллективное посланіе отъ имени аббата Стефана и всего цистерціанскаго ордена къ королю, по поводу „обидъ", нанесенныхъ имъ парижскому епископу. Весьма замѣчателенъ для характеристики средневѣковыхъ отношеній тонъ, которымъ говорятъ представители монашества съ королемъ: „Чего ради вы идете теперь такъ рѣзко наперекоръ нашимъ за васъ молитвамъ, которыхъ вы недавно, если припомните, такъ смиренно добивались? Съ какою вѣрою дерзнемъ мы поднимать руки наши за васъ къ Жениху церкви, которую вы, безъ причины, какъ мы полагаемъ, такъ огорчаете съ опрометчивою отвагою? Понимаете ли вы, кому вы этимъ способомъ дѣлаете себя ненавистнымъ?.."

„Вотъ что̀ мы имѣли въ виду внушить вамъ и въ вашемъ интересѣ смѣло, но любовно, увѣщевая и прося васъ отступиться какъ можно скорѣе отъ такого зла именемъ нашей взаимной дружбы и братства, къ которому вы весьма любезно присоединились, и которое вы нынѣ такъ тяжко нарушили". Въ заключеніе же аббаты грозятъ королю, что если „они, братья и друзья его, не удостоятся быть услышанными", и онъ оставитъ ихъ въ пренебреженіи, то они принуждены будутъ обратиться съ жалобою на него къ папѣ.

Другое письмо написано Бернардомъ къ Людовику VI по поводу того, что король, по неудовольствію противъ папы Иннокентія, запретилъ французскимъ епископамъ отправиться на соборъ въ Пизу подъ предлогомъ необычайнаго лѣтняго зноя. Указывая королю, какой вредъ онъ этимъ запрещеніемъ наноситъ

своей матери-церкви и себѣ самому, Бернардъ, между прочимъ, пишетъ: „До какой степени въ наше время необходимъ такой съѣздъ епископовъ—всякому извѣстно; неизвѣстно развѣ тому, кто съ ожесточеннымъ сердцемъ не внемлетъ нуждамъ матери-церкви. Но зной, говорятъ, чрезмѣренъ,—иронически замѣчаетъ Бернардъ:—какъ будто у насъ ледяное тѣло! Или, вѣрнѣе, сердца наши обледенѣли?..“

Многочисленнѣе и серьезнѣе были причины неудовольствія со стороны Бернарда противъ молодого преемника Людовика VI; поэтому и письма его къ этому королю представляютъ выдающійся интересъ. Всѣ тоны чувства перебираетъ Бернардъ въ своихъ письмахъ: нѣжная любовь, огорченная забота, пламенная мольба, пренебрежительная иронія и гнѣвное негодованіе—чередуются и переливаются въ нихъ; Бернардъ становится передъ королемъ то ангеломъ мира, то пробуждающимъ совѣсть проповѣдникомъ, то грознымъ глашатаемъ страшнаго Судіи. Какой мощный оборотъ краснорѣчія заключается въ слѣдующемъ обращеніи къ королю: „Давно уже мы (Бернардъ и Гуго отёнскій), оставивши дома наши и побросавши нужды наши, трудимся изъ-за мира вашего и царства вашего съ вѣрою и правдою, какъ Господь намъ свидѣтель. И печалимся мы, что никакой пользы или весьма малую видимъ доселѣ отъ нашихъ трудовъ. Все еще бѣдные взываютъ къ намъ, все еще земля ежедневно приходитъ въ большее запустѣніе. Вы спросите: какая земля? *Ваша* земля, ничья другая! въ вашемъ царствѣ и къ ущербу вашего царства творится все это зло. Ибо друзья ли, недруги ли ваши отъ этой войны разоряются, порабощаются, истребляются,—все же они всѣ изъ вашего царства“.

А вотъ образчикъ ласковой мольбы изъ другого письма (№ 220): „Не дерзайте (Nolite audere), умоляю васъ, не дерзайте, господинъ мой, государь, сопротивляться такъ очевидно Царю вашему, всеобщему Творцу въ Его царствѣ и достояніи; не дерзайте простирать руку вашу такъ часто и опрометчиво противъ Того, Кто страшенъ царямъ земнымъ и душу отнимаетъ у князей міра сего! Жестоко я говорю, потому что болѣе жесткаго для васъ опасаюсь; и менѣе сильно я бы за васъ боялся, еслибы менѣе сильно васъ любилъ“.

Какъ Бернардъ кончаетъ это письмо словомъ любви, такъ же начинаетъ онъ слѣдующее за этимъ, знаменательное письмо: „Вѣдомо Господу, какъ люблю я васъ съ тѣхъ поръ, какъ знаю, и какъ радѣлъ я о вашей чести; знаете и вы, съ какимъ усиліемъ и съ какою заботою я весь прошлый годъ старался устроить

миръ вмѣстѣ съ другими вѣрными вамъ людьми. Но я боюсь, что мы безъ основанія трудились за васъ. Ибо вы, какъ стало очевидно, слишкомъ скоро и слишкомъ легкомысленно отступаете отъ добраго и здраваго совѣта, который вы приняли, и къ прежнему злу, о которомъ вы недавно не безъ основанія сожалѣли, что совершили его, теперь снова спѣшите, какъ я слышалъ, вернуться, не знаю, по какому дьявольскому совѣту. Ибо отъ кого, какъ не отъ дьявола, сказалъ бы я, можетъ исходить совѣтъ, въ силу котораго къ пожарамъ прибавляются новые пожары [1]), къ убійствамъ убійства, и снова плачъ бѣдныхъ и стонъ скованныхъ и кровь убитыхъ взываютъ къ слуху Отца сиротъ и Судьи вдовъ (Псал. 67,6)!"

Опровергнувъ взводимыя королемъ, для своего оправданія, обвиненія противъ Теобальда, Бернардъ продолжаетъ: „Вы же и слова мира отвергаете, и обязательствъ своихъ не держите, и здравымъ совѣтамъ не внимаете, и не знаю, по какому Божьему велѣнію, все для себя навыворотъ извращаете, такъ что безчестное считаете честью, честное безчестіемъ, безопаснаго боитесь, страшнымъ пренебрегаете, любите тѣхъ, кто васъ ненавидитъ, и ненавидите тѣхъ, кто желаетъ васъ любить"...

„Но что бы вамъ ни угодно было творить съ вашимъ царствомъ, съ вашею душою и съ вашимъ вѣнцомъ, мы, сыны церкви, отнюдь не можемъ таить обиды, пренебреженія и угнетенія матери нашей"...

„На самомъ дѣлѣ мы будемъ стоять и воевать до самой смерти, если то нужно, за нашу мать, оружіемъ дозволеннымъ: не щитами и мечами, а мольбами и плачемъ предъ Господомъ".

„Не умолчу, я, что вы снова хлопочете вступить въ союзъ и дружбу съ отлученными; что на убійство людей, сожженіе домовъ, разрушеніе церквей, разореніе бѣдняковъ, вы, какъ говорится, къ грабителямъ и разбойникамъ пристаете, согласно съ словомъ пророка: „Когда видишь вора, сходишься съ нимъ и съ прелюбодѣями сообщаешься" (Пс. 49, 18), какъ будто вы сами по себѣ недостаточно можете натворить зла... Но... говорю я вамъ: не долго вамъ ждать отмщенія, если будете продолжать такъ поступать".

Такъ говорилъ монахъ съ королями; не молчалъ онъ и передъ папами. Бернардъ чрезвычайно превозносилъ папскій авторитетъ

[1]) Въ этотъ годъ, при сожженіи королевскими войсками Витри, сгорѣла церковь этого городка съ спасавшимися въ ней людьми, которыхъ насчитываютъ до 1.300.

и высоко ставилъ власть папы. Объявляя въ посланіи къ миланскому народу, какая „полнота власти“ дана папѣ „надъ всѣми церквами міра“, Бернардъ говоритъ: „Кто этой власти противится, —поставленію Божію прекословитъ. Можетъ папа, если считаетъ полезнымъ, ставить новыя епископства, гдѣ ихъ прежде не было; изъ тѣхъ, которыя существуютъ, онъ можетъ одни принизить, другія возвеличить, одни возводить въ архіепископства, и наоборотъ—согласно съ тѣмъ, что̀ считаетъ необходимымъ. Папа можетъ съ окраинъ земли вызывать къ себѣ кого ему угодно изъ самыхъ высокопоставленныхъ духовныхъ особъ и принудить къ себѣ явиться, не одинъ разъ или два, а сколько найдетъ полезнымъ. Въ его власти покорить всякое неповиновеніе, еслибы кто-либо замыслилъ ему воспротивиться“ (№ 131). Не менѣе, конечно, возвеличивалъ Бернардъ папскій авторитетъ и на счетъ свѣтскихъ властей. Въ письмѣ по поводу избранія папы Евгенія, противополагая смиренному состоянію прежняго монаха величіе врученной ему власти, Бернардъ такъ изображаетъ ее на своемъ патетическомъ, библейскомъ языкѣ: „Опоясали его мечомъ, для кары надъ народами, для укоризны языцамъ, для верженія царей ихъ въ оковы и князей ихъ въ желѣзныя рукавицы“.

Самъ Бернардъ обращается къ папамъ въ своихъ письмахъ съ самыми почтительными выраженіями, величаетъ, напр., необычайнымъ титуломъ majestas, но это не мѣшаетъ ему высказывать свое рѣшительное неодобреніе всякій разъ, когда онъ усматриваетъ со стороны папства неправильное примѣненіе власти. Такъ, когда клюнійцы заманили къ себѣ изъ Клерво монаха Роберта, котораго они считали своимъ, и заручились въ Римѣ разрѣшеніемъ папы на то, чтобы его оставить у себя, Бернардъ призналъ приговоръ папскій неправильнымъ, такъ какъ не были выслушаны обѣ стороны, и отъ папы апеллировалъ къ трибуналу Христа. „Прійдетъ, прійдетъ,—восклицалъ Бернардъ въ письмѣ къ Роберту,—Тотъ, Кто снова разсудитъ дурно разсужденное, Кто посрамитъ беззаконныя клятвы, Кто сотворитъ судъ обиженнымъ“, Кто „будетъ судить бѣдныхъ по правдѣ и дѣла страдальцевъ земли рѣшитъ по истинѣ“ (Пс. 11, 4). Къ Твоему судилищу, господинъ мой Іисусъ, я взываю, на Твой судъ уповаю, Тебѣ поручаю дѣло мое“.

Но Бернардъ даже принципіально оспаривалъ право папы разрѣшать монахамъ отступленіе отъ обѣта и оставленіе монастыря. Когда нѣсколько монаховъ цистерціанскаго ордена покинули съ своимъ аббатомъ монастырь Моримундъ и выхлопотали на то разрѣшеніе папы, Бернардъ опротестовалъ самое разрѣ-

шеніе. „Какимъ образомъ,—спрашивалъ Бернардъ въ письмѣ къ монаху Адаму (№ 7),—можетъ разрѣшеніе папы сдѣлать законнымъ (licitum) то, что̀ есть чистое зло?.. Они не рѣшались совершить неправду, пока папа не далъ своего согласія на нечестивый замыселъ. Но какая отъ того польза? Какое отъ этого умаленіе зла? Развѣ отъ этого зло перестало быть зломъ или уменьшилось отъ того, что папа на него согласился? Кто станетъ отрицать, что давать согласіе на зло есть зло?“

Бернардъ, однако, говорилъ такую правду и въ глаза самимъ папамъ. Бернардъ не терпѣлъ никакого послабленія свѣтскимъ властямъ въ ущербъ интересамъ церкви и авторитету епископовъ, никакого лицепріятія, никакого покровительства куріи недостойнымъ лицамъ. Когда во время ссоры между Людовикомъ VI и епископомъ парижскимъ, папа Гонорій II принялъ сторону короля и снялъ интердиктъ, наложенный епископомъ на земли короля, Бернардъ именемъ другихъ аббатовъ цистерціанскаго ордена обличаетъ главу церкви за то, что онъ выдаетъ честь церкви (№ 46). „Плачевную жалобу епископовъ, скажу лучше—самой церкви, мы, сыны ея, если только достойны этого имени, замолчать не можемъ; что̀ мы видѣли, о томъ говоримъ. Великая нужда извлекла насъ изъ монастырей нашихъ въ общество (in publicum); тамъ мы и видѣли, что̀ говоримъ. Съ печалью мы узрѣли, съ печалью и говоримъ: честь церкви во времена папы Гонорія не мало пострадала“. Упрекъ былъ особенно чувствителенъ вслѣдствіе намѣреннаго сопоставленія слова: honor—съ происходящимъ отъ него именемъ Гонорія. „Уже смягчило смиреніе (аббатовъ), или вѣрнѣе, твердость епископовъ гнѣвъ короля,—продолжаетъ Бернардъ,—какъ вдругъ исходившій отъ первосвященника верховный авторитетъ, увы, надломилъ твердость, укрѣпилъ надменность. Знаемъ мы, конечно, что посредствомъ лжи отъ васъ коварно добыто (что̀, очевидно, изъ вашихъ писемъ) повелѣніе отмѣнить столь справедливый и необходимый интердиктъ“. Когда же послѣ того папа принялъ опять сторону короля противъ архіепископа сенскаго, Бернардъ, во главѣ аббатовъ, напоминаетъ папѣ его поведеніе въ дѣлѣ епископа парижскаго, „котораго Господь поддержалъ своею рукою, противопоставивъ ее вашей“. Въ этомъ письмѣ аббаты называютъ короля Иродомъ, который замышляетъ противъ Христа не въ колыбели, а возвеличеннаго въ церкви.

Такъ и въ своей обширной перепискѣ съ Иннокентіемъ II Бернардъ зорко слѣдитъ за дѣйствіями преемника Петра, предостерегаетъ его отъ всякаго ложнаго шага, отъ всякаго уклоненія

отъ правды и справедливости въ угоду кому-либо и откровенно указываетъ ему на вредныя для церкви послѣдствія всякаго ложнаго шага. Когда парижскій архидіаконъ Теобальдъ, виновникъ убійства ненавистнаго ему пріора св. Виктора, бѣжалъ въ Римъ, чтобы выхлопотать себѣ тамъ прощеніе, Бернардъ въ письмѣ къ Иннокентію реторическимъ обращеніемъ къ убійцѣ съ негодованіемъ отвергаетъ мысль, чтобы могила апостоловъ могла служить убѣжищемъ для убійцъ: „Негоднѣйшій, неужели ты принимаешь сѣдалище высшей справедливости за вертепъ разбойниковъ и логовище хищныхъ звѣрей?“ Опровергнувши все, чтò Теобальдъ могъ сказать въ Римѣ, чтобы смягчить свою вину или свалить ее на другихъ, Бернардъ заключаетъ: „если его убійство останется безнаказаннымъ —а этого онъ съ изумительнымъ безстыдствомъ смѣетъ ожидать отъ вашего апостольскаго авторитета,—то сколько эта безнаказанность породитъ въ церкви наказуемыхъ преступленій. Одно изъ двухъ необходимо: или впредь не допускать къ церковнымъ почестямъ никого изъ рыцарей и сильныхъ міра сего, или дозволить клерикамъ свободно злоупотреблять священными обязанностями для всякаго беззаконія, ради того, чтобы не подвергался избіенію на мѣстѣ воинскимъ оружіемъ тотъ, кто, исполненный ревнія Божія, захотѣлъ бы прекратить такія беззаконія. Чтò станется съ духовнымъ мечомъ, съ церковной укоризной, чтò станется съ христіанскимъ закопомъ и дисциплиною, если изъ страха свѣтской власти никто не дерзнетъ и пикнуть предъ нахальствомъ клериковъ? Поэтому, господинъ и отецъ мой, какъ вы видите, необходимо постановить относительно этого человѣка что-нибудь такое, чтò было бы полезно церкви, для того чтобы исцѣленіе, вами нынѣ совершонное, распространилось на потомковъ, и чтобы слѣдующее поколѣніе знало пе только, какъ велика была дерзновенность, но и какому она подверглась взысканію“.

Несмотря на такія вѣскія предостереженія, Бернардъ часто имѣлъ основаніе быть недовольнымъ Иннокентіемъ, котораго онъ съ такими усиліями утвердилъ на престолѣ. Съ горечью отзывается о немъ Бернардъ въ письмѣ къ его преемнику, папѣ Целестину, къ которому онъ взываетъ защитить добрыя дѣла своего предмѣстника и „довершить несовершонное“ (minime adimpleta). Въ особенности Бернардъ имѣлъ въ этомъ случаѣ въ виду недостойный образъ дѣйствія Иннокентія II въ дѣлѣ архіепископа іоркскаго Вилельма, обвинявшагося въ томъ, что онъ захватилъ свой престолъ посредствомъ симоніи и покровительства своего дяди, короля Стефана.

„О, дѣло, подлежащее всеобщему невѣденію,—восклицаетъ Бер-

нардъ,—и, если бы это можно было, погребенію въ вѣчномъ молчаніи! Но слишкомъ теперь поздно: увы! торжество дьявола стало вѣдомо всему міру. Повсюду раздается ликованіе необрѣзанныхъ и плачъ праведныхъ, потому что лукавство побѣдило мудрость. Пальцемъ показываютъ позоръ матери-церкви; осмѣянію подвергается отецъ Иннокентій, срамъ котораго раскрылъ негодный рабъ, считая его умершимъ, но вѣдь *въ васъ* онъ продолжаетъ жить" (№ 235).

Целестинъ II только пять мѣсяцевъ занималъ римскій престолъ; Бернардъ не оставилъ этого дѣла, и два года спустя онъ снова пишетъ объ архіепископѣ іоркскомъ третьему преемнику Иннокентія, Евгенію: „несомнѣнно то, что онъ вошелъ въ овчарню не черезъ дверь, но другимъ путемъ. Еслибы онъ былъ пастыремъ, его слѣдовало бы любить; еслибы наемникомъ—слѣдовало бы терпѣть; нынѣ же надлежитъ его остерегаться и выгонять, какъ вора и разбойника".

„О, кто мнѣ дастъ, прежде чѣмъ умру, увидѣть церковь Божію, какова она была въ былые дни, когда апостолы протягивали сѣти для улова душъ, а не для добыванія золота и серебра! Какъ жажду я, чтобы ты унаслѣдовалъ рѣчь того, чье мѣсто ты занимаешь! „Серебро твое да будетъ въ погибель съ тобою" (слова Петра въ Д. Ап. 8, 20). О, слово громовое! О, слово величавое и праведное, страхомъ котораго пусть смутятся и обратятся вспять всѣ ненавистники Сіона! Вотъ чего страстно ждетъ и требуетъ отъ тебя мать твоя; вотъ чего желаютъ сыны матери твоей, малые и великіе; вотъ о чемъ вздыхаютъ они: чтобы всякое насажденіе, которое насажено не Отцомъ Небеснымъ, твоими руками было вырвано. На то ты поставленъ надъ народами и царями, чтобы вырывать и разрушать, строить и насаждать".

„Приободрись же и стань могучъ; добудь себѣ твердостью и силою духа ту долю, которою надѣлилъ тебя Всемогущій Отецъ свыше братьевъ твоихъ. Во всѣхъ же дѣлахъ твоихъ памятуй, что ты человѣкъ, и страхъ Того, Кто лишаетъ жизни князей міра, пусть будетъ всегда предъ очами твоими. Сколько смертей римскихъ первосвященниковъ ты узрѣлъ въ короткое время своими глазами. Предшественники твои сами напоминаютъ тебѣ о несомнѣнной и скоро предстоящей кончинѣ твоей, и короткое время ихъ власти предвѣщаетъ тебѣ краткость дней твоихъ. Поэтому въ постоянномъ размышленіи среди прелестей этой преходящей славы памятуй послѣдній часъ твой, ибо кому ты сталъ преемникомъ на престолѣ, за тѣми несомнѣнно послѣдуешь и въ смерти".

Такъ въ продолженіе четверти вѣка стоялъ Бернардъ на стражѣ Сіона, призывая на защиту его царей и іереевъ, ободряя ихъ духомъ Божіимъ и грозя имъ гнѣвомъ Божіимъ. Бернарда признавали еще при жизни его пророкомъ, и его житіе полно разсказовъ объ исполнившихся предсказаніяхъ его. Онъ предсказалъ продолжительность и бѣдствіе войны противъ Теобальда; брату своему, Гвидону,—пожалѣвшему расходы, понадобившіеся на перевозку въ Клерво тѣла посланнаго Бернардомъ въ Нормандію и умершаго тамъ монаха,—онъ предсказалъ, что онъ самъ не будетъ похороненъ въ ихъ обители; вѣстнику архіепископа майнцскаго, Масцелину, Бернардъ предрекъ, что онъ будетъ служить другому, болѣе мощному господину, т.-е. сдѣлается монахомъ, и т. п. Самое поразительное, впрочемъ, изъ пророчествъ, приписываемыхъ Бернарду его жизнеописателемъ Гауфридомъ, имѣетъ отношеніе къ его пререканіямъ съ королемъ Людовикомъ VI. Послѣ того, какъ Бернардъ напрасно пытался своими письмами смягчить гнѣвъ короля противъ изгнанныхъ имъ епископовъ, случилось однажды,—разсказываетъ біографъ,—что эти епископы въ присутствіи Бернарда, желая получить прощеніе короля, смиренно пали предъ нимъ на землю. Но когда король и тутъ не смягчился, Бернардъ, возбужденный гнѣвомъ, объявилъ на другой день королю откровеніе, которое онъ имѣлъ въ предшествовавшую ночь: „Упорство твое будетъ наказано смертью твоего перворechоднаго сына, королевича Филиппа; ибо я видѣлъ тебя и твоего младшаго сына Людовика распростертыми у ногъ тѣхъ епископовъ, которыхъ ты вчера оставилъ въ пренебреженіи, и я тогда понялъ, что Филиппъ умретъ, и по смерти его ты будешь умолять церковь, которую теперь угнетаешь, о замѣнѣ его Людовикомъ". Такъ и случилось, и вскорѣ послѣ того король сталъ хлопотать о помазаніи на царство „нынѣ царствующаго короля Людовика младшаго". Это поразительное по своей опредѣленности и трагичности пророчество, еслибы оно было достовѣрно, несомнѣнно свидѣтельствовало бы о томъ, что Бернардъ считалъ себя въ правѣ изрекать пророчества и объявлять кару Божію; во всякомъ же случаѣ, оно показываетъ, до какой степени въ Бернарда вѣрили какъ въ пророка.

Но въ другомъ, болѣе высокомъ и многозначительномъ смыслѣ можемъ и мы называть Бернарда *пророкомъ*. Никто въ христіанскомъ мірѣ не подходитъ такъ близко, какъ Бернардъ, къ великому типу ветхозавѣтнаго пророка; никто не осуществилъ такъ полно и величественно, какъ аббатъ де Клерво, роль и призваніе древнееврейскаго пророка — вдохновенно проводить въ народѣ

религіозный идеалъ, неподкупно и строго взывать для его осуществленія на землѣ къ народу, къ царямъ и іереямъ и въ то же время молиться за нихъ, а также призывать на нихъ небесную кару. Нельзя сомнѣваться, что Бернардъ сознавалъ свое духовное родство съ ветхозавѣтными пророками; очевидно, что онъ руководился ихъ примѣромъ и вдохновлялся образцомъ ихъ поученій и рѣчей. „Говоритъ Іеремія Господу за своихъ противниковъ: „Вспомни, Господи, что я стою передъ лицомъ Твоимъ, чтобы говорить за нихъ доброе, чтобы отвратить отъ нихъ гнѣвъ Твой", а затѣмъ: „предай сыновей ихъ голоду и подвергни ихъ мечу", и многое еще въ этомъ родѣ, столь же тяжелое, онъ нарекаетъ на нихъ (Іер. 18, 20)". Этими словами начинаетъ Бернардъ свое грозное обличеніе короля Людовика VI и его министровъ въ письмѣ къ кардиналу пренестинскому, и затѣмъ продолжаетъ: „Потому я считалъ нынѣ нужнымъ привести это на память вашему преподобію, что, какъ я вижу, со мною случилось нѣчто подобное тому, что̀ было съ пророкомъ. Вамъ извѣстно, какъ и я стоялъ за короля предъ лицомъ господина моего, хотя отсутствуя тѣлесно, но присутствуя духомъ, чтобы говорить за него доброе. Ибо онъ обѣщалъ доброе. Нынѣ же, такъ какъ онъ воздаетъ зломъ за добро, я принужденъ писать противное. Стыжусь моей ошибки и ложной надежды, которую я питалъ относительно его, и я благодарю, что, бывши, по простотѣ моей, просителемъ за него, я не былъ услышанъ" (№ 224). Также знаменателенъ и конецъ письма: „Вотъ что̀ побудило меня высказать рвеніе мое. Ибо не въ силахъ я исправить то, что̀ могъ обличить, но могу я усовѣщивать того, кто въ состояніи исправить (папу). Предъ нимъ, прошу васъ, оправдайте меня за то, что, въ силу перемѣны со стороны короля, и я перемѣнилъ рѣчь; вѣдь вамъ вѣдомо, какъ самому Богу сказалъ Божій пророкъ: съ мужемъ невиннымъ ты поступишь невинно, а съ лукавымъ — по лукавству его (Пс. 17, 27)".

Но какъ согласовалась эта роль неусыпнаго, неумолимаго обличителя-пророка съ мирнымъ призваніемъ монаха? какъ мирилось авторитетное и властное положеніе, которое доставили Бернарду его обширная дѣятельность въ мірѣ и еще болѣе его смѣлое, неподкупное обличеніе пороковъ сильныхъ міра сего — съ уединеннымъ, религіознымъ созерцаніемъ, которое составляло блаженство его жизни, со смиреніемъ и самоуниженіемъ, которыя были для него условіемъ нравственнаго совершенства? Этотъ вопросъ несомнѣнно раскрываетъ предъ нами коренное противорѣчіе въ духовной жизни Бернарда, глубокій разладъ въ душѣ

его. Его жизнь какъ бы распадалась на два существованія: индивидуальное, полное поэтическаго раздумья и мистическаго погруженія мысли въ идею Божества, и общественное служеніе, которое постоянно побуждало его возвращаться къ міру, бороться въ немъ, погружаться въ его страсти и дрязги. Бернарду постоянно нужно было дѣлать тяжелыя усилія, чтобы переходить отъ одного существованія въ другое, чтобы отрываться отъ монастыря и возвращаться въ міръ. Этотъ переходъ былъ для него тѣмъ мучительнѣе, что Бернардъ—кто бы это подумалъ?—былъ необыкновенно робокъ и остался таковымъ до конца жизни. Несмотря на свой проповѣднический талантъ и на неоднократный опытъ своей силы надъ людьми, Бернардъ, по собственному признанію, „никогда не возвышалъ своего голоса въ какомъ-нибудь обществѣ, какъ бы оно ни было просто, безъ того, чтобы имъ не овладѣвало чувство страха, и всегда предпочелъ бы молчать, еслибы не былъ побуждаемъ голосомъ совѣсти, страхомъ предъ Господомъ и братскою любовью“ [1]). Неудивительно поэтому, что онъ такъ часто отказывается отъ всякаго вмѣшательства въ дѣла другихъ, что онъ не хочетъ слышать о новыхъ порученіяхъ папы и его легатовъ, о новыхъ жалобахъ, съ которыми къ нему обращались. Передъ кардиналомъ-діакономъ Петромъ онъ оправдывается, что не пріѣхалъ къ нему, несмотря на его приглашеніе и свое желаніе; онъ поступилъ такъ не по лѣни, но потому, что рѣшилъ не оставлять монастыря иначе какъ по извѣстнымъ надобностямъ, а ни одной изъ таковыхъ тогда не представлялось (№ 17). А легату Матвѣю Бернардъ пишетъ, что „сердце его было готово повиноваться, но тѣло его до этого не допустило: онъ былъ изсушенъ жаромъ лихорадки и истомленъ испариной. Достаточно ли такое оправданіе—пусть судятъ друзья его, которые, не допуская никакой отговорки для него, какъ опутаннаго сѣтью монашескаго повиновенія, ежедневно замышляютъ исторгнуть его изъ монастыря и влачить по городамъ“.

„Но важное, говорятъ, было дѣло, велика была нужда. Надо было поэтому искать человѣка, способнаго вершить важныя дѣла. Если считаютъ меня таковымъ, то я не полагаю, а знаю, что никоимъ образомъ для нихъ негоденъ. Наконецъ, важныя ли то дѣла, или мелкія, которыми меня такъ притѣсняютъ, они меня не касаются. Ибо прошу только сказать мнѣ: легки или трудны дѣла, которыя вы такъ хлопочете возложить на друга, чтобы смутить любезное ему молчаніе? если они легки, то и безъ меня могутъ

[1]) S. Bern. Vita, I, l. 3, c. 22: Nisi conscientiae stimulis urgeretur, etc.

быть сдѣланы; если трудны, то они не могутъ быть *мною* исполнены; или меня цѣнятъ такъ высоко, чтобы возлагать на меня невозможное? какъ будто я въ силахъ сдѣлать то, чего никто не въ состояніи! Если же это такъ, то неужели же относительно меня одного отмѣнено рѣшеніе Твое, Господь Богъ мой, и воля Твоя—быть мнѣ монахомъ и скрыться въ святынѣ Твоей въ дни злобы—*мнѣ*, который нуженъ міру и безъ котораго епископы не могутъ вести свои дѣла?" (№ 21).

Здѣсь идетъ рѣчь о дѣлахъ болѣе или менѣе свѣтскаго характера; но также рѣшительно отклоняетъ отъ себя Бернардъ въ письмѣ къ епископу Туля, который прислалъ ему для наставленія „грѣшнаго человѣка", всякое вмѣшательство въ дѣла совѣсти, въ обязанности духовнаго пастыря (№ 61). Еще характернѣе то, что Бернардъ, этотъ страстный обличитель, признаетъ несовмѣстнымъ съ монашескимъ призваніемъ самое наставленіе другихъ, даже ссылается въ этомъ отношеніи на слова пророка: „Ни обязанность монаха, каковымъ я себя считаю, ни дѣло грѣшника, какимъ я, конечно, состою, не заключаются въ томъ, чтобы наставлять (docere), а въ томъ, чтобы скорбѣть. Поэтому я пребываю въ уединеніи и вмѣстѣ съ пророкомъ порѣшилъ (Пс. 38, 2), что буду наблюдать за путями моими, чтобы не согрѣшить мнѣ языкомъ моимъ" (№ 89).

При такомъ противорѣчіи въ своихъ намѣреніяхъ и раздвоеніи въ стремленіяхъ Бернардъ долженъ былъ чрезвычайно сильно ощущать происходившій въ немъ внутренній разладъ. Какъ глубокъ былъ этотъ разладъ, можно судить по тому, что онъ доходилъ у Бернарда до какого-то раздвоенія его сознанія. Когда онъ выступаетъ изъ своего аскетическаго уединенія, изъ своего созерцательнаго мистицизма въ реальную жизнь міра, онъ не узнаетъ самого себя, становится самъ себѣ чуждъ, видитъ въ себѣ другого человѣка. Бернардъ часто говорилъ близкому къ нему лицу, что „среди высокихъ почестей и проявленій сочувствія со стороны народа или знатныхъ лицъ ему казалось, что онъ превращается въ другого человѣка, а что онъ самъ отсутствуетъ, или что все это происходитъ во снѣ".

Разладъ въ жизни Бернарда можно прослѣдить еще глубже; онъ проявляется не только во внѣшнемъ положеніи, въ поочередной смѣнѣ созерцательнаго мистицизма и кипучей, вліятельной дѣятельности, но захватываетъ затаенный міръ его совѣсти. Возможна ли была такая власть надъ людьми—безъ увлеченія этою властью? возможно ли было такое горячее участіе къ однимъ, такое страстное обличеніе другихъ—безъ ошибокъ и несправедли-

вости? возможно ли было безнаказанно вращаться среди страстей и интересовъ людскихъ—безъ нарушенія если не чистоты, то цѣльности совѣсти, безъ уступокъ и сдѣлокъ съ нею?

Нѣсколько случаевъ изъ жизни Бернарда освѣтятъ намъ этотъ вопросъ и покажутъ, какъ страстность, съ которою онъ проводилъ и отстаивалъ то, чтò считалъ законнымъ и достойнымъ, могла принимать видъ личнаго пристрастія и властолюбія; они покажутъ также, какіе подводные камни встрѣчались въ жизни этого безкорыстнаго и вдохновленнаго дѣятеля, и какъ его идеальныя требованія, помимо его воли, сплетались съ интересами людей и партій. Во время пребыванія Бернарда въ Римѣ къ нему обратились деканъ и одинъ изъ канониковъ лангрскаго капитула съ просьбою помочь имъ при избраніи епархіальнаго епископа, такъ какъ папа разрѣшилъ имъ приступить къ этому избранію не иначе какъ съ совѣта какого-нибудь монашествующаго лица. Бернардъ согласился принять участіе въ ихъ дѣлѣ лишь въ томъ случаѣ, если удостовѣрится въ достоинствѣ предложенныхъ кандидатовъ. Каноники обѣщали во всемъ положиться на совѣтъ Бернарда. Къ нимъ присоединился и архіепископъ ліонскій, къ митрополіи котораго принадлежалъ Лангръ, и заявилъ, что не утвердитъ выбора, сдѣланнаго при иныхъ условіяхъ. Тогда Бернардъ вступилъ съ ними въ соглашеніе, и послѣ продолжительнаго совѣщанія они, отвергнувъ всѣхъ другихъ кандидатовъ, остановились на двоихъ, которые должны были быть предложены капитулу въ Лангрѣ. Это рѣшеніе было, благодаря Бернарду, одобрено папою.

Бернардъ выѣхалъ изъ Рима нѣсколько позднѣе ихъ и направился домой. Переѣхавши черезъ Альпы, онъ съ изумленіемъ узналъ, что въ Лангрѣ было избрано совершенно другое лицо, и что въ скоромъ времени въ Ліонѣ должно произойти его посвященіе. Объ избранномъ лицѣ Бернарду передавали такіе неблагопріятные отзывы, что онъ не хотѣлъ сообщать папѣ того, чтò „по-неволѣ“ слышалъ. Въ то же время многіе духовныя лица умоляли его отклониться отъ пути и направиться черезъ Ліонъ, чтобы, если возможно, помѣшать „нечестивому дѣлу“. Несмотря на болѣзненное свое состояніе и утомленіе, Бернардъ, все еще не вѣря слухамъ, уступилъ просьбамъ и поѣхалъ на Ліонъ.

Тамъ, къ его огорченію, слухи оказались вѣрными. Архіепископъ оправдывался тѣмъ, что избраніе, противное ихъ соглашенію, состоялось подъ вліяніемъ сына герцога Бургундскаго и что онъ

уступилъ мира ради; онъ изъявлялъ, однако, готовность исполнить волю Бернарда. „Не дай Богъ этого!“ воскликнулъ послѣдній: „не моя воля, а Божья воля должна быть исполнена“,—и совѣтовалъ архіепископу созвать соборъ изъ епископовъ и другихъ духовныхъ лицъ и поступить согласно съ рѣшеніемъ, которое тотъ приметъ, помолившись св. Духу.

Архіепископъ обѣщалъ такъ именно поступить, и Бернардъ уѣхалъ, но между тѣмъ избранное въ Лангрѣ лицо отправилось къ королю и получило отъ него инвеституру, а вслѣдъ за этимъ вмѣсто Ліона былъ назначенъ другой городъ для его посвященія и самый срокъ для этого былъ ускоренъ противъ обычая. Все это было сдѣлано съ такою поспѣшностью, что Бернардъ едва успѣлъ прислать свой протестъ и апелляцію въ Римъ. Все здѣсь изложенное мы и узнаемъ изъ письма Бернарда къ папѣ Иннокентію II (№ 164).

Между тѣмъ въ дѣлѣ есть другое письмо, излагающее точку зрѣнія противной Бернарду стороны. Избранное въ Лангрѣ лицо былъ монахъ клюнійскаго ордена, и мы имѣемъ письмо къ Бернарду тогдашняго аббата Клюни, Петра Почтеннаго, который находился въ дружескихъ отношеніяхъ къ Бернарду. Письмо Петра изложено очень просто и написано въ мягкомъ и примирительномъ тонѣ. Онъ сообщаетъ, что когда совершилось избраніе его монаха, лангрскіе каноники обратились къ нему съ просьбой разрѣшить монаху покинуть монастырь, что онъ колебался, такъ какъ монахъ былъ ему нуженъ, но, наконецъ, уступилъ просьбамъ. Избиратели затѣмъ обратились къ королю, который одобрилъ избраніе и далъ инвеституру.

Въ это время только Петръ узналъ, что какія-то лица въ Ліонѣ успѣли вооружить Бернарда противъ того, что̀ было сдѣлано со всеобщаго согласія. Онъ пожелалъ имѣть личное свиданіе съ Бернардомъ по этому дѣлу; но такъ какъ это оказалось невозможнымъ, то онъ прибѣгаетъ къ письму. Онъ соглашается, что дурные слухи о человѣкѣ могли внушить нерасположеніе къ нему, но пишетъ, что эти слухи надо было провѣрить, прежде чѣмъ публично заявлять о нихъ папѣ. Онъ напоминаетъ Бернарду, что обвиняемый—монахъ Клюни, т.-е. духовный сынъ аббата Петра, котораго Бернардъ такъ любилъ, и что лица, внушившія ему предубѣжденіе противъ монаха—непримиримые враги ордена, не воздерживающіе ни языка, ни рукъ своихъ отъ святотатственныхъ нападеній на него. Петръ прибавляетъ, что недостойно Бернарда вѣрить такимъ отъявленнымъ врагамъ Клюни.

Когда до него дошли упомянутые дурные слухи о его монахѣ,—пишетъ далѣе Петръ,—онъ подвергъ допросу обвиненнаго, и тотъ готовъ былъ присягнуть въ несправедливости обвиненія. Петръ заявлялъ при этомъ, что ему хорошо извѣстно, какъ и почему возникли эти слухи, и при личномъ свиданіи объяснилъ бы Бернарду, изъ какого мутнаго источника поднялась ложь, отуманившая его свѣтлый умъ. Конецъ письма написанъ въ другомъ тонѣ, который едва ли могъ успокоительно подѣйствовать на Бернарда. Петръ проситъ его не думать, что онъ защищаетъ своего монаха изъ желанія сдѣлать его епископомъ. Для клюнійскихъ монаховъ епископство не представляетъ необычнаго дѣла. Епископы, архіепископы, патріархи и—что̀ важнѣе всего этого—папы избирались изъ ихъ рядовъ. И почему бы мудрому и образованному клюнійскому монаху не сдѣлаться лангрскимъ епископомъ? Развѣ Бернардъ опасается, что, въ качествѣ клюнійца, онъ не будетъ любить монаховъ Сито? Напрасно! монахъ всегда будетъ любить монаховъ, „и не дерзнетъ монахъ изъ нашихъ отстать отъ насъ, видя, какъ я люблю тебя".

Но Бернардъ не оставилъ дѣла, а напротивъ, страстными, настоятельными письмами поддерживалъ свой протестъ въ Римѣ: „Снова взываю къ вамъ, снова безпокою васъ, если не громкими криками, то слезнымъ стенаніемъ",—писалъ онъ папѣ Иннокентію (№ 166). „Побуждаетъ меня повторить возгласы мои повторенная обида нечестивыхъ, продолжающихъ свою неправду. Усилились они, присовокупивъ къ ней вѣроломство. Къ неправдѣ они надбавляютъ неправду и высокомѣріе ихъ все возростаетъ. Преодолѣла ярость, исчезъ стыдъ и страхъ Божій. Того, кого не убоялись избрать вопреки твоему осмотрительному и справедливому распоряженію, отецъ мой, они и послѣ апелляціи къ твоему имени осмѣлились въ насмѣшку посвятить [1]). И это дерзнули (епископы) ліонскій, отёнскій, маконскій — друзья клюнійцевъ. Какое огромное число святыхъ людей подвергнется огорченію коварствомъ ихъ и нахальствомъ, если будутъ принуждены нести такое иго и такимъ способомъ имъ навязанное. О, нечестіе! Они отнесутся къ этому не иначе, какъ если бы ихъ заставили преклонить колѣни предъ Вааломъ или, по словамъ пророка, „заключить союзъ съ смертью и съ преисподней сдѣлать договоръ". Я спрашиваю: гдѣ право, гдѣ законъ, гдѣ авторитетъ святыхъ каноновъ, гдѣ, наконецъ, почтеніе къ вели-

---

[1]) Бернардъ употребилъ здѣсь, въ видѣ сарказма, вмѣсто consecrare, противоположное ему и необычное: exsecrare.

чію (папы)? Неужели же апелляція, къ которой не возбраняется доступъ никакому обиженному, одному мнѣ не принесетъ пользы? Конечно, тамъ, гдѣ властвовало золото, гдѣ серебро произносило приговоръ, законы и каноны были нѣмы, разумъ и справедливость не нашли себѣ мѣста".

Въ другомъ письмѣ къ папѣ Бернардъ возвращается къ вопросу о дурной репутаціи избраннаго. „Разслѣдуй, отецъ, разслѣдуй внимательно, какое свидѣтельство даютъ ему какъ близкіе къ нему, такъ и далекіе отъ него. Мнѣ стыдъ воспрещаетъ говорить о немъ то, что̀ приписываетъ ему публичная молва".

Наконецъ, Бернардъ обращается ко всѣмъ епископамъ и кардиналамъ римской куріи и требуетъ, чтобы они приняли его сторону, во имя всего, что̀ онъ для нихъ сдѣлалъ (№ 168). „Вамъ извѣстно, если вы считаете достойнымъ вспомнить о томъ, какъ я проводилъ съ вами годину бѣдствій, разъѣзжая повсюду и возвращаясь къ вамъ, отправляясь ко двору короля и пребывая съ вами неотступно во всѣхъ испытаніяхъ вашихъ, такъ что по изнуреніи всѣхъ силъ моихъ, я послѣ того, какъ небо ниспослало миръ церкви, едва былъ въ состояніи возвратиться на родину. И вспоминаю я объ этомъ, не хвастаясь и не попрекая васъ, но взывая къ вамъ и настаивая, напоминая и требуя обязательнаго для васъ чувства состраданія ко мнѣ. Понуждаетъ меня необходимость обратиться ко всѣмъ должникамъ". Бернардъ говоритъ, что не ставитъ себѣ въ заслугу то, что̀ обязанъ былъ сдѣлать, но если онъ сдѣлалъ все, что̀ слѣдовало, то развѣ онъ заслужилъ за это кару? „И однако, оставивъ васъ, я обрѣлъ лишь смуту и горе, я взывалъ къ имени Божію, и это было безполезно, я взывалъ къ вамъ, и это было напрасно, ибо мощные земные боги сильно возвысились—ліонскій архіепископъ и клюнійскій аббатъ. Они, вѣря въ силу свою и хвастаясь множествомъ богатствъ своихъ, на меня возстали, и не на меня только, но и противъ великаго множества рабовъ Божіихъ, противъ васъ также, противъ самихъ себя, противъ всякой справедливости и чести".

„Они поставили надъ главой нашей—о, стыдъ какой!—человѣка, котораго добрые гнушаются, а дурные осмѣиваютъ. Какимъ путемъ это совершилось, какимъ необычнымъ порядкомъ—да видитъ это Богъ и судитъ! да видитъ и римская курія и горюетъ! да сжалится она и поднимется на кару злодѣевъ, на славу людей честныхъ! Что же въ самомъ дѣлѣ? Неужели угодно тебѣ, владычица міра, поставленная надъ вселенной, какъ каратель въ гнѣвѣ и судья милостивый, неужели, говорю я, угодно

тебѣ, чтобы нечестивый возгордился, а убогій былъ сокрушенъ, тотъ убогій, кто на твоей службѣ, не имѣя достоянія, чтобы расточать его, своей крови не пожалѣлъ? Достойнымъ ли тебѣ кажется пользоваться миромъ, а о моемъ мирѣ не заботиться?.. Если я нашелъ милость въ глазахъ вашихъ, то вырвите несчастнаго изъ рукъ одолѣвшихъ его! въ противномъ случаѣ, я буду стонать въ страданіяхъ моихъ и слезы будутъ денно и нощно пищей моею"...

Бернардъ настоялъ на своемъ: избранный лангрскими канониками, одобренный архіепископомъ ліонскимъ, поддерживаемый аббатомъ клюнійскимъ, покровительствуемый герцогомъ бургундскимъ и уже утвержденный королемъ Франціи, епископъ былъ отвергнутъ, а на престолъ лангрской епархіи былъ возведенъ монахъ его собственнаго монастыря, родственникъ его, исправлявшій должность пріора въ Клерво во время отсутствія Бернарда. Мы не рѣшались прервать рѣчи Бернарда, чтобы показать, какимъ полнымъ ключомъ било его негодующее слово, но изъ нея видно и то, что Бернардъ велъ дѣло о томъ, кому быть въ Лангрѣ епископомъ, съ такою страстностью, какъ будто вопросъ шелъ о величайшихъ интересахъ церкви, что онъ представлялъ чуть не нравственнымъ извергомъ монаха, о которомъ Петръ Почтенный отзывался самымъ лучшимъ образомъ; самый споръ о лангрскомъ епископѣ принимаетъ видъ состязанія въ вліяніи и могуществѣ между двумя соперничествовавшими монашескими орденами—клюнійцевъ и цистерціанцевъ. Правда, многое можно сказать по этому поводу въ оправданіе Бернарда. Для него выборъ лангрскаго епископа былъ существенно важенъ, такъ какъ Клерво находился въ его епархіи и цистерціанцы были не изъяты, подобно клюнійцамъ, изъ-подъ авторитета мѣстнаго епископа. Петръ клюнійскій обходитъ молчаніемъ нарушеніе состоявшагося въ Римѣ соглашенія, не упоминаетъ о вѣроятномъ давленіи и вмѣшательствѣ свѣтской власти въ избраніе епископа, но все-таки приходится думать, что Бернардъ иногда слишкомъ горячо вступался за то, что̀ считалъ правымъ дѣломъ, и слишкомъ легко поддавался при оцѣнкѣ людей слухамъ и вліянію, а можетъ быть, и интригѣ другихъ. Относительно послѣдняго, впрочемъ, не можетъ быть сомнѣнія—онъ самъ въ этомъ сознавался. Такъ, у насъ есть письмо Бернарда, въ которомъ онъ горячо защищаетъ предъ папою епископа аррасскаго Алоизія, противъ аббата св. Васта и монаховъ монастыря Маршіеннъ; письмо это, въ которомъ онъ рѣзко обличаетъ монаховъ и аббата, начинается знаменательными словами (№ 339): „Не ново и не

удивительно, что духъ человѣка способенъ быть введеннымъ въ заблужденіе и вводить въ заблужденіе"—и дѣйствительно, впослѣдствіи ему суждено было самому признаться на соборѣ въ Ланьи, что онъ былъ обманутъ Алоизіемъ насчетъ монаховъ. Въ другомъ письмѣ (№ 274) онъ раскаявается въ томъ, что изъ расположенія къ епископу отёнскому и по его просьбѣ хлопоталъ о доставленіи церковной бенефиціи его недостойному племяннику. Ему пришлось также извиняться предъ аббатомъ клюнійскимъ въ какихъ-то выраженіяхъ въ недошедшемъ до насъ письмѣ, которыми Петръ Почтенный обидѣлся. Бернардъ оправдывался тѣмъ, что его секретари иногда невѣрно передаютъ его мысль и дозволяютъ себѣ выраженія, которыя онъ бы вычеркнулъ, еслибы имѣлъ на то время; онъ обѣщалъ впредь прочитывать всѣ письма къ Петру клюнійскому.

Но какъ опасно было для спокойствія совѣсти вмѣшательство въ современныя распри—объ этомъ въ особенности ярко свидѣтельствуетъ роль Бернарда въ распрѣ между королемъ Франціи и графомъ Шампани. Поводомъ къ ней, какъ мы упоминали, послужилъ разводъ графа Радульфа Вермандуа съ племянницей графа Теобальда и его вторичный бракъ съ свояченицей Людовика VII, за что папа отлучилъ отъ церкви Радульфа и его жену и наложилъ интердиктъ на его владѣнія. Въ послѣдовавшей затѣмъ войнѣ Теобальдъ едва не былъ преданъ въ руки недруговъ своихъ. Мы продолжаемъ излагать дѣло словами Бернарда въ его письмѣ къ папѣ: „Чтò же оставалось! Чтобы земля не была въ конецъ разорена и все королевство не распалось въ междоусобіяхъ, этотъ благочестивѣйшій сынъ вашъ, радѣтель и защитникъ церковной вольности, былъ принужденъ клятвенно обѣщать, что снято будетъ отлученіе, наложенное вашимъ легатомъ на прелюбодѣя-тиранна, виновника всѣхъ этихъ бѣдствій и горя, и на его прелюбодѣйку-жену; все это графъ сдѣлалъ по просьбѣ и совѣту нѣсколькихъ вѣрныхъ и мудрыхъ мужей. Ибо они говорили ему, что легко и безъ ущерба для церкви онъ добьется этого отъ васъ, такъ какъ въ вашей рукѣ повторить немедленно отлученіе, правильно изреченное, и нерушимо подтвердить его, для того, чтобы перехитрить хитроуміе (ars arte deludatur) и добиться этимъ способомъ мира, и чтобы тотъ, кто гордится злобою своей и могущъ въ неправдѣ, не извлекъ изъ этого никакой выгоды".

Прикосновенность къ этому дѣлу Бернарда, какъ лица, близкаго къ графу Теобальду и вліятельному въ куріи, навлекла на него большія нареканія. „Обманутъ графъ Радульфъ и снова

отлученъ", съ упрекомъ писалъ Людовикъ VII Бернарду, когда интердиктъ былъ дѣйствительно снятъ папою и потомъ снова наложенъ. Нареканія на Бернарда слышатся и теперь, и даже преувеличенныя; развѣ это „не признаніе намѣреннаго двоедушія" со стороны Бернарда?—восклицаетъ одинъ изъ современныхъ намъ историковъ [1]).

Не надо, однако, забывать, что Бернардъ не былъ виновникомъ указанной комбинаціи; фактъ совершился безъ его участія. Въ своемъ письмѣ къ папѣ онъ только объясняетъ ему дѣло и оправдываетъ Теобальда и его духовныхъ совѣтниковъ. Но если даже признать его солидарнымъ съ ними, такъ какъ онъ ихъ не осуждаетъ, то нужно имѣть въ виду, что Бернардъ былъ глубоко возмущенъ уловкой, придуманной королемъ и Радульфомъ, чтобы посредствомъ насилія надъ союзникомъ папы обезпечить Радульфу безнаказанность за нарушеніе церковнаго закона и неповиновеніе папѣ. „Онъ самъ изловленъ въ коварствѣ своемъ и упалъ въ яму, которую другимъ выкопалъ", писалъ Бернардъ по этому поводу королевскому министру Іослену (№ 222). Клятва, данная Теобальдомъ, была въ глазахъ Бернарда законнымъ средствомъ самообороны; притомъ Теобальдъ добросовѣстно исполнилъ свое обязательство, папа же не могъ потерпѣть открытаго глумленія надъ таинствомъ брака и интердиктомъ. Бернардъ былъ далекъ отъ того, чтобы оправдывать сдѣлки съ совѣстью хотя бы изъ добрыхъ побужденій, и именно по поводу этого дѣла высказался противъ принципа, что цѣль оправдываетъ средства. Въ отвѣтъ королю, просившему его предотвратить отъ Радульфа вторичное отлученіе, „ради многихъ бѣдъ, которыя отъ этого послѣдуютъ", Бернардъ, отклоняя отъ себя ходатайство за Радульфа, пишетъ: „Скорблю о бѣдахъ, если таковыя отсюда послѣдуютъ, но мы не должны дѣлать дурное и съ тѣмъ, чтобы изъ него выходило добро" (№ 220).

Во всякомъ случаѣ, однако, приведенный фактъ весьма важенъ для характеристики Бернарда, его увлеченія современными ему церковными идеалами и того нравственнаго разлада, къ которому его привело его страстное участіе въ столкновеніяхъ и распряхъ міра.

Что̀ же побуждало Бернарда отрекаться отъ аскетическаго бѣгства изъ міра, которое доставляло ему покой и блаженство? Что̀ принуждало его снова вмѣшиваться въ противорѣчивые инте-

[1]) Моррисонъ (Life of St. Bern., 347) полемизируетъ по этому поводу съ Arbois de Jubainville, защищающимъ Бернарда. Клерикальный историкъ abbé Ratisbonne совсѣмъ умалчиваетъ о данномъ фактѣ.

ресы міра, страсти и бури котораго такъ волновали его душевное спокойствіе? Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ мы найдемъ разрѣшеніе и той исторической проблемы, которая такъ ярко олицетворяется предъ нами въ личности Бернарда.

Оправдываясь однажды предъ папою Евгеніемъ (№ 239) въ томъ, что постоянно надоѣдаетъ ему своими просьбами за другихъ, Бернардъ пишетъ: „Со всѣхъ сторонъ стекаются ко мнѣ люди съ своими дѣлами. Въ такомъ множествѣ друзей не мало такихъ, которымъ я не могу отказать въ моихъ услугахъ не только безъ соблазна (scandalum), но и безъ *грѣха*".

Для избѣжанія грѣха, значитъ, Бернардъ принужденъ вступать въ мірскія дѣла, защищать друзей, отстаивать ихъ интересы; во избѣжаніе грѣха онъ не можетъ молчать, когда видитъ неправду и беззаконія среди людей. Эта мысль особенно ярко проведена въ одномъ трактатѣ, который долго приписывался Бернарду и часто издавался подъ его именемъ, но выдѣленъ Мабильономъ изъ числа завѣдомо ему принадлежащихъ произведеній. Изъ глубины сердца, можно сказать, вырывается у автора „Размышленій" крикъ его встревоженной совѣсти: „множества неправдъ моихъ испугавшись, убоялся я осуждать прегрѣшенія другихъ, и этимъ сталъ виновникомъ смерти, такъ какъ не изгналъ зла, которое могъ бы изгнать, обличая его" [1]).

Итакъ, идея грѣха руководитъ монахомъ; она уводитъ его изъ міра и снова въ него вводитъ; она наталкиваетъ его на противорѣчіе и разладъ въ жизни. На самомъ дѣлѣ, чтобы побѣдить въ себѣ грѣхъ, монахъ удаляется въ ограду монастыря, и ради борьбы съ грѣхомъ онъ снова возвращается въ міръ. Чѣмъ успѣшнѣе онъ ведетъ борьбу съ грѣхомъ въ самомъ себѣ, тѣмъ неизбѣжнѣе становится для него бороться противъ грѣха другихъ и, преодолѣвъ свое отвращеніе къ міру, содѣйствовать торжеству добра надъ грѣхомъ и зломъ.

Но другое еще побужденіе объясняетъ намъ противорѣчіе въ жизненномъ идеалѣ Бернарда. Мы видѣли, что цѣлью жизни и высшимъ блаженствомъ въ ней онъ считалъ любовь къ Богу, и удовлетворенія этого чувства онъ искалъ въ мистическомъ сліяніи своей души съ верховнымъ началомъ бытія; но именно эта же любовь къ Богу заставляла его отрываться отъ „краткихъ мгно-

---

[1]) Et ideo mortis auctor extiti, quia virus quod clamando expellere potui, non expuli. Meditationes Piissimae de Cognitione humanae conditionis. C. 10. У Migne въ томѣ 184, col. 501.

веній" (parva est mora) высокаго личнаго блаженства и отъ мистическаго созерцанія божественнаго переходить къ земнымъ заботамъ. „Никакое Божіе дѣло (quae dei esse constiterit) я не считаю для себя чуждымъ", заявлялъ Бернардъ. Въ этомъ видоизмѣненіи извѣстнаго изреченія римскаго поэта Бернардъ мѣтко формулировалъ движущую силу средневѣковаго міровоззрѣнія, какъ онъ его понималъ. Отрицаніе міра здѣсь для человѣка лишь средство для развитія въ себѣ любви къ Богу, но любовь къ Богу охватываетъ всѣ дѣла и интересы Божьи на землѣ.

Обѣ стези, намѣченныя словами Бернарда,—и неизбѣжная борьба съ грѣхомъ, и любовь къ Богу,—вели его къ одной и той же цѣли; какъ побѣда надъ зломъ, такъ и осуществленіе блага въ мірѣ совпадали и сосредоточивались для него въ идеѣ Божескаго царства. Въ двойственномъ смыслѣ этой идеи, какъ она была развита Августиномъ, лежитъ разгадка психологической и исторической проблемы, которая насъ занимаетъ. Божеское царство *идеально*: въ этомъ смыслѣ человѣкъ становится его гражданиномъ, покидая міръ и стараясь аскетическимъ умерщвленіемъ тѣла и мистическимъ восторгомъ предвкушать на землѣ небесное блаженство; но Божеское царство есть и нѣчто *реальное*: оно воплощается въ церкви,—а въ этомъ смыслѣ гражданинъ этого царства обязанъ посвятить всю жизнь свою торжеству церкви и ея закона на землѣ.

Двойственность идеи вызываетъ противорѣчіе въ призваніи монаха и разладъ въ его личной жизни и совѣсти, но противорѣчіе и разладъ исчезаютъ въ общемъ единствѣ средневѣковаго идеала.

Этому идеалу служилъ Бернардъ и стремился осуществить его въ обѣихъ его формахъ—въ аскетической и въ теократической.

Служеніе Бернарда теократическому идеалу, представленному церковью, было двойное: практическое и теоретическое; въ обоихъ случаяхъ оно имѣло *реформаторское* значеніе: оно имѣло цѣлью или *исправленіе* лицъ, обращеніе ихъ, какъ мы видѣли, на путь благочестія, обличеніе ихъ неправды, подчиненіе ихъ церковному и нравственному закону; но реформаторская дѣятельность Бернарда относилась также къ церкви, какъ къ учрежденію; она имѣла цѣлью поднять ее на высоту ея призванія, освободить отъ вкравшихся въ нее злоупотребленій, возвратить ее къ первобытной чистотѣ и святости или, вѣрнѣе, приблизить ее къ тому идеалу, который побуждалъ средневѣковыхъ людей отождествлять ее съ „царствомъ Божескимъ" на землѣ.

Эту сторону дѣятельности Бернарда мы должны теперь при-

нять во вниманіе для полной оцѣнки его исторической роли. До сихъ поръ мы видѣли его въ роли неустаннаго борца за единство и силу церкви, за неприкосновенность ея ученія; мы видѣли его въ роли строгаго блюстителя чести и закона церкви, неумолимаго цензора и обличителя-пророка; теперь онъ представится намъ какъ одинъ изъ главныхъ зодчихъ того идеальнаго строя, которымъ вдохновлялась и изъ котораго черпала свою силу средневѣковая теократія.

V.

Реформаторская попытка Бернарда заслуживаетъ тѣмъ бо̀льшаго вниманія, что она совпадаетъ съ критической эпохой въ исторіи католической церкви: она явилась тогда въ извѣстномъ смыслѣ предостереженіемъ въ ту самую пору, когда она начинала уклоняться отъ своего идеала и принимать формы „земного царства“. Реформаторская дѣятельность Бернарда относится ко всѣмъ тремъ главнымъ учрежденіямъ церковной теократіи—къ монашеству, къ іерархіи и къ папству.

О реформаторскихъ идеяхъ Бернарда относительно монашества намъ можно ограничиться немногими замѣчаніями, такъ какъ Бернардъ, въ этомъ случаѣ, отчасти проводитъ начала уже усвоенныя его орденомъ. Какъ нѣкоторые другіе ордена, такъ и самое цистерціанство, возникло какъ протестъ противъ ослабленія монашеской дисциплины и недостатковъ, укоренившихся среди прежнихъ монастырскихъ учрежденій. Въ отличіе отъ бенедиктинцевъ и клюнійцевъ, уставъ (Charta Caritatis) и правила цистерціанцевъ узаконяли: еще болѣе суровый и скудный образъ жизни по отношенію къ пищѣ и одеждѣ, устраненіе роскоши даже въ богослуженіи и убранствѣ церквей, смиренное подчиненіе епархіальнымъ епископамъ, невмѣшательство въ кругъ дѣятельности духовенства и запрещеніе монахамъ совершать требы—крещеніе дѣтей, заупокойныя обѣдни и пр., наконецъ, болѣе правильныя и строгія ревизіи монастырей и ограниченіе власти главнаго аббата ордена [1]).

Глубокое впечатлѣніе произвелъ на современниковъ пріемъ, сдѣланный папѣ Иннокентію, когда онъ посѣтилъ Клерво. Монахи вышли на встрѣчу Папѣ „не въ шелку и пурпурѣ, не съ шумными трубными звуками и криками ликованія, не съ пере-

[1]) См. Gieseler, II, 2, p. 310.

плетенными въ золото и серебро книгами", а въ своихъ бѣлыхъ рясахъ изъ грубаго сукна, съ протяжнымъ пѣніемъ гимновъ, неся предъ собою *деревянный* крестъ. И папа, и сопровождавшіе его епископы были тронуты до слезъ. Такой рѣзкій контрастъ между цистерціанцами и клюнійцами, среди которыхъ именно въ началѣ XII вѣка, подъ управленіемъ аббата Понція, значительно расшаталась монашеская дисциплина, вызвалъ взаимное раздраженіе между этими орденами, выразившееся въ полемическихъ посланіяхъ и трактатахъ. Для устраненія такого „соблазна (scandalum) въ царствѣ Божескомъ" Бернардъ написалъ, по просьбѣ своего друга Гвилельма, аббата св. Теодориха, трактатъ, изъ котораго лучше всего можно усмотрѣть его взглядъ на монастырскую реформу. Въ этой „Апологіи" Бернардъ оправдывается противъ обвиненій въ недоброжелательствѣ и высокомѣрномъ пренебреженіи его ордена къ клюнійцамъ, взываетъ къ смиренію и взаимной любви между орденами, но вмѣстѣ съ тѣмъ горячо и ѣдко порицаетъ то, что̀ онъ называетъ „излишествами" клюнійцевъ.

Эта часть „Апологіи" представляетъ оживленную картину и бойкую сатиру монашескаго быта. „Кто могъ думать вначалѣ, когда возникло монашество, что монахи дойдутъ до такого разслабленія?"—восклицаетъ Бернардъ; онъ изумляется, откуда могла войти въ обычай среди монаховъ такая неумѣренность въ пищѣ и питьѣ, въ одеждѣ и заботѣ о постели, въ убранствѣ коней и постройкѣ зданій? „Нынѣ скудость въ тратахъ называется жадностью, трезвость—угрюмостью, молчаніе принимается за печаль. Наоборотъ, распущенность называется утонченностью, расточительность—щедростью, болтливость—привѣтливостью, смѣхъ — веселостью, изнѣженность въ одеждѣ и пышность конской сбруи считаются приличіемъ, излишняя забота о постели—чистоплотностью".

Бернардъ издѣвается надъ извращеніемъ духа монашества: вмѣсто *одного* какого-нибудь мяса, отъ котораго монахи воздерживаются, на столъ предъ ними выставляютъ громадныя рыбы *двухъ* сортовъ; онъ подшучиваетъ надъ поварскою способностью монаховъ, благодаря которой „они пожираютъ четыре и пять блюдъ, такъ что первое не мѣшаетъ послѣднему, и сытость не уменьшаетъ аппетита". Входя въ подробности, онъ указываетъ для примѣра, какъ самая простая пища, яйцо—становится предметомъ поварского ухищренія. „Кто можетъ пересказать,—восклицаетъ онъ,—на сколько ладовъ приготовляются одни яйца, въ жидкомъ и твердомъ видѣ, по одиночкѣ или въ смѣси; съ какимъ

вниманіемъ они разливаются на сковородѣ, или сбиваются, варятся, пекутся, поджариваются, фаршируются“ [1]).

„Чтò сказать о питьѣ воды,—продолжаетъ Бернардъ,—когда мы даже не терпимъ, чтобы она примѣшивалась къ вину? Ибо мы всѣ,—иронически замѣчаетъ онъ,—съ того дня, когда становимся монахами, страдаемъ слабымъ желудкомъ и, какъ подобаетъ, не пренебрегаемъ столь нужнымъ совѣтомъ апостола объ употребленіи вина [2]). Но почему же монахи оставляютъ безъ вниманія слово „умѣренно“ въ этомъ совѣтѣ? за одну трапезу обносится три и четыре раза на половину наполненная чаша. И еслибы монахи еще довольствовались *однимъ*, хотя бы не разбавленнымъ виномъ!“ Изъ дальнѣйшихъ словъ Бернарда видно, что въ нѣкоторыхъ монастыряхъ его времени уже процвѣтало искусство приготовленія и сдабриванія вина медомъ и „порошками“, такъ что первообразы знаменитыхъ монашескихъ ликеровъ, Бенедиктина и Шартрёза, можно сказать, восходятъ до XII вѣка.

Порицая излишества въ другихъ отношеніяхъ, Бернардъ издѣвается надъ тѣмъ, что нерѣдко монахъ и рыцарь рядятся въ одно и то же сукно, и разсказываетъ, что ему случалось видѣть аббата въ сопровожденіи свиты изъ 60 всадниковъ слишкомъ: „такихъ аббатовъ скорѣе примешь за государей, чѣмъ за пастырей“.

„Но это мелочи,—заключаетъ Бернардъ,—перехожу къ болѣе важному, хотя оно и кажется неважнымъ, такъ какъ стало обычнымъ“. Съ этими словами онъ обращается къ вопросу объ излишествахъ въ построеніи и убранствѣ монастырскихъ церквей. Въ этомъ отношеніи Бернардъ такъ безпощадно порицалъ всякую роскошь и такъ безусловно высказывался даже противъ примѣненія художества къ украшенію храмовъ, что въ страстной рѣчи этого аскетическаго реформатора и подвижника католической теократіи слышится какъ бы голосъ позднѣйшаго проповѣдника-кальвиниста. Какъ далеко идетъ это сходство—можно, между прочимъ, усмотрѣть изъ высказаннаго Бернардомъ въ другомъ мѣстѣ взгляда его на церковную музыку. Бернардъ осуждалъ излишнее примѣненіе и этого искусства, которымъ съ такимъ эффектомъ пользуется католическое богослуженіе. Онъ требовалъ, чтобы музыка и пѣніе ни въ какомъ случаѣ не заглушали словъ

[1]) Приводимъ это мѣсто въ оригиналѣ, какъ образчикъ слога Бернарда: Quis enim dicere sufficit, quot modis (ut caetera taceam) sola ova versantur et vexantur quanto studio evertuntur, subvertuntur, liquantur, durantur, diminuuntur; et nunc quidem frixa, nunc assa, nunc farsa, nunc mistim, nunc singillatim apponuntur? C. IX.

[2]) Посл. къ Тим. 5, 23. Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частыхъ твоихъ недуговъ.

гимна, и непосредственному дѣйствію смысла этихъ словъ на сердце человѣка онъ придавалъ бо̀льшее значеніе, чѣмъ вліянію музыки на религіозное чувство.

Глава „Апологіи", направленная противъ художественнаго или роскошнаго убранства церквей, заключаетъ въ себѣ много матеріала, интереснаго для культурной исторіи. „Не буду касаться,—говоритъ Бернардъ,—безконечной высоты церквей, неумѣренной длины, излишней ширины, роскошной отдѣлки, интересной разрисовки; все это, притягивая къ себѣ глаза молящихся, ослабляетъ ихъ чувство и мнѣ напоминаетъ чинъ древнихъ евреевъ. Но пусть это такъ будетъ къ славѣ Божіей. Но вотъ о чемъ я, монахъ, спрошу у монаховъ—о томъ самомъ, въ чемъ нѣкогда язычникъ обличалъ язычниковъ: скажите, говорилъ онъ, священники, къ чему въ святынѣ золото [1]? Я же повторю: скажите, бѣдные (pauperes), если вы обрекли себя на бѣдность, то зачѣмъ золото въ *вашей* святынѣ? Иное дѣло епископы, иное—монахи. Мы знаемъ, что тѣ должны имѣть въ виду и мудрыхъ, и неразумныхъ, а потому возбуждаютъ благочестіе людей плоти—такъ какъ не могутъ духовной, то чувственной красотою; мы же, ушедшіе отъ народа, бросившіе изъ-за Христа все, что̀ драгоцѣнно и прекрасно въ мірѣ, мы, признавшіе презрѣннымъ прахомъ (ut stercora) все, что̀ красиво для глазъ, что̀ ласкаетъ слухъ, что̀ нравится обонянію, что̀ сладко для вкуса, что̀ пріятно для ощущенія, однимъ словомъ, всѣ удовольствія тѣла, для того, чтобы пріобрѣсти Христа,—чье рвеніе, скажите, мы намѣрены этимъ возбудить? Какой плодъ мы изъ этого хотимъ извлечь? Неужели изумленіе глупцовъ и подаяніе простаковъ? Да, говоря откровеннѣе, не происходитъ ли все это отъ жадности, которая есть служеніе идоламъ? Тратится золото съ тѣмъ разсчетомъ, чтобы его умножить; расточается оно, чтобы больше пріобрѣсти его. Ибо самый видъ роскошныхъ и поражающихъ глазъ бездѣлушекъ болѣе располагаетъ людей жертвовать, чѣмъ молиться. Такъ богатство привлекаетъ богатство, такъ деньги притягиваютъ къ себѣ деньги; ибо, не знаю почему, гдѣ больше видятъ роскоши, тамъ охотнѣе и подаютъ. Золотомъ покрываются мощи, чтобы ослѣпить глаза и раскрыть кошельки! Выставляется на показъ въ изящнѣйшемъ убранствѣ святой или святая, и народъ считаетъ ихъ тѣмъ болѣе святыми, чѣмъ ярче они разукрашены. Подбѣгаютъ люди приложиться (ad osculandum) и приглашаютъ ихъ раскошелиться (invitantur ad donandum), и

[1]) Dicite, pontifices, in sancto quid facit aurum? Pers. Sat. II, 69.

болѣе дивятся они благолѣпію, чѣмъ почитаютъ святыню (magis mirantur pulchra quam venerantur sacra).

„Располагаются въ церквахъ вѣнцы, съ драгоцѣнными каменьями—не вѣнцы, вѣрнѣе, колеса, обставленныя свѣчами, но не менѣе ярко сіяющія вставленными въ нихъ каменьями. Какая цѣль всѣмъ этимъ преслѣдуется? сокрушеніе ли сердца грѣшниковъ, или восхищеніе зрителей? О, суета суетъ, и не столько суетная, сколько безумная (sed non vanior, quam insanior)! Сіяютъ стѣны церкви, а бѣдные ея въ нуждѣ; золотомъ облекаетъ она свои камни, а сыновей своихъ оставляетъ нагими! Достояніе бѣдныхъ служитъ для того, чтобы доставлять зрѣлище богатымъ“... Къ этому страстному обличенію прибавимъ еще выдержку изъ той же главы, характеризующую извѣстную наклонность романскаго искусства,—которую и теперь еще можно наблюдать на орнаментикѣ соборовъ,—изображать символическихъ, иногда уродливой формы, животныхъ. Изъ словъ Бернарда видно, что подобныя животныя были также любимымъ сюжетомъ романской живописи. „Наконецъ, зачѣмъ въ монастыряхъ, на виду у читающихъ монаховъ, все это смѣшное уродство, это чудное, безобразное художество и художественное безобразіе (deformis formositas, ac formosa deformitas)? Къ чему тутъ нечистыя обезьяны? къ чему дикіе львы? къ чему уродливые кентавры? къ чему пятнистыя тигрицы? къ чему сражающіеся воины и играющіе на рогахъ охотники? Тутъ можно узрѣть множество тѣлъ съ одной общей головой и на одномъ тѣлѣ множество головъ. Здѣсь видно четвероногое животное съ длиннымъ хвостомъ, тамъ рыба съ головою четвероногаго; тутъ чудище, спереди лошадь, влачитъ за собой задъ козы, тамъ рогатое животное съ задомъ коня. Такое вездѣ проявляется безконечное и причудливое разнообразіе формъ, что скорѣе хочется читать по мраморамъ, чѣмъ въ книгахъ, и охотнѣе проводить весь день въ разсматриваніи каждой изъ этихъ диковинъ, чѣмъ въ размышленіи надъ закономъ божественнымъ. О, Боже, если уже не стыдиться этихъ нелѣпостей, то какъ не пожалѣть о томъ, что на нихъ потрачено [1])!“

Но не одно только внѣшнее проявленіе мірского духа въ монастыряхъ преслѣдовалъ Бернардъ; онъ проникалъ до самаго корня зла и хорошо понималъ, что роскошь тѣсно связана съ гордыней. Поэтому онъ возставалъ противъ исконнаго стремленія монастырей, посредствомъ испрошенныхъ у папы привилегій, осво-

[1]) Si non pudet ineptiarum, cur vel non piget expensarum. Apolog. cap. 12. Migne, 182, col. 916.

бодиться изъ-подъ зависимости отъ епархіальнаго епископа. Аббаты такихъ автономныхъ монастырей становились какъ бы свѣтскими князьями, соперничали въ притязаніяхъ на почетъ и внѣшніе признаки власти съ высшими іерархами, и такимъ образомъ сами вносили въ свой монастырь духъ и страсти вѣка. Оттого Бернардъ самымъ рѣзкимъ образомъ высказывался противъ такой автономіи: „Я вполнѣ увѣренъ,—заявлялъ онъ,—что если бы я, какъ монахъ или аббатъ монастыря, когда-либо попытался стрясти съ собственной воли иго епископа, я вмѣстѣ съ тѣмъ подпалъ бы подъ тиранію сатаны". Безпощадно бичуетъ Бернардъ суетное честолюбіе такихъ автономныхъ аббатовъ. Открыто обнаруживаютъ они свои замыслы, когда, получивъ великимъ трудомъ и дорогою цѣною привилегіи отъ апостольскаго престола, они на основаніи ихъ присвоиваютъ себѣ епископскія отличія, украшая себя самовольно митрой, кольцомъ и сандаліями. Если имѣть въ виду почетность этихъ отличій, то званіе монаха съ нею несовмѣстно; если же обязанности, на которыя они указываютъ, то онѣ, очевидно, подобаютъ однимъ только епископамъ. Въ сущности эти аббаты желаютъ быть тѣмъ, чье подобіе они себѣ присвоиваютъ, и на самомъ дѣлѣ уже не въ состояніи подчиняться тѣмъ, съ кѣмъ они равняютъ себя въ мечтаніяхъ своихъ. „Что, еслибы виновникъ ихъ привилегій могъ дать имъ къ внѣшнимъ отличіямъ и самое имя? какимъ, полагаешь ты, количествомъ золота они готовы были купить право называться понтификами (титулъ епископовъ)? Къ чему это, о, монахи? гдѣ смиреніе въ духѣ вашемъ? гдѣ стыдъ на лицѣ вашемъ (ubi timor mentis ubi rubor frontis?)?" Весьма проницательно Бернардъ указывалъ на практическія послѣдствія такого честолюбія—высокомѣріе по отношенію къ монашеской братьѣ и эксплуатацію монастырскихъ имуществъ, чтобы добиться привилегій въ Римѣ: „Изумляюсь, — говоритъ онъ,—какъ нѣкоторые аббаты нашего ордена подъ смиренной (что еще хуже) своей одеждой и въ тонзурѣ, исполненные такого высокомѣрія, что взыскиваютъ съ своихъ подчиненныхъ за нарушеніе хотя бы малѣйшаго словечка изъ своихъ приказаній, въ то же время брезгаютъ повиноваться собственнымъ епископамъ. Они обираютъ церкви, чтобы освободить себя отъ зависимости; они даютъ выкупъ, чтобы не подчиняться!"

Вооружаясь противъ стремленія аббатовъ къ автономіи, Бернардъ не только порицалъ исконный принципъ монастырской политики, но и шелъ наперекоръ всей римской традиціи, такъ какъ папство издавна поощряло это стремленіе. Въ освобожденіи аббатовъ изъ-подъ власти епископовъ наглядно проявлялась

солидарность между монашествомъ и папствомъ, и оно представляло собою одно изъ самыхъ могущественныхъ орудій для той централизаціи власти, которая создала силу папской теократіи.

Наставленія, обращенныя къ аббатамъ, мы заимствовали изъ другого сочиненія Бернарда, которое имѣло цѣлью исправленіе церкви въ лицѣ высшихъ ея сановниковъ—епископовъ и аббатовъ. Это трактатъ „О правахъ и обязанностяхъ епископовъ", написанный Бернардомъ по просьбѣ Генриха, архіепископа санскаго, въ видѣ посланія къ нему. Какъ въ другихъ сочиненіяхъ Бернарда и какъ можно уже заключить изъ заглавія, полемическая, обличительная сторона въ этомъ посланіи оригинально и эффектно чередуется съ нравоучительной и назидательной.

Первая преимущественно направлена противъ главной язвы средневѣковой церкви, „застарѣлой по времени", но всегда „свѣжо" вскрывающейся подъ вліяніемъ страстей—противъ „симоніи и ея матери—жадности". Эта назидательная часть вращается около идеи, что епископатъ—есть „служеніе, а не владѣніе" (ministerium non dominium). Этими двумя понятіями Бернардъ мѣтко обозначилъ корень и признакъ матеріализаціи церкви и главное средство для исцѣленія.

Оставляя въ сторонѣ нравоучительную часть, мы ограничимся образчиками обличительнаго характера. „Ты, святитель Бога Всевышняго, — спрашиваетъ Бернардъ,—кому изъ двухъ стремишься *ты* быть угоднымъ: міру или Господу? Если міру, то зачѣмъ ты священникъ? Если Господу, то почему же ты, священникъ, походишь на народъ? Ибо если священникъ—пастырь, а народъ—овцы, то развѣ подобаетъ пастырю ничѣмъ не отличаться отъ овецъ? если пастырь мой, подобно мнѣ, овцѣ, и самъ грядетъ, понуривъ голову, съ устремленнымъ внизъ и на землю взоромъ, тощій духомъ, всегда ища пищу для одного только живота, то какое же между нами различіе?"...

„Развѣ подобаетъ пастырю, на подобіе животныхъ, радѣть о чувственномъ, привязываться къ низменному, устремляться къ земному? Не лучше ли встать и выпрямиться на подобіе человѣка, духомъ вознестись къ небесному, искать и постигать то, что надъ нами, а не земное?"

Съ большимъ ораторскимъ искусствомъ Бернардъ бичуетъ корыстолюбіе и богатство прелатовъ, влагая свое порицаніе въ уста бѣднымъ, забота о которыхъ лежала на обязанности церкви: „Взываютъ обнаженные, голосятъ голодные:—кони ваши грядутъ

уснащенные драгоцѣнными каменьями, и вы не видите, что мы стоимъ съ босыми ногами. Колечки, цѣпочки, бубенчики, украшенные бляхами ремешки, разноцвѣтные и дорогіе, висятъ съ гривы муловъ вашихъ, а обнаженныя бедра братьевъ вашихъ вы сострадательно даже поясомъ не опояшете!.. Наше достояніе вы расточаете, у насъ жестоко отнимаете то, что попусту тратите. Вѣдь и мы—дѣло рукъ Божіихъ, и мы искуплены кровью Христа; мы, слѣдовательно, братья ваши. Смотрите же, какое это дѣло услаждать очи ваши на счетъ удѣла братьевъ вашихъ. Наша жизнь идетъ вамъ на излишество; итакъ, два зла выростаютъ изъ одного корня: жадность и тщеславіе; вы сами въ тщеславіи погибаете и насъ лишеніями губите".

Въ другой главѣ Бернардъ изображаетъ честолюбіе высшаго духовенства и жажду повышеній и бенефицій. „Многіе не гонялись бы такъ бойко и такъ самоувѣренно за почетными должностями, еслибы сознавали, что въ нихъ заключаются и обязанности. Нынѣ же, когда имѣютъ въ виду одну лишь славу, а не думаютъ о карѣ, всякій стыдится быть простымъ клерикомъ въ церкви; всякій считаетъ себя униженнымъ и обезславленнымъ, кто не былъ повышенъ,—на какомъ бы высокомъ мѣстѣ онъ ни стоялъ. Школьниковъ и невозмужалыхъ юношей возвышаютъ ради знатнаго происхожденія на церковныя почести, и изъ-подъ школьной ферулы они получаютъ начальство надъ священниками, болѣе довольные тѣмъ, что избавились отъ розогъ, нежели тѣмъ, что заслужили власть. Но это только начало. Съ теченіемъ времени они понемногу становятся надменнѣе и скоро научаются присвоивать себѣ достояніе алтаря и опорожнять кошельки подчиненныхъ подъ вліяніемъ двухъ умныхъ наставниковъ: честолюбія и жадности"...

„О, безконечное честолюбіе! о, ненасытная жадность! Какъ скоро они удостоились первыхъ ступеней церковныхъ почестей—достоинствомъ ли жизни, или цѣною денегъ, или преимуществами породы и крови, которымъ не обѣщано царство Божіе—они не успокоиваются сердцемъ, а всегда горятъ двойнымъ пламенемъ желанія—рости въ ширину, захватывая какъ можно больше бенефицій, и подниматься на высоту. Кто, напримѣръ, сталъ въ какой-нибудь епархіи діакономъ или архидіакономъ—не довольствуется одною должностью въ одной епархіи, а старается добыть себѣ сколько можетъ должностей какъ въ этой, такъ и въ возможно большемъ числѣ другихъ епархій". И все это, если выпадетъ случай, онъ охотно отдастъ за единую должность епископа. Но удовлетворенъ ли онъ теперь? Ставши епископомъ, онъ хочетъ быть архіепископомъ и т. д. Бернардъ переходитъ къ другому

виду честолюбія, побуждавшему епископовъ распространять свою власть на сосѣдніе города и области. Иронически предлагаетъ онъ имъ оправдаться тѣмъ, что, слѣдуя слову Христа, они соединяютъ стада изъ разныхъ паствъ для того, чтобы было единое стадо и единая овчарня.

Но для достиженія такихъ цѣлей „имъ не подобаетъ обивать пороги апостоловъ", находя и въ Римѣ—что̀ особенно прискорбно —людей, готовыхъ потворствовать ихъ нечестивымъ желаніямъ, не потому, чтобы римляне очень заботились объ исходѣ дѣла, но потому, что очень любятъ подарки и гонятся за подачкой. „Открыто,—восклицаетъ Бернардъ,—говорю я о томъ, что несокрыто (nude nuda loquor), не покрываю я позора, но позорное караю [1])!"

Такимъ образомъ, пороки прелатовъ и епископовъ, какъ и непохвальныя стремленія аббатовъ указывали на Римъ, находились въ тѣсной связи съ вліяніемъ Рима на управленіе церковью; исправленіе членовъ ея оказывалось невозможнымъ безъ исправленія главы. Этому первенствующему вопросу въ дѣлѣ церковной реформы и посвящено самое замѣчательное изъ трехъ относящихся сюда сочиненій Бернарда—его трактатъ De Consideratione [2]), адресованный папѣ Евгенію III и касающійся папства.

Это, по важности предмета и по интересу своего содержанія, въ высшей степени значительное, послѣднее и самое замѣчательное произведеніе Бернарда достойно особеннаго вниманія, какъ одинъ изъ самыхъ выдающихся памятниковъ культурной исторіи среднихъ вѣковъ. По превосходству языка и разнообразію въ немъ тоновъ, по смѣлой искренности и по возвышенности паѳоса оно представляетъ намъ нравственный характеръ Бернарда, его историческій обликъ и его писательскій талантъ на высотѣ ихъ развитія; но еще болѣе оно важно для исторіи папства. Можетъ быть, нѣтъ другого сочиненія, гдѣ такъ близко сопоставлены идеальное призваніе папства и его реализація въ извѣстной исторической обстановкѣ. Можно прибавить, что и не было другого момента въ исторіи папства, когда обѣ стороны его—идеальная и реальная—могли быть такъ ярко очерчены и рѣзко обособлены и вмѣстѣ съ тѣмъ схвачены въ одну общую картину.

---

[1]) Migne, v. 182, c. 828.

[2]) Consideratio—созерцаніе. Бернардъ слѣдующимъ образомъ объясняетъ заглавіе своего трактата: Contemplatio est verus certusque intuitus animi de quacunque re sive apprehensio veri non dubia: consideratio intensa ad investigandum cogitatio vel intentio animi vestigantis verum.

Бернардъ принадлежалъ къ поколѣнію, слѣдовавшему за высшимъ представителемъ духовнаго начала на папскомъ престолѣ—Григоріемъ VII. Во имя духовнаго интереса Григорію VII удалось поднять папство надъ всѣми другими властями, и при его ближайшихъ преемникахъ немногіе еще прозрѣвали постепенное превращеніе папства въ начало безграничной земной власти; къ числу этихъ немногихъ принадлежалъ горячій защитникъ единства церковной власти Бернардъ. Онъ всѣхъ болѣе сдѣлалъ для того, чтобы спасти единство отъ случайнаго раскола; но онъ понималъ, что для прочности этого единства нужна реформа, нужно духовное возрожденіе власти, нужно неуклончивое стремленіе ея къ идеалу. Онъ ясно сознавалъ недостатки современнаго ему Рима и послѣдствія, къ которымъ они должны были привести. Онъ не ограничился при этомъ обличеніемъ нравовъ и личныхъ пороковъ; съ замѣчательной проницательностью онъ указывалъ на коренныя заблужденія папской системы, на тѣ административныя орудія, которыя такъ быстро привели римскую теократію на путь матеріализаціи и нравственнаго паденія. Онъ хотѣлъ предостеречь папство отъ ложнаго пути, на который оно вступало, и въ концѣ своей жизни, заручившись своимъ житейскимъ опытомъ, въ особенности же опытомъ, пріобрѣтеннымъ во время семилѣтняго пребыванія въ Италіи, онъ выступилъ съ горячимъ, многостороннимъ обличеніемъ, обращеннымъ къ своему ученику и другу, папѣ Евгенію III.

Познакомиться съ нѣкоторыми страницами этого сочиненія значитъ увидѣть какъ бы въ зеркалѣ всю слагавшуюся тогда систему папской теократіи и всю грядущую судьбу его [1]).

Весьма знаменательно, что посланіе Бернарда къ Евгенію начинается съ соболѣзнованія. Монахъ сожалѣетъ о папѣ, жалѣетъ главнымъ образомъ о немъ изъ-за безпрерывныхъ свѣтскихъ занятій его, отрывающихъ его, бывшаго монаха, отъ его религіознаго призванія. По этому поводу предъ нами развертывается любопытнѣйшая картина тогдашняго папства, одинъ изъ самыхъ живыхъ и привлекающихъ яркими красками памятниковъ среди еще скудной бытовыми очерками исторіографіи XII

---

[1]) Излагая мысли Бернарда о папствѣ, мы не станемъ строго держаться его порядка изложенія, построеннаго на схоластическихъ пріемахъ. Такъ, напримѣръ, идея папства, или вопросъ о томъ, что такое папа и какимъ онъ долженъ быть, разсматривается съ трехъ сторонъ: quid, quis et qualis sis; вопросъ о папской политикѣ, т.-е. о способѣ управленія церковью и объ отношеніяхъ папы къ окружающимъ (къ папскому двору, клиру и народу Рима), подводится подъ категоріи—quae sub te и quae circa te.

вѣка. Мы видимъ предъ собою папу въ его ежедневныхъ занятіяхъ, мы можемъ составить себѣ ясное понятіе о томъ, къ чему тогда сводилась главная обязанность преемника апостола Петра. „Прошу тебя сказать, что̀ же это значить—съ утра до вечера сутяжничать или слушать тяжущихся? И если бы еще каждому дню довлѣла злоба его; но вѣдь даже и ночи твои не свободны. Едва ты настолько уступаешь требованіямъ природы, сколько нужно для отдохновенія изнуреннаго тѣла (corpusculi), какъ снова тебѣ приходится воспрянуть для препирательствъ". Бернардъ не допускаетъ въ оправданіе папы ссылки на слова апостола: „хотя я былъ свободенъ, я сталъ рабомъ всѣхъ". „Далеко тебѣ до этого", говоритъ Бернардъ. „Развѣ апостолъ этимъ своимъ порабощеніемъ служилъ людямъ для пріобрѣтенія позорныхъ выгодъ (turpis quaestus)? развѣ къ нему со всего земного шара стекались честолюбцы, стяжатели, симонійцы, прелюбодѣи и подобныя человѣческія чудища, чтобы благодаря его апостольскому авторитету или получить, или удержать церковныя почести?" Бернардъ не опасается, чтобы у его друга на папскомъ престолѣ развилось корыстолюбіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ язвительно указываетъ на обогащеніе римлянъ вслѣдствіе скопленія тяжущихся въ Римѣ: „Не буду утруждать твоего вниманія рѣчью о жадности, хотя денегъ, говорятъ, у васъ словно плевелъ. Нѣтъ, не этого я опасаюсь отъ твоей судебной дѣятельности, но есть другой недостатокъ, въ который не менѣе часто и съ не мѐньшимъ вредомъ впадаютъ судьи. Ты спрашиваешь, что̀ именно? Лицепріятіе! Но есть еще другой порокъ, и если ты отъ него свободенъ, то изъ всѣхъ, кого я знаю на епископскихъ каѳедрахъ, ты въ моихъ глазахъ будешь единственнымъ,—я разумѣю склонность къ легковѣрію; я никого изъ сильныхъ міра сего не знаю, кто бы достаточно остерегался козней этой обманщицы; вотъ отчего у нихъ ни почемъ великій гнѣвъ, отчего такъ часты осужденія невинныхъ и предубѣжденіе противъ отсутствующихъ". Но Бернардъ не только предостерегаетъ папу противъ увлеченій и пороковъ, сопряженныхъ съ судебной дѣятельностью,—съ большою горячностью онъ принципіально возстаетъ противъ всякаго участія папы въ судоговореніи. Сопоставивъ тексты писанія, осуждающіе судоговореніе, Бернардъ восклицаетъ: „Да, что апостолы сами стояли передъ судомъ, это я читалъ, но я никогда не читалъ, чтобы они возсѣдали и творили судъ". Напомнивъ слово Христа: „кто поставилъ меня судьею?"—Бернардъ опровергаетъ тѣхъ, кто вздумалъ бы видѣть въ уклоненіи папы отъ судоговоренія—умаленіе папскаго достоинства: „не умаляетъ своего достоинства рабъ, кото-

рый не хочетъ быть выше своего господина, или ученикъ, который не хочетъ быть выше пославшаго его". „И почему бы не пренебрегать судомъ надъ земными убогими владѣніями тѣмъ людямъ, которымъ данъ судъ въ небесныхъ дѣлахъ и надъ ангелами? Власть ваша простирается надъ грѣхомъ, а не надъ имуществомъ; грѣха ради, но не ради владѣнія, вамъ даны ключи отъ царства небеснаго. Какое достоинство и какая власть кажется тебѣ выше: отпускать грѣхи или дѣлить добычу? Но тутъ нѣтъ даже повода къ сравненію. Этотъ земной и непрочный удѣлъ имѣетъ своихъ судей, царей и князей земли. Для чего вы вторгаетесь въ чужіе предѣлы? Для чего протягиваете вы серпъ вашъ на чужую жатву? Воздержитесь отъ этого не потому, чтобы вы были недостойны того, но потому, что недостойно васъ предаваться этому, такъ какъ вы заняты болѣе великимъ дѣломъ" [1]).

Бернардъ, однако, сознаетъ необходимость сдѣлать уступку дѣйствительности. „Я хочу щадить тебя,—говоритъ онъ папѣ,—и поведу рѣчь не о великомъ, а о возможномъ". „Такъ пусть же будетъ такъ: новый укоренился обычай, новые наступили дни и новые нравы людей; худшія времена не только предстоятъ, но уже настали. Обманъ, и коварство, и насиліе взяли верхъ на землѣ. Клеветниковъ много, защитники рѣдки, вездѣ болѣе сильные притѣсняютъ бѣднѣйшихъ. Мы не можемъ не оказать помощи угнетеннымъ, не можемъ отказать въ судѣ потерпѣвшимъ обиду. Если же не будутъ разсматриваться тяжбы, не будутъ выслушиваемы стороны, то какъ можно рѣшать ихъ дѣла? Такъ пусть разсматриваются тяжбы, но какъ подобаетъ; ибо тотъ способъ, который вошелъ въ обычай, никуда не годенъ и не достоинъ не только церкви, но и форума. Удивляюсь, какимъ образомъ благочестивыя уши твои въ состояніи, выслушивать эти пренія адвокатовъ, эти словесныя состязанія болѣе способныя подорвать истину, чѣмъ установить ее. Исправь дурной обычай, останови суетную болтовню языковъ и зажми коварныя уста. Они научили языки свои говорить ложь, ихъ краснорѣчіе направлено противъ справедливости, ихъ ученость ведетъ къ неправдѣ (diserti adversus justitiam, eruditi pro falsitate). Они мудры на то, чтобы творить зло; они краснорѣчивы, чтобы побороть правду". Бернардъ совѣтуетъ, чтобы папа устранялъ изъ дѣлопроизводства все, что̀ затемняетъ истину. „Ничто не обнаруживаетъ такъ ясно истину и безъ всякаго труда, какъ крат-

[1]) De Consid. I, c. 6.

кое и простое изложеніе дѣла". Онъ требуетъ, чтобы въ тѣхъ дѣлахъ, которыя должны восходить до него, папа старался давать тщательно обдуманное, но краткое рѣшеніе, избѣгая всякихъ гибельныхъ проволочекъ. Въ особенности онъ настаиваетъ на томъ, чтобы папа съ большою разборчивостью принималъ личное участіе въ судоговореніи. „Пусть доходитъ до тебя дѣло вдовы, дѣло бѣдняка и того, кому нечего дать". Прочія многочисленныя дѣла папа можетъ предоставить рѣшать другимъ. „Для чего нужно допускать къ себѣ тѣхъ, преступленія которыхъ вѣдомы до суда? Такъ велико безстыдство нѣкоторыхъ, что хотя все дѣло ихъ такъ и дышетъ открытой страстью честолюбія, они не краснѣя требуютъ личной аудіенціи. Полна церковь честолюбцевъ и не менѣе въ ней обилія козней и происковъ, чѣмъ въ пещерѣ разбойника награбленныхъ у путниковъ вещей". „Поэтому, если ты ученикъ Христа, да воспылаетъ рвеніе твое, да воспрянетъ власть твоя противъ этого безстыдства и этой язвы". Напомнивъ папѣ примѣръ Христа, изгнавшаго изъ храма торговцевъ, Бернардъ взываетъ къ нему: „И ты поступи такъ же. Пусть торгаши этого рода устыдятся предъ лицомъ твоимъ; а если не могутъ, то пусть устрашатся. И тебѣ въ руки данъ бичъ. Пусть боятся тебя сребренники, не уповая на свои деньги, а опасаясь ихъ; пусть скроютъ свои сокровища отъ тебя, зная, что ты скорѣе готовъ разбросать, чѣмъ принять ихъ".

Своимъ наставленіемъ Бернардъ попалъ въ самое сердце современнаго ему папства; дѣйствительно, въ XII вѣкѣ римскій епископатъ все болѣе и болѣе становился политико-юридическимъ учрежденіемъ; судъ въ гражданскихъ и уголовныхъ дѣлахъ все болѣе поглощалъ вниманіе и силы римской куріи; не даромъ на папскій престолъ стали избирать по преимуществу людей, получившихъ юридическое образованіе. Но не всѣ, конечно, папы были юристами по подготовкѣ или по склонности. Для таковыхъ на папскомъ престолѣ открывалось другое поле дѣятельности, ихъ вкусы могли быть обращены въ другую сторону: ихъ вниманіе могло быть поглощено обширнымъ хозяйственнымъ управленіемъ папскаго двора и завѣдываніемъ его богатыми доходами; это было искушеніе для натуръ, склонныхъ къ хозяйничанью и скопидомству.

Бернардъ предостерегаетъ своего друга и отъ этого увлеченія мелкими интересами, столь несогласными съ высокимъ призваніемъ духовнаго пастыря. „Удивительное дѣло! достаточно подъ

рукою у епископовъ—и слишкомъ всегда достаточно людей, которымъ они довѣряютъ заботу о душахъ, но такихъ, кому они могли бы поручить завѣдываніе своими доходами, они не находятъ. Объясняется это, конечно, тѣмъ, если говорить безъ обиняковъ, что мы легче сносимъ потерю, понесенную Христомъ, чѣмъ собственный убытокъ. Ежедневные расходы мы перебираемъ сверху до низу ежедневной провѣркой, а о постоянной убыли Господняго стада мы ничего не вѣдаемъ. О цѣнѣ припасовъ и количествѣ испеченнаго хлѣба у насъ каждый день происходитъ разсужденіе съ служителями, но очень рѣдко ведется бесѣда съ пресвитерами о грѣхахъ народа. Упадетъ ослица, тотчасъ подоспѣваютъ, чтобы ее поднять, погибаетъ душа и некому о ней позаботиться" [1]).

Не такъ, конечно, долженъ поступать Евгеній. Бернардъ и здѣсь считаетъ прежде всего необходимымъ примѣнить строгую разборчивость къ дѣламъ: одни изъ нихъ папа долженъ предоставить себѣ одному, иныя—себѣ совмѣстно съ другими, иныя, наконецъ—совершенно оставить другимъ. Къ послѣднему разряду Бернардъ относитъ дворцовое хозяйство; оно должно быть всецѣло предоставлено довѣренному лицу—эконому, какъ его называетъ Бернардъ. Въ вопросъ о личныхъ свойствахъ такого эконома Бернардъ входитъ съ большимъ вниманіемъ, обнаруживая и здѣсь тотъ здравый смыслъ и практическое знаніе жизни, которые такъ поражаютъ въ этомъ мистикѣ и энтузіастѣ. „Нужно подъискать лицо благонадежное и умное, чтобы поставить его надъ папскимъ дворомъ. Если оно не будетъ надежнымъ, то станетъ обманывать; если не будетъ умнымъ, его станутъ обманывать. Если придется сдѣлать выборъ между благонадежнымъ и умнымъ, то лучше поручить дѣло первому. Изъ двухъ это безопаснѣе". Но если не найдется подходящее лицо,—говоритъ далѣе Бернардъ,—то „я совѣтую лучше сносить менѣе надежнаго, чѣмъ погружаться тебѣ самому въ этотъ лабиринтъ".

Однако, кромѣ вѣрности и ума, для успѣшной дѣятельности управляющаго папскимъ дворомъ нужно еще третье условіе, а именно *авторитетъ*; ибо какой отъ того будетъ толкъ,—замѣчаетъ Бернардъ,—если при охотѣ и умѣньѣ всѣмъ какъ слѣдуетъ распорядиться онъ не будетъ въ состояніи провести того, чего хочетъ и что понимаетъ. Поэтому ему надо предоставить полную свободу дѣйствія. Пусть онъ стоитъ во главѣ всего, чтобы всѣмъ

[1]) L. IV, c. 6. Migne 182, 786. У Бернарда послѣднее противоположеніе основано на созвучіи латинскихъ словъ: Cadit asina, perit anima.

и во всемъ приносить пользу (praesit omnibus ut omnibus prosit et de omnibus). Тайные доносы на него и нашептываніе не слѣдуетъ принимать; всѣ должны быть ему подчинены, никакое противорѣчіе ему не должно быть терпимо".

Итакъ, пусть папа одному все поручитъ и всѣ другіе предъ однимъ отвѣчаютъ. „Ему ты вѣрь, помышляя всецѣло о себѣ и о церкви Божіей".

Настаивая на томъ, чтобы папа по возможности отстранялъ отъ себя житейскія заботы, чтобы онъ „многаго не вѣдалъ, еще большаго какъ бы не замѣчалъ и кое-что забывалъ", Бернардъ, однако, не хотѣлъ, чтобы *одно* ускользало отъ его вниманія— нравы и страсти каждаго изъ приближенныхъ. „Не слѣдуетъ, чтобы ты послѣдній узнавалъ о порокахъ въ домѣ твоемъ, что́, какъ мнѣ извѣстно, съ очень многими случалось. Поэтому, какъ я говорилъ, пусть другой всѣмъ другимъ завѣдуетъ,—о нравственной же дисциплинѣ ты самъ позаботься, ее ты никому не довѣряй".

Послѣ многихъ весьма существенныхъ указаній относительно соблюденія благочинія и нравственности при папскомъ дворѣ, Бернардъ даетъ папѣ совѣтъ обнаруживать не суровость, а твердость и достоинство. „Первая побуждаетъ скрывать свои слабости, вторая сдерживаетъ легкомысліе; первая своимъ присутствіемъ внушаетъ ненависть, отсутствіе второй порождаетъ пренебреженіе; во всемъ, впрочемъ, лучше всего мѣра". Бернардъ заключаетъ свои наставленія совѣтомъ: „Во дворцѣ будь папой, въ домашнемъ кругу будь отцомъ. Пусть домашніе любятъ тебя; если же этого нѣтъ, то сдѣлай, чтобы боялись".

Требованіе отъ папы соблюденія строгой дисциплины среди окружавшихъ его становится особенно понятнымъ, если принять въ соображеніе, на какомъ общемъ фонѣ развертывалась тогда картина римской жизни. Начнемъ съ народа. Столичная толпа во всѣ вѣка легко подвергалась порчѣ, но едва ли какая-нибудь толпа находилась въ худшихъ условіяхъ нравственнаго воспитанія, чѣмъ римляне.

„Что́ мнѣ сказать о народѣ?—спрашиваетъ Бернардъ:—одно: это *римскій* народъ (populus Romanus est). Я не могъ короче и вмѣстѣ съ тѣмъ выразительнѣе высказать тебѣ, какого я мнѣнія о твоихъ прихожанахъ. Что́ болѣе извѣстно вѣкамъ, какъ не нахальство, какъ не надменность римлянъ? Это народъ, не сносящій мира, привычный хвататься за оружіе; народъ до сихъ поръ жестокій и несговорчивый, не умѣющій подчиняться, иначе какъ когда

онъ уже не въ состоянiи сопротивляться. Вотъ гдѣ язва; на тебѣ лежитъ забота о ней,—не слѣдуетъ скрывать этого отъ себя. Ты, можетъ быть, улыбнешься, убѣжденный, что она неизлечима. Не унывай, поставь себѣ задачею леченiе, если не исцѣленiе".

Въ виду такого леченiя Бернардъ между прочимъ настаиваетъ на уничтоженiи обычая бросать народу деньги во время торжественныхъ процессiй папы. Древнiе римляне привыкли смотрѣть на покоренныя ими провинцiи какъ на свои доходныя помѣстья. Этотъ взглядъ, можно сказать, вошелъ въ плоть и кровь римлянъ, и современные Бернарду потомки ихъ подобнымъ образомъ относились къ областямъ римской церковной державы, возлагая на папу и прелатовъ обязанность какъ можно щедрѣе раздавать по улицамъ и площадямъ Рима долю вселенской дани. „Достоянiе бѣдныхъ,—восклицаетъ Бернардъ,—разсѣевается по стезямъ богатыхъ. Серебро блеститъ въ грязи улицъ, со всѣхъ сторонъ сбѣгаются и хватаютъ его — но достается оно не бѣднѣйшему, а сильнѣйшему или тому, кто случайно скорѣе подоспѣлъ. Не съ тебя начался обычай этотъ, вѣрнѣе сказать, чума эта (mos iste sed potius mors ista); о, еслибы при тебѣ онъ прекратился!"

Главный элементъ римскаго народа составлялъ клиръ; ему Бернардъ посвящаетъ особенное вниманiе. Римскiй клиръ долженъ быть самый благочинный, такъ какъ отъ него преимущественно зависитъ общiй характеръ духовенства во всей церкви и все, что творится дурного на глазахъ у папы, для него въ особенности позорно. Поэтому Бернардъ считаетъ себя обязаннымъ на этотъ счетъ быть вполнѣ откровеннымъ, „хотя бы это не понравилось вельможамъ, болѣе радѣющимъ о величiи, чѣмъ объ истинѣ".

Сравнивъ благочестивую старину съ господствовавшими въ его время нравами, Бернардъ восклицаетъ: „нынѣ немногiе взираютъ на уста законодателя, а всѣ на его руки. И не даромъ! Кого назовешь ты мнѣ въ цѣломъ большомъ городѣ, кто призналъ тебя папою безъ мзды или безъ разсчета на мзду? Они жаждутъ господства, потому что всенародно дали обѣтъ служенiя! Они обѣщаютъ вѣрность тебѣ, для того, чтобы удобнѣе наносить вредъ вѣрующимъ. Оттого не будетъ у тебя ни одного плана, въ который они не сочли бы нужнымъ вмѣшаться, ни одной тайны, въ которую они бы не ворвались! Еслибы кто-нибудь изъ нихъ подошелъ къ твоей двери и привратникъ хоть на минуту его задержалъ, я не хотѣлъ бы быть на его мѣстѣ! Искусны они на то, чтобы дѣлать зло, добро же творить они не умѣютъ. Они ненавистны небу и землѣ; на то и другое они наложили руку; они нечестивы по отношенiю къ Богу, нахальны—

въ святынѣ, сварливы другъ съ другомъ, завистливы къ своимъ, безчеловѣчны къ чужимъ; они никого не любятъ и ихъ никто не терпитъ, и такъ какъ они хотятъ, чтобы всѣ ихъ боялись, то по необходимости и они всѣхъ опасаются. Они не сносятъ подчиненія и не умѣютъ начальствовать; по отношенію къ высшимъ они невѣрны, къ низшимъ—невыносимы. Они безстыжи въ испрашиваніи, надменны при отказѣ. Они не даютъ покоя, пока не получатъ,—неблагодарны, когда получили. Языкъ свой они пріучили къ велерѣчію, а дѣла творятъ малыя. Щедры весьма они на обѣщанія, скудны же въ исполненіи; сладкорѣчивѣйшіе въ лести, они язвительны въ поношеніи; подъ видомъ добродушія они лицемѣры и злѣйшіе предатели".

„Волки они, а не овцы, а все же ты ихъ пастырь", и потому Бернардъ настаиваетъ, что отчаяваться папѣ не слѣдуетъ, но стараться превратить снова въ овецъ тѣхъ, кто могъ превратиться въ волковъ. „Въ этомъ не пощажу тебя, для того чтобы Господь тебя пощадилъ. Окажись добрымъ пастыремъ этому народу, или откажись! нѣтъ, ты не откажешься, дабы тотъ, чье мѣсто ты занимаешь, не отрекся отъ тебя"...

„Драконовъ, скажешь ты мнѣ, я заставляю тебя пасти, а не овецъ. Въ виду этого, отвѣчаю я тебѣ, пріимись за нихъ посильнѣе,—словомъ, однако, а не желѣзомъ... Ты сомнѣваешься въ успѣхѣ?—но у Бога не останется безсильнымъ никакое слово" (Лук. I, 37). Если у нихъ затвердѣлое сердце, то и ты съ своей стороны закали свое. Ничто такъ не крѣпко, чтобъ не уступить болѣе крѣпкому. Въ одномъ только ты найдешь себѣ оправданіе, если ты въ состояніи будешь сказать: о, народъ мой, чего я не сдѣлалъ изъ всего, что̀ долженъ былъ для тебя сдѣлать?"

Такая трудная дѣятельность, конечно, была невозможна безъ помощниковъ, и Бернардъ посвящаетъ длинную главу наставленію, какъ и кого избирать въ совѣтники и приближенные. Онъ совѣтуетъ Евгенію положиться на такихъ, „кто не ходятъ съ поникшей главой, но ведутъ себя сдержанно и достойно; кромѣ Бога ничего не боятся и ни отъ кого кромѣ Бога ничего не ждутъ; кто смотритъ не на руки, а на нужды приходящихъ; кто мужественно стоитъ за угнетенныхъ и ставитъ приговоръ по справедливости въ пользу кроткихъ міра сего; кто выдержанъ въ нравахъ, испытанъ въ святости, склоненъ къ послушанію, выносливъ въ терпѣніи, подчиненъ дисциплинѣ, строгъ въ наставленіи, православенъ въ вѣрѣ, добросовѣстенъ въ управленіи относительно довѣреннаго ему; кто расположенъ къ міру и согласенъ къ единенію; кто безпристрастенъ на судѣ, предусмотрителенъ на совѣтѣ,

смѣтливъ въ распоряженіи, усерденъ въ дѣйствіи, скроменъ въ рѣчи, вѣренъ въ несчастіи, преданъ въ счастіи, умѣренъ въ рвеніи, не тугъ на сострадание, на досугѣ не лѣнивъ, въ гостяхъ скроменъ, на пиру не распущенъ, въ завѣдываніи имуществомъ не мелоченъ, до чужого не охотникъ, въ своемъ не расточителенъ, вездѣ и во всемъ осмотрителенъ; кто въ намѣстничество отправляется не за золотомъ и ищетъ не своей выгоды, а общей пользы; кто народъ не презираетъ, а наставляетъ, богатыхъ не ласкаетъ, но стращаетъ, бѣдныхъ не удручаетъ, но поддерживаетъ, угрозъ сильныхъ міра сего не опасается, но презираетъ, церкви не грабитъ, но устроиваетъ, кошельки не опорожняетъ, но сердца утѣшаетъ и пороки исправляетъ".

Познакомившись по изображенію Бернарда съ обстановкой, среди которой приходилось дѣйствовать папѣ и которую онъ долженъ былъ пересоздать, мы можемъ теперь подойти къ центральной фигурѣ этой исторической картины, къ самому папѣ. Чѣмъ представляется папа Бернарду, этому лучшему истолкователю, смѣлѣйшему зодчему средневѣковаго міровоззрѣнія? Нигдѣ нельзя такъ наглядно, какъ въ этомъ изображеніи, наблюдать тѣ два основныхъ начала средневѣковаго міровоззрѣнія—аскетическое и теократическое, которыя, тѣсно связанныя и однако всегда отличныя между собою, скрещиваются и сплетаются въ одно—въ идею римскаго первосвященника, главы теократіи. Встрѣча въ лицѣ папы этихъ двухъ началъ порождаетъ впечатлѣніе глубочайшаго контраста. Съ точки зрѣнія этого контраста Бернардъ и набрасываетъ свое изображеніе папы. Онъ для него все еще тотъ убогій монахъ его ордена, который ушелъ въ монастырь, чтобы скрыть свое человѣческое ничтожество и, такъ сказать, искупить его постояннымъ лицезрѣніемъ божественнаго начала. И теперь, возведенный на первый престолъ въ мірѣ, облеченный свѣтской и духовной властью, высшій судья въ земныхъ и небесныхъ дѣлахъ, онъ тѣмъ не менѣе—въ глазахъ Бернарда—тотъ же жалкій, убогій человѣкъ. „Краснѣя, я какъ будто вижу на высокой вершинѣ нагого человѣка, поспѣшившаго облечься своими почетными отличіями. Безъ нихъ ты представляешься тѣмъ безобразнѣе, чѣмъ казался важнѣе. Вѣдь развѣ можетъ укрыться запустѣніе города, расположеннаго на горѣ, или чадъ лампады, погасшей на свѣтильникѣ? или неразумный владыка (rex fatuus in solio sedens), возсѣдающій на престолѣ? Выслушай поэтому пѣснь мою, хотя и не сладкую, но полезную. Какое урод-

ливое зрѣлище—высокая степень и низкій духъ, первенство сана и подлая жизнь (sedes prima et vita ima), языкъ велерѣчивый и безсильная рука; слово громкое и безплодное; важная осанка и пустое дѣло; громадная власть и шаткая воля! Я поднесъ зеркало—пусть узнаетъ себя уродливое лицо; ты же радуйся, что оказался непохожимъ. Всмотрись, однако, и ты для того, чтобы если и есть, чѣмъ ты по справедливости можешь полюбоваться, узрѣть и то, что̀ тебѣ не должно понравиться. Я хочу, чтобы ты похвалялся свидѣтельствомъ совѣсти твоей, но не менѣе того чтобы она и смиряла тебя". Бернардъ поэтому приглашаетъ папу произвести сравненіе между тѣмъ, какимъ онъ былъ прежде и какимъ сталъ теперь. „Преуспѣлъ ли ты въ добродѣтели,—спрашиваетъ онъ, —въ мудрости, въ разумѣніи, въ кротости нрава, или же ослабѣлъ въ этомъ? Сталъ ли ты терпѣливѣе прежняго, или наоборотъ, гнѣвнѣе или мягче, надменнѣе или смиреннѣе, привѣтливѣе или суровѣе, снисходительнѣе или недоступнѣе, малодушнѣе или великодушнѣе, серьезнѣе или распущеннѣе, мнительнѣе или, можетъ быть, самоувѣреннѣе, чѣмъ слѣдуетъ? Какое широкое раскрывается предъ тобою поле въ размышленіи надъ собою!"

„Такъ смой же съ себя румяна мимолетной почести твоей,—взываетъ Бернардъ къ папѣ;—удали блескъ плохо намалеванной славы и воззри на себя, какой ты есть; по природѣ твоей нагимъ ты вышелъ изъ утробы матери. Что же изъ того, что ты увѣнчанъ митрою? что на тебѣ блестятъ драгоцѣнныя каменья и разноцвѣтныя шолковыя ткани, что голова твоя украшена перьями и несешь ты на себѣ тяжесть цѣннаго металла? Если все это, какъ утреннее облачко, которое быстро несется и скоро промелькнетъ, ты разсѣешь и отгонишь отъ себя,—предъ тобою окажется человѣкъ нагой и убогій, и жалкій, и ничтожный; человѣкъ, скорбящій о томъ, что онъ человѣкъ, стыдящійся своей наготы, оплакивающій свое рожденіе, ропщущій на свою жизнь; человѣкъ, рожденный для труда, а не для почета; человѣкъ, рожденный отъ женщины и потому грѣховный; съ жизнью кратковременной, и потому полной страха; пресыщенный многими печалями (Іов. XIV 1), и потому скорбящій. На самомъ дѣлѣ много печалей у человѣка, такъ какъ онѣ идутъ отъ тѣла и отъ духа; какого еще бѣдствія недостаетъ тому, кто родился въ грѣхѣ, съ бреннымъ тѣломъ и немощнымъ духомъ?.. На самомъ дѣлѣ пресыщенъ тотъ печалями, у кого слабость тѣла соединяется съ неразуміемъ сердца, кто вязнетъ въ плоти и обреченъ на смерть. Полезно тебѣ такое сочетаніе понятій въ виду того, что, признавая себя первосвящен-

никомъ, ты въ то же время будешь сознавать, что не только былъ презрѣннѣйшимъ прахомъ, но и остался таковымъ".

Но эта безпримѣрная проповѣдь смиренія, это небывалое обличеніе въ ничтожествѣ особы, предъ которою съ обоготвореніемъ падали ницъ милліоны людей,—представляетъ только одну сторону изображенія. Бернардъ предлагаетъ Евгенію слѣдовать въ своемъ размышленіи природѣ, соединяющей высокое съ низкимъ: развѣ природа или, вѣрнѣе, Творецъ природы не соединилъ въ лицѣ человѣка съ презрѣннымъ прахомъ духъ жизни? развѣ самъ Творецъ природы не сочеталъ въ своемъ лицѣ *слово* съ прахомъ? Подобнымъ образомъ идея величайшаго контраста представлялась Бернарду и въ папствѣ. Въ системѣ средневѣковой теократіи ничтожный человѣкъ становится краеугольнымъ камнемъ Божескаго царства. Представивъ папѣ въ зеркалѣ изображеніе его человѣческаго ничтожества, онъ приглашаетъ его разсмотрѣть еще внимательнѣе, кто онъ такое въ качествѣ главы церкви, какую великую роль онъ на время играетъ въ церкви Божіей. „Кто же ты? великій іерей и первосвященникъ! Ты главный изъ епископовъ, преемникъ апостоловъ, по первенству Авель, по управленію Ной, по патріаршеству Авраамъ, по чину Мельхиседекъ, по достоинству Ааронъ, по авторитету Моисей, по судейству Самуилъ, по власти Петръ, по помазанію Христосъ. Тебѣ даны ключи, тебѣ довѣрены овцы. Существуютъ и другіе привратники неба, другіе пастыри паствы; но ты тѣмъ знатнѣе, чѣмъ отличнѣе двойное званіе, наслѣдованное тобою предъ другими. Имъ указаны отдѣльныя стада, каждому свое; тебѣ довѣрены всѣ, вся паства поручена тебѣ одному; не только всѣхъ овецъ, но и всѣхъ пастырей ты единый пастырь!"

Доказавъ это обычнымъ способомъ, Бернардъ продолжаетъ: „итакъ, въ силу церковныхъ каноновъ, одни призваны для участія въ заботѣ, ты—для полновластія (in plenitatem potestatis). Власть другихъ стѣснена опредѣленными предѣлами; твоя власть распространяется и на тѣхъ, которые получили власть надъ другими. Развѣ, если представится надобность, ты не можешь епископу заградить небо, низложить его съ сана и даже предать сатанѣ? Стоитъ незыблемо твое преимущество какъ относительно обширности паствы, такъ и высоты власти (in datis clavibus quam in ovibus").

Собравъ, наконецъ, во-едино всѣ черты папскаго идеала, въ которомъ абсолютное могущество должно было соединяться съ абсолютнымъ нравственнымъ совершенствомъ, какъ въ идеѣ Божества, по образу и подобію котораго сложилась идея папства,

Бернардъ пишетъ Евгенію въ своей характерной, обильной эпитетами и эффектно завершающей мысль, манерѣ:

„Памятуй болѣе всего, что римская церковь, во главѣ которой ты Божьимъ велѣніемъ поставленъ, мать церквей, а не госпожа; ты же не господинъ надъ епископами, а одинъ изъ нихъ; ты братъ любящихъ Бога и спутникъ грядущихъ въ страхѣ Его. Относительно всего остального же знай, что ты долженъ быть нормою справедливости, зеркаломъ святости, образцомъ благочестія, заступникомъ за истину, защитникомъ вѣры, учителемъ языковъ, руководителемъ христіанъ, другомъ Жениха, дружкою (paranymphus) Невѣсты (церкви), устроителемъ клира, пастыремъ народа, наставникомъ неразумныхъ, убѣжищемъ угнетенныхъ, опорою бѣдныхъ, надеждою убогихъ, попечителемъ сиротъ, судьею для вдовъ, окомъ для незрячихъ, языкомъ для нѣмыхъ, посохомъ для старцевъ, карателемъ преступленій, ужасомъ злыхъ, гордостью добрыхъ, лозою для вельможъ, молотомъ для тиранновъ, отцомъ царей, регуляторомъ законовъ, хранителемъ каноновъ, — солью земли, свѣточемъ міра, жрецомъ Всевышняго, викаріемъ Христа, помазанникомъ (christum) Господа,—наконецъ Богомъ Фараона. Пойми, что̀ я говорю, Господь дастъ тебѣ разумѣніе".

Это не реторическая метафора, а многознаменательное опредѣленіе папской власти съ точки зрѣнія „Божескаго царства". И для Бернарда папа „Богъ на землѣ",—но только по отношенію къ Фараону, т.-е. нечестивому земному тиранну. И не земными перунами долженъ папа громить Фараоновъ, а царить надъ ними силою своего религіознаго призванія и назначенія. Это видно изъ слѣдующихъ за этимъ словъ Бернарда: „Тамъ, гдѣ злоба соединена съ могуществомъ, тебѣ надлежитъ брать на себя нѣчто свыше человѣческаго удѣла. Взоръ твой да будетъ стоять надъ творящими неправду. Да опасается гнѣвнаго духа твоего тотъ, кто человѣка не боится и меча не страшится. Да страшится молитвы твоей тотъ, кто наставленіемъ пренебрегаетъ. Тотъ, на кого ты разгнѣваешься, пусть мнитъ, что не человѣкъ, а Господь на него разгнѣвался".

Бернардъ, какъ видно, не панегиристъ папства. Если онъ возвеличиваетъ папство, такъ это не для того, чтобы, по его прекрасному выраженію, папа, „высоко возсѣдая, высокомѣрно мыслилъ (altus sedens, non alta sapiens sis)". Чѣмъ выше для него идея и назначеніе папства, тѣмъ требовательнѣе онъ относительно практическаго проявленія его власти и его дѣятельности. Этотъ критическій отдѣлъ составляетъ самую значительную часть его трактата. Изобразивъ въ патетическихъ, заимствованныхъ изъ св. писанія,

выраженіяхъ, какъ предки папы подчинили себѣ міръ, Бернардъ заключаетъ: „Имъ ты наслѣдовалъ въ отчинѣ (haereditas), и потому вся земля (orbis)—твое наслѣдіе. Выйти изъ предѣловъ земли долженъ былъ бы тотъ, кто захотѣлъ развѣдать что не подлежитъ твоему попеченію. Но *насколько* этотъ удѣлъ тебѣ достался, это слѣдуетъ взвѣсить трезвымъ разсмотрѣніемъ. Ибо не всякимъ способомъ, а, думаю я, какимъ-либо однимъ довѣрено тебѣ завѣдываніе міромъ—владѣніе же имъ вовсе не дано (non data posessio). Если ты станешь захватывать владѣніе, то воспрекословитъ тебѣ Тотъ, Кто сказалъ: „Моя вселенная и все, что наполняетъ ее“ (Псал. 49, 92). Не о тебѣ ведетъ рѣчь пророкъ, сказавшій: „вся вселенная будетъ *Его* владѣніемъ“. Это Христосъ, заявляющій свое право на владѣніе ею, и по праву творенія, и въ силу искупленія, и по даренію Отца. Владѣніе и собственность вселенной Ему уступи; ты же имѣй попеченіе о ней; въ этомъ твой удѣлъ; дальше руки не простирай“.

„Ты возразишь мнѣ на это: что же это значитъ? ты не отрицаешь главенства моего, а власти за мною не признаешь (dominium vetas)? Именно такъ. Какъ будто не главенствуетъ тотъ, на комъ лежитъ главная забота? развѣ усадьба не подчинена управителю? однако, онъ ей не господинъ. Такъ и ты главенствуешь, чтобы предусматривать, совѣтовать, заботиться и услуживать. Ты главенствуешь ради пользы (praesis ut prosis); главенствуешь какъ вѣрный рабъ и благоразумный, поставленный господиномъ надъ челядью его; для чего?—„чтобы дать имъ пищу во-время“ (Матѳ. 24, 45), т.-е. чтобы заботиться о нихъ, а не властвовать надъ ними. Вотъ что дѣлай, а господствовать надъ людьми не дерзай для того, чтобы не господствовала надъ тобою всякая неправда. Объ этомъ слишкомъ достаточно сказано выше, но одно я прибавлю: никакой ядъ, никакой мечъ тебѣ такъ не опасенъ, какъ страсть господствовать (libido dominandi)“.

Исходя изъ этого основанія, Бернардъ, съ характернымъ для него накопленіемъ созвучныхъ словъ, перечисляетъ папскія обязанности: „Твое дѣло прилагать какъ можно больше старанія, чтобы невѣрные обращались къ вѣрѣ, обращенные не отвращались, отвратившіеся возвращались, извращенные исправлялись и совращенные снова къ истинѣ призывались; совратители же приводились бы побѣдоносными доводами къ исправленію, если возможно; а если невозможно, то лишались бы власти и возможности совращать другихъ“. Подъ совращенными и совратителями Бернардъ разумѣлъ еретиковъ и схизматиковъ. На нихъ должно быть обращено главное вниманіе папы—„для исправленія ихъ, чтобы не погибли—или для

сдерживанія ихъ, чтобы не губили другихъ". Относительно евреевъ время служитъ оправданіемъ папы; ибо ихъ обращенію поставленъ срокъ, который не можетъ быть ускоренъ: сначала въ лоно церкви должна будетъ войти совокупность язычниковъ (gentium). Но нужно ли ждать,—иронически спрашиваетъ Бернардъ,—чтобы вѣра сама запала въ сердца язычниковъ? Какъ имъ увѣровать, безъ проповѣдника?

Итакъ, обращеніе еретиковъ и язычниковъ на истинный путь есть главная задача папы; но между тѣмъ зло овладѣваетъ самою церковью и язвы покрываютъ тѣло Христово, т.-е. совокупность вѣрующихъ: „О, честолюбіе, крестъ тщеславныхъ (ambientium)! какъ ты всѣхъ мучишь и всѣхъ, однако, прельщаешь! Ничто не терзаетъ такъ жестоко, ничто не тревожитъ мучительнѣе, ничто, однако, у жалкихъ смертныхъ не прославляется сильнѣе твоихъ подвиговъ! Развѣ не по честолюбію—болѣе, чѣмъ по благочестію—обиваются пороги апостоловъ? развѣ не его возгласами цѣлый день оглашается дворецъ вашъ? развѣ не ради его выгодъ до пота трудится вся наука права и каноническихъ законовъ? развѣ не на эту добычу разѣваетъ свою пасть вся итальянская хищность и ненасытная жадность? Что иное, какъ не честолюбіе, не только прерываетъ, но уничтожаетъ твое собственное духовное занятіе? Какъ часто, благодаря этому безпокойному и безпокоящему злу, становится совершенно празднымъ твой святой и плодотворный досугъ! Иное дѣло, когда ради угнетенныхъ взываютъ къ тебѣ, иное—когда честолюбіе въ церкви замышляетъ господствовать черезъ тебя. Тебѣ не слѣдуетъ отказывать первымъ, но отнюдь не способствовать послѣднему. А что сказать, когда поощряются честолюбцы и презираются угнетенные? Ты, однако, состоишь должникомъ у тѣхъ и другихъ—ты обязанъ поддерживать однихъ и подавлять другихъ!"

Въ этихъ словахъ Бернардъ коснулся самаго больного мѣста слагавшейся тогда системы папскаго владычества надъ церковью, и это даетъ ему поводъ подробно распространиться о возникшемъ на его глазахъ злѣ. Эта критика со стороны Бернарда современной ему системы церковнаго управленія представляетъ чрезвычайный историческій интересъ.

Бернардъ понималъ теократію въ идеальномъ смыслѣ; онъ желалъ духовнаго господства папы надъ церковью, но Божеское царство, во главѣ котораго долженъ былъ стоять папа, уже стало принимать формы и усвоивать себѣ пріемы земного царства. Папская

власть, а съ нею и церковь, уже стали идти по тому наклону, который привелъ ихъ къ матеріализаціи и паденію ихъ авторитета въ концѣ среднихъ вѣковъ. Зло не вполнѣ еще обнаружилось въ XII вѣкѣ, но Бернардъ уже тогда выступилъ провидящимъ и карающимъ пророкомъ „Божескаго царства". Матеріализація власти была, главнымъ образомъ, вызвана крайнимъ ея напряженіемъ и уничтоженіемъ всѣхъ сдерживавшихъ ее преградъ, а это положеніе дѣла было подготовлено чрезмѣрной централизаціей власти и омертвѣніемъ ея живыхъ частей. Самое понятіе централизаціи, конечно, еще не образовалось, и мы не находимъ его у Бернарда, но онъ мѣтко обозначилъ и подвергъ порицанію три главныхъ проводника ея.

Первымъ проводникомъ централизаціи, имѣвшимъ характеръ подготовительнаго способа, были такъ-называемые exemtiones—привилегіи, изъятія изъ-подъ мѣстной епархіальной власти, которыя папство издавна щедро предоставляло монастырямъ и соборнымъ капитуламъ. Вслѣдствіе такихъ изъятій, во-первыхъ, падалъ авторитетъ мѣстныхъ епископовъ и самостоятельность ихъ ослабѣвала по отношенію къ римскому епископу. Съ другой стороны, вся западная Европа покрывалась какъ бы островками или энклавами владѣній, непосредственно подчиненныхъ Риму.

Бернардъ осуждаетъ эту систему изъятій, подрывающую жизненность церковнаго строя. „Тебѣ дана власть,—обращается онъ къ папѣ,—но для чего? развѣ для того, чтобы рости насчетъ подчиненныхъ? Нисколько; они, напротивъ, поставили тебя во главѣ церкви—ради себя, а не ради тебя". Бернардъ говоритъ о ропотѣ и сѣтованіяхъ церквей—онѣ жалуются, что ихъ увѣчатъ и разсѣкаютъ. Нѣтъ церквей, или ихъ уже очень мало, которыя не скорбѣли бы объ этой язвѣ или не боялись бы ея. „Ты спросишь, о чемъ? О томъ, что освобождаются аббаты изъ-подъ власти епископовъ, епископы изъ-подъ архіепископовъ, архіепископы отъ патріарховъ и примасовъ. „Творя это, вы доказываете, что имѣете полную власть на это; но относительно справедливости дѣло, можетъ быть, стоитъ иначе. Вы творите это, потому что можете, но слѣдуетъ ли вамъ это дѣлать—въ этомъ вопросъ. Вы поставлены на то, чтобы сохранять за каждымъ принадлежащую ему степень чести и достоинства, а не завидовать; —изъ вашихъ же нѣкто сказалъ: кому честь, честь" (Посл. къ римл., 13, 17).

Бернардъ разсматриваетъ предметъ принятымъ въ средніе вѣка способомъ, съ точки зрѣнія вопроса, можно ли, должно ли и полезно ли (an liceat, deceat, an et expediat), и рѣшаетъ его

въ отрицательномъ смыслѣ. „Неприлично для тебя,—говоритъ Бернардъ между прочимъ,—руководствоваться произволомъ вмѣсто закона и въ силу того, что нѣтъ трибунала, къ которому тебя можно призвать, пользоваться властью, пренебрегая разумомъ. Развѣ ты выше твоего господина, сказавшаго: я пришелъ не для того, чтобы творить волю мою?.. Что можетъ быть недостойнѣе тебя, который обладаетъ цѣлымъ, не довольствоваться цѣлымъ, но хлопотать о томъ, чтобы всякимъ способомъ присвоивать себѣ какія-то мелочи, малыя крохи довѣреннаго тебѣ цѣлаго, какъ будто *онѣ* и безъ того не твои?“ Думаешь ли ты,—говоритъ онъ, наконецъ,—что „тебѣ можно отсѣкать члены мѣстныхъ церквей, перепутывать порядокъ, смѣшивать предѣлы, поставленные отцами твоими? Если справедливость состоитъ въ томъ, чтобы за каждымъ сохранять право его, то какъ совмѣстимо съ справедливостью у каждаго отнимать принадлежащее ему? Заблуждаешься ты, если думаешь, что твоя апостольская власть установлена Господомъ не только какъ высшая, но и какъ единственная власть“.

Другой, болѣе непосредственный проводникъ папской власти составляли *легаты*, послы, отправлявшіеся папами съ чрезвычайными полномочіями и порученіями въ разныя страны Европы.

Посредствомъ этихъ легатовъ авторитетъ папы проявлялся во всей своей силѣ въ самыхъ отдаленныхъ отъ Рима областяхъ, и можно сказать, что око и мощная рука римскаго епископа этимъ способомъ въ стократъ размножались. Легаты, напоминающіе собою извѣстныхъ missi dominici Карла В., были въ нѣкоторой степени такими же необходимыми орудіями центральной власти при феодальной анархіи и служили гарантіями высшей справедливости противъ мѣстнаго произвола. Но вмѣстѣ съ тѣмъ эти легаты, которыхъ не даромъ сопоставляютъ съ римскими проконсулами, подрывали авторитетъ мѣстныхъ епископовъ и часто злоупотребляли своимъ безконтрольнымъ положеніемъ. Въ лицѣ легатовъ римская курія переносилась, такъ сказать, на мѣста со всѣми своими пороками, въ особенности съ своей пресловутой жадностью. Въ своемъ трактатѣ Бернардъ напоминаетъ Евгенію о кардиналѣ-пресвитерѣ Мартинѣ, который вернулся изъ Дакіи въ такой бѣдности, что по недостатку денежныхъ средствъ и лошадей едва доѣхалъ до Флоренціи. Флорентинскій епископъ снабдилъ его лошадьми, чтобы доѣхать до Пизы, гдѣ въ то время находились Бернардъ и Евгеній, бывшій тогда монахомъ. Вслѣдъ за легатомъ прибылъ въ Пизу и епископъ по дѣлу какой-то тяжбы, въ которой кардиналъ-легатъ могъ оказать ему большую помощь. Епископъ обратился къ легату, сильно разсчитывая на

оказанную ему недавно услугу, но услышалъ слова: „Ты обманулъ меня, я не зналъ, что у тебя тяжба; возьми назадъ коня своего“. „Что скажешь на это, Евгеній?—восклицаетъ Бернардъ:—развѣ это не событіе изъ другого вѣка, что легатъ вернулся изъ страны золота безъ золота и что, заподозривъ цѣль подарка, тотчасъ отвергъ его?“

Замѣчаніе Бернарда показываетъ, какое исключеніе составляли безкорыстные легаты; общій типъ легатовъ въ XII вѣкѣ былъ не таковъ, и характеристику его легко пополнить изъ другихъ сочиненій Бернарда. Кто хочетъ знать, съ какимъ неумолимымъ жаромъ онъ обличалъ злоупотребленія легатовъ и какіе при этомъ вѣскіе удары наносилъ самымъ высокимъ сановникамъ римской куріи, тотъ пусть прочтетъ его письмо къ кардиналу Гуго о папскомъ легатѣ Іорданѣ де Урсинисъ. И тутъ можно думать, что читаешь страстное обличеніе противъ римской куріи какого-нибудь реформатора XV или XVI вѣка.

„Прошелъ вашъ легатъ отъ границъ одного народа къ другому и изъ одного царства въ другое, вездѣ оставляя послѣ себя страшные и гнусные слѣды. Отъ подошвы Альпъ и царства германскаго, по всѣмъ почти епархіямъ Франціи и Нормандіи до самаго Руана апостольскій мужъ все наполнилъ не Евангеліемъ, а святотатствомъ. Въ школахъ, и на судахъ, и на перепутьяхъ, вездѣ онъ сталъ притчей; бѣдные, и монахи, и клерики, всѣ полны жалобъ на него“.

Но главнымъ проводникомъ папскаго полновластія были *апелляціи* въ Римъ, поощряемыя папами всевозможными способами. Это средство было тѣмъ дѣйствительнѣе, что въ этомъ случаѣ стремленіе установить централизацію шло не только изъ Рима, но всѣ церковныя провинціи добровольно содѣйствовали установленію своей зависимости отъ Рима. Наперерывъ спѣшили въ Римъ цѣлыми массами люди всевозможныхъ званій и положеній, заинтересованные въ какомъ-нибудь дѣлѣ, чтобы заручиться покровительствомъ куріи или, по крайней мѣрѣ, выиграть время. Всякій, кому что-нибудь не удалось или кто не надѣялся достигнуть своей цѣли обычнымъ и законнымъ путемъ, прибѣгалъ къ легкому средству апелляціи въ Римъ, хотя бы для того, чтобы повредить своимъ противникамъ или соперникамъ. Понятно, что при такихъ условіяхъ настоящее значеніе апелляцій—возможность добиться пересмотра несправедливо рѣшенной тяжбы или отмѣны жестокаго приговора—совершенно было затемнѣно злоупотребленіями, къ которымъ подавали поводъ апелляціи.

Положеніе дѣла объ апелляціяхъ—этого важнѣйшаго вопроса

церковнаго управленія въ тѣ времена—лучше всего можно усмотрѣть изъ замѣчаній Бернарда, который хорошо понималъ зло, ясно предвидѣлъ его послѣдствія и вмѣстѣ съ тѣмъ старался сохранить принципъ апелляцій, обезпечивъ его отъ злоупотребленій.

Бернардъ приводитъ нѣсколько примѣровъ, наглядно характеризующихъ положеніе дѣла. Въ Парижѣ празднуется свадьба; гости уже съѣхались въ церкви, свадебный пиръ приготовленъ: вдругъ лицо, раньше сватавшееся за невѣсту, заявляетъ апелляцію въ Римъ; священникъ пріостанавливается, женихъ въ ужасѣ, невѣсту увозятъ домой и гостямъ приходится довольствоваться собственнымъ ужиномъ. Въ Отёнѣ происходятъ выборы въ епископы; одинъ изъ кандидатовъ, видя, что у него мало надежды одолѣть соперниковъ, апеллируетъ въ Римъ, заявивъ, что самъ туда отправится, и между тѣмъ, когда выборы все-таки состоялись, онъ, несмотря на свою апелляцію, производитъ съ своими приверженцами новые выборы въ свою пользу.

Понятны при такихъ условіяхъ предостереженія Бернарда: „Большой можетъ быть вредъ отъ апелляцій, если не пользоваться ими въ высшей степени умѣренно. Со всего міра идутъ апелляціи къ тебѣ; это служитъ доказательствомъ твоего особеннаго примата. Но ты, если благоразуменъ, радуйся не примату, а плодамъ его. Идутъ къ тебѣ апелляціи, но хорошо было бы, еслибы они были также полезны, какъ необходимы. О, какъ желательно, чтобы на себѣ почувствовалъ бѣду притѣснитель, когда взываетъ къ тебѣ угнетенный и чтобы нечестивый не гордился, подвергая обидѣ бѣдняка. Чтò могло бы быть прекраснѣе зрѣлища, какъ еслибы при воззваніи къ твоему имени угнетенные избавлялись отъ обиды, коварные же не избѣгали кары? а чтò, напротивъ того, хуже и противнѣе справедливости, какъ то, что злодѣй торжествуетъ, потерпѣвшій же несетъ напрасную тяготу? Жестоко отнестись безучастно къ человѣку, чье горе отъ претерпѣнной имъ обиды усугублено трудностью дальняго пути и убытками отъ расходовъ; и неблагородно терпѣть равнодушно того, кто былъ виновникомъ или поводомъ такихъ непріятностей. Воспрянь, Божій человѣкъ, когда творятся подобныя дѣла: дай волю твоему состраданію, но дай также волю и негодованію твоему“.

Изъ этого видно, что самымъ дѣйствительнымъ средствомъ противъ злоупотребленія апелляціями въ Римъ было въ глазахъ Бернарда привлеченіе къ отвѣтственности виновныхъ въ злостной апелляціи; карѣ долженъ былъ подвергнуться и тотъ, кто апеллировалъ безъ достаточнаго повода. Зачѣмъ понапрасну мучить людей?

Вполнѣ справедливо, чтобы больше всего вредилъ самому себѣ тотъ, кто хотѣлъ нанести вредъ ближнему. Апеллировать безъ справедливаго повода—значитъ совершать несправедливость; оставлять это безнаказаннымъ—значитъ плодить несправедливыя апелляціи. Несправедлива же всякая апелляція, которая не вызвана отказомъ въ правосудіи. Поэтому, по мнѣнію Бернарда, можно было апеллировать *на* приговоръ; апеллировать же *до* приговора онъ считалъ вообще непристойнымъ, и дозволеннымъ развѣ только въ случаѣ явной обиды. Ибо „если кто апеллировалъ, не потерпѣвъ еще обиды, то онъ, очевидно, намѣренъ былъ или нанести другому обиду, или выиграть время".

Указавъ на то, при какихъ нарушеніяхъ церковныхъ и нравственныхъ законовъ удавалось посредствомъ апелляцій обезпечивать себѣ безнаказанность на всю жизнь, Бернардъ взываетъ къ папѣ: „Доколѣ же ты не станешь внимать ропоту всей земли, или будешь дѣлать видъ, что не слышишь его? долго ли будешь дремать? Противоядіе стало ядомъ".

„Нечестивые апеллируютъ на честныхъ, чтобы имъ можно было поступать нечестно... На епископовъ апеллируютъ, чтобы они не дерзали расторгать или запрещать незаконные браки. Апеллируютъ, чтобы они не посмѣли наказывать или сдерживать грабежъ, воровство, святотатства и подобныя дѣла. Апеллируютъ, чтобы лишить ихъ возможности удалять или не допускать до священства и церковныхъ бенефицій недостойныхъ и опозоренныхъ. Какое найдешь ты лекарство противъ этой язвы, чтобы средство, придуманное для излеченія, не оказалось ядомъ смертельнымъ?"

„Твое дѣло объ этомъ подумать, мое—растолковать это тебѣ. Но почему же, можетъ быть, спросишь ты меня, неправильно привлеченные къ моему суду не приходятъ доказывать свою невинность и обличить коварный замыселъ? Скажу тебѣ то, что обыкновенно на это отвѣчаютъ: мы не хотимъ напрасно терпѣть мученія. Въ куріи есть люди, которые слишкомъ склонны покровительствовать апеллирующимъ и поощрять апелляціи. Придется уступить въ Римѣ, ужъ лучше уступить дома".

„Признаюсь,—прибавляетъ Бернардъ,—что я не совсѣмъ недовѣряю такимъ толкамъ. Назовешь ли ты мнѣ кого-нибудь при столь частыхъ апелляціяхъ, нынѣ совершающихся, кто вознаградилъ бы за путевыя издержки хотя копѣйкой жертву напрасной апелляціи? Было бы удивительно, еслибы всѣ апеллирующіе оказались правы, а всѣ вызванные по вашему рѣшенію виновны!"

Общій взглядъ Бернарда на апелляціи сводится къ слѣдую-

щему выводу: „Я признаю апелляціи великимъ и общимъ благомъ для міра, которое также необходимо, какъ и самое солнце для смертныхъ. На самомъ дѣлѣ, это солнце правды, восходящее изъ тьмы и обличающее дѣла ея. Конечно, ихъ надо поощрять и поддерживать, но только такія, которыя вынуждены необходимостью, а не тѣ, что изобрѣтаются лукавствомъ".

Какъ ни существенны всѣ эти критическія замѣчанія Бернарда для исторіи папства, главное ихъ значеніе состоитъ въ томъ, что они служатъ ему основаніемъ для принципіальной постановки вопроса. О папствѣ въ половинѣ XII вѣка, на полупути между Григоріемъ VII, когда аскетическій принципъ вдохновилъ іерархію, и Иннокентіемъ III, когда среди могущества и власти, достигнутыхъ папствомъ, сталъ изсякать животворящій духъ идеала, Бернардъ остановилъ папство на перепутьѣ и предъявилъ ему требованіе сдѣлать выборъ между осуществленіемъ идеала и стремленіемъ къ земному владычеству во имя этого идеала.

Бернардъ поставилъ папѣ вопросъ: Какого же ты хочешь царства? Божескаго или земного?

Давно уже, почти одновременно съ тѣмъ моментомъ, когда римскій епископъ достигъ автономіи и въ интересахъ западнаго міра возстановилъ титулъ и идею римскаго императора, въ римской куріи стали проявляться стремленія независимо отъ духовной власти захватить для римскаго епископа и свѣтскую власть, и предоставить преемнику апостола Петра также и наслѣдіе императора Константина. Бернардъ срываетъ маску съ этихъ честолюбивыхъ поползновеній; въ его глазахъ духовное призваніе римскаго епископа, поставленнаго во главѣ церкви, исключаетъ всякій внѣшній блескъ и свѣтское могущество.

Въ своемъ наставленіи папѣ Евгенію, убѣждая его быть добрымъ пастыремъ, для того, чтобы не отрекся отъ него тотъ, чей престолъ онъ занимаетъ, Бернардъ говоритъ: „А это тотъ Петръ, о которомъ неизвѣстно, чтобы онъ когда-либо шествовалъ, украшенный драгоцѣнными каменьями или шолковой одеждой, былъ покрытъ золотомъ, возсѣдалъ на бѣломъ конѣ, былъ огражденъ военной стражей и окруженъ шумящей толпою придворныхъ служителей. Безъ всего этого онъ считалъ совершенно возможнымъ исполнить свое святое порученіе: если любишь меня, паси овцы мои. Въ этомъ—ты унаслѣдовалъ Петру, а не Константину. Я совѣтую тебѣ терпѣть все это до времени, но не стремиться какъ къ должному. Хотя бы ты и въ порфирѣ, хотя бы ты весь въ

золотѣ шествовалъ, ты все-таки не долженъ отклонять отъ себя трудъ и заботу пастырскую. „*Ты преемникъ пастыря*“.

Въ другомъ мѣстѣ своего наставленія Бернардъ вмѣщаетъ въ необыкновенно выразительной формулѣ всю историческую проблему папства: „Таковъ завѣтъ апостольскій: господство тебѣ воспрещается, вмѣняется въ обязанность служеніе... Гряди же ты и рѣшай, присвоить ли себѣ апостольство, или господство [1]). Одно изъ двухъ тебѣ воспрещается. Если ты захочешь одновременно обладать и тѣмъ и другимъ, ты утратишь и то, и другое“.

Эти слова знаменитѣйшаго представителя средневѣковаго міровоззрѣнія служатъ путеводною звѣздою для исторіи той эпохи. Въ нихъ ярко сіяетъ тотъ идеалъ, который создалъ возвышенное и стройное, поднимавшееся своей вершиной до неба, зданіе средневѣковой теократіи; но въ нихъ же заключается и роковое пророчество, объясняющее всю ея дальнѣйшую судьбу.

В. Герье.

---

[1]) De Consid. L. II, c. 6. Migne, 182 col. 748. Forma apostolica haec est: dominatio interdicitur, indicitur ministerium. I ergo tu et tibi usurpare aude aut dominans apostolatum aut apostolicus dominatum.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

ПОВѢСТЬ.

Окончаніе.

Глава XXI.

I.

Въ исходѣ второго часа Валентина Марковна Варницкая—эта, по словамъ Чиркова, „хорошенькая ретроградка, проповѣдующая свое евангеліе“,—еще была неодѣта. До половины третьяго она обыкновенно занималась въ изящномъ, артистически убранномъ кабинетѣ своего небольшого особнячка на Сергіевской улицѣ.

Съ одиннадцати часовъ утра, послѣ молитвы, ванны и шоколада, она или читала, или писала, принимала своего управляющаго по дѣламъ, принимала обращающихся съ просьбами и самыхъ близкихъ друзей, передъ которыми не стѣснялась показываться въ своемъ бѣлоснѣжномъ, роскошномъ „saut de lit“ изъ пиренейскихъ барановъ, съ голубыми „корделіерами“ у шеи и таліи, въ крошечныхъ китайскихъ туфелькахъ и съ распущенными бѣлокурыми, отливавшими золотомъ, волосами, перехваченными сзади лентой. Утренній костюмъ, свободный и красивый, и распущенные волосы значительно скрадывали „проблематическіе“ годы „хорошенькой ретроградки“; точную цифру ея лѣтъ никто достовѣрно не зналъ. Мужчины предполагали, что Варницкой „около тридцати“, тогда какъ дамы увѣряли, что ей всѣ сорокъ, и что она,

*) См. выше: мартъ, 103 стр.

будто бы, всегда садится въ тѣни, чтобы нельзя было хорошо разглядѣть поблекшей свѣжести ея еще необыкновенно сохранившагося лица.

Въ половинѣ третьяго Валентина Марковна обыкновенно удалялась въ будуаръ. Француженка горничная причесывала и одѣвала ее, послѣ чего Варницкая, посѣтивъ внизу дѣтей, ѣхала кататься, заѣзжая иногда въ „свой дѣтскій пріютъ“, въ которомъ была попечительницей. Отъ четырехъ до семи Валентина Марковна принимала и раза два въ недѣлю сама ѣздила съ визитами. Людей болѣе или менѣе выдающихся и интересныхъ Валентина Марковна обыкновенно предупреждала, что время отъ четырехъ до пяти она бережетъ для „умныхъ и серьезныхъ“ людей, а отъ пяти до семи у нея бываютъ „всѣ“.

— Что вы хотите? Надо нести и свѣтскій крестъ!—прибавляла она при этомъ.

Въ этотъ свѣтлый, солнечный морозный день Валентина Марковна съ утра сидѣла за письменнымъ столомъ. Изящныя письменныя принадлежности, чернильница-шедёвръ французской бронзы, дорогія художественныя бездѣлки, миніатюры двухъ дѣтскихъ головокъ, фотографіи Бисмарка, Сольсбюри и одного изъ русскихъ сановниковъ, съ собственноручными надписями, нѣсколько книгъ и брошюръ и прелестное распятіе изъ мексиканскаго оникса—таково было убранство письменнаго стола изъ чернаго дерева. Надъ нимъ висѣлъ поясной портретъ масляными красками покойнаго мужа Валентины Марковны—стараго, лысаго, довольно некрасиваго господина съ симпатичнымъ лицомъ и необыкновенно добродушной улыбкой. По бокамъ стола были трельяжи, а на полу, подъ нимъ, лежалъ пушистый бѣлый мѣхъ ангорской козы, въ которомъ тонули маленькія ножки Валентины Марковны.

Лежавшіе на столѣ почтовые листки, исписанные съ одной стороны косымъ англійскимъ почеркомъ, твердымъ и красивымъ, постепенно увеличивались новыми. Маленькая, выхоленная, атласная рука, съ брилліантомъ на мизинцѣ, быстро и нервно исписывала ихъ. Валентина Марковна оканчивала „боевую“ статью для одной газеты, въ которой была почетной сотрудницей, и куда, время отъ времени, посылала свои бойкія патріотическія и полемическія „causeries“, охотно печатавшіяся редакторомъ, приправлявшимъ ихъ иногда аттической солью и своимъ русскимъ перцемъ. Валентина Марковна, лично знакомая съ редакторомъ, благоговѣла передъ нимъ и изрѣдка переписывалась. Она дорожила его вниманіемъ, очень польщенная его похвальными отзывами о рядѣ

ея брошюръ, изданныхъ, годъ тому назадъ, на русскомъ, французскомъ и англійскомъ языкахъ, подъ псевдонимомъ: „Русская".

Въ этихъ брошюрахъ, литературно написанныхъ, не безъ искренняго огонька убѣжденной патріотки,—брошюрахъ, имѣвшихъ, между прочимъ, цѣлью открыть, наконецъ, Европѣ глаза на „подлинную Россію", Валентина Марковна трактовала и о будущихъ великихъ судьбахъ Россіи, и объ ея внѣшней политикѣ, о народѣ, объ обществѣ, о религіи. Валентина Марковна, еще дома у старика-отца адмирала и потомъ въ институтѣ, привыкшая считать Европу очагомъ всякаго зла и невѣрія, энергично нападала на европейскіе порядки, предрекая гибель Европѣ отъ „разнузданныхъ страстей", и предостерегала русскую публику отъ „нашего напускного либерализма". Она проповѣдовала необходимость, для общаго блага, вернуться къ патріархальнымъ порядкамъ доброй старины, неизмѣнно держаться „вѣковѣчныхъ русскихъ устоевъ, отвѣчающихъ національной самобытности", и взывала къ позабытой религіи. „Беззавѣтно вѣрить и любить ближняго"—таковъ былъ главный тезисъ свѣтской вдовушки, находившей, однако, религію Л. Толстого слишкомъ демократичною и слишкомъ разсуждающею.

Брошюры имѣли успѣхъ въ нѣкоторыхъ кружкахъ. На Валентину Марковну обратили вниманіе. О ней заговорили въ свѣтѣ, какъ о замѣчательной женщинѣ. Прежде ее знали только какъ привлекательную и умную, немного эксцентрическую, свѣтскую даму, а теперь она сразу пріобрѣла репутацію талантливой политической писательницы и „esprit fort", и ее называли „русской Сталь". Знакомство Варницкой съ нѣсколькими государственными людьми Запада и даже съ самимъ Бисмаркомъ, который, какъ ходили слухи, раза два съ ней бесѣдовалъ о политическихъ дѣлахъ, разумѣется, лишь усиливало репутацію Валентины Марковны, давая особенный престижъ этой хорошенькой дилеттанткѣ-писательницѣ изъ „порядочнаго общества". Во время поѣздокъ ея за границу репортеры добивались свиданій и печатали свои разговоры съ „вліятельной панславистской и патріоткой", причемъ, конечно, распространялись и объ ея „очаровательной славянской красотѣ".

Валентина Марковна сдѣлалась въ модѣ въ послѣднее время и на родинѣ. У нея бывали нѣкоторые сановники, бывали тузы-финансисты, писатели и журналисты, знаменитые художники и свѣтская молодежь, и со всѣми она умѣла найти тэму для разговора, не разыгрывая роли „bas bleu". Благодаря ея знакомствамъ и связямъ, къ ней обращались за покровительствомъ разные

искатели мѣстъ, изобрѣтатели, дѣльцы и, разумѣется, все „истинно русскіе люди", вполнѣ проникшіеся ея ученіемъ „беззавѣтно вѣрить и любить ближняго". Не было, разумѣется, недостатка и въ поклонникахъ, готовыхъ предложить ей руку и сердце. Еще бы! Она представляла завидную партію, эта очаровательная женщина „проблематическихъ лѣтъ", вдова одного изъ „Рюриковичей", страшно богатаго золотопромышленника, тайнаго совѣтника Варницкаго, оставившаго пятимилліонное состояніе, изъ котораго на долю жены было завѣщено полтора милліона. Кусокъ былъ лакомый, и не мало охотниковъ изъ „сливокъ" Петербурга, Вѣны и Парижа домогались ея любви и чести помочь вдовѣ благоразумно распоряжаться капиталами. Но Валентина Марковна, необыкновенно практичная, умѣвшая, несмотря на свое религіозное рвеніе, вò-время купить и продать ту или другую бумагу, отлично распоряжавшаяся своими дѣлами,—не нуждалась въ покровителѣ и, равнодушная къ признаніямъ и обожателямъ, отклоняла предложенія, не обнаруживая ни малѣйшаго желанія выйти замужъ и, повидимому, рѣшившись остаться независимой, свободной женщиной, преданной дѣтямъ и своей дѣятельности.

Это возбуждало толки и нареканія. Почему она не выходитъ замужъ, отказываясь отъ блестящихъ партій? Всѣ считали долгомъ объяснять себѣ причины такого упрямства. Одни говорили, что Варницкая—холодная и безчувственная натура, слишкомъ гордая и разборчивая, чтобы найти себѣ достойнаго мужа. Другіе находили, что послѣ не особенно счастливаго ея супружества со старикомъ,—правда, добрымъ и милымъ, обожавшимъ жену, но все же старикомъ,—она не хочетъ повторять опыта. Она слишкомъ напугана, чтобы опять выйти за пожилого человѣка, и слишкомъ боится быть смѣшной, чтобы выйти замужъ за молодого. При этомъ обыкновенно высчитывали годы Валентины Марковны, и снова оказывалось, что, по мужскому счисленію, ей „около тридцати", а по женскому—„всѣ сорокъ". Третьи, наконецъ, увѣряли (и, конечно, на основаніи достовѣрныхъ источниковъ), что Варницкая собирается выйти замужъ за одного мелкаго владѣтельнаго нѣмецкаго принца, безумно въ нее влюбленнаго.

Но прошло уже три года со смерти мужа, а хорошенькая вдова не выходила за нѣмецкаго принца и попрежнему оставалась недоступной донной Анной, которую не могъ смутить ни одинъ изъ титулованныхъ и сановитыхъ Донъ-Жуановъ,—что не мѣшало, однако, въ свѣтѣ злословить Валентину Марковну. Особенно дамы не могли простить ей ни ея ума, ни ея красоты, ни ея роли политической дамы. Ее называли тонкой кокеткой,

играющей людьми, и за глаза подсмѣивались надъ ея знакомствомъ съ разными „пророками“ и „святошами“ и надъ ея стараніями пропагандировать „свою религію“, вербуя прозелитовъ среди молодыхъ людей и поучая ихъ „беззавѣтно вѣрить и любить ближняго“. Находили, что она „играетъ въ религіозное увлеченіе“, желая оригинальничать и создать себѣ исключительное положеніе.

Но, несмотря на искреннее желаніе многихъ знакомыхъ омрачить доброе имя Варницкой, никто, однако, не могъ назвать имени ея любовника изъ числа многочисленныхъ ея поклонниковъ и прозелитовъ. Казалось, она была недоступна сердечнымъ увлеченіямъ, и съ этой стороны ея репутація на свѣтской биржѣ стояла довольно „твердо“. Но ее все-таки подозрѣвали. „Вѣроятно, она грѣшитъ, какъ и всѣ смертные, но умѣетъ хорошо прятать концы, эта умная и красивая женщина!“ Трудно, въ самомъ дѣлѣ, предположить, чтобы она была безупречной монахиней!

Такой развращенный скептикъ, какъ Чирковъ, считавшій себя знатокомъ женщинъ и едва ли вѣровавшій въ ихъ добродѣтель, разумѣется, не могъ даже себѣ представить, чтобы хорошенькая женщина (если только она не „патологическое явленіе“) не отдавала дани Амуру, и недаромъ цинично намекалъ Стрепетову на пристрастіе Валентины Марковны къ молодымъ и свѣжимъ юношамъ.

Подобное мнѣніе, не основанное на вѣскихъ данныхъ, раздѣляли многіе, но никто не смѣлъ его высказывать громко. Валентина Марковна держала себя въ обществѣ гордо и недоступно. Повидимому, она больше думала о „благѣ Россіи“ и о „позабытой религіи“, чѣмъ объ „амурахъ“.

II.

Валентина Марковна дописывала послѣдній листокъ, когда изъ-за портьеры появился лакей во фракѣ, презентабельный и солидный, съ роскошными бакенбардами, которымъ позавидовалъ бы любой начальникъ отдѣленія, и подалъ на серебряномъ подносѣ визитную карточку Стрепетова.

— Попросите подождать въ гостиной!—проговорила Варницкая, взглянувъ на карточку и недовольно пожавъ плечами.

Лакей вышелъ съ почтительнымъ поклономъ и, вернувшись на площадку лѣстницы, уставленную тропическими растеніями, на которой дожидался Стрепетовъ, отворилъ дверь гостиной и

съ самымъ серьезнымъ видомъ попросилъ молодого человѣка „пожаловать“, прибавивъ, что генеральша занята и проситъ подождать.

Стрепетовъ вошелъ. Въ первую минуту ему показалось, что онъ попалъ въ какой-то складъ мебели и всякихъ рѣдкостей— до того эта громадная комната была заставлена. Ему еще никогда не приходилось видѣть такой гостиной. И чѣмъ болѣе онъ ее разглядывалъ, тѣмъ болѣе удивлялся артистической роскоши ея убранства. Толстый, мягкій коверъ лежалъ во всю комнату; тяжелыя штофныя драпри, не пропускавшія свѣта, ниспадали красивыми складками; картины масляными красками старинныхъ мастеровъ висѣли по стѣнамъ; бюсты, вазы и статуэтки стояли въ углахъ и у стѣнъ на роскошныхъ подставкахъ. Самые разнообразные, не похожіе одни на другіе, диваны, диванчики, козетки, кресла и стулья всевозможныхъ формъ и въ разныхъ старинныхъ стиляхъ, наполняли эту комнату со множествомъ уютныхъ уголковъ, украшенныхъ пальмами и другими экзотическими растеніями. Разныя ширмочки, китайскія и японскія, образовывали проходы. Оригинальные столы и столики, шкапчики, этажерки, горки съ рѣдкостями, вазы съ цвѣтами были разбросаны повсюду. Каждая вещь здѣсь была художественнымъ произведеніемъ или рѣдкостью. Небольшая „марина“ Айвазовскаго, маленькій пейзажъ Куинджи, жанровыя картинки знаменитыхъ русскихъ и иностранныхъ художниковъ, миніатюры Риццони, акварели Зичи— попадались вездѣ: на маленькихъ мольбертахъ, на каминѣ, на ширмочкахъ, на столахъ. Тамъ и сямъ стояли въ изящныхъ рамкахъ фотографіи разныхъ знаменитостей, съ ихъ автографами на различныхъ языкахъ. Большой рояль въ углу казался маленькимъ въ этой обширной комнатѣ.

У Стрепетова разбѣжались глаза при видѣ всей этой роскоши и художественныхъ вещей. Онъ разглядывалъ то картину, то красивую громадную вазу, то необыкновенно изящный гобеленъ на стѣнѣ, посматривая время отъ времени на портьеру въ сосѣднюю комнату. Прошло минутъ пять. Стрепетовъ разглядывалъ портретъ какой-то замѣчательно красивой блондинки въ черномъ бархатномъ платьѣ, какъ вблизи раздался тихій и сухой женскій голосъ:

— Прошу васъ сюда...

Стрепетовъ обернулся и въ первую секунду обомлѣлъ отъ изумленія. Въ двухъ шагахъ отъ него, въ рамкѣ, образуемой раздвинутыми портьерами, стоялъ оригиналъ портрета, которымъ молодой человѣкъ только-что любовался,—та самая ослѣпительная

блондинка, средняго роста, съ золотистыми волосами, поразительной бѣлизны, свѣжая и цвѣтущая, съ маленькой, слегка вздернутой, головкой, открывающей красивую, точно изваянную изъ мрамора шею. Что-то надменное, властное было въ ея красивомъ строгомъ лицѣ, въ позѣ, въ этихъ большихъ голубыхъ глазахъ. Она казалась совсѣмъ молодой, съ распущенными волосами, въ своемъ бѣлоснѣжномъ капотѣ, облегавшемъ ея гибкій станъ и изящныя формы.

Никакъ не ожидавшій увидѣть такую красавицу въ своей двоюродной тетушкѣ, которую Стрепетовъ почему-то воображалъ совсѣмъ другою, молодой человѣкъ смущенно склонилъ голову и торопливо приблизился къ Валентинѣ Марковнѣ, досадуя самъ на свое смущеніе, котораго не могъ побороть.

— Рада познакомиться съ родственникомъ!—холодно проговорила Варницкая, не протягивая руки и оглядывая быстрымъ оцѣнивающимъ взглядомъ смущеннаго родственника.

Повидимому, первое впечатлѣніе, произведенное Стрепетовымъ на эту свѣтскую женщину, считавшею всякій „mauvais genre“ преступленіемъ, было благопріятно. Ея родственникъ нисколько не походилъ на того грубаго, грязнаго, „ужаснаго нигилиста“, котораго она почему-то ожидала встрѣтить. И наивное изумленіе Стрепетова въ первый моментъ встрѣчи, и самолюбивая застѣнчивость молодого человѣка, видимо, не бывавшаго въ свѣтѣ, но вполнѣ приличнаго и воспитаннаго, и, наконецъ, молодое красивое лицо, свѣжее, румяное и немножко наивное, съ черными кудрями—все это даже понравилось Валентинѣ Марковнѣ, какъ рѣдкость, не виданная ею среди обычныхъ посѣтителей ея салона.

И съ лица ея исчезло ледяное выраженіе. Красивые глаза ея засвѣтились мягче, и она уже болѣе любезнымъ тономъ повторила, что „рада познакомиться съ племянникомъ“, и прибавила:

— Пойдемте-ка ко мнѣ въ кабинетъ, молодой человѣкъ... Вы мнѣ разскажете, какъ поживаетъ ваша maman и ваши сестры. Я совсѣмъ не знаю, что̀ съ ними.

Стрепетовъ прошелъ вслѣдъ за нею въ сосѣднюю небольшую комнату. И тутъ, какъ и въ гостиной, все говорило о роскоши и изяществѣ. Огонекъ весело горѣлъ въ каминѣ, отражаясь въ красивомъ экранѣ. Было уютно и тепло. Тонкій душистый ароматъ стоялъ въ комнатѣ.

— Ваша maman по прежнему въ Самарѣ?—заговорила Валентина Марковна, опускаясь на низенькій диванчикъ и указывая Стрепетову на кресло подлѣ.

— Въ Самарѣ.

— Я видѣла послѣдній разъ вашу maman давно, очень давно, когда мы съ покойнымъ мужемъ ѣздили на кумысъ... Вы тогда были маленькимъ мальчикомъ и, конечно, меня не помните?..

— Не помню.

— Какъ здоровье вашей maman?.. Она всегда была слабаго здоровья. Что̀ дѣлаютъ ваши сестры? Гдѣ онѣ учатся?—задавала вопросы Валентина Марковна любезно-холоднымъ, покровительственнымъ тономъ, видимо желая ободрить смущеннаго молодого человѣка.

Стрепетовъ между тѣмъ успѣлъ немного оправиться отъ смущенія. „Съ чего это онъ, въ самомъ дѣлѣ, оробѣлъ передъ этой барыней?"—пронеслась у него мысль, и онъ досадовалъ и на свою глупую робость, и на то, что пришелъ сюда. Разумѣется, нога его больше не будетъ у этой „аристократки", встрѣтившей его такъ сухо и горделиво, совсѣмъ не по родственному. Ея покровительственно-ободряющій тонъ раздражалъ его, а всѣ эти вопросы о матери и сестрахъ звучали такимъ холоднымъ равнодушіемъ! И Стрепетовъ рѣшилъ, въ свою очередь, быть холоднымъ и сдержаннымъ, чтобы эта гордая барыня не смѣла и подумать, что онъ пришелъ къ ней въ качествѣ бѣднаго родственника искать покровительства и просить о чемъ-нибудь.

Онъ довольно сдержанно и коротко отвѣтилъ, что мать не совсѣмъ здорова, а сестры учатся.

— Гдѣ?

— Въ гимназіи.

— Въ гимназіи?—переспросила Валентина Марковна.

По ея лицу пробѣжала презрительная улыбка.

— Да, въ гимназіи!—прибавилъ молодой человѣкъ.

— Какъ жаль, что ваша maman не послушала совѣта покойнаго мужа и не отдала вашихъ сестеръ въ институтъ... Мужъ легко бы это устроилъ и предлагалъ свои услуги... Гимназіи наши,—прибавила Варницкая,—невозможны... Дѣвушки оттуда выходятъ съ самыми нелѣпыми идеями.

— Моя мать, напротивъ, находитъ, что въ гимназіяхъ выучиваются, по крайней мѣрѣ, чему-нибудь!—отвѣчалъ Стрепетовъ, видимо стараясь сдерживать волненіе.

— А послѣ гимназіи высшіе курсы?—съ тою же полупрезрительной улыбкой допрашивала Валентина Марковна, взглядывая на молодого человѣка съ любопытствомъ.

— Вѣроятно, высшіе курсы!

Валентина Марковна пожала плечами и, вздохнувъ, замѣтила:

— Они-то и губятъ бѣдную русскую женщину!.. Да. Еще

долго мы не избавимся отъ этой заразы!—прибавила она какъ бы въ раздумьѣ и спросила:

— А вы, молодой человѣкъ, что̀ здѣсь дѣлаете? Въ университетъ пріѣхали или въ медицинскую академію?

— Я ужъ окончилъ курсъ.

— Окончили? — удивилась Варницкая. — Сколько же вамъ лѣтъ? Вы смо̀трите совсѣмъ юношей...

— Мнѣ двадцать-два года!—проговорилъ Стрепетовъ, краснѣя подъ пристальнымъ взглядомъ этихъ холодныхъ загадочныхъ голубыхъ глазъ красивой родственницы.

— Гдѣ же вы учились?

— Въ казанскомъ университетѣ.

— И служите здѣсь?

— Нѣтъ!—лаконически отвѣтилъ Стрепетовъ.

— Чѣмъ же вы занимаетесь?

— Я даю уроки.

— Въ учебныхъ заведеніяхъ?

— Нѣтъ, частные уроки... Кромѣ того, мнѣ обѣщано мѣсто въ земледѣльческомъ банкѣ. Я скоро получу его!—рѣзко и увѣренно прибавилъ молодой человѣкъ и снова вспыхнулъ, и оттого, что солгалъ, и отъ досады на эту барыню, которая, казалось Стрепетову, третируетъ его какъ мальчишку, допрашивая съ какой-то презрительной безцеремонностью.

Тонъ его отвѣта былъ нѣсколько сухъ и рѣзокъ. Стрепетовъ это почувствовалъ и не безъ нѣкотораго юношескаго самодовольства взглянулъ на тетушку, ожидая встрѣтить на ея лицѣ признаки неудовольствія. Но, къ пущей его досадѣ, хорошенькая тетушка, повидимому, не обратила ни малѣйшаго вниманія на тонъ племянника. Она съ насмѣшливымъ любопытствомъ посматривала на молодого человѣка. Этотъ краснѣющій, самолюбивый, наивный и свѣжій юноша казался ей положительно забавнымъ. Такихъ она не встрѣчала среди свѣтской молодежи и среди прозелитовъ своего евангелія.

Послѣ паузы Валентина Марковна неожиданно спросила:

— И вы, надѣюсь, не портите своихъ учениковъ?

Стрепетовъ въ недоумѣніи взглянулъ на тетушку.

— То-есть, какъ это—порчу?—простодушно промолвилъ онъ.

— Не внушаете имъ вредныхъ идей?..

— Какихъ, напримѣръ?—не безъ задора спросилъ молодой человѣкъ.

— Тѣхъ, которыми, къ стыду Россіи, заражена бо̀льшая часть нашей такъ называемой интеллигенціи, воображающей, что

она... соль земли? — прибавила съ презрительно-высокомѣрной усмѣшкой Валентина Марковна.—Нелѣпые восторги Западомъ, идеи матеріализма, безбожія...

— Я просто преподаю математику и никакихъ идей не внушаю!—замѣтилъ Стрепетовъ, усмѣхнувшись.

— И сами, конечно, подобныхъ идей не раздѣляете? Вы слишкомъ для этого порядочный молодой человѣкъ, я въ этомъ увѣрена! — проговорила Валентина Марковна тономъ, не допускающимъ возраженія.—Вы не соціалистъ, не радикалъ?

„Экзаменуетъ!"—подумалъ Стрепетовъ и вспомнилъ въ ту же минуту предсказанія Чиркова.

Этотъ допросъ, безстрастный, сухой и безцеремонный, словно допросъ слѣдователя, возмущалъ Стрепетова. О, съ какимъ бы удовольствіемъ, несмотря на свою мягкость, онъ „оборвалъ бы" изящную тетушку, еслибы только не эта проклятая, неодолимая робость и не самолюбивая боязнь показаться смѣшнымъ и грубымъ передъ этой великолѣпной свѣтской барыней, гордой и надменной, несимпатичной и вмѣстѣ интересной, невольно импонирующей своей ослѣпительной красотой и авторитетной самоувѣренностью тона, рѣчи, манеръ.

Чѣмъ-то властнымъ, недоступнымъ и въ то же время чарующимъ вѣяло отъ этой „мраморной красавицы" съ римскимъ профилемъ, серьезнымъ и строгимъ, съ ея голубыми глазами, холодными и загадочными, точно глядящими куда-то вдаль, и внезапно загорающимися вызывающимъ блескомъ, неожиданнымъ, рѣзкимъ и быстро потухающимъ.

Это сознаніе своей робости и какого-то подавляющаго впечатлѣнія еще болѣе смутило Стрепетова. Онъ медлилъ отвѣтомъ, стараясь придумать что-нибудь „тонко-язвительное" по адресу Валентины Марковны, и ничего придумать не могъ. Ему казалось, что она смотритъ на него съ одобряющей снисходительностью къ „порядочному" молодому человѣку, имѣвшему счастіе не возбудить брезгливости ея тонкихъ чувствъ, и онъ не могъ отдѣлаться отъ смущенія.

„Однако, не молчать же, какъ пень, когда спрашиваютъ!"

Стрепетовъ поднялъ на тетушку свои загорѣвшіеся черные глаза и, видимо волнуясь, отвѣчалъ на ея вопросъ, чуть-чуть возвышая свой звучный теноръ:

— Я пока не претендую ни на какую кличку.

— Пока?

— И не имѣю серьезнаго на то права.

— Отчего?

— Я такъ мало знаю, что еще не могу разобраться со своими взглядами... Могу только одно сказать,—если вамъ такъ интересно знать,—что я, вѣроятно, раздѣляю многія идеи, которыя вамъ кажутся несимпатичными... Однако, простите великодушно меня, я и такъ злоупотребилъ вашимъ временемъ!

И съ этими словами Стрепетовъ рѣшительно поднялся съ мѣста.

— Такъ вотъ вы какой!—протянула, усмѣхнувшись, Валентина Марковна, оглядывая молодого человѣка съ нескрываемымъ любопытствомъ.

Стрепетовъ невольно краснѣлъ подъ этимъ взглядомъ и опустилъ глаза.

— А вѣдь вы все-таки забавный юноша и мнѣ понравились! — проговорила неожиданно Валентина Марковна, съ снисходительно-милостивой улыбкой, словно королева, осчастливившая своего вѣрноподданнаго.

Но, повидимому, Стрепетовъ не ощутилъ большого счастія быть „забавнымъ“ въ глазахъ этой дамы. Онъ даже не поклонился въ знакъ благодарности за такой комплиментъ и молчалъ, испытывая желаніе поскорѣе дать тягу.

— А мнѣ трудно понравиться, молодой человѣкъ... Я слишкомъ требовательна!—продолжала Варницкая, выговаривая слова медленнымъ, властнымъ тономъ.—А между тѣмъ я даже не прочь съ вами поближе познакомиться.

Молодой человѣкъ догадался поклониться.

— Быть можетъ, съ Божьей помощью, мнѣ и удастся обратить васъ на истинный путь. Вы еще юны и, повидимому, заблужденія ваши не... упорны. Я возьму васъ подъ свое покровительство и...

— Я крайне вамъ благодаренъ, Валентина Марковна, но я не ищу покровительства. Я пришелъ, исполняя желаніе матери, просившей меня засвидѣтельствовать вамъ свое почтеніе!..—проговорилъ, волнуясь, молодой человѣкъ.

— Ой, ой, какъ мы самолюбивы! Ужъ и обидѣлись, и позволили себѣ даже нелюбезность къ женщинѣ!.. Это совсѣмъ напрасно. Повѣрьте мнѣ, Павелъ Сергѣевичъ, что я вовсе не имѣла намѣренія оскорбить васъ!—промолвила Валентина Марковна.

И при этомъ мягкая улыбка внезапно освѣтила ея лицо и блеснула въ глазахъ.

— Если вы такъ боитесь моего покровительства, не будемъ объ этомъ и говорить, горячій молодой человѣкъ... Такъ, безъ просьбы вашей maman, вы не удостоили бы посѣтить такую реакціонерку,—да? Вы, конечно, знаете, что такъ называютъ меня

русскіе журналы... либеральные наши журналы, которыми вы, разумѣется, восхищаетесь.

— Я этого не зналъ.

— Развѣ вы не читали, какъ бранили брошюры „Русской“?

— Читалъ.

— „Русская“ — мой псевдонимъ...

— Вашъ? Я въ первый разъ слышу.

— А я все-таки попрошу васъ передать maman вмѣстѣ съ моимъ привѣтомъ и благодарность за то, что maman послала васъ ко мнѣ. Быть можетъ, вы и сами когда-нибудь заглянете?

Стрепетовъ, изумленный внезапной любезностью, пробормоталъ нѣсколько благодарныхъ словъ.

Валентина Марковна поднялась съ дивана и подошла къ письменному столу. Черезъ минуту она приблизилась къ Стрепетову и, подавая ему тоненькую книжечку, сказала:

— А пока вотъ возьмите эту брошюру, прочитайте и сообщите потомъ свои впечатлѣнія. Можете не стѣсняться. Я не такая нетерпимая, какъ вы думаете! — прибавила Варницкая съ улыбкою.

Молодой человѣкъ взглянулъ на книжечку, носившую названіе: „Позабытая религія“, и вспомнилъ ядовитыя слова Чиркова объ „евангеліи отъ Валентины“.

— Непремѣнно прочитайте... Обѣщаете мнѣ?

Стрепетовъ отвѣтилъ, что прочтетъ.

— У насъ религія, къ несчастію, совсѣмъ позабыта, а безъ нея не можетъ быть счастія на землѣ. Люди, не прибѣгающіе къ ея утѣшеніямъ, гоняются за призраками. Въ нихъ ищутъ спасенія, ищутъ разгадки вопросовъ, и ничего не находятъ кромѣ разочарованія и отчаянія! — говорила Валентина Марковна внушительнымъ, нѣсколько пророческимъ тономъ, и ея лицо снова приняло строгое выраженіе, а глаза словно смотрѣли вдаль, сверкая холоднымъ блескомъ. Въ этомъ взглядѣ было что-то мистическое.

— Вы религіозны, молодой человѣкъ?

— Я? — переспросилъ Стрепетовъ, снова смущаясь отъ неожиданнаго вопроса.

И, послѣ паузы, отвѣтилъ:

— Долженъ признаться, что не очень.

— И, конечно, не молитесь?

„Чего она пристаетъ ко мнѣ?“ — подумалъ молодой человѣкъ.

— Нѣтъ.

— Но вѣдь это ужасно! И всѣ молодые люди такъ... совсѣмъ

позабыли религію... А плоды? Невѣріе, пессимизмъ, отчаяніе, самоубійства. Нѣтъ, нѣтъ спасите ваше сердце, пока оно еще молодо. Вѣрьте безъ разсужденій, безъ анализа. Вѣрьте по-дѣтски, и вамъ будетъ легко.

Она примолкла. Стрепетовъ воспользовался этой минутой и сталъ прощаться.

— Вамъ нужно, Павелъ Сергѣевичъ, сдѣлаться хорошимъ христіаниномъ, и, мнѣ кажется, вы способны воспріять истину. Заходите побесѣдовать какъ-нибудь,—безъ церемоній, прямо къ обѣду, къ семи часамъ. И чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше.

И съ этими словами Валентина Марковна милостиво протянула свою маленькую, прелестную, благоухающую ручку, которую молодой человѣкъ слегка пожалъ, не догадавшись поцѣловать по-родственному.

— Вы гдѣ живете?

Стрепетовъ сказалъ.

— Такъ потрудитесь записать вашъ адресъ внизу, у швейцара. Я пошлю вамъ и другія свои брошюры. Прочтите. Вамъ будетъ полезно. До свиданія. До скораго. Слышите ли?

И она привѣтливо кивнула головой, и опять въ глазахъ сверкнула вызывающая улыбка, чарующая неотразимо.

Когда Стрепетовъ спускался съ лѣстницы, на встрѣчу ему поднимался монахъ въ потертой рясѣ, старый, худой, изможденный, съ блѣднымъ, кроткимъ лицомъ, съ небрежно причесанными волосами, предшествуемый лакеемъ съ роскошными бакенбардами.

Монахъ взглянулъ на молодого человѣка съ ласковой, доброй улыбкой. Стрепетовъ поклонился. Старикъ послалъ ему благословеніе и скрылся въ дверяхъ гостиной.

Выйдя на улицу, нашъ молодой человѣкъ вздохнулъ, словно освобожденный отъ какой-то тяжести. Не понравилась ему эта „инквизиторша", какъ мысленно окрестилъ онъ свою тетушку, съ ея допросами, надменностью, холодомъ, съ ея мнѣніями. Онъ, разумѣется, больше не придетъ сюда. Что̀ ему здѣсь дѣлать? Опять смущаться и робѣть передъ ея великолѣпіемъ? И зачѣмъ она звала его? Думаетъ обращать на путь истины?

Онъ снова припомнилъ циничные намеки Чиркова и возмутился за Валентину Марковну. Чирковъ, конечно, клеветалъ. Она можетъ быть несимпатична—эта женщина, но кто можетъ усомниться въ ея добродѣтели? Достаточно ее разъ увидать, чтобы убѣдиться въ этомъ.

— И какая ослѣпительная красавица!—прошепталъ онъ.

Глава XXII.

Контора и редакція газеты „Родина“ помѣщались въ одномъ домѣ. Стрепетовъ сдалъ внизу свое объявленіе и, узнавши, что Поручневъ только-что былъ въ конторѣ и вѣрно теперь въ редакціи, поднялся во второй этажъ и вошелъ въ незапертыя двери.

— Здѣсь господинъ Поручневъ?—обратился онъ въ прихожей къ служителю, который въ эту самую минуту подавалъ какому-то господину пальто.

— Я самый къ вашимъ услугамъ! Чтò вамъ угодно?—проговорилъ господинъ въ пальто съ бобровымъ воротникомъ, недовѣрчиво всматриваясь въ незнакомаго молодого человѣка.

Стрепетовъ поклонился и отдалъ письмо.

Пока Поручневъ пробѣгалъ письмо стараго пріятеля, рекомендовавшаго, между прочимъ, „симпатичнаго юношу“, Стрепетовъ съ особеннымъ любопытствомъ озиралъ небезъизвѣстнаго литератора, прежнія статьи котораго производили нѣкоторое впечатлѣніе и увлекали и Стрепетова. Въ Петербургѣ онъ слыхалъ, будто Поручневъ сдѣлался сотрудникомъ „Родины“ и что онъ—авторъ недавно появившихся въ газетѣ хлёсткихъ фельетоновъ, подписанныхъ: „N. N.“. Разумѣется, молодой человѣкъ не повѣрилъ этому слуху. Развѣ возможно, чтобы Поручневъ могъ теперь съ такимъ цинизмомъ и озлобленіемъ глумиться надъ тѣмъ, чему поклонялся, и сотрудничать въ газетѣ, о которой—давно ли?—онъ печатно отзывался съ презрѣніемъ?!

Оказывается,—слухи были справедливы. Онъ здѣсь.

„Но, конечно, не онъ „N. N“? Не онъ—авторъ этихъ статей, полныхъ злобныхъ выходокъ и клеветъ противъ прежнихъ единомышленниковъ?“—думалъ Стрепетовъ, оглядывая господина въ пальто.

Это былъ худощавый, средняго роста человѣкъ, лѣтъ подъ сорокъ, въ очкахъ, сквозь которые глядѣли быстрые, безпокойные темные глаза. Лицо Поручнева, красивое и выразительное, не отличалось свѣжестью и здоровымъ цвѣтомъ. Видно было, что онъ пожилъ на своемъ вѣку. Длинные волосы, зачесанные назадъ, и большая, курчавая темная борода придавали его наружности „литературную“ складку. Одѣтъ онъ былъ не безъ щеголеватости.

— Очень радъ познакомиться!—привѣтливо молвилъ литераторъ, пробѣжавъ письмо и пожимая Стрепетову руку.—Вы, кажется, два раза были у меня и не заставали дома?

— Да. Вскорѣ, какъ я пріѣхалъ сюда.

— Напрасно не поднялись прямо ко мнѣ, а повѣрили швейцару. Впередъ не вѣрьте ему. Онъ у насъ чертовски глупъ и вѣчно путаетъ... Выйдемте-ка вмѣстѣ. На улицѣ поговоримъ. Давно вы въ Петербургѣ?

— Съ августа.

— Искать работы пріѣхали? Трудная это задача. Но почему вы меня въ редакціи искали?—неожиданно спросилъ Поручневъ, когда они спускались по лѣстницѣ.

— Мнѣ въ конторѣ сказали, что вы здѣсь. Я въ контору носилъ объявленіе.

— Но если вы справлялись въ конторѣ, значитъ, отъ кого-нибудь слышали, что я работаю въ „Родинѣ"?

— Слышалъ.

— Такъ, такъ-съ. И вѣрно съ подобающими комментаріями?—презрительно усмѣхнулся Поручневъ.

И, не дожидаясь отвѣта, продолжалъ, когда они вышли на улицу:

— Иванъ Филиппычъ рекомендуетъ васъ и проситъ оказать содѣйствіе. Чѣмъ могу быть полезенъ? Не согрѣшили ли какой рукописью, а?—шутливо прибавилъ литераторъ, искоса поглядывая на карманъ пальто Стрепетова, не торчитъ ли свертокъ.—Что-жъ, приносите, приносите. Прочтемъ и пристроимъ, если возможно.

— Я не пишу. Я хотѣлъ просить,—если только, конечно, это не стѣснитъ васъ,—насчетъ переводовъ.

— Хотите переводной работы?

Литераторъ усмѣхнулся и безнадежно свиснулъ.

— Я знаю два языка.

— Да хоть бы пять знали. Легче въ царство небесное попасть, чѣмъ достать переводы.

— Это такъ трудно?

— То-то и есть. Переводчиковъ и особенно переводчицъ,—и прехорошенькихъ,—вставилъ онъ съ циничной усмѣшкой,—что мухъ лѣтомъ. Отъ нихъ отбою нѣтъ. А всѣ мѣста заняты. Откуда имъ родить работу?.. Кто заручился, всякій зубами за хлѣбъ держится,—вы понимаете? И хлѣбъ-то какой! Въ двухъ, трехъ журналахъ и газетахъ еще сносно платятъ, а то не хотите ли, батюшка, по копѣечкѣ за строчку или рублика по четыре за печатный листъ, что̀ платятъ разные господа лабазники или малограмотные конторщики, сдѣлавшіеся нынче издателями. И на такой гонораръ бросаются. Есть барыньки, что и за полъ-копѣйки готовы переводить со всѣхъ языковъ, лишь бы дали работу, этакъ

въ видѣ романа частей въ пять. И кто это подалъ вамъ подобную несчастную идею?

— Самъ додумался до нея!—попробовалъ пошутить Стрепетовъ.

— Плохо же вы знаете Петербургъ. Есть готовое что-нибудь?

— Ничего еще.

— И слава Богу. По крайней мѣрѣ, не потратили даромъ времени.

Стрепетовъ извинился, что побезпокоилъ, и сталъ-было прощаться, но литераторъ удержалъ его.

— Куда вы? Спѣшите развѣ?

— Нѣтъ.

— Такъ пройдемтесь по Невскому. Поболтаемъ.

Они свернули съ Литейной на Невскій. День стоялъ солнечный. Морозъ былъ не сильный. Гуляющихъ и катающихся было множество.

— Ну-съ, разскажите, какъ поживаетъ Иванъ Филиппычъ? Здоровъ? Благополучно учительствуетъ въ Самарѣ? Худосочная, но зато либеральная жена и дѣти, воспитанныя по послѣднему слову науки, и потому, надо полагать, безтолковыя, а?.. Все, какъ было?—спрашивалъ, посмѣиваясь, Поручневъ, бросая взгляды на проходящихъ.

— Здоровъ... Учительствуетъ! — отвѣчалъ Стрепетовъ, нѣсколько удивленный этимъ тономъ.

— И до сихъ поръ не безъ паѳоса декламируетъ: „Впередъ, безъ страха и сомнѣнья!“ и поетъ послѣ ужина, что ему до сихъ поръ не даютъ... правового порядка, а?—прибавилъ, понизивши голосъ, литераторъ.—По прежнему замерзъ, бѣдняга, на вздохахъ о шестидесятыхъ „годахъ“, когда... и прочее?.. Раздаетъ умныя книжечки? Все еще надѣется, что въ самомъ непродолжительномъ времени у каждаго будетъ по курицѣ въ супѣ, а?—насмѣшливо кидалъ Поручневъ фразу за фразой, всматриваясь по временамъ въ встрѣчающіяся женскія лица.

— Вотъ эта... смотрите!—замѣтилъ онъ, подталкивая локтемъ Стрепетова.—Не правда ли, хороша, а?.. Любительница. И Катерина, и Марія Стюартъ, и Офелія, что̀ хотите. Ну, разумѣется, таланту ни на ломаный грошъ, что̀ не мѣшаетъ ей имѣть успѣхъ.

— Какъ такъ?

— Не на сценѣ, конечно... Охотниковъ нынче много. Embarras de richesse!.. Еще бы!.. Дѣвочка прелестная. Одно сложеніе —цѣлый капиталъ!—засмѣялся Поручневъ, подмигивая глазомъ.— Но барышня практичная и умная... въ духѣ времени!..

И, помолчавъ, продолжалъ:

— Такъ поетъ Иванъ Филиппычъ, а?.. Вѣдь вотъ-съ, добрѣйшій онъ малый, этотъ Иванъ Филиппычъ, но прямолинеенъ и, по правдѣ говоря, довольно-таки ограниченъ. Какъ декламировалъ прежде: „Впередъ, друзья!"—хоть и не зналъ, куда идти „друзьямъ" впередъ—основывать ли коммуны въ Америкѣ, или дома читать Маркса—такъ продолжаетъ и до сихъ поръ. Не видитъ, что либеральныя хламиды поизносились! Его до сихъ поръ умиляетъ туманная размазня нашихъ „лучшихъ" журналовъ, которые, какъ онъ пишетъ, „еще сохранили честныя традиціи среди современнаго мракобѣсія". Ну, кто такъ можетъ выражаться, кромѣ Ивана Филиппыча, этого престарѣлаго гимназиста!?

Литераторъ проговорилъ всю эту тираду съ насмѣшливымъ раздраженіемъ и иронически подчеркнулъ: „лучшіе журналы".

Этотъ развязный тонъ, это глумленіе надъ добрѣйшимъ, симпатичнымъ Иваномъ Филиппычемъ, учителемъ словесности, котораго обожали ученики за его дѣйствительно рѣдкую доброту и за его идеализмъ въ вѣрованіяхъ и въ отношеніяхъ къ людямъ,—возмущали Стрепетова. Его такъ и подмывало напомнить, что давно ли онъ самъ сбросилъ „либеральныя хламиды" и писалъ тоже въ „лучшихъ журналахъ",—но не хватило смѣлости...

А Поручневъ, между тѣмъ, продолжалъ:

— Вотъ смотрите... Видите, на встрѣчу идетъ великолѣпный брюнетъ въ собольей шапкѣ?

— Вижу.

— Это Иловлевъ!—проговорилъ литераторъ.

— Знаменитый адвокатъ?

— Да.

Стрепетовъ съ любопытствомъ взглянулъ на знаменитаго адвоката, а литераторъ насмѣшливо сказалъ:

— Тоже плачетъ о правовомъ порядкѣ... пра-во-вомъ, понимаете ли, господинъ юный провинціалъ? Тоже изъ радикаловъ, что, само собою разумѣется, нисколько не мѣшаетъ господину Иловлеву защищать—за „радикальный" гонораръ—всякихъ проворовавшихся мерзавцевъ. Одно другому не мѣшаетъ... Помогаетъ даже... Съ одной стороны, статейки въ лучшихъ журналахъ о паденіи цивическихъ добродѣтелей, а съ другой: „Воззрите на убѣленнаго сѣдинами старца, сцапавшаго, по легкомыслію, милліонъ!" Довольно трогательно звонитъ языкомъ. Нажилъ большое состояніе, изучаетъ съ барынями спеціально Шелли и изображаетъ изъ себя въ нѣкоторомъ родѣ цивическаго страдальца... Хорошъ гусь?.. Ха-ха-ха!.. А тоже знаменитость... Радикалъ...

Нашъ извѣстный, талантливый адвокатъ! — со злобой прибавилъ Поручневъ, точно извѣстность адвоката стояла ему поперекъ горла.

Повидимому, литераторъ зналъ въ лицо такъ-называемый „весь Петербургъ". Поминутно онъ обращалъ вниманіе своего спутника то на то, то на другое лицо, причемъ дѣлалъ краткія и почти всегда злостныя характеристики. „Вотъ эта намазанная барыня на рысакахъ,—такая-то извѣстная актриса... Вотъ этотъ на видъ скромный толстякъ... милліонеръ такой-то, купившій жену у живого мужа за двѣсти тысячъ... Эта вотъ уродливая старая дѣва пишетъ глупые романы, въ которыхъ непремѣнно героиня, некрасивая, но симпатичная дѣвушка, терпитъ злоключенія зане не находитъ мужа.

— А этихъ двухъ великихъ мужей не знаете?—проговорилъ литераторъ, указывая на двухъ господъ, очень скромно одѣтыхъ, входившихъ къ Доминику.

Стрепетовъ взглянулъ по указанному направленію, но оба господина уже скрылись въ дверяхъ.

— Жаль, не видали двухъ нашихъ знаменитыхъ писателей, господъ Ирецкаго и Казимирова, которые еще недавно смущали многихъ своей quasi-ученой ерундой и радикальными кукишами... Они, впрочемъ, и до сихъ поръ мнятъ себя геніями и находятъ остолоповъ-гимназистовъ и психопатическихъ дуръ, которые вѣрятъ въ ихъ талантъ, въ великое значеніе ихъ радикальнаго печатнаго сумбура и въ ихъ скорбные намеки, что нельзя, молъ, вполнѣ высказаться, а то бы мы поразили свѣтъ своими геніальными идеями... Нельзя, видите ли!.. Ну-съ, такъ теперь вмѣсто „Воплей объ идеалахъ пятидесятаго столѣтія", эти господа за кружками пива склоняютъ другъ передъ другомъ: „Я геній, ты геній!"—„Я великъ, ты великъ!.." Ха-ха-ха! Только это имъ и осталось... Репутація этихъ самолюбивыхъ пузырей нынѣ повыцвѣла... Полиняла-съ... Довольно морочить публику... Шабашъ! Читатели умнѣе стали.

Лицо Поручнева дышало непонятною для Стрепетова злобой и въ голосѣ звучала завистливая, озлобленная нотка, когда Поручневъ продолжалъ порочить этихъ двухъ писателей, стараясь, во что бы ни стало, представить ихъ въ скверномъ видѣ. Въ его словахъ чувствовалась завистливая злоба мелкой душонки и безсильная ярость ренегата, не останавливающаяся передъ клеветой, чтобы забросать грязью когда-то бывшихъ товарищей.

„Онъ—авторъ этихъ фельетоновъ! Та же злоба... тѣ же выраженія!"—рѣшилъ Стрепетовъ.

Онъ былъ возмущенъ и глубоко разочарованъ въ Поручневѣ. Съ понятіемъ о писателѣ у молодого человѣка соединялось идеальное представленіе о чемъ-то высокомъ, честномъ и безкорыстномъ, а эти злобныя выходки, эти сплетни рисовали литератора въ самомъ непривлекательномъ свѣтѣ.

— Вы, какъ видно, очень раздражены противъ Ирецкаго и Казимирова?—проговорилъ, едва сдерживая негодованіе, молодой человѣкъ.

— Раздраженъ?.. Нисколько. Я просто показываю ихъ au naturel.

— То-есть, обливаете грязью?

— Они стоютъ еще бо̀льшей!—злобно произнесъ Поручневъ.

— Я не посвященъ, конечно, въ сплетни, но слышалъ отъ людей, имѣющихъ честь быть знакомыми съ этими лицами, совсѣмъ не то, что̀ говорите вы... Самъ же я знаю ихъ по статьямъ и увѣренъ, что они не могутъ быть такими, какими вы ихъ нарисовали.

— Ого! Какъ вы ихъ горячо защищаете! Вы, значитъ, изъ ихъ поклонниковъ?—насмѣшливо спросилъ Поручневъ.

— Еще бы. Я очень уважаю и люблю этихъ писателей.

— Ну, и поздравляю васъ, молодой человѣкъ!

Съ минуту они шли молча.

Наконецъ, Поручневъ спросилъ съ ироническимъ видомъ:

— За что̀ же вы такъ уважаете этихъ господъ?

— За талантъ, за горячую вѣру въ идеалъ правды и добра, за знанія, за умъ. Читая ихъ, научаешься больше и шире понимать, становишься лучше, чище, добрѣе... вотъ за что̀ любятъ и уважаютъ писателей!—горячо проговорилъ Стрепетовъ.

— Такъ-съ... Такъ-съ.. Громко!.. Еще бы!.. Либеральный туманъ очень нравится молодымъ людямъ... Ха-ха-ха! — засмѣялся онъ.

Но смѣхъ этотъ—показалось Стрепетову—былъ какой-то ненатуральный.

— Эти люди,—прибавилъ Стрепетовъ,—не мѣняли своихъ убѣжденій, какъ перчатки. А еслибы и перемѣнили ихъ, то, я думаю, не поносили бы того, чему только-что поклонялись. Они не перемётныя сумы.

Эти слова точно ужалили Поручнева. Онъ мгновенно позеленѣлъ. Выраженіе злобы и страданія исказило черты его лица. Взглядъ, брошенный литераторомъ на молодого человѣка, былъ полонъ ненависти.

Онъ промолчалъ и принялъ величественный видъ.

Черезъ минуту они разстались сухо и холодно. Поручневъ высокомѣрно кивнулъ головой, не протянувъ руки, и повернулъ въ Конюшенную. Стрепетовъ направился къ Адмиралтейской площади, чтобы сѣсть въ конку и ѣхать домой обѣдать.

Встрѣча и разговоръ съ литераторомъ порядочно-таки взволновали молодого человѣка, и онъ всю дорогу до дому думалъ о Поручневѣ, припоминая и его глумленіе надъ своимъ пріятелемъ— этимъ добрымъ и славнымъ Иваномъ Филиппычемъ, котораго ученики обожали — и цинизмъ, съ какимъ Поручневъ оплевывалъ убѣжденія, проповѣдываемыя такъ недавно и такъ горячо ихъ же самимъ, и ярость, съ какою онъ старался унизить двухъ извѣстныхъ писателей и забросать ихъ грязью.

Размышляя о литераторѣ, Стрепетовъ въ первыя минуты чувствовалъ лишь негодованіе и презрѣніе къ „этому ренегату", какъ поспѣшилъ онъ его окрестить. Но затѣмъ эти чувства нѣсколько смягчились жалостью,—жалостью, испытываемою нравственными и мягкими людьми ко всякому человѣческому паденію. При этомъ Стрепетовъ вспомнилъ, какъ измѣнился Поручневъ въ лицѣ при послѣднихъ словахъ. Онъ принялъ ихъ, очевидно, за личный намекъ, хотя Стрепетовъ и произнесъ эти слова безъ умысла лично оскорбить Поручнева, и сказалъ ихъ, имѣя въ виду вообще людей, отступившихъ отъ своихъ убѣжденій. Припомнилъ онъ также и нѣсколько странный допросъ Поручнева о томъ, какъ Стрепетовъ разыскалъ его и почему справлялся въ конторѣ „Родины". Значитъ, онъ скрываетъ свое участіе въ газетѣ, а если скрываетъ, то, слѣдовательно, стыдится?

Отправляясь отъ этой мысли, молодой человѣкъ создавалъ въ своемъ воображеніи картину мучительнаго нравственнаго состоянія этого литератора. Ему казалось, что онъ долженъ испытывать угрызенія совѣсти и „страшно мучиться", не зная покоя, чувствуя на себѣ „неизгладимое клеймо" отступника, избѣгая встрѣчъ съ прежними друзьями и возбуждая недовѣріе новыхъ. Въ концѣ концовъ, Стрепетовъ, въ качествѣ фантазирующаго идеалиста, чуть ли не представлялъ себѣ этого литератора въ образѣ Іуды. Рано или поздно, онъ не выдержитъ душевнаго разлада и окончитъ трагически. Подъ бременемъ позора вѣдь жить нельзя, — наивно полагалъ молодой человѣкъ, продолжая разрисовывать въ своемъ умѣ не настоящаго Поручнева, а какого-то фантастическаго „служителя слова, предавшаго свой талантъ".

Въ искренность превращенія Поручнева Стрепетовъ почему-то не вѣрилъ. Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, сразу измѣниться и говорить діаметрально противоположное тому, что̀ говорилъ такъ

недавно! И, наконецъ, не *такъ*—казалось молодому человѣку—должны говорить искренніе люди, перемѣнившіе взгляды. Они могутъ сожалѣть о прежнихъ своихъ заблужденіяхъ, но не оплевывать ихъ. Кумиръ поверженный все же богъ... Въ противномъ случаѣ, кто же повѣритъ искренности новой проповѣди людей, которые сегодня называютъ ложью то, что̀ вчера считали истиной?

Такъ размышлялъ Стрепетовъ и спрашивалъ себя: какія обстоятельства могли привести человѣка къ подобному нравственному паденію? Что̀ такъ озлобило Поручнева? Что̀ заставило его печатать возмутительныя по своему цинизму статьи, которыя должны были возбудить (не могъ же Поручневъ этого не знать?) чувство негодованія бывшихъ единомышленниковъ и прежнихъ поклонниковъ и читателей?

Нашъ молодой человѣкъ, знавшій Поручнева лишь по его статьямъ, такъ и не могъ рѣшить вопросовъ, невольно возникающихъ въ молодомъ умѣ и требующихъ отвѣта для успокоенія возмущенной совѣсти. Кто не задавалъ себѣ подобныхъ вопросовъ (особенно въ дни молодости), сокрушаясь о писателѣ, когда слово его, производившее впечатлѣніе, начинало вдругъ звучать инымъ тономъ?

Глава XXIII.

Еслибы Стрепетовъ зналъ ближе господина Поручнева, онъ, разумѣется, не задалъ бы себѣ подобныхъ вопросовъ, не создалъ бы изъ него образа Іуды и не окрестилъ бы ренегатомъ. Такая кличка не подходила къ нашему литератору по той простой причинѣ, что у него ни прежде, когда онъ писалъ статьи въ радикальномъ тонѣ, ни теперь—въ періодъ оплевыванія бывшихъ „заблужденій"—не было никакого міросозерцанія и продуманныхъ, опредѣленныхъ убѣжденій.

Онъ былъ—своенравное дитя непомѣрнаго самолюбія съ мелкими побужденіями невыдержаннаго темперамента, одна изъ тѣхъ болѣзненно самолюбивыхъ натуръ, притязанія которыхъ неизмѣримо выше отпущенныхъ имъ способностей.

Человѣкъ несомнѣнно талантливый, но безъ образованія, безъ взглядовъ, выработанныхъ жизнью и размышленіемъ, онъ былъ, что̀ французы называютъ „fruit sec", но при этомъ съ громаднымъ самомнѣніемъ, жадно мечтавшій объ успѣхѣ, который, казалось ему, достигается безъ упорнаго труда, питавшій глухую ненависть къ чужой извѣстности, мелкій, завистливый и подозрительный, какъ человѣкъ, несомнѣнно страдавшій маніей

величія. Во всѣхъ онъ подозрѣвалъ недоброжелателей и завистниковъ, тая про себя горделивое сознаніе непризнаннаго генія, котораго замалчиваютъ.

Еще молодымъ провинціальнымъ чиновникомъ, благодаря своимъ стишкамъ, онъ пріобрѣлъ репутацію „замѣчательнаго пера“ и имѣлъ съ десятокъ поклонниковъ. Вскорѣ онъ сдѣлался сотрудникомъ провинціальной газеты, и его первые дебюты произвели рѣшительный фуроръ. Его фельетоны, бойкіе, хлёсткіе, обличавшіе литературный талантъ, читались. Всѣ находили, что молодой литераторъ „продергиваетъ“ мастерски—на зубокъ къ нему не попадайся. И Поручневъ, въ самомъ дѣлѣ, „продергивалъ“ превосходно, не особенно разбирая, кого, за что, справедливо или нѣтъ, трактуя обо всемъ съ апломбомъ невѣжества, почерпнувшаго на-лету кое-какіе обрывки идей изъ послѣдней книжки журнала, третируя всевозможные вопросы съ ухарской развязностью через-чуръ смѣлаго человѣка. О немъ заговорили. Его боялись въ провинціальномъ городкѣ. Фельетонистъ имѣлъ нѣкоторый успѣхъ и у дамъ. Все это льстило его тщеславію. Успѣхъ вскружилъ голову. Въ мечтахъ ему уже грезилась широкая литературная слава, поклоненіе, успѣхи. Онъ вышелъ въ отставку, рѣшившись сдѣлаться литераторомъ, и пріѣхалъ въ Петербургъ съ пачкой своихъ фельетоновъ, съ самоувѣренной надеждой завоевать себѣ громкое имя, и первые дни ходилъ по улицамъ съ гордымъ видомъ человѣка, который скоро удивитъ міръ.

Онъ принесъ статью къ одному изъ постоянныхъ сотрудниковъ одного журнала, тому самому Ирецкому, о которомъ Поручневъ говорилъ Стрепетову, во время прогулки, съ такимъ озлобленіемъ.

Страшно взволнованный, старавшійся казаться равнодушнымъ, пришелъ Поручневъ за отвѣтомъ, и просіялъ, когда Ирецкій сказалъ молодому литератору, что статья написана съ большимъ литературнымъ талантомъ. Она будетъ напечатана, но необходимы передѣлки. Есть промахи... Авторъ недостаточно изучилъ вопросъ, о которомъ пишетъ.

Съ обычной своей экспансивностью Ирецкій заинтересовался Поручневымъ, замѣтивъ въ его статьѣ талантъ. Правда, въ ней авторъ обнаруживалъ недостаточность знаній, въ ней не было ничего своего: это былъ лишь бойкій и остроумный пересказъ чужихъ мыслей, даже плохо усвоенныхъ, но, вѣроятно, молодой литераторъ со временемъ выработается.

Ирецкій далъ указанія насчетъ передѣлокъ статьи, указалъ

книги, которыми надо пользоваться, и когда Поручневъ принесъ передѣланную статью, она была напечатана. Статью замѣтили.

Ирецкій первое время положительно няньчился съ Поручневымъ. Онъ ввелъ его въ литературные кружки, давалъ ему тэмы для статей, указывалъ чтò читать, товарищески совѣтовалъ Поручневу серьезно заниматься, однимъ словомъ, принялъ въ немъ живѣйшее участіе, разсчитывая, что Поручневъ, при своемъ дарованіи, напишетъ что-нибудь значительное.

Надежды эти не оправдались. Поручневъ оставался такимъ же „fruit sec", какимъ и явился въ литературу. Онъ ничего не читалъ, довольствуясь однѣми журнальными статьями и надѣясь на свой талантъ и свое чутье. Но одинъ талантъ не вывезъ. Нѣсколько большихъ статей, написанныхъ съ прежней талантливостью, были ниже всякой критики, и ихъ не приняли. Въ нихъ не было содержанія.

Скромное амплуа литературнаго работника не удовлетворяло Поручнева. Ему хотѣлось славы, настоящей славы, а къ этому и хорошихъ гонораровъ, чтобы можно было жить пошире, и не ходить въ потертомъ пальто, и обѣдать въ хорошихъ ресторанахъ, вмѣсто подлой кухмистерской. И Поручневу казалось, что ему не даютъ развернуться, что его нарочно держатъ въ черномъ тѣлѣ. Манія величія росла вмѣстѣ съ неудачами. Во всѣхъ замѣтныхъ писателяхъ онъ видѣлъ враговъ и пресерьезно думалъ, что многіе изъ нихъ, подъ видомъ коварнаго участія, не принимаютъ его большихъ статей изъ зависти, изъ боязни, что успѣхъ статей Поручнева умалитъ ихъ литературное значеніе! Эта мысль сдѣлалась его idée fixe. Глухая злоба точила его. Чужой успѣхъ вселялъ зависть и желаніе его развѣнчать. Онъ пересталъ ходить къ Ирецкому, сталъ избѣгать литераторовъ, и въ одиночествѣ своей комнаты нерѣдко мечталъ, горделивый и сіяющій, о томъ, какъ прославится его имя изъ края въ край, и какъ посрамятся всѣ его „враги" и „завистники", принужденные, наконецъ, признать въ немъ великаго публициста.

Какъ и бываетъ съ подобными самолюбивыми маніаками, ненависть къ воображаемымъ врагамъ переходила невольно и къ ихъ взглядамъ. Онъ не пойдетъ по этимъ шаблоннымъ путямъ, о, нѣтъ! Онъ скажетъ что-нибудь „свое", непохожее на то, что говорятъ они, эти „присяжные авгуры радикализма", и разоблачитъ ихъ.

Но „радикальный" мундиръ, который такъ или иначе, но носилъ Поручневъ, все-таки обязывалъ, да и время было еще не такое, чтобы подобныя разоблаченія могли имѣть какой-либо

успѣхъ, и Поручневъ, слишкомъ трусливый, чтобы открыто перейти въ другой лагерь, ограничивался лишь мечтами о посрамленіи враговъ да жалобами, изливаемыми имъ передъ двумя, тремя такими же литературными неудачниками (и, конечно, непризнанными геніями), какъ и онъ самъ.

Тогда Поручневъ, послѣ нѣсколькихъ бутылокъ пива, начиналъ говорить о своихъ врагахъ и, главнымъ образомъ, объ Ирецкомъ, и тутъ мелкая душонка самолюбиваго литератора обнаруживалась во всей наготѣ своей. Онъ лгалъ и клеветалъ на своего доброжелателя самымъ нахальнымъ образомъ. Съ какимъ-то особеннымъ мастерскимъ краснорѣчіемъ сочинялъ онъ грязныя сплетни про Ирецкаго. Онъ, въ сущности, заматорѣлый „буржуа", хотя и представляется защитникомъ угнетенныхъ. Небойсь, онъ получаетъ самъ чортъ знаетъ сколько, а сотрудникъ—хоть дохни съ голоду! Воображаетъ себя геніемъ и тѣснитъ молодые таланты. Затѣмъ разговоръ переходилъ на другія, болѣе или менѣе извѣстныя, литературныя имена, и цѣлое море грязи, сплетенъ, обвиненій неудержимымъ потокомъ лилось изъ устъ Поручнева. Онъ доходилъ до вдохновеннаго изступленія.

И собесѣдники, едва ли вѣрившіе тому, что̀ разсказывалъ Поручневъ, тѣмъ не менѣе слушали злобныя сплетни съ злорадствомъ. Сами „непризнанные геніи" поддакивали и курили ѳиміамъ Поручневу—благо онъ самъ еще не литературный „генералъ".

„Въ самомъ дѣлѣ, онъ такой талантъ... Еще недавно его фельетонъ..."

Обыкновенно Поручневъ махалъ рукой и величественно улыбался, словно говоря, что это давнымъ-давно всѣмъ извѣстно, и доставалъ изъ кармана жилетки довольно грязный, вчетверо сложенный, листокъ почтовой бумаги и протягивалъ одному изъ собесѣдниковъ со словами:

— Прочтите-ка вслухъ. Надѣюсь, Достоевскій кое-что понимаетъ, а?..

Это письмо Достоевскаго съ похвальнымъ отзывомъ о первой статьѣ Поручнева, которую онъ въ оттискѣ послалъ знаменитому писателю при письмѣ, было, конечно, отлично знакомо гостямъ Поручнева, какъ и всѣмъ, рѣшительно всѣмъ его знакомымъ.

— Мы знаемъ. Мы читали, что̀ пишетъ Ѳедоръ Михайловичъ!—пробовали-было возразить сразу всѣ три гостя, молодые беллетристы, „ищущіе новыхъ путей" и нѣсколько трусившіе Поручнева, чтобы онъ ихъ не „раздѣлалъ подъ орѣхъ", подъ веселую минуту вдохновенія.

— Вы вотъ это мѣсто прочтите... вотъ на второй страницѣ!

— рѣшительно предлагалъ Поручневъ, указывая пальцемъ на строки.

Кто-нибудь прочитывалъ „это мѣсто". Въ немъ Достоевскій говорилъ о „многообѣщающемъ талантѣ".

— Ну, вотъ видите. Самъ Ѳедоръ Михайловичъ. Кажется, авторитетъ?

Всѣ согласились, что авторитетъ.

— А какіе-нибудь Ирецкіе и Казимировы бракуютъ мои статьи. Что это значитъ? Зависть, одна гнусная зависть. Помните „Моцарта и Сальери"?.. Они думаютъ, что кто высиживаетъ статьи, обложившись разными источниками, тотъ и правъ... Пляши по ихъ дудкѣ. Оригинальныя мысли не одобряются въ этой лавочкѣ. Лицемѣры!

И Поручневъ высоко поднималъ голову съ выраженіемъ спокойнаго величія во всей фигурѣ.

Когда настала иная пора для журналистики, многіе журналы прекратили существованіе, и нѣкоторые писатели замолкли. Поручневъ пристроился къ той самой провинціальной газетѣ, въ которой началъ свое литературное поприще, и сталъ теперь писать, не стѣсняемый ничьимъ контролемъ, имѣя полную свободу развернуться. Нѣсколько двусмысленныя его „Письма изъ столицы" и затѣмъ первыя, еще нерѣшительныя, но уже довольно скверныя выходки противъ писателей либеральнаго лагеря возмутили нѣкоторыхъ прежнихъ товарищей по журналу, и одинъ изъ нихъ напечаталъ замѣтку, въ которой, между прочимъ, говорилъ о „ренегатахъ". Самъ же Ирецкій отнесся къ выходкѣ Поручнева скорѣе съ сожалѣніемъ, чѣмъ съ негодованіемъ, и не одобрялъ замѣтки, направленной противъ Поручнева.

— Какой онъ ренегатъ! Онъ скорѣе Поприщинъ, этотъ несчастный талантливый fruit sec! У него за душою нѣтъ ничего и не было. Въ хорошихъ рукахъ онъ былъ полезный работникъ, а теперь... развернулся. И одинъ ли онъ?.. Я только не ждалъ, что онъ при этомъ такая мелкая душонка!..

Такъ отозвался Ирецкій и не считалъ даже нужнымъ отвѣчать на выходку Поручнева.

Замѣтка о „ренегатахъ", а еще болѣе этотъ отзывъ Ирецкаго, переданный кѣмъ-то Поручневу, привели послѣдняго въ ярость. На него даже не обращаютъ вниманія и относятся съ снисходительнымъ презрѣніемъ? Такъ онъ покажетъ *имъ*. Онъ *ихъ* разнесетъ!

И въ слѣдующемъ же „Письмѣ изъ столицы" Поручневъ

написалъ одну изъ циничныхъ и яростныхъ статеекъ по адресу либераловъ вообще и Ирецкаго въ особенности.

„Родина“ перепечатала и одобрила автора, а вскорѣ Поручневъ сдѣлался постояннымъ сотрудникомъ похвалившей его газеты.

Времена перемѣнились. Его статьи имѣли теперь успѣхъ скандала, и Поручневъ могъ обѣдать въ хорошихъ ресторанахъ. Онъ не раскаявался, не испытывалъ угрызеній совѣсти, какъ предполагалъ Стрепетовъ, но молчаливое презрѣніе прежнихъ товарищей озлобляло его. И онъ иногда разражался такими выходками, что даже редакція газеты принуждена была удерживать своего не въ мѣру усерднаго сотрудника отъ слишкомъ ярыхъ нападокъ на все то, чтὸ онъ недавно защищалъ съ такимъ же легкимъ сердцемъ, съ какимъ теперь предавалъ оплеванію.

Глава XXIV.

Въ тотъ же вечеръ, въ седьмомъ часу, Стрепетовъ отправился на Англійскій проспектъ, къ капитану перваго ранга Опольеву, чтобы условиться насчетъ урока, рекомендованнаго Риммой Михайловной.

Бѣлобрысый матросъ-вѣстовой, отворившій двери, ввелъ Стрепетова въ гостиную, куда немедленно вышелъ самъ Опольевъ, суровый на видъ, пожилой морякъ, низенькій и сутуловатый, съ большой, замѣтно посѣдѣвшей бородою.

— Съ кѣмъ имѣю честь говорить-съ?

— Стрепетовъ!

Морякъ сильно потрясъ руку молодого человѣка, затѣмъ рѣшительнымъ движеніемъ взялъ Стрепетова за талью и повелъ въ кабинетъ.

— Вотъ, шерочка, рекомендую: Павелъ Сергѣичъ Стрепетовъ! Рекомендовала Римма Михайловна!

Онъ выпалилъ эти слова быстро, громкимъ, отрывистымъ голосомъ, точно произносилъ командныя слова на палубѣ корабля.

И, освободивъ руку Стрепетова, прибавилъ:

— Моя жена, Антонина Сергѣевна!

— Ахъ, какъ ты громко, Никсъ! Даже испугалъ. Очень пріятно познакомиться, мосьё Стрепетовъ. Я столько о васъ слышала отъ голубушки Риммы Михайловны. Прошу садиться.

Полная и высокая, довольно миловидная брюнетка въ черномъ платьѣ, лѣниво приподнявшаяся съ широкой оттоманки, чтобы

протянуть Стрепетову руку, въ противоположность мужу, говорила медленно и тихо, пѣвуче протягивая слова.

Морякъ подкатилъ Стрепетову кресло, и самъ опустился на оттоманку рядомъ съ женой.

— Вамъ, мосьё Стрепетовъ, вѣроятно, Римма Михайловна сообщила, что намъ нуженъ учитель, чтобы репетировать съ двумя нашими мальчиками?—спросила Опольева.

— Да, сообщила.

— Алгебра-съ и геометрія-съ хромаютъ! Трудно имъ дается математика!—сказалъ морякъ.

— Ахъ, Никсъ!.. Вовсе не трудно дается!—возразила мягко супруга.—Имъ все легко дается. Они оба очень способные мальчики. Но бѣдняжки цѣлый мѣсяцъ проболѣли. Въ Петербургѣ—такой ужасный климатъ. Натурально, мальчикамъ теперь трудно. И въ гимназіи такія строгости.

— Вдобавокъ и лодыри порядочные!—выпалилъ морякъ.

— Ахъ, Никсъ! Какъ ты выражаешься!.. Павелъ Сергѣичъ, въ самомъ дѣлѣ, можетъ подумать...

— Павелъ Сергѣичъ и самъ увидитъ. Ужъ нечего грѣха таить, шерочка. Лодыри!

Супруга взглянула на мужа съ молчаливымъ упрекомъ.

А морякъ, между тѣмъ, неожиданно крикнулъ:

— Эй! Малабарскіе пираты!

— Никсъ, Никсъ!—укорила госпожа Опольева и взглянула на Стрепетова, словно бы извиняясь за мужа.

Черезъ минуту въ кабинетъ съ шумомъ вбѣжали „пираты“: два бойкіе, веселые мальчугана въ курткахъ.

Повидимому, ихъ нисколько не смущалъ суровый видъ пожилого моряка, и они приблизились къ нему съ такимъ открытымъ, веселымъ выраженіемъ на своихъ жизнерадостныхъ, симпатичныхъ личикахъ и съ такой любовью глядѣли на отца, что сразу можно было замѣтить, что между дѣтьми и отцомъ существовали самыя лучшія отношенія.

— Вотъ-съ, рекомендую вамъ, Павелъ Сергѣичъ, двухъ пиратовъ! — проговорилъ морякъ все тѣмъ же рѣзкимъ, громкимъ и, повидимому, сердитымъ тономъ, въ которомъ, однако, звучала какая-то необыкновенно задушевная нотка.—Пираты, настоящіе малабарскіе пираты-съ! — прибавилъ онъ, оглядывая любовнымъ взоромъ своихъ мальчугановъ и шутливо теребя младшаго за ухо.

Мальчики, весело улыбаясь, подошли къ Стрепетову и крѣпко, по-отцовски, пожали протянутую имъ руку.

— Въ какомъ видѣ вы явились, дѣти! — ужаснулась мать. — Куртки рваныя! Руки грязныя!

Мальчики видимо сконфузились.

— На то, шерочка, они и пираты! Чтò съ нихъ возьмешь! —вступился отецъ.—Ну, разскажите-ка лучше Павлу Сергѣичу, чтò у васъ теперь проходятъ. Онъ будетъ заниматься съ вами по математикѣ.

Оба мальчика толково объяснили, чтò проходятъ у нихъ въ классахъ.

— Ну, теперь гайда! готовить уроки!

— Да руки, руки умойте!

Мальчики выбѣжали изъ кабинета шумно и весело, какъ и вошли.

Прошла минута молчанія. Наконецъ, морякъ сказалъ:

— Заниматься съ ними надо часа два, три. Съ шести до девяти вечера, три раза въ недѣлю. Можете-съ?

— Могу.

— А условія сами назначьте-съ!—прибавилъ морякъ.

Стрепетовъ, видимо сконфуженный, затруднялся назначить цѣну.

„Спросить рублей двадцать!“—проносилось у него въ головѣ, но языкъ не поворачивался выговорить цифры.

— Мнѣ, кажется, мосьё Стрепетовъ,—поспѣшила вмѣшаться Опольева,—что гонораръ въ размѣрѣ пятнадцати рублей въ мѣсяцъ не будетъ малъ? Отвѣтьте откровенно!—прибавила она тихимъ, пѣвучимъ голосомъ, ласково взглядывая своими большими, мягкими глазами на молодого человѣка.

Стрепетовъ ужъ хотѣлъ-было отвѣтить, что гонораръ совершенно достаточенъ, какъ морякъ громко воскликнулъ:

— Да ты, шерочка, съ ума, что-ли, сошла?

Супруга взглянула на мужа наивно удивленными глазами. Стрепетовъ испытывалъ неловкое положеніе.

— Пятнадцать рублей!? Разсчитай, шерочка. Тридцать-шесть часовъ занятій. Меньше полтинника въ часъ!.. Срамъ-съ! Безобразіе-съ!

Стрепетову показалось, что во взглядѣ, которымъ наградила, вслѣдъ за этими словами, госпожа Опольева своего мужа, не было особенной пріятности.

— Чего ты кипятишься, Никсъ,—я, право, не понимаю! Я вѣдь гонораровъ не знаю.

— И не предлагай, шерочка, коли не знаешь.

— Ахъ, Боже мой, какой ты смѣшной!.. Я слышала, что

Кузнецовы платили своему репетитору пятнадцать рублей, ну, и позволила себѣ предложить то же мосье Стрепетову. Я этихъ дѣлъ вѣдь совсѣмъ не понимаю! — прибавила она съ видомъ наивнаго ребенка.

— Кузнецовы!?—вспылилъ морякъ.—Они могутъ и пять рублей предложить, твои Кузнецовы! Мы, шерочка, слава Богу, не Кузнецовы!.. Вы извините-съ, Павелъ Сергѣичъ.

— Помилуйте!—сконфуженно бормоталъ Стрепетовъ.

— Дамы, знаете ли, умѣютъ оцѣнить кружева-съ, фишю-съ какія-нибудь, пуфы-съ, но оцѣнка труда имъ незнакома. Я позволю предложить вамъ тридцать рублей. И то предлагаю низкую плату. Знаю. Но больше не по карману-съ. Какъ угодно.

Жена бросила на мужа быстрый взглядъ, который ясно говорилъ: „дуракъ!“ Но морякъ не замѣтилъ взгляда и смотрѣлъ на Стрепетова, ожидая отвѣта.

Стрепетовъ поспѣшилъ отвѣтить, что тридцати рублей за глаза довольно.

— Значитъ, и дѣлу конецъ. А теперь, шерочка, не пора ли чайку. Павелъ Сергѣичъ, надѣюсь, не откажется?—проговорилъ, значительно смягчившись, морякъ.

Но Стрепетовъ извинился, что не можетъ. Онъ спѣшитъ. И онъ сталъ откланиваться.

— Спѣшите,—не смѣю удерживать. Такъ до завтра?—спросилъ Опольевъ, провожая Стрепетова.

— До завтра.

— Да вотъ еще что-съ... ужъ вы извините... я люблю напрямки... Вы моихъ молодцовъ съ толку не сбивайте. Одна математика и больше ничего-съ!

— А что̀ же больше?..

— Да мало ли что̀?.. Соціализмъ и все такое... Глядишь—и ростутъ бунтари. Такъ ужъ вы, пожалуйста...

Стрепетовъ поспѣшилъ успокоить моряка на этотъ счетъ.

— Эй, Степанъ! Опять заснулъ, бестія! Пальто барину! — гаркнулъ морякъ.

И, крѣпко пожимая руку Стрепетову, сказалъ:

— Увидите Римму Михайловну — низкій поклонъ. На рѣдкость дѣвушка. Да-съ! Нынче такихъ мало. Все больше: „ля-ля-ля“, по театрамъ да за женихами-съ!.. А мои пираты хоть и лодыри, а добрые ребята. Надѣюсь, съ ними поладите, Павелъ Сергѣичъ!—прибавилъ морякъ.

Стрепетовъ шелъ на Кирочную въ счастливомъ настроеніи благодарнаго и влюбленнаго человѣка. „Что это за добрѣйшее созданіе! Она хлопотала о немъ—и хоть бы когда обмолвилась словомъ. Благодаря этому уроку, онъ можетъ теперь посылать домой тридцать рублей каждый мѣсяцъ. Быть можетъ, и изъ объявленій что-нибудь да выйдетъ!"

„А этотъ суровый на видъ, точно лающійся, морякъ, должно быть, добрѣйшій человѣкъ! Какъ онъ напалъ на жену за пятнадцать рублей!.. Жена удивительно мягко и тихо говоритъ. Она не особенно понравилась. А „пираты",—напротивъ. Вѣрно, въ самомъ дѣлѣ, хорошіе ребята, и онъ съ ними поладитъ".

Такія мысли пробѣгали въ головѣ Стрепетова, пока онъ торопливо шелъ по улицамъ. Къ вечеру заморозило сильнѣе, задулъ сѣверный вѣтеръ. Дешевенькое зимнее пальто съ маленькимъ мерлушечьимъ воротникомъ, болѣе для виду, чѣмъ для тепла, грѣло не важно. И щеки, и уши, и носъ пощипывало порядочно. Но молодой человѣкъ, предвкушавшій близость свиданія съ „мадонной", только-что получившій хорошій урокъ и согрѣвавшійся надеждами на будущее, конечно, не обращалъ большого вниманія ни на морозъ, ни на рѣжущій лицо ледяной вѣтеръ, особенно сильный на перекресткахъ, и, радостный, несся на всѣхъ парусахъ.

— Павелъ Сергѣевичъ! Куда такъ стремительно?

Веселый, заразительный хохотъ раздался надъ ухомъ Стрепетова, вслѣдъ за окрикомъ, и Галанинъ, въ приличномъ мѣховомъ пальто, румяный отъ мороза, веселый и смѣющійся, остановилъ Стрепетова на углу Невскаго и Литейной около ярко освѣщенныхъ витринъ фруктоваго магазина.

— И не стыдно? Совсѣмъ забыли пріятеля? Мѣсяцъ не были?.. Ну, какъ дѣла?

Стрепетову, въ самомъ дѣлѣ, было стыдно. Цѣлый мѣсяцъ не видалъ Галанина. Онъ отвѣтилъ, что дѣла „ничего себѣ", сейчасъ еще урокъ получилъ и, въ свою очередь, освѣдомился, какъ поживаетъ Галанинъ.

— Отлично... Превосходно! Теперь я на самой лучшей „линіи", какъ говоритъ мой философъ Ипатъ. Новая „абонировка" жизни, какъ онъ выражается... ха-ха-ха!.. Больше ужъ не поддаюсь „игрѣ воображенія"! И можете поздравить, милый человѣкъ! — прибавилъ Галанинъ задушевно, съ выраженіемъ радости въ лицѣ.

— Съ чѣмъ?

— Съ чѣмъ?—упрекнулъ Галанинъ.—Точно не догадываетесь? Ѳеничка, наконецъ, согласилась.

— Согласилась?—невольно вырвался вопросъ, обнаружившій удивленіе.

— Да, голубчикъ, согласилась выйти замужъ за меня, за стараго неудачника, послѣ того, какъ я выдержалъ искусъ. „Не пейте, говоритъ, и я посмотрю". Я и не пью. Къ жизни возвратила эта золотая душа. Человѣкомъ снова сдѣлала меня Ѳеничка. Чѣмъ только я ей отплачу!.. Но пока это дѣло въ секретѣ. Мать не знаетъ,—а то бы не дала ей покоя. Вѣдь она иную карьеру готовитъ ей. Содержанкой хочетъ сдѣлать, подлая тварь!.. Но теперь—шалишь! Да, что же мы стоимъ? Идемъ къ намъ, въ мои милыя трущобы. Вотъ я сыру и пастилы абрикосовской купилъ... Ѳеничка любитъ. Отлично за чаемъ посидимъ. Мегеры дома нѣтъ. Уѣхала, гадина, со своимъ мерзавцемъ Евфратовымъ въ циркъ. Ѳеничка будетъ рада... Идемъ, голубчикъ!

Стрепетовъ горячо поздравилъ Галанина, но идти съ нимъ отказался. Онъ сегодня не можетъ.

— Къ Риммѣ Михайловнѣ, что-ли, идете? — съ ласковой усмѣшкой спросилъ Галанинъ.

— Да... къ ней, благодарить за урокъ. Это она устроила... А ваша свадьба скоро?

— Какъ получу мѣсто, понимаете ли, прочное мѣсто, чтобы не висѣть съ Ѳеничкой въ воздухѣ. Тогда позову васъ въ шафера. Ужъ за меня хлопочутъ... Нашлись увѣровавшіе въ мое обновленіе... Ха-ха-ха! Мировымъ судьей въ Польшѣ, въ какомъ-нибудь маленькомъ городишкѣ... Отлично бы зажили съ Ѳеничкой. Она хочетъ куда-нибудь въ глушь... подалѣе отъ петербургскаго разврата... этихъ театровъ... троекъ и всякой пакости... А пока надо, Павелъ Сергѣевичъ, деньжонокъ прикопить, чтобы по хорошему жить... своимъ домкомъ... Просто, не вѣрится такому счастію!—прибавилъ Галанинъ съ радостнымъ возбужденіемъ.—Я и пишу цѣлые дни свои „кассаціи", по терминологіи Ипата, ха-ха-ха!.. И ужъ получаю отъ нашего общаго патрона по сто-пятидесяти рублей въ мѣсяцъ. Когда же къ намъ? И Ипатъ ужъ спрашиваетъ: не вышло ли пижонистому Павлу Сергѣевичу новой „абонировки"? Ха-ха-ха! Заходите же, милый... Поболтаемъ... О Чирковѣ разскажете... Уволили-таки нашего Пилата!.. Надо зайти къ нему... Онъ вѣдь не разъ помогалъ мнѣ...

Стрепетовъ обѣщалъ зайти на дняхъ, и пріятели разстались, оба спѣшившіе, оба влюбленные, оба иззябшіе.

Стрепетовъ недоумѣвалъ согласію Ѳенички и, признаться, не особенно радовался за своего пріятеля. Будущая супружеская жизнь ихъ представлялась ему новымъ и тяжелымъ испытаніемъ,

для этого милаго и симпатичнаго человѣка. Ѳеничка вѣдь не любитъ его!

Глава XXV.

Вотъ, наконецъ, и Кирочная. Вотъ и этотъ высокій домъ, противъ оголеннаго Таврическаго сада,—домъ, казавшійся Стрепетову самымъ „милымъ" въ Петербургѣ.

Онъ торопливо прошелъ черезъ дворъ и, не переводя духа, взбѣжалъ въ пятый этажъ. На этотъ разъ онъ позвонилъ не столь робко, какъ онъ это дѣлалъ, когда являлся у дверей не въ журъ-фиксы и не надумавши хорошаго предлога. Сегодня у него были самые уважительные предлоги: во-первыхъ, его звала Вѣнецкая почитать вслухъ, а во-вторыхъ, обязанъ же онъ поблагодарить Римму Михайловну. Этого требуетъ долгъ простой вѣжливости.

Но когда Ариша, пожилая женщина, исполнявшая обязанности кухарки и горничной, со времени поступленія Вѣнецкой и Нерпиной на курсы, и очень привязанная къ своимъ барышнямъ, отворила двери и встрѣтила, по обыкновенію, Стрепетова съ привѣтливой улыбкой, молодой человѣкъ, обмѣнявшись съ Аришей привѣтствіемъ, все-таки не рѣшился спросить: дома ли Римма Михайловна, а дипломатически освѣдомился лишь объ одной Вѣрѣ Александровнѣ.

— Вѣры Александровны дома нѣтъ. Она только-что уѣхала въ театръ съ Андреемъ Иванычемъ!

Это извѣстіе смутило Стрепетова, и онъ въ нерѣшительности стоялъ у дверей.

— Да вы входите, входите, Павелъ Сергѣевичъ. Другая наша барышня дома.

— Но Римма Михайловна, вѣрно, занята? Я, впрочемъ, на минуту!—возбужденно проговорилъ Стрепетовъ, входя въ прихожую.

— Зачѣмъ на минуту? Посидите съ барышней, чаю у насъ покушайте. Барышня не учится. Сегодня у насъ „экзаменъ" былъ; она и отдыхаетъ... Скорѣе бы эти „экзамены" кончились. Истомили они, проклятые, бѣдную барышню. Съ ранняго утра до поздней ночи за книжками. И вынослива же она!.. Я бы, кажется, давно плюнула... Идите, Павелъ Сергѣевичъ, прямо въ барышнину комнату. Она тамъ у огонька сидитъ, грѣется. Идите... Ничего!..—говорила Ариша, увидавъ, что Стрепетовъ нерѣшительно топтался въ гостиной.

— Ужъ вы лучше доложите, Ариша... А то какъ же я такъ войду! — просилъ молодой человѣкъ.

— Такъ и ступайте... Чего бояться?..

— Нѣтъ, все-таки...

— Ну ладно... ладно... Скажу! — смѣясь, проговорила Ариша. Черезъ минуту вышла Римма Михайловна.

При видѣ ея у Стрепетова сильнѣе забилось сердце. Радостный и смущенный, стараясь скрыть свое волненіе, онъ поздоровался и тотчасъ же сталъ извиняться, что позволилъ себѣ помѣшать Риммѣ Михайловнѣ. „Онъ всего лишь на пять минутъ, чтобы... собственно говоря“...

— Вы не помѣшали. Я отдыхаю сегодня послѣ экзамена! — перебила его Римма Михайловна, привѣтливо взглядывая на молодого человѣка. — Пойдемте ко мнѣ. У меня теплѣе: каминъ топится.

Она повернулась, и Стрепетовъ пошелъ за нею, замирая отъ такого неожиданнаго счастія. Онъ въ первый разъ удостоился приглашенія въ ея комнату. И онъ вступилъ въ нее съ тѣмъ чувствомъ трепетнаго благоговѣнія, съ какимъ вѣрующіе вступаютъ въ храмъ. Онъ невольно пріостановился на порогѣ, окидывая восторженнымъ взглядомъ комнату, освѣщенную мягкимъ свѣтомъ лампы и огонькомъ камина. Вотъ письменный столъ, за которымъ *она* занимается, шкафъ съ книгами, опять книги на этажеркѣ, маленькій диванчикъ противъ двери, два кресла, влѣво ширма, скрывающая кровать, бѣлыя занавѣси на окнахъ, зелень растеній. И все такъ чисто, свѣжо, все въ такомъ безукоризненномъ порядкѣ въ этомъ „святилищѣ“, полномъ какой-то особенной прелести, говорящей о жизни труда и мысли, въ этомъ „храмѣ“, такомъ же скромномъ, строгомъ и застѣнчиво-цѣломудренномъ, какъ и сама „богиня“.

— Что-жъ вы стоите? Садитесь.

Этотъ голосъ, ровный и мягкій, заставилъ Стрепетова очнуться. Въ самомъ дѣлѣ, чего онъ торчитъ какъ пень?

Но прежде чѣмъ сѣсть, вѣдь ему надо скорѣе объяснить, почему онъ пришелъ, чтобы *она* не могла заподозрить его въ дерзкой навязчивости. И онъ торопливо, путаясь въ словахъ, снова пустился объяснять, что онъ, „собственно говоря“...

— Видите ли... Вѣра Александровна звала читать сегодня... Я и пришелъ.

— Вѣра просила очень извиниться.

— Да я... что-жъ!.. Это ничего!.. — пробормоталъ Стрепетовъ.

— Пріѣхалъ Андрей Иванычъ и соблазнилъ Вѣру ѣхать въ театръ.

— И отлично. Но, кромѣ того, то-есть, собственно говоря, еслибы Вѣра Александровна и не звала, я все-таки забѣжалъ бы на минутку, чтобы горячо поблагодарить васъ за урокъ, то-есть, не за урокъ — что урокъ! — а за ваше участіе. Оно меня тронуло, понимаете?.. участіе ваше... Я не умѣю выразить, какъ безконечно я благодаренъ вамъ, Римма Михайловна!.. Вѣрьте, я не забуду этого никогда, никогда!

Онъ говорилъ взволнованно, порывисто и стремительно, точно боясь, что ему не дадутъ окончить, и голосъ его дрожалъ.

Благодаря его восторженной любви, благодаря присутствію этой дѣвушки, одинъ видъ которой наполнялъ все его существо блаженнымъ трепетаніемъ счастья, обыкновенная услуга, оказанная ему Риммой, выростала въ его влюбленныхъ глазахъ чуть ли не въ подвигъ безпримѣрной доброты, и преувеличенное чувство благодарности невольно сливалось въ его горячихъ изліяніяхъ съ чувствомъ любви и восхищенія.

И когда онъ проговорилъ свою тираду и, протянувъ руку, пожималъ маленькую руку дѣвушки, его лицо было взволновано.

— Стоитъ ли говорить о такихъ пустякахъ! Вы лучше разскажите, какъ вы поладили съ Опольевыми?—спросила дѣвушка, освобождая руку и отводя глаза.

Ея большіе бархатные глаза оживились, и улыбка, мягкая, ласковая и слегка грустная, стояла въ нихъ. Это искреннее, напоминающее что-то дѣтское, проявленіе благодарности не Богъ-знаетъ за какую услугу тронуло и удивило Римму Михайловну. Отъ словъ этого юноши вѣяло такимъ тепломъ, такой подкупающей лаской искренности. И самъ онъ такой жизнерадостный, симпатичный, красивый со своими кудрями и славными, открытыми глазами!

„Да, Аркадія!“—мысленно повторила дѣвушка прозвище, данное Стрепетову Черникомъ, и въ ту же минуту вспомнила о стихотворной „Богинѣ“, о которой сегодня разсказывалъ, посмѣиваясь, Черникъ, передавая подробности своего визита къ „милому аркадскому пастушку“.

Полчаса тому назадъ еще Римма Михайловна строго нахмурила брови, когда профессоръ въ шутливой формѣ намекалъ о восторженномъ поклоненіи юноши какой-то „богинѣ“ и разсказалъ, какъ Стрепетовъ ее канонизировалъ заживо въ святыя, а теперь?.. Теперь суровая „богиня“ не хмурила бровей. Она

взглянула на „аркадскаго пастушка“ съ мягкой, задумчивой улыбкой и инстинктивно поправила прядку волосъ.

— Пустяки!? — воскликнулъ Стрепетовъ, присаживаясь на стулѣ, около Риммы Михайловны, передъ каминомъ.—Для васъ, положимъ, пустяки, но многіе ли способны на такіе пустяки?—прибавилъ Стрепетовъ.

— Не кипятитесь, Павелъ Сергѣевичъ!—улыбнулась дѣвушка. —На такіе пустяки способны многіе.

— Извините! Многіе станутъ хлопотать о родныхъ, о близкихъ... Но вѣдь вы хлопотали, вы отнимали у себя дорогое время... для кого?.. Для человѣка, совершенно вамъ посторонняго... для случайнаго знакомаго... Вотъ въ чемъ суть, понимаете? Для совершенно посторонняго человѣка!.. Это не пустяки!

— Повторяю, вы преувеличиваете мою услугу... Перестанемъ объ этомъ говорить... Да и никакихъ хлопотъ не было!

Она проговорила эти слова сдержаннымъ, даже холоднымъ тономъ, не глядя на Стрепетова, и тотчасъ же поднялась съ кресла и стала усердно мѣшать щипцами дрова. Румянецъ заливалъ ея подернутыя пушкомъ щеки.

Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь она, правдивая даже въ мелочахъ, на этотъ разъ лгала. Она слишкомъ даже усердно хлопотала объ урокахъ для Стрепетова и, главное, только теперь, послѣ его горячихъ словъ, сознала, что въ ея хлопотахъ была не одна простая забота, а что-то другое, и что такъ горячо хлопотать она не стала бы для каждаго посторонняго человѣка. И это сознаніе заставило невольно покраснѣть дѣвушку.

Но, разумѣется, Стрепетовъ не долженъ этого знать.

„Пусть онъ остается въ пріятномъ заблужденіи насчетъ моихъ добродѣтелей!“ —подумала дѣвушка.

А у Стрепетова ужъ упало сердце, когда онъ услыхалъ холодный тонъ послѣднихъ словъ. Ему казалось, что Римма Михайловна разсердилась на него, и что вотъ сейчасъ это дивное очарованіе, эта бесѣда вдвоемъ въ ея комнатѣ окончится, и онъ долженъ уйти. Чтò онъ такое сказалъ? О, дуракъ, дуракъ! Зачѣмъ онъ такъ благодарилъ ее? Зачѣмъ оскорбилъ ея скромность? Вѣдь предупреждалъ же его Черникъ, чтобы онъ не очень разсыпался въ благодарностяхъ!

И, за минуту еще радостный и счастливый, нашъ молодой человѣкъ вдругъ пріунылъ и какъ-то весь притихъ, какъ притихаютъ обиженныя дѣти.

Притихла и Римма Михайловна, когда, снова усѣвшись въ

кресло, пристально и раздумчиво смотрѣла на огонекъ, вспыхнувшій въ каминѣ.

Прошло нѣсколько минутъ молчанія.

Въ эти минуты Стрепетовъ не спускалъ очарованныхъ глазъ съ Риммы Михайловны. Она казалась ему необыкновенно привлекательной. Такой другой нѣтъ на свѣтѣ. И, пользуясь тѣмъ что Римма Михайловна не глядѣла на него, молодой человѣкъ жадно любовался ея профилемъ, родимымъ пятномъ на щекѣ, бѣлизной шеи, кистью опущенной руки. Самъ дивясь своей дерзости, замирая отъ трепета, онъ смотрѣлъ, какъ колышется грудь его „мадонны". Въ эти мгновенія онъ испытывалъ тоскливое волненіе и какую-то жгучую прелесть неопредѣленной грусти безнадежно влюбленнаго. Онъ въ этотъ мигъ готовъ былъ отдать жизнь за любимое существо. Онъ желалъ ей мысленно счастья и хотѣлъ бы прикоснуться устами къ ея рукѣ. Эта безумная мысль опьяняла его. О, какъ хорошо подлѣ этой дѣвушки! Онъ долго, долго сидѣлъ бы такъ съ нею вдвоемъ, въ этой комнатѣ, передъ мерцающимъ огонькомъ. Ему хотѣлось бы броситься къ ногамъ Риммы Михайловны, чтобы вымолить прощеніе. Она, навѣрное, разсердилась, и оттого молчитъ и такъ строго смотритъ передъ собой. Хоть бы она взглянула!

И Стрепетовъ поднялъ взглядъ съ колыхавшейся груди дѣвушки на ея лицо.

Глаза ихъ встрѣтились. Онъ испуганно отвелъ свой взоръ, краснѣя, какъ пойманный на преступленіи, ужасаясь при мысли, что Римма Михайловна могла замѣтить его святотатственное созерцаніе и... сейчасъ прогонитъ его, какъ послѣдняго негодяя... И онъ замеръ въ страхѣ отъ своей дерзости.

— Чтожъ вы примолкли, Павелъ Сергѣевичъ? Разскажите-ка лучше, какъ вы поладили съ Опольевыми?—проговорила Римма Михайловна.

И Стрепетовъ опять просіялъ. Ея голосъ снова звучалъ привѣтливо и глаза глядѣли ласково.

Онъ подробно разсказалъ о своемъ посѣщеніи, упомянулъ, какъ Опольевъ напалъ на жену, и когда окончилъ разсказъ, Римма Михайловна замѣтила:

— Этотъ морякъ, въ сущности, добрѣйшій человѣкъ.

— Мнѣ тоже онъ показался такимъ. А жена его?..

— Я ее такъ мало знаю, что не считаю въ правѣ говорить о ней. Мнѣ она не нравится.

— Вообразите... И мнѣ она не понравилась!—радостно воскликнулъ Стрепетовъ, видимо довольный, что ихъ мнѣнія сошлись.

— А „пиратовъ“ видѣли?—съ улыбкой спросила дѣвушка.

— Прелесть!—восторженно отвѣчалъ Стрепетовъ и радостно улыбался не столько оттого, что „пираты—прелесть“, сколько отъ счастья видѣть мягкую улыбку дѣвушки и отъ мысли, что она, значитъ, не сердится.

Вошла Ариша и сказала, что самоваръ на столѣ.

— Пойдемте чай пить, Павелъ Сергѣевичъ!

И эти обыкновенныя слова, сказанныя привѣтливымъ тономъ, показались Стрепетову какой-то чарующей музыкой.

Они перешли въ сосѣднюю комнату. Тамъ, на небольшомъ кругломъ столѣ, накрытомъ скатертью, блестѣлъ самоваръ. Ветчина, яйца, сыръ, масло и хлѣбъ смотрѣли такъ аппетитно! Римма Михайловна сѣла у самовара, а Стрепетовъ—сбоку, но такъ, чтобы самоваръ не заслонялъ лица дѣвушки, и, такимъ образомъ, молодой человѣкъ могъ любоваться мягкими, граціозными движеніями, съ какими она сперва выполоскала чайникъ, потомъ заварила чай и затѣмъ прикрыла чайникъ салфеткой.

— Чтожъ вы ничего не ѣдите, Павелъ Сергѣевичъ?

Но Стрепетовъ былъ такъ переполненъ счастьемъ, что ему было не до ѣды. Онъ отказался.

Римма Михайловна налила ему чаю. Когда она передавала ему стаканъ, пальцы молодого человѣка нечаянно коснулись пальцевъ дѣвушки. Это прикосновеніе заставило его быстро отдернуть стаканъ.

— Обожглись?—спросила Римма Михайловна, думая, что пролился чай.

— Нѣтъ... да... чуть-чуть!—пробормоталъ онъ, чувствуя въ то же время, что кровь заливаетъ щеки.

— А я сегодня голодна... Вѣрно, послѣ экзамена!—пошутила Римма Михайловна.

И, пересѣвъ отъ самовара, она стала ѣсть съ большимъ аппетитомъ.

— Экзаменъ, конечно, прошелъ хорошо?—спрашивалъ Стрепетовъ.

— Почему, „конечно“? Профессоръ всегда можетъ оборвать, если захочетъ...

— Но не оборвалъ?

— Нѣтъ...

Между тѣмъ молодой человѣкъ, при видѣ хорошаго расположенія Риммы Михайловны, и самъ мало-по-малу разошелся и сталъ разсказывать о своихъ похожденіяхъ въ этотъ день: о Чирковѣ, о Валентинѣ Марковнѣ, о встрѣчѣ съ литераторомъ.

Дѣвушка слушала съ большимъ интересомъ и съ видимымъ сочувствіемъ къ молодому человѣку, не пожелавшему воспользоваться покровительствомъ своей богатой и вліятельной родственницы.

— Мнѣ разъ показывали Варницкую въ театрѣ... Ее знаетъ Черникъ... Она очень красивая женщина!—замѣтила Римма Михайловна.

— Да, красивая, но красота ея мнѣ не нравится...

— Почему?

— Это красота какая-то надменная и вообще не въ моемъ вкусѣ.

— А какой у васъ вкусъ?

— О, совсѣмъ другой!—промолвилъ возбужденно Стрепетовъ. Римма Михайловна покраснѣла.

— Оно, впрочемъ, и понятно, что красота Варницкой вамъ не нравится!—сказала, послѣ паузы, дѣвушка.

— Отчего?

— У васъ вкусъ долженъ быть неиспорченный, и отцвѣтшая красота васъ не можетъ привлекать... Вамъ не должны нравиться женщины старше васъ... Это неестественно... это нелѣпо!—продолжала Римма Михайловна наставительнымъ тономъ.— Молодости должна нравиться молодость!—строго заключила дѣвушка.

„Неужели она догадывается и намекаетъ на меня? О такихъ щекотливыхъ предметахъ она никогда не говорила!“ —пронеслось у Стрепетова въ головѣ.

И ему сдѣлалось жутко, именно жутко, точно онъ очутился надъ пропастью, и въ то же время что-то неодолимо тянуло его поднять брошенную перчатку. Будь что̀ будетъ, а онъ выскажетъ свое мнѣніе.

И юноша проговорилъ съ какой-то безумной отвагой:

— Но развѣ можно приказать сердцу: люби то̀, не люби это? Почему же нельзя любить благоговѣйно, свято, въ тайнѣ, какъ любятъ Бога, женщину, хотя бы она была и старше? Какое дѣло до лѣтъ, если такая женщина—идеалъ всего хорошаго, чистаго и святого!.. Это быть можетъ дерзостью, безуміемъ, святотатствомъ, но... развѣ это невозможно? .

И точно самъ испугавшись своего страстнаго, горячаго тона и своей дерзости, онъ смущенно прибавилъ:

— Я, разумѣется, говорю теоретически... Вы понимаете, Римма Михайловна?

Эти искреннія горячія слова, вырвавшіяся прямо изъ переполненнаго сердца,—слова, краснорѣчиво говорившія о восторжен-

номъ, благоговѣйномъ чувствѣ, чистомъ и свѣжемъ, какъ дыханіе весны,—взволновали дѣвушку и удивили ее своей порывистостью. Она жадно внимала этимъ давно неслышаннымъ, но столь желаннымъ словамъ любви,—повидимому, спокойная и серьезная, ничѣмъ не обнаруживая волненія, съ опущенными рѣсницами, прикрывавшими ея глаза, загоравшіеся жаждою жизни, и что-то радостно-жгучее и счастливое проникало къ сердцу и разливалось по жиламъ. Но въ то же время разсудокъ шепталъ, что „все это глупо, нелѣпо, невозможно“...

„Надо образумить безумнаго юношу!“—рѣшила она, когда голосъ его смолкъ.

И Римма Михайловна, чуть-чуть закраснѣвшаяся, подняла на смущеннаго Стрепетова почти-что строгій взглядъ и съ живостью возразила съ едва замѣтною дрожью въ голосѣ:

— Я не сомнѣваюсь, что вы говорили теоретически... Но и ваша теорія... извините... слишкомъ ребяческая... Вы очень юны и не знаете еще людей... Во-первыхъ, такого идеальнаго совершенства, о которомъ вы такъ восторженно говорили, въ дѣйствительности не бываетъ.

Стрепетовъ сдѣлалъ протестующій жестъ. Робкій и умиленный его взглядъ, казалось, говорилъ: „А вы-то сами?“

А дѣвушка, замѣтивъ этотъ взглядъ, продолжала еще болѣе строгимъ и наставительнымъ тономъ, словно она говорила съ ребенкомъ:

— И всѣ эти ваши совершенныя женщины, всѣ эти идеалы всего „святого, чистаго и возвышеннаго“—фантазія юнаго воображенія... Онѣ кажутся такими лишь издали, а вблизи онѣ самыя обыкновенныя существа... И вмѣсто блестящаго миража, созданнаго фантазіей, разочарованіе...

Стрепетовъ опять сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе протеста.

А Римма Михайловна, между тѣмъ, говорила:

— Эти увлеченія юношей почти старухами, къ сожалѣнію, случаются, но это безуміе, блажь, которая скоро проходитъ... которая должна пройти... Умный человѣкъ отъ нихъ скоро избавляется...

— А если избавиться невозможно?.. Если...

— Вздоръ!—рѣзко перебила Римма Михайловна.—Для этого у человѣка долженъ быть характеръ, должна быть сила воли... И, наконецъ, такія увлеченія ни къ чему не приводятъ... Они безплодны... Неужели вы думаете, что серьезная женщина, въ лѣтахъ, можетъ отвѣчать на страсть какого-нибудь сумасшедшаго мальчишки?—строго прибавила дѣвушка.

И въ ту же минуту она смутилась и покраснѣла, чувствуя, что говоритъ неправду.

— Но развѣ нельзя привязаться къ человѣку, не смѣя даже и мечтать о сочувствіи?—вырвался у Стрепетова вопросъ, робкій и жалобный.

Римма Михайловна пожала плечами.

— Это самообманъ!.. Нелѣпыя фантазіи! По счастью всѣ эти такъ-называемыя „безнадежныя“ привязанности у юношей до первой встрѣчи, до новаго хорошенькаго, молодого личика...

Стрепетовъ обиженно молчалъ.

— А впрочемъ, къ чему продолжать нашъ теоретическій споръ?.. Вы, Павелъ Сергѣевичъ, конечно, никогда не увлечетесь какой-нибудь старой дѣвой или перезрѣлой красавицей... Вы слишкомъ умны для подобной нелѣпости, и, наконецъ, вамъ, я думаю, и некогда было бы заниматься подобными глупостями... У васъ есть дѣла и заботы посерьезнѣе...

И, не выжидая отвѣта, словно боясь его, Римма Михайловна спросила:

— Давно имѣли извѣстія изъ дома?

— Третьяго дня.

— Всѣ здоровы?

— Мама пишетъ, что здорова, но она, какъ и вы, называетъ себя здоровой, когда больна. Ея здоровье плохо!—печально прибавилъ Стрепетовъ.

— А какъ ваши хлопоты о мѣстѣ?

— Пока все неудачны.

Немного погодя, Римма спросила:

— Къ Варницкой еще собираетесь?

— Зачѣмъ я пойду къ ней?

— Но она васъ такъ просила! Ей хочется обратить васъ на путь истины!—замѣтила съ улыбкой Римма Михайловна.

— Богъ съ ней! Она мнѣ совсѣмъ не нравится, эта барыня, и я къ ней не пойду!

Наступило молчаніе. Стрепетовъ сидѣлъ смущенный и подавленный. Только-что бывшій „теоретическій разговоръ“ привелъ молодого человѣка въ грустное настроеніе. Она знаетъ о его любви и, удивленная такой дерзостью, конечно, имѣла въ виду его, когда говорила о „безумномъ мальчишкѣ“. Дуракъ! Зачѣмъ онъ противорѣчилъ? Молчи онъ,—никогда бы она не догадалась! Только она напрасно думаетъ, что его привязанность скоро пройдетъ. Никогда!

Вспоминая эти обидныя слова дѣвушки, Стрепетовъ чувство-

валъ себя безконечно несчастнымъ. Она должна, разумѣется, презирать его, „безумнаго мальчишку“. А онъ, нахалъ, все еще сидитъ здѣсь, оскорбляя своимъ присутствіемъ это чистое, святое созданіе.

И молодой человѣкъ рѣшительно поднялся съ мѣста и сталъ искать свою шапку.

Риммѣ Михайловнѣ вдругъ сдѣлалось жаль, что Стрепетовъ уходитъ,—точно вмѣстѣ съ нимъ уходило что-то хорошее, согрѣвающее ея сердце. При томъ онъ уходитъ съ такимъ робкимъ и печальнымъ лицомъ, словно обиженный ребенокъ. Не слишкомъ ли сурово она обошлась съ нимъ?

И по какой-то странной логикѣ, секретомъ которой владѣютъ только женщины, Римма Михайловна, несмотря на очевидность, теперь увѣряла себя, что „юноша“ вовсе не такъ сильно увлеченъ ею, какъ ей казалось. У него просто дружеское расположеніе одинокаго провинціала, скучающаго безъ семьи, за которое она отплатила такъ жестоко! Ей хотѣлось какъ-нибудь пригрѣть, успокоить напрасно обиженнаго молодого человѣка, а то онъ, пожалуй, обидится и перестанетъ ходить. Если даже онъ и въ самомъ дѣлѣ чуть-чуть увлеченъ, то, разумѣется, послѣ ея словъ блажь его пройдетъ. Слѣдовательно... можно попросить его остаться! —заключила она, сама радуясь такому естественному, казалось ей, заключенію.

И когда Стрепетовъ подошелъ къ Риммѣ Михайловнѣ съ шапкой въ рукѣ, дѣвушка проговорила съ ласковымъ выраженіемъ:

— Развѣ вы спѣшите, Павелъ Сергѣевичъ?.. Еще такъ рано.

Въ отвѣтъ на эти слова, Стрепетовъ взглянулъ такими радостно изумленными глазами, что хозяйка смутилась.

— Я не спѣшу, — отвѣчалъ онъ съ видомъ растерявшагося человѣка:—я никуда не спѣшу, но, видите ли...

Казалось, что-то мѣшало ему говорить.

— Видите ли, я думалъ, что и безъ того безсовѣстно долго сидѣлъ и... надоѣлъ вамъ!—проговорилъ онъ, наконецъ, въ волненіи.

— Нисколько. Напротивъ, я рада поболтать. Сегодня я не занимаюсь.

— О, въ такомъ случаѣ, если позволите, я съ удовольствіемъ...

— Такъ кладите свою шапку и пойдемте ко мнѣ. Здѣсь что-то холодно.

Они перешли въ сосѣднюю комнату.

Римма Михайловна достала себѣ какое-то вязанье, прибавила огня въ лампѣ и, опустившись на маленькій диванъ, весело проговорила:

— Садитесь-ка, Павелъ Сергѣевичъ, да разскажите что-нибудь.

— Ужъ я и не знаю, о чемъ разсказать? Я, кажется, разсказалъ вамъ обо всемъ, чтò видѣлъ и слышалъ сегодня.

Онъ сѣлъ въ кресло рядомъ съ Риммой Михайловной и прибавилъ:

— И вообще у меня мало интереснаго.

— Какъ мало? Да хоть бы сегодняшній день! Исповѣдь Чиркова, визитъ къ красивой тетушкѣ, встрѣча съ литераторомъ... Сколько новыхъ впечатлѣній!

— Но не особенно пріятныхъ! Да и сегодня день исключительный. Обыкновенно дни мои однообразны: занятія у Чиркова, уроки, публичная библіотека, а остальное время дома.

— Вы домосѣдъ?

— У васъ только и бываю, да изрѣдка у Галанина. Помните, я о немъ вамъ разсказывалъ?.. Вотъ и всѣ мои знакомые. Да и не тянетъ меня больше никуда!

— Потянетъ, Павелъ Сергѣевичъ, если познакомитесь съ порядочными людьми. Въ ваши годы нельзя быть отшельникомъ.

— Обстоятельства иногда заставляютъ, Римма Михайловна.

— Я думаю, вы, привыкшій къ семьѣ, иногда скучаете въ одиночествѣ. Я, по крайней мѣрѣ, прежде скучала.

— Иногда хандрится... Тогда я беру книгу.

— Вы много читаете?

— Къ сожалѣнію, не такъ много и не такъ систематично, какъ бы слѣдовало.

— Развѣ времени мало?

— О, нѣтъ, времени довольно. У меня, кромѣ воскресенья, когда я бываю у васъ, всѣ вечера свободные.

— Такъ чтò же вамъ мѣшаетъ?

— Чтò мѣшаетъ?—переспросилъ молодой человѣкъ и въ ту же минуту подумалъ: „Ты мѣшаешь; ты завладѣла моими мыслями!“

И вслухъ продолжалъ:

— Трудно это объяснить... Вѣроятно, неспокойное настроеніе и заботы мѣшаютъ. Иногда начнешь читать, и вдругъ мысли унесутъ далеко... далеко...

— Но вы, Павелъ Сергѣевичъ, надѣюсь, не падаете духомъ отъ первыхъ своихъ житейскихъ неудачъ?—мягко освѣдомилась дѣвушка и прибавила:—Сразу ничто не дается. Необходимо выжидать. Вотъ и у насъ... женщины-врачи иногда подолгу ждутъ.

— Я знаю это и не падаю духомъ, Римма Михайловна!

— То-то!..

— И не теряю надежды избавить мать отъ ея проклятыхъ уроковъ!—горячо сказалъ Стрепетовъ.

— Еще бы терять надежду!—ободрила дѣвушка, поднимая взоръ на молодого человѣка.

Эта ласка сочувствія совсѣмъ умилила Стрепетова. Онъ хотѣлъ что-то сказать, но ничего не сказалъ и только встрѣтилъ взглядъ Риммы Михайловны такимъ восторженно-благодарнымъ взглядомъ, что она поспѣшила опустить глаза на работу.

Наступило молчаніе.

Римма Михайловна усердно работала, опустивъ голову надъ работой. Молодой человѣкъ находился въ томъ безпредѣльно-умиленномъ настроеніи, которое на грубо́мъ языкѣ зовется „телячьимъ восторгомъ“. Никогда еще, обыкновенно сдержанная и молчаливая, Римма Михайловна не говорила съ нимъ съ такимъ дружескимъ сердечнымъ участіемъ; никогда еще не была она такъ ласкова! А онъ, глупый, подумалъ-было, что она сердится! За что̀ сердиться? Если она даже и подозрѣваетъ о его чувствѣ, то развѣ въ этомъ чистомъ чувствѣ есть что-нибудь оскорбительное?

И, по странной логикѣ влюбленныхъ, Стрепетову теперь даже хотѣлось, чтобы Римма Михайловна знала, какъ сильна, глубока и безкорыстна его любовь.

Весь переполненный счастіемъ, онъ любовался пышными темными косами, спускавшимися по плечамъ, и взглядывалъ загоравшимися глазами на маленькую, бѣлую руку, мелькавшую надъ работой. Близость дѣвушки наполняла его блаженствомъ и кружила голову. Онъ чувствовалъ, что его сердце бьется сильнѣе, и что огонь загорается во всемъ его существѣ. Нервы трепетали. Хотѣлось припасть къ ногамъ „мадонны“ и плакать, плакать безъ конца...

Римма Михайловна не поднимала головы, повидимому увлеченная работой. Она чувствовала на себѣ этотъ восторженно-влюбленный взоръ молодого человѣка, и, смущенная, за что-то досадуя на себя, вся притихла, словно чего-то пугаясь. Молчаніе Стрепетова теперь стѣсняло дѣвушку. Ей хотѣлось, чтобы онъ говорилъ.

И, стараясь придать голосу спокойный тонъ, она спросила, не поднимая глазъ:

— Что̀ же вы теперь читаете, Павелъ Сергѣевичъ?

Стрепетовъ встрепенулся, точно пробужденный отъ грезъ.

— Что̀ я читаю?.. „Соціологію“ Спенсера!—поспѣшилъ отвѣтить онъ.

— Въ переводѣ?

— Нѣтъ, въ подлинникѣ. Мама научила меня двумъ иностраннымъ языкамъ!—прибавилъ онъ.

— А я, къ сожалѣнію, почти ничего теперь не читаю, кромѣ медицинскихъ книжекъ.

— Некогда?

— Да, совсѣмъ нѣтъ времени. Такъ, урывками иногда что-нибудь въ журналахъ прочтёшь. Вотъ окончу экзамены, тогда наверстаю потерянное время и буду читать. Совсѣмъ поглупѣла за это время!—прибавила дѣвушка.

— Чтò вы, Римма Михайловна!

— Право. Голова набита одной медицинской сушью.

— Точно вы ни о чемъ другомъ не думаете?

— Почти ни о чемъ. По крайней мѣрѣ, въ послѣднее время.

— А скоро окончатся ваши экзамены?

— Черезъ мѣсяцъ.

— И вы все будете заниматься съ утра до вечера?

— Да.

— Но вѣдь такъ вы погубите свое здоровье, Римма Михайловна!—съ горячностью воскликнулъ Стрепетовъ.

Дѣвушка подняла голову и улыбнулась.

— Откуда вы взяли, что здоровье мое скверно?..

— Надежда Васильевна говорила.

— Коврова преувеличиваетъ. Я чувствую себя хорошо и я очень вынослива. Разъ взявшись за дѣло, нужно его довести до конца. Не для забавы же я училась почти пять лѣтъ!

— Но неблагоразумно же надрывать себя!

— Немного утомлюсь—вотъ и все. Зато отдохну послѣ экзаменовъ!

— Вы уѣдете отсюда?

— Сейчасъ же уѣду въ Одессу, къ своимъ.

Молодому человѣку сдѣлалось грустно при одной мысли, что Римма Михайловна уѣдетъ, и онъ ее, пожалуй, никогда не увидитъ.

И онъ печально спросилъ:

— И вы будете жить тамъ?

— Едва ли. Поживу въ Одессѣ полгода, отдохну, поправлюсь и потомъ поѣду куда-нибудь по близости въ деревню.

— Въ деревню? Зачѣмъ?

— Какъ зачѣмъ? Практиковать!

— Но развѣ нельзя вамъ практиковать въ Одессѣ, не разлучаясь съ семьей?

— Въ городахъ вездѣ врачей много, — въ деревняхъ ихъ нѣтъ. А народъ нуждается во врачахъ...

Она сказала это просто, скромно, безъ всякой аффектаціи, словно о самомъ обыкновенномъ дѣлѣ.

Въ первую секунду Стрепетовъ смотрѣлъ во всѣ глаза на Римму Михайловну. Чувство удивленія и благоговѣнія, казалось, подавляло его.

— Что вы такъ смотрите, Павелъ Сергѣевичъ? Развѣ это такъ удивительно?—спросила, съ улыбкой, дѣвушка.

— Еще бы! Такой подвигъ! Такое самоотверженіе!

— Вы, Павелъ Сергѣевичъ, еще во всемъ подвиги видите! —усмѣхнулась она.—Какой тамъ подвигъ? Надо же кому-нибудь лечить крестьянъ. А я, вдобавокъ, люблю деревню.

— Но развѣ васъ не пугаетъ одиночество, отсутствіе друзей, совсѣмъ иныя условія жизни, чѣмъ тѣ, къ которымъ вы привыкли?

— Увижу. Попробую. Думаю, что не соскучусь, тѣмъ болѣе, что дѣла, вѣроятно, будетъ довольно. А вѣдь дѣло—лучшій цѣлитель скуки. И, наконецъ, не буду же я отрѣзана отъ міра. Я нарочно и поселюсь поближе къ Одессѣ, чтобы видѣться со своими.

— И вы думаете всю жизнь провести въ деревнѣ?..

— Предполагаю, по крайней мѣрѣ.

— Простите нескромный вопросъ, Римма Михайловна. Вы, значитъ, хотите совсѣмъ отречься отъ личной жизни, отъ личнаго счастья?

— Отъ какого личнаго счастья?

— Полюбить... выйти замужъ?

— Что вы, Павелъ Сергѣевичъ! Мнѣ поздно думать о замужствѣ. И кто возьметъ такую старуху?.. Жизнь моя, въ этомъ отношеніи, спѣта!—проговорила серьезно дѣвушка.

— Вы... старуха?.. Вы?—въ волненіи воскликнулъ Стрепетовъ. —О, Господи, неужели же вы не знаете, какая вы... какая вы... красавица!—неожиданно проговорилъ онъ въ восторженномъ порывѣ, самъ не ожидая, что скажетъ такое слово.

Это невольно вырвавшееся слово подхватило, опьянило его своей смѣлостью. Остановиться теперь ужъ онъ не могъ, испытывая неодолимую потребность излиться передъ дѣвушкой, объяснить, какая она славная, хорошая...

И, весь охваченный восторгомъ, со слезами на глазахъ, юноша продолжалъ прерывающимся отъ умиленія голосомъ:

— Да развѣ только слѣпецъ не остановится въ благоговѣніи передъ вами; только слѣпой не полюбитъ васъ на всю жизнь, какъ можно только любить высшее проявленіе правственной кра-

соты. Боже мой! Вы вѣдь такъ скромны, что даже и не подозрѣваете, какая вы чудная! Да всякій съ восторгомъ жизнь отдасть за счастіе быть вами любимымъ... А вы говорите: „кто васъ возьметъ“?!

Дѣвушка съ первыхъ же словъ оставила работу и слушала страстно восторженное изліяніе, взволнованная, пораженная, растерянная, съ широко раскрытыми глазами—до того неожиданъ былъ этотъ взрывъ обыкновенно застѣнчиваго юноши—и не знала, какъ ей быть, что ей сказать, какъ остановить эти безумныя слова, невольно проникающія въ ея сиротливое сердце.

А Стрепетовъ продолжалъ, словно въ экстазѣ, свой страстный диѳирамбъ, глядя на Римму Михайловну съ какимъ-то умиленнымъ восторгомъ вѣрующаго, молящагося своей богинѣ.

И, переполненный чувствомъ, не окончивъ фразы, онъ вдругъ припалъ къ рукѣ дѣвушки и, держа ея руку въ своей, безумно покрывалъ ее поцѣлуями и слезами. Онъ плакалъ, умиленный и растроганный, отъ полноты своей любви. Онъ плакалъ, замирая отъ восторга, и все страстнѣе цѣловалъ теплую, нѣжную руку, готовый цѣловать ее безконечно.

Это стремительное проявленіе свѣжаго, страстнаго чувства невольно заразило строгую, сдержанную дѣвушку. Сердце ея замерло въ сладкой истомѣ. Ей было и жутко, и сладко отъ этихъ жгучихъ поцѣлуевъ, и она на мгновеніе отдалась имъ, закрывъ глаза. Возможность счастія и любви для нея, жаждавшей, но не знавшей любви, манила страстную натуру дѣвушки. Неужели отказаться отъ счастія, пока оно зоветъ еще ее? Ужели оттолкнуть этого кудряваго юношу, который такъ сладко согрѣваетъ сердце своею горячей любовью?..

Такъ грезила она и не отрывала руки отъ жаркихъ поцѣлуевъ. И только минуту спустя проговорила:

— Успокойтесь... Успокойтесь... Что съ вами?...

Эти слова отрезвили Стрепетова. Онъ оставилъ руку дѣвушки и самъ, казалось, ужаснувшись своей дерзости, не смѣя взглянуть на Римму Михайловну, полный стыда и страха, съ минуту сидѣлъ молча, закрывъ лицо руками, и быстро выбѣжалъ изъ комнаты, сознавая всю тяжесть совершоннаго имъ преступленія.

Нѣсколько времени Римма Михайловна сидѣла неподвижная, задумчивая и серьёзная. Образъ влюбленнаго юноши не оставлялъ ее. Она раздумывала о его порывистой страсти, о возможности для нея любви и счастія и вспоминала совѣты Ковровой. Но теперь, когда Римма была одна и не слушала страстныхъ изліяній юноши, не видѣла его восторженнаго взгляда,

она мало-по-малу пришла къ заключенію, что выйти за него замужъ было бы невозможнымъ эгоизмомъ. Ея пѣсня спѣта. Она не приметъ такой жертвы и не погубитъ чужой жизни.

И, придя къ такому рѣшенію, она считала своимъ долгомъ „излечить" молодого человѣка. Печальная, съ блестѣвшими отъ слезъ глазами, она сѣла за столъ и стала писать Стрепетову письмо.

Стрепетовъ вернулся домой въ отчаяніи. Онъ былъ увѣренъ, что послѣ его безумной дерзости Римма Михайловна должна его презирать и считать величайшимъ нахаломъ. И онъ перепортилъ не мало листовъ почтовой бумаги, пока, наконецъ, не написалъ покаяннаго письма, въ которомъ умолялъ не презирать его и простить его отчаянную дерзость. Онъ, разумѣется, не осмѣлится показаться ей на глаза, если она не проститъ и не забудетъ его тяжкаго преступленія. Но онъ всегда будетъ хранить благоговѣйную память о ней.

Онъ бросился на постель и долго не могъ заснуть. Мысль, что онъ оскорбилъ „мадонну" своимъ признаніемъ, что онъ осмѣлился цѣловать ея руку, не давала ему покоя. „О, что̀ я сдѣлалъ? Что̀ я сдѣлалъ?"

На слѣдующее утро онъ проснулся поздно, и когда опять вспомнилъ о вчерашнемъ—ему сдѣлалось жутко. Онъ считалъ себя чуть ли не преступникомъ.

Только-что онъ одѣлся, какъ ему подали письмо. Письмо было отъ Риммы Михайловны. Въ мягкихъ, но серьезныхъ выраженіяхъ она просила Стрепетова не приходить къ ней и не искать съ нею встрѣчъ. „А когда ваша блажь пройдетъ, тогда приходите, и мы будемъ по прежнему пріятелями", прибавляла она.

— Теперь все кончено... все кончено!—произнесъ онъ, прочитавъ письмо, и, прильнувъ губами къ нему, въ отчаяніи заплакалъ, какъ безутѣшный ребенокъ.

Глава XXVI.

Прошелъ мѣсяцъ, а нашъ молодой человѣкъ все еще находился въ остромъ періодѣ переживанія любовной тоски. Его неудачи въ поискахъ мѣста только усиливали это грустное настроеніе.

Письма его къ матери носили такой меланхолическій оттѣнокъ, что мать встревожилась и спрашивала: „что̀ съ Павликомъ?" И онъ, полный потребности подѣлиться съ кѣмъ-нибудь своимъ

горемъ, въ трогательно-наивномъ письмѣ разсказалъ матери исторію своей первой любви, не скрывая ничего и обвиняя себя въ оскорбленіи этой „святой дѣвушки", которую, разумѣется, ставилъ на недосягаемую высоту.

Съ осторожной деликатностью, встревоженная мать успокаивала своего любимца.

Въ письмѣ къ сыну мать не старалась, по обычаю большинства матерей, умалить тѣ достоинства, которыми восхищался сынъ. Она сама, по его словамъ, хвалила Римму Михайловну и не удивлялась, что сынъ полюбилъ такую дѣвушку. Напрасно только онъ считаетъ себя очень виноватымъ передъ ней. И его сорвавшееся признаніе, и его поцѣлуи руки были такимъ чистымъ выраженіемъ чувства и такъ простительны въ его годы, что не могли оскорбить такую порядочную дѣвушку. А написала она письмо не потому, что была оскорблена, а чтобы не дать усилиться чувству.

„Если бы даже, Павликъ, она тебя и полюбила и согласилась выйти за тебя замужъ,—писала мать,—вы оба были бы несчастны въ скоромъ времени. Въ расцвѣтъ твоей жизни она будетъ почти старуха. Ты разлюбилъ бы ее (невольно, не желая этого), и какъ бы ты, какъ порядочный человѣкъ, ни старался скрыть то, что скрыть никакъ нельзя отъ любящаго созданья, она страдала бы тѣмъ сильнѣе, чѣмъ честнѣе бы ты поступалъ. А развѣ ты хотѣлъ бы быть виновникомъ несчастія чужой жизни ради того только, что ты теперь любишь. Нѣтъ ли въ такомъ чувствѣ эгоизма? Подумай объ этомъ, голубчикъ".—Оканчивала мать свое письмо такъ:— „Я не сомнѣваюсь, мой милый, что ты не поддашься малодушному отчаянію. Жизнь, другъ мой, налагаетъ на человѣка обязанность борьбы и стремленія къ тому, что называется добромъ и правдой. Ужъ ради этого человѣкъ, способный жить не одними только личными интересами, съумѣетъ и долженъ стараться побороть свое личное горе. Не такъ ли?"

Письмо это задѣло самыя чувствительныя струны молодого человѣка и заставило вспомнить жизнь матери. Оно умилило и подбодрило его. Онъ устыдился своего малодушія. Въ самомъ дѣлѣ, изъ-за своего личнаго чувства, онъ чуть-было не забылъ обязанностей, лежащихъ на немъ, и распространялся о своемъ горѣ матери, которая до сихъ поръ выбивается изъ силъ, не зная покоя!

И молодому человѣку сдѣлалось стыдно. Онъ старался побѣдить свою любовь, старался не думать о Риммѣ Михайловнѣ и съ какимъ-то лихорадочнымъ усердіемъ возобновилъ брошенныя

занятія, сталъ читать, стараясь наверстать время, потерянное любовными мечтаніями.

Римма Михайловна все еще царила у него въ сердцѣ, но печаль мало-по-малу теряла свою мучительность. Заботы о будущемъ, заботы о матери и сестрахъ снова охватили его. И, наконецъ, молодость, полная надеждъ, брала свое.

Стрепетовъ только-что вернулся съ вокзала желѣзной дороги, куда ходилъ проводить уѣзжавшаго за границу Чиркова. Наканунѣ Стрепетовъ у него обѣдалъ, и Чирковъ просилъ молодого человѣка пріѣхать проводить.

— По крайней мѣрѣ, я уѣду изъ Петербурга подъ пріятнымъ впечатлѣніемъ!—ласково промолвилъ Чирковъ.

Стрепетовъ засталъ на вокзалѣ Чиркова одного. Никто не провожалъ его превосходительство. Одѣтый въ изящный дорожный костюмъ, онъ сидѣлъ за однимъ изъ столовъ, хмурый и серьезный, лѣниво прихлёбывая изъ стакана вино. Красивый дорожный ручной чемоданъ, палка и зонтикъ въ кожаномъ чехлѣ, плэдъ, перетянутый ремешкомъ, лежали подлѣ.

— А, вотъ и вы, Павелъ Сергѣевичъ!—радостно проговорилъ Чирковъ, и на лицѣ его мелькнула улыбка, когда онъ привѣтливо пожималъ руку молодого человѣка.—Большое спасибо, что пріѣхали. Какъ видите, я совсѣмъ одинъ. Господа сослуживцы хотѣли-было провожать меня, но... я нарочно не сказалъ имъ, когда ѣду. Довольно съ меня было и прощальнаго обѣда съ рѣчами!—прибавилъ онъ со своей саркастической усмѣшкой.—Хотите стаканъ вина?

Чирковъ налилъ Стрепетову стаканъ и, чокнувшись, сказалъ:

— За ваше здоровье, Павелъ Сергѣевичъ. Дай Богъ, чтобы вы остались подолѣе такимъ, каковъ вы теперь!—прибавилъ онъ задушевно.—Нынче, милый мой, и молодые люди слишкомъ „ранніе"... и трезвостью перещеголяютъ даже нашего брата. Да... Мы, по крайней мѣрѣ, оскотинивались постепенно, а теперь прямо со школьной скамьи выходятъ совершенно готовые оскотинившіеся молодые люди. Вы вотъ рѣдкій экземпляръ. Я васъ наблюдалъ и только удивлялся...

И Чирковъ протянулъ руку и крѣпко пожалъ руку Стрепетова.

Подошелъ носильщикъ и доложилъ, что пора садиться.

— Ужъ такъ какъ вы не хотѣли, Павелъ Сергѣевичъ, взять на себя работу, какую я вамъ предлагалъ, то обѣщайте мнѣ, по крайней мѣрѣ, голубчикъ, обратиться ко мнѣ, если... если вамъ

придется плохо. Въ память покойнаго отца, прошу васъ объ этомъ!—почти съ нѣжностью прошепталъ Чирковъ.—Я искренно привязался къ вамъ... Такъ, обратитесь?

Стрепетовъ отвѣтилъ, что надѣется не безпокоить его, но онъ очень тронутъ, и благодарилъ Чиркова.

— Вы вѣдь не изъ юркихъ и слишкомъ стыдливы по нынѣшнимъ безстыднымъ временамъ, Павелъ Сергѣевичъ.

— Такъ что же?—спросилъ, смѣясь, молодой человѣкъ.

— А то, что я боюсь, что вы еще не скоро устроитесь. Вы вотъ и тетушкой не съумѣли воспользоваться, и со мной въ первый же визитъ такъ говорили, что, будь я правовѣрный чинуша, я долженъ былъ бы съ перваго же раза васъ принять, какъ васъ принялъ Неустроевъ... Въ васъ свѣжесть эта чувствуется...

Пробилъ второй звонокъ. Чирковъ обнялъ Стрепетова и съ чувствомъ произнесъ:

— Прощайте! Будьте же подолѣе такимъ свѣжимъ. Знайте, что не весело подъ конецъ жизни сожалѣть о растерянной душѣ! —неожиданно прибавилъ Чирковъ съ горечью въ голосѣ и еще разъ крѣпко потрясъ руку молодого человѣка.

Онъ вошелъ въ вагонъ, отворилъ окно и выглянулъ изъ него уже въ маленькой дорожной шапочкѣ на головѣ.

Поѣздъ тронулся. Чирковъ еще разъ крикнулъ: „Прощайте!“ —и въ послѣдній разъ махнулъ привѣтливо рукой.

Объ этихъ проводахъ и объ этомъ странномъ человѣкѣ раздумывалъ Стрепетовъ, когда къ нему вошла горничная и, подавая записку, промолвила:

— Какой-то лакей принесъ. Ждетъ отвѣта.

Отъ конверта пахло духами. Удивленный подобной запиской, молодой человѣкъ взрѣзалъ маленькій конвертъ изъ толстой бумаги, вынулъ изящный листокъ такой же твердой бумаги и прочиталъ слѣдующія строки, писанныя бойкимъ, твердымъ англійскимъ почеркомъ:

„Что же вы, любезный племянникъ, не держите своего слова? Обѣщали быть у меня, и до сихъ поръ не были. Это не по родственному. Приходите сегодня же вечеромъ. Къ десяти часамъ я вернусь, и мы будемъ вмѣстѣ пить чай. Побесѣдуемъ и поспоримъ. Можете приходить, если и не читали еще моихъ брошюръ. На первый разъ я прощу такую нелюбезность къ автору. Прошу отвѣтить“.

Стрепетовъ прочелъ записку разъ, другой—и не вѣрилъ своимъ глазамъ.

„Неужели эта родственница еще не забыла его и хочетъ его видѣть? Что̀ ей нужно?“

Тѣмъ не менѣе, торопливо и не безъ нѣкотораго чувства польщеннаго самолюбія онъ написалъ въ отвѣтъ, что — будетъ.

Глава XXVII.

На этотъ разъ лакей съ роскошными бакенбардами, встрѣтившій Стрепетова на площадкѣ, передъ гостиной, не пошелъ докладывать о гостѣ, а, почтительно отворивъ двери, попросилъ пожаловать въ кабинетъ генеральши.

— Генеральша ожидаетъ васъ!—прибавилъ онъ и какъ-то особенно внимательно, казалось, взглянулъ на молодого человѣка.

Черезъ большую, полутемную гостиную, освѣщенную однимъ бра̀, Стрепетовъ вошелъ въ тотъ самый кабинетъ, въ которомъ принимала тетушка въ его первое посѣщеніе.

Въ кабинетѣ царилъ мягкій розоватый полусвѣтъ, разливаемый свѣтомъ лампы подъ большимъ краснымъ абажуромъ. Атмосфера комнаты была пропитана нѣжнымъ благоуханіемъ. Переступивъ порогъ, Стрепетовъ остановился, отыскивая глазами хозяйку.

— Сюда, Павелъ Сергѣевичъ! — окликнулъ его знакомый голосъ.

И только тогда, увидавъ въ глубинѣ комнаты на угольномъ диванѣ тетку, почти закрытую абажуромъ, онъ торопливо приблизился къ ней.

— Гдѣ это вы пропадали? Отчего не исполнили обѣщанія и не удостоивали меня посѣщеніемъ? Или я васъ очень напугала тогда, молодой человѣкъ?—заговорила она съ насмѣшливой ноткой въ голосѣ, протягивая свою ослѣпительной бѣлизны руку, обнаженную почти до локтя, изъ-подъ широкаго рукава капота. —Ну, садитесь и раскрывайте всю правду. Не бойтесь, я не кусаюсь!—прибавила она шутливо.

Стрепетовъ хотѣлъ-было взять стулъ, но Варницкая любезно предложила сѣсть на диванъ, и Стрепетовъ скромно присѣлъ въ уголокъ.

— Итакъ, молодой человѣкъ, почему вы не приходили? Конечно, времени не было? Были очень заняты?—иронически подсказывала она. — Или не читали моихъ брошюръ и боялись экзамена? Или, наконецъ, просто, не хотѣлось во второй разъ придти къ своей родственницѣ?—прибавила она тономъ избало-

ванной женщины, очевидно говорящей эту фразу въ ожиданіи противорѣчія.

— Я всѣ ваши брошюры прочелъ, Валентина Марковна.

— И все-таки не приходили?

— Какъ видите.

— Почему? Не хотѣли продолжать знакомства съ тетушкой?.. Что-жъ вы молчите?.. Не хотѣли?

— Да!—тихо вымолвилъ Стрепетовъ и покраснѣлъ, какъ маковъ цвѣтъ.

Валентина Марковна надменно вздернула свою голову и посмотрѣла на Стрепетова удивленными глазами.

Такой, очевидно, искренній отвѣтъ ей приходилось, кажется, слышать первый разъ въ жизни, и она рѣшительно изумилась. Еще бы не изумиться! Знакомства съ ней всѣ добиваются, какъ чести, а этотъ юноша, не стѣсняясь, говоритъ, что онъ не хотѣлъ продолжать знакомства.

— И еслибы я не позвала васъ, вы бы не пришли?—допрашивала она, оглядывая молодого человѣка съ насмѣшливымъ удивленіемъ.

— Не пришелъ бы.

— Oh la la! C'est trop fort, par exemple... Гдѣ васъ учили приличіямъ, молодой человѣкъ?

— Вы требовали правды, такъ при чемъ же тутъ приличія?

— Да вы, ей-Богу, смѣшной медвѣжонокъ... Такого я еще никогда не видала. Васъ надо хорошенько за ухо...

Тонъ Валентины Марковны не походилъ на тонъ перваго визита. Она, казалось, была теперь совсѣмъ не той надменной, строгой красавицей, читающей поученія, какою онъ ее видѣлъ въ первый разъ. И ему это не понравилось. Прежняя тетушка, со своими холодными голубыми глазами, казалась ему привлекательнѣе.

— Почему же вы не хотѣли придти?.. Изволите считать меня за ретроградку? Вамъ не понравились мои брошюры?

— Да, съ мнѣніями, изложенными въ вашихъ брошюрахъ, я не согласенъ!—промолвилъ съ добросовѣстной серьезностью Стрепетовъ.

— Ну, конечно... Я впередъ это знала. О, васъ положительно надо переубѣдить и сдѣлать порядочнымъ человѣкомъ, пока еще не поздно! И я постараюсь объ этомъ.

— Почему вамъ такъ хочется переубѣдить меня?—спросилъ молодой человѣкъ.

— Почему?.. Потому что...

Она на мгновеніе остановилась, взглядывая на Стрепетова своими улыбающимися голубыми глазами ласково и привѣтливо, и прибавила:

— Потому что вы мнѣ, напротивъ, нравитесь, мой нелюбезный племянникъ. И я хочу поближе съ вами познакомиться и заставить васъ перемѣнить гнѣвъ на милость!—шутливо замѣтила она.

Стрепетовъ сконфузился и не понималъ: смѣется ли надъ нимъ эта ослѣпительная красавица, или говоритъ серьезно. Онъ до того растерялся отъ неожиданнаго комплимента, что даже не догадался поблагодарить за него.

А Валентина Марковна, какъ нарочно, смотрѣла на этого зардѣвшагося юношу и, казалось, не безъ удовольствія наблюдала его смущеніе.

Черезъ минуту она сказала со смѣхомъ:

— Хорошъ племянникъ! Даже и не поблагодаритъ тетку за ея признаніе!

И, вся улыбающаяся, она протянула свою маленькую бѣлую руку, сіявшую кольцами.

Стрепетовъ внезапно сорвался изъ своего угла и поднесъ благоухающую нѣжную руку къ губамъ неловко и застѣнчиво.

И эта неловкость, казалось, понравилась хорошенькой тетушкѣ.

— Ну, а теперь поспоримъ!—промолвила она.—Да вы куда же забиваетесь въ уголъ?.. Садитесь ближе.

Смущенный молодой человѣкъ сѣлъ ближе. Она поднялась съ дивана, подошла къ письменному столу и, взявъ нѣсколько брошюръ, бросила ихъ на столъ передъ диваномъ.

Опускаясь на диванъ рядомъ съ Стрепетовымъ, она приподняла абажуръ такъ, что свѣтъ захватилъ ея лицо, и спросила Стрепетова серьезнымъ тономъ:

— Такъ какая же изъ брошюръ вамъ особенно не нравится, молодой человѣкъ?

Стрепетовъ сталъ перебирать брошюры, нѣсколько смущенный близостью этой красивой, благоухающей женщины.

— Вотъ эта!—прошепталъ онъ и почтительно-осторожно отодвинулся.

— Эта?.. Почему же она вамъ такъ не нравится? Говорите... Говорите, не стѣсняясь... Я на васъ не разсержусь!—прибавила она, словно желая ободрить.

Но Стрепетовъ и не думалъ о томъ, разсердится ли его блестящая тетушка, или нѣтъ, и заговорилъ съ энтузіазмомъ вѣрую-

щаго, съ порывистостью молодости, искренне убѣжденной въ пользѣ знанія, свѣта и широкой терпимости. Онъ сталъ горячо защищать своего любимаго героя русской исторіи, Петра Великаго, реформы котораго подвергались жестокимъ нападкамъ въ брошюрѣ хорошенькой ретроградки, и самъ преобразователь назывался безъ церемоніи „безумнымъ эпилептикомъ", насильственно измѣнившимъ естественный путь Россіи. Какъ идеалъ, ему противопоставлялся тишайшій царь Алексѣй Михайловичъ и вообще вся до-петровская Русь съ ея патріархальнымъ бытомъ.

Слова Стрепетова дышали горячей искренностью. Онъ незамѣтно увлекся и, забывая, что передъ нимъ свѣтская барыня, возвысилъ голосъ и громилъ автора брошюры, не жалѣя эпитетовъ, не жалѣя сарказмовъ, порицанія и негодованія.

Облокотившись на столъ, Валентина Марковна слушала съ снисходительнымъ вниманіемъ, какъ слушаютъ взрослые бойкихъ дѣтей, и, казалось, ее не столько интересовало то, чтò говоритъ молодой человѣкъ, сколько то, кàкъ онъ говоритъ. Такого искренняго одушевленія ей еще не приходилось слышать у себя въ кабинетѣ, и всѣ эти молодые и немолодые люди, которые у нея бывали, если, случалось, и спорили, то съ той условной свѣтской любезностью и съ тѣмъ индифферентизмомъ, которые отзывались холодомъ и банальностью.

И Варницкая глядѣла на Стрепетова съ какимъ-то особеннымъ любопытствомъ видавшей виды женщины, но напавшей на что-то новое, свѣжее и искреннее.

Увлекшійся молодой человѣкъ не замѣчалъ этихъ взглядовъ и продолжалъ свою горячую филиппику.

— Однако, вы горяченькій... У! какой!—проговорила Валентина Марковна, когда молодой человѣкъ кончилъ.—Я и не ожидала, что вы такъ страстно говорите...

— Вы извините меня, если я, быть можетъ, слишкомъ рѣзко говорилъ, но вѣдь вы...

— Не извиняйтесь... не извиняйтесь... Я вѣдь вамъ сказала, что я не разсержусь!—остановила она его, любезно дотрогиваясь до его руки.—Я, конечно, ни въ чемъ съ вами не согласна— ни на іоту, но, тѣмъ не менѣе, я... я любовалась вами, милый племянникъ.... Вы такой... такой еще юный!.. И я была бы очень рада почаще съ вами бесѣдовать, если и вы не прочь,—прибавила она, взглядывая на него съ чарующей улыбкой.—Ну, а теперь давайте чай пить и разскажите вы мнѣ побольше о себѣ... Чтò вы здѣсь дѣлаете?.. Съ кѣмъ видитесь... Кто вамъ болѣе другихъ нравится?

Она говорила теперь съ нимъ ласково и просто—тономъ доброй родственницы, принимающей участіе въ племянникѣ, и Стрепетовъ, по своей наивности, въ самомъ дѣлѣ, принялъ ея слова за выраженіе родственныхъ чувствъ и значительно размякъ, тронутый этимъ добрымъ отношеніемъ. Онъ уже забылъ, какъ она его принимала въ первый разъ, и находилъ теперь, что она гораздо добрѣе и проще, чѣмъ казалась. Правда, взгляды ея несимпатичны, но она все-таки выслушиваетъ противорѣчія и не сердится. А это показываетъ терпимость. Она гораздо лучше, чѣмъ онъ думалъ о ней!

Между тѣмъ лакей подалъ чай, и за чаемъ Валентина Марковна заставила Стрепетова разсказывать о себѣ. О своихъ дѣлахъ, однако, онъ изъ самолюбивой гордости не заикнулся ни словомъ, но зато пропѣлъ горячій диѳирамбъ Риммѣ Михайловнѣ.

— Да вы, мой милый, влюблены въ нее, въ эту вашу Римму Михайловну!—воскликнула Варницкая.

Стрепетовъ весь вспыхнулъ.

Съ какимъ-то особеннымъ интересомъ Валентина Марковна продолжала разспрашивать Стрепетова о его любви. И онъ довѣрчиво разсказывалъ, чувствуя потребность говорить о своей мадоннѣ.

— И часто вы у нея бываете?

— Совсѣмъ не бываю!—грустно промолвилъ Стрепетовъ.

— Отчего?.. Что̀ случилось?

Онъ разсказалъ о своемъ „преступленіи“; Варницкая весело захохотала.

— О, какой же вы еще... глупый!.. Вы такой вздоръ считаете преступленіемъ... Да вы совсѣмъ Іосифъ Прекрасный... Вы сама невинность... Вы... вы, вѣрно, мой милый, совсѣмъ женщинъ не знаете?..

— Совсѣмъ не знаю!—застѣнчиво прошепталъ Стрепетовъ.

Это признаніе, казалось, поразило и обрадовало Валентину Марковну. И она вдругъ вся притихла, сдѣлалась серьезна и посмотрѣла на молодого человѣка долгимъ, пристальнымъ взглядомъ.

И, взявши руку сконфуженнаго родственника, она совершенно неожиданно проговорила необыкновенно тихимъ, полнымъ какой-то мистической восторженности, тономъ:

— Ахъ, какъ вы меня обрадовали! Какъ неожиданно обрадовали, мой милый юноша! Цѣломудріе—такая рѣдкость среди нынѣшнихъ молодыхъ людей! Какъ видно, Богъ еще не оставилъ васъ, хоть вы и забыли Бога. И вы должны—слышите ли?—должны

сдѣлаться истиннымъ христіаниномъ, должны обновиться и вѣрить и любить безъ сомнѣній. Въ васъ душа еще не испорчена. И я займусь вами... Я буду вашей духовной матерью, вашей наставницей на пути къ истинѣ.

Она говорила съ какой-то странной экзальтаціей. Ея голубые красивые глаза сверкали блескомъ, и какая-то загадочная улыбка бродила на строгомъ лицѣ и играла на алыхъ чувственныхъ, полуоткрытыхъ губахъ.

— Хотите?—шепнула она.

Нашъ молодой человѣкъ сидѣлъ какъ на иголкахъ. Ему становилось жутко,—точно онъ вдругъ очутился на краю пропасти.

Онъ рѣшительно не зналъ, что отвѣтить, и безпомощно молчалъ.

— Давайте, прочтемъ вмѣстѣ вотъ эту брошюру...

И съ этими словами она начала читать свою брошюру о „позабытой религіи".

Стрепетовъ слушалъ и ровно ничего не понималъ. Кровь стучала въ виски и въ глазахъ мутилось. Онъ взглядывалъ на ослѣпительную шею, на изящныя руки этой красивой женщины, и не торопился почтительно отодвигаться. Напротивъ, звѣрь просыпался въ немъ.

А проповѣдница читала, какъ ни въ чемъ не бывало.

Когда, наконецъ, она кончила, Стрепетовъ торопливо всталъ.

— Куда вы?

— Пора. Мнѣ надо идти!—пробормоталъ онъ взволнованный и сконфуженный.

— Ну что, просвѣтились вы теперь?

Онъ отвѣтилъ неопредѣленно. Ясно было, что онъ далеко еще не убѣжденъ прочитаннымъ, и Валентина Марковна, прощаясь, взяла съ него слово придти завтра же вечеромъ.

— Мы опять почитаемъ вмѣстѣ!—прибавила она съ тою же загадочной улыбкой.

И Стрепетовъ согласился.

Эти бесѣды и чтенія, продолжавшіяся нѣсколько вечеровъ, окончились весьма прозаически. Однажды Валентина Марковна, удивленная глупостью своего духовнаго сына, въ знакъ расположенія дала ему „дружескій поцѣлуй духовной матери". Поцѣлуй этотъ былъ, вѣроятно, не очень холодный, такъ какъ въ отвѣтъ на него застѣнчивый и скромный молодой человѣкъ, не помня себя, въ какомъ-то изступленіи покрылъ руки, лицо своей двоюродной тетушки безумными, страстными поцѣлуями.

И она не противилась имъ...

Стрепетовъ сдѣлался ея обожателемъ, горячимъ и страстнымъ, какъ юноша, впервые познавшій женщину. Онъ не любилъ и не уважалъ ея, и все-таки его неудержимо влекло къ ней, къ ея утонченнымъ ласкамъ. И она относилась къ нему (онъ это чувствовалъ) съ тою же чувственной страстью. Свиданія ихъ были часты, но не долги. О духовныхъ бесѣдахъ не было и рѣчи, да и вообще они мало о чемъ говорили,—словно имъ и не о чемъ было говорить. И послѣ горячихъ ласкъ они оба, казалось, чувствовали потребность скорѣе разстаться.

Эти два мѣсяца были какимъ-то одуряющимъ безумнымъ чувственнымъ эксцессомъ. По временамъ Стрепетову было стыдно за самого себя... Развѣ это любовь?

Нѣсколько разъ Валентина Марковна предлагала ему сдѣлаться гувернеромъ ея дѣтей (это представляло и извѣстныя удобства для ихъ отношеній), но онъ съ негодованіемъ отвергъ ея предложеніе. Точно такъ же онъ и слышать не хотѣлъ, чтобы она хлопотала за него о мѣстѣ.

„До такого позора я не дойду!"—думалъ Стрепетовъ, а Валентина Марковна съ недоумѣніемъ пожимала плечами.

Между тѣмъ дѣла молодого человѣка шли хуже и хуже. Урокъ у адвоката былъ потерянъ—ученикъ серьезно заболѣлъ и уѣхалъ за границу. Оставался одинъ урокъ у Опольева. Онъ бросался снова въ разныя мѣста, но вездѣ получался одинъ и тотъ же отвѣтъ:

— Мѣста нѣтъ!

А онъ между тѣмъ уже вошелъ въ долги. Мать, по обыкновенію, въ письмахъ подбодряла сына, но отчаяніе нерѣдко охватывало его.

Однажды, въ началѣ марта, онъ только-что вернулся домой съ неудачныхъ поисковъ за работой, какъ ему подали письмо отъ сестеръ.

Онъ прочиталъ его и обомлѣлъ.

Сестры сообщали ему, что уже три мѣсяца, какъ мать скрываетъ отъ него ихъ ужасное положеніе. Она больна и не можетъ болѣе давать уроковъ. Двѣ недѣли тому назадъ мать слегла въ постель... Средствъ нѣтъ... Серебро заложено... Сестры рѣшились, тихонько отъ матери, сообщить обо всемъ Павлику и просить помочь, если только онъ можетъ.

Ужасъ охватилъ Стрепетова при чтеніи этихъ строкъ. Ужасъ, злоба и отчаяніе.

Что̀ ему дѣлать? Какъ помочь? Къ кому обратиться?

О, развѣ онъ не обращался ко всѣмъ, къ кому только было возможно? Развѣ онъ не обивалъ пороговъ? Развѣ онъ не ждалъ по часамъ въ пріемныхъ?

Оставалось одно средство: обратиться къ Валентинѣ Марковнѣ.

Но при одной этой мысли—Стрепетова бросало въ холодъ. Гордость, самолюбіе, чувство порядочности возставали противъ этого. И какъ она посмотритъ на него, съ негодованіемъ прекращавшаго всякіе намеки о покровительствѣ,—какъ посмотритъ она, эта женщина, считавшая почти всѣхъ людей продажными и искренно удивлявшаяся „глупости“ Стрепетова, не пользовавшагося ни ея деньгами, ни ея связями?

И къ ней идти теперь,—къ ней, которую онъ считалъ лицемѣрной, развратной женщиной, игравшей въ религію!

Но... мать... сестры?..

И, наконецъ, какъ же быть?.. Онъ пробовалъ всѣ пути, онъ добивался честно достать себѣ кусокъ хлѣба,—и что же вышло? Видно, правъ Чирковъ, и ему надо пройти черезъ это униженіе—идти просить... и кого?!.. Но только вонъ, вонъ изъ этого Петербурга! Вонъ отсюда!.. Кстати сестра пишетъ, что въ самарскомъ отдѣленіи банка есть вакансія контролера, и что управляющій отдѣленіемъ охотно бы взялъ его, еслибы въ Петербургѣ за него кто-нибудь похлопоталъ.

И Стрепетовъ пошелъ къ Варницкой.

Валентина Марковна, по обыкновенію, занималась въ своемъ кабинетѣ, когда лакей доложилъ ей о приходѣ Стрепетова.

Она его встрѣтила удивленно. Въ такой часъ зачѣмъ онъ пришелъ?

И онъ замѣтилъ это удивленіе въ ея холодныхъ голубыхъ глазахъ и смутился.

— Я къ вамъ по дѣлу, ma tante!

Съ тѣхъ поръ, какъ онъ сблизился съ нею, онъ ее называлъ „ma tante“.

— По дѣлу, Поль? Это удивительно. Садитесь и разсказывайте, какое у васъ дѣло.

Онъ разсказалъ, что мать больна.

— Вамъ нужны деньги? Такъ берите, сколько надо...

— Нѣтъ... Какія деньги!—раздраженно воскликнулъ Стрепетовъ, вспыхивая до корня волосъ.—Я пришелъ просить васъ устроить мнѣ мѣсто.

— Давно бы такъ... Наконецъ, надумались... Это такъ легко устроить.

— Но не здѣсь, не въ Петербургѣ...

— Не здѣсь?—удивилась Валентина Марковна.

— А въ провинціи... въ Самарѣ... Мнѣ бы хотѣлось быть около матери... Она очень больна.

Варницкая записала на бумажкѣ, о чемъ просилъ Стрепетовъ, и обѣщала сегодня же съѣздить. Она надѣется, что дѣло это устроится.

— Мы, значить, разстаемся?

— Да... приходится...

— Мнѣ жаль, что вы, Поль, уѣдете. Смотрите же, приходите проститься... Завтра я свободна... Завтра вечеромъ, а потомъ въ субботу...

Она говорила это съ какимъ-то холоднымъ цинизмомъ, отъ котораго Стрепетова покоробило.

— Такъ придете?

— Приду!

— И я уѣзжаю скоро за границу!—промолвила она.

И, помолчавъ, прибавила:

— Но какой вы все-таки, однако, смѣшной Донъ-Кихотъ! Я бы могла вамъ устроить отличное мѣсто здѣсь... вы бы со временемъ сдѣлали карьеру... стали бы совсѣмъ порядочнымъ человѣкомъ, а вы хотите забиваться въ трущобу... А все ваши нелѣпые взгляды... ваша смѣшная щепетильность...

Каждое ея слово было ударомъ бича.

Онъ выслушалъ ее, пожалъ плечами и ушелъ.

А Валентина Марковна, глядя ему вслѣдъ, подумала:

— Совсѣмъ рѣдкій дуракъ, этотъ милый юноша!

Предстоящая разлука не особенно опечаливала ее. Пора было прекратить эту связь. За ней начиналъ сильно ухаживать одинъ иностранный дипломатъ, и она не прочь была выйти за него замужъ.

Глава XXVIII.

Оставалось во что бы то ни стало найти денегъ, чтобы немедленно отправить матери. Стрепетовъ бросился въ „трущобы“ Ипата Никитича, надѣясь достать у Галанина, но, войдя въ прихожую и увидавъ старика, мрачнаго, опустившагося, небритаго, сразу понялъ, что здѣсь произошло нѣчто особенное.

— Здравствуйте, Ипатъ Никитичъ! Что, Ѳедоръ Петровичъ дома?

— Дома... Какъ же, дома-съ. Ужъ теперь этотъ голубчикъ никуда не пойдетъ!—проговорилъ какъ-то странно старикъ, за-

моргавши слезившимися глазами.—Послѣдняя абонировка вышла!—прибавилъ онъ и залился слезами.

— Что такое?

— А вотъ пожалуйте—полюбуйтесь!

Стрепетовъ вошелъ въ комнату Галанина и остановился, изумленный, на порогѣ. Посреди комнаты, на столѣ, бывшій его пріятель лежалъ мертвый. Дьячокъ покосился на вошедшаго и громче зачиталъ псалтырь.

Стрепетовъ со слезами поцѣловалъ покойника и вышелъ въ корридоръ.

— Когда?—спросилъ онъ старика.

— Вчера вечеромъ. Какъ узналъ онъ, голубчикъ, всю эту низость... такъ и прикончилъ съ собой...

— Какую низость?

— Да съ Ѳеничкой... Вѣдь обѣщала за него замужъ... Онъ такъ любилъ Ѳеничку... А мать-то ея, моя супруга, возьми да и отдай ее одному, съ позволенія сказать, мерзавцу-съ. Ну, и сама попользовалась тоже деньгами, и съ господиномъ Евфратовымъ изволила уѣхать. Теперь вотъ я и остался, въ нѣкоторомъ родѣ, одинъ съ пустыми номерами... да съ моимъ голубчикомъ...

Старикъ заплакалъ и сквозь слезы сказалъ:

— И вотъ вѣдь какой... Деньги, что прикопилъ къ свадьбѣ, въ конвертахъ оставилъ. Въ одномъ надпись: „На похороны“, а на другомъ: „Философу Ипату“. И передъ смертью голубчикъ философа не забылъ!—окончилъ старикъ.

Стрепетовъ ушелъ разстроенный, обѣщая быть завтра на похоронахъ, и направился къ профессору Чернику въ академію.

Онъ попалъ счастливо, передъ самымъ обѣдомъ, и засталъ профессора дома. Черникъ радостно встрѣтилъ его:

— Вотъ нежданный гость! Да что съ вами? Вы совсѣмъ разстроены, аркадійскій поступокъ!

— Я къ вамъ съ просьбой, Андрей Ивановичъ.

И Стрепетовъ, волнуясь и краснѣя, разсказалъ, въ чемъ дѣло.

— Спасибо, родной, что ко мнѣ пришли... Сколько вамъ?

— Сто рублей.

— Берите больше. Отдадите, когда сможете.

— Нѣтъ, довольно.

Но Черникъ убѣдилъ-таки его взять двѣсти.

Стрепетовъ горячо благодарилъ и хотѣлъ уходить.

— Куда вы? Обѣдайте съ нами.

— Я хочу деньги отправить.

— Теперь ужъ поздно.

— Ну, хоть телеграмму.

— Пишите здѣсь. Я сторожа отправлю, а ужъ васъ, рѣдкаго гостя, не выпущу. И жена будетъ рада.

— Жена?

— Э, да вы развѣ не знаете? Уже мѣсяцъ, какъ Вѣра Александровна—моя жена. Помните, еще вы говорили, что красота у нея слишкомъ земная,—улыбнулся профессоръ, весело щуря свои маленькіе насмѣшливые и умные глаза.

Черезъ минуту была послана телеграмма въ Самару, что завтра по телеграфу переводится полтораста рублей.

— Ну, а теперь пойдемъ, милый человѣкъ, обѣдать. Ровно пять часовъ, а жена моя аккуратна, какъ хронометръ.

Вѣра Александровна уже ждала въ столовой. Она похорошѣла, посвѣжѣла и пополнѣла. Глаза ея теперь глядѣли ровно и спокойно. Сразу было видно, что она счастлива.

Она встрѣтила Стрепетова привѣтливо и попеняла, что онъ въ нимъ не заходилъ.

— Теперь будетъ!—замѣтилъ Черникъ.

— Едва ли. Вѣроятно, я скоро уѣду.

— Куда?

— Думаю, что въ Самару.

— Мѣсто получили?

— Нѣтъ еще, но обѣщаютъ хлопотать.

— А кто хлопочетъ?

— Варницкая!—отвѣчалъ Стрепетовъ, краснѣя.

— Варницкая! О, въ такомъ случаѣ, у васъ мѣсто въ карманѣ. Эта баба, я вамъ скажу, съ большими связями. Да вы какъ съ ней познакомились?

— Она моя двоюродная тетка,—пробормоталъ Стрепетовъ.

— Ну, отъ души поздравляю. Надѣюсь, передъ отъѣздомъ зайдете?

— Непремѣнно.

За обѣдомъ Вѣра Александровна была очень мила и угощала Стрепетова. Въ то же время она зорко смотрѣла, съ аппетитомъ ли ѣстъ мужъ, и когда Черникъ не доѣлъ жаркого, она безпокойно спросила:

— Развѣ дурно приготовлено?

— Превосходно, но мнѣ не хочется.

— Такъ ли?

— Да ей-Богу же такъ!—смѣялся Черникъ и, обращаясь къ Стрепетову, прибавилъ:—Все боится, что я буду голоденъ! Ужасно заботливая жена!

— Вовсе тутъ не заботливость!—проговорила, вся вспыхивая, Вѣра Александровна.—Просто досадно, что кушанье не нравится.

— Ну, виноватъ, виноватъ, Вѣра. Ты, по обыкновенію, права! —добродушно замѣтилъ Черникъ.

Когда Стрепетовъ прощался, Вѣра Александровна проговорила:

— Вы зайдете проститься къ Риммѣ?

Стрепетовъ весь вспыхнулъ.

— Зайдите, зайдите!—продолжала она, какъ будто не замѣчая его смущенія.—Римма всегда вспоминаетъ о васъ хорошо и очень расположена къ вамъ.

Черезъ пять дней Стрепетовъ уже получилъ мѣсто. И все это сдѣлалось какъ-то чрезвычайно просто и скоро, благодаря Валентинѣ Марковнѣ. Стрепетова позвали къ начальству, объявили, что онъ назначенъ на мѣсто, и выразили увѣренность, что онъ, конечно, оправдаетъ надежды и т. п. Ему даже сказали нѣсколько комплиментовъ и подали руку.

Черезъ недѣлю онъ уже выѣхалъ изъ Петербурга, не простившись съ Риммой Михайловной, считая себя недостойнымъ показаться на глаза этой дѣвушкѣ.

Грустный, далеко не похожій на прежняго наивнаго юнца, возвращался онъ домой. Первые его шаги въ жизни были далеко не тѣ, какіе онъ ожидалъ, и горькій скептицизмъ уже закрался въ его сердце и омрачилъ его вѣру въ себя и въ тѣ идеалы, которымъ онъ вѣрилъ. Но какъ ни тяжело было это сознаніе, въ душѣ его жила бодрая надежда, что все-же онъ не извѣрится до конца... Впереди еще цѣлая жизнь...

Когда черезъ четыре дня онъ пріѣхалъ на мѣсто и входилъ въ знакомый маленькій домикъ въ переулкѣ, его охватило невообразимо радостное чувство.

Стрепетовъ со слезами бросился на шею къ матери, больной, сильно постарѣвшей, и долго, долго не отрывался отъ ея груди, какъ будто на этой дорогой груди онъ хотѣлъ выплакать то униженіе и тотъ позоръ, которые онъ испыталъ.

А мать, улыбаясь сквозь слезы своей славной улыбкой, говорила, лаская его руку:

— Вотъ видишь, Павликъ, а ты отчаявался. Вотъ и получилъ мѣсто. Небось, честные и порядочные молодые люди вездѣ нужны...

Павликъ постарался только улыбнуться въ отвѣтъ матери...

К. Станюковичъ.

АРТИСТКА

Романъ въ 4-хъ частяхъ.

Пока не требуетъ поэта
Къ священной жертвѣ Аполлонъ,
Въ заботахъ суетнаго свѣта
Онъ малодушно погруженъ;
Молчитъ его святая лира,
Душа вкушаетъ хладный сонъ,
И межъ дѣтей ничтожныхъ міра,
Быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй онъ.

Пушкинъ.

Cette divine scélératesse qui fait le génie.

Cherbulier.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Утромъ Чемезовъ получилъ отъ сестры, Елены Николаевны Олениной, слѣдующую записку:

„Милый Юрій, не можешь ли ты поѣхать съ нами сегодня въ театръ, такъ какъ Аркадій отозванъ на винтъ и не можетъ сопровождать насъ. Я знаю, какъ ты не долюбливаешь подобныхъ просьбъ, но сегодня бенефисъ Степанова, и идетъ „Марія Стюартъ", съ московской Леонтьевой, которую, думаю, даже и тебѣ будетъ интересно посмотрѣть. Во всякомъ случаѣ, если ты опоздаешь пріѣхать къ обѣду, то пріѣзжай хоть прямо въ театръ, бенуаръ № 4".

Прочитавъ эту записку, Чемезовъ въ первую минуту остался ею очень недоволенъ.

У него у самого была пропасть спѣшной работы, но и отказать сестрѣ, очень рѣдко обращавшейся къ нему съ подобными

просьбами, тоже не хотѣлось, а потому, хотя и нахмурясь, и сердясь на нее въ душѣ, онъ все-таки же отвѣтилъ, что постарается быть.

„У Аркадія какой-то глупый винтъ,—думалъ онъ, раздражаясь,—и потому онъ можетъ не ѣхать, а у меня на этой недѣлѣ два серьезныя засѣданія, къ которымъ нужно хорошенько подготовиться, и я все долженъ бросать и летѣть въ театръ, только потому, что Аркадію Петровичу желательно въ винтъ играть! Удивительно!"

Когда Чемезовъ занимался и особенно какой-нибудь важной работой, онъ терпѣть не могъ, чтобы его отрывали и мѣшали ему, а особенно такими пустяками, какими ему казался спектакль. Онъ страстно любилъ свое дѣло и работу надъ нимъ, но тѣмъ не менѣе всегда, когда ему приходилось заниматься особенно усиленно, очень утомлялся, дѣлался нервенъ, раздражителенъ, и потому невинная записка сестры,—пришедшая какъ разъ въ то время, когда у него стояли на очереди разные сложные вопросы и были бумаги, покончить съ которыми надо было въ наивозможно скорѣйшій срокъ,—совсѣмъ испортила ему съ утра хорошее расположеніе духа. Чемезовъ позавтракалъ дома, предъ тѣмъ какъ идти на службу, наскоро и неохотно, думая все время о предложеніи, которое хотѣлъ внести въ слѣдующее же засѣданіе; онъ зналъ заранѣе, что его предложеніе вызоветъ много споровъ и несогласій, но, соображая, какъ предварительно набросать проектъ у себя, онъ вспоминалъ опять съ раздраженіемъ, что сегодняшній вечеръ ему не придется заняться, потому что нужно ѣхать въ этотъ глупый театръ.

„И почему именно сегодня?—думалъ онъ съ неудовольствіемъ:—развѣ не могли выбрать другого дня!" Но тутъ онъ вспомнилъ, что сестра что-то писала ему о чьемъ-то бенефисѣ и о какой-то московской знаменитости, но о какой и что̀ именно—припомнить не могъ, потому что прочиталъ записку наскоро и невнимательно, понявъ изъ нея только самое непріятное для себя, т.-е., то, что его не во̀-время отвлекали отъ дѣла.

Чемезовъ перечиталъ записку, и незамѣченное имъ прежде имя Леонтьевой нѣсколько смягчило и даже пріятно удивило его. Онъ зналъ, что Леонтьева считается любимицей Москвы, и слышалъ о ней очень много, но видѣть ее на сценѣ ему еще не доводилось, несмотря на то, что во времена его студенчества, когда онъ жилъ еще въ Москвѣ, онъ былъ страстнымъ поклонникомъ ея отца и часто бывалъ у нихъ въ домѣ, такъ какъ былъ

очень друженъ со старшимъ сыномъ старика Леонтьева, Сергѣемъ, бывшимъ на одномъ съ нимъ курсѣ въ университетѣ.

Съ тѣхъ поръ прошло почти двѣнадцать лѣтъ; онъ давно переѣхалъ въ Петербургъ, мало-по-малу совсѣмъ отвыкъ отъ театра и потерялъ Леонтьевыхъ изъ виду, только изрѣдка, стороною, слыша о нихъ что-нибудь. Но воспоминанія обо всей этой семьѣ, которую когда-то онъ любилъ и до сихъ поръ помнилъ очень живо, навсегда оставило въ немъ самое хорошее впечатлѣніе,— впечатлѣніе чего-то безконечно милаго, сердечнаго и простого.

— Ну, нечего дѣлать, поѣдемъ смотрѣть Оленьку Леонтьеву! —сказалъ онъ себѣ уже въ гораздо лучшемъ настроеніи и даже не безъ удовольствія подумалъ о предстоящемъ спектаклѣ, чтò съ нимъ теперь случалось ужъ очень рѣдко.

Онъ вышелъ изъ дому и пошелъ на службу пѣшкомъ, думая дорогой уже не о Леонтьевыхъ и спектаклѣ, занявшихъ его на минуту, а опять о разныхъ текущихъ въ его департаментѣ дѣлахъ, интересовавшихъ и тревожившихъ его, какъ вдругъ неожиданно окликнулъ его Илья Егоровичъ Стороженко, одинъ изъ его сослуживцевъ и пріятелей.

— А! Илья Егоровичъ!—воскликнулъ Чемезовъ, увидя его: — откуда это вы такъ подкрались?

Илья Егоровичъ былъ высокій, могучій толстякъ, съ розовымъ, благодушнымъ лицомъ; Чемезовъ очень любилъ его за то лѣниво-добродушное, хохлацкое остроуміе, которымъ дышала вся его плотная фигура.

— Да все, батюшка, оттуда же, изъ дому! — сказалъ Илья Егоровичъ, здороваясь съ Чемезовымъ на ходу и тяжело дыша, отъ непривычной для него скорой ходьбы.

— Ну, намъ съ вами по дорогѣ значитъ; вы вѣдь въ департаментъ?—спросилъ его Чемезовъ.—Только, что это вы сегодня пѣшкомъ? вѣдь вы этого, кажется, не долюбливаете.

— Да что, батюшка, ничего не подѣлаешь! жена ужъ на извозчиковъ перестала выдавать, да и мои-то деньги, нарочно, всѣ отъ меня отобрала: ходи, говоритъ, пѣшкомъ, а то совсѣмъ ожирѣешь! Нельзя, батюшка, доктора прописали, вотъ и путешествую теперь, по образу пѣшаго хожденія!

Чемезовъ съ удовольствіемъ и улыбкою смотрѣлъ на розовое, сіяющее здоровьемъ и добродушіемъ, лицо Ильи Егоровича, который почему-то всегда однимъ уже своимъ благодушнымъ видомъ имѣлъ способность приводить его въ хорошее расположеніе духа.

— А меня, батюшка,—сказалъ, все еще тяжело дыша, Илья Егоровичъ:—сегодня жена и дочери тащатъ Леонтьеву смотрѣть!

— Ну, что вы! — смѣясь, заговорилъ Чемезовъ:—значитъ, мы съ вами одной участи подверглись! васъ жена, а меня сестры. Что же, ѣдете?

— Да нельзя не ѣхать; жена говоритъ: — событіе!

— Развѣ ужъ и событіе? А мнѣ, признаться, не хотѣлось: работы множество.

— Напрасно, батюшка, напрасно! Событіе-то оно хоть и не событіе, ну, а все посмотрѣть слѣдуетъ. Я-то, положимъ, ее ужъ не разъ видалъ, ну, а все, какъ сюда пріѣдетъ, каждый разъ, не вытерплю, сбѣгаю, посмотрю ее опять! Вѣдь это, батюшка, покойника Льва Леонтьева дочка! Его-то, я полагаю, вы хорошо помнить должны: вѣдь онъ еще живъ былъ въ то время, какъ вы въ московскомъ-то университетѣ премудростямъ обучались!

— Да какъ же, вѣдь я же съ его сыномъ товарищемъ былъ, я и у нихъ въ домѣ чуть не каждый день бывалъ, и Оленьку-то эту еще подросточкомъ помню!

— Ну, вонъ видите, по всѣмъ статьямъ, значитъ, ѣхать слѣдуетъ! Я старика-то тоже лично знавалъ, мы съ нимъ и выпивки изрядныя даже не разъ учиняли,—онъ и на это большой талантъ имѣлъ! Я и у Обуховыхъ-то, сказать правду, поэтому больше бываю.

— У какихъ Обуховыхъ?—удивленно спросилъ Чемезовъ.

— Да у нашего, Петра Георгіевича-то! вѣдь онъ тоже на одной изъ дочерей его женатъ.

— Да что вы! — Чемезовъ очень удивился; онъ этого не зналъ и даже не слышалъ никогда, и насколько знавалъ Леонтьевыхъ и Обухова—не понималъ, какъ это случилось.

— Да на которой же?—спросилъ онъ съ недоумѣніемъ.

— На старшей, на Глафирѣ!

Чемезовъ прекрасно помнилъ эту Глафиру, тогда высокую, видную дѣвушку лѣтъ двадцати, но тѣмъ болѣе это поражало его.

— И давно онъ женился?

— Да какъ вамъ сказать... лѣтъ десять, должно быть, уже будетъ, пожалуй!

— Ну, это уже послѣ моего отъѣзда изъ Москвы, но странно, что я объ этомъ никогда не слыхалъ даже!

— Э, батюшка,—сказалъ Илья Егоровичъ, смѣясь и лукаво подмигивая глазомъ: — они объ этомъ не очень-то распространяться любятъ. Чины, знаете, ужъ больно разные: одна—генеральша, а другіе—все актеры да актрисы, такъ одно къ другому и не подходитъ какъ-то. Ну, на спектаклѣ-то сегодня, вѣроятно, все-таки

будутъ, этимъ-то они удостоиваютъ; вотъ поглядите,—они, я вамъ доложу, прелюбопытные субъекты!

Чемезовъ засмѣялся: ему вдругъ живо представилась внушительная фигура Петра Георгіевича Обухова, съ его физіономіей настоящаго дѣйствительнаго статскаго совѣтника, и, съ другой стороны, полуартистическая, полумѣщанская семья Леонтьевыхъ; бракъ этотъ невольно показался ему такимъ нелѣпымъ и курьезнымъ, что онъ тутъ же рѣшилъ непремѣнно какъ-нибудь при случаѣ побывать у нихъ, чтобы и на Глафиру посмотрѣть въ ея настоящемъ видѣ, да и объ остальныхъ Леонтьевыхъ, воспоминаніе о которыхъ теперь особенно ожило въ немъ, узнать отъ нея что-нибудь.

— Такъ генеральшей стала?—переспросилъ онъ, смѣясь.

— Какъ же, какъ же, и еще 96-й пробы даже: вѣдь онъ на дняхъ тайнаго получилъ,—можетъ, слышали?

— Слышалъ, какъ же! Ахъ да, кстати, Илья Егоровичъ, вы мнѣ бумагу о Сергѣевѣ приготовили?

— Вотъ въ портфельчикѣ ее и несу! Весь вечеръ вчера просидѣлъ, даже въ винтъ не игралъ!

— Ну, и отлично, а она мнѣ сегодня понадобится вѣрно! —И, разговаривая такимъ образомъ, они подошли къ огромному казенному зданію, гдѣ помѣщался ихъ департаментъ. Увидѣвъ ихъ, швейцаръ поспѣшно распахнулъ предъ ними двери, а курьеры, почтительно сгибаясь, бросились снимать съ нихъ шубы.

Раздѣвшись, Чемезовъ прошелъ прямо въ свой кабинетъ, торопливо кланяясь по дорогѣ съ вставравшими при его входѣ другими чиновниками и, отдавъ курьеру приказаніе принимать постороннюю публику только послѣ двухъ часовъ, самъ поспѣшно сѣлъ за прочтеніе многочисленныхъ телеграммъ и писемъ, уже лежавшихъ на его письменномъ столѣ.

II.

Весь день у Чемезова было очень много разныхъ посѣтителей, съ которыми ему пришлось возиться и объясняться; къ пяти часамъ онъ уже почувствовалъ то легкое раздраженіе и утомленіе, которое за послѣднее время часто стало являться въ немъ, въ подобныхъ случаяхъ, и чего раньше онъ никогда не замѣчалъ въ себѣ. Когда онъ пришелъ къ сестрамъ, Елена Николаевна очень обрадовалась ему.

— Ахъ, какой ты милый!—сказала она:—ты даже и обѣдать

пришелъ, а я боялась, что ты, пожалуй, и въ театръ-то не поѣдешь!

Онъ нѣжно поцѣловалъ ее въ лобъ и руку, съ тѣмъ особеннымъ чувствомъ любви и уваженія, съ которымъ всегда цѣловалъ ее, и признался, что раньше ему дѣйствительно очень не хотѣлось ѣхать, но потомъ вспомнилъ, что зналъ эту Леонтьеву еще дѣвочкой, и рѣшился:—такъ ужъ и быть,—прибавилъ онъ, смѣясь,—промѣнять работу на нее.

— Да,—сказала Елена, ласково смотря на брата:—это ужъ стыдно было бы не поѣхать смотрѣть ее, когда есть къ тому возможность. Ты не знаешь, вѣдь мы билеты просто чудомъ какимъ-то достали,—все уже раньше было разобрано!

— А гдѣ же Зина?—спросилъ Чемезовъ, оглядываясь и не видя нигдѣ младшей сестры.

— Она у меня въ комнатѣ съ Мери,—сказала Елена, не глядя на брата.—Я Мери тоже пригласила къ намъ въ ложу,—прибавила она вскользь.

— А!—разсмѣялся Чемезовъ, пытливо взглядывая на нее:—такъ вотъ отчего и меня-то понадобилось тащить!

Елена Николаевна тоже разсмѣялась и слегка даже покраснѣла.

— Да нѣтъ же, это, право, случайно вышло,—сказала она, какъ будто въ чемъ-то оправдываясь.—Я Мери еще третьяго дня пригласила, а съ тобой это все Аркадій напуталъ! Сначала сказалъ, что не можетъ, а теперь прислалъ сказать, что Лорины сами ѣдутъ на Леонтьеву, и поэтому винтъ отмѣняется.

Но, видя, что братъ все-таки продолжаетъ глядѣть на нее съ недовѣрчивой улыбкой, она опять засмѣялась своимъ пріятнымъ, мягкимъ смѣхомъ и, взявъ его подъ руку, увела въ свой будуаръ.

Елена Николаевна была всего лѣтъ на пять моложе брата. Лицами они почти не походили другъ на друга, хотя фамильное сходство между ними въ чертахъ, манерахъ, голосѣ и, главное, въ характерахъ было очень большое.

Она — изящная, красивая, но слегка уже располнѣвшая женщина, съ мягкими, вьющимися, гораздо болѣе темными, чѣмъ у брата, волосами и съ спокойнымъ, симпатичнымъ выраженіемъ въ лицѣ, прекрасно освѣщавшемся темными, но лучистыми, привѣтливыми глазами.

Чемезовъ очень любилъ обѣихъ сестеръ, хотя любовь его къ каждой изъ нихъ была разная.

Между нимъ и Еленой съ дѣтства еще завязалась тѣсная дружба, и съ годами дружба эта окрѣпла—къ ней прибавилось еще чувство глубокаго уваженія другъ къ другу.

Живя одинокимъ холостякомъ, но въ душѣ любя семейную жизнь, Чемезовъ привязался къ семьѣ сестры, какъ бы къ своей собственной, и любилъ ея дѣтей чуть не больше ея самой, а это, въ свою очередь, еще сильнѣе трогало и привязывало ее къ нему.

Отношенія его къ Зинѣ были совсѣмъ иныя. Къ ней онъ не чувствовалъ той дружбы и уваженія, какія вызывала въ немъ старшая сестра. Онъ глядѣлъ на нее просто какъ на дорогого ему ребенка, котораго иногда любилъ подразнить, иногда пожурить, иногда побаловать и приласкать, но на котораго нельзя было еще смотрѣть серьезно. А въ глубинѣ души онъ какъ бы безсознательно любилъ ее больше, чѣмъ Елену, и сильнѣе, быть можетъ, именно за всѣ тѣ качества, которыхъ не хватало въ его собственной натурѣ, и которыми такъ богата была надѣлена Зина.

Въ сущности, для обѣихъ сестеръ братъ былъ семейной гордостью, почти божкомъ,—но живая, откровенная и увлекающаяся Зина не стѣснялась открыто и съ наивной довѣрчивостью признаваться въ обожаніи брата и ему, и всѣмъ другимъ, тогда какъ сдержанная и сосредоточенная въ себѣ Елена Николаевна глубоко чувствовала все это въ душѣ и очень рѣдко говорила о томъ вслухъ. Они съ братомъ—оба были натуры нѣсколько замкнутыя, расположенныя сильнѣе чувствовать, чѣмъ высказываться. Любовь Елены къ брату далеко не была такою экзальтированной и слѣпою, какъ у 17-лѣтней Зины, но зато она любила его, съ глубокимъ убѣжденіемъ преклоняясь предъ его умомъ, характеромъ, душой, радуясь каждымъ его успѣхамъ и удачамъ и заботясь о каждой мелочи въ его жизни.

Елена была страстная и привязанная семьянинка, находившая всѣ свои радости и счастье въ семьѣ и всей душой желавшая для своего любимаго брата того же самаго. Хотя она знала, что онъ очень привязанъ къ ея дому и проводитъ въ немъ почти все свое свободное время, но она невольно чувствовала, что одной ея семьи все-таки еще недостаточно для него, и что ему необходимо имѣть еще свою собственную, которая наполнила бы ему жизнь и создала бы собою цѣль,—для чего стóитъ жить и трудиться. Мысль эта стала особенно тревожить Елену теперь, когда брату ея уже стукнуло 35 лѣтъ, а онъ, весь поглощенный своей службой, все еще не высказывалъ ни малѣйшаго желанія осуществить ея мечты.

Быстрые успѣхи брата по службѣ, конечно, очень льстили ей, но въ то же время Еленѣ казалось, что онъ такимъ образомъ прежде-

временно старится и утомляется. Порой она почти не узнавала въ этомъ раздражительномъ, утомленномъ, осунувшемся человѣкѣ своего прежняго милаго Юрія, всегда оживленнаго, веселаго, на все отзывчиваго,—и тогда она невольно начинала обвинять во всемъ этомъ его службу, бравшую у него слишкомъ много времени и здоровья; служба не имѣла для нея, какъ для женщины, того глубокаго смысла и значенія, которые придавалъ ей онъ самъ.

Инстинктомъ женщины Елена поняла, что отвлечь его отъ службы, и вмѣстѣ съ тѣмъ оживить его самого и разнообразить его жизнь можетъ только женщина, но сколько она ни присматривалась,—за послѣдніе годы она не встрѣчала ни одной, которая бы такъ или иначе играла какую-нибудь роль въ его жизни. Да этого она и не желала совсѣмъ. Она въ принципѣ, который у нея былъ разъ навсегда строго выработанъ и которымъ она не любила уже поступаться, не одобряла безразсудныхъ увлеченій и романовъ, и еще менѣе одобряла тѣхъ женщинъ, которыя шли на романъ. Она считала подобныхъ женщинъ просто вредными, и, понятно, совсѣмъ не желала, чтобы жизнь ея брата, такъ или иначе, столкнулась съ ними.

Она желала для него одного: жену—хорошую, умную, любящую, которая согрѣла бы и освѣтила всю его жизнь.

Еленѣ не разъ уже доводилось слышать, что многіе находили Чемезова сухимъ и черствымъ карьеристомъ, который думаетъ только о себѣ и о своей карьерѣ. И ничто не могло такъ взволновать и разсердить ее, какъ подобный отзывъ о немъ. Она знала его душу и сердце лучше, чѣмъ кто-нибудь, знала, что все это неправда, и съ глубокимъ негодованіемъ протестовала противъ этого. Сама она была вполнѣ убѣждена, что натура Юрія сильно привязчива, даже слишкомъ привязчива, и что разъ онъ серьезно полюбитъ—весь отдастся той женщинѣ, которую полюбитъ, и что изъ него выйдетъ прекрасный мужъ и отецъ, одинъ изъ тѣхъ рѣдкихъ семьяниновъ, которые готовы все отдать въ жертву своей семьѣ.

Но Чемезовъ не хотѣлъ слышать ни о какой женитьбѣ и даже, вообще, какъ будто избѣгалъ женщинъ. И вотъ Елена Николаевна сама рѣшила женить его; съ тѣхъ поръ съ особеннымъ пытливымъ вниманіемъ она присматривалась ко всѣмъ знакомымъ ей дѣвушкамъ, пріискивая между ними наиболѣе подходящую для него жену. Хотя лично ей и нравились многія, но самъ Чемезовъ такъ неохотно и туго поддавался ея проектамъ, что у нея по-неволѣ опускались руки и пропадала энергія.

Между ними, по этому поводу, происходили даже маленькія, не совсѣмъ пріятныя объясненія, и, наконецъ, онъ прямо, хотя и мягко, но рѣшительно попросилъ ее не браться больше за подобные планы, если она не хочетъ совсѣмъ разсориться съ нимъ...

— Я никакой склонности къ женитьбѣ не чувствую и, по всей вѣроятности, не женюсь никогда!—сказалъ онъ ей разъ въ заключеніе, съ легкимъ неудовольствіемъ въ голосѣ.

Елена Николаевна прекрасно знала, что если Юрій сказалъ что-нибудь рѣшительно, то это уже будетъ твердо. Но и она была также тверда въ своихъ намѣреніяхъ, и тѣмъ болѣе—такихъ серьезныхъ, а потому рѣшила только отложить этотъ вопросъ на нѣкоторое время и никого больше не навязывать ему, но дѣйствовать такъ, чтобы желаніе жениться само собой зародилось въ его головѣ; сама она будетъ только постепенно и незамѣтно способствовать именно подобному зарожденію.

Такъ прошелъ годъ, и Чемезовъ уже было-началъ думать, что сестра благоразумно отказалась, наконецъ, отъ своихъ прежнихъ мечтаній.

Въ это самое время Елена Николаевна познакомилась съ Мери Столѣниной. Изъ всѣхъ знакомыхъ дѣвушекъ Мери несомнѣнно была самая подходящая: прекрасной семьи, хорошо воспитана, не слишкомъ уже молода, — ей шелъ 23-й годъ, — она привлекала къ себѣ вниманіе своей изящной, немного блѣдной, но вмѣстѣ породистой красотой. Мери была сирота (что тоже было хорошо, потому что тещи не всегда бываютъ пріятны) и жила у своей старшей замужней сестры, баронессы Баумгартенъ, свѣтской и умной женщины, но имѣла состояніе отдѣльное и вполнѣ независимое отъ родныхъ. Послѣднее обстоятельство не было главнымъ вопросомъ въ тѣхъ требованіяхъ, которыя Елена Николаевна предъявляла своимъ будущимъ золовкамъ, но все-таки было далеко не лишнее, тѣмъ болѣе, что самъ Юрій жилъ исключительно на свое жалованье,—правда, теперь уже очень порядочное, но все-таки еще не вполнѣ достаточное для комфортабельной семейной жизни.

Все это было очень хорошо, но, главнымъ образомъ, въ Мери было хорошо не то: Елена Николаевна заранѣе предчувствовала, что изъ нея выйдетъ отличная жена и мать, и что Юрій ей очень нравился. Стараясь ничѣмъ не выдать на этотъ разъ брату своихъ видовъ и не испортить тѣмъ дѣла, она, съ присущимъ ей тактомъ, постепенно, безконечными и неуловимыми маленькими женскими хитростями, стала двигать это большое предпріятіе.

И, противъ обыкновенія, оно пошло довольно удачно, осо-

бенно за послѣднее время. По крайней мѣрѣ Юрій, всегда очень подозрительный и страдавшій тѣмъ особеннымъ, присущимъ исключительно мужчинамъ, страхомъ, который является у нихъ, когда они замѣчаютъ, что ихъ „ловятъ", — теперь молчалъ и не выказывалъ никакого раздраженія, какъ тò бывало прежде. Онъ даже довольно охотно позволялъ сестрѣ устроивать случайныя, какъ будто, встрѣчи и свиданія его съ Мери, а главное — очень охотно разговаривалъ и смѣялся съ этой Мери, и хотя отъ всѣхъ сколько-нибудь серьезныхъ намековъ сестры отдѣлывался шутками, но такъ какъ онъ уже не хмурился больше и не сердился, то Елена Николаевна горячѣе чѣмъ когда-либо принялась за свое дѣло и уже мечтала, что на этотъ разъ планамъ ея суждено, наконецъ, осуществиться.

III.

Елена провела брата въ свой будуаръ, гдѣ уже сидѣли, разговаривая о чемъ-то, подружившіяся за послѣднее время Мери и Зина. Увидѣвъ входящаго Чемезова, Мери чуть-чуть покраснѣла и глаза ея радостно вспыхнули, но сейчасъ же опять потухли, и съ самой оффиціальной улыбкой, какой улыбаются вообще всѣмъ знакомымъ, она поклонилась ему, спокойно позволивъ пожать ему свою длинную, тонкую, прекрасной формы, ручку.

Зина радостно вскрикнула и, стремительно вскочивъ съ кресла, бросилась на шею къ брату, звонко, совсѣмъ еще по-дѣтски, расцѣловавъ его въ обѣ щеки.

— Вотъ ужъ не ожидала, что ты даже и къ обѣду пріѣдешь! — воскликнула она съ восторгомъ, но сейчасъ же тревожно прибавила: — А въ театръ ты съ нами вѣдь поѣдешь?

— Нѣтъ, — сказалъ Чемезовъ, нарочно поддразнивая ее: — не поѣду!

— Ну вотъ! — воскликнула она съ упрекомъ и разочарованіемъ.

Мери тоже на одно мгновеніе кинула на Чемезова тревожный взглядъ, но сейчасъ же равнодушно отвела его.

— Не дурачься, Юрій! — сказала Елена Николаевна, не любившая обмана даже въ шуткахъ. — Зачѣмъ ты ее дразнишь? Успокойся, Зина, онъ поѣдетъ! — И она улыбнулась, говоря Зинѣ, но мелькомъ взглядывая на Мери, тревожный взглядъ которой уже подмѣтила, а огорчать Мери ей совсѣмъ не хотѣлось.

Чемезовъ съ чувствомъ пріятнаго спокойствія, всегда охва-

тывавшаго его въ семьѣ сестры, опустился въ мягкое, глубокое кресло, нарочно пододвинутое для него Еленой Николаевной.

Онъ съ удовольствіемъ смотрѣлъ и на спокойно улыбавшуюся ему Елену, и на тонкое, красивое личико Мери, нечаянно забывшейся и нѣжно смотрѣвшей на него своими прекрасными синими глазами, и на сіяющую жизнью и безпричинной молодой радостью Зину, и на самую даже эту комнату съ ея мягкой, удобной, темной мебелью и большой стоячей лампой подъ абажуромъ, освѣщавшей ихъ лица,—на все это такъ знакомое, но всегда милое ему, гдѣ онъ невольно отдыхалъ послѣ своего тяжелаго, рабочаго дня.

Чемезову „семья"—своя или чужая—всегда представлялась именно такою, какой онъ видѣлъ ее у Елены. Ему казалось, что въ настоящемъ, хорошемъ семейномъ домѣ все,—и дѣти, и хозяйка, и квартира, и складъ жизни, и даже самая прислуга,—все должно было быть точь-въ-точь такимъ, какъ это было у Елены.

Не только въ образѣ жизни, но даже и въ самой обстановкѣ дома Олениныхъ не было ничего разсчитаннаго на показъ, на внѣшній эффектъ. Жизнь ихъ текла спокойно, пріятно и разумно, согласуясь съ потребностями и вкусами каждаго изъ нихъ; все направлялось одной заботливой рукой, но давленіе ея было такъ мягко и умѣло, что никого не оскорбляло, и его почти не замѣчали тѣ, на кого оно распространялось.

Елена Николаевна не любила ничего пестраго, мишурнаго; она обставила свой домъ красиво, но солидно; мебель вездѣ была прекрасная и удобная, но не яркая и не нарядная на первый взглядъ. Всѣ вещи были хорошія, но не было ни одной, которая кричала бы и бросалась въ глаза. Главнымъ украшеніемъ служили роскошные цвѣты, къ которымъ у Елены Николаевны была великая страсть; она сама заботливо ухаживала за ними. Несмотря на темный, по преимуществу, цвѣтъ обоевъ и обивки, всѣ комнаты были очень уютны, полны воздуха и свѣта, въ каждомъ уголкѣ, на каждой вещицѣ лежалъ отпечатокъ ея заботы и любви, и это придавало всему какую-то особенную прелесть, обаянію которой невольно поддавались всѣ, кто былъ въ домѣ близокъ.

— Аркадій сегодня что-то запоздалъ!—сказала Елена Николаевна, взглядывая на часы и замѣчая, что уже 10 минутъ седьмого.

— Нѣтъ, я увѣрена, увѣрена!—съ отчаяніемъ закричала вдругъ Зина:—онъ непремѣнно задержитъ насъ, и мы изъ-за него опоздаемъ въ театръ! Нѣтъ, ты подумай только, Юрій, кого мы увидимъ сегодня! Леонтьеву! саму Леонтьеву!

— Величайшее событіе!—сказалъ Чемезовъ ея же восторженнымъ тономъ:—я по этому поводу даже всѣхъ служащихъ распустилъ на три дня!

— Ну, вотъ ты всегда такъ!—сказала Зина, полусмѣясь, полуобижаясь:—конечно, это не событіе, ну, а все-таки... все-таки событіе! Для меня, по крайней мѣрѣ! я ужъ цѣлую вѣчность жду-не-дождусь, когда увижу ее!

— Да чего ты такъ волнуешься?—съ спокойной улыбкой спросила Елена Николаевна:—можетъ быть, она тебѣ и не понравится вовсе!

— Слышите! Не понравится! Да что ты, Hélène!—воскликнула она съ такимъ искреннимъ огорченіемъ, какъ будто ей нанесли кровную обиду.—Что же я, дура что-ли совсѣмъ, или ужъ ровно ничего не смыслю, что мнѣ Леонтьева да вдругъ не понравится! Развѣ это возможно! Я ужъ по однимъ ея портретамъ влюблена въ нее совсѣмъ!—И Зина такъ искренно разгорячилась, что всѣ невольно разсмѣялись.

Сама Елена Николаевна и къ театру, и къ артистамъ, относилась довольно равнодушно, но Зина была страстная ихъ поклонница и всегда интересовалась всѣми артистами. Между тѣмъ дѣвочки Елены Николаевны, услышавъ дядинъ голосъ, съ радостнымъ шумомъ и крикомъ збѣжали въ комнату и всѣ три повиснули у него на шеѣ, облѣпивъ его со всѣхъ сторонъ; съ дѣтскимъ, захлебывающимся смѣхомъ разсказывали онѣ ему всѣ вмѣстѣ что-то о сломанной старой куклѣ, которую няня приняла за новую.

Наконецъ въ передней раздался звонокъ.

— А, ну, вотъ и самъ Аркадій!—сказала, просіявъ, Елена Николаевна и, быстро оставивъ работу, встала на встрѣчу мужу.

Аркадій Петровичъ, вытирая на ходу усы и бороду, вошелъ тѣмъ торопливымъ шагомъ, которымъ входятъ запоздавшіе люди, зная, что ихъ давно уже ждутъ. Онъ весело со всѣми перездоровался, перецѣловалъ всѣхъ съ визгомъ бросившихся къ нему дѣвочекъ и съ какой-то нѣжной, осторожной точно, лаской обнялъ жену, изъявивъ при этомъ большое удовольствіе по поводу того, что „вся семья въ сборѣ“, какъ выразился онъ съ легкимъ удареніемъ на словѣ: „вся“.

Елена Николаевна заторопилась обѣдомъ; имъ потомъ надо еще переодѣваться, и она боялась, какъ бы и дѣйствительно не опоздать. Все общество перешло въ столовую, ярко освѣщенную большою, висѣвшей надъ изящно сервированнымъ столомъ, лампой и казавшуюся еще уютнѣе и комфортабельнѣе другихъ комнатъ.

Дѣвочки, обѣдавшія раньше, ушли, и Елена Николаевна какъ будто нечаянно посадила Чемезова подлѣ Мери.

Онъ прекрасно замѣчалъ всѣ эти невинныя продѣлки сестры, но онѣ не раздражали его, какъ бывало прежде, а скорѣе только забавляли, порождая къ ней какое-то теплое и нѣсколько насмѣшливое чувство.

Мери, уже одѣтая для театра въ гладкое бѣлое кашемировое платье, сидѣла подлѣ него—такая стройная и изящная, что онъ невольно взглядывалъ на нее порой, любуясь тонкимъ профилемъ ея прекрасной головки съ темными, гладко причесанными и низко, красивымъ узломъ, заложенными на изящной линіи ея шеи волосами. Во всей ея фигурѣ и движеніяхъ, мягкихъ и нѣсколько медленныхъ, было столько женственнаго и вмѣстѣ съ тѣмъ строго выдержаннаго и породистаго, что она казалась почти старше своихъ лѣтъ, и только свѣтлые глаза ея, изрѣдка, тихимъ взмахомъ рѣсницъ поднимавшіеся на него, свѣтились мягкимъ, нѣжнымъ блескомъ, въ контрастъ общему—спокойному и даже холодному—выраженію ея лица, какъ бы застывшаго въ своей строгой, правильной красотѣ.

Разговаривая съ Аркадіемъ Петровичемъ о послѣднихъ новостяхъ въ министерствѣ, интересовавшихъ обоихъ мужчинъ, но дамъ оставлявшихъ совершенно равнодушными, Чемезовъ все время какъ-то невольно и почти безсознательно для себя наслаждался близостью Мери. Не видя ее, онъ почти забывалъ о ней, но при ней и особенно у сестры, гдѣ онъ всегда сильнѣе чувствовалъ прелесть семейной жизни, ему всегда хотѣлось воображать ее своей женой; но въ то же время онъ прекрасно сознавалъ, что этого никогда не будетъ уже потому, что онъ разъ навсегда сказалъ себѣ—женитьба будетъ мѣшать ему заниматься и слишкомъ много отниметъ у него времени, нужнаго ему для дѣла, а въ дѣлѣ онъ видѣлъ главную суть и цѣль своей жизни.

Мало-по-малу разговоръ сдѣлался общимъ. Дамы наложили veto на политику, министерства и тарифы, объявивъ, что эти разговоры имъ уже давно надоѣли, и что мужчины могутъ заняться чѣмъ-нибудь болѣе интереснымъ для всѣхъ.

— Давайте говорить о Леонтьевой!—воскликнула Зина, веселѣя при одной мысли, что чрезъ какіе-нибудь полтора часа она, наконецъ, увидитъ ее.

Аркадій Петровичъ хотя и разсмѣялся вмѣстѣ съ другими этому заявленію, но сказалъ, что готовъ съ величайшей охотой поддерживать подобный разговоръ, такъ какъ самъ состоитъ ея

горячимъ поклонникомъ. Онъ тотчасъ же съ увлеченіемъ и съ свойственной ему легкой витіеватостью разсказалъ, какъ видѣлъ эту Леонтьеву въ послѣдній разъ проѣздомъ чрезъ Москву въ „Дездемонѣ", и какъ она поразила его своей чарующей граціей и женственностью.

Аркадій Петровичъ, при случаѣ, вообще любилъ говорить разныя маленькія красивыя рѣчи, которыя ему казались очень интересными и остроумными, но которыя скоро надоѣдали другимъ.

Онъ и теперь, придравшись къ удобному случаю, перешелъ отъ Леонтьевой въ частности къ театру и искусству вообще, доказывая его великое значеніе у всѣхъ народовъ и его безспорное вліяніе на культуру и цивилизацію человѣчества, и т. д., и т. д.

Все, что онъ говорилъ, было вполнѣ справедливо и даже умно и краснорѣчиво, но почему-то, слушая его, всѣмъ всегда становилось какъ-то неловко и скучно,—точно Аркадій Петровичъ говорилъ не умныя, всѣми признанныя истины, а какія-то пошлости и глупости, и потому Чемезова этотъ высокій тонъ его рѣчей всегда слегка раздражалъ.

— Ну, а что же твой винтъ?—спросилъ онъ у него насмѣшливо.

— Ну, что винтъ!—небрежно пожимая плечами и какъ бы выказывая къ винту, за которымъ, въ сущности, готовъ былъ просиживать цѣлыя ночи, полное презрѣніе, сказалъ Аркадій Петровичъ:—Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, все на него промѣнивать! Мы и такъ съ этимъ винтомъ Богъ знаетъ до чего дошли! Насъ болѣе не интересуетъ ни искусство, ни литература, ни музыка, ничего! Всѣ удовольствія сводятся на вечеръ съ винтомъ.

— А я была бы даже очень рада, — сказала Елена Николаевна, какъ-то странно оживляясь и кидая на мужа недоброжелательный взглядъ:—еслибы этотъ винтъ административнымъ порядкомъ воспретили; а то ты въ одинъ прекрасный день не только литературу и музыку, но и меня съ дѣтьми на него промѣняешь.

— Ну, положимъ, это ужъ немножко слишкомъ!—нѣсколько виновато и сконфуженно засмѣялся Аркадій Петровичъ.—Вотъ не могу никакъ обезоружить ее противъ винта! Что подѣлаешь съ этими женщинами, когда онѣ что-нибудь вобьютъ себѣ въ голову!—обратился онъ, смѣясь, къ Чемезову, видимо ища въ немъ себѣ поддержки и защиты.

Винтъ былъ единственный вопросъ, въ которомъ супруги, жившіе вообще очень дружно и согласно, не сходились взгля-

дами. Елена Николаевна, за отсутствіемъ другихъ причинъ, не на шутку даже ревновала къ нему мужа.

— Однако, Юрій,—сказала она брату, желая обратить его вниманіе на Мери: — ты совсѣмъ не угощаешь свою сосѣдку, даже вина ей ни разу не предложилъ! Нѣтъ, ты плохой сосѣдъ; впередъ я тебя лучше буду сажать съ Аркадіемъ,—о томъ тебѣ не надо будетъ, по крайней мѣрѣ, заботиться.

— Да!—воскликнулъ со смѣхомъ Аркадій Петровичъ, очень довольный, что непріятный разговоръ о винтѣ покончился:—я и самъ себя не забуду! Особенно, когда ростбифъ такъ артистически зажаренъ! И ты много теряешь, Юрій, что не пьешь; послѣ такого ростбифа маргò необходимо! Я понимаю—не пить всѣ эти доморощенныя фальсификаціи, но вѣдь я, какъ ты знаешь, держусь того принципа, что вѝна нужно выписывать прямо, такъ сказать, съ мѣста ихъ рожденія, и потому, могу тебѣ поручиться, что такое марго или такую мадеру, какъ у меня, ты не у многихъ достанешь!

— Вѣрю,—сказалъ Чемезовъ сухо:—но твой принципъ пить только настоящія вина, а мой—не пить ихъ совсѣмъ!—Елена Николаевна чуть-чуть покраснѣла. Ей нравился принципъ мужа выписывать вина прямо съ мѣста, но не нравилось, что онъ такъ часто объ этомъ говоритъ, хотя—разъ чтò онъ сказалъ, она считала своимъ долгомъ не только не выказать своего неодобренія при другихъ, но, напротивъ, даже поддержать его.

— Я тоже предпочитаю,—сказала она такимъ тономъ, какъ будто была вполнѣ согласна съ мужемъ:—лучше меньше вина покупать, но хорошаго, чѣмъ много и сомнительнаго; тутъ, по крайней мѣрѣ, можешь быть увѣренъ, что не отравляешься!

Чемезовъ теперь уже привыкъ къ Аркадію Петровичу и даже полюбилъ его, какъ очень добраго и хорошаго, въ сущности, человѣка, но иногда, въ минуты дурного настроенія духа, онъ невольно думалъ, что не будь онъ мужемъ Елены—врядъ ли бы онъ нравился ему, и еще менѣе, врядъ ли бы онъ могъ сойтись съ нимъ такъ пріятельски, какъ это случилось. Его маленькая страсть къ хвастовству, самомнѣнію и резонерству нерѣдко раздражала Чемезова, и сначала онъ удивлялся тому, какъ Елена, будучи такой умной и самолюбивой женщиной, не только какъ будто не замѣчаетъ смѣшныхъ сторонъ мужа, но, напротивъ, держитъ всегда такой тонъ, какъ еслибы ея Аркадій былъ человѣкъ выдающагося ума и способностей и велъ себя вообще безупречно. Чемезовъ былъ увѣренъ, что это совсѣмъ не было въ ней ослѣпленіемъ, свойственнымъ влюблен-

нымъ женщинамъ, что въ глубинѣ души она прекрасно видитъ всѣ недостатки мужа, но не хочетъ только признать ихъ предъ другими. И не хочетъ потому, что этотъ человѣкъ—ея мужъ, потому что она любитъ его, и не только сама безусловно желаетъ уважать его, но желаетъ такого же уваженія къ нему и отъ другихъ своихъ родныхъ, друзей и знакомыхъ, составлявшихъ ихъ маленькій кружокъ. Такая черта нравилась Чемезову, въ принципѣ онъ былъ вполнѣ согласенъ съ сестрой...

Къ пирожному снова привели дѣтей, и столовая разомъ оживилась отъ ихъ звонкихъ, веселыхъ голосковъ.

Елену Николаевну всегда, когда вся ея семья была въ сборѣ подлѣ нея, веселая и здоровая, охватывалъ приливъ счастья и любви ко всѣмъ къ нимъ. Прекрасные глаза ея заискрились еще мягче и лучистѣе отъ того растроганнаго чувства, которое овладѣло ею.

„Вѣдь это такое счастье! — говорила она себѣ, думая о братѣ:—неужели же онъ не понимаетъ и не хочетъ его для себя?" И она съ нѣжной улыбкой взглянула на Мери, глубоко любя ее въ эту минуту, какъ будущую жену брата, которая раздѣлитъ съ нимъ всю его жизнь, наполнивъ ее такимъ же счастьемъ и любовью, которыя такъ щедро окружали самоё ее, Елену Николаевну, и подаритъ ему такихъ же милыхъ, хорошихъ дѣтей, какія были и у нея самой...

IV.

Тотчасъ же послѣ обѣда, не допивъ даже кофе, Елена Николаевна встала и ушла вмѣстѣ съ Зиной одѣваться, а остальные перешли въ гостиную; брату она поручила занимать Мери.

— А ты, Аркадій, иди скорѣй,—сказала она мужу:—а то ты насъ еще, пожалуй, задержишь.

Но Аркадій Петровичъ такъ удобно усѣлся въ глубокое, мягкое кресло, стоявшее подлѣ камина, что ему совсѣмъ не хотѣлось торопиться; онъ предпочиталъ спокойно выкурить прежде свою сигару и возвратиться опять къ тѣмъ министерскимъ новостямъ, разсказъ о которыхъ Чемезову не удалось докончить за обѣдомъ.

Какое-то внутреннее чувство подсказывало Еленѣ Николаевнѣ, что если суждено выйти чему-нибудь между Мери и Юріемъ, то это будетъ именно теперь, и ей было досадно, что мужъ, давно уже посвященный въ этотъ планъ, не понимаетъ ее, и своей лѣнью можетъ испортить все дѣло.

— Вѣдь нельзя тебѣ ѣхать въ этой визиткѣ,—замѣтила она ему съ легкимъ неудовольствіемъ: — сегодня тамъ навѣрное будетъ очень парадно.

— Ахъ, ужъ эти барыни!—со вздохомъ промолвилъ Аркадій Петровичъ:—не только сами любятъ наряжаться, но и насъ еще заставляютъ! Ну, погоди, милушка, дай мнѣ посидѣть десять минуточекъ; я васъ, право, не задержу!

— Ну, что съ тобой дѣлать!—сказала она съ улыбкой:—но только не дольше; пожалуйста, Юрій, гони его скорѣе, а то мы, право, опоздаемъ!

И мысленно рѣшивъ затянуть дольше свое одѣванье и задержать также Зину, она ушла, ласково улыбнувшись по дорогѣ Мери, и отъ всей души желая ей счастья и успѣха въ эти наступающіе, знаменательные для нея, полчаса, которые такъ много могли рѣшить въ жизни ея и брата...

Мери сѣла у большого круглаго стола, освѣщавшагося высокой лампой подъ краснымъ абажуромъ, и, взявъ лежавшую подлѣ нея работу Елены Николаевны, стала разсматривать ее.

Чемезовъ, продолжая свой разсказъ Аркадію Петровичу, ходилъ взадъ и впередъ по темному мягкому ковру, застилавшему всю комнату, и каждый разъ, проходя мимо Мери, невольно замедлялъ почему-то шаги и мелькомъ, незамѣтно взглядывалъ на нее. Красный отблескъ абажура падалъ на опущенное лицо и скользящей тѣнью перебѣгалъ, когда она слегка поворачивала голову, по ея нѣжной матовой щекѣ и темнымъ волосамъ. Громко, съ оживленіемъ, разсказывая Аркадію Петровичу свое дѣловое утреннее объясненіе съ министромъ, Чемезовъ въ то же время, какъ-то безотчетно для себя, думалъ о Мери и чувствовалъ, что она чѣмъ-то точно смущена, чего-то ждетъ, какъ будто тревожно и радостно, хотя лицо и манеры ея остаются все такими же спокойными, какъ всегда. И это подавляемое волненіе ея какъ-то странно переходило и на него самого, и ему начинало казаться, что онъ тоже какъ-то неспокоенъ, тоже какъ будто ждетъ чего-то, также тревожно и радостно, и что Аркадій Петровичъ мѣшаетъ ему чѣмъ-то, и онъ не то хотѣлъ, чтобы онъ ушелъ скорѣе, не то боялся этого почему-то.

Но Аркадій Петровичъ, съ лѣнивымъ, послѣобѣденнымъ наслажденіемъ, куря свою сигару и машинально слѣдя за взглядомъ своего шурина, вдругъ вспомнилъ, взглянувъ на Мери, о проектѣ жены, и только теперь понялъ, почему она такъ настойчиво гнала его переодѣваться. И ему, всегда искренно сочувствовавшему всѣмъ женинымъ желаніямъ, стало ужасно досадно на

себя, зачѣмъ онъ не понялъ и не ушелъ тогда же, какъ она того хотѣла. Но зато онъ рѣшился уйти теперь и, не теряя больше ни минуты, оставить „влюбленныхъ“, какъ онъ мысленно съ улыбкой назвалъ ихъ, наединѣ, чтобы дать имъ возможность объясниться.

— Однако, мнѣ дѣйствительно пора! — сказалъ онъ вдругъ такъ неожиданно и неловко, что и Мери, и Чемезовъ, невольно поняли, почему онъ это сдѣлалъ.

Да и самъ Аркадій Петровичъ чувствовалъ это и, кромѣ того, до условленныхъ десяти минутъ оставалось еще добрыхъ пять.

„Ну, кто-жъ ихъ зналъ!—подумалъ онъ, оправдываясь предъ самимъ собой:—охъ, ужъ эти влюбленные!“...

— Тамъ сегодня, вѣроятно, такое gala будетъ, что дѣйствительно придется явиться во всемъ парадѣ и переодѣться съ головы до ногъ! — сказалъ онъ, стараясь говорить совсѣмъ натуральнымъ тономъ; но, чувствуя, что у него выходитъ это какъ-то совсѣмъ неестественно, онъ слегка сконфузился и поспѣшилъ уйти, не вытерпѣвъ, однако, чтобы не кинуть Чемезову, уже въ дверяхъ: „занимай барышню хорошенько“, — и съ такимъ многозначительнымъ удареніемъ, которое какъ нельзя лучше показывало, что онъ, молъ, все понимаетъ, и уходитъ только отъ того, что именно все прекрасно понимаетъ.

Но эта фраза, брошенная съ вызывающимъ и покровительственнымъ одобреніемъ, сразу охладила и разсердила Чемезова не только на Аркадія Петровича, видимо, ожидавшаго, что онъ сейчасъ же долженъ сдѣлать Мери предложеніе, но и на самоё Мери, очевидно, ожидавшую того же самаго.

Онъ холодно кивнулъ головой и тутъ же сказалъ себѣ:

— „Ну, ужъ нѣтъ, могутъ успокоиться!“

И то чувство недовѣрія и осторожности, которое было такъ знакомо ему уже по прежнимъ случаямъ, снова вдругъ поднялось въ немъ и оттолкнуло его отъ Мери, погасивъ въ немъ ту нѣжность къ ней, которую онъ какъ будто чувствовалъ все это время.

— „Ну, о чемъ я теперь буду говорить съ ней?“—сердясь на устроенную ему ловушку, спрашивалъ онъ себя.

— „Конечно, не ожидай она отъ меня этого глупаго предложенія, я съумѣлъ бы безъ труда занять ее, потому что мнѣ нравилось говорить съ ней; но теперь это обоихъ насъ ставитъ въ какое-то натянутое и глупое положеніе, и мнѣ нечего сказать ей“...

— „Вѣдь не могу же я, въ самомъ дѣлѣ, жениться на ней,

только для того, чтобы доставить этимъ удовольствіе Еленѣ и ея супругу!"

Онъ молча, съ нахмуреннымъ, сердитымъ лицомъ ходилъ по комнатѣ, уже не глядя и не желая больше глядѣть на Мери, и сознавалъ, что молчать такъ дольше нельзя и неприлично, что онъ долженъ все-таки, несмотря ни на что, быть вѣжливымъ и даже любезнымъ съ гостьей сестры; но неудовольствіе его противъ этой гостьи, желавшей женить его на себѣ, и противъ сестры, помогавшей ей въ этомъ, было такъ сильно, что онъ не могъ пересилить и принудить себя говорить съ ней о чемъ-нибудь.

Вошедшій Архипычъ, съ серебрянымъ подносомъ въ рукахъ, уставленнымъ маленькими, тонкаго японскаго фарфора, чашками съ чернымъ кофе, прервалъ натянутое ихъ положеніе.

Архипычъ былъ старикъ-лакей, всю жизнь прослужившій семьѣ Чемезовыхъ, бывшій ихъ крѣпостной; онъ теперь жилъ уже у Чемезова и только иногда приходилъ въ гости къ Олениныъ, при чемъ любилъ самъ прислуживать у нихъ за столомъ, вмѣсто ихъ молодого, новаго лакея, къ которому относился съ полнымъ презрѣніемъ.

Но Чемезову показалось, что Архипычъ нарочно самъ принесъ этотъ подносъ съ кофеемъ, чтобы придраться къ случаю и посмотрѣть на ту барышню, которую прочили въ невѣсты его барину.

Старикъ подошелъ сначала къ Мери—почтительно, съ манерой еще прежнихъ старыхъ слугъ; поклонясь ей, острымъ, насупленнымъ изъ-подъ лохматыхъ бровей, старческимъ взглядомъ быстро взглянулъ онъ на нее; Чемезовъ замѣтилъ и этотъ взглядъ Архипыча, и то, какъ дрожала рука Мери, протянувшаяся за чашкой.

— „Да,—подумалъ онъ, слѣдя за ея дрожащей рукой:—она ждала, это ясно... всѣ они этого ждали"...

— Я помню,—вдругъ заговорилъ онъ, когда Архипычъ ушелъ, и заговорилъ съ какимъ-то нервнымъ оживленіемъ и смѣхомъ:—какъ этотъ Архипычъ еще лѣтъ тридцать тому назадъ говорилъ мнѣ бывало: „не извольте, сударь, баловаться!"

— Неужели? — сказала Мери тихо, мѣшая ложечкой свой кофе и думая совсѣмъ о другомъ.

Чемезова вдругъ потянуло взглянуть на нее; онъ обернулся къ ней, и она тоже подняла на него глаза, свѣтившіеся какимъ-то испуганнымъ, тоскливымъ упрекомъ.

Она машинально улыбнулась ему своей холодной, оффиціальной улыбкой, но испуганные глаза ея, казалось, догадывались и укоряли его.

— „Да, да,— повторилъ онъ себѣ опять, ловя этотъ жалобный взглядъ: — она ждала, это ясно... ждала"... И ему вдругъ стало жаль ея, и сознаніе какой-то виновности предъ нею невольно шевельнулось въ душѣ его.

— Онъ и тогда былъ почти такой же, какъ теперь, я его другимъ и не помню, — продолжалъ онъ, почти безсознательно, точно обрадовавшись, что нашелъ, наконецъ, тэму, на которой можно было поддерживать разговоръ, и боясь встрѣчаться съ ея тоскливыми, упрекающими глазами.

— Неужели?—повторила она безучастно.

— „Неужели же она дѣйствительно серьезно любитъ меня?"—спросилъ онъ себя вдругъ съ какимъ-то испугомъ и тревогой. Мысль эта не была ему непріятна, но почему-то онъ не хотѣлъ вѣрить ей. Нѣтъ, она просто видитъ въ немъ подходящаго для себя жениха... Но вѣдь она сама же молода, красива, богата, ей нечего гоняться за женихами...

„Нѣтъ, тутъ что-то другое... нѣтъ, она дѣйствительно любитъ меня... Любитъ!"—подумалъ онъ съ нѣжностью и благодарностью къ ней за это чувство къ себѣ... Онъ самъ не могъ бы сказать, что также любитъ ее, но она очень нравилась ему, и изъ всѣхъ дѣвушекъ и женщинъ, которыхъ онъ зналъ, ее одну онъ выбралъ бы себѣ въ жены...

И онъ вдругъ представилъ себѣ, какъ могъ бы вотъ сейчасъ подойти къ ней, взять ея печально опущенную, тонкую ручку и сказать ей:

— „Отдайте ее мнѣ, Мери, навсегда"... или что-нибудь подобное, что̀ всегда говорятъ въ такихъ случаяхъ, и какъ при этихъ словахъ она смущенно и радостно подняла бы на него свои прекрасные глаза... И онъ поцѣловалъ бы эти прекрасные глаза, и съ тѣхъ поръ и эти глаза, и вся она, со всей ея любовью и нѣжностью, стала бы уже навсегда принадлежать ему, и жизнь ея какъ-то странно и загадочно слилась бы съ его жизнью...

И его влекло подойти къ ней и сказать все это, и въ то же время онъ боялся и не хотѣлъ сказать.

— „Нѣтъ,—подумалъ онъ про себя рѣшительно:—такъ нельзя; быть можетъ, это простой порывъ,—я хочу потому, что всѣ толкаютъ меня на то. Но если даже допустить, что я дѣйствительно и серьезно люблю ее, то... то и тогда не для чего все-таки спѣшить. Пускай это выяснится болѣе и неопровержимѣе для меня самого. Во всякомъ случаѣ, предложеніе я всегда еще успѣю сдѣлать, и если она дѣйствительно любитъ меня, то, конечно, она тоже подождетъ. Тогда какъ—разъ сдѣлаю я предложеніе теперь, сейчасъ

вотъ,—уже не будетъ отступленія и все будетъ кончено. И еще вопросъ, будетъ ли это счастьемъ и для нея, и для меня"...

И онъ въ послѣдній разъ взглянулъ на нее; она сидѣла все въ той же позѣ и, опустивъ глаза на работу, спокойно, на видъ, вышивала какой-то яркій цвѣтокъ по канвѣ,—только рука ея все еще чуть замѣтно дрожала и лицо было блѣдно и печально.

И снова ему стало жаль ея и захотѣлось хоть намекомъ утѣшить ее... хотѣлось сказать ей, что если онъ не рѣшается теперь же сдѣлать ей предложеніе, то только потому, что хочетъ сильнѣе убѣдиться въ возможности ихъ взаимнаго счастья; пусть она подождетъ немного.

Но онъ чувствовалъ, что на словахъ все это выйдетъ грубо и пошло, и вмѣсто утѣшенія—можетъ только оскорбить ее. А главное, одни уже подобные намеки несутъ за собой извѣстное обязательство, а онъ именно не хотѣлъ этого. Если этой дѣвушкѣ суждено сдѣлаться его женой, то пусть это произойдетъ само собой, путемъ доброй воли и искренняго желанія на то съ обѣихъ сторонъ, а не слѣдствіемъ неосторожнаго обязательства, вырвавшагося у него въ минуту увлеченія.

И рѣшивъ отрѣзать себѣ всѣ пути къ искушенію, онъ вынулъ часы и взглянулъ на нихъ.

— Однако,—воскликнулъ онъ все еще съ тѣмъ же неровнымъ оживленіемъ:—наши дамы долго изволятъ наряжаться! уже двадцать минутъ восьмого.

И подойдя къ дверямъ будуара Елены Николаевны, онъ постучалъ къ ней.

— Елена, вы скоро? уже двадцать минутъ восьмого.

Голосъ Елены отвѣтилъ не сразу; она нарочно, чтобы не мѣшать объясненію брата, одѣвалась черезъ комнату, въ своей спальнѣ.

Чрезъ минуту она, поспѣшно застегивая на ходу длинныя перчатки, вышла въ прекрасномъ темномъ платьѣ, и въ первомъ улыбающемся взглядѣ, который она быстро кинула на Мери и брата, было столько тревожной надежды и радостнаго ожиданія, что Чемезовъ опять почувствовалъ себя виноватымъ и предъ Мери, и предъ сестрой; съ неожиданнымъ для него самого смущеніемъ онъ невольно отвелъ отъ нихъ глаза. Но блестѣвшій оживленіемъ взглядъ Елены Николаевны тотчасъ же, какъ только она увидѣла ихъ, потухъ, и по лицу ея пробѣжала печальная тѣнь разочарованія.

— Вотъ, Мери, ваши перчатки,—сказала она, подавая забытыя Мери въ ея будуарѣ перчатки.

— А, merci,—отвѣтила Мери съ улыбкой, протягивая руку:—а я, безъ васъ, цѣлый бутонъ вамъ вышила.

Она говорила спокойно и даже улыбаясь, но въ глазахъ ея, когда она на мгновеніе скользнула ими по лицу Елены, было также смущенное и даже сконфуженное выраженіе. Точно ей было чего-то стыдно, и она избѣгала глядѣть не только на Чемезова, но и на Елену Николаевну.

— А вы гораздо лучше меня вышиваете,—сказала Елена Николаевна, наклоняясь надъ узоромъ:—у васъ замѣчательно ровная рука, всѣ крестики одинъ какъ другой. Ну, благодарю васъ!—прибавила она и вдругъ съ какимъ-то особенно теплымъ чувствомъ обняла Мери и крѣпко поцѣловала ее.

Мери ярко вспыхнула, стыдъ сильнѣе обозначился на ея грустномъ лицѣ, а Чемезову даже показалось, что на мгновеніе въ глазахъ ея блеснули слезы.

И всѣ трое они отлично понимали, почему такъ горячо поцѣловала ее Елена Николаевна, и почему Мери при этомъ было такъ стыдно и больно.

Все это было Чемезову неловко и непріятно, и онъ очень обрадовался, когда въ комнату вбѣжала, наконецъ, Зина, свѣжая и прелестная въ своемъ дѣвическомъ скромномъ голубомъ платьѣ, вся сіяющая молодостью, жизнью и радостью.

Аркадій Петровичъ, тоже одѣтый, во фракѣ и бѣломъ галстухѣ, вышелъ почти одновременно съ нею изъ другой залы и обвелъ всѣхъ присутствующихъ пріятнымъ и не лишеннымъ даже нѣкоторой торжественности взглядомъ.

Но Еленѣ Николаевнѣ, которая такъ понимала и сочувствовала Мери, этотъ торжественный, выжидающій взглядъ мужа былъ почти такъ же непріятенъ, какъ и самой Мери, и она заторопилась скорѣй ѣхать.

— Ахъ, слава Богу!—воскликнула Зина съ восторгомъ:—а то я ужъ просто отчаявалась попасть сегодня въ театръ! Сегодня даже Елена, точно нарочно, такъ копалась, такъ копалась, что даже я раньше ея была готова,—наивно объявила она, не подозрѣвая, какъ смущаетъ этимъ и Елену, и Мери, и даже брата.

Аркадій Петровичъ опять обвелъ всѣхъ взглядомъ, но уже удивленнымъ.

Что же это такое? — сказалъ этотъ взглядъ: значитъ, ничего особеннаго не произошло! Не стоило, въ сущности, и сигару-то бросать!

Было слишкомъ очевидно, что ничего не произошло.

Аркадій Петровичъ очень сочувствовалъ плану жены и искренно

порадовался бы, еслибы онъ удался, но неудача совсѣмъ не огорчала его такъ, какъ жену. Напротивъ, все это слегка даже смѣшило и забавляло его.

„Да!—подумалъ онъ, усмѣхаясь про себя, не безъ нѣкотораго одобренія и удовольствія въ душѣ:—Юрія-то не такъ-то легко поймаешь!“

V.

Дамы, отправившіяся въ каретѣ, пріѣхали нѣсколько раньше мужчинъ. Еще подъѣзжая къ театру, Зина замѣтила, что онъ имѣетъ сегодня особенно парадный видъ. Масса каретъ уже стояла на всей площади, а предъ главнымъ, ярко освѣщеннымъ подъѣздомъ находился удвоенный штатъ конной и пѣшей полиціи.

Легко и весело выпрыгнула Зина изъ кареты, и по мѣрѣ того, какъ она поднималась по лѣстницѣ, уставленной суетившеюся и раздѣвавшеюся публикой, радостное волненіе охватывало ее все сильнѣе. Она не шла, а почти бѣжала, смотря на всѣхъ счастливымъ, улыбающимся лицомъ, и уже по дорогѣ, нетерпѣливой рукой, быстро скидывала съ себя шубу и шарфъ.

Елена Николаевна, неторопливо идя за ней, невольно смотрѣла на нее съ снисходительной, любующейся улыбкой старшей сестры, которая уже не умѣла и не могла больше такъ искренно и радостно отдаваться удовольствію.

Когда онѣ вошли въ ложу, оркестръ уже игралъ увертюру, предъ какимъ-то водевилемъ, назначеннымъ для съѣзда.

Вся зала, ярко залитая свѣтомъ, была какъ бы унизана сверху до низу публикой.

Бель-этажъ и бенуаръ блестѣли, противъ обыкновенія, брилліантами и изящными женскими туалетами, издали мелькавшими и сливавшимися въ одну длинную, пеструю вереницу, казавшуюся какимъ-то огромнымъ, живымъ цвѣтникомъ.

Оркестръ заглушалъ гулъ голосовъ, но онъ все-таки прорывался, какъ жужжанье огромнаго роя шмелей, и Зинѣ, возбужденной еще больше видомъ всей этой пестрой толпы, хотѣлось разомъ поспѣть—и глядѣть на сцену, еще закрытую чуть колыхавшейся занавѣсью, и слушать музыку, и читать афишу, и разглядывать публику, и перекидываться торопливо своими впечатлѣніями съ Мери и сестрой, и какимъ-то чудомъ, доступнымъ ей одной, она, дѣйствительно волнуясь и перебивая самоё себя, успѣвала продѣлывать все это разомъ, невольно забавляя этимъ Елену Николаевну и окончательно уже овладѣвшую собой Мери.

Наконецъ, пріѣхали и мужчины, заѣзжавшіе за конфектами; кромѣ большой общей коробки, Чемезовъ привезъ еще другую, маленькую, съ шоколатомъ Mignon.

— Вы, кажется, этотъ шоколатъ предпочитаете другимъ конфектамъ?—сказалъ онъ Мери, ставя передъ ней эту коробку.

— Merci,—отвѣтила Мери равнодушно, но лицо ея вспыхнуло и глаза повеселѣли.

Елена Николаевна невольно замѣтила и обратила на это вниманіе. Этотъ пустой, въ сущности, самъ по себѣ случай съ шоколатомъ обрадовалъ и ободрилъ ея упавшія-было надежды. Своимъ чуткимъ, женскимъ пониманіемъ, способнымъ угадывать вещи больше по незначительнымъ, на взглядъ мужчинъ, мелочамъ, она поняла, что хотя братъ и не сдѣлалъ сегодня предложенія Мери, какъ она о томъ мечтала, но что тѣмъ не менѣе это было, пожалуй, совсѣмъ не такъ потеряно, какъ ей показалось въ первую минуту. Она какъ будто вовсе не слушала того, что̀ говорилъ братъ ея Мери, за стуломъ которой онъ сѣлъ и къ которой весело обращался съ разными вопросами и замѣчаніями,—и разглядывала въ бинокль толпу, но, въ сущности, внимательно и незамѣтно прислушивалась къ его словамъ, стараясь по тону ихъ угадать, насколько вѣрны ея возродившіяся надежды.

И хотя Чемезовъ говорилъ все о самыхъ обыкновенныхъ, ничего незначащихъ вещахъ, но въ голосѣ его и во взглядѣ, которымъ онъ смотрѣлъ на Мери, было что-то новое, мягкое и нѣжное, что̀ радовало Елену Николаевну, а также, вѣроятно, и самоё Мери, потому что она все оживлялась и веселѣла.

Наконецъ, занавѣсъ поднялся; но публика, въ ожиданіи лучшаго, разсѣянно слѣдила за водевилемъ; кое-гдѣ раздавались даже заглушенные разговоры и тихій смѣхъ; одна только Зина, кажется, добросовѣстно смотрѣла на сцену.

Аркадій Петровичъ навелъ-было свой бинокль на сцену, но, убѣдившись, что какая-то молоденькая актриса въ розовомъ халатѣ, спорившаяся о чемъ-то со своимъ мужемъ, совсѣмъ не интересна, снова направилъ его на ряды ложъ и партера, ища тамъ хорошенькихъ или знакомыхъ.

— Вонъ твой Илья Егоровичъ съ супругой и дочерьми сидитъ!—сказалъ онъ, обращаясь къ Чемезову.

Чемезовъ поднялъ бинокль, но вмѣсто указываемаго ему Ильи Егоровича—замѣтилъ въ одной изъ противоположныхъ ложъ бенуара высокую, сухопарую фигуру Обухова и, невольно вспомнивъ при этомъ утренній разсказъ Ильи Егоровича о его супружествѣ, сталъ внимательно и съ любопытствомъ разсматривать

трехъ дамъ, сидѣвшихъ въ этой ложѣ, и скоро въ одной изъ нихъ безъ труда призналъ Глафиру.

На его взглядъ, она даже мало измѣнилась, только пополнѣла, да лицо ея, розовое и красивое,—немного одутловатое,—пріобрѣло болѣе самоувѣренное и внушительное выраженіе.

— Ты вѣдь знаешь нашего Обухова, Петра Георгіевича?—спросилъ Чемезовъ у Аркадія Петровича.

— Знаю, а что?

— Да вѣдь оказывается, что онъ на сестрѣ этой Леонтьевой женатъ!

— Да что̀ ты! Глафира-то Львовна! Да развѣ она Леонтьева урожденная? Я и ее прекрасно знаю,—сколько разъ винтилъ у нихъ въ домѣ, только вотъ ужъ и въ голову-то этого не приходило! Да ты навѣрное это знаешь?

— Мнѣ сегодня Илья Егоровичъ сказалъ это; онъ ихъ хорошо знаетъ, да и я вотъ теперь ее сразу узналъ!

— И какъ это ихъ угораздило?—засмѣялся съ удивленіемъ Аркадій Петровичъ, и хотя онъ двадцать разъ видалъ Обуховыхъ и никогда ими раньше не интересовался, но тутъ и онъ тоже съ особеннымъ вниманіемъ направилъ на нихъ бинокль и разсматривалъ ихъ съ такимъ любопытствомъ, какъ будто бы они были чѣмъ-то очень достопримѣчательнымъ и онъ въ первый разъ еще видѣлъ ихъ.

Водевиль, однако, кончился, и публика лѣниво, какъ бы только изъ свойственнаго ей добродушія, немного похлопала, но сейчасъ же начала вставать и двигаться къ выходамъ.

Зала опять просвѣтлѣла и приняла еще болѣе оживленный видъ. Всѣ точно обрадовались, что этотъ глупый, никому ненужный и неинтересный водевиль кончился, и опять можно говорить, смѣяться и двигаться.

— Ну, я пойду на минуту въ фойе!—сказалъ, поднимаясь Аркадій Петровичъ; ему хотѣлось пойти разыскать знакомыхъ и поболтать съ ними кое-о-чемъ.

— Ахъ, и я съ тобой!—воскликнула Зина съ радостью.— Въ ней тоже такъ много накопилось оживленія, что она не могла больше усидѣть на одномъ мѣстѣ. Ее тоже тянуло и въ фойе, и въ корридоры, куда высыпало теперь большинство публики, хотѣлось разсмотрѣть всѣхъ и самой вполнѣ показаться въ своемъ новомъ, прелестномъ платьѣ, въ которомъ она была такая хорошенькая, и тоже поболтать и посмѣяться съ разными знакомыми.

Но Аркадію Петровичу это вовсе было некстати.

— Ну, вотъ!—сказалъ онъ съ неудовольствіемъ:—да я въ буфетъ, можетъ быть, пойду,—такъ и ты со мной?

Оживленное, пухленькое, все въ милыхъ ямочкахъ, составлявшихъ главную прелесть, лицо Зины на мгновеніе отуманилось, но Елена Николаевна выручила ее.

— Пойдемте всѣ!—сказала она и, поднявшись, взяла Зину подъ-руку и первая вышла съ нею изъ ложи.

Увидѣвъ, что сестры пошли впередъ, Чемезовъ предложилъ руку Мери.

Она приняла ее, спокойно на видъ и смущенно въ душѣ. Ея стройная, тонкая фигура приходилась ему какъ разъ по росту, и ему нравилось вести ее подъ-руку, такъ близко, что плечо ея слегка даже касалось его плеча, а рука, чуть-чуть теплѣвшая сквозь длинную перчатку, легко и нѣжно опиралась на его руку. Онъ замѣчалъ, какъ оборачивались на нее не только мужчины, но и женщины, пораженные на минуту ея красотой и изяществомъ, и это пріятно льстило его самолюбію; въ эти минуты ему болѣе, чѣмъ когда-либо, казалось пріятнымъ имѣть ее своей женой, чтобы вести ее такъ съ гордымъ правомъ и сознаніемъ, что эта прелестная женщина, которой всѣ такъ любуются, его любящая жена.

Сестры его встрѣтились съ какими-то знакомыми дамами, которыхъ онъ не зналъ, и остановились съ ними.

Но Мери тоже знала ихъ и должна была подойти къ нимъ. Она улыбнулась ему какой-то новой въ ней, счастливой улыбкой, красившей еще больше ея оживившееся лицо, и отняла отъ него съ легкимъ вздохомъ руку, какъ бы жалѣя, что оставляетъ его. Когда она отошла и онъ пересталъ чувствовать близость ея руки, ему вдругъ стало не то скучно, не то досадно, и онъ съ безцѣльнымъ видомъ пошелъ бродить по залѣ.

Илья Егоровичъ замѣтилъ его и подошелъ къ нему.

— Видѣли Обуховыхъ?—спросилъ онъ, здороваясь:—я сейчасъ заходилъ къ нимъ въ ложу и говорилъ о васъ... Какъ же, какъ же, Глафира Львовна васъ очень помнитъ и непремѣнно просила васъ привести къ нимъ въ ложу въ слѣдующемъ антрактѣ. Я обѣщалъ;—пойдете?

— Ну что-жъ, отлично. А ваши дамы?

— А тамъ къ нимъ разные кавалеры явились,—ну, я и оставилъ ихъ съ ними, а самъ сюда!

— Воспользовались случаемъ?—спросилъ Чемезовъ, смѣясь.

— Да, воспользовался; здѣсь, знаете, къ буфету ближе! А вы

съ кѣмъ это ходили сейчасъ? прехорошенькая, я вамъ доложу,— прелесть!

Чемезовъ чуть-чуть покраснѣлъ. Похвала Мери отъ симпатичнаго для него Ильи Егоровича была ему пріятна, но отвѣтить ему на его вопросъ было почему-то точно трудно.

— Столѣнина, — сказалъ онъ незначительнымъ, почти небрежнымъ тономъ.—Подруга Зины...

— Подруга, гм...—промычалъ Илья Егоровичъ, подозрительно поглядывая на него.—Ну, вотъ сестры васъ на этой-то подругѣ и женятъ! Онѣ на это большія охотницы,—сказалъ онъ, смѣясь и какъ-то лукаво подмигивая лѣвымъ глазомъ, не то одобряя сестеръ, не то по-пріятельски предостерегая Чемезова.

— Ну, положимъ, это не такъ-то легко! — засмѣялся Чемезовъ, но смѣхъ его вышелъ какимъ-то натянутымъ и неискреннимъ, но желаніе видѣть Мери своей женой вдругъ опять охладилось.

VI.

Антрактъ кончился, и всѣ заторопились къ своимъ мѣстамъ. Когда Оленины и Чемезовъ вошли въ ложу, занавѣсъ былъ уже поднятъ, и то разсѣянное снисхожденіе, съ которымъ слушали водевиль, смѣнилось теперь сосредоточеннымъ вниманіемъ.

Чувствовалось, что всѣ приготовились и ждутъ теперь того „настоящаго“, ради котораго всѣ они сюда явились, и которое, наконецъ, сейчасъ должно было начаться. Самой Леонтьевой еще не было на сценѣ, но чрезъ нѣсколько минутъ почувствовалось какое-то легкое движеніе въ толпѣ и взгляды всѣхъ устремились на одну изъ боковыхъ кулисъ, изъ которой она, очевидно, должна была выйти. Прошло еще нѣсколько секундъ, казавшихся страшно долгими въ этомъ общемъ, напряженномъ ожиданіи, и —Леонтьева, наконецъ, вышла!

Вся зала разомъ дрогнула отъ взрыва рукоплесканій. Все привѣтствовало рѣдкую, желанную гостью, и звуки апплодисментовъ сливались въ одинъ общій продолжительный гулъ.

Прошло нѣсколько минутъ, прежде чѣмъ рукоплесканія начали затихать; артистка, видимо тронутая горячимъ пріемомъ, подошла ближе къ рампѣ, чтобы принять протягиваемый ей изъ оркестра лавровый вѣнокъ, перевязанный бѣлыми и пунцовыми лентами, и великолѣпный букетъ живыхъ розъ.

Но когда, взявъ ихъ, она снова съ благодарной улыбкой обвела публику, однимъ общимъ поклономъ, крики и апплодис-

менты возобновились снова съ удвоенною силой и прекратились только тогда, когда раздались первые звуки ея голоса.

Тогда разомъ все затихло, и опять настала та напряженная тишина, которая предшествовала ея выходу; стѣны театра, казалось, еще дрожали отъ оборвавшихся рукоплесканій и гулъ постепенно замиралъ гдѣ-то высоко, подъ верхними сводами зданія.

Всѣ замолкли, и Чемезовъ, невольно подпавшій подъ всеобщее настроеніе, тоже слушалъ Леонтьеву съ какимъ-то страннымъ, волнующимся чувствомъ.

Когда вся зала такъ напряженно, нетерпѣливо ждала ея, онъ вдругъ почувствовалъ, что и онъ также страстно и нетерпѣливо ждетъ ея вмѣстѣ со всѣми, и когда она, наконецъ, вышла, то сердце его невольно дрогнуло и забилось точно такъ же, какъ въ эту минуту оно забилось и у тысячи другихъ людей, охваченныхъ однимъ, всѣмъ общимъ, стаднымъ чувствомъ.

Онъ, также какъ и всѣ, взволнованно апплодировалъ ей, безсознательно отрѣшившись вдругъ отъ всего другого, что еще за минуту назадъ могло волновать и интересовать его. Но когда, наконецъ, все успокоилось и затихло, онъ вспомнилъ, что почему-то совсѣмъ не разсмотрѣлъ ее, хотя все время смотрѣлъ на нее одну. Онъ даже не могъ припомнить ея лица, а теперь она стояла въ такомъ оборотѣ къ нему, что онъ могъ видѣть одну ея высокую фигуру, облеченную во что-то длинное и черное, строгое по своей простотѣ; длинная черная вуаль, падавшая съ ея затылка на шлейфъ, закрывала въ эту минуту профиль лица ея.

И ему это было досадно,—ему хотѣлось скорѣе разсмотрѣть ее.

Чемезову какъ-то странно было думать, что эта величественно стоявшая предъ нимъ женщина, которую только-что такъ горячо привѣтствовалъ весь театръ, и каждому слову которой толпа внимала теперь чуть не съ благоговѣніемъ,—была та самая милая, простенькая Оленька Леонтьева, которую онъ помнилъ еще совсѣмъ молоденькой гимназисткой, въ черномъ передничкѣ и коричневомъ платьицѣ, съ дѣтски-ясными, ласковыми глазами, поминутно, бывало, краснѣвшую и сердившуюся то на него, то на брата, который все дразнилъ ее, и въ довершеніе всего даже немного влюбленную въ него тогда!

Каждый жестъ ея на сценѣ былъ пластиченъ и изященъ, каждое движеніе осмысленно и законченно. Но лицо ея, когда она повернулась къ Чемезову такъ, что онъ, наконецъ, разсмотрѣлъ его,—нравилось ему прежде больше, хотя теперь оно стало гораздо красивѣе и выразительнѣе. Зато въ немъ исчезло то дѣтски милое, довѣрчивое выраженіе, которое такъ шло къ

ней и дѣлало ее особенно симпатичной, славной дѣвочкой. Еслибы онъ увидалъ ее не тутъ, въ театрѣ, а гдѣ-нибудь на улицѣ, въ толпѣ, онъ, вѣроятно, даже и не узналъ бы ее никогда.

Чемезовъ съ любопытствомъ вглядывался въ Леонтьеву, ища въ ней все какихъ-нибудь слѣдовъ прошлаго, и почти не находилъ ихъ, что̀ было ему почему-то досадно и непріятно; но зато какъ Марія Стюартъ на сценѣ она была безупречна, поражая исторической вѣрностью портрета. Все въ ней было, повидимому, строго обдуманно и вѣрно, начиная отъ самаго выраженія лица, еще прекраснаго, но на которое горе и страданія уже наложили свою тяжелую руку. Фигура ея была стройна и красива, но плечи казались слегка согнувшимися, точно подъ гнетомъ тяжелыхъ страданій, преслѣдовавшихъ ее.

И несмотря на все это, она была такъ величественна и изящна, что въ каждомъ ея словѣ, взглядѣ, движеніи, невольно чувствовалась королева,—королева, хотя и развѣнчанная, и унижаемая на каждомъ шагу, но все еще гордая сознаніемъ своихъ правъ, все еще не умѣющая и не желающая отказаться отъ своихъ правъ, дарованныхъ ей самимъ рожденіемъ!

Въ то же время видно было, однако, что въ душѣ она остается, главнымъ образомъ, не столько королевой, сколько все той же женщиной, увлекающейся и безхарактерной, вспыльчивой, но великодушной, какой была и въ лучшіе дни своего блеска и царствованія. Ея движенія и голосъ казались уже нѣсколько утомленными и даже какъ будто апатичными, какъ то̀ бываетъ у людей, уставшихъ отъ непрерывнаго страданія, и почти уже потерявшихъ энергію для надежды и борьбы. Но когда оскорбленія Борлейфа или Паулета уже слишкомъ больно задѣвали ея гордость, эта борьба и энергія опять воспламенялись въ ней на мгновеніе, станъ ея выпрямлялся, глаза гнѣвно вспыхивали и голосъ звучалъ опять властно и повелительно, какъ бы напоминая дерзкимъ, что они стоятъ предъ королевой.

Между тѣмъ, при видѣ ея, Чемезову вдругъ живо и ясно припомнились годы его первой молодости, университетъ, экзамены, товарищи, вся семья Леонтьевыхъ и самъ старикъ Леонтьевъ, котораго обожала тогда вся Москва и особенно они, студенты.

Припомнилось, какъ они бывало, человѣкъ по десяти, по пятнадцати брали въ складчину ложу, гдѣ-то подъ „раемъ“ и забирались туда „всей аравой“, какъ говорилъ, бывало, Сергѣй Леонтьевъ, и какъ дурачились тамъ и въ то же время благоговѣли, страстно слѣдя за каждымъ движеніемъ на сценѣ, а потомъ выбивались изъ силъ, вызывая своихъ любимцевъ и увлекаясь и ими, и

пьесами, какъ можно увлекаться только въ благословенныя двадцать лѣтъ.

И на Чемезова вдругъ точно пахнуло этимъ далекимъ, молодымъ временемъ, и цѣлый рой воспоминаній ожилъ и поднялся въ душѣ его, будя въ ней что-то заснувшее, милое и грустное для него; впервые съ тѣхъ поръ ему стало жаль и этихъ невозвратныхъ, счастливыхъ годовъ юности, и той жизни молодой, безпечной, ко всему отзывчивой, всѣмъ волновавшейся, — не тѣмъ волненіемъ, какъ теперь, тяжелымъ, подозрительнымъ, почти болѣзненнымъ, а всегда живымъ, горячимъ, увлекающимся. Жаль стало и тѣхъ увлеченій, которыя еще сегодня утромъ, пробудившись въ душѣ его, показались бы, быть можетъ, ему самому смѣшными и наивными, но которыя уже никогда не могли бы вернуться вновь.

Задумчиво, почти не слѣдя за ходомъ дѣйствія и только машинально слушая знакомый голосъ, напомнившій ему былое, смотрѣлъ онъ на Леонтьеву, поражаясь, какъ она сильно измѣнилась за эти 12—13 лѣтъ, и жалѣя ту милую, близкую его воспоминаніямъ дѣвочку, которая исчезла, затерявшись гдѣ-то въ глубинѣ годовъ. И ему было почти тяжело думать, сколько жизни уже прожито съ тѣхъ поръ. Онъ не замѣтилъ, какъ кончилось дѣйствіе, и очнулся только тогда, когда громъ рукоплесканій снова потрясъ весь театръ.

Леонтьева нѣсколько разъ выходила нервной, торопливой походкой и, раскланиваясь направо и налѣво глубокими поклонами, то поднимала свое прекрасное, улыбающееся уже теперь, лицо высоко кверху и кланялась туда какъ-то особенно искренне и привѣтливо, то снова опускала глаза и обводила ряды ложъ и партера счастливой, благодарной улыбкой.

У нея была своеобразная, милая манера кланяться, совсѣмъ простая и неаффектированная, безъ всякихъ прижиманій рукъ къ сердцу и закатыванья глазъ, но такая симпатичная, что невольно чувствовалось, какъ она сама счастлива и довольна этими минутами. И это еще сильнѣе привлекало къ ней всеобщее сочувствіе и безъ того воодушевленной и очарованной ею публики, и каждый разъ, какъ она выходила, взрывъ рукоплесканій раздавался съ новой силой и долго не могъ смолкнуть.

Всегда, когда Леонтьева пріѣзжала въ Петербургъ,— что случалось, впрочемъ, очень рѣдко,—петербуржцы, которымъ она очень нравилась, и которымъ давно уже хотѣлось отбить ее у Москвы, устроивали ей самые горячіе пріемы и оваціи.

— Да,—сказалъ внушительно Аркадій Петровичъ, ни къ

кому собственно не обращаясь,—да, вотъ это такъ артистка! Ни одной фальшивой ноты, ни одного фальшиваго жеста, и при этомъ столько граціи и огня! Въ каждомъ словѣ душа и правда!— И онъ принялся разбирать игру и мимику ея, съ тѣмъ компетентнымъ видомъ тонкаго знатока и цѣнителя, какой любилъ принимать на себя по самымъ разнообразнымъ вопросамъ. Но его слушали разсѣянно, еще не вполнѣ отрѣшившись отъ сильнаго, захватывающаго впечатлѣнія, которое произвела на всѣхъ Леонтьева.

— Однако, знаешь что̀,—сказалъ Аркадій Петровичъ Чемезову, видя, что его никто не слушаетъ:—пойдемъ-ка къ Обуховымъ! Все-таки надо же поздравить съ успѣхомъ сестры!—прибавилъ онъ съ насмѣшливой улыбкой по ихъ адресу.

Чемезовъ охотно согласился. Ему и самому хотѣлось возобновить старое знакомство съ Глафирой, чтобы чрезъ нее возобновить его и съ прочими Леонтьевыми, а главное съ этой Оленькой, или, вѣрнѣе, Ольгой Львовной; она сильнѣе прочихъ интересовала его теперь.

Но Еленѣ Николаевнѣ это совсѣмъ не нравилось; онъ былъ и тутъ нуженъ.

— По крайней мѣрѣ, возвращайтесь скорѣе!—сказала она имъ вслѣдъ не совсѣмъ довольнымъ тономъ, и это замѣчаніе невольно покоробило Чемезова.

„Вотъ я потому и не люблю ѣздить съ барынями, что чувствуешь себя связаннымъ!“—подумалъ онъ съ неудовольствіемъ. Подобныя приказанія всегда вызывали въ немъ только раздраженіе и желаніе поступить какъ разъ напротивъ. Онъ и теперь рѣшилъ, что Аркадій Петровичъ можетъ, если хочетъ, торопиться, какъ приказала ему жена, а онъ останется, сколько самъ того захочетъ.

По дорогѣ имъ попался Илья Егоровичъ, уже шедшій за ними.

— А, ну вотъ и прекрасно,—сказалъ онъ, узнавъ, куда они идутъ.—Ну, что, батюшка, какова!—обратился онъ къ нимъ съ такимъ тономъ, какъ будто бы они всегда оспаривали талантъ Леонтьевой, а онъ стоялъ за него, и вотъ мнѣніе его теперь торжествовало.

— Да, хороша,—сказалъ Чемезовъ, думая не столько объ ея талантѣ и игрѣ, сколько о тѣхъ воспоминаніяхъ, которыя она подняла въ немъ.

— Вотъ-съ вамъ, любезнѣйшая Глафира Львовна, и вашъ старый знакомый!—сказалъ Илья Егоровичъ своимъ громкимъ, благодушнымъ голосомъ, входя въ ложу Обуховыхъ.

Глафира Львовна приняла ихъ очень любезно. Пока мужчины здоровались съ самимъ Обуховымъ, она очистила подлѣ себя мѣсто Чемезову и познакомила его съ своей падчерицей, некрасивой, какой-то сѣрой точно, но нарядно одѣтой дѣвушкой.

— Я очень жалѣю,—сказала она Чемезову съ пріятной улыбкой, что до сихъ поръ намъ не приходилось встрѣчаться; зато надѣюсь, что теперь наше знакомство возобновлено прочно!

Онъ поклонился ей и хотѣлъ отвѣтить какой-то подобной же любезностью, но Аркадій Петровичъ перебилъ его.

— А знаете, Глафира Львовна!—воскликнулъ онъ, не безъ задней мысли:—мы съ вами хоть и старые тоже знакомые, но сегодня положительно имѣемъ право вторично познакомиться другъ съ другомъ. Вообразите, я и не подозрѣвалъ даже, что вы—дочь нашего знаменитаго Льва Степановича!

Глафира Львовна слегка какъ будто покраснѣла, но тотчасъ же опять улыбнулась нѣсколько натянуто и сказала, что это дѣйствительно очень странно, потому что о томъ весь міръ, кажется, знаетъ!

Глафира Львовна была крупная, нѣсколько полная блондинка, совсѣмъ не похожая на младшую сестру. Трудно было сказать на видъ, сколько ей лѣтъ; это былъ одинъ изъ тѣхъ типовъ, которымъ съ одинаковымъ успѣхомъ можно дать и двадцать-пять, и тридцать-пять. Къ ней даже шла ея солидность и нѣкоторая чопорность, и съ годами она скорѣе похорошѣла, чѣмъ подурнѣла. Черты лица ея были крупны и нѣсколько мясисты, но довольно правильны и смягчались прекраснымъ цвѣтомъ лица.

По странной случайности, которая впрочемъ нерѣдко встрѣчается между супругами, она имѣла замѣтное сходство съ мужемъ, не только въ лицѣ и въ фигурѣ, но и въ манерахъ.

Мужъ былъ также высокъ ростомъ и представителенъ. Нѣкоторая сутуловатость и даже дубоватость фигуры скрадывались полными собственнаго достоинства манерами, придававшими всей его особѣ нѣчто внушительное и солидное. Онъ также былъ блондинъ и такой свѣтлый, что издали его можно было принять за сѣдого; усы тщательно брилъ и носилъ только длинныя, жестковатыя на видъ бакенбарды.

Чемезову очень хотѣлось, чтобы Глафира пригласила его къ себѣ и тѣмъ дала случай увидѣть вблизи Ольгу, и онъ незамѣтно старался навести ее на эту мысль.

— Нѣтъ,—сказала Глафира Львовна, отвѣчая на его вопросъ: не у нихъ ли остановилась Ольга?—Она всегда въ Европейской

гостинницѣ останавливается. Отъ насъ ей очень далеко въ театръ, —прибавила она, какъ бы слегка оправдываясь въ этомъ.

Поговоривъ еще немного, Аркадій Петровичъ и Илья Егоровичъ вышли, а Чемезовъ нарочно остался дольше.

— Если вы желаете повидаться съ Ольгой Львовной,—предложилъ съ своей деревянной любезностью Петръ Георгіевичъ, имѣвшій на Чемезова кое-какіе виды:—то завтра мы даемъ маленькій семейный обѣдъ, на которомъ будетъ и она, и намъ съ женой будетъ очень пріятно, если и вы доставите намъ удовольствіе пожаловать къ намъ завтра откушать.

Глафира Львовна любезно подтвердила, что имъ это дѣйствительно будетъ очень пріятно, и Чемезовъ охотно обѣщалъ.

Раскланявшись съ ними, онъ, очень довольный, что все устроилось, какъ ему того хотѣлось, поспѣшилъ вернуться къ Оленинымъ въ ложу, такъ какъ оркестръ кончилъ уже увертюру.

VII.

Аркадій Петровичъ былъ правъ, утверждая, что лучшій актъ въ „Маріи Стюартъ“ у Леонтьевой—все-таки третій.

Дѣйствительно, когда занавѣсъ снова поднялся и Леонтьева выбѣжала такъ легко и радостно, что въ ея нервно-оживленной, граціозной фигурѣ многіе не сразу даже узнали ту самую женщину, которая въ первомъ дѣйствіи явилась предъ ними печальной, усталой и удрученной страданьемъ и горемъ. Теперь все лицо ея сіяло восторгомъ и счастьемъ, глаза радостно блестѣли, голосъ звучалъ такъ звонко и молодо, что вся она казалась помолодѣвшею на двадцать лѣтъ!

Точно всѣ дремавшія силы ея подавленной молодости разомъ сорвались и забили въ ней горячимъ, неудержимымъ ключомъ, когда она съ восторгомъ говорила:

—Дай насладиться мнѣ новой свободой!
Буду дитятей,—будь ты дитя!
Пышный коверъ здѣсь разостланъ природой—
Дай нарѣзвлюся, набѣгаюсь я!

И дѣйствительно, какъ бы возвратясь вновь къ тѣмъ прекраснымъ семнадцати годамъ, когда все радуетъ и восхищаетъ, она смѣялась, радуясь каждому цвѣтку, попадавшемуся ей на глаза, и каждому облачку на небѣ.

Даже холодное благоразуміе недовѣрчивой и все еще грустной Кенеди, безжалостно напоминавшей ей, что свобода эта

минутна и темница ея осталась недалеко,—не разрушало ея иллюзіи и не смущало восторга.

Она сама знала это—и знала, что тюрьма ея отдѣлена отъ нея теперь только чащей деревьевъ, но она радовалась даже и тому, благодарила даже и эти вѣтви, скрывавшія отъ нея страшный призракъ, и, не видя его, съ безпечностью своей увлекающейся натуры страстно обманывала самоё себя и съ новой воскресшей надеждой мечтала уже не только объ улучшеніи своей участи, но и о полной свободѣ.

И надежда ея была такъ искрення, горяча и довѣрчива, что въ публикѣ многіе, болѣе впечатлительные, уже страдали за нее и плакали, хотя сама Марія еще смѣялась, вѣрила и радовалась.

Но когда пришедшій Паулетъ доложилъ ей, что сейчасъ сюда прибудетъ королева, Марія—прежде сама такъ добивавшаяся и желавшая этого свиданія—вдругъ испугалась, какъ бы мучимая инстинктивнымъ недобрымъ предчувствіемъ...

Даже въ ту минуту, когда Елизавета, наслаждаясь своей властью и торжествомъ, холодно насмѣхалась надъ нею, она съ мучительною болью только прижимала къ губамъ своимъ большой черный крестъ, висѣвшій у нея на груди, и какъ бы молила Бога послать ей кротость и терпѣніе; но когда та, съ язвительнымъ издѣвательствомъ, на которое способны только женщины, всегда предпочитающія мелкую месть крупной, спросила:

— Такъ это-то тѣ прелести, лордъ Лейстеръ,
Которыя безъ наказанья видѣть
Никто не могъ?—которымъ нѣтъ подобныхъ?
По истинѣ, недорогой цѣной
Пріобрѣсти такую славу можно!
Чтобы прослыть всеобщей красотой,
Лишь стоитъ общей быть—для всѣхъ!

Но боль такого оскорбленія разомъ пересилила, казалось, въ Маріи всѣ другія чувства и желанія.

Она быстро поднялась съ колѣнъ, какъ бы не желая больше ни одной минуты унижаться предъ этой женщиной, и взглядъ, который она кинула на нее, былъ полонъ тихаго, спокойнаго благородства и царственнаго величія; казалось, не она, Марія, только-что лежала въ мольбахъ у ногъ Елизаветы, а эта самая Елизавета пресмыкалась у ногъ ея, Маріи, и она, Марія, гордо и презрительно однимъ движеніемъ ноги оттолкнула ее прочь.

Своимъ взглядомъ она отмстила Елизаветѣ и унизила ее болѣе, чѣмъ та всѣми своими злыми словами.

— Да,—заговорила она спокойнымъ горделивымъ голосомъ, смѣло глядя всѣмъ въ глаза:

—Да, какъ женщина, въ проступки часто я впадала,
Въ младыхъ лѣтахъ! Могуществомъ была
Ослѣплена, но не таила ихъ!
И съ гордостью монархини свободной
Я ложную наружность презирала!
Все худшее о мнѣ извѣстно міру,
И смѣло я могу сказать, что лучше я
Молвы, повсюду обо мнѣ гремящей.

Она вся выпрямилась, говоря это, и точно вдругъ разомъ выросла надъ всей этой жалкой толпой, въ раболѣпномъ ужасѣ трепетавшей предъ Елизаветой. Лицо ея, ярко горѣвшее, было такъ гордо и прекрасно теперь, что можно было подумать — эта женщина признается такъ открыто въ своихъ лучшихъ добродѣтеляхъ, а не порокахъ.

Но она не стыдилась своихъ пороковъ, и какъ не скрывала ихъ предъ цѣлымъ міромъ, такъ не желала скрывать и предъ этой ненавистной ей женщиной. Вся ненависть и злоба, накапливавшаяся въ ней въ продолженіе стольких лѣтъ, словно прорвалась, и безпощадныя, смѣлыя обвиненія горячимъ потокомъ полились изъ устъ ея...

Въ эти минуты она не боялась ничего въ мірѣ,—ни заключеній, ни пытки, ни даже самой смерти. Теперь она только презирала эту женщину.

Когда Елизавета удалилась, и Кенеди въ ужасѣ и отчаяніи спрашивала свою любимую питомицу, зачѣмъ она погубила себя, —Марія, не слушая ея, воскликнула съ глубокой радостью, какъ бы все еще наслаждаясь только-что пережитымъ, нежданнымъ счастіемъ:

—О, какъ легко мнѣ, Анна! Наконецъ,
Чрезъ столько лѣтъ страданій, униженій,
Мгновеньемъ мести насладилась я вполнѣ!

И видно было, какъ все существо ея дѣйствительно наслаждалось и торжествовало.

Да, она была счастлива, страшно, безумно счастлива, хотя вмѣсто прощенія и свободы ей предстояла теперь плаха!

Зато она отмстила!

VIII.

Занавѣсъ тихо спускалась при полномъ безмолвіи зрителей,— всѣ точно замерли и оцѣпенѣли,—и только чрезъ нѣсколько мгновеній, гдѣ-то на верху, раздалось первое тихое и глухое „браво", и тогда толпа, какъ бы ждавшая только толчка, вдругъ разомъ вся очнулась, съ дружной силой подхватила,—и все зало потряслось отъ тысячи рукоплесканій.

Партеръ въ безпорядкѣ столпился у оркестра и въ проходахъ, а въ верхнихъ ярусахъ молодежь, съ разгорѣвшимися лицами, махая платками и выкрикивая съ восторгомъ милое уже какъ бы само по себѣ имъ имя, старалась какъ можно больше перегнуться чрезъ барьеръ, чтобы только еще разъ увидѣть Леонтьеву.

Всѣмъ какъ будто хотѣлось, чтобы она замѣтила ихъ и взглянула бы именно на нихъ.

И, казалось, она, дѣйствительно, всѣхъ ихъ видитъ и улыбается каждому изъ нихъ своей милой, благодарной улыбкой.

Въ эти минуты между ею и всей этой тысячной, разнородной, разнохарактерной толпой было дѣйствительно какое-то глубокое, соединявшее ихъ, духовное сродство.

— Поразительно, поразительно!—восклицалъ съ волненіемъ Аркадій Петровичъ, въ промежутки своихъ апплодисментовъ и криковъ:—браво! браво!—И Зина, уже не останавливаемая взволнованной Еленой Николаевной, кричала также вмѣстѣ съ нимъ своимъ звонкимъ голоскомъ:—Браво, браво!—и апплодировала, забывъ всѣхъ и все, изъ всѣхъ силъ, также страстно добиваясь только одного: поймать ея взглядъ своими влюбленными, умоляющими глазами.

Одна Мери сидѣла равнодушно, чуть-чуть только улыбаясь своей натянутой улыбкой, и на холодномъ ея лицѣ не видно было ни восторга, ни увлеченія.

Чемезовъ, подхваченный волной всеобщаго увлеченія, съ удивленіемъ взглядывалъ порой на Мери, не понимая, какъ такая молодая дѣвушка, у которой всѣ впечатлѣнія должны быть еще такъ свѣжи и сильны, остается холодной и равнодушной, когда все кругомъ воодушевилось. Онъ не любилъ сухихъ и черствыхъ женщинъ, не умѣющихъ ничѣмъ горячо увлекаться, а она теперь невольно казалась ему такою, и это отталкивало его отъ нея.

Но онъ не зналъ того, что Мери, глядя на сцену, почти не

видитъ сцены и въ душѣ тоскливо мучается, не чувствуя больше на себѣ его любующагося взгляда...

— А!—воскликнулъ многозначительно, и по своей привычкѣ подмигивая глазомъ, Илья Егорычъ; онъ вошелъ въ ложу Олениныхъ и поздоровался съ дамами, которыхъ еще не видалъ.—А!—повторилъ онъ опять, обводя всѣхъ торжествующимъ взглядомъ. Добродушное лицо его было еще взволновано и слегка даже точно сконфужено чѣмъ-то, а небольшіе глазки и мясистый носъ казались покраснѣвшими и припухшими.

— Поразительно! поразительно!—воскликнулъ въ сотый разъ Аркадій Петровичъ, какъ бы не находившій даже отъ полноты чувствъ, при всемъ его краснорѣчіи, другихъ словъ и выраженій.

— Нѣтъ, чтò тутъ, батюшка, „поразительно"! Это, я вамъ доложу, такая душа, такая...—взволнованно заговорилъ Илья Егорычъ,—но онъ не договорилъ и вдругъ смущенно засморкался.

— Да вы, Илья Егорычъ, ужъ признайтесь!—засмѣялся, подозрительно поглядывая на него, Чемезовъ:—никакъ вы даже всплакнули немножечко?

— Былъ грѣхъ, былъ!—согласился Илья Егорычъ, сконфуженно вздыхая, и тутъ же признался, что вообще ни романовъ читать, ни драмъ смотрѣть не можетъ безъ того, чтобы не прослезяться.

— Вотъ я оттого-то оперетку и предпочитаю, — сказалъ онъ, добродушно подтрунивая надъ самимъ собой. — Что подѣлаешь, нервы ужасно слабы! Да вы на мою-то толщину не смотрите,—обидчиво прибавилъ онъ, замѣтивъ недовѣрчивыя улыбки дамъ.—Я и самъ прежде, какъ толстѣть началъ, такъ думалъ:—ну вотъ теперь зато нервами окрѣпну! Куда тебѣ! все равно, чѣмъ больше толстѣешь, тѣмъ больше бабишься только!.. Ну-съ, а вы, барышня, какъ? не плакали еще?—ласково спросилъ онъ у Зины, которая была его любимицей.

— Она у насъ тутъ все бунтуетъ!—сказалъ за нее Чемезовъ, съ нѣжной насмѣшкой поглядывая на свою взволнованную, раскраснѣвшуюся сестренку, которая въ такія минуты была ему всегда особенно мила, хотя онъ и подтрунивалъ надъ ней тогда сильнѣе, чѣмъ обыкновенно.—Кричитъ, апплодируетъ, чуть изъ кожи не выскакиваетъ; даже я вотъ все уговариваю ее сидѣть смирнѣе, а то вѣдь выведутъ!

— Выведутъ!—серьезнымъ тономъ подтвердилъ Илья Егоровичъ:—безъ этого ужъ нельзя, всегда кого-нибудь да выведутъ! Ну, однако, до свиданья, милыя барыни, я тутъ съ вами заболтался... чего добраго, безъ меня начнутъ! - И, торопливо со всѣми

распрощавшись, онъ почти выбѣжалъ изъ ложи Олениныхъ своей грузной, отъ поспѣшности казавшейся еще болѣе перевалистой, походкой.

Мельвиля игралъ самъ бенефиціантъ Степановъ, актеръ уже старый, одинъ изъ тѣхъ необходимыхъ въ каждой труппѣ золотыхъ „полезностей“, которыя, не обладая крупными талантами, добросовѣстно несутъ на своихъ рабочихъ, выносливыхъ плечахъ самый разнообразный репертуаръ, принося иногда театру болѣе пользы, чѣмъ его выдающіяся силы.

Публика встрѣтила его очень сочувственно, отчасти за его долгую, вѣрную службу ей, отчасти въ благодарность за то, что онъ доставилъ имъ новый случай поглядѣть такую артистку.

Когда Леонтьева снова вышла, по залѣ пронесся невольный шопотъ восхищенія, и всѣ бинокли направились на нее.

Въ своемъ роскошномъ, бѣломъ, затканномъ золотомъ и жемчугомъ, платьѣ, съ длинной, ниспадавшей до самаго шлейфа, богатою вуалью, она поражала своей благородной красотой, которая въ предъидущихъ дѣйствіяхъ не бросалась такъ ярко въ глаза.

Въ лицѣ ея явилось новое, совсѣмъ особенное, какое-то строго вдохновенное выраженіе, какъ бы озарявшее ее всю прекраснымъ, внутреннимъ свѣтомъ.

—О чемъ стенать и плакать? Со мной
Порадуйтесь, что настаетъ конецъ
Моимъ страданьямъ тяжкимъ...

—начала она такимъ спокойнымъ, кроткимъ голосомъ, что всѣ невольно почувствовали, что эта женщина не только не боится смерти, но, вся проникнутая экстазомъ вдохновенія, идетъ на встрѣчу ей торжественно и почти радостно.

Казалось, все ея существо, отрѣшившееся отъ всего земного и озаренное чудеснымъ чувствомъ души, поднялось на ту, недоступную другимъ, прекрасную высоту, которая изъ простыхъ и даже слабыхъ людей дѣлаетъ героевъ.

Растроганная и умиленная, она упала на колѣни предъ святымъ крестомъ, который держалъ предъ ней Мельвиль, и, поднявъ къ нему свое просвѣтленное какимъ-то лучезарнымъ свѣтомъ лицо, каялась, не отводя отъ него сіяющаго, свѣтлаго взгляда, какъ бы вся охваченная страстнымъ порывомъ покаянія и глубокой вѣры въ милосердіе того Судьи, предъ которымъ такъ скоро должна была предстать; по озаренному лицу ея катились благодарныя слезы, и все существо ея, казалось, вѣрило, молилось и жаждало покаянія...

Весь театръ замеръ отъ волненія, жадно ловя каждое слово ея, каждый вздохъ и слезу, и въ огромной залѣ царила такая тишина, что только изрѣдка слышалось чье-нибудь прерывистое, учащенное дыханіе. Чемезовъ не спускалъ бинокля съ ея прекраснаго лица, сіявшаго неземной красотой, и только когда совсѣмъ подлѣ него раздалось чье-то подавленное рыданіе, онъ невольно вздрогнулъ и очнулся.

Это была Зина: приставя къ глазамъ платокъ и вздрагивая своими тонкими еще плечиками, она плакала совсѣмъ по-дѣтски, громко всхлипывая и рыдая.

Елена Николаевна, невольно отвлеченная этимъ отъ сцены, быстро обернулась къ Зинѣ и, слегка покраснѣвъ и смутившись, осторожно, стараясь не шумѣть и не мѣшать другимъ слушать, поспѣшно встала и, обнявъ Зину, заставила ее подняться и выйти за собой.

Въ ложѣ Олениныхъ произошелъ маленькій переполохъ; сосѣди заглядывали къ нимъ съ любопытствомъ и неудовольствіемъ.

Чемезовъ, переглянувшись съ удивленнымъ и не понимавшимъ еще, въ чемъ дѣло, Аркадіемъ Петровичемъ, тоже тихонько вышли оба въ маленькую комнату за ложей, гдѣ Елена Николаевна поила водой рыдающую Зину и уговаривала ее полунѣжно и полустрого, сердясь и тревожась.

— Ну вотъ!—сказалъ, все еще не совсѣмъ отрѣшившійся отъ сцены, Аркадій Петровичъ, съ какимъ-то опѣшеннымъ видомъ.

— Вы идите, идите, досматривайте, а мы поѣдемъ!—сказала, махая на нихъ рукой, Елена Николаевна.

Зина, уже немного успокоившаяся и очень сконфуженная своимъ неумѣстнымъ припадкомъ, съ мольбой подняла на нее виноватые глаза, но Елена Николаевна, съ тѣмъ рѣшительнымъ, не допускающимъ никакихъ возраженій видомъ, который умѣла принимать на себя въ такихъ случаяхъ, молча накинула на нее шарфъ, а брата попросила вызвать Мери.

— Мери, милая,—сказала она, когда та вошла:—мы уѣзжаемъ, но вы можете остаться съ Аркадіемъ и Юріемъ; я сейчасъ же пришлю карету обратно, и вы пріѣдете къ намъ пить чай.

Но Мери поспѣшила отказаться, говоря, что много разъ уже видала „Марію Стюартъ“, и потому готова ѣхать сейчасъ же вмѣстѣ съ ними. Отъ чая она тоже отказалась, и Елена Николаевна, понимавшая, что Мери хочется остаться одной, не стала уговаривать ее.

— Вотъ видишь, Зина,—пошутилъ Чемезовъ, когда дамы,

накинувъ шарфы и ротонды, вышли въ корридоръ:—я вѣдь тебѣ предсказывалъ, что тебя выведутъ,—вотъ и вышло по моему!

— А все оттого, — съ неудовольствіемъ сказалъ Аркадій Петровичъ, сердившійся на Зину за то, что она оторвала всѣхъ отъ самаго интереснаго мѣста:—что дѣтей вообще не слѣдуетъ возить по театрамъ!

Зина, которая была готова отдать въ эту минуту все за то, чтобы видѣть только конецъ спектакля, обидѣлась и опять горько расплакалась.

— Ну, будетъ вамъ дразнить ее!—съ упрекомъ замѣтила Елена Николаевна:—лучше бы вы остались досматривать.

Но идти досматривать уже было поздно, потому что въ эту минуту раздался оглушительный громъ апплодисментовъ. Очевидно, все кончилось.

— Такъ мы и не услышали,—съ сожалѣніемъ воскликнулъ Аркадій Петровичъ,—какъ она сказала знаменитую фразу: „графъ Лейстеръ, вы сдержали слово“...

Прощаясь съ сестрами и Мери, Чемезовъ почувствовалъ, какъ рука Мери дрогнула въ его рукѣ, и опять сознаніе какой-то виновности предъ ней встало въ душѣ его, но это уже не сблизило его съ ней больше, какъ тогда, въ началѣ вечера, а скорѣе отдалило и ставило какую-то преграду между ними.

Ночь была лунная, немножко морозная, и отъ только-что выпавшаго за вечеръ снѣга казалась совсѣмъ свѣтлой и лучистой; Чемезову захотѣлось пройтись пѣшкомъ. Такъ ему всегда какъ-то лучше думалось, и часто, уставъ морально и физически за тяжелый рабочій день, онъ, идя такимъ образомъ, мало-по-малу успокаивался; сегодня же въ душѣ его накопилось столько различныхъ впечатлѣній и воспоминаній, что онъ болѣе чѣмъ когда-либо чувствовалъ свойственную ему въ такихъ случаяхъ потребность быть одному, чтобы сколько-нибудь разобраться во всѣхъ своихъ сложныхъ ощущеніяхъ...

IX.

Чемезовъ сравнительно былъ еще молодой человѣкъ, особенно для того положенія, которое занималъ. Ему минуло всего тридцать-пять лѣтъ, и годы эти часто служили ему источникомъ многихъ непріятностей, потому что многіе не прощали ему молодости, видя въ этомъ одно изъ главныхъ препятствій къ веденію

гого огромнаго дѣла, которое, главнымъ образомъ, было сосредоточено въ его рукахъ.

Онъ былъ изъ хорошей старинной, но не аристократической семьи, и самъ себѣ пробилъ дорогу на службѣ. И то, и другое тоже ставилось ему въ вину и заставляло нѣкоторыхъ косо и недоброжелательно поглядывать на него.

Отецъ его умеръ, когда онъ былъ еще на первомъ курсѣ университета, и послѣ смерти отца средства семьи оказались такъ невелики, что ихъ едва могло хватить только матери и двумъ сестрамъ.

Чемезову удалось сразу стать наноги, полагаясь исключительно на свой трудъ. И это заставило его—очень живого, общительнаго и подвижнаго въ юности—серьезнѣе отнестись и къ себѣ, и къ своимъ занятіямъ въ университетѣ, и къ той будущности, въ которой онъ могъ надѣяться только на свои собственныя силы и удачи. Мать съ сестрами остались жить въ своемъ помѣстьѣ, отягченномъ по общедворянскому обычаю многочисленными долгами, залогами и перезалогами, а Чемезовъ, отказавшись отъ своей доли дохода и вообще отъ всего имѣнія въ пользу матери и сестеръ, остался въ Москвѣ оканчивать университетскій курсъ и жилъ уроками, переводами и небольшими статьями по экономическимъ вопросамъ, которыми усиленно занимался.

Года чрезъ два старшая сестра его Елена вышла замужъ за единственнаго сына сосѣдняго имъ помѣщика, считавшагося однимъ изъ самыхъ богатыхъ въ уѣздѣ; бракъ этотъ былъ тѣмъ болѣе удаченъ, что молодые женились по любви. Первое время они жили въ деревнѣ же, но вскорѣ послѣ смерти старухи Чемезовой переѣхали въ Петербургъ, гдѣ воспитывалась въ институтѣ младшая сестра Зина и гдѣ въ то время жилъ и Чемезовъ, только-что начавшій службу. Несмотря на отличныя средства Олениныхъ и на прекрасныя, сердечныя отношенія между братомъ и сестрой, искренно желавшей служить ему своими средствами, Чемезовъ по прежнему тщательно избѣгалъ того, предпочитая прибавить что-нибудь къ своимъ скуднымъ шестидесяти рублямъ все тѣми же переводами и статьями, лишь бы не брать у сестры, которую хотя и очень любилъ, но обязываться ему все-таки же не хотѣлось, тѣмъ болѣе, что состояніе было не ея, а мужнино.

Достаточно было и того, что меньшая сестра жила у нихъ, и желая въ будущемъ хоть сколько-нибудь обезпечить ее и сдѣлать болѣе независимой, Чемезовъ уговорилъ и Елену отказаться отъ ея доли въ оставшихся послѣ стариковъ Сосновкахъ. Елена те-

перь была уже настолько богата, что смѣло могла отступиться отъ какихъ-нибудь 12—15 тысячъ въ пользу младшей сестры, для которой деньги эти представляли серьезное обезпеченіе.

А за себя онъ не боялся. Онъ былъ молодъ, здоровъ, не глупъ, получилъ хорошее образованіе и, чувствуя въ себѣ достаточный запасъ силъ и энергіи для устройства своей жизни, вѣрилъ твердо и горячо въ свою счастливую и удачную будущность, какъ умѣютъ вѣрить только смолоду, когда не успѣли еще растратить даромъ, на пустяки, ни силъ, ни здоровья, ни времени.

Такъ прошло нѣсколько лѣтъ, ничѣмъ особенно для него не выдавшихся, но въ которыя онъ все-таки успѣлъ подвинуться впередъ. Его способности и умъ невольно кидались въ глаза, а его труды и обширная начитанность дали то, чего, быть можетъ, безъ этого не дали бы и 15 лѣтъ службы. Его замѣтили!—а замѣтивъ, стали выдѣлять изъ толпы служащихъ. Вскорѣ ему дано было одно довольно важное порученіе, которое онъ выполнилъ такъ удачно, что оно сразу подняло его въ глазахъ и начальства, и товарищей, заставило говорить о немъ и предвидѣть въ немъ ту силу, которая и развилась изъ него впослѣдствіи.

Его карьера пошла гораздо шибче, и во всѣхъ даваемыхъ затѣмъ ему порученіяхъ его личность, какъ выдающагося будущаго дѣятеля въ административномъ мірѣ, стала выдѣляться все рѣзче и ярче, пріобрѣтая ему, вмѣстѣ съ сторонниками и поклонниками, также и массу враговъ и недоброжелателей, начиная съ тѣхъ, кого онъ перегналъ, и кончая тѣми, которыхъ догонялъ.

Въ административномъ мірѣ почти не было лицъ, равнодушно къ нему относившихся. Его или нетерпѣли, или горячо любили, ожидая отъ него чего-то новаго, совсѣмъ особеннаго. Послѣднихъ было, конечно, меньшинство. Въ Чемезовѣ невольно чувствовали силу, которая грозила идти впередъ, не такъ, какъ шли другіе, по разъ заведеннымъ порядкамъ и традиціямъ, а какъ-то совсѣмъ иначе.

Противники злословили его и интриговали противъ него повсюду, гдѣ могли. Но Чемезовъ былъ человѣкъ безусловно честный, глубоко понимающій свое дѣло и относящійся къ нему горячо, искренно и преданно; противъ этого не могли ничего возразить даже и самые сильные враги его. Онъ бралъ къ себѣ людей, не имѣвшихъ ни служебнаго, ни общественнаго положенія, какъ и онъ самъ, ни связей, ни протекціи, ни долголѣтней выслуги, но полезныхъ для дѣла и хорошихъ работниковъ, и вотъ его начали обвинять въ либерализмѣ, политической неблагонадежности и т. д.

Конечно, подобныя сплетни не мало вредили ему, расширяя кругъ недовѣрчиво и предвзято глядѣвшихъ на него людей, но скомпрометтировать его настолько, чтобы онъ потерялъ и мѣсто, и вліяніе, и доброе отношеніе, среди тѣхъ людей, которые лучше знали и понимали его—пока было трудно.

Чемезовъ зналъ, что и для него, и для успѣха его дѣлъ, быть можетъ, было бы гораздо лучше, еслибы онъ расширялъ кругъ своихъ доброжелателей, стараясь пріобрѣтать больше нужныхъ знакомыхъ и связей, а еще лучше—еслибы онъ закрѣпилъ ихъ подходящей женитьбой, которая дала бы ему вліятельныхъ родственниковъ. Но мысль о подобной женитьбѣ была ему противна, а на знакомства не хватало времени.

Онъ самъ хотѣлъ справиться и съ своимъ дѣломъ, и съ своей судьбой, при помощи одного собственнаго труда и энергіи.

Разъ отдавшись своему дѣлу, Чемезовъ страстно привязался къ нему и клалъ въ него все свое время, всѣ силы, весь умъ и даже страсть. Мало-по-малу дѣло стало для него сутью, цѣлью всей жизни и источникомъ всѣхъ его радостей и горя. Оно наполняло все его время и всѣ его мысли, а все остальное невольно отодвигалось для него на второй планъ. Онъ самъ не замѣчалъ, какъ дѣлался все одностороннѣе. Въ душѣ его почти уже не оставалось мѣста никакимъ другимъ желаніямъ. И такъ проходилъ день за днемъ, все больше раздражая его натянутые нервы, все сильнѣе надрывая его здоровье.

Но онъ пока не замѣчалъ ничего, почти все время находясь въ томъ нервномъ напряженномъ состояніи, когда переутомленность истощеннаго организма чувствуется не сразу; такъ иногда и раненый, въ продолженіе первыхъ нѣсколькихъ секундъ, не чувствуетъ боли отъ раны.

Стараясь не думать о томъ, что и духъ, и тѣло его все упорнѣе и мучительнѣе просятъ себѣ отдыха и обновленія, Чемезовъ тяжелымъ усиліемъ воли заглушалъ въ себѣ невольное, хотя смутное еще сознаніе опасности, и тѣмъ страстнѣе кидался на новую работу, какъ бы ища въ ней спасенія и удовлетворенія себѣ.

Мар. Крестовская.

ЛЮДИ СОРОКОВЫХЪ ГОДОВЪ

— Мои воспоминанія, 1848—1889. А. Фета. М. 1890. Двѣ части.

Множество разнаго рода „воспоминаній“ становится отличительной чертой современной литературы; эта черта бросится въ глаза, если мы сравнимъ общій обликъ литературы нашего времени съ тѣмъ, какой носила она двадцать или тридцать лѣтъ тому назадъ, не говоря о сороковыхъ годахъ. Въ прежнее время, какъ ни тѣсны были предѣлы литературы, она занята была вопросами о принципахъ литературныхъ, а потомъ и общественныхъ; теперь вопросъ о принципахъ почти не существуетъ,—онъ какъ будто считается рѣшеннымъ, и въ такомъ смыслѣ, который, пожалуй, испугалъ бы нашихъ предшественниковъ. Широкіе запросы отъ жизни общественной, умственной, нравственной—считаются бреднями; говорится съ пренебреженіемъ о „какой-то идеальной правдѣ“; европейская цивилизація, которая казалась прежде великимъ запасомъ человѣческой мысли и искусства, въ настоящее время нерѣдко вызываетъ грубыя насмѣшки (мы-молъ гораздо ея выше);—правда, и прежде она имѣла у насъ своихъ враговъ, которые считали ее ложной, находили нужнымъ съ ней бороться, но тогда все-таки, съ одной стороны, знали ее, а съ другой, хотѣли поставить на ея мѣсто нѣчто болѣе совершенное; теперь говорятъ о ней съ самоувѣренностью, которой даже непонятно, къ чему нужна эта цивилизація.

Признаки извѣстнаго упадка умственныхъ интересовъ, въ значительной части общества, едва ли подлежатъ сомнѣнію: одни отвыкли отъ болѣе широкихъ интересовъ, другіе утомляются въ безплодномъ спорѣ, и, вѣроятно, не безъ связи съ этимъ явленіемъ

мы встрѣчаемъ это усиленное развитіе мемуарной литературы. Всѣ возвращаются къ воспоминаніямъ: вспоминаются и служебная дѣятельность оффиціальныхъ лицъ, и подвиги военныхъ дѣятелей; пишутъ свои воспоминанія и лица скромнаго общественнаго положенія, которымъ случалось видѣть на своемъ вѣку что-либо интересное,—небольшой чиновникъ, священникъ, простой обыватель; наконецъ, является не мало воспоминаній художниковъ и писателей. Одни ищутъ въ прошломъ добраго стараго времени; другіе—гораздо рѣже—разсказываютъ исторію стремленій отъ этого времени къ чему-нибудь лучшему...

Понятно, что въ результатѣ получается литература весьма пестрая. Не однажды можно было бы встрѣтить въ одной и той же книжкѣ историческаго журнала эти голоса прежняго времени, болѣе или менѣе близкаго, дающіе двѣ совершенно противоположныя картины одного факта, вслѣдствіе освѣщенія, идущаго отъ людей весьма разныхъ, даже противоположныхъ взглядовъ. Въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго и нѣтъ никакой бѣды: желательно, конечно, чтобы правильнаго освѣщенія было больше, и чтобы оно, а не другое вошло въ общественное пониманіе, которое у насъ еще слишкомъ часто бываетъ ребяческимъ; но, въ концѣ концовъ, будущій историкъ разберется съ этими противорѣчіями и сдѣлаетъ тотъ единственный выводъ, который будетъ правильнымъ...

Вышедшія недавно отдѣльной книгой „Воспоминанія" г. Фета вступаютъ въ эту массу историческаго матеріала, въ противорѣчіяхъ котораго надо будетъ разбираться будущему историку. Эти воспоминанія начинаются съ послѣднихъ сороковыхъ годовъ и доходятъ до нашего времени; въ нихъ являются, между прочимъ, многія лица, съ болѣе или менѣе крупнымъ, а также и первостепеннымъ значеніемъ въ судьбахъ нашей литературы—назовемъ Тургенева, гр. Л. Н. Толстого, Некрасова, Дружинина, В. П. Боткина и др. Отсюда понятно, что „Воспоминанія" способны возбудить живое любопытство въ тѣхъ, кому интересна эпоха, гдѣ дѣйствовали эти лица. Какъ увидимъ, любопытство будетъ до значительной степени вознаграждено чтеніемъ книги, хотя для многихъ читателей, съ извѣстнымъ пониманіемъ вещей, интересъ будетъ возбужденъ не всегда въ томъ смыслѣ, въ какомъ говоритъ самъ авторъ. „Воспоминанія" г. Фета принадлежатъ къ разряду воспоминаній чисто личныхъ: онъ не ставитъ себѣ широкой задачи, не берется изображать эпоху, хотя были пережиты имъ сороковые года, была пережита великая эпоха освобожденія крестьянъ, близко и не совсѣмъ пріятно затронувшая его въ его собственныхъ взглядахъ; онъ не берется и за сколько-нибудь

отчетливыя характеристики тѣхъ лицъ, которыхъ онъ близко зналъ, какъ, напримѣръ, Тургенева; затрогивая мимоходомъ тогдашніе спорные пункты общественные и литературные, авторъ „Воспоминаній“ точно также не объясняетъ взглядовъ своихъ и своего кружка и даетъ угадывать ихъ только по эпитетамъ одобренія или порицанія, какъ будто предполагая, что у читателя не можетъ быть иныхъ взглядовъ на эти вещи, чѣмъ его собственные. Словомъ, „Воспоминанія“ являются чисто личною лѣтописью, разсказомъ о собственной жизни и встрѣчахъ автора: лица историческія идутъ въ этихъ разсказахъ заурядъ съ другими исторически вовсе не замѣчательными лицами, и изображеніе послѣднихъ, занимающее гораздо больше мѣста, не всегда способно возбудить у читателя достаточный интересъ. Эта послѣдняя сторона „Воспоминаній“ меньше привлечетъ и насъ, какъ обыкновеннаго читателя; а другая ихъ доля, касающаяся болѣе интересныхъ лицъ и событій, представляется всего больше какъ матеріалъ, который можетъ послужить для исторіи времени независимо отъ собственныхъ взглядовъ автора.

Г. Фетъ имѣетъ давно знаменитое имя, какъ лирическій поэтъ, произведенія котораго издавна высоко цѣнились критикой, особливо по ихъ изящной непосредственности, не лишенной, однако, нѣкоторыхъ неровностей. Въ первыхъ встрѣчахъ его съ тогдашнимъ литературнымъ кружкомъ въ Петербургѣ, какъ видно теперь изъ разсказа самого г. Фета, онъ сразу принятъ былъ здѣсь какъ свой, близкій человѣкъ съ признанной заслугой и литературнымъ значеніемъ. Это показываетъ уже мѣру его лирическаго успѣха. Съ первыхъ стихотвореній, явившихся въ сороковыхъ годахъ, эта поэтическая карьера продолжается до нашего времени: еще въ половинѣ восьмидесятыхъ годовъ вышелъ послѣдній сборникъ неизданныхъ стихотвореній. Какъ въ самомъ началѣ произведенія г. Фета нашли увлеченныхъ любителей, такъ находятъ они почитателей и въ наше время въ рядахъ любителей чистаго искусства и изящнаго лиризма. И дѣйствительно, многое изъ этихъ произведеній г. Фета останется прочнымъ пріобрѣтеніемъ нашей литературы. Давно уже дѣятельность г. Фета направлялась и въ другую сторону; изъ его „Воспоминаній“ видно, что очень рано онъ увлекался мыслью о передачѣ на русскій языкъ классическихъ поэтовъ римской древности. Эта мысль не покидала его въ теченіе всей его литературной дѣятельности, и въ настоящее время онъ занялъ новое мѣсто въ литературѣ, какъ переводчикъ Горація, Ювенала, Катулла, Тибулла, Овидія, Виргилія, Проперція, Персія. Кромѣ того, сдѣланъ былъ имъ переводъ „Фауста“

(обѣихъ частей), а наконецъ онъ явился переводчикомъ Шопенгауера. Литературная роль г. Фета, однако, этимъ не кончается: нѣкогда онъ выступалъ какъ литературный критикъ, а въ началѣ шестидесятыхъ годовъ явился въ роли публициста, въ статьяхъ, нѣкогда обращавшихъ на себя вниманіе по той странной оппозиціи порядку вещей, наступившему послѣ 19-го февраля 1861 года, которая въ то время была еще необычна, а потомъ мало-по-малу сама стала порядкомъ вещей. Эта оппозиція въ свое время вызвала, между прочимъ, ѣдко шутливыя объясненія Салтыкова.

Эта оппозиція обратила тогда на себя особенное вниманіе, между прочимъ, по самому имени автора: непримиримая война противъ крестьянскихъ гусей, дѣлавшихъ потравы во владѣніяхъ г. Фета, казалась странной и несовмѣстимой съ тѣмъ нѣжнымъ лиризмомъ, къ которому читатель привыкъ въ другихъ произведеніяхъ г. Фета, и который, какъ предполагалъ читатель, долженъ былъ исключительно наполнять душу любимаго поэта. Читатель, однако, заблуждался: нѣжный лиризмъ очень спокойно соединялся въ идеяхъ и чувствахъ г. Фета съ практическими взглядами стараго вѣка, не мирившагося съ идеальностями освобожденія крестьянъ. И въ этомъ дѣйствительно заключается его литературный и общественный характеръ; съ этой точки зрѣнія и надо понимать какъ публицистическія сочиненія г. Фета, такъ и его воспоминанія.

Авторъ книги былъ достаточно замѣтнымъ лицомъ въ литературномъ поколѣніи, начавшемъ дѣйствовать въ сороковыхъ годахъ; его старѣйшіе друзья, какъ Тургеневъ и Боткинъ, были вполнѣ люди сороковыхъ годовъ; частью къ нимъ можетъ быть отнесенъ и самъ г. Фетъ. Но если съ понятіемъ „сороковыхъ годовъ" соединять тѣ взгляды и ту дѣятельность, какіе отличали кружокъ Бѣлинскаго и оттуда были въ значительной мѣрѣ унаслѣдованы Тургеневымъ, то г. Фетъ никакъ не можетъ быть причисленъ къ категоріи людей этой школы. Если, какъ мы упоминали, онъ съ перваго раза сошелся близко съ кружкомъ тогдашняго „Современника" и „Отечественныхъ Записокъ", гдѣ болѣе или менѣе велась традиція сороковыхъ годовъ, то пунктомъ сближенія были чисто художественныя достоинства лирическихъ произведеній г. Фета. Чистая поэзія, вопросы художества по наслѣдію отъ сороковыхъ годовъ и частью по тогдашнимъ тяжелымъ условіямъ литературы, продолжали быть господствующимъ интересомъ въ кружкѣ, главными представителями котораго были тогда поэты и беллетристы (Некрасовъ, Панаевъ, Тургеневъ, Гончаровъ, Григоровичъ, Дружининъ, Л. Н. Толстой, частью Писемскій). Съ этой чисто литературной стороны г. Фетъ сталъ желаннымъ го-

стемъ въ этомъ кругу. Съ перваго знакомства этотъ кружокъ заинтересовался тѣмъ, чтобы приготовить новое изданіе стихотвореній г. Фета; друзья составили особый ареопагъ, который взялъ на себя редакцію новаго сборника, чтобы отобрать лучшее, указать автору недостатки нѣкоторыхъ стихотвореній, требовавшихъ исправленія; за отсутствіемъ г. Фета изъ Петербурга, по службѣ (онъ былъ человѣкъ военный, уланъ), дѣло велось въ письмахъ, и заботливой нянькой изданія былъ Тургеневъ, въ то время, какъ въ извѣстной степени и послѣ, любившій отыскивать новые таланты и возиться съ ихъ произведеніями... Такъ это бывало и много позднѣе. Тургеневъ всегда былъ большимъ любителемъ стихотвореній г. Фета и, перечитывая ихъ въ печати или въ рукописи, внимательно наблюдалъ за качествами формы, и если попадался ему стихъ неудачный, онъ не давалъ г. Фету покоя, подшучивалъ надъ неловкимъ оборотомъ, сочинялъ на него смѣшныя пародіи, обвинялъ г. Фета, что такой-то стихъ выкраденъ у Ермила Кострова и т. п., что̀ иногда выходило дѣйствительно забавно. Но если это свидѣтельствовало о высокой оцѣнкѣ поэзіи г. Фета въ томъ кругу,—г. Фетъ далеко не принадлежалъ къ этому кругу по своимъ взглядамъ общественнымъ, и когда уже въ пятидесятыхъ годахъ, съ начала новаго царствованія, сталъ быстро измѣняться тонъ литературы и прежніе интересы, по преимуществу исключительно эстетическіе, были заслонены теоретическими и практическими вопросами общественными, то разнорѣчіе стало очевиднымъ.

Конецъ пятидесятыхъ годовъ и 19-е февраля 1861 г. стали чрезвычайно характерной мѣркой для опредѣленія внутренняго содержанія—не идей, а отдѣльныхъ дѣятелей сороковыхъ годовъ. Какъ будемъ имѣть случай видѣть далѣе, для многихъ изъ этихъ людей сороковыхъ годовъ испытаніе исторіи оказалось не подъ силу. Въ свое время на нихъ, повидимому, недостаточно сильно отразилось направленіе идей Бѣлинскаго за послѣдніе годы его жизни; они принимали его слишкомъ отвлеченно; съ другой стороны, нѣсколько лѣтъ крайнихъ литературныхъ стѣсненій послѣ 1848 года, ограничивая ихъ исключительно эстетическими интересами, ослабили ту общественную сторону, на которой подъ конецъ жизни все болѣе сосредоточивался самъ Бѣлинскій. Но вліяній этого направленія сороковыхъ годовъ, которыя все-таки еще держались въ пятидесятыхъ годахъ, г. Фетъ совсѣмъ не зналъ, и въ этомъ отношеніи, вѣроятно, уже въ то время могла бы оказаться значительная разница между нимъ и литературнымъ кругомъ, съ которымъ онъ теперь сошелся; а впослѣдствіи г. Фетъ

совершенно естественно примкнулъ къ другимъ людямъ „сороковыхъ годовъ", которые въ шестидесятыхъ годахъ откровенно стали на реакціонную дорогу. Г. Фетъ въ союзѣ съ „Русскимъ Вѣстникомъ" ничему не измѣнилъ: онъ и ранѣе держался тѣхъ взглядовъ, какіе излагалъ въ статьяхъ, вызывавшихъ упомянутыя нападенія Салтыкова.

Г. Фетъ, повидимому, и всегда стоялъ въ общественныхъ вопросахъ на точкѣ зрѣнія людей стараго вѣка и „либераломъ" никогда не бывалъ. Воспоминанія его начинаются прямо съ конца сороковыхъ годовъ, когда онъ давно уже былъ въ военной службѣ. О прежней жизни и школѣ онъ упоминаетъ потомъ только при случайныхъ поводахъ. Мы узнаёмъ, что онъ, будучи сыномъ богатаго помѣщика средней губерніи Шеншина и называвшись въ дѣтствѣ также Шеншинымъ (съ этимъ именемъ онъ поступилъ и въ первую школу), былъ потомъ и переименованъ въ Фета (по фамиліи его матери), по причинамъ, которыя долго были ему непонятны и очень смущали мальчика, а потомъ и взрослаго человѣка: его родные братья и сестры были Шеншины, когда онъ оставался Фетомъ. Только впослѣдствіи, очень долго спустя, загадка ему объяснилась: бракъ его родителей первоначально совершенъ былъ только по лютеранскому обряду, по вѣроисповѣданію матери, и дѣйствительность его была признана только тогда, когда онъ былъ дополненъ обрядомъ православнымъ. Быть можетъ, въ связи съ этими семейными обстоятельствами произошло то, что первые годы школьнаго обученія мальчикъ провелъ вдали отъ семьи, а именно въ остзейскомъ краѣ, и учился здѣсь нѣсколько лѣтъ въ нѣмецкой школѣ въ городѣ Верро. Впослѣдствіи онъ слушалъ курсъ въ московскомъ университетѣ, а затѣмъ мы видимъ его въ военной службѣ, въ уланскомъ полку. Не видно, какъ складывались понятія молодого человѣка, какія умственныя и нравственныя вліянія опредѣлили направленіе его литературныхъ вкусовъ и общественныхъ понятій; видно, однако, что вкусы литературные съ самаго начала были очень развиты, безъ сомнѣнія, благодаря и тому, что сильно сказывалась и собственная потребность лирическаго творчества. Въ концѣ сороковыхъ и въ началѣ пятидесятыхъ годовъ г. Фетъ уже работаетъ надъ Гораціемъ, съ чего начались его такъ распространившіяся потомъ работы надъ переводами римскихъ классиковъ.

Въ сороковыхъ годахъ уже составилась репутація г. Фета, какъ своеобразнаго лирическаго поэта, которому по временамъ нѣкоторые изъ его почитателей придавали даже весьма преувеличенное значеніе. Но если въ интересахъ чистаго искусства, между

прочимъ также въ знакомствѣ съ „нѣмцами“ и съ Шекспиромъ, г. Фетъ находилъ себѣ ближайшихъ союзниковъ въ людяхъ сороковыхъ годовъ, какъ, напримѣръ, Тургеневъ и Боткинъ, то съ самаго начала онъ былъ чуждъ общественнымъ интересамъ кружка. Его собственныя представленія сложились въ кругу военной службы николаевскихъ временъ и въ помѣщичьемъ быту. Какъ дальше увидимъ, эта послѣдняя черта очень своеобразно и странно отразилась и на его понятіяхъ о самой литературѣ.

Мы замѣчали уже, что „Воспоминанія“ г. Фета принадлежать къ разряду мемуаровъ личныхъ въ самомъ тѣсномъ смыслѣ слова. Едва ли не три четверти книги заняты разсказомъ о его домашнихъ и родственныхъ дѣлахъ, и если воспоминанія г. Фета представляютъ живой историческій интересъ, то это происходитъ потому, что въ кругу его друзей, и очень близкихъ, были Тургеневъ, Василій Боткинъ, Л. Н. Толстой, а также и братъ послѣдняго, рано умершій и талантливый, Николай Николаевичъ Толстой, и разсказывая о своихъ встрѣчахъ и бесѣдахъ съ ними, г. Фетъ приводитъ цѣлый рядъ ихъ писемъ къ нему, нерѣдко весьма характерныхъ для ихъ опредѣленія. Мы воспользуемся нѣсколькими примѣрами, какъ чертами тогдашней литературной жизни, а сначала приведемъ два, три эпизода, имѣющихъ другой интересъ.

Во время Крымской войны полкъ, гдѣ служилъ г. Фетъ, подвинутъ былъ въ остзейскій край: походъ пришелся зимой или ранней весной, способы передвиженія были еще первобытные, въ ту пору года дороги были, въ настоящемъ смыслѣ слова, ужасны, и нашему поэту, исправлявшему тогда хлопотливую должность полкового казначея, пришлось въ особенности испытать неудобства, которыя могли обойтись даромъ только крѣпкому, закаленному здоровью. На пути отъ Петербурга приключилась, напримѣръ, слѣдующая встрѣча:

„Въ началѣ марта погода изъ снѣжной и морозной измѣнилась въ теплую и дождливую, превращая путь нашъ въ снѣжную кашицу по колѣно лошади. Конечно, для насъ не стали бы церемониться, но передвигали не только нашу артиллерію, но и осадную, и потому дорога была занята тысячами чухонъ, расчищавшихъ снѣгъ.

„Идемъ и нагоняемъ засѣвшій въ сугробы обозъ съ санями, въ которыя запряжены по двѣ и по три тройки, и намъ приходится въ одинъ конь пробираться мимо этой кричащей и загораживающей дорогу вереницы.

„— Куда это вы, братцы?—спросишь обознаго солдатика.

„— Осадныя орудія изъ Свеаборга въ Ригу веземъ.—Версты черезъ четыре обгоняемъ новый обозъ съ красными флагами.

„— Куда вы?

„— Изъ Свеаборга въ Ригу порохъ доставляемъ.

„Черезъ нѣсколько верстъ попадаются на встрѣчу такіе же обозы, везущіе осадныя орудія изъ Риги въ Свеаборгъ. Ясно, что люди и лошади надрываются вслѣдствіе канцелярской неурядицы“ (стр. 46).

Другая черта тогдашняго военнаго искусства изъ того же похода: „Изъ страха какихъ-либо случайностей, батарейныя орудія никогда не помѣщаются,—а тѣмъ болѣе въ походѣ,—на дворахъ, а всегда на открытомъ полѣ подъ карауломъ часовыхъ. Мѣста на походѣ изъ предосторожности указываются учеными офицерами, знакомыми съ топографіею.

„За день до нашего вступленія въ Ревель, такой ученый отвелъ батареѣ весьма гладкую снѣжную равнину. Каковъ же былъ переполохъ, когда утромъ зачерпнувшіеся водою берега показали, что батарея ночевала на дрябломъ весеннемъ льду озера, грозившаго ежеминутно поглотить довѣренныя ему орудія“ (стр. 50).

Остзейскій край, гдѣ полкъ простоялъ довольно долго, былъ уже знакомъ г. Фету по воспоминаніямъ его дѣтства и юности, и теперь (въ первой половинѣ пятидесятыхъ годовъ) производилъ на него самое пріятное впечатлѣніе. Любопытно сравнить это впечатлѣніе съ нынѣшними толками объ этомъ краѣ. На походѣ офицеры не могли нахвалиться гостепріимствомъ и любезностью, съ какими встрѣчали ихъ остзейскіе помѣщики. Разсказывая объ этомъ, г. Фетъ замѣчаетъ, что не вдается въ политическія соображенія и передаетъ только „непосредственныя впечатлѣнія“.

„Покинулъ я остзейскія губерніи, гдѣ въ пансіонѣ Крюммера провелъ три года, на шестнадцатилѣтнемъ возрастѣ, т.-е. въ такія лѣта, когда человѣкъ удовлетворяется прямымъ знакомствомъ съ окружающими его предметами и не чувствуетъ потребности сводить итоги впечатлѣній.

„При новомъ вступленіи въ остзейскій край, мнѣ было 34 года, и я не могу умолчать о произведенномъ на меня впечатлѣніи культурной страны, которую глазъ безпрестанно сравнивалъ съ нашею Русью.

„Я долженъ признаться, что сравниваю тогдашнее состояніе остзейскаго края, котораго не видалъ съ тѣхъ поръ, съ теперешнимъ положеніемъ нашего черноземнаго населенія, близко мнѣ знакомымъ. Разница выходитъ громадная.

„Почва этого края не выдерживаетъ никакого сравненія съ нашей черноземною полосою, а между тѣмъ жители съумѣли воспользоваться всѣми данными, чтобы добиться не только вѣрнаго, но и прочнаго благоустройства. Поля воздѣланы со всевозможною тщательностью, всюду проложены не широкія, но прекрасно содержанныя шоссе; лѣса, дичина и рыболовство не подвергнуты безпощадному расхищенію; небольшія, круглыя и сильныя крестьянскія лошади прекрасно содержаны, и вы не встрѣтите ни тощихъ клячъ, попадающихся у насъ на каждомъ шагу, ни нищихъ.

„Всѣ дворянскіе дома и усадьбы, переходящіе отъ отца къ сыну, массивно сложены изъ гранитныхъ камней, обильно разбросанныхъ по полямъ.

„Такимъ образомъ камни сослужили двѣ службы: сошли съ полей и построили усадьбы и шоссе. Дворяне не дробятъ имѣній, а передаютъ ихъ одному изъ сыновей, помогающему братьямъ на избранномъ ими поприщѣ государственной или частной службы. Дочери богатаго графа, обносящія вокругъ стола кушанья, ясно указываютъ на то, что дворяне полагаютъ униженіе своего достоинства не въ этомъ актѣ и ему подобныхъ, а въ чемъ-то другомъ, хотя преисполнены чувствомъ собственнаго достоинства никакъ не менѣе нашихъ, и не сразу бы поняли слово *опроститься*. Словомъ, весь жизненный строй напоминаетъ растеніе, расцвѣтъ котораго не мѣшаетъ ему глубоко пускать корни въ почву, запасаясь все новыми силами".

Въ образчикъ остзейскихъ нравовъ авторъ, между прочимъ, приводитъ одного господина въ Балтійскомъ-Портѣ. „Ему могло быть 50 лѣтъ, и ему принадлежали три или четыре изъ наилучшихъ домовъ небольшого города, въ которомъ онъ сосредоточивалъ главнѣйшіе виды власти и обязанностей. Такъ, онъ былъ градоначальникомъ, органистомъ и проповѣдникомъ въ домовой лютеранской церкви и кромѣ того (если не ошибаюсь въ выраженіи)—консуломъ, провѣрявшимъ путевые журналы всѣхъ приходящихъ на рейдъ кораблей; онъ же являлся безапелляціоннымъ судьею въ возникавшихъ на корабляхъ несогласіяхъ и смутахъ. Человѣкъ онъ былъ скромный, положительный и неглупый".

Не касаясь чисто личныхъ дѣлъ, военно-служебныхъ отношеній и приключеній г. Фета, обратимся къ его отношеніямъ литературнымъ. Изъ позднѣйшаго дружескаго кружка, въ который г. Фетъ вступилъ въ пятидесятыхъ годахъ, самое раннее знакомство его было съ Тургеневымъ. Въ первый разъ онъ увидѣлъ его, еще не познакомившись и не обративъ на него вни-

манія, въ началѣ сороковыхъ годовъ, когда мелькомъ встрѣтилъ его у Шевырева. „Въ комнату вошелъ высокаго роста молодой человѣкъ, темнорусый, въ модной тогда „листовской“ прическѣ и въ черномъ, до верху застегнутомъ, сюртукѣ. Такъ какъ появленіе его нисколько меня не интересовало, то въ памяти моей не удержалось ни одного слова изъ ихъ непродолжительной бесѣды; помню только, что молодой человѣкъ о чемъ-то просилъ профессора, и самое воспоминаніе объ этой встрѣчѣ, вѣроятно, совершенно изгладилось бы у меня, еслибы по уходѣ Степанъ Петровичъ не сказалъ: „какой странный этотъ Тургеневъ: надняхъ онъ явился съ своей поэмой „Параша“, а сегодня хлопочетъ о полученіи каѳедры философіи при московскомъ университетѣ“ (т. I, стр. 1—2). Быть можетъ, рѣчь шла только о магистерствѣ по философіи, которое Тургеневъ тогда дѣйствительно имѣлъ въ виду. Г. Фетъ замѣчаетъ, что впослѣдствіи ему не случилось спросить Тургенева, помнилъ ли онъ эту первую встрѣчу; а относительно философіи, г. Фетъ говоритъ дальше, что это было бы вовсе не дѣло Тургенева, который впослѣдствіи недоумѣвалъ надъ своими берлинскими тетрадками по философіи.—Это весьма вѣроятно.

Авторъ „Воспоминаній“ не разъ отказывается опредѣлять съ точностью хронологію разсказываемыхъ имъ фактовъ; но, судя по обстоятельствамъ, вторая встрѣча и настоящее знакомство произошли около 1852 года, когда Тургеневъ былъ высланъ на жительство въ деревню вслѣдствіе статьи его о смерти Гоголя. Г. Фетъ пріѣхалъ въ отпускъ въ отцовскую деревню, которая была въ недалекомъ сосѣдствѣ отъ извѣстнаго Спасскаго-Лутовинова. Сестра г. Фета познакомилась съ Тургеневымъ у общихъ деревенскихъ знакомыхъ, и передала брату его приглашеніе въ Спасское. Они взаимно интересовались знакомствомъ, такъ какъ г. Фетъ „давно восхищался стихами и прозой Тургенева“, а послѣдній говорилъ сестрѣ: „вашъ братъ—энтузіастъ, а я жажду знакомства съ подобными людьми“. Встрѣча состоялась сначала у тѣхъ же общихъ знакомыхъ, потомъ у Тургенева въ Спасскомъ. Отецъ г. Фета предостерегалъ его отъ этого знакомства: „напрасно ты заводишь это знакомство; вѣдь ему запрещенъ въѣздъ въ столицы и онъ подъ надзоромъ полиціи“. „Стоило большого труда убѣдить отца, что эти обстоятельства до меня не касаются, и что порядочное общество тѣмъ не менѣе его не чуждается“. Послѣ отецъ нѣсколько примирился съ этимъ знакомствомъ, но увѣщевалъ: „успокой ты меня въ одномъ: никогда ему не пиши“.

Обстановка быта въ Спасскомъ, конечно, была традиціонная

помѣщичья. „Меня,—разсказываетъ г. Фетъ,—не могло не поразить окружавшее его множество лакеевъ, которыхъ и у насъ въ домѣ была едва ли не дюжина; но у насъ, какъ у всѣхъ остальныхъ, они появлялись въ лакейскихъ съ утра и въ домѣ не оставались; у Тургенева же я замѣтилъ въ двухъ-трехъ сосѣднихъ съ пріемною комнаткахъ кровати и столики, у которыхъ стояли длиннѣйшіе чубуки отъ трубокъ со вспухнувшей табачной золою, хотя самъ Тургеневъ никогда не курилъ. Въ этихъ-то комнатахъ, видимо, помѣщались лакеи, при которыхъ, какъ я узналъ впослѣдствіи, состояли казачки для набиванія трубокъ и другихъ послугъ" (стр. 4—8).

Затѣмъ въ половинѣ пятидесятыхъ годовъ, будучи по службѣ въ Петербургѣ, г. Фетъ окончательно сблизился съ Тургеневымъ, къ которому питалъ „фанатическое поклоненіе", а также съ кружкомъ тогдашняго „Современника": всего чаще этотъ кружокъ собирался за обѣдами или ужинами у Некрасова.

„Тутъ я, послѣ долгихъ лѣтъ, встрѣтилъ В. П. Боткина, по прежнему обоюдоостраго, т.-е. одинаково умѣвшаго быть нестерпимо рѣзкимъ и елейно-сладкимъ. Познакомился съ А. В. Дружининымъ... Съ перваго знакомства сошелся съ веселымъ М. Н. Лонгиновымъ [1]), сохранившимъ ко мнѣ пріязнь до своей смерти; съ П. В. Анненковымъ, И. А. Гончаровымъ и повсегдатаемъ всѣхъ литературныхъ обѣдовъ, М. А. Языковымъ, входившимъ въ комнату, шатаясь на своихъ кривыхъ ножкахъ, и съ неизмѣнною улыбкою на лицѣ [2]).

„Все это веселое общество, въ ожиданіи обѣда, усаживалось на мягкой мебели хозяйскаго кабинета, разсказывая другъ другу забавные анекдоты. Хохотъ и шумъ только прерывались съ появленіемъ новаго гостя" (стр. 32 и д.).

Около того же времени къ этому кружку присоединился не надолго графъ Л. Н. Толстой. Онъ прибылъ въ Петербургъ чуть ли не прямо изъ Севастополя. Лишь года за два, за три передъ тѣмъ появились въ „Современникѣ" его первыя произведенія: за „Дѣтствомъ" послѣдовало „Отрочество", потомъ „Юность", наконецъ „Севастопольскіе разсказы", и буквы Л. Н. Т. уже несли съ собой славу писателя первостепенной величины. Мы помнимъ то время, когда, впервые явившись въ литературномъ кругу, Л. Н. Толстой былъ встрѣченъ здѣсь съ величайшими и несо-

---

[1]) Впослѣдствіи это былъ начальникъ главнаго управленія по дѣламъ печати. Въ тѣ годы складъ его вкусовъ былъ иной.

[2]) Здѣсь не названъ еще Д. В. Григоровичъ, тогда, впрочемъ, не постоянно жившій въ Петербургѣ. О немъ упомянуто г. Фетомъ позднѣе.

мнѣнно вполнѣ искренними сочувствіями, какъ богатая надежда русской литературы. Послѣ, въ извѣстной „Исповѣди“, непріятно тяжело было читать страницы, изъ которыхъ можно было видѣть, что эти сочувствія не были столь же искренно оцѣнены самимъ писателемъ. Быть можетъ, теперь еще не время опредѣлять сложныя литературныя отношенія того времени, и мы ограничимся тѣмъ, что находимъ для ихъ объясненія въ сообщеніяхъ г. Фета.

Около того же времени, въ другой пріѣздъ въ Петербургъ, г. Фетъ въ первый разъ познакомился съ гр. Толстымъ, съ которымъ впослѣдствіи былъ въ близкой дружбѣ. Авторъ „Воспоминаній“ каждое утро навѣщалъ Тургенева, у него познакомился съ Л. Н. Толстымъ, и тутъ же на первыхъ порахъ увидѣлъ, что при всѣхъ дружескихъ отношеніяхъ было здѣсь разнорѣчіе, которое дѣйствительно осталось навсегда, и корень котораго лежалъ не только въ разнорѣчіи двухъ личныхъ характеровъ, но въ столкновеніи принципіальномъ, въ разныхъ міровоззрѣніяхъ, въ различномъ отношеніи къ жизни. Какъ можно видѣть изъ показаній самого Л. Н. Толстого въ „Исповѣди“, ему самому это міровоззрѣніе не было ясно, и въ ту минуту въ спорахъ Л. Н. Толстого съ Тургеневымъ сказалась борьба не какихъ-либо опредѣленныхъ системъ, а только ихъ, такъ сказать, стихійныхъ зачатковъ.

„...Три-четыре дня моего пребыванія на этотъ разъ въ Петербургѣ,—разсказываетъ г. Фетъ,—я проводилъ преимущественно въ литературномъ кругу. Тургенева я нашелъ уже на новой и болѣе удобной квартирѣ въ томъ же домѣ Вебера, и слугою у него былъ уже не Иванъ, а извѣстный всему литературному кругу Захаръ [1]). Тургеневъ вставалъ и пилъ чай (по-петербургски) весьма рано, и въ короткій мой пріѣздъ я ежедневно приходилъ къ нему къ десяти часамъ потолковать на просторѣ. На другой день, когда Захаръ отворилъ мнѣ переднюю, я въ углу замѣтилъ полусаблю съ анненской лентой.

„— Что это за полусабля?—спросилъ я, направляясь въ дверь гостиной.

„— Сюда пожалуйте,—вполголоса сказалъ Захаръ, указывая налѣво въ корридоръ.—Это полусабля графа Толстого, и они у насъ въ гостиной ночуютъ. А Иванъ Сергѣевичъ въ кабинетѣ чай кушаютъ.

„Въ продолженіе часа, проведеннаго мною у Тургенева, мы

---

[1]) Въ другомъ мѣстѣ (стр. 84) г. Фетъ говоритъ о немъ, какъ о „тонкомъ Захарѣ, литературнымъ мнѣніемъ котораго Тургеневъ далеко не пренебрегалъ“.

говорили вполголоса изъ боязни разбудить спящаго за дверью графа.

„— Вотъ все время такъ,—говорилъ съ усмѣшкой Тургеневъ. —Вернулся изъ Севастополя съ баттареи, остановился у меня и пустился во всѣ тяжкія. Кутежи, цыгане и карты во всю ночь; а затѣмъ до двухъ часовъ спитъ какъ убитый. Старался удерживать его, но теперь махнулъ рукою.

„Въ этотъ же пріѣздъ мы и познакомились съ Толстымъ, но знакомство это было совершенно формальное, такъ какъ я въ то время еще не читалъ ни одной его строки и даже не слыхалъ о немъ, какъ о литературномъ имени, хотя Тургеневъ толковалъ о его разсказахъ изъ дѣтства. Но съ первой минуты я замѣтилъ въ молодомъ Толстомъ невольную оппозицію всему общепринятому въ области сужденій. Въ это короткое время я только однажды видѣлъ его у Некрасова вечеромъ въ нашемъ холостомъ литературномъ кругу и былъ свидѣтелемъ того отчаянія, до котораго доходилъ кипятящійся и задыхающійся отъ спора Тургеневъ на видимо сдержанныя, но тѣмъ болѣе язвительныя выраженія Толстого.

„— Я не могу признать,—говорилъ Толстой,—чтобы высказанное вами было вашими убѣжденіями. Я стою съ кинжаломъ или саблею въ дверяхъ и говорю: „пока я живъ, никто сюда не войдетъ“. Вотъ это убѣжденіе. А вы другъ отъ друга стараетесь скрывать сущность вашихъ мыслей и называете это убѣжденіемъ.

„— Зачѣмъ же вы къ намъ ходите?—задыхаясь и голосомъ, переходящимъ въ тонкій фальцетъ (при горячихъ спорахъ это постоянно бывало), говорилъ Тургеневъ.—Здѣсь не ваше знамя! Ступайте къ княгинѣ Б—й—Б—й!

— Зачѣмъ мнѣ спрашивать у васъ, куда мнѣ ходить! и праздные разговоры ни отъ какихъ моихъ приходовъ не превратятся въ убѣжденія.

„Припоминая теперь, — продолжаетъ г. Фетъ, — это едва ли не единственное столкновеніе Толстого съ Тургеневымъ, которому я въ то время былъ свидѣтелемъ, не могу не сказать, что хотя я понималъ, что дѣло идетъ о политическихъ убѣжденіяхъ, но вопросъ этотъ такъ мало интересовалъ меня, что я не старался вникнуть въ его содержаніе. Скажу болѣе. По всему, слышанному мною въ нашемъ кружкѣ, полагаю, что Толстой былъ правъ, и что еслибы люди, тяготившіеся современными порядками, были принуждены высказать свой идеалъ, то были бы въ величайшемъ затрудненіи формулировать свои желанія“ (стр. 105—107).

Въ этомъ послѣднемъ авторъ „Воспоминаній“ значительно оши-

бается. „Идеалъ" того времени въ этомъ кругу былъ довольно ясенъ: онъ выработался еще ранѣе у талантливѣйшихъ людей сороковыхъ годовъ, въ кругу Бѣлинскаго, Грановскаго, Герцена, Кавелина, самого Тургенева и т. д. Достаточно вникнуть въ ихъ тогдашнія произведенія, чтобы понять, въ какую сторону, къ какому міровоззрѣнію и какому складу общественныхъ порядковъ клонились ихъ стремленія и задушевные помыслы. Что они не формулировали ясно и точно своего идеала, это было совершенно естественно: для этого въ печати не было никакой возможности; но, повторяемъ, понять его было не трудно, и люди, близко принимавшіе къ сердцу внутренній смыслъ литературы сороковыхъ годовъ, хорошо понимали его. Болѣе ясные и категорическіе отголоски его можно было встрѣтить только внѣ печати, какъ напр. въ извѣстномъ письмѣ Бѣлинскаго къ Гоголю,—но въ ту пору одно имѣніе у себя этого письма считалось политическимъ преступленіемъ. Когда новая литературная школа восхищалась Гоголемъ и видѣла въ немъ основу будущаго развитія литературы, въ подкладкѣ, кромѣ художественнаго наслажденія, лежало глубокое нравственное удовлетвореніе, что русская жизнь открывается, наконецъ, для правдиваго изображенія, что въ этомъ правдивомъ изображеніи сказывается глубокій успѣхъ общественнаго сознанія. Когда Тургеневъ писалъ „Записки Охотника", впервые создавшія его литературную славу, здѣсь опять, кромѣ художественнаго наслажденія, было нравственное удовлетвореніе, что литература, хотя косвенно, но съ серьезнымъ *убѣжденіемъ* затронула одинъ изъ капитальнѣйшихъ вопросовъ всей русской жизни, отъ рѣшенія котораго прямо зависѣло наше будущее. Когда Тургеневъ за невинную статью, въ которой, по смерти Гоголя, высказалъ общественную скорбь о потерѣ великаго писателя, подвергнутъ былъ какъ бы намѣренно позорящему заключенію въ части [1]), а потомъ высылкѣ въ деревню,—чего тутъ было формулировать? Ясно было до послѣдней степени приниженное состояніе литературы, т.-е. просвѣщенія, т.-е. одного изъ драгоцѣннѣйшихъ правъ лица и общества—права сознанія. Освобожденіе крестьянъ, расширеніе просвѣщенія, какой-либо просторъ для общественной самодѣятельности, улучшеніе быта литературы, реформа суда и т. п.—таковы были совершенно опредѣленныя желанія лучшей части общественнаго мнѣнія еще съ сороковыхъ годовъ, и именно потому, что понятіе о необходимости преобразованія такого рода

[1]) Въ прежнее время цензоровъ за ихъ провинности сажали все-таки на гауптвахту, что̀ было болѣе почетно.

въ общихъ чертахъ уже выработалось, со второй половины пятидесятыхъ годовъ законодатель могъ найти ревностныхъ и компетентныхъ исполнителей реформъ, задуманныхъ въ этомъ направленіи.

Г. Фетъ или кто-нибудь другой напрасно и обращался бы тогда къ Тургеневу (или вообще къ кружку), чтобы онъ „формулировалъ" эти вопросы: въ общихъ чертахъ, Тургеневъ, конечно, могъ бы указать ему на упомянутыя потребности русской жизни (частью онѣ были достаточно имъ извѣданы на себѣ самомъ), но „формулировать" ихъ сполна было бы, во-первыхъ, въ ту минуту безплодно, а во-вторыхъ, и невозможно, потому что еслибы шла рѣчь объ ихъ практическомъ примѣненіи, для этого потребовались бы сложныя спеціальныя изученія, словомъ, законодательная работа, которая и была впослѣдствіи выполнена цѣлыми оффиціальными коммиссіями. Въ дополненіе къ тому, чтò разсказывалъ г. Фетъ, какъ очевидецъ, о столкновеніяхъ Тургенева съ Л. Н. Толстымъ, онъ приводитъ еще подобный разсказъ г. Григоровича (стр. 107). Повидимому, въ связи съ этими обстоятельствами авторъ „Воспоминаній" сообщаетъ здѣсь слѣдующее свое размышленіе: „Фригійская рѣка Меандръ, постоянно выставляемая древними поэтами въ примѣръ прихотливыхъ извивовъ, могла бы служить эмблемою прямо противоположныхъ фазисовъ, достигаемыхъ человѣческимъ міросозерцаніемъ при поступательномъ движеніи. Это и называется развитіемъ, но не заключаетъ въ себѣ непремѣнной перемѣны къ лучшему".

Повидимому, тогдашнее „развитіе" казалось г. Фету не къ лучшему (крестьянскій вопросъ и т. д.). Его собственные взгляды, между прочимъ, весьма рельефно характеризуются слѣдующими замѣчаніями о положеніи литературы:

„Хотя во время, о которомъ я говорю, вся художественно-литературная сила сосредоточивалась въ *дворянскихъ* рукахъ, но умственный и матеріальный трудъ издательства давно поступилъ въ руки *разночинцевъ*, даже и тамъ, гдѣ, какъ, напримѣръ, у Некрасова и Дружинина, журналомъ заправлялъ самъ издатель. Мы уже видѣли, какъ при тяготѣніи нашей интеллигенціи къ идеямъ, вызвавшимъ освобожденіе крестьянъ, сама дворянская литература дошла въ своемъ увлеченіи до оппозиціи кореннымъ дворянскимъ интересамъ, противъ чего свѣжій, неизломанный инстинктъ Льва Толстого такъ возмущался (?). Чтò же сказать о той средѣ, въ которой возникли „Искра" и всемогущій „Свистокъ" „Современника", передъ которымъ долженъ былъ замолчать самъ Некрасовъ? Понятно, что туда, гдѣ люди этой среды,

чувствуя свою силу, появлялись какъ домой, они вносили и свои пріемы общежитія. Я говорю здѣсь не о родословныхъ, а о той благовоспитанности, на которую указываетъ французское выраженіе: „enfant de bonne maison", рядомъ съ его противоположностью" (стр. 132).

Объясненіе такъ просто, что въ опроверженіяхъ по существу едва ли нуждается; но, съ точки зрѣнія самого г. Фета, мы нашли бы здѣсь нѣкоторую непослѣдовательность. Если литература (подразумѣвается: въ своихъ лучшихъ произведеніяхъ) была спеціально *дворянская*, какимъ образомъ считалось, что ея величайшія созданія были славой цѣлаго *народа*; при чемъ осталось то начало „народности", которое было провозглашено въ тридцатыхъ годахъ оффиціальною властью; какъ быть съ Ломоносовымъ, не только „разночинцемъ", но простымъ мужикомъ по происхожденію, котораго прославляли, однако, какъ основателя новой русской литературы; какъ быть съ тѣми разночинцами, которые играли немалую роль въ новѣйшемъ литературномъ развитіи, какъ Полевой и Надеждинъ (правда, современные дворяне ихъ не совсѣмъ одобряли); какъ быть съ совершеннѣйшимъ разночинцемъ Кольцовымъ и т. д.? Самъ Бѣлинскій, у котораго еще недавно поучались нѣкоторые изъ друзей г. Фета, былъ также въ родѣ разночинца, а Василій Боткинъ былъ купецъ. Наконецъ, тутъ же рядомъ г. Фетъ разсказываетъ о полнѣйшей неблаговоспитанности Писемскаго, которая не подлежала сомнѣнію, а однако Писемскій былъ дворянинъ.

Понятно, что если вопросъ поставленъ былъ такимъ образомъ, то достаточно было одного отсутствія титула, чтобы дискредитировать въ глазахъ автора „Воспоминаній" ту новую литературу, въ которой вскорѣ въ самомъ дѣлѣ появилось не мало разночинцевъ. Но опять, какъ быть съ тѣмъ вопіющимъ фактомъ, что въ этой новой литературѣ одною изъ первостепенныхъ силъ, ставшихъ на сторону непріятнаго г. Фету направленія, явился Салтыковъ, несомнѣнный и весьма стариннаго рода дворянинъ?

Словомъ, все положеніе вещей представляется здѣсь на-выворотъ. Если въ русской литературѣ, дѣйствительно, играли въ прежнее время немалую роль лица дворянскаго происхожденія,— это объяснялось очень просто тѣмъ, что въ дворянской средѣ, какъ служилой, было больше образованныхъ людей, способныхъ и къ литературному интересу и труду; но сказать, что эти люди служили только дворянскому интересу, было бы великой неправдой, и напротивъ, къ чести ихъ должно сказать, что въ лучшихъ между ними всегда жило стремленіе не къ сословной,

а къ всенародной пользѣ и просвѣщенію. Г. Фетъ какъ будто забылъ, что произведенія его близкаго друга Тургенева или не совсѣмъ имъ любимаго Некрасова имѣли въ существѣ направленіе вовсе не спеціально дворянское. Наконецъ, притокъ въ литературу талантливыхъ „разночинцевъ", видимо непріятный г. Фету, съ сословной точки зрѣнія, былъ очевидно явленіемъ весьма благопріятнымъ съ точки зрѣнія общенародной, потому что свидѣтельствовалъ именно о распространеніи образованія въ болѣе широкіе слои націи. Конечно, остается на отвѣтственности г. Фета то соображеніе, что гр. Толстой, расходясь съ тогдашнимъ литературнымъ кружкомъ, особливо въ лицѣ Тургенева, руководился тѣмъ, что ему не нравилась съ ихъ стороны „оппозиція" коренным дворянскимъ интересамъ. Г. Фетъ упоминаетъ о своихъ собственныхъ „многочисленныхъ спорахъ" съ Тургеневымъ, не указывая ихъ содержанія: вѣроятно, что здѣсь не обошлось безъ коренныхъ дворянскихъ интересовъ.

Однажды г. Фетъ приступилъ къ объясненію причины ихъ споровъ, но разсказъ остался не вполнѣ яснымъ. Дѣйствіе происходитъ во Франціи, когда г. Фетъ навѣстилъ Тургенева на дачѣ г. Віардо въ Куртавнелѣ.

„Какъ бы то ни было, я вынужденъ не только разсказать о вѣчныхъ нашихъ съ Тургеневымъ разногласіяхъ, но и объяснить ихъ источникъ, насколько я ихъ въ настоящее время понимаю. Ожесточенные споры наши, не разъ воспроизведенные подъ другими именами въ разсказахъ Тургенева (?), оставляли въ душѣ его до того постоянный слѣдъ, что, привезши мнѣ въ 1864 году изъ Баденъ-Бадена стихотворенія Мериме, онъ на первомъ листѣ написалъ: „врагу моему А. А. Фету на память пребыванія въ Петербургѣ въ январѣ 1864 г."... Г. Фетъ замѣчаетъ дальше: „говорить, что такой-то, открывающій на каждомъ шагу недостатки въ ребенкѣ или въ своей родинѣ, ненавидитъ своего сына или свое отечество, такъ же мало основательно, какъ по ежеминутнымъ восхваленіямъ и самохвальству заключать о безграничной любви". И затѣмъ онъ продолжаетъ: „Не странно ли, что споры, которымъ мы съ Тургеневымъ за тридцать лѣтъ безотчетно предавались съ такимъ ожесточеніемъ, нимало не потерявши своей ѣдкости, продолжаются между славянофилами и западниками по сей день, не взирая на многократныя ихъ обсужденія съ разныхъ сторонъ и указанія нагляднаго опыта?

„Никто не станетъ спорить, что отъ народнаго воспитанія зависитъ и народное благосостояніе, но чрезвычайно односторонне пріурочивать воспитаніе къ такому тѣсному кругу, какова грамот-

ность, оставляя другія безчисленныя вліянія, начиная съ народной и семейной среды, поддерживаемой законнымъ надзоромъ религіозной, отеческой и всякой иной власти. Въ этомъ отношеніи нельзя не видѣть, что наше народное воспитаніе съ шестидесятыхъ годовъ значительно пошло назадъ, а вслѣдъ затѣмъ пошло назадъ и народное благосостояніе. Принимая въ земледѣльческомъ государствѣ мѣриломъ общаго благосостоянія зерновой хлѣбъ, невозможно не сознаться, что до шестидесятыхъ годовъ отсутствіе у крестьянина двухъ-трехлѣтняго запасного одонка, обезпечивающаго, помимо сельскаго магазина, продовольствіе семьи на случай неурожая,—было исключеніемъ; тогда какъ въ настоящее время существованіе такого одонка представляетъ исключеніе. Но ограничимся указаніемъ на источникъ постоянныхъ нашихъ съ Тургеневымъ споровъ, при которыхъ въ запальчивости, особенно со стороны Тургенева, недостатка не было. Впослѣдствіи мы узнали, что дамы въ Куртавнелѣ, по-неволѣ слыша нашъ оглушительный гамъ на непонятномъ и гортанномъ языкѣ, наперерывъ восклицали: „Боже мой! они убьютъ другъ друга!" И когда Тургеневъ, воздѣвши руки и внезапно воскликнувъ: „батюшка! Христа ради не говорите этого!"—повалился мнѣ въ ноги, и вдругъ наступило взаимное молчаніе, дамы воскликнули: „вотъ они убили другъ друга!" (стр. 159—161).

Должно быть, что г. Фетъ говорилъ что-нибудь слишкомъ вопіющее на взглядъ Тургенева, если послѣдній на колѣняхъ умолялъ его прекратить его рѣчь (это колѣнопреклоненіе—шутливый или шутовской пріемъ, какіе Тургеневъ нѣкогда любилъ). Судя по счету одоньевъ, рѣчь шла вѣроятно о крѣпостномъ правѣ, отмѣна котораго, по мнѣнію убѣжденныхъ помѣщиковъ или крѣпостниковъ, стала причиной упадка крестьянскаго хозяйства. Не знаемъ, что̀ отвѣчалъ г. Фету Тургеневъ; но можно было сказать впередъ, а priori, что внезапная смѣна обязательнаго труда свободнымъ и столь же внезапное измѣненіе личнаго положенія огромной массы народа, еще наканунѣ находившагося въ полномъ рабствѣ, отразятся на первое время всякими хозяйственными и бытовыми неурядицами, что, по выраженію Некрасова, натянутая цѣпь, разорвавшись, ударитъ „однимъ концомъ по барину, другимъ по мужику"; наконецъ, нельзя забыть, что первымъ спутникомъ освобожденія было для мужика увеличеніе павшихъ на него всякаго рода сборовъ;—но исторія указала, что съ эпохи освобожденія крестьянъ и донынѣ чрезвычайно возросли цифры государственной силы и самого народнаго благосостоянія и просвѣщенія, то-есть, человѣческаго достоинства.

Воспоминанія г. Фета сообщаютъ многія характерныя черты тогдашняго быта, между прочимъ, и литературнаго. Не мало подробностей найдетъ здѣсь будущій біографъ Василія Боткина. Г. Фетъ тогда особенно сблизился съ нимъ, женившись на младшей сестрѣ Боткиныхъ. „Даже самый ненаблюдательный человѣкъ,—говоритъ г. Фетъ объ его роли въ семьѣ,—не могъ бы не замѣтить того вліянія, которое Василій Петровичъ незримо производилъ на всѣхъ окружающихъ. Замѣтно было, что насколько всѣ покорялись его нравственному авторитету, настолько же старались избѣжать рѣзкихъ его замѣчаній, на которыя онъ такъ же мало скупился въ кругу родныхъ, какъ и въ кругу друзей. Кромѣ того, всѣ только весьма недавно испытали его педагогическое вліяніе, такъ какъ, вліяя съ свою очередь и на покойнаго отца своего, Василій Петровичъ младшихъ братьевъ провелъ черезъ университетъ, а сестрамъ нанималъ на собственный счетъ учителей, по предметамъ, знаніе которыхъ считалъ необходимымъ“ (стр. 188). Нѣсколько похожую на это роль онъ игралъ и въ своемъ литературномъ кругу. Онъ былъ въ немъ однимъ изъ наиболѣе образованныхъ людей, былъ человѣкъ со вкусомъ и нерѣдко игралъ роль ментора, напримѣръ, относительно увлекавшагося Тургенева, который, восхищаясь какимъ-нибудь вновь имъ отысканнымъ талантомъ, встрѣчалъ иногда со стороны Боткина суровые репримацды и нравоученія. Въ домѣ Боткиныхъ г. Фетъ видѣлъ и Аполлона Григорьева.

„Памятна мнѣ во всѣхъ подробностяхъ небольшая сцена на другой или третій день праздниковъ, о которой не могу и понынѣ вспомнить безъ улыбки. Между залой съ накрытымъ обѣденнымъ столомъ и гостиной, въ небольшой диванной была приготовлена закуска, къ которой приглашали гостей. Помню, что черезъ залу прошелъ Аполлонъ Григорьевъ въ новой съ иголочки черной венгеркѣ со шнурами, басономъ и костыльками, напоминавшей боярскій кафтанъ. На ногахъ у него были ярко вычищенные сапоги съ высокими голенищами, вырѣзанными подъ колѣнями сердечкомъ. Когда Григорьевъ, въ свою очередь, ушелъ въ дверь диванной, чтобы раскланяться съ хозяйкой,—сидѣвшая въ концѣ залы на паркетѣ годовая дѣвочка, дочь хозяйки дома, вдругъ поднялась на ножки и, смотря вслѣдъ Григорьеву, закивала головой, подымая правую рученку ко лбу.

„— Посмотрите, посмотрите!—смѣясь, воскликнулъ Василій Петровичъ:—Надя-то молится вслѣдъ Григорьеву; она сочла его за священника. Дѣйствительно,—продолжалъ Василій Петровичъ,—такіе сапоги носитъ старое купечество, хотя въ нихъ собственно

ничего нѣтъ русскаго. Это принадлежность костюма восемнадцатаго вѣка, и консерватизмъ выражается вѣрностью старинной модѣ. То, что было когда-то знаменемъ неудержимаго франтовства, стало теперь эмблемою степенства".

„Въ подтвержденіе справедливаго замѣчанія Василія Петровича, я вспомнилъ франтоватыхъ молодыхъ гостей, пріѣзжавшихъ къ намъ въ Новоселки въ двадцатыхъ годахъ, именно въ высокихъ сапогахъ, въ какихъ изображаютъ Александра Перваго" (стр. 189—190).

Иногда оживлялась и квартира г. Фета, гдѣ онъ жилъ съ своимъ стариннымъ другомъ Борисовымъ. „Такому оживленію много способствовалъ умный, талантливый и пылкій энтузіастъ, давнишній мой пріятель, Ст. Ст. Громека, бывшій въ то время начальникомъ жандармскаго дивизіона николаевской дороги. Онъ самъ когда-то во время оно писалъ стихи и былъ до болѣзненности чутокъ на все эстетическое. Сюда же весьма часто изъ-за Москвы-рѣки хаживалъ Ап. Григорьевъ. И когда, бывало, эти два энтузіаста—Громека и Григорьевъ—сойдутся за вечернимъ чаемъ, наше скромное обиталище превращается въ Геликонъ. Григорьевъ, несмотря на бѣдный голосокъ, доставлялъ искренностью и мастерствомъ своего пѣнія дѣйствительное наслажденіе. Онъ собственно не пѣлъ, а какъ бы пунктиромъ обозначалъ музыкальный контуръ пьесы. Пѣвалъ онъ по цѣлымъ вечерамъ, время отъ времени освѣжаясь новымъ стаканомъ чаю, а затѣмъ, нерѣдко около полуночи, уносилъ домой пѣшкомъ свою гитару".

„Говоря о цыганскихъ и русскихъ пѣсняхъ вообще, Григорьевъ однажды съ величайшимъ энтузіазмомъ сталъ разсказывать о двухъ вольноотпущенныхъ гитаристахъ, играющихъ въ одномъ погребкѣ въ Сокольникахъ". Въ назначенный день вся компанія отправилась въ погребокъ въ Сокольники: „И дѣйствительно, трудно было съ бо́льшимъ навыкомъ, играя первую и вторую гитару, съ большей гармоніей и блескомъ выводить русскую пѣсню изъ ея задушевнаго напѣва на свѣтъ Божій. Григорьевъ торжествовалъ, чувствуя одержанную надъ всѣми нами полную побѣду. Сколько разъ впослѣдствіи слушателямъ этого импровизованнаго концерта приходилось съ восторгомъ вспомнить о немъ!" (стр. 193—194).

Громека впослѣдствіи сталъ извѣстнымъ публицистомъ, впрочемъ, съ весьма неяснымъ образомъ мыслей, а затѣмъ губернаторомъ въ одной изъ западныхъ губерній, гдѣ его имя связано съ уничтоженіемъ остатковъ уніи. Аполлонъ Григорьевъ, безъ сомнѣнія, человѣкъ замѣчательный и интересный, остается, къ со-

жалѣнію, до сихъ поръ мало объясненъ: для его опредѣленія въ особенности важна была бы біографія, которая могла бы быть написана только людьми, близко его знавшими, но этой біографіи и до сихъ поръ нѣтъ. Въ „Воспоминаніяхъ" г. Фета онъ упомянутъ только два, три раза вскользь. Между прочимъ, помѣщено здѣсь письмо Григорьева отъ 1858 года, съ такими литературными сужденіями:

„...Радъ твоимъ стихамъ, которые прилетаютъ ко мнѣ:

„Какъ май ароматный
Въ дыханьи весны,
Какъ гость благодатный
Съ родной стороны"...

какъ гласитъ цыганская пѣсня; пожалуйста, не вѣрь ты въ отношеніи къ своимъ стихамъ никому, кромѣ Боткина и меня, развѣ только подвергай ихъ иногда математическому анализу Эдельсона,—это для ихъ здраваго смысла, и кромѣ того у него есть особенное *яркое* чутье, или чутье на *яркое*, но только на яркое, рѣдко на тонкое и музыкально-неуловимое. Вообще вѣрь только *критикамъ* въ этомъ дѣлѣ, а не поэтамъ, т.-е. ни Тургеневу, ни Толстому, ни даже Островскому, по той простой причинѣ, что они всегда смотрятъ сквозь свою призму. Наилучшее доказательство—несчастное изданіе второе, Тургеневское. Толстой, вглядываясь въ его натуру сквозь его произведенія, поставилъ себѣ задачею даже съ нѣкоторымъ насиліемъ *гнать* музыкально-неуловимое въ жизни, правственномъ мірѣ, художествѣ. Въ этомъ пока его сила, въ этомъ его и слабость. Островскій шире всѣхъ, конечно, но съ нимъ другая бѣда; онъ часто *подкладываетъ* свое и готовъ предобросовѣстно восторгаться шумихой Мея".

Дальше біографическая черта:

„Ты знаешь или видишь достаточно, что жизнь моя вся искалѣчена, запутана, перепутана во всякомъ отношеніи. Выйти изъ этой путаницы даже и надежды мало. Знаю, что по возвратѣ пущусь издавать журналъ напропалую, т.-е. съ глубокою вѣрою въ *истинность* своего литературнаго взгляда, съ глубочайшимъ невѣріемъ въ успѣхъ журнала. При этой адской запутанности дѣлъ, у меня отецъ, къ которому я страстно привязался въ послѣднія времена, и семья. Ну, что тутъ разсказывать—самъ знаешь и видишь. „Quisque fortunae suae faber",—а я смиренно склоняю голову подъ топоръ судьбы, не отдавая ей, впрочемъ, ничего изъ своего завѣтнаго. Отправляясь, я обрѣзалъ себѣ расходы, *здѣсь* обрѣзалъ себя еще больше—до nec plus ultra, чтобы имъ доставалось по крайности столько, сколько бы доставалось въ

моемъ присутствіи. Я оставилъ себѣ пять червонцевъ въ мѣсяцъ, и мнѣ положительно не на что ни одѣваться, ни учиться“ (стр. 223—224).

Конецъ пятидесятыхъ годовъ и начало шестидесятыхъ заняты въ „Воспоминаніяхъ“ г. Фета продолжительными разсказами объ устройствѣ его домашнихъ и деревенскихъ дѣлъ и перепиской съ друзьями, въ которой есть любопытныя черты времени.

Въ февралѣ 1858 года Боткинъ писалъ изъ Рима:

„Духъ захватываетъ, когда думаешь о томъ, какое великое дѣло дѣлается теперь въ Россіи. Съ тѣхъ поръ, какъ я прочелъ въ „Nord“ рескриптъ и распоряженіе о комитетахъ, въ занятіяхъ моихъ произошелъ рѣшительный переломъ,—уже ни о чемъ другомъ не думается и не читается, и постоянно переносишься мыслію въ Россію. Да, и даже вѣчная красота Рима не устояла въ душѣ, когда заговорило въ ней чувство своей родины. Да неужели вы съ Толстымъ не шутя затѣваете журналъ? Я не совѣтую; во-первыхъ, въ настоящее время русской публикѣ не до изящной литературы, а во-вторыхъ, журналъ есть великая обуза, и ни онъ, ни ты не въ состояніи тащить ее. Я думаю впрочемъ, что вы уже оставили эту мысль. Пусть окончитъ Толстой свой романъ: онъ подѣйствуетъ на вкусъ публики лучше десятка всяческихъ журналовъ“ (стр. 232).

Но въ Россію онъ, кажется, не поѣхалъ. Дальше помѣщены его письма того же года изъ Лондона, наполненныя восторгами отъ Шекспира и т. п. Тургеневъ жилъ то въ Римѣ, то во Франціи, то въ Баденъ-Баденѣ, то въ Спасскомъ,—и здѣсь въ деревнѣ досуги пріятелей наполнялись дружескими встрѣчами, бесѣдами, охотой, съ тою беззаботностью, которая напоминала недавнія спокойныя помѣщичьи времена, и въ письмахъ Тургенева довольно странно читать безпрестанные толки и воспоминанія о вальдшнепахъ, тетеревахъ, охотничьихъ псахъ и ихъ генеалогіи и т. п. Понятно, что въ дружеской перепискѣ между людьми, наизустъ знавшими другъ друга, не было мѣста для толковъ о современномъ положеніи вещей, но иногда время отзывалось и здѣсь. Отъ 1858 или 1859 было такое письмо Боткина:

„10-го іюня братъ Петинька и все семейство отправились въ Петербургъ, и сегодня они оттуда уѣзжаютъ въ Ревель, проведя недѣлю въ Петербургѣ. Кажется, что онъ произвелъ на нихъ большое впечатлѣніе: да это такъ и быть должно, когда подумаешь, что они до сихъ поръ почти не выѣзжали изъ Москвы. А Петербургъ, хотя по виду, все-таки городъ европейскій; для русскаго же человѣка все европейское имѣетъ таинственное обая-

ніе. Такъ и быть должно, иначе мы были бы осуждены вѣчно коснѣть, подобно финнамъ и другимъ низшимъ племенамъ, въ нашемъ—не скажу: варварствѣ, а въ тупости и младенчествѣ. Собственно говоря, всякій народъ, все равно европейскій или азіатскій, тупъ и младенецъ. Послѣдняя война сняла плеву съ нашихъ глазъ; она показала, что съ тупостью и младенчествомъ народа въ наше время далеко не уѣдешь. Назвавшись европейскимъ государствомъ, надо идти сообразно съ европейскимъ духомъ, или потерять всякое значеніе. Мы тридцать лѣтъ боролись съ европейскимъ духомъ и опомнились, очутившись у бездны. Мы только теперь начинаемъ понимать, что мы государство бѣдное, истощенное всяческою неурядицею, что мы не по одеждѣ протягивали ножки, что мы почти наканунѣ новаго банкротства, что наша полицейская роль въ Европѣ была безумствомъ. Да и многіе ли понимаютъ это теперь? Но великое счастіе въ томъ, что это, наконецъ, поняло правительство. Винить тутъ некого: виновата та же тупость и младенчество: вѣдь онѣ ходятъ не въ армякѣ только, но и въ шитыхъ золотомъ мундирахъ. Мы дѣйствительно самое еще младенческое государство въ Европѣ, и наши такъ-называемые „образованные" напрасно съ такимъ презрѣніемъ смотрятъ на „необразованныхъ". Тутъ опять разница въ одномъ только платьѣ и внѣшности; внутренно же та же самая дичь, только подъ другими формами" (стр. 298). Итакъ, самъ суровый Боткинъ былъ тогда еще вѣренъ старому идеалистическому одушевленію. Въ томъ же смыслѣ любопытно письмо отъ марта 1860 года. Онъ пишетъ: „Третьяго дня получены здѣсь №№ январьскіе петербургскихъ журналовъ; я успѣлъ пробѣжать только статью Дружинина о Бѣлинскомъ и „Воспоминанія" о немъ Панаева въ *Современникѣ*. Статья Дружинина вообще очень слаба; что касается до „Воспоминаній" Панаева, состоящихъ большею частію изъ писемъ Бѣлинскаго, то они произвели на меня такое впечатлѣніе, что я цѣлый вечеръ проходилъ словно во снѣ, забылъ идти на одинъ званый вечеръ и до перваго часа ночи бродилъ по Парижу, совершенно погруженный въ прошлое. Ты меня какъ-то упрекалъ за то, что я не скучаю, но я часто вспоминаю это „прошлое", и моя ли въ томъ вина, что въ этомъ „прошломъ" заключено все мое лучшее? Моя ли въ этомъ вина, что смерть отрываетъ отъ сердца лучшихъ людей и лучшія чувства? Нѣтъ, я не скучаю, но одинокая жизнь иногда страшно тяготитъ меня. Сдѣлаться эгоистическимъ, эпикурейскимъ старцемъ,—увы! —я не могу. Къ сожалѣнію, въ этомъ, снаружи высохшемъ, сердцѣ сохранились всѣ прежнія юношескія стремленія, съ тою только

разницей, что подъ старость человѣкъ менѣе способенъ жить въ „общемъ", въ отвлеченномъ. Но всему этому теперь ужъ не поможешь" (стр. 319). Къ сожалѣнію, какъ дальше увидимъ, это „прошлое" уже скоро для него забылось...

Не лишено интереса и слѣдующее замѣчаніе:

„Московскіе господа, кажется, смотрятъ на Литературный Фондъ съ озлобленіемъ. Это мнѣ понятно. Московскіе господа всегда смотрѣли на литературу свысока и съ пренебреженіемъ. Это старинное важничанье науки передъ искусствомъ: они все находятъ, что литература не довольно преклоняется передъ ними. А потомъ кто виноватъ, что наши московскіе господа распались на маленькіе кружки и за деревьями не хотятъ видѣть лѣса?"

Но, увы, все это настроеніе удержалось не на долго. Чѣмъ дальше шло движеніе общества въ новое царствованіе, чѣмъ больше сказывалось новыхъ интересовъ, которымъ въ прежнее время не было никакого мѣста въ литературѣ, тѣмъ больше старый кружокъ сороковыхъ годовъ начиналъ колебаться. Для г. Фета дѣло было ясно. Литература уходила изъ дворянскихъ рукъ, и очевидно, что вслѣдствіе этого въ ней должна была начаться всякая порча; но даже и люди, иначе и болѣе серьезно понимавшіе литературу, не умѣли примириться съ ея новыми стремленіями. Въ эпоху своей „юности и свѣжести" они стремились къ иному, лучшему порядку вещей; но когда онъ наступалъ, когда намѣчались и исполнялись крупныя преобразованія, когда въ литературѣ стали сказываться не одни вопросы чистаго искусства и отвлеченнаго просвѣщенія, но непосредственные вопросы жизни, многіе изъ этихъ людей пришли въ недоумѣніе. Новые элементы жизни заявляли о своемъ существованіи по другимъ пріемамъ, чѣмъ въ какихъ вращалась литература прежняго времени; они высказывались часто угловато, и если принять, что въ прежней литературѣ проявлялись изящныя манеры свѣтскаго литературнаго дилеттантизма, то теперь, наоборотъ, нерѣдко бывали замѣтны рѣзкія манеры, потому что рѣчь шла уже не о свѣтскомъ тонѣ, а о настоящихъ, практическихъ требованіяхъ жизни, и голоса шли изъ большой массы общества. Не только г. Фетъ, но и его друзья, воспитавшіеся на Бѣлинскомъ, начинали приходить въ ужасъ отъ этой новой литературы, и, между прочимъ, Некрасовъ, въ журналѣ котораго дѣйствовала новая группа публицистовъ, сталъ считаться чуть не измѣнникомъ, когда онъ только понялъ, что живое движеніе было именно здѣсь. Замѣшались, конечно, и разныя личныя, большею частью мелкія столкновенія; но удивительно, что люди несомнѣнно умные, какъ Боткинъ, частью самъ Тургеневъ

и множество другихъ, совсѣмъ не поняли, что новая литература была совершенно естественнымъ и непосредственнымъ продолженіемъ ихъ собственнаго дѣла; удивительно, что они не могли стать выше мелкихъ счетовъ личнаго самолюбія и сами „за деревьями не хотѣли видѣть лѣса". На ихъ глазахъ происходило великое событіе, и они, столько изучавшіе исторію чужихъ обществъ, не съумѣли понять переворота, совершавшагося на ихъ глазахъ. Литература не могла не измѣниться: въ прежнее время она въ состояніи была служить дѣлу просвѣщенія и человѣчности только чисто отвлеченнымъ путемъ, или дѣйствительно теоретическими разсужденіями, или почти отвлеченнымъ художествомъ. Тогдашнюю поэзію или беллетристику нерѣдко приходилось разгадывать (и, напр., цензура не умѣла разгадать, что иныя повѣсти Тургенева бывали явнымъ протестомъ противъ крѣпостного права). Теперь многіе изъ этихъ прежнихъ замаскированныхъ вопросовъ выступали явно, и въ особенности картины народнаго быта, раньше только затронутыя, разростаются теперь въ цѣлый отдѣлъ литературы, гдѣ народная жизнь изображалась уже безъ всякихъ прежнихъ беллетристическихъ выдумокъ, а также и безъ теоретическихъ иллюзій, а иногда съ ужасающею правдою, какъ въ появившихся вскорѣ „Подлиповцахъ" Рѣшетникова. Словомъ, въ литературѣ нарождался новый элементъ, требовавшій себѣ мѣста, какъ въ самой жизни нарождались новыя явленія.

Любопытно исторически и странно видѣть, что развитіе этого процесса, возникавшаго въ народной и общественной жизни, вызывало разладъ и столкновенія даже въ наиболѣе просвѣщенномъ кругу, на которомъ мы здѣсь останавливаемся. Вражда къ направленію, которое тогда всего ближе принимало къ сердцу общественные и народные интересы, все сильнѣе овладѣвала дружескимъ кругомъ Боткина, Тургенева, г. Фета и проч. Некрасовъ сталъ совершеннымъ отщепенцемъ, „Современникъ"—браннымъ словомъ, Салтыковъ—человѣкомъ неприличнаго общества,—но въ тѣхъ письмахъ и повѣствованіяхъ г. Фета, гдѣ все это излагается, нѣтъ ни слова о томъ, что было серьезнаго въ этомъ новомъ направленіи, и, между прочимъ, въ какихъ условіяхъ писались нѣкоторыя произведенія, на которыя обрушивалось негодованіе друзей. И еще страннѣе, что, рядомъ съ этимъ, какъ приведемъ дальше примѣры, высказывался прежній пламенный идеализмъ сороковыхъ годовъ.

Около 1860 года этотъ раздоръ между людьми сороковыхъ годовъ еще не успѣлъ созрѣть и обнаружиться, но и теперь происходило уже нѣчто любопытное съ другой стороны, и также

принадлежавшее къ „знакамъ времени"; мы разумѣемъ отношенія между Тургеневымъ и Л. Н. Толстымъ. Выше мы упоминали, по „Воспоминаніямъ" г. Фета и по „Исповѣди" Л. Н. Толстого, что первое дружеское сближеніе было очень непродолжительно; уже вскорѣ начались столкновенія, споры, переходившіе въ желчный и рѣзкій тонъ; но то, что могло въ ту минуту казаться капризной нетерпимостью съ обѣихъ сторонъ, имѣло, однако, свою глубокую подкладку, не только лично психологическую, но и историческую. Поэтому столкновенія ихъ представляютъ интересъ, какого не имѣли бы, еслибы были только споромъ двухъ самолюбій... Какъ бываетъ обыкновенно въ подобныхъ историческихъ столкновеніяхъ, обѣ стороны были и правы, и неправы. Л. Н. вступалъ въ кругъ людей съ извѣстными мнѣніями, которыя были для нихъ (болѣе или менѣе серьезнымъ) убѣжденіемъ, и съ извѣстными литературными привычками. Л. Н. Толстой не имѣлъ этихъ мнѣній и привычекъ, онъ развился въ совершенно иной средѣ, не зналъ традицій кружка́, а потому и не дорожилъ ими, когда на нихъ ссылались другіе; вмѣстѣ съ тѣмъ, глубокая наблюдательность давала ему видѣть то, что было невыдержаннаго, условнаго или поверхностнаго—если не въ самыхъ этихъ убѣжденіяхъ, какъ ихъ создавала традиція, то въ той формѣ, въ какой онъ ихъ теперь видѣлъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ этомъ кругу онъ не встрѣтилъ тогда людей, которые могли бы защищать эти идеи съ энергіей Бѣлинскаго, Герцена или съ мягкимъ убѣжденіемъ Грановскаго; носителями традиціи являлись талантливые беллетристы, но довольно вялые дилеттанты въ теоретическихъ общественныхъ вопросахъ; ихъ слава поэтическая наполняла ихъ справедливымъ во многихъ отношеніяхъ высокимъ мнѣніемъ о себѣ, но, не усиливая ихъ теоретической діалектики, усиливала, однако, ихъ нетерпимость. Въ такомъ положеніи оказывался въ этомъ случаѣ Тургеневъ, который въ это время особенно сблизился съ Л. Н. Толстымъ и считалъ за нужное отстаивать „убѣжденія" кружка̀. Съ другой стороны, новый членъ кружка́, какъ можно догадываться изъ приведенныхъ выше образчиковъ, не стѣснялся въ выраженіи своихъ протестовъ, которые должны были казаться ересями его противникамъ, и послѣдніе въ свою очередь были правы, когда въ своемъ литературномъ преданіи видѣли серьезное общественное содержаніе и требовали къ нему по крайней мѣрѣ историческаго уваженія. Но Л. Н. Толстому, повидимому, не было никакого дѣла до исторіи, ему нужны были какія-либо начала, которыя могли бы въ данную минуту дать рѣшеніе не только въ ближайшей области настоя-

щихъ общественныхъ вопросовъ, но и въ основныхъ вопросахъ человѣческаго существованія. Именно въ ту минуту онъ, повидимому, пока еще не возводилъ своихъ поисковъ въ эту высокую и темную область, но уже вскорѣ мы находимъ его въ водоворотѣ этихъ трудныхъ вопросовъ, которые онъ принялся разрѣшать самъ, на свой страхъ. Это позднѣйшее (впрочемъ, уже скоро наступившее) время указываетъ свойство того броженія, какое начиналось въ немъ теперь, въ половинѣ пятидесятыхъ годовъ.

Въ перепискѣ, изданной въ „Воспоминаніяхъ" г. Фета, эти отношенія упоминаются не однажды, хотя, къ сожалѣнію, всегда только отрывочно. Въ стихотворномъ посланіи въ іюлѣ 1859 г., изъ Куртавнеля, Тургеневъ пишетъ г. Фету:

„...И Льву Толстому поклонитесь,—также
Сестрѣ его. Онъ правъ въ своей припискѣ:
Мнѣ *не за что* къ нему писать. Я знаю,
Меня онъ любитъ мало, и его
Люблю я мало. Слишкомъ въ насъ различны
Стихіи; но дорóгъ на свѣтѣ много:
Другъ другу мы мѣшать не захотимъ" (т. I, стр. 305).

Въ письмѣ изъ Петербурга, въ февралѣ 1860, Тургеневъ пишетъ ǒбразнымъ выраженіемъ, которое рисуетъ его взглядъ на оригинальности въ мнѣніяхъ Л. Н. Толстого: „А Левъ Толстой продолжаетъ чудить. Видно такъ уже написано ему на роду. Когда онъ перекувыркнется въ послѣдній разъ и станетъ на ноги?" (стр. 321). Въ мартѣ того же года онъ пишетъ, что читалъ свою повѣсть „Первая любовь" ареопагу, состоявшему изъ Островскаго, Писемскаго, Анненкова, Дружинина и Майкова, что ареопагъ доволенъ, и остается узнать, чтò скажетъ публика. „Единственный человѣкъ,—прибавляетъ онъ затѣмъ,—котораго я совершенно отказываюсь удовлетворить когда-нибудь—Левъ Толстой. Но чтò дѣлать! Видно такъ у меня на роду написано. Здѣсь распространились слухи, что онъ снова принялся работать, и мы всѣ порадовались" (стр. 321—322). Наконецъ, между ними произошла—по совершенно личному поводу—формальная ссора, гдѣ шла даже рѣчь о дуэли (стр. 370 и д.); это было въ маѣ 1861, а въ январѣ слѣдующаго года Тургеневъ писалъ по этому поводу: „Изъ всего этого должно вывести заключеніе, что наши созвѣздія рѣшительно враждебно двигаются въ ѳирѣ, и потому намъ лучше всего, какъ онъ самъ предлагаетъ, избѣгать свиданія. Но вы можете написать ему или сказать, что я (безъ всякихъ фразъ и каламбуровъ) *издали* его

очень люблю, уважаю и съ участіемъ слѣжу за его судьбой, но что вблизи все принимаетъ другой оборотъ. Что дѣлать! Намъ слѣдуетъ жить, какъ будто мы существуемъ на различныхъ планетахъ или въ различныхъ столѣтіяхъ" (стр. 384). Одинъ изъ близкихъ людей къ обоимъ, гр. Ник. Н. Толстой, братъ Льва Николаевича, по словамъ г. Фета, „мѣтко" замѣчалъ по поводу раздражительныхъ споровъ между ними, что Тургеневъ „никакъ не можетъ помириться съ мыслью, что Л. Н. ростетъ и уходитъ у него изъ-подъ опеки" (стр. 372). Намъ кажется, однако, что какая-нибудь мысль объ опекѣ могла существовать у Тургенева развѣ въ самомъ началѣ ихъ знакомства; первыя столкновенія были уже такъ сильны, что должны были сразу прогнать подобную мысль.

Другіе вѣрнѣе понимали, что здѣсь шло дѣло не о двухъ раздражительныхъ самолюбіяхъ,—хотя и онѣ имѣли свою долю,—но о двухъ, въ глубочайшемъ существѣ различныхъ, талантахъ и умахъ, о совершенно разнородныхъ стремленіяхъ, скажемъ наконецъ—о двухъ ступеняхъ историческаго развитія, которыхъ два великіе писателя являлись представителями.

Любопытно отношеніе къ Толстому у Василія Боткина. Вотъ, напримѣръ, нѣсколько словъ изъ его письма въ мартѣ 1860 года (по необходимости повторяемъ грубоватыя выраженія, которыя, впрочемъ, написаны и напечатаны друзьями Л. Н. Толстого): „Изъ письма Тургенева я съ радостью узналъ, что Левъ Толстой опять принялся за свой кавказскій романъ. Какъ бы онъ ни дурилъ, а я все скажу, что этотъ человѣкъ съ великимъ талантомъ, и для меня всякая дурь его имѣетъ больше достоинства, чѣмъ благоразумнѣйшіе поступки другихъ" (стр. 320).

Эти слова не лишены литературной проницательности, которая вообще бывала у Боткина и давала въ литературномъ кругу авторитетъ его сужденіямъ, хотя вообще довольно мало выразилась въ его печатныхъ трудахъ, а подъ конецъ, какъ дальше увидимъ, и совсѣмъ его покинула. Въ письмѣ отъ іюля 1861 года Боткинъ говоритъ по поводу упомянутой ссоры между Тургеневымъ и Толстымъ, происшедшей въ домѣ г. Фета... „Сцена, бывшая у него съ Толстымъ, произвела на меня тяжелое впечатлѣніе. Но знаешь ли, я думаю, что въ сущности у Толстого страстно любящая душа, и онъ хотѣлъ бы любить Тургенева со всею горячностью, но, къ несчастію, его порывчатое чувство встрѣчаетъ одно кроткое, добродушное равнодушіе. Съ этимъ онъ никакъ не можетъ помириться. А потому, къ несчастію, умъ его находится въ какомъ-то хаосѣ представленій, т.-е. я

хочу сказать, что въ немъ еще не выработалось опредѣленнаго воззрѣнія на жизнь и дѣла міра сего. Отъ этого такъ мѣняются его убѣжденія, такъ падокъ онъ на крайности. Въ душѣ его кипитъ ненасыщаемая жажда, говорю—ненасыщаемая, потому что чтò вчера насытило его—ныньче разбивается его анализомъ. Но этотъ анализъ не имѣетъ никакихъ прочныхъ и твердыхъ реагентовъ и отъ этого въ результатѣ своемъ улетучивается ins Blaue hinein. А не имѣя подъ ногами какой-нибудь твердой почвы, невозможно писать. И вотъ гдѣ причина, почему онъ *не можетъ* писать, и до тѣхъ поръ это продолжится, пока душа его на чемъ-нибудь успокоится" (стр. 378).

Не знаемъ, насколько вѣрно замѣчаніе о привязанности Л. Н. Толстого къ Тургеневу (она, пожалуй, сомнительна), но совершенно вѣрно то, чтò говорится о ненасыщаемой жаждѣ и хаосѣ представленій.

Любопытно по этимъ же письмамъ сличить литературныя мнѣнія друзей о „Грозѣ" Островскаго, которая тогда появилась, и о „Наканунѣ" Тургенева. Тургеневъ, въ ноябрѣ 1859, говоритъ: „Мнѣ переслали ваше письмо изъ деревни. Фетъ! помилосердуйте! Гдѣ было ваше чутье, ваше пониманіе поэзіи, когда вы не признали въ *Грозѣ* (Островскій читалъ ее вчера у меня) удивительнѣйшее, великолѣпнѣйшее произведеніе русскаго, могучаго, вполнѣ овладѣвшаго собою, таланта? Гдѣ вы нашли тутъ мелодраму, французскія замашки, неестественность? Я рѣшительно ничего не понимаю, и въ первый разъ гляжу на васъ (въ *этого рода* вопросѣ) съ недоумѣніемъ. Аллахъ! какое затмѣніе нашло на васъ?" (стр. 313).

О той же „Грозѣ" пишетъ Боткинъ въ мартѣ 1860 года: „Что касается до *Грозы* Островскаго, то я „au bout de mon latin". Это—лучшее произведеніе его, и никогда онъ еще не достигалъ до такой силы поэтическаго впечатлѣнія. Катерина останется типомъ. И какая обстановка! Эта фантастическая барыня, эта полуразвалившаяся и заброшенная церковь, эта идиллія, озаренная зловѣщимъ предчувствіемъ неминуемаго и страшнаго горя,—все это превосходно, широко, сильно и мягко" (стр. 223).

Совсѣмъ иначе говоритъ Л. Н. Толстой въ февралѣ 1860 года: „*Гроза* Островскаго есть по моему плачевное сочиненіе, а будетъ имѣть успѣхъ" [1]). По всей вѣроятности, Л. Н. Толстому

[1]) Слѣдующія слова намъ не совсѣмъ понятны или совсѣмъ непонятны: „Не Островскій и не Тургеневъ виноваты, а время; теперь долго не родится тотъ человѣкъ, который бы сдѣлалъ въ поэтическомъ мірѣ то, чтó сдѣлалъ Булгаринъ (??). А любителямъ антиковъ, къ которымъ и я принадлежу, никто не мѣшаетъ читать серьезно

не нравилось какъ разъ то, чѣмъ особенно восхищался Боткинъ, съ романтической точки зрѣнія, и Тургеневъ—съ полуромантической.

Разнорѣчіе вышло и по поводу „Наканунѣ". Боткинъ писалъ: „Несмотря на всѣ недоразумѣнія, *Наканунѣ* я прочелъ съ наслажденіемъ. Я не знаю, есть ли въ какой повѣсти Тургенева столько поэтическихъ подробностей, сколько ихъ разсыпано въ этой. Словно онъ самъ чувствовалъ небрежность основныхъ линій зданія, и чтобы скрыть эту небрежность, а можетъ быть, и неопредѣленность фундаментальныхъ линій, онъ обогатилъ ихъ превосходнѣйшими деталями, какъ иногда дѣлали строители готическихъ церквей. Для меня эти поэтическія, истинно-художественныя подробности заставляютъ забывать о неясности цѣлаго. Какіе озаряющіе предметы эпитеты, да, солнечные эпитеты, неожиданные, вдругъ раскрывающіе внутреннія перспективы предметовъ! Правда, что несчастный Болгаръ рѣшительно не удался, всепоглощающая любовь его къ родинѣ такъ слабо очерчена, что не возбуждаетъ ни малѣйшаго участія, а вслѣдствіе этого и любовь къ нему Елены болѣе удивляетъ, нежели трогаетъ. Успѣха въ публикѣ эта повѣсть имѣть не можетъ, ибо публика вообще читаетъ по утиному и любитъ глотать цѣликомъ. Но я думаю, едва ли найдется хоть одинъ человѣкъ съ поэтическимъ чувствомъ, который не проститъ повѣсти всѣ ея математическіе [1]) недостатки за тѣ сладкія ощущенія, которыя пробудятъ въ душѣ его ея нѣжныя, тонкія и граціозныя детали. Да, я заранѣе согласенъ со всѣмъ, что̀ можно сказать о недостаткахъ этой повѣсти, и все-таки я считаю ее прелестною. Правда, что она не тронетъ, не заставитъ задуматься, но она повѣетъ ароматомъ лучшихъ цвѣтовъ жизни" (стр. 323).

Отзывъ Л. Н. Толстого (въ февралѣ 1860) чрезвычайно оригиналенъ, хотя не совсѣмъ ясенъ: „прочелъ я *Наканунѣ*. Вотъ мое мнѣніе: писать повѣсти вообще напрасно (?), а еще болѣе такимъ людямъ, которымъ грустно и которые не знаютъ хорошенько, чего они хотятъ отъ жизни. Впрочемъ, *Наканунѣ* много лучше *Дворянскаго гнѣзда*, и есть въ немъ отрицательныя лица превосходныя: художникъ и отецъ. Другія же не только не типы, но даже замыселъ ихъ, положеніе ихъ не типическое, или ужъ они совсѣмъ пошлы. Впрочемъ, это всегдашняя ошибка Турге-

---

стихи и повѣсти и серьезно толковать о нихъ. Другое теперь нужно. Не намъ нужно учиться, а намъ нужно Марѳушку и Тараску выучить хоть немножко тому, что̀ мы знаемъ".

[1]) Непонятно; вѣроятно въ подлинникѣ письма: тематическіе?

нева. Дѣвица изъ рукъ вонъ плоха: *Ахъ, какъ я тебя люблю*... у нея *рѣсницы были длинныя*. Вообще меня всегда удивляетъ въ Тургеневѣ, какъ онъ со своимъ умомъ и поэтическимъ чутьемъ не умѣетъ удержаться отъ банальности въ отрицательныхъ пріемахъ, напоминающихъ Гоголя. Нѣтъ человѣчности и участія къ лицамъ, а представляются уроды, которыхъ авторъ бранитъ, а не жалѣетъ. Это какъ-то больно жюрируетъ съ тономъ и смысломъ либерализма всего остального. Это хорошо было при царѣ Горохѣ и при Гоголѣ (да еще надо сказать, что ежели не жалѣть своихъ самыхъ ничтожныхъ лицъ, надо ихъ ужъ ругать такъ, чтобы небу жарко было, или смѣяться надъ ними такъ, чтобы животики подвело), а не такъ, какъ одержимый хандрой и диспепсіей Тургеневъ. Вообще же сказать, никому не написать теперь такой повѣсти, несмотря на то, что она успѣха имѣть не будетъ" (стр. 317—318).

Нѣсколько времени спустя Л. Н. Толстой высказывается въ другомъ письмѣ (октябрь, 1860), въ которомъ раскрываются передъ нами движенія его души: пользуемся имъ, такъ какъ, вѣроятно, авторъ „Воспоминаній" былъ уполномоченъ ввести его въ печать. Письмо вызвано тяжелой потерей, которую испытало тогда семейство Толстыхъ. Въ Гіерѣ, на югѣ Франціи умеръ отъ чахотки, на рукахъ брата, Николай Николаевичъ Толстой, еще молодой человѣкъ, талантливый и оригинальный, горячо любимый въ семьѣ и во всемъ дружескомъ кругѣ. Л. Н. Толстой былъ глубоко пораженъ этой смертью, совершавшейся на его глазахъ, и это событіе видимо еще новымъ тяжелымъ опытомъ легло на тѣ размышленія, которымъ издавна предавался Л. Н. Толстой и въ которыхъ онъ такъ часто шелъ наперекоръ обычнымъ понятіямъ. Послѣ смерти—

„...Осталось одно, смутная надежда, что тамъ, въ природѣ, которой частью сдѣлаешься въ землѣ, останется и найдется что-нибудь. Всѣ, кто знали и видѣли его послѣднія минуты, говорятъ: „какъ удивительно спокойно, тихо онъ умеръ", а я знаю, какъ страшно мучительно, потому что ни одно чувство не ускользнуло отъ меня. Тысячу разъ я говорю себѣ: „оставьте мертвымъ хоронить мертвыхъ", но надо же куда-нибудь дѣвать силы, которыя еще есть. Нельзя уговорить камень, чтобы онъ падалъ кверху, а не книзу, куда его тянетъ. Нельзя смѣяться шуткѣ, которая наскучила. Нельзя ѣсть, когда не хочется. Къ чему все, когда завтра начнутся муки смерти со всею мерзостью лжи, самообмана, и кончатся ничтожествомъ, нулемъ для себя. Забавная штучка. Будь полезенъ, будь добродѣтеленъ, счастливъ, покуда

живъ, говорятъ люди другъ другу; а ты, и счастье, и добродѣтель, и польза состоятъ въ правдѣ. А правда, которую я вынесъ изъ тридцати-двухъ лѣтъ, есть та, что положеніе, въ которое мы поставлены, ужасно. „Берите жизнь, какая она есть; вы сами поставили себя въ это положеніе". Какъ же! Я беру жизнь, какъ она есть. Какъ только дойдетъ человѣкъ до высшей степени развитія, такъ онъ увидитъ ясно, что все дичь, обманъ, и что правда, которую все-таки онъ любитъ лучше всего, что эта правда ужасна. Что какъ увидишь ее хорошенько, ясно, такъ очнешься и съ ужасомъ скажешь, какъ братъ: „да что же это такое?" Но, разумѣется, покуда есть желаніе знать и говорить правду, стараешься знать и говорить. Это одно, что̀ осталось у меня изъ моральнаго міра, выше чего я не могу стать. Это одно я и буду дѣлать, только не въ формѣ вашего искусства. *Искусство есть ложь*, а я уже не могу любить прекрасную ложь" (стр. 350—351).

Такимъ образомъ, еще съ этой ранней поры, всего черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ его перваго вступленія на литературную арену, въ Л. Н. Толстомъ уже рѣзко сказались тѣ порыванія къ новому, полагаемому истиннымъ, которыя въ наше время привели его къ различнымъ формамъ его религіозной, философской и нравственной проповѣди. Эти запросы какихъ-нибудь иныхъ основаній жизни, кромѣ тѣхъ, въ ложности которыхъ онъ убѣждался, были очень сильны, но и весьма неопредѣленны. Къ счастью для нашей литературы, его мысль, что повѣсти писать „напрасно" и что искусство есть ложь, эта мысль не успѣла слишкомъ овладѣть имъ и послѣ того онъ успѣлъ написать еще нѣсколько крупныхъ и замѣчательныхъ произведеній. Мысль была ошибочная, какъ и многое другое, что̀ въ тогдашнее время и послѣ становилось его убѣжденіемъ; но въ ту минуту и въ той обстановкѣ, какъ бо̀льшею частью и впослѣдствіи, онъ не встрѣчалъ достаточнаго противовѣса для одолѣвавшихъ его думъ, и энергія его дарованія, ничѣмъ не умѣряемая, приводила его къ крайностямъ. Друзья его не равнялись съ нимъ въ силѣ мысли, хотя, вѣроятно, превышали его иногда количествомъ свѣденій; они стояли на давней литературной рутинѣ и возмущались ересями Л. Н. Толстого, въ которыхъ были, однако, зачатки плодотворные уже тѣмъ, что такъ или иначе расширяли горизонтъ требованій нравственныхъ, а затѣмъ и литературныхъ. Въ старыхъ литературныхъ преданіяхъ крѣпко стоялъ Тургеневъ (эти преданія не были у него широки, хотя были несравненно шире, чѣмъ напр. у Боткина или у г. Фета), и здѣсь заключался, вѣроятно, первый и основ-

ной источникъ раздора, усиленный тогда съ обѣихъ сторонъ личною нетерпимостью.

Возвращаемся къ тому и другому раздору, который шелъ тогда между двумя литературными поколѣніями и въ средѣ самихъ людей „сороковыхъ годовъ". Г. Фетъ въ своихъ воспоминаніяхъ сохранилъ нѣсколько очень любопытныхъ фактовъ изъ исторіи этихъ раздоровъ. Самъ онъ, какъ раньше мы упоминали, былъ самымъ рѣшительнымъ образомъ противъ того направленія, которое больше и больше распространялось въ литературѣ и представителемъ котораго былъ въ особенности ненавистный „Современникъ". Г. Фетъ очень осуждалъ Тургенева, который, къ удивленію его, поддерживалъ, несмотря на дружбу съ г. Фетомъ, весьма предосудительныя связи. Между прочимъ, онъ весьма не одобряетъ знакомства Тургенева съ Шевченкомъ.

„Раза съ два, въ бытность мою у Тургенева въ Петербургѣ, я видѣлъ весьма неопрятную сѣрую смушковую шапку Шевченко на окошкѣ, и тогда же, безъ всякихъ заднихъ мыслей, удивлялся связи этихъ двухъ людей между собою. Я нимало въ настоящее время не скрываю своей тогдашней наивности въ политическомъ смыслѣ. Съ тѣхъ поръ жизнь на многое, какъ мы далѣе увидимъ, насильно раскрыла мнѣ глаза, и мнѣ нерѣдко, въ сравнительно недавнее время, приходилось слышать, что Тургеневъ n'était pas un enfant de bonne maison. Какъ ни рѣшайте этого вопроса, но, въ сущности, Тургеневъ былъ избалованный русскій баричъ, чтò, между прочимъ, съ извѣстною прелестью отражалось на его произведеніяхъ. Образованія и вкусае му занимать было не нужно, и вотъ почему, познакомившись съ тенденціозными жалобницами Шевченко, я никакъ не могъ въ то время понять возни съ нимъ Тургенева. Впрочемъ, несмотря на мою тогдашнюю наивность, мнѣ не разъ приходилось изумляться отношеніямъ Тургенева къ нѣкоторымъ людямъ" (стр. 367).

„Привожу,—добавляетъ г. Фетъ,—одинъ изъ разительныхъ тому примѣровъ, которыми подчасъ позволялъ себѣ допекать въ глаза Тургенева".

Разительный примѣръ заключался въ томъ, что однажды, когда г. Фетъ былъ у Тургенева, пришелъ къ послѣднему Салтыковъ, и Тургеневъ не только его принялъ, но и бесѣдовалъ съ нимъ. Самъ г. Фетъ поступилъ слѣдующимъ образомъ: „не желая возобновлять знакомства съ этимъ писателемъ, я схватилъ огромный листъ „Голоса" и усѣлся въ углу комнаты въ вольтеровское кресло, совершенно укрывшись за газетой. Разсчитывая на непродолжительность визита, я не ошибся въ надеждѣ отсидѣться".

Въ свое время было извѣстно, что однимъ изъ злѣйшихъ враговъ новаго направленія сталъ Василій Боткинъ. Нѣкогда, въ тридцатыхъ годахъ, онъ считалъ себя соціалистомъ, что для того времени было даже весьма необыкновенно; съ конца тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ онъ былъ однимъ изъ ближайшихъ друзей Бѣлинскаго; теперь онъ, хотя стоялъ уже вдалекѣ отъ литературы, да и отъ самой русской жизни, проводя едва ли не бо̀льшую часть времени за границей и услаждаясь разными эстетическими удовольствіями и гастрономіей [1]), съ крайнимъ озлобленіемъ относился къ „безмозглымъ прогрессистамъ", къ „абстрактному и пустому либерализму" и со времени польскаго возстанія восхищался „настоящимъ государственнымъ взглядомъ" Каткова (стр. 416). Мы приведемъ дальше еще нѣсколько подробностей этого рода, сообщаемыхъ г. Фетомъ изъ подлинныхъ писемъ Боткина, а теперь для параллели изъ той же переписки приведемъ чрезвычайно любопытный эпизодъ отъ августа 1862 года, въ письмѣ изъ Берлина. Передъ тѣмъ, 8-го августа, Боткинъ пишетъ: „въ Москвѣ пусто и скучно; отвожу душу только у Каткова" [2]). Отъ 28-го августа, онъ пишетъ изъ Берлина:

„Ясная, теплая погода, и силы, возстановленныя послѣ двухдневнаго отдыха, наконецъ чувство искренняго довольства, которое всегда посѣщаетъ меня, когда я касаюсь нѣмецкой почвы, все это наполняетъ мою душу совершеннымъ счастіемъ, которое хочется раздѣлить съ вами, милые друзья. Въ Берлинѣ я чувствую себя дома... Переѣзжая изъ мутной Польши въ нѣмецкую землю, словно вступаешь въ какой-то свѣтлый край. Бѣдное славянское племя! Мы винимъ Гегеля за то, что онъ давалъ славянскому племени низшее значеніе противъ германскаго,—увы!

---

[1]) Эту послѣднюю сторону вкусовъ его такъ изображаетъ г. Фетъ:

„Я не встрѣчалъ человѣка, въ которомъ бы стремленіе къ земнымъ наслажденіямъ высказывалось съ такой беззавѣтной откровенностью, какъ у Боткина. Можно было бы подумать, что онъ—древній грекъ, заставившій Шиллера въ своемъ гимнѣ „Боги Греціи" воскликнуть:

„Было лишь прекрасное священно,
Наслажденья не стыдился богъ"...

„Но нигдѣ стремленіе это не проявлялось въ такой полнотѣ, какъ въ клубѣ передъ превосходною закускою.

„Вѣдь это все прекрасно!—восклицалъ Боткинъ съ сверкающими глазами.—Вѣдь это все надо ѣсть!" (т. II, стр. 24).

[2]) Ср. въ письмѣ отъ декабря 1864 года, когда Катковъ и Леонтьевъ гостили у него нѣсколько дней въ Петербургѣ: „сколько толковъ, какая бесѣда, и какая сладость и отрада!" (т. II, стр. 55).

всякій убѣдится въ этомъ наглядно. Цивилизація вырабатывается не идеями, а нравами.

„Да, здѣсь es wird mir behaglich zu Muthe; это главное отъ того, что все мое духовное развитіе связано съ Германіей. Не говоря уже о философіи, поэзіи, даже нѣмецкій комизмъ мнѣ по сердцу. Увы! наше русское такъ-называемое образованіе больше клонитъ насъ къ французскимъ нравамъ, и этого жаль! Да и нравится намъ во французскомъ образованіи то, что составляетъ дурныя его стороны, именно распущенность его, халатность,—это больше всего усвоиваетъ себѣ русскій человѣкъ. Нѣмецкій духъ, который весь состоитъ изъ дисциплины, не по натурѣ нашей. Какъ жаль, что русскіе туристы только проѣзжаютъ Берлинъ, не вникая въ него. Только хорошія школы могутъ спасти отъ этого верхоглядства.

„Станкевичъ, Грановскій, вся моя юность клонитъ меня къ Германіи; всѣ мои лучшіе идеалы выросли здѣсь, всѣ первые восторги музыкой, поэзіей, философіей, шли отсюда. Воспитывался я или, точнѣе сказать, воспитанія у меня никакого не было; вышедши изъ пансіона (весьма плохого), я ровно ни о чемъ не имѣлъ понятія. Все кругомъ меня было смутно, какъ въ туманѣ. Изъ этого періода я помню только одно: я прочелъ *Фіеско* и *Разбойниковъ* Шиллера, да еще переводы Жуковскаго изъ него же. Вотъ что впервые и навсегда сроднило меня съ Германіей. Съ чѣмъ-то сроднилось наше молодое поколѣніе? Виноватъ ли я въ томъ, что мнѣ баллады Шиллера въ тысячу разъ больше волновали сердце, нежели русскія сказки и старинныя сказанія о князѣ Владимірѣ? И вотъ, на склонѣ лѣтъ своихъ, я снова привѣтствую эту страну, которая впервые пробудила въ моей душѣ все, что ей до сихъ поръ дорого. Въ сущности, какъ мало мѣняется человѣкъ! Говорятъ, что старость есть возвращеніе къ дѣтству; нѣтъ, не къ дѣтству, а къ юности:

„Такъ исчезаютъ заблужденья
Съ измученной души моей,
И возникаютъ въ ней видѣнья
Первоначальныхъ чистыхъ дней“.

„Чѣмъ больше вдумываюсь въ себя, тѣмъ болѣе нахожу въ себѣ то, чѣмъ былъ я въ юности; странно, и идеалы даже не измѣнились, прибавилось только resignation и терпѣнія: двѣ вещи, которыхъ не можетъ понять юность“ (стр. 402—403).

Какой странной ироніей исторіи является то, что уже вскорѣ послѣ этихъ романтическихъ возвращеній къ юности мы встрѣчаемъ въ письмахъ Боткина его злобные отзывы о новѣйшей

русской литературѣ, къ которой онъ относится съ крайнею враждою, а затѣмъ и фактическія дѣянія, противъ нея направленныя. На Боткина очень сильное впечатлѣніе произвело польское возстаніе. Г. Фетъ, какъ видно, собирался идти на войну, и Боткинъ пишетъ въ мартѣ:

„Совершенно сочувствую твоему стремленію вступить снова въ полкъ, при извѣстіи о польскомъ возстаніи. Повѣришь ли, я съ тѣхъ поръ нахожусь въ постоянной тревогѣ. Не говоря уже о томъ, что здѣсь политическій горизонтъ очень мраченъ, но само возстаніе такъ задумано, организовано и проникнуто такимъ фанатизмомъ, что, мнѣ кажется, невозможно скоро подавить его. Въ Европѣ общественное мнѣніе рѣшительно на сторонѣ поляковъ, не разбирая того, что претензіи и требованія поляковъ, очевидно, имѣютъ цѣлью не только ослабленіе Россіи, но удаленіе ея изъ Европы въ Азію. Этой цѣли не скрываютъ здѣсь ни журналы, ни англійскій парламентъ, и вполнѣ сочувствуютъ польскому возстанію, какъ средству для достиженія этой цѣли. Вотъ какъ становится Европой польскій вспросъ, и вотъ что будетъ значить для насъ возстановленіе Польши. Но наши пустоголовые прогрессисты ничего этого не понимаютъ. Кажется, чувство національности и любви къ отечеству совершенно испарилось изъ этихъ легкомысленныхъ головъ. Но представимъ себѣ Польшу возстановленною, самодержавною, да развѣ на этомъ она и успокоится?.. Удивительно, что у насъ ни одинъ журналъ не смотритъ на это дѣло съ государственной стороны" (стр. 414—415). Жалкія и смѣшныя слова. Не знаемъ, о какихъ прогрессистахъ говорилъ Боткинъ; но, сколько припоминаемъ, едва ли кто изъ „прогрессистовъ" и вообще изъ людей болѣе или менѣе образованныхъ придавалъ такіе размѣры опасеніямъ отъ польскаго возстанія; напротивъ, всего чаще оно производило впечатлѣніе прискорбной и совершенно безнадежной попытки вести абсолютно непосильную борьбу. когда притомъ, среди еще неясныхъ событій, можно было предполагать, что попытка ведется даже не въ смыслѣ дѣйствительно народнаго движенія, а скорѣе какъ дѣло извѣстной партіи, которая у „прогрессистовъ" не могла возбуждать сочувствій. Боткинъ приплеталъ сюда и прогрессивную литературу; но смѣшно было бы думать, чтобы въ литературѣ было и даже могло быть говорено что-либо въ такомъ не-патріотическомъ направленіи, противъ котораго могъ бы Боткинъ направлять свои обличенія. Извѣстно, что единственная статья, гдѣ о польскомъ дѣлѣ говорилось съ извѣстнымъ какъ бы сочувствіемъ, была статья г. Страхова въ журналѣ „Время", который вслѣдствіе того былъ момен-

тально запрещенъ; а вскорѣ потомъ, когда и возстаніе было подавлено и вполнѣ водворились относительно литературы тѣ строгости, о которыхъ, какъ увидимъ, хлопоталъ Боткинъ, рьянымъ партизаномъ полонизма въ смыслѣ шляхетскихъ тенденцій явился издатель „Вѣсти", уже никакъ не „прогрессистъ", и спорить съ „Вѣстью" для прогрессистовъ было даже не безопасно. Что касается до „государственныхъ" взглядовъ Каткова, то по поводу его новѣйшей біографіи было уже объяснено, что его заслуга относительно польскаго вопроса была очень мнимая.

Настроеніе Боткина становится любопытно, какъ общественно-патологическое явленіе. Почти рядомъ, читаемъ въ его письмахъ слѣдующіе эпизоды. Въ письмѣ отъ марта 1865 года: „... Время здѣсь (въ Петербургѣ) идетъ, большею частью, лихорадочно. Хотя смѣшно мнѣ, находящемуся внѣ его коловорота и политическаго, и всяческаго, жаловаться на его лихорадочность, но въ результатѣ выходитъ, что человѣкъ связанъ таинственными нитями со своею средою, и нѣтъ никакой возможности ему смотрѣть на все равнодушно. Вотъ я—ничего не дѣлающій человѣкъ, а между тѣмъ я страдаю всѣми болями настоящаго времени. Увы! для Россіи прошло то время, когда можно было уходить въ созерцательную жизнь" (т. II, стр. 61—62). Въ письмѣ отъ февраля 1866 года, онъ выражаетъ удовольствіе, что „освобожденіе отъ цензуры приноситъ уже добрые плоды; два предостереженія „Современнику" и „Русскому Слову" заставили этихъ господъ одуматься"... „Я же, пользуясь моимъ знакомствомъ съ членами совѣта по книгопечатанію, *стараюсь поддержать ихъ въ ихъ энергіи*" (т. II, стр. 82). Въ другомъ письмѣ, отъ того же февраля, опять поэзія: „Я теперь испытываю на себѣ, какъ въ извѣстные періоды жизни поэтическое чувство оставляетъ человѣка или по крайней мѣрѣ отдаляется отъ него. Тѣмъ болѣе въ извѣстныя эпохи, переживаемыя обществомъ. Для поэтическаго чувства необходимы тишина и сосредоточіе. Но какъ найти душевную тишину и сосредоточіе въ такое время, какое переживаемъ мы? Увы! безсмертная эпоха русской поэзіи прошла и Богъ знаетъ, вернется ли когда-нибудь. Даже и тѣ, которые могутъ повторять:

„Блаженъ, кто знаетъ сладострастье
Высокихъ мыслей и стиховъ!"

—стали едва замѣтной кучкой, а скоро и эта кучка исчезнетъ. Поэтическая струя исчезла и изъ европейскихъ литературъ, замутила ее проклятая политика; признаюсь откровенно, всѣ эти вопросы политико-экономическіе, финансовые, политическіе вну-

тренно нисколько меня не интересуютъ. А здѣсь всѣ только ими и заняты" (т. II, стр. 83).

Тотчасъ послѣ этой романтической фразеологіи, въ мартѣ 1866, опять читаемъ: „Два предостереженія, данныя „Современнику", образумили Некрасова, а пріостановленіе „Русск. Слова" на 5 мѣсяцевъ образумило, наконецъ, и его подвальныхъ (?) сотрудниковъ... „Со вчерашняго дня появился новый журналъ: „Вѣстникъ Европы"... Онъ преимущественно посвящается историческимъ статьямъ. Можно полагать, что журналъ этотъ будетъ центромъ разныхъ разлагающихъ доктринъ подъ маскою либерализма" (т. II, стр. 86). Даже съ точки зрѣнія простого здраваго смысла невозможно понять, почему новый журналъ долженъ былъ стать центромъ „разныхъ разлагающихъ доктринъ". Въ то же самое время другъ этого кружка Тургеневъ считалъ возобновленіе „Вѣстника Европы" „самымъ пріятнымъ явленіемъ" въ тогдашней литературѣ (стр. 88). Въ новомъ журналѣ уже вскорѣ, безъ сомнѣнія противъ всякихъ ожиданій Боткина, явились между прочимъ и лучшія силы стараго литературнаго кружка—Тургеневъ, Гончаровъ, гр. Алексѣй Толстой, Островскій, Алексѣй Жемчужниковъ, а наконецъ и тотъ, кого не выносилъ г. Фетъ, Салтыковъ. Въ апрѣлѣ Боткинъ пишетъ уже изъ Баденъ-Бадена: въ Россіи, по его собственнымъ словамъ (стр. 87), онъ чувствовалъ себя олицетвореніемъ басни „Муха и дорожные", въ тогдашнихъ животрепещущихъ вопросахъ онъ чувствовалъ себя чужимъ и незнающимъ; теперь въ Баденъ-Баденѣ онъ счастливъ, и въ апрѣлѣ 1866 года романтикъ пишетъ о русской литературѣ чисто полицейскія размышленія (стр. 92).

Вторая часть „Воспоминаній" опять всего больше занята разсказами о личныхъ дѣлахъ г. Фета, домашнихъ событіяхъ, препровожденіи времени въ близкомъ кругу, о дѣлахъ служебныхъ въ качествѣ мирового судьи. Разсказъ перемежается обильной перепиской, отчасти слишкомъ случайной и личной и потому не представляющей особаго интереса, но отчасти и любопытный, когда корреспондентами были Тургеневъ и Л. Н. Толстой. Отсюда укажемъ нѣсколько образчиковъ, не лишенныхъ значенія для нашей литературной исторіи. Вотъ, напримѣръ, отзывъ Л. Н. Толстого о Тургеневскомъ „Дымѣ": „Я про „Дымъ" думаю то, что сила поэзіи лежитъ и въ любви; направленіе этой силы зависитъ отъ характера. Безъ силы любви нѣтъ поэзіи; ложно направленная сила,—непріятный, слабый характеръ поэта претитъ. Въ

„Дымѣ“ нѣтъ ни къ чему почти любви и нѣтъ почти поэзіи. Есть любовь только къ прелюбодѣянію легкому и игривому, и потому поэзія этой повѣсти противна. Вы видите,—это то же, чтò вы пишете. Я боюсь только высказывать это мнѣніе, потому что я не могу трезво смотрѣть на автора, личность котораго не люблю; но, кажется, мое впечатлѣніе общее всѣмъ“ (стр. 121). Дальнѣйшія слова опять не вполнѣ ясны и какъ будто указываютъ, что Л. Н. Толстой считалъ литературное поприще Тургенева конченнымъ: „Еще одинъ кончилъ. Желаю и надѣюсь, что никогда не придетъ мой чередъ. И о васъ тоже думаю. Я отъ васъ все жду, какъ отъ 20-лѣтняго поэта, и не вѣрю, чтобы вы кончили. Я свѣжѣе и сильнѣе васъ не знаю человѣка“.

Въ письмѣ Тургенева отъ января 1869 изъ Карлсруэ находимъ слѣдующую замѣтку: „Только можно читать, что Л. Толстого, когда онъ не философствуетъ, да Рѣшетникова. Вы читали что-нибудь сего послѣдняго? Правда дальше идти не можетъ. Чортъ знаетъ что такое! Безъ шутокъ, очень замѣчательный талантъ“ (стр. 190—191). Не видно, чтобы рекомендація Тургенева имѣла какой-нибудь результатъ: взгляды г. Фета на новую литературу были столь же опредѣленные, какъ были взгляды тогда уже умершаго Василія Боткина, и самъ Тургеневъ представлялъ въ его глазахъ весьма неблагопріятныя стороны,—Тургеневъ интересовался этой новой литературой, которая должна была казаться г. Фету однимъ сплошнымъ радикализмомъ.

Въ письмѣ Л. Н. Толстого отъ августа 1869 г. передъ нами является одна изъ стадій его внутренняго развитія, въ результатѣ котораго стали являться потомъ его философско-проповѣдническія произведенія.

„Знаете ли,—пишетъ онъ г. Фету,—чтò было для меня нынѣшнее лѣто? Неперестающій восторгъ передъ Шопенгауэромъ и рядъ духовныхъ наслажденій, которыхъ я никогда не испытывалъ. Я выписалъ всѣ его сочиненія и читалъ, и читаю (прочелъ и Канта). И вѣрно ни одинъ студентъ въ свой курсъ не учился такъ много и столь многаго не узналъ, какъ я въ нынѣшнее лѣто. Не знаю, перемѣню ли я когда мнѣніе, но теперь я увѣренъ, что Шопенгауэръ геніальнѣйшій изъ людей. Вы говорили, что онъ такъ себѣ кое-что писалъ о философскихъ предметахъ. Какъ кое-что? Это весь міръ въ невѣроятно ясномъ и красивомъ отраженіи. Я началъ переводить его. Не возьметесь ли и вы за переводъ его? Мы бы издали вмѣстѣ. Читая его, мнѣ непостижимо, какимъ образомъ можетъ оставаться имя его неизвѣстнымъ? Объясненіе только одно,—то самое, которое онъ такъ часто повто-

ряеть, что кромѣ идіотовъ на свѣтѣ почти никого нѣтъ. Жду васъ съ нетерпѣніемъ къ себѣ. Иногда душитъ неудовлетворенная потребность къ родственной натурѣ, какъ ваша, чтобы высказать все накопившееся“ (стр. 199—200).

Отношенія съ Тургеневымъ, которыя на посторонній взглядъ давно могли бы показаться немного неестественными, потому что въ самыхъ коренныхъ взглядахъ Тургенева и г. Фета бывали вещи несоединимыя, къ концу шестидесятыхъ годовъ начинаютъ приходить къ серьезнымъ противорѣчіямъ и даже столкновеніямъ. Нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ, въ первые шестидесятые года, у самого Тургенева былъ періодъ затмѣнія, и онъ, въ вопросахъ и литературныхъ, и даже общественныхъ (см., напр., т. II, стр. 15), вторилъ своимъ друзьямъ, ударившимся въ очень странный консерватизмъ, какъ Боткинъ, или издавна въ немъ обрѣтавшимся, какъ г. Фетъ; но у Тургенева было все-таки и гораздо болѣе широкое пониманіе литературы, и живое чувство общественной дѣйствительности; притомъ онъ былъ давнишній и упорный „европеецъ“, и, въ концѣ концовъ, тѣ споры, какіе у него издавна бывали съ г. Фетомъ, какъ выше было упомянуто, начинали принимать острый характеръ. По отрывочнымъ письмамъ нельзя, конечно, передать этихъ столкновеній съ точностью; но видно, что шла рѣчь объ Европѣ, цивилизаціи, особенностяхъ русской національности, общинѣ и т. д. Тургеневъ пишетъ въ декабрѣ 1869 года: „Изъ вашего послѣдняго письма я, грѣшный человѣкъ, прямо говоря, понялъ мало. Чую въ немъ вѣяніе того духа, которымъ наполнена половина „Войны и мира“ Толстого,—и потому уже и не суюсь... Знаю только, что всѣ эти хваленыя особенности нашей жизни нисколько не свойственны исключительно намъ, и что все это можно до послѣдней іоты найти въ настоящемъ или прошедшемъ той Европы, отъ которой вы такъ судорожно отпираетесь“ (стр. 208—209). Г. Фетъ замѣчаетъ по поводу этого письма слѣдующее: „Не знаешь, чему по истинѣ болѣе удивляться: тому ли безтолковому и безпорядочному, риторическому и софистическому хламу, которымъ щеголяетъ письмо, или тѣмъ дорогимъ и несомнѣннымъ истинамъ, которыя мѣстами таятся въ этомъ хламѣ“.

Въ письмѣ отъ февраля 1870 оказывается опять предметъ для спора болѣе тѣсный, но тѣмъ не менѣе чувствительный: „А теперь позвольте мнѣ поворчать немного,—говоритъ Тургеневъ.—Я охотно допускаю всякое преувеличеніе, всякую такъ-называемую „комическую ярость“, особенно когда рѣчь идетъ о людяхъ или о вещахъ, въ сущности, *любимыхъ*; но ваши отзывы о нашихъ

собратьяхъ русскихъ литераторахъ, о нашемъ бѣдномъ Обществѣ, говоря безъ прикрасъ, возмутительны. Было бы великимъ счастьемъ, еслибы дѣйствительно *вы* были самымъ бѣднымъ русскимъ литераторомъ!" (стр. 212).

Рѣчь идетъ о Литературномъ Фондѣ [1]).

Въ письмахъ Л. Н. Толстого снова рядъ любопытныхъ указаній, по которымъ можно изучать (къ сожалѣнію, опять только отрывочно) оригинальный ходъ его литературныхъ интересовъ и размышленій.

Въ письмѣ отъ февраля 1870 года читаемъ: „Вы мнѣ хотите прочесть повѣсть изъ кавалерійскаго быта. Я жду отъ этого добра, если только просто безъ замысла положеній и характеровъ. А я ничего прочесть вамъ не хочу, и ничего потому, что я ничего не пишу; но поговорить о Шекспирѣ, о Гёте и вообще о драмѣ—очень хочется. Цѣлую зиму нынѣшнюю я занятъ только драмой вообще. А какъ это всегда случается съ людьми, которые до 40 лѣтъ никогда не думали о какомъ-нибудь предметѣ, не составили себѣ о немъ никакого понятія, вдругъ съ 40-лѣтней ясностью обратятъ вниманіе на новый ненанюханный предметъ, имъ всегда кажется, что они видятъ въ немъ много новаго. Всю зиму наслаждаюсь тѣмъ, что лежу, засыпаю, играю въ безикъ, хожу на лыжахъ, на конькахъ бѣгаю и больше всего лежу въ постели (больной), и лица драмы или комедіи начинають дѣйствовать. И очень хорошо представляютъ... Хотѣлось бы мнѣ тоже почитать Софокла и Эврипида" (стр. 213).

Въ декабрѣ 1870 года онъ пишетъ: „Съ утра до ночи учусь по-гречески. Я ничего не пишу, а только учусь. И судя по свѣденіямъ, дошедшимъ до меня отъ Борисова, ваша кожа, отдаваемая на пергаментъ для моего диплома греческаго, находится въ опасности. Невѣроятно и ни на что не похоже. Но я прочелъ Ксенофонта и теперь à livre ouvert читаю его. Для Гомера же нуженъ лексиконъ и немного напряженія. Жду съ нетерпѣніемъ случая показать кому-нибудь этотъ фокусъ. Но какъ я счастливъ, что на меня Богъ наслалъ эту дурь. Во-первыхъ, я наслаждаюсь, во-вторыхъ,—убѣдился, что изо всего истинно прекраснаго и простого прекраснаго, что̀ произвело слово человѣческое, я до сихъ поръ ничего не зналъ, какъ и всѣ—и знаютъ, но не понимаютъ; въ-третьихъ, тому, что я не пишу и писать дребедени многословной никогда не стану. И виноватъ, и ей-Богу никогда не буду. Ради Бога, объясните мнѣ, почему никто не знаетъ ба-

[1]) Дальнѣйшій споръ о Литературномъ Фондѣ—стр. 246—247.

сенъ Эзопа, ни даже прелестнаго Ксенофонта, не говорю уже о Платонѣ, Гомерѣ, которые мнѣ предстоятъ. Сколько я теперь ужъ могу судить, Гомеръ только изгаженъ нашими, взятыми съ нѣмецкаго образца, переводами. Пошлое, но невольное сравненіе: отварная и дистиллированная вода и вода изъ ключа, ломящая зубы, съ блескомъ и солнцемъ и даже соринками, отъ которыхъ она еще чище и свѣжѣе. Всѣ эти Фоссы и Жуковскіе поютъ какимъ-то медово-паточнымъ, горловымъ и подливывающимъ голосомъ. А тотъ чортъ и поетъ, и оретъ во всю грудь, и никогда ему въ голову не приходило, что кто-нибудь его можетъ слушать. Можете торжествовать: безъ знанія греческаго—нѣтъ образованія. Но какое знаніе? Какъ его пріобрѣтать? Для чего оно нужно? На это у меня есть ясные какъ день доводы" (стр. 225—226).

Лѣто 1871 года Л. Н. Толстой проводилъ на кумысѣ, куда послали его для леченія. „Послѣ 4-хъ недѣль, я, кажется, совсѣмъ оправился. И какъ слѣдуетъ при кумысномъ леченіи,—съ утра до вечера пьянъ, потѣю и нахожу въ этомъ удовольствіе. Здѣсь очень хорошо, и еслибы не тоска по семьѣ, я бы былъ совершенно счастливъ здѣсь. Еслибы начать описывать, то я исписалъ бы сто листовъ, описывая здѣшній край и мои занятія. Читаю и Геродота, который съ подробностью и большою вѣрностью описываетъ тѣхъ самыхъ галакто-фаговъ-скиѳовъ, среди которыхъ я живу"... „Жара третій день стоитъ страшная. Въ кибиткѣ накалено, какъ на полкѣ, но мнѣ это пріятно. Край здѣсь прекрасный, по своему возрасту только-что выходящій изъ дѣвственности по богатству, здоровью и въ особенности по простотѣ и неиспорченности народа. Я, какъ и вездѣ, примѣриваюсь, не купить ли имѣніе. Это мнѣ занятіе и лучшій предлогъ для узнанія настоящаго положенія края" (стр. 236).

Отношенія Л. Н. Толстого съ Тургеневымъ долго были прерваны; послѣдній продолжалъ, однако, неизмѣнно интересоваться своимъ противникомъ, хотя продолжалъ съ нимъ разнорѣчить. Въ августѣ 1871 года Тургеневъ пишетъ: „Я очень радъ, что Толстому лучше, и что онъ греческій языкъ такъ одолѣлъ,—это дѣлаетъ ему великую честь и приноситъ ему великую пользу. Но зачѣмъ онъ толкуетъ о необходимости создать какой-то особый русскій языкъ? Создать языкъ!! — создать море. Оно разлилось кругомъ безбрежными и бездонными волнами; ваше писательское дѣло — направить часть этихъ волнъ въ наше русло, на нашу мельницу! И Толстой это умѣетъ. А потому его фраза лишь настолько меня безпокоитъ, насколько она показываетъ, что ему все еще хочется мудрить" (стр. 237).

Въ письмѣ отъ августа 1873, онъ опять вспоминаетъ о своемъ противникѣ: „Что вы мнѣ ничего не говорите о Львѣ Толстомъ? Онъ меня „ненавидитъ и презираетъ", а я продолжаю имъ сильно интересоваться, какъ самымъ крупнымъ современнымъ талантомъ" (стр. 279). Въ сентябрѣ того же года онъ пишетъ, очевидно, по извѣстіямъ отъ г. Фета: „Радуюсь, что Левъ Толстой меня не ненавидитъ, и еще болѣе радуюсь слухамъ о томъ, что онъ оканчиваетъ большой романъ. Дай только Богъ, чтобъ тамъ философіи не было" (стр. 281). Въ іюнѣ 1878 года г. Фетъ узналъ отъ пріѣхавшаго къ нему Н. Страхова, который передъ тѣмъ навѣстилъ Л. Н. Толстого, что послѣдній помирился съ Тургеневымъ.

„— Какъ, по какому поводу?—спросилъ я.

„— Просто по своему теперешнему религіозному настроенію онъ признаетъ, что смиряющійся человѣкъ не долженъ имѣть враговъ, и въ этомъ смыслѣ написалъ Тургеневу" (стр. 350).

Въ сентябрѣ 1878, въ письмѣ Л. Н. Толстого читаемъ: „Тургеневъ на обратномъ пути былъ у насъ и радовался полученію отъ васъ письма. Онъ все такой же, и мы знаемъ ту степень сближенія, которая между нами возможна". А Тургеневъ въ декабрѣ того же года упоминалъ: „Мнѣ было очень весело снова сойтись съ Толстымъ, и я у него провелъ три пріятныхъ дня. Онъ самъ очень утихъ и выросъ. Его имя начинаетъ пріобрѣтать европейскую извѣстность; намъ, русскимъ, давно извѣстно, что у него соперника нѣтъ" (стр. 354, 355).

Это послѣднее было давно убѣжденіемъ Тургенева, которое не разъ приводилось слышать отъ него петербургскимъ его знакомцамъ: онъ съ великимъ уваженіемъ относился къ высокому дарованію Л. Н. Толстого. Духъ смиренія, побудившій послѣдняго къ примиренію съ давнимъ врагомъ, замѣтенъ, сколько намъ кажется, въ послѣднихъ письмахъ Л. Н. Толстого.

Намъ остается досказать объ отношеніяхъ Тургенева съ г. Фетомъ по тѣмъ даннымъ, которыя съ большою откровенностью сообщены въ „Воспоминаніяхъ"; между прочимъ, мы узнаемъ здѣсь нѣчто не безъинтересное относительно „Вѣстника Европы", въ его historia arcana, оставшейся до сихъ поръ невѣдомой самому журналу.

„Многочисленные споры" давнишнихъ друзей, повидимому, коснулись, наконецъ, весьма серьезныхъ и осязательныхъ предметовъ. Въ мелкихъ столкновеніяхъ, вѣроятно, не было никогда недостатка. Нѣкоторыя изъ нихъ упомянуты г. Фетомъ. Напримѣръ, лѣтомъ 1870 г. у Тургенева гостилъ въ Спасскомъ извѣстный

Рольстонъ, изучавшій въ то время русскую народную поэзію (вскорѣ потомъ вышли его книги о русскихъ пѣсняхъ и сказкахъ).

„Рольстонъ, вѣроятно, въ связи съ предшествующимъ разговоромъ (съ Тургеневымъ), спросилъ у меня, строга ли наша цензура?

„Всякій грамотный теперь знаетъ, каковы были тогдашнія строгости цензуры, и какіе прекрасные плоды принесла намъ эта цензура. Чтò же я могъ отвѣчать на вопросъ иностранца? Конечно, я отвѣчалъ, что цензура наша существуетъ только по имени (!), и дозволяется печатать все, чтò придетъ въ голову" (стр. 217).

Взглядъ г. Фета былъ, очевидно, взглядъ самаго крайняго реакціоннаго лагеря, который давно уже утверждалъ, что наша цензура чуть ли не состоитъ изъ революціонеровъ, позволяющихъ къ ущербу безопасности государства печатать чтò кому вздумается.

Друзья расходились, далѣе, и въ своихъ мнѣніяхъ о Катковѣ. Г. Фетъ, какъ мы указывали, уже издавна былъ великимъ почитателемъ Каткова; Тургеневъ въ августѣ 1871 года пишетъ о Катковѣ: „я въ жизни ненавидѣлъ только одно лицо (не его,— то уже умерло, слава Богу), а презиралъ только трехъ людей: Жирардена, Булгарина и издателя „Моск. Вѣдомостей" (стр. 237).

Свои понятія о цензурѣ г. Фетъ прилагалъ на практикѣ способомъ, о которомъ мы получаемъ понятіе изъ письма Тургенева отъ августа 1873 года: „Рекомендація ваша М. Н. Лонгинову, при его отъѣздѣ изъ Орла, возъимѣла свое дѣйствіе: „Вѣстникъ Европы" получилъ второе предостереженіе. То-то вы порадуетесь, когда этотъ честный, умѣренный, монархическій òрганъ будетъ прекращенъ за революціонерство и радикализмъ.

„Извините эту, немного желчную, выходку, но досада хоть кого возьметъ!" (стр. 279).

Досада взяла Тургенева не надолго. На слѣдующей строкѣ, онъ „жметъ руку" другу, дававшему рекомендаціи Лонгинову; но все-таки между друзьями произошли потомъ неудовольствія по поводамъ личнаго свойства, и въ одномъ письмѣ (отъ ноября 1874) Тургеневъ писалъ г. Фету слѣдующую фразу: „Откланиваясь вамъ не безъ нѣкотораго чувства печали, которое относится, впрочемъ, исключительно къ прошедшему, желаю вамъ всѣхъ возможныхъ благъ и преуспѣянія въ обществѣ гг. Маркевичей, Катковыхъ, и т. п." (стр. 302).

За этимъ г. Фетъ помѣстилъ нѣсколько свѣденій, изображающихъ дурной нравъ Тургенева, а впослѣдствіи, когда происходило примиреніе Тургенева съ Л. Н. Толстымъ, г. Фетъ подумалъ,

что и ему слѣдуетъ примириться въ Тургеневымъ. „Между Толстымъ и Тургеневымъ, подумалъ я, была хоть формальная причина разрыва; но у насъ съ Тургеневымъ и этого не было (?)... Смѣшно же людямъ, интересующимся въ сущности другъ другомъ, расходиться только на томъ основаніи, что одинъ—западникъ безъ всякой подкладки, а другой—такой же западникъ только на русской подкладкѣ изъ ярославской овчины, которую при нашихъ морозахъ покидать жутко“ (стр. 350).

Старые друзья примирились; но каковъ бы ни былъ личный характеръ Тургенева, разница между ними была едва ли та, какую указываетъ г. Фетъ. Тургеневъ былъ западникъ на подкладкѣ европейскаго просвѣщенія и тѣхъ благъ, какія оно могло и должно было, по его мнѣнію, принести для русской жизни; г. Фетъ на первыхъ страницахъ своихъ „Воспоминаній“ самъ опредѣлилъ себя, какъ писателя „дворянской“ литературы, и онъ былъ таковымъ, съ тѣми односторонностями, какія влечетъ въ области мысли и поэзіи всякая сословность, которая въ нашихъ условіяхъ послѣ освобожденія крестьянъ стала тѣмъ болѣе узкой.

На этомъ мы кончимъ извлеченія изъ „Воспоминаній“ г. Фета. Исключительность, о которой мы сейчасъ говорили, проходитъ черезъ всю книгу, и мы видѣли на фактическихъ примѣрахъ, чѣмъ она отражалась въ пониманіи литературной и общественной жизни. Люди исключительнаго кружка остались глухи и слѣпы къ движеніямъ здоровыхъ интересовъ общественной жизни, которую они отвергали цѣликомъ: не мудрено, что жизнь пройдетъ мимо и сочтетъ ихъ чужими въ томъ, что̀ было въ нихъ исключительнаго.

А. В—нъ.

ФРАНКО-РУССКІЯ ОТНОШЕНІЯ

при

НАПОЛЕОНѢ I.

Napoléon et Alexandre 1. L'alliance russe sous le premier empire. I. De Tilsit à Erfurt. Par *Albert Vandal.* Paris, 1891.

— *Alexandre 1 et Napoléon*, d'après leur correspondance inédite. 1801—1812. Par *Serge Tatistcheff.* Paris, 1891.

— Сборникъ Императорскаго Русскаго Историческаго Общества. Томъ 70. Дипломатическія сношенія Россіи съ Франціей въ эпоху Наполеона I. Подъ редакціей проф. А. Трачевскаго. Т. I. 1800—1802. Спб., 1890.

II *).

За нѣсколько мѣсяцевъ до личнаго сближенія и союза между Александромъ I-мъ и Наполеономъ, русское правительство слѣдующимъ образомъ объясняло странѣ мотивы предпринятой рѣшительной борьбы противъ Бонапарта: „Всему міру извѣстны богопротивные его замыслы и дѣянія, коими онъ попралъ законъ и правду. Еще во времена народнаго возмущенія, свирѣпствовавшаго во Франціи во время богопротивной революціи, бѣдственной для человѣчества и навлекшей небесное проклятіе на виновниковъ ея, отложился онъ отъ христіанской вѣры, на сходбищахъ народныхъ торжествовалъ учрежденныя лжеумствующими богоотступниками идолопоклонническія празднества, и въ сонмѣ нечестивыхъ сообщниковъ своихъ воздавалъ поклоненіе, единому Все-

---

*) См. выше: мартъ, стр. 378 и сл.

вышнему Божеству подобающее,—истуканамъ, человѣческимъ тварямъ и блудницамъ, идольскимъ изображеніемъ для нихъ служившимъ. Въ Египтѣ пріобщился онъ гонителямъ церкви Христовой, проповѣдывалъ алкоранъ Магометовъ, объявилъ себя защитникомъ исповѣданія суевѣрныхъ послѣдователей сего лжепророка мусульманъ и торжественно показывалъ презрѣніе свое къ пастырямъ святой церкви Христовой. Наконецъ, въ вящшему посрамленію оной, созвалъ во Франціи іудейскія синагоги, повелѣлъ явно воздавать раввинамъ ихъ почести, и установилъ новый великій сангедринъ еврейскій, сей самый богопротивный соборъ, который нѣкогда дерзнулъ осудить на распятіе Господа нашего и Спасителя Іисуса Христа, и теперь помышляетъ соединить іудеевъ, гнѣвомъ Божіимъ разсыпанныхъ по всему лицу земли, и устремить ихъ на ниспроверженіе церкви Христовой и (о, дерзость ужасная, превосходящая мѣру всѣхъ злодѣяній!) на провозглашеніе лже-Мессіи въ лицѣ Наполеона..." Этотъ „неистовый врагъ мира и благословенной тишины... дерзаетъ въ изступленіи злобы своей угрожать свыше покровительствуемой Россіи вторженіемъ въ ея предѣлы, разрушеніемъ ея благоустройства, коимъ нынѣ она единая въ мірѣ наслаждается... и потрясеніемъ православной грекороссійской церкви" и т. д. „Отринувъ мысли о правосудіи божіемъ, онъ мечтаетъ въ буйствѣ своемъ, съ помощью ненавистниковъ имени христіанскаго и способниковъ его нечестія, іудеевъ, похитить (о чемъ каждому человѣку и помыслить ужасно) священное имя Мессіи; покажите ему, что онъ тварь, совѣстью сожженная и достойная презрѣнія" [1]).

Въ такихъ выраженіяхъ составлено было объявленіе, которое читалось въ церквахъ, при созывѣ „чрезвычайнаго ополченія, подъемлемаго на защиту православной церкви нашей", послѣ разгрома Пруссіи войсками Наполеона. Конечно, въ этомъ обвинительномъ актѣ противъ французскаго полководца отведено слишкомъ много мѣста элементу фантастическому, разсчитанному на первобытное состояніе общественнаго мнѣнія; чудовищный образъ Бонапарта, виновнаго одновременно въ поклоненіи идоламъ, въ принятіи мусульманства, въ желаніи объединить іудеевъ и провозгласить себя Мессіею, напоминаетъ уже позднѣйшее народное представленіе о Наполеонѣ, какъ объ антихристѣ. Но вражда и недовѣріе къ французскому правительству, хотя и въ болѣе правдоподобныхъ и сдержанныхъ формахъ, выражаются

---

[1]) Полное собр. законовъ, 1806, № 22.394, синодскій указъ 13-го декабря, вслѣдствіе именного отъ 6-го декабря. Ср. Tatistcheff, стр. 106—7.

одинаково во всѣхъ дипломатическихъ заявленіяхъ и инструкціяхъ петербургскаго кабинета, начиная отъ вступленія Александра I-го на престолъ и до несчастной битвы при Фридландѣ. Въ предписаніяхъ и наставленіяхъ графу Моркову постоянно говорится о недобросовѣстности и изворотливости французскаго правительства, о невозможности довѣрять „фразамъ Бонапарта" и полагаться на его обѣщанія. Послѣ битвы при Эйлау, Александръ I горячо убѣждалъ прусскаго короля не вѣрить заманчивымъ предложеніямъ Наполеона, двоедушіе котораго достаточно „извѣдано по печальному опыту", и „самая крайность его безстыдства—писалъ императоръ—является для меня новою причиною причислить и эти коварныя предложенія къ такимъ хитростямъ, которыя онъ такъ любитъ употреблять и которыя такъ часто служили ему съ успѣхомъ для того, чтобы ослаблять усилія, противъ него направленныя, и сѣять несогласіе между противниками" [1]). А нѣсколько мѣсяцевъ спустя, Александръ I-й, столь хорошо знавшій характеръ Наполеона, сдѣлалъ то, чего никогда не рѣшился бы сдѣлать король прусскій,—вполнѣ отдался дружбѣ побѣдителя, увѣровалъ въ его заманчивыя и неопредѣленныя обѣщанія, сталъ его союзникомъ и помощникомъ въ тѣхъ самыхъ дѣлахъ, которыя прежде считалъ несправедливыми и вредными. Такой рѣзкій и быстрый поворотъ могъ совершиться только при господствѣ случайныхъ личныхъ впечатлѣній и порывовъ въ области политической дѣятельности.

Въ сношеніяхъ своихъ съ Пруссіею и Австріею Наполеонъ имѣлъ дѣло съ опредѣленными и сознательно охраняемыми группами интересовъ; въ русской же политикѣ онъ видѣлъ пустое пространство, которое можно было наполнить какимъ угодно содержаніемъ, смотря по настроенію властвующихъ лицъ. Стоило только измѣнить это настроеніе, повліять извѣстнымъ образомъ на личныя чувства Александра I-го, направить его мысли и желанія въ другую сторону, и Россія изъ враждебной силы стала бы союзною, безъ всякихъ реальныхъ уступокъ въ ея пользу. Если русское правительство могло отдавать свои военныя силы въ распоряженіе Австріи или Пруссіи, то почему же не предположить, что это же самоотверженное безкорыстіе можетъ направиться въ сторону Франціи? Попытки привлечь Австрію къ союзу съ Франціею не имѣли успѣха; переговоры съ разбитой Пруссіею не привели ни къ чему; упорное и нерѣшительное сраженіе при Эйлау было, въ сущности, неудачей. „Въ этотъ день,

[1]) С. М. Соловьевъ. Имп. Александръ I, стр. 133—4.

—говоритъ Альберъ Вандаль,—война достигла ужасовъ, какіе не были еще превзойдены; противники бились между собою, не видя другъ друга, подъ темнымъ небомъ, среди падавшаго снѣга, и совершали безплодно чудеса героизма: Наполеонъ почувствовалъ, что счастіе ему измѣняетъ. Послѣ двѣнадцати часовъ кровавой работы, непріятельскія войска едва отодвинулись, и только заря слѣдующаго дня, освѣтивъ покинутыя ихъ позиціи, показала, что поле битвы осталось за французами. Привыкши въ побѣдамъ другого рода, великая армія тихо считала свои раны, и при всей вѣрѣ въ себя и въ своего вождя она поддавалась тягостному чувству". Высшее сознаніе своего интереса, страсть къ полезному, господствовавшая въ его душѣ надъ всѣми другими ея движеніями, внушаютъ Наполеону желаніе—какъ выражается французскій историкъ—„овладѣть орудіемъ, которое его ранило, и тотчасъ послѣ Эйлау возникаетъ вновь въ его умѣ идея русскаго союза". Въ 1807 году „онъ вспоминалъ 1801 годъ: располагая тогда волей Павла I-го, онъ уже смотрѣлъ на Россію, какъ на служебную силу, и готовился взять ее въ руки, когда власть, съ которою онъ велъ переговоры, внезапно исчезла"... Онъ поэтому не особенно разсчитывалъ на прочность желаннаго сближенія, но считалъ его по прежнему осуществимымъ и благотворнымъ для Франціи; „я держусь того взгляда,—писалъ онъ въ мартѣ Талейрану,—что союзъ съ Россіею былъ бы очень выгоденъ, еслибы онъ не былъ дѣломъ фантастическимъ и еслибы можно было сколько-нибудь полагаться на этотъ дворъ". Для достиженія своей цѣли онъ старался подѣйствовать на впечатлительную натуру Александра I-го оффиціальными заявленіями о безцѣльности дальнѣйшаго кровопролитія, о великихъ бѣдствіяхъ войны, о потеряхъ русской арміи; черезъ двадцать дней послѣ битвы при Эйлау явился о ней знаменитый бюллетень, изображавшій съ непривычнымъ краснорѣчіемъ страшныя картины поля сраженія и кончавшійся фразой: „такое зрѣлище должно внушать государямъ любовь къ миру и отвращеніе къ войнѣ". Этотъ „призывъ къ человѣчности, разглашенный по всей Европѣ, обращался косвенно и прежде всего къ главному противнику, который особенно носилъ на себѣ бремя и отвѣтственность борьбы, и бюллетень объ Эйлау былъ первымъ шагомъ миролюбія по отношенію къ Россіи". Но мнимое миролюбіе было лишь ловкимъ дипломатическимъ пріемомъ, за которымъ послѣдовалъ оглушительный военный ударъ при Фридландѣ. Альберъ Вандаль, какъ истый французъ, восторгается удачнымъ кровопролитіемъ: „никакая тѣнь—говоритъ онъ—не омрачила блеска этого прекраснаго дня, яснаго и свѣтлаго

въ лѣтописяхъ нашей исторіи; звѣзда Наполеона вышла изъ-за тучъ, затемнявшихъ ее временно, и засіяла вновь полнымъ свѣтомъ. Результаты были огромны: тридцать тысячъ русскихъ было убито (sic), ранено или взято въ плѣнъ; многочисленная артиллерія; попала въ наши руки; Кенигсбергъ, сборный военный пунктъ коалиціи, сдался; прусскій король бѣжалъ въ Мемель, и изъ его владѣній остался ему только одинъ городъ".

Наполеонъ воспользовался этимъ психологическимъ моментомъ, чтобы очаровать Александра I и подчинить его своему руководящему вліянію. Французы дѣйствовали крайне предупредительно при заключеніи перемирія; русскій уполномоченный, князь Лобановъ, выслушалъ отъ Наполеона столько лестнаго и пріятнаго для императора Александра и для Россіи, что могъ даже забыть о недавнихъ непріязненныхъ дѣйствіяхъ. Намеки на возможность взаимнаго сближенія и совмѣстнаго политическаго господства въ Европѣ пали на благодарную почву. „Императоръ съ восхищеніемъ внималъ разсказу своего уполномоченнаго,—пишетъ г. Татищевъ.—Умъ его просвѣтлѣлъ; онъ начиналъ понимать основную ошибку политики, которой онъ слѣдовалъ со времени своего восшествія на престолъ. Тотъ, кого онъ считалъ врагомъ Европы, оказывался искреннимъ другомъ его лично и его страны; онъ обнаруживалъ относительно него самыя великодушныя намѣренія". Плодъ созрѣвалъ: орудіе, о присвоеніи котораго мечталъ французскій полководецъ, готово было отдаться въ его распоряженіе. Отпуская князя Лобанова въ Тильзитъ для обмѣна ратификацій договора о перемиріи, Александръ I „лихорадочной рукою" начерталъ слѣдующія указанія своему генералу: „Вы выразите императору Наполеону, насколько я чувствителенъ ко всему, что̀ онъ поручилъ мнѣ сказать черезъ ваше посредство, и въ какой мѣрѣ я желаю тѣснаго союза обѣихъ націй для исправленія всѣхъ прошлыхъ бѣдствій. Вы скажете ему, что этотъ союзъ между Франціею и Россіею былъ всегда предметомъ моихъ желаній, и что, по моему убѣжденію, только этотъ союзъ можетъ обезпечить счастье и спокойствіе міра. Совершенно новая система должна замѣнить ту, какая существовала до сихъ поръ, и я льщу себя увѣренностью, что мы легко сойдемся съ императоромъ Наполеономъ, лишь бы только мы вступили въ переговоры безъ посредниковъ. Прочный миръ можетъ быть заключенъ между нами въ нѣсколько дней". Въ этихъ словахъ какъ нельзя лучше обрисовываются чисто личные и случайные мотивы русской политики: то, что̀ вчера побуждало бросать въ жертву десятки тысячъ человѣческихъ жизней, признается сегодня

ошибочнымъ и ненужнымъ; союзъ съ Франціею составляетъ „совершенно новую систему", прямо противоположную прежней, и въ то же время онъ „всегда былъ предметомъ желаній", чему противорѣчили, однако, постоянныя наступательныя войны противъ французовъ. Посредники, дипломаты или министры, неизбѣжно внесли бы въ обсужденіе какіе-нибудь политическіе или государственные интересы и этимъ могли бы стѣснить возможные увлеченія и порывы; а потому посредниковъ не нужно. Въ ожиданіи отвѣта, Александръ I придвигался обратно къ Нѣману, увлекая за собою и прусскій дворъ; „неодолимая сила тянула его все ближе къ тому мѣсту, гдѣ находился Наполеонъ". Наконецъ, явился Дюрокъ съ предложеніемъ свиданія, которое и состоялось на другой же день, 25-го (13) іюня, при торжественной и отчасти театральной обстановкѣ, по срединѣ рѣки.

„Я видѣлъ императора Александра,—писалъ Наполеонъ въ тотъ же день Жозефинѣ:—я былъ имъ очень доволенъ; это очень красивый, добрый и молодой императоръ; онъ умнѣе, чѣмъ думаютъ обыкновенно". Съ перваго же взгляда Наполеонъ оцѣнилъ тѣ качества противника, которыя облегчаютъ задачу обольщенія. и принялъ соотвѣтственный способъ дѣйствій. „Деликатной и вѣрной рукою,—говоритъ Альберъ Вандаль,—станетъ онъ дотрогиваться до струнъ, могущихъ волновать душу Александра, и онъ завладѣетъ имъ, чтобы въ его лицѣ располагать Россіею. Онъ хочетъ одновременно направлять его умъ и завоевать его сердце; онъ придастъ взаимнымъ отношеніямъ характеръ не столько союза въ обычномъ смыслѣ этого слова, сколько личной и интимной связи, основанной на дружбѣ человѣка къ человѣку, и это послужитъ для него средствомъ къ тому, чтобы сообщить соглашенію оттѣнокъ неопредѣленности и таинственности; между друзьями, которые цѣнятъ другъ друга и избѣгаютъ всякаго недовѣрія, устанавливается пониманіе на полусловѣ... Переносить политическіе вопросы въ область возвышенную и туманную, обходить по возможности практическія и матеріальныя ихъ стороны, обсуждать все en grand, ставить принципы для неопредѣленнаго будущаго, говорить больше въ будущемъ времени, чѣмъ въ настоящемъ, не брать на себя обязательствъ преждевременныхъ и, быть можетъ, опасныхъ; въ случаѣ необходимости реальныхъ уступокъ, дѣлать ихъ не монарху, а человѣку, пріурочивать ихъ къ удовлетворенію его самолюбія, его личныхъ и временныхъ стремленій, а не постоянныхъ интересовъ его народа, давать ему надежду на другія преимущества и выгоды, еще болѣе обширныя, всегда оставлять ему желать чего-то, держать его въ выжида-

тельномъ положеніи, полномъ очарованія, какъ бы въ волшебномъ снѣ, который отниметъ у него способность разсуждать и управлять собою—таковъ былъ планъ, который примѣнялся Наполеономъ съ необычайнымъ искусствомъ, постоянствомъ и послѣдовательностью и который, повидимому, былъ усвоенъ имъ при первой же встрѣчѣ съ русскимъ императоромъ".

Въ свою очередь, Александръ I былъ въ восторгѣ отъ дружескихъ любезностей и разнообразныхъ талантовъ великаго полководца; „ни противъ кого у меня не было столько предубѣжденій, какъ противъ него, — говорилъ онъ, — но послѣ перваго разговора съ нимъ они всѣ исчезли какъ сонъ". „Какъ жаль, что я не видѣлъ его раньше!—заявилъ онъ одному французскому дипломату:—теперь разорвана завѣса и время заблужденія прошло!". Отдаваясь своимъ новымъ чувствамъ и впечатлѣніямъ, русскій государь употреблялъ тѣ же пріемы ухаживанія по отношенію къ Наполеону и основывалъ на своемъ кажущемся успѣхѣ широкія политическія надежды. Альберъ Вандаль видитъ въ тильзитскомъ свиданіи „искренній опытъ временнаго союза, соединенный съ попыткою обоюднаго обольщенія". На дѣлѣ обольщеніе было вполнѣ и исключительно одностороннимъ, какъ ясно видно изъ достигнутыхъ положительныхъ результатовъ, которые далеко превзошли всѣ ожиданія Наполеона.

Предъ свиданіемъ съ Александромъ I, Наполеонъ давалъ понять, что Россія должна предоставить ему владычество въ западной Европѣ и отказаться отъ всякаго вмѣшательства въ постороннія дѣла; онъ отмѣчалъ на географической картѣ теченіе Вислы и говорилъ русскому уполномоченному: „вотъ граница между обѣими имперіями,—съ той стороны будетъ господствовать вашъ государь, а съ этой я!" О томъ, чтобы заставить Россію сдѣлаться активною и послушною помощницей Франціи, не могло быть и рѣчи безъ дальнѣйшей тяжелой войны, которая была крайне нежелательна и даже опасна для Наполеона, при двусмысленной сдержанности вѣнскаго кабинета и при отдаленности театра военныхъ дѣйствій отъ Парижа. Отъ Австріи зависѣло въ каждую данную минуту вмѣшаться въ борьбу и выдвинуть свои свѣжія войска, чтобы ударить въ тылъ французамъ; эта возможность сильно тревожила Наполеона и побуждала его желать скорѣйшаго мирнаго соглашенія съ Россіею. Русская дипломатія сознавала относительныя выгоды своего положенія и готовилась утилизировать ихъ, насколько позволяли обстоятельства; духъ осторожности и благоразумія поддерживался въ нашей главной квартирѣ министромъ иностранныхъ дѣлъ, барономъ Будбергомъ, ко-

торый все-таки не забывалъ, что приходится вести переговоры съ неподражаемо-ловкимъ и ничѣмъ не стѣсняющимся побѣдителемъ, первымъ политическимъ артистомъ своего вѣка. Пока Александръ I обсуждалъ съ своимъ министромъ возможныя условія мира, онъ руководствовался соображеніями болѣе или менѣе государственнаго свойства; онъ имѣлъ въ виду признать новый порядокъ вещей, установленный въ Европѣ Бонапартомъ, и отречься отъ союза съ Австріею и Англіею, но рѣшительно отклонить предположеніе о закрытіи русскихъ портовъ для англичанъ и о какихъ бы то ни было мѣрахъ, способныхъ привести къ разрыву и борьбѣ съ британскимъ правительствомъ. Будбергъ предлагалъ оказать дипломатическую поддержку Пруссіи въ видахъ возстановленія прусскаго короля въ его владѣніяхъ; но, по мнѣнію министра, Россія должна была по этому предмету предоставить самимъ прусскимъ дипломатамъ вступить въ непосредственные переговоры съ Франціею, а не брать на себя главную дѣйствующую роль, къ чему склоненъ былъ императоръ.

Излагая сущность этихъ предварительныхъ предположеній по архивнымъ документамъ, г. Татищевъ съ непонятною наивностью ставитъ въ вину барону Будбергу и его сотрудникамъ естественное недовѣріе къ планамъ и цѣлямъ Наполеона, къ его проектамъ сближенія и союза. „Русская дипломатія,—замѣчаетъ нашъ авторъ,—не отвергла ни одного изъ своихъ предразсудковъ, не отреклась отъ своихъ ошибокъ“; но она не могла бы подыскать разумные мотивы для того, чтобы изъ одной крайности перейти въ другую и послѣ неудачной войны противъ Бонапарта броситься къ его услугамъ. Эта осмотрительность заслуживала скорѣе похвалы, чѣмъ порицанія, ибо она свидѣтельствовала о сознательномъ отношеніи къ политическимъ интересамъ и вопросамъ; и еслибы опытные совѣтники имѣли право голоса въ тильзитскихъ совѣщаніяхъ, послѣднія не привели бы къ ряду печальныхъ абсурдовъ и недоразумѣній, завершившихся войною 1812 года.

Александръ I оставилъ въ сторонѣ всякія государственныя соображенія и вполнѣ поддался мимолетному личному чувству, когда удивилъ Наполеона словами: „я буду вашимъ помощникомъ противъ Англіи!“ При такой легкой и скорой готовности воевать противъ вчерашнихъ союзниковъ, не трудно было добиться возстановленія Пруссіи и Мекленбурга; но на Россію возлагались обязательства, которыхъ не могло бы принять на себя никакое правительство, чувствующее свою отвѣтственность предъ государствомъ и общественнымъ мнѣніемъ. Уже при самомъ назначеніи уполномоченныхъ для веденія переговоровъ о мирѣ и союзѣ,

выяснилось съ полною наглядностью, что новыя дружескія отношенія далеко не равноправны, что одна сторона всецѣло подчиняется другой. Естественными представителями обоихъ императоровъ были ихъ министры иностранныхъ дѣлъ, Талейранъ и Будбергъ; но Наполеонъ возражалъ противъ послѣдняго, въ виду его нѣмецкаго имени и прежнихъ анти-французскихъ симпатій, и Александръ I уступилъ, не сказавъ ничего противъ Талейрана, который гораздо менѣе Будберга сочувствовалъ идеѣ франко-русскаго сближенія. Знаменитый дипломатъ былъ всегда сторонникомъ союза съ Австріею, и однако объ его личныхъ взглядахъ даже не упоминалось, тогда какъ воззрѣнія и чувства Будберга подвергались строгому разбору. Русскій государь, по желанію противника, устранилъ отъ участія въ переговорахъ своего собственнаго министра иностранныхъ дѣлъ, дипломатическая опытность котораго не была нужна Наполеону, и современный патріотъ, г. Татищевъ, не только не видитъ прямого смысла этого факта, но считаетъ еще возможнымъ глумиться по поводу нѣмецкаго происхожденія устраненнаго министра. Будбергъ покинулъ Тильзитъ подъ предлогомъ нездоровья, и уполномоченными съ нашей стороны были назначены чисто-русскіе люди, но очень плохіе дипломаты и даже вовсе не дипломаты: князь Куракинъ, котораго Воронцовы называли „imbécile", и генералъ-лейтенантъ, случайно попавшій въ политическіе дѣятели, князь Лобановъ-Ростовскій. „Куракинъ былъ старый царедворецъ, вполнѣ покорный, но лишенный иниціативы и дѣятельности, — говоритъ Альберъ Вандаль:—до 2-го іюля онъ имѣлъ съ французскимъ представителемъ только одно совѣщаніе, и въ извинительномъ письмѣ отъ этого числа жаловался на свои недуги, заставляющіе его быть неаккуратнымъ относительно Талейрана. Въ дѣйствительности обсужденіе между уполномоченными касалось только подробностей и вопросовъ редакціонныхъ, а всѣ предметы существенной важности предоставлялись разсмотрѣнію самихъ императоровъ". Съ одной стороны были Наполеонъ и Талейранъ, властные распорядители политическихъ судебъ, одаренные желѣзною энергіею и исключительными силами ума и характера, а съ другой — мягкій, податливый идеалистъ, дѣйствующій по личному вдохновенію, безъ серьезныхъ совѣтниковъ, хотя бы такихъ, которые имѣли бы за собою политическую рутину и обыкновенный здравый смыслъ. Отсюда само собою вытекало все дальнѣйшее.

Пребываніе обоихъ императоровъ въ Тильзитѣ, отъ 26-го іюня до 9-го іюля, описано особенно подробно въ книгѣ Вандаля; нѣко-

торые эпизоды чрезвычайно интересны, какъ, напримѣръ, пріѣздъ королевы Луизы и тщетныя старанія ея смягчить Наполеона относительно Пруссіи. Положеніе прусскаго короля было весьма печально; онъ допущенъ былъ къ участію во второмъ свиданіи на Нѣманѣ, по желанію Александра I, и затѣмъ водворился въ Тильзитѣ, въ предмѣстьѣ, у мельника. Присутствіе его едва замѣчалось побѣдителемъ; изрѣдка его удостоивали нѣсколькими замѣчаніями, рѣзкими совѣтами, ироническими или высокомѣрными фразами, которыя выслушивались съ достоинствомъ и не безъ отпора. Удрученный судьбою своей монархіи, молчаливый и угрюмый, неловкій по природѣ, король представлялъ рѣшительный контрастъ съ блестящею фигурою своего заступника и покровителя; онъ ни на минуту не забывалъ Іены и Ауэрштедта, тогда какъ его могущественный другъ, живой, остроумный и веселый, уже совершенно, повидимому, не помнилъ о тѣхъ тысячахъ русскихъ, которые всего двѣ недѣли тому назадъ легли при Фридландѣ. Наполеонъ занималъ Александра роскошными военными зрѣлищами и парадами, проводилъ съ нимъ цѣлые часы и вечера въ оживленной бесѣдѣ, поражая его богатствомъ и силою своей фантазіи, оригинальною красотою и образностью своихъ рѣчей. На парадѣ, среди внушительной военной и придворной обстановки, онъ получаетъ дипломатическія депеши, пробѣгаетъ ихъ и, обращаясь къ русскому императору, говоритъ вдохновеннымъ тономъ: „это декретъ Провидѣнія,—турецкая имперія не можетъ болѣе существовать“. Въ депешахъ сообщалось о низверженіи султана Селима, съ которымъ Франція была въ союзѣ и который считался способнымъ преобразовать Турцію. Это событіе, какъ заявилъ далѣе Наполеонъ, освобождало его отъ всякихъ обязательствъ относительно Порты и давало ему свободу въ дѣлѣ выполненія великихъ проектовъ, къ которымъ его одинаково влекли собственныя его наклонности и дружескія чувства къ Александру. „И мысль обоихъ императоровъ уносится вдаль, мимо окружающаго военнаго блеска, мимо полей Польши и блѣдныхъ картинъ сѣвера, къ болѣе свѣтлымъ странамъ, къ востоку и Константинополю, обѣтованной землѣ русскаго честолюбія“. Внезапное и какъ бы случайное откровеніе по восточному вопросу при столь торжественной обстановкѣ было вѣроятно подготовлено заранѣе; это была одна изъ тѣхъ эффектныхъ театральныхъ сценъ, которыми Наполеонъ умѣлъ ослѣплять современниковъ, друзей и враговъ. Будущія судьбы востока, освобожденіе христіанскихъ народовъ отъ турецкаго ига и возрожденіе ихъ къ новой культурной жизни, раздѣлъ Турціи между Россіею и Франціей, — все это

стало любимымъ предметомъ разсужденій и импровизацій, въ которыхъ роль соблазнителя игралъ Наполеонъ, а Александръ I былъ лишь восторженнымъ, все болѣе увлекающимся слушателемъ. Рисуя широкія перспективы міроваго раздѣла, французскій полководецъ прибавлялъ лишь одну оговорку: осуществленіе великой задачи принадлежитъ только будущему, а въ настоящемъ слѣдуетъ ограничиться отдѣленіемъ отъ Турціи нѣкоторыхъ провинцій, безполезно разоряемыхъ ею. Различныя гипотезы выдвигались поочередно, безъ болѣе точнаго опредѣленія ихъ; разговоръ переходилъ на почву неясныхъ и туманныхъ пожеланій, которыя вызывали въ душѣ Александра положительныя, реальныя надежды. Дальнѣйшее и окончательное обсужденіе этихъ плановъ откладывалось Наполеономъ до новаго свиданія обоихъ императоровъ, которое предполагалось въ Парижѣ.

Сообщивъ извѣстное направленіе мыслямъ и мечтамъ русскаго государя, указавъ ему свѣтлыя и заманчивыя ожиданія въ будущемъ, Наполеонъ могъ всего добиться отъ него въ настоящемъ: очарованный видѣніями грядущаго величія, противникъ всецѣло давался ему въ руки, легко уступалъ реальное и современное, боялся даже спорить о настоящемъ, чтобы не нарушать гармоніи для будущаго, и принималъ слова и намеки за дѣйствительность, опасаясь выказать малѣйшую тѣнь недовѣрія. Всѣ прошлыя предубѣжденія, какъ говорилъ онъ самъ, улетучились, какъ сонъ; но сномъ было вовсе не прошлое, а настоящее состояніе, навѣянное магической силой, которая на нынѣшнемъ языкѣ названа была бы гипнотизмомъ. Пробужденіе настало, когда было уже поздно,—когда нужныя Наполеону обязательства были подписаны и когда оставалось только исполнять ихъ безпрекословно, въ надеждѣ на будущія блага. Позднѣе Александръ I много разъ ссылался на личныя бесѣды, на „припѣвы Тильзита“ (l'air de Tilsit); но Наполеонъ отвѣчалъ съ жесткостью дѣльца, что онъ знаетъ только „припѣвъ записанный“ (l'air noté). Реально сознавались и отстаивались единственно лишь интересы Пруссіи, потому что о нихъ ежедневно напоминали жалобы и просьбы короля, его грустный, убитый видъ, постоянные разговоры его приближенныхъ и въ томъ числѣ такихъ государственныхъ людей, какъ Гарденбергъ, и наконецъ слезы прекрасной и печальной королевы Луизы; но некому было напомнить объ интересахъ Россіи, ибо находившіеся при Александрѣ I русскіе люди были лишь слѣпыми и отчасти плохими исполнителями, неспособными возвыситься до какихъ-либо напоминаній и совѣтовъ.

Переговоры велись Наполеономъ устно и письменно, съ обыч-

ною быстротою и настойчивостью; онъ посылалъ русскому государю готовые документы, проекты нотъ и конвенцій, которые подписывались безъ возраженій или вызывали какія-нибудь незначительныя оговорки. Если поднимались дипломатическіе споры, то только ради Пруссіи, для смягченія ея судьбы, и отчасти также по вопросу о Польшѣ. Россія отказывалась отъ занятыхъ ею дунайскихъ княжествъ, отъ семи іоническихъ островъ, отъ Бокки ди-Каттаро и отъ княжества Іеверскаго, между Фрисландіею и Ольденбургомъ, только для того, чтобы улучшить участь прусскаго короля и отстоять для него часть владѣній по лѣвую сторону Эльбы, какъ прямо сказано въ письмѣ Александра I отъ 6-го іюля. Всѣ предложенныя уступки Наполеонъ принялъ немедленно, а требованіе, ради котораго онѣ были сдѣланы, обѣщалъ исполнить условно, въ зависимости отъ присоединенія Ганновера къ Вестфаліи, по будущему миру съ Англіею, т.-е. взамѣнъ реальныхъ и крупныхъ пріобрѣтеній далъ фиктивное и ничего не стоившее обѣщаніе, которымъ и удовольствовалась Россія. Въ такомъ родѣ происходили всѣ совѣщанія и соглашенія въ Тильзитѣ. Одновременно съ формальнымъ мирнымъ трактатомъ подписанъ былъ 7-го іюля (25-го іюня) секретный договоръ о союзѣ—одинъ изъ самыхъ поразительныхъ актовъ, какіе когда-либо заключались между самостоятельными и могущественными государствами. По этому секретному договору Россія обязывалась вести войну со всякой державой, противъ которой выступитъ Наполеонъ, и отдавать въ его распоряженіе „совокупность своихъ сухопутныхъ и морскихъ силъ", если того потребуютъ обстоятельства; русское правительство должно было предложить лондонскому кабинету свое посредничество для заключенія мира съ Франціею на предписанныхъ заранѣе условіяхъ, а въ случаѣ неизбѣжнаго отказа Англіи—объявить ей войну, причемъ дѣйствовать совмѣстно съ Франціею; обѣ договаривающіяся стороны обратятся тогда одновременно къ Швеціи, Даніи и Португаліи съ категорическимъ требованіемъ закрыть свои гавани для англичанъ и предпринять военныя дѣйствія противъ Англіи, а „съ тѣмъ изъ трехъ государствъ, которое откажется исполнить это требованіе, будетъ поступлено какъ съ непріятелемъ, и при отказѣ Швеціи Данія будетъ принуждена объявить ей войну"; сверхъ того обѣ союзныя имперіи „будутъ съ силою настаивать передъ вѣнскимъ дворомъ", чтобы онъ также прервалъ сношенія съ англичанами и вступилъ въ борьбу съ Англіей,—словомъ, цѣлый рядъ насилій надъ мелкими и крупными державами, цѣлый рядъ военныхъ предпріятій и столкновеній для

общаго сокрушительнаго похода противъ той самой Англіи, съ которой Россія только-что дѣйствовала за-одно противъ „неистоваго врага мира", Наполеона. Такъ какъ о добровольномъ подчиненіи лондонскаго кабинета враждебнымъ требованіямъ Франціи не могло быть и рѣчи, то военныя обязательства Россіи тотчасъ вступали въ силу и дѣйствіе; они были ясны и категоричны, не допуская никакихъ ограничительныхъ толкованій или сомнѣній. Россія обязалась воевать противъ точно обозначенныхъ враговъ Наполеона и ихъ возможныхъ союзниковъ, противъ Англіи, Австріи, Швеціи, Даніи, Португаліи, по указаніямъ французскаго императора и исключительно ради его интересовъ и выгодъ; эта программа немедленныхъ войнъ въ пользу Франціи лишала, конечно, всякаго значенія взаимное обязательство Наполеона помогать Россіи въ ея самостоятельныхъ военныхъ предпріятіяхъ, вынужденныхъ необходимостью, противъ какой-либо европейской державы. Политическимъ распорядителемъ въ Европѣ былъ Наполеонъ, и заключить съ нимъ наступательный и оборонительный союзъ, значило несомнѣнно подчиниться его власти, вступить въ зависимыя, вассальныя къ нему отношенія. Иначе и быть не могло, и новый характеръ подчиненности сказывается невольно во всѣхъ позднѣйшихъ письмахъ Александра I къ Наполеону, до первыхъ признаковъ разрыва.

Крайне тяжелыя и обширныя повинности, возложенныя на Россію, опредѣлены въ союзномъ договорѣ съ надлежащею точностью и полнотою, а противовѣсомъ или вознагражденіемъ должна была служить единственная статья, касающаяся турецкихъ дѣлъ и весьма двусмысленная по содержанію. Франція обязывалась предложить свое посредничество Портѣ для заключенія мира съ Россіею; „если посредничество не будетъ принято или мирные переговоры въ теченіе трехъ мѣсяцевъ не приведутъ къ удовлетворительному результату, то Франція соединится съ Россіею противъ Турціи, и обѣ договаривающіяся державы войдутъ между собою въ соглашеніе, чтобы освободить отъ турецкаго ига всѣ европейскія провинціи оттоманской имперіи, за исключеніемъ Константинополя и Румелійской области" (art. 8). По внѣшней связи статей, это французское посредничество относительно Турціи соотвѣтствуетъ русскому посредничеству по отношенію къ Англіи; но громадная разница между обоими случаями бросается въ глаза: французы пользовались тогда господствующимъ вліяніемъ въ Константинополѣ и имѣли фактическую возможность побудить Порту заключить миръ, такъ что отклоненіе серьезнаго посредничества Франціи было совершенно невѣроятно; притомъ

это посредничество не соединялось съ опредѣленными условіями мира, какъ относительно Англіи, и отъ французовъ всегда зависѣло признать извѣстный результатъ переговоровъ „удовлетворительнымъ", вопреки мнѣніямъ и интересамъ Россіи. Между прочимъ, возможныя выгоды русскихъ условій мира заранѣе ограничивались постановленіемъ мирнаго трактата, по которому русскія войска должны были заблаговременно очистить занятыя ими дунайскія княжества; а сáмый миръ, въ заключеніи котораго призвана участвовать Франція, предполагался „почетнымъ и выгоднымъ для обѣихъ имперій", Турціи и Россіи (art. 23). Русское же посредничество въ Лондонѣ относилось вообще къ достиженію „окончательнаго мира" (art. 13), на условіяхъ, предписанныхъ одною стороною и явно невозможныхъ для другой (отказъ отъ всѣхъ завоеваній, сдѣланныхъ Англіею въ ущербъ Франціи и ея союзникамъ съ 1805 года, и признаніе полной и равной независимости флаговъ всѣхъ державъ на моряхъ, по ст. 4 секретнаго договора). Наконецъ, еслибы Порта, сверхъ ожиданія, отвергла мирныя предложенія и пожелала дать поводъ къ предусмотрѣнной катастрофѣ, то обѣ союзныя державы „войдутъ между собою въ соглашеніе" (s'entendront) о способахъ новаго устройства балканскихъ земель; но каковы будутъ основы этого соглашенія, подѣлится ли Франція съ Россіею турецкими областями, освобожденными отъ турокъ, или устроитъ изъ этихъ областей особыя государства подъ своимъ протекторатомъ—объ этомъ нѣтъ ни единаго слова, ни даже намека въ договорѣ. Несомнѣнно, что буквальному смыслу сдѣлки нисколько не противорѣчило бы простое, одностороннее водвореніе французскаго владычества на развалинахъ Турціи, такъ какъ изъятіе земель изъ-подъ турецкаго гнета, глухо упоминаемое въ союзномъ актѣ, не предполагало ни автономнаго устройства ихъ, ни присоединенія ихъ къ Россіи; подобная развязка была тѣмъ болѣе возможна, что она соотвѣтствовала всегдашнимъ идеямъ Наполеона и могла бы привести къ сближенію Франціи съ Австріею на почвѣ восточнаго вопроса, согласно извѣстному плану Талейрана.

Секретный договоръ, превратившій Россію въ пассивную помощницу Наполеона въ борьбѣ его со всѣми независимыми государствами Европы, не открывалъ въ сущности никакой реальной перспективы для русскихъ плановъ и успѣховъ на востокѣ; единственнымъ положительнымъ выводомъ изъ всѣхъ тильзитскихъ разговоровъ о Турціи оставалось формально выраженное обязательство удалить русскія войска изъ Молдавіи и Валахіи и ожидать „почетнаго и выгоднаго для обѣихъ сторонъ" мира, при

дипломатическомъ содѣйствіи Франціи. Въ такомъ видѣ союзный договоръ, составленный Наполеономъ и Талейраномъ, былъ предложенъ Александру I и принятъ безъ возраженій: 6-го іюля проектъ былъ присланъ, а при письмѣ отъ 7-го числа уже возвращенъ, съ одной лишь оговоркою насчетъ неаполитанскаго короля, которому взамѣнъ потерянныхъ владѣній слѣдовало бы передать Балеарскіе острова (принадлежавшіе посторонней державѣ—Испаніи) или острова Кандію и Родосъ (принадлежавшіе Турціи). Кромѣ этого напоминанія о забытомъ неаполитанскомъ королѣ, никакихъ другихъ вопросовъ и сомнѣній не было возбуждено удивительнымъ текстомъ союзнаго акта. Очевидно, неясная и коварно редактированная статья о Турціи казалась существеннымъ центромъ всей сдѣлки, благодаря исключительному обаянію того миража, который создавалъ и поддерживалъ Наполеонъ около императора Александра I. Договоръ подписанъ, отъ имени Россіи, генералъ-лейтенантомъ княземъ Лобановымъ-Ростовскимъ и княземъ Куракинымъ, безъ участія министра иностранныхъ дѣлъ, барона Будберга: болѣе отвѣтственные и компетентные дѣятели едва ли рѣшились бы подписать такой актъ, даже послѣ окончательныхъ военныхъ пораженій, ибо ничто не принуждало Россію присоединиться къ безпощадной завоевательной политикѣ французскаго полководца и жертвовать русскою кровью для доставленія ему торжества и господства надъ всею Европою. Если прежнія дѣйствія противъ Франціи были ошибочны и напрасны, то внезапный переходъ въ лагерь Наполеона и вступленіе въ борьбу не только противъ вчерашнихъ союзниковъ, англичанъ и австрійцевъ, но и противъ такихъ, ни въ чемъ неповинныхъ и слабыхъ державъ, какъ Данія и Португалія, были уже совершенно непостижимы. Можно было бы еще понять такое самоотверженное и пагубное рѣшеніе, еслибы взамѣнъ предстояло получить Константинополь, Босфоръ и Дарданеллы; но Россія уступала даже дунайскія княжества, которыя фактически находились въ ея рукахъ. Никакія искусственныя политическія объясненія и догадки не устранятъ того безспорнаго и простого факта, что Наполеонъ одержалъ въ Тильзитѣ великую личную побѣду, несравненно болѣе важную и рѣшительную по своимъ послѣдствіямъ, чѣмъ военный успѣхъ при Фридландѣ. Практическое значеніе этой побѣды зависѣло всецѣло отъ преобладанія чисто-личнаго элемента въ сферѣ первостепенныхъ государственныхъ интересовъ,—элемента, не сдерживаемаго и не контролируемаго твердымъ сознаніемъ политическаго долга и живымъ общественнымъ чувствомъ и мнѣніемъ.

Любопытно, что г. Татищевъ еще и теперь не замѣчаетъ или не признаетъ тѣхъ особенностей тильзитскаго акта, которыя вызвали такое общее неудовольствіе и раздраженіе въ тогдашней Россіи; онъ видитъ въ этомъ договорѣ „здравое пониманіе дѣйствительныхъ нуждъ имперіи, возвратъ къ національной и традиціонной политикѣ, единственно вѣрной и выгодной, которой придерживались Петръ Великій и Екатерина", и т. д. „Искренняя взаимная дружба" обоихъ императоровъ, внушаемая, съ одной стороны, симпатіею къ привлекательнымъ личнымъ качествамъ Александра I, а съ другой—безграничнымъ удивленіемъ предъ геніальностью Наполеона, открывала будто бы Россіи широкіе горизонты на востокѣ, и эти будущія выгоды поставлены были въ зависимость отъ одного только условія—отъ вѣрности русскаго государя заключенному союзу, установившейся дружбѣ съ французскимъ императоромъ. „Трехъ недѣль достаточно было,—восторгается далѣе г. Татищевъ,—чтобы разсѣять недоразумѣнія, накопившіяся въ теченіе трехъ столѣтій. Двѣ націи, столь долго отдаленныя между собою, вступили, наконецъ, на новый и спасительный путь,—путь искренней дружбы и полнаго взаимнаго сочувствія. Геній Наполеона, вопреки всѣмъ препятствіямъ, осуществилъ величественное дѣло, которое за сто лѣтъ предъ тѣмъ задумано было геніемъ Петра Великаго. Франція и Россія, впервые соединенныя въ мысляхъ и дѣйствіяхъ, готовились диктовать міру законы". Судя по этимъ словамъ, можно было бы подумать, что то состояніе ослѣпленія, въ какое впали впечатлительные русскіе люди, въ родѣ наивнаго князя Куракина, въ волшебные дни Тильзита, дѣйствуетъ иногда заразительно даже на современные намъ умы и отнимаетъ у нихъ способность къ анализу и критикѣ. Для всякаго ясно, что по тильзитскому акту Россія подчинилась политической системѣ Наполеона и взяла на себя положительныя военныя обязательства противъ Англіи и другихъ державъ, безъ права требовать чего-либо взамѣнъ и даже безъ права удержать за собою Молдавію и Валахію; всѣ „широкіе горизонты" и выгоды на востокѣ оставлялись въ туманѣ и зависѣли всецѣло отъ милости и доброй воли французскаго повелителя, отъ рѣшимости его наградить „вѣрность" и дружбу самоотверженнаго союзника. Г. Татищевъ не чувствуетъ даже, сколько унизительнаго содержится въ его словахъ о зависимости русскихъ выгодъ отъ вѣрности Александра I Наполеону; онъ не упоминаетъ о вѣрности послѣдняго, ибо вѣрнымъ долженъ быть только вассалъ, принявшій на себя опредѣленныя повинности, а властелинъ можетъ быть только милостивымъ, щедрымъ, велико-

душнымъ. Наполеонъ получилъ по договору право требовать отъ Россіи прямого исполненія извѣстныхъ дѣйствій, немедленнаго участія въ разорительныхъ войнахъ, предпринимаемыхъ имъ, Наполеономъ; Россія же ничего не могла требовать, а только пріобрѣтала сомнительное право надѣяться на неизвѣстныя милости въ неопредѣленномъ будущемъ.

Можно ли говорить о равноправномъ союзѣ при подобныхъ условіяхъ? Не странно ли видѣть „національную и традиціонную политику" и „здравое пониманіе дѣйствительныхъ нуждъ имперіи" въ этомъ безпринципномъ и убійственномъ подчиненіи чужому военному предпринимателю? Г. Татищевъ преклоняется предъ Наполеономъ до того, что перестаетъ понимать факты и документы, которые самъ же излагаетъ въ своей книгѣ; онъ вообще принадлежитъ къ числу тѣхъ своеобразныхъ авторовъ, выводы которыхъ всегда находятся въ полномъ противорѣчіи съ ихъ собственными фактическими свѣдѣніями. Такъ какъ эти ничѣмъ не мотивированные выводы довольно рѣдко прерываютъ ходъ повѣствованія и отличаются притомъ достоинствомъ краткости, то книга г. Татищева не особенно отъ нихъ страдаетъ. Авторъ смотритъ на событія съ точки зрѣнія французской дипломатіи того времени и склоненъ обвинять всѣхъ русскихъ, недовѣрчиво относившихся къ Наполеону и къ ожидаемымъ отъ него благодѣяніямъ; онъ за-одно съ тогдашними французами приписываетъ это общественное настроеніе англійскимъ интригамъ. Подобные взгляды были наивны и смѣшны уже вскорѣ послѣ того, какъ разсѣялся миражъ Тильзита; теперь они даже интересны, какъ образчикъ политическаго пониманія среди представителей новѣйшаго національзма въ нашей печати. Существуютъ натуры, въ которыхъ потребность низкопоклонства замѣняетъ патріотическое чувство; низкопоклонство переносится въ исторію, въ далекое прошлое, и слѣдуетъ за всякимъ превосходствомъ силы, хотя бы эта сила была явно враждебна государству и народу.

Самъ Александръ I, какъ замѣчаетъ С. М. Соловьевъ, „не могъ быть доволенъ положеніемъ, которое было создано для него тильзитскимъ миромъ и союзомъ съ Наполеономъ; онъ, какъ государь, долженъ былъ наложить на себя тяжкую обязанность не выражать этого неудовольствія; но другіе, многіе и многіе, будучи недовольны, громко жаловались и обвиняли того, кто принялъ на себя всю отвѣтственность, устроивши новыя отношенія". Причины недовольства были вполнѣ понятны и естественны. „Союзъ съ Наполеономъ—значитъ, постоянная война, ибо онъ

постоянно воюетъ, и Россія будетъ теперь ходить на войну, куда онъ захочетъ,—союзъ! И прежде всего ссора съ Англіею, естественною всегдашнею союзницею, прекращеніе выгодной, необходимой торговли, и за все это Наполеонъ далъ бѣлостокскую область, отнятую у нашего же союзника, прусскаго короля. Начавшаяся немедленно шведская война усилила непріятное впечатлѣніе: война съ государемъ, который былъ нашимъ постояннымъ союзникомъ, который сталъ виноватъ тѣмъ, что остался вѣренъ знамени, покинутому нами,—вотъ прямыя слѣдствія союза съ Наполеономъ,—война, безконечная война въ угоду „врага рода человѣческаго!“ [1])

Альберъ Вандаль, горячій поклонникъ Наполеона, восторженный хвалитель его побѣдъ и предпріятій,—какъ это и естественно со стороны француза, для котораго военная слава выше всякихъ человѣческихъ правъ,—признаетъ, однако, что тильзитскій союзъ былъ дѣломъ сознательнаго и мастерского обольщенія, что русская война противъ Англіи была „насиліемъ надъ чувствами и матеріальными интересами народа“, что подобная зависимость отъ Франціи не имѣла почвы и не могла долго держаться. Вандаль полагаетъ, что Наполеонъ серьезно желалъ приступить когда-нибудь къ раздѣлу Турціи, но что планы и намѣренія его по этому предмету мѣнялись и откладывались вслѣдствіе разныхъ политическихъ обстоятельствъ. Такое предположеніе едва ли основательно: Россія была для Наполеона только орудіемъ, которое онъ постарался въ Тильзитѣ забрать въ свои руки и приспособить къ своимъ спеціальнымъ цѣлямъ; уступки на востокѣ были лишь необходимою приманкою и допускались на дѣлѣ только въ крайнемъ случаѣ и въ возможно малыхъ дозахъ, какъ въ этомъ убѣдился вскорѣ Александръ I по поводу тягостнаго и продолжительнаго спора о дунайскихъ княжествахъ. Невозможная односторонность союза и унизительность его для русскаго правительства ярко обрисовываются въ массѣ фактическаго матеріала, собраннаго Вандалемъ, равно какъ въ письмахъ и дипломатическихъ отчетахъ, напечатанныхъ г. Татищевымъ. Господствующій тонъ этихъ писемъ, послѣ Тильзита и до Эрфурта,—благоговѣйно-дружескій, заискивающій, съ одной стороны,—снисходительный, покровительственный, иногда какъ бы учительскій,—съ другой. Наполеонъ употреблялъ личную дружбу какъ удобное прикрытіе въ дѣловыхъ отношеніяхъ; онъ выказывалъ вниманіе и предупредительность въ мелочахъ, посылалъ подарки и красно-

[1]) Имп. Александръ I, стр. 156—7.

рѣчивыя увѣренія для поддержанія личной близости, но въ политикѣ роли мѣнялись; онъ только требовалъ, напоминалъ и отказывалъ, а союзникъ просилъ, взывалъ къ дружбѣ, убѣждалъ и надѣялся.

Легко доставшееся дипломатическое торжество надъ Россіею сдѣлало Наполеона дѣйствительнымъ и самовластнымъ распорядителемъ всей континентальной Европы; оно толкнуло его на безумныя попытки подорвать независимость и морское могущество Англіи, единственной державы, не испытавшей на себѣ силы его оружія и осмѣливавшейся противодѣйствовать его захватамъ. Можно сказать, что Тильзитъ погубилъ Наполеона, давъ неожиданный просторъ его мечтамъ о всемірной монархіи и открывъ возможность практическаго ихъ осуществленія; онъ не стѣснялся уже овладѣть Испаніею и превратить весь материкъ въ одинъ военный лагерь противъ англичанъ, разоряя народы во имя фантастической борьбы съ недоступнымъ врагомъ. Борьба съ непокорною Англіею становится его idée fixe; она разростается въ грандіозный планъ насильственнаго закрытія всего континента для англійской торговли—планъ нелѣпый, построенный на подчиненіи всѣхъ государствъ одной волѣ и возстановлявшій всѣ классы европейскихъ населеній противъ поработителя. Послѣ Тильзита, одинъ изъ французскихъ министровъ, поздравляя Наполеона, замѣтилъ ему, что этотъ договоръ дѣлаетъ его властелиномъ Европы;—императоръ отвѣчалъ, что онъ будетъ властелиномъ Европы, только тогда, когда подпишетъ миръ въ Константинополѣ. Разумѣется само собою, что миръ былъ бы подписанъ въ Константинополѣ не для того, чтобы отдать его Россіи. Альберъ Вандаль защищаетъ и оправдываетъ политику Наполеона даже въ ея безумныхъ порывахъ и рѣшеніяхъ; онъ серьезно доказываетъ, что главною задачею великаго полководца было водвореніе общаго мира и что единственною виновницею постоянныхъ его завоевательныхъ войнъ была Англія. Книга начинается словами, которыя невольно производятъ впечатлѣніе ироніи: „во все продолженіе своего царствованія, Наполеонъ преслѣдовалъ неизмѣнную цѣль—обезпечить прочность своего дѣла, французское величіе и всеобщее успокоеніе, посредствомъ серьезнаго мира съ Англіею“. Внѣшніе пріемы абсолютизма не ослабляли будто бы „конечной справедливости и величія цѣли, а именно спокойствія міра“. Съ точки зрѣнія Вандаля, всѣ независимыя европейскія державы были виноваты тѣмъ, что не подчинялись добровольно Наполеону, что противорѣчили ему и пытались даже защищать свое самостоятельное существованіе; а

наиболѣе виноватою была Англія, потому что она съ наибольшимъ упорствомъ отказывалась исполнять категорическія французскія требованія и на угрозы и насилія отвѣчала тою же монетою. Безъ сомнѣнія, французы ничего не имѣли бы противъ того, чтобы ихъ правители господствовали надъ чужими народами и распоряжались безпрекословно во всей Европѣ; но называть такое всеобщее насильственное подчиненіе справедливымъ и желаннымъ „всеобщимъ миромъ“—значитъ злоупотреблять словами и понятіями.

Въ высшей степени непріятно встрѣчать сознательную защиту грубаго военнаго произвола и безправія въ научномъ историческомъ трактатѣ; особенно странно видѣть, что современный французскій писатель признаетъ законность военныхъ нападеній, имѣющихъ цѣлью предупредить будущія опасности для мира, между тѣмъ какъ одна мысль о такой безпричинной войнѣ подъ предлогомъ обороны возмущала французовъ въ 1875 году, во время извѣстныхъ воинственныхъ поползновеній въ Берлинѣ. Допуская полную свободу военныхъ насилій, когда послѣднія исходятъ отъ Франціи, и возвеличивая самыя возмутительныя дѣйствія Наполеона въ Германіи и въ другихъ странахъ, французскіе историки и публицисты проповѣдуютъ опасные принципы, которыми легко могли бы воспользоваться нѣмецкіе патріоты противъ самихъ же французовъ. При чтеніи такихъ серьезныхъ книгъ, какъ изслѣдованіе Вандаля, думается невольно, что воинственный духъ занимаетъ еще слишкомъ много мѣста въ умахъ французскаго культурнаго класса, и что французы не соблюдали бы внѣшняго вооруженнаго мира въ теченіе цѣлыхъ двадцати лѣтъ, подобно нынѣшнимъ нѣмцамъ, еслибы въ 1870 году столь же полное военное торжество осталось за Франціею. Восторги по поводу такихъ „свѣтлыхъ дней“, какъ Фридландъ, съ его многими тысячами убитыхъ русскихъ, и самодовольныя описанія славныхъ кровопролитій въ различныхъ мѣстахъ Европы производятъ довольно противное впечатлѣніе, даже когда они облечены въ изящныя литературныя формы, какъ въ историческихъ сочиненіяхъ Тьера; но этотъ культъ войны просто непонятенъ въ научномъ трудѣ, принадлежащемъ перу современнаго француза. Тяжелый опытъ прошлаго долженъ былъ бы измѣнить обычные французскіе взгляды на эпоху наполеоновскихъ предпріятій, ибо въ сущности дѣйствія пруссаковъ въ 1870 году были лишь слабымъ возмездіемъ за кровавый гнетъ Бонапарта надъ Пруссіею и Германіею въ началѣ столѣтія: Седанъ былъ отвѣтомъ на Іену.

Наполеонъ не выносилъ спокойнаго и равноправнаго мира;

онъ былъ по натурѣ своей „insociable“, какъ выражается Тэнъ. Подъ прочнымъ и окончательнымъ миромъ съ Англіею онъ разумѣлъ добровольную или принудительную капитуляцію ея; только въ этомъ смыслѣ говоритъ онъ о мирѣ и общемъ успокоеніи, котораго не желаютъ англичане. Историки, привыкшіе принимать на вѣру оффиціальныя заявленія, повторяютъ нерѣдко тѣ же фразы о мирныхъ стремленіяхъ Наполеона и объ отвѣтственности его противниковъ за возникавшія войны. Миролюбіе его выражалось въ весьма оригинальныхъ дипломатическихъ пріемахъ; онъ говоритъ англичанамъ: „очистите Мальту, для того, чтобы Средиземное море сдѣлалось французскимъ озеромъ; я хочу господствовать на морѣ, какъ на сушѣ, и располагать востокомъ, какъ и западомъ. Въ концѣ концовъ, съ моею Франціею, Англія должна естественно придти къ тому, чтобы превратиться лишь въ ея принадлежность: по природѣ она составляетъ одинъ изъ нашихъ острововъ, какъ Корсика или Олеронъ“. Конечно, въ виду такой перспективы, англичане удерживаютъ за собою Мальту и продолжаютъ воевать. Онъ не можетъ дѣйствовать иначе какъ насиліемъ или принужденіемъ, и „его помощники суть для него только подвластные, подъ именемъ союзниковъ“. Сдѣлка съ Россіею, по замѣчанію Тэна, была несостоятельна потому, что Наполеонъ, какъ всегда, хотѣлъ превратить союзника въ подчиненнаго или обманутаго, угрожая ему, нападая или нарушая его права [1]). Союзный актъ давалъ Наполеону формальное основаніе предписывать Россіи такія дѣйствія, которыя безцѣльно разоряли ее и вовлекали въ невозможныя столкновенія; русское правительство не могло слишкомъ долго запрещать торговлю съ Англіею и закрывать англійскимъ судамъ доступъ въ русскія гавани; оно вынуждено было рано или поздно отказаться отъ исполненія обязательствъ, подписанныхъ столь необдуманно въ Тильзитѣ, а отказъ неизбѣжно приводилъ къ войнѣ.

Тильзитскій союзъ заключалъ въ себѣ зародышъ великой кровавой грозы 1812 года; эта гроза миновала бы Россію и не обрушилась бы затѣмъ на Францію, еслибы русская политика предшествовавшихъ лѣтъ была не личною и случайною, а дѣйствительно національною, государственною.

Л. Слонимскій.

---

[1]) Le régime moderne, t. I, стр. 98—101.

ДЭМОСЪ

Романъ въ двухъ частяхъ.

Соч. Гиссинга.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

VI *).

Адель считала своимъ долгомъ помочь бѣдной Эммѣ и ея сестрѣ. Хотя болѣзнь, приковавшая ее къ постели, долго не позволяла ей осуществить великодушное намѣреніе, но во всякомъ случаѣ она не забыла о немъ.

Теперь, находясь въ Лондонѣ, она увидѣла, что то, что казалось столь легко осуществимымъ въ ея мечтахъ, на дѣлѣ было сопряжено съ большими затрудненіями.

Поручить ли ей все дѣло кому-нибудь... вѣрному человѣку? Но кому? Или лично отправиться, по указанному въ письмѣ Катерины адресу? „Нѣтъ, нѣтъ, это невозможно,—говорила она себѣ,—я никогда этого не сдѣлаю". Она понимала, что если мужъ ея узнаетъ объ этомъ (а она считала немыслимымъ скрывать отъ него что-либо), онъ придетъ въ ярость.

Она должна была черезъ нѣсколько дней вернуться въ Ванлей. Въ этомъ затруднительномъ положеніи ей не оставалось ничего болѣе, какъ обратиться къ своему другу, Стеллѣ Уэстлекъ, въ домѣ которой она гостила, за совѣтомъ.

Съ этой мыслью вошла она утромъ, на другой день послѣ

---

*) См. выше: мартъ, 238 стр.

своей встрѣчи съ Губертомъ за обѣдомъ у м-съ Боскобель, въ гостиную. Каково же было ея изумленіе, когда она увидѣла Эльдона! Онъ сидѣлъ, о чемъ-то оживленно разговаривая съ хозяйкой. Первая мысль, мелькнувшая въ головѣ молодой женщины была—повернуться и убѣжать! Но Губертъ уже поднялся ей на встрѣчу; сообразивъ, что Стелла наблюдаетъ за нею, Адель сдѣлала надъ собою усиліе, чтобы скрыть свое смущеніе. Ея холодная сдержанность, оффиціальный тонъ, банальныя слова, съ которыми она обратилась къ нему, поразили и огорчили Губерта. Вчера сквозь видимую холодность онъ чуялъ ея внутреннее расположеніе къ нему, сегодня же... Впрочемъ, это и понятно: вчера они случайно встрѣтились, а въ сегодняшнемъ визитѣ она можетъ усмотрѣть дерзкое желаніе сближенія съ нею. Она ограждаетъ себя заранѣе отъ всякихъ поползновеній съ его стороны къ возстановленію прежней интимности. Итакъ, обмѣнявшись съ нею нѣсколькими незначительными фразами, Губертъ, съ непринужденностью человѣка, привыкшаго бывать въ свѣтѣ, продолжалъ, прерванный ея приходомъ, разговоръ съ хозяйкой и уже не обращался болѣе къ Адели. Положеніе бѣдной Эммы такъ занимало послѣднюю, что она въ первую минуту отнеслась съ большимъ равнодушіемъ къ пренебрежительной холодности Губерта.

Несомнѣнно, цѣль его визита лишь та, чтобы завязать болѣе тѣсное знакомство съ видимо интересовавшей его Стеллой. Но въ глубинѣ души она скоро почувствовала щемящую боль. Ей стало вдругъ досадно, что Губертъ съ такимъ явнымъ предпочтеніемъ относится къ ея пріятельницѣ, и въ то же время стыдно за свою досаду.

Она хотѣла обратиться къ нему съ какимъ-то вопросомъ и удержалась, боясь, что онъ ей не отвѣтитъ, притворяясь, будто не разслышалъ его. Безмолвная, наружно безучастная и спокойная, сидѣла она, внутренно терзаясь противорѣчивыми чувствами. Чтò онъ этимъ хочетъ доказать ей? Зачѣмъ онъ такъ жестокъ къ ней? Чѣмъ заслужила она подобное униженіе? Она чувствовала, что слезы готовы навернуться ей на глаза, и въ ту минуту, когда внутреннее волненіе досады и тоскливое безпокойство дошли въ ней до апогея, дверь отворилась и лакей объявилъ:—мистеръ Мотимеръ!

Адель затрепетала. При видѣ входящаго мужа ужасъ оледенилъ ее. Это было такъ неожиданно! И Ричардъ тоже очевидно былъ пораженъ, увидавъ Губерта. Она замѣтила, какъ лицо его внезапно омрачилось и приняло злое и натянутое выраженіе.

— Вы, вѣроятно, уже знакомы съ м-ромъ Эльдономъ?—съ живостью сказала Стелла.

— Да, знакомъ!—пробормоталъ съ свирѣпымъ видомъ Мотимеръ, видимо дѣлая надъ собой усиліе, чтобы поклониться своему врагу.

Губертъ тотчасъ же простился съ хозяйкой и, почтительно поклонившись Адели, удалился. Адель сидѣла ни жива, ни мертва, храня молчаніе и боясь выдать свое волненіе. Ричардъ, подойдя къ ней, не здороваясь и не выражая ничѣмъ свою радость свидѣться съ ней послѣ нѣсколькихъ дней разлуки, объявилъ ей, что она должна съ нимъ отправиться обѣдать къ Алисѣ.

Такъ какъ хозяйка пожелала узнать, о комъ онъ говоритъ, то Мотимеръ сказалъ ей:

— Моя сестра, м-съ Родманъ.

Затѣмъ снова обратился къ женѣ и тономъ господина, не терпящаго противорѣчій, приказалъ ей быть готовой къ назначенному часу, въ который онъ заѣдетъ за нею.

Послѣ этого онъ удалился.

Въ назначенный часъ карета дѣйствительно ждала ихъ у подъѣзда.

Едва они сѣли, едва дверца захлопнулась и экипажъ помчался по улицамъ Лондона, окутаннымъ туманомъ, сквозь который тусклыми пятнами проступали зажженные фонари,—какъ Ричардъ разразился упреками и прочелъ женѣ цѣлую нотацію за ея невѣжливый отказъ на приглашеніе Алисы.

Онъ упрекалъ ее за пренебреженіе къ его роднымъ, за то, что она предпочитаетъ имъ чужихъ, и т. д., и т. д.

Адель вынесла эту бурю, какъ покорная жена. Затѣмъ они не говорили другъ другу ни слова до самой той минуты, какъ экипажъ остановился около дома, который занимали Родманы.

Алиса встрѣтила ихъ потокомъ банальныхъ привѣтственныхъ фразъ, вычитанныхъ ею изъ романовъ, описывающихъ якобы великосвѣтскую жизнь, и которыми она теперь сыпала на каждомъ шагу. Богатство обстановки и туалета хозяйки до нѣкоторой степени скрадывали, по крайней мѣрѣ въ первую минуту и для неопытнаго глаза, недостатокъ достоинства въ обращеніи, вкуса и изящества, а главное, порядочности, которую нельзя пріобрѣсти ни за какія деньги.

Самъ Родманъ походилъ на маркиза изъ оперетки.

На обратномъ пути Ричардъ сказалъ женѣ:

— Ты, я думаю, ничего не имѣешь противъ того, чтобы завтра уѣхать изъ Лондона?

— Ничего не имѣю.

— Отлично. Завтра я за тобой, въ такомъ случаѣ, утромъ заѣду. Ты будешь готова, надѣюсь?

— Буду готова,—отвѣчала машинально Адель.

Она возвратилась подъ гостепріимный кровъ своей пріятельницы совершенно разбитая и морально, и физически.

. . . .

Жестокость и властолюбіе свойственны людямъ съ такимъ характеромъ, каковъ былъ у Ричарда Мотимера. Эти качества души его только ждали удобнаго случая, чтобы проявить себя въ полной силѣ. Ни врожденная кротость Адели, ни ея разсудительность, ничто не могло отвратить рокового пробужденія этихъ темныхъ инстинктовъ, хотя и замедлили ихъ проявленіе. Исторія съ Эммой достаточно обрисовала складъ Ричарда.

Тѣ, которые знали его близко, заранѣе предсказывали, что онъ, какъ мужъ, будетъ деспотомъ. Теперь страшное чувство пробудилось въ немъ—чувство ревности. Съ нимъ со дна души его поднялись всѣ зловѣщія, звѣрскія страсти, опьяняющія человѣка, и въ такомъ энергичномъ, сильномъ и властолюбивомъ человѣкѣ долженствовавшія разразиться съ особою пагубною силою. Мотимеръ былъ неспособенъ долго анализировать свои противорѣчивыя ощущенія; рефлексія въ немъ не преобладала надъ чувствомъ; напротивъ, онъ всегда всецѣло отдавался послѣднему, и почти не въ силахъ былъ сдержать себя въ такихъ случаяхъ. Теперь онъ особенно сознавалъ, какъ необходима для него Адель. Ея пребываніе въ Лондонѣ послужило ему лучшимъ доказательствомъ этому. Разлука съ нею сама по себѣ была невыносима, и кромѣ того близость жены съ семействомъ Уэстлека заставляла страдать его самолюбіе. Съ другой стороны, онъ рѣшился на эту жертву въ надеждѣ, что Адель сойдется, во время своего пребыванія въ Лондонѣ, съ его сестрой, которую онъ искренно любилъ. Тайныя, темныя опасенія не переставали мутить его душу, съ той минуты, какъ онъ остался одинъ въ Ванлеѣ.

Чѣмъ упорнѣе сдерживаемъ мы свои чувства, тѣмъ съ большею силою они, наконецъ, прорвутся.

Въ одно прекрасное утро имъ овладѣло непреодолимое желаніе внезапно нагрянуть, какъ снѣгъ на голову, въ Лондонъ и захватить жену врасплохъ. Понятно, какое впечатлѣніе въ такомъ настроеніи должна была произвести на Ричарда встрѣча съ Губертомъ. Блѣдность, покрывшая щеки Адели, когда она увидѣла его, ея смущенное молчаніе, испуганный взглядъ достаточно ясно

показывали, что она не спроста очутилась въ одной гостиной съ Эльдономъ.

Подъ вліяніемъ разъѣдающаго чувства ревности, видѣвшаго въ этомъ—по существу ничтожномъ—обстоятельствѣ подтвержденіе всѣхъ подозрѣній, любовь Ричарда къ женѣ перешла почти въ явную ненависть. Злоба ослѣпляла его. Ему хотѣлось отомстить, но онъ чувствовалъ, что мстить еще пока не за что̀, и тѣмъ больше злился. Онъ не могъ простить себѣ, что, какъ дуракъ, самъ же далъ возможность Адели злоупотреблять своею свободою, что отпустилъ ее одну въ Лондонъ. Эгоизмъ усиливалъ его подозрительность.

Отнынѣ онъ считалъ Стеллу Уэстлекъ въ числѣ своихъ личныхъ враговъ; кто можетъ знать, на что̀ она способна? Быть можетъ, она въ заговорѣ съ этимъ... съ Эльдономъ? Нѣтъ, впередъ онъ ужъ не будетъ такимъ ротозѣемъ, онъ отстранитъ Адель отъ развращающаго вліянія этой хитрой дамы! Отсутствіе самого Уэстлека, къ тому же, развязывало ей руки. Эльдонъ не могъ выбрать болѣе удобнаго момента, чортъ его побери!

Вернувшись въ замокъ, Адель волей-неволей должна была вновь вести замкнутую, уединенную жизнь; нѣсколько разъ Ричардъ готовъ былъ заговорить съ ней объ Эльдонѣ, но всегда во̀-время удерживался и уходилъ съ мрачной подозрительностью, заглянувъ въ ея смѣло устремленные на него, кроткіе глаза. Здоровью Адели очевидно не благопріятствовалъ воздухъ валлейской долины. Безмолвная покорность, съ которой она переносила все, еще пуще раздражала Ричарда.

Не можетъ же онъ окружить ея стражей, которая надзирала бы за ней день и ночь! А между тѣмъ она можетъ, тайно отъ него, переписываться... О, проклятіе! Не подкупить ли ея горничную? Мысль ему нравилась, но онъ колебался осуществить ее.

Не запретить ли прямо ей переписываться съ ея лондонскими знакомыми? Но нѣтъ, это возбудитъ ея подозрѣнія.

Какое облегченіе почувствовалъ бы онъ, еслибы могъ излить, наконецъ, всю накопившуюся злобу и высказать все женѣ откровенно, бросить ей въ лицо оскорбленіе и хоть этимъ отомстить ей! Съ чувствомъ злобнаго удовольствія замѣчалъ онъ выраженіе скрытаго страданія на лицѣ Адели. Онъ готовъ былъ запустить дѣла, лишь бы ни на минуту не оставлять ее одной. Она отнынѣ принуждена была постоянно находиться tête-à-tête съ мужемъ.

Онъ мучилъ ее принужденными разговорами и громкимъ, искусственнымъ смѣхомъ. Хотя онъ видѣлъ, что чтеніе утомляло ее, тѣмъ не менѣе, заставлялъ Адель читать ему вслухъ, пере-

водить съ нѣмецкаго и французскаго цѣлыя страницы изъ спеціальныхъ, ученыхъ сочиненій, которыхъ онъ и самъ-то хорошенько не понималъ. Онъ видѣлъ, что она худѣетъ, блѣднѣетъ, чахнетъ, и странно, порою даже ему становилось жаль ее, но сейчасъ же ревность ожесточала его сердце, и онъ почти радовался страданіямъ своей несчастной жертвы.

Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ чувствовалъ невольное, глубокое уваженіе къ ней.

— Не надо ли тебѣ посовѣтоваться съ докторомъ?—сказалъ онъ ей однажды.

— Съ докторомъ?—удивилась Адель.

— У тебя такой страдальческій видъ!—отвѣчалъ Ричардъ, избѣгая ея взгляда.—А въ Лондонѣ, кажется, твое здоровье не оставляло желать ничего лучшаго.

— Я и тамъ не чувствовала себя особенно крѣпкой.

— Мнѣ пріятнѣе было бы тебя видѣть болѣе веселой, Адель.

— Я постараюсь быть веселой,—отвѣчала та робко.

Эта покорность еще пуще только раздражала Ричарда. Онъ принялся ходить взадъ и впередъ по комнатѣ. Наконецъ, остановившись передъ нею, вскричалъ:

— Можешь ты мнѣ сказать, что̀ этотъ господинъ дѣлаетъ въ Лондонѣ?

— Про кого ты говоришь?

— Про Эльдона, разумѣется! Не притворяйся, пожалуйста, будто не понимаешь!

Адель бросила на мужа удивленный взглядъ. Ей и въ голову не приходило, что мужъ еще помнитъ о встрѣчѣ съ Губертомъ.

— Я, право, не совсѣмъ тебя понимаю; что̀ ты хочешь спросить? Чѣмъ занимается Эльдонъ въ Лондонѣ,—это что-ли?

— Я хочу знать, какимъ образомъ этотъ субъектъ познакомился съ м-съ Уэстлекъ.

— Черезъ посредство Боскобель, нашихъ общихъ друзей. Вѣдь ты знаешь, м-ръ Боскобель—художникъ, а Эльдонъ любитъ искусство и интересуется имъ.

— Ну, а зачѣмъ ему было подъѣзжать къ этой... къ Уэстлекъ? Тоже изъ любви къ искусству?—возразилъ раздражительно Ричардъ.

— Въ то утро былъ его первый визитъ Стеллѣ; онъ обѣдалъ наканунѣ у Боскобель, тамъ мы и встрѣтились. Хозяйка его и представила Стеллѣ.

— Ага! такъ ты съ нимъ тамъ видѣлась?

— Да, мы сидѣли рядомъ за обѣдомъ.

— Прекрасно. Ну, а позволь спросить, почему ты систематически отказывалась, когда тебя приглашала обѣдать Алиса?

— Къ чему ты опять заговорилъ объ этомъ, Ричардъ?

— Я хочу знать, почему ты отказывалась?

— Алиса не расположена ко мнѣ, и я это чувствую. Между нами нѣтъ симпатіи,—одно взаимное равнодушіе. И потомъ, то общество, въ которомъ она живетъ, такъ отличается отъ нашего!

— Отличается! чѣмъ это? Ты этимъ, безъ сомнѣнія, намекаешь на Родмана?

— Я не о немъ говорю, а о его друзьяхъ.

— Что же въ нихъ такого, что ты уже не находишь возможности водиться съ ними?

— Это люди другого круга, другихъ привычекъ, понятій, другого уровня развитія. Я же вѣдь ничего не имѣю противъ твоихъ друзей: м-ръ Уэстлекъ, напримѣръ, вполнѣ порядочный человѣкъ.

— Вѣчно эти Уэстлеки! Я, наконецъ, ихъ возненавижу!—злобно крикнулъ Ричардъ и быстро пошелъ изъ комнаты. Въ дверяхъ онъ остановился и, обернувшись къ ней, произнесъ съ исказившимся лицомъ:—По моему, ужъ лучше все прямо сказать въ лицо человѣку, что̀ думаешь о немъ! Это благороднѣе, гораздо благороднѣе!—И вышелъ, хлопнувъ дверью.

Невыразимо горько было Адели, когда она поняла, наконецъ, какого рода чувства наполняютъ теперь сердце ея мужа. Этотъ разговоръ снялъ повязку съ ея глазъ. То, что̀ она лишь смутно чувствовала, чему боялась вѣрить, съ неподлежащею сомнѣнію ясностью выразилось въ его несправедливыхъ словахъ. Какое недоброжелательство сквозило въ нихъ! Какія низкія подозрѣнія! Душа Адели томилась, какъ вольная лѣсная пташка, запертая въ тѣсную клѣтку. Она молча, безропотно покорилась судьбѣ; она не роптала, но порою такое глубокое отчаяніе охватывало ее, что она начинала думать о смерти, какъ объ отрадномъ освобожденіи. Какъ-то разъ она взглянула на себя въ зеркало; въ немъ отразилось блѣдное, исхудалое лицо. Она грустно улыбнулась, потомъ задумалась. Умереть такою молодой, умереть, не узнавъ жизни и ея радостей! Ахъ, не призракъ ли ея молодость, не призракъ ли то блаженство, о которомъ порою шепталъ ей тайный голосъ надежды, которое сулила ликующая природа, это лазурное, ясное небо, этотъ ласковый лучъ солнца, прокрадывающійся въ сумрачный покой и весело играющій на стѣнахъ стараго замка!

Не лучше ли тишина могилы, не лучше ли тихо склониться

въ холодныя объятія смерти, этого единственнаго вѣрнаго друга человѣка, который никогда не обманываетъ, никогда не измѣняетъ и всегда даетъ то, что обѣщаетъ—забвеніе! Ей нѣтъ мѣста на пиру жизни. Будущее ничего не сулитъ ей, кромѣ горя, униженія, безмолвныхъ страданій, горечи обманутыхъ надеждъ, разбитыхъ иллюзій. Но въ двери могилы смѣло можетъ стучаться всякій; тамъ хватитъ мѣста для *всѣхъ*, тамъ лишь царствуютъ тѣ принципы, осуществленія которыхъ жаждутъ здѣсь на землѣ соціалисты—свобода, равенство и братство.

Прошелъ цѣлый долгій мѣсяцъ со времени ея злополучной поѣздки въ Лондонъ. Съ тѣхъ поръ какъ Родманъ оставилъ Ванлей, братъ Ричарда поселился въ замкѣ вмѣстѣ съ ними. Такимъ образомъ Адель не видѣла никого, кромѣ мужа и Генри. Перваго она теперь боялась, а второй—своими пошлыми замѣчаніями, нахальнымъ видомъ, всѣмъ своимъ поведеніемъ зазнавшагося лакея—возбуждалъ въ ней непреодолимое отвращеніе.

У Летти родился сынъ. Когда Адель увидѣла этого ребенка, въ ней проснулись горькія воспоминанія своего несчастнаго материнства. Въ перспективѣ еще предстояла поѣздка на воды. Ее предложилъ Родманъ. Съ нѣкоторыхъ поръ онъ сталъ часто являться въ замокъ и имѣлъ длинныя совѣщанія съ Ричардомъ. Онъ придумалъ какую-то новую промышленную операцію, сулившую значительные барыши.

Родманъ сталъ опять льнуть къ Ричарду, который все-таки оставался самымъ крупнымъ козыремъ въ его игрѣ. Появился также и м-ръ Кинъ,—кажется, исцѣлившійся отъ своей несчастной страсти къ Алисѣ. Онъ, Генри и Родманъ, были созданы другъ для друга и, повидимому, проводили вмѣстѣ очень пріятно время. Въ концѣ концовъ Родманы опять поселились въ замкѣ.

Однажды въ воскресенье Адель пришла въ церковь задолго до начала службы. Она заняла ту скамейку, на которой всегда сидѣли владѣльцы замка. Здѣсь, въ таинственномъ сумракѣ храма, она отдыхала душой, прислушиваясь къ ударамъ пѣвучаго колокола, наполнявшимъ куполъ звучными отголосками. Въ этихъ медленно плывшихъ съ высоты звукахъ было такъ много успокаивающаго! Они отвлекали мысль ея отъ будничныхъ заботъ; она забывала горечь своего одинокаго существованія и молитвенное настроеніе охватывало ея больную душу. Противъ скамейки, подъ налоемъ, былъ устроенъ ящикъ, закрывавшійся шедшей вертикально крышкой, которая свободно вращалась на петляхъ. Ее можно было откинуть. Ящикъ, очевидно, предназначался для

книгъ. Какъ-то разъ Адель открыла его, но ничего не нашла, кромѣ пыли. Никто, по всей вѣроятности, въ теченіе многихъ лѣтъ и не заглядывалъ въ этотъ ящикъ.

Теперь, слушая звонъ колокола, Адель мыслью ушла въ недавнее, казавшееся такъ безконечно далекимъ, прошлое. Въ этой церкви она вѣнчалась съ Ричардомъ, и ей живо припомнилось, какъ онъ надѣлъ ей на палецъ кольцо и что̀ она почувствовала въ эту роковую минуту. Вотъ оно—это кольцо! Какъ похудѣла ея рука,—кольцо свободно спадало съ пальца! Ахъ, еслибы никогда не надѣвать его, еслибы можно было снять его и вернуть прежнюю свободу, прежнюю безпечность, счастливые годы дѣвичества! И невольно подчиняясь этой мечтѣ, Адель сняла кольцо съ пальца, положила его въ толстый молитвенникъ, а этотъ—въ ящикъ.

Въ это мгновеніе могучіе аккорды органа наполнили храмъ. Сумрачные своды дрогнули и отозвались. Голосъ пастора съ безстрастнымъ паѳосомъ произнесъ начальныя слова. Адель поспѣшила вынуть молитвенникъ и преклонить колѣни. Вдругъ рѣзкій звукъ выпавшаго кольца заставилъ ее вздрогнуть. Она наклонилась и стала искать его на полу, затѣмъ въ ящикѣ. Шаря въ немъ, она вдругъ прикоснулась пальцами къ какому-то странному, четырехъ-угольному предмету. Это была не книга. Вынувъ его, она съ удивленіемъ увидѣла, что это толстый, большой конвертъ. Она легко могла различить надпись на немъ, сдѣланную красивымъ, четкимъ, твердымъ почеркомъ:

„Здѣсь заключается подлинное мое завѣщаніе. —Ричардъ Мотимеръ.

„17-го октября 187...“

Руки Адели задрожали и безсильно опустились, когда она прочла эти слова.

Число показывало, что надпись сдѣлана за шесть мѣсяцевъ до внезапной смерти старика.

Не было никакого сомнѣнія—она нашла завѣщаніе, которое считали уничтоженнымъ...

VII.

Адель хотѣла сейчасъ же оставить церковь, но для этого надо было пройти черезъ весь корпусъ ея, наполненный набожными прихожанами. То, что она такъ внезапно удалилась, послужитъ неминуемо пищею для всевозможныхъ догадокъ и предположеній. А въ эту минуту ей особенно тяжело было послу-

жить предметомъ всеобщаго удивленнаго вниманія. Какъ бы то ни было, но Адель поднялась съ своего мѣста, прижимая подъ мантильей къ безумно бившемуся сердцу свою находку. Съ жадностью вдохнула она свѣжій, ласкающій воздухъ, когда, наконецъ, вышла изъ храма. Она шла, неся страшное оружіе въ своихъ худенькихъ ручкахъ. Этотъ кусокъ пергамента могъ отомстить за все претерпѣнное ею въ послѣдніе мѣсяцы. Но ей это не приходило въ голову. Она еще не могла понять всего значенія случившагося. Она чувствовала только въ этой неожиданной находкѣ что-то сверхъестественное. Она ощутила въ себѣ приливъ новыхъ силъ, она чувствовала себя совершенно иной, обновившейся. Почему? Она сама не знала. Она спѣшила дойти до дому, запереться въ своей комнатѣ и прочесть завѣщаніе. Она смутно понимала, что съ нимъ теперь связана вся ея будущая судьба.

„Если спросятъ, почему я ушла до конца службы, я скажу, что внезапно почувствовала себя нездоровой",—мелькнуло въ ея головѣ.

„Только бы не встрѣтить кого-либо!"

И какъ разъ тутъ-то и встрѣтила; ея братъ закричалъ ей еще издали:

— Куда ты это такъ спѣшишь, Адель?

— Я забыла дома...—пробормотала та.

— А я думалъ, ужъ навѣрно зàмокъ горитъ, если ты рѣшилась выйти изъ церкви раньше послѣдняго „аминь". Я тебя не буду задерживать,—прощай.

Онъ было-пошелъ дальше, но вдругъ обернулся и крикнулъ ей въ догонку:

— Правда, что Ричардъ хочетъ продать Новый-Ванлей?

— Я отъ тебя перваго это слышу!

— Я думалъ, что тебѣ это ужъ извѣстно.

— Мнѣ? Никогда. Онъ теперь со мной никогда не говоритъ о своихъ планахъ.

— Спроси Родмана,—онъ тебѣ это все разъяснитъ гораздо лучше меня; говорятъ, Ричардъ совсѣмъ запутался... Предпріятіе не вернетъ затраченныхъ денегъ.

— Онъ, кажется, и не хотѣлъ прибыли.

— Такъ-то такъ... Ну, прощай!

И Альфредъ быстро зашагалъ по дорогѣ. Адель въ глубокой задумчивости пошла къ замку. Она вдругъ сообразила, что теперь, когда найдено завѣщаніе, Новый-Ванлей уже и такъ не принадлежитъ больше Ричарду. Она давно уже усомнилась въ проч-

ности учрежденія, созданнаго имъ. Она поняла, что вся его соціалистическая затѣя лопнетъ, когда онъ явился передъ нею въ своемъ настоящемъ, будничномъ видѣ, когда она разгадала его натуру, и ореолъ, которымъ она его окружила, еще будучи невѣстой, разсѣялся. Ей было жалко, что дѣло—такое симпатичное по основной идеѣ—гибнетъ, благодаря неспособности основателя провести ее до конца. Самъ Ричардъ за послѣднее время нерѣдко выражалъ сомнѣнія—впрочемъ, въ самыхъ неопредѣленныхъ фразахъ—въ успѣхѣ начатаго имъ дѣла.

Задолго до того, какъ ревность сдѣлала Ричарда придирчивымъ, сварливымъ и рѣзкимъ съ Аделью, онъ уже обнаружилъ передъ нею трагическое противорѣчіе своихъ убѣжденій съ характеромъ и страстями. Адели въ эту минуту очень бы непріятно было встрѣтиться съ мужемъ. Она не съумѣла бы скрыть отъ него свое волненіе и тревогу, и навѣрное выдала бы раньше времени свою тайну. Поэтому она не пошла къ главному подъѣзду, а избрала окольную дорожку черезъ огородъ къ заднему крыльцу. Тамъ она нашла Генри, который любезничалъ съ кухаркой. Пошлая сцена его ухаживанья внушила такое отвращеніе Адели, что она не удержалась, и, проходя мимо нимало не смутившагося Генри, сказала ему:—Слава Богу, мнѣ не долго оставаться съ вами подъ одной крышей! Еще нѣсколько дней, и меня не будетъ болѣе въ этой грязной долинѣ.

Проскользнувъ въ свою комнату, Адель заперлась тамъ и съ трепетомъ развернула пергаментъ. Вся движимая и недвижимая собственность завѣщевалась въ немъ Губерту Эльдону. Изъ капитала отчислялась, во-первыхъ, рента въ 600 фунтовъ лэди Эльдонъ. Во-вторыхъ, рента въ 300 фунтовъ м-ру Іоттль, стряпчему, и въ-третьихъ, рента въ 100 фунтовъ—„внучатному племяннику моему, Ричарду Мотимеру“... Въ случаѣ же кончины послѣдняго, означенная сумма поступаетъ его женѣ, буде таковая имѣется. Поручая Эльдону выдавать ежегодную пенсію его племяннику, завѣщатель присовокуплялъ, что онъ не хочетъ создавать Ричарду Мотимеру обезпеченнаго положенія, отрывать его отъ того сословія, къ которому онъ принадлежитъ, и отъ труда, къ которому привыкъ. Онъ хочетъ только доставить ему поддержку на первыхъ порахъ его карьеры, дать ему возможность обнаружить свои способности, только нѣсколько облегчить ему подъемъ въ гору.

Итакъ, въ теченіе двухъ лѣтъ Ричардъ незаконно владѣлъ имуществомъ Губерта Эльдона! Теперь, конечно, онъ долженъ передать все въ его руки и покинуть Ванлей. Адель послѣдуетъ за нимъ. Отнынѣ пенсія въ 100 фунтовъ — единственный ихъ рессурсъ.

Очевидно, что Ричардъ опять долженъ будетъ поступить на какую-нибудь фабрику. Но какъ она скажетъ ему все это? Адель живо представила себѣ его горькій смѣхъ и гнѣвный огонь суроваго взгляда.

Она позвонила и велѣла явившейся на зовъ горничной передать Ричарду, что ей нужно съ нимъ поговорить.

Черезъ пять минутъ онъ вошелъ къ ней.

— Я думалъ, ты еще въ церкви,—сказалъ онъ, бросая на жену недовольный взглядъ.

— Я ушла изъ церкви до конца службы, потому что... я нашла вотъ это,—и она дрожащей рукой подала ему бумагу.

— Чтò это такое?

— Это завѣщаніе твоего дяди, которое считалось уничтоженнымъ.

Ричардъ молча сталъ читать бумагу.

Затаивъ дыханіе, слѣдила Адель за измѣненіями его физіономіи. Недобрая усмѣшка на мгновеніе появилась на его крѣпко сжатыхъ губахъ. Потомъ лицо стало по прежнему сурово, спокойно, почти безстрастно. Онъ кончилъ чтеніе рокового документа. Оба нѣкоторое время молчали.

— Гдѣ ты это нашла?—спросилъ, наконецъ, Ричардъ равнодушнымъ тономъ, не поднимая глазъ.

Она разсказала ему, какъ нашла конвертъ, но почему-то утаила исторію съ кольцомъ. Немного замявшись, она сказала:

— Я положила въ молитвенникъ монету. Когда потомъ я взяла книгу, она выскользнула и закатилась въ ящикъ. Я стала ее искать и наткнулась на пакетъ.

Ричардъ подозрительно посмотрѣлъ на жену; невинная ложь, къ которой прибѣгла Адель, заставила ее, однако, покраснѣть. Ричардъ вновь перечиталъ завѣщаніе, поднесъ его ближе къ свѣту, внимательно осмотрѣлъ его и, наконецъ, сказалъ:

— Пойдемъ въ церковь. Покажи мнѣ то мѣсто, на которомъ ты его нашла.

И они молча отправились въ церковь.

Вейвернъ уже выходилъ изъ нея и былъ не мало удивленъ, увидавъ Мотимера съ Аделью. Онъ объяснилъ себѣ то, что она внезапно покинула храмъ, нездоровьемъ. Ричардъ перекинулся съ нимъ нѣсколькими пустыми фразами и въ заключеніе сказалъ, что жена его забыла одну вещь и хочетъ поискать ее на скамейкѣ.

Старая женщина, на обязанности которой лежало сметать пыль и держать въ порядкѣ церковную мебель, предложила имъ

помочь въ ихъ поискахъ. Но Ричардъ просилъ ее не безпокоиться. Посмотрѣли, пошарили около скамьи, заглянули въ ящикъ и такъ же молча пошли обратно.

— Я думаю, что это завѣщаніе подложное,—вдругъ грубымъ тономъ объявилъ Ричардъ, когда они пришли домой и началось опять разглядываніе пергамента на свѣтъ, перечитываніе и проч.

— Подложное!—вскричала изумленная Адель:—но какъ же это можетъ быть?

— Ты можешь говорить что̀ тебѣ угодно, но тутъ чувствуется какая-то мистификація... да, несомнѣнно, мистификація.

И онъ съ гадкой усмѣшкой посмотрѣлъ на жену.

Адель поблѣднѣла.

— Пакетъ былъ покрытъ пылью. Пергаментъ пожелтѣлъ— видно, что онъ давно уже лежалъ тамъ.

— Ну, ужъ конечно. И еслибы не монета, такъ кстати выкатившаяся изъ молитвенника, то онъ лежалъ бы тамъ и по сейчасъ?—и Ричардъ посмотрѣлъ ей прямо въ глаза.

— Я сказала неправду... Мое обручальное кольцо упало и...

— А, теперь ужъ кольцо? Что-жъ ты его каждый разъ снимаешь, когда молишься?

— Нѣтъ, никогда не снимаю, — отвѣчала она, все болѣе и болѣе смущаясь.

— Зачѣмъ же ты лжешь?

Адель, низко опустивъ голову, прошептала:

— Я просто такъ сняла его... Я такъ похудѣла, что оно очень легко соскакиваетъ съ пальца.

Не могла же она сказать ему, что сняла кольцо затѣмъ, чтобы хоть въ мечтахъ на минуту стать прежней, свободной, не связанной съ ненавистнымъ человѣкомъ! А онъ смотрѣлъ на нее злымъ, подозрительнымъ взглядомъ. Онъ самъ чувствовалъ, что подозрѣнія его просто смѣшны, но въ то же время ему доставляло удовольствіе видѣть ее униженной, смущенной, изобличать во лжи.

Съ ожесточеніемъ убѣждалъ онъ самого себя, что все это несомнѣнныя доказательства подложности якобы случайно найденной бумаги.

— Если ты думаешь, что завѣщаніе подложное, — сказала Адель,—представь его м-ру Іоттль. Онъ-то ужъ можетъ удостовѣрить, подлинное оно или нѣтъ.

— Прекрасно сказано! Но ужъ, конечно, тотъ, кто поддѣлалъ завѣщаніе, прежде закупилъ нотаріуса. Это извѣстный плутъ.

Онъ очень будетъ радъ, если ему представятъ завѣщаніе. Въ немъ назначенъ ему довольно изрядный кушъ.

— Нотаріусъ подкупленъ... Боже, что за мысли тебѣ приходятъ въ голову!

— А кто былъ свидѣтелемъ того, что ты нашла завѣщаніе въ церкви? Какъ ты это докажешь?

Яркая краска залила щеки и шею Адели, потомъ отхлынула, и она стала блѣдна какъ изваяніе. Она ничего не сказала мужу въ отвѣтъ на его послѣднія слова, только гордо подняла голову и такъ посмотрѣла на него, что тотъ почувствовалъ, что далеко зашелъ.

— Ну, положимъ, завѣщаніе подлинное,—поспѣшилъ онъ сказать, невольно опуская глаза подъ засверкавшимъ взглядомъ молодой женщины. Удивительно: эта женщина, еще за минуту казавшаяся такой слабой, больной и беззащитной, внезапно стала величава, какъ царица, и въ ея позѣ, въ выраженіи лица, во всей ея фигурѣ проявилась неизмѣримая сила душевнаго благородства.—Я собственно не то хотѣлъ сказать... Не то, чтобы, въ самомъ дѣлѣ это было подложное завѣщаніе, но... ты сама знаешь... оно не выражаетъ воли покойнаго, и въ этомъ смыслѣ... да, въ этомъ смыслѣ,—быстро докончилъ онъ,—можетъ считаться подложнымъ или, лучше, недѣйствительнымъ... да, недѣйствительнымъ,—это слово болѣе подходитъ.

— Мы не можемъ знать, какія мысли были у твоего дяди въ головѣ передъ его смертью,—возразила Адель. Она немного успокоилась и прежняя мягкость начинала возвращаться тонкимъ чертамъ ея исхудалаго лица. Но въ голосѣ еще слышалась негодующая нота и глаза смотрѣли съ прежней строгостью на неожиданно присмирѣвшаго Ричарда.

— Но ты вѣдь знаешь, что наканунѣ онъ еще говорилъ нотаріусу, что хочетъ сдѣлать измѣненія въ завѣщаніи. Для того и взялъ у него.

— Внезапная смерть не позволила ему исполнить это.

— Ты говоришь очень резонно. Знаешь что̀, Адель, для меня ясно одно:—ты въ глубинѣ души рада этой находкѣ, которая дѣлаетъ меня нищимъ. Пойми ты,—нищимъ дѣлаетъ!

— Ахъ, Ричардъ... Ричардъ... Твоя потеря—моя потеря.

— Ты, значитъ, готова раздѣлить со мной мое несчастіе? — сказалъ Ричардъ, и странно, голосъ его дрогнулъ, и что-то страдальческое, выраженіе какой-то мучительной любви къ этому существу,—чуждому ему по воспитанію, по характеру, по всему,—смягчило суровый взглядъ и угрюмое лицо бывшаго кузнеца.

— Развѣ я могу отдѣлить теперь свою судьбу отъ твоей?— отвѣчала Адель, со страхомъ слѣдя за его движеніями. А онъ близко придвинулся къ ней.

— Ты хорошо сказала, если только искренно!—произнесъ Ричардъ и, вдругъ грубо обнявъ жену, прижалъ ее къ своей груди. Потомъ оттолкнулъ ее и отвернулся къ окну.

А она упала въ кресло—блѣдная, дрожащая. Чувство безконечнаго отвращенія къ этому человѣку наполнило ея грудь. Небо! и она на вѣки прикована къ нему! Она жена его—онъ ея господинъ. Его нѣжности оскорбительны. А какъ избавиться отъ нихъ? Грубые поцѣлуи Ричарда горѣли на ея губахъ, и она чувствовала себя униженной и была безконечно несчастна.

— Тебѣ ясно, чтò мы теряемъ, разъ это завѣщаніе войдетъ въ силу?—спросилъ Ричардъ, съ прежнимъ спокойно-надменнымъ выраженіемъ поворачиваясь къ ней.

— Ясно,—прошептала Адель.

— Но дѣло не въ этомъ. Не то меня убиваетъ. Доставшееся мнѣ богатство я думалъ употребить на осуществленіе соціалистической мечты, я думалъ... Но къ чему говорить о томъ, чтò нимало тебя не интересуетъ!

Адель тогда передала слухъ, который ей сообщилъ Альфредъ, будто предпріятіе гибнетъ и Ричардъ хочетъ кинуть все дѣло.

Ричардъ перебилъ ее:

— Чтò онъ знаетъ, твой Альфредъ! Одну цѣль преслѣдовалъ я —улучшеніе судьбы рабочаго класса. Кто больше принесъ добра: я или Эльдонъ? Пусть я былъ непослѣдователенъ, пусть я многаго не сдѣлалъ, чтò могъ бы, пусть я виноватъ во многомъ, но лучшія и безкорыстнѣйшія намѣренія одушевляли меня. Твой Эльдонъ, какъ всѣ аристократы, ни о чемъ не думаетъ, кромѣ собственнаго удовольствія. Рѣдкій представлялся случай осуществить на практикѣ соціалистическій идеалъ. Теперь все, конечно, пойдетъ къ чорту. Разъ долина перейдетъ въ руки Эльдона, Новый-Ванлей погибъ. Обогащать тѣхъ, которые и безъ того не испытываютъ нужды, по моему, значитъ обкрадывать бѣдняковъ.

— Я до извѣстной степени согласна съ тобою въ этомъ.

— Ты знаешь, я всегда считалъ себя лишь однимъ изъ членовъ союза и все мое состояніе предоставлялъ въ полное его распоряженіе. Дѣло, которое мы ведемъ, обезпечиваетъ существованіе сотнямъ семей рабочихъ. А теперь куда онѣ дѣнутся?

— Но чтò же дѣлать? Какъ это ни тяжело, но разъ завѣщаніе найдено, оно должно войти въ законную силу.

— Но вѣдь никто кромѣ насъ не знаетъ пока, что оно найдено!—сказалъ Ричардъ, искоса посмотрѣвъ на жену.

— Ты серьезно это говоришь?—вскричала Адель съ негодованіемъ.

— Совершенно серьезно. Послушай, будь разсудительна. Оставь глупые предразсудки. Пока состояніе дяди въ моихъ рукахъ, нашему дѣлу обезпечена будущность. Это завѣщаніе погубитъ только еще начинающееся предпріятіе. Никто не знаетъ о его существованіи, покойный самъ предполагалъ его уничтожить—не безумно ли, не преступно ли прямо будетъ съ нашей стороны, ради формальной честности, забыть высокую и святую цѣль, которую преслѣдуетъ нашъ союзъ? Я согласенъ, что, съ обыденной точки зрѣнія, разъ завѣщаніе найдено, оно должно войти въ законную силу, но мы должны стать выше обыденной морали, мы не въ правѣ поступить иначе. Отнять средство къ существованію у сотенъ рабочихъ, ради исполненія формальности, предписываемой закономъ,—это безнравственно, это просто воровство. Нравственность относительна. Цѣль оправдываетъ въ данномъ случаѣ средство. По моему, было бы просто эгоизмомъ, изъ боязни укоровъ совѣсти, которая есть вообще не что иное, какъ голосъ предразсудка, съ которымъ сжилась человѣческая душа въ теченіе столѣтій,—изъ боязни нарушить законъ, пустить по міру столько семей бѣдняковъ-рабочихъ!

Ричардъ говорилъ съ одушевленіемъ, видимо пуская въ ходъ всю свою діалектику, но онъ не сообразилъ того, что на женщинъ софизмы не производятъ опьяняющаго дѣйствія, какъ на мужчинъ. Привычка логически мыслить и довѣрять логикѣ дѣлаетъ умъ мужчины склоннымъ легко обольщаться эристической видимостью истины. Логическая форма, въ которую облечена ложь, дѣйствуетъ, въ данномъ случаѣ, какъ пышный нарядъ на пустомъ и ничтожномъ человѣкѣ. Логика, силлогизмъ—не существуютъ для женщины; непосредственное чувство и здравый смыслъ дѣлаютъ ее безопасной отъ софистическихъ сѣтей.

— Скажи прямо, хочешь ты, чтобы это завѣщаніе было уничтожено или нѣтъ?—спросила Адель съ видомъ спокойнаго достоинства, когда Ричардъ, наконецъ, истощивъ запасъ своихъ аргументовъ, умолкъ.

— Да, я желаю, чтобы оно было уничтожено.

— Но это недостойно тебя, Ричардъ! Это будетъ преступленіемъ передъ закономъ и передъ Богомъ. Ты стараешься обмануть самого себя... Если ты совершишь это подлое дѣло,—знай, ты попадешь въ страшное положеніе!

— Это почему?

— Къ тому дѣлу, которому ты служишь, надо подходить съ чистыми руками. Если ты только позволишь себѣ этотъ роковой шагъ, если ты положишь въ основу начатаго дѣла преступленіе,—горькіе плоды принесетъ оно. Отъ худого корня не можетъ быть добрыхъ побѣговъ. Не собираютъ съ репейника виноградъ. Если ты только разорвешь теперь завѣщаніе,—ты погибъ. Съ этого дня каждое слово твое будетъ ложью... Ахъ, неужели ты не видишь того, что̀ ясно какъ день?! Какъ мнѣ объяснить это тебѣ? Я одно знаю, что этого нельзя дѣлать, что это безчестно! Цѣль все оправдываетъ?—повѣрь, ты ничѣмъ, никакими жертвами не искупишь своего поступка... Нѣтъ, нѣтъ, ты этого не сдѣлаешь! Ты не уничтожишь завѣщанія!

— Я этого хочу и я это сдѣлаю!—отвѣчалъ Ричардъ.

— Никогда этого не будетъ! Ты подумаешь и убѣдишься, что я права. Дай мнѣ бумагу, я ее спрячу подъ ключъ до завтра. Ты успокоишься за ночь. Я понимаю, что тебѣ тяжело, страшно тяжело вдругъ потерять все, чѣмъ ты уже привыкъ пользоваться, и вернуться къ прежней скромной долѣ. Но ты долженъ проявить великодушіе и мужество и перенести съ достоинствомъ свою потерю.—Ричардъ не отвѣчалъ ни слова. Онъ съ угрожающимъ видомъ сталъ между женою и столикомъ, на которомъ лежалъ пергаментъ.

— Это будетъ безчестьемъ для насъ обоихъ!—вскричала дрожащимъ голосомъ Адель, умоляюще простирая къ нему руки.

— Все это одни пустыя слова, — угрюмо проговорилъ Ричардъ.

— Нѣтъ, Ричардъ, не слова! Подумай,—ты хочешь меня сдѣлать сообщницей преступленія! Какъ могу я допустить это? И какова будетъ наша супружеская жизнь послѣ этого!

— Говорю тебѣ, высшія причины заставляютъ меня желать уничтоженія документа. Я убѣжденъ, что всякій истинный соціалистъ одобрилъ бы мой поступокъ. Состояніе дяди принадлежитъ работникамъ!—и онъ медленно наложилъ руку на пергаментъ.

Адель, трепеща, ухватилась за него:

— Ричардъ, отдай его мнѣ, отдай мнѣ, ради Бога!—вскричала она въ тоскѣ, замирая отъ страха.

— Никогда.

— Ричардъ!

— Ну?..

— Ты думаешь, что я буду молчать? Ты думаешь, что я никому не скажу о томъ, что̀ ты сдѣлаешь?

— Думаю, что никому не скажешь.

— Хотя я твоя жена, но ты совсѣмъ, совсѣмъ не знаешь меня, Ричардъ. Ничто въ мірѣ не заставитъ меня молчать! Если я не могу удержать тебя отъ этого подлаго дѣла, то ужъ укрывать его никогда не стану!

— Что-жъ, ты въ судъ на меня подашь?

— Я не стану молчать, Ричардъ,—знай это. Тебя не останавливаетъ сознаніе, что твое безчестіе падетъ и на меня, какъ на твою жену—ну, такъ знай, что тебѣ не удастся заставить меня молчать.

Ричардъ посмотрѣлъ на жену пристальнымъ, испытующимъ взглядомъ. Она не опустила глазъ передъ нимъ, и въ нихъ онъ прочелъ непоколебимую рѣшимость поступить такъ, какъ она говорила. Тогда онъ отошелъ отъ стола, сѣлъ, опустивъ голову, и нѣсколько минутъ длилось тяжелое молчаніе.

Адель первая нарушила его:

— Поѣдемъ сейчасъ въ Бельвикъ, Ричардъ, къ нотаріусу,—сказала она. Мотимеръ, охвативъ колѣни руками, молчалъ, пристально глядя въ одну точку.

— Я вижу, что ты борешься съ искушеніемъ,—сказала Адель.

Онъ всталъ и, не глядя на жену, произнесъ:

— Одѣвайся, поѣдемъ. Я тебя буду ждать внизу.—Затѣмъ онъ повернулся и вышелъ изъ комнаты.

VIII.

Было уже девять часовъ вечера, когда Адель съ Ричардомъ возвратились изъ Бельвика. Имъ пришлось посылать разыскивать нотаріуса у одного изъ его друзей, и потомъ довольно долго дожидаться на станціи поѣзда.

Волненія этого дня до того утомили Адель, что она едва держалась на ногахъ. Она уснула тяжелымъ, но крѣпкимъ сномъ безъ сновидѣній.

Спустившись утромъ въ столовую, она нашла тамъ Генри, одного, расхаживавшаго взадъ и впередъ по комнатѣ, съ заложенными въ карманы руками.

На ея привѣтствіе онъ отвѣчалъ неопредѣленнымъ, но несомнѣнно недовольнымъ ворчаніемъ. Затѣмъ явился Родманъ. Этотъ съ выраженіемъ почтительнаго сочувствія сталъ разспрашивать Адель о вчерашней поѣздкѣ. Затѣмъ онъ сказалъ въ полголоса, такъ, какъ будто бы въ домѣ былъ больной:

— Кажется, намъ придется отказаться отъ предполагаемой поѣздки. Алиса чувствуетъ себя очень дурно. Она не можетъ сегодня выйти изъ своей комнаты. Надѣюсь, вы ее извините?

Послѣднимъ явился Ричардъ.

Онъ былъ угрюмъ, лицо его носило слѣды безсонницы. Войдя, онъ разразился бранью, ни къ кому, впрочемъ, въ отдѣльности не обращаясь, по поводу того, что его собаку оставили на ночь въ саду на свободѣ. Адель очень удивилась, найдя Алису въ гостиной. Ея опухшіе и покраснѣвшіе глаза доказывали, что она плакала. Противъ обыкновенія, волосы и костюмъ ея были въ большомъ безпорядкѣ.

— Вы, кажется, дурно провели ночь?—спросила Адель добродушно.

— Объ этомъ не трудно догадаться,—отвѣчала Алиса рѣзкимъ тономъ. Глаза ея злобно сверкнули, когда она посмотрѣла на Адель.—Ужасная новость, о которой я вчера узнала, взволновала меня до глубины души. Надо быть каменной, чтобы не почувствовать... Что мы теперь будемъ дѣлать? Это ужасно!

— Что же именно васъ такъ ужасаетъ?

— Я думаю, вы должны бы насъ предупредить, прежде чѣмъ предпринимать что-либо!

— Ричардъ разсказалъ вамъ о томъ, что̀ между нами произошло?

— Это мнѣ нравится! Конечно, разсказалъ. И признаюсь, я не желала бы быть на вашемъ мѣстѣ.

— Я сдѣлала лишь то, что̀ должна была сдѣлать.

— Ну, ужъ, конечно, вы мнѣ начнете теперь проповѣдовать о совѣсти, долгѣ, самоотверженіи! Отнять у голодныхъ работниковъ средства къ существованію—это на вашемъ языкѣ называется „исполнить свой долгъ"! Какъ бы то ни было,—повторяю, вы должны были насъ предупредить.

— Пожалуй, вы посовѣтовали бы Ричарду утаить завѣщаніе.

— Я не только ему бы это посовѣтовала, я ему приказала бы такъ поступить, еслибы могла.

— Я, однако, надѣюсь, что онъ не послушался бы вашего грознаго совѣта,—сказала Адель.

Въ первый разъ она позволила сказать своей золовкѣ рѣзкое слово.

Но она сейчасъ же сдержала себя и поспѣшила уйти, чтобы не дать ссорѣ разгорѣться.

Въ дверяхъ она столкнулась съ Родманомъ, который почти-

тельно посторонился и далъ ей дорогу. По лицу Адели онъ понялъ, что между ней и Алисой что-то произошло.

— Ты съ ней поссорилась?—спросилъ онъ жену.

— Поссорилась? Вовсе нѣтъ!—отвѣчала та.

— Не притворяйся. Я вѣдь просилъ тебя сидѣть въ своей комнатѣ. Что такое между вами произошло?

— Я упрекнула Адель за то, что она скрыла все отъ насъ.

— Ты только портишь все дѣло! Чего ты суешься? Иди сейчасъ же, попроси у нея извиненія.

— Я скорѣе умру, чѣмъ стану унижаться передъ нею.

— Долго мнѣ ждать?

— Ты требуешь отъ меня невозможнаго. И что ты мнѣ приказываешь! Я не хочу.—Родманъ топнулъ ногой и сдѣлалъ такое угрожающее движеніе, что Алиса поблѣднѣла и попятилась отъ него.

— Я пойду,—сказала она.—Только, пожалуйста, не говори объ этомъ никому.

— Ужъ само собой разумѣется. Ну, иди и возвращайся скорѣе сюда.

Скрѣпя сердце, Алиса отправилась просить извиненія. Адель отвѣчала, что ей не за что прощать ее.

Она отправилась сообщить своей матери еще неизвѣстную ей новость.

— Мы замѣтили,—сказала Летти,—что ты вышла изъ церкви раньше конца службы. Мы боялись, не заболѣла ли ты. Къ счастью, м-ръ Вейвернъ успокоилъ насъ. Ты съ мужемъ была вчера въ Бельвикѣ?

— Да. Намъ было необходимо повидаться съ нотаріусомъ.

И Адель спокойно разсказала, какъ она нашла завѣщаніе. Когда она кончила, наступило зловѣщее молчаніе.

М-съ Вальтамъ наконецъ сказала:

— Но не можетъ быть, чтобы Эльдонъ, пользуясь тѣмъ, что законъ на его сторонѣ, обобралъ васъ на-чисто. Что сказалъ м-ръ Іоттль?

— Что Эльдонъ долженъ войти во владѣніе всѣмъ имуществомъ.

— Вѣроятно, недвижимой и земельной собственностью?

— Нѣтъ, всѣмъ какъ есть: и движимой, и недвижимой.

— Ахъ, бѣдная Адель!—вскричала Летти.

— Ну, хоть приданое-то Алисы останется ей?

— Разумѣется, нѣтъ.

— Нѣтъ, я не вѣрю. Эльдонъ не такой человѣкъ, я знаю

его великодушный характеръ,—онъ не воспользуется всѣми правами, которыя ему предоставляетъ законъ,—настаивала м-съ Вальтамъ. При томъ же состояніе стараго Мотимера не расточалось зря; оно шло на благотворительное учрежденіе. Эльдонъ долженъ же принять это въ разсчетъ. Онъ не рѣшится пустить васъ по міру.

— Покойный завѣщалъ вѣдь намъ кое-что,—возразила Адель.

— Сто фунтовъ въ годъ! Да развѣ можно жить на такую ничтожную сумму!

— Ея хватитъ на первое время, пока Ричардъ не получитъ мѣста.

— Вы не сейчасъ, однако, оставите Ванлей?

— Мнѣ кажется, что это теперь не отъ насъ зависитъ.

— Ахъ, никогда, никогда я не могла предположить ничего подобнаго!—вскричала м-съ Вальтамъ. -- Теперь я понимаю, почему ты была такъ блѣдна, когда выходила изъ церкви. Ты можешь разсчитывать на свою мать, Адель. Ничего не можетъ быть легче, какъ поставить въ моей комнатѣ кроват для тебя. Такъ какъ твой мужъ теперь не можетъ дать приличнаго помѣщенія и того комфорта, къ которому ты привыкла, то онъ, я думаю, отнесется съ большой симпатіей къ моему предложенію оставить тебя на время у насъ.

— Нѣтъ, ни за что я не оставлю его въ такую минуту! Не правда ли, Летти, это было бы нехорошо?

Летти подтвердила это безмолвнымъ наклоненіемъ головы.

Видя, что мать подноситъ къ глазамъ платокъ, Адель сказала:

— Вы придаете слишкомъ большое значеніе всему этому, мама. Я съ своей стороны совершенно спокойно приму то, что судьбѣ было угодно послать намъ. Какъ много есть бѣдняковъ, которые не помнили бы себя отъ радости, еслибы имъ кто-нибудь завѣщалъ сто фунтовъ ежегодной пенсіи!

Но въ глубинѣ души м-съ Вальтамъ осталась глубоко равнодушной къ событію, наружно заставлявшему ее ронять слезы. Выдавъ свою дочь замужъ, она считала всѣ свои заботы о ней поконченными. Она какъ-то быстро постарѣла за послѣднее время. Отъ природы разсчетливая и холодная натура ея еще болѣе очерствѣла.

Летти была въ восторгѣ отъ того мужества, какое проявила Адель въ несчастіи. Она съ нѣжностью обняла ее, и когда Адель ушла, вскричала:

— Какое благородное сердце у нея! Какая душа!

— Да, она съ характеромъ, — отвѣчала м-съ Вальтамъ, —

хотя въ ней отъ недостатка разсудительности твердость характера переходитъ въ упрямство. Но, конечно, съ годами жизненный опытъ научитъ ее здравому смыслу. И представь себѣ, въ то утро, когда они вѣнчались, какое-то неизъяснимое чувство щемило мнѣ сердце! Да, я предчувствовала, что этотъ бракъ не будетъ счастливымъ. Ты скажешь, почему въ такомъ случаѣ я не удержала Адель отъ такого рокового шага? Но невозможно было отговорить ее. Ея предубѣжденія противъ Эльдона ничѣмъ нельзя было сломить. Молодежь никогда не слушаетъ опытныхъ людей. Еслибы Адель вышла за Мотимера по разсчету, ради матеріальной выгоды, можно было бы подумать, что это небо наказываетъ ее теперь!

Летти ни слова не сказала въ отвѣтъ на монологъ ея свекрови.

Съ нѣжностью убаюкивая своего ребенка, она думала о томъ, что судьба не позволила Адели узнать материнскія радости, и сожалѣла о ней.

IX.

Родманъ нашелъ свою жену плачущею въ ея комнатѣ.

Хотя она и держала въ рукахъ романъ, но слезы были не такого рода, чтобы приписать ихъ ему.

— Если ты все такъ будешь плакать, ты подурнѣешь!—сказалъ онъ Алисѣ шутливымъ тономъ, подъ которымъ, однако, скрывалось много эгоистичной грубости.

— Я не понимаю, какъ можно принимать подобныя вещи такъ легко!—возразила та, кладя книгу на столъ.

— А что толку-то убиваться? Гдѣ Адель, ты не знаешь?

— Адель? А зачѣмъ она тебѣ?

— А вотъ зачѣмъ: ты вѣдь знаешь, какъ много толковали о томъ, что Адель и Губертъ Эльдонъ влюблены другъ въ друга? Еслибы не внезапная смерть старика, они, можетъ быть, теперь уже были бы мужемъ и женой. Я убѣжденъ, что это было очень серьезное чувство, и что Адель до сихъ поръ сохранила большое вліяніе на Губерта. Цѣль, которую я преслѣдую, состоитъ въ слѣдующемъ: побудить Адель поговорить съ Эльдономъ и спасти хоть часть твоего приданаго, если ужъ нельзя спасти всего. Видишь, дурочка, почему я и просилъ тебя быть какъ можно любезнѣе съ нею.

— Поцѣлуй меня за это!.. Что-жъ, ты сильно надѣешься на успѣхъ?

— Во всякомъ случаѣ, надо попытаться. Гдѣ, однако, можетъ быть теперь Адель?

— Кажется, она пошла навѣстить свою мать.

Родманъ вышелъ въ садъ и скоро замѣтилъ вдали Адель. Она шла тихо, въ задумчивости опустивъ голову. Она возвращалась въ Ванлей, но неожиданно измѣнила направленіе, повернувъ къ лѣсу, и скоро исчезла на тѣнистой дорожкѣ, ведшей въ глубь его.

Родманъ послѣдовалъ за нею. Однако онъ едва не сбился и не потерялъ ея слѣдъ, какъ вдругъ услышалъ голоса разговаривающихъ, и осторожно направился на нихъ. Сквозь листву густого орѣшника онъ увидалъ на лужайкѣ Адель и рядомъ съ ней Эльдона. Адель совершенно не ожидала здѣсь встрѣтить Губерта. Ей хотѣлось побыть одной и хоть немного отдохнуть отъ волненій послѣднихъ дней въ этомъ укромномъ уголкѣ, въ лѣсной чащѣ. Губертъ сидѣлъ на скамейкѣ задумавшись. Онъ не слышалъ легкихъ шаговъ молодой женщины и поднялъ глаза, когда она уже стояла противъ него. Онъ замѣтилъ, что она плакала. Она хотѣла уйти, но Губертъ бросился къ ней и вскричалъ:

— М-съ Мотимеръ... Адель...

Она остановилась.

— Простите меня!—сказалъ Губертъ:—я считаю, что сама судьба устроила эту встрѣчу. Я такъ желалъ видѣть васъ!

— Вы видѣли м-ра Іоттля? — спросила Адель.

— Да. Я былъ у моей матери, когда онъ явился къ ней, чтобы узнать мой адресъ.

Губертъ не сказалъ, конечно, о томъ великодушномъ порывѣ, который заставилъ его,—когда онъ узналъ, какъ былъ найденъ документъ,—отправиться въ ванлейскій замокъ, чтобы пожать руку своему врагу, который проявилъ такое благородство, сейчасъ же предъявивъ завѣщаніе. Но на дорогѣ онъ одумался, первый пылъ прошелъ, и, отыскавъ любимое мѣстечко Адели, онъ сѣлъ на скамейку, гдѣ она его и нашла. Замѣтивъ, что она плакала, Губертъ почувствовалъ живѣйшую симпатію къ ней. И когда онъ назвалъ ее по имени, голосъ его проникся такою нѣжностью, что она не могла уйти...

— Я буду говорить съ вами совершенно откровенно,—продолжалъ Губертъ, когда они сѣли на скамейку.—Мое положеніе теперь весьма затруднительное. Мнѣ не менѣе тяжело, чѣмъ вамъ и вашему мужу. Какъ бы то ни было, я долженъ поступать такъ, какъ требуетъ справедливость. Я обращаюсь къ вамъ и прошу вашего совѣта въ этомъ трудномъ дѣлѣ.

Адель всѣми силами старалась побороть свое волненіе. Она избѣгала глядѣть на своего собесѣдника.

— Клянусь вамъ,—сказала она,—я лично отношусь къ случившемуся совершенно спокойно. Но вотъ вопросъ, который меня мучитъ и волнуетъ: разрѣшите мнѣ его; я хочу поговорить съ вами насчетъ Новаго-Ванлея.

При этомъ имени лицо Губерта омрачилось.

— Намѣрены вы продолжать работы? будутъ ли получать рабочіе ту же плату, что и теперь? Дѣло это можетъ принести блестящіе результаты, но я боюсь даже спросить васъ, станете ли вы его поддерживать? Ричардъ вложилъ въ него всю душу. Ему было бы ужасно тяжело видѣть гибель того, что̀ составляло главную цѣль его жизни! Вѣдь я думаю, что какіе бы вы ни имѣли принципы, но оставить безъ куска хлѣба несчастныхъ рабочихъ съ ихъ женами и дѣтьми,—вѣдь вы не рѣшитесь на это, не правда ли?

Губертъ, скрестивъ руки на груди, слушалъ молодую женщину, глядя на стройную, бѣлоствольную березку, съ которою онъ нѣкогда сравнивалъ Адель. Онъ не могъ понять, какъ она можетъ раздѣлять взгляды своего мужа, когда еще не такъ давно, въ гостиной м-съ Боскобель, она съ такимъ неподдѣльнымъ интересомъ говорила съ нимъ объ искусствѣ и литературѣ. Тогда онъ думалъ, что она совершенно безопасна отъ вліянія Ричарда и никогда не увлечется его филантропическими и революціонными затѣями.

И вдругъ она сегодня предлагаетъ ему продолжать дѣло своего мужа!

Начавъ спокойнымъ тономъ, Адель все болѣе и болѣе увлекалась въ теченіе рѣчи, и это воодушевленіе показывало, что слова ея идутъ дѣйствительно отъ сердца. Губертъ очень удивился, найдя въ Адели не только защитницу Ричарда Мотимера, но и его соучастницу. Невозможно было думать, что она вышла за него по любви. Но бракъ могъ породить чувство.

Губертъ отвѣчалъ вѣжливо, но холодно:

— Какъ мнѣ это ни печально, но, очевидно, въ данномъ вопросѣ мы съ вами не сойдемся.

— Но почему же? — спросила Адель съ тоскою.

— Взгляды м-ра Мотимера и мои діаметрально противоположны. И разъ я сдѣлаюсь собственникомъ долины, я ни въ какомъ случаѣ не стану поддерживать Новый-Ванлей. Ничто не измѣнитъ моего рѣшенія.

— Что̀ же вы предполагаете дѣлать?

— Эксплуатація рудниковъ будетъ прекращена. Кузницы, мастерскія, всѣ эти грязныя, закоптѣлыя строенія будутъ снесены; я желаю, чтобы долина пріобрѣла свой прежній обликъ; кусты, деревья, чистый воздухъ, птицы — вотъ чего я хочу! Съ этими мѣстами связаны мои самыя дорогія воспоминанія. Конечно, вы начнете мнѣ доказывать, что красота — вещь безполезная, тогда какъ заводы и фабрики производятъ предметы первой необходимости, но вы не переубѣдите меня. Разъ долина попадетъ въ мои руки, Новый-Ванлей будетъ стертъ, какъ грязное пятно съ картины великаго мастера. Вы знаете, эта мѣстность — одна изъ самыхъ живописныхъ въ цѣлой Англіи. Я опять насажу виноградники. Всѣ эти отвратительные рвы будутъ засыпаны.

— Я вижу, что вы любите природу болѣе людей, — съ горькой усмѣшкой сказала Адель.

— Жизнь въ моихъ глазахъ имѣетъ цѣну лишь тамъ, гдѣ люди живутъ въ мирѣ съ своею матерью-землей, которая насъ вскормила и носитъ на себѣ. Я не позитивистъ. Мой основной принципъ: покровительствовать всему, что̀ прекрасно, бороться со всѣмъ, что̀ безобразно. Я не занимаюсь филантропіей. Въ будущіе вѣка, быть можетъ, въ мірѣ все уравновѣсится, богатства распредѣлятся болѣе равномѣрно, но мнѣ принадлежитъ лишь настоящее, и я вижу, что въ немъ матеріальные интересы все-таки не подавляютъ собою всѣ остальныя стороны жизни. Низменные идеалы еще не восторжествовали, къ счастью!

— Неужели вы находите надежду видѣть людей обезпеченными, независящими отъ случайной благосклонности фортуны и рожденія — низменной?

— Такая цѣль, если хотите, не имѣетъ въ себѣ ничего достойнаго порицанія, но въ одномъ я глубоко убѣжденъ: *этимъ* ничего подобнаго достичь нельзя, — и онъ указалъ своей аристократической рукой на долину. — Нѣтъ, не я буду продолжателемъ дѣла Мотимера! Я не претендую на репутацію практическаго человѣка. Можно поставить рабочихъ въ болѣе благопріятныя для нихъ условія, — чтобы они стали лучше одѣваться, лучше питаться, — но тогда вы создадите сильный и сплоченный классъ, настолько могущественный, чтобы во имя прогресса уничтожить всѣ лучшіе плоды интеллектуальной жизни. О, во имя прогресса, эти господа раздерутъ ликъ Мадонны Рафаэля! Вотъ почему я стою за реакцію, и почту своимъ долгомъ произвести ее въ этой долинѣ.

— А что будетъ результатомъ этой реакціи, — вы объ этомъ подумали? Масса нищихъ, голодныхъ, больныхъ!..

— Что дѣлать! Но, я надѣюсь, дѣло обойдется болѣе мир-

нымъ путемъ. Люди вашихъ взглядовъ любятъ пугать страшными словами. Но, однако, не лучше ли намъ прекратить собесѣдованіе на эту тэму? вѣдь мы, все равно, не столкуемся.

Адель поднялась.

— Да, мы уже говоримъ съ добрыхъ полчаса,—сказала она.— Боже! сколько горя приносятъ людямъ сословные предразсудки!

— Вы теперь, вѣроятно, поселитесь въ Лондонѣ?—спросилъ Губертъ.

— Не знаю; мужъ еще ничего не говорилъ мнѣ о своихъ планахъ. Прощайте, м-ръ Эльдонъ!—Адель не посмѣла пожать ему руку.

Губертъ проводилъ ее глубокимъ поклономъ. Около замка Адель встрѣтила Ричарда; она невольно покраснѣла.

— Гдѣ ты была?

— Гуляла въ лѣсу.

— Не понимаю, что̀ за удовольствіе бродить одной! Ты могла бы попросить Алису сопровождать тебя.

— Я боялась, что она откажется. Она не любитъ гулять.

Всѣ переговоры съ новымъ владѣльцемъ Ванлея велись черезъ нотаріуса Іоттлея. Отъ него Ричардъ и узналъ о намѣреніяхъ Губерта закрыть мины и уничтожить все дѣло. Сначала, конечно, это его очень огорчило, но потомъ, когда прошло первое потрясающее впечатлѣніе, онъ одумался и совершенно успокоился. Онъ понялъ, что поступокъ Губерта только привлечетъ на сторону его, Ричарда Мотимера, всѣ симпатіи, придастъ драматическій интересъ его положенію и возстановитъ вновь его популярность, сильно было-понизившуюся. Теперь онъ могъ позировать въ качествѣ жертвы, снова громить капиталистовъ и аристократовъ, сравнивать Новый-Ванлей съ плодомъ, сорваннымъ раньше, чѣмъ онъ успѣлъ созрѣть, и оплакивать тщетность своихъ усилій защитить дѣло рабочихъ.

Пресса отнеслась къ нему съ живѣйшей симпатіей. Сочувственныя письма посыпались на него градомъ. Мотимеръ заставлялъ Адель читать ихъ ему вслухъ, и легкая самодовольная улыбка, съ которою онъ слушалъ ее, казалось, говорила:—Вотъ какой человѣкъ твой мужъ!

Но особенно было польщено его самолюбіе, когда онъ однажды получилъ пакетъ съ казенной печатью. Письмо было подписано министромъ, извѣстнымъ своими радикальными взглядами. Онъ выражалъ Мотимеру сожалѣнія по поводу того, что обстоятельства не позволяютъ ему продолжать начатое дѣло. Ричардъ обра-

довался, какъ школьникъ, получившій на экзаменѣ хорошую отмѣтку. Съ торжествомъ понесъ онъ его показать женѣ.

Адель прочла и сказала:

— Я очень рада за тебя, Ричардъ.

— Я, быть можетъ, попрошу тебя помочь мнѣ составить отвѣтъ,—отвѣчалъ тотъ въ полголоса.

Адель улыбнулась, но ничего не сказала.

Мотимеръ ожидалъ, что закрытіе зала конференцій въ Новомъ-Ванлеѣ будетъ сопровождаться гораздо болѣе громкой демонстраціей, чѣмъ ея открытіе.

На этотъ разъ Уэстлекъ отказался говорить. Ричардъ произнесъ прощальную рѣчь, длившуюся не менѣе полутора часа. Ораторъ разсказалъ исторію возникновенія Новаго-Ванлея, постепенное развитіе предпріятія и затѣмъ въ яркой картинѣ представилъ его будущее, которому, увы! не суждено осуществиться. Бурные апплодисменты были ему отвѣтомъ. Затѣмъ вотировали поднесеніе благодарственнаго адреса Мотимеру, подъ которымъ и подписались всѣ рабочіе.

Текстъ адреса уснастили двумя или тремя растрепанными радикальными фразами. Затѣмъ онъ былъ торжественно прочтенъ, причемъ чтеніе нѣсколько разъ прерывалось восторженными криками и апплодисментами.

Читавшій адресъ молодецъ, громаднаго роста, въ заключеніе возопилъ громовымъ голосомъ:—Вотъ разительный примѣръ того, какъ при капиталистическомъ строѣ законъ стоитъ за справедливость! Тотъ, кто все полученное имъ состояніе отдалъ на общее дѣло, принужденъ уступить мѣсто паразиту, питающемуся чужимъ трудомъ! Мы должны сплотиться и употребить всѣ наши силы на святое дѣло пересозданія современнаго общественнаго строя. Если же мы этого не сдѣлаемъ, то мы недостойны называться людьми, мы, значитъ, вьючныя животныя, покорно предоставляющія эксплуататорамъ налагать на насъ привычное, обтершееся ярмо!

Ричардъ взволнованнымъ голосомъ благодарилъ за оказанную ему честь.—Завтра,—сказалъ онъ,—я отправляюсь въ Лондонъ. Я вернусь въ него такимъ же бѣднякомъ, какихъ не мало среди васъ. Я положительно остался на улицѣ. Три года тому назадъ, хозяева фабрики, на которой я работалъ, выгнали меня изъ мастерской, за мои соціалистическія мнѣнія, которыя имъ, само собой разумѣется, не слишкомъ-то нравились. Теперь я въ не менѣе затруднительномъ положеніи. Вы, вѣроятно, уже слышали, что, по найденному завѣщанію, мнѣ назначается небольшая по-

жизненная пенсія, но я отказываюсь ею пользоваться,—я полностью предоставляю ее на наше дѣло.

Въ отвѣтъ на такое безпримѣрно великодушное заявленіе раздались восторженные крики. Ричардъ, какъ разыгравшійся актеръ, съ удовольствіемъ бы въ эту минуту снялъ съ себя рубашку и отдалъ на „дѣло“, лишь бы заслужить одобреніе публики.

Адель, присутствовавшая на собраніи вмѣстѣ съ матерью и Летти, сидѣла, опустивъ глаза. Эта бурная манифестація ошеломила ее. Публика уже собиралась разойтись, когда джентльменъ почтенной наружности, съ сѣдой, пушистой бородой, попросилъ слова. Это былъ старый бельвикскій нотаріусъ, м-ръ Іоттль.

— Новый владѣлецъ копей, м-ръ Эльдонъ, поручилъ мнѣ,— объявилъ старый джентльменъ,—объявить всему рабочему персоналу Новаго-Ванлея, что онъ проситъ ихъ собраться завтра въ этой самой залѣ. Женщины лучше бы сдѣлали, еслибы не являлись на собраніе, такъ какъ оно будетъ имѣть характеръ чисто дѣловой.

Уэстлекъ передалъ Адели письмо отъ своей жены и собирался подойти къ Мотимеру, котораго Кинъ схватилъ за руку, видимо съ жаромъ толкуя о чемъ-то ему. Нашъ старый знакомецъ, нынѣ редакторъ одной изъ бельвикскихъ газетъ, нисколько не перемѣнился; съ тѣмъ же лебезящимъ видомъ говорилъ онъ Ричарду:

— Послушайте, какая блестящая идея мнѣ сейчасъ пришла въ голову: написать исторію Новаго-Ванлея! Небольшую, знаете, брошюру, которую можно было бы продавать за нѣсколько шиллинговъ экземпляръ. Заглавіе: „Новый-Ванлей и его основатель“. Не правда ли, прекрасная мысль?

— Да, да, прекрасная, прекрасная!—отвѣчалъ Ричардъ, отнимая руку.

— Мнѣ кажется. И, знаете, этимъ мы окажемъ большую услугу дѣлу пропаганды нашихъ идей. Вы вѣдь сообщите мнѣ нужныя свѣденія, не правда ли?

— Съ удовольствіемъ, но позвольте...

— Могу я узнать, какъ здоровье милѣйшей м-съ Родманъ?— приставалъ Кинъ.

— Здорова, благодарю васъ.

— Надѣюсь, она не принимаетъ слишкомъ близко къ сердцу всѣ эти событія, а?

— Богъ ее знаетъ.

— Напомните ей, прошу васъ, обо мнѣ. До свиданія, м-ръ Мотимеръ; не смѣю васъ дольше задерживать, да и самъ... спѣшу.

Стелла въ своей запискѣ извинялась, что состояніе ея здоровья не позволяетъ ей присутствовать на митингѣ. Она выражала глубокое сочувствіе своему дорогому другу.

„Я была бы очень счастлива видѣть васъ у себя,—писала она;—когда вамъ будетъ можно, навѣстите меня. Я жду васъ, какъ дождя въ засуху“.

Адель отправилась по окончаніи митинга обѣдать къ матери. Какъ эта послѣдняя, такъ и Летти, очевидно, были очень взволнованы и разстроены.

— Неужели твой мужъ, Адель, дѣйствительно откажется отъ пожизненной пенсіи, которую ему завѣщалъ дядя?—спросила, наконецъ, м-съ Вальтамъ.

Адель сдѣлала утвердительный знакъ.

— Онъ могъ бы со мной посовѣтоваться, прежде чѣмъ рѣшиться на такой шагъ,—продолжала старая дама съ негодованіемъ:—вѣдь ты все-таки моя дочь. Чѣмъ вы будете жить въ такомъ случаѣ? Мало вѣроятности, чтобы Ричардъ нашелъ мѣсто. Съ его репутаціей это вовсе не такъ легко. Право, милая, останься у насъ хоть до тѣхъ поръ, пока положеніе мужа опредѣлится. Меня приводитъ въ ужасъ одна мысль о томъ, что ты принуждена будешь поселиться въ какомъ-нибудь грязномъ кварталѣ, въ невозможной квартирѣ! Не можетъ быть, чтобы Ричардъ не понялъ этого!

— Безполезно говорить объ этомъ: мой долгъ слѣдовать за мужемъ.

— Но, милая Адель,—возразила Летти,—твой мужъ первый не захочетъ этого.—Въ эту минуту дверь отворилась и вошелъ Ричардъ. Окинувъ бѣглымъ взглядомъ всѣхъ трехъ женщинъ, онъ поцѣловалъ руку у тещи и затѣмъ, отступивъ немного и пристально разсматривая ее, воскликнулъ:

— Что это у васъ такой опрокинутый видъ?

— Вѣжливый вопросъ, нечего сказать!—отвѣчала та.—Позвольте спросить васъ: вы въ самомъ дѣлѣ намѣрены выполнить то, что̀ сказали на митингѣ?

— Мама... ради Бога!—вскричала Адель умоляющимъ тономъ. Но было уже поздно. Мотимеръ отвѣчалъ:

— Сказалъ, значитъ и сдѣлаю.

— Что-жъ, вы затѣмъ намѣрены кормить свою жену воздухомъ?

— Не бойтесь, на хлѣбъ добудемъ.

— Прекрасно. А не лучше ли Адели поселиться у меня? Что̀ вы на это скажете?

— Какъ она хочетъ, такъ пусть и поступаетъ,—отвѣчалъ Ричардъ.

— Я уже отказалась... я поѣду съ тобой въ Лондонъ.

— Я тебя не принуждаю,—сказалъ Мотимеръ, но такимъ тономъ, что невозможно было сомнѣваться въ его чувствахъ въ эту минуту.

— Я не имѣю никакого желанія оставаться здѣсь.

— Въ такомъ случаѣ и говорить больше нечего,—отрѣзала м-съ Вальтамъ, отворачиваясь.

При прощаніи Летти, рыдая, обняла Адель.

М-съ Вальтамъ холодно простилась съ дочерью.

. . . .

На слѣдующее утро супруги оставили замокъ. Въ Бельвикѣ Ричардъ отправился, въ ожиданіи поѣзда, къ нотаріусу; Адель же ждала въ залѣ дебаркадера. Она сидѣла точно въ какомъ-то чаду, среди говора шмыгающихъ взадъ и впередъ пассажировъ, звонковъ, свистковъ и тяжелаго грохота подкатывающихся поѣздовъ. Съ утра было пасмурно. Когда подошелъ поѣздъ, на которомъ они должны были отправиться, хлынулъ проливной дождь. Они помѣстились въ глубинѣ вагона третьяго класса. Мотимеръ углубился въ чтеніе газеты. Затѣмъ онъ взглянулъ на Адель и закрылъ глаза. Дѣйствительно ли ему хотѣлось спать, или онъ просто не желалъ вступать въ разговоры съ женою? Адель смотрѣла въ окошко, на печальныя, пустыя поля. Казалось, небо сливалось съ землею въ туманѣ и потокахъ дождя. Она стала разсматривать спокойное лицо мужа. Она изучала его, какъ еслибы это было лицо посторонняго человѣка. Эти крупныя, рѣзкія черты, рыжіе усы и брови, все въ эту минуту пріобрѣло въ ея глазахъ особое значеніе. Человѣкъ другой расы, другого воспитанія, другихъ вкусовъ и привычекъ!

Никогда еще не представлялась ей съ такою ясностью неестественность ихъ союза. И ей подумалось, что еслибы этотъ человѣкъ вдругъ, какимъ-либо чудомъ, превратился изъ ея мужа въ совершенно чуждаго ей человѣка,—воспоминаніе о немъ осталось бы лишь какъ о какомъ-то тягостномъ снѣ, о какой-то угрюмой, тяжелой сущности, омрачившей ея дни, о которой такъ пріятно забыть!

Та бездна, которую прежде прикрывала обезпеченность жизни, теперь обнажилась, прикрывавшіе ее цвѣты поблекли, и въ это ненастное утро она зіяла своей сѣрой пастью, полная ужасныхъ призраковъ... Онъ не можетъ быть съ нею равнымъ,—для этого нужно переродиться, перемѣнить свой характеръ, для этого надо...

не быть Ричардомъ Мотимеромъ. Онъ возвращается въ Лондонъ, въ свою среду, гдѣ, быть можетъ, ему будетъ даже легче жить, а она... что станется съ нею?

Хотя она и не могла считать себя принадлежащей къ старой аристократіи, тѣмъ не менѣе, нѣсколько поколѣній, выросшихъ въ обезпеченной, образованной средѣ,—вотъ прошлое ея семьи. Она не привыкла служить другимъ,—ей всегда служили. По воспитанію, по уму, по благородству своего сердца Адель стояла даже выше многихъ другихъ женщинъ ея круга. И вдругъ она—раба этого грубаго человѣка, она сидитъ въ этомъ грязномъ, душномъ вагонѣ, и поѣздъ уноситъ ее далеко отъ свѣтлой, полной высшими интересами, жизни... Ей было и страшно, и тоска грызла ее въ эту минуту.

И вотъ они въ Лондонѣ. Дождь все продолжаетъ сѣять, точно черезъ сито. Туманъ еще гуще. Они отправляются искать какія-то несчастныя меблированныя комнаты. Мотимеръ нанимаетъ душную, грязную комнату, съ низкимъ потолкомъ, во второмъ этажѣ, во дворѣ. Здѣсь они обѣдаютъ. Ричардъ спрашиваетъ жену, не проголодалась ли она? И, боясь его разсердить, она увѣряетъ, что ей очень хочется ѣсть.

Котлеты съ картофелемъ и капустой не кажутся ей особенно аппетитными, также и ломоть рисоваго пуддинга, плавающій въ какой-то желтоватой подливкѣ.

Но она сама намѣрена заняться хозяйствомъ, и, быть можетъ, тогда ихъ столъ улучшится.

Ричардъ развертываетъ купленный имъ нумеръ „Набата". На первой же страницѣ его вниманіе привлекаетъ статейка подъ заголовкомъ: „Лопнувшій мыльный пузырь", подписанная именемъ Родгауза.

„Полумѣры ни къ чему не ведутъ,—заключилъ свою ядовитую статейку противникъ Ричарда:—болѣе того, всѣ эти филантропическія затѣи только тормозятъ дѣло. Пусть мы дойдемъ до крайней нищеты, пусть будемъ голодать и одѣваться въ рубище—это откроетъ намъ глаза. Безсердечный капиталистъ, открыто гнетущій рабочаго, по нашему лучше этого лицемѣра, съ его Новымъ-Ванлеемъ! Первый, по крайней мѣрѣ, не вводитъ въ заблужденіе насчетъ своихъ намѣреній; открытый притѣснитель вызоветъ смѣлый протестъ, тогда какъ quasi-соціалисты, въ родѣ Мотимера, даже пользуются популярностью въ средѣ рабочихъ и имъ подносятъ благодарственные адресы".

Прочитавъ эти строки, Ричардъ заскрипѣлъ зубами и пробормоталъ:

— Мы еще съ вами раздѣлаемся, м-ръ Родгаузъ! Подождите, будетъ и на нашей улицѣ праздникъ!

X.

Недѣли черезъ полторы слѣдующая сцена происходила въ Вильтонъ-Скверѣ, въ кухнѣ м-съ Мотимеръ. Время не пощадило нашу старую знакомую, да и на Алисѣ Родманъ, для которой она готовила чай, треволненія, недавно обрушившіяся на ихъ семью, положили неизгладимый слѣдъ.

Напрасно было бы искать въ лицѣ молодой женщины слѣдовъ ея былой свѣжести. Въ ней пропала и оживленность, и даже та извѣстная элегантность, отъ которой такъ выигрывала ея фигура. Выраженіе ея губъ болѣе чѣмъ когда-либо обнаруживало ея сварливый характеръ. Крикливый, сердитый голосъ особенно былъ непріятенъ. То, чтò скрадывалось ея миловидностью и веселостью—грубая, эгоистичная натура,—теперь проступило совершенно ясно, и глазъ, уже не обольщаясь больше ея столь быстро отцвѣвшею красотою, видѣлъ таившуюся подъ нею непривлекательную сущность. Однимъ словомъ, на ней повторилось то же, чтò бываетъ съ десятками хорошенькихъ женщинъ. Она теперь разсказывала о событіяхъ истекшей ночи.

— Въ полночь,—говорила она,—едва я только успѣла лечь въ постель, какъ моя горничная постучала въ дверь и объявила, что полисменъ желаетъ видѣть моего мужа. Посудите, какъ я испугалась! Я вскочила, накинула на себя чтò попало подъ руки и побѣжала внизъ. Полисменъ дожидался въ передней. Онъ объявилъ мнѣ, что молодой человѣкъ, по фамиліи Мотимеръ, посаженъ въ полицію за ночное буйство. Представьте,—онъ имѣлъ нахальство указать на Вилли, какъ на лицо, могущее внести за него штрафъ! Какъ разъ въ эту минуту возвращается мужъ. Онъ видитъ меня полуодѣтой наединѣ съ полицейскимъ, и не вѣритъ своимъ глазамъ. Ну, конечно, все объяснилось, и мы много смѣялись. Вилли сказалъ, что онъ подумалъ,—не пришли ли ужъ меня арестовать по обвиненію въ воровствѣ. Что касается Генри, то мужъ отказался платить за него. И вообще не намѣренъ болѣе съ нимъ возиться и искать ему мѣсто.

— Какъ, онъ опять потерялъ мѣсто?—вскричала мать.

— Вчера ему отказали за неаккуратное посѣщеніе. Вы должны бы за нимъ надзирать.

— Къ чему этотъ упрекъ!—возразила м-съ Мотимеръ, по-

жимая плечами:—если я должна отвѣчать за его поведеніе, я лучше возьму котомку, да и пойду куда глаза глядятъ, только бы не видѣть и не знать ничего о всѣхъ вашихъ безобразіяхъ.

— На мѣстѣ Ричарда,—сказала Алиса, дѣлая видъ, что не замѣчаетъ послѣднихъ словъ матери,—я бы оставила этого скверного мальчишку отвѣдать тюремной жизни. Это, быть можетъ, послужило бы ему урокомъ. Но каково паденіе! видѣть Ричарда съ женой живущими въ меблированныхъ комнатахъ—и это послѣ роскошнаго замка и всего великолѣпія! Ужасно! хотя, кажется, они ужъ не такъ нуждаются, какъ говорятъ. Ричардъ, очевидно, имѣетъ откуда-то рессурсы, коли даже боится, что ручки Адели загрубѣютъ отъ черной работы, и нанимаетъ служанку. Вотъ еслибы Адель хоть сколько-нибудь питала къ намъ симпатіи, она могла бы такъ повліять на Эльдона, что онъ выдалъ бы мое приданое. Но, конечно, на это нечего разсчитывать. Адель относится къ намъ какъ къ чужимъ. Желала бы я знать, что было въ ея головѣ, когда она нашла завѣщаніе. Ахъ, еслибы я была на ея мѣстѣ!

— Ричардъ прислалъ мнѣ немного денегъ, — сказала м-съ Мотимеръ.

— Вы его видѣли самого?

М-съ Мотимеръ покачала отрицательно головой.

— Вы его желаете видѣть?

— Мнѣ все равно,—отвѣчала холодно мать.

На лѣстницѣ раздался шумъ шаговъ.

Это былъ Генри. Онъ развязно ввалился въ комнату и дерзкимъ тономъ потребовалъ „чего-нибудь перекусить“.

Вся его наружность свидѣтельствовала о ночи, проведенной въ безобразномъ кутежѣ. Пальто его было залѣплено засохшей грязью, рубашка смятая, волосы въ безпорядкѣ, руки грязныя.

Онъ накинулся на поданный ему хлѣбъ и масло и, отрѣзавъ почтенныхъ размѣровъ ломоть, принялся уписывать его за обѣ щеки, съ шумомъ прихлебывая чай изъ своей чашки.

— Я былъ у брата,—сказалъ онъ, когда нѣсколько удовлетворилъ свой голодъ:—у нихъ тамъ сидѣлъ нотаріусъ.

— Въ самомъ дѣлѣ? По какому же дѣлу?

— Да что-то толковали о тебѣ и Родманѣ; я сидѣлъ въ другой комнатѣ, и только слышалъ, что упоминалось твое имя.

— Навѣрно они это затѣваютъ что-нибудь противъ насъ,—вскричала Алиса,—каверзу какую-нибудь!

— Ну, съ какой стати Ричардъ будетъ идти противъ тебя? вѣдь онъ тебя любитъ!

— О, онъ сдѣлаетъ все такъ, какъ его жена хочетъ, онъ у ней подъ башмакомъ! Ахъ, какъ я ненавижу эту гордячку!

Алиса простилась затѣмъ съ матерью, и скоро омнибусъ изъ мрачнаго и душнаго Вильтонъ-сквера доставилъ ее въ богатый кварталъ, гдѣ они жили. Они занимали тотъ же домъ; роскошная обстановка, весь образъ жизни оставался тѣмъ же. Правда, теперь Родманъ запрещалъ женѣ бѣгать по магазинамъ и вообще постоянно говорилъ объ экономіи, но на дѣлѣ все оставалось по старому. Онъ велъ какіе-то таинственные переговоры съ разными дѣльцами, которыхъ приглашалъ къ себѣ завтракать, при чемъ Алиса страшно скучала, какъ и всякая женщина, когда не ею одной занимаются. А отъ новыхъ знакомыхъ мужа и ждать было нечего какой-либо любезности. Родманъ пустился видимо во всевозможныя аферы и биржевыя операціи.

И въ этотъ день Алисѣ пришлось разыгрывать нѣмую роль хозяйки, такъ какъ у нихъ обѣдало нѣсколько скучнѣйшихъ биржевиковъ. Толковали о курсахъ, о пониженіяхъ и повышеніяхъ. Алиса съ тоскою прислушивалась къ этимъ непонятнымъ ей словамъ. Ей казалось, что они говорятъ на какомъ-то подозрительномъ, воровскомъ жаргонѣ. Послѣ обѣда она ушла въ гостиную, а Родманъ и его друзья оставались въ столовой до полуночи. Выпуская облака табачнаго дыма, они громко спорили, не упуская время отъ времени промачивать себѣ горло живительной влагой.

Когда, наконецъ, пріятели удалились, и Родманъ вошелъ въ гостиную, лицо его пылало отъ выпитаго вина. Онъ видимо находился въ отличнѣйшемъ расположеніи духа. Алиса разсказала ему о своемъ утреннемъ визитѣ, о томъ, что она видѣла Генри.

— Онъ говорилъ, что сегодня нотаріусъ долго толковалъ съ Мотимеромъ, и они упоминали мое имя.

— Пусть ихъ толкуютъ о чемъ хотятъ!

— Но, мой другъ, нельзя же позволить себя ограбить!

— Ахъ, это все пустое!—возразилъ Родманъ.—Ужъ не въ первый разъ мнѣ приходилось въ жизни переносить такія передряги. Не бойся, съумѣю вывернуться. Будемъ жить и веселиться!

— Тебѣ, Вильямъ, хорошо такъ говорить, у тебя есть пріятели, ты весело проводишь время,—а каково мнѣ сидѣть цѣлые дни въ четырехъ стѣнахъ!..

— Кто тебѣ мѣшаетъ читать романы?

— Все романы да романы! Мнѣ ужъ они надоѣли до тошноты. Ты живешь настоящей жизнью, а мнѣ предлагаешь довольствоваться фантазіями.

— Ну, хорошо... Такъ ты думаешь, твое приданое улыбнулось?

— Повѣрь мнѣ, тутъ всему причиной Адель! Я убѣждена, что это она настроиваетъ Ричарда противъ насъ. Съ какимъ бы наслажденіемъ я отплатила ей тою же монетою!

— Въ самомъ дѣлѣ? Ты, значитъ, очень противъ нея настроена?—спросилъ спокойно Родманъ, развалясь въ креслѣ и высоко заложивъ ногу за ногу.

— Нѣтъ бо̀льшаго наслажденія, какъ имѣть возможность отомстить ненавистному человѣку.

— Ого, однако, какія ты къ ней нѣжныя чувства питаешь! Знай ты все, что̀ я про нее знаю, ты способна была бы произвести скандалъ.

— Что̀ ты хочешь этимъ сказать? Что̀ ты про нее знаешь?

— Такъ, ничего.

— Ты не хочешь мнѣ говорить?

— Для твоей же пользы. А тебѣ бы очень хотѣлось знать этотъ секретъ?

— Въ особенности, если онъ касается Адели.

— Въ умѣлыхъ рукахъ онъ превратится въ превосходное средство поссорить ее съ мужемъ.

— Неужели?

— Ну, такъ и быть, скажу тебѣ... Знаешь ли ты, что Адель видѣлась съ Эльдономъ въ лѣсу на лужайкѣ, на другой день послѣ того, какъ было найдено завѣщаніе?

— Быть не можетъ!

— Я ихъ самъ видѣлъ, своими собственными глазами.

Глаза Алисы засверкали.

— Какъ только я увижу Ричарда, я ему это скажу!—вскричала она, будучи не въ состояніи скрыть своего торжества.

Родмана это видимо забавляло. Прищуривъ свои осоловѣлые глаза, онъ съ пьяной улыбкой смотрѣлъ на нее, покачивая головой.

Поселившись въ Лондонѣ, Ричардъ не оставилъ своихъ подозрѣній. Разъ зародившееся чувство ревности уже не отступаетъ отъ человѣка и прочными корнями опутываетъ сердце. Онъ старался приходить домой невзначай, въ различные часы. Адель не могла не заключить изъ его образа дѣйствій, что цѣль его—это наблюдать за нею, не спуская глазъ. Какъ-то разъ, замѣтивъ, что она надписываетъ адресъ на конвертѣ письма, Ричардъ спросилъ, кому оно. Вмѣсто всякаго отвѣта, Адель молча подала ему конвертъ. Онъ прочелъ адресъ и возвратилъ письмо, но по его глазамъ Адель видѣла, что это его не удовлетворило, и онъ готовъ думать, что письмо хотя и адресовано на имя, которое не можетъ возбудить его подозрѣнія, но предназначается дру-

гому. Кому именно? Все равно. Ревность слѣпа, и все служитъ ей пищей, не насыщая ее. Адель задыхалась въ этой атмосферѣ подозрѣній, намековъ, упрековъ и вѣчнаго тайнаго недоброжелательства и раздраженія. Ей очень хотѣлось повидаться со Стеллой, но сдѣлать это безъ разрѣшенія ея господина и повелителя и думать было нечего.

Въ Ванлеѣ, когда Адель чувствовала себя особенно утомленной, когда душевная тревога съ особой силой поднималась въ ея измученной груди, она шла въ садъ, въ паркъ и тамъ, бродя по уединеннымъ, тѣнистымъ аллеямъ, хоть нѣсколько отдыхала.

Здѣсь, въ Лондонѣ, она лишена этого послѣдняго утѣшенія. Безцѣльно бродить по грязнымъ улицамъ квартала, дыша зловонной мглой лондонскаго тумана,—конечно, прогулка подобнаго рода не могла успокоить ея расшатанные нервы. Наконецъ, она рѣшилась какъ-то высказать Ричарду, что она хочетъ сходить повидаться съ м-съ Уэстлекъ.

— Тебѣ очень хочется ее видѣть?—спросилъ рѣзкимъ тономъ Мотимеръ.

— Да, очень. А развѣ ты сегодня хотѣлъ какъ-нибудь иначе распорядиться нашимъ временемъ?

— Нѣтъ; но ты вѣдь отлично знаешь, что я весьма не одобряю эту твою короткость съ м-съ Уэстлекъ.

— Въ Лондонѣ у меня и друзей-то нѣтъ еще никого, кромѣ ея. Да и невѣжливо было бы не сдѣлать ей визита.

— Ну, какъ хочешь!—отвѣчалъ Ричардъ, отворачиваясь.

Въ это же утро онъ получилъ письмо отъ Алисы. Она писала, что желаетъ его видѣть по одному весьма важному дѣлу. Послѣднія слова были подчеркнуты. Тотчасъ послѣ завтрака Адель отправилась къ своему другу, онъ же—къ сестрѣ. Онъ нашелъ ее на кушеткѣ, въ изящномъ утреннемъ *дезабилье*, обложенную подушками, съ книжкой романа въ рукѣ, по обыкновенію.

Ричардъ не счелъ нужнымъ здороваться съ сестрой, а просто заявилъ своимъ рѣзкимъ, нетерпѣливымъ тономъ, что онъ къ ея услугамъ.

— Какъ ты вѣжливъ! садись, пожалуйста.

— Ты писала, что тебѣ надо поговорить со мною о какомъ-то важномъ дѣлѣ, такъ не тяни, ради Бога, а разсказывай, въ чемъ дѣло.

— Мама очень бы желала тебя видѣть.

— Я у нея буду на дняхъ.

— Я думаю, что мы поступаемъ несправедливо, оставивъ Генри на ея плечахъ.

— Что это ты стала такъ хлопотать о справедливости? Впрочемъ, я вѣдь ей помогаю деньгами, такъ что ты можешь успокоиться.

— Хотѣла бы я знать, откуда ты ихъ берешь, деньги-то? Не съ неба же онѣ тебѣ падаютъ.

— Откуда бы онѣ ни падали, это не твоя забота.

— Ты могъ бы, придя въ мой домъ, повѣжливѣе со мной обращаться,—ворчливо замѣтила Алиса.

— Въ твой домъ! Съ какихъ это поръ онъ сталъ твоимъ?

— Не придирайся къ словамъ. Я считаю тотъ домъ своимъ, въ которомъ живу. Я повторяю: то, какъ ты живешь, доказываетъ, что у тебя берутся откуда-то средства. Это ясно! Но откуда,— вотъ вопросъ?

— Глупый вопросъ!—отрѣзалъ Ричардъ.

— Я вижу, тебѣ доставляетъ удовольствіе быть грубымъ со мною,—слезливо начала Алиса,—а я одно знаю, что вы бы могли и намъ помочь... Онъ навѣрное согласился выдать мою часть.

— Кто *онъ*? Про кого ты говоришь?

— Не притворяйся!—ты отлично понимаешь, что я говорю про Губерта Эльдона. Еслибы мы съ мужемъ имѣли его въ качествѣ друга дома, мы могли бы...

— Что̀ ты хочешь сказать?—вскричалъ Ричардъ, бросая на сестру гнѣвный взглядъ.

— Это не до тебя касается, не безпокойся.

— А до кого касается? что ты загадками-то говоришь?

— Неужели тебѣ еще надо объяснять? Я говорю объ одной важной персонѣ, grande dame и comme il faut, объ одной добродѣтельной особѣ, которая...

— Ты объ Адели, что-ли, говоришь? — вскричалъ Ричардъ, задыхаясь.

Алиса сдѣлала утвердительный знакъ. Воцарилось короткое молчаніе. Ричардъ сидѣлъ, тяжело дыша. Глаза его сверкали такимъ бѣшенымъ огнемъ, что Алисѣ стало страшно.

Наконецъ, онъ сказалъ:

— Говори, что̀ ты знаешь.

— Я знаю, что Адель видѣлась съ Эльдономъ въ лѣсу, на другой день послѣ того, какъ нашли завѣщаніе.

— Кто это тебѣ сказалъ?

— Мой мужъ.

— Онъ самъ видѣлъ?

— Самъ, своими глазами видѣлъ. Стояли вмѣстѣ на лужайкѣ.

— И онъ слышалъ, о чемъ они говорили?

— Разумѣется, слышалъ.

— Какой, однако, негодяй твой мужъ, Алиса! Кланяйся ему отъ меня. Въ другой разъ его шпіонство, вѣроятно, увѣнчается бо̀льшимъ успѣхомъ. Я на него разсчитываю.

— Тебѣ, что-ли, это все уже извѣстно?—спросила Алиса съ удивленнымъ видомъ.

— Не менѣе, чѣмъ Родману.

— И что̀ же ты объ этомъ думаешь?

— То, что на будущее время совѣтую тебѣ, Алиса, не вмѣшиваться не въ свое дѣло. Подожди немного: тебѣ еще предстоитъ заняться своими собственными дѣлами; авось тогда ты оставишь въ покоѣ чужія. Ты ничего еще не имѣешь мнѣ сказать?

— Нѣтъ,—отвѣчала Алиса, сбитая съ толку неожиданнымъ оборотомъ дѣла.

— Честное слово, тебѣ не стоило изъ-за этого безпокоиться, да и меня бы ты могла не отрывать по пустому отъ дѣла. Можешь передать Родману, что я съ нимъ больше не желаю имѣть никакихъ дѣлъ.

Выйдя отъ Алисы, Мотимеръ съ четверть часа быстро шелъ въ глубокой задумчивости. Мысли вихремъ крутились въ его головѣ и стремились все впередъ и впередъ, и онъ, какъ бы догоняя ихъ, бѣжалъ по улицамъ, толкая прохожихъ. Наконецъ, онъ опомнился. Постоялъ нѣсколько мгновеній на перекресткѣ. Потомъ сѣлъ въ омнибусъ. Но частыя остановки послѣдняго раздражали его. Онъ выскочилъ и нанялъ фіакръ. Когда онъ уже подъѣзжалъ къ дому, другой фіакръ прогремѣлъ мимо него и скрылся за угломъ. Въ немъ сидѣлъ Губертъ. Мотимеръ ясно его разглядѣлъ. На мгновеніе даже ихъ глаза встрѣтились. Голова Ричарда кружилась и въ вискахъ билось, когда онъ поднимался по лѣстницѣ въ свою невзрачную квартиру. Онъ засталъ Адель за хозяйственными хлопотами; засучивъ рукава, она своими аристократическими ручками, съ голубыми, просвѣчивавшими сквозь нѣжную, тонкую кожу венами, чистила коренья для супа.

Она съ улыбкой обернулась къ Ричарду и хотѣла что-то сказать ему, но слова замерли на ея губахъ при видѣ зловѣщаго лица мужа.

Схвативъ ее за руку, онъ прошипѣлъ:

— Здѣсь былъ Эльдонъ? Говори, онъ былъ безъ меня?

Адель совсѣмъ растерялась и дрожащимъ голосомъ отвѣчала:

— Эльдонъ? Я не видѣла его!

— Я его встрѣтилъ въ двухъ шагахъ отъ нашего дома. Я долженъ... я желаю знать истину... Говори!

— Эльдонъ сюда не приходилъ. Я, по крайней мѣрѣ, не видѣла его.

— Не видѣла? Лицемѣріе, низкое лицемѣріе! О, притворщица! я знаю...—Голосъ Ричарда пресѣкся. Онъ не могъ говорить и въ изнеможеніи упалъ на диванъ.

Къ Адели вдругъ возвратилось все ея спокойствіе. Она уже давно видѣла и понимала, что мужъ ее ревнуетъ. Но еще ни разу онъ не осмѣливался приступить къ ней съ такимъ прямымъ обвиненіемъ въ невѣрности.

Какое право имѣлъ онъ подозрѣвать ее? Развѣ она подала къ этому поводъ? Развѣ ея поведеніе не было безупречно?

Послѣ короткаго молчанія, Адель спросила мужа, за что̀ онъ ее оскорбляетъ.

— Слушай, Адель, я теперь не могу тебѣ вѣрить, ни одному твоему слову. Мнѣ кажется, что ты меня обманываешь, даже когда говоришь правду. Я и знаю, что ты говоришь правду, а все-таки не вѣрю. Помнишь, тому назадъ мѣсяцъ, еще въ Ванлеѣ, я встрѣтилъ тебя... Ты возвращалась въ замокъ... Помнишь?

— Прекрасно помню.

— Ты мнѣ сказала тогда, что гуляла въ лѣсу, но ты скрыла отъ меня, съ кѣмъ ты тамъ видѣлась... на полянѣ...

— Я прошу тебя, Ричардъ,—вскричала Адель въ негодованіи,—выскажи опредѣленно, въ чемъ ты меня обвиняешь!

— Изволь. Это не трудно сдѣлать. Когда замужняя женщина въ уединенномъ мѣстѣ назначаетъ свиданіе молодому человѣку, какъ ты называешь такое поведеніе?

— Думай, что̀ тебѣ угодно,—отвѣчала спокойно Адель,—но я не унижусь, чтобы защищать себя. Ты все видѣлъ и слышалъ—вѣроятно, можешь самъ составить сужденіе.

— Да, васъ видѣли и слышали. Скажи мнѣ прямо: назначала ты ему свиданіе или нѣтъ?

— Увѣряю тебя, что не назначала.

— Почему же ты съ нимъ встрѣтилась въ лѣсу?

— Это вышло совершенно случайно.

— И ты съ нимъ говорила?

— Я этого не отрицаю.

— О чемъ ты съ нимъ говорила?

— Я не считаю нужнымъ открывать это тебѣ.

— Прекрасно. Я еще не забылъ того дня, когда засталъ Эльдона въ гостиной Стеллы Уэстлекъ. Теперь я его вижу на углу нашей улицы! Я все понимаю. Я понимаю теперь, почему ты такъ настаивала на томъ, чтобы поскорѣе представить най-

денное завѣщаніе. Я отлично видѣлъ, что ты рада моему разоренію, отлично видѣлъ!

Въ эту минуту Ричардъ былъ противенъ Адели. Она молча направилась къ двери. Ричардъ кинулся и преградилъ ей дорогу.

— Куда ты идешь?—крикнулъ онъ грубо.

— Оставьте меня въ покоѣ! — отвѣчала Адель: — я лучше умру, чѣмъ останусь послѣ этого жить съ вами.

— Посмотримъ, удастся ли тебѣ уйти отъ меня.

— Вы можете, конечно, силой удержать меня. Но незаслуженныя оскорбленія, которыя вы осмѣлились мнѣ нанести, такого рода, что я ихъ никогда не прощу вамъ. Съ этой минуты мы чужіе другъ другу. Вы сами разорвали ту связь, которая насъ сковывала.

— Ты никуда не уйдешь, а останешься здѣсь,—я тебѣ это говорю!—сказалъ Ричардъ. Адель не могла болѣе сдерживать себя и разразилась истерическими рыданіями. Ричардъ вышелъ и заперъ комнату на ключъ. Адель осталась одна, плѣнницей. Въ изнеможеніи опустилась она на стулъ и, безпомощно опустивъ руки, сидѣла такъ, не двигаясь. Ея тюремщикъ ушелъ. Въ окно глядѣлъ пасмурный, сѣрый день. Она не могла сосредоточиться, не могла даже обдумать хорошенько свое положеніе. Мысли какъ-то разбѣгались. Безъисходная тоска давила ея сердце. Порою ей казалось, что все это она видитъ во снѣ. И эту печальную комнату, и все, что произошло въ ней. Но вотъ на столѣ лежатъ приготовленныя овощи. На рукѣ ея выше кисти осталось синее пятно отъ суроваго пожатія разъяреннаго мужа. Вотъ въ эту дверь онъ только-что вышелъ. Время шло. Стрѣлка стѣнныхъ часовъ отсчитывала часы, самые тяжелые, какіе только ей выдавались въ жизни.

Увы! къ чему привелъ ее порывъ негодованія! Вотъ теперь она въ открытой враждѣ съ мужемъ. Пусть гнѣвъ ея справедливъ, но не лучше ли было бы сдержать себя? Помириться съ нимъ, попросить прощенія? И видѣть въ его глазахъ тріумфъ побѣды, одержанной силою надъ беззащитностью и слабостью! Опять покорно нести иго! Небо, какая мука, какое униженіе! Порою Адель подходила къ окошку и глядѣла на грязный дворъ, на который оно выходило. Она видѣла вверху клочокъ туманнаго неба. Сквозь слоистыя облака лился тусклый свѣтъ. Откуда придетъ спасеніе? И къ чему жить, когда все утрачено, всѣ надежды разбиты, и жизнь является лишь цѣпью огорченій? Къ чему жить, если она позабыта Богомъ и людьми? Мысль о самоубійствѣ возникла опять въ ея умѣ. Но вдругъ ей пришло въ голову, что

если она покончитъ съ собою, Ричардъ будетъ имѣть основаніе думать, что онъ былъ правъ въ своихъ подозрѣніяхъ.

Было уже пять часовъ, когда въ дверяхъ щелкнулъ ключъ, и Ричардъ вошелъ въ комнату.

Онъ опять сталъ требовать, чтобы Адель разсказала ему, о чемъ они разговаривали съ Губертомъ Эльдономъ. Но та упрямо отказывалась.

Мотимеръ отрѣзалъ большой ломоть хлѣба и съѣлъ его молча у окошка. Затѣмъ сѣлъ къ письменному столу и написалъ письмо. Наконецъ, спросилъ, намѣрена ли она здѣсь оставаться всю ночь. Вмѣсто отвѣта Адель только глубоко вздохнула. Ричардъ усмѣхнулся. Онъ чувствовалъ, что жена сдается. Онъ взялъ газету и притворился, будто читаетъ ее.

Адель съ видимымъ усиліемъ, глухимъ голосомъ сказала:

— Вотъ о чемъ мы говорили: сначала о нашемъ отъѣздѣ изъ Ванлея. Эльдонъ сказалъ, что не намѣренъ насъ торопить. Потомъ я спросила его, намѣренъ ли онъ продолжать твое дѣло. Онъ отвѣчалъ отрицательно, сказалъ, что прекратитъ работы. Вотъ и все.

— Побожись, что больше ничего не было!

— Я не стану божиться. Я больше не скажу ни слова. Хочешь вѣрь, хочешь не вѣрь—мнѣ все равно.

Ричардъ не настаивалъ. Онъ сказалъ примирительнымъ тономъ:

— А ты не знаешь, зачѣмъ Эльдонъ шлялся около замка?

— Я его встрѣтила случайно. А зачѣмъ онъ, какъ ты говоришь, „шлялся“ въ лѣсу, это не мое дѣло.

— А правда, что ты была съ нимъ въ перепискѣ еще до нашей свадьбы?

Адель молчала. Губы ея дрожали, какъ у обиженнаго ребенка. Слезы готовы были хлынуть изъ глазъ.

— Ну хорошо, оставимъ это.

И видя, что жена собирается выйти изъ комнаты, спросилъ:

— Что ты хочешь опять бѣжать отъ меня?

— Я устала и хочу отдохнуть,—отвѣчала бѣдная женщина.

— Сперва прочти-ка вотъ это письмецо,—сказалъ Ричардъ, протягивая ей конвертъ.

„Дорогой сэръ,—прочла Адель,—вотъ уже второй годъ я прикованъ къ одру болѣзни, которая, вѣроятно, оставитъ меня не раньше, чѣмъ меня положатъ въ послѣднее жилище. Мнѣ тридцать три года. Жизнь моя—медленное умираніе. Я бы лучше хотѣлъ сразу умереть, но что̀ дѣлать—мудрость велитъ намъ мириться со своей судьбой. Тѣмъ не менѣе, я надѣюсь си-

грать активную роль въ этой жизни. Меня живо интересуютъ соціальные вопросы, и я могу, мнѣ кажется, въ этомъ отношеніи принести пользу обществу. Ваше имя, какъ общественнаго дѣятеля, мнѣ хорошо извѣстно. Я постоянно слѣдилъ за грандіознымъ предпріятіемъ въ Ванлеѣ. Нынѣ я рѣшаюсь вамъ писать—и прежде всего жму вашу руку. Во мнѣ вы найдете человѣка, искренно уважающаго васъ и въ высшей степени дружественно къ вамъ расположеннаго. Позвольте мнѣ выразить вамъ мое сожалѣніе, что ваши благородныя усилія подвинуть впередъ разрѣшеніе соціальной проблемы, благодаря обстоятельствамъ, не привели къ желанному результату. Но я глубоко вѣрю, что еслибы вамъ не помѣшали довершить начатое вами дѣло, оно не преминуло бы дать блестящіе плоды. Но дабы мои сожалѣнія и увѣренія не оставались платоническими, я предлагаю вамъ съ своей стороны помощь. Именно, я предоставляю вамъ, для осуществленія задуманныхъ вами соціалистическихъ плановъ, въ ваше полное распоряженіе сумму въ тысячу фунтовъ ежегодно. Такимъ образомъ, вы снова явитесь во всеоружіи на общественную арену. Означенную сумму я гарантирую вамъ на десять лѣтъ. Буду ли я живъ, или нѣтъ, выдача ея вамъ не прекратится. Мнѣ же—сознаніе, что я хоть чѣмъ-нибудь да могъ способствовать общему дѣлу, мнѣ это сознаніе дастъ чувство удовлетворенія. Если мнѣ удастся оказать поддержку такому благому предпріятію, значитъ я не даромъ жилъ. Прилагаю при семъ чекъ. Такъ какъ я не зналъ вашего адреса, то послалъ его черезъ контору газеты „Огненный Крестъ". Если вы согласны на мое предложеніе, прошу васъ въ теченіе десяти дней печатать въ „Times" объявленіе—одного слова: *принято*, будетъ достаточно.

„Примите, и проч."

Адель прочла письмо и молча отдала его Ричарду. Она не могла радоваться теперь его успѣхамъ.

— Чтò же ты объ этомъ думаешь?—спросилъ Мотимеръ.

— Теперь ты опять можешь начать свою соціалистическую дѣятельность. Что-жъ, въ добрый часъ.

— Знаешь, не будемъ больше сердиться другъ на друга. Забудь, чтò между нами произошло.

— Попытаюсь.

Ричардъ подходитъ къ женѣ и кладетъ ей на плечо руку.

— Ну, простимся же какъ слѣдуетъ,—говоритъ онъ,—покойной ночи!

Она дала себя поцѣловать и вышла молча изъ комнаты.

XI.

Съ того утра, какъ Мотимеръ оставилъ Новый-Ванлей, спокойствіе воцарилось въ долинѣ. Фабричныя трубы перестали выпускать густые клубы чернаго дыма, въ горнахъ погасло багровое пламя, машины не оглушали болѣе своимъ тяжелымъ грохотомъ и пронзительнымъ свистомъ.

Рабочіе и ихъ жены, скрестивъ руки на груди, стояли у дверей своихъ домиковъ и толковали объ ожидавшей ихъ судьбѣ. Всѣ уже знали, что Губертъ намѣренъ закрыть копи и снести все поселеніе.

Уже третій день стояла дождливая погода. Хотя осень только-что началась, но холодъ пробиралъ до костей и сѣрое небо, казалось, никогда не прояснится. Листья на деревьяхъ пожелтѣли и падали на мокрую землю. Опушка лѣса порѣдѣла. Туманъ лежалъ на поляхъ. Спокойствіе, воцарившееся въ долинѣ, не сообщило ей бывалой ясной безмятежности,—нѣтъ, какъ-то мертвенно стало въ ней, пусто, вѣяло тлѣніемъ.

Въ замкѣ царилъ полнѣйшій хаосъ. Губертъ уничтожилъ слѣды пребыванія въ немъ ненавистнаго Мотимера. Какое-то облако меланхоліи окутало поселокъ. Казалось, долина уже привыкла къ тому, чтобы на ней копошились и шумѣли люди и шла промышленная сутолока. Возвратиться къ прежнему состоянію нельзя было безъ ломки и жертвъ съ чьей бы то ни было стороны. И ожиданіе окончательной катастрофы тяготѣло вмѣстѣ съ этими свинцовыми, низко бѣгущими тучами и стелющимися туманами, надъ этой, всегда такой оживленной и веселой, мѣстностью.

Въ назначенный часъ Губертъ явился въ залу конференцій. Въ короткихъ словахъ онъ объявилъ рабочимъ, что хотя работы прекратятся, но имъ будетъ выдана плата за слѣдующій мѣсяцъ и кромѣ того они еще могутъ пользоваться помѣщеніемъ въ теченіе двухъ недѣль. За симъ Новый-Ванлей закрывается.

Недовольный ропотъ пронесся по залѣ, но никто не осмѣлился выступить съ претензіями ни лично отъ себя, ни отъ лица своихъ товарищей.

Тѣмъ не менѣе, Губерту предстояло много хлопотъ. Ежедневно къ нему являлся нотаріусъ Іоттль, и съ нимъ онъ просиживалъ за дѣломъ по нѣскольку часовъ. Приходилось вступать въ переговоры съ рабочими, и это-то главнымъ образомъ и портило ему кровь. Нельзя было понять, чего они хотятъ, согласны

ли на предлагаемыя условія, или недовольны. Обычная ровность характера и настойчивое спокойствіе начинали измѣнять Губерту.

— Это выше моихъ силъ!—сказалъ онъ однажды Вейверну, послѣ того, какъ ему пришлось убить цѣлое утро на безплодныя пренія съ угрюмымъ и недовѣрчивымъ населеніемъ Новаго-Ванлея.

— Я вѣрю, что мы всѣ произошли отъ Адама,—продолжалъ онъ,—но что мы всѣ братья, съ этимъ согласиться я никакъ не могу. Когда я говорю съ этимъ грубымъ народомъ, я чувствую, что это мои враги. Я не могу ихъ считать равными себѣ; если у насъ и есть что общее, такъ это физическія потребности; но они-то и составляютъ источникъ вражды, изъ-за ихъ-то удовлетворенія и борются эти мускулистые калибаны. Говоришь съ ними и видишь, что они не вѣрятъ ни одному твоему слову,—напротивъ, чѣмъ съ ними искреннѣе, чѣмъ доброжелательнѣе къ нимъ относишься, тѣмъ болѣе возбуждаешь ихъ подозрѣнія. Это волки, которыхъ сколько ни корми, а они все въ лѣсъ глядятъ. Я понимаю, что такое народный бунтъ, когда чувствую на себѣ ихъ ненавистническіе взгляды.

— Не слишкомъ ли вы уже покладливы?—замѣтилъ клерджименъ.

— Какъ быть, сами посудите: съ одной стороны, уступки сейчасъ дѣлаютъ ихъ нахальными, они начинаютъ ломаться; съ другой—когда хладнокровно подумаешь надъ ихъ печальной судьбой, то, право, отказываешься ихъ судить.

Лэди Эльдонъ сгарала нетерпѣніемъ переѣхать въ замокъ, поэтому спѣшили съ возможной быстротой отдѣлать ея покои. Не прошло недѣли послѣ выѣзда Мотимеровъ, какъ она уже могла поселиться у своего сына. Возможность вновь жить съ нимъ подъ одной кровлей влила въ нее новыя силы. Но видимо было, что дни ея сочтены. Жизнь догорала въ ея истощенномъ болѣзнью тѣлѣ. Неожиданный оборотъ судьбы обрадовалъ и вмѣстѣ потрясъ ее, что, конечно, отозвалось гибельно на ея здоровьѣ. Какъ бы то ни было, возможность возвратиться на старое пепелище и испустить послѣдній вздохъ въ замкѣ предковъ, наполняло ея душу чувствомъ высшей радости. Лежа передъ окномъ на софѣ, она любовалась знакомымъ видомъ, этими развѣсистыми, могучими деревьями, свидѣтелями ея дѣтства, которыя, покачивая полуобнаженными вершинами, привѣтствовали ее, какъ старые добрые друзья.

Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, она часто вспоминала о тѣхъ, на несчастьѣ которыхъ основалось благополучіе ея послѣднихъ дней, и думала съ нѣжностью объ Адели.

— Какъ должно страдать это бѣдное дитя!—сказала она однажды Губерту.—Какъ-то они теперь устроятся? Не надо ли имъ помочь?

Губертъ разсказалъ о встрѣчѣ съ нею въ лѣсу и о томъ, что она видимо души не чаетъ въ своемъ мужѣ, сочувствуетъ его соціалистическимъ планамъ и, слѣдовательно, должна быть счастлива. А Мотимеръ не пропадетъ. Его друзья и единомышленники окажутъ ему поддержку.

— Что же касается меня,—продолжалъ онъ,—то мнѣ ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ вмѣшиваться въ ихъ судьбу. Чтò бы я ни сдѣлалъ, какъ бы ни поступилъ, я не могу ждать благодарности и все-таки останусь въ ихъ глазахъ бездушнымъ капиталистомъ.

Протекли назначенныя Эльдономъ двѣ недѣли отсрочки. Ему донесли, что послѣдняя семья оставила Новый-Ванлей. Погода стояла такая же пасмурная. Подъ вечеръ Губертъ отправился осматривать только-что покинутыя рабочими помѣщенія. Видъ этихъ опустѣлыхъ жилищъ произвелъ на него удручающее впечатлѣніе. Все поселеніе походило на какое-то кладбище. Высокія трубы возвышались надъ темными массами безмолвныхъ фабричныхъ строеній и сѣрыя, сплошныя облака, низко двигавшіяся по небу, казалось, задѣвали за нихъ. Осмотрѣвъ все, Губертъ пошелъ въ замокъ. Послѣ-обѣденное время онъ, по обыкновенію, провелъ вмѣстѣ съ матерью, потомъ удалился въ свою комнату и читалъ до двѣнадцати часовъ. Наконецъ, онъ закрылъ книгу и устремилъ задумчивый взглядъ на окно, въ которое глядѣла ночь. Все спало уже въ замкѣ. Торжественная тишина царствовала въ покоѣ. Вдругъ въ саду, прилегавшемъ къ дому, раздались свистки, неистовые вопли и крики; въ то же мгновеніе въ окнахъ раздался звонъ разбитыхъ стеколъ, и два камня упали къ ногамъ Губерта. Онъ выбѣжалъ изъ своей комнаты, но прежде чѣмъ достигъ спальни своей матери, камни градомъ полетѣли въ ея окна. Одинъ изъ нихъ подкатился къ самой кровати. Лэди Эльдонъ неподвижно сидѣла на постели, не въ силахъ будучи ни пошевелиться, ни произнести хоть слово отъ ужаса.

Внутри замка поднялась суматоха. Адскіе вопли неслись изъ мрака ненастной ночи. Дождь и вѣтеръ ворвались въ разбитыя окна. Губертъ обвилъ руками свою мать и, прижимая ее къ своей груди, старался успокоить. Затѣмъ онъ выбѣжалъ на минуту, чтобы видѣть, чтò такое происходитъ. На лѣстницѣ онъ увидѣлъ толпу блѣдныхъ, перепуганныхъ слугъ, съ лампами и свѣчами въ рукахъ, видимо не знавшихъ, чтò имъ дѣлать. Губертъ глав-

нымъ образомъ боялся, чтобы злоумышленники не подожгли замокъ. Но крики утихли. Вдругъ у подъѣзда кто-то изъ всей силы рванулъ колокольчикъ.

— Кто тамъ?—крикнулъ Эльдонъ.

— Другъ! Отоприте!—отвѣчалъ голосъ пастора. Разбуженный криками банды пьяныхъ рабочихъ, напавшихъ на замокъ, онъ вскочилъ и побѣжалъ на помощь. Онъ разсказалъ, что видѣлъ, какъ около дюжины манифестантовъ бѣжало по направленію къ горамъ. Въ концѣ концовъ, все обошлось благополучно. Никто не былъ раненъ.

Губертъ вернулся въ спальню. Разбитыя окна были заложены чѣмъ попало. Но, увы, испугъ слишкомъ сильно подѣйствовалъ на лэди Эльдонъ. Она лежала безъ движенія, съ искаженнымъ отъ ужаса лицомъ и широко-раскрытыми глазами. Дыханіе было коротко. Докторъ, въ послѣднее время не отлучавшійся изъ Ванлея, объявилъ, что больная—самое большее, если проживетъ до утра.

Въ то время, какъ м-ръ Вейвернъ читалъ отходную въ сосѣдней комнатѣ, Губертъ сидѣлъ у одра умирающей матери. Чувство безконечной ненависти подымалось въ его груди къ виновникамъ ея смертельнаго испуга. Онъ жаждалъ отмщенія. Скорбь его росла съ каждой минутой. Порою онъ бралъ руку матери и чувствовалъ легкій трепетъ въ ея пальцахъ, которыхъ уже коснулось ледяное дыханіе смерти. Это едва замѣтное содроганіе наполняло его сердце безконечной тоской; казалось, оно хотѣло разорваться отъ горя. Около полудня лэди Эльдонъ открыла глаза. Губы ея пошевелились. Губертъ сталъ на колѣни у ея кровати, обнялъ мать руками и смотрѣлъ ей въ глаза, ловя въ нихъ послѣдній трепетъ потухающей жизни.

— Милая мама, ты узнаешь меня?—спросилъ онъ съ тоскою.

Слабая тѣнь улыбки проступила на устахъ умирающей. Онъ еще ближе наклонился къ ней и не услышалъ, а скорѣе прочелъ по движенію ея безкровныхъ губъ то, чтѣ она хотѣла сказать:

— Они не знали чтѣ дѣлали!

Затѣмъ она еще что-то пролепетала, но того онъ ужъ не понялъ. Послѣдній вздохъ приподнялъ ея грудь... Все было кончено.

Онъ остался одинъ, одинъ на вѣки.

А. Э

НОВЫЙ РОМАНЪ ЗОЛА

– L'argent. Paris, 1891.

Лѣтъ десять тому назадъ, когда громадная эпопея „Ругонъ-Маккаровъ", теперь приближающаяся къ концу, была написана на половину, одинъ изъ поклонниковъ Зола—итальянскій писатель Амичисъ—назвалъ его, въ порывѣ восторга, „великимъ механикомъ". Соотечественникъ и другъ романиста, Поль Алекси, поспѣшилъ примкнуть къ мнѣнію Амичиса. „Сочиненія Зола,—воскликнулъ онъ,—это высшая механика (mécanique transcendante); когда-либо въ этомъ всѣ убѣдятся". Все это пришло намъ на память, когда мы читали новѣйшій романъ Зола: „L'argent".—Да, въ послѣднихъ произведеніяхъ Зола дѣйствительно много „механическаго"—только не въ томъ хвалебномъ смыслѣ слова, въ какомъ его употребляютъ Алекси и Амичисъ. На каждомъ шагу чувствуются здѣсь циркуль и линейка, вездѣ замѣтенъ разсчетъ и выработанный въ малѣйшихъ деталяхъ планъ. Отдѣльныя сцены, отдѣльныя лица являются какъ бы составными частями машины, приготовленными поштучно и затѣмъ тщательно пригнанными одна къ другой. Винтики, ремни, колеса, топливо, смазочные матеріалы—все имѣется на-лицо въ достаточномъ количествѣ и надлежащаго качества. Механизмъ тяжеловѣсенъ, но красивъ; его сооружалъ, очевидно, опытный и искусный механикъ. Съ „механизмами" ли, однако, желательно встрѣчаться въ области романа? „Механикомъ" ли долженъ быть романистъ, чтобы завоевать сочувствіе общества и занять прочное мѣсто въ литературѣ своего народа и своей эпохи? Конечно, въ настоящей механикѣ — въ механикѣ, какъ наукѣ—возможно творчество, возможно открытіе новыхъ законовъ; но механика прикладная соприкасается съ ре-

месломъ—и больше всего соприкасается съ нимъ именно тогда, когда ея пріемы переносятся въ чуждую ей сферу. Въ мірѣ техническомъ машина можетъ быть доведена до совершенства, потому что для этого достаточно полнаго ея приспособленія къ намѣченному дѣлу; въ мірѣ литературномъ это немыслимо, потому что литературные образы должны *жить*, а жизнь и машина—понятія, взаимно исключающія другъ друга... Процессъ работы, усвоенный Зола и превознесенный до небесъ его не но разуму усердными почитателями, фатально долженъ былъ привести къ чрезмѣрному преобладанію „механическаго" элемента. Кто сказалъ себѣ: „mon siège est fait!" и пересталъ изучать современное общество, кто замѣнилъ непосредственное наблюденіе собираніемъ бумажныхъ „документовъ", кто рисуетъ съ натуры не людей, а только декораціи, кто садится, работаетъ „спокойно, методично, съ часами въ рукахъ" и работаетъ „каждый день, но немного (три печатныхъ страницы, ни строчкой больше) и только по утрамъ"—тотъ рискуетъ обратиться, рано или поздно, въ пишущую машину, превосходно дѣйствующую, но все-таки машину. Прибавимъ къ этому, что авторъ „Ругонъ-Маккаровъ", по свидѣтельству его друзей, „влюбленъ въ пропорцію и симметрію", что, составляя конспектъ романа, онъ заранѣе и съ величайшею точностью опредѣляетъ размѣръ такой-то сцены, такого-то описанія—и мы поймемъ, что только большое природное дарованіе могло такъ долго удержать Зола надъ уровнемъ „механическаго" производства, къ которому его влекла и влечетъ сумма предвзятыхъ взглядовъ и пріобрѣтенныхъ привычекъ. Не спустился онъ до этого уровня и теперь—но подошелъ къ нему весьма близко. Опасный „психологическій моментъ" наступилъ для Зола, впрочемъ, не въ первый разъ. Немногимъ выше, чѣмъ „Деньги", стоятъ, въ нашихъ глазахъ, два центральныхъ, по времени, романа ругонъ-маккаровскаго цикла: „Nana" и „Pot-Bouille". За періодомъ упадка послѣдовалъ тогда періодъ новаго подъема,—и мы не теряемъ надежды на повтореніе этого явленія, хотя не можемъ не признать, что шансы его уменьшаются съ годами и съ прогрессирующей кристаллизаціей основныхъ свойствъ писательской манеры Зола.

Въ какой-то французской дѣтской пѣсенкѣ говорится о маленькихъ маріонеткахъ, которыя „дѣлаютъ три маленькихъ тура и потомъ уходятъ". На этихъ маріонетокъ очень похожи второстепенныя дѣйствующія лица въ „Деньгахъ". Они появляются, всегда неизмѣнныя, всегда одинаково настроенныя, произносятъ нѣсколько словъ, всегда въ одномъ и томъ же духѣ и на одну и ту же тэму—и исчезаютъ,

для того, чтобы чрезъ нѣсколько десятковъ страницъ опять продѣлать, въ томъ же самомъ порядкѣ, ту же самую процедуру. Таковы, напримѣръ, Мозеръ и Пилльеро, эти биржевые médecin tant pis и médecin tant mieux: первый—всѣмъ недовольный, всего боящійся и потому играющій на пониженіе, второй—не знающій унынія и сомнѣній, вѣрящій въ свое счастіе и въ биржевые курсы. Какими они выступаютъ въ началѣ романа, такими они остаются на всемъ его протяженіи, такими и сходятъ со сцены. Ни для кого, ни для чего они не нужны, никакого участія въ дѣйствіи не принимаютъ; авторъ вынимаетъ ихъ изъ ящика каждый разъ, когда рѣчь идетъ о биржевой операціи—и потомъ опять туда же ихъ прячетъ, впредь до новаго случая. Они удовлетворяютъ, должно быть, его потребности въ „симметріи", какъ два поставленные другъ противъ друга бюста—одинъ смѣющійся, другой плачущій (вспомнимъ большую аллею нашего Лѣтняго сада), или, по извѣстному французскому выраженію, какъ deux chiens de faïence. На читателей, не раздѣляющихъ этого вкуса, Мозеръ и Пилльеро производятъ удручающее впечатлѣніе. Ихъ появленіе, ихъ стереотипныя рѣчи предвидишь заранѣе—и ниразу не ошибаешься въ этомъ предвидѣніи. Въ кассѣ биржевого маклера Мозеръ съ плачевнымъ видомъ кладетъ въ карманъ выигранныя имъ семь или восемь тысячъ франковъ; Пилльеро, уплачивая свой проигрышъ, выглядитъ побѣдителемъ и потрясаетъ воздухъ торжествующими кликами. Три года спустя, въ биржевой залѣ, мы видимъ Мозера „болѣе желтымъ и безпокойнымъ, чѣмъ когда-либо", Пилльеро — „гордо высящимся на своихъ журавлиныхъ ногахъ". Еще одна, двѣ, три, четыре такія встрѣчи—и читатель невольно вспоминаетъ о гоголевскихъ герояхъ, которыхъ „самъ чортъ связалъ веревочкой". Неужели Мозеръ ни разу не покажется безъ Пилльеро, или Пилльеро безъ Мозера? Нѣтъ, ни разу; жестокій авторъ не знаетъ пощады, и обѣ маріонетки до конца продолжаютъ выскакивать рука объ руку, въ одно и то же время.

И еслибы еще онѣ были однѣ, еслибы не было другихъ, столь же неумолимыхъ и неизбѣжныхъ! Въ биржевомъ ящикѣ Зола собрана цѣлая коллекція куколъ, еще болѣе упрощенныхъ —куколъ безмолвствующихъ, куколъ съ этикеткой, прочитываемой во всеуслышаніе при каждомъ появленіи ихъ на сцену, куколъ, повторяющихъ одинъ и тотъ же жестъ, одну и ту же гримасу. Безмолвствуетъ Сальмонъ, почти неразлучный съ Мозеромъ и Пилльеро—и въ его молчаніи биржевики не устаютъ, цѣлыхъ четыре года, искать сокровенный смыслъ, котораго оно, конечно, вовсе не имѣетъ. Попытки разгадать несуществующую тайну про-

изводятъ сначала комическое впечатлѣніе; но когда онѣ повторяются много разъ, основываясь единственно на томъ, что Сальмонъ умѣетъ тонко и значительно улыбаться, то мы перестаемъ вѣрить въ ихъ возможность, и къ чувству усталости присоединяется досада на автора, слишкомъ уже безцеремонно разсчитывающаго на терпѣніе публики. Куклы съ этикеткой—это, напримѣръ, вице-президентъ Всемірнаго банка, виконтъ де-Робенъ-Шаго, „homme doux et ladre" (стр. 141 и 177); это—маркизъ де-Богенъ, съ маленькой аристократической головой на высокомъ туловищѣ (стр. 106, 140, 177); это—Алиса де-Бовиллье, съ длинной шеей, желтымъ цвѣтомъ лица и затаенною, но постоянно-гнетущею мыслью о бракѣ; это—Амадье, которому однажды удалась, случайно, рискованная спекуляція и около котораго съ тѣхъ поръ, на всемъ протяженіи романа, увиваются биржевики, хотя онъ и не даетъ имъ ни порученій, ни совѣтовъ. Куклы à geste fixe—это Флори и Гюставъ Седилль, съ ихъ нескончаемой погоней за любовными приключеніями; это—биржевой заяцъ Массіа, съ глазами „доброй побитой собаки" [1]), всѣми оскорбляемый и прогоняемый, прирожденный и безнадежный неудачникъ; это—баронесса Зандорфъ, съ ея воспаленными вѣками и кроваво-красными губами, неотступно одержимая демономъ биржевой игры и готовая отдаться всякому счастливому игроку, лишь бы только онъ подѣлился съ нею своимъ секретомъ; это—журналистъ Жантру, вѣчно расчесывающій свою великолѣпную бороду, вѣчно щеголяющій остатками былой литературности и свѣжимъ цинизмомъ; это—Сабатани, вкрадчивый левантинецъ, счастливый обладатель какого-то особаго физіологическаго свойства, имѣющаго даръ возбуждать женское любопытство (это свойство такъ интересуетъ Зола, что онъ возвращается къ нему нѣсколько разъ, при каждомъ удобномъ поводѣ и безъ всякаго повода; см. стр. 123, 290, 393). Всѣ эти лица —и многія другія—загромождаютъ романъ, не внося въ него ни одной типичной черты, ни одной характерной ноты. Они толкутся на одномъ мѣстѣ, ненужныя для дѣйствія, излишнія даже какъ фонъ картины. Между ролью, разыгрываемой Сабатани въ женскихъ будуарахъ, и положеніемъ, которое онъ занимаетъ въ Всемірномъ банкѣ, нѣтъ рѣшительно ничего общаго. Заяцъ-удачникъ могъ бы замѣнить зайца-неудачника, безъ всякаго ущерба для экономіи романа; вице-президенту Всемірнаго банка съ такимъ же вѣроятіемъ могли бы быть приписаны расточительность и рѣз-

[1]) Тѣми же глазами „побитой собаки" Зола снабжаетъ еще одно изъ безчисленныхъ дѣйствующихъ лицъ романа—проститутку Леониду Кронъ.

кость, какъ и скупость и слащавость (homme doux et ladre). Всѣ эти этикетки, всѣ эти неподвижные жесты ничего не объясняютъ, ничего не освѣщаютъ; это даже не балластъ, уравновѣшивающій движенія корабля, а мертвый грузъ, затрудняющій и замедляющій плаваніе... Есть, наконецъ, у Зола и такія дѣйствующія лица, которыя характеризуются не чертой, лично имъ свойственной, а чѣмъ-нибудь около нихъ происходящимъ. Таковъ, напримѣръ, банкиръ Кольбъ, за именемъ котораго слѣдуетъ всякій разъ бряцанье золотыхъ монетъ.

Механикой, въ знакомомъ уже намъ значеніи этого слова, отзываются и другія, болѣе крупныя, фигуры, созданныя Зола. Возьмемъ для примѣра Мешенщу (la Méchain), спеціальность которой—скупка обезцѣненныхъ, низко упавшихъ акцій, отчасти въ надеждѣ на новый ихъ подъемъ, отчасти, и еще больше, для перепродажи спекуляторамъ, замышляющимъ злостное банкротство. Это типъ безспорно оригинальный и интересный; но что дѣлаетъ изъ него Зола? Не столько живое лицо, сколько символъ гибели, ожидающей предпріятіе Саккара. Мешенша, съ своимъ бездоннымъ мѣшкомъ-гробомъ, мѣшкомъ-могилой, появляется именно тогда и только тогда, когда подготовляется или совершается новый шагъ въ исторіи Всемірнаго банка. Мы знакомимся съ нею какъ разъ въ тотъ моментъ, когда въ головѣ Саккара только-что блеснула мысль о колоссальной финансовой затѣѣ—и ея видъ возбуждаетъ въ Саккарѣ легкую дрожь, нѣчто въ родѣ предчувствія катастрофы (il eut un léger frisson, fut traversé d'un pressentiment, à voir ce sac, ce charnier des valeurs dépréciées). Всемірный банкъ основанъ; передъ Саккаромъ проходитъ вереница акціонеровъ, жаждущихъ примкнуть къ блестящей аферѣ. И вотъ, на торжественное шествіе падаетъ „тѣнь грядущихъ событій"; въ кабинетѣ Саккара показывается Мешенша, конечно— не для того, чтобы подписаться на акціи (вѣдь она покупаетъ ихъ только тогда, когда онѣ продаются на вѣсъ), а для того, чтобы произвести легкую рекогносцировку. Саккаръ видитъ знакомый мѣшокъ, и опять чувствуетъ дрожь; въ его ушахъ точно раздается карканье ворона, готовящагося слѣдовать за войскомъ, въ ожиданіи хотя, быть можетъ, еще не близкой, но вѣрной и богатой добычи. Встрѣча съ Мешеншей въ квартирѣ Буша наводитъ на Саккара суевѣрный страхъ даже тогда, когда онъ находится на вершинѣ успѣха. Въ концѣ биржевого собранія, нанесшаго смертельный ударъ Всемірному банку, Саккаръ, уничтоженный и разбитый, сдавленный толпою, поднимаетъ голову, чтобы вздохнуть свободно — и видитъ на биржевой галереѣ ворона-

Мешеншу и ея мѣшокъ, который она точно готовится набить акціями лопнувшаго предпріятія. Въ послѣдней главѣ этотъ мѣшокъ дѣйствительно оказывается переполненнымъ бумагами Всемірнаго банка—и Мешенша въ третій разъ сравнивается съ ворономъ, теперь уже не ищущимъ добычи, а пресыщеннымъ ею. Намъ она скорѣе напоминаетъ механическую кукушку, выскакивающую, черезъ опредѣленные промежутки, изъ часового ящика и выкрикивающую число часовъ, истекшихъ послѣ полуночи или полудня.

Мешенша — не единственная кукушка въ громадномъ механизмѣ, представляемомъ „Деньгами". Такую же роль играетъ Сигизмундъ Бушъ, ученикъ Карла Маркса, отрицающій биржу и мечтающій объ уничтоженіи денежныхъ знаковъ. Онъ нуженъ автору отчасти какъ вѣшалка, къ которой можно прицѣпить вычитанныя въ разныхъ книгахъ экономическія теоріи, отчасти какъ контрастъ другимъ дѣйствующимъ лицамъ, всецѣло поглощеннымъ или придавленнымъ мыслью о наживѣ. Еле живой уже въ началѣ романа, измученный злой чахоткой, онъ умираетъ только въ самомъ концѣ, потому что этого требуетъ „симметрія" искусственнаго зданія. Дѣйствующимъ или, лучше сказать, говорящимъ лицомъ онъ является въ трехъ сценахъ: въ первой главѣ, когда Всемірный банкъ существуетъ только à l'état de projet—въ одной изъ центральныхъ главъ, когда онъ расширяется и процвѣтаетъ—и въ послѣдней главѣ, когда отъ него остались однѣ развалины. Въ первый разъ Сигизмундъ объясняетъ Саккару—и читателямъ,—что̀ такое коллективизмъ; во второй разъ онъ предсказываетъ неизбѣжную побѣду коллективизма, которую безсознательно подготовляютъ даже учрежденія въ родѣ Всемірнаго банка; въ третій разъ онъ рисуетъ, среди предсмертнаго бреда, картину будущаго общественнаго строя. Все это связано съ романомъ бѣлыми нитками, которыхъ авторъ даже не старается спрятать. Нужно показать и доказать, что „экспериментальный романъ" не отстаетъ отъ науки—и вотъ, извѣстное число страницъ отводится популярному изложенію доктрины, которой рѣшительно нечего дѣлать въ данномъ литературномъ произведеніи. Диссертація, вклеиваемая въ романъ по щучьему велѣнью—это пріемъ до крайности упрощенный, но едва ли имѣющій что-либо общее съ художественностью.

Если Сигизмундъ Бушъ служитъ какъ бы противовѣсомъ Саккару и вообще биржевикамъ и денежнымъ людямъ, то такъ-называемымъ repoussoir по отношенію къ самому Сигизмунду является старшій его братъ, уродливый, грязный ростовщикъ, гнуснаго вида и еще болѣе гнусныхъ душевныхъ качествъ. Вмѣстѣ

съ своей сообщницей, Мешеншей, онъ занимается выискиваньемъ и пріобрѣтеніемъ документовъ, ничего не стоющихъ въ другихъ рукахъ, но обращаемыхъ достойной парочкой въ драгоцѣнныя орудія вымогательства и шантажа. Сигизмундъ, говоря словами какой-то оперетки, „такъ невиненъ, такъ невиненъ, что почти ничего не понимаетъ"; живя въ одной квартирѣ съ братомъ, онъ даже не подозрѣваетъ, чѣмъ занимается послѣдній, чѣмъ содержитъ его и себя. Кромѣ оперетокъ, такая невинность встрѣчается только въ романическихъ драмахъ. Другое заимствованіе, сдѣланное Зола изъ презираемой и осмѣиваемой имъ области романтизма—это самоотверженная любовь ростовщика Буша къ младшему брату. Она является какъ deus ex machina, ничѣмъ не мотивированная; мы должны принять ее на вѣру, какъ нѣчто мало правдоподобное, но интересное и эффектное. Кто бы могъ думать, что въ 1891 г., черезъ полвѣка послѣ паденія „Бюргравовъ", мы дождемся новой Лукреціи Борджіа, съ ея нѣжностью къ Дженнаро, или новаго Трибулэ, съ его глубокою отцовскою привязанностью? Бушъ, страстно преданный брату — это своего рода Лукреція или Трибулэ, только безъ средневѣковыхъ орнаментовъ и безъ теоріи искупленія, къ которой такъ любилъ возвращаться В. Гюго. Вознаграждаются ли всѣ пороки ростовщика однимъ добрымъ чувствомъ, сохранившимся въ его груди—этого Зола не говоритъ, объ этомъ онъ едва ли и думаетъ: ему нуженъ только яркій контрастъ, ему нужна антитеза, пристрастіе къ которой столь часто ставилось въ вину романтикамъ. Въ чудовищахъ, созданныхъ фантазіей В. Гюго, было, однако, чуть ли не больше правды, чѣмъ въ злодѣѣ современнаго реалистическаго романа. Въ чувствѣ матери—къ сыну, отца—къ дочери часто преобладаетъ элементъ инстинктивный, гораздо меньше свойственный чувству брата къ брату. Соединеніе нѣжности къ дѣтенышамъ съ свирѣпостью ко всему остальному встрѣчается даже въ животномъ мірѣ. Лукреція и Трибулэ, съ этой точки зрѣнія, естественнѣе нежели Бушъ, любовь котораго къ брату, столь противоположная всему его нравственному складу, не обоснована у Зола даже тѣмъ, что̀ на юридическомъ языкѣ называется un commencement de preuve.

„Контрастовъ, еще контрастовъ, какъ можно больше контрастовъ" — вотъ, повидимому, что̀ сказалъ Зола самому себѣ, приступая къ своему послѣднему роману. Сигизмундъ Бушъ, ненавидя деньги, ненавидитъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, благотворительность во всѣхъ ея видахъ. Она кажется ему милостыней, унизительной и для дающаго, и для получающаго; онъ не хочетъ, чтобы не-

равенство оправдывалось и освящалось добротою. Принцесса Орвіедо, наоборотъ, вся ушла въ благотворительность. Презирая богатство, доставшееся ей по наслѣдству отъ мужа — презирая его за нечистый источникъ, которому оно обязано своимъ происхожденіемъ, — она задается цѣлью поглотить его въ добрыхъ дѣлахъ, организованныхъ въ грандіозномъ стилѣ. Когда мы видимъ ее въ первый разъ, у нея есть еще двѣсти милліоновъ, изъ трехсотъ; черезъ четыре года она разорена и готовится вступить въ монастырь, преслѣдуемая кредиторами. По отношенію къ главному дѣйствію весь этотъ эпизодъ остается чѣмъ-то совершенно чуждымъ. Въ домѣ принцессы помѣщается, первоначально, Всемірный банкъ, въ одно изъ устроенныхъ ею учрежденій опредѣляется Викторъ, незаконнорожденный сынъ Саккара; но это — связь чисто внѣшняя, случайная. Принцесса скользитъ по роману какъ тѣнь—или, лучше сказать, какъ отголосокъ одного изъ тѣхъ faits divers, которыми снабжаетъ Зола его любимыя presse à informations (Figaro, Gil Blas, Voltaire и т. п.). Въ Парижѣ дѣйствительно жила недавно великосвѣтская дама, употребившая все свое громадное состояніе на добрыя дѣла—и вотъ, ея исторія включается въ романъ, отчасти въ видѣ дополнительной варіаціи на тэму: *деньги*, отчасти, быть можетъ, въ видѣ поученія о тщетѣ благотворительности. Поученіе, однако, остается безплоднымъ, потому что благотворительность принцессы—мертвая, кабинетная, исключительно денежная. Она заводитъ у себя нѣчто въ родѣ департамента, управляющаго открытыми ею пріютами, богадельнями, больницами — но не становится сама лицомъ къ лицу съ страданіемъ и нуждою, не знаетъ и не видитъ нуждающихся. Очевидно, это не та добродѣтель, о которой говоритъ апостолъ Павелъ, а только блѣдный съ нея снимокъ, вовсе не разрѣшающій общаго вопроса о соціальномъ значеніи благотворительности. Иначе задуманное и исполненное, лицо принцессы Орвіедо могло бы, конечно, быть интереснымъ; теперь отъ него вѣетъ не только холодомъ, но и скукой.

И Сигизмундъ Бушъ, и принцесса Орвіедо, съ ихъ презрѣніемъ къ деньгамъ, противопоставлены *пріобрѣтателямъ* денегъ —пріобрѣтателямъ во что бы то ни стало, влюбленнымъ и въ самый процессъ добыванія денегъ, и въ его результаты. Для полноты контраста нужно было вывести на сцену еще одинъ видъ отношенія къ деньгамъ, не безусловно-отрицательный, но, если можно такъ выразиться, благоразумно-умѣренный. Представителями такого отношенія служатъ Жорданы, мужъ и жена. Эта парочка введена въ романъ исключительно для того, чтобы иллю-

стрировать старинныя истины: „съ милымъ рай и въ шалашѣ" (une chaumière et son coeur, dans un grenier qu'on est bien à vingt ans) и „тотъ лишь въ сей жизни блаженъ, кто малымъ доволенъ". Подобно Сигизмунду Бушу, подобно принцессѣ Орвіедо, подобно Мешенщѣ, супруги Жорданъ появляются на сцену періодически, когда настаетъ ихъ очередь подчеркнуть намѣренія автора. Саккаръ, съ своими прихвостнями, идетъ въ гору, богатѣетъ, наслаждается жизнью; Марселлу и ея мужа преслѣдуетъ жадный ростовщикъ, грозя описью ихъ скромнаго имущества. Они встревожены, смущены--но достаточно малѣйшаго луча надежды, чтобы возвратить имъ веселость и счастье. Акціи Всемірнаго банка достигаютъ курса въ 2.500 франковъ; мебель Жордановъ описана и назначена въ продажу съ публичнаго торга—но они все такъ же свѣтло смотрятъ на будущее. Наступаетъ крахъ Всемірнаго банка; Жорданъ, въ это самое время, добивается перваго литературнаго успѣха, и добродѣтельные супруги ликуютъ при мысли, что могутъ помочь разорившимся родителямъ Марселлы. Нетрудно замѣтить, что эта послѣдняя чета (Можандры) —новая антитеза по отношенію къ Жорданамъ. Нажившіеся рантьеры стремятся къ дальнѣйшему обогащенію, во всемъ отказывая единственной дочери, высокомѣрно относясь къ ея мужу, простому литературному рабочему; трудящаяся, бодрая молодежь пренебрегаетъ легкой наживой и ищетъ довольства въ сокращеніи потребностей и желаній. Пока Жорданы должны считать каждый сантимъ, они устроиваютъ себѣ праздничныя трапезы изъ селедки и картофеля съ саломъ; когда они обезпечены отъ нужды, они думаютъ только о томъ, какъ бы подѣлиться съ другими. Все это было бы прекрасно, еслибы Марселла и Жорданъ были живыя лица, а не составныя части машины, „симметрически" соотвѣтствующія другой парѣ ея колесъ. Во имя „симметріи" выведенъ на сцену и капитанъ Шавъ, зять Можандра—образецъ игрока осторожнаго, ничѣмъ не рискующаго, довольствующагося ежедневнымъ выигрышемъ въ 15—20 франковъ, между тѣмъ какъ Можандръ увлекается игрою, увлекаетъ въ нее жену, ставитъ на карту все свое состояніе и вылетаетъ въ трубу вмѣстѣ съ Саккаромъ. Нужно ли прибавлять, что Шавъ, Можандры, Жорданы e tutti quanti снабжены ярлычками, до утомленія мозолящими глаза читателей? Шавъ, напримѣръ, постоянно жалуется на правительство, скупость котораго заставляетъ отставныхъ военныхъ искать добавочныхъ средствъ къ жизни—и столь же постоянно тратитъ выигрываемыя на биржѣ деньги на угощеніе дѣвицъ легкомысленнаго поведенія.

Насколько Шавъ противоположенъ Можандру, настолько самъ Саккаръ противоположенъ Гюндерманну. Саккаръ—весь пламя, весь страсть; Гюндерманнъ—олицетворенная разсчетливость и осторожность. Въ изображеніи этого лица, списаннаго, повидимому, съ одного изъ парижскихъ Ротшильдовъ, Зола вложилъ гораздо больше таланта, чѣмъ въ силуэты мелкихъ биржевыхъ игроковъ и противниковъ биржи. И Гюндерманнъ, однако, испорченъ „механическою" манерой письма, свойственною „Деньгамъ". У него, какъ и у всѣхъ другихъ дѣйствующихъ лицъ, есть свои внѣшнія „примѣты", всюду его сопровождающія. Онъ питается только молокомъ, пьетъ только минеральную воду—и объ этомъ намъ неоднократно напоминаютъ, точно боясь, что мы сочтемъ стараго банкира за человѣка здороваго и крѣпкаго. Иллюстраціей его экономіи и его семейныхъ чувствъ служитъ неоднократная покупка имъ самимъ для своихъ внучекъ, въ кондитерской у биржи, конфектъ, цѣною въ одинъ франкъ. Дважды повторяется изображеніе утренняго дѣлового пріема у Гюндерманна—и оба раза мы видимъ его строго поправляющимъ ошибку въ разсчетѣ, изъ-за которой онъ потерялъ бы нѣсколько десятковъ франковъ. Всѣ эти наружныя черты, намѣренно подчеркиваемыя и утолщаемыя, заслоняютъ отъ насъ внутренній міръ Гюндерманна. Зола хотѣлъ, очевидно, придать ему нѣкоторое величіе. Спокойное, холодное сознаніе собственной силы, неутомимое трудолюбіе, невозмутимое безстрастіе, отсутствіе мелкихъ мотивовъ, привычка оперировать en grand, не прибѣгая къ обычнымъ биржевымъ маневрамъ—все это должно было создать для Гюндерманна нѣчто въ родѣ ореола; но его внезапно уничтожаетъ самъ Зола, заставляя Гюндерманна обмануть, грубо обмануть баронессу Зандорфъ. Вѣроятно ли, что всевѣдущему банкиру были нужны бабьи сплетни, одинаково легко впитывающія въ себя ложь и правду? Вѣроятно ли, что онъ такъ цинически лишаетъ баронессу заслуженной ею награды? Совѣтъ, которымъ онъ ей платитъ за измѣну (совѣтъ... не играть больше на биржѣ), былъ бы понятенъ какъ мщенье, какъ насмѣшка надъ врагомъ; но Гюндерманну не за что было мстить баронессѣ. Это—не черта характера, а „эффектъ", одинъ изъ тѣхъ эффектовъ, за которыми, въ послѣднее время, столь усердно сталъ гоняться Зола.

Мы подошли теперь къ главнымъ дѣйствующимъ лицамъ романа: инженеру Амлену, сестрѣ его Каролинѣ и самому Саккару. Первые двое пользуются большимъ сочувствіемъ автора—но читателямъ это сочувствіе не передается. Наивный, голубино-чистый Амленъ слишкомъ легко становится не только жертвой, но и

сообщникомъ Саккара. Глаза его не совсѣмъ открыты, но и не совсѣмъ закрыты; онъ спускается со ступеньки на ступеньку, не сознавая всей глубины паденія, но очень ясно чувствуя, что падаетъ. Онъ видитъ, благодаря указаніямъ сестры, что организація Всемірнаго банка съ самаго начала запечатлѣна беззаконіемъ и обманомъ—и все-таки соглашается стать его номинальнымъ президентомъ, т.-е. дать ему свое имя, не имѣя даже физической возможности слѣдить за его дѣйствіями (вслѣдъ за открытіемъ банка онъ уѣзжаетъ на востокъ и возвращается въ Парижъ только на время общихъ собраній). Онъ свидѣтельствуетъ оффиціально, что дополнительные взносы въ основной капиталъ банка сдѣланы сполна, хотя прекрасно знаетъ, что это неправда. Онъ вполнѣ убѣжденъ, что въ его отсутствіе совершаются новыя злоупотребленія—и ограничивается тѣмъ, что выражаетъ это убѣжденіе въ конфиденціальномъ письмѣ къ сестрѣ. Онъ понимаетъ, что курсъ выше двухъ тысячъ франковъ—безуміе, обманъ, но соглашается молчать, отчасти соблазняемый громадностью барышей, отчасти подъ вліяніемъ такого разсужденія: nous y sommes, il faut bien y rester. Когда курсъ доходитъ до двухъ тысячъ семисотъ франковъ, онъ продаетъ свои акціи, скрывая эту продажу отъ Саккара и оставаясь президентомъ банка. Конечно, все это возможно, все это бывало; только зачѣмъ же говорить объ „очевидной добросовѣстности“ Амлена, зачѣмъ выставлять его до конца ангеломъ чистоты и невинности? Онъ не скрылъ нажитыхъ денегъ, отдалъ ихъ кредиторамъ банка и вышелъ изъ омута такимъ же бѣднымъ, какъ вошелъ; но и Саккаръ не сохранилъ ровно ничего изъ милліоновъ, прошедшихъ черезъ его руки—а кто же назоветъ его честнымъ человѣкомъ? Много ли выиграли акціонеры банка отъ запоздалаго безкорыстія Амлена? Нѣтъ, это не живой человѣкъ, а маріонетка, изображающая собою, по внушенію авторскаго каприза, то безгрѣшнаго мечтателя, то весьма и весьма грѣшнаго участника грязной аферы.

Такимъ же двойственнымъ, выдуманнымъ лицомъ кажется намъ и сестра Амлена, Каролина. Зола расположенъ къ ней еще больше, чѣмъ къ добродѣтельному инженеру; но мы скорѣе готовы примириться съ братцемъ, чѣмъ съ сестрицей. У перваго, по крайней мѣрѣ, нѣтъ „особой примѣты“, а у послѣдней ихъ цѣлыхъ двѣ: одна—наружная, другая—внутренняя, и обѣ—крайне назойливаго свойства. Наружная примѣта—это „корона изъ сѣдыхъ волосъ“, возвышающаяся надъ свѣжимъ лицомъ и черными бровями (когда начинается романъ, Каролинѣ только тридцать шесть лѣтъ отъ роду). Одинъ изъ критиковъ романа (Огюстенъ

Филонъ, въ „Revue bleue") имѣлъ терпѣнье сосчитать, сколько разъ Зола упоминаетъ объ этой коронѣ; оказалось—*четырнадцать* разъ! Внутренняя примѣта—это оптимизмъ quand même, радостное отношеніе къ жизни, умѣнье примиряться съ самыми тяжелыми ея ударами. Мы называемъ оптимизмъ Каролины не свойствомъ, не міросозерцаніемъ, а „примѣтой", потому что онъ не вытекаетъ самъ собою изъ ея натуры, изъ ея прошлаго, изъ ея убѣжденій. Онъ просто *данъ* ей авторомъ, который съ такимъ же точно правомъ, ничего другого въ ней не измѣняя, могъ бы сдѣлать ее самой мрачной пессимисткой. По временамъ Зола сбивается съ произвольно намѣченнаго пути и говоритъ о „безграничной печали", которой предается Каролина; но нѣсколькими страницами дальше мы слышимъ отъ самой Каролины, что она не умѣетъ быть печальной. „Жизнь,—восклицаетъ она,—отвратительна или гнусна; но это не мѣшаетъ мнѣ любить ее. За что? Не знаю. Кругомъ меня все рушится, но я весела и полна довѣрія среди развалинъ". Она сравниваетъ себя... съ человѣческимъ родомъ (excusez du peu!), который страшно бѣдствуетъ, но молодѣетъ и крѣпнетъ вмѣстѣ съ каждымъ молодымъ поколѣніемъ. Весьма можетъ быть, что радостное настроеніе Каролины, наполняющее послѣднія страницы романа, имѣетъ, въ глазахъ Зола, символическій и вмѣстѣ съ тѣмъ поучительный смыслъ: *символическій*—потому что оно олицетворяетъ собою вѣчно возрождающіяся надежды человѣчества, *поучительный*—потому что оно подаетъ примѣръ бодраго отношенія къ жизни. Признавать жизнь „отвратительною" (abominable) и все-таки наслаждаться ею—это оптимизмъ „совсѣмъ особеннаго свойства", мало правдоподобный и во всякомъ случаѣ мало привлекательный. Не такова была „радость жизни" въ романѣ того же имени (la joie de vivre)—да и героиня романа, Полина Кеню, имѣла мало общаго съ героиней „Денегъ". Самъ авторъ, повидимому, одинаково симпатизируетъ имъ обѣимъ, но съ нимъ едва ли согласится масса читателей. Полина—сильная, свѣжая, энергическая дѣвушка, находящая счастье въ самоотверженіи, все отдающая другимъ и ни о чемъ не жалѣющая, никогда не жалующаяся на „гнусность" жизни; а что такое Каролина? Въ дѣлахъ Всемірнаго банка она принимаетъ такое же участіе, какъ и ея братъ, только, въ сущности, болѣе активное; за исключеніемъ техническихъ вопросовъ, иниціатива семейныхъ рѣшеній принадлежитъ постоянно Каролинѣ, а не Амлену (dans leur ménage, elle était un peu l'homme). На нее, слѣдовательно, упадаетъ главная доля отвѣтственности за потворство Саккару, за безмолвное пользованіе его шашнями,

за тайную продажу акцій. Связь Каролины съ Саккаромъ не оправдываетъ ихъ сообщничества—не оправдываетъ его уже потому, что между ними не было и не могло быть настоящей любви. Начало связи остается загадочнымъ, невѣроятнымъ [1]); возобновленіе и продолженіе ея идетъ рядомъ съ раскрытіемъ обстоятельствъ, все меньше и меньше оставляющихъ мѣста для уваженія къ Саккару. Когда происходитъ катастрофа, которую Каролина давно могла и должна была предвидѣть, она отворачивается отъ Саккара и соглашается навѣстить его въ тюрьмѣ только много мѣсяцевъ спустя, вслѣдствіе увѣщаній Амлена. Прибавимъ къ этому, что Зола выставляетъ Каролину женщиной литературно образованной и даже ученой, но разочаровавшейся въ знаніи (слѣдовъ котораго въ ней, впрочемъ, незамѣтно)—и намъ не трудно будетъ понять, почему напрасны всѣ усилія Зола возбудить интересъ и сочувствіе къ Каролинѣ. Любопытно, въ этихъ усиліяхъ, только одно: отраженный свѣтъ, который они бросаютъ на личные взгляды автора. „Эрудиція Каролины,—читаемъ мы на стр. 175,—была слишкомъ обширна; она потеряла много времени на попытки узнать міръ и составить себѣ понятіе о различныхъ философскихъ доктринахъ. Въ концѣ концовъ, у нея осталось большое презрѣніе къ этимъ психологическимъ упражненіямъ, замѣняющимъ, въ жизни современныхъ женщинъ, музыку и вышиванье и *чаще развращающимъ, чѣмъ исправляющимъ* (!). Слишкомъ тонкій анализъ казался ей забавой праздныхъ дамъ, маскирующихъ мнимой душевной наукой плотскіе аппетиты, общіе герцогинѣ и служанкѣ“. Болѣе чѣмъ вѣроятно, что отъ имени своей героини говоритъ здѣсь самъ Зола.

Не меньше, чѣмъ Амленъ и Каролина, близокъ авторскому сердцу и „первый сюжетъ“ романа—Саккаръ. Зола смотритъ на него, очевидно, глазами Каролины, для которой Саккаръ—олицетвореніе силы, жизни и энергіи (elle le regardait, et, dans son amour de la vie, de tout ce qui était fort et actif, elle finissait par le trouver beau, séduisant de verve et de foi). Даже Максимъ, холодный, разсудительный и меньше всего расположенный къ иллюзіямъ насчетъ отца, изображаетъ его въ своемъ родѣ поэтичнымъ и великимъ—колоссальнымъ безумцемъ и колоссальнымъ мерзавцемъ (homme inconscient et supérieur, il est vraiment le poète du million, tellement l'argent le rend fou et canaille, oh! canaille dans le très grand!). Никогда онъ не является столь сильнымъ и спокой-

[1]) Каролина отдается Саккару какъ разъ въ ту минуту, когда она узнаетъ, что для нея навсегда потерянъ человѣкъ, много лѣтъ сряду ею любимый.

нымъ, какъ послѣ катастрофы; его жертвы сохраняютъ къ нему полнѣйшее довѣріе, хотя и считаютъ его воромъ (qu'il fût libre de les voler encore — et il débrouillerait tout, il finirait par tous les enrichir, ainsi qu'il l'avait juré). Заключенный въ тюрьму, онъ продолжаетъ строить новые, грандіозные планы; на судѣ онъ держитъ себя, какъ герой; осужденный и вынужденный бѣжать за границу, онъ тотчасъ же организуетъ громадное дѣло осушенія голландскихъ болотъ. Поэзія денегъ, какъ могучаго орудія прогресса, понятна ему въ теоріи и знакома на практикѣ; онъ увлекается ею самъ и увлекаетъ другихъ. Такимъ видитъ Саккара Зола, но такимъ ли онъ представляется читателямъ?.. Прежде всего здѣсь возникаетъ вопросъ, вѣренъ ли Саккаръ „Денегъ" съ Саккаромъ „Добычи" (la Curée)? Критикъ, на котораго мы уже ссылались—Ог. Филонъ—отвѣчаетъ на этотъ вопросъ отрицательно, и такой отвѣтъ кажется намъ совершенно вѣрнымъ. Въ прежнемъ Саккарѣ, шепчущемся о новомъ бракѣ у постели умирающей жены, продающемъ свое имя, продающемъ свою честь, примиряющемся, за приличное вознагражденіе, съ кровосмѣсительною связью Рене и Максима, не было ничего кромѣ грязи; задатковъ „величія", хотя бы смѣшаннаго съ „канальствомъ", не нашелъ бы въ немъ самый внимательный и благодушный наблюдатель. Откуда они взялись въ новомъ Саккарѣ—это тайна автора. Существуютъ ли они, впрочемъ, на самомъ дѣлѣ, или сводятся только къ словамъ, на которыя такъ щедръ герой „Денегъ" и которымъ такъ подобострастно внимаютъ Амленъ и Каролина? Не заключается ли вся „грандіозность" Саккара въ умѣньѣ пользоваться чужимъ легковѣріемъ и чужими слабостями? Что такое его Всемірный банкъ, какъ не колоссальный обманъ—колоссальный по цифрѣ, но вовсе не по замыслу? Развѣ Саккаръ когда-нибудь серьезно думалъ объ услугахъ, которыя окажетъ его банкъ населенію Сиріи и Малой Азіи? Развѣ милліоны, стекавшіеся въ кассахъ банка, были для него чѣмъ-либо инымъ, кромѣ средства достигнуть наслажденій, почета и вліянія? О чемъ онъ мечталъ въ то время, когда фортуна Всемірнаго банка дошла до своего апогея? О томъ, какъ бы расширить его реальную сферу дѣйствій, увеличить размѣръ и число его полезныхъ операцій? Нѣтъ: исключительно о томъ, какъ бы поднять курсъ акцій до невозможной, гибельной вышины и окружить себя, хотя на время, всѣмъ тѣмъ, что̀ можно купить за деньги. Насытивъ вполнѣ, и черезъ край, всѣ свои аппетиты, „онъ желаетъ открыть въ себѣ шестое чувство, чтобы удовлетворить и его", чтобы создать для себя новый видъ наслажденья... Пьедесталъ крупнаго финансоваго дѣятеля,

приготовленный авторомъ для Саккара, оказывается для него слишкомъ высокимъ; созидающая и разрушающая сила денегъ не можетъ найти олицетвореніе въ такомъ пигмеѣ.

А между тѣмъ этой силѣ посвящено въ новомъ романѣ Зола много страницъ, составляющихъ его главную внутреннюю основу. Еслибы исполненіе, въ данномъ случаѣ, соотвѣтствовало замыслу, разсужденія о деньгахъ являлись бы составною частью характеристики Саккара и были бы связаны, этимъ путемъ, съ дѣйствіемъ романа; теперь они не могутъ быть названы не чѣмъ инымъ, какъ внѣшнею къ нему приставкой. Зола-практикъ окончательно забылъ завѣты Зола-критика и теоретика. „Реальный романистъ никогда не выступаетъ впередъ съ своимъ мнѣніемъ. Онъ долженъ держаться фактовъ, хранить про себя свое волненіе и просто излагать то, что видѣлъ“. Таковы законы, начертанные Зола лѣтъ двѣнадцать тому назадъ — законы, столь явно нарушаемые теперь самимъ законодателемъ. Изложеніе, въ „Деньгахъ“, многократно прерывается диссертаціями—и чѣмъ меньше эти диссертаціи гармонируютъ съ характеромъ лицъ, ихъ произносящихъ, тѣмъ ярче обнаруживается ихъ принадлежность самому Зола. Чтобы лучше выразить свою мысль, авторъ устроиваетъ нѣчто въ родѣ адвокатскихъ турнировъ. Рѣзкая выходка противъ денегъ смѣняется пламенной ихъ защитой; иногда обвинителемъ и защитникомъ является одно и то же лицо. „О, деньги,—думаетъ Каролина на стр. 239,—деньги все отравляющія, всюду вносящія гниль, изсушающія душу, изгоняющія изъ нея доброту, нѣжность, любовь къ ближнему! Деньги, однѣ деньги—вотъ великій преступникъ, виновникъ всего жестокаго и грязнаго“. Черезъ нѣсколько часовъ (стр. 245) Каролина внезапно приходитъ къ убѣжденію, что деньги—„это навозъ, способствующій росту человѣчества. Безъ спекуляціи не было бы плодотворныхъ предпріятій, точно также какъ безъ сладострастія не было бы дѣтей (эта послѣдняя мысль уже раньше подробно была развита Саккаромъ, на стр. 143). Чтобы жизнь могла продолжаться, нужна гибель множества жизней. Денежнымъ дождемъ, заражающимъ Парижъ, оплодотворяется дальній востокъ. Отравитель и разрушитель становится двигателемъ развитія, орудіемъ сближенія между народами. Каролина только-что проклинала деньги: теперь онѣ внушали ей удивленіе, смѣшанное со страхомъ. Не онѣ ли, и только онѣ, сдвигаютъ горы, осушаютъ заливы, облегчаютъ человѣческій трудъ, обращая его въ простого руководителя машинъ? Онѣ причиняютъ все зло, но отъ нихъ исходитъ и все благо“. То же самое, почти буквально, повторяется еще разъ

(опять-таки отъ лица Каролины) на послѣдней страницѣ романа. Мы слышимъ еще разъ хвалебный гимнъ деньгамъ, конечно, не какъ высшей цѣли человѣческихъ усилій (не даромъ же, нѣсколькими страницами раньше, помѣщенъ смертный приговоръ, произносимый умирающимъ Сигизмундомъ надъ спекуляціей и деньгами), но какъ могучему орудію въ стремленіи къ этой цѣли: „Къ чему,— таковы заключительныя слова романа,—къ чему взваливать на деньги отвѣтственность за всѣ мерзости и преступленія, ими вызываемыя? Развѣ меньше запятнана любовь, которою создается жизнь?“ Не ясно ли, что это—profession de foi самого Зола, не столько вытекающая изъ романа, сколько обусловливающая и предрѣшающая все его содержаніе? Не ясно ли, что Зола сначала составилъ себѣ представленіе о деньгахъ, а потомъ написалъ книгу, иллюстрирующую это представленіе? Разбирать его по существу, опредѣлять его цѣнность мы не станемъ; это не входитъ въ предѣлы нашей задачи. Замѣтимъ только, что параллель между деньгами и любовью, заканчивающая романъ, возможна только вслѣдствіе неопредѣленности слова: *любовь*. Въ высшемъ своемъ значеніи любовь, очевидно, вовсе не подходитъ подъ формулу Зола. Въ какомъ бы смыслѣ, впрочемъ, ни говорилось о любви, она отличается отъ денегъ однимъ, въ высшей степени важнымъ, признакомъ: она всегда была, съ тѣхъ поръ какъ существуютъ люди, и всегда будетъ, пока они существуютъ—а о деньгахъ нельзя сказать ни того, ни другого.

„Деньги“, какъ и предшествующіе семнадцать романовъ Зола, входятъ въ составъ „естественной и соціальной исторіи одного семейства“. Соединительною нитью „естественной исторіи“ служитъ, какъ извѣстно, наслѣдственность, предрѣшающая, въ большей или меньшей степени, судьбу каждаго изъ Ругонъ-Маккаровъ. Въ эту область „Деньги“ вносятъ мало новаго. Съ Саккаромъ, какъ представителемъ одной черты семейнаго темперамента, насъ уже достаточно ознакомила вторая часть ругонъ-маккаровскаго цикла („La Curée“); то же самое слѣдуетъ сказать и о старшемъ сынѣ Саккара, Максимѣ. Жертвою наслѣдственности является младшій, незаконнорожденный сынъ его, Викторъ; но онъ не нарисованъ, а намалеванъ. Автору, очевидно, пришло на мысль, что нельзя же выпустить въ свѣтъ цѣлый отдѣлъ изслѣдованія о наслѣдственности, вовсе не коснувшись преемственной передачи недуговъ и пороковъ. И вотъ, онъ спѣшитъ присоединить къ длинной категоріи дѣйствующихъ лицъ еще одно, вовсе не нужное для романа. Онъ сколачиваетъ его, второпяхъ, нѣсколькими небрежными ударами и, какъ бы опасаясь недогадливости читателей, под-

черкиваетъ свое намѣреніе, прибавляя къ портрету пояснительныя надписи. Рожденный отъ изнасилованія, Викторъ самъ начинаетъ свое поприще изнасилованіемъ. У матери его Саккаръ вывихнулъ плечо—у Виктора какъ бы придавлена одна половина лица и головы. „Чудовище вырвалось на волю, какъ звѣрь, съ пѣною у рта, пропитанною *наслѣдственнымъ ядомъ*" (ainsi qu'une bête écumante du virus héréditaire). Въ этихъ словахъ авторъ прощается съ Викторомъ, съ которымъ мы, можетъ быть, встрѣтимся еще разъ, въ другомъ романѣ, но къ характеристикѣ котораго ничего существеннаго нельзя уже прибавить. Это—до крайности упрощенный экземпляръ „человѣка-звѣря", сразу заявляющій себя такимъ, какимъ его сдѣлалъ самый моментъ зачатія.

„Соціальная исторія" Ругонъ-Маккаровъ, по мысли Зола, должна была служить отраженіемъ „эпохи безумія и позора", т.-е. второй имперіи. Въ этотъ двадцатилѣтній промежутокъ времени втискивается, иногда не безъ натяжки, все содержаніе ругонъ-маккаровскихъ романовъ. Неоднократно уже было замѣчено, что отсюда проистекаетъ одно серьезное неудобство. По мѣрѣ того, какъ пятидесятые и шестидесятые годы все дальше и дальше уходятъ въ прошедшее, автору становится все труднѣе и труднѣе руководствоваться *наблюденіемъ*, т.-е. именно тѣмъ, что̀ должно составлять главную основу реалистическаго романа. Онъ по-неволѣ довольствуется воспоминаніями, своими или чужими, или переноситъ на много лѣтъ назадъ кое-что изъ подмѣченнаго имъ сравнительно недавно. Исторія „Всемірнаго банка" — это, говорятъ, точная копія съ исторіи „Всеобщаго союза" (Union générale), разыгравшейся въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ, десять лѣтъ спустя послѣ паденія имперіи. Анахронизмъ всегда влечетъ за собою нарушеніе вѣроятности и правды. И дѣйствительно, въ половинѣ шестидесятыхъ годовъ едва ли возможно было финансовое предпріятіе, разсчитанное, между прочимъ, на поддержку католиковъ и католической церкви. По справедливому замѣчанію Филона, „католицизмъ, еще не гальванизированный преслѣдованіемъ, былъ тѣмъ болѣе безсиленъ, чѣмъ больше пользовался покровительствомъ власти". Еще менѣе правдоподобными являются, въ эпоху французскаго протектората надъ папскими владѣніями, мечты (Амлена) о переселеніи папы изъ Рима въ Іерусалимъ. Конечно, быстрое возвышеніе и еще болѣе быстрое паденіе колоссальнаго финансоваго предпріятія было возможно и во времена второй имперіи; но исторія саккаровскаго банка не запечатлѣна такими признаками, которые прямо и несомнѣнно пріурочивали бы ее къ „эпохѣ безумія и позора". Особенностью

этой эпохи была, напримѣръ, тѣсная дружба биржевиковъ съ государственными людьми—дружба, часто обращавшаяся въ сообщничество. Въ „Деньгахъ“, наоборотъ, Саккаръ не только не ищетъ поддержки могущественнаго брата (Эжена Ругона), но ссорится съ нимъ, идетъ въ разрѣзъ съ его политикой и оставляется имъ на произволъ судьбы. Фактотумъ Ругона, Гюре, служитъ Саккару на собственный страхъ, даже безъ вѣдома своего патрона. Изъ числа членовъ совѣта Всемірнаго банка близко къ правительственнымъ сферамъ, и то не очень, стоитъ одинъ Дегремонъ. Все это, вмѣстѣ взятое, несомнѣнно уменьшаетъ значеніе „Денегъ“, какъ эпизода изъ „соціальной исторіи одной семьи во время второй имперіи“.

Двумя недостатками, часто встрѣчающимися въ другихъ романахъ Зола, „Деньги“ страдаютъ только въ слабой степени. „Протоколовъ“ въ нихъ немного; описанія тѣсно связаны съ ходомъ дѣйствія и свободны отъ излишней растянутости. Немного, также, и деталей, безъ надобности циничныхъ; бо́льшей сдержанности можно было бы пожелать развѣ въ изображеніи обстановки, среди которой Каролина находитъ Виктора, и въ сценѣ между Делькамбромъ, Саккаромъ и баронессой Зандорфъ. Съ выгодой для романа можно было бы выпустить многократные намеки на причину успѣховъ Сабатани и дважды повторенныя указанія на особый способъ распространенія объявленій, будто бы изобрѣтенный Жантру (стр. 199 и 277). Больше чѣмъ когда-либо, зато, въ „Деньгахъ“ замѣтна погоня за эффектами, столь мало гармонирующая съ теоріями Зола, но столь излюбленная имъ на самомъ дѣлѣ. Мы говорили уже объ эффектахъ, достигаемыхъ путемъ контрастовъ между лицами; съ тою же цѣлью создаются контрасты между положеніями. Въ домашнюю обстановку Мазо (биржевого маклера) авторъ вводитъ насъ, напримѣръ, два раза: въ первый разъ—когда она блеститъ розовымъ свѣтомъ мира, веселья, довольства, во второй разъ—когда къ траурному покрывалу, наброшенному на нее катастрофой Всемірнаго банка, присоединяются потоки крови. Семейное счастье Мазо было показано намъ, очевидно, только для того, чтобы сильнѣе поразить насъ зрѣлищемъ семейнаго горя (Мазо лишаетъ себя жизни, почти на глазахъ у Каролины). Когда Каролина привозитъ Виктора въ пріютъ, учрежденный принцессой Орвіедо и состоящій въ завѣдываніи Саккара, мать одной изъ дѣвочекъ, призрѣваемыхъ въ пріютѣ, учитъ ее молиться за Саккара: mon Dieu, faites que monsieur Saccard soit récompensé de sa bonté, qu'il ait de longs jours et qu'il soit heureux. Эту молитву дѣвочка повторяетъ, обучая ей

своихъ подругъ, какъ разъ въ то время, когда Каролина посѣщаетъ пріютъ впервые послѣ крушенія Всемірнаго банка и послѣ преступленія, совершоннаго Викторомъ. Какъ! невинныя дѣти молятся за Саккара, за виновника стольких бѣдствій! Таково первое впечатлѣніе Каролины—но вслѣдъ затѣмъ ей приходитъ на мысль, что нѣтъ человѣка безусловно дурного, что рука объ руку съ зломъ всегда идетъ добро. Къ контрасту присоединяется здѣсь, такимъ образомъ, прямое поученіе, и доктринеръ объективизма обращается, не въ первый и не въ послѣдній разъ, въ проповѣдника и моралиста. Жаль только, что такъ рѣзко бросаются въ глаза тѣ „ficelles", съ помощью которыхъ получается желанный поводъ къ проповѣди... Иногда, ради эффекта, приносится въ жертву вѣроятность. Передъ началомъ биржевого собранія, рѣшающаго судьбу Всемірнаго банка, Саккаръ, желая скрыть свое волненіе, жалуется окружающимъ на постигшую его потерю: у него погибла прекрасная камелія, забытая, въ холодный день, на дворѣ и не перенесшая непогоды. Это прекрасно; но когда Саккаръ, выходя изъ биржевой залы послѣ проигранной битвы, буквально повторяетъ ту же самую фразу, съ цѣлью показаться спокойнымъ и равнодушнымъ, реализмъ уступаетъ мѣсто неудачному стремленію къ „симметріи". Саккаръ былъ слишкомъ хорошимъ актеромъ, чтобы прибѣгнуть два раза, при совершенно различныхъ условіяхъ, къ одной и той же уловкѣ. Въ его спокойствіе *до кризиса* могли повѣрить, и это было для него очень важно; *послѣ кризиса* такая вѣра была невозможна, да и не нужна для самого Саккара.

И какъ отдѣльное цѣлое, и какъ часть ругонъ-маккаровской эпопеи, „Деньги" принадлежатъ, въ нашихъ глазахъ, къ числу слабѣйшихъ произведеній Зола. Конечно, и здѣсь встрѣчаются страницы, блещущія талантомъ—но если ихъ соединить въ одно цѣлое, то составился бы не романъ, а скорѣе этюдъ о биржевой игрѣ, яркій, оживленный, богатый красивыми иллюстраціями. Недоставало бы этому этюду только одного: комментаріевъ по адресу читателей, мало знакомыхъ съ биржевымъ языкомъ и биржевыми обычаями. Описанія биржевыхъ сраженій читаются съ большимъ удовольствіемъ—но чтобы оцѣнить ихъ вполнѣ, нужно быть посвященнымъ въ таинства биржи... Если смотрѣть на „Деньги" какъ на экскурсію въ область экономической науки и финансовой практики, то весьма интереснымъ является отношеніе Зола къ евреямъ и еврейству. Саккаръ—ожесточенный врагъ евреевъ; онъ говоритъ о нихъ не иначе, какъ съ присоединеніемъ бранныхъ эпитетовъ, произноситъ противъ нихъ цѣлые обвинительные

акты, порицаетъ ихъ религію, проклинаетъ ихъ расу, желаетъ стереть ихъ съ лица земли. Въ устахъ биржевика шестидесятыхъ годовъ столь пламенныя рѣчи звучатъ анахронизмомъ; французскій антисемитизмъ—явленіе весьма недавняго происхожденія. Это, впрочемъ, неважно; для насъ любопытны не мнѣнія Саккара, а взгляды самого Зола. Раздѣляетъ ли послѣдній чувства, высказываемыя первымъ? Мы думаемъ, что нѣтъ. Замѣтимъ, прежде всего, что Саккаръ негодуетъ на евреевъ въ особенности за ихъ удачу, за ихъ ловкость, за покровительство, которымъ они пользуются со стороны имперіи (стр. 92—3, 98, 197, 307, 430). Онъ имъ удивляется, онъ имъ завидуетъ; онъ видитъ воплощеніе ихъ въ Гюндерманнѣ, этой несокрушимой силѣ, этомъ главномъ и опаснѣйшемъ противникѣ Всемірнаго банка. Зола подчеркиваетъ, дальше, внутреннее противорѣчіе, въ которое впадаетъ Саккаръ, ненавидя въ евреяхъ свои собственныя отличительныя черты, свои собственные пороки (стр. 92). Когда Саккаръ, послѣ тщетной попытки сойтись съ Гюндерманномъ, ѣдетъ къ Дегремону, ему приходитъ въ голову, что „этотъ христіанинъ стоитъ двухъ жидовъ" (стр. 100). Всего яснѣе собственная мысль Зола выразилась въ томъ мѣстѣ, гдѣ Каролина, выслушавъ одну изъ анти-еврейскихъ выходокъ Саккара, отвѣчаетъ ему, съ свойственною ей „универсальною терпимостью", основанною на широкомъ знаніи": „по-моему, евреи—такіе же люди, какъ и всѣ. *Если они держатся вдали отъ другихъ, то исключительно потому, что другіе ихъ отъ себя отдалили*"... Нашимъ доморощеннымъ юдофобамъ едва ли удастся доказать, что авторъ „Денегъ"— ихъ единомышленникъ и союзникъ.

Издатель сочиненій Зола—или самъ Зола—постоянно напоминаетъ публикѣ о громадномъ ихъ распространеніи. Каждый вновь выходящій ихъ экземпляръ содержитъ точныя свѣденія о томъ, какъ идетъ распродажа каждаго отдѣльнаго романа (ругонъ-маккаровскаго цикла; сбытъ остальныхъ, очевидно, не такъ хорошъ, и по отношенію къ нимъ точность оказывается нежелательной; противъ ихъ заглавій стоитъ только стереотипная отмѣтка: nouvelle édition). „Деньги" напечатаны сразу въ количествѣ пятидесяти пяти тысячъ экземпляровъ! Наибольшимъ успѣхомъ по прежнему пользуется „Nana" (160 тысячъ экземпляровъ). Затѣмъ идутъ „Assommoir" (117 тысячъ), „Terre" (94 тысячи), „Bête humaine" и „Germinal" (по 83 тысячи), „Rêve" (77 тысячъ), „Pot-Bouille" (75 тысячъ), „Page d'amour" (70 тысячъ), „Bonheur des dames" (59 тысячъ), „Oeuvre" (50 тысячъ), „Joie de

vivre“ и „Faute de l'abbé Mouret“ (по 44 тысячи), „Curée“ (33 тысячи), „Ventre de Paris“ (30 тысячъ), „Fortune des Rougon“ и „Conquête de Plassans“ (по 22 тысячи), „Son Excellence Eugène Rougon“ (21 тысяча). Намъ кажется, что этими цифрами Зола и его поклонники отнюдь гордиться не могутъ. Онѣ показываютъ, прежде всего, случайность успѣха, выпавшаго на долю „Assommoir“ и проложившаго путь для дальнѣйшихъ побѣдъ Зола. Еслибы вниманіе читателей было привлечено къ самому замыслу ругонъ-маккаровской эпопеи, еслибы они заинтересовались ею, какъ цѣлымъ, это повело бы неизбѣжно къ быстрому увеличенію запроса на всѣ ея части, вышедшія до „Assommoir“, и къ болѣе или менѣе равномѣрному распространенію всѣхъ послѣдующихъ. На самомъ дѣлѣ мы видимъ совсѣмъ не то. Коллоссальныхъ цифръ достигла только распродажа романовъ, поражающихъ смѣлостью сюжета или цинизмомъ деталей (Nana, Terre, Bête humaine). Чѣмъ больше возмущалось меньшинство, чѣмъ рѣзче были приговоры критиковъ (въ томъ числѣ и критиковъ далеко не консервативныхъ; стоитъ только назвать, для примѣра, Жюля Леметра и Анатоля Франса), тѣмъ сильнѣе разыгрывались аппетиты массы—и она жадно набрасывалась на плодъ если и не запрещенный, то осужденный. Посредственный, но пикантный „Домашній очагъ“ (Pot-Bouille) оказался далеко впереди скромнаго „Дамскаго Базара“; „Страница любви“ еще больше опередила „Радость жизни“. Правда, большого распространенія достигъ и сравнительно-невинный „Rêve“ —но это былъ такъ-называемый succès de curiosité; всякому было интересно увидѣть Зола въ новой для него роли цѣломудреннаго поэта. Популярность „Жерминаля“ обусловливается, по всей вѣроятности, не лучшими, а худшими его сторонами. Всего знаменательнѣе относительная неудача первыхъ шести романовъ. Торжество „Assommoir“ и „Nana“ отразилось, и то довольно слабо, только на распродажѣ „Curée“, „Ventre de Paris“ и „Faute de l'abbé Mouret“; три остальные не пошли дальше 21 - 22 тысячъ—а между тѣмъ именно они знаменуютъ собою кульминаціонный пунктъ дарованія Зола. Наиболѣе живучимъ изъ всѣхъ ругонъ-маккаровскихъ романовъ окажется, быть можетъ, самый ранній („La Fortune des Rougon“). Конечно, мы не выдаемъ нашего мнѣнія за абсолютно-вѣрное—но между внимательными читателями Зола едва ли найдется много такихъ, которые бы забыли „желтый салонъ“ Ругоновъ, ночное шествіе въ долинѣ Віорны, трусливые подвиги плассанскихъ реакціонеровъ, торже-

ство Фелиситé и смерть Сильвера [1]). Масштабъ, по которому „Nana“ оказывается въ восемь разъ цѣннѣе „Fortune des Rougon“, не требуетъ дальнѣйшихъ опроверженій; онъ падаетъ самъ собою—а вмѣстѣ съ нимъ рушится и одна изъ подпорокъ, на которыхъ держится репутація Зола. Конечно—только *одна изъ подпорокъ*. Дарованіе Зола стоитъ внѣ всякаго спора; мы возражаемъ лишь противъ преувеличенной и невѣрной его оцѣнки.

Предпріятіе, задуманное Зола въ молодости и наполнившее собою слишкомъ двадцать лѣтъ его зрѣлаго возраста, приближается къ концу. Чтобы дойти до заранѣе назначенной предѣльной цифры—*двадцати*, Зола остается еще написать только два романа. Одинъ изъ нихъ будетъ посвященъ *войнѣ* (1870 года); другой, заключительный, будетъ какъ бы выводомъ изъ всѣхъ остальныхъ. Подводить итоги будетъ — если Зола не измѣнилъ своего первоначальнаго намѣренія—Паскаль Ругонъ, сынъ Пьера и Фелиситé, братъ Эжена и Аристида (Саккара), извѣстный намъ, отчасти, изъ „Fortune des Rougon“ и „Faute de l'abbé Mouret“. Поднимется ли здѣсь Зола на прежнюю высоту—это мы скоро увидимъ; но еслибы это ему и не удалось, ругонъ-маккаровская эпопея все-таки займетъ одно изъ выдающихся мѣстъ въ общеевропейской литературѣ XIX-го вѣка.

К. Арсеньевъ.

---

[1]) Припомнимъ, что популярность Зола въ Россіи, предшествовавшая популярности его во Франціи, была создана именно первыми частями „Ругонъ-Маккаровъ“.

СРЕДИ МОЛДАВАНЪ

Изъ путевыхъ замѣтокъ.

... Постранствовавъ по различнымъ мѣстамъ нашего отечества съ цѣлью приглядываться къ общественному крестьянскому хозяйству, забрался я разъ, лѣтнею порою, въ Бессарабію, гдѣ и проѣздилъ нѣсколько дней. Страна эта представляла для меня нѣсколько особый интересъ. Мужикъ здѣсь не русскій и совершенно чуждый не только русскому, но и вообще славянскому племени. И языкъ, и характеръ, и обычай, и бытъ, и хозяйство у него особые; да и условія, его окружающія, своеобразны. Русскій мужикъ живетъ среди русскихъ; около него и помѣщикъ, и купецъ, и мѣщанинъ—все русскіе. Возлѣ великорусса—великоруссъ, возлѣ хохла—хохлы. А молдаванъ окружаютъ, кромѣ молдавскихъ помѣщиковъ—греки, армяне и евреи, въ разныя времена поприобрѣтавшіе здѣсь имѣнія. Стало быть, тутъ смѣсь племенъ и нарѣчій. Къ тому же, въ прежнее время мало приходилось мнѣ встрѣчаться съ молдаванами, а дѣлать обобщенія на основаніи случайныхъ встрѣчъ и отрывочныхъ наблюденій—рискованно, тѣмъ болѣе, что опытъ не разъ показывалъ, какъ невѣрны бываютъ выводы и изъ личныхъ отзывовъ, хотя бы они встрѣчались и часто. Слыхалъ я, что молдаване народъ лѣнивый, но какого же мужика не обвиняютъ въ лѣности? Послушайте хозяина или приказчика—и всѣ окажутся лѣнтяями: и хохолъ, и великоруссъ, и татаринъ и т. д. Говорили еще, что молдаванъ легко подвергается всякому надувательству, благодаря своей неповоротливости, тугости соображенія и ловкости разноплеменныхъ сосѣдей. Но въ какой степени это вѣрно—могли бы отвѣтить болѣе продолжительныя мѣстныя наблюденія.

Словомъ, вопросовъ о молдаванѣ у меня накопилось много, и любопытно было разъяснить ихъ,—только въ короткій періодъ соприкосновенія съ нимъ нельзя было надѣяться на сколько-нибудь полное разъясненіе. Но нечего дѣлать. Интересно и то, что̀ удалось замѣтить. Интересна даже внѣшность. Другая моя бѣда — незнаніе языка. Рѣдкій молдаванъ говоритъ по-русски, а начнешь съ нимъ объясняться по своему,—онъ только равнодушно отвѣтитъ: „нушти!"—и баста. Необходимъ, значитъ, переводчикъ; впрочемъ, судьба послала мнѣ хорошаго переводчика: спутникъ, съ которымъ приходилось мнѣ совершать объѣзды—мѣстный хозяинъ и хорошо знаетъ свою страну.

Да и какова сама эта страна? Приходилось о ней слышать, какъ о кипящей виномъ и млекомъ,—виномъ потому, что есть масса виноградниковъ, не только у помѣщиковъ, но даже и у мужика, который тоже занимается винодѣліемъ; а молокомъ—потому, что Бессарабія издавна слыла обильною скотомъ; тамъ, говорили, чуть не купаются въ молокѣ, а творогу производятся массы. Молоко даютъ не только коровы, но и овцы, и овечье молоко служитъ матеріаломъ для особой отрасли промысла: изъ этого молока дѣлаютъ особенный сыръ, называемый „бринзою", который не только идетъ на домашнее потребленіе, но и составляетъ предметъ торговли. Даже и гербъ Бессарабіи скотоводный—бычачья голова. А главная особенность хозяйства—замѣна хлѣба „мамалыгою", дѣлаемою изъ кукурузной муки. Мамалыга бываетъ различная, смотря по достатку хозяина. Одинъ ѣстъ ее съ разными приспособленіями, сдобитъ ее и сметаною, и яйцами, а простой рабочій—вскипятилъ въ котелкѣ воду, всыпалъ туда кукурузной муки, потомъ опрокинулъ котелъ, вывалилъ сварившуюся массу тѣста, принявшую форму отъ внутренней поверхности котла, и—ежедневная неизмѣнная пища готова. Здорово или нездорово такъ питаться—не знаю, но этотъ способъ питанія тянется вѣка. Таковы были мои предварительныя свѣденія.

И вотъ, въ одинъ жаркій-прежаркій день въѣхалъ я въ Бессарабію по желѣзной дорогѣ. Первыя впечатлѣнія были мало благопріятны: жара страшная, вагонъ полонъ, а поѣздъ идетъ такъ медленно, какъ нигдѣ,—кажется, верстъ по 17 въ часъ. „Ну, здѣсь всегда ѣдешь, какъ будто на волахъ", отзывались мои спутники по вагону... Мѣстность волнистая, даже гористая, но замѣтно маловодье. Самая большая рѣка на пути—Быкъ. Помня изъ старыхъ учебниковъ географіи, что „Кишиневъ лежитъ при рѣкѣ Быкѣ", можно было надѣяться встрѣтить настоящую „рѣку", а между тѣмъ въ самомъ Кишиневѣ это какой-то жалкій, мутный,

грязный, узкій ручей, котораго можно и не замѣтить. Да гдѣ же ваша рѣка Быкъ?—спрашиваю я, проходя по улицамъ.—А вотъ мы ее только-что прошли, вы даже не замѣтили,—отвѣчаютъ мнѣ.

Городъ Кишиневъ великъ, но еще напоминаетъ нѣчто азіатское. Грязи, пыли очень много, хотя и здѣсь недавно принялись за введеніе разныхъ видовъ городского прогресса: мостятъ и перемащиваютъ улицы, завели конку и т. д. Душно, пыльно; если хочешь освѣжиться хотя вечеромъ, ступай куда-нибудь на окраины города, гдѣ есть много садовъ и можно подышать среди фруктовыхъ деревьевъ и виноградниковъ. Иначе же остается одинъ рессурсъ—городской общественный садъ; только и онъ имѣетъ нѣсколько унылый, скучный видъ. По срединѣ сада—большая площадка, въ видѣ круга, обставленная скамейками, но совершенно пустая. Глядя на нее, такъ и чувствуешь, что надо бы здѣсь хоть что-нибудь устроить—фонтанчикъ ли, бюстикъ ли,—однако, ничего, кромѣ круглаго пустыря, не придумали. Соберутся люди, разсядутся по скамейкамъ, поглядятъ въ молчанку на пустырь, потомъ немного походятъ, снова усаживаются на скамьи и опять созерцаютъ тотъ же пустырь. Мало весело. Публика вообще молчаливая. А въ сторонѣ, въ мѣстѣ, заброшенномъ публикою, поставленъ бюстикъ Пушкина съ начертаннымъ внизу стихотвореніемъ, напоминающимъ, какъ приходилось поэту скучать въ Кишиневѣ. И надо полагать, что шестьдесятъ лѣтъ тому назадъ городъ этотъ былъ еще хуже нынѣшняго!

Вокругъ города—разныя селенія, которыхъ названія оканчиваются на „ены", „аны", „ешти" и „уцы". Населяющіе ихъ земледѣльцы носятъ до сихъ поръ разныя сословныя клички—резеши, рупташи, мазылы, царане и т. д. По своду законовъ, рупташи даже дѣлились на двѣ группы: рупта-ди-вистерія и рупта-ди-комара; хотя формально эти клички уже отмѣнены и замѣнены русскимъ словомъ: „поселяне", но въ разговорномъ языкѣ онѣ удержались. Крестьянскаго же имени нѣтъ. Клички сельскихъ группъ объясняютъ такъ: резеши—это значитъ мелкіе собственники, получившіе землю давно, по старому праву; мазылы—это однодворцы, а царане всего больше подходятъ къ нашему понятію о крестьянахъ; они жили въ помѣщичьихъ имѣніяхъ и отбывали повинности по „нормальнымъ" контрактамъ, а двадцать лѣтъ тому назадъ получили надѣлъ. Словомъ, это нѣчто въ родѣ бывшихъ крѣпостныхъ, хотя формально крѣпостное право въ Бессарабіи не признавалось. Въ число сельскихъ обывателей входятъ мѣстами и цыгане—люди до земледѣлія не охочіе и предпочи-

тающіе скитаться, проживая въ шатрахъ и занимаясь кузнечествомъ да разными операціями по лошадиной части.

При выѣздѣ изъ города, сейчасъ же чувствуется крайнее неудобство отъ незнанія языка. Хочешь, напримѣръ, разспросить про дорогу, но ни одинъ прохожій вопросовъ не понимаетъ: въ отвѣтъ получаются или „нушти", или жесты недоумѣнія. Прислушиваюсь, какъ объясняется съ прохожими везущій меня кучеръ, но ничего не могу понять. Чаще другихъ слышалось слово „друми"; послѣ я узналъ, что это слово означаетъ „дорогу". А изъ какого языка попало это слово? Не отзывается ни славянскимъ, ни латинскимъ, ни германскимъ, ни французскимъ.

— Ничего, наслушаетесь больше, станетъ вамъ понятнѣе,— отозвался мой спутникъ:—иныя слова, пожалуй, точно трудно сообразить сразу, зато бóльшая часть сродни или латинскому, или итальянскому. Можно догадаться. А покуда что, оглянитесь направо, налѣво и назадъ,—каковъ видъ!

Видъ дѣйствительно былъ своеобразный и очень красивый, не имѣющій ничего общáго съ нашими русскими равнинами. Мы ѣхали по возвышенности, справа которой былъ крутой склонъ въ глубокую и обширную долину; вдали по долинѣ расположилась деревня, а поближе, тоже внизу, стояла группа цыганскихъ шатровъ, среди которыхъ вился дымъ отъ костровъ. И на деревню, и на шатры, и на всю долину приходилось глядѣть сверху внизъ. А съ другихъ сторонъ—горки и пригорки, покрытые лѣсомъ; но это не нашъ сѣверный ельникъ или березнякъ, а болѣе веселый лѣсъ, состоящій изъ дуба, орѣшника и т. д. Было чѣмъ полюбоваться. Да и деревня здѣсь красива; не видно черной великорусской избы, но и не малорусскія здѣсь хаты; домики маленькіе, бѣленькіе, всѣ на одинъ ладъ, словно изъ одной формы вылитые, и почти при каждомъ домикѣ садикъ.

Проѣхавъ изрядное разстояніе, добрались мы до деревни, куда лежалъ въ этотъ день нашъ путь. Деревня большая и потонувшая въ зелени, такъ что пришлось опять ею любоваться. Представьте себѣ нѣчто въ родѣ котловины, которой дно, склоны и болѣе высокія мѣста покрыты массою садовъ, а изъ этихъ садовъ выглядываютъ чистенькіе бѣленькіе домики. Зелень перемѣшивается съ бѣлизною. Домики по прежнему до-нельзя однообразны,— словно мѣстное творчество способно создавать только одинъ типъ деревенской постройки. Каждый домикъ на фундаментѣ, почему входить въ него надо по ступенькамъ. Крыша—маленькая правильная трапеція; отъ фундамента до крыши идутъ пять или шесть деревянныхъ колонокъ, которыя крышу подпираютъ, а сами

упираются въ фундаментъ. По срединѣ передней стѣны дверь, а по бокамъ послѣдней—или по два окошка, или съ одной стороны два, а съ другой одно. Трубы почти не видно на крышѣ, такъ она низка. Вотъ каковъ бессарабскій домикъ; а каковъ одинъ, таковы и всѣ,—отступленій отъ типа не видно; все это красиво, хотя производитъ впечатлѣніе миніатюрности, такъ что по-неволѣ возникаетъ вопросъ: какъ это взрослые и даже рослые люди мѣстятся въ подобныхъ избушкахъ? Вся же деревня цѣликомъ производитъ впечатлѣніе обширнаго зеленаго моря, въ которомъ однѣ бѣлыя избушки на днѣ, другія выплываютъ со дна повыше, а нѣкоторыя прилипли къ берегамъ. Ѣдешь и все оглядываешься.

— Куда же мы, однако, здѣсь заѣдемъ?—спрашиваю я, когда мы въѣхали въ эти „уцы“, своимъ незвучнымъ для русскаго уха названіемъ совсѣмъ негармонировавшія съ красотою мѣстоположенія.

— А это здѣсь не составляетъ никакого вопроса,—отвѣтилъ мнѣ мой спутникъ и затѣмъ крикнулъ кучеру:—въ „казу-ди-обшти“!

Кучеръ скоро заговорилъ съ какимъ-то прохожимъ на непонятномъ языкѣ, прохожій отвѣчалъ такъ же и при этомъ указалъ рукою въ опредѣленный пунктъ. Ясно, что рѣчь шла объ искомой „казѣ“. Дѣйствительно, мы скоро остановились какъ разъ тамъ, куда указывалъ прохожій.

„Каза-ди-обшти“—своеобразное бессарабское учрежденіе, начало котораго относится къ очень давнимъ временамъ, и конечно, къ эпохѣ турецкаго владычества. Избирается въ каждой деревнѣ домикъ, и общество содержитъ его для пріѣзда и помѣщенія всякаго рода начальства. Если человѣкъ подъѣхалъ къ „казѣ-ди-обшти“, значитъ онъ начальникъ, значитъ надо оказать ему всякое удобство и довольствіе; здѣсь онъ можетъ расположиться, отдыхать, ѣсть, спать, хоть жить. Писарь, землемѣръ, полицейскій, акцизный, заѣзжій чиновникъ—для всѣхъ „каза-ди-обшти“ открываетъ гостепріимныя двери; здѣсь добудутъ вамъ самоваръ, отыщутъ какой-нибудь кормъ, найдутъ вина и т. д. Въ виду такого учрежденія пріѣзжій и не задается вопросомъ о мѣстѣ отдыха или ночлега; всѣмъ ясно, что отвѣтъ тутъ возможенъ одинъ и размышлять нечего. Словомъ, „каза-ди-обшти“ соотвѣтствуетъ понятію „въѣзжей избы“, существующей въ нѣкоторыхъ внутреннихъ губерніяхъ; только въѣзжая изба существуетъ далеко не во всѣхъ селеніяхъ, да притомъ „каза“—и удобнѣе. Курьезно самое названіе этого бессарабскаго учрежденія. „Каза“ взята изъ итальянскаго и означаетъ: домикъ, а „обшти“ очевидно

происходитъ отъ русскаго слова: „общество“, а все вмѣстѣ означаетъ общественный домъ.

Поднявшись по крылечку и войдя въ дверь, мы получили возможность осмотрѣть внутренность общественнаго зданія. Снаружи оно ничѣмъ не отличалось отъ сосѣднихъ домиковъ, а внутренность оправдывала предположеніе о тѣснотѣ. У стѣны—простенькій, но обитый полумягкій диванчикъ, по срединѣ—столикъ, у другихъ стѣнъ—скамейки, въ углу—иконы, по стѣнамъ – картинки; стѣны выбѣлены; въ одномъ изъ угловъ какой-то сундукъ, на которомъ цѣлая груда сложенныхъ ковровъ. Вообще внутренность комнаты производитъ впечатлѣніе опрятности. Здѣсь уже засѣдалъ какой-то землемѣръ, котораго можно было узнать по совокупности его чиновничьяго вида и лежавшихъ около него чертежей и инструментовъ. Изъ этой комнаты черезъ сѣни можно пройти въ другую, еще меньшую: тамъ сидѣла женщина за ткацкимъ станкомъ и ткала полотно. Больше тамъ едва-ли и можно было что-нибудь помѣстить.

Заинтересовались мы коврами; сняли сверху два или три, развернули и принялись разсматривать; ковры большіе, съ разными узорами; работа хотя грубоватая, но все-таки не лишенная красоты и могла бы значительно украсить всякую „казу“.

Скоро вошелъ къ намъ худощавый человѣкъ въ потертомъ черномъ сюртукѣ и отрекомендовался сельскимъ писаремъ.—Вы это коврами изволите интересоваться;—произнесъ онъ:—да, здѣсь много дѣлаютъ ковровъ, у каждой хозяйки найдется по нѣскольку, любятъ ковры; тàкъ уже, знаете, издавна тутъ велось; куда ни зайдите здѣсь,—вездѣ есть ковры, народъ такой.

— И чтò же они дѣлаютъ съ этими коврами? продаютъ, что-ли?

— Какое, совсѣмъ не продаютъ; тутъ нѣтъ такой торговли,—отвѣчалъ писарь, жестикулируя руками:—знаете, просто народъ такой, привычка; и бабушка, и мать дѣлали ковры, ну, и теперешняя молдаванка дѣлаетъ; народъ такой! — и писарь снова махнулъ рукой.

— Такъ что же, украшаютъ комнаты по праздникамъ?

— Гдѣ тамъ, и этого нѣтъ. Просто такъ складываютъ, чтобы больше было. Осталось нѣсколько ковровъ отъ матери, хозяйка еще сама прибавитъ и дочку заставитъ дѣлать. А продавать—рѣдко кто согласится, да и дорого возьмутъ. Такъ, мертвое богатство лежитъ. Просто, знаете, народъ такой здѣсь.

Писарь видимо отличался большимъ зудомъ языка. Хотя изъяснялся скороговоркой, но говорилъ подолгу, словно у него гро-

мадный запасъ рѣчей, которыя надобно спѣшить выложить, и при этомъ такая жестикуляція, что онъ казался не совсѣмъ нормальнымъ человѣкомъ. Однако онъ здѣсь своего рода сила: оффиціальное лицо, да притомъ свободно говорящее по-русски; его устами не разъ приходится изъясняться цѣлому селенію.

Въ это время вошла къ намъ старая молдаванка; сильно заворчала она по своему, увидя развернутые ковры, и стала опять ихъ складывать. Это снова дало толчокъ краснорѣчію писаря.

— Недовольство выражаетъ она,—заговорилъ онъ:—зачѣмъ ковры развернули; а чтѐ имъ сдѣлается? Странный народъ! копятъ мертвое богатство, и не продаютъ, и не пользуются, а все производятъ и умножаютъ—спрашивается: для чего? Давно ужъ я все это вижу и удивляюсь.

— А вы давно здѣсь живете?

— О, уже съ давнихъ поръ. У меня, знаете, своя біографія. Былъ я когда-то учителемъ въ уѣздномъ училищѣ, губернскій секретарь, потомъ служилъ по другой части, а тамъ въ волостные писаря попалъ, да такъ, знаете, со ступеньки на ступеньку, вотъ и дошелъ теперь до сельскаго писаря!—и тутъ послѣдовалъ энергическій взмахъ обѣими руками.

— Да что же это вы такъ устроивали свою карьеру, мѣняли мѣста, да все не вверхъ?

— Это, изволите видѣть, кому какое счастье, а я уже докладывалъ вамъ, что у меня своя біографія. Не могу, конечно, не сознать, что тутъ было и не безъ моей вины: не чуждъ я нѣкоторымъ слабостямъ.

— Ну, при слабостяхъ это понятно.

— Вотъ то-то и есть! такъ и сталъ я теперь сельскій писарь; хорошо еще, что семьи не имѣю, такъ еще кое-какъ проживешь.

— А здѣсь хорошо вамъ живется?

— Могу сказать—ни шатко, ни валко, а жить можно; да что-жъ, грѣхъ сказать, сторона тутъ хорошая, климатъ удобный и ростетъ всякое добро: и виноградъ, и груша, и орѣхи, и черешни, и сливы, и всякіе-всякіе плоды! Вотъ извольте зайти въ который нибудь садъ—увидите, какая благодать. Сиди или лежи и наслаждайся. Право, стѐитъ туда зайти. Только бы цѣнить такое благо,—ну, а здѣшній народъ...

Курьезное дѣло: гдѣ только не слышится жалобъ на „здѣшній народъ"?! Каждому представляется, что его сосѣди—нѣчто исключительное, словно не вся людская масса состоитъ изъ множества „здѣшнихъ".

— Чѣмъ же нехорошъ здѣшній народъ?

— Да такъ, распустился совсѣмъ, безпечный, пьютъ; обрадовались, что свое вино есть!

Между тѣмъ „здѣшній народъ“ началъ уже понемногу набираться возлѣ казы, на завалинкѣ; на обрубкахъ дерева и т. п. сѣдалищахъ размѣщались старики, молодые и разнаго возраста люди. Мнѣ надо было поговорить о хозяйственныхъ дѣлахъ съ нѣсколькими десятками хозяевъ, которые купили землю при помощи крестьянскаго банка. Эта группа людей составляла только частицу большого села въ нѣсколько сотъ дворовъ. Видъ ея не чуждъ былъ разнообразія. Вотъ—сѣдой длиннобородый старикъ; онъ въ бѣлой рубахѣ, бѣлыхъ полотняныхъ широкихъ шараварахъ и съ краснымъ поясомъ, на ногахъ опорки. Другой старикъ носитъ совершенно своеобразный костюмъ: широкое верхнее платье изъ пестрой красноватой матеріи, которое можно бы назвать курткою, еслибы оно не было длиннѣе пояса,—скорѣе оно напоминало женскую кофту; по мѣстному, это платье называется „джубе“, а шаравары его широки и такъ длинны, что волочатся по землѣ. Слѣдующій человѣкъ помоложе, но въ такихъ же длинныхъ штанахъ, а поверхъ рубахи ничего нѣтъ. Нѣкоторые носятъ жилеты, какъ надо полагать, приглядѣвшись къ городскому обычаю.

Всѣ кланяются очень вѣжливо и ожидаютъ вопросовъ, но не такъ легко было съ ними объясняться. Первый вопросъ встрѣченъ общимъ молчаніемъ и недоумѣвающими взглядами, второй —точно такъ же; наконецъ, человѣка два помоложе слегка отозвались. Оказалось, что они одни понимаютъ русскую рѣчь, потому что побывали въ солдатахъ, а прочіе стоятъ молча и совершенно равнодушно, не выражая особаго желанія поскорѣе уразумѣть, въ чемъ дѣло.

— Позвольте, я имъ разъясню,—отозвался губернскій секретарь съ обычною своею жестикуляціею:—это народъ непонятный, имъ надо втолковать.

Пришлось, однако, отклонить услуги этого переводчика, который, очевидно, не могъ стерпѣть безучастной роли и потому порывался скорѣе вмѣшаться въ дѣло. Спутникъ мой спокойно и внятно объяснилъ по-молдавски собравшимся мужикамъ, въ чемъ вопросъ; тѣ отозвались—и начался, наконецъ, обмѣнъ рѣчей. Прислушиваюсь, стараясь понять, но пока разбираю пятое черезъ десятое, и то по догадкѣ и сходству съ латинскими словами. Однако, и латынь иногда сбиваетъ. Слышу, что часто встрѣчается слово „компаратура“, а потомъ оказывается, что оно

означаетъ „покупка". Слово совсѣмъ какъ будто латинское, а смыслъ выходитъ особый.

Хозяйство на купленной землѣ оказалось тоже нѣсколько своеобразное. Земля хотя являлась вся одинаковою, но ее все-таки раздѣлили на три сорта, и каждому дали равномѣрно по куску каждаго сорта въ разныхъ мѣстахъ. Было десятинъ двадцать плохого лѣска и его расчищали подъ пахать. Разспрашиваю о размѣрѣ посѣвовъ каждаго, и возникаетъ недоумѣніе: итогъ посѣвовъ сходится съ полнымъ размѣромъ всей пахати. Какъ же это, спрашиваю,—а гдѣ же у васъ пастбище, толока?

Но-молдаване молчатъ, словно плохо понимаютъ, несмотря на переводъ. Наконецъ, выясняется, что они ничего не отводятъ подъ пастбище.

— Ну, хорошо, если вы теперь засѣяли всю землю, то какъ же будетъ на будущій годъ? Неужели вся земля будетъ отдыхать?

Въ отвѣтъ сначала встрѣчается опять молчаніе. Потомъ объясняютъ, что и на будущій годъ засѣютъ все.

— Когда же у васъ земля отдыхать будетъ?

— Да у нихъ земля совсѣмъ не отдыхаетъ,—вмѣшался писарь:—такой народъ...

— Вы это, вѣрно, предполагаете трехпольную систему?—объясняетъ мнѣ мѣстный хозяинъ:—нѣтъ, здѣсь вы ее не найдете, какъ въ русскихъ губерніяхъ. Тутъ засѣваютъ все, что̀ можно, ничего не оставляютъ подъ толоку; ни на третій, ни на болѣе отдаленный годъ земля не отдыхаетъ,—все подъ кукурузою, часть подъ пшеницею; тѣсно, земли мало и все засѣваютъ.

— И что-жъ, земля не истощается?

— Конечно, это не образцовое хозяйство, да пока ничего, живутъ, привыкли. Земля родитъ.

Вотъ хозяйство! пашутъ изъ году въ годъ, а хлѣбъ все-таки есть. Особенное ли плодородіе тутъ причиною, что земля не выпахалась, или что-нибудь другое, но фактъ на-лицо.

— Ну, пусть земля выдерживаетъ еще такую запашку, но вѣдь толока нужна сама по себѣ, вѣдь надобно же гдѣ-нибудь пасти скотъ,—гдѣ же они его выпасаютъ?

— Вотъ это-то и составляетъ бѣду здѣшняго крестьянства. Пастбищемъ они очень стѣснены. Или нанимаютъ и платятъ очень дорого, или отведутъ изъ своей земли кусочекъ, да такъ изъ году въ годъ на немъ и пасутъ.

— То-есть, какъ же это? Одна земля изъ году въ годъ засѣвается, а на другой изъ году въ годъ пастбище?

— Да, такъ и есть, и притомъ подъ пастбище идетъ очень

немного, такъ и толкутся на небольшомъ кускѣ, а этого, чтобъ мѣнять пастбище подъ пашню, а пашню подъ пастбище, здѣсь не бываетъ. Было бы у нихъ достаточно пастбища—совсѣмъ бы имъ было хорошо; да въ томъ и бѣда, что пасти негдѣ, оттого и скота мало.

Дѣйствительно, вопреки ожиданію, основанному на старомъ преданіи, крестьяне оказались имѣющими очень мало скота. Нѣсколько десятковъ дворовъ имѣютъ нѣсколько десятковъ штукъ скота—вотъ и все.

— И это Бессарабія, имѣющая гербомъ бычачью голову! страна, о которой говорили какъ о купающейся въ молокѣ!

— Было когда-то. Нѣтъ, скотоводства тутъ нѣтъ, и на крайнюю нужду не хватаетъ.

— Да они тутъ больше виномъ поддерживаются,—вмѣшался опять губернскій секретарь:—вина много бочекъ производятъ... только, по правдѣ сказать, какое это вино? Развѣ это настоящее вино? Всего два процента алкоголю! повѣрьте, только два процента!—добавилъ онъ, пренебрежительно махнувъ рукою.—И однако, вмѣстѣ съ тѣмъ, подошелъ къ окну, на которомъ стоялъ графинъ съ желтоватою двухпроцентною жидкостью, налилъ и пропустилъ стаканчикъ этого, якобы презираемаго имъ, напитка.

И такъ, вотъ, сразу обнаружились характерныя черты хозяйства: безтолочное истощительное хлѣбопашество, полный недостатокъ скота и большое винодѣліе. Какъ только зашла рѣчь о винѣ, гостепріимные мужики сейчасъ же вызвались принести своего вина, чтобы насъ угостить, но мы отклонили ихъ отъ этого намѣренія, тѣмъ болѣе, что и графинчикъ, стоявшій на окнѣ, глядѣлъ неприглядно, заткнутый пробкою изъ тряпки.

— Что же, у нихъ тутъ особыя приспособленія для винодѣлія?

— Нѣтъ, особаго ничего нѣтъ,—все дѣлается просто. У помѣщиковъ есть прессы, а мужики просто наполнятъ мѣшокъ виноградомъ, давятъ этотъ мѣшокъ въ корытѣ ногами и сливаютъ въ чаны, а потомъ въ бочки,—вотъ и все.

— Имъ бы только напиться!—критически замѣчаетъ губернскій секретарь, успѣвшій уже къ тому времени совсѣмъ покончить графинъ;—да что-жъ, два процента алкоголю!—и слѣдуетъ новый взмахъ руками.

Какъ ни вялы казались молдаване, но порядокъ въ дѣлѣ у нихъ обнаружился. Правда, хозяйство на купленной землѣ невелико, и всей-то земли немного, но недоимокъ нѣтъ, что̀ слѣдуетъ—заплачено во время. Раскладка платежей устная, по памяти.

Каждый знаетъ, сколько у него земли и почемъ надо платить съ единицы пространства, а сборъ денегъ совершается въ два дня. Недурно.

Я нарочно выразился: съ „единицы пространства“, потому что здѣсь онѣ своеобразны. Хотя мои собесѣдники и понимали, что̀ такое десятина, но въ данной мѣстности землю мѣрятъ на „фальчи“. Фальча—это площадь въ 3.125 квадр. саженъ. Она имѣетъ свои подраздѣленія. Въ ней считается восемь „ширтъ“, а „ширта“ дѣлится на 10 „пражинъ“, такъ что въ фальчѣ всего 80 пражинъ. Но есть еще особая фальча, называемая „палма домняска“, т.-е. княжеская пядь (у князя какъ бы предполагается и пядь больше, чѣмъ у простого смертнаго); въ ней уже 110 пражинъ; такую ловкій приказчикъ или иной хозяинъ навязываетъ работникамъ, договорившимся обработать вообще фальчу. Виноградники же дѣлятъ на „погоны“; каждый погонъ состоитъ изъ 400 кустовъ. Выходитъ мѣра не квадратная, а счетная.

Кончивъ словесную бесѣду съ молчаливыми молдаванами, мы отправились въ поле осмотрѣть купленную землю, гдѣ еще поговорили о мѣстномъ хозяйствѣ. По пути, кромѣ садовъ, встрѣчались виноградники; земля очень хорошая, прекрасный черноземъ, который, пожалуй, выдержитъ еще рядъ годовъ ежегоднаго засѣва, пока населеніе догадается перейти хотя къ трехполью. Преимущественный посѣвъ оказался кукурузы, обѣщающей доставить массу „мамалыги“ для обремененія бессарабскихъ желудковъ. Но, видно, молдаване обладаютъ необыкновенно сильными желудками, если легко перевариваютъ это тяжелое хлѣбное тѣсто. Сами молдаване показались мнѣ народомъ нѣсколько апатичнымъ. Глядятъ они довольно добродушно, но не говорливы, спокойны; незамѣтно ни оживленности въ рѣчахъ, ни даже особаго интереса къ предмету разговора, хотя онъ и касается ближайшихъ условій ихъ жизни. Стоитъ человѣкъ и молчитъ, на вопросъ отвѣтитъ не вдругъ; иные за все время и рта не открыли.

— Ну, не говорливъ вашъ народъ!—обращаюсь я къ своему спутнику.

— Да это отчасти потому, что нѣкоторые тутъ были выпивши,—отвѣчалъ онъ:—развѣ вы не замѣтили, что у иныхъ глаза красны? Это правда, что вина у нихъ много, ну и пользуются; и самъ нашъ губернскій секретарь, хотя коритъ вино двумя процентами алкоголя, однако стаканъ за стаканчикомъ потягиваетъ.

Итакъ, выпивка-то и вызываетъ молчаніе! Это уже мѣстная черта!

Вернувшись въ „казу", собрались мы уѣзжать. Но опять присталъ губернскій секретарь, уговаривая посмотрѣть еще сады.

— Чего только нѣтъ въ здѣшнихъ садахъ! Груши, яблоки, сливы, орѣхи, все прекрасные. Какъ же такъ уѣхать, не посмотрѣвши? Это будетъ похоже на богомольца, который пошелъ отсюда въ Кіевъ, да не видѣлъ тамъ ни пещеръ, ни соборовъ. Спрашиваютъ—что̀ онъ видѣлъ, а онъ говоритъ, что видѣлъ въ Кіевѣ квартальнаго; какъ будто для такой диковины и ходилъ!

— Ну, что-жъ, если хороши сады—тѣмъ лучше мужикамъ.

— Еще бы не лучше! Имъ бы среди такого добра только жить да поживать. А здѣшній народъ не цѣнитъ,—пьютъ да въ долги лѣзутъ. Вѣрите ли,—вотъ какая большая деревня, пятьсотъ дворовъ, а всего только три человѣка, что не имѣютъ долговъ! Такой-то потому, что самъ даетъ въ долгъ на проценты, другой—потому, что дѣлаетъ то же самое, а третій—это я, потому что мнѣ никто не вѣритъ...

— Неужели здѣсь пятьсотъ дворовъ?

— И больше найдется; потому, знаете, множится народъ, страхъ какъ плодится; да оно и понятно: богатый человѣкъ въ городѣ—тотъ по клубамъ, да по театрамъ, а простому человѣку только и остается, что около дома... да вотъ, знаете...

И долго бы еще изливалъ свои соображенія губернскій секретарь, еслибы мы не поспѣшили уѣхать изъ этихъ „уцъ".

Ѣдемъ дальше. Мѣстность по прежнему красива, только начинаетъ безпокоить своею гористостью. То-и-дѣло спускъ и подъемъ, да такіе крутые, что надобно выходить изъ экипажа, а иначе не мудрено перекувырнуться; дороги съ большими рытвинами, а по бокамъ на склонахъ мѣстами и настоящіе провалы, да еще наполненные колючими кустарниками. Даже мужики, ѣдучи съ своими возами, запасаются самодѣльными деревянными тормазами или, чтобы затормазить, привязываютъ колеса за спицы къ какому-нибудь мѣсту воза—колесо и перестаетъ двигаться. По сторонамъ тоже видны крутизны и значительная часть ихъ распахана. Глядишь и удивляешься: какъ это люди умудряются пахать по такимъ крутизнамъ? какъ это тащатъ плугъ вверхъ по кручѣ? Положимъ, „упрямый волъ, рога склоня", работаетъ сильнѣе коня, но все-таки взбираться вверхъ, да при этомъ еще взрывать почву плугомъ—должно быть въ высшей степени тяжело. Да и спускаться внизъ съ плугомъ мудрено. А какъ

свозить съ крутизны нагруженный хлѣбными снопами возъ и не кувыркаться? Только руками разводишь, какъ умудряется молдаванъ все это продѣлывать.

— Да въ этой мѣстности все такъ,—говоритъ мой спутникъ. —Очень крутыя мѣста. Да что дѣлать, тѣсно стало, надо пользоваться и крутизнами. И ихъ теперь очень цѣнятъ. Попробуйте и такую землю покупать, теперь дешево не отдадутъ.

Выходитъ, что и Бессарабія, славившаяся когда-то просторомъ, становится тѣсноватою. Видно, правду говорилъ губернскій секретарь, что простой человѣкъ сталъ сильно умножаться.

Показывается вдали новая деревня. Какая это деревня?

— Она называется Венаторъ. Тутъ въ старину была княжеская охота.

— А, понимаю: venator—охотникъ. Происхожденіе названія очевидно.

— Да тутъ много изъ латинскаго въ языкѣ. Вотъ, напр., голова—капъ: ясно, отъ caput; рука—мынъ, это уже отъ manus; страна—цара, отъ terra... Бессарабскій гербъ называется „капъ ди боу“ (caput bovis). Зато лѣсъ—падура. Это должно быть изъ дакскаго. Не даромъ тутъ трудился императоръ Траянъ и заводились римскія колоніи на дакской землѣ. Слѣды остались глубокіе.

Попадается еще деревня.—Это какая же?

— А вотъ эту я и забылъ, какъ зовутъ; знаю только, что резешская.

— Что же, резешскія деревни отличаются отъ другихъ?

— Владѣніе тутъ другое, на родовыхъ основаніяхъ. У резешей земля собственная, давняя; они и дѣлятъ ее по наслѣдству. Когда-то давно пожалована была, напримѣръ, земля двумъ-тремъ братьямъ. Пошло отъ нихъ потомство. У одного одинъ сынъ, у другого три, у третьяго семь; вотъ, доля каждаго изъ первыхъ пріобрѣтателей и раздѣлилась на разныя части; во второмъ поколѣніи уже большее неравенство, большія доли перемѣшаны съ малыми, широкія полосы съ тоненькими. А дальше, изъ поколѣнія въ поколѣніе разнообразіе дѣлается еще больше, и потомство первыхъ пріобрѣтателей составило уже цѣлое селеніе. Путаницы выходитъ много, тѣмъ болѣе, что документы неясны, иные ихъ совсѣмъ потеряли; начинаются споры, кляузничество. Когда приходится вести тяжбы, надобно доказывать, къ чьему „удѣлу“ принадлежало владѣніе такого-то нынѣшняго хозяина, т.-е. входило ли оно въ составъ владѣнія того или этого изъ давнихъ владѣльцевъ. Выходитъ, напр., что земля этого хозяина изъ удѣла Костатія, а

того—изъ удѣла Ѳеофана; у Костатія было столько-то сыновей, а ихъ доли раздѣлились такъ-то, и т. д. Вотъ и добивайтесь, сколько земли должно принадлежать нынѣшнему хозяину! Темнота, путаница—какъ тутъ не быть тяжбамъ? Да и самая мѣра земли оригинальна; по старымъ документамъ мѣру земли опредѣляла „пядь". Это не квадратная мѣра, въ родѣ десятины или фальчи, а погонная, малая. Записано, что Ивану досталось десять пядей, а Никифору—двѣнадцать. Это значитъ, что доля Ивана была десять пядей въ ширину, а длина не опредѣлена. Понимается, что длина—во всю вотчину.

Дѣйствительно, путаница должна быть огромная. Извольте разбираться по пядямъ да по старымъ манускриптамъ. А какова выйдетъ фигура владѣній, если имѣніе раздѣлить на узенькія и длинныя ленточки? Впрочемъ, въ Бессарабіи это ленточное очертаніе имѣній—особая характерная черта. Возьмите, напр., межевые планы въ Новороссіи; тамъ дача часто представляетъ квадратъ, прямоугольникъ или близкую къ нему фигуру. Четыре линіи вокругъ, почти съ прямыми углами—вотъ и дача, особенно въ степи, напр. въ херсонской или екатеринославской губерніи. Но я много видѣлъ бессарабскихъ плановъ, на которыхъ отдѣльное владѣніе представляетъ очень узкую и длинную полосу. Бываетъ такъ, что въ ширину имѣніе будетъ саженъ сто или полтораста, а въ длину около десяти верстъ! Что тутъ удивляться отдѣльному участку хозяина резеша, когда цѣлыя имѣнія выкроены по ленточной системѣ! Неудобство такой системы должно быть тѣмъ бо̀льшее, что длинная полоса имѣнія не представляетъ куска равнины или возвышенности, вообще сколько-нибудь однообразнаго угодія; нѣтъ, эту длинную полосу рѣжутъ поперекъ и рѣчка, и оврагъ, и долина, и перелѣсокъ. Проѣхать эту полосочку надо сперва по полю, потомъ спуститься въ оврагъ, дальше подняться на крутую гору, потомъ переѣхать рѣчку, а тамъ въ лѣсъ, дальше опять по полю и т. д.,—вотъ какова ленточка. Тутъ узкая пашня, тамъ короткій кусокъ рѣчки, дальше тѣсная полоса лѣсу или куста и т. д. Вода же попадается гдѣ-нибудь у узкаго края полосы или по срединѣ ея. Для чьего удобства создано такое дѣленіе? Но его создала своего рода поземельная исторія.

Резешское селеніе—гнѣздо споровъ и тяжбъ о землѣ. Помимо трудности разбирать старые наслѣдственные переходы и „удѣлы", много путаютъ взаимныя передачи долей отъ одного резеша другому, односельцу или чужесельцу. Этотъ владѣетъ и по своему удѣлу, и по передачамъ отъ такихъ-то и такихъ-то; а передачи совершались въ различныхъ поколѣніяхъ; другой владѣетъ по покупкѣ у одно-

сельца и по наслѣдству отъ дѣда, который, въ свою очередь, получилъ одну долю по передачѣ, а другую по удѣлу, и т. д. О какихъ-либо нормахъ, какъ въ крестьянскомъ надѣлѣ, нѣтъ помину. И вотъ, благодаря подобной путаницѣ и темнотѣ резеша, который и вообще—простой человѣкъ, да еще по-русски не знаетъ, создалась благопріятнѣйшая почва для сутяжничества и неправедныхъ пріобрѣтеній, особенно при старыхъ судахъ, гдѣ темному и бѣдному человѣку ничего добиться было нельзя. И ябеднику, и подъячему, и недоброму сосѣду—пожива. Резешская земля—вольная собственность; покупать ее можно кому угодно, хоть и не резешу. И вотъ, ловкій человѣкъ, желающій поживиться на чужой счетъ, дѣйствовалъ по такому плану: купитъ себѣ три, четыре или пять полосокъ у отдѣльныхъ резешей и начнетъ хозяйничать; первый шагъ—это только втереться въ резешское селеніе; дальше, приглядѣвшись, онъ начинаетъ тяжбы; примется доказывать, что земля одного его сосѣда принадлежала къ удѣлу того резеша, отъ котораго наслѣдство перешло къ резешу, продавшему ему свою долю, слѣдовательно якобы захвачена сосѣдомъ неправильно и должна принадлежать ему, покупщику; съ другимъ сосѣдомъ тяжба начинается на томъ основаніи, что его земля должна составлять принадлежность доли другого продавца, тоже по разсчету удѣловъ, слѣдовательно опять-таки есть собственность покупщика, и т. д. Сосѣди, разумѣется, протестуютъ, но отписываться не умѣютъ: дѣло переходитъ въ судъ, а судъ страшенъ для темнаго молдавана. Вступаютъ въ дѣло разные писаки, совѣтчики, кляузники, готовые продать своего кліента кому угодно, да и судебные чиновники становились на сторону ловкаго истца, а не безграмотнаго и безсильнаго резеша. Такъ ловкій человѣкъ и изморитъ своихъ противниковъ; у однихъ оттягаетъ землю, другихъ заставитъ пойти на совсѣмъ невыгодную сдѣлку, а пріобрѣвъ права послѣднихъ по сдѣлкѣ, онъ, во имя ихъ же правъ, начнетъ новыя тяжбы съ прочими сосѣдями и т. д. Въ концѣ концовъ, глядишь, и почти вся вотчина очутилась у искуснаго дѣльца; а обезземеленные резеши идутъ куда глаза глядятъ и только безсильно жалуются на обидчика и горькую судьбу.

— И что-жъ,—спрашиваю:—такія операціи дѣлались въ видѣ исключеній, какими-нибудь проходимцами?

— О, нѣтъ, скорѣе въ видѣ правила,—отвѣчали мнѣ.—Не одни низшіе дѣльцы этимъ устроивали свое благосостояніе. Были и другіе, не пренебрегавшіе подобными способами. Молдаванъ—темный человѣкъ, онъ и начать дѣла не съумѣетъ, и всѣ сроки пропуститъ, а разноплеменные дѣльцы искусны.

Выходитъ, что еслибы разобрать резешское дѣло,—вышла бы картина поинтереснѣе башкирской.

Но мы нѣсколько отвлеклись въ сторону. Спустившись не одинъ разъ въ долъ и столько же разъ поднявшись по крутизнѣ, проѣхавъ нѣсколько лѣсковъ, приблизились мы къ мѣсту новой остановки. Это была деревня, названіе которой оканчивалось на *ены*. Не доѣзжая ея, широкій и довольно длинный оврагъ, поросшій травою. Видно, что годится только подъ пастбище. Вотъ этотъ оврагъ тоже купили мужики: тутъ пашни совсѣмъ не видать, все смотритъ пустыремъ. Въѣхавъ въ деревню, мы скоро нашли новую „казу-ди-обшти"; тамъ встрѣтилъ насъ новый писарь, только болѣе воздержный на языкъ. Больше никого въ казѣ не было. Въ ожиданіи сбора людей, оставалось пересматривать бумаги въ душной и тѣсной комнатѣ съ малыми окнами или сидѣть терпѣливо на высокой завалинкѣ казы, ища тѣни отъ жгучихъ лучей солнца.

Молдаване медленно стали сбираться по одному, по два. Набралось ихъ, наконецъ, человѣкъ двадцать. Съ ними можно было открыть бесѣду. Понемногу подходили и другіе. Костюмы тѣ же: джубе, бѣлыя рубахи, широкіе пояса и широчайшія, волочащіяся по землѣ шаравары.

Одна изъ самыхъ главныхъ частей опроса—какъ подѣлились землею? поровну или какъ-нибудь иначе?—Но сколько мы ни разспрашивали здѣсь, толку никакого не выходитъ. Опять слышится „компаратура" да „компаратура"; молдаване или не понимаютъ разъясненій, или по какой-то особой причинѣ затрудняются отвѣчать. Одни равнодушно молчатъ, другіе произносятъ какіе-то отрывки, и въ результатѣ не получается ничего яснаго. Бились, бились—и видимъ, что молдаване сами конфузятся своихъ несвязныхъ рѣчей. Что за причина!

Начинаемъ пересматривать списки плательщиковъ, и тутъ возникаетъ новое недоумѣніе. Всѣхъ покупщиковъ около 80, а плательщиковъ оказывается гораздо больше ста; изъ нихъ многіе не принимали никакого участія въ „компаратурѣ", иные даже мѣщане. Отчего это? Слѣдуетъ, наконецъ, конфузливый, робкій отвѣтъ: Леонъ Каприца знаетъ.—А гдѣ же онъ?—Нѣтъ его, не пришелъ.

Однако, въ спискѣ точно указано, кому сколько платить. За что же платятъ посторонніе люди, ничего не покупавшіе? И отчего всезнающій Каприца не пожаловалъ?

Опять вопросы и опять конфузливое молчаніе большинства. Одинъ, знающій по-русски, въ особенно пространныхъ и длин-

ныхъ шараварахъ, порывается говорить, но несетъ такую околесицу, что сразу виденъ въ немъ только пустой болтунъ.

— Не праздничный ли день сегодня?—замѣчаетъ мой спутникъ:—они, кажется, тоже немного выпивши.—И точно, глаза у многихъ отличаются краснотою. Но не странно ли это? Если выпьетъ русскій мужикъ—тутъ-то и развяжется у него языкъ, тутъ-то и усердствуетъ онъ во всякихъ розсказняхъ; пойдутъ у него и шутки, и прибаутки, такъ и подергиваетъ его выкинуть какое-нибудь колѣнце, и скорѣе надо унимать его краснорѣчіе, чѣмъ вызывать на разговоръ. А выпившій молдаванъ представляетъ какъ-разъ обратное: стоитъ какъ вкопаный, уставивъ красные глаза, и молчитъ.

Пока мы недоумѣвали по поводу этого загадочнаго молчанія и томительно переглядывались съ безмолвною толпою, писарь отыскалъ новый документъ. Это былъ приговоръ стоявшихъ предъ нами покупщиковъ, которымъ они предоставляли отсутствовавшему Каприцѣ полное распоряженіе купленною землею: и сдавать ее въ аренду, и пускать на пастбище скотъ, и охранять землю отъ постороннихъ покушеній, и вести дѣла съ начальствомъ, и пр., и пр. Вышло, что дѣйствительный-то хозяинъ—не собраніе покупщиковъ, а Леонъ Каприца; собраніе же—стадо, которымъ онъ орудуетъ. Есть кусочекъ пашни съ сѣнокосомъ—тамъ хозяйничаетъ Каприца, пообѣщавъ вносить на платежи триста съ чѣмъ-то рублей; есть нѣсколько усадебъ—ихъ сдаетъ онъ же; главную часть покупки составляетъ выгонъ по оврагу — туда допускаетъ скотъ на пастбище тотъ же Каприца и беретъ съ каждаго хозяина деньги. Вотъ каково общественное хозяйство.

— Почемъ же беретъ съ васъ Каприца за пастьбу скота?

Отвѣчаютъ, что за пару воловъ беретъ 6 руб., за корову—3 рубля, за козу—рубль. То-есть, сами владѣльцы земли, формальные хозяева ея, подвергаются обложенію за пользованіе со стороны Каприцы, словно владѣлецъ онъ, а они только случайные съемщики.

Писарь подноситъ и таксу за выпасъ скота, написанную на листкѣ бумаги. Оказывается, что такса именно такова, какъ показываютъ мужики, только въ ней, кромѣ воловъ и коровъ, значатся еще „мындзатъ" и „гониторъ". Первый означаетъ годовалаго теленка, а послѣдній—корову-подростка.

— Ну, братцы, это не ладно. Зачѣмъ же вы покупали землю, когда отдали ее Каприцѣ? Если вы покупали для себя, то вы бы и пользовались, не спрашивая его позволенія, и не онъ бы назначалъ вамъ плату, а вы сами назначали бы, сколько кому

пасти. А хотѣлъ бы онъ самъ купить землю, пусть бы и покупалъ на свое имя и на свои деньги.

Молдаване молчатъ, мнутся и робко посматриваютъ. Наконецъ, начинаютъ помаленьку оправдываться:—Это мы такъ, только на первое время. Мы послѣ сами, можетъ, возьмемъ землю.

— Да кто же вамъ мѣшалъ взять ее сразу,—развѣ вы не могли дѣйствовать безъ него?

— Мы поправимся.

— Ну, гдѣ вамъ поправиться, когда васъ такъ взяли въ руки!

Опять продолжительное молчаніе. Затѣмъ робкое предложеніе:

— Позвольте намъ внести платежи впередъ, чтобы начальство о насъ дурно не думало!

Было и досадно, и жалко глядѣть на эту косную толпу, такъ легко подчинившуюся власти одного человѣка. Они чувствуютъ себя виноватыми и въ отрывочныхъ заявленіяхъ ихъ выражается опасеніе, какъ бы имъ не подвергнуться гнѣву, какъ бы совсѣмъ не отняли купленную землю. Вѣдь они очень нуждаются въ пастбищѣ, а Каприца, хотя за деньги, все-таки даетъ имъ пасти скотъ; другой же, пожалуй, вовсе давать не будетъ. Теперь понятно стало, почему въ спискѣ плательщиковъ значится гораздо больше людей, чѣмъ покупщиковъ земли. Въ списокъ попали всѣ, кого обложилъ и допустилъ къ пользованію Каприца, т.-е. и свои, и посторонніе.

Словомъ, вышла совсѣмъ неудачная „компаратура"; съумѣютъ ли формальные покупщики выйти изъ зависимости отъ болѣе искуснаго и изворотливаго односельца? Сомнительно.

Стало ясно, что больше оставаться тутъ нечего. Настоящее общественное хозяйство обыкновенно представляетъ сложности, которыя очень интересно выяснять: тутъ и распредѣленіе земли, и раскладка платежей, и отчетность въ суммахъ, и организація сбора денегъ, и организація управленія общимъ хозяйствомъ, и система посѣвовъ, и приговоры, и передѣлы, и переуступки земельныхъ долей, и т. д., и т. д. Есть о чемъ спрашивать. Тутъ масса живого интереса; сказывается степень умѣлости крестьянъ справляться съ общественнымъ дѣломъ, выражаются особенности воззрѣній, крѣпость или слабость общественнаго духа, уровень предпріимчивости. Въ данномъ же случаѣ допытываться этого было нечего, потому что на все одинъ отвѣтъ: Каприца! Общество и само какъ будто не понимаетъ, какъ это случилось. Можно было отпустить людей, ознакомившись съ типомъ совершенно косныхъ молдаванъ.

Мужики стали расходиться. Только одинъ красноглазый, умѣю-

щій по-русски, продолжаетъ разсказывать мнѣ о деревенскихъ дѣлахъ, но все что-то несообразное; все онъ коритъ своихъ односельцевъ тупостью, невоздержаніемъ и т. п. Себя же, какъ знающаго русскій языкъ, выставляетъ болѣе просвѣщеннымъ. Однако, какъ только всѣ разошлись, онъ оглянулся во всѣ стороны и, обращаясь ко мнѣ, произнесъ вполголоса: „Пане,—дайте три копѣйки на пол-ока вина!—Получивъ же, стремглавъ полетѣлъ со двора. „Око"—это штофъ. Да, если за шесть копѣекъ можно получить штофъ вина,—какъ не быть краснымъ глазамъ.

Выѣхали мы изъ этихъ „енъ" задолго до захода солнца. Но тутъ стали показываться тучки. Намъ нужно было проѣхать всего верстъ 18 или 20, и можно было разсчитывать проѣхать такое пространство вполнѣ благополучно, тѣмъ болѣе, что лошади везли насъ очень скоро. Однако надежда эта не оправдалась. Одно то, что тучки разростались быстро, а другое—горы, спуски и подъемы, сильно затягивавшіе переѣздъ. Прогремѣлъ громъ, среди тучъ стали прорѣзываться молніи, а затѣмъ пошелъ такой дождь и наступила такая темнота, что упаси Боже! Надо было выйти изъ экипажа и спускаться пѣшкомъ по крутому склону, который тянулся чуть не пол-версты; экипажъ съ лошадьми спускался шажкомъ особо, причемъ кучеръ держалъ лошадей подъ уздцы. Останься мы въ экипажѣ—навѣрное опрокинулись бы и легко было даже свалиться въ провалъ, тянувшійся вдоль дороги и наполненный кустарникомъ. Положеніе было въ высшей степени скверное. Идти краемъ дороги плохо, потому что при вязкости почвы легко падать. Пришлось идти по самому руслу бѣгущаго посреди дороги дождевого потока. Мокли ноги, зато въ руслѣ земля тверже. Идемъ молча вполнѣ сосредоточившись на заботѣ о благополучномъ схожденіи, а яркія молніи сверкаютъ поминутно и возобновляются раскаты грома. Когда освѣтитъ молнія, увидишь, куда идешь, что̀ подъ ногами и что̀ въ сторонѣ, а прошла она—опять темь, хоть глазъ выколи. Тянулись мы, тянулись, но наконецъ сошли, а впереди еще версты четыре пути. Предъ нами деревня, да не та, а какіе-то „аны". Что̀ дѣлать? Посовѣщавшись между собою, мы рѣшили, что дальше ѣхать нельзя, надо остановиться въ „анахъ". Но гдѣ же? Опать мой спутникъ говоритъ, что вопроса тутъ нѣтъ никакого,—надо направиться къ „казу".

И вотъ, усѣвшись снова въ экипажъ, мы плетемся шагъ за шагомъ по деревнѣ. Дорогу и различить трудно, по бокамъ едва очерчиваются поселянскіе домики, и только по временамъ показывающійся въ ихъ окнахъ огонекъ даетъ возможность оріентиро-

ваться. Ѣхали, ѣхали, наконецъ остановились у какихъ-то воротъ. Неужели каза? — Она самая, — говоритъ кучеръ. — О, благодѣтельное учрежденіе „каза-ди-обшти"! Чтò-бы мы безъ тебя дѣлали? — пришлось воскликнуть отъ всей души.

Въ казѣ засвѣтили огонь и приняли насъ безмолвно, не спрашивая, чтò мы за люди. Явились какіе-то новые молдаване и помогли намъ втащить вещи. Помѣщеніе оказалось удобное: два диванчика, обитые какою-то красною матеріею, столъ, стулья или скамейки — чего же болѣе для несчастныхъ въ такую пору путниковъ? Отыскался самоваръ; скоро можно было раздѣться, перемѣнить измокшее бѣлье, засѣсть за стаканы чая и приняться за холодный ужинъ изъ привезенныхъ съ собою запасовъ. Аппетитъ послѣ такого утомительнаго и тревожнаго пути оказался весьма изрядный.

Дождь то затихалъ, то возобновлялся. Выхожу на крылечко поглядѣть; стоящій тутъ молдаванъ говоритъ: „плой!" чтò значитъ: „дождь".

Распорядясь послать заранѣе въ сосѣднюю деревню съ названіемъ, оканчивающимся на „ешти", для увѣдомленія, что пріѣдемъ утромъ, мы расположились на гостепріимныхъ диванчикахъ и скоро заснули. А на утро, подкрѣпясь чаемъ, двинулись въ искомую деревню, которая почти сливалась съ пріютившею насъ. Солнце уже свѣтило ярко и путь значительно обсохъ; только освѣжившаяся зелень да новыя рытвины по дорогѣ напоминали о вчерашнемъ дождѣ.

Въ „ештахъ" — новая каза, и часть народа была уже въ сборѣ. Не долго пришлось ожидать остальныхъ. Собравшіеся здѣсь имѣли лучшій видъ, чѣмъ предъидущіе; красныхъ глазъ не замѣтно. Человѣка два-три говорили по-русски, выучившись тоже въ военной службѣ. И вниманія къ дѣлу, интереса къ нему — замѣчалось больше.

„Компаратура" этихъ крестьянъ состояла изъ части поля, плохого тонкаго лѣса и большого запущеннаго сада. При раздѣлѣ земли установлены были паи и полупаи. Однимъ дали по паю; другимъ, болѣе слабосильнымъ — только по пол-пая. Изъ поименнаго опроса каждаго о размѣрѣ его владѣнія оказалось, что каждый знаетъ, чтò ему принадлежитъ и сколько онъ обязанъ платить за свою долю. Постороннихъ почти никого нѣтъ; значитъ, мужики держатся за свою землю крѣпко.

Вызывается каждый по списку и отвѣчаетъ за себя, полный ли у него пай, или неполный. Произносится, напр., имя Никифора Тетеско. Онъ отвѣчаетъ: „партія", или: „партія антряга".

Партія—это значитъ пай; партія антряга—цѣлый пай.

— Тодоръ Бурдуцъ.

Слѣдуетъ отвѣтъ: „джума-тати". Это означаетъ пол-пая. Этимологическое происхожденіе столь хитраго слова остается уже совершенно темнымъ.

Долго приходилось слышать эти два слова при опросѣ. То „партія антряга" или просто „партія", то „джума-тати". Однако это дало полное разъясненіе раздѣлу земли, и итогъ всѣхъ партій и джума-татей сходился съ тѣмъ, чтò подлежало раздѣлу. Лѣсъ покуда общій, недѣленый, хотя есть желаніе раздѣлить и выкорчевать его, потому что какая же польза отъ пространства, покрытаго тонкими жердями? А послѣ корчевки оно дастъ хлѣбъ или, пожалуй, пойдетъ подъ погоны виноградника. Къ лѣсу назначили сторожей и его берегутъ.

Обращеніе съ полемъ совершенно такое же, какъ въ первыхъ „уцахъ": его засѣваютъ безъ отдыха, и оно не идетъ подъ пастбище. Толоки, пара—и въ поминѣ нѣтъ. Ясно, что это хозяйственная особенность мѣстности. Скотъ же выпасаютъ на сосѣдскихъ земляхъ, платя съ пары воловъ до 10 рублей. Вотъ какъ дорого обходится содержаніе скота! мудрено ли, что скотоводство здѣсь стало очень слабо.

Дошло до осмотра земли въ натурѣ. Вся купленная земля опять оказалась на крутомъ склонѣ. Лѣсокъ дѣйствительно таковъ, какъ говорили молдаване, и пользы отъ него очевидно немного. Пройти садъ отъ селенія въ гору было не легко. Болѣе грузный спутникъ мой на это не рѣшился, оставшись въ казѣ. Поднимаясь, надо было нѣсколько разъ останавливаться, чтобы перевести духъ. Деревья разбросаны то тамъ, то здѣсь, и преимущественно груши, довольно обремененныя плодами. Идемъ по саду, а за нами слѣдуетъ цѣлая толпа молдаванъ; бывшіе солдатики даютъ мнѣ объясненія по-русски, а остальные прислушиваются и временами вступаютъ въ разговоръ черезъ этихъ переводчиковъ. Въ одномъ мѣстѣ я поднялъ съ земли упавшую съ дерева зрѣлую грушу. Какъ только молдаване это увидѣли, сейчасъ же нѣсколько человѣкъ бросились на сосѣднія два-три дерева, полѣзли вверхъ по вѣтвямъ и давай обрывать. Еще нѣсколько минутъ, и меня усердно начинаютъ угощать плодами. Садъ тоже раздѣленъ на „партіи". Разбили его по участкамъ, и каждый участокъ назначенъ на нѣсколько партій; владѣльцы послѣднихъ сами разверстываютъ участокъ между собою.

Словомъ, въ этихъ „ештахъ" порядокъ оказался удовлетворительный. Земля раздѣлена, каждый знаетъ свою долю, раскладка

платежамъ есть, сборщикъ выбранъ, платежи собираются всего въ нѣсколько дней и взносы ихъ удостовѣряются квитанціями—чего-жъ еще? Тутъ „компаратура“, конечно, принесетъ пользу, хотя и не дешево досталась она мужикамъ. Помимо изрядной цѣны за крутизны, надо было съ самаго начала собрать значительныя деньги на расходы по покупкѣ и на доплату продавцу къ полученной ссудѣ. Для этого пришлось сдѣлать заемъ и нашелся кредиторъ, изъ докторовъ, который далъ деньги за два процента въ мѣсяцъ. Кажется, не малый процентъ, однако мужики не выражаютъ претензій и какъ будто даже довольны, что отыскался такой добрый человѣкъ и заплатили ему проценты исправно.

— Не удивляйтесь такимъ процентамъ,—говорили мнѣ въ Бессарабіи:—мужики привыкли и къ бо̀льшимъ. За процентомъ они не гонятся. А когда платятъ отработками, то трудно даже высчитать, какой процентъ они платятъ. Дастъ, напр., одинъ изъ разноплеменныхъ сосѣдей молдавану взаймы 10 рублей, а за проценты требуетъ сжать фальчу хлѣба,—и мужикъ жнетъ. Прошелъ годъ, у мужика денегъ нѣтъ, долгъ опять отсрочивается на тѣхъ же условіяхъ, слѣдовательно опять жнется фальча безплатно. Черезъ годъ опять то же самое. Бываютъ примѣры, что подобный десятирублевый долгъ существуетъ лѣтъ десять-пятнадцать, и молдаванъ все отработываетъ свою фальчу. То-есть, сосѣдъ одинъ разъ выдалъ 10 рублей и купилъ себѣ за это постояннаго работника. А убрать фальчу—это стоитъ едва ли много меньше, чѣмъ вся долговая сумма. Какой же это выйдетъ процентъ? Привыкъ молдаванъ къ этому. Если онъ тугъ, неповоротливъ, зато выносливъ.

Какъ только собрались мы уѣзжать, молдаване принесли намъ цѣлый узелъ грушъ, добродушно упрашивая взять ихъ съ собою на дорогу. А одинъ, постарше, даже сталъ упрекать товарищей на своемъ языкѣ. По объясненію переводчика, онъ находилъ, что такое угощеніе недостаточно; надо бы—говорилъ онъ—набрать пуда три и послать за нами въ догонку для врученія на слѣдующемъ привалѣ. Простое ли это добродушіе, или тутъ отзывалась и давняя привычка къ данямъ—объяснить не умѣю. Надо было вѣжливо отклонить излишество въ угощеніи.

Опять потянулась скверная дорога, которую портилъ часто возобновлявшійся дождь, и затѣмъ какіе-нибудь новые „ешти“, или „ены“...

Ѳ. Воропоновъ.

ТРУДЫ ФИНЛЯНДСКАГО СЕЙМА

въ 1891 году.

I *).

Гельсингфорсъ, 10-го (22) марта 1891 г.

Труды сейма подготовлялись и сосредоточивались предварительно въ его коммиссіяхъ. 26-го января (7-го февраля) истекъ двухъ-недѣльный срокъ, назначенный по сеймовому уставу для подачи депутатами петицій и законопроектовъ. Въ теченіе означеннаго срока подано было всего 222 „петиціи" и „моціи", изъ которыхъ большинство, а именно 117, внесены были депутатами крестьянскаго сословія, наименьшее же число—около 25—дворянскимъ сословіемъ. При первомъ чтеніи, 23 петиціи или не были приняты сословіями, или взяты обратно депутатами; остальныя же распредѣлены по сеймовымъ коммиссіямъ для предварительнаго разсмотра и составленія по нимъ заключеній.

Изъ этого одного видно, что нынѣшнему сейму, несмотря на небольшое число поступившихъ вначалѣ предложеній отъ правительства, предстояла не малая работа.

Съ цѣлью до нѣкоторой степени охарактеризовать эту работу, насколько она была вызвана петиціями депутатовъ, постараемся въ самыхъ общихъ чертахъ изложить ихъ содержаніе. Изъ 199 распредѣленныхъ по коммиссіямъ петицій, 68—относятся къ законодательнымъ вопросамъ, 58—къ вопросамъ, касающимся учебнаго дѣла, 47—къ вопросамъ о постройкѣ желѣзныхъ дорогъ или каналовъ, въ 15 испрашивается принятіе разныхъ административныхъ мѣръ, а въ 11 петиціяхъ—ассигнованіе суммъ на различныя потребности.

---

*) См. выше: февр., 839 стр.

Петиціи по вопросамъ законодательнымъ касаются иногда измѣненія лишь одного или нѣсколькихъ параграфовъ дѣйствующихъ законовъ; въ другихъ требуется пересмотръ цѣлыхъ уставовъ и положеній.

Стремленіе къ трезвости и дѣятельность многочисленныхъ обществъ, поставившихъ себѣ цѣлью борьбу противъ пьянства, выразились въ разныхъ петиціяхъ объ ограниченіи права продажи спиртныхъ напитковъ и винъ. По почину послѣдняго сейма выработанъ особою коммиссіею проектъ новаго положенія о приготовленіи, продажѣ и перевозкѣ спиртныхъ напитковъ, для чего, по порученію финляндскаго сената, было командировано лицо за границу для изученія въ Даніи, Германіи и Швейцаріи послѣднихъ по сему предмету законодательныхъ мѣръ. На основаніи проекта комитета составлено правительственное предложеніе, переданное нынѣшнему сейму.

Число моцій, т.-е. поданныхъ депутатами законопроектовъ, не доходитъ до полныхъ двадцати. Число это весьма невелико въ сравненіи съ числомъ петицій по законодательнымъ вопросамъ, особенно если принять во вниманіе выигрышъ во времени для осуществленія желаемой реформы при пользованіи этою формою для возбужденія вопроса. Моція, принятая сеймомъ, поступаетъ на утвержденіе Государя Императора и можетъ, слѣдовательно, сдѣлаться закономъ въ весьма непродолжительномъ времени. Петиція же сейма, одобренная Императоромъ, влечетъ за собою разработку проекта, который затѣмъ въ видѣ правительственнаго предложенія поступаетъ на разсмотрѣніе слѣдующаго сейма и, въ случаѣ принятія его сеймомъ, восходитъ на утвержденіе Императора. Требованіе, чтобы моціи были не только мотивированы, но и окончательно выработаны въ видѣ полныхъ законопроектовъ, затрудняетъ, однако, употребленіе этой формы и объясняетъ вполнѣ, почему депутаты, особенно по вопросамъ болѣе обширнымъ, предпочтительно прибѣгаютъ къ петиціямъ.

По вопросамъ, касающимся учебнаго дѣла, замѣчается въ петиціяхъ отрадная перемѣна. Въ петиціяхъ, поданныхъ на предшествовавшихъ сеймахъ, даже въ крестьянскомъ сословіи, обращалось вниманіе почти исключительно на увеличеніе числа классическихъ среднихъ учебныхъ заведеній. Теперь же, хотя и встрѣчается немалое число петицій въ сословіи горожанъ о принятіи на счетъ правительства частныхъ учебныхъ заведеній и дополненіи ихъ высшими классами, однако главное вниманіе устремлено на народное образованіе, въ собственномъ смыслѣ слова. Нѣкоторыя петиціи желаютъ увеличить число народныхъ школъ въ деревняхъ введеніемъ обязательства для общинъ устроивать опредѣленное по величинѣ населенія число школъ; другія стараются улучшить экономическія условія народныхъ

учителей и учительницъ; третьи ходатайствуютъ объ устройствѣ дополнительныхъ курсовъ или въ видѣ особыхъ высшихъ народныхъ училищъ для взрослыхъ („крестьянскихъ университетовъ") [1]), или особыхъ курсовъ, съ чисто практическимъ направленіемъ. Вниманіе обращено и на устройство земледѣльческихъ школъ въ мѣстностяхъ, отдаленныхъ отъ открытыхъ уже школъ этого рода, что въ соединеніи съ петиціями объ уменьшеніи поземельнаго налога, о выдачѣ пособій для осушенія болотъ, объ устройствѣ образцовой фермы на сѣверѣ и принятіи мѣръ къ улучшенію породы домашняго скота и ухода за нимъ, свидѣтельствуетъ о стремленіи поднять земледѣліе и скотоводство, составляющія главнѣйшіе промыслы страны.

Относительно среднихъ учебныхъ заведеній слѣдуетъ замѣтить, что идея о совмѣстномъ обученіи дѣвочекъ и мальчиковъ въ одномъ и томъ же училищѣ въ послѣднее время пріобрѣтаетъ все болѣе и болѣе сторонниковъ. На практикѣ идея уже нѣсколько лѣтъ съ большимъ успѣхомъ примѣняется въ Гельсингфорсѣ въ четырехъ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ, доводящихъ своихъ учениковъ и ученицъ до вступленія въ университетъ. На нынѣшнемъ сеймѣ въ нѣсколькихъ петиціяхъ ходатайствуютъ объ открытіи правительствомъ въ разныхъ небольшихъ городахъ страны подобныхъ же заведеній съ одними низшими классами.

Такъ какъ, кромѣ того, нѣкоторыя петиціи относятся до университета, политехническаго института и торговыхъ училищъ, то видно, что возбужденные депутатами вопросы касаются всѣхъ ступеней и отраслей учебнаго дѣла и народнаго образованія. Если сеймъ, какъ можно надѣяться, ассигнуетъ достаточно средствъ на устройство дополнительныхъ и высшихъ курсовъ народныхъ школъ, которыя и теперь отличаются своимъ правильнымъ устройствомъ, то система народнаго образованія въ странѣ будетъ поставлена весьма удовлетворительно и потребуетъ дальнѣйшаго развитія главнымъ образомъ въ отношеніи числа школъ въ деревняхъ.

Чтобы дать нѣкоторое понятіе о петиціяхъ по желѣзно-дорожному вопросу, замѣтимъ, что съ самаго начала постройки желѣзныхъ дорогъ въ странѣ нужно было прибѣгать къ займамъ, заключеніе которыхъ, однако, по основнымъ законамъ Финляндіи, зависитъ отъ земскихъ чиновъ. Проектъ каждой вновь строящейся дороги поэтому

---

[1]) Высшія народныя училища этого рода получили большое развитіе въ Скандинавіи. Въ Финляндіи по частной инипіативѣ открыты въ послѣднихъ годахъ два такихъ училища, которыя весьма заинтересовали общественное мнѣніе. Замѣчательно, что въ двухъ общинахъ Эстерботніи крестьяне сами приняли живѣйшее участіе въ устройствѣ подобныхъ училищъ, отвели потребное мѣсто и доставили весь матеріалъ для строящагося зданія безплатно.

вносится на обсужденіе сейма, который, въ случаѣ принятія имъ проекта, ассигнуетъ нужныя на постройку средства или изъ имѣющихся въ особомъ коммуникаціонномъ фондѣ суммъ, или изъ другихъ, въ вѣденіи сейма состоящихъ, источниковъ. Правильная уплата займовъ, потребныхъ для пополненія недостатка имѣющихся средствъ, гарантируется сеймомъ.

При такомъ порядкѣ коммиссія, назначаемая сеймомъ для разсмотра всѣхъ поступившихъ предложеній и петицій о новыхъ дорогахъ, имѣетъ не малое значеніе; отзывъ ея и полнота собраннаго ею матеріала играютъ первостепенную роль при обсужденіи относительной важности разныхъ дорогъ и при постановленіи сеймомъ рѣшеній по возбужденнымъ вопросамъ.

Въ сложности всѣ открытыя доселѣ желѣзныя дороги въ Финляндіи, въ томъ числѣ небольшая вѣтвь, эксплуатируемая частною компаніею, достигаютъ съ небольшимъ 1.900 километровъ протяженія [1]); стоимость правительственныхъ желѣзныхъ дорогъ съ подвижнымъ составомъ оцѣнена круглымъ числомъ въ 127 милліоновъ марокъ, а неуплаченнаго долга по желѣзно-дорожнымъ займамъ имѣется около 70 милліоновъ марокъ.

Главная желѣзная дорога соединяетъ Петербургъ съ Гельсингфорсомъ. Отъ этой дороги, по пространствамъ, отдѣляющимъ три главные бассейна внутреннихъ озерныхъ системъ, проложены главныя вѣтви: одна черезъ Тавастгусъ, Таммерфорсъ на сѣверъ до Улеоборга; другая—отъ станціи Коувола черезъ г. С.-Михель въ г. Куопіо; третья строится отъ Выборга черезъ Сердополь въ г. Іоенсу, съ побочною вѣтвью по рѣкѣ Вуокса до водопада Иматра. Кромѣ того, портовые города Николайштадтъ, Або, Ганге, Борго и Котка соединены съ главными вѣтвями посредствомъ желѣзныхъ дорогъ.

Поданныя въ сеймъ петиціи имѣютъ цѣлью соединеніе нѣкоторыхъ прибрежныхъ и внутреннихъ городовъ съ эксплуатируемыми дорогами; продолженіе трехъ главныхъ вѣтвей на сѣверъ до взаимнаго соединенія въ Улеоборгѣ и далѣе до г. Торнео, а также открытіе соединительныхъ вѣтвей между означенными главными дорогами, связывая притомъ главнѣйшія внутреннія водяныя сообщенія между собою и съ сѣтью желѣзныхъ дорогъ. Въ трехъ сословіяхъ, наконецъ, поданы петиціи объ изслѣдованіи и составленіи проекта прямого сообщенія между Гельсингфорсомъ и Або въ надеждѣ заинтересовать частныхъ капиталистовъ постройкою этой дороги.

Значительное число желѣзно-дорожныхъ петицій, поданныхъ депу-

---

[1]) Строящіяся, согласно рѣшенію послѣдняго сейма, дороги изъ Выборга въ Іоенсу и изъ Таммерфоса въ г. Бьернеборгъ составятъ съ побочными вѣтвями около 470 километровъ.

татами со всѣхъ частей странъ, ясно свидѣтельствуетъ о значеніи, придаваемомъ вездѣ развитію желѣзно-дорожной сѣти края. Нѣкоторые города приняли на свой счетъ всѣ издержки по изслѣдованію проектируемой ими линіи и внесли въ сеймъ полные проекты дорогъ, обязываясь, кромѣ того, участвовать опредѣленною суммою въ издержкахъ по постройкѣ испрашиваемой дороги.

Наконецъ, подано нѣсколько петицій о расчищеніи внутреннихъ водяныхъ сообщеній и прорытіи каналовъ съ цѣлью открыть значительнымъ пространствамъ доступъ къ желѣзнымъ дорогамъ.

Изъ этого краткаго обзора содержанія поданныхъ петицій можно до нѣкоторой степени судить о значеніи права инціативы, предоставленнаго сеймовымъ уставомъ депутатамъ. Со всѣхъ частей страны, даже съ самыхъ отдаленныхъ, вносятся въ сеймъ заявленія о потребностяхъ какъ мѣстныхъ, такъ и общихъ. Множество поступающихъ петицій и ничтожное сравнительно число, оставляемое сословіями при первомъ чтеніи безъ дальнѣйшаго хода, свидѣтельствуютъ о значеніи, придаваемомъ депутатами и ихъ избирателями этому, издавна странѣ принадлежащему, праву, а также о той добросовѣстности, съ которою сеймъ относится къ этимъ заявленіямъ депутатовъ.

Тщательное и многостороннее обсужденіе поступившихъ петицій въ сеймовыхъ коммиссіяхъ, гдѣ всѣ однородныя требованія сводятся для составленія по нимъ общаго отзыва, облегчаетъ окончательное обсужденіе возбужденныхъ вопросовъ сословіями, гарантируетъ, насколько это возможно, успѣхъ каждой здравой петиціи, вызванной дѣйствительными потребностями, и приводитъ поступающія на Высочайшее усмотрѣніе отъ сейма петиціи къ сравнительно небольшому числу. Такъ, послѣднимъ сеймомъ представлено было 16 моцій и 51 петиція.

Кто слѣдилъ за дѣятельностью нашихъ сеймовъ съ 60-хъ годовъ, тотъ, безъ сомнѣнія, придетъ къ тому заключенію, что замѣчательное развитіе страны по всѣмъ отраслямъ въ значительной степени обусловливалось именно этою дѣятельностью и принадлежащимъ сейму и депутатамъ правомъ инціативы.

II.

При открытіи сейма передано было земскимъ чинамъ всего 10 правительственныхъ предложеній. Съ того времени поступило 11 предложеній и предвидятся еще нѣсколько, такъ что всего составится неполныхъ тридцать предложеній, подлежащихъ обсужденію сейма.

Изъ поступившихъ, 13 касаются разныхъ измѣненій дѣйствую-

щихъ узаконеній, а 8 предложеній относятся къ чрезвычайнымъ налогамъ и изысканію средствъ для покрытія издержекъ по сейму, по содержанію финскихъ войскъ и народныхъ училищъ и по постройкѣ желѣзныхъ дорогъ.

Въ числѣ законопроектовъ наибольшее значеніе въ экономическомъ отношеніи имѣютъ предложенія, касающіяся дѣленія поземельной собственности и предоставленія частнымъ лицамъ права пріобрѣтенія въ свою собственность нѣкоторыхъ особыхъ казенныхъ земель или пользованія ими, а также предложенія объ устройствѣ складовъ съ правомъ выдавать „warrants“ и о новомъ законѣ объ акціонерныхъ обществахъ.

Съ давнихъ временъ въ Финляндіи, какъ и въ Швеціи, существовалъ одинъ только, закономъ установленный, способъ *дѣленія* поземельной собственности, т.-е. дѣленіе самостоятельнаго имѣнія, геммана, на двѣ или болѣе частей, съ назначеніемъ для каждой части соотвѣтствующей ея величинѣ и качествамъ пропорціональной части налога и прочихъ повинностей геммана. Дабы казна не лишилась своихъ доходовъ съ поземельной собственности, старались установленіемъ разныхъ предѣловъ ограничить это дѣленіе. Такимъ образомъ, въ концѣ XVII-го столѣтія воспрещено было дѣлить гемманы на мѐньшія части, чѣмъ $^1/_4$ геммана; но уже въ 1747 году расширено было право дѣленія до $^1/_8$ геммана и даже на еще мѐньшія части, но съ особаго разрѣшенія и по предварительномъ разслѣдованіи дѣла судомъ. Дѣленіе поземельной собственности затруднялось, кромѣ того, тѣми формальностями, которыми обставлялось опредѣленіе налога для каждой отдѣльной части, дороговизною этой процедуры, а также различіемъ узаконеній для разнаго рода поземельной собственности и тѣми постановленіями, по которымъ одни дворяне имѣли право владѣть нѣкоторыми особаго рода имѣніями. Въ такомъ положеніи дѣло главнымъ образомъ оставалось до возобновленія сеймовъ въ 1863 году, хотя наименьшій предѣлъ раздѣла точнѣе опредѣленъ былъ уже ранѣе постановленіемъ, чтобы каждая самостоятельная часть, по уплатѣ налога и всѣхъ повинностей, въ обыкновенные годы приносила бы, по меньшей мѣрѣ, чистый доходъ, достаточный для пропитанія и содержанія семейства изъ пяти взрослыхъ лицъ. Условіе это называлось „besuttenhet“.

Съ перваго же сейма шестидесятыхъ годовъ начинается съ участіемъ земскихъ чиновъ рядъ законодательныхъ мѣръ, клонящихся къ устраненію разныхъ препятствій, установленныхъ прежде противъ свободнаго раздѣла поземельной собственности. Кромѣ существовавшаго давно способа дѣленія владѣній, вводятся два новыхъ способа: отдѣленіе отъ имѣнія опредѣленной самостоятельной части съ опла-

чиваемымъ казнѣ налогомъ и съ общинными повинностями, и отдѣленіе отъ имѣнія извѣстнаго участка, съ годовою уплатою особаго вознагражденія владѣльцу основного имѣнія, на которомъ осталась отвѣтственность предъ казною и общиною за прежній налогъ и повинности сполна. Въ обоихъ случаяхъ требовалось, чтобы основное имѣніе по раздѣлѣ удовлетворяло условію „besuttenhet", съ пониженіемъ, однако, прежняго условія касательно пропитанія пяти лицъ до содержанія лишь трехъ взрослыхъ. Въ первомъ случаѣ и отдѣленная часть должна была удовлетворять этому же условію; во второмъ, минимальная величина отдѣленнаго участка, за исключеніемъ нѣкоторыхъ особо поименованныхъ случаевъ, опредѣлена была въ 2 гектара.

На послѣдующихъ сеймахъ раздробленіе все болѣе и болѣе облегчалось, причемъ право дѣленія распространялось и на тѣ роды поземельной собственности, до которыхъ оно прежде не касалось. При участіи сеймовъ и съ согласія рыцарства и дворянства исключительная привилегія этого сословія владѣть нѣкоторыми особаго рода имѣніями была отмѣнена.

Такимъ образомъ постепенно облегчалось раздробленіе имѣній, и съ согласія сейма 1885 года минимальная величина отдѣляемаго участка съ годовою уплатою основному имѣнію установлена была въ 1/6 гектара и разрѣшено было, въ опредѣленныхъ случаяхъ и съ соблюденіемъ извѣстныхъ условій, раздробить цѣлыя казенныя имѣнія и общинныя владѣнія на малые участки, дабы облегчить безземельному рабочему населенію пріобрѣтеніе подобныхъ участковъ. Тотъ же сеймъ вошелъ съ ходатайствомъ о томъ, чтобы изданныя въ разное время узаконенія о раздробленіи и отчужденіи земли были сведены въ одно постановленіе, при чемъ выражено было желаніе, чтобы право раздробленія по возможности было еще болѣе расширено.

Вслѣдствіе этого ходатайства внесенъ на нынѣшній сеймъ упомянутый выше законопроектъ, въ которомъ отмѣнено всякое условіе о „besuttenhet", и предложено установить, какъ минимальный предѣлъ, для самостоятельныхъ имѣній 10 гектаровъ обложенной податью земли. То же количество земли предлагается высшимъ предѣломъ для несамостоятельныхъ участковъ, для которыхъ уже всякій минимальный предѣлъ отмѣняется. Сеймовая коммиссія, предварительно разсматривавшая этотъ законопроектъ, не удовольствовалась, однако, этимъ, а предложила въ своемъ отзывѣ не стѣснять раздробленія никакими предѣлами, сохраняя при этомъ всѣ три способа дѣленія поземельной собственности. Предложеніе это принято сеймовыми сословіями, а потому, если рѣшеніе сейма удостоится Высочайшаго утвержденія, всякое стѣсненіе раздробленія имѣній въ сказанномъ

отношеніи будетъ устранено. Остается затѣмъ еще упрощеніе самой процедуры раздѣленія и отчужденія поземельной собственности; процедура эта, однако, строго обусловливается принятою въ странѣ системою поземельной подати и можетъ быть существенно облегчена лишь при измѣненіи этой системы, о чемъ, впрочемъ, на сеймахъ не разъ уже поднимался вопросъ.

Въ связи съ законопроектомъ о дѣленіи имѣній находится правительственное предложеніе, касательно *арендованія* земли. Издавна въ Финляндіи часть потребной для земледѣлія рабочей силы получается землевладѣльцемъ отдачею въ аренду такъ-называемыхъ *торповъ*, т.-е. небольшихъ участковъ, съ имѣющимися на нихъ строеніями и угодьями, съ обязательствомъ для арендатора или *торпаря* отбывать за нихъ опредѣленное число поденщинъ, около трехъ въ недѣлю.

Если контрактъ между торпаремъ и землевладѣльцемъ заключенъ письменно и предъявленъ суду для внесенія въ протоколъ, то положеніе торпаря обезпечено на все время аренды не только противъ владѣльца лично, но и—въ случаѣ перехода по наслѣдству или продажею—противъ притязаній новаго владѣльца. Контракты могутъ быть заключаемы пожизненно или на опредѣленное время, не болѣе 50 лѣтъ. Письменные контракты, не предъявленные суду, имѣютъ силу лишь противъ владѣльца, подписавшаго контрактъ; устные же контракты могутъ быть отмѣнены по желанію одной какой-либо стороны, но обезпечиваютъ во всякомъ случаѣ за торпаремъ право аренды на нѣкоторый, закономъ опредѣленный, срокъ по объявленіи владѣльцемъ контракта отмѣненнымъ. Вообще устные контракты въ большомъ употребленіи и сохраняются свято обѣими сторонами; часто торпъ переходитъ отъ отца къ сыну, и нерѣдко въ нѣкоторыхъ частяхъ края можно встрѣтить торпарей, держащихъ десятокъ и болѣе коровъ и овецъ, да пару лошадей. Въ другихъ мѣстностяхъ торпы гораздо менѣе выгодны. Во всякомъ случаѣ, положеніе торпаря при устныхъ контрактахъ недостаточно обезпечено, равно какъ и вознагражденіе торпаря по истеченіи срока аренды за сдѣланныя имъ затраты по торпу и за улучшеніе торповаго хозяйства.

Законопроектъ, внесенный на нынѣшній сеймъ, не устраняетъ этихъ недостатковъ дѣйствующаго закона, а представляетъ собою лишь сводъ прежнихъ постановленій, встрѣчаемыхъ въ разныхъ узаконеніяхъ. Проектъ поэтому и не принятъ сеймомъ, который постановилъ ходатайствовать о разработкѣ правительствомъ полнаго законо-

проекта, касательно арендованія имѣній и торповъ, и о предложеніи его земскимъ чинамъ на одномъ изъ ближайшихъ сеймовъ.

Что касается законопроекта о предоставленіи частнымъ лицамъ права пользоваться нѣкоторыми особаго рода казенными землями или пріобрѣтенія ихъ въ свою собственность, то считаемъ нужнымъ нѣсколько подробнѣе изложить причину, почему предложеніе это внесено на нынѣшній сеймъ.

Кромѣ торпарей, доставляющихъ только отчасти землевладѣльцамъ необходимую для земледѣлія рабочую силу, послѣдніе или годовымъ контрактомъ, или поденно, на время полевыхъ работъ, нанимаютъ особыхъ рабочихъ даже изъ другихъ мѣстностей. Въ первомъ случаѣ отводится рабочему—а въ случаѣ онъ женатъ и его семейству—помѣщеніе и назначается опредѣленный такъ-называемый штатъ или вознагражденіе хлѣбомъ и другими произведеніями за отбываніе извѣстнаго числа поденщинъ въ недѣлю, обыкновенно трехъ. За поденщины, отбываемыя владѣльцу сверхъ этого положеннаго числа, уплачивается деньгами въ установленномъ размѣрѣ. Положеніе этихъ работниковъ, какъ и прислуги вообще, обезпечено закономъ тѣмъ, что если контрактъ до опредѣленнаго закономъ дня не отмѣненъ какою-либо стороною, то сохраняетъ силу и на слѣдующій годъ. Исправный работникъ остается нерѣдко долго на одномъ и томъ же мѣстѣ и достигаетъ обезпеченнаго положенія подъ старость лѣтъ. Другіе же часто, если не ежегодно, перемѣняютъ мѣсто и нерѣдко подъ старость становятся бременемъ для общины и ея призрѣнія бѣдныхъ.

При конкурренціи земледѣлія, лѣсоводства, лѣтнихъ усиленныхъ строительныхъ и другихъ работъ въ городахъ и общественныхъ, напримѣръ, желѣзно-дорожныхъ, заработная плата наемнымъ работникамъ, особенно лѣтомъ, можетъ значительно подниматься и доставляетъ, въ такомъ случаѣ, безземельному рабочему сельскому населенію вполнѣ достаточныя средства для пропитанія; въ неурожайные же годы или при особомъ стѣсненіи торговой и промышленной предпріимчивости, положеніе этого населенія въ Финляндіи, какъ и вездѣ, становится затруднительнымъ. Увеличеніе безземельнаго рабочаго населенія, особенно въ куопіоской губерніи, поэтому обратило на себя особое вниманіе правительства и общества и вызвало рядъ мѣръ къ улучшенію положенія этого населенія. Кромѣ общихъ мѣръ, направленныхъ къ поднятію вообще крестьянскаго населенія, какъ-то устройства народныхъ школъ и сберегательныхъ кассъ, въ томъ числѣ почтовой съ 253 конторами (въ 1889 г.), мѣръ

къ развитію трезвости въ народѣ и обученія ремесламъ и ручному труду, по инипіативѣ финляндскаго сената, назначена была въ 1882 году особая коммиссія для изслѣдованія положенія безземельнаго рабочаго населенія въ куопіоской губерніи, а въ 1886 г. другая коммиссія для обсужденія вопроса о заселеніи пустопорожнихъ казенныхъ земель и выдѣленіи изъ казенныхъ лѣсовъ участковъ для устройства или казенныхъ торповъ, или самостоятельныхъ владѣній.

Результатомъ работъ этихъ коммиссій, между прочимъ, было внесеніе на нынѣшній сеймъ предложенія объ измѣненіи дѣйствующаго закона о казенныхъ земляхъ съ цѣлью облегчить безземельному населенію пріобрѣтеніе въ свою собственность подобныхъ и другихъ небольшихъ участковъ, а также земель, полученныхъ по осушеніи на казенныя средства болотъ въ разныхъ мѣстностяхъ. На дняхъ предложеніе это будетъ обсуждаться сеймовыми сословіями.

Чтобы дать понятіе о степени раздробленія поземельной собственности въ Финляндіи и о томъ, кому по преимуществу принадлежитъ земля, приведемъ нѣсколько данныхъ, относящихся къ 1888 году.

Число всѣхъ землевладѣльцевъ было тогда 114.415; изъ нихъ 345 дворянъ, 2.218 помѣщиковъ не-дворянъ, 111.557 крестьянъ-собственниковъ и 295 не-финляндскихъ гражданъ. Торпарей, надѣленныхъ землею, считалось 65.679 человѣкъ. Изъ полнаго числа владѣній 3.365 имѣли болѣе 100 гектаровъ обработанной земли, 18.872—отъ 25 до 100 гектаровъ, 56.692—отъ 5 до 25 гектаровъ и 35.486—менѣе 5 гектаровъ.

Изъ этихъ цифръ видно, до какой степени демократическое начало, лежащее въ основаніи законодательства и всего общественнаго строя Финляндіи, выразилось и въ распредѣленіи поземельной собственности. Въ настоящее время немалое число бывшихъ дворянскихъ имѣній перешло въ собственность крестьянъ, которые по числу составляютъ болѣе 97% всего числа землевладѣльцевъ и владѣютъ немалымъ числомъ имѣній, отнесенныхъ по величинѣ къ 1-ой категоріи. Составляя на сеймѣ большинство въ сословіи крестьянъ, они, при равноправности четырехъ сеймовыхъ сословій, имѣютъ значительное вліяніе на законодательство и рѣшеніе всѣхъ дѣлъ вообще.

Все это указываетъ на то, какую цѣну имѣютъ всѣ толки и утвержденія о какихъ-то „финляндскихъ баронахъ“, угнетающихъ и подавляющихъ народъ.

С. М.

ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ

1 апрѣля 1891 г.

Высочайшій рескриптъ 28-го февраля.—Толкованія, вызванныя имъ въ печати. —По вопросамъ о преобразованіи городского управленія.—Соотношеніе между реформами земскою и городскою.—Земскіе начальники, судебное вѣдомство и земство.

Главнымъ событіемъ истекшаго мѣсяца было обнародованіе Высочайшаго рескрипта, даннаго, 28-го февраля, на имя финляндскаго генералъ-губернатора. Въ виду чрезвычайной важности этого документа и толкованій, вызванныхъ имъ въ печати, считаемъ необходимымъ перепечатать его буквально:

„По открытіи вами, по Моему повелѣнію, 8-го (20-го) января сего года, сейма земскихъ чиновъ Финляндіи, ландмаршалъ и тальманы сословій, повергая Мнѣ чувства вѣрноподданнической преданности, почли при этомъ своимъ долгомъ довести до Моего свѣденія о тревожномъ настроеніи въ краѣ, вызванномъ нѣкоторыми мѣропріятіями, предначертанными Мною въ цѣляхъ достиженія болѣе тѣснаго единенія великаго княжества съ прочими частями Россійской державы. Непрестанныя попеченія Мои о благосостояніи и внутреннемъ развитіи Финляндіи и многочисленныя доказательства Моего благоволенія и довѣрія къ ея населенію не оправдываютъ подобнаго настроенія въ краѣ. Только невѣрное истолкованіе тѣхъ началъ, на коихъ зиждутся отношенія великаго княжества къ имперіи и къ верховной власти, и распространеніе сихъ заблужденій среди населенія, во вредъ истиннымъ его интересамъ, могли породить такое прискорбное явленіе.

„Финляндскій край, состоя съ начала нынѣшняго столѣтія, а въ нѣкоторой его части и ранѣе, въ собственности и державномъ обладаніи имперіи россійской, получилъ по волѣ блаженной памяти императора Александра I особый порядокъ внутренняго управленія и Всемилостивѣйшее удостовѣреніе о сохраненіи за нимъ его правъ,

преимуществъ, религіи и коренныхъ законовъ. Таковое удостовѣреніе подтверждаемо было Его державными преемниками.

„Сіи права и преимущества, особое церковное устройство и законы края не только сохраняютъ поныне свое дѣйствіе, но и получили во многихъ частяхъ своихъ дальнѣйшее развитіе, въ соотвѣтствіе потребностямъ населенія Финляндіи. Такимъ образомъ, судьба великаго княжества подъ скипетромъ россійскимъ доказала, что единеніе его съ Россіею не препятствовало свободному развитію мѣстныхъ его учрежденій, а достигнутое Финляндіею благосостояніе непреложно свидѣтельствуетъ о соотвѣтствіи такого единенія собственнымъ ея выгодамъ. Тѣмъ не менѣе, несогласованность нѣкоторыхъ постановленій Финляндіи съ общими государственными узаконеніями и недостаточная опредѣлительность законоположеній, касающихся отношеній великаго княжества къ имперіи, подаютъ, къ сожалѣнію, поводъ къ превратному пониманію дѣйствительнаго значенія мѣръ, принимаемыхъ въ видахъ достиженія цѣлей, общихъ всѣмъ частямъ государства россійскаго. Я надѣюсь, однако, что благоразуміе финскаго народа разсѣетъ это заблужденіе, а правильное пониманіе собственныхъ выгодъ побудитъ его стремиться къ вящшему скрѣпленію узъ, связывающихъ Финляндію съ Россіею. Поручаю вамъ передать отъ Моего Имени Моимъ вѣрноподданнымъ въ Финляндіи, что Я расположенъ относиться съ прежними благоволеніемъ, заботами и довѣріемъ къ финскому народу, неизмѣнно охраняя дарованныя ему россійскими монархами права и преимущества, и что въ намѣренія Мои не входитъ измѣнять начала дѣйствующаго въ краѣ порядка внутренняго управленія. Я вѣрю выраженнымъ чрезъ ландмаршала и тальмановъ сейма вѣрноподданническимъ чувствамъ ко Мнѣ всѣхъ сословій края, сердечно благодарю за нихъ и въ правѣ ожидать отъ преданности Мнѣ населенія Финляндіи единодушнаго содѣйствія къ осуществленію Моихъ предначертаній, клонящихся къ укрѣпленію государственной связи великаго княжества съ имперіею".

Когда Высочайшій рескриптъ появился въ печати, газеты разныхъ оттѣнковъ поспѣшили подчеркнуть въ немъ то, что̀ наиболѣе соотвѣтствовало ихъ взглядамъ. „Новое Время" и нѣкоторыя другія петербургскія изданія обратили особое вниманіе на ту часть рескрипта, которая касается прошедшаго и опредѣляетъ характеръ отношеній, установившихся, по волѣ русскихъ монарховъ, между имперіей и великимъ княжествомъ; въ „Новостяхъ" и „Русскихъ Вѣдомостяхъ" выдвинуты были на первый планъ слова, предрѣшающія ближайшее будущее („въ намѣренія Мои не входитъ измѣнять начала дѣйствующаго въ краѣ порядка внутренняго управленія"); въ „Недѣлѣ" одинаково важнымъ было провозглашено и то, и другое.

Молчали, довольно долго, только „Московскія Вѣдомости"—но зато нарушили молчаніе такою совокупностью фальшивыхъ нотъ, которая составляетъ всецѣло ихъ неотъемлемую собственность. Прежде всего онѣ утверждаютъ, что въ оффиціальномъ переводѣ рескрипта на шведскій языкъ намѣренно допущены весьма серьезныя ошибки. Не зная шведскаго языка, мы не можемъ судить о правильности лингвистическихъ указаній московской газеты. Допустимъ, однако, что они фактически вѣрны — и посмотримъ, имѣютъ ли они то существенно-важное значеніе, которое имъ стараются приписать непримиримые враги финляндскихъ порядковъ. Слова рескрипта: „въ цѣляхъ достиженія болѣе тѣснаго единенія великаго княжества финляндскаго съ прочими частями россійской державы"—переданы, въ переводѣ, такъ: „въ цѣляхъ достиженія ближайшаго (соединенія) союза между великимъ княжествомъ и прочими частями русскаго государства". „*Союзъ* или даже *соединеніе* (унія),—разсуждаетъ, по этому поводу, гельсингфорсскій корреспондентъ „Московскихъ Вѣдомостей", —не одно и то же, что *единеніе*; дѣйствіе же *между* кѣмъ-либо предполагаетъ нѣкоторое равенство между предпринимающими дѣйствіе. Выраженіе: *прочія части россійской державы* имѣетъ въ рескриптѣ значеніе понятія о цѣломъ, то-есть, о Россіи, противополагаемаго понятію о части, въ данномъ случаѣ о Финляндіи, и употребить тутъ предлогъ: *между*—значитъ установлять нѣкоторое равенство между частью и цѣлымъ". Мы привели эту тираду во всей ея неприкосновенности, чтобы показать до чего доходитъ искусство интерпретаціи, поступившее на службу къ тенденціозности. Не нужно быть знатокомъ шведскаго языка, чтобы догадаться, что förening (Vereinigung) —равносильно *соединенію*, а не *союзу*. Это чувствуетъ и самъ толкователь, не рѣшаясь ограничиться однимъ послѣднимъ словомъ. Хорошо понимая, что *соединеніе* весьма близко отъ *единенія*, онъ ставитъ въ скобкахъ слово: *унія* [1])—очевидно, съ цѣлью намекнуть, что финляндцы даже и въ самомъ рескриптѣ хотятъ видѣть подтвержденіе *личной связи* между Финляндіей и Россіей. Конечно, унія бываетъ и *реальная* — но объ этомъ, можетъ быть, сразу и не вспомнятъ, и „страшное" слово, хотя и поставленное въ скобкахъ, произведетъ желанное впечатлѣніе... Весьма любопытны, далѣе, разсужденія о значеніи союза: *между*. Въ какомъ синтаксисѣ, въ какой риторикѣ этому союзу дается характеръ уравнивающій, нивеллирующій, эгалитарный? Неужели соглашеніе, сближеніе, примиреніе *между* двумя лицами означаетъ „нѣкоторое ихъ равенство", а соглашеніе, сближе-

---

[1]) Редакція газеты поступаетъ рѣшительнѣе, чѣмъ ея корреспондентъ: въ передовой статьѣ она прямо переводитъ förening словомъ *унія*, не ставя, рядомъ съ нимъ, никакихъ варіантовъ.

ніе, примиреніе одного лица *съ* другимъ—не означаетъ? Не ясно ли, что все зависитъ здѣсь не отъ употребленія того или другого союза, а отъ самаго свойства соглашенія или сближенія, отъ самыхъ условій примиренія? Въ данномъ случаѣ, о равенствѣ „между предпринимающими дѣйствіе" не можетъ быть рѣчи еще и потому, что самое дѣйствіе предпринимается только одною стороною; припомнимъ, что въ разбираемыхъ нами словахъ рескрипта говорится о мѣропріятіяхъ, предначертанныхъ Государемъ Императоромъ, а не о мѣрахъ, принятыхъ Имъ вмѣстѣ съ финляндскимъ сеймомъ. Всего курьезнѣе, наконецъ, попытка доказать, что подъ именемъ *прочихъ частей россійской державы* въ рескриптѣ разумѣется *цѣлое*, т.-е. *вся* россійская держава. Всякому, учившемуся хотя бы въ городскомъ училищѣ, извѣстно, что *цѣлому* равны только *всѣ* его части, а отнюдь не нѣкоторыя, даже еслибы онѣ и составляли, въ совокупности, *почти* все цѣлое... Еще одинъ примѣръ придирчивости нашихъ финнофобовъ. Словамъ рескрипта: „финляндскій край, состоя въ собственности и въ державномъ обладаніи имперіи россійской"—соотвѣтствуютъ въ переводѣ, если вѣрить „Московскимъ Вѣдомостямъ", слѣдующія выраженія: „Финляндія *принадлежитъ* русскому государству и находится подъ его *властью*". Въ чемъ же тутъ извращеніе смысла подлинника? Развѣ *принадлежность* не равносильна нахожденію въ собственности? Развѣ *власть*, когда ею облечено государство, отличается чѣмъ-либо существеннымъ отъ „державнаго обладанія"? Не очевидно ли, что все это—различія чисто редакціонныя и что смыслъ вышеприведеннаго мѣста въ шведскомъ переводѣ тотъ же самый, какъ и въ русскомъ подлинникѣ?

Съ перваго взгляда можетъ показаться, что лингвистическія упражненія московской газеты—не что иное, какъ безцѣльный взрывъ безсильной злобы, не заслуживающій вниманія и не требующій возраженій. На самомъ дѣлѣ это не такъ. Они входятъ въ составъ новаго плана кампаніи противъ Финляндіи, прямо направленнаго къ тому, чтобы парализовать примирительное дѣйствіе рескрипта. На сцену выдвигаются прежніе оффиціальные переводы правительственныхъ актовъ, столь же, будто бы, неправильные, какъ и послѣдній,—и изъ совокупности проступковъ выводится необходимость надлежащихъ мѣръ предупрежденія и пресѣченія. „Желательно было бы,—говорятъ „Московскія Вѣдомости",—чтобы никакихъ казусовъ, подобныхъ вышеозначеннымъ, съ актами русской государственной власти, при оповѣщеніи ихъ населенію финляндской окраины, впредь не происходило. А еще желательнѣе было бы устраненіе, въ ближайшемъ, по возможности, времени, самой необходимости въ переводахъ сихъ актовъ на мѣстные языки—путемъ распространенія въ краѣ

знанія общегосударственнаго русскаго языка. Такое распространеніе имѣлось въ виду при самомъ присоединенія Финляндіи, еще во времена перваго финляндскаго генералъ-губернатора Спренгтпортена; не терялось оно изъ виду и въ послѣдующія времена. Принятіе нынѣ энергическихъ мѣръ къ усвоенію мѣстнымъ населеніемъ общегосударственнаго русскаго языка (при чемъ шведы могли бы изучать его вмѣсто финскаго, а финны—вмѣсто шведскаго) какъ нельзя болѣе содѣйствовало бы скрѣпленію узъ, связывающихъ Финляндію съ Россіей, въ достиженіе цѣлей общихъ всѣмъ частямъ государства россійскаго,—и развѣ лишь превратное пониманіе могло бы истолковать сіе въ смыслѣ якобы несогласномъ съ правами, привилегіями и коренными законами Финляндіи, или съ началами дѣйствующаго въ краѣ порядка управленія". Признаемся откровенно—мы виновны именно въ такомъ „превратномъ пониманіи". Для насъ совершенно несомнѣнно, что принудительное обученіе финляндцевъ русскому языку и признаніе его государственнымъ языкомъ Финляндіи было бы несовмѣстно съ тѣми „началами дѣйствующаго въ краѣ порядка внутренняго управленія", неприкосновенность которыхъ гарантирована еще разъ Высочайшимъ рескриптомъ 28-го февраля. Употребленіе мѣстныхъ языковъ въ государственныхъ актахъ, въ судѣ, въ преніяхъ сейма, составляетъ именно одно изъ тѣхъ „правъ и преимуществъ", о которыхъ идетъ рѣчь въ рескриптѣ. Замѣнить русскимъ языкомъ финскій языкъ—для шведовъ, шведскій—для финновъ, значило бы разъединить обѣ составныя части финляндскаго населенія, сближеніе которыхъ, столь необходимое для благосостоянія края, постоянно составляло, въ послѣднее время, предметъ усилій правительственной власти. Не трудно понять, во что̀ обратились бы засѣданія сеймовыхъ сословій—въ особенности городского и крестьянскаго, еслибы финны стали являться туда безъ знанія шведскаго языка, шведы—безъ знанія языка финскаго. Русскій языкъ не могъ бы служить для нихъ общей почвой, потому что знакомство ихъ съ нимъ было бы, во всякомъ случаѣ, только книжное. Мѣра, рекомендуемая „Московскими Вѣдомостями", имѣла бы смыслъ лишь какъ „начало конца", какъ первый шагъ къ низведенію Финляндіи на степень обыкновенной русской губерніи... Пускай „Московскія Вѣдомости" увѣряютъ сколько имъ угодно, что мысли ихъ по отношенію къ Финляндіи получили „высшую санкцію" въ рескриптѣ 28-го февраля; онѣ этимъ едва ли кого-нибудь введутъ въ заблужденіе. Лучшимъ доказательствомъ противнаго служитъ настроеніе, которымъ проникнута вся статья московской газеты—настроеніе, прямо противоположное духу и тону Высочайшаго рескрипта. Рескриптъ исполненъ благоволенія къ Финляндіи; онъ выражаетъ довѣріе къ вѣрноподданническимъ чувствамъ,

выраженнымъ всѣми сословіями черезъ ландмаршала и тальмановъ сейма—а „Московскія Вѣдомости" обвиняютъ ландмаршала и тальмановъ въ *дерзости*, говорятъ о сознательномъ финляндскомъ „сепаратизмѣ".

„Превратныя толкованія, неумѣренныя мечтанія, а равно *политическія тоска и уныніе*,—говоритъ другая реакціонная газета,—питались, главнымъ образомъ, неопредѣленностью и шаткостью правительственныхъ воззрѣній на сущность финляндскихъ отношеній, существовавшихъ болѣе тридцати лѣтъ подъ рядъ". Еслибы это было такъ, то „тоска и уныніе" проявились бы гораздо раньше—а между тѣмъ о нихъ до прошлаго года вовсе не было слышно. Откуда, притомъ, выводитъ газета, что въ правительственныхъ воззрѣніяхъ на Финляндію произошла существенная перемѣна, что они только теперь перестали отличаться „неопредѣленностью и шаткостью"? Высочайшій рескриптъ 28-го февраля примыкаетъ всецѣло къ длинному ряду государственныхъ актовъ, обезпечивавшихъ за Финляндіей „сохраненіе ея правъ, преимуществъ, религіи и коренныхъ законовъ". Онъ признаетъ, что „дальнѣйшее развитіе" финляндскаго законодательства соотвѣтствовало потребностямъ населенія, что „единеніе великаго княжества съ Россіей не препятствовало свободному развитію мѣстныхъ его учрежденій". Единеніе Россіи и Финляндіи представляется, такимъ образомъ, не чѣмъ-то еще недостигнутымъ, подлежащимъ осуществленію, а чѣмъ-то уже существующимъ, реальнымъ, несмотря на особенности внутреннихъ порядковъ финляндскаго княжества. Что касается до „несогласованности нѣкоторыхъ постановленій Финляндіи съ общими государственными узаконеніями" и „недостаточной опредѣлительности законоположеній, касающихся отношеній великаго княжества къ имперіи", то на это указывалось уже давно—напримѣръ, въ тронной рѣчи, произнесенной при открытіи сейма 1867 г. Центръ тяжести вопроса, вызвавшаго въ Финляндіи успокоенную теперь тревогу, заключался очевидно не въ томъ, что̀ послужило исторически основой финляндскихъ „правъ и преимуществъ", а въ томъ, какое значеніе они имѣютъ въ настоящемъ и должны имѣть въ будущемъ. На это ясно отвѣчаютъ слова рескрипта: „въ намѣренія Мои не входитъ измѣнять начала дѣйствующаго въ краѣ порядка внутренняго управленія". Разъ что порядокъ управленія Финляндіею остается неизмѣннымъ, разъ что сохраняютъ свою силу упоминаемые въ рескриптѣ „коренные законы" великаго княжества (въ томъ числѣ, безъ сомнѣнія, и сеймовой уставъ, дополненный манифестомъ 13-го іюня 1886 г.), то этимъ самымъ предрѣшенъ способъ согласованія „нѣкоторыхъ финляндскихъ законовъ" съ „общими

государственными узаконеніями"—и предрѣшенъ, конечно, не такъ, какъ того желали бы наши финнофобы.

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ реформа городского управленія будетъ, по всей вѣроятности, совершившимся фактомъ. Если вѣрить слухамъ, содержаніе проекта не во всемъ соотвѣтствуетъ извѣстіямъ, появлявшимся въ газетахъ и приведеннымъ, въ свое время, въ нашихъ обозрѣніяхъ (декабрьскомъ, январьскомъ и февральскомъ). Такъ напримѣръ, по отношенію къ избирательной системѣ предполагались, первоначально, перемѣны частнаго, палліативнаго свойства—а теперь, повидимому, проектируется радикальное ея преобразованіе. Рѣчь идетъ о томъ, чтобы предоставить избирательное право, за немногими исключеніями, однимъ только домовладѣльцамъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно уничтожить существующее дѣленіе избирателей на цензовые разряды, допустивъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, группировку ихъ по состояніямъ или по частямъ города. Объ избирательной монополіи домовладѣльцевъ мы говорили еще недавно, по поводу проекта саратовскихъ „общественныхъ дѣятелей" и книги г. Фесенко. Мы старались показать, что домовладѣльцами не исчерпывается кругъ лицъ, заинтересованныхъ въ благосостояніи города и способныхъ завѣдывать его дѣлами. Чтобы убѣдиться въ томъ, что владѣніе домомъ—далеко не лучшій способъ подготовки къ общественной дѣятельности, стоитъ только припомнить, на комъ лежитъ главная отвѣтственность за анти-гигіеническое состояніе нашихъ городовъ. Численное преобладаніе, на всѣхъ избирательныхъ разрядахъ, и до сихъ поръ принадлежало, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, домовладѣльцамъ; лучше ли, отъ того, шло городское управленіе?.. Съ перваго раза можетъ показаться, что избирательная монополія домовладѣльцевъ, въ городахъ, предрѣшена новымъ земскимъ положеніемъ, пріурочившимъ избирательное право исключительно къ владѣнію землею или инымъ недвижимымъ имуществомъ. На самомъ дѣлѣ, аналогія между земствомъ и городомъ вовсе не такъ велика, чтобы устройство, данное первому, могло и должно было служить образцомъ для послѣдняго. Конечно, представительство уѣзда было бы полнѣе, еслибы въ немъ было сохранено мѣсто для торгово-промышленнаго элемента и отведено мѣсто профессіональному труду; но оно все-таки обнимаетъ собою значительно бо́льшую часть уѣзднаго населенія. Между землевладѣльцами, имѣющими голосъ на избирательномъ съѣздѣ, встрѣчаются люди всѣхъ профессій, всѣхъ сословій (кромѣ крестьянскаго), всѣхъ степеней образованія; крестьянская масса представлена, такъ или иначе, вы-

борными отъ волостей. Разнородность источниковъ, изъ которыхъ составляется земское собраніе, служитъ нѣкоторой гарантіей противъ слишкомъ большой его односторонности и одноцвѣтности. Гораздо меньше оттѣнковъ будетъ въ собраніи, избранномъ домовладѣльцами изъ среды домовладѣльцевъ [1]). Масса останется въ немъ вовсе непредставленною, въ особенности если изъ числа избирателей будутъ устранены владѣльцы домовъ небольшихъ, малоцѣнныхъ. Непредставленною вовсе или представленною очень слабо будетъ, бо̀льшею частью, и городская интеллигенція. Чиновники, учителя, врачи рѣдко обзаводятся домами; они почти всегда имѣютъ въ виду возможность перемѣщенія—и почти всегда его желаютъ, если судьба забросила ихъ въ одинъ изъ тѣхъ небольшихъ, глухихъ, прозябающихъ городовъ, которыхъ у насъ въ Россіи такъ много. Домовладѣльцами, въ такихъ городахъ, являются почти исключительно лица торгово-промышленнаго класса—того самаго класса, вліянію котораго не безъ причины приписываются худшія стороны существующихъ городскихъ порядковъ. Оживить наши города, ускорить и обезпечить ихъ развитіе могла бы только такая избирательная система, при которой не были бы обойдены ни наиболѣе нуждающіеся въ заботливости городского управленія, ни наиболѣе способные направить ее къ желанной цѣли. Большинство послѣднихъ принадлежитъ не къ категоріи домовладѣльцевъ, а къ категоріи квартиронанимателей. Большой ошибкой было бы думать, что призывъ квартиронанимателей къ пользованію избирательнымъ правомъ былъ бы равносиленъ провозглашенію чего-то въ родѣ всеобщей подачи голосовъ. Можно было бы установить минимальный предѣлъ квартирной платы, ниже котораго не спускалось бы избирательное право—предѣлъ, конечно, не одинаковый для всѣхъ городовъ, а измѣняющійся соразмѣрно съ ихъ населенностью, съ ихъ значеніемъ, съ средней цѣнностью квартиръ. Припомнимъ, напримѣръ, докладъ о введеніи квартирнаго сбора, составленный въ 1887 г., по порученію московской городской управы, двумя магистрантами московскаго университета [2]). Привлечь къ платежу этого сбора—а вмѣстѣ съ тѣмъ и къ пользованію избирательнымъ правомъ—предполагалось только тѣхъ, кто платитъ за квартиру не менѣе 240 рублей въ годъ. Такихъ квартиронанимателей, три года тому назадъ, насчитывалось въ Москвѣ около $20^1/_2$ тысячъ, въ томъ числѣ 4.696 чиновниковъ, 940 офицеровъ, 540 служащихъ

---

[1]) Кромѣ домовладѣльцевъ, избирателями предполагается признать еще владѣльцевъ торгово-промышленныхъ предпріятій, требующихъ выборки свидѣтельства по *первой гильдіи*; но такихъ лицъ крайне мало, а во многихъ городахъ ихъ нѣтъ вовсе.

[2]) См. Внутр. Обозрѣніе въ № 12 „Вѣстника Европы" за 1887 г.

въ городскихъ, земскихъ и сословныхъ учрежденіяхъ, 527 нотаріусовъ и адвокатовъ, 720 преподавателей, 834 врача, 324 служащихъ въ аптекахъ, 865 литераторовъ, ученыхъ и техниковъ, 65 драматическихъ артистовъ, 2.870 высшихъ служащихъ по желѣзно-дорожной, страховой и банковой части. Двѣнадцать тысячъ человѣкъ,—т.-е. около $^3/_4$ общаго числа москвичей, платящихъ за квартиру не менѣе 240 рублей въ годъ,—принадлежали, слѣдовательно, къ такъ-называемой интеллигенціи, но отнюдь не къ такъ-называемому пролетаріату, потому что нельзя же считать пролетаріемъ того, кто получаетъ болѣе тысячи рублей въ годъ (плата за квартиру принимается, обыкновенно, за пятую часть годового дохода). Никакой опасности присоединеніе подобныхъ лицъ къ числу избирателей, очевидно, не представляло бы, а запасъ силъ и знаній, который они принесли бы съ собою, былъ бы, безъ сомнѣнія, весьма значителенъ. Еслибы тысячерублевый цензъ представлялся все еще слишкомъ близкимъ къ всеобщей подачѣ голосовъ, можно было бы повысить минимумъ квартирной платы, дающей избирательное право; мы стоимъ только за принципъ, въ высшей степени важный, а не за ту или другую опредѣленную цифру... Припомнимъ, что возможность установленія квартирнаго сбора, тѣсно связаннаго съ расширеніемъ избирательнаго права, предусматривалась уже двадцать лѣтъ тому назадъ, при изданіи городового положенія 1870 г.; припомнимъ, что за избирательное право квартиронанимателей высказалась кахановская коммиссія, что за него стоитъ даже такой осторожный реформаторъ, какъ г. Фесенко... Что касается до заинтересованности квартиронанимателей въ городскихъ дѣлахъ, то достаточной ея гарантіей было бы пріуроченіе избирательнаго права къ извѣстному числу лѣтъ проживанія въ городѣ.

Большой перемѣной къ лучшему, въ сравненіи съ настоящимъ порядкомъ вещей, представляется проектируемое уничтоженіе цензовыхъ избирательныхъ разрядовъ. То же самое мы сказали бы и о территоріальномъ дѣленіи избирателей, еслибы только оно не влекло за собою ограниченія избираемости, т.-е. еслибы лицо, имѣющее право на званіе гласнаго, могло быть избираемо не только въ своемъ, но и во всякомъ другомъ участкѣ. Основанія этого мнѣнія были изложены подробно въ одномъ изъ нашихъ послѣднихъ обозрѣній (1891 г., № 1). Мы старались доказать, что ограниченіе избираемости, ничѣмъ не вызываемое и не оправдываемое, легко можетъ закрыть доступъ въ думу многимъ изъ числа тѣхъ, кого всего желательнѣе было бы видѣть между гласными. Что касается до дѣленія гласныхъ по состояніямъ, то оно проектируется, судя по слухамъ, только тамъ, гдѣ общее число избирателей не менѣе трехсотъ, и не менѣе одной пятой ихъ части—лица не-городскихъ состояній. При налич-

ности этихъ условій образуются двѣ категоріи избирателей (одна—для городскихъ, другая—для не-городскихъ состояній), при чемъ каждая изъ нихъ можетъ, въ случаѣ надобности, быть раздѣлена еще на нѣсколько группъ, соотвѣтствующихъ различнымъ городскимъ мѣстностямъ. Здѣсь, прежде всего, возникаетъ вопросъ, что̀ слѣдуетъ разумѣть подъ именемъ *не-городскихъ состояній.* По буквальному смыслу слова, оно обнимаетъ собою, съ одной стороны, дворянъ и чиновниковъ (духовенство, въ городахъ, какъ и въ уѣздахъ, предполагается исключить изъ числа избирателей), съ другой стороны—крестьянъ, которыхъ въ иныхъ мѣстахъ не мало между городскими домовладѣльцами. Не странно ли, однако, проводить границу между мѣщанами и крестьянами, относить ихъ къ различнымъ избирательнымъ группамъ? Или, быть можетъ, крестьяне-домовладѣльцы не должны быть причисляемы ни къ городскимъ, ни къ не-городскимъ состояніямъ, т.-е. должны быть вовсе лишены избирательнаго права? Для этого довольно трудно было бы пріискать подходящее основаніе; да и во всякомъ случаѣ изъятіе, ограничивающее чьи-либо права, должно быть прямо выражено въ законѣ, а не выводимо изъ него путемъ болѣе или менѣе произвольнаго толкованія. Какъ бы то ни было, на практикѣ дѣленіе по состояніямъ большого значенія имѣть не будетъ, потому что лишь въ немногихъ городахъ домовладѣльцы не-городскихъ состояній (въ особенности—если не причислять къ нимъ крестьянъ) будутъ составлять не менѣе одной пятой части общаго числа избирателей. Мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что обособленіе сословій окажется возможнымъ только въ столицахъ и нѣсколькихъ большихъ городахъ, сохранившихъ, со временъ крѣпостного права, значеніе зимнихъ дворянскихъ резиденцій или создавшихъ, мало-по-малу, довольно многочисленный классъ осѣдлаго чиновничества... Группировка избирателей по сословіямъ существовала до введенія въ дѣйствіе городового положенія въ обѣихъ столицахъ. О тогдашнихъ ея результатахъ существуютъ, какъ извѣстно, весьма различныя мнѣнія, приведенныя нами въ декабрьскомъ внутреннемъ обозрѣніи.

Оправдываются, повидимому, газетные слухи о сокращеніи численнаго состава городскихъ думъ. Теперь наименьшее число гласныхъ—*тридцать*, наибольшее (за исключеніемъ столичныхъ думъ)—*семьдесятъ два.* Первую изъ этихъ цифръ предполагается, кажется, уменьшить до *пятнадцати*, вторую—до *шестидесяти*, причемъ для дѣйствительности собранія будетъ необходимо присутствіе одной половины или одной трети гласныхъ (смотря по тому, какъ велико общее ихъ число: менѣе или болѣе тридцати). Отсюда возможность постановленія рѣшеній по большинству пяти голосовъ противъ трехъ.

причемъ въ составъ большинства могутъ войти городской голова и оба члена городской управы... Малочисленность собранія, какъ и малочисленность избирателей—именно та почва, на которой всего легче могутъ образоваться клики и котеріи, всего свободнѣе могутъ процвѣтать всякія интриги и личные разсчеты. Правда, уравновѣсить малочисленность собранія должно исправное посѣщеніе его засѣданій, достигаемое угрозою взысканія за неявку. Но развѣ трудно пріискать и формально доказать законную причину неявки, и развѣ одно и то же—отмѣтить себя присутствующимъ и дѣйствительно присутствовать въ засѣданіи? Отъ присутствія, хотя бы и не номинальнаго, еще весьма далеко, притомъ, до активнаго, сознательнаго участія въ обсужденіи и рѣшеніи очередныхъ вопросовъ.

Городскую думу предполагается созывать четыре раза въ годъ: въ мартѣ, маѣ, сентябрѣ и ноябрѣ. Въ теченіе мартовской сессіи долженъ быть разсмотрѣнъ отчетъ городской управы за истекшій годъ, въ теченіе сентябрьской сессіи должна быть утверждена смѣта на слѣдующій годъ. Продолжительность каждой сессіи опредѣляется губернаторомъ (или лицомъ, заступающимъ его мѣсто, напримѣръ, въ Петербургѣ—градоначальникомъ); отъ него же зависитъ и продлить ее дальше назначеннаго срока. Для городскихъ думъ въ небольшихъ уѣздныхъ городахъ четыре созыва въ годъ окажутся, быть можетъ, вполнѣ достаточными; но въ городахъ болѣе крупныхъ—и въ особенности въ столицахъ—такая регламентація засѣданій весьма легко можетъ привести къ большой медленности и къ серьезнымъ неудобствамъ для гласныхъ. Дѣло, возникшее или подготовленное къ разрѣшенію вслѣдъ за окончаніемъ сессіи, будетъ по нѣскольку мѣсяцевъ оставаться безъ движенія, только потому, что не будетъ засѣданія думы. Для гласныхъ далеко не одно и то же—придти въ засѣданіе думы одинъ разъ въ недѣлю, въ заранѣе опредѣленный день, или посвятить думѣ восемь, девять, десять дней сряду [1]). Кто состоялъ или состоитъ гласнымъ въ земскомъ собраніи (особенно—губернскомъ), тотъ знаетъ, какъ тяжело отзывается сколько-нибудь продолжительная сессія на собственныхъ, личныхъ дѣлахъ гласнаго. Приходится почти все пріостановить, все бросить и думать только о собраніи, одну часть дня проводя въ засѣданіи, другую—

---

[1]) С.-петербургская городская дума имѣетъ, въ настоящее время, отъ 40 до 50 засѣданій въ годъ; каждая изъ четырехъ ея сессій будетъ продолжаться, слѣдовательно, около десяти дней. Ошибочно было бы думать, что дѣла будутъ оканчиваться быстрѣе, вслѣдствіе уменьшенія числа гласныхъ. Теперь въ Петербургѣ засѣданія думы происходятъ, сплошь и рядомъ, при 55-60 гласныхъ; столько же ихъ будетъ на-лицо, по всей вѣроятности, и при новомъ порядкѣ, въ виду правилъ о взысканіяхъ за неявку и обязательнаго минимума въ 40 гласныхъ.

читая доклады, готовясь къ преніямъ или работая въ подготовительныхъ коммиссіяхъ. Земскимъ гласнымъ примириться съ этимъ сравнительно легко, какъ потому, что это случается только однажды въ годъ, такъ и потому, что это неизбѣжно; при разбросанности гласныхъ по уѣзду или губерніи, частые ихъ созывы въ уѣздный или губернскій городъ представляются рѣшительно немыслимыми. Гораздо болѣе тяжелымъ и непріятнымъ будетъ положеніе гласныхъ городскихъ, когда имъ придется отрываться отъ своихъ занятій четыре раза въ годъ, очень хорошо зная, по прежнему опыту, о возможности другого порядка, свободнаго отъ подобныхъ затрудненій. Недостатокъ нынѣшней практики заключался не въ томъ, что засѣданія думы происходили слишкомъ часто, а въ томъ, что не было опредѣлено ни минимальнаго ихъ числа, ни сроковъ для утвержденія смѣтъ и отчетовъ. Весьма полезно установить, что дума должна собираться *не менѣе* четырехъ разъ въ годъ и должна окончить не позже марта—утвержденіе отчета, не позже сентября—утвержденіе смѣты; но на этомъ, кажется, и можно было бы остановиться... Если всѣ засѣданія думы будутъ обязательно пріурочены къ четыремъ годовымъ сессіямъ, то максимальную продолжительность сессіи желательно было бы опредѣлить въ самомъ законѣ—по примѣру не только стараго, но и новаго земскаго положенія [1]), а не предоставлять разрѣшеніе этого вопроса усмотрѣнію губернатора. Само собою разумѣется, что максимальный срокъ долженъ быть не слишкомъ короткій, въ особенности по отношенію къ столицамъ и другимъ крупнымъ городамъ, гдѣ больше гласныхъ и больше дѣлъ разнообразныхъ и сложныхъ. Желательно было бы также облегчить, по возможности, созывъ чрезвычайныхъ сессій и установить условія, при которыхъ онъ былъ бы обязателенъ для администраціи (напримѣръ, когда о томъ ходатайствуетъ, вмѣстѣ съ управой, значительное число гласныхъ).

Когда, въ прошломъ году, обнародовано было новое положеніе о земскихъ учрежденіяхъ, а вслѣдъ за тѣмъ поставлена на очередь городская реформа, можно было думать, что всѣ вопросы, одинаково касающіеся земскаго и городского самоуправленія, предрѣшены не только по отношенію къ первому, но и по отношенію къ послѣднему. Трудно допустить, что степень самостоятельности, оставленная за земскими учрежденіями—степень, какъ извѣстно, весьма не высокая,—все еще слишкомъ велика для городскихъ думъ; трудно допустить, что зависимость городовъ отъ административной власти должна быть

---

[1]) „Время занятій очередныхъ земскихъ собраній“—сказано въ ст. 67 полож. о земск. учрежд. 12-го іюня 1890 г.—„опредѣляется: для губернскихъ собраній—въ *двадцать*, а для уѣздныхъ—въ *десять* дней“.

еще тѣснѣе, чѣмъ зависимость земства. Новое земское положеніе еще не испытано на опытѣ, такъ что и съ этой точки зрѣнія нѣтъ основанія къ отступленію отъ главныхъ началъ, имъ установленныхъ. Между тѣмъ, если вѣрить слухамъ, проектъ городового положенія далеко не по всѣмъ вышеупомянутымъ вопросамъ совпадаетъ съ закономъ 12-го іюня 1890 г. Такъ напримѣръ, при неутвержденіи министромъ внутреннихъ дѣлъ или губернаторомъ избраннаго земскимъ собраніемъ предсѣдателя или члена земской управы, ст. 119 земскаго положенія *требуетъ* производства новыхъ выборовъ, и только въ случаѣ неутвержденія вновь избраннаго лица разрѣшаетъ замѣщеніе его должности по распоряженію администраціи—а проектъ городового положенія сразу предоставляетъ усмотрѣнію администраціи *или* производство новыхъ выборовъ, *или* назначеніе на вакантную должность. Еще важнѣе другое различіе. Если губернаторъ найдетъ, что постановленіе губернскаго земскаго собранія не соотвѣтствуетъ общимъ государственнымъ пользамъ и нуждамъ или нарушаетъ интересы мѣстнаго населенія, онъ доводитъ о томъ до свѣденія министра внутреннихъ дѣлъ, который либо разрѣшаетъ исполненіе опротестованнаго постановленія, либо входитъ съ представленіемъ объ измѣненіи его или отмѣнѣ въ государственный совѣтъ или комитетъ министровъ (смотря по тому, возникаетъ ли, или не возникаетъ, въ данномъ случаѣ, вопросъ о возвышеніи размѣровъ земскаго обложенія). Проектомъ городового положенія разногласія между администраціей и думой предоставляются, наоборотъ, окончательному разрѣшенію министра внутреннихъ дѣлъ. Значеніе этого различія не требуетъ поясненій.

По дѣйствующему городовому положенію число гласныхъ изъ нехристіанъ не должно превышать одной трети общаго числа гласныхъ. Новый проектъ понижаетъ эту предѣльную цифру до одной пятой. Евреевъ, до пересмотра дѣйствующихъ о нихъ узаконеній, предполагается не допускать вовсе ни къ занятію должностей по городскому общественному управленію, ни къ завѣдыванію отдѣльными отраслями городского хозяйства, ни къ участію въ избирательныхъ собраніяхъ. Въ городахъ девяти западныхъ губерній (кромѣ Кіева) евреи могутъ, однако, быть призываемы къ участію въ думѣ и въ избирательныхъ собраніяхъ, но не иначе, какъ по назначенію губернатора, въ числѣ, опредѣляемомъ министромъ внутреннихъ дѣлъ. Намъ кажется, что *назначеніе* гласныхъ совершенно несовмѣстно съ характеромъ такого общественнаго собранія, какимъ является городская дума [1]). Сами евреи едва ли будутъ дорожить мѣстомъ въ думѣ, ко-

---

[1]) Проектъ городового положенія включаетъ въ составъ думы депутата отъ ду-

торымъ они будутъ обязаны не довѣрію избирателей, а усмотрѣнію власти. Оно поставитъ ихъ въ неловкія отношенія и къ ихъ единовѣрцамъ, и къ администраціи, и къ другимъ гласнымъ; имъ трудно будетъ сохранить свою самостоятельность, еще труднѣе—заставить въ нее повѣрить. Предпочтеніе, оказанное однимъ евреямъ передъ другими, будетъ возбуждать предположенія и толки, ни для кого не выгодные. *Такой* формѣ участія евреевъ въ городскомъ самоуправленіи слѣдуетъ предпочесть, думается намъ, даже безусловное исключеніе ихъ изъ числа избирателей и гласныхъ, впредь до пересмотра законодательства о евреяхъ (какъ это сдѣлано, по отношенію къ земству, закономъ 12-го іюня 1890 г.).

Губернскія присутствія по городскимъ дѣламъ, существующія со времени введенія въ дѣйствіе городового положенія 1870 г., предполагается слить въ одно цѣлое съ установленными закономъ 12-го іюня 1890 г. губернскими присутствіями по земскимъ дѣламъ. Въ виду однородности функцій тѣхъ и другихъ присутствій, сліяніе ихъ совершенно естественно и неизбѣжно; но оно можетъ быть произведено безъ всякаго измѣненія въ ихъ составѣ. Когда, въ 1890 г., разсматривалось и утверждалось новое земское положеніе, реформа городского управленія была уже рѣшена въ принципѣ, а слѣдовательно имѣлось уже въ виду объединеніе мѣстныхъ правительственныхъ учрежденій, вѣдающихъ земское и городское дѣло. Въ составъ земскаго присутствія былъ введенъ, однако—кромѣ предсѣдателя губернской земской управы—еще особый членъ по выбору губернскаго земства. Другими словами, во вниманіе къ важности обязанностей, возлагаемыхъ на присутствіе, признано было необходимымъ имѣть въ его составѣ не одного, а двухъ членовъ, спеціально знакомыхъ съ земскимъ дѣломъ и близко принимающихъ къ сердцу земскіе интересы. Эта необходимость существуетъ, безъ сомнѣнія, и въ настоящее время. Замѣнить второго члена отъ земства городской голова не можетъ, въ виду существеннаго различія между дѣлами земскими и городскими. Въ составѣ присутствія по дѣламъ земскимъ и городскимъ слѣдовало бы, поэтому, сохранить мѣсто и для городского головы, и для члена по выбору отъ губернскаго земства.

Въ одной изъ газетъ было сообщено недавно, въ видѣ слуха, что проектъ городового положенія устраняетъ соединеніе въ одномъ лицѣ

ховенства, если епархіальное начальство найдетъ нужнымъ его назначить, а также, въ извѣстныхъ случаяхъ, уполномоченныхъ отъ министерства государственныхъ имуществъ, военнаго министерства и удѣльнаго вѣдомства. Всѣ эти лица являются представителями правительственныхъ *учрежденій*, владѣющихъ въ городѣ недвижимою собственностью, и потому участіе ихъ въ думѣ не вызываетъ тѣхъ возраженій, которыя могутъ быть сдѣланы противъ *назначенія* въ гласные частныхъ лицъ.

предсѣдательства въ городской думѣ и въ городской управѣ. Такая перемѣна была бы въ высшей степени желательна—но, сколько намъ извѣстно, проектъ ея не намѣчаетъ... Дисциплинарную отвѣтственность должностныхъ лицъ городского управленія предполагается установить на тѣхъ же основаніяхъ, какія приняты закономъ 12-го іюня 1890 г., по отношенію къ предсѣдателямъ и членамъ земскихъ управъ. Городскіе головы и члены городскихъ управъ становятся чиновниками, удаленіе которыхъ отъ должности предоставляется усмотрѣнію губернскихъ присутствій и министерства внутреннихъ дѣлъ.

Новыхъ фактовъ изъ дѣятельности земскихъ начальниковъ и уѣздныхъ съѣздовъ газеты, въ послѣднее время, сообщали немного; но между двумя изданіями, одинаково сочувствующими судебно-административной реформѣ, завязалась недавно полемика, бросающая небольшой лучъ свѣта въ глубокіе потемки провинціальной, деревенской жизни. Откровенный „Гражданинъ", меньше всего считающій нужнымъ скрывать или хоть чѣмъ-нибудь прикрывать свои вожделѣнія, поднялъ крикъ о *противодѣйствіи*, встрѣчаемомъ земскими начальниками со стороны... судебнаго вѣдомства! Противодѣйствіе это такъ велико, что угрожаетъ отставкой лучшихъ земскихъ начальниковъ, извращеніемъ учрежденія, побѣдой безвластія и анархіи. „Сущность противодѣйствія" заключается въ томъ, чтобы не дать развиться отличительнымъ чертамъ института земскихъ начальниковъ —„бóльшей самостоятельности въ толкованіи и примѣненіи буквы закона, большей свободы отъ формы, болѣе сильному, ясному и крѣпкому проявленію власти надъ крестьянами". „Съ какого права,—вопрошаетъ „Гражданинъ",—товарищъ прокурора или члены суда могутъ смотрѣть на учрежденіе и практику земскаго начальника иначе, чѣмъ смотритъ онъ, земскій начальникъ, иначе, чѣмъ смотритъ губернаторъ? Ясно, что тутъ кроется крупное недоразумѣніе, которое устранить не трудно. Стоило бы только разъяснить мѣстнымъ органамъ судебнаго вѣдомства, что ихъ прямой долгъ—содѣйствовать и помогать земскому начальнику въ исполненіи возложенныхъ на него правительствомъ обязанностей, содѣйствовать единомысліемъ, а ничѣмъ не противодѣйствовать". Противъ „Гражданина" выступилъ, на этотъ разъ, его товарищъ по оружію. Въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ" появилось письмо „дворянина", аттестующее судей и прокуроровъ (со словъ „высшихъ представителей губернской администраціи") „самыми горячими, самыми искренними сотрудниками административныхъ чиновъ новыхъ учрежденій". „Лучшій отвѣтъ на сѣтованія и причитанія князя Мещерскаго,—продолжаетъ „дворянинъ",—можно

найти въ самомъ законѣ, изъ котораго видно, что положеніе хотя бы прокурорскаго надзора и уѣздныхъ членовъ суда вовсе не таково, чтобы они въ силахъ были оказать земскимъ начальникамъ какое-либо противодѣйствіе. Участіе прокурорскаго надзора въ дѣятельности новыхъ судебныхъ учрежденій ограничивается, какъ извѣстно, лишь тѣмъ, что въ уѣздныхъ съѣздахъ товарищи прокурора, а въ губернскихъ присутствіяхъ прокуроры даютъ свои заключенія, ни для кого необязательныя, съ которыми члены съѣзда или присутствія могутъ согласиться или не согласиться и которыя, само собою разумѣется, на свободу и самостоятельность рѣшеній никакого вліянія имѣть не могутъ. Роль уѣздныхъ членовъ суда едва ли болѣе вліятельна: они являются равноправными съ прочими членами присутствія, и только при отсутствіи предводителя дворянства принимаютъ на себя предсѣдательствованіе въ уѣздномъ съѣздѣ". Письмо „дворянина" оканчивается требованіемъ „фактовъ, фактовъ", которыми подтверждались бы обвиненія „Гражданина". „Зачѣмъ спрашивать отъ меня фактовъ,— отвѣчаетъ кн. Мещерскій, упрекнувъ, предварительно „Московскія Вѣдомости" въ „циничномъ фарисействѣ" и „цинизмѣ невѣжества", —когда почти въ каждомъ нумерѣ я привожу отзывы самихъ земскихъ начальниковъ?! Газета въ своемъ незнаніи вопроса говоритъ, что въ законѣ нѣтъ ничего, что̀ бы обязывало земскаго начальника терпѣть отъ судебнаго вѣдомства. А обязанность для земскаго начальника руководствоваться кассаціонною практикой сената по дѣламъ мировой юстиціи? А большинство голосовъ на съѣздѣ изъ товарища прокурора, члена окружного суда и городового судьи противъ двухъ земскихъ начальниковъ, напримѣръ? Это не законъ?" Въ томъ же нумерѣ „Гражданина" помѣщено письмо (по обыкно̀венію—безъ означенія имени и мѣста, а съ неопредѣленнымъ указаніемъ: „изъ московской губерніи"), подливающее воду на мельницу редактора. „Практика новой власти,—пишетъ тоскующій и унывающій корреспондентъ, —что-то мало приноситъ намъ пользы, да какъ бы не принесла еще большихъ бѣдъ, ибо безсиліе власти хуже безвластія. Какое значеніе можетъ имѣть для *насъ* (кто такое—эти *мы*?) власть земскаго начальника, если дѣятельность его тормазится, если и при немъ та же судейская процедура, тѣ же апелляціи, тѣ же кассаціи и та же многомѣсячная волокита. Мы не видимъ и твердости новой власти: приговоры волостныхъ судовъ, лишь дѣло касается тѣлеснаго наказанія, какъ негуманные, отмѣняются; право собственности, ограждаемое рѣшеніями этой власти, игнорируется изъ-за буквы, изъ-за формы; пьянство, преслѣдуемое ею, служитъ поводомъ къ смягченію наказанія за проступки; спрашивается: гдѣ же сила и твердость этой власти, если рѣшенія ея только скоро отмѣняются или смягчаются, а утверждаются только

въ рѣдкихъ случаяхъ, проходя чрезъ губернское присутствіе, съѣздами другихъ уѣздовъ? Какъ дѣло идетъ въ другихъ мѣстахъ—мы не знаемъ, но у насъ народъ почуялъ, что нечего ему бояться какой-то машинки, которая при земскихъ начальникахъ должествовала его сѣчь за безобразія, и что, что бы онъ ни сдѣлалъ, подачею апелляціоннаго прошенія дѣло можетъ поправиться".

Въ этой перестрѣлкѣ, напоминающей намъ поговорку: „милые бранятся—только тѣшатся", московская газета обнаружила, безспорно, бо́льшее знаніе закона, бо́льшее уваженіе къ литературнымъ приличіямъ; на сторонѣ петербургской газеты оказывается, зато, преимущество „искренности". Фантастично, безъ сомнѣнія, то присутствіе уѣзднаго съѣзда, въ которомъ *товарищъ прокурора* (!) образуетъ, вмѣстѣ съ членомъ окружного суда и городскимъ судьею, большинство, подавляющее голоса земскихъ начальниковъ, — но вполнѣ возможно разногласіе, и притомъ разногласіе принципіальное, между различными категоріями должностныхъ лицъ, входящихъ въ составъ уѣзднаго съѣзда. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только припомнить нѣсколько фактовъ, приведенныхъ въ нашихъ прежнихъ обозрѣніяхъ. Земскіе начальники, засѣдающіе въ уѣздномъ съѣздѣ, подаютъ голосъ за наказаніе крестьянина, *допустившаго себя къ приводу по этапу;* судебные члены находятъ, что такого проступка нашъ законъ не знаетъ—а гдѣ нѣтъ проступка, тамъ нѣтъ и наказанія. Земскіе начальники считаютъ возможнымъ судить и осудить обвиняемаго въ оскорбленіи священника, не смотря на отсутствіе жалобы со стороны оскорбленнаго; судебные члены съѣзда возражаютъ, что это было бы явнымъ нарушеніемъ основныхъ началъ уголовнаго процесса [1]). Не ясно ли, что при нѣкоторой раздражительности, нѣкоторой нетерпимости членовъ первой группы, мнѣніе, идущее въ разрѣзъ съ ихъ взглядами, можетъ и должно быть разсматриваемо ими какъ подрывъ ихъ авторитета, какъ противодѣйствіе ихъ власти? Въ этомъ именно смыслѣ высказывался „Гражданинъ", когда говорилъ о вышеупомянутыхъ случаяхъ—а у „Гражданина" есть, безспорно, единомышленники въ тѣхъ сферахъ, къ которымъ принадлежитъ значительная часть земскихъ начальниковъ. Мы вполнѣ убѣждены, что жалобы на *противодѣйствіе* чиновъ судебнаго вѣдомства не сочинены петербургскою реакціонною газетой; мы вполнѣ убѣждены, что жалующихся, въ дѣйствительности, не мало и что нѣкоторые изъ нихъ ропщутъ bona fide, чистосердечно негодуютъ на судейскій „либерализмъ". Весь вопросъ въ томъ, что понимается здѣсь подъ именемъ *противодѣйствія*. Противодѣйствіе,

---

[1]) См. Внутреннее Обозрѣніе въ № 11 „Вѣстника Европы" за 1890 г.

по терминологіи „Гражданина“ и его приверженцевъ — это не что иное, какъ уваженіе къ закону, т.-е. подчиненіе его требованіямъ, когда они ясны, разумное, осторожное, безпристрастное ихъ толкованіе, когда они могутъ быть поняты такъ или иначе. Противодѣйствіе—это напоминаніе о томъ, что земскіе начальники ни порознь, ни in corpore не въ правѣ нарушать, обходить или дополнять законъ, не въ правѣ создавать новые проступки, не въ правѣ утверждать незаконное рѣшеніе, съ цѣлью оградить престижъ власти, его постановившей. Противодѣйствіе—это всякая попытка доказать, что передъ закономъ и судомъ всѣ равны, что у крестьянина есть и честь, и чувство, что строгость—не синонимъ справедливости. Весьма вѣроятно, что въ *такомъ* „противодѣйствіи“ повинны далеко не всѣ городскіе судьи, не всѣ уѣздные члены окружного суда; но нельзя отрицать, что наклонность къ нему существуетъ въ средѣ судебнаго вѣдомства, именно потому, что оно—судебное. Когда-нибудь, быть можетъ, она и здѣсь угаснетъ—но для этого нужно еще много лѣтъ, нужно появленіе на сцену новыхъ поколѣній, иначе воспитанныхъ, иначе относящихся къ традиціямъ судебной реформы... Чтобы быть вполнѣ послѣдовательнымъ, „Гражданинъ“ долженъ предложить другое средство къ достиженію намѣченной имъ цѣли. Предписать судебнымъ членамъ уѣздныхъ съѣздовъ „содѣйствовать единомысліемъ“, приказать имъ смотрѣть на „практику“ земскаго начальника глазами самого начальника или губернатора—значило бы остановиться на пол-дорогѣ, потому что судьи все-таки остались бы судьями. Полное „единомысліе“ въ средѣ новыхъ учрежденій установилось бы только въ такомъ случаѣ, еслибы изъ нея вовсе былъ удаленъ элементъ судебный, неисправимо „противодѣйствующій“ и, слѣдовательно, зловредный — и сообразно съ этимъ измѣнена и вся процедура у земскихъ начальниковъ и въ уѣздныхъ съѣздахъ.

Если „Гражданинъ“ и не достигъ еще крайней степени послѣдовательности, то во всякомъ случаѣ онъ гораздо логичнѣе, чѣмъ „Московскія Вѣдомости“. Разстояніе между обѣими газетами, по занимающему насъ вопросу, вовсе не такъ велико, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда. Судебные члены уѣзднаго съѣзда непріятны „Гражданину“, какъ оберегатели закона и законныхъ формъ, обезпечивающихъ, въ бо́льшей или ме́ньшей мѣрѣ, права тяжущихся и подсудимыхъ. Къ этимъ законнымъ формамъ недружелюбно относится и московская газета—а отъ подобнаго отношенія только одинъ шагъ до пожеланій, откровенно высказываемыхъ „Гражданиномъ“. Мы видѣли уже, что авторъ одного изъ безчисленныхъ „писемъ“, печатаемыхъ кн. Мещерскимъ, возстаетъ противъ судебной процедуры, апелляцій и кассацій, тормазящихъ и умаляющихъ власть

земскаго начальника. „При чемъ же тутъ — восклицаютъ „Московскія Вѣдомости“ — судебное вѣдомство? Вѣдь апелляціи и кассаціи въ каждомъ данномъ случаѣ изобрѣтаются не судебнымъ вѣдомствомъ; онѣ установлены закономъ, который дѣйствительно обставляетъ судопроизводство земскихъ начальниковъ многочисленными и далеко не всегда необходимыми формальностями. Мы, съ своей стороны, постоянно ратовали противъ излишняго формализма, внесеннаго въ судебную дѣятельность земскихъ начальниковъ закономъ 12-го іюля и 29-го декабря 1889 года, полагая, что чѣмъ проще будетъ судебная процедура въ новыхъ учрежденіяхъ, тѣмъ больше пользы принесутъ земскіе начальники, стоящіе на высотѣ своего призванія. Мы и теперь скорбимъ о томъ, что этотъ излишній формализмъ способенъ тормазить до извѣстной степени власть земскихъ начальниковъ“. Если „формализмъ“, созданный закономъ, излишенъ и вреденъ, то не излишни ли, не вредны ли и главные его охранители,—т.-е. чины судебнаго вѣдомства, участвующіе, такъ или иначе, въ дѣятельности новыхъ судебно-административныхъ учрежденій? Не слѣдуетъ ли, по крайней мѣрѣ, привести ихъ къ одному знаменателю съ ихъ коллегами, приказавъ имъ — или „авторитетно внушивъ“—во всемъ поддерживать послѣднихъ? Desiderata кн. Мещерскаго—это, въ сущности, естественный выводъ изъ посылокъ, принимаемыхъ и „Московскими Вѣдомостями“.

Солидарность обѣихъ реакціонныхъ газетъ выражается съ особенною ясностью въ „голосахъ изъ провинціи“, для которыхъ столь гостепріимно открыты ихъ столбцы. Письмо г. Петрова: „Нѣсколько словъ о строгости“, письмо г. Морокина: „Два слова о земскихъ начальникахъ“ были бы столь же умѣстны въ „Гражданинѣ“, какъ и въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“. Вотъ, напримѣръ, какъ разсуждаетъ г. Морокинъ. Упомянувъ о томъ, что свадебные расходы, въ деревняхъ, значительно увеличиваются выпрашиваніемъ денегъ — выпрашиваніемъ, въ которомъ участвуютъ мужики, бабы, дѣвки, даже ребятишки и которое доходитъ иногда до насилія, въ родѣ вторженія въ избу или разбиванія оконъ,—авторъ „Двухъ словъ“ приходитъ къ слѣдующему заключенію: „чтобы прекратить такія дикія безобразія и вымогательства у крестьянъ, и безъ того разоряемыхъ свадебными расходами, земскому начальнику слѣдуетъ объявить сельскимъ и деревенскимъ старостамъ, что за подобныя вымогательства и безобразія виновные будутъ привлекаемы къ отвѣтственности за буйство, и пр.“ Одно изъ двухъ: или „безобразія“, совершаемыя по поводу свадебъ, соединяютъ въ себѣ признаки *буйства*, въ смыслѣ проступка, запрещеннаго закономъ подъ страхомъ наказанія (уставъ о наказ. налаг. миров. суд., ст. 38), или не соединяютъ. По отношенію

къ случаямъ перваго рода объявленіе, проектируемое г. Морокинымъ, было бы совершенно излишне; старосты и безъ того должны знать, что *буйство*, гдѣ бы и по какому бы поводу оно ни было допущено, подлежитъ уголовному преслѣдованію. По отношенію къ случаямъ второго рода объявленіе это было бы опасно, какъ возможный источникъ весьма серьезныхъ недоразумѣній. Назойливое выпрашиванье денегъ у жениха или у родителей невѣсты можетъ быть *безобразіемъ*, отнюдь не будучи проступкомъ. Авторитетный призывъ къ преслѣдованію „безобразій" неминуемо повлекъ бы за собою возбужденіе множества судебныхъ дѣлъ, безъ всякой законной къ тому причины. Волостной судъ не посмѣлъ бы оправдывать обвиняемыхъ, привлеченныхъ къ отвѣтственности вслѣдствіе „объявленія" земскаго начальника—и въ результатѣ получилось бы именно то, чего такъ пламенно желаетъ „Гражданинъ": созданіе, собственною властью земскаго начальника, новаго проступка, непредусмотрѣннаго закономъ.

Завѣтныя мечты реакціонной прессы не исчерпываются расширеніемъ сферы карательной власти земскихъ начальниковъ. Газетамъ извѣстнаго пошиба хотѣлось бы сдѣлать земскихъ начальниковъ вездѣсущими, всемогущими, во все вмѣшивающимися, всѣмъ орудующими. Для этого нужно, прежде всего, какъ можно больше увеличить ихъ число или, по меньшей мѣрѣ, снабдить ихъ сотрудниками, дѣйствующими въ томъ же направленіи и духѣ. Такими сотрудниками могли бы быть, по мнѣнію „Гражданина", „дворяне-помѣщики, люди достойные и просвѣщенные, живущіе въ своихъ помѣстьяхъ". Стóитъ только предоставить имъ „хотя бы нѣкоторыя права земскихъ начальниковъ надъ окрестными крестьянами" — и „наша расшатанная деревня будетъ выведена изъ печальнаго состоянія, въ какомъ она находится въ настоящее время"; поднято будетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, „значеніе помѣщиковъ, чтó необходимо въ интересахъ государства особенно теперь, при введеніи новой земской реформы" (?). Итакъ, проектируется не только „вотчинная полиція", въ родѣ остзейской, но нѣчто гораздо бóльшее—проектируется возвращеніе къ той „сотнѣ тысячъ полиціймейстеровъ", которая существовала во времена крѣпостного права. Присоединится ли къ этой „счастливой мысли" московскій близнецъ „Гражданина"—пока еще неизвѣстно; но онъ усвоилъ себѣ другое петербургское предложеніе. Мы знаемъ, что „Гражданинъ" стоитъ за обязательное включеніе земскихъ начальниковъ въ число гласныхъ земскаго собранія; въ томъ же смыслѣ высказался недавно курскій корреспондентъ „Московскихъ Вѣдомостей". Поводомъ къ тому послужилъ докладъ коммиссій курскаго губернскаго земскаго собранія, пришедшей къ убѣжденію, что „земскій начальникъ долженъ имѣть постоянное общеніе съ земствомъ". „Безъ уча-

стія земскихъ начальниковъ, — такъ разсуждаютъ курскіе земцы, — всѣ начинанія земской экономической коммиссіи, какъ органа губернскаго земства, будутъ имѣть характеръ случайный. Самая помощь земства часто будетъ направляться не туда, гдѣ въ ней ощущается наибольшая нужда у населенія". Корреспондентъ московской газеты, присоединяясь къ мнѣнію коммиссіи, иллюстрируетъ его ссылкой на дѣятельность земскихъ врачей. „Критиковать эту дѣятельность, —говоритъ онъ, — считается преступленіемъ противъ либерализма, а между тѣмъ она часто изобилуетъ такими явленіями, которыя показываютъ небрежность къ дѣлу земскихъ врачей, вслѣдствіе чего населеніе, не смотря на большія затраты земства, остается безъ надлежащей медицинской помощи. Недаромъ въ одномъ изъ уѣздныхъ земствъ былъ возбужденъ вопросъ о томъ, что слѣдуетъ просить мѣстныхъ земскихъ начальниковъ, чтобы они наблюдали, въ достаточной ли степени и надлежащимъ ли образомъ лица земскаго медицинскаго персонала подаютъ сельскому населенію врачебную помощь?" Здѣсь допущена, прежде всего, крупная фактическая ошибка. Критическое отношеніе къ дѣятельности земскихъ врачей было въ земскихъ сферахъ — все равно, „либеральныхъ" или „не-либеральныхъ" — явленіемъ совершенно обыкновеннымъ; весьма часто оно шло даже слишкомъ далеко и вызывало реакцію, въ видѣ стремленія земскихъ врачей обезпечить себя отъ произвола земскихъ управъ и земскихъ собраній. Безспорно, земство должно наблюдать, *въ достаточной ли степени* земскіе врачи подаютъ медицинскую помощь; но въ вопросѣ о томъ, *надлежащимъ ли образомъ* подается эта помощь, земство некомпетентно, некомпетентны и земскіе начальники. Всего менѣе цѣлесообразнымъ судъ надъ *качествомъ* врачебной помощи былъ бы именно въ рукахъ земскихъ начальниковъ. Представимъ себѣ, напримѣръ, земскаго начальника благоволящаго къ земскому врачу и аттестующаго его съ самой лучшей стороны; кто изъ крестьянъ, подвѣдомственныхъ земскому начальнику, рѣшится пойти наперекоръ этой аттестаціи и принести земской управѣ жалобу на врача, вниманіе котораго къ массѣ населенія вовсе не соотвѣтствуетъ, быть можетъ, вниманію его къ немногимъ избраннымъ? Наоборотъ, кто изъ крестьянъ рѣшится высказаться за земскаго врача, дурно аттестуемаго земскимъ начальникомъ, хотя бы въ основаніи этой аттестаціи лежали обстоятельства, не имѣющія ничего общаго съ профессіональнымъ искусствомъ и усердіемъ врача? Не слѣдуетъ упускать изъ виду, что земскій врачъ, въ провинціальной глуши, часто бываетъ почти единственнымъ интеллигентнымъ свидѣтелемъ дѣятельности земскаго начальника... Безспорно, земскій начальникъ можетъ служить, иногда, полезнымъ по-

мощникомъ земства, исполнителемъ, на мѣстѣ, нѣкоторыхъ земскихъ порученій; но отсюда вовсе не вытекаетъ еще его право быть гласнымъ, безсмѣннымъ и непремѣннымъ. Вѣдь полицейскіе чины также помогаютъ земству, взыскивая земскіе сборы, разсылая окладные листы и т. п.—но законъ, тѣмъ не менѣе, устраняетъ ихъ изъ числа избирателей и гласныхъ. Мы никакъ не можемъ, поэтому, согласиться съ заключеніемъ корреспондента, что „не даромъ ближайшіе начальники крестьянскаго населенія получили названіе *земскихъ*". Земскими, въ настоящемъ смыслѣ слова, могутъ быть только избранники земства, его „излюбленные" люди. „Земскій" начальникъ — это только титулъ, такой же титулъ, какимъ было, тридцать лѣтъ тому назадъ, выраженіе: „*земскій* исправникъ".

Новое земское положеніе еще нигдѣ не введено въ дѣйствіе — а между тѣмъ появляются уже ходатайства объ измѣненіи нѣкоторыхъ его постановленій. Пермское губернское земство ходатайствуетъ о томъ, чтобы въ предсѣдатели земскихъ управъ могли быть избираемы лица, не имѣющія правъ государственной службы, но прослужившія уже предсѣдателями не менѣе двухъ или трехъ трехлѣтій. И въ самомъ дѣлѣ, при дѣйствіи положенія 12-го іюня 1890 г. предсѣдательское мѣсто въ управѣ окажется недоступнымъ для многихъ лицъ, съ пользой и почетомъ занимавшихъ его въ теченіе многихъ лѣтъ и вполнѣ достойныхъ сохранить его за собою и при новомъ порядкѣ. Особенно часто такіе случаи будутъ встрѣчаться въ губерніяхъ отдаленныхъ, гдѣ между землевладѣльцами мало дворянъ и чиновниковъ; но они возможны и въ другихъ мѣстностяхъ, болѣе центральныхъ. Такъ напримѣръ, въ одномъ изъ губернскихъ городовъ, ближайшихъ къ Петербургу, предсѣдателемъ уѣздной земской управы состоитъ уже около десяти лѣтъ крестьянинъ, очень много сдѣлавшій для уѣзда и пользующійся въ немъ заслуженной популярностью. Нельзя не пожелать, чтобы дальнѣйшая служба такихъ людей не встрѣтила препятствія въ постановленіи чисто формальномъ, отнюдь не гарантирующемъ успѣшность выбора на важнѣйшую земскую должность. Еще серьезнѣе другой вопросъ, затронутый пермскимъ губернскимъ земствомъ: это—порядокъ избранія гласныхъ отъ крестьянъ. На основаніи положенія 12-го іюня 1890 г., они назначаются губернаторомъ изъ числа кандидатовъ, выбранныхъ волостными сходами. Пермское земство предлагаетъ предоставить кандидатамъ самимъ опредѣлять, кто изъ нихъ долженъ быть гласнымъ. При всемъ несовершенствѣ этого порядка, онъ все-таки больше соотвѣтствовалъ бы характеру и назначенію земскихъ учрежденій.

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1-го апрѣля 1891.

Толки о князѣ Бисмаркѣ въ нѣмецкой печати.—Кандидатура его въ члены имперскаго сейма. — Политическая дѣятельность частныхъ лицъ въ Германіи. — Карьера Виндгорста.—Положеніе дѣлъ въ Италіи и задачи новаго министерства. — Смерть принца Наполеона.—Парламентскіе выборы и ихъ результаты въ Австріи.—Сербскія и болгарскія дѣла.

Прошелъ уже цѣлый годъ со времени отставки князя Бисмарка, и до сихъ поръ въ германской печати не прекращаются споры, связанные съ личностью и дѣятельностью бывшаго канцлера. Консервативныя партіи, привыкшія подчиняться его авторитету и слѣдовать его указаніямъ въ теченіе многихъ лѣтъ, потеряли свою устойчивость и тщетно стали искать около себя новую точку опоры, новую руководящую силу, къ которой можно было бы обращаться за вдохновеніемъ; многіе по старой привычкѣ отыскиваютъ уроки политической мудрости у прежняго источника, и оттого каждая газетная статья, приписываемая внушенію Бисмарка, становится предметомъ многочисленныхъ комментаріевъ, догадокъ и выводовъ. Съ своей стороны, прогрессисты какъ бы по инерціи продолжаютъ вести оппозицію противъ бывшаго канцлера въ печати и въ парламентѣ; они не только поддерживаютъ постоянную полемику противъ его предполагаемыхъ или дѣйствительныхъ воззрѣній, но разоблачаютъ и критикуютъ его правительственные грѣхи въ прошломъ, опасаясь какъ будто, что онъ вновь получитъ власть въ свои руки.

Слухи о возможномъ примиреніи Вильгельма II съ княземъ Бисмаркомъ повторяются все чаще, и въ нихъ нѣтъ ничего невѣроятнаго, при той впечатлительности и перемѣнчивости, которыя характеризуютъ дѣйствія и рѣшенія императора. Неправдоподобнымъ можно считать только возвращеніе Бисмарку прежняго оффиціальнаго поста, но возстановленіе его роли, какъ совѣтника и руководителя, представляется вполнѣ возможнымъ. Въ трудныхъ и сложныхъ вопросахъ политики, какъ напримѣръ въ тарифныхъ переговорахъ съ Австріею, чувствуется потребность въ опытной, энергической и властной рукѣ, способной дать дѣлу надлежащее направленіе и добиться выгодной развязки; канцлеръ Каприви не имѣетъ за собою ни такого политическаго опыта и авторитета, ни личнаго обаянія. Явилась поэтому мысль — достигнуть косвеннаго участія бывшаго канцлера въ теку-

щихъ государственныхъ дѣлахъ, посредствомъ призванія его въ члены парламента. Націоналъ-либералы выставили кандидатуру князя Бисмарка въ одномъ изъ вакантныхъ избирательныхъ округовъ, въ Ганноверѣ,—конечно, не безъ вѣдома и согласія самого кандидата, который уже заранѣе готовится къ предстоящему переѣзду въ Берлинъ, для новой парламентской дѣятельности, въ качествѣ простого депутата имперскаго сейма. Присутствіе организатора нынѣшней германской имперіи въ рядахъ выборныхъ членовъ той самой палаты, гдѣ недавно еще онъ являлся грознымъ Юпитеромъ, во всеоружіи политическаго могущества, будетъ въ высшей степени интереснымъ и поучительнымъ фактомъ,—интереснымъ вовсе не въ смыслѣ напоминанія о непрочности человѣческихъ судебъ. Значеніе Бисмарка зависѣло отъ исключительныхъ качествъ его характера и ума, а не отъ высокаго мѣста, занимаемаго имъ въ составѣ правительства; и послѣ отставки онъ остается тѣмъ же первымъ государственнымъ человѣкомъ Германіи, какъ и раньше, и какъ частное лицо, какъ гражданинъ, пользующійся заслуженнымъ общественнымъ довѣріемъ, онъ можетъ еще оказать странѣ большія услуги своими мнѣніями и совѣтами, своею критикою правительственныхъ проектовъ и предположеній. Въ Германіи, какъ и въ другихъ западно-европейскихъ государствахъ, всякій талантъ и всякое знаніе имѣютъ полную возможность высказываться и служить общественнымъ интересамъ, независимо отъ согласія или несогласія съ идеями и стремленіями лицъ, стоящихъ въ данное время во главѣ правительства. Рѣчи князя Бисмарка, какъ народнаго представителя въ имперскомъ сеймѣ, могли бы имѣть тѣмъ большее значеніе, что его не будетъ теперь стѣснять сознаніе оффиціальной отвѣтственности, и онъ говорилъ бы съ гораздо большею свободою, чѣмъ прежде, и голосъ его пользовался бы практическимъ вѣсомъ, соотвѣтственнымъ его внутренней разумности и убѣдительности. Разрозненныя консервативныя группы нашли бы въ немъ своего естественнаго вождя, и парламентское большинство сдѣлалось бы несомнѣнно болѣе крѣпкимъ и сосредоточеннымъ; а что касается правительства, то оно можетъ только выиграть отъ свободнаго сотрудничества такого выдающагося и незамѣнимаго дѣятеля, какъ бывшій канцлеръ.

Въ какой мѣрѣ возможна въ Германіи широкая и полезная политическая дѣятельность безъ всякой оффиціальной санкціи и даже вопреки желаніямъ государственныхъ властей,—это ярко и краснорѣчиво показываетъ примѣръ предводителя партіи центра, Виндгорста, скончавшагося на дняхъ (14-го марта, н. ст.) въ Берлинѣ. Виндгорстъ игралъ весьма крупную роль въ германской политической жизни, оказывалъ часто рѣшающее вліяніе на вопросы законодатель-

ства и политики, не только не занимая никакой правительственной должности, но, напротивъ, находясь, большею частью, въ оппозиціи съ правительствомъ и сохраняя вполнѣ независимое положеніе даже въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣйствовалъ за-одно съ министрами. Виндгорстъ началъ свою политическую карьеру въ качествѣ ганноверскаго патріота, совѣтника и министра короля Георга; онъ всегда оставался вѣрнымъ ганноверской династіи, не признавалъ законности присоединенія Ганновера къ Пруссіи и былъ несомнѣннымъ противникомъ германскаго единства въ томъ видѣ, какъ оно подготовлялось войною 1866 года. И однако этотъ человѣкъ, основательно обвиняемый въ сепаратистскихъ тенденціяхъ, въ недовѣріи и враждѣ къ правительству, могъ свободно дѣйствовать на пользу своей страны и всей имперіи, въ продолженіе почти цѣлыхъ двадцати-пяти лѣтъ; его умственныя способности и нравственныя силы не пропадали для государства, и подъ конецъ своей жизни онъ имѣлъ утѣшеніе видѣть, что его принципы и требованія приняты самимъ правительствомъ, и что всѣ партіи признаютъ его заслуги въ дѣлѣ защиты религіозной вѣротерпимости и свободы. Какъ организаторъ и предводитель католическаго центра, онъ успѣлъ достигнуть многихъ благотворныхъ результатовъ своею упорною и послѣдовательною оппозиціонною дѣятельностью, предупреждавшею или устранявшею важныя правительственныя ошибки и увлеченія. Въ качествѣ остроумнаго и ловкаго оратора, онъ не безъ славы боролся въ парламентѣ съ княземъ Бисмаркомъ, спорилъ съ министрами и нерѣдко одерживалъ надъ ними побѣду; но, будучи противникомъ правительства, онъ по-своему служилъ государству и народу, ибо въ Германіи никто уже не смѣшиваетъ правительства съ государствомъ, и всякій понимаетъ, что своевременное разоблаченіе министерскихъ ошибокъ и слабостей неизмѣримо важнѣе для пользы страны и для истиннаго авторитета государственной власти, чѣмъ забота о поддержаніи искусственнаго, внѣшняго спокойствія министровъ, нарушаемаго будто бы публичною критикою ихъ дѣйствій.

Виндгорстъ заставилъ Бисмарка отказаться отъ такъ-называемой „культурной борьбы", начатой имъ съ большою горячностью противъ католическаго духовенства; а не задолго до своей смерти онъ дождался того, что министръ народнаго образованія, фонъ-Госслеръ, торжественно и формально подчинился его требованіямъ относительно ликвидаціи послѣднихъ счетовъ „культуркампфа" за прошлое время. Министръ вынужденъ былъ внести въ парламентъ и защищать проектъ, совершенно несогласный съ тѣмъ, который былъ имъ представленъ въ прошедшемъ году, и который былъ тогда отклоненъ Виндгорстомъ, несмотря на согласіе самихъ представителей церкви; дѣло шло объ

отдачѣ духовенству денегъ, удержанныхъ правительствомъ въ годы „культурной борьбы". Министерство предложило выплачивать проценты съ этой суммы заинтересованнымъ епархіямъ, не выдавая всего накопившагося капитала; Виндгорстъ не принялъ этой уступки, которую готово было принять само духовенство, и фонъ-Госслеръ долженъ былъ уступить, хотя уступка сдѣлана имъ въ формѣ неудачной для него лично. Министръ пытался въ палатѣ отрицать явное противорѣчіе между новымъ его проектомъ и прошлогоднимъ, и этотъ недостатокъ правдивости погубилъ его въ общественномъ мнѣніи. Нѣмецкая печать еще ранѣе осуждала Госслера за то, что, будучи всегда приверженцемъ старой системы школьнаго классицизма, онъ не уступилъ своего мѣста другому дѣятелю, послѣ извѣстной рѣчи Вильгельма II по школьному вопросу, а взялся самъ примѣнить принципы, противоположные его всегдашнимъ идеямъ; такое пассивное подчиненіе не считается достоинствомъ, когда въ основѣ его лежитъ корыстное желаніе сохранить важный правительственный постъ. Госслеръ вышелъ въ отставку, послѣ десятилѣтней министерской карьеры, которая, по отзывамъ нѣмецкихъ газетъ, была во многихъ отношеніяхъ чрезвычайно плодотворна для успѣховъ народнаго образованія въ Германіи.

Побѣда надъ Госслеромъ была послѣднею побѣдою Виндгорста. Со времени отставки Бисмарка значеніе Виндгорста замѣтно усилилось, такъ какъ его тѣсно сплоченная и многочисленная партія была единственнымъ возможнымъ оплотомъ правительства въ парламентѣ и въ странѣ, и самъ онъ оставался наиболѣе авторитетнымъ и популярнымъ политическимъ дѣятелемъ среди существующихъ парламентскихъ группъ. Популярности Виндгорста въ народѣ способствовало еще и то обстоятельство, что онъ вышелъ изъ народа, изъ крестьянской среды, и всѣмъ обязанъ былъ самому себѣ, своему упорному труду и своимъ рѣдкимъ способностямъ. Теперь все общественное мнѣніе Германіи и само правительство, не исключая и императора Вильгельма II, отдали справедливость заслугамъ и талантамъ, добросовѣстности и энергіи этого ганноверскаго сепаратиста, сохранявшаго вѣрность своимъ убѣжденіямъ и съумѣвшаго тѣмъ не менѣе играть видную самостоятельную роль въ политическихъ дѣлахъ имперіи.

Новое итальянское министерство вступило во власть при обстоятельствахъ довольно трудныхъ и запутанныхъ. Можно было предвидѣть заранѣе, что перемѣна правительственной системы въ Германіи должна неизбѣжно отозваться на положеніи дѣлъ въ Италіи, которая въ послѣдніе годы держалась тѣснаго союза съ нѣмецкою имперіею

и основывала на дипломатіи князя Бисмарка всѣ свои политическіе разсчеты. Бывшій министръ-президентъ связалъ свою судьбу съ политикою германскаго канцлера, и паденіе этого могущественнаго друга было полнымъ крушеніемъ для Криспи. Весь фундаментъ его величія разлетѣлся прахомъ, и отставка Криспи была только вопросомъ времени. Положеніе его, собственно говоря, поколебалось уже давно, такъ какъ слишкомъ предпріимчивая и самоувѣренная международная политика разоряла страну и не давала взамѣнъ никакихъ реальныхъ выгодъ. Франческо Криспи могъ соблазнять итальянцевъ перспективами внѣшняго могущества, пока имѣлъ за собою обаяніе личной дружбы съ руководящимъ государственнымъ человѣкомъ, къ голосу котораго прислушивалась вся Европа; слава Бисмарка бросала свои лучи и на Криспи. Секретныя свиданія и переговоры въ Фридрихсруэ дѣлали итальянскаго министра одною изъ центральныхъ фигуръ высшей европейской политики; самая таинственность предполагаемыхъ комбинацій открывала широкое поле итальянскимъ мечтамъ о великой будущности ихъ отечества. Проницательные и трезвые умы указывали народу на оттѣнокъ шарлатанства въ обѣщаніяхъ и увѣреніяхъ Криспи; они ясно видѣли, что его планы вполнѣ эфемерны и фантастичны, что Италіи не по силамъ гнаться за Германіею въ дѣлѣ военныхъ расходовъ и приготовленій, что высокій тонъ относительно Франціи совершенно не къ лицу итальянцамъ, что разстройство финансовъ и общій экономическій кризисъ подвергаютъ опасности все зданіе монархіи. Смѣлый и ловкій министръ успѣлъ пріучить публику къ мысли, что онъ незамѣнимъ, что Италія не можетъ безъ него обойтись и что онъ одинъ способенъ вывести ее изъ тѣхъ затрудненій, въ которыя самъ ее впуталъ.

Чтобы имѣть послушное большинство въ парламентѣ, Криспи прибѣгалъ къ разнымъ искусственнымъ пріемамъ, мѣнялъ часто министровъ, старался удовлетворить ту или другую парламентскую группу, произносилъ эффектныя рѣчи на блестящихъ банкетахъ и по возможности пускалъ пыль въ глаза толпѣ. Распоряжаясь дѣлами самовластно, онъ легко пріобрѣталъ многочисленныхъ приверженцевъ среди честолюбивыхъ искателей мѣстъ, политическихъ карьеристовъ и чиновниковъ, для которыхъ интересы государства заслонялись личными матеріальными выгодами. Криспи не имѣлъ обыкновенія высказывать неудобную правду о дѣйствительномъ состояніи финансовыхъ и политическихъ дѣлъ; передъ прошлогодними ноябрьскими выборами онъ утверждалъ, что въ бюджетѣ достигнуто равновѣсіе между доходами и расходами, а шесть недѣль спустя правительство вынуждено было сознаться, что дефицитъ доходитъ до 60 или, быть можетъ, 80 милліоновъ. При помощи подобной тактики

бывшему министру-президенту удалось сохранить ускользавшее отъ него довѣріе большинства избирателей, и парламентскіе выборы въ ноябрѣ 1890 года утвердили поколебавшееся положеніе Криспи. Но въ составъ этого новаго большинства вошли разнородные элементы, поддерживавшіе министерство по временнымъ партійнымъ соображеніямъ; кризисъ былъ отсроченъ, но не устраненъ. Громадныя и все болѣе увеличивавшіяся военныя затраты пугали не только оппозицію, но и вѣрныхъ сторонниковъ правительства; упадокъ торговли и промышленности, бѣдность и нищета земледѣльческаго населенія, отсутствіе работы у многихъ тысячъ городскихъ пролетаріевъ, волненія и жалобы среди рабочихъ въ разныхъ мѣстахъ королевства,—все это составляло крайне печальный контрастъ сравнительно съ тѣмъ наружнымъ, напускнымъ великолѣпіемъ, которымъ щеголяла политика Криспи. Такая бѣдная страна, какъ Италія, не могла долго выносить ту систему киданія десятками и сотнями милліоновъ, которую усвоилъ себѣ министръ-президентъ по примѣру богатѣйшихъ и могущественнѣйшихъ великихъ державъ Европы; расходы, доступные для Франціи, оказались невозможными для итальянскаго государства. Криспи вздумалъ обращаться свысока съ французскою націею и считаться съ нею на равныхъ правахъ въ области международной торговли; онъ затѣялъ съ Франціею таможенную войну, которая всею своею тяжестью обрушилась на Италію: въ одинъ годъ, послѣ 1887 года, общіе обороты внѣшней итальянской торговли сократились на 600 милліоновъ, тогда какъ для французскихъ интересовъ послѣдствія конфликта были едва замѣтны. Въ связи съ этимъ сокращеніемъ торговли разыгрались мѣстные кризисы и многочисленныя частныя банкротства; многія обширныя предпріятія, въ томъ числѣ начатыя перестройки въ Римѣ, остановились, вслѣдствіе упадка кредита, и этимъ вызваны были, между прочимъ, извѣстные уличные безпорядки среди голодныхъ римскихъ рабочихъ, въ февралѣ 1889 года. Бюджетъ Италіи превысилъ два милліарда франковъ; общій годовой дефицитъ, считая и обыкновенные, и чрезвычайные расходы, увеличивался въ ужасающей прогрессіи: въ 1888 году онъ доходилъ до 263 мил., въ 1889 году—до 502 мил., а въ 1890 г.—до 540 милліоновъ. Министры финансовъ мѣнялись постоянно, но эти личныя перемѣны не могли повліять на положеніе дѣлъ, пока оставалась въ силѣ система односторонняго, чисто-внѣшняго политическаго честолюбія, система погони за великими военными державами, въ смыслѣ безконечныхъ и непрестанныхъ вооруженій. Криспи, какъ извѣстно, получилъ власть въ августѣ 1887 года, послѣ смерти Депретиса; съ тѣхъ поръ онъ пережилъ уже одинъ министерскій кризисъ—въ февралѣ 1889 года; тогда онъ остался все-таки во главѣ

правительства и подобралъ себѣ лишь новыхъ министровъ. Въ первомъ кабинетѣ мѣсто министра финансовъ занималъ Мальяни; въ концѣ 1888 года онъ долженъ былъ выйти въ отставку, и для облегченія трудной задачи рѣшено было раздѣлить его обязанности между двумя лицами: министерство финансовъ распалось на два вѣдомства—финансовъ и казначейства, причемъ первое было поручено Гримальди, а второе—Перацци. Уже въ февралѣ слѣдующаго года оба они, Гримальди и Перацци, убѣдились въ невозможности разумной финансовой политики при ежегодныхъ многомилліонныхъ затратахъ на чрезвычайныя военныя надобности; они не могли устранить понятное неудовольствіе палаты и вышли въ отставку, изъ-за чего и произошелъ общій кабинетный кризисъ. Министромъ финансовъ сдѣлался Сеисмитъ-Дода, а казначейства—Джіолитти; потомъ финансы перешли еще въ другія руки, но леченіе недуга было немыслимо безъ серьезной общей перемѣны, и прежде всего безъ устраненія Криспи, съ его разорительною маніею политическаго величія.

Давно ожидаемая развязка, какъ мы упоминали въ свое время, произошла въ концѣ января; нѣсколько вызывающихъ, оскорбительныхъ фразъ, брошенныхъ въ лицо противникамъ въ засѣданіи палаты, переполнили чашу терпѣнія парламентскаго большинства и рѣшили участь Криспи. Во главѣ правительства стали люди болѣе правдивые и честные, хотя и менѣе даровитые,—маркизъ ди-Рудини, принадлежащій къ правой сторонѣ палаты, и баронъ Никотера, представитель лѣвой. Министромъ народнаго просвѣщенія назначенъ былъ извѣстный историкъ Паскале Виллари, министромъ финансовъ—Бранка, казначейства—Луццати. Главная сила новаго министерства—репутація правдивости и честности. Потребность въ скромной и искренней политикѣ чувствуется особенно сильно послѣ нѣсколькихъ лѣтъ шумной и искусственной фантасмагоріи, которую создалъ и поддерживалъ Криспи.

Министерство имѣетъ предъ собою три главныя задачи, которыя и намѣчены были въ общихъ чертахъ въ вступительной деклараціи, прочитанной въ палатѣ 14-го февраля (н. ст.). Во-первыхъ, нужно было улучшить отношенія съ Франціею и въ то же время не вызывать недовѣрія или безпокойства со стороны Германіи насчетъ прочности тройственнаго союза. Во-вторыхъ, необходимо сократить бюджетъ и облегчить финансовое положеніе страны; наконецъ, въ-третьихъ, остается еще привести въ порядокъ колоніальныя дѣла, ограничить затраты и жертвы на сомнительныя владѣнія, пріобрѣтенныя по берегу Краснаго моря, и избѣгнуть дальнѣйшихъ предпріятій и усложненій въ Африкѣ. Осторожная и миролюбивая программа кабинета должна была удовлетворить всѣхъ; но ея слабую сторону составляетъ

именно это желаніе совмѣстить несовмѣстимое. Пока Италія будетъ по прежнему держаться политики тройственнаго союза, до тѣхъ поръ неизбѣжны постоянныя вооруженія, требующія непомѣрныхъ финансовыхъ усилій, и бюджетъ не можетъ быть серьезно сокращенъ. Отношенія съ Франціею также не могутъ замѣтно измѣниться, пока существуютъ секретныя международныя обязательства, въ силу которыхъ Италія будетъ дѣйствовать за-одно съ Германіею въ случаѣ новой франко-нѣмецкой войны. Относительно колоніальныхъ дѣлъ нельзя также ожидать особенныхъ перемѣнъ, такъ какъ министерство не рѣшилось или не могло отречься отъ разорительныхъ пріобрѣтеній и вынуждено нести на себѣ послѣдствія прошлыхъ увлеченій.

Кабинетъ Рудини проникнутъ несомнѣнно самыми лучшими намѣреніями, но очень немногіе вѣрятъ въ его прочность и устойчивость. Онъ безспорно пользуется формальнымъ довѣріемъ палаты, какъ это было прямо выражено голосованіемъ 23-го марта (н. ст.), при обсужденіи измѣненнаго бюджета: довѣріе было вотировано внушительнымъ большинствомъ 256 голосовъ противъ 96, и самый бюджетъ былъ принятъ палатою послѣ незначительныхъ преній. Министерство обѣщало не только устранить дефицитъ, но достигнуть еще нѣкотораго излишка доходовъ надъ расходами; въ колоніальныхъ издержкахъ предвидятся сокращенія, доходящія до крупной цифры шести или семи милліоновъ въ годъ. Но правительство не можетъ свободно располагать своими дѣйствіями, ибо оно связано, съ одной стороны, союзомъ съ Германіею, а съ другой—труднымъ положеніемъ Массовы, окруженной воинственными племенами и требующей все новыхъ военныхъ мѣръ. Во время бюджетныхъ преній бывшій министръ-президентъ Криспи напомнилъ, что европейская война можетъ возникнуть раньше, чѣмъ думаютъ обыкновенно, и что опасно сокращать военный бюджетъ, въ виду необходимости держаться наготовѣ для активнаго участія въ предстоящихъ событіяхъ. Конечно, отвѣтственность за такую печальную перспективу лежитъ всецѣло на Криспи, такъ какъ Италія сама по себѣ имѣла полную возможность оставаться въ сторонѣ отъ опасныхъ политическихъ счетовъ между Германіею и Франціею; но союзъ, заключенный въ Фридрихсруэ, сохраняетъ силу, и потому предостереженіе Криспи не лишено значенія. Такъ же точно и относительно колоній министерство должно по-неволѣ считаться съ обстоятельствами и фактами, созданными прежнею предпріимчивою политикою; такъ, напримѣръ, абиссинскій негусъ, признавшій надъ собою протекторатъ Италіи и получившій отъ нея въ заемъ четыре милліона франковъ, не желаетъ теперь вести переговоры съ посланнымъ къ нему графомъ Антонелли и

даже удалилъ его изъ своихъ владѣній. Можетъ ли министерство оставаться пассивнымъ, когда Абиссинія дѣйствительно разорветъ свои связи съ Италіею и начнетъ дѣйствовать противъ нея враждебно? Въ подобныхъ случаяхъ весьма многое зависитъ не отъ доброй воли правительства, а отъ случайныхъ результатовъ прежнихъ ошибокъ; такъ-называемая честь государства можетъ оказаться замѣшанною въ предпріятіяхъ и отношеніяхъ, унаслѣдованныхъ отъ Криспи, хотя и совершенно ненужныхъ и неудобныхъ для Италіи.

Въ послѣднее время обнаружились, между прочимъ, важныя злоупотребленія военной администраціи въ Массовѣ: многіе туземцы, особенно богатые, исчезали неизвѣстно куда, а денежныя средства ихъ конфисковались полицейскимъ начальникомъ, капитаномъ Ливраги, для дѣлежа между соучастниками. Этотъ итальянскій офицеръ, убѣжавъ за границу, сообщилъ оттуда поразительныя свѣденія о многочисленныхъ систематическихъ избіеніяхъ, совершонныхъ при его участіи и съ вѣдома будто бы высшихъ начальствующихъ лицъ. Ливраги увѣряетъ даже, что такой образъ дѣйствій былъ предписанъ изъ Рима, и нѣкоторые газетные намеки бросаютъ тѣнь на самого Криспи. Правительство немедленно назначило слѣдственную коммиссію изъ выдающихся представителей всѣхъ партій, для всесторонняго разъясненія темнаго дѣла; на производствѣ такого разслѣдованія настаивалъ и бывшій министръ-президентъ. Понятно, что разоблаченія подобнаго рода должны еще болѣе усилить недовѣріе къ колоніальной политикѣ и окончательно подорвать авторитетъ политической системы, которой слѣдовалъ Криспи. Министерство, при которомъ могли безнаказанно совершаться убійственные подвиги полицейскаго начальника въ Массовѣ, должно потерять послѣднія симпатіи въ публикѣ, и еслибы судьба политическихъ дѣятелей опредѣлялась ихъ нравственною репутаціею, то Криспи могъ бы считаться вполнѣ безсильнымъ противъ честнаго и добросовѣстнаго маркиза ди-Рудини. Но, къ сожалѣнію, Криспи талантливъ, краснорѣчивъ, энергиченъ и неразборчивъ въ средствахъ, а Рудини только честенъ. Въ практической дѣятельности недостатокъ таланта и энергіи не возмѣщается честностью, и послѣднее качество само по себѣ не обезпечиваетъ успѣха новому итальянскому кабинету.

Одинъ изъ представителей старыхъ политическихъ отношеній между Италіею и Франціею, всегдашній сторонникъ союза обѣихъ націй, глава фамиліи Бонапартовъ, принцъ Наполеонъ, скончался въ Римѣ, 17-го марта (н. ст.). Это событіе невольно заставило итальянскую журналистику вспомнить о прежнихъ тѣсныхъ связяхъ между двумя сосѣдними народами и государствами. Принцъ Наполеонъ,

женатый на сестрѣ короля Гумберта, принцессѣ Клотильдѣ, былъ живымъ напоминаніемъ того, какую роль играла Францiя въ созданіи нынѣшняго итальянскаго королевства. Смерть этого принца сама по себѣ не имѣетъ большого политическаго значенія ни для итальянцевъ, ни для французовъ. Принцъ Наполеонъ, сынъ Жерома Бонапарта, бывшаго одно время королемъ Вестфаліи, представляетъ замѣчательный примѣръ неудачнаго и безплоднаго существованія при крупныхъ умственныхъ силахъ и способностяхъ: онъ могъ серьезно вліять на политическія дѣла Франціи во время второй имперіи, но былъ только „краснымъ принцемъ", героемъ бульварныхъ приключеній, вольнодумцемъ въ религіи и въ политикѣ, иногда оппозиціоннымъ ораторомъ, безъ твердой послѣдовательности въ идеяхъ и рѣшеніяхъ, безъ гражданскаго мужества и самообладанія. Онъ былъ противъ государственнаго переворота, совершоннаго его двоюроднымъ братомъ, принцемъ Луи-Наполеономъ, и высказывалъ вообще республиканскія убѣжденія; но не отказался отъ выгодныхъ послѣдствій переворота и занялъ высокое мѣсто въ имперіи и въ бюджетѣ, въ качествѣ ближайшаго родственника императора Наполеона III. Остроумный и впечатлительный, онъ не умѣлъ сосредоточить свои желанія и всегда пропускалъ тѣ случаи, когда отъ него можно было ожидать какой-либо услуги государству; онъ имѣлъ особенный талантъ—развивать и поддерживать хорошіе проекты въ тѣсномъ дружескомъ кружкѣ, а затѣмъ забывать о нихъ или проваливать ихъ своими безтактностями, когда дѣло доходило до практическаго подтвержденія или примѣненія. Онъ повсюду являлся слишкомъ поздно или удалялся слишкомъ рано. Во время крымской кампаніи онъ преждевременно уѣхалъ съ театра войны и навлекъ на себя подозрѣніе въ трусости, хотя, быть можетъ, безъ всякаго основанія. Передъ франко-прусскою войною онъ отправился путешествовать на сѣверъ и въ моментъ разрыва находился вдали отъ родины, такъ что не могъ употребить свое личное вліяніе для предупрежденія пагубныхъ рѣшеній. Когда война стала неизбѣжною, онъ слишкомъ поздно пріѣхалъ въ Италію, чтобы склонить ее къ участію въ военныхъ дѣйствіяхъ противъ Пруссіи: нѣмцы успѣли уже одержать нѣсколько рѣшительныхъ побѣдъ, и объ итальянскомъ вмѣшательствѣ не могло быть и рѣчи. Послѣ объявленія республики во Франціи, принцъ Наполеонъ выступалъ то какъ республиканецъ, то какъ претендентъ на императорскій титулъ, въ качествѣ главы Бонапартовъ. Поразительное внѣшнее сходство съ первымъ Наполеономъ давало ему большое преимущество передъ другими членами фамиліи; но и этимъ преимуществомъ онъ не съумѣлъ воспользоваться, и онъ меньше кого бы то ни было

способствовалъ поддержанію наполеоновской легенды во Франціи. Онъ дожилъ до полнаго упадка французскаго бонапартизма, который сталъ ему даже враждебенъ съ тѣхъ поръ, какъ главою партіи былъ избранъ, вопреки его волѣ, старшій сынъ его, принцъ Викторъ. По свидѣтельству Ренана, находившагося съ нимъ въ личной дружбѣ, принцъ Наполеонъ былъ человѣкъ выдающійся и талантливый, и тѣмъ не менѣе жизнь его прошла безплодно для Франціи и для политическихъ интересовъ собственной его фамиліи, вслѣдствіе отсутствія нравственной выдержки, сознательной энергіи и послѣдовательности.

Въ Австріи не разрѣшился еще политическій кризисъ, вызванный неудачею чешскаго соглашенія и приведшій къ распущенію парламента. Новые выборы, происходившіе въ отдѣльныхъ областяхъ въ разные сроки, окончились теперь повсюду. Сложныя и устарѣлыя особенности австрійской избирательной системы значительно ослабляютъ общее впечатлѣніе выборовъ; послѣдніе тянутся очень долго и не даютъ вѣрнаго представленія о національныхъ желаніяхъ и чувствахъ, такъ какъ избирательныя права основаны на довольно высокомъ цензѣ. Избиратели распадаются на четыре категоріи: на представителей сельскихъ обществъ, городовъ, крупнаго землевладѣнія и торговыхъ палатъ. Крупная поземельная собственность даетъ право голоса независимо отъ личнаго положенія владѣльцевъ; женщины осуществляютъ это право черезъ повѣренныхъ, за несовершеннолѣтнихъ дѣйствуютъ опекуны. Крупный землевладѣлецъ, состоящій въ то же время членомъ торговой палаты, подаетъ свой голосъ дважды. Жители селъ и городовъ, обладающіе извѣстнымъ имущественнымъ цензомъ, назначаютъ своихъ представителей не непосредственно, а черезъ уполномоченныхъ. Всѣхъ членовъ въ палатѣ депутатовъ—353. Такъ какъ Австрія или Цислейтанія состоитъ изъ семнадцати провинцій, пользующихся самоуправленіемъ и отличающихся между собою по національному составу населенія, то пестрота парламентскихъ группъ выходитъ необычайная: въ новой палатѣ, какъ и въ прежней, оказывается не менѣе дюжины самостоятельныхъ партій.

Результаты выборовъ не оправдали ожиданій графа Таафе; они не даютъ ему надежнаго матеріала для образованія прочнаго правительственнаго большинства. Либеральная нѣмецкая партія или „соединенная лѣвая" увеличилась почти вдвое,—въ ней теперь болѣе ста членовъ; второстепенныя нѣмецкія группы—средняя партія, нѣмецко-національная, консервативно-клерикальная и антисемитическая—составляютъ въ совокупности около пятидесяти человѣкъ. Въ

Чехіи младочехи одержали блестящее торжество и почти совершенно вытѣснили старочеховъ, съ ихъ заслуженнымъ предводителемъ, Ригеромъ; старочешскихъ депутатовъ было прежде 57, а теперь ихъ осталось всего 12, и то послѣ долгой и упорной борьбы; младочехи были выбраны сразу въ большей части чешскихъ округовъ, въ числѣ болѣе сорока. Старочехи рѣшились уступить мѣсто побѣдителямъ и заявили о своемъ временномъ отказѣ отъ парламентской дѣятельности, такъ что чешское представительство является вполнѣ однороднымъ, младочешскимъ. Паденіе старочешской партіи, сдѣлавшей такъ много для возрожденія чешскаго національнаго духа, есть крупнѣйшій фактъ австрійской политической жизни за послѣдніе годы. Это большая потеря для Чехіи въ томъ отношеніи, что чешскій элементъ утратилъ свое прежнее видное мѣсто въ составѣ правительственнаго большинства и превратился въ непримиримую оппозиціонную группу, обреченную на безсиліе среди прочихъ парламентскихъ партій. Младочехи не могутъ заключить компромиссъ съ министерствомъ графа Таафе, такъ какъ для этого они должны были бы отречься отъ значительной части своихъ программъ и возвратиться къ умѣреннымъ принципамъ старочеховъ; въ свою очередь, и правительство не можетъ уступить младочешскимъ требованіямъ, ибо всякія дальнѣйшія уступки въ этомъ направленіи вызвали бы рѣшительные протесты вліятельнаго нѣмецкаго элемента. Нельзя отрицать, что предводители старочеховъ совершили не мало ошибокъ и подготовили роковую развязку своимъ неудачнымъ образомъ дѣйствій. Ригеръ и его сподвижники слишкомъ близко сошлись съ чешскою феодальною аристократіею или, вѣрнѣе, подчинились ея руководящему вліянію и господству; они смотрѣли свысока на оппозицію болѣе радикальныхъ младочеховъ, относились къ нимъ съ непонятнымъ высокомѣріемъ и игнорировали ихъ существованіе даже въ тѣхъ случаяхъ, когда обязательно было имѣть въ виду всѣ оттѣнки общественнаго мнѣнія въ Чехіи. Они упорно признавали себя единственными законными выразителями чешскихъ національныхъ чувствъ и стремленій, несмотря на то, что противники ихъ все болѣе пріобрѣтали популярность въ народѣ, въ качествѣ энергическихъ и искренниxъ чешскихъ патріотовъ. Старые вожди партіи преслѣдовали своихъ молодыхъ и непокорныхъ соперниковъ съ безпощадною строгостью, въ печати и въ публичныхъ собраніяхъ; они заранѣе закрывали путь къ соглашенію, которое было, однако, необходимо для интересовъ всей чешской народности. Внутренній разладъ достигъ своего апогея, когда Ригеръ и его единомышленники приняли участіе въ вѣнскихъ совѣщаніяхъ для выработки проекта сдѣлки

съ представителями нѣмецкаго населенія Чехіи. Непростительною ошибкою старочешскихъ дѣятелей остается въ этомъ случаѣ рѣшимость ихъ дѣйствовать отъ имени народа, безъ общаго совѣта съ младочехами и безъ всякаго вниманія къ ихъ мнѣніямъ и желаніямъ. Младочехи отомстили за такое нарушеніе ихъ правъ; они добились того, что предварительный проектъ соглашенія, подписанный Ригеромъ съ товарищами, былъ отвергнутъ чешскимъ сеймомъ и что уступчивость старочеховъ страшно повредила имъ въ народномъ мнѣніи. Теперь господствуютъ младочехи; и старые вожди устранены; но эта внутренняя побѣда одной партіи надъ другою не можетъ доставить никакихъ выгодъ чехамъ по отношенію къ нѣмцамъ и австрійцамъ.

Въ Галиціи громадное большинство депутатскихъ мѣстъ, по обыкновенію, досталось полякамъ, представителямъ крупнаго землевладѣнія и городскихъ центровъ; ихъ выбрано 58 человѣкъ, а русиновъ— всего семь, хотя русинское населеніе края по численности превышаетъ польское. Притомъ эти семь русинскихъ депутатовъ принадлежатъ къ такъ-называемой ново-русинской группѣ, руководимой Романчукомъ и стремящейся сблизиться съ поляками; успѣхъ этой группы на выборахъ еще болѣе усиливаетъ впечатлѣніе польской побѣды. Довольно многочисленная и тѣсно сплоченная польская партія предназначена, повидимому, служить однимъ изъ главнѣйшихъ элементовъ новаго большинства, которое думаетъ организовать графъ Таафе; предполагается, что это большинство составится еще изъ нѣмецкой лѣвой, съ присоединеніемъ нѣкоторыхъ второстепенныхъ группъ. Но такая комбинація едва ли осуществима, въ виду численнаго состава другихъ партій, изъ которыхъ слѣдуетъ еще упомянуть о консервативной фракціи графа Гогенварта (26 депутатовъ), о клерикальной группѣ принца Лихтенштейна и о феодальной партіи. Нѣмецкая лѣвая, въ союзѣ съ поляками и русинами, все-таки не достигнетъ половины общаго числа членовъ палаты. Если еще прибавить представителей итальянскихъ округовъ, Буковины, Далмаціи и другихъ областей, то мы получимъ нѣкоторое понятіе о сложномъ составѣ австрійскаго парламента и о всѣхъ трудностяхъ задачи, предстоящей теперь графу Таафе. Этотъ ловкій министръ уже болѣе двѣнадцати лѣтъ упражняется въ политической эквилибристикѣ, лавируя успѣшно между различными національными теченіями и партіями, и очень можетъ быть, что и на этотъ разъ ему удастся создать нѣкоторое подобіе большинства, посредствомъ искусственной группировки и временнаго примиренія разнородныхъ интересовъ.

Внутреннія политическія затрудненія, зависящія отъ пестраго національнаго состава имперіи, отзываются и на внѣшней политикѣ вѣнскаго кабинета, сообщая ей оттѣнокъ сдержанности и миролюбія. Австрійская дипломатія не выдвигается на первый планъ въ балканскихъ дѣлахъ, не выказываетъ прежней предпріимчивости и энергіи, не претендуетъ на опекунскую роль относительно Сербіи и Болгаріи, а предпочитаетъ спокойно слѣдить за естественнымъ ходомъ вещей, избѣгая недоразумѣній и столкновеній. Въ Сербіи сдѣлался главою министерства извѣстный своими русскими симпатіями предсѣдатель народнаго собранія, бывшій радикальный дѣятель, приговоренный когда-то королемъ Миланомъ чуть ли не къ смертной казни,—г. Пашичъ. Въ сущности, Пашичъ принадлежитъ къ тому же политическому направленію, какъ и предмѣстникъ его, г. Савва Груичъ; но совершившаяся перемѣна не могла быть пріятна австрійцамъ, такъ какъ она истолковывалась въ смыслѣ болѣе рѣшительнаго поворота въ сторону Россіи. Прежній оплотъ австрійскаго вліянія, бывшій король Миланъ, дѣлаетъ все возможное, чтобы окончательно разрушить свой авторитетъ въ глазахъ сербовъ и подорвать всякое уваженіе къ своему королевскому титулу; онъ не только отдаетъ на публичный судъ свои интимные семейные счеты, но разоблачаетъ старые грѣхи своего собственнаго режима, и грѣхи настолько серьезные, что въ печати былъ поднятъ вопросъ о назначеніи слѣдствія для наказанія виновныхъ. Миланъ обвинилъ своего бывшаго министра, Гарашанина, въ тайномъ убійствѣ двухъ женщинъ, заключенныхъ въ тюрьму за покушеніе на жизнь короля; мотивомъ этого убійства было яко бы опасеніе, что арестованныя могутъ выдать своего вдохновителя и подстрекателя, которымъ былъ, дескать, самъ тогдашній министръ-президентъ Гарашанинъ. Какъ ни странно и даже нелѣпо это обвиненіе, но оно всею своею тяжестью падаетъ на самого короля Милана, который въ теченіе цѣлыхъ семи лѣтъ, вопреки народнымъ желаніямъ, держалъ при себѣ министра, способнаго будто бы на гнусное убійство. Гарашанинъ не остался въ долгу и отвѣтилъ королю письмомъ, въ которомъ напоминаетъ объ обстоятельствахъ, доказывающихъ умерщвленіе упомянутыхъ женщинъ по вѣроятному приказу короля, и затѣмъ бросаетъ послѣднему въ лицо сильнѣйшія оскорбленія. И тотъ же Миланъ, затѣвающій подобную переписку, говоритъ еще о нравственномъ авторитетѣ своей династіи и о своихъ важныхъ воспитательныхъ обязанностяхъ по отношенію къ юному королю Александру! Для сербовъ остается все-таки то утѣшеніе, что Миланъ, заставляющій такъ много говорить о себѣ, есть только отставной король, котораго поступки и слова не влекутъ за собою никакихъ послѣдствій для страны.

Въ Болгаріи нѣтъ такихъ династическихъ счетовъ и пререканій; но тамъ внутреннее спокойствіе нарушается другими причинами—неопредѣленностью политическаго положенія, боязнью внѣшняго вмѣшательства, временнымъ, непрочнымъ характеромъ всего правительственнаго строя и порядка. Послѣднее покушеніе на жизнь Стамбулова, сопровождавшееся убійствомъ министра финансовъ Бельчева, служитъ какъ будто доказательствомъ того, что умы далеко еще не успокоились въ Болгаріи и что политическое состояніе ея открываетъ широкій просторъ для всякихъ случайностей.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1-го апрѣля 1891.

— Организація полевого хозяйства. Система земледѣлія и сѣвооборота. *А. С. Ермолова.* Изданіе второе. Спб. 1891.

Второе изданіе извѣстной книги г. Ермолова, вышедшей десять лѣтъ назадъ, настолько дополнено и переработано, что его можно считать почти за новый трудъ: расширены и увеличены особенно тѣ части новаго изданія, которыя, какъ, напр., описаніе разныхъ формъ сельскаго хозяйства въ различныхъ концахъ нашей обширной имперіи, представляютъ наибольшій общій интересъ. Вообще „Организація полевого хозяйства", по разнообразію и богатству своего содержанія и по важности тѣхъ вопросовъ русскаго народнаго хозяйства, которые оно затрогиваетъ, заслуживаетъ серьезнаго вниманія публики. Г. Ермоловъ допускаетъ вѣроятность нѣкоторыхъ успѣховъ въ нашемъ сельскомъ хозяйствѣ за послѣднія десять лѣтъ, но, въ то же время, онъ не льститъ нашимъ сельскимъ хозяевамъ и не убаюкиваетъ ихъ надеждами на какое-либо воздѣйствіе и помощь „сверху", или что, наконецъ, сельско-хозяйственный кризисъ когда-нибудь кончится самъ и земледѣліе черезъ это самое поправится. Г. Ермоловъ смѣло заявляетъ о нашихъ хозяевахъ, что едва ли сколько-нибудь значительная часть огромныхъ капиталовъ, занятыхъ ими въ разныхъ земельныхъ банкахъ, дѣйствительно пошла на улучшеніе сельскихъ хозяйствъ. Не отвергая въ то же время, что еще многое должно быть у насъ сдѣлано для улучшенія техническихъ и экономическихъ условій земледѣлія, для упорядоченія торговли продуктами сельскаго хозяйства и, вообще, для облегченія труднаго положенія нашего земледѣлія, авторъ настаиваетъ,—и въ этомъ, кажется, нельзя съ нимъ не согласиться,—что многое въ настоящихъ неблагопріятныхъ условіяхъ сельскаго хозяйства зависитъ прежде всего лишь отъ самихъ хозяевъ, и что они должны идти на встрѣчу новому положенію во

всеоружіи знанія, энергіи, труда и сознательнаго отношенія къ своему дѣлу.

Мало того, г. Ермоловъ обнаруживаетъ въ своихъ воззрѣніяхъ на нынѣшній кризисъ такой широкій взглядъ, какой рѣдко нынѣ встрѣчается въ печати. По его мнѣнію, настоящій кризисъ, вызывающій столько жалобъ у представителей земледѣльческихъ интересовъ, не только у насъ, но и повсюду за границей, едва ли является временнымъ и преходящимъ явленіемъ (какъ многіе себя утѣшаютъ), который можно исправить той или иной правительственной мѣрой. Скорѣе всего онъ является выраженіемъ начала новаго фазиса въ области міроваго хозяйства, къ которому рано или поздно должно будетъ приноровиться сельско-хозяйственное дѣло всѣхъ странъ, участвующихъ во всякомъ международномъ обмѣнѣ продуктами своего земледѣлія. „Теперь уже не приходится болѣе утѣшать себя мыслью,— говоритъ авторъ,—что кризисъ пройдетъ и что все опять будетъ по старому. То, что мы называемъ кризисомъ, представляетъ собою въ сущности не что иное, какъ переходъ отъ прежнихъ къ новымъ условіямъ міроваго производства и международной торговли, но возврата къ старому положенію быть не можетъ и не будетъ. Это— историческій фактъ, который нужно признать и съ которымъ поневолѣ приходится помириться, стараясь, вмѣстѣ съ тѣмъ, по возможности скорѣе освоиться съ новымъ положеніемъ, новыми условіями и требованіями современнаго сельско-хозяйственнаго дѣла"...

Еще долго, вѣроятно, у насъ такіе дѣльные совѣты, къ сожалѣнію, останутся, по многимъ причинамъ, лишь гласомъ вопіющаго въ пустынѣ!..

— Акцизно-бандерольная система табачнаго налога въ Россіи и въ Соединенныхъ Штатахъ Сѣверной Америки. Изслѣдованіе *Л. Л. Першке.* Рига. 1890.

Три года тому назадъ у насъ надѣлалъ не малаго шуму, какъ извѣстно, проектъ министерства финансовъ о введеніи, на мѣсто существующей акцизной системы, табачной монополіи. Назначенная съ этою цѣлью коммиссія дѣятельно собирала свѣденія pro и contra и посылала даже опытныхъ лицъ для изслѣдованія за границу, пока, наконецъ, въ іюлѣ 1889 г., послѣдовало оффиціальное заявленіе, что министерство, по всестороннемъ обсужденіи дѣла, покинуло мысль о введеніи монополіи. Неизвѣстно, конечно, является ли такое заявленіе прямымъ результатомъ работъ коммиссіи или просто желаніемъ успокоить общественное мнѣніе и отложить дѣло на неопредѣленное будущее; во всякомъ случаѣ, табачный акцизъ составляетъ не только

довольно важный источникъ государственнаго дохода, но и по своему значенію для земледѣлія представляетъ у насъ весьма крупный хозяйственный интересъ.

Г. Першке, повидимому, былъ командированъ упомянутой коммиссіей въ Соединенные Штаты Сѣверной Америки для изслѣдованія тамошней организаціи табачнаго налога, и настоящій весьма солидный трудъ его представляетъ собою, нужно думать, переработанный и дополненный отчетъ, частію еще раньше напечатанный. Этотъ большой трудъ заключаетъ въ себѣ четыре отдѣла: первый—содержитъ исторію нашего законодательства по обложенію табаку; второй —описаніе и статистику табачной промышленности въ Россіи; третій —весьма подробное, въ шести главахъ, изложеніе системы налога на табакъ въ Соединенныхъ Штатахъ; и, наконецъ, четвертый отдѣлъ— сравненіе системъ взиманія налоговъ въ этомъ послѣднемъ государствѣ и въ Россіи, и общій выводъ автора по всему вопросу.

Большинство изслѣдователей до настоящаго времени, при сличеніи двухъ этихъ табачныхъ системъ, американской и русской, всегда отдавали преимущество первой, не только вслѣдствіе ея большей доходности, но и вслѣдствіе большей простоты устройства, полной свободы табаководства, передвиженія табаку и торговли имъ и, вообще, гораздо меньшей регламентаціи и вмѣшательства правительства въ цѣлую промышленность, если только сопоставить Америку съ Россіей. Авторъ съ добросовѣстностью излагаетъ сравнительное положеніе дѣла въ этихъ двухъ странахъ, но смотритъ на все, однако, преимущественно съ точки интересовъ одного лишь фиска, а потому и относится къ американской табачной системѣ съ большой строгостью, отдавая съ той же точки зрѣнія рѣшительное предпочтеніе русскому табачному акцизу. Онъ, очевидно забываетъ, что всякій финансовый фактъ подразумѣваетъ двоякій интересъ, далеко не всегда тождественный,—интересъ государственной казны и всего народнаго хозяйства.

Подводя общіе итоги и заключенія своему обширному изслѣдованію, г. Першке опять грѣшитъ тѣмъ же самымъ и является представителемъ того же односторонняго взгляда. Правда, въ концѣ своей книги онъ предлагаетъ нѣчто заимствовать у американцевъ, а именно возстановить полную свободу табаководства, какъ извѣстно, уничтоженную у насъ постепенно и особенно уставомъ 18-го мая 1882 г. Мало того, онъ проектируетъ сосредоточить все вниманіе акцизнаго надзора главнымъ образомъ лишь на фабрикахъ, но и тамъ произвести нѣкоторыя формальныя облегченія, однимъ словомъ, сдѣлать разведеніе и торговлю табакомъ дѣйствительно свободнымъ промысломъ,—какъ его и называетъ законъ, уничтожая, между тѣмъ, свободу фактически послѣдними дополненіями. Но весь этотъ американ-

скій распорядокъ табачнаго акциза г. Першке проектируетъ для Россіи, къ сожалѣнію, слишкомъ дорогою цѣной для существеннѣйшихъ интересовъ цѣлаго народа, хотя, можетъ быть, и весьма удобно для фиска. Во-первыхъ, онъ уничтожаетъ для этого нынѣ дѣйствующій сложный табачный тарифъ, т.-е. нѣсколько видовъ бандероли для разной цѣнности табаку, и предлагаетъ замѣнить ее одной средней бандеролью на каждый видъ табачныхъ издѣлій. Мало того, пониженное обложеніе махорки и, вообще, привилегированное положеніе табаку, употребляемаго милліонами русскаго народа, по его плану также подлежитъ уничтоженію и нивеллировкѣ, и слѣдовательно, согласно проекту г. Першке, все дѣло дѣйствительно чрезвычайно упростится, и махорка самаго низшаго разбора и самый высшій дюбекъ будутъ платить, по его разсчету, 18—19 коп. налога съ фунта, вмѣсто тѣхъ 8 коп., которыя платитъ нашъ теперешній потребитель тютюну. Въ своемъ увлеченіи этой акцизной схемой г. Першке „за деревьями не видитъ лѣсу“, игнорируя и безъ того крайне неравномѣрное распредѣленіе у насъ податной тягости, львиная доля которой, благодаря сильнѣйшему въ Россіи, сравнительно со всѣми другими странами Европы, преобладанію косвенныхъ налоговъ надъ прямыми, и безъ того несется этими потребителями махорки, наперекоръ всѣмъ правиламъ равномѣрности. Очевидно, еслибы предложеніе г. Першке было принято, то это лишь увеличило бы существующую неравномѣрность и неправильность нашего обложенія, усиливая податную тяжесть на одномъ и притомъ болѣе многочисленномъ классѣ народа, чтобы облегчить его для всѣхъ другихъ, болѣе счастливыхъ классовъ. Напрасно, поэтому, г. Першке нѣсколько разъ въ своемъ, вообще весьма солидномъ, трудѣ ссылается мимоходомъ на *теорію* или *теоретическія* соображенія. Теорія финансовой науки во всякомъ случаѣ не можетъ признать правильной мѣру, которая клонится лишь къ увеличенію несообразностей практики съ ея основными положеніями, и, самое главное, она не въ состояніи одобрить ни одного предложенія, которое ведетъ лишь къ усиленію обратной пропорціональности обложенія, что̀ и безъ того отличаетъ русскую финансовую систему.—И. Я.

— *Поэмы Оссіана, Джемса Макферсона.* Изслѣдованіе, переводъ и примѣчанія *Е. В. Балобановой.* Изданіе журнала „Пантеонъ литературы". Спб. 1891.
— *Жанъ де-Лабрюйеръ.* Характеры или нравы этого вѣка. Съ предисловіями Прево-Парадоля и Сентъ-Бёва. Переводъ *П. Д. Первова.* Изданіе журнала „Пантеонъ литературы". Спб. 1890.

Нѣсколько времени тому назадъ, по поводу русскаго перевода „Нибелунговъ", мы говорили о томъ, какое большое значеніе для цѣлаго состава литературы имѣютъ по нашему мнѣнію переводы капитальнѣйшихъ произведеній литературы другихъ народовъ, старыхъ и новыхъ. Для большой литературы, какою готовится быть наша, необходимо усвоить себѣ эти основныя произведенія ума и искусства другихъ народовъ: какъ бы ни казалось иногда случайнымъ ихъ появленіе на русскомъ языкѣ,—у насъ онѣ дѣйствительно появляются всего чаще случайно, безъ какого-либо плана, по личному вкусу переводчиковъ въ данную минуту,—въ концѣ концовъ онѣ входятъ въ обиходъ литературы, обогащая ея содержаніе великими созданіями прошедшаго. Это очень понимали въ XVIII столѣтіи, и тогдашняя литература замѣчательно богата подобными переводами: чувство зависимости нашего просвѣщенія отъ литературы древней и новой европейской побуждало усвоивать ихъ знаменитыя произведенія, но къ сожалѣнію многое приходило къ намъ тогда только изъ вторыхъ рукъ; всего больше былъ знакомъ французскій языкъ, и произведенія классической древности, а также литературы англійской, итальянской, даже нѣмецкой не однажды попадали къ намъ только черезъ французскіе переводы.

Такъ и Оссіанъ въ первый разъ былъ у насъ переведенъ съ французскаго Ермиломъ Костровымъ. Въ трудѣ г-жи Балобановой мы получаемъ переводъ Оссіана съ подлинника и притомъ сопровожденный объясненіемъ его литературной исторіи. Г-жа Балобанова является у насъ едва-ли не единственнымъ спеціалистомъ по кельтской литературѣ. Въ своемъ введеніи къ переводу она остановилась на судьбѣ кельтскихъ ирландско-шотландскихъ преданій, которыя легли въ основаніи Макферсонова „Оссіана", приводитъ для образца нѣсколько эпизодовъ изъ кельтской народной поэзіи и въ вопросѣ о достовѣрности Оссіана становится на сторону тѣхъ, которые не считаютъ Макферсона простымъ поддѣльщикомъ. Она полагаетъ, что напротивъ Макферсонъ всего вѣроятнѣе воспользовался настоящими народно-поэтическими текстами и только въ отдѣльныхъ случаяхъ добавлялъ и прикрашивалъ ихъ собственной фантазіей, что̀ по ея мнѣнію можно отличать на самомъ тонѣ поэмъ, то архаическомъ, то новѣйшемъ сентиментальномъ и приглаженномъ. Объяснивъ эти вопросы въ общемъ

введеніи, г-жа Балобанова даетъ ближайшія указанія въ замѣткахъ къ отдѣльнымъ поэмамъ. Трудъ ея, исполненный чрезвычайно добросовѣстно, составляетъ весьма полезное пріобрѣтеніе для нашей литературы. Мы сдѣлали бы одно замѣчаніе. Какъ часто бываетъ съ нашими спеціалистами, которые, вращаясь по тѣмъ или другимъ вопросамъ науки въ иностранной литературѣ, связываютъ свою работу съ этою послѣднею, забывая о состояніи своей собственной, такъ нѣчто подобное повторяется и въ объяснительномъ введеніи нашей переводчицы. Она вдается въ спеціальныя подробности объ исторіи кельтскихъ народныхъ преданій, имѣющихъ отношеніе къ Оссіану, и нѣсколько забыла о громадномъ большинствѣ читателей, для которыхъ требовались бы кромѣ того объясненія гораздо болѣе элементарныя. Намъ кажется, что во введеніи къ русскому переводу Оссіана не лишнее было бы дать общее понятіе, во-первыхъ, о біографіи писателя, во-вторыхъ, объ условіяхъ появленія „Оссіана" и впечатлѣніи, произведенномъ имъ въ литературѣ англійской и европейской. Почтенная переводчица говоритъ о послѣднемъ въ такихъ выраженіяхъ.

„Всѣмъ извѣстно, какое сильное впечатлѣніе произвело въ Европѣ появленіе въ 1760 г. поэмъ Оссіана Макферсона, создавшаго или, лучше сказать, упрочившаго тотъ литературный стиль, который долго господствовалъ въ Германіи, Англіи и у насъ. Оссіанъ немедленно былъ переведенъ на всѣ европейскіе языки. Имъ увлекались всѣ, начиная съ Клопштока, Гердера, Гёте и кончая Суворовымъ и Наполеономъ.

„Помимо чисто литературнаго впечатлѣнія, произведеннаго Оссіаномъ, онъ былъ вовлеченъ въ исторію Гомеровскаго вопроса: въ немъ видѣли такое же прямое отраженіе народной поэзіи, какъ въ Одиссеѣ и Иліадѣ, и онъ опредѣлилъ надолго теченіе нѣмецкой критики" (стр. 4).

Предположеніе объ извѣстности этого „всѣмъ" есть конечно весьма оптимистическое. „Всѣмъ", т.-е. многимъ, это извѣстно лишь въ самыхъ общихъ чертахъ. Мы не припомнимъ въ нашей литературѣ ни одного спеціальнаго изслѣдованія объ Оссіанѣ; рѣчь о немъ идетъ только въ нѣсколькихъ переводныхъ книгахъ по исторіи литературы, и если гдѣ было бы умѣстно болѣе подробное изложеніе предмета— это именно въ трудѣ, подобномъ настоящему. Далѣе, г-жа Балобанова замѣчаетъ, что слѣды вліянія Оссіана легко прослѣдить и у насъ до Пушкина включительно, но что этотъ предметъ ждетъ своего изслѣдователя; но для указанія вліянія Оссіана въ литературѣ западноевропейской имѣется значительная масса готоваго матеріала и предметъ могъ бы быть изложенъ, не безъ интереса и пользы для русскихъ читателей, гораздо подробнѣе, чѣмъ это сдѣлано у г-жи Бало-

бановой. Далѣе, по тому же упомянутому обычаю спеціалистовъ, г-жа Балобанова предполагаетъ извѣстнымъ для читателей больше, чѣмъ извѣстно имъ въ дѣйствительности: именно о кельтской литературѣ у насъ имѣется гораздо меньше свѣденій, чѣмъ можетъ быть о какой-либо другой. Мы опасаемся поэтому, что для обыкновеннаго читателя чтеніе предисловія можетъ быть нѣсколько затруднительно. Не вполнѣ ясно выражено и мнѣніе переводчицы объ отношеніи Макферсона къ его предполагаемымъ народно-поэтическимъ подлинникамъ. На страницѣ 33-й читаемъ: „Я вполнѣ признаю зависимость Оссіановской шотландской легенды отъ ирландской: она сказывается уже и въ томъ, во-первыхъ, что рядомъ съ Фингаломъ и Оссіаномъ являются въ ней всѣ герои ирландскихъ сказаній, и во-вторыхъ, особенно въ сношеніи Оссіана со св. Патрикомъ. Конечно, шотландская легенда гораздо новѣе даже по содержанію, такъ какъ въ ней играютъ большую роль скандинавскіе пираты, а съ ними Шотландія познакомилась не ранѣе конца VIII и начала IX в.; въ исторіи же Ирландіи они никогда не имѣли такого значенія. Но, конечно, вопросъ, какъ образовалась шотландская легенда, не можетъ быть рѣшенъ окончательно. Явилась ли она самостоятельно въ Шотландіи, или есть только версія ирландскихъ сказаній, сказать невозможно“. Но въ чемъ же тогда заключается „зависимость Оссіановской шотландской легенды отъ ирландской“, что̀ признано нѣсколькими строками выше?

„Характеры“ Лабрюйера были уже переведены на русскій языкъ (въ 1812); новый переводъ былъ, конечно, не излишенъ. Мы сказали бы опять, что изданіе могло бы быть обставлено для русскаго читателя нѣсколько полнѣе. Вмѣсто біографіи прибавлено здѣсь два этюда о Лабрюйерѣ—Прево-Парадоля и Сентъ-Бёва; но они обращаются къ французскому читателю, предполагая хорошо извѣстнымъ многое, что̀ мудрено считать извѣстнымъ обыкновенному русскому читателю, для котораго только и можетъ книга предназначаться. Переводъ вообще исправенъ, но иногда можно бы пожелать меньше тяжеловатости; надо было бы избѣгнуть и употребленія распространяющихся теперь иныхъ нелѣпыхъ словъ, особливо неловкихъ въ передачѣ писателя XVII-го вѣка, напр. „третировать“, „личность“ (вмѣсто „лицо“) и т. п.

— *И. И. Неплюевъ* и Оренбургскій край въ прежнемъ его составѣ до 1758 года. Историческая монографія В. Н. *Витевскаго*. Выпускъ третій. Казань, 1891.

Сочиненіе г. Витевскаго, о первыхъ выпускахъ котораго мы въ свое время говорили, разростается: вмѣсто трехъ ранѣе предположенныхъ выпусковъ, оно будетъ имѣть и четвертый. Настоящая часть сочиненія посвящена почти исключительно дѣятельности Неплюева по управленію инородцами оренбургскаго края (башкиры, калмыки, мещеряки), причемъ авторъ, не ограничиваясь данной эпохой, восходитъ ко времени перваго покоренія этихъ племенъ, а затѣмъ подробно излагаетъ мѣры Неплюева, какъ съ цѣлью укрѣпленія русской власти, такъ и для водворенія между ними извѣстной цивилизаціи. Авторъ повидимому весьма внимательно исчерпалъ данныя, какія представляетъ мѣстная литература, а также воспользовался и архивнымъ матеріаломъ, а именно архивомъ сенатскимъ и архивомъ тургайскимъ, куда поступили старыя дѣла по управленію оренбургскаго края.

Что это—работа весьма полезная для исторіи нашей восточной окраины, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія; авторъ весьма трудолюбиво собираетъ свой матеріалъ, въ которомъ особливо цѣннымъ является, конечно, тотъ, который извлекаетъ онъ изъ архивныхъ бумагъ, и имъ сопоставлено въ настоящемъ выпускѣ не мало полезныхъ указаній для исторіи мѣстныхъ инородцевъ. О способѣ изложенія мы прежде говорили. Въ предисловіи авторъ опять счелъ нужнымъ говорить о своихъ рецензентахъ и между прочимъ негодуетъ на рецензію второго выпуска въ „Вѣстникѣ Европы“, видя въ ней несправедливыя нападенія на свою работу. Намъ очень жаль, что онъ пришелъ къ такому заключенію, потому что оно совершенно несправедливо. Напримѣръ, въ рецензіи „В. Е.“ было говорено о недостаткахъ въ изложеніи, которое между прочимъ впадало въ ненужныя излишества (напр. по поводу процесса Волынскаго, по поводу извѣстной Салтычихи); но оказывается, что то же самое замѣчаніе сдѣлано было послѣ въ рецензіи „Журнала министерства просвѣщенія“, которую авторъ признаетъ за благосклонную къ его труду. Авторъ принадлежитъ къ числу писателей, не допускающихъ никакого противорѣчія: онъ продолжаетъ защищать умѣстность того, что̀ его читателямъ (совершенно независимымъ другъ отъ друга) показалось неумѣстнымъ; но очевидно, что въ замѣчаніи „В. Е.“ не было ничего недоброжелательнаго. Ему не нравится и то, что рецензія „В. Е.“ полагала, что ему не слѣдовало впадать въ излишнія препирательства съ мѣстною „прессой“, провинившейся однимъ тѣмъ, что не помѣстила своевременно извѣ-

стія о выходѣ въ свѣтъ сочиненій г. Витевскаго (см. „В. Е." 1890, апрѣль, стр. 865); мы назвали это, и по всей справедливости, „пустяками". Авторъ принялъ это чрезвычайно серьезно, увидѣлъ въ этомъ, что „В. Е."—„отказался обсудить спокойно" его разъясненія о своемъ трудѣ, и замѣчаетъ: „нельзя не сожалѣть, что такой серьезный и солидный журналъ, какъ „Вѣстникъ Европы", пользующійся издавна вполнѣ заслуженной имъ извѣстностью и любовію общества, допускаетъ иногда непріятную фальшь тоновъ въ общемъ его аккордѣ". Г. Витевскій счелъ нужнымъ подчеркнуть при этомъ „анонимность" рецензіи, повидимому находя и въ ней какое-то покушеніе противъ его книги; но таковъ обычай журнала, принятый не для одного только г. Витевскаго; при томъ и рецензія Журнала министерства (ему пріятная) была также не подписана всей фамиліей,—отчего же здѣсь г. Витевскій считаетъ анонима „почтеннымъ"?

Въ настоящемъ выпускѣ можно было бы опять замѣтить тѣ недостатки конструкціи труда, какіе мы прежде указывали. Таковы, напримѣръ, излишнія подробности относительно вызова въ оренбургскій край черногорскихъ поселенцевъ: предварительная исторія этого дѣла, въ тѣхъ подробностяхъ, которыя не имѣютъ никакого отношенія къ оренбургскому краю, могла бы быть замѣнена простою цитатой изъ исторіи Соловьева, откуда она главнымъ образомъ берется, и не отвлекала бы читателя безъ надобности отъ главнаго предмета книги.

Говоря о заботахъ Неплюева относительно распространенія между калмыками христіанства, авторъ пишетъ: „Положено было составить калмыцкій букварь, перевести Евангеліе на калмыцкій языкъ и сдѣлать краткое извлеченіе изъ Церковной исторіи при помощи духовныхъ лицъ изъ русскихъ, знающихъ калмыцкій языкъ, и калмыковъ, находившихся въ С.-Петербургѣ при Черенъ-Дондукѣ. Намъ неизвѣстно, какъ было выполнено это дѣло; но едва ли можно было разсчитывать тогда на *вполнѣ правильный и согласный съ славянскимъ текстомъ переводъ Евангелія* и молитвъ, если и въ наше время этотъ вопросъ представляетъ большія затрудненія для солидно-образованныхъ лингвистовъ, вслѣдствіе бѣдности языка инородцевъ, которые современемъ, какъ мы думаемъ, „*сольются* (по выраженію поэта) *въ Русскомъ морѣ*" и *предпочтутъ въ богослуженіи богатый и выразительный славянскій текстъ церковныхъ молитвъ своему бѣдному языку, а въ наукѣ и жизни—русскій языкъ, какъ языкъ культурнаго народа.* Мы увѣрены, что въ свое время это сдѣлается само собой, по закону исторической необходимости, не смотря ни на какія усилія нѣкоторыхъ лицъ сохранить инородческую самобытность. Общность языка въ жизни, литературѣ и *особенно въ богослуженіи* имѣетъ гро-

мадное религіозное и политическое значеніе, но всякому времени—своя задача и свое дѣло" (стр. 552).

Полагаемъ, что это разсужденіе и неумѣстно, да и не совсѣмъ вѣрно. Авторъ можетъ имѣть благія пожеланія относительно слiянія инородцевъ съ русскимъ народомъ, но эти пожеланія не рѣшаютъ вопроса и въ данную минуту, и еще надолго. Со временъ Неплюева и донынѣ существуетъ громадная масса инородцевъ, нимало не обрусѣвшихъ и не способныхъ принимать христіанство прямо на русскомъ языкѣ; потому съ прошлаго вѣка и донынѣ не прекращаются заботы о переводѣ писанія и богослужебныхъ книгъ на языкъ различныхъ инородцевъ отъ востока европейской Россіи до крайняго востока Россіи азіатской. Когда случится полное водвореніе христіанства или полное обрусѣніе инородцевъ,—ни то, ни другое не извѣстно; но служители церкви совершенно правы, когда полагаютъ, что для распространенія христіанскихъ истинъ нѣтъ надобности ждать, пока инородцы усвоятъ себѣ русскій языкъ: такое ожиданіе было бы даже великимъ заблужденіемъ, потому что вѣра въ истиннаго Бога и христіанская нравственность не зависятъ отъ того, на какомъ языкѣ люди говорятъ. Христіанская проповѣдь была обращена ко *всѣмъ* народамъ, и неужели первымъ проповѣдникамъ христіанства между славянами надо было ожидать (съ греческой точки зрѣнія), чтобы славяне обратились въ грековъ?

— *Алтай*. Историко-статистическій сборникъ, по вопросамъ экономическаго и гражданскаго развитія алтайскаго горнаго округа. Съ портретомъ алтайскаго изслѣдователя, покойнаго С. И. Гуляева. Изданіе В. А. Г—ва. Подъ редакціей *П. А. Голубева*. Томскъ, 1890.

— *Г. Томскъ* въ прошломъ и въ настоящемъ. Составилъ *А. В. Адріановъ*. Изданіе „Сибирскаго книжнаго магазина" Михайлова и Макушина. Томскъ, 1890.

Среди всякихъ непривлекательныхъ сторонъ нынѣшней литературы есть явленія, въ которыхъ, какъ мы не разъ указывали, можно порадоваться здоровому движенію,—еслибы только внѣшнія условія дозволили имъ развиться шире и многостороннѣе. Это—усиленіе провинціальной мѣстной литературы. Мы не однажды останавливались на произведеніяхъ этой литературы; не всегда онѣ удовлетворяютъ требованіямъ научнымъ и литературнымъ, что̀ указываетъ, конечно, на все еще недостаточное развитіе нашего „просвѣщенія", но во всякомъ случаѣ эти опыты заслуживаютъ всякаго сочувствія. Если однимъ изъ основныхъ условій нашего цѣлаго національнаго (и въ томъ числѣ государственнаго) развитія должно быть самопознаніе,—очевидно, что это самопознаніе не можетъ вестись только въ однихъ центрахъ

нашей государственной и образовательной жизни, но и должно быть поддержано работою самой страны, работою мѣстныхъ силъ; изученія осложняются все болѣе и болѣе, и очевидно, что силъ центра (которыя также не весьма многочисленны) не можетъ достать на тѣ многоразличныя изслѣдованія, которыя необходимы и въ области описанія страны, и въ описаніи народа.

Еще не очень далеко время, когда изученіе болѣе далекихъ пунктовъ нашей территоріи бывало возможно только посредствомъ спеціально устроенныхъ „экспедицій“ и когда исполнителями подобныхъ экспедицій бывали особливо ученые нѣмцы (съ русскими помощниками). Нѣмцы были отчасти свои, изъ петербургской академіи, но и чужіе, и самыя работы издавались на нѣмецкомъ языкѣ. Таковы были въ прошломъ вѣкѣ нѣмецкія путешествія въ Сибирь и еще въ Николаевское время нужны были Гумбольдтъ, Розе, Ледебуръ и пр., для изслѣдованія Урала, Алтая и т. д.; нужно было даже путешествіе Гакстгаузена для изученія самой внутренней жизни русскаго народа. Нѣтъ сомнѣнія, что даже эти иностранныя экспедиціи приносили свою пользу: была громадная польза для общей науки, для географіи и естествознанія, но затѣмъ доля ея отражалась и у насъ: распространялись свѣденія, являлось поощреніе и опора для собственныхъ трудовъ въ томъ же направленіи. Особыя „экспедиціи“ указывали, конечно, что не могло быть и рѣчи объ изученіи предмета собственными мѣстными силами: этихъ силъ просто не было; на мѣстахъ, экспедиціи находили, разумѣется, людей, знавшихъ свой край эмпирически, и пользовались ихъ знаніемъ, но сами мѣстные знатоки все-таки не могли собрать и изложить своихъ свѣденій въ правильной научной формѣ. Правда, отдаленность нашихъ окраинъ, изъ которыхъ очень многія до сихъ поръ лишены всякой цивилизованной жизни, еще надолго будетъ дѣлать необходимыми спеціальныя экспедиціи для ихъ изученія, необходимыми, такъ сказать, экстренныя научныя мѣропріятія, но во всякомъ случаѣ въ настоящее время способы изученія сильно измѣняются: на самыхъ мѣстахъ, между прочимъ даже въ очень далекихъ захолустьяхъ, находятся люди не только съ развитымъ научнымъ и мѣстно-патріотическимъ интересомъ, но и способные къ научному наблюденію и изслѣдованію. Такъ, намъ случалось указывать подобные труды для Сибири, въ которыхъ затрогиваются разнообразные научные интересы: географія, исторія, народный бытъ, даже археологія. Замѣчательнымъ вкладомъ въ эту литературу является вышедшая теперь книга г. Голубева. „Сибирь, — говоритъ онъ въ предисловіи, — болѣе богата изслѣдованіями естественно-историческими, этнографическими и этнологическими, чѣмъ хотя бы простыми описаніями современно-экономическими и бытовой жизни насе-

ленія. Выдающіяся ученыя силы Сибири до сихъ поръ обращали больше вниманія на природу и прошлое, даже до-историческое, страны, чѣмъ на современное положеніе начинающей слагаться гражданственности и быта. Избранный нами для обзора алтайскій округъ представляетъ громадный интересъ во многихъ отношеніяхъ не только для ученыхъ изслѣдователей, но и для простыхъ наблюдателей. Это жемчужина Сибири. Получивъ по своимъ ископаемымъ богатствамъ историческую извѣстность золотого дна, Алтай, съ открытіемъ свободнаго переселенія въ послѣднее 25-лѣтіе, превращается въ житницу Сибири. Почти вся волна переселенческаго движенія изъ Россіи направляется сюда, питаясь не лишенными правдоподобія слухами о неизмѣримыхъ земельныхъ угодьяхъ, баснословныхъ урожаяхъ, о богатствѣ страны скотомъ, рыбою, медомъ и прочими предметами, играющими въ жизни крестьянина главную роль. Изъ краткаго хронологическаго перечня путешествій и изслѣдованій, помѣщаемаго нами, читатели увидятъ, что Алтай уже давно привлекалъ къ себѣ вниманіе и ученыхъ изслѣдователей".

Книга г. Голубева является первымъ опытомъ изслѣдованія современной жизни Алтая въ экономическомъ и гражданскомъ отношеніи. Содержаніе ея весьма разнообразно; оно распадается на слѣдующіе отдѣлы: краткая лѣтопись Алтая; землевладѣніе; земледѣліе; скотоводство и эпизоотіи; пчеловодство; прочія занятія добывающей промышленности; кустарные промыслы; частная крупная промышленность; соляной промыселъ; торговля; платежи и повинности; недоимки; народный кредитъ; народные проступки; пожары и обязательное страхованіе; санитарно-медицинская часть на Алтаѣ; минеральныя воды и кумысолечебныя мѣста; народное образованіе; городское хозяйство на Алтаѣ; колонизація и переселенческое дѣло; горное дѣло и хозяйство кабинета (горное хозяйство; положеніе рабочихъ; арендное хозяйство кабинета; частная золотопромышленность). Большая часть этихъ работъ принадлежитъ г. Голубеву; краткая лѣтопись Алтая составлена главнымъ образомъ по книгѣ Щеглова: „Хронологическій перечень главнѣйшихъ данныхъ по исторіи Сибири", и по тѣмъ дополненіямъ, какія сдѣланы были П. П. Семеновымъ и Г. Н. Потанинымъ къ „Землевѣденію Азіи" Риттера. Статья о частной крупной промышленности принадлежитъ В. Г—ву; въ статьѣ о платежахъ и повинностяхъ описаніе Салаирской горнозаводской области составлено г. Зобнинымъ; статья о народныхъ проступкахъ, по рѣшеніямъ волостныхъ судовъ, составлена г. Акципетровымъ; статья о колонизаціи и переселенческомъ дѣлѣ принадлежитъ г. Овсянкину; наконецъ, въ статьѣ о горномъ дѣлѣ, отдѣлъ о положеніи рабочихъ составленъ г. Зобнинымъ. Все остальное было трудомъ г. Голубева. Изъ приве-

деннаго перечисленія предметовъ, изложенныхъ въ книгѣ, можно видѣть, что мы имѣемъ здѣсь весьма обстоятельное описаніе экономической жизни алтайскаго округа: въ книгѣ разсѣяно не мало статистическихъ цифръ по разнымъ отраслямъ хозяйства и промысла, а также быта и народнаго образованія. Въ отдѣлѣ о народномъ образованіи мы находимъ, напримѣръ, подробное перечисленіе всѣхъ школъ разнаго рода въ алтайскомъ округѣ съ указаніемъ времени основанія, числа учащихся, средствъ каждой школы и пр.; здѣсь же приведенъ списокъ періодическихъ изданій, какія выписывались за послѣднее время въ алтайскомъ округѣ и въ какомъ количествѣ.

Сборникъ оканчивается небольшой біографіей умершаго недавно извѣстнаго алтайскаго дѣятеля, Степана Ивановича Гуляева (ум. въ 1888 г., на 85 году жизни). Это былъ мѣстный уроженецъ, весь вѣкъ служившій по горному вѣдомству, большой знатокъ страны, котораго не миновали путешественники русскіе и иностранные, изучавшіе Алтай, самъ работавшій въ литературѣ по описанію этого края, доставлявшій разнаго рода свѣденія и коллекціи въ ученыя общества, которыхъ былъ корреспондентомъ (между прочимъ, берлинскаго Gesellschaft für Erdkunde), наконецъ, много работавшій, какъ безкорыстный любитель, для мѣстной практической культуры, по садоводству, скотоводству, промысламъ, разысканію минеральныхъ водъ и т. д. Свою біографію Гуляева г. Голубевъ открываетъ такими словами: „Невозможно, говоря объ Алтаѣ, пройти молчаніемъ объ одномъ изъ лучшихъ его сыновъ, посвятившихъ всю свою жизнь изученію родного края. А книга, подобная нашей, охватывая Алтай по возможности со всѣхъ сторонъ его современной жизни, была бы положительно неполна, еслибы мы не дали хотя бы краткаго очерка дѣятельности того, кто безспорно можетъ быть названъ первымъ изслѣдователемъ экономическо-гражданской жизни Алтая". Это справедливо, но странно читать тотчасъ послѣ этого слѣдующее: „Лично я не былъ знакомъ съ покойнымъ и *узналъ о немъ* лишь изъ краткаго некролога въ „Сибирской Газ." 1888 г., № 39, а потомъ по пріѣздѣ въ Барнаулъ лѣтомъ 1889 г. по свѣжимъ воспоминаніямъ о немъ знакомыхъ",—странно потому, что имя Гуляева было уже давно извѣстно тѣмъ, кто интересовался Сибирью, и, какъ говоритъ самъ біографъ, у Гуляева въ Барнаулѣ перебывало много даже иностранныхъ путешественниковъ, о немъ знавшихъ. „О русскихъ и сибирскихъ путешественникахъ и говорить нечего: его домъ для нихъ былъ отправнымъ пунктомъ къ изученію Алтая; разъ побывавъ у него, большинство навсегда завязывало съ нимъ переписку и находилось въ самыхъ дружескихъ сношеніяхъ. Для путешественниковъ и ученыхъ кабинетъ С. И. съ его коллекціями, библіотечкой, а главнымъ обра-

зомъ, съ самимъ хозяиномъ, который представлялъ изъ себя живую книгу всевозможныхъ свѣденій объ Алтаѣ, являлся необходимымъ преддверіемъ для изученія этой страны".

Книжка о Томскѣ г. Адріанова составлена по обычной программѣ справочныхъ книгъ, составлена очень заботливо и доставляетъ много свѣденій по исторіи и современному состоянію города во всѣхъ отношеніяхъ городской жизни. Въ предисловіи г. Адріановъ разсказываетъ исторію составленія книжки. Первоначально книгопродавецъ-издатель Макушинъ предполагалъ издать небольшую справочную книжку листа въ два, три печатныхъ, но г. Адріановъ, которому поручена была эта работа, въ самомъ началѣ увидѣлъ, что этотъ объемъ слишкомъ тѣсенъ для сколько-нибудь обстоятельнаго описанія города; между прочимъ, онъ хотѣлъ собрать возможно больше статистическихъ и справочныхъ цифръ. „Добываніе этого матеріала встрѣтило едва одолимыя трудности... Пришлось написать нѣсколько десятковъ писемъ къ разнымъ лицамъ и учрежденіямъ и для каждаго изъ нихъ составить спеціальныя программы вопросовъ, приспособивъ ихъ такимъ образомъ, чтобы получившему письмо оставалось только вставить, въ большинствѣ случаевъ, готовыя у него цифры. За разсылкой писемъ послѣдовалъ рядъ напоминаній письменныхъ и словесныхъ, но это не дѣйствовало"... „Пришлось употребить иной пріемъ; поставивъ на ноги нѣсколько человѣкъ изъ служащихъ въ книжномъ магазинѣ и типографіи П. И. Макушина, стали каждый день посылать ихъ туда и сюда за свѣденіями. И намъ стали ихъ давать, чтобы „отвязаться" отъ нашей надоѣдливости. Каждый разсуждалъ, что онъ не обязанъ давать намъ какіе бы то ни было отвѣты и свѣденія и оказывать услуги; и дѣйствительно, здѣсь могла быть только чисто нравственная обязанность, истекающая изъ сознанія о полезности предпріятія для *всѣхъ вообще.* А это сознаніе у насъ находится пока въ зародышномъ состояніи, въ головахъ людей, составляющихъ немногія единицы въ общей массѣ. Да что я говорю объ отношеніи къ нашему предпріятію отдѣльныхъ лицъ, очень часто заинтересованныхъ въ сохраненіи своихъ цифръ въ тайнѣ (страховыя общества, ссудныя кассы, транспортныя конторы и др.)! Такъ отнесся къ дѣлу предсѣдатель статистическаго комитета. Когда я обратился въ комитетъ за свѣденіями о числѣ жителей г. Томска, о числѣ фабрикъ и заводовъ и ихъ производительности, тюрьмахъ, о заведеніяхъ богоугодныхъ, то нерѣшившійся дать мнѣ самостоятельно этихъ свѣденій секретарь комитета доложилъ объ этомъ предсѣдателю и получилъ отвѣтъ и разъясненіе: ни подъ какимъ видомъ не давать, ибо матеріалы комитета составляютъ его тайну... Я добылъ, разумѣется, всѣ нужныя свѣденія и помимо комитета, но указываю на фактъ,

въ иномъ мѣстѣ невѣроятный, указываю на тѣ затрудненія, какія стояли у насъ на пути".

Г. Адріановъ нѣсколько преувеличиваетъ: такіе факты и въ иномъ мѣстѣ не представили бы ничего невѣроятнаго; напримѣръ, еслибы статистическій комитетъ самъ имѣлъ намѣреніе издать свои матеріалы, онъ весьма естественно затруднился бы передавать ихъ въ то же время въ другія руки.

Въ числѣ справочныхъ свѣденій, отмѣтимъ любопытныя указанія о состояніи просвѣщенія въ Томскѣ, объ учебныхъ заведеніяхъ, публичныхъ чтеніяхъ, выставкахъ, библіотекахъ, о томъ „что̀ читалъ Томскъ въ 1889 году", о мѣстныхъ періодическихъ изданіяхъ, которыхъ оказалось цѣлыхъ восемь. Въ приложеніяхъ помѣщенъ, между прочимъ, библіографическій указатель книгъ и статей о городѣ Томскѣ (стр. 248—433).—А. П.

Въ теченіе марта мѣсяца въ редакцію были доставлены слѣдующія новыя книги и брошюры:

Арнольдъ, Ѳ. К.—Русскій лѣсъ, въ 3-хъ томахъ. Т. II, съ 17 эстамп. на мѣди и 125 грав. на деревѣ. Спб. 91. Стр. 707. Ц. 10 руб.

Верещагинъ, В. П.—Рисунки къ „Исторіи государства россійскаго въ изображеніяхъ державныхъ правителей", съ краткимъ пояснительнымъ текстомъ. Спб. 1891.

Галанинъ, д-ръ М. И.—Письма къ матерямъ объ уходѣ за здоровымъ и больнымъ ребенкомъ. Изд. 2-е. Съ прибавл. „Діэтетики беременности, родовъ и послѣродового періода", ж.-врача Никольской-Щечкиной. Спб. 91. Стр. 332. Ц. 1 р. 75 к.

Гарбель, А. и К°.—Настольный Энциклопедическій Словарь. Вып. 11. М. 91. Стр. 479—526. Ц. 40 к.

Гартвигъ, Андрей.—Къ вопросу о преподаваніи исторіи въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. М. 91. Стр. 51. Ц. 30 к.

Германъ, врачъ Ф. Л.—Врачебный бытъ до-Петровской Руси. Вып. 1. Харьк. 91. Стр. 119.

Гончаровъ. И. А.—Англичане и русскіе. Съ видомъ Лондона. Спб. 91. Стр. 32.

Довнаръ-Запольскій, М.—Очеркъ исторіи Кривичской и Драговичской земель до конца XII столѣтія. Кіевъ, 91. Стр. 170. Ц. 1 р. 50 к.

Евневичъ, И. А.—Курсъ гидравлики. Лекціи, читан. въ Спб. практич. Технол. Инст., съ 125 рис. и особымъ атласомъ въ 14 листовъ. 2-е изд. Спб. 91. Стр. 676. Ц. 6 р.

Ермоловъ, А. С.—Организація полевого хозяйства. Системы земледѣлія и сѣвообороты. Изд. 2-е. Спб. 91. Стр. 571. Ц. 3 р. 75 к.

Золя, Э.—Деньги, романъ. Перев. съ франц. Спб. 91. Стр. 472. Ц. 1 р.

Коссинскій, ген.-л. В. Д.—Дополненіе (III-е ко 2-му изд. и XII-е къ 1-му изд.) къ Систематическому Сборнику приказовъ по военному вѣдомству и циркуляровъ главнаго штаба. 1890-й годъ. Спб. 91. Стр. 280. Ц. 4 р.

——— Справочная книжка для офицеровъ генеральнаго штаба. Спб. 91. Стр. 142.

Котъ-Мурлыка.—Повѣсти, сказки и разсказы. Т. II. Изд. 2-е. Спб. 91. Стр. 344.

Краснопёровъ, Е. И.—Кустарные промыслы и ремесла на казанской научно-промышленной выставкѣ. 1890 г. Пермь. 90. Стр. 101.

Лалаевъ, М.—Памяти Николая Васильевича Исакова. Спб. 91. Стр. 15.

Ледерле, М. М. Соловушко. Сборникъ русскихъ художественныхъ и народныхъ пѣсенъ. Рис. бар. М. П. Клодта. Спб. 91. Стр. 188.

Леонидъ, архимандритъ.—Святая Русь, или свѣденія о всѣхъ святыхъ и подвижникахъ благочестія на Руси (до XVIII в.), обще и мѣстно чтимыхъ, излож. въ таблицахъ, съ картою Россіи и планомъ кіевскихъ пещеръ. Справочная книга по русской агіографіи. Изд. гр. С. Д. Шереметева. Спб. 91. Стр. 220.

Лурье, С.—Страница изъ Талмуда. Спб. 91. Стр. 32.

Михайловъ, Н. Ф.—Школьно-санитарные вопросы въ земскихъ губерніяхъ. М. 90. Стр. 95.

Мушкетовъ, И. В.—Физическая Геологія. Курсъ лекцій, читанныхъ студентамъ горнаго института и института инж. пут. сообщенія. Ч. I. Общія свойства земли. Съ 3 карт. и 420 политипаж. Спб. 91. Стр. 709. Ц.

Пискорскій, В.—Франческо-Ферруччи и его время. Очеркъ послѣдней борьбы Флоренціи за политическую свободу (1527—1530). Кіевъ. 91. Стр. 192. Ц. 1 р. 50 к.

Сизеранъ, Морисъ де-ла.—Слѣпецъ о слѣпыхъ, съ предисловіемъ гр. д'Оссонвиля, чл. франц. Акад. Спб. 91. Стр. 102.

Сиротинина, А. Н.—Стихотворенія Ѳеокрита. Спб. 90. Стр. 119.

Соважо, А. Давидъ. — Реализмъ и натурализмъ въ литературѣ и искусствѣ. Трудъ, увѣнч. Париж. Акад. моральныхъ и политич. наукъ. М. 91. Стр. 350. Ц. 2 р.

Соколовъ, Валер.—О вліяніи хинина на образованіе грануляціонной ткани. Диссерт. на степ. доктора мед. Спб. 91.

Столповская, Анна.—Очеркъ исторіи культуры китайскаго народа. Съ прилож. рец. на статью г. В. С. Соловьева: „Китай и Европа". М. 91. Стр. 474. Ц. 3 р.

Тарасенко, Ив.—Ганнуся. Ливобережна поэма. Золотоноша, 91. Стр. 148. Ц. 1 р.

Терешкевичъ, Н.—Сборникъ по хозяйственной статистикѣ Полтавской губ. Т. VIII: Хорольскій уѣздъ, вып. 2. Полт. 90. Стр. 179.

——— Т. X: Переяславскій уѣздъ. Полт. 90. Стр. 482.

Толстой, гр. А. К.—Драматическая Трилогія: I. Смерть Іоанна Грознаго. II. Царь Ѳедоръ. III. Царь Борисъ. Спб. 91. Стр. 559. Ц. 2 р. 50 к.

Фламмаріонъ, К.—Въ небесахъ (Uranie). Астрономическій романъ, съ 50 рисунк. въ текстѣ. Перев. съ франц. Е. А. Предтеченскій. Спб. 91. Стр. 208. Ц. 1 р.

Фрикенъ, фонъ, А.—Итальянское искусство въ эпоху возрожденія. Ч. I. М. 91. Стр. 310. Ц. 2 р.

Ходскій, Л. В.—Земля и земледѣлецъ. Экономическое и статистическое изслѣдованіе. Въ 2-хъ томахъ. Т. I. Спб. 91. Стр. 266 и 314. Ц. за 2 т. 5 р.

Ширванзаде.—Лиза, перев. съ армян. Ал. Хачисова. Тифл. 91. Стр. 56. Ц. 10 к.

Шрамченко, М.—Уставъ строительный, измѣн. и дополн. узаконеніями, обнародованными по 1 февраля 1891 г., съ разъясн. правит. сената и циркулярами министр. вн. дѣлъ. Изд. 2-е. Спб. 91. Стр. 114. Ц. 1 р. 50 к.

Kariejew, N. — Upadok polski w literaturze historycznej. Przekład z rosyiskiego. Kraków, 91. Стр. 384.

——— Causes de la chute de la Pologne. Par. 91. Стр. 49.

Millet, René.—Souvenirs des Balkans de Salonique à Belgrade et de Danube à l'Adriatique. Par. 91. Стр. 397. Ц. 3 фр. 50 сант.

Priluker, Jacob.—Zwischen Judenthum und Christenthum und allen anderen Religionen. Drama in einem Aufzuge und zwei Bildern. Hamburg, 91. Стр. 32. Ц. 50 пф.

Samson-Himmelstjerna, von, H,—Revanche ou Ligue douanière, oder Zoll-Liga. Freiburg i. B. 91. Стр. 15.

— Историческіе матеріалы изъ Архива министерства государственныхъ имуществъ. Вып. 1-й. Спб. 91. Стр. 237.

— На память прежнимъ и нынѣшнимъ воспитанникамъ Петровскаго-Полтавскаго кадетскаго корпуса. 1840—1890 г. Спб. 91. Стр. 15.

— Очеркъ помѣщичьяго хозяйства въ Миргородскомъ уѣздѣ. Полт. 90. Стр. 120.

— Сборникъ Имп. Русскаго Историческаго Общества. Т. 75. Спб. 91. Стр. 543. Ц. 3 р.

— Семейная Библіотека.—№ 15.—Ив. Ив. Козловъ (1779—1840). Стихотворенія, ч. II. Спб. 1891. Стр. 78. Ц. 25 к.

ЗАМѢТКА.

По поводу статьи г. Соболевскаго объ „Исторіи русской Этнографіи“ (Журн. мин. просв., 1891, февраль).

По недостатку времени я не могъ сказать раньше о статьѣ г. Соболевскаго, представляющей разборъ моей книги; но оставить ее безъ отвѣта не слѣдовало.

Статья эта меня подивила. Тому, кто предпринимаетъ трудъ довольно сложный и значительный по интересу предмета, притомъ новый по задачѣ, не можетъ не быть и любопытно, и важно—вызвать замѣтки другихъ, которымъ близокъ этотъ предметъ, и особливо спеціалистовъ. Подобныя замѣтки могутъ указать новыя точки зрѣнія, послужить къ дополненію фактической стороны изложенія, вообще къ болѣе точному опредѣленію предмета: писатель будетъ только доволенъ такимъ разъясненіемъ вновь поднятаго вопроса и воспользуется этимъ въ своихъ послѣдующихъ работахъ, или будетъ имѣть удовольствіе видѣть въ чужихъ трудахъ дальнѣйшее развитіе начатаго имъ. Я могъ предполагать подобный интересъ къ научному вопросу въ статьѣ ученаго филолога, появившейся въ оффиціальномъ журналѣ, посвященномъ интересамъ русской науки; но я нашелъ нѣчто другое.

Для большей ясности дѣла я долженъ войти въ нѣкоторыя подробности о своей работѣ, тѣмъ болѣе не лишнія, что нѣкоторые критики, столь же доброжелательные какъ г. Соболевскій, дѣлали мнѣ упрекъ изъ того, что моя работа велась въ характерѣ журнальнаго изложенія.

Моя книга печаталась отдѣльными частями въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ въ журналѣ. Это были внѣшнія условія работы; но онѣ до значительной степени отвѣчали и самымъ потребностямъ дѣла: я желалъ, чтобы мой трудъ сталъ доступенъ обыкновенному образованному читателю,—а по давнишнему складу нашей литературы журналъ доставляетъ къ этому лучшее средство. Мнѣ издавна казалось весьма ненормальнымъ положеніе многихъ отдѣловъ нашей науки, гдѣ между чисто научной, технической разработкой предмета, принадлежащей небольшому кругу спеціалистовъ, и обыкновенными образованными людьми, массой общества, лежитъ цѣлая пропасть. Зависитъ это много

отъ того, что въ сущности образованіе массы общества остается слишкомъ поверхностно—и книга, посвященная спеціальнымъ вопросамъ, хотя бы въ области предметовъ доступныхъ значительной долѣ людей образованныхъ, напримѣръ въ области исторіи, литературы, этнографіи и т. п., не проникаетъ въ массу и остается достояніемъ тѣснаго круга спеціалистовъ. Не нужно, кажется, большихъ объясненій, чтобы видѣть, что въ концѣ концовъ это отражается невыгодно на всемъ составѣ нашего просвѣщенія: наука не проникаетъ въ массу общества, и чѣмъ меньше распространены знанія въ этой массѣ, тѣмъ меньше она сама выдѣляетъ изъ себя людей способныхъ служить дѣлу науки. Намъ не однажды случалось указывать, до какой степени мало, напримѣръ, новѣйшія изслѣдованія въ области русской народной старины и поэзіи проникали даже въ учебники, которымъ въ особенности надо было бы слѣдить за новыми изысканіями, и которые, однако, въ этомъ пунктѣ отстали отъ дѣйствительнаго положенія науки лѣтъ на двадцать. Въ значительной степени вина этого положенія вещей лежитъ и на самихъ спеціалистахъ: предаваясь завлекательной работѣ детальнаго изслѣдованія, они въ громадномъ большинствѣ случаевъ забывали о необходимости трудовъ цѣльнаго характера, которые именно способны и должны были бы установить въ массѣ общества и въ преподаваніи болѣе вѣрныя въ научномъ отношеніи понятія; воспитанные часто на западной наукѣ, привыкши къ той постановкѣ дѣла, какая издавна, цѣлой исторіей, утвердилась въ этихъ богатыхъ литературахъ, они перенесли тѣ же умственныя привычки, тотъ же характеръ изслѣдованія и въ наши условія, гдѣ, однако, эти привычки не всегда могли имѣть мѣсто, такъ какъ все положеніе научнаго дѣла иное. Очевидно, что задумать и исполнить цѣльный трудъ подобнаго рода есть дѣло гораздо болѣе мудреное, чѣмъ вращаться въ сравнительно тѣсномъ кругу частныхъ изслѣдованій; можно почти сказать, что для такого сложнаго предпріятія нужно было бы извѣстное мужество, и къ сожалѣнію его недоставало... Потому наша литература по предметамъ, входящимъ въ область древней словесности и этнографіи, состоитъ вообще изъ частныхъ, хотя нерѣдко замѣчательныхъ, изслѣдованій, остающихся, однако, необъединенными, неслитыми въ цѣлую систему, несвязанными одною мыслью, а вслѣдствіе того и мало проникающими въ кругъ общаго образованія... Мало-по-малу въ кругу спеціалистовъ (старшихъ, а потомъ и младшихъ) стала даже образовываться особая система взглядовъ, по которой настоящему „ученому“ даже не подобало обращать вниманія на profanum vulgus, считалось какъ бы ученой доблестью оставаться непонятнымъ этой „черни“ и не заботиться объ ея потребностяхъ. Такое высокомѣріе было бы, пожалуй,

возможно въ нѣмецкой литературѣ, гдѣ, при богатствѣ силъ, работа раздѣлена, и рядомъ съ развитіемъ глубочайшихъ вопросовъ науки издавна имѣлась громадная масса всякаго рода пособій, гандбуховъ, и т. п., а съ другой стороны, первостепенные ученые, поддерживаемые обиліемъ предварительныхъ работъ, не уклонялись отъ цѣльныхъ, обобщающихъ работъ, составляющихъ славу нѣмецкой науки. У насъ, почти не имѣющихъ ничего подобнаго, подобное выдѣленіе спеціальности въ дѣло небольшой касты было глубокимъ заблужденіемъ. Напротивъ, въ условіяхъ нашего образованія обязанностью ученаго круга было бы именно работать не только въ спеціальномъ изслѣдованіи деталей, но и въ постройкѣ цѣлаго, и такъ сказать въ педагогической постановкѣ предмета... Изъ этого презрѣнія къ научнымъ потребностямъ общества (не говоримъ уже о нерѣдкомъ также мертвомъ равнодушіи къ его потребностямъ нравственно-общественнымъ) получалось въ другомъ кругу то представленіе о „научной наукѣ", которое въ писаніяхъ гр. Л. Н. Толстого какъ будто хотѣло внушить вражду и презрѣніе къ самой наукѣ, какъ безполезному занятію праздныхъ людей.

Такъ столкнулись и питали другъ друга двѣ крайности, и исключительность ученыхъ спеціалистовъ, невниманіе къ образовательнымъ потребностямъ общества—отомщались открытой проповѣдью обскурантизма изъ устъ первостепеннаго писателя нашей современной литературы. Явленіе—безъ сомнѣнія очень прискорбное, но имѣющее свои причины.

Такое положеніе вещей мнѣ давно казалось ненормальнымъ, и по моему убѣжденію дѣлу русской науки и вмѣстѣ дѣлу общественнаго образованія надо было служить не только путемъ чисто спеціальныхъ изученій, но и трудами характера обобщающаго и доступнаго для бо̀льшаго круга читателей. Въ этомъ смыслѣ была мною предпринята и „Исторія русской этнографіи". Элементарныя правила критики и простого здраваго смысла указываютъ, что литературный трудъ долженъ быть разсматриваемъ съ той точки зрѣнія и въ тѣхъ предѣлахъ, какіе ставятся самымъ его замысломъ, въ сопоставленіи съ потребностями литературы, съ состояніемъ предъидущей разработки затронутаго матеріала; если этотъ трудъ въ первый разъ ставитъ задачу обобщенія предмета, то долженъ былъ возбудить вниманіе планъ предпріятія, расположеніе частей, опредѣленіе вопросовъ, какіе должны были найти себѣ мѣсто въ томъ или другомъ объемѣ, съ той или другой степенью подробности ихъ изложенія; должно бы было быть оцѣнено то новое, что̀ внесено или указано, чего недостаетъ, что̀ поставлено невѣрно, и что̀ было бы нужно—по плану, установленному авторомъ, и т. п. Понятно, что съ этой точки зрѣнія автору

было бы, какъ мы говорили, и любопытно, и важно встрѣтить опредѣленіе долго занимавшаго его предмета, и предмета важнаго по литературному значенію,—со стороны другихъ спеціалистовъ.

Здравомыслящій критикъ поставилъ бы вопросъ такъ, какъ мы говорили, съ безпристрастіемъ, обязательнымъ для просвѣщеннаго человѣка вообще и обязательнаго по серьезности предмета. Что же мы находимъ въ рецензіи г. Соболевскаго? Съ первыхъ строкъ и до конца рецензія пропитана какимъ-то предвзятымъ злобнымъ (затрудняемся назвать иначе) отношеніемъ къ *автору* книги, отношеніемъ, за которымъ не видно даже интереса къ самому предмету,—хотя бы этотъ интересъ подобалъ ученому спеціалисту. Занявшись вмѣсто предмета авторомъ, критикъ относится къ нему постоянно только съ враждой, и лишь подъ конецъ, какъ будто по остатку критической совѣсти, онъ нашелъ нужнымъ дать мѣсто нѣкоторому одобренію. Можетъ привести въ нѣкоторое недоумѣніе вопросъ: откуда взялась такая вражда? Можно было бы предположить, что эта вражда есть, такъ сказать, идейная, вражда направленій,—но особенныхъ идей въ статьѣ г. Соболевскаго не оказывается (ихъ можно угадывать только по разнымъ отрицательнымъ признакамъ); самое различіе направленій не только не освобождало бы отъ обязанности безпристрастія, но человѣкъ, и „ученый", порядочный считалъ бы безпристрастіе въ такомъ случаѣ тѣмъ больше необходимымъ.

При этомъ отношеніи къ дѣлу, мы, конечно, не имѣемъ особенной охоты входить въ діалогъ съ критикомъ о сдѣланныхъ имъ замѣчаніяхъ; если онъ не желалъ правильно понимать сказаннаго въ книгѣ, столь же мало онъ уразумѣлъ бы и теперь. Но рецензія любопытна, какъ образчикъ вульгарной критики, довольно типической для нашего времени. Возьмемъ два-три примѣра.

Итакъ, занявшись авторомъ, критикъ объясняетъ, что этотъ авторъ есть „старый западникъ", человѣкъ „либеральнаго направленія", конечно, неодобрительнаго, не признающій вслѣдствіе того заслугъ многихъ патріотическихъ писателей, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ его свѣденія „поразительно скудны" и т. п. О планѣ книги, объ ея изложеніи, исходящемъ изъ этого плана—ни слова.

Въ примѣръ скудости свѣденій приводится, напр., слѣдующее. Въ моей книгѣ (т. I, гл. II, стр. 51—77) посвящена особая глава понятіямъ о народности въ литературѣ, а также и въ быту XVIII вѣка: указано пренебреженіе къ народному въ псевдо-классицизмѣ и рядомъ распространеніе интереса къ народному въ сюжетахъ и въ формѣ тогдашнихъ литературныхъ произведеній. Понятно, что для моей цѣли было достаточно привести нѣсколько примѣровъ изъ разныхъ областей литературы и быта того времени и не было никакой

надобности пересчитывать всѣ тогдашнія сочиненія, въ которыхъ такъ или иначе проявился интересъ къ народному: болѣе подробно я сказалъ о писателяхъ, какъ Чулковъ, труды которыхъ получають прямо этнографическій интересъ, и только вкратцѣ упоминалъ о тѣхъ писателяхъ, даже крупныхъ, у которыхъ достаточно было отмѣтить этотъ интересъ какъ литературный инстинктъ. Критикъ съ величайшимъ самодовольствомъ принимается поучать меня, и какъ юный студентъ, гордый знаніемъ вчера вычитаннаго факта, перечисляетъ нѣсколько третьестепенныхъ произведеній тогдашней литературы, которыя, по его мнѣнію, должны были получить мѣсто въ этомъ отдѣлѣ моей книги. По его мнѣнію—должны; по моему—могли совершенно въ немъ отсутствовать именно по своей третьестепенности, когда даже такіе писатели, какъ самъ Фонъ-Визинъ или Аблесимовъ, упомянуты мною лишь въ двухъ словахъ, въ предположеніи, что читатель, которому понадобится о нихъ больше указаній, догадается обратиться къ помощи Галахова или, по крайней мѣрѣ, Орлова. Въ другихъ случаяхъ тотъ же критикъ ставитъ мнѣ въ вину, что я называю людей, которыхъ имена „даже спеціалистамъ мало знакомы"...

Съ тѣмъ же высокомнѣніемъ критикъ поучаетъ меня относительно новѣйшихъ беллетристовъ первой половины столѣтія, которые у меня опять, по его мнѣнію, играютъ „жалкую роль". Онъ извѣщаетъ меня о существованіи Нарѣжнаго (вѣроятно по недавнимъ статьямъ въ „Русской Старинѣ"), о повѣстяхъ Погодина (о нихъ только-что вычитано у Барсукова) и т. п. Вмѣсто разбора того, слѣдовало или нѣтъ, по плану и размѣрамъ книги, внести тѣ или другія подробности, прямо дѣлается филантропическое заключеніе: свѣденія автора „поразительно скудны"! Критику непонятно, что въ размѣрахъ моего изложенія я могъ останавливаться именно только на основныхъ фактахъ литературы, которые были характеристичными; такъ какъ моя цѣль была исторія этнографіи, а не исторія литературы, то совершенно довольно было ограничиться общими указаніями на то, какъ параллельно съ интересомъ этнографическимъ развивался интересъ къ народу въ литературѣ художественной; перечислять сполна всѣ частныя подробности, которыя мнѣ рекомендуются, мнѣ не было надобности, или надо было, чтобы моя книга разрослась вдвое противъ предположеннаго объема. Другой столь же справедливый критикъ могъ такимъ же образомъ потребовать отъ меня изложенія исторіи разработки нашего права, такъ какъ я для образчика упомянулъ о Калачовѣ, или изложенія разработки исторіи церкви и т. д., словомъ, нѣтъ предѣла требованіямъ, такъ какъ тема сочиненія соприкасается со всѣми этими вопросами: желательно было бы только одно, чтобы строгіе судьи сообразили нѣсколько планъ книги

и степень возможности внести въ нее всѣ эти желаемыя данныя. Кромѣ того, при всей общедоступности моего труда, я не предполагаю своего читателя такимъ невѣждой, чтобы на каждомъ шагу его требовалась указка.

Считая меня „страстнымъ западникомъ“ (даже забавно читать), критикъ находитъ у меня и другія ошибки и провинности. Въ качествѣ западника, я долженъ не любить древней Руси, преувеличивать значеніе Петровской реформы и т. п., и при этомъ совершать грубыя историческія ошибки. Въ рецензіи читаемъ: „Отношеніе допетровской Руси къ иностранцамъ представляется г. Пыпинымъ въ неожиданномъ для насъ видѣ: онъ говоритъ объ „единодушномъ подъ конецъ московскаго періода отрицательномъ представленіи“ о нихъ, о „недовѣріи, даже ненависти ко всему иноземному“ (1, 12). Признаемся, странно читать такія вещи о русскихъ, которые въ концѣ XVII вѣка на окраинахъ мирно жили вмѣстѣ и рядомъ съ татарами, вогулами, остяками, черемисами, мордвою, которые вызывали къ себѣ въ столицу и старались удерживать у себя навсегда иностранцевъ, которыхъ аристократія пополнялась татарскими мурзами, мещерскими, черкасскими и др. князьями, которыхъ цари всѣми силами старались находить жениховъ для своихъ дочерей между иностранными принцами“.

Для меня это замѣчаніе также чрезвычайно неожиданно: по всему контексту ясно, что у меня разумѣются иноземцы западные, а не мещеряки или чуваши; послѣднихъ у насъ называютъ инородцами,—а какъ относились въ старину къ западнымъ иноземцамъ—это слишкомъ извѣстно.

Г. Соболевскій защищаетъ отъ меня московскую книжность, но у меня приведенъ былъ взглядъ г. Буслаева.

Въ литературѣ новѣйшей я отличаюсь „крайнею нетерпимостью ко всѣмъ нашимъ дѣятелямъ стараго времени (по большей части давно покойнымъ), которые принадлежали не къ либерально-западническому лагерю“, и затѣмъ читаемъ: „онъ, такъ сказать, преслѣдуетъ Сахарова за то, что послѣдній не благоволилъ къ иностранцамъ (!!), какъ будто Сахаровъ виноватъ въ томъ, что иностранные учителя и гувернеры, наполнявшіе въ 20-хъ и 30-хъ годахъ Россію, были не таковы, чтобы внушить русскому патріоту какое-либо уваженіе къ западу!“ Нескладность обвиненія замѣчательная. Я остановился подробно на Сахаровѣ какъ на одномъ изъ замѣчательнѣйшихъ лицъ въ развитіи нашей этнографіи; полагаю, что мною достаточно указано его значеніе какъ ревностнаго этнографа, который въ свое время много способствовалъ возбужденію народныхъ изученій, но я не могъ также не остановиться на немъ какъ на типическомъ

человѣкѣ своего времени, и онъ являлся въ тѣхъ чертахъ, какія сохранила его біографія и собственные труды, какъ самоучка, какъ человѣкъ съ наивными понятіями и общественными, и научными (примѣры приведены изъ его собственныхъ словъ). Эти черты, за которыя смѣшно было бы его „преслѣдовать", любопытны были именно тѣмъ, что при нихъ Сахаровъ въ особенности являлся выразителемъ того жизненнаго инстинкта, который мимо научныхъ вліяній, для него не существовавшихъ, призывалъ къ изученію народа въ такую пору, когда инымъ власть имущимъ это казалось даже дѣломъ подозрительнымъ. Не могъ я, конечно, умолчать и о томъ, что въ самой этнографической работѣ, даже по тому времени, были крупные недостатки; бывали даже поддѣлки; но если кто „преслѣдовалъ" Сахарова, то это были Аполлонъ Григорьевъ и г. Безсоновъ.

Дальнѣйшее нападеніе составляетъ верхъ критическаго искусства, практикуемаго г. Соболевскимъ. Обвинивъ меня въ преслѣдованіи Сахарова за то, что онъ не принадлежалъ къ либерально-западническому лагерю (хотя въ то время, когда началъ дѣйствовать Сахаровъ, не было никакого западническаго лагеря), критикъ продолжаетъ, что отъ меня „сильно достается Мельникову: онъ *имѣлъ несчастіе* служить въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ...".

Мы не удивились бы, еслибы встрѣтили подобныя слова въ какой-нибудь газетѣ, торгующей патріотизмомъ и потерявшей всякое чувство общественнаго приличія; но мы встрѣчаемъ эти слова въ статьѣ профессора университета, напечатанной въ оффиціальномъ ученомъ журналѣ, который редактируется также ученымъ профессоромъ; дѣло становится болѣе серьезнымъ. Критикъ, не ограничиваясь предметами литературными, даетъ понять, что я не совсѣмъ благонадеженъ и въ гражданскомъ отношеніи: приведенныя слова могутъ означать только одно—что я человѣкъ столь превратнаго либеральнаго образа мыслей, что достаточно кому-либо находиться на службѣ въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, чтобы я возъимѣлъ къ нему вражду. Точки, поставленныя критикомъ въ концѣ приведенной фразы, должны указывать, повидимому, что онъ еще не все договорилъ. Въ началѣ статьи онъ говоритъ о себѣ, какъ о человѣкѣ, сравнительно со мной, новѣйшаго поколѣнія. Дѣйствительно, въ томъ поколѣніи, къ которому принадлежу я, подобная выходка считалась бы крайне неприличной для университетскаго профессора... Собственно, такой извѣтъ долженъ былъ бы быть прямо направленъ въ то учрежденіе, которое вѣдаетъ дѣла о гражданской благонадежности; по крайней мѣрѣ дѣло бы выяснилось. Надо предполагать, что въ учрежденіи этотъ предметъ былъ бы разсмотрѣнъ спокойно и безпристрастно, и по всей

вѣроятности извѣтъ былъ бы отвергнутъ, такъ какъ въ немъ нѣтъ человѣческаго смысла и къ вопросамъ науки онъ не относится.

Въ томъ, что̀ у меня говорится о Мельниковѣ, довольно вразумительно указаны факты, которые не могутъ возбуждать сочувствія. Министерство внутреннихъ дѣлъ здѣсь ни при чемъ; напримѣръ въ томъ же министерствѣ служилъ Вадимъ Пассекъ, къ которому, однако, я относился съ большою симпатіей. Во всякомъ вѣдомствѣ могутъ случиться люди прекрасные и люди дурные. Черта, отталкивающая въ Мельниковѣ и въ его писаніяхъ, заключалась въ противорѣчіи между заявленіями началъ народности и циническимъ отношеніемъ къ народу на дѣлѣ. Послѣднее выразилось въ его дѣятельности по расколу. Какъ извѣстно, расколъ въ царствованіе императора Николая преслѣдовался съ суровостью, доходившею до жестокости; спеціальный приверженецъ начала народности, еслибы служебное положеніе привело его къ дѣламъ по расколу, могъ бы, по крайней мѣрѣ, хотя въ нѣкоторой степени примѣнить здѣсь свое народолюбіе и не идти заурядъ съ обыкновенными приказными того времени. Въ своихъ писаніяхъ Мельниковъ показывалъ также большую нецеремонность; примѣры были указаны въ книгѣ извѣстнаго кіевскаго профессора Ореста Новицкаго: „Духоборцы, ихъ исторія и вѣроученіе", гдѣ авторъ только во второмъ ея изданіи (Кіевъ, 1882, стр. 179—182), черезъ двадцать пять лѣтъ, могъ опровергнуть небылицы, разсказанныя Мельниковымъ въ конфиденціальной запискѣ о расколѣ въ 1857 году, и въ замѣчательной книгѣ Н. С. Соколова: „Расколъ въ Саратовскомъ краѣ" (Саратовъ, 1888, стр. 339—340).

Критикъ упрекаетъ меня за недостаточно высокую оцѣнку трудовъ г. Буслаева. Мнѣ казалось, что въ моей книгѣ имя почтеннаго ученаго вездѣ окружено только уваженіемъ, и я не буду противорѣчить, если г. Соболевскій прибавитъ еще мѣру этого уваженія. Но я не соглашусь съ преуменьшеніемъ научной заслуги г. Веселовскаго. Критикъ ставитъ ему въ вину недостатокъ метода и произволъ выводовъ, но неужели онъ серьезно можетъ противопоставлять ему въ этомъ Аѳанасьева и Ор. Миллера? Если нѣкоторые выводы могутъ быть оспариваемы, это можетъ быть сдѣлано съ такимъ же оружіемъ въ рукахъ,—арена открыта; между тѣмъ масса новаго матеріала, введеннаго г. Веселовскимъ въ изслѣдованіе, и рядъ неожиданныхъ и во многомъ несомнѣнныхъ выводовъ даютъ изученію нашей народной старины и поэзіи такой широкій горизонтъ, какого безъ сомнѣнія оно еще не достигало въ нашей литературѣ.

Думаю, что читатель не усомнится въ моихъ словахъ, когда я скажу, что разсказанная исторія непріятна мнѣ не столько потому,

что касается именно моего труда, сколько потому, что указываетъ на очень грубое отношеніе къ интересамъ науки и общественнаго образованія въ самой ученой средѣ. Работа, вызвавшая у самого враждебнаго мнѣ критика нѣсколько одобрительныхъ эпитетовъ, могла бы побудить его къ болѣе серьезнымъ мыслямъ, чѣмъ какія-то личныя соображенія. Непріятно было видѣть, что у насъ ученость и просвѣщеніе все еще не отождествляются,—объ этомъ свидѣтельствуютъ пріемы статьи г. Соболевскаго, напечатанной въ журналѣ..., который нѣкогда умѣлъ сохранять научное достоинство.

А. Пыпинъ.

НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I.

— A short History of Political Economy in England, from Adam Smith to Arnold Toynbee. By *L. L. Price.* M. A. London. 1891 (University Extension Series).

Еще въ прошедшемъ году появилась книга Джиббинса по англійской промышленной исторіи и въ то же время объявленіе о предполагаемомъ выходѣ въ свѣтъ цѣлаго ряда руководствъ для пользованія студентовъ на курсахъ англійскихъ обществъ „Распространенія университетскаго образованія". Второй такой книгой является именно любопытный и давно объявленный трудъ Прайса, одного изъ лекторовъ на этихъ курсахъ. Его „Краткая исторія политической экономіи въ Англіи", какъ показываетъ самое заглавіе, обнимаетъ собою исторію науки народнаго хозяйства, начиная лишь съ Адама Смита и кончая извѣстнымъ Тойнби. Прайсъ не считалъ нужнымъ излагать ученія предшественниковъ Смита, очевидно, потому, что ограничился болѣе скромной задачей—лишь намѣтить въ возможно сжатомъ видѣ важнѣйшій моментъ развитія науки, и въ этомъ случаѣ Адамъ Смитъ является съ своимъ сдѣлавшимъ эпоху трудомъ весьма удобнымъ исходнымъ пунктомъ. Съ другой стороны, по понятнымъ причинамъ, онъ не хотѣлъ касаться другихъ новѣйшихъ еще живыхъ писателей, такъ какъ ихъ трудъ можетъ считаться еще неоконченнымъ и неудобнымъ для надлежащей оцѣнки.

Прайсъ старается въ своемъ очеркѣ (занимающемъ около 200 страницъ in 16°) упомянуть каждаго сколько-нибудь значительнаго изъ англійскихъ экономистовъ, но останавливается для спеціальнаго и болѣе подробнаго обсужденія въ отдѣльныхъ главахъ, лишь на тѣхъ выдающихся писателяхъ, произведенія которыхъ оставили прочный и неизгладимый слѣдъ на развитіи экономической науки. Таковыми, по мнѣнію автора, являются въ Англіи слѣдующія лица: Смитъ, Мальтусъ, Рикардо, Дж. Ст. Милль, Кернсъ, Клиффъ-Лесли, Вальтеръ Бэджготъ, Джэвонсъ, Фосеттъ и Арнольдъ Тойнби. Ими Прайсъ занимается довольно много, при чемъ знакомитъ съ общимъ характеромъ ихъ трудовъ, останавливая въ то же время спеціальное вниманіе на главнѣйшемъ результатѣ ихъ изслѣдованій, который опредѣляетъ притомъ и самое названіе каждой главы. Такъ, глава объ

Адамѣ Смитѣ называется „Раздѣленіе труда", о Мальтусѣ—носить названіе „Принципъ населенія", о Рикардо—„Теорія ренты", о Дж. Ст. Миллѣ (на этотъ разъ не совсѣмъ удачно)—„Теорія цѣнности", о Кернсѣ и Клиффъ-Лесли—„Экономическій методъ", о Бэджготѣ—„Денежный рынокъ", о Джэвонсѣ—„Статистика", и о Тойнби—„Соціальная реформа".

Если сопоставить новую „Исторію политической экономіи" Прайса съ однородной книжкой и, притомъ, единственной за послѣднія 30 лѣтъ по этой части,—„Исторіей политической экономіи" дублинскаго профессора Ингрэма (A History of Political Economy, by „John Ingram", London 1888), то между ними окажется весьма значительная разница. Книга Ингрэма преслѣдуетъ свои задачи—исторію міровой экономической мысли, Прайсъ—національно-англійскую экономическую литературу въ ея важнѣйшихъ представителяхъ. Поэтому Ингрэмъ въ сжатомъ очеркѣ прослѣживаетъ одну историческую эпоху за другой въ разныхъ странахъ, взаимную связь и вліяніе воззрѣній на экономическія явленія и обратно, стараясь дать философскую оцѣнку всякому событію и каждому экономическому ученію. Л. Прайсъ (котораго кстати не слѣдуетъ смѣшивать съ Бонами Прайсъ), совершенно обратно съ своимъ предшественникомъ Ингрэмомъ, пишетъ не исторію идеи, а исторію выдающихся экономистовъ; поэтому онъ не прослѣживаетъ историческія событія и совсѣмъ не касается иностранныхъ писателей. Точно такъ же для Ингрэма въ его философско-историческомъ очеркѣ личная жизнь писателя не существуетъ и онъ ея почти никогда не касается. Напротивъ, Прайсъ знакомитъ болѣе или менѣе съ біографіями каждаго писателя, экономическія доктрины котораго излагаются, и, притомъ, иногда столь обстоятельно, что самая доктрина того или иного экономиста получаетъ себѣ новое освѣщеніе и объясненіе, благодаря такой постановкѣ вопроса, или личность самого экономиста завоевываетъ себѣ сочувствіе и невольное уваженіе читателя, какъ бы предрасполагая къ воспринятію мнѣній автора.

Насколько мысль Прайса связать біографическія подробности изъ жизни авторовъ съ изложеніемъ ихъ ученій можетъ считаться удачной—объ этомъ легко было бы судить по нѣсколькимъ примѣрамъ отдѣльныхъ описаній, взятыхъ для сравненія. Благодаря именно отсутствію такого пріема, блестящее изложеніе ученія Мальтуса въ книгѣ Ингрэма оставляетъ у читателя невольное нерасположеніе и предубѣжденіе противъ личности самого творца „Опыта о законѣ народонаселенія". Съ одной стороны, по изложенію Ингрэма, трудъ Мальтуса является результатомъ какъ бы предвзятой мысли, ради которой факты подбирались, послѣ установки основного положенія.

Съ другой—своевременный успѣхъ труда Мальтуса приписывается тому обстоятельству, что выводы его ученія удовлетворяли интересамъ высшихъ сословій общества, освобождая ихъ отъ всякой нравственной отвѣтственности за бѣдственное положеніе рабочихъ классовъ народа и т. д. Въ иномъ, несравненно лучшемъ свѣтѣ является та же личность Мальтуса и его ученіе въ книжкѣ Прайса, вслѣдствіе удачно введенныхъ въ изложеніе подробностей его жизни. Даніэль Мальтусъ, отецъ экономиста, былъ другомъ и постояннымъ корреспондентомъ знаменитаго Жанъ-Жака Руссо, и не только раздѣлялъ его вѣру въ возможность усовершенствованія человѣка въ переформированномъ состояніи общества, близкомъ къ его первобытному виду, но и старался примѣнять эти воззрѣнія къ практикѣ цѣликомъ, воспитывая своего сына по *Эмилю* Руссо. Въ результатѣ у послѣдняго, очевидно, съ дѣтства накопилось недовольство этими экспериментами и ихъ результатами, и чѣмъ онъ становился старше, тѣмъ болѣе сказывалось несогласіе его міровоззрѣній съ своимъ отцомъ. Его здравый умъ, напр., возмущался противъ непрактичности и крайняго оптимизма ученій Вильяма Годвина, приписывавшаго всѣ бѣдствія общества исключительно несовершенству человѣческихъ учрежденій, одного измѣненія которыхъ къ лучшему достаточно, будто бы, чтобы все процвѣло. Старикъ Мальтусъ, какъ вѣрный послѣдователь Руссо, стоялъ всегда за Годвина, а молодой изучалъ исторію экономіи и статистику, собирая данныя противъ положеній, которыя совершенно искренно казались ему лишь однимъ увлеченіемъ. И вотъ, одна крайность порождаетъ, весьма естественно, въ результатѣ другую. Дѣйствительно, ученіе Мальтуса попало въ тонъ времени, но онъ былъ не менѣе искренно смущенъ успѣхомъ своего изслѣдованія и сознавался въ позднѣйшее время, что весьма возможно, что, „находя лукъ слишкомъ согнутымъ въ одну сторону, онъ, чтобы его распрямить, въ свою очередь, слишкомъ перегнулъ въ другую"...

Не менѣе любопытны, но уже въ другомъ отношеніи, біографическія подробности въ томъ же родѣ, сообщаемыя Прайсомъ параллельно съ изложеніемъ ученій и другихъ англійскихъ экономистовъ. Кто бы, напр., могъ подумать, что наиболѣе крупные труды извѣстнаго Кернса, каковы: „Some Leading Principles of Political Economy", а также „Political Essays" и, наконецъ, „Essays on Political Economy", отличающіеся не только глубиною мысли, необыкновенною ясностью и изяществомъ изложенія и умѣньемъ концепціи, но и обширною эрудиціей автора, написаны или изданы Кернсомъ на одрѣ болѣзни и при нестерпимыхъ физическихъ страданіяхъ, продолжавшихся много лѣтъ, вплоть до его смерти. Оказывается, что десять послѣд-

нихъ лѣтъ его жизни (а онъ умеръ всего лишь 51-го года отъ роду) его посѣтила тяжкая болѣзнь (острый ревматизмъ), которая шагъ за шагомъ разрушала его тѣло въ то самое время, когда умственныя силы сохранялись въ полной свѣжести, такъ что умная и острая бесѣда очаровывала по-прежнему всѣхъ лицъ, его посѣщавшихъ, и Кернсъ торопился работать, выпуская книгу за книгой, какъ бы ожидая скорой развязки: сначала у него отнялись ноги и онъ ходилъ только на костыляхъ, затѣмъ его перевозили въ ручной тележкѣ, затѣмъ его выносили на рукахъ, такъ какъ боль при малѣйшемъ движенiи сдѣлалась нестерпима; наконецъ, послѣдніе годы жизни онъ провелъ уже въ домѣ безъ всякаго движенія, медленно угасая, но не переставая умственно работать и обогащать науку... Не менѣе замѣчательна рядомъ съ этимъ нравственнымъ мужествомъ и черта характера другого новѣйшаго экономиста—Генри Фосетта: 25-ти лѣтъ отъ роду, блестящимъ образомъ только-что кончившій курсъ въ кембриджскомъ университетѣ, гдѣ онъ взялъ первый призъ на состязаніи по высшей математикѣ, въ полномъ расцвѣтѣ, слѣдовательно, своихъ силъ и передъ началомъ практической жизни, онъ испыталъ одно изъ самыхъ тяжкихъ физическихъ бѣдствій и случайностей: на охотѣ несчастный выстрѣлъ его отца лишилъ его навсегда зрѣнія. „Это было для меня,—разсказывалъ онъ на митингѣ въ Брайтонѣ много лѣтъ спустя,—конечно, страшнымъ ударомъ; но десяти минутъ размышленія достаточно было, чтобы придти къ рѣшимости бодро встрѣтить это горе, противиться ему и, насколько возможно, вернуться къ прежнему образу жизни и занятіямъ“. Это онъ и сдѣлалъ, какъ извѣстно. Лица, видѣвшія его семейство черезъ нѣсколько дней послѣ несчастія, находили всѣхъ его окружающихъ, и особенно его отца, несравненно болѣе убитыми и огорченными, нежели самого его. Извѣстно, какъ блестяще Фосеттъ сдержалъ это обѣщаніе, данное самому себѣ: слѣпота не помѣшала ему сдѣлаться виднымъ ученымъ, написать множество экономическихъ изслѣдованій, стать крупнымъ политическимъ дѣятелемъ своей страны и однимъ изъ полезнѣйшихъ администраторовъ (онъ сдѣлался генералъ-почтмейстеромъ), какихъ видѣла Великобританія. Наконецъ, то же глубокое несчастіе, которое всякаго другого, болѣе слабаго духомъ, человѣка лишило бы всякой энергіи и убило нравственно, не мѣшало тому же Фосетту сдѣлаться мужемъ одной изъ замѣчательнѣйшихъ женщинъ Англіи,—m-rs Millicent Garrett и въ заключеніе выростить дочь, которая въ прошломъ году, подобно ея покойному отцу, въ кембриджскомъ университетѣ, на математическомъ состязаніи (tripos) побѣдила всѣхъ мужчинъ-конкуррентовъ и взяла первый призъ, дающій право на сте-

пень магистра науки (Magister Artium), которую бы она и получила, еслибы не была женщина.

Вообще, мысль Прайса—съ историко-экономическимъ описаніемъ соединить или, точнѣе, слить описаніе личности и обстоятельства жизни авторовъ, нельзя не назвать, по нашему мнѣнію, весьма удачной и заслуживающей вниманія. Этотъ пріемъ способенъ не только дать новый смыслъ разбираемому экономическому ученію, но и придать жизнь и большой интересъ самому изложенію. — И. Я.

II.

Histoire des institutions politiques de l'ancienne France, par *Fustel de Coulanges. La Gaule romaine.* Ouvrage revue et complété sur le manuscrit et d'après les notes de l'auteur, par *Camille Jullian.* Paris. 1891. Стр. XIV и 332.

Покойный Фюстель де-Кулажъ успѣлъ при жизни издать только первый томъ своего капитальнаго изслѣдованія, въ его окончательной переработкѣ; два слѣдующіе тома—о сельскихъ владѣніяхъ въ эпоху Меровинговъ и о зачаткахъ и основахъ феодализма—появились уже послѣ его смерти. Теперь вышелъ еще одинъ томъ, который по содержанію долженъ составить начало всего сочиненія; изъ дальнѣйшихъ рукописей, приготовленныхъ авторомъ къ печати, выйдетъ два тома—о германскомъ нашествіи и паденіи имперіи, и о преобразованіяхъ королевской власти въ эпоху Каролинговъ. Если не считать книги о сельскихъ владѣніяхъ и аллодіальныхъ имуществахъ, которая печаталась еще подъ наблюденіемъ автора, то всего оставлено имъ въ рукописи четыре значительныхъ тома, независимо отъ массы матеріаловъ и замѣтокъ, требовавшихъ еще обработки. Замѣчательное трудолюбіе соединяется у Фюстель де-Куланжа съ рѣдкою научною добросовѣстностью: онъ всегда основывается на первоисточникахъ, на подлинныхъ текстахъ, ни въ чемъ не полагаясь на своихъ предшественниковъ, и дѣлаетъ свои выводы и предположенія только послѣ долгаго и старательнаго анализа, причемъ самая работа пишется и передѣлывается нѣсколько разъ прежде чѣмъ принять окончательную форму; первая редакція, какъ разсказывается въ вступительномъ примѣчаніи, бывала обыкновенно подробная, полная цитатъ и обсужденій, и ее авторъ оставлялъ для себя, чтобы затѣмъ сократить и переработать ее для читателя.

Вышедшая теперь книга окончена въ нынѣшнемъ видѣ въ 1887 г.; она посвящена описанію древняго быта Галліи и постепеннаго водворенія въ ней римскихъ понятій и порядковъ. Авторъ строго держится почвы фактовъ и не вдается ни въ какія обобщенія, не до-

пускаетъ обычныхъ гипотезъ и теорій. „Продолжительное и точное наблюденіе подробностей — говоритъ онъ — представляетъ единственный путь, могущій привести къ какому-либо общему взгляду; для одного дня синтеза нужны годы анализа. Въ разысканіяхъ, требующихъ столько терпѣнія и усилій, столько осторожности и въ то же время смѣлости, шансы ошибокъ многочисленны, и никто не можетъ ихъ избѣгнуть“. Но подробности, собираемыя Фюстель де-Куланжемъ, имѣютъ ту характерную черту, что изъ нихъ постепенно, на глазахъ читателя, выростаетъ цѣльная и стройная картина. Авторъ часто ограничивается лишь отрицательными выводами; онъ не находитъ въ памятникахъ того, что̀ предполагали или видѣли въ нихъ другіе изслѣдователи, и на этомъ основаніи отвергаетъ нѣкоторыя установившіяся мнѣнія, доказываетъ произвольность и ошибочность извѣстныхъ толкованій, болѣе или менѣе распространенныхъ и общепринятыхъ. Такъ, изъ приводимыхъ имъ данныхъ можно заключить, что классъ друидовъ не игралъ приписываемой имъ крупной роли въ странѣ, что римское завоеваніе было встрѣчено сочувственно населеніемъ и не вызывало народныхъ протестовъ, что попытки возстанія предпринимались лишь отдѣльными честолюбивыми вождями и ихъ кліентами, что римское господство не было насильственнымъ, а культурнымъ, умиротворяющимъ и потому особенно прочнымъ. Притягательная сила римской цивилизаціи дѣйствовала неотразимо на различные классы галловъ, заставляла ихъ принимать обычаи, идеи и даже имена римлянъ, безъ всякихъ искусственныхъ мѣръ центральной власти. Римская имперія была въ высшей степени популярна въ Галліи; императорамъ поклонялись, воздвигались храмы и приносились жертвы, какъ воплощеніямъ особаго божества—государства.

Весьма интересны замѣчанія автора о республикѣ и имперіи по понятіямъ того времени. „Имперія никогда не представлялась личною властью; она вовсе не похожа на монархію восточныхъ народовъ или на европейскія королевства XVII вѣка. Императоръ не есть вершина всего зданія; надъ нимъ господствуетъ идея государства. Граждане служатъ не императору, а государству. Монархъ долженъ управлять не для себя, но для общаго блага. Дѣйствительное верховенство—въ теоріи и въ общемъ мнѣніи людей—принадлежало не монарху, а государству или республикѣ“. Слово „республика“, означавшее государство вообще, никогда не выходило изъ употребленія при имперіи и постоянно повторялось въ оффиціальныхъ актахъ, заявленіяхъ и декретахъ императоровъ. „Нѣкоторые поверхностные умы утверждали, что Августъ и его преемники сохранили имя республики, чтобы ввести въ заблужденіе народъ. Это удобный, но довольно

ребяческій способъ объяснять дѣйствія имперіи. Въ исторіи нужно принимать въ разсчетъ идеи данной эпохи; Августъ и его преемники, по крайней мѣрѣ въ теченіе трехъ столѣтій, сохраняли мысль о республикѣ по той единственной причинѣ, что эта мысль владѣла ихъ собственными умами, какъ и умами ихъ современниковъ". Сосредоточеніе различныхъ республиканскихъ властей въ рукахъ одного лица не измѣнило самаго взгляда на государство и республику. Цезарь, получавшій свои разнородныя и неограниченныя полномочія по старымъ республиканскимъ правиламъ, сдѣлался олицетвореніемъ республики и пользовался титуломъ Августа, т.-е. священнаго, божественнаго; этотъ титулъ не былъ дѣломъ лести или низкопоклонства, а вытекалъ изъ общаго убѣжденія въ святости государства. „Государство всегда было для древнихъ чѣмъ-то священнымъ и составляло предметъ поклоненія; оно имѣло своихъ боговъ и само признавалось чѣмъ-то въ родѣ божества. Это весьма старинное понятіе господствовало еще въ умахъ. Современники Цезаря Октавіана находили вполнѣ естественнымъ перенести на императора божественныя свойства, которыми всегда обладало государство. Такимъ образомъ, императоръ сталъ однимъ изъ предметовъ національнаго религіознаго культа; прежде воздвигались храмы римскому государству, какъ божеству, а теперь стали присоединять имя правителя, Августа". Въ частныхъ жилищахъ помѣщались, въ числѣ божественныхъ предметовъ, статуи императоровъ; „это были настоящіе идолы, къ которымъ обращались съ молитвами и жертвоприношеніями". Этотъ культъ не былъ простымъ обрядомъ, правиломъ этикета; напротивъ, онъ не существовалъ въ императорскомъ дворцѣ, который въ этомъ отношеніи былъ почти единственнымъ въ мірѣ изъятіемъ изъ общаго правила. „Не царедворцы боготворили цезаря, а Римъ, и не только Римъ, но и Галлія, и Испанія, и Греція и Азія. Если не считать христіанъ, которые тогда скрывались и преслѣдовались, весь человѣческій родъ единодушно боготворилъ личность императора". Эта особенность римской религіи не была продуктомъ позднѣйшаго деспотизма; она имѣла наибольшее значеніе при началѣ имперіи и утратила свою внутреннюю силу со временъ Діоклетіана. Нѣкоторые взгляды автора могутъ показаться слишкомъ односторонними или сомнительными, но въ книгѣ приведено столько свѣденій и сопоставлено столько документальныхъ текстовъ, что читатель получаетъ возможность извлечь изъ нихъ свои самостоятельные выводы, отступающіе отчасти отъ заключеній Фюстель де-Куланжа.

III.

— *Home-Rule und Föderation.* Von einem Doktor der Medicin, Verfasser der „Grundzüge der Gesellschaftswissenschaft". Berlin, 1890, Стр. 72.

Авторъ этой брошюры надѣлалъ когда-то много шуму своею книгою объ общественной наукѣ, гдѣ онъ пытался примѣнить медицинскую точку зрѣнія къ разрѣшенію соціальныхъ вопросовъ. Теперь онъ предлагаетъ устранить ирландскій кризисъ и за-одно съ нимъ всякіе международные кризисы, посредствомъ образованія особой федераціи между Англіею и Франціею, съ присоединеніемъ затѣмъ другихъ великихъ и малыхъ государствъ культурнаго міра. Чтобы придти къ этимъ смѣлымъ выводамъ, авторъ подробно обсуждаетъ проекты ирландской автономіи, приводитъ различныя теоріи относительно законовъ, правительства, свободы и самоуправленія, говоритъ о Гоббесѣ и Локкѣ, о союзахъ и федераціи. Въ составъ федераціи вошли бы на равныхъ правахъ только культурные народы, а племена и народности, находящіяся на низшихъ ступеняхъ цивилизаціи, оставались бы въ подчиненномъ положеніи и только впослѣдствіи могли бы сдѣлаться полноправными. Дипломатія сошла бы со сцены, и не было бы поводовъ къ вооруженіямъ, къ взаимному недовѣрію и безпокойству; политическіе вопросы разсматривались бы публично въ парламентахъ и въ печати, и настало бы общее политическое благополучіе. Для начала авторъ довольствовался бы соединеніемъ Англіи съ Франціею; этотъ союзъ, по его мнѣнію, облегчилъ бы развязку ирландскаго кризиса и послужилъ бы первымъ шагомъ къ установленію общечеловѣческой федеральной системы. Проектъ автора былъ бы очень хорошъ, еслибы былъ осуществимъ. Пока можно сказать, что ни англичане, ни французы не жаждутъ взаимнаго политическаго единенія; достаточно уже того, что они избѣгаютъ серьезныхъ споровъ и живутъ между собою въ мирѣ. Всемірная федерація—путь слишкомъ отдаленный и фантастичный для такого мѣстнаго англійскаго вопроса, какъ ирландскій. — Л. С.

ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.

1 апрѣля 1891.

Размноженіе „добровольцевъ", разсматриваемое какъ признакъ времени. — Образцы „добровольческаго" усердія по отношенію къ сектантамъ, къ „сепаратистамъ", къ прибалтійской и финляндской прессѣ, къ польскому театру, ко всему русскому народу.—Реабилитація Скалозуба и до-реформенной полиціи.—П. Г. Рѣдкинъ †.

Чаще чѣмъ когда-либо приходится, въ наше время, читать и слышать указанія на до-реформенную эпоху, какъ на утраченный рай— но утраченный не безвозвратно. Сходство между настоящимъ и давно-прошедшимъ несомнѣнно ростетъ; воскресаетъ многое, считавшееся умершимъ и похороненнымъ—и мысль невольно останавливается на ретроспективныхъ сравненіяхъ. Кто помнитъ конецъ сороковыхъ или начало пятидесятыхъ годовъ, того не можетъ не поразить одна черта современной умственной жизни: это—появленіе, если можно такъ выразиться, *добровольцевъ* преслѣдованія и угнетенія. Въ крѣпостной Россіи безправіе, въ различныхъ видахъ и формахъ, было оффиціальнымъ фактомъ, имѣвшимъ своихъ оффиціальныхъ охранителей. Выгодное и удобное для небольшой группы, оно пользовалось, конечно, ея полнѣйшими симпатіями—но она не считала нужнымъ открыто принимать на себя его защиту, потому что слишкомъ глубоко вѣрила въ его непоколебимость и неприкосновенность. Едва ли, притомъ, такая защита была бы возможна; защита предполагаетъ нападеніе— а самая мысль о нападеніи признавалась тогда преступной. Въ свободѣ похвалы усматривался, какъ извѣстно, первый шагъ къ свободѣ порицанія. Рѣдкія попытки идеализировать, оправдать существующее не встрѣчали поддержки и въ средѣ общества, смутно сознававшаго ихъ неловкость; припомнимъ, напримѣръ, судьбу „Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями". Гоненіе на раскольниковъ было въ полномъ разгарѣ, но участвовали въ немъ только должностныя лица (свѣтскія и духовныя), призванныя къ тому обязанностями службы. Иновѣрцы и иноплеменники, входившіе въ составъ Россіи, были—за немногими исключеніями — пасынками государства, но не общества. Въ Финляндіи, много десятилѣтій сряду, не созывался сеймъ — но, внѣ правительственныхъ сферъ, не было и рѣчи о томъ, что онъ *не долженъ* быть созываемъ. Не то мы видимъ въ настоящее время. Инціативу ограниченій и стѣсненій беретъ на себя, сплошь и ря-

домъ, значительная часть періодической печати. Она идетъ, на этомъ пути, гораздо дальше предпринятаго или задуманнаго правительствомъ. Нѣтъ такого теоретическаго вопроса, который не разрѣшался бы ею въ смыслѣ реакціи и обскурантизма; нѣтъ такого способа дѣйствій, который бы она находила несправедливымъ или жестокимъ, если только онъ направленъ противъ ненавистныхъ ей лицъ, племенъ, тенденцій, учрежденій. Въ какой степени сочувствуетъ всему этому та или другая часть нашего общества—трудно опредѣлить съ точностью; но какъ не можетъ быть дыма безъ огня, точно такъ же невозможна и настойчивая, продолжительная проповѣдь взглядовъ, не имѣющихъ точки опоры въ слушателяхъ проповѣдника. Армія добровольцевъ, о которой мы упомянули, состоитъ, конечно, не изъ однихъ только писателей извѣстнаго лагеря—и именно потому появленіе ея составляетъ печальный, но знаменательный „признакъ времени".

Приведемъ нѣсколько примѣровъ, по которымъ можно составить себѣ понятіе о характерѣ новаго „партизанства". Въ церковныхъ и административныхъ сферахъ юго-западнаго края возникаетъ мысль о необходимости болѣе энергичной борьбы съ штундизмомъ. Мысль эта тотчасъ же подхватывается газетами, подчеркивающими въ особенности свѣтскую принудительную сторону проектируемыхъ мѣропріятій. Штундистовъ предполагается лишить одного изъ самыхъ существенныхъ гражданскихъ правъ — права свободнаго передвиженія, права пріискиванья работы внѣ мѣста постояннаго жительства. Мы позволили себѣ замѣтить, что это значило бы уравнять штундистовъ съ скопцами, низвести ихъ на степень отверженцевъ общества. Намъ возражаютъ [1]), что штундисты примѣшиваютъ къ своей пропагандѣ элементъ политическій и экономическій, „стараясь подорвать въ народѣ довѣріе къ правительству, лишить его связи съ народностью, измѣнить вполнѣ его политическія и народныя вѣрованія". „Вотъ что придаетъ штундизму,—читаемъ мы дальше,—зловредный характеръ; вотъ почему въ борьбѣ со штундой нельзя останавливаться даже передъ нѣкоторымъ ограниченіемъ гражданскихъ правъ штундистовъ. Такое ограниченіе существуетъ по отношенію къ нѣкоторымъ сектамъ; оно существуетъ, напримѣръ, въ значительныхъ размѣрахъ по отношенію къ евреямъ". Доказаннымъ признается здѣсь, прежде всего, нѣчто весьма сомнительное и спорное. Штундизмъ—ученіе религіозное; какъ и всякое другое вѣрованіе, онъ совмѣстимъ съ самыми различными настроеніями и убѣжденіями. Тѣсная, причинная связь

---

[1]) См. № 72 „Московскихъ Вѣдомостей".

между штундизмомъ и опредѣленными политическими и экономическими взглядами—только гипотеза, и притомъ гипотеза мало вѣроятная, идущая въ разрѣзъ съ обычнымъ свойствомъ религіозной пропаганды. Разсказамъ и толкамъ объ онѣмеченіи штундистовъ можно противопоставить отнюдь не менѣе достовѣрныя сообщенія объ обрусеніи нѣмцевъ, обращающихся въ штундизмъ изъ лютеранства или католицизма. Всякій ли штундистъ, въ добавокъ, непремѣнно занимается пропагандой? Неужели появленіе штундиста на фабрикѣ или въ мастерской непремѣнно влечетъ за собою опасность для православныхъ рабочихъ? Не преувеличивается ли, съ одной стороны, сила напора, съ другой — слабость сопротивленія? Достаточно ли однѣхъ неопредѣленныхъ догадокъ, чтобы подвергать тяжелымъ лишеніямъ многочисленную категорію безобидныхъ гражданъ? Намъ указываютъ на положеніе евреевъ; но развѣ однимъ ограниченіемъ можетъ быть оправдываемо другое? Евреи могутъ, притомъ, переходить изъ одного конца западнаго края въ другой; а далеко ли уйдетъ штундистъ, съ волчьимъ паспортомъ, вездѣ закрывающимъ или до крайности затрудняющимъ для него доступъ къ работѣ?

Не довольствуясь общими разсужденіями, добровольцы репрессіи усердно собираютъ для нея фактическіе матеріалы. Вотъ, напримѣръ, нѣсколько сообщеній, дѣлаемыхъ „ревнителемъ православія“ (см. статью: „Унимается ли южно-русская штунда?“ въ № 57 „Московскихъ Вѣдомостей“): штундистъ села К—и, каневскаго уѣзда, Николай Т—цъ, распространяетъ въ народѣ слухъ о возможности для штундистовъ получить на Кавказѣ, на выгодныхъ условіяхъ, земельные участки. Подъ вліяніемъ этого слуха, въ штундизмъ обращаются, въ селѣ Ч—кѣ (таращанскаго уѣзда), четыре семейства; самъ Т—цъ ускользаетъ изъ рукъ ищущей его полиціи, благодаря хитрости штундоваго пресвитера К—ка и потворству сельскаго начальства. Убѣжищемъ для Т—ца служитъ сосѣдняя деревня Пот—ка. Дальше выступаютъ на сцену мѣстечко Рус—а, въ которомъ пропагандистками штунды явились двѣ монашки изъ одного женскаго монастыря подольской губерніи, и Ѳ—ая пригородная кіевская пустынь, въ которой старался смутить послушниковъ нѣкій И—ко. Теперь—прибавляетъ „ревнитель“—„И—ко бродитъ по селамъ и, конечно, съ тою же проповѣдью ереси“. Очевидно, что для знающихъ мѣстность всѣ эти заглавныя и послѣднія буквы—маска весьма прозрачная, отнюдь не мѣшающая понять, о комъ и о чемъ идетъ рѣчь, и принять соотвѣтствующія мѣры... Иногда, впрочемъ, сообщенія пишутся совершенно открыто, безъ всякой маски. Такова, напримѣръ, корреспонденція изъ зарайскаго уѣзда, напечатанная въ № 72 „Московскихъ

Вѣдомостей". Корреспондентъ все и всѣхъ называетъ по имени. Онъ приводитъ, сначала, разговоръ свой съ извощикомъ, повѣдавшимъ ему, что въ ихъ мѣстахъ завелись какіе-то *штюндисты*, да еще какіе-то павловцы (пашковцы?), не чтущіе св. иконъ и мощей, усопшихъ не поминающіе и вообще не вѣрующіе ни во что православное. „Ихъ судили и окружнымъ судомъ, и то не взяло, опять отпустили, говорятъ, что слово такое знаютъ. Послѣ этого еще хуже стали смѣяться, да подговаривать насъ перейти къ нимъ. Насъ-то имъ сбить съ толку не придется, а молодежь того и гляди. Хоть бы Царь-батюшка ихъ куда-нибудь отъ насъ проводилъ, ужъ больно-то они намъ надоѣли, потому, значитъ, что живутъ не по Божью, да и молодежь соблазняютъ". По пріѣздѣ въ село Луховицы,—продолжаетъ корреспондентъ,—„я провѣрилъ все слышанное мною отъ возницы. Оказалось, что въ Луховицахъ и окружающихъ селеніяхъ: Кунаковѣ, Сушковѣ, Подлѣсной слободѣ и во многихъ другихъ деревняхъ, живутъ сектанты, но трудно узнать, какіе именно: кто говоритъ—молокане, а кто—штундисты и пашковцы, зиновьевцы. Молоканами называютъ потому, что эта ересь въ окрестностяхъ существуетъ издавна, а пашковцы и штундисты появились съ 1887 года. Въ деревню Кунаково пріѣзжалъ нѣсколько разъ нѣкто дворянинъ орловской губерніи, болховскаго уѣзда (гдѣ у него имѣнье), дѣйствительный студентъ московскаго университета Николай Павловъ Зиновьевъ. Другой кто-то изъ таврической губерніи; узнать, кто именно, не пришлось. Вели они свои бесѣды въ разныхъ деревняхъ между молоканами, подъ тѣмъ видомъ, что они-де интересуются молоканскою сектой. Главные ревнители и послѣдователи ихъ ученія—крестьяне Лопухинъ и Ананьевъ, очень богатые люди. Вѣроученіе ихъ заключается приблизительно въ томъ, что̀ я привелъ выше изъ разсказа извощика. Въ 1888 году мѣстною полицейскою властью нѣсколько крестьянъ-штундистовъ были привлечены къ отвѣтственности и въ 1889 году судились въ отдѣленіи рязанскаго окружного суда, въ городѣ Зарайскѣ, но, будто бы вслѣдствіе заключенія эксперта, священника Дмитревскаго, судомъ были оправданы... За послѣднее время—таково заключеніе корреспондента (г. Н. Востокова)—разныя секты стали повсемѣстно сильно развиваться, потому что *никто ихъ не преслѣдуетъ и вообще никто на нихъ не обращаетъ вниманія* (курсивъ въ подлинникѣ). Мнѣ, да и всѣмъ извѣстно, что во многихъ селахъ и деревняхъ зарайскаго и михайловскаго уѣздовъ существуютъ сектанты и не мало завлекаютъ православныхъ въ свои сѣти". Поводъ къ начатію слѣдствія имѣется, такимъ образомъ, на лицо: указаны и обвиняемые, и обвинительные пункты. Готовы и

свидѣтели обвиненія—самъ корреспондентъ и везшій его извощикъ. Не вполнѣ только вяжется выводъ корреспондента—съ приводимыми имъ фактами. Вѣдь нѣсколько штундистовъ были же привлечены къ суду въ городѣ Зарайскѣ; какъ же можно утверждать, что сектантовъ, въ этой мѣстности, *никто не преслѣдуетъ*? Не правильнѣе ли было бы сказать, что преслѣдованіе ни къ чему не приводитъ?.. Если бы господа „ревнители" были больше расположены вдумываться въ смыслъ своихъ сообщеній, не столь непомѣрной стала бы, быть можетъ, одушевляющая ихъ ревность. Кіевскій гонитель штунды не придаетъ большой цѣны числу обращеній изъ штундизма въ православіе, потому что „благонадежность религіознаго состоянія обратившихся слишкомъ подозрительна; бѣсъ сомнѣнія не перестаетъ мутить и тѣхъ, которые искренно возвратились". Къ чему же хлопотать, въ такомъ случаѣ, о принудительныхъ мѣрахъ, могущихъ вызвать, очевидно, только возвращеніе неискреннее?.. Мы узнаемъ изъ статьи того же автора, что въ кіевской епархіи *нѣтъ на лицо ни одного епархіальнаго миссіонера* (курсивъ въ подлинникѣ). Не исчерпаны, слѣдовательно—или, лучше сказать, почти не испытаны—мѣры увѣщанія и вразумленія, и уже потому одному нѣтъ повода къ обостренію мѣръ полицейскихъ и судебныхъ.

Другимъ излюбленнымъ объектомъ „партизанскихъ" нападеній служитъ „сепаратизмъ"—балтійскій, финляндскій, польскій. Подъ особенно строгимъ надзоромъ состоятъ „балты", и притомъ не только нѣмцы, но и другіе не-русскіе обитатели остзейскаго края. Не дается пощады даже такимъ дѣятелямъ, „благонамѣренность" которыхъ должна была бы, повидимому, стоять внѣ всякаго спора. Рижскими начальными городскими школами завѣдуетъ нѣкто г. Трейландъ, латышъ по происхожденію, бывшій сотрудникъ Аксакова и Каткова. И что же? На него взводится обвиненіе въ „олатышиваніи" ввѣренныхъ ему училищъ, основанное на томъ, что въ *первомъ* ихъ классѣ (одномъ только первомъ!) латышскій языкъ „является прямо предметомъ систематическаго изученія", а русскій языкъ „преподается коекакъ, по какому-то наглядному методу". Личное обвиненіе принимаетъ тотчасъ же и болѣе общій характеръ. „Я думаю,—говоритъ корреспондентъ „Московскихъ Вѣдомостей" (№ 66),—что только русскій въ состояніи и слѣдить за точнымъ исполненіемъ законоположеній (регулирующихъ начальное обученіе въ остзейскомъ краѣ), и отрѣшиться отъ вліянія мѣстныхъ національныхъ тенденцій. Почему уроженецъ балтійскаго края—русскій, или даже и латышъ-православный, окончившій петербургскую или московскую духовную академію или университетъ, долженъ быть худшимъ руководителемъ школы,

чѣмъ латышъ, вышедшій изъ лютеранской учительской семинаріи, или даже,—есть и такіе,—изъ почтовой конторы маленькаго балтійскаго городишка? Можно пожелать имъ всякаго успѣха, но только не тамъ, гдѣ ведется усиленная латышская агитація. Въ Москвѣ, въ Казани, Тамбовѣ и т. д. они будутъ на мѣстѣ и не будутъ ничего тормозить, а здѣсь они тормозятъ русское дѣло даже помимо своей воли". Мы знали, что въ Австріи, во времена Меттерниха и Баха, итальянскіе уроженцы, взятые въ военную службу, посылались въ полки, расположенные въ Богеміи или Галиціи, а чехи и русины —въ полки, расположенные въ Ломбардіи или венеціанской области; но мы никакъ не думали, чтобы нѣчто подобное было примѣнимо къ гражданской службѣ, чтобы латыши, эсты, нѣмцы, жмудины и т. п. должны были исполнить общее chassez-croisez съ тамбовцами, казанцами и москвичами. Удалить человѣка изъ родной, привычной ему обстановки, которую онъ близко знаетъ, въ которой онъ можетъ быть особенно полезенъ, и замѣнить его чужакомъ, едва знакомымъ съ мѣстнымъ нарѣчіемъ и мѣстными условіями—это, по истинѣ, „счастливая мысль", какъ нельзя лучше характеризующая „добровольческое" направленіе... Замѣтимъ, что рѣчь, въ данномъ случаѣ, идетъ о *латышахъ,* рѣшительно неповинныхъ въ отрицательномъ отношеніи ко всему русскому, въ противодѣйствіи правительственнымъ мѣрамъ. Но добровольцы предусмотрительны; они провидятъ будущее и заранѣе рекомендуютъ надлежащія мѣры. Латыши, если вѣрить корреспонденту, „сочувствуютъ политикѣ русскаго правительства по скольку ею уничтожается могущество нѣмцевъ, но они не желаютъ, чтобы край сдѣлался русскимъ: ихъ стремленія направлены къ тому, чтобы всѣ чиновники, всѣ учителя, все духовенство были природные латыши. Изъ Курляндіи и части Лифляндіи должно быть устроено какое-то фантастическое герцогство, гдѣ оффиціальнымъ языкомъ былъ бы языкъ латышскій, гдѣ главную роль играли бы одни латыши. Г. Трейландъ, который въ латышскихъ кругахъ извѣстенъ не подъ своею нѣмецкою, а подъ другою, латышскою фамиліей, не можетъ не знать, что латышская агитація ведется усиленно не только въ разныхъ Verein'ахъ, но и въ школахъ, — и въ народныхъ, и въ среднихъ, и въ дерптскомъ университетѣ, —и съ нею придется еще считаться, если ей не будетъ заранѣе положенъ предѣлъ. Нужно признать, впрочемъ, что агитація эта разрослась отчасти по нашей винѣ, такъ какъ почему-то въ латышахъ—которые изъ своей милліонной среды успѣли (по счету латышскихъ газетъ) выставить только около 300 лицъ съ высшимъ образованіемъ, да и то онѣмечившихся, — желали видѣть помощниковъ русскаго дѣла". Какая, въ самомъ

дѣлѣ, ужасная ошибка—искать помощниковъ, желать сочувствія, заботиться о внутреннихъ точкахъ опоры! Для „добровольцевъ" важна только сила; они цѣнятъ не сотрудниковъ, а слугъ, не дружное стремленіе къ общей цѣли, а безусловную, не разсуждающую покорность. Кто смотритъ на дѣло иначе, тотъ долженъ быть стертъ съ лица земли. „Чтó должны думать сепаратисты,—вопрошаетъ корреспондентъ,—если какой-нибудь ревизоръ, при первомъ своемъ посѣщеніи городского училища, громогласно и раздражительно спрашиваетъ инспектора училища, почему общая ученическая молитва поется и читается на русскомъ, а не на латышскомъ языкѣ? Они должны будутъ подумать, что вопрошающій, хотя и носитъ мундиръ правительственнаго чиновника, не сочувствуетъ правительственной политикѣ и какъ бы даетъ совѣтъ своимъ единоплеменникамъ обдѣлывать свои національныя дѣлишки подъ сѣнію правительственнаго надзора. Если такой... неосторожный чиновникъ занимаетъ невысокое положеніе, то вредъ сравнительно можетъ быть невеликъ; но если онъ будетъ занимать мѣсто болѣе значительное, хотя бы инспектора гимназіи, и будетъ поддерживать близкія сношенія съ главными агитаторами-латышами, то его неосторожности едва ли не принесутъ русскому дѣлу болѣе вреда, чѣмъ пользы". Въ этихъ словахъ содержится, очевидно, указаніе на извѣстный фактъ, на извѣстное лицо—указаніе, равносильное требованію дисциплинарныхъ мѣръ. Еще яснѣе такое требованіе слышится въ концѣ корреспонденціи, повѣствующемъ о грѣхахъ другого (а можетъ быть и того же самого?) ревизора, также латыша по происхожденію. Этотъ ревизоръ, прибывъ въ городъ Гольдингенъ, не только „не поинтересовался зайти въ мѣстную (правительственную) учительскую семинарію", но обратился къ ея директору съ упреками за то, что послѣдній не разрѣшаетъ своимъ ученикамъ посѣщать латышское собраніе, устроивать тамъ концерты и т. п. Директоръ семинаріи отвѣчалъ, что „никогда не позволитъ ученикамъ распространять и поддерживать латышскія тенденціи и бредни" (итакъ, посѣщеніе латышскаго собранія—это тенденція, пѣніе латышскихъ пѣсенъ—это бредни?). „Трудно предположить" — такова парѳянская стрѣла, бросаемая въ концѣ корреспонденціи,—„чтобы эту попытку г. ревизора, *имя котораго отлично извѣстно г. Трейланду,* можно было объяснить только неосторожностью". A bon entendeur, salut; имѣющій уши слышать, да слышитъ.

Если столь велика строгость добровольцевъ къ латышамъ, то нетрудно угадать, какъ они относятся къ нѣмцамъ. Въ концѣ прошлаго года ревельскій корреспондентъ „Московскихъ Вѣдомостей" довелъ до всеобщаго свѣдѣнія о „поступкѣ" пастора К., преподавателя ре-

вельской николаевской гимназіи, подавшаго голосъ противъ учрежденія, при гимназіи, стипендіи имени М. Н. Капустина [1]). „Такъ какъ поступокъ пастора остался безнаказаннымъ и все осталось по старому", — читаемъ мы въ другой, нѣсколько позднѣйшей корреспонденціи изъ Ревеля,—„то не замедлили явиться и послѣдствія безнаказанности. Прежде всего учителя гимназіи подали М. Н. Капустину коллективное прошеніе, за подписью двѣнадцати лицъ, чтобы бывшій попечитель ходатайствовалъ объ оставленіи директора на дальнѣйшее время" (не все же, значитъ *осталось по старому*, если директоръ гимназіи подалъ въ отставку). Затѣмъ, примѣръ пастора К. „нашелъ подражателя въ ревельскомъ реальномъ училищѣ". На общей молитвѣ пасторъ М. произнесъ проповѣдь, „столь возмутительную по духу и намекамъ", что два русскихъ учителя не дождались окончанія молитвы и „порывисто оставили залъ". „Когда директоръ спросилъ, что могло возмутить ихъ, и они отвѣтили, что не могутъ болѣе выносить глумленія надъ православною религіей и издѣвательства надъ дѣйствіями высшаго начальства, директоръ замѣтилъ имъ, что, поступая въ ревельское реальное училище, они знали, что поступаютъ на службу въ нѣмецкую школу и должны потому мириться, и что онъ питаетъ еще надежду, что нынѣшнія тяжелыя времена пройдутъ для нѣмцевъ благополучно, и нѣмецкая школа и впредь останется нѣмецкою. Русскимъ учителямъ пришлось смолчать. Надо при этомъ замѣтить, что балтійское бравированіе въ средѣ петербургскихъ нѣмцевъ получаетъ даже высокую цѣну. Этотъ самый директоръ реальнаго училища, извѣстный балтъ, получилъ приглашеніе занять директорское мѣсто въ Петербургѣ. Годомъ раньше, учитель исторіи въ ревельской нѣмецкой гимназіи, также извѣстный балтъ, тоже получилъ мѣсто директора въ Петербургѣ". Значеніе подобныхъ сообщеній не требуетъ, конечно, никакого поясненія.

Можно было бы думать, что люди, работающіе въ печати, не станутъ, по крайней мѣрѣ, посягать на свободу печатнаго слова, не станутъ призывать на него вниманіе и строгость администраціи. Оказывается, однако, что усердіе ихъ не отступаетъ и передъ этимъ способомъ дѣйствій. Когда походъ противъ „Rigasche Zeitung" привелъ къ желанной цѣли—т.-е. къ запрещенію газеты,—усилія „добровольцевъ" направились къ тому, чтобы не допускать возрожденія ея подъ другимъ именемъ. „Düna-Zeitung", выходившая подъ редакціей извѣстнаго г. Пипирса, переходитъ въ другія руки; рижскій корреспондентъ „Московскихъ Вѣдомостей" спѣшитъ повѣдать о томъ

---

[1]) См. Общественную Хронику въ № 12 „В. Европы" за 1890 г.

urbi et orbi, прибавляя, что этотъ переходъ—„дѣйствительная побѣда балтовъ" и что сотрудники нынѣшней „Düna-Zeitung"—тѣ же, что были въ „Rigasche Zeitung", за исключеніемъ одного (Бухгольца), „не рѣшающагося возвратиться изъ бѣговъ". „Балты,—продолжаетъ корреспондентъ,—были увѣрены, что рано или поздно имъ снова разрѣшатъ издавать прекратившуюся „Rigasche Zeitung", и они не щадили усилій, чтобы такъ или иначе добиться этого разрѣшенія. Только когда выяснилось, что нѣтъ надежды на воскрешеніе „Rigasche Zeitung" и что при всей ловкости не удастся обойти Петербурга, балтамъ пришла геніальная мысль: они рѣшили, что убить „Düna-Zeitung" хорошо, а сдѣлать изъ нея прямую наслѣдницу „Rigasche-Zeitung"—еще лучше. Съ этой минуты всѣ ихъ стремленія были направлены къ тому, чтобы забрать въ свои руки обреченную ими на смерть газету г. Пипирса. Стремленія эти увѣнчались, какъ извѣстно, полнымъ успѣхомъ. Между новой „Düna-Zeitung" и прежнею „Rigasche Zeitung" нѣтъ никакой разницы въ направленіи. Даже внѣшній видъ новой „Düna-Zeitung" является, за исключеніемъ заглавія, точною копіей съ „Rigasche Zeitung", и балты не упускаютъ случая, чтобы похвалиться побѣдой, одержанною ихъ тонкимъ дипломатическимъ искусствомъ". Дальше идетъ разоблаченіе новаго плана, будто бы составленнаго „балтами": основать въ Ригѣ русскую газету, которая издавалась бы въ духѣ балтійскаго „сепаратизма", и убить, этимъ самымъ, ненавистный сепаратистамъ „Рижскій Вѣстникъ". Объясняется подробно способъ исполненія этого плана, указывается и возможный редакторъ новаго изданія (г. Петровъ—„тотъ самый, который издавалъ скандальный *Прибалтійскій край* и помѣщалъ въ немъ брань на Россію"), и вѣроятное его содержаніе. „Чтó мы услышимъ"—восклицаетъ корреспондентъ,—„отъ русскаго органа сепаратистовъ, главная задача котораго будетъ состоять въ томъ пресловутомъ *примиреніи* между балтами и русскими, которое во всѣхъ отношеніяхъ сходно съ не менѣе знаменитымъ *примиреніемъ* между русскими и поляками, подъ которымъ всегда разумѣется одураченіе русскихъ посредствомъ поляковъ?" Не ясно ли, что между строками корреспонденціи вездѣ выступаютъ слова: caveant consules, и что она обращена, въ сущности, не столько къ читающей публикѣ, сколько къ подлежащей власти?.. Такой же смыслъ имѣетъ и корреспонденція изъ Гельсингфорса („Московскія Вѣдомости", № 62), сообщающая о запрещеніи куопіоской финской газеты „Savo" и возрожденіи ея изъ пепла подъ заглавіемъ: „Uusi Savo".

Въ Варшавѣ разсматривается извѣстное дѣло объ убійствѣ польской актрисы Висновской. Нѣкоторые изъ числа свидѣтелей утверж-

дають, что польская публика охладѣла къ Висновской, какъ только она вступила въ связь съ русскимъ офицеромъ. „Московскія Вѣдомости" пользуются этимъ случаемъ, чтобы возбудить вопросъ, въ правѣ ли польскій театръ существовать на казенныя средства. „Вѣдь эти средства,—такова аргументація газеты,—тратятся на развитіе польской драматической и ютящейся около нея всякой иной польской литературы... А зачѣмъ намъ это развитіе? Какую пользу можетъ оно принести государственнымъ интересамъ, въ дѣлѣ, напримѣръ, распространенія знакомства съ Россіей, съ ея языкомъ и литературой? Еслибы въ Варшавѣ на русскія деньги содержался русскій театръ, это было бы вполнѣ понятно. Этотъ театръ служилъ бы литературному общенію, знакомилъ бы наглядно польскій кругъ съ Россіей и русскими, служилъ бы мѣстомъ отдыха для тѣхъ русскихъ людей, которыхъ государственная необходимость шлетъ въ эту негостепріимную, враждебную русскому духу окраину. На такой театръ стоило бы тратить не десятки, а пожалуй и сотни тысячъ". Итакъ, все для русскихъ и ничего для поляковъ. Но развѣ поляки привислянскаго края—не русскіе подданные? Развѣ налоги, ими платимые, не входятъ въ составъ „казенныхъ средствъ", изъ которыхъ покрывается субсидія на содержаніе польскаго театра? Неужели потребность многихъ десятковъ тысячъ коренныхъ обитателей Варшавы—ничто въ сравненіи съ „отдыхомъ" нѣсколькихъ сотъ пріѣзжихъ русскихъ?.. Польская литература,—читаемъ мы дальше,—служитъ средствомъ поддержанія и развитія стремленій, направленныхъ къ „отбудованію ойчизны отъ моря до моря". Неужели подъ это опредѣленіе подходятъ и пьесы, представляемыя на варшавскомъ театрѣ, съ разрѣшенія драматической цензуры?.. Агитація противъ польскаго театра—это, очевидно, ягода того же поля, съ продуктами котораго мы рѣшили познакомить нашихъ читателей.

Менѣе всего, конечно, наши „добровольцы" церемонятся съ евреями. Вотъ какъ передаетъ, напримѣръ, одинъ изъ нихъ содержаніе разговора, происходившаго въ „кружкѣ" его единомышленниковъ. „Явился прежде всего, какъ это всегда бываетъ, когда загорается бесѣда о евреяхъ, вопросъ: куда дѣвать пять милліоновъ евреевъ? На этотъ вопросъ я позволилъ себѣ замѣтить, что, по моему, только тогда явится надежда на правильную постановку еврейскаго вопроса, когда, прежде всего, устранится для русскаго правительства всякая забота о вопросѣ: куда дѣвать пять милліоновъ евреевъ? Вопросъ этотъ кажется мнѣ глубокою жизненною фальшею (sic), да и государственною фальшею, и пока онъ будетъ ставиться, еврейскому вопросу для блага Россіи не видать исхода. Россія, то-есть русская

жизнь, и государственная и народная, ставитъ совсѣмъ другой вопросъ: какъ избавить Россію отъ еврeизма? А разъ этотъ вопросъ есть главный для русскихъ интересовъ вопросъ, ясно, что онъ собою исключаетъ возможность ставить рядомъ вопросъ: куда дѣть пять милліоновъ евреевъ? Они дѣнутся куда хотятъ, куда могутъ. Это ихъ дѣло, а не дѣло русскаго правительства. Дѣло русскаго правительства заботиться о ста милліонахъ русскихъ и объ избавленіи ихъ отъ еврейства". Дальше этого простота рѣшенія идти не можетъ. Судьба пяти милліоновъ русскихъ подданныхъ—не дѣло русскаго правительства! Судьба пяти милліоновъ людей—вопросъ, о которомъ не стоитъ даже и думать!.. Само собою разумѣется, что на полномъ осуществленіи этой формулы не настаиваетъ даже ея авторъ; она нужна ему только какъ исходная точка для выводовъ, о характерѣ которыхъ нетрудно догадаться. „Нужны мѣры (а не полумѣры). Что это за процентъ, напримѣръ, для исчисленія евреевъ гласныхъ въ городѣ? Никакого еврея не слѣдовало бы допускать въ гласные. Что это за процентъ для евреевъ присяжныхъ засѣдателей? Ни одинъ еврей не долженъ быть допущенъ въ судьи въ христіанскомъ судѣ. Что это за процентъ для евреевъ присяжныхъ повѣренныхъ? Нуженъ прямой законъ: ни одинъ еврей-адвокатъ не можетъ производить дѣла христіанина". Однимъ словомъ, противъ евреевъ нужно дѣйствовать по-суворовски: *быстрота, глазомѣръ, натискъ*... Другой доброволецъ прибѣгаетъ къ средствамъ болѣе тонкимъ: онъ перепечатываетъ, одинъ подлѣ другого, два „чрезвычайно интересныхъ" документа: указъ императрицы Екатерины I, отъ 26-го апрѣля 1727 г., о высылкѣ жидовъ изъ Россіи, и письмо Ѳ. М. Достоевскаго отъ 28-го февраля 1878 г., „трактующее о заполоненіи русской литературы евреями и объ отношеніи ея къ евреямъ" („Новое Время", № 5406). Въ екатерининскомъ указѣ по сердцу газеты пришлись въ особенности слова: „и впредь ихъ (жидовъ) ни подъ какими образы въ Россію не впускать". „Какой ироніей звучатъ теперь эти слова!" восклицаетъ хроникеръ. „Съ тѣхъ поръ жиды наводнили Россію и *подъ образы*, и безъ образовъ, и учинили въ ней великое безобразіе". Слѣдовало бы прибавить, что это наводненіе произошло по обстоятельствамъ, не зависѣвшимъ отъ евреевъ; главная ихъ масса поступила въ подданство Россіи вмѣстѣ съ провинціями, отторгнутыми отъ Польши. При Екатеринѣ I число евреевъ въ Россіи было сравнительно-ничтожно. Если рѣшительная мѣра даже тогда оказалась неисполнимой, то къ чему же напоминать о ней теперь, когда евреевъ числится въ Россіи пять милліоновъ?.. Что касается до письма Ѳ. М. Достоевскаго, то оно, прежде всего, перестало со-

отвѣтствовать условіямъ времени. Достоевскій говоритъ о „жидѣ торжествующемъ и гнетущемъ русскаго". Вѣрна ли была такая картина тринадцать лѣтъ тому назадъ — это вопросъ, по меньшей мѣрѣ, спорный; но о вѣрности ея въ настоящемъ не можетъ быть и рѣчи. Все остальное въ письмѣ Достоевскаго отзывается чѣмъ-то давно извѣстнымъ—можетъ быть потому, что въ послѣднее время такъ часто приходилось и приходится слышать варіаціи на ту же тему. „Есть много старыхъ, уже сѣдыхъ либераловъ, никогда не любившихъ Россію, даже ненавидящихъ ее за ея *варварство*, и убѣжденныхъ въ душѣ, что они любятъ и Россію, и народъ. Все это люди отвлеченные, изъ тѣхъ, у которыхъ все образованіе и европейничанье состоитъ въ томъ, чтобъ „ужасно любить человѣчество", но *лишь вообще.* Если же человѣчество воплотится въ *человѣка*, въ *лицо*, то они не могутъ даже стерпѣть это лицо, стоять подлѣ него не могутъ изъ отвращенія къ нему. Отчасти такъ же у нихъ и съ націями: человѣчество любятъ, но если оно заявляетъ себя въ потребностяхъ, въ нуждахъ и мольбахъ націи, то считаютъ это предразсудкомъ, отсталостью, шовинизмомъ... И замѣтьте: жидъ у нихъ не нація, защищаютъ они его потому только, что въ другихъ къ жиду подозрѣваютъ національное отвращеніе и ненависть. Слѣдовательно, караютъ другихъ, какъ націю". Во всемъ этомъ есть небольшая доля истины. Защищая евреевъ, „либералы"—старые и молодые, сѣдые и не-сѣдые—сплошь и рядомъ не имѣютъ въ виду ничего другого, кромѣ противодѣйствія „національной ненависти". Не будь этой ненависти („національной", впрочемъ, только по имени, а не на самомъ дѣлѣ, т.-е. свойственной лишь отдѣльнымъ лицамъ, а отнюдь не цѣлому народу) — не было бы и надобности въ защитѣ. „Карой для націи" такая защита не можетъ быть уже потому, что ненависть, навязываемая націи или говорящая отъ ея имени, унижаетъ ея достоинство, нимало не служа ея дѣйствительнымъ интересамъ. „Потребности и нужды", подъ предлогомъ которыхъ требуется угнетеніе другого племени, не заслуживаютъ названія „національныхъ". Когда въ „мольбахъ націи" заявляетъ себя „человѣчество", онѣ проникнуты не ненавистью, а любовью.

Мы видѣли, до сихъ поръ, образцы „добровольческаго" усердія, направленнаго противъ сектантовъ, противъ „сепаратистовъ", противъ иноплеменниковъ и иновѣрцевъ. Въ крайнемъ напряженіи своемъ оно идетъ еще дальше—и направляется противъ всего народа, противъ *своего,* русскаго народа. Съ трудомъ вѣришь собственнымъ глазамъ, когда читаешь выходки въ родѣ слѣдующихъ (мы сохраняемъ вездѣ курсивъ подлинника): „чтобы русскому народу дѣйствительно

пребыть надолго тѣмъ народомъ-богоносцемъ, отъ котораго ждалъ такъ много нашъ пламенный народолюбецъ, Достоевскій,—онъ долженъ быть *ограниченъ, привинченъ, отечески* и *совѣстливо стѣсненъ*. Не надо лишать его тѣхъ *внѣшнихъ ограниченій* и *узъ*, которыя такъ долго утверждали и воспитывали въ немъ *смиреніе* и *покорность*. Эти качества составляли его душевную красу и дѣлали его истинно великимъ и примѣрнымъ народомъ. Чтобы продолжать быть съ этой стороны *примѣромъ*, онъ долженъ быть сызнова и мудро *стѣсненъ* въ своей свободѣ; *удержанъ* свыше на скользкомъ пути эгалитарнаго своеволія. При меньшей свободѣ, при меньшихъ порывахъ къ равенству правъ будетъ больше *серьезности*, а при большей *серьезности* будетъ *гораздо* больше и того истиннаго *достоинства въ смиреніи*, которое его такъ краситъ" („Записки отшельника", К. Леонтьева, въ № 67 „Гражданина"). Опровергать или комментировать подобныя выходки мы, конечно, не станемъ; достаточно замѣтить, что даже газета, во многомъ родственная „Гражданину", усмотрѣла въ нихъ прямой призывъ къ возстановленію крѣпостного права.

Въ отрицаніи лучшихъ завѣтовъ преобразовательной эпохи, въ восхваленіи, quand même, отжившихъ порядковъ, возмутительное на каждомъ шагу, идетъ рядомъ съ смѣшнымъ, и послѣднее часто преобладаетъ надъ первымъ. Таковы, напримѣръ, попытки реабилитировать безграмотность и возвести на пьедесталъ... самого Сергѣя Сергѣевича Скалозуба. „Идеаломъ унтеръ-офицера въ арміи"—серьезно увѣряетъ насъ фельетонистъ „Московскихъ Вѣдомостей" (№ 73)—„считаютъ и будутъ считать *Скалозубовскаго фельдфебеля*... Были въ старину и грамотные, и неграмотные фельдфебеля, и Скалозубъ не говоритъ, что онъ князь Григорью *дастъ въ Вольтеры* грамотнаго фельдфебеля: онъ могъ дать всякаго, потому что всякій фельдфебель былъ человѣкъ *настоящій*, умный и твердый. Вотъ чтó хотѣлъ сказать Сергѣй Сергѣевичъ Скалозубъ". Итакъ, Скалозубъ попалъ въ мудрецы, между которыми онъ столь же умѣстенъ, какъ Саулъ—между пророками... Столь же забавенъ и „Гражданинъ", когда онъ увѣряетъ, съ серьезной миной, что доброхотныя даянія откупщиковъ, въ доброе старое время, были какъ бы взносомъ на „дополнительное содержаніе губернскаго и уѣзднаго управленія" и не имѣли „характера подкупа и лихоимства". Честная уже тогда, полиція теперь стала, впрочемъ, еще честнѣе. „Разумѣется,—говоритъ „Гражданинъ",—въ семьѣ не безъ урода; но въ массѣ, не боясь быть опровергнутымъ никакими фактами, я смѣло утверждаю, что институтъ нашей уѣздной полиціи честенъ и на подкупъ не идетъ". Это на-

печатано 16-го марта, съ цѣлью доказать, что самыя строгія мѣры противъ евреевъ будутъ проведены уѣздною полиціею неукоснительно и неуклонно—а 21-го марта мы прочли въ одномъ изъ петербургскихъ изданій слѣдующую выписку изъ „Волыни", газеты подцензурной и вполнѣ благонадежной: „питейная продажа (изъ кабаковъ, содержимыхъ евреями подъ чужимъ именемъ) часто производилась безпатентно, и не всегда безъ вѣдома непосредственной мѣстной власти. Ибо можно ли не видѣть того, что̀ творится на глазахъ? Село—не многолюдный городъ: здѣсь все видно, какъ на ладони. Если же беззаконіе ускользало отъ взгляда мѣстной власти, то должно быть тому были причины. Такъ напримѣръ, одинъ изъ урядниковъ N уѣзда, какъ видно новичокъ, заявилъ-было своему патрону, что въ одной деревушкѣ одновременно водворилось около 30 еврейскихъ семействъ, занявшихся разнаго рода гешефтами. Заявленіе это не только осталось безцѣльнымъ, но даже послужило во вредъ простодушному новичку. Нѣчто подобное случилось и съ однимъ изъ становыхъ приставовъ, также доложившимъ своему начальству о новыхъ случаяхъ арендованія евреями помѣщичьихъ имѣній"...

Пять мѣсяцевъ тому назадъ мы говорили на этомъ мѣстѣ о шестидесяти-лѣтнемъ юбилеѣ П. Г. Рѣдкина; теперь намъ приходится упомянуть о его кончинѣ. Въ его лицѣ сошелъ въ могилу послѣдній изъ „славной стаи" ученыхъ, командированныхъ за границу, въ началѣ тридцатыхъ годовъ, по иниціативѣ М. М. Сперанскаго. Вернувшись въ Россію и занявъ профессорскія каѳедры, Рѣдкинъ и его сверстники положили начало новой эрѣ въ жизни нашихъ юридическихъ факультетовъ, въ развитіи нашей юридической науки. Послѣдняя, до тѣхъ поръ, существовала только по имени; теперь она перестала быть пустымъ словомъ, и у насъ началъ слагаться, мало-по-малу, классъ образованныхъ юристовъ. Въ той серіи профессоровъ, къ которой принадлежалъ Рѣдкинъ, были дѣятели исключительно кабинетные, были и такіе, которые одинаково хорошо владѣли перомъ и словомъ. Представителемъ первой категоріи можетъ считаться Неволинъ, замѣчательный труженикъ, но сухой, холодный, не умѣвшій и не старавшійся дѣйствовать на студентовъ. Не таковы были Калмыковъ, Крыловъ, Рѣдкинъ. Ихъ лекціи врѣзывались въ память и въ душу слушателей; о нихъ до сихъ поръ вспоминаютъ съ благодарностью и восторгомъ. Когда Рѣдкинъ, въ концѣ сороковыхъ годовъ оставившій каѳедру, возвратился къ ней въ 1863 г. (но уже не въ Москвѣ, а въ Петербургѣ), онъ сразу сталъ

любимцемъ студентовъ [1]) и оставался имъ все время, пока не вышелъ изъ университета. Ему приходилось читать на первомъ курсѣ; впечатлѣніе, имъ произведенное, отражалось, большею частью, на всѣхъ послѣдующихъ занятіяхъ его слушателей. Большимъ счастьемъ и для него самого, и для петербургскаго университета, была данная ему судьбою возможность возобновить прерванную профессорскую дѣятельность. Какъ чиновникъ или сановникъ, Рѣдкинъ скоро будетъ забытъ—но имя его, какъ „учителя добра и правды", долго еще будетъ переходить изъ поколѣнія въ поколѣніе, долго сохранится оно въ исторіи нашего просвѣщенія.

[1]) Чрезвычайно интересны воспоминанія о лекціяхъ Рѣдкина, напечатанныя г. Шимановскимъ, въ концѣ прошлаго года (по поводу юбилея Рѣдкина) въ одной изъ одесскихъ газетъ.

ИЗВѢЩЕНІЯ.

Отъ Комитета Общества для вспомоществованія нуждающимся переселенцамъ.

Съ ранней весны во многихъ мѣстностяхъ Россіи начинается переселенческое движеніе. Факты послѣднихъ лѣтъ показываютъ, что изъ года въ годъ возрастаютъ размѣры движенія и число нуждающихся переселенцевъ. За прошлый годъ только черезъ Тюмень прошло болѣе 36.000 душъ; большинство изъ нихъ находилось въ крайней нуждѣ. Самая малая, но своевременная помощь этимъ людямъ имѣетъ большое значеніе.

Посему Комитетъ Общества для вспомоществованія нуждающимся переселенцамъ доводитъ до всеобщаго свѣденія, что дѣйствительные члены Общества вносятъ въ кассу его *десять* рублей ежегодно, а пожизненные—*сто-пятьдесятъ* рублей единовременно. Денежныя и вещевыя пожертвованія, а также всѣ заявленія Комитету направляются въ *Канцелярію Общества для вспомоществованія нуждающимся переселенцамъ—С.-Петербургъ, Невскій, 65*. Личныя заявленія Комитету принимаются тамъ же, въ канцеляріи Общества, по пятницамъ, отъ 2 до 3½ часовъ дня. Казначей К. М. Сибиряковъ принимаетъ по дѣламъ Общества у себя на квартирѣ (С.-Петербургъ, Сергіевская, 67) по вторникамъ и субботамъ отъ 12 до 1 часа дня. Должностными лицами Комитета состоятъ: предсѣдателемъ—В. А. Ратьковъ-Рожновъ, товарищемъ предсѣдателя—М. Н. Капустинъ, казначеемъ—К. М. Сибиряковъ и секретаремъ—А. А. Пороховщиковъ.

Издатель и редакторъ: М. Стасюлевичъ.

СОДЕРЖАНІЕ
ВТОРОГО ТОМА.

МАРТЪ — АПРѢЛЬ, 1891.

Книга третья. — Мартъ.

Апрѣль. — Книга четвертая.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ.

Сборникъ Имп. Русскаго Историческаго Общества. Т. 75. Спб. 91. Стр. 542. Ц. 3 р.

Настоящій выпускъ, составляя прямое продолженіе тома 64-го, содержитъ въ себѣ донесенія Маньяна, французскаго повѣреннаго по дѣламъ при русскомъ дворѣ, за 1729—1730 гг., не только рисующія франко-русскія отношенія въ ту отдаленную эпоху, когда Польша была главнымъ источникомъ враждебныхъ отношеній версальскаго двора къ петербургскому кабинету, но и сообщающія массу интересныхъ и точныхъ свѣдѣній о русскомъ дворѣ и обществѣ наканунѣ воцаренія Анны Іоанновны. Маньянъ при Петрѣ В. выросъ въ Россіи и все время находился въ русской службѣ; только съ 1726 г. онъ является у насъ представителемъ Франціи, за отсутствіемъ посла. Главная роль его состояла въ томъ, чтобы быть наблюдателемъ и сообщать обо всемъ въ Парижъ, благодаря чему донесенія Маньяна сохраняютъ и до настоящаго времени значеніе важнаго историческаго источника и документа.

Физическая геологія, И. В. Мушкетова. Ч. I, съ 3 карт. и 420 политип. въ текстѣ. Спб. 91. Стр. 709.

Настоящій, первый томъ выходитъ послѣ второго и состоитъ изъ трехъ главныхъ частей, посвященныхъ описанію и изслѣдованію физическихъ свойствъ земли, вулканическихъ и сейсмическихъ явленій. Особенно интересна не для однихъ спеціалистовъ послѣдняя часть, объемлющая сейсмическія явленія, т. е. землетрясенія, самые разрушительныя изъ всѣхъ силъ, проявляющихся на поверхности земного шара. Заключительная глава посвящена исторіи происхожденія земной коры, продолжающейся и по настоящее время.

Русскій лѣсъ. Состав. Ѳ. К. Арнольдъ. Т. II, съ 17 эстамп. на мѣди и 125 грав. на деревѣ. Спб. 91. Стр. 707. Ц. 10 р.

Первый томъ былъ посвященъ характеристикѣ вообще лѣсного хозяйства и статистическимъ свѣдѣніямъ о его состояніи въ Россіи, сравнительно съ тѣмъ же предметомъ въ западно-европейскихъ государствахъ. Въ новомъ выпускѣ авторъ переходитъ къ описанію главныхъ элементовъ лѣсного хозяйства, начиная съ лѣсной почвы, и, перейдя затѣмъ къ построенію и жизни дерева, излагаетъ особо хозяйство лиственныхъ лѣсовъ, хвойныхъ и иловыхъ. Заключительная часть тома посвящена вопросамъ насажденія лѣсовъ и ихъ размноженія посредствомъ питомниковъ, древесныхъ школъ, посѣва и посадки лѣсовъ, съ указаніемъ тѣхъ особенностей, какія вызываются степнымъ лѣсоразведеніемъ.

Теорія и практика желѣзнодорожнаго права по перевозкѣ грузовъ, багажа и пассажировъ. И. М. Рабиновича, присяжн. повѣр. при Спб. судебной палатѣ. Спб. 91. Стр. 509. Ц. 3 р. 50 к.

При томъ громадномъ значеніи, какое пріобрѣло желѣзнодорожное дѣло въ самыхъ разнообразныхъ вопросахъ нашей повседневной жизни, служа главнымъ путемъ къ личному сношенію и существеннымъ условіемъ успѣховъ торговли и промышленности, настоящая книга, обнимающая въ себѣ всю теорію и практику этого дѣла, можетъ быть названа настольною, особенно для лицъ, заинтересованныхъ разъясненіемъ условій перевозки и тарифныхъ правилъ, дѣйствующихъ на нашихъ желѣзныхъ дорогахъ. Со времени изданія желѣзнодорожнаго устава 12-го іюня 1885 г. прошло около шести лѣтъ, и съ того времени явилось много новыхъ отдѣльныхъ постановленій и узаконеній, которыя вошли въ это изданіе и тѣмъ увеличили его практическое значеніе. Весь трудъ подраздѣленъ на три части: первая посвящена исключительно условіямъ перевозки грузовъ, вторая — пассажирскому движенію и, наконецъ, въ третьей излагаются общія начала желѣзнодорожнаго права, какъ публичнаго, а не гражданскаго. Для облегченія пользованія книгою авторъ приложилъ въ концѣ ея алфавитный указатель.

Письма къ матерямъ объ уходѣ за здоровымъ и больнымъ ребенкомъ. Д-ръ М. И. Галанинъ. Спб. 91 Стр. 332. Ц. 1 р. 75 к.

Извѣстный трудъ д-ра М. Галанина въ самое короткое время достигъ второго изданія, благодаря тому, что, съ одной стороны, въ обществѣ все болѣе и болѣе укореняется мысль о необходимости запасаться здравыми понятіями о раціональномъ уходѣ за новорожденными въ томъ періодѣ, когда дѣти погибаютъ отъ неразумнаго ухода за ними въ огромномъ %—до 85, а съ другой, книга д-ра Галанина оказалась вполнѣ соотвѣтствующей потребностямъ въ такого рода руководствѣ. Новое изданіе является исправленнымъ и дополненнымъ по замѣчаніямъ и указаніямъ многихъ корреспондентовъ автора, и сверхъ того къ нему приложена спеціальная статья женщины-врача А. Н. Никольской, подъ заглавіемъ: „Діэтетика беременности, родовъ и послѣродового періода“.

Къ вопросу о преподаваніи исторіи въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, А. Гартвига. М. 91. Стр. 51. Ц. 30 к.

Авторъ брошюры рисуетъ въ началѣ картину преподаванія такого „интереснаго“ предмета, какъ исторія, у насъ и въ нѣмецкихъ школахъ, и, отдавъ все преимущество послѣднимъ, предлагаетъ имъ самимъ испытанныя мѣры къ оживленію преподаванія и облегченію памяти учащихся—пока въ младшихъ классахъ. Все сводится, впрочемъ, къ введенію въ преподаваніе исторіи „вопросниковъ“, образчикъ чего прилагается къ брошюрѣ. Въ отдаленную эпоху господства схоластики, этотъ пріемъ особенно процвѣталъ: наставнику не нужно трудиться надъ вопросомъ, и ученикъ, въ концѣ концовъ, усвоиваетъ готовый отвѣтъ, наприм., на такой вопросъ въ „вопросникѣ“ автора: „почему Византія считала Римъ своимъ наслѣдствомъ?“ или: „какова власть епископа сравнительно съ властью губернатора?“ и т. п.

Критико-біографическій словарь русскихъ писателей и ученыхъ. С. А. Венгерова. Вып. 29. Спб. 91. Стр. 337—382.

Закончивъ довольно пространную монографію, посвященную слависту Безсонову, новый выпускъ останавливается на имени: „Беклемишевъ“. Изъ лицъ, извѣстныхъ своею научною дѣятельностью, вошли въ него химикъ Ф. Ф. Бейльштейнъ и братья Бекетовы, ботаникъ А. Н. и химикъ Н. Н.

„ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ"

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ ИСТОРІИ, ПОЛИТИКИ, ЛИТЕРАТУРЫ

— выходитъ въ первыхъ числахъ каждаго мѣсяца, 12 книгъ въ годъ, отъ 28 до 30 листовъ обыкновеннаго журнальнаго формата.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

	На годъ:	По полугодіямъ:		По четвертямъ года:			
		Январь	Іюль	Январь	Апрѣль	Іюль	Октябрь
Безъ доставки, въ Конторѣ журнала	15 р. 50 к.	7 р. 75 к.	7 р. 75 к.	3 р. 90 к.	3 р. 90 к.	3 р. 90 к.	3 р. 80 к.
Въ Петербургѣ, съ доставкою	16 „ — „	8 „ — „	8 „ — „	4 „ — „	4 „ — „	4 „ — „	4 „ — „
Въ Москвѣ и друг. городахъ, съ перес. . .	17 „ — „	9 „ — „	8 „ — „	5 „ — „	4 „ — „	4 „ — „	4 „ — „
За границей, въ госуд. почтов. союза . .	19 „ — „	10 „ — „	9 „ — „	5 „ — „	5 „ — „	5 „ — „	4 „ — „

Отдѣльная книга журнала, съ доставкою и пересылкою — 1 р. 50 к.

Примѣчаніе.— Вмѣсто разсрочки годовой подписки на журналъ, подписка по полугодіямъ, въ январѣ и іюлѣ, и по четвертямъ года, въ январѣ, апрѣлѣ, іюлѣ и октябрѣ, принимается—**безъ повышенія годовой цѣны подписки.**

☛ Съ перваго апрѣля открыта подписка на вторую четверть 1891 года. ☚

Книжные магазины, при годовой и полугодовой подпискѣ, пользуются обычною уступкою.

ПОДПИСКА принимается — въ *Петербургѣ:* 1) въ Конторѣ журнала, на Вас. Остр., 5 лин., 28; и 2) въ ея Отдѣленіяхъ, при книжн. магаз. К. Риккера, на Невск. просп., 14; А. Ф. Цинзерлинга, Невскій просп., 20, у Полицейскаго моста (бывшій Мелье и К°), и Н. Фену и К°, Невскій просп., 42;—въ *Москвѣ:* 1) въ книжн. магаз. Н. И. Мамонтова, на Кузнецкомъ Мосту; Н. П. Карбасникова, на Моховой, домъ Коха, и 2) въ Конторѣ Н. Печковской, Петровскія линіи.— *Иногородные* и *иностранные*—обращаются: 1) по почтѣ, въ Редакцію журнала, Спб., Галерная, 20; и 2) лично—въ Контору журнала.—Тамъ же принимаются ИЗВѢЩЕНІЯ и ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Примѣчаніе.—1) *Почтовый адрессъ* долженъ заключать въ себѣ: имя, отчество, фамилію, съ точнымъ обозначеніемъ губерніи, уѣзда и мѣстожительства, и съ названіемъ ближайшаго къ нему почтоваго учрежденія, гдѣ (NB) *допускается* выдача журналовъ, если нѣтъ такого учрежденія въ самомъ мѣстожительствѣ подписчика. — 2) *Перемѣна адресса* должна быть сообщена Конторѣ журнала своевременно, съ указаніемъ прежняго адреса, при чемъ городскіе подписчики, переходя въ иногородные, доплачиваютъ 1 руб. 50 коп., а иногородные, переходя въ городскіе—40 коп.— 3) *Жалобы* на неисправность доставки доставляются исключительно въ Редакцію журнала, если подписка была сдѣлана въ вышепоименованныхъ мѣстахъ, и, согласно объявленію отъ Почтоваго Департамента, *не позже* какъ по полученіи слѣдующей книги журнала.—4) *Билеты* на полученіе журнала высылаются Конторою только тѣмъ изъ иногородныхъ или иностранныхъ подписчиковъ, которые приложатъ къ подписной суммѣ 14 коп. почтовыми марками.

Издатель и отвѣтственный редакторъ: **М. М. Стасюлевичъ.**

РЕДАКЦІЯ „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ":
Спб., Галерная, 20.

ГЛАВНАЯ КОНТОРА ЖУРНАЛА:
Вас. Остр., 5 л., 28.

ЭКСПЕДИЦІЯ ЖУРНАЛА:
Вас. Остр., Академ. пер., 7.

КАТАЛОГЪ „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ" за 25 лѣтъ: 1866—90 гг., съ алфавитнымъ Указателемъ именъ авторовъ. Спб. 1891 г. Стр. 166. Цѣна 1 р., съ пересылкою.

3 2044 036 360 311

A FINE IS INCURRED IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW.

DUE